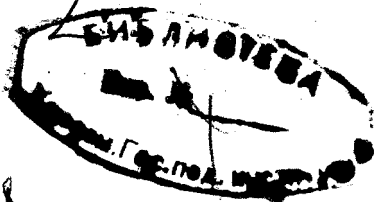
Галина Серебрякова

Похищение огня

Галина Серебрякова

ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ

Роман
Книги
первая
и
вторая



013858

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · МОСКВА
1962

013858

Галина Серебрякова — автор известного романа «Юность Маркса», книги новелл «Женщины эпохи французской революции», повестей «Одна из вас» и «Три современника».

Новый роман Г. Серебряковой «Похищение огня» охватывает двадцатилетие бурной истории Европы в период возникновения Союза коммунистов, революции 1848 года, Крымской войны, промышленного расцвета Англии, Первого Интернационала. Главными героями романа являются Карл Маркс, его супруга Женни фон Вестфален, Фридрих Энгельс, а также представители различных политических, философских и литературных течений XIX столетия — М. Бакунин, Луи Блан, А. И. Герцен, Генрих Гейне. В ряде сцен действуют представители монархического и реакционного лагеря — Меттерних, Пальмерстон, княгиня Ливен, граф Яков Толстой. Действие романа развертывается в Брюсселе, Париже, при дворе английской королевы Виктории, в английском парламенте, в Петропавловской крепости, на парижских баррикадах в февральские дни 1848 года. В книге воссоздана деятельность Карла Маркса и Фридриха Энгельса в «Новой Рейнской газете», тяжелая жизнь К. Маркса в лондонском изгнании, во время которого погибло четверо его детей, революционная борьба К. Маркса и Ф. Энгельса в трудные пятидесятые годы, их неукротимый дух и вера в неизбежную победу рабочего класса.

Ярко и задушевно описана любовь К. Маркса к Женни фон Вестфален, навсегда запоминаются страницы, посвященные беспримерной дружбе, связывавшей К. Маркса и Ф. Энгельса.

Книга первая

I. ЗАРНИЦЫ

Август 1844 года был особенно жарким. Сен-Жерменское предместье опустело. Новая, безмерно богатая финансовая знать и укрепившиеся после Реставрации аристократы выехали в свои поместья в Бретань, в сумрачные замки медлительной Луары и на Пиренеи. Над городом нависла знойная дымка, тонкая, как кружева на зонтиках парижанок. Богатые горожанки изнемогали в эти дни в своих сборчатых юбках, затянутые в узкие корсажи на китовом усе. Только к вечеру наступала прохлада.

Карл Маркс сбрасывал редингот и жилет и по целым дням не отрывался от книг и тетрадей. Читал и писал, писал и читал. Книги по экономике, философии, мемуары деятелей французской буржуазной революции, статистические таблицы, «синие» парламентские книги Англии, мрачные, как кладбищенский регистрационный перечень,— все привлекало его внимание. Желая отдохнуть, он перелистывал Шекспира, из которого многое знал наизусть, смеялся над проделками хитроумного Жиль-Блаза, зачитывался Бальзаком. Ни одна новая книга Гейне, Жорж Санд, Мюссе, Гюго, Мериме не ускользала от его внимания.

Когда садилось солнце, Карл открывал окна и во всю грудь вбирал свежий вечерний воздух. На лапчатых листьях каштанов, которых так много на улице Ванно, лежала густым покровом седая пыль. Карл не мог не вспомнить душистый родной воздух Трира. Чем-то вакхическим веяло от праздника сбора

винограда. Девушки украшали волосы гирляндами из виноградных лоз и пели мелодичные мозельские песни. Сборщики пьянели от солнца, воздуха и приторной влаги ягод.

Маркс сильнее ощущал свое одиночество в огромном городе, особенно в неистовой уличной толпе. Прошло уже несколько месяцев, как Женни уехала в Трир к матери — баронессе Вестфален — и увезла туда тяжело болевшую дочурку. В безмятежном тихом Трире ребенок быстро поправился. Но Карл тяготился отсутствием обеих Женни. Более обычного раздражали его скрипучие голоса соседки по квартире, госпожи Руге, и ее самоуверенного юркого супруга. Нетерпеливо ждал Карл возвращения жены и ребенка, побеждая тоску напряженной работой.

Фридрих Энгельс решил не позднее сентября 1844 года побывать в Париже, чтобы снова повидаться с Марксом. Их первая встреча была холодной. Под влиянием писем братьев Бауэров, крайне раздосадованных тем, что Маркс навсегда резко порвал с кружком «Свободных», Фридрих отнесся с некоторым недоброжелательством к редактору «Рейнской газеты», с которым виделся в Кёльне. Маркс, заподозрив в Энгельсе единомышленника берлинских «Свободных», ответил ему тем же.

С тех пор прошло почти два года, и Энгельс понял, что ко времени первой встречи с «неистовым трирцем» он не достиг еще той ясности, глубины мысли и анализа, которые были уже у Карла. Давно оценил Энгельс по достоинству заблуждения и напыщенные разглагольствования «Свободных», разглядел истинную сущность краснобаев Бауэров.

Мысль Фридриха была отныне прочно прикована к экономике, этой пружине, столь отчетливо выпирающей из-под всех покрывал, набрасываемых на нее буржуазным обществом. Перед внимательным взором Фридриха прошли чартистские восстания, сотрясавшие буржуазную Англию, забастовки голодающих рабочих, бунты луддитов против машин.

Когда Фридрих начал изучать положение рабочего класса в Англии, он был потрясен, как первооткрыватель, вступивший на новую землю. Энгельс писал обо всем Марксу, и между ними, вначале незаметно, протягивались нити полного доверия и понимания, из которых ткется дружба, не разрушаемая ни временем, ни опасностями.

Свое сотрудничество в «Немецко-французском ежегоднике», изданном в Париже, Энгельс начал с критики политической

экономии, подобно тому как Маркс штурмовал и низвергал гегелевскую философию права. Полная задора и блеска, статья «Наброски к критике политической экономии» привела в восхищение требовательного Карла. Он назвал эту статью Энгельса «гениальным наброском». В ней двадцатичетырехлетний автор прощупал аналитической мыслью, точно хирургическим зондом, многие коренные вопросы экономики и вскрыл самые глубокие противоречия буржуазного общества. Он добрался до ядра всех бед — до частной собственности.

Фридрих заглянул в самые недра общества, в котором он жил. Он увидел страшные последствия капиталистической конкуренции, кризисов и смертельную борьбу классов. Он задумался над тем, что даже достижения науки при господстве частной собственности вместо освобождения несут человечеству ад и рабство.

Познакомившись поближе с Фридрихом по его письмам и статьям, Карл Маркс безошибочно понял, что это человек могучего ума и дарования.

Через хмурый, зелено-серый Ла-Манш, отделяющий Англию от Франции, Маркс и Энгельс мысленно протянули друг другу руки.

В конце августа 1844 года Фридрих выехал из Манчестера в Лондон. Как всегда, его поразило чудовищное однообразие во внешнем облике этого города. Покуда громоздкий кеб вез его по улицам, он думал, что лондонский «юг» едва ли отличим от «севера» и «юго-востока». Всюду выстроились в ряд совершенно одинаковые гладко-серые дома. Между ними, как во рту с испорченными зубами, чернеют щели — уличные тупики. На замызганных рундуках торгуют рыбой, перезревшими овощами и фруктами, несвежими яйцами, изношенным тряпьем.

Фридрих не впервые всматривался в эти печальные приметы бедности. В черте каждого буржуазного города Европы обязательно есть торговые кварталы, театральные и биржевые площади, базары, пивные, муниципальные и государственные учреждения, дома терпимости, церкви, трущобы — стоки нищеты и горя, кладбища и неприметные родильные приюты, поставляющие миру новое человеческое пополнение. Несмотря на огромную смертность детей бедняков, человечество непрерывно увеличивается. Фридрих недавно в своей статье критиковал мальтусовскую теорию народонаселения. Он основательно продумал все, что с таким пылом пытался доказать в своей книге

пастор Мальтус, призывая человечество к сокращению рождаемости, и опроверг его доводы.

«Да, по мнению Мальтуса, за столом сытого буржуа сегодня нет места для пролетария,— думал Фридрих.— Несомненно, фабрикант не даст рабочему ничего, кроме объедков. Покуда частная собственность правит миром, пролетарию ничего не остается, как голодать и бороться за жизнь. Но все будет по-иному завтра, и к этому надо готовиться».

Фридрих невольно сравнивал нарядную толпу, прогуливающуюся по Пикадилли, с худосочными детьми, которых вели жалкие женщины, кутающиеся в полинявшие шали. Кеб свернул в близлежащий квартал Сохо, заселенный безработными, чужеземцами, ремесленниками, затем выбрался на набережную Темзы. Вдали был виден порт, за ним начинались доки.

В порту Лондона работали люди со всех материков земного шара. Много среди них ирландцев, индийцев, жителей далеких океанических островов.

Склонившийся под тяжестью ящика морщинистый китаец, прикрыв глаза, вдыхает сквозь доски приятный аромат темных засушенных листочков чая с плантаций, окаймляющих его деревню. Рис воскрешает перед ним залитые водой поля.

Атлет-негр, балансируя руками, несет на голове корзину с дозревающими бананами из Западной Африки. К ящикам приклеены горделивые ярлычки — гербы фруктовой компании — могущественнейшего повелителя всех земель, на которых растут среди ярко-зеленой листвы фрукты в золотой кожуре.

С Цейлона в Лондон привозят похожие на ежей ананасы.

Рябой индус рядом со светлолицым уроженцем Дублина нагружает телегу ящиками с высокосортным индийским табаком. Вчера они носили тюки индийского прессованного хлопка.

На тщательно охраняемых складах доков ждут отправки в глубь Англии австралийская шерсть, бразильский кофе, малайский каучук, лес и пушнина из России.

Невзрачный корабль привез бурую, как застывшая вулканическая лава, массу натурального асфальта с острова Тринидад, за находку которого, так же как и за картофель, бритты во всех учебниках истории благодарят настойчивого исследователя — сэра Вальтера Раллей.

Англичане, особенно шотландцы, слывут наиболее рослыми и здоровыми людьми Европы. Нарядные прохожие на центральных улицах Лондона в такой же мере подтверждают эту оценку, в какой люди доков ее опровергают. Часто худы и узкогруды, но

выносливы грузчики доков. Сильны их руки, их широкие ладони и короткие пальцы судорожно впиваются в доски ящиков, как бы в самое жизнь, за которую им приходится так непомерно дорого платить.

К Вест-Индским докам примыкает Китайский квартал — самый безрадостный уголок Лондона. Там же живет много ирландцев.

Гетто китайцев — узкие мостовые, уставленные по бокам черными глухими домами, будто снятыми с колес вагонами для перевозки скота. Ядовитые туманы мгновенно уничтожили бы бумажные флаги, цветы, драконов, которые на тесных улицах родных городов часто заменяют китайцам сады. Пронизывающая сырость загнала жителей в дома. Переулки и тупики вокруг лондонских доков сумрачны. Лица их жителей серы, как вода Темзы, как небо над доками.

Двадцать шестого августа Энгельс был уже в Париже. Он располагал всего десятью днями свободного времени, так как его настойчиво звали в Германию родные. Ему очень хотелось скорее увидеть прохладную долину Вуппера, где расположены вблизи друг от друга родной Бармен и Эльберфельд. Но он решил, хотя бы проездом, повидать Маркса, познакомиться с ним поближе.

Далеко позади оставили они школу немецкой философии, которую прошли в юности. Но в то время, как Фридрих уяснил себе задачи своего времени, знакомясь с английской промышленностью, Карл нашел причины многих противоречий и самый смысл борьбы общественных сил, тщательно изучая историю Франции за последние шестьдесят лет. Париж казался ему живой летописью революции, и он неутомимо разбирал эти письмена. Одновременно он напряженно работал над экономическими и философскими вопросами.

Маркс хорошо изучил Париж. Он часто думал о том, что прошло всего пятьдесят лет с тех пор, как погибли бесстрашный революционер, якобинский вождь Робеспьер, и его соратники. Пересекая площадь Революции, переименованную после восстановления монархии в площадь Согласия, Карл вспоминал о великолепии революционных шествий 1793 года. Девушки в туниках несли белоснежную статую Свободы — пышнотелую женщину с лицом греческой богини. На красных полотнищах, развеваемых ветром, далеко видны были вышитые золотом лозунги: «Свобода, Равенство, Братство!», «Низвергнем гидру тирании!»

С деревянного возвышения выступали ораторы, приветствуя революционные отряды предместий.

Тени недавней революции мелькали перед Марксом.

Якобинец Сен-Жюст — один из лучших ораторов среди соратников Робеспьера — обычно вызывал наибольшее восхищение слушателей. На кресле приносили сурового Кутона. Спокойно и несколько монотонно говорил с трибуны и сам «Неподкупный» — Робеспьер.

Солдаты революционной армии уходили на фронт с этой площади. «Марсельеза» звучала особенно величественно в дни праздников и смотров, происходивших здесь. И нигде так весело не танцевали задорной «Карманьолы», как на берегах Сены!

Посредине площади силач Сансон, бессменный палач времен революции, неутомимо опускал на шеи аристократов нож гильотины.

Недалеко находилась Гревская площадь. Здесь все было также знакомо Марксу и вызывало множество мыслей. 10 термидора, после того как накануне контрреволюционный переворот низверг якобинскую диктатуру, на этой площади без суда были гильотинированы Робеспьер, Сен-Жюст и калека Кутон. Брат Робеспьера и Филипп Леба покончили с собой в ратуше, когда предательство части Конвента повлекло за собой поражение Горы. Их трупы были привезены на площадь и тоже обезглавлены. Так трагически закончилась последняя глава первой французской революции.

Оплот революционной демократии столицы — Парижская коммуна была разгромлена и уничтожена. Многие члены ее казнены. Правительственная власть изменилась. Спекуляция, обесценение денег сделали жизнь бедняка совершенно непереносимой, но способствовали необычайному обогащению дельцов. Самые важные политические вопросы, от которых зависела судьба народа, решались теперь не на трибуне якобинского клуба, а в роскошных будуарах красавиц Терезы Тальен, Жозефины Богарне, Аделаиды Рекамье — содержанок заправил Директории.

Но плебейский Париж, город санкюлотов, недолго терпел свое поражение. В 1795 году, когда с вечера до утра перед дверями булочных и продуктовых лавок стояли за хлебом измученные люди, снова произошло восстание в Париже. С криками «Хлеба, конституции 1793 года и освобождения патриотов!» ворвался народ в здание Конвента. Восставшие были разору-

жены, многие брошены в тюрьмы. Однако беднота не успокоилась. Тому, кто все потерял, нечего было бояться. Голод и лишения снова погнали людей с окраин к Конвенту с требованием хлеба, заработка и справедливых законов.

Труженики, шедшие в годы революции за буржуазией, начинали понимать, страдая и нищенствуя, что отныне их ждет *война с новым окрепшим и страшным хозяином.*

Франция в 1844 году была подобна вулкану после сильнейшего извержения, так и не затухшему совсем; подземные толчки все еще продолжали сотрясать страну. На целое столетие позже, чем в Англии, в 1789 году, пал трон абсолютной монархии. С того дня, когда на узкие улицы Парижа к домам знати с оружием и знаменами двинулся народ, французская столица не знала длительного покоя. Аристократия, воюя и хитря, вынуждена была уступать пядь за пядью власть новому классу — буржуазии.

В Англии в XVII веке революция кончилась сговором аристократов и буржуа. Грани между классами господ стирались. Знатные лорды охотно роднились с разбогатевшими простолюдинами и становились торговцами и промышленниками. Нажива, богатство — вот что ценилось превыше всего повсюду, *вплоть до дворца английских королей.*

А во Франции в 1830 году был свергнут Карл X и на трон вступил Луи-Филипп — «король-буржуа». Его царствование не принесло стране умиротворения. Лионские восстания возвестили миру об угрозе господству буржуазии.

Вечерело, когда в квартире на улице Ванно, где жил Маркс, раздался резкий звонок. Карл сам открыл дверь.

Перед ним, держа в руках цилиндр и трость, стоял очень молодой человек с большими, широко расставленными серыми глазами, смотрящими прямо, испытующе и смело.

Карл сразу же охватил взглядом вошедшего. Это бывает не всегда. Иногда люди долго не запоминаются и впечатление от них меняется со временем. Лицо гостя отражало волю и ум, добродушие и наблюдательность. Карл как-то по-новому увидел и чистоту светлой кожи, и нос с широкими подвижными ноздрями, и большой добрый рот. У гостя была маленькая, тщательно подстриженная каштановая бородка. Густые русые волосы были расчесаны на пробор и переходили в узкую полоску бакенбардов, обрамлявших овальное лицо.

Он был высок, широкоплеч, худощав и щегольски одет.

— Входите, Энгельс, я рад, очень рад вас видеть,— сказал Карл.

— Вы узнали меня, Маркс? Я проездом в Париже, еду из Англии в Германию. Хотел бы...

— Да входите же,— прервал приветливо Маркс.

Через несколько минут Фридрих и Карл сидели за маленьким столом, и казалось им, что они давным-давно дружны.

— Ваши наброски к критике политической экономии превосходны. Вы сказали то, что не было еще открыто никем. Гениальна и сама задача — доказать, что все противоречия буржуазной экономики порождены частной собственностью. Вы далеко опередили Прудона, который борется с частной собственностью, погрязнув в ней сам. Я тщательно изучил вашу статью,— сказал Маркс.

Фридрих покраснел, сильно смутился.

— Вы переоцениваете мои заслуги, доктор Маркс. Это только первые шаги, не более того. Все, что я сделал, вы открыли бы давно, если бы не занимались здесь другими вопросами.

Карл налил две рюмки вина и предложил выпить на брудершафт.

— Мы давно уже воюем рядом. Каждый из нас напечатал в «Немецко-французском ежегоднике» по две статьи. Итак, милый Фридрих, я для тебя просто Карл,— сказал он, улыбаясь.

— Отлично, я очень рад.

Энгельс смотрел с чувством нарастающей симпатии на широкоплечего, коренастого собеседника. Черные волосы буйными волнами обрамляли великолепный лоб. Неотразимо привлекал прямой веселый взгляд глубоких черных глаз Карла. Столько мыслей было выражено в них, столько силы они излучали!

— Оба мы пришли к одним и тем же выводам,— говорил между тем Маркс. Он встал, закурил сигару и начал ходить по комнате.— Мы убеждены в том, что именно пролетариат несет в себе великую миссию преобразования мира и человечества. Победа его неизбежна!

— Я тоже не сомневаюсь в этом! — воскликнул Энгельс.

— Если у тебя есть время и терпение, Фридрих, я прочту тебе кое-что, о чем неустанно думаю все последнее время. Многое из написанного, кстати, найдено мной после чтения твоей статьи.

Они стояли друг против друга, один высокий, другой пониже, оба широкоплечие, сильные, молодые.

— Видишь ли,— сказал Маркс,— для уничтожения идеи частной собственности вполне достаточно идеи коммунизма. Для уничтожения же частной собственности в реальной действительности требуется коммунистическое действие.

Маркс открыл тетрадь и, перелистав несколько страниц, стал читать:

— «Когда между собой объединяются коммунистические *рабочие,* то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то же время у них возникает благодаря этому новая потребность, потребность в общении, и то, что выступает как средство, становится целью. К каким блестящим результатам приводит это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания французских социалистических рабочих. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже там средствами *соединения людей, не служат уже связующими средствами.* Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющие своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство».

Энгельс внимательно вслушивался в каждое слово. Он вспомнил свои разговоры с рабочими Вупперталя, Бремена, Манчестера и Лондона.

— Все это верно,— сказал он убежденно.

— Но вернемся к философии,— продолжал Маркс,— нам с тобой неизбежно придется проверить свою философскую совесть. Мы ведь шли одними дорогами.

Энгельс наклонил голову в знак согласия, но добавил:

— Я плутал в этой чаще дольше тебя, Карл.

— Все же и ты выбрался из нее вовремя,— снова заговорил Карл, тяжело шагая по комнате и продолжая курить. Дым то скрывал его голову завесой, то медленно уплывал к потолку.— Антропология — наука о человеке. Очень важная и все еще путаная область знания. Нельзя отказать Фейербаху в том, что он решительно покончил со всеми религиями, как бы они ни назывались. Помнишь его вопрос и ответ? «Что есть бог?» Немецкая философия разрешила его так: «Бог — это человек». Вот оно — ядро новой религии, культ абстрактного фейербаховского человека. Где же действительные люди в их историческом развитии? Несмотря на свою гениальность, Фейербах их не видит. Его человек есть сущность всего, но это неверно; человек —

совокупность общественных отношений, плод общественного развития общества.— Маркс остановился возле Фридриха и положил руку на его плечо.

Табачный дым давно уже плыл по комнате густым облаком, и Карл, заметив это и вспомнив наказ жены курить меньше, широко раскрыл створки окна, с шутливой печалью погасил окурок сигары, отложил коробок со спичками, затем подошел к письменному столу и достал еще несколько густо исписанных неровным почерком тетрадей. Он сел и начал читать. Это были думы, самые дорогие и важные для него, итоги многих лет, воплощенные в слово, будто вновь открытый материк, и победа в долгой борьбе.

Маркс спорил с Гегелем. Слова его обрушивались, точно скалы, расплющивая противника. Ему хотелось курить, но он превозмогал себя.

— Не думаешь ли ты, Фред, что иногда мысли у Гегеля будто какие-то застывшие духи, обитающие вне природы и вне человека? Он, подобно Пандоре, собрал их воедино и запер в своей «Логике».

Энгельс кивнул утвердительно головой и живо заметил:

— Все семейство Бауэр не перестает нападать на нас в своей газете, заклиная этих самых духов и высокомерно обрушиваясь на все живое. Пора дать сокрушительный отпор и опровергнуть их бредни. Они не перестают твердить, что лучшее поле битвы — это чистая философия.

— Блестящая мысль. Это и мое давнишнее желание сразиться с ними, Фридрих. Мы не станем откладывать этого дела ни на один день,— ответил Маркс.

— Кстати, до какой нелепости дошли Бауэры и какое пренебрежение у них к народу, к массе, видно по их последнему кредо. Я помню его наизусть: «Все великие дела прежней истории были ошибочны с самого начала и не имели успеха, потому что ими интересовалась и восторгалась масса».

— Да, Фридрих. Противопоставление духа массе проходит через все изречения Бруно Бауэра в его «Всеобщей литературной газете». Я рад, что Кеппен не поддался на эту удочку и не доводит гегелианскую философию до отвратительной абстракции.

— Братья Бауэры видят не дальше своих, правда довольно длинных, носов. Но самомнение их при этом безгранично. Заметь, они все еще тщетно пытаются вознестись за облака на паутинке из философских лоскутов. Они критикуют все подряд,

ЭТОНЛ

особенно то, что пугает их днем и ночью,— все массовые движения, будь то социализм, французская революция, христианство, англиканство, противоречия и борьба в промышленности. Еще бы, ведь все это тесно связано с массами, с людьми,— горячо говорил Энгельс.— Итак, вызов Бауэров мы принимаем! В течение тех немногих дней, которые я проведу в Париже, мы не только начнем нашу брошюру, но и определим, кому что писать дальше.

— Это будет наша первая совместная работа. Отлично, Фред.

В этот погожий вечер Энгельс поздно ушел из квартиры на гористой тихой улице Ванно. Он был счастлив. «Быть может,— думал он,— я нашел все, о чем мечтал,— друга на всю жизнь».

Друг, друзья... Как часто произносятся эти слова, но, подводя итоги, человек подчас с тоской уясняет, что не имел их в своей жизни. Друг тот, с кем идешь бок о бок через всю жизнь, деля невзгоды и радости, кому доверяешь все сокровенное и никогда в этом не раскаиваешься. Дружба... Древние сложили миф об Оресте и Пиладе, которые готовы были отдать жизнь друг за друга. Испытания, борьба, искания сплачивали их все сильнее, все крепче и приносили им победу.

Фридрих шел, все ускоряя шаги. Он видел перед собой огненный взгляд Карла, слышал его раскатистый смех, он гордился похвалой, радовался ободряющим словам. Эта встреча обещала так много обоим. Энгельс улыбнулся. Все вокруг казалось ему прекрасным...

Париж был полон звуков и красок. В саду Тюильри оркестр играл увертюру из «Севильского цирюльника». Тротуары были заняты столиками кафе, многие посетители были уже навеселе, вино развязывало языки, рождало смех.

В эти теплые осенние вечера хмурыми и пустынными выглядели лишь дома. Казалось, все живущие в них ушли на площади и в сады. По шумным бульварам нелегко было пройти. На высокие шляпы прохожих каштаны роняли пыльные пожелтевшие листья. Несколько кокетливых женщин в светлых платьях задели пышными юбками нарядного молодого человека, в котором они узнали иностранца. Энгельс извинился. Женщины попытались заговорить с ним, но Фридрих поспешно свернул в сторону. Ему, как никогда, хотелось одиночества, чтобы еще раз продумать все, что он нашел в тихой квартире Карла.

«Друг!» — звучало в сердце, и радостное значение этого слова нарастало и заполняло все его существо. То, что впереди

БИБЛИОТЕКА

их обоих ждет много тягостных испытаний, было несомненным, но это только поднимало и будоражило душу.

Революция — вот о чем мечтал Энгельс. А вокруг было тревожное затишье...

Фридрих подошел к напоминавшему античный храм зданию Парижской оперы. В этот вечер шла премьера «Эрнани». Итальянец Верди, автор оперы, был еще мало известен в Париже.

«Верди. Я слышал его «Навуходоносора» и «Ломбардийцев». Музыка показалась мне грубой и резкой»,— подумал Фридрих равнодушно. Ему значительно больше нравились Доницетти и Россини, которых он слушал в Лондоне, когда весной там гастролировала итальянская опера. Фридрих иногда напевал, не всегда точно, мелодии из «Лючии ди Ламермур» и «Фаворитки». «Севильский цирюльник» Россини казался ему непревзойденным по красоте арий музыкальным творением.

Бойкий мальчуган в рваной рубашонке предложил Энгельсу оставшиеся у него нераспроданными вечерние выпуски газет.

— Месье еще, наверное, не знает, что доблестные французы преследуют Абд-эль-Кадира в Алжире, а марокканцы помогают им на своей территории. Как думает месье, этот отчаянный Абд-эль-Кадир убежит или будет пойман? Было бы интересно видеть его в Париже,— сказал маленький продавец газет.

— А ты, малыш, не собираешься ли в страну пальм, страусов и газелей? — спросил Энгельс, протягивая мальчугану франк вместо одного су.— Купи себе новую рубашку и отправляйся домой.

— У меня, месье, семья на плечах,— важно ответил малыш.

Фридрих зашел в кафе возле угрюмой и пустынной в этот час биржи, заинтересовавшись сообщениями об Алжире. В помещении было тихо и очень накурено. Заказав кофе и булочку, Энгельс принялся читать газеты. Из соседнего зала доносились короткие сухие удары биллиардных шаров. Какой-то обанкротившийся на акциях маклер, изрядно опьянев, всхлипывал и что-то бормотал, не отпуская от себя усталого тощего гарсона.

В этом году французы захватили Алжир. Энгельс читал о том, что эскадра принца Жуанвиля подвергла бомбардировке Могадор, разрушив его укрепления, и высадила на остров пятьсот солдат. Англия продолжала запугивать то французский кабинет, то марокканского султана. Впрочем, Франция и не собиралась на этот раз удержать свои завоевания в Марокко. В ответ на унизительные мольбы марокканского султана она начала

переговоры. 10 сентября был заключен Танжерский договор против Алжира. Знаменитый эмир Абд-эль-Кадир, боровшийся за освобождение своей родины от французских завоевателей, скрывался в эти дни среди верных ему племен. Договор между Францией и Марокко определял судьбу мятежного эмира. Французы, зная огромную популярность Абд-эль-Кадира, обязались, в случае, если им удастся его пленить, поступить с ним великодушно. Марокканцы со своей стороны обещали интернировать его в одном из приморских городов, чтобы не дать отважному вождю повстанцев снова собрать силы.

Энгельс насмешливо улыбнулся: «Франция заигрывает с марокканцами. Акула играет с карпами».

Алжир, Марокко были охвачены огнем народной войны. В них не умолкал грохот орудий.

Фридрих прочел сообщение, что объявлена независимость Парагвая, и вспомнил, какой дорогой ценой была она куплена, сколько крови было пролито в борьбе с Бразилией.

Затишья в мире не было и нет. Фридрих отбросил газеты и вышел на улицу, где все еще было шумно. Ночная свежесть бодрила.

— Хорошо, очень хорошо,— по-немецки, так, как говорили в родном Бармене, сказал Энгельс.

Иной раз он сам удивлялся своей всегда подавляемой воспитанием и привычками восторженности. Но ему было всего двадцать четыре года!

«Гейне говорил, что хотел бы кричать о своей любви на площадях всему миру. Кажется, и я тоже способен сейчас петь, но не о любви, а о дружбе, об освобождении от одиночества»,— думал Энгельс.

Во время своего краткого пребывания в Париже Фридрих написал семь разделов в брошюре, которую вместе с Марксом решили они направить против братьев Бауэров.

В эти дни ему казалось, что сутки необычайно коротки и главное, чего не хватает человеку, это времени. Энгельс несколько раз один либо с Марксом бывал на собраниях французских социалистов и коммунистов и с интересом слушал выступления демократа Флокона. Двадцатичетырехлетнему Фридриху редактор газеты «Реформа», которому не было еще и пятидесяти лет, показался добропорядочным и честным стариком. Социалист Луи Блан, напыщенный, щеголеватый, с лицом миловидной девушки и щупленькой фигурой, пользовался в то время большой популярностью в предместьях, где жили рабо-

чие и ремесленники. Путаница в воззрениях и нетерпимость к критике у Луи Блана удивляли Энгельса.

По сравнению с английскими чартистами, рассудительными и спокойными в споре, французы показались Энгельсу нетерпимыми к критике. Особенно бросалась в глаза их горячность, любовь к яркой фразе, острое чувство юмора, быстрая смена настроений.

Через несколько дней он выехал в Бармен, где в чинном патриархальном доме ждали его придирчивый, деспотический, поучающий отец, нежно любимая, чуткая и ласковая мать и еще семеро деятельных, румяных и жизнерадостных братьев и сестер! Все они резко отличались своими устремлениями от Фридриха. Они не предавались никаким сомнениям и размышлениям и твердо верили, что быть фабрикантами или их женами самый завидный удел на земле.

В этом обширном доме ровно двадцать четыре года назад поздней осенью родился Фридрих. Суровый ветер срывал тогда с деревьев, как и теперь, когда Энгельс подъезжал к родному городу, последние багрово-золотые листья и выстилал ими долину реки Вуппер и улицы делового и строгого Бармена.

Вскоре после отъезда Энгельса вернулась из Трира в Париж с выздоровевшим ребенком Женни Маркс. В квартире на улице Ванно жизнь пошла по-обычному.

Летом и осенью 1844 года Карл часто бывал на окраинах Парижа, где встречался с рабочими и ремесленниками. В то время улица Вожирар была еще мало застроена, и рыжая трава пробивалась у колодцев, где собирались и шумели женщины, приносившие за водой. Вечерами по немощеной улице возвращались с работы каретники, столяры, кузнецы, портные и их подмастерья. В одном из домиков жил портной Сток с семьей. Со двора, где играл по целым дням его сын, озорной Иоганн, видны были вдали городская свалка и низкий жалкий лесок. Владелица домика, вдова каретного мастера, сдавала также мансарду. Там жили три товарища: француз Кабьен, итальянец Дивероли, работавшие на прядильной фабрике, и поляк Красоцкий, дававший уроки математики и музыки.

В конце улицы, подле шлагбаума, находилось питейное заведение с полинявшей вывеской. На ней были изображены три седовласых старца, которые заглядывали в ярко освещенный хлев. В годы Реставрации трактир назывался «У младенца Христа», но название это стерлось от времени и непогоды, и нынешний владелец, господин Жан, называл свое тесное помеще-

ние, похожее на сарай, «Клубом ищущих справедливости». К Жану, объявлявшему себя сторонником идей Фурье и Кабе, после работы сходились жители квартала выпить дешевого вина, поговорить о том о сем. За простыми деревянными столами «Клуба» можно было отдохнуть, а главное — послушать и принять участие в легко вспыхивающих спорах.

Жан обычно настежь открывал дверь своего заведения. Три деревянные ступени вели на широкое крыльцо, где в теплые вечера усаживались посетители.

Жена трактирщика, тихая старушка с лицом без бровей и ресниц и несколькими рубцами от ожогов, в молодости плела кружева в мастерской при монастыре. Узоры плетения были очень сложны, а мастерицы работали при свечах в особых помещениях, куда не проникал дневной свет. Случалось, что тончайшие рукоделия, на которые затрачивалось много месяцев труда, загорались. Огонь нередко не щадил и кружевниц. Прошло много лет, но жена трактирщика все еще с опаской посматривала на горящие фитильки стеариновых свечей и старалась как можно дальше откинуть голову назад, когда вносила подсвечники.

Хозяйка обычно усаживалась у единственного украшения низкого зала — у старинного очага с нишей, где стояла фаянсовая и глиняная посуда времен революции, украшенная фригийскими колпаками, пиками и эмблемами свободы.

Как-то в один из летних воскресных вечеров между завсегдатаями трактира завязался оживленный разговор. Хозяин, болтливый человек лет шестидесяти, не мог усидеть за стойкой. Он стремительно вскакивал со своего высокого стула и подходил то к одному, то к другому столу.

— Я не совру,— шепелявя говорил он,— что для здорового парня всегда найдется работа в городе. Мастерские и заводы растут быстро, как мои внуки.

Худой человек, допивавший кружку кислого вина, сказал:

— У меня есть работа, но я предпочел бы сдохнуть, чем так жить. Сколько мне лет, ребята?

Он встал и начал поворачиваться во все стороны. Свет стеариновой свечи упал на его лицо, углубив впадины под глазами, обострив и без того тонкий нос.

— Молчите? Мне двадцать девять лет. Я знаю, вы подумали — пятьдесят пять.

Хозяйка жалостливо сказала:

— Нет, на вид ты еще молодой, только хворый.

— Я выжат, как белье в руках бретонской прачки. Четырнадцать часов в сутки работать в темном, как гроб, сарае. И это длится уже пять лет. Моя жена гуляет с приказчиком. У нее нет больше мужа.

Он гулко закашлялся.

— Чем удивил? — буркнул широкоплечий парень с покрасневшими, как от бессонницы, глазами.— Я в рудниках по тринадцать часов уголь добывал, и если бы вовремя не улепетнул оттуда, то был бы теперь слеп, как крот.

— Братья, я знаю, куда нам податься за человеческой счастливой жизнью!— патетически воскликнул высоким тенором хозяин «Клуба».— Прочь из этой растленной страны, где господствует золотой телец и его жрецы — банкиры и фабриканты. Прочь отсюда! В страну обетованную! Переплывем океан и там найдем добро и справедливость, братья мои...

В это время в харчевню вошел Иоганн Сток. Его насмешливый голос прервал монолог трактирщика.

— Брось, старина, напускать туману своими проповедями.

— Я социалист,— возмутился Жан.

— Сказочник ты. Не нужен нам твой рай, Икария, выдуманная папашей Кабе! Я очень чту этого почтенного мудреца, но, право же, нам и здесь будет не плохо.— И Сток громко продекламировал:

Уж здесь на земле будем счастливы мы,
Про голод ни слуху ни духу.
Того, что добыто прилежной рукой,
Не жрать уж ленивому брюху.
Достаточно хлеба растет здесь внизу,
Всем хватит по милости бога:
И миртов и роз, красоты и утех,
И сладких горошинок много [1].

Мы и здесь свое возьмем.

Портняжий подмастерье Иоганн Сток тоже выглядел значительно старше своих тридцати двух лет. Резкие морщины на худом лице, седина, смягчавшая рыжий цвет волос, настороженный взгляд запавших усталых глаз свидетельствовали о тяжелых испытаниях, которыми не скупясь наделила его судьба.

В начале 1831 года, странствуя вдоль Рейна в поисках заработка, перевалил он через Савойские горы и пришел во французскую текстильную столицу Лион. Был Сток тогда долговязым красноволосым парнем, весельчаком и балагуром. В ма-

[1] «Зимняя сказка» Г. Гейне. Перевод П. И. Вейнберга.

стерской владельца нескольких ткацких станков старого Буври он нашел кров и, когда бывали заказы, заработок. Денег ему едва хватало на оплату постоя, прокорма и масла для коптилки. Молодой подмастерье в эту пору одолел грамоту и пристрастился к чтению. В Лионе Сток нашел и свое счастье, дочь Буври, мастерицу искусственных цветов Женевьеву. С тех пор город на светловодной Роне стал для него родным.

Во время Лионского восстания Сток написал на красном полотнище: «Жить трудясь или умереть в бою»,— и под этим знаменем сражался в рабочем предместье Круа-Русс.

Так получил немецкий подмастерье огненное крещение на бедной окраине французского города. Кто однажды пролил свою кровь на баррикаде, тот стал навсегда побратимом революций. И Сток пошел по терниями устланной дороге. После разгрома Лионского восстания вместе с преданной Женевьевой вернулся он на родину в Дармштадт. Там вступил Сток в тайное революционное общество, которое вскоре было раскрыто. Поражение не смутило душу Иоганна. Два года провел он в аду Гессенской тюрьмы. Подобно тому, как несчастье помогает распознать истинную дружбу, так заключение испытывает качество революционера. Сток пережил все то, что в течение многих столетий изобретала и совершенствовала жестокость. Он не потерял самого себя и сохранил живую протестующую душу, однако лишился здоровья, стал хромать, поседел и почти разучился смеяться. Ему открылась бескрайняя радость мышления и познания. Удачный побег избавил узника от медленного физического умирания. Тщетно в течение нескольких лет искал Сток Женевьеву, высланную после его ареста из Германии. Но неисчерпаемы возможности, творимые самой жизнью, и никакое человеческое воображение не способно создать то, что подстраивает случай. Иоганн Сток, участник тайного заговорщицкого «Общества времен года» Бланки, во время уличных боев 1839 года был тяжело ранен и спасен сражавшейся тут же Женевьевой.

«Жизнь борца всегда необычайна»,— часто думал портной и перестал удивляться превратностям своей судьбы.

Последние несколько лет Сток жил в Париже.

Да, он мог сказать: «Мы свое возьмем».

Поговорив еще немного с посетителями трактира, Иоганн, прихрамывая, побрел по немощеной пыльной улице. Он снимал угол в одном доме с итальянцем Диверолли и поляком Красоцким.

Пьетро Диверолли был земляком известного итальянского

революционера Джузеппе Мадзини. Оба они родились в Генуе. В то время как Джузеппе изучал литературу и философию, Пьетро, родившийся на пять лет позже, рыбачил с отцом, а затем грузил пароходы в порту. Когда юный Мадзини оставил науку и стал редактором газеты, Диверолли, надорвавшись при погрузке, поступил в мастерскую, где ковали кладбищенские ограды. В свободные часы Пьетро любил гулять по аллеям Санто-Кампо. Там в мраморных гробницах покоились купцы и правители города. Вдали виднелось Средиземное море. В спокойную погоду оно казалось затянутым лиловым бархатом. Мирты и лавровые деревья превращали кладбище в тенистую рощу.

Однажды в отдаленной аллее на кладбищенском холме, где хоронили покойников победнее, Пьетро увидел высокого худощавого молодого человека с такими горящими черными глазами, какие даже в Италии встречаются редко. Он сидел, сбросив плащ и высокую шляпу на траву. Пьетро не отрывал глаз от вдохновенного лица незнакомца, пытаясь понять, обдумывает ли тот что-то очень важное или молится. Внезапно молодой человек, будто прочитав его мысли, широко улыбнулся и заговорил. Его звали Джузеппе Мадзини. На следующий день ему предстояло по приказу властей навсегда оставить Геную. Его заподозрили в принадлежности к тайному обществу карбонариев и изгоняли из Италии. Он прощался с родным городом.

— Генуэзцем был и Христофор Колумб,— говорил Мадзини, показавшийся Пьетро несколько странным и очень ученым.— Он открыл Америку, а мы с тобой что откроем полезного людям? Уроженцам этого прекрасного города самой судьбой предначертано странствовать. Пришла и моя пора. Но когда наступит время вечного отдыха, я хотел бы быть погребенным именно здесь.— Он указал на холм Санто-Кампо, на котором стоял рядом с Пьетро.— Живым или мертвым — я еще вернусь в мою Геную!

Мадзини взволнованно и образно рассказывал рабочему о могуществе древнего Рима.

— Но Италия будет снова свободной и великой! — воскликнул он вдохновенно, заканчивая рассказ.

На другой день молодой итальянский революционер отправился по извилистой каменистой дороге вдоль моря к пограничному городку Чивита-Веккиа.

Диверолли не переставал думать о человеке в плаще и широкополой шляпе, с которым случайно разговорился на клад-

бище. Мадзини казался ему таким же необыкновенным, бесстрашным и неукротимым, как средневековый флорентиец Савонарола, великий оратор, всю свою жизнь боровшийся с произволом хищных римских пап. Даже умирая на костре, он все еще продолжал призывать народ сопротивляться Ватикану.

Мадзини, покинув Геную, не знал, что унес с собой сердце юноши из мастерской кладбищенских оград великолепного Санто-Кампо. Лишь в 1836 году Пьетро Дивеполли, которого безработица погнала по свету, отыскал в Париже тридцатилетнего Мадзини. На чужбине особенно радостно встречаются земляки. Джузеппе дружески принял молодого подмастерья и растолковал ему то, что Пьетро, смутно понимая, слышал уже на родине.

Фанатическая убежденность Мадзини, аскетическое бескорыстие подчиняли ему и более самостоятельно мыслящих людей, нежели Дивеполли. Он не сомневался в конечной победе и освобождении Италии от австрийского ига. Пьетро преклонялся перед ним, как в детстве перед священником, не понимая всего, но во все веря. Мадзини рассказал ему о программе новой партии, которую назвал «Молодая Италия».

— Республика и единство! — вытянув вперед руку, восторженно говорил Джузеппе, обжигая Пьетро своими глазами.— Республика — потому, что уже в древнем Риме считали такую форму правления лучшей, соответствующей разуму. Единство же обеспечивает силу, а Италии, окруженной объединенными державами, завистливыми и могучими, нужно прежде всего быть сильной. Согласен ты со мной?

Пьетро со свойственной генуэзцу горячностью соглашался с Джузеппе, слова которого казались ему божественным откровением.

— Наш девиз — «Бог и народ».

И Пьетро повторил за ним эти слова с пиететом, не раздумывая, как произносил в детстве «Отче наш», набожно сложив руки.

Программа «Молодой Италии», написанная Мадзини, несмотря на мистически-религиозный смысл, резко отличалась от всего того, что проповедовали итальянские заговорщики двадцатых годов, о которых народ Италии почти ничего не знал. Они стремились сохранять глубокую тайну, увлекались обрядовой стороной. В отличие от масонов — каменщиков, итальянские заговорщики называли себя угольщиками. Карбонарии были малочисленны. Отвага их была заранее обреченной.

Мадзини объединил буржуазных демократов Италии. Это был фанатический республиканец и патриот. Верный Пьетро Дивероли стал его оруженосцем. Он выполнял поручения Джузеппе и несколько раз пробирался в Италию.

В 1844 году небольшая дружина вместе с отчаянно храбрыми братьями Бандиера высадилась в Калабрии, подняла там восстание, провозглашая требования, изложенные в программе «Молодой Италии». Карательный отряд австрийцев разбил их в бою и захватил в плен. Бандиера были расстреляны. Как и попытки карбонариев, этот заговор потерпел поражение.

Дивероли, участвовавший в восстании, чудом спасся и бежал из Калабрии в Швейцарию. Он недолго прожил в Лозанне, где подружился с членом «Союза справедливых» бывшим студентом Карлом Шаппером. Наконец в поисках работы Дивероли пешком добрался до Парижа. Он все чаще впадал в отчаяние. Неудачи сторонников «Молодой Италии» отталкивали многих, кто ранее свято доверял тактическому и теоретическому дару Мадзини. Идеи его казались неосуществимыми.

В то же время многих прельщал католический священник Джоберти, обещавший реформы и свободу под главенством римского папы, другие увлекались посулами аристократа, посредственного художника и писателя Массимо д'Азелио, призывавшего к войне с австрийцами. Д'Азелио выступал в прессе и на собраниях, требуя конституции от сардинского государя Карла Альберта. Возможность господства папы или короля нравилась клерикальной знати и крупной буржуазии куда больше, чем республика. Учащейся молодежи и мелким буржуа казалось немыслимым дольше оставаться в бездействии. Все лучшие представители итальянской буржуазии и пробуждающегося народа рвались в открытый бой. То, на чем сходились и монархисты и республиканцы, были ненависть к Австрии и стремление уничтожить ее иго над родной страной.

Дивероли, вынужденный оставаться во Франции, работал на прядильной фабрике. Там он подружился с жизнерадостным уроженцем Фонтенбло Этьеном Кабьеном. Как-то на рабочем собрании Кабьен и Дивероли встретились с Сигизмундом Красоцким и до рассвета просидели за увлекательной беседой на скамейке в Люксембургском саду.

Утром все трое решили поселиться вместе и в тот же день сняли мансарду у вдовы на улице Вожирар.

Красоцкий, родом из старинного польского города Люблина, эмигрировал во Францию в 1831 году. Он был офицером по-

встанческой армии Сованского и сражался до последней пули под Варшавой.

В эмиграции он переменил много профессий. Мыл бутылки у виноторговца, был половым в трактире, сторожем в поместье, пас овечье стадо в Шамони, работал сапожным подмастерьем. Частая безработица и голод сломили его здоровье. Он заболел чахоткой. В это время Сигизмунд встретил в Париже Адама Мицкевича, которого знал по родине. Всегда готовый помочь нуждающемуся, тем более поляку, поэт нашел Красоцкому несколько уроков математики, предварительно купив ему костюм, чтобы тот смог появляться в зажиточных домах. С той поры Красоцкий был всегда более или менее сыт. Он часто посещал Коллеж де Франс, где вот уже четыре года читал лекции по литературе Адам Мицкевич.

В аудитории, когда на кафедру поднимался прославленный поэт, названный «совестью Польши», всегда было многолюдно. Никто не умел так, как он, словом всколыхнуть даже самое черствое сердце и вызвать в человеческой душе любовь к правде, гнев к несправедливости. Высоко подняв седеющую могучую голову, Адам Мицкевич говорил о муках и унижениях порабощенных народов и требовал для них свободы. Он предрекал грядущие национальные революции, и лицо его становилось вдохновенным, будто он читал свои стихи. В такие минуты распрямлялись скорбные линии вокруг рта и исчезало печальное выражение глубоких, полных мысли глаз. Часто в Коллеж де Франс выступал и Мишле — историк великого 1789 года. Слушая Мицкевича и Мишле, Красоцкий едва сдерживал слезы. Свобода! Независимость! Для революционера-изгнанника это были магические, священные слова, дающие силы жить. Сигизмунд знал наизусть много стихов Мицкевича и повторял те, что особенно волновали его:

Тиранов рухнет власть, любовь растопит лед,
И Капитолий ввысь свой купол вознесет,
И смертный перед ним застынет, изумленный,
Когда король-народ, всей властью облеченный,
Всех деспотов своих на гибель обречет
И новой вольности в Европе свет зажжет.

Кроме посещения лекций в свободные часы в Коллеж де Франс и рабочих собраний Сигизмунд, когда были деньги, ходил на концерты другого своего великого земляка — Фридерика Шопена.

— Если б я имел дар композиции, то не мог бы ничего прибавить к тому, что нашел в мире звуков Шопен. Он, как и Мицкевич, читает в сердцах наших и рассказывает прочитанное,— говорил друзьям Сигизмунд.

Красоцкий купил старую скрипку. Он играл на ней не только польские народные мелодии, но и пьесы Шопена. Летом Сигизмунд по вечерам открывал окна, и волнующие звуки собирали на улице толпу слушателей. Владельцы лавок и питейных заведений приводили к нему своих детей, и вскоре к урокам математики присоединились уроки музыки. Но главное — он приобрел любовь жителей пыльной, захудалой окраинной улицы Вожирар. Музыка сближала людей и радовала их.

На улице Вожирар, как и на многих других окраинах Парижа, жило много иноземцев. Изгнанники — немцы, поляки, итальянцы — нашли после революции 1830 года здесь пристанище. Рабочие и ремесленники зорко следили за всем происходящим в Европе, особенно во Франции. От этого зависела и их судьба. Они собирались и обсуждали политические новости, объединялись в союзы.

Иногда на их собраниях бывали французские журналисты, такие, как многознающий редактор прогрессивной газеты «Реформа» Флокон, заносчивый и поучающий Луи Блан. Они призывали к борьбе за право человека быть человеком.

Маркс любил встречаться с рабочими, внимательно вслушивался в их речи. Он охотно принимал приглашения. И в этот августовский вечер он пришел в домик, где жили Кабьен, Красоцкий, Дивероли и Сток. Комната вдовы — самая просторная в домике — оказалась битком набитой портными, столярами, печатниками и прядильщиками. Разговор шел о невыносимо длинном рабочем дне, о дороговизне и высокой квартирной плате за лачуги. Потом заговорили о премьер-министре Гизо и короле, которые исказили все конституционные законы, о событиях на французском Таити, где англичане через своих миссионеров вызвали волнения среди жителей.

— Из-за интриг королей там погибли французские матросы,— сказал Кабьен.

— Уста короля,— ответил бородатый столяр, намекая на Гизо, которого Луи-Филипп называл «мои уста»,— болтают о благе французского народа, да только под народом понимают банкиров, спекулянтов и пройдох.

— Я рос в деревне, так там крестьянин свою лошадь бережет, чтоб больше служила, а фабрикант не чает, как своего

кормильца в могилу загнать,— сказал молодой рабочий с металлургического завода.— Своей же выгоды не понимает.

— Это мы давно знаем.

Было жарко, и многих мучила жажда. Хозяйка внесла на подносе кувшин с водой и кружки. Подойдя к Марксу, она достала из огромного кармана белоснежного передника коробочку и, открыв ее, осторожно положила на поднос кусочек сахару грязно-желтого цвета. Кланяясь чинно, сказала:

— Вы извините, месье, но тростниковый сахар мне не по средствам. Слава богу, что люди сумели из простой свеклы извлечь такую же сладость, как из заморского тростника. Ведь с той поры, как появился свекловичный сахар, дети бедного человека могут тоже попробовать это чудесное лакомство. Раньше мы и слова такого не слыхали.

Маркс рассказал о панике, которая обуяла фабрикантов тростникового сахара в связи с появлением на рынке свекловичного. Они не раз требовали, чтобы правительство полностью запретило выработку сахара из свеклы.

Разговор снова вернулся к Гизо и самоуправству Луи-Филиппа.

— В тюрьме Огюст Бланки и Барбес. Некому свернуть шею монархии. Много говорим, мало делаем,— сказал из толпы типографский рабочий, член тайного республиканского «Общества времен года», разгромленного пять лет назад после неудачного восстания.

— Нет смысла лезть в драку, заранее зная, что побьют. Хватит, нас довольно били. Выступать — так уж чтоб победить. Я сам дрался на лионских баррикадах и был в тысяча восемьсот тридцать девятом году ранен, сражаясь в Париже рядом с Бланки,— сказал Сток, обводя всех острым взглядом.

— Терпение лопается. Гизо не допускает никаких реформ, душит свободу,— возразил все тот же наборщик.

— Ничего, время не стоит на месте. Нас много и с каждым днем становится все больше. Мы не разбросаны, как были. С каждой новой фабрикой будет возрастать армия рабочих. Теперь нас голыми руками не возьмешь,— продолжал уверенно Сток.

Маркс одобряюще взглянул на него.

Поздно вечером Карл возвращался домой, с ним шел Иоганн Сток. Они снова заговорили о подлинном правителе Франции этих дней.

Сток сказал:

— Прав, пожалуй, Ламартин, когда говорит о Гизо, что, заняв положение благодаря случайности и революции тысяча восемьсот тридцатого года, он поставил себе целью оставаться неподвижным, отвергая малейшие улучшения... Но раз так, его вполне можно заменить просто тумбой.

Маркс рассмеялся.

— На этот раз сладкоголосый фразер Ламартин сказал неплохо. Но не Гизо, который в течение пяти лет тормозит все, определяет движение истории.

Маркс и Сток подошли к Сен-Жерменскому предместью. После многих жарких дней небо Парижа обложили тучи, но дождя не было. Где-то вдали, разрезая темный небосклон, вспыхивали и гасли голубые зигзаги.

— Приближается гроза,— сказал Сток, вглядываясь в даль. Он был рад тому, что воздух наконец освежится.

— Гроза будет позже. Эти всполохи на горизонте — пока еще зарницы,— ответил Маркс.

I

Господин Генрих Бернштейн часто просыпался по утрам не в духе. Лежа в огромной резной позолоченной кровати под бархатным малиновым пологом на нескольких добротных немецких пуховиках, он старался определить, что же, в конце концов, особенно не удалось ему в последнее время. Его любовница — певица, юркая, как обезьянка, приобретшая благодаря Бернштейну известность на подмостках парижских кафешантанов,— давно ему надоела. «Следует сбыть ее кому-нибудь из влиятельных друзей,— сказал себе Генрих Бернштейн, сбрасывая ночную рубашку и натягивая набрюшник.— Это будет нетрудно,— размышлял он.— Ее грация, яркие туалеты и стройные ноги, которые я сделал столь популярными благодаря крикливым афишам и увлекательным подробностям в газетных заметках, подняли цену на эту дуру во много раз».

Но дело было не в любовнице и не в проигрыше накануне вечером в казино на Монмартре. Быть может, его беспокоит отрыжка после пьяных кутежей в ресторане Лемарделэ и боль в печени? «Нельзя есть столько жирных паштетов»,— думал Бернштейн. Когда он одевался, его всегда охватывало философское настроение.

Что такое жизнь для немца, рожденного в Гамбурге, лучшем из городов, скитавшегося по Австрии и заброшенного судьбой в Париж? Жизнь — это сложное предприятие, которое может

в любой момент обанкротиться. Главное, как во всяком торговом деле, уметь подавать себя в наивыгоднейшем виде. Это тоже реклама. Она во всем движет выгоду и успех.

Но вдруг Бернштейн нахмурился. Неужели одной рекламы мало? Что еще такое придумать? Трудно жить в конце первой половины XIX века. На пути дельца столько волчьих ям, что, глядишь, и провалишься.

Реклама была до сих пор единственным могущественным божеством, которому верил Генрих. Он говорил каждому деловому, а это, по его мнению, означало — богатому человеку, которого встречал в кафе, в конторе, в театре:

— Вы сомневаетесь в силе газетной рекламы? Ручаюсь, что с ее помощью я могу сделать знаменитым скрипача, выгнанного из консерватории за бездарность, безголосую певицу, любого поэта, которого никто не читает. Мне все равно, француз это или немец. Если бы господин Анри Бейль обратился ко мне в свое время, его скучнейшие книги покупали бы нарасхват. Я знаю душу человека. На чем основана власть королей, князей, Гизо и Меттерниха? На рекламе! Это рычаг, который управляет в наше время всей торговлей и искусством, всяким продвижением. Без рекламы нет признания.

Вцепившись однажды в вышитый золотом жилет короля лионских мануфактур Броше, Генрих решил убедить его дать денег на издание газеты.

— Я узнал, что дамы во всем мире охладели к лионскому бархату! Безумные! Им надоели также кружевные мантильи. Дайте мне денег, и я верну вам их всех, где бы они ни находились — в ледяном Санкт-Петербурге или знойном Мадриде. Реклама — это величайшее внушение, гипноз более могущественный, чем у индийских йогов. Она создает моду и правит миром. Я в своих статьях уговорю самую уродливую из женщин, что лионские ткани превратят ее в фею, что шелка, шурша, тревожат мужской слух и воображение.

— Да не поэт ли вы? — спросил испуганно дряхлый Броше, пытаясь спастись бегством. Он с давних лет считал, что поэты опасны, как буйнопомешанные. Их бред порождает революции. И, приняв Бернштейна за поэта, он отказал ему в субсидии на газету.

Бернштейн долго мечтал проявить себя во всю ширь, и ему наконец это удалось. После первого акта оперы «Гугеноты» его представили композитору Мейерберу. Никогда Генрих не испытывал такой робости, как в эту минуту перед знаменитым гене-

рал-музик-директором Берлинской оперы, прославленным композитором, пианистом и дирижером.

Яков Бер, как при рождении назывался славолюбивый композитор, стал Мейербером, что было обусловлено завещанием его деда по матери. Эта приставка принесла ему громадное состояние в придачу к деньгам отца, крупного банкира.

Когда Генрих Бернштейн, раскланиваясь с порога ложи, подошел ближе, композитор долго рассматривал его в лорнет. Заикаясь и путая слова, Генрих принялся превозносить необычайное дарование «великого сына Пруссии».

— Если бы я мог, то ежедневно устами знаменитейших критиков и знатоков оперы пел бы заслуженные дифирамбы, превозносил бы ваш не всеми еще достаточно оцененный гений,— сказал он в конце своего монолога.— Вы, по словам нашего Гейне, задыхаетесь под зеленым бременем лавровых венков, но ваши достоинства заслуживают большего.

Пронырливый делец убеждал хитрого и надменного, как испанский гранд, Мейербера в необходимости иметь свою газету.

— Это нужно во имя искусства, лучшим украшением коего вы являетесь, во имя прославления немецкой оперы,— нашептывал коммерсант.

Композитор, опустив острый подбородок в муаровый бант, повязанный на шее, упивался своей музыкой, которую считал непревзойденной.

— Да, мир нас не знает в должной степени. Мы к тому же, естественно, каждым нашим успехом вскармливаем тьму завистников, всяких музыкальных ничтожеств, опасных, как Сальери. Их так много приходится на один талант! (Он из скромности не сказал «на одного гения».) Я стараюсь бывать чаще в современном Вавилоне,— ведь Берлин так провинциален. Да, газета для нас и о нас, чужеземцах, в Париже была бы мне приятна для чтения, как отдых в час досуга.

Неограниченный благодаря огромным деньгам властелин не только берлинской, но и парижской оперы, маэстро Мейербер был ненасытен в своем тщеславии. Подкуп, подарки, лесть, а иногда и подлость сопровождали его возвышение. Никто не мстил утонченнее за критику и не оплачивал дороже восхваления, чем этот болезненно честолюбивый богач. Его пиршества в знаменитой «Гостинице Принцев» перед премьерой для газетных фельетонистов и критиков славились не меньше, чем арии созданных им опер.

Предложение Бернштейна прельстило композитора. Спустя

несколько дней музыкант из банкиров подписал чек на крупную сумму. Сбылась наконец мечта Бернштейна. Отныне он становился хозяином газеты, этого вернейшего, по его мнению, проводника рекламы.

Газета должна была называться «Вперед» («Форвертс») и выходить дважды в неделю. Она предназначалась не только для немцев, живущих во Франции, но также для читателей Пруссии и других немецких королевств и княжеств.

Сидя в кафе, Генрих Бернштейн долго решал, каким сделать рисунок заголовка. После нескольких бокалов вина он заказал художнику картинку, которая взволновала его воображение. Открытая карета, запряженная четверкой лихих лошадей, несется стремительно по улице мимо домов с готическими крышами. В ней кроме кучера, замахнувшегося кнутом, много пассажиров: мужчины в высоких шляпах и дамы под светлыми зонтиками. Уличный фонарь, тщательно нарисованный на переднем плане, особенно понравился издателю.

— Превосходно. Это умилит душу каждого немца.— Генрих Бернштейн любил повторять вычитанные где-то слова римского цезаря Веспасиана, обложившего налогами общественные уборные и свалки, что «деньги не пахнут». Он добывал их, не гнушаясь никакими махинациями.

Политикой он интересовался, поскольку можно было извлечь прибыль. Все зависело от нюха и ориентировки. Политика — та же игра, азарт. Бернштейн никогда не пропускал бегов и то выигрывал, то проигрывал на тотализаторе.

Создавая газету, он нашел себе опору в германском юнкерском реакционном патриотизме. Бернштейн принялся вытеснять драматургов «Молодой Германии», находившихся под явным влиянием изгнанных с родины Гейне и Берне. Немецкие пьесы этой литературной группы, часто сентиментальные и слабые, но всегда бунтующие против современных порядков, угождали главным образом вкусам мелких буржуа.

Генрих Бернштейн задумал повести из Парижа наступление на своих конкурентов с помощью множества французских водевилей и драм. Подобно мотылькам, они отличались обманчивой пестротой и полной невесомостью. Эти пьесы скоро исчезали, унося в небытие также и имена своих создателей. Сначала Генрих считал себя в выигрыше. Но вскоре газета натолкнулась на упорное сопротивление. Немцы явно перестали интересоваться французскими пьесами. Монархическое направление газеты также отталкивало подписчиков. Не помогла и реклама.

— Мы живем в век политики, и без нее нет обогащения,— сокрушался Генрих Бернштейн.

Первым редактором газеты «Форвертс» был Адальберт фон Борнштедт, отставной прусский офицер. Если в глазах Генриха Бернштейна еще мелькало что-то напоминающее мысль, страсть или чувство, то Адальберт фон Борнштедт, знавший несколько языков, слывший патриотом, не позволял мускулам и нервам бескровного лица и тусклым глазам как-либо отзываться на внешние впечатления. Он достиг в этом величайшего совершенства, и казалось, лицо его было вытесано из камня. Служба в прусской армии научила его выправке. Он передвигал ноги не сгибая, говорил голосом, лишенным каких бы то ни было оттенков; вообще он предпочитал слушать, а не говорить и быть незаметным, что создавало ему репутацию скромности.

Этот заведенный раз навсегда, невозмутимый, как часы, человек был оценен высшими чинами полиции сначала Австрии, где его безукоризненный автоматизм, светские манеры, кой-какие знания и молчаливость привели в восхищение и внушили полное доверие даже такому знатоку людей, как Меттерних. Князь не раз принимал Адальберта по условному письму, в ночное время, в одном из потайных залов своего замка Иоганнисберг.

Князь Клемент Меттерних, канцлер Австрии, стал после Венского конгресса 1815 года фактическим властителем Европы. Его могущество несколько раз казалось поколебленным, но после революции 1830 года английский премьер Каннинг и русский царь Николай, австрийские Габсбурги и многочисленные германские государи снова бросились за помощью к Меттерниху. Канцлер был ярым врагом революции. Он поклялся бороться с нею до последнего вздоха и провозгласил право вмешиваться в дела стран, охваченных революционными волнениями. Основой политической системы Меттерниха, громогласно им заявленной, было право силы во имя безопасности знатных и имущих.

Николай I, выражая канцлеру Австрии свою благодарность за защиту монархии, сказал: «Берегите себя, князь, вы наш краеугольный камень».

Несмотря на необъятную власть, богатство, удовлетворение любой прихоти, несмотря на любовь красавицы жены Мелании Зичи и потоки лести, семидесятилетний канцлер не чувствовал себя счастливым. Старость оказалась страшнее любой революции. Он тщетно старался побороть надвигающуюся немощь.

Ничто не помогло. Время — вот враг, перед которым Меттерних оказался бессильным. Дряхлел канцлер. В мире назревали события, которые подрывали его политическую систему. Огромная плотина, воздвигнутая Меттернихом совместно со всеми реакционными правительствами Европы, чтобы остановить движение революции, грозила рухнуть.

«Неужели я ставлю гнилые подпорки?» — думал он в бешенстве и отчаянии.

Адальберт фон Борнштедт никогда ни перед кем не чувствовал себя таким ничтожным и оробевшим, как перед нарядным высокомерным старичком, полулежавшим у камина в кожаном вольтеровском кресле. Имя Меттерниха так гипнотически действовало на протяжении многих десятилетий, что Адальберт, всегда невозмутимый, с трудом владел собой. Он избегал смотреть в глубоко запавшие глаза этого бога реакции, обладавшего хваткой барса и хитростью лисицы.

— Мы посылаем вас во Францию,— говорил князь.— Эта страна стала после тысяча восемьсот тридцатого года мусорным ящиком мира. Все бунтари, заговорщики, революционеры — вся грязь человеческая нашла там прибежище. Тем лучше, их легко будет нам вымести или же сразу сжечь, чтоб не разносить заразу по миру. Революция опасна, как чума. Впрочем, плебс, несмотря на силу мускулов, никогда не победит. Это тело без головы. Я не могу относиться серьезно к господам Прудонам, Бланам и Бланки. Люди нашей высокой культуры и ума не пойдут к черни. Если они не патриции по рождению, то продажны. Их можно купить. Несомненно, революционеры обречены; у них никогда не будет своих ученых и вождей. Сейчас в Париже заправляет всем ничтожество Гизо. Впрочем, Тьер хоть и в другом роде, но тоже акробат. Увы, не стало настоящих людей, таких, как герцог Ришелье, например. Вот был политический гений, не правда ли? Что будет с человечеством, когда погаснет последний факел ума и знаний, освещающий землю?

Адальберт фон Борнштедт понял, что под факелом Меттерних подразумевал себя, и подобострастно ответил, смягчив лесть мертвенной неподвижностью лица и бесстрастностью голоса:

— Тогда на землю снизойдет тьма, но я уверен, как и все друзья порядка и покоя, что ваша светлость еще много лет будет освещать своим гением пути, по которым пойдут цивилизованные страны.

Меттерних самодовольно улыбнулся и предложил сесть фон

Борнштедту, все еще стоявшему перед ним навытяжку. Канцлер высказал несколько критических замечаний о политике России и Англии и спросил о настроениях в Пруссии. Когда фон Борнштедт закончил свой отчет о родной стране, канцлер сказал:

— Вы напишите мне подробное донесение о настроениях правительства и обо всем существенном в Берлине.— Подумав, продолжал: — Когда вы будете во Франции, присмотритесь к Тьеру. Сейчас это проще. Гизо пролез в доверие к глупцу королю, и Тьер попал в опалу. Однако Тьер, этот честолюбец и хитрец, еще будет фиглярничать не раз на мировой арене. Он обладает исключительным даром приспособления, превосходный эквилибрист в политике. А это важное свойство. К тому же никто из деятелей современной Франции не любит власть так страстно, как он.

— Да,— подтвердил Адальберт фон Борнштедт и, ободренный покровительственной улыбкой Меттерниха, добавил: — Один французский поэт отлично сказал, что Тьер жаждет управлять один или с большинством, один или с меньшинством, управлять со всеми или против всех, лишь бы править, лишь бы быть во главе государства.

Поздно ночью Адальберт фон Борнштедт покинул дворец Меттерниха и под утро в закрытой карете выехал из Австрии.

Но, будучи старательным шпионом Меттерниха, пруссак по происхождению, он не довольствовался только этой службой и одновременно, по совместительству, был шпионом также и прусского правительства. Оно весьма дорого оплачивало его услуги. Частичка «фон» — принадлежность к дворянству — придавала особую цену Борнштедту. Как и Мейербер, он любил Париж, предпочитал всем женщинам и винам французские и скучал в казарменной атмосфере Берлина.

Так, продавая то Пруссию Австрии, то Австрию Пруссии, а иной раз и обе эти страны России, он внимательно следил в Париже за эмигрантскими кружками, говорившими на его родном языке. Звание редактора ему пришлось весьма кстати — как удобное прикрытие.

Но вместе с Генрихом Бернштейном он промахнулся, начав борьбу с «Молодой Германией», и рассердил этим берлинских филистеров — зажиточных горожан, которые изображали из себя сторонников реформ и прогресса. Между двумя кружками пива, после сытных сосисок, они охотно занимались критикой своего правительства, не приносившей, впрочем, никому вреда

и очень способствовавшей их пищеварению. Курс, взятый газетой «Форвертс», их сначала разочаровал, а затем и возмутил.

Тщетно Генрих Бернштейн писал статьи, в которых обещал, что газета откажется от всяких крайних взглядов как реакционных, так и революционных.

Еще раньше своих соотечественников отбросили газету парижские эмигранты.

— Умеренность, золотая середина — так учил нас Аристотель,— пытался вторить Бернштейну в своих статьях и Адальберт фон Борнштедт. Он был готов на все, лишь бы сохранить добрые отношения с немецкими эмигрантами и не отпугнуть их от газеты. Ведь это была та дичь, за которой его послало охотиться прусское правительство, щедро вознаграждая его за каждое донесение.

Но, прочитав и эти лояльные высказывания, эмигранты не поверили редактору и издателю. Тираж газеты резко упал.

В это время Борнштедт, поссорившись с прусской полицией, выполнял указания Австрии. Заметив резкое изменение курса газеты, департамент тайной полиции в Берлине доложил правительству о возмутительной пропаганде газеты «Форвертс» и добился запрещения ввоза ее в Пруссию. Остальные немецкие правительства последовали этому примеру. Крах навис над «Форвертсом». Адальберт фон Борнштедт, ожидая головомойки, обрадовался отставке с редакторского поста и поехал в Берлин с покаянием.

Генрих Бернштейн на этот раз, надевая по утрам корсет и подстригая вьющиеся бакенбарды, дольше обыкновенного философствовал о сущности жизни. Хотя положение газеты казалось безнадежным, он отправился к Мейерберу, готовый к отпору и нападению. Однако патрон встретил его любезнее, чем он ожидал. Накануне прошла с успехом премьера его оперы «Лагерь в Силезии», прославлявшей Фридриха II. Правда, наслаждаясь аплодисментами и вызовами, Мейербер знал, что незаменимый Генрих Бернштейн дорого оплатил клакеров, которых рассадил для большей конспирации не группами, а порознь во всем театре. Они шумно доказывали, что получили деньги не зря.

Знаменитый «шведский соловей» — певица Женни Линд превосходно спела партию цыганки. Декорации и оркестр сумели передать военную мощь, великолепие двора одного из царственных Гогенцоллернов. Безукоризненны были также афиши и либретто. Королевско-прусский музик-директор ценил

превыше всего успех. Денег у него было так много, что он мог их швырять на любую прихоть.

— Итак,— сказал Мейербер, подымаясь из-за рояля и томно срывая туберозу в одном из вазонов, которыми после вчерашней премьеры была заставлена его гостиная,— газета не попала в тон и, сфальшивив на верхней ноте, сорвала голос.— Он остановился, ожидая похвал. За что бы его ни хвалили — за оперу, костюм или остроту, он жаждал восхищения. Генрих Бернштейн, понимая это, гулко захохотал.

— Превосходно, герр директор, превосходно сформулировано, колко сказано! Да, гениальные люди во всем гениальны, будь то звук или слово. Об этом следует заказать статью кому-нибудь из наших всезнаек.

— У вас, кажется, не осталось больше подписчиков, кроме меня,— раздвинув в улыбке узкий насмешливый рот, сказал композитор, вдевая цветок в петличку сюртука.

— Да, дело обстоит плохо. Мы поставили, образно выражаясь, не на ту лошадь. Что ж, это случается и с очень опытными людьми. Издатель в наше время тот же игрок, и весьма азартный. Нам необходимо изменить курс. Это вывод, который подсказало нам поведение прусского правительства. Как оно глупо, будем откровенны. Оно не поняло своих же государственных интересов, отбросив такого друга, такую рекламу, как наш благонамеренный печатный орган. Тем хуже для них. Раз «Форвертс» запрещен у нас в Пруссии, надо сделать его достойным этого политического акта. Необходимо придать газете всю притягательность запрещенного издания; в наши дни это лучшая из реклам, обеспечивающих спрос. Запрещенная газета! Да все обыватели сегодня наши подписчики и готовы добыть газету хотя бы контрабандным путем. Мы им поможем. Эмигранты в Париже тоже призадумаются. Будьте уверены, мы никогда не имели лучших коммерческих перспектив. Но нельзя обманывать потребителя. Он ждет сенсаций и заранее содрогается от восторга. Среди немцев я отыскал незаменимого редактора для нашего возрождающегося из праха детища.

— Кто это? — лениво спросил Мейербер. Он скучал.

— Баварец родом, молод, фанатичен, верит в то, что делает и говорит, весь экспрессия и протест, к тому же перо его жжет, как крапива. У него много талантливых друзей: Гейне, Руге, Маркс... Все они будут нашими авторами. Колоссальные возможности! Я надеюсь, у вас нет возражений против юного Бернайса. Кстати, по секрету, он признался мне, что считает создателя

«Гугенотов» величайшим творцом опер нашего века. Ваша музыка — это бурлящий водопад, то тихий, то грозный океан, в то время как все эти Доницетти, Россини и бездарные Верди производят подслащенный сироп, разбавляя его в массе воды.

— Отлично сказано,— оживился Мейербер.

Молодой, чрезвычайно болтливый, легковерный, но пылкий журналист, юрист по образованию, Бернайс стал редактором «Форвертса». И тотчас же к газете примкнули многие немецкие эмигранты, живущие в Париже.

Маркс, искавший трибуну для продолжения борьбы, начатой в «Рейнской газете», решил воспользоваться приглашением сотрудничать в «Форвертсе». Не замедлил принести свои статьи Арнольд Руге. В одной из них, напечатанной за его подписью, он, соглашаясь со многими мыслями Маркса, брал под защиту его работы в «Немецко-французском ежегоднике», на которые пытался нападать Генрих Бернштейн в первый, несчастливый период существования «Форвертса».

В помещении редакции «Форвертса» всегда было накурено, шумно и многолюдно. Несколько раз в неделю там собирались сотрудники: стремительный Маркс, болтливый изнемогающий от груза новостей, сплетен и домашних неурядиц Бернайс, больной Гейне, щеголеватый Гервег, краснобай Бакунин, трудолюбивый Вебер и тщеславный Руге.

Иногда в редакции поднимался словесный ураган, в котором трудно было что-либо разобрать, затевалась праздная беседа. Бернайс, прерывая монологи Руге и Бакунина, принимался жаловаться на коварство жены, которую подозревал в измене, или таинственно сообщал о последних событиях в высшем обществе и за кулисами театров. Эти новости поставлял ему вездесущий Генрих Бернштейн.

Маркс терпеть не мог празднословия. Истребляя одну за другой сигары, он нередко властно прекращал разглагольствования и призывал всех к делу. Ему не перечили. Маркс скоро стал душой газеты. Уверенно и вместе скромно он подсказывал нужные для следующего номера «Форвертса» темы статей, неотступно следил за тем, чтобы газета сохраняла прогрессивное направление, редактировал ее и писал иногда передовые статьи, а также лапидарно сжатые заметки без подписи.

Врач Вебер не обладал специальными познаниями в области политической экономии, но был образованным и способным популяризатором. Маркс, оценив это, со всей присущей ему щедростью стал делиться с Вебером своими мыслями, он дал

ему свои экономико-философские рукописи, из которых тот почерпнул теоретические важнейшие положения и цитаты для своих статей. Вебер в доходчивой форме повторял многое из записок Маркса о власти денег в буржуазном обществе. Он привел ту же цитату из «Тимона Афинского» Шекспира о золоте, как это сделал Маркс.

...Ты
Орудие любезное раздора
Отцов с детьми; ты осквернитель светлый
Чистейших ложе супружеских; ты Марс
Отважнейший, ты вечно юный, свежий
И взысканный любовию жених,
Чей яркий блеск с колен Дианы гонит
Священный снег; ты видимый нам бог,
Сближающий несродные предметы...

Руге как-то напечатал в «Форвертсе» несколько заметок и статей о прусской политике, о восстании силезских ткачей, которые снабдил всевозможными сплетнями о нелестных чертах характера пьяницы — прусского короля, привычках хромой королевы. Последнюю заметку он закончил предположением, что прусская королевская чета состоит только в «духовном» браке. Всю эту пошлость Арнольд Руге подписал не своей фамилией, а псевдонимом «Пруссак».

«Кто же это такой?» — недоумевали читатели. Сам Руге был некогда гласным городской думы Дрездена и числился в списках саксонского посольства во Франции.

Женни Маркс, прочитав подленькие статьи, подписанные «Пруссак», заволновалась.

— Кто такой «Пруссак»? Читателя явно наводят на ложный след,— сказала она гневно, протягивая газету мужу.— Ведь иные подумают, что «Пруссак» — это ты, Карл.— И, всплеснув руками, добавила: — Вот до чего доводит людей политическая ненависть. Надо искать автора среди наших врагов. Я уверена, что это Руге. Его стиль, его перо...

— Госпожа и господин Руге,— заметила Елена Демут, пеленавшая тут же маленькую Женни,— того и гляди, лопнут от бешеной злобы. Они не гнушаются ничем, всякой руганью, когда говорят о докторе Марксе. Я это сама слышала.

— Такие аргументы свидетельствуют только об их слабости,— ответил спокойно Карл, желая умерить нараставшее возмущение обеих женщин.

— Ты думаешь оставить без ответа пущенную в тебя отравленную стрелу? — удивилась Женни.

— Нет, конечно. Я выведу Руге на чистую воду, но не его методом. Помнишь, как смеялся он над моими новыми соратниками: «Полтора пролетария — вот армия Маркса»? К тому же, и это главное, мне есть с чем полемизировать в его статьях.

Карл прошелся по комнате. Он любил схватки и предвкушал победу, как всякий человек, убежденный в своей правоте.

— Умен господин Гейне. Как хорошо сказал он про подобных господ,— снова заговорила Елена Демут, любуясь маленьким ребенком, весело выглядывавшим из нарядного свивальника.— Такие люди, как господин Руге, сказал он, что клопы: не трогаешь их — кусают, давишь — воняют.

Карл и Женни засмеялись. Ленхен вскоре вышла с ребенком на руках. Карл заговорил, как бы думая вслух. Женни особенно любила эту его привычку мыслить вслух в ее присутствии.

— Отвечать надо так, чтобы не уподобиться Руге, который стремительно скатывается на самое дно беспринципности. Он жалок и труслив. Есть своя логика у человека, когда он становится предателем: сказав «а» в алфавите отступничества, он неизбежно произносит все буквы до последней... Руге очень скоро доползет на брюхе до прусского министерства иностранных дел, будет каяться и вымаливать прощение, сваливая на бывших товарищей свои грехи.

Глаза Женни заблестели. Арнольд Руге показался ей похожим на мокрицу.

Маркс, не откладывая, принялся за статью, которая достойным образом должна была отвести от него подозрения в авторстве подлой стряпни.

Внимательно делая пометки на полях и подчеркивая отдельные фразы, Карл снова прочел все, подписанное словом «Пруссак». Не могло быть сомнений в том, что автором был Руге. Карл узнал его слог и образ мыслей. И не ошибся.

В одной из своих статей Руге, пытаясь умалить значение происшедшего недавно восстания силезских ткачей, доказывал, что у рабочих не было политических целей, без чего нет и социальной революции. Это дало повод Марксу с меткостью эпиграммы разбить вымученные, напыщенные разглагольствования Руге.

«Каждая революция,— писал Маркс,— разрушает *старое общество,* и постольку она *социальна.* Каждая революция низвергает *старую власть,* и постольку она имеет *политический* характер».

Маркс отвергал утопические учения и доказывал, что социализм нельзя осуществить без революции.

Восстание силезских ткачей вызвало волну филантропической жалости у немецких буржуа. Классовая борьба в Германии еще была слабой, протекала вяло, и имущие охотно проливали крокодиловы слезы над участью бедных тружеников.

Особенно старалась «Кёльнская газета», открывшая сбор пожертвований в пользу семей убитых или арестованных ткачей. Богатые купцы и высшие чиновники вносили небольшую денежную лепту, о чем спешили повсюду разгласить. На одном из банкетов в Кёльне на блюдо, обносимое вокруг роскошно убранного цветами и яствами стола, падали, звеня, деньги, и дамы, вздыхая, говорили своим кавалерам: «Жаль этих полудиких бедняков. Нельзя в наш век натягивать струну до того, что она лопается. Это все-таки люди и немцы». Было собрано около ста талеров.

Старый друг Юнг писал Карлу, что даже буржуазная «Кёльнская газета» охотно жонглирует словом «коммунизм».

Но Карлу было ясно, что, как только рабочее движение в Германии окрепнет, оно тотчас же встретит кровавый отпор фабрикантов и банкиров. Начнется социальный бой, и баррикады разделят навсегда два непримиримых класса.

Сострадание немецкой буржуазии к угнетенным ею же рабочим является пока лишь подтверждением слабости борьбы и того, что богачи переоценивают свое могущество, не боясь своих рабов.

Восстание силезских ткачей было первой угрозой частной собственности, и в нем Маркс открыл особенности, каких еще не знала летопись плебейских социальных взрывов. Карл писал в статье против Руге:

«Прежде всего, вспомните *песню ткачей*, этот смелый *клич* борьбы, где нет даже упоминания об очаге, фабрике, округе, но где зато пролетариат сразу же с разительной определенностью, резко, без церемоний и властно заявляет во всеуслышанье, что он противостоит обществу частной собственности. Силезское восстание *начинает* как раз тем, чем французские и английские рабочие восстания *кончают*,— тем именно, что осознается сущность пролетариата... В то время как все другие движения были направлены прежде всего только против *хозяев промышленных предприятий*, против видимого врага, это движение направлено вместе с тем и против банкиров, против скрытого врага».

Буржуазия заигрывала с восставшими ткачами, как бы развлекалась игрой с порохом, и в то время, как непосредственные хозяева силезских ткачей добивали их голодом и лишениями, другие немецкие буржуа жертвовали на гроб погибшим в восстании и бросали куски хлеба оставшимся без кормильца рабочим семьям.

Обращаясь к прошлому, анализируя историю революций, чартистских и лионских восстаний, Маркс искал всему этому научное историческое объяснение. В тот день он решил продолжать статью ночью, когда в доме наступит полная тишина. Тогда ничем не отвлекаемый мозг начинает свою упоительную, таинственную работу: подхватывает, скрепляет и ткет, без конца ткет, невидимо и бесшумно, неразрушимую пряжу мыслей.

Как любил Карл эти тихие творческие часы! Спят Женни, Ленхен и малютка дочь. Штора наглухо закрыла окно. Ничто не мешает думать, ставить вопросы и находить решения.

Свет лампы под абажуром падал на белые листы, оставляя в тени все окружающее. Бумага покрывалась созданными током крови, бегущей по артериям, питающей нервы, сердце и мозг, бессмертными словами. Память щедро выбрасывает на поверхность свои сокровища.

На столе разбросаны таблицы, справочники, заметки. Иногда Карл черпает из них то, что ему необходимо. Все это вплетается в ткань статьи, перо несется неровно, точно лодка по разбушевавшемуся потоку возникающих мыслей.

Маркс был истинным поэтом в творчестве. Он отдавался вдохновению, подчинялся его зову. Работая без устали несколько недель подряд, случалось, потом он долго предавался безделью, лежал на диване и перелистывал случайные книги, чаще всего романы или стихи. И так же внезапно прекращался этот духовный отдых, и Маркс рьяно, запойно предавался снова работе, не щадя себя, отдаваясь весь мышлению и творчеству. Если его отвлекали, он страдал. Творя, он становился к себе придирчив и без конца чеканил слог, фразу, строку, как самый кропотливый из гранильщиков, шлифующих алмазы.

Днем в квартирке на улице Ванно суетно и шумно. Маленькая Женни улыбается, протягивает ручонки, произносит нежные, неопределенные звуки, вглядывается в солнечные зайчики и лица нянчащих ее людей. Но, вступая в жизнь, она так же, как и все дети, иногда хворает. Ее улыбка вызывает радость у взрослых, ее крик пугает отца и мать и застав-

ляет их искать причину. Ее болезни вносили в дом паническую растерянность. Только Ленхен становилась тогда еще более деловитой, настойчивой и властной.

Однажды, когда у Женнихен внезапно появился жар и Карл, оставив работу, не отходил от кроватки больного ребенка, Елена сказала ему назидательно:

— Вы что же, думаете, малютка вырастет, не переболев разными болезнями? Да тогда она не получит закалки. Дети после болезни умнеют и крепнут.

Карла несколько успокаивает ее тон.

— Идите-ка, доктор Маркс, погулять и захватите жену, а то, сидя без воздуха и вздыхая без нужды, она родит вам второго ребенка таким хилым, что некогда вам будет думать, как сделать нас, простых бедных людей, счастливыми и богатыми. Ну-ну, надевайте же шаль, милая Женни. Господин Маркс, захватите зонтик, я уверена, что скоро будет дождь.

Никто не может противостоять натиску здравого смысла — его так много у молоденькой Елены Демут. Она выпроваживает Карла и Женни и тогда уже бросается к ребенку, которого нежно любит. Ленхен — прирожденная сиделка и няня. Никто не умеет так быстро успокоить малютку Женнихен и угадать, что именно болит у нее.

— Лечить ребенка — все равно что птичку. Бедненькие, они только чирикают, но не скажут, где им больно,— шепчет она нежно и принимается поить ребенка подогретым настоем, чудодейственная сила которого ей известна от госпожи Каролины фон Вестфален. Как много узнала она полезного от этой почтенной, важной и доброй дамы. Ленхен выучилась кулинарии, уходу за детьми и больными. Она затвердила, как молитву, которую когда-то выучила у пастора, стародавние рецепты, способы приготовления лечебных отваров и многое другое, необходимое в домоводстве. И теперь это ей очень пригодилось.

Ленхен хорошо знала, что дети благодарные пациенты. Часто они так же быстро излечиваются, как и заболевают. Теплый настой липового цвета и растирание подогретым оливковым маслом помогли Женнихен. И когда Карл и Женни вернулись домой, их дочь крепко спала, а лицо ее перестало пылать, как это было с ночи. Женни, предварительно согревшись, вошла и склонилась над кроваткой дочери, тревожно всматриваясь в ее личико и прислушиваясь. Дыхание ребенка было ровным и тихим.

— Ты кудесница, Ленхен. Чем же ты отогнала болезнь от колыбельки? — спросила она, с благодарностью глядя на молодую девушку.

— Да не сглазьте вы, пожалуйста, и не разбудите крошку,— отмахнулась Демут, притворно рассердившись.

В эти дни пришло письмо из Бармена. Карл нетерпеливо вскрыл конверт. Наконец-то Фридрих написал ему. Прошло три недели, как они расстались. Сообщая об обручении сестры и связанной с этим в доме суете, Фридрих писал, что, возможно, целых полгода предстоит ему пробыть в Германии.

«...Я, конечно, пущу в ход все, чтобы избежать этого, но ты не имеешь никакого представления о том, какие мелочные соображения и суеверные страхи выдвигают тут против меня...» — читал Карл.

«...В Кёльне я провел три дня и был поражен невероятными успехами нашей пропаганды. Наши люди там очень деятельны, но чувствуется недостаток в надлежащей опоре. Пока наши принципы не будут развиты — в двух-трех книгах — и не будут выведены, логически и исторически, из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории как их необходимое продолжение, вся эта работа останется половинчатой, и большинство наших будет блуждать, как в темноте».

Энгельс подробно описывал настроения в Дюссельдорфе и в Эльберфельде и расспрашивал о газете «Форвертс» и ее редакторе Бернайсе. Заканчивал он письмо приветами знакомым, Женни и следующими словами: «Ну, будь здоров, дорогой Карл, и пиши сейчас же. С того времени, как мы расстались, я не был еще ни разу в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что провел у тебя...»

...В полночь Карл снова принялся за не доконченную еще статью для газеты «Форвертс». Он решил дописать ее этой ночью.

Оценивая значение силезского восстания, он вспоминает поразительное по теоретической глубине сочинение немецкого портняжного подмастерья Вильгельма Вейтлинга, немало бродившего по Франции, Германии и другим странам.

— Конечно,— говорит Карл, когда Женни присаживается возле него на ручке кресла, прежде чем уйти спать,— изложение самоучки немца Вейтлинга уступает по форме блестящим формулировкам француза Прудона, но зато мысли и выводы его глубже. Оба пролетария — Прудон и Вейтлинг,— несо-

мненно, самородки. В будущем именно рабочий класс даст миру величайшие умы.

Маркс перелистывает книгу Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы» и продолжает говорить:

— Как ты знаешь, Вейтлинг — один из создателей «Союза справедливых». Он выступил ранее Кабе, Луи Блана и Прудона и стал социалистом. То, что «Союз справедливых» был разгромлен в тридцать девятом году, фактически только укрепило тех, кто действительно хочет борьбы и кто мыслит. Лучшие из членов этого союза снова принялись за дело и сплачиваются. Я вижусь со многими из них, перебравшимися в Париж. Вейтлинг руководит коммунистическим движением в Швейцарии. В Англии, где свобода союзов и собраний облегчает общение, находятся замечательные люди, полные революционной решимости, которой так не хватает многим из наших парижских союзников.

— Это те три настоящих человека, о которых с таким увлечением вспоминал Энгельс: часовщик, наборщик и сапожник? — спросила Женни.

— Именно. Судя по внушительному впечатлению, которое они произвели на Фреда, я жду от них многого. Итак, пролетариат уже даст нам сильные умы. Я этого ждал. Вейтлинг, как и Прудон, разбивает клевету буржуа насчет ничтожества плебса. Эти люди прокладывают дорогу своему классу. Великая миссия!

Прежде чем оставить мужа, Женни уводит его в соседнюю комнату, к постели их ребенка. На свете нет ничего прекраснее, нежели спокойно спящее, чуть улыбающееся дитя.

Отец и мать оба думают об этом. Но, в чепце и длинной, наглухо закрытой белоснежной рубахе, отчаянно размахивая руками, не издав при этом, однако, ни одного звука, вся олицетворенный укор и возмущение, поднимается с соседней кровати Ленхен. Карл и Женни поспешно на цыпочках пускаются в бегство, чуть не опрокинув столик, на котором стоят затемненная лампа, бутылочка с молоком и корзинка с чистыми пеленками.

Наконец тишина прочно окутывает дом. Обе Женни спят.

Карл снова в своем кресле у стола. Перо его с необычайной быстротой следует за мыслью и энергично покрывает вкривь и вкось один за другим листы снежно-белой бумаги.

«Где у буржуазии,— пишет Маркс,— вместе с ее философами и учеными, найдется такое произведение об эмансипации буржуазии — о *политической* эмансипации,— которое было бы

подобно книге Вейтлинга *«Гарантии гармонии и свободы»?* Стоит сравнить банальную и трусливую посредственность немецкой политической литературы с этим *беспримерным* и блестящим литературным дебютом немецких рабочих, стоит сравнить эти гигантские *детские башмаки* пролетариата с карликовыми стоптанными политическими башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать *немецкой Золушке* в будущем *фигуру атлета».*

И, завершая это приветствие восходящему классу, Карл называет немецкий пролетариат теоретиком европейского пролетариата, английских рабочих — его экономистом, а французских — его политиком.

Долго еще пишет Маркс. Под утро, закончив статью для «Форвертса», Карл снова засел за начатый раньше ответ Бруно Бауэру, по плану, разработанному вместе с Энгельсом во время недавней их встречи. Фред уже закончил свои главы брошюры, Карл предполагал, что работа над его частью займет очень немного времени, но, вникая, по своему обыкновению, все глубже и глубже в тему, увлекся. Одно положение рождало последующее, и книга разрасталась вширь и вглубь, как все, над чем работала необъятная мысль Маркса.

Кроме того, первоначальный план обоих авторов написать небольшую брошюру нарушался и другими соображениями. Только книги более чем в двадцать печатных листов, считаясь научными, не подвергались строгой цензуре. Издатель Левенталь из Франкфурта-на-Майне согласился печатать труд Маркса и Энгельса только при условии, если они обойдут все цензурные преграды.

Учитывая это, Маркс написал около двадцати листов. С полутора, сделанными Энгельсом, получилась вместо брошюры большая книга. Она была проникнута юмором, уничтожала смехом, навсегда развенчивая богемствующих болтунов Бауэров и их приверженцев.

Поединок с Бауэром был неизбежен. Он продолжал нападать в газетах на статьи Карла и Фридриха, вышедшие в «Немецко-французском ежегоднике».

В то время как Карл Маркс работал над полемическим произведением, которое вместе с Энгельсом они вначале окрестили «Критика критической критики», граф Яков Николаевич Толстой в арендованном им особняке неподалеку от улицы

Ванно, в Сен-Жерменском предместье, писал обширное донесение в Петербург.

Взлохмаченный, небритый, в шелковом, на вате, шлафроке, сидел он на тахте, покрытой дорогим турецким ковром. Толстому было пятьдесят пять лет, но большое мятое лицо его с дряблым подбородком выглядело старческим.

— Так-то, Иван,— обратился он к своему камердинеру, крепостному лет шестидесяти. Ему он особенно доверял и возил его с собой еще с 1823 года, когда впервые, сославшись на болезнь, уехал за границу.— Гляжу на твою рожу и нахожу, что похож ты на луну и на яйцо всмятку. Итак, по сути, ты луна всмятку.

Старик слуга хихикнул, не то прикрыв смешком обиду и горечь, не то польщенный если не сравнением, то милостивым тоном барина.

— Впрочем, ты, Иван, то есть луна всмятку, не сетуй на меня. Я ведь тоже лицом более всего похож сейчас на эту самую небесную яичницу.

— Что вы, ваше сиятельство! — возмутился Иван.— Белую кость с черной сравняли!

— Мы ведь с тобой похожи,— продолжал Яков Николаевич, как бы не слыша,— может быть, почтенный батюшка согрешил с твоей матерью. Ведь Луша была долго в горничных при барыне. Мой папа́, как и я, был большой демократ. Любил он черный хлебец и квас. Скажу тебе по секрету: женщины все одинаковы.

Камердинер подвинул к графу столик с зеркалом и многочисленными предметами туалета. Вошел парикмахер и принялся причесывать спутанную жидкую шевелюру графа и его бакенбарды.

Граф Яков Николаевич Толстой встал из-за стола надушенный и как бы с отутюженной физиономией. Иван подал ему выходной костюм — светлые брюки, бирюзовый, «в мушку», жилет и темно-коричневый редингот. Надев пальто и цилиндр, Яков Николаевич вдруг размашисто ударил лакея по втянутому животу:

— Ну, как твой, как ты его, бишь, зовешь, пищевар, все не варит?

— Так точно, ваше сиятельство, не варит,— печально и почтительно сказал крепостной, кланяясь.

— Мой тоже плох,— взяв трость и осматривая себя в зеркале, сказал Толстой.

— Все шутить изволите, ваше сиятельство. Вот только не изволили сказать, что ответить, когда мусье Бакунин пожалует в полдень.

— Придумай что-нибудь и проси зайти вечерком обязательно. Всем говори, что граф уехал в посольство, при котором состоит. Запомни хорошенько: именно так — граф отбыл к послу.

С неожиданной для своей внушительной комплекции и возраста почти юношеской легкостью граф Толстой сбежал с лестницы и уселся в карету. Но не в посольство поехал он, а в Булонский лес, где предстояло ему важное и секретное свидание. Развалясь на мягком сиденье в глубине кареты, он мгновенно перестал улыбаться. Лицо его резко изменилось. Губы сжались, и углы их опустились, образуя четкую и злую линию. Две суровые морщины залегли на скулах. Жестким и грубым было выражение небольших глаз под сморщенными веками. Сейчас граф отдыхал от постоянного притворства, которым наполнена была его жизнь.

Только мозг не давал ему покоя, рождая мысли, выбрасывая клочки досадных воспоминаний.

Париж давно стал ему ближе Петербурга. Как только в суровый зимний день на Сенатской площади отзвучали выстрелы и декабрьское восстание было разбито, Яков Николаевич, к тому времени уже два года живший в чужих землях, объявил, что не вернется на родину. Вместе с Тургеневым он стал первым русским политическим эмигрантом. Но шли годы. Николай I, лицемернейший из деспотов и самодуров, понравился Толстому. Графа терзала к тому же тоска по родине — болезнь, именуемая врачами ностальгией. Яков Толстой решил не покаянием, а делом доказать свою преданность новому царю. Он стал писать красноречиво и рьяно донос за доносом на всех, с кем сталкивала его судьба за рубежом. Третье отделение не осталось равнодушным к этому знатному добровольцу, которого все за границей считали невинной жертвой декабрьских дней. Но граф не довольствовался только агентурными донесениями. Он писал в парижских газетах панегирики Николаю I и его правлению. «Это достойный преемник великого Петра. Никогда Россия не была более могущественной державой!» — восклицал Толстой.

В 1837 году его услуги во славу царя и отечества должным образом оценили. Сам Бенкендорф поручился за благонадежность недавнего политического эмигранта. Граф Толстой вер-

нулся на родину, предварительно передав Третьему отделению канцелярии его величества подробнейшие и хитроумные доносы на русских, доверившихся ему в Париже. Он предал всех, кто считал его другом, но зато отныне обрел не только отчизну, но и поприще, на котором мог действовать с наибольшей выгодой для себя. Впрочем, он отождествлял свою выгоду с интересами государства.

Когда Толстой вернулся в Петербург, он был обласкан и назначен агентом Третьего отделения в Париже. Сначала его замаскировали званием корреспондента министерства народного просвещения, а с 1842 года, для большего удобства, причислили к русскому посольству.

Дом графа в Париже был гостеприимно открыт для всех русских, особенно числящихся неблагонадежными в списках жандармов. Не менее хлебосольно встречал Толстой иноплеменных эмигрантов. Чем больше выявляли они бунтарство духа и недовольство существующим строем, тем ласковей он принимал их.

Сейчас, откинувшись на бархатном сиденье, Яков Николаевич, все с тем же выражением бездушия и надменности в лице, думал: «Я служу государю верой и правдой. Мои предки, Толстые, всегда выводили крамолу без пощады и сантиментов. Легко идти в битву, имея врага перед собой. А вот когда он, как тигр в джунглях, прячется, сливается с окружающей природой,— отличи его! Выяви, уничтожь так, чтобы, умирая, он не догадался, откуда последовал смертельный удар. Вот искусство! Вот могущество! Каждый последующий век хитрее предыдущего. Я не рыцарь на турнире, чтобы звуками рога вызывать на состязание противника. Век прогресса требует иных методов. Враг-крамольник стал хитер, и с ним надо бороться его же методами. Все эти бунтари, революционеры надевают на панцирь маскарадный костюм. Я делаю то же. Кто из них предположит, что я, подозреваемый в соучастии в заговоре Пестеля и Рылеева, бывший политический эмигрант, потомок одного из старейших дворянских родов российских, бунтарь, приобрел доверие своего императора. А если заподозрят?»

Страх вползал, как мороз. Яков Николаевич старался успокоить себя: «Никто не заподозрит. Сам никогда не проболтаюсь об этом ни другу, ни слуге, ни женщине, а царь и Третье отделение не выдадут».

— Им невыгодно меня выдавать,— пробормотал Яков Николаевич, запахивая полы шубы.

Булонский лес стоял оголенный. По земле ветер гнал темные, съежившиеся листья, похожие на окурки сигар, которые курили редкие прохожие. Граф Толстой пошел по боковой аллее, где катались на превосходных арабских лошадях амазонки и какой-то худой, длинный, точно Дон-Кихот, англичанин. Маленький грум едва поспевал за своим господином.

Розовое октябрьское солнце пригревало. Яков Николаевич распахнул шубу. У небольшого закрытого киоска к графу подошел человек неприметельной наружности, в высоком цилиндре, и они, едва раскланявшись, пошли рядом, углубляясь в аллеи.

— Да ничего из ряда вон выходящего пока нет,— тихо говорил Яков Николаевич, зорко поглядывая по сторонам.— Русские баре в Париже швыряют деньгами, блудят и ругают российские порядки. Это, знаете, свойство русского дворянина. Он всегда смутьян, а тронь его карман и посягни на землю — он орет караул, да и драться готов, как лев.

— Энергии в них непочатый край,— улыбнулся спутник графа.— Всем обильна Россия, но пока почти совсем еще не тронуты ее богатства... И люди ее — тоже покуда неразработанные россыпи... А как неуемный Мишель Бакунин?

— Сегодня рассчитываю увидеться. Да-с, это пороховой склад. Опаснейшая голова.

— Болтун!

— Э, нет, батенька, вы этого недоучившегося прапорщика не так поняли, хоть по должности своей обязаны быть великим психологом. С тысяча восемьсот сорокового года шатается он по Европе. Сначала набирался революционной ереси в Швейцарии, а теперь готовит крестовый поход на древние устои России. Велеречив и опасен. Ловчайший из демагогов.

— Много у нас теперь на Руси среди дворян развелось Маратов и Робеспьеров уездного масштаба,— скептически улыбнулся собеседник Якова Николаевича.

— Нет, я эту породу хорошо изучил и не ошибаюсь. Тут масштаб будет побольше, подлинно европейский. Ну, а насчет путаницы в идеях согласен: Бакунин превзойдет многих. Усидчивости в нем нет. Вот революционную фразеологию и демагогию он уже постиг изрядно. Неразборчив в знакомствах. Праздный человек, но дерзостно смел и энергичен.

Еще добрых полчаса, значительно понизив голоса и озираясь, они прохаживались по Булонскому лесу и разговаривали.

— Передайте в Петербург на словах,— говорил Толстой,—

что живем мы здесь, как на пороховом погребе. Наш посол Киселев — истинно кисель, не хочет вникать ни во что. Здесь нынче собрались революционеры со всего мира: наши, мятежные поляки, итальянская голытьба, премудрые немцы, неукротимые ирландцы, не говоря уж о якобинцах французских, которыми кишит Париж. Меттерних теперь всего лишь пышное чучело когда-то грозной птицы. Он ни на что более не годен. Вся надежда на нашего государя. Он, как Георгий Победоносец, раздавит дракона революции. В этом наша миссия. Но время не терпит. Если Петербург не поможет, то рухнут многие королевские троны, и революция чумой пройдет по всей Европе.

Граф вручил господину в высоком цилиндре запечатанный несколькими сургучными печатями пакет и быстрой, удивительно легкой походкой направился к карете, которая ждала его у выхода из Булонского леса возле аптеки.

Вечером у графа Якова Николаевича собралось несколько приглашенных.

— Что может быть дороже русскому сердцу, нежели встреча с земляками? — повторял на разные лады одну и ту же фразу Толстой, встречая на пороге гостиной соплеменников. На лице его застыло выражение благорасположения, бесхитростной простоты. Он тщательно подбирал углы губ, чтобы они не опускались в брюзгливом пренебрежении, и старался спрятать в нависших веках проницательные, злые глаза.

Первой прибыла тверская помещица Еланова, владелица двухсот душ, скучающая дама, печатавшая иногда нравоучительные рассказы в столичных журналах. С ней явился однофамилец хозяина, богатырь с виду, Григорий Михайлович Толстой, степной помещик, проживавший свое состояние на дорогих курортах и в столицах Европы. Пришло и еще несколько русских. Наконец Иван, обряженный в богатую новую ливрею, доложил о Михаиле Александровиче Бакунине.

В комнату вошел немного вразвалку широкоплечий, несколько тучный человек с самоуверенным дерзким взглядом небольших светло-голубых глаз, с лоснящейся от пота кожей на лице. Костюм его казался дурно разглаженным, а галстук под подбородком — недостаточно чистым.

— Скажите,—спросила помещица Еланова, манерно протягивая навстречу его губам длинную худую руку в белой перчатке до плеча (она считала, что руки ее прекрасны, неотразимы),— скажите, вы один из тех, кто ищет в дальних краях

ответов на неразрешенные на родине вопросы? Как это интересно! «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой...» Я, знаете, обожаю вашего тезку — Лермонтова. Вы ведь Михаил? Но Мартынов мне был все-таки всегда милее Лермонтова — вежливый и хорош собой. Кстати, не ваш ли отец был тверским губернатором?

Тщетно Михаил Александрович Бакунин отрицательно качал головой, пытался что-то ответить Елановой и выбраться из угла гостиной, куда она его загнала.

— Ах, значит, нет? — продолжала наступать на Бакунина красноречивая писательница.— А прелестная Евдокия Михайловна Бакунина, фрейлина, художница, с которой я провела незабываемые три месяца в Италии, где она училась живописи, не ваша ли кузина? Нравится ли вам «Гибель Помпеи» Брюллова? Ведь это шедевр, не правда ли? Как хорош Везувий ночью и римские термы — в сумерки! Это зрелище, потрясающее душу. Мы переносимся на две тысячи лет назад. Я пишу об этом в «Москвитянин». Поезжайте в Италию. Для бунтаря, подобного вам, нет ничего лучшего, чем стать членом тайного общества. Ими кишат Милан, Неаполь, Рим. Там каждый лаццарони обязательно заговорщик, каждый...

Бакунин вдруг решительно отвел мелькавшие перед ним, как бы готовые охватить его руки и, пробормотав извинение, вырвался из западни госпожи Елановой.

Она, впрочем, нисколько не растерялась, не обиделась и мгновенно утопила в своем неумолкаемом словесном водопаде другого гостя. И снова ее руки, брошенные, как лассо, готовы были обвиться вокруг чьей-то шеи.

Хорошо изучив людей, граф Толстой любил обхаживать их, расположить к себе и добиться сокровенных признаний. Но никогда он не задавал прямых вопросов, не набрасывался на собеседника тотчас же, зная, что это настораживает жертву. Чем важнее для него была та или иная намеченная дичь, тем, казалось, безразличнее он к ней относился.

То, что граф переживал, сделавшись ловцом человеческих затаенных мыслей, было очень похоже на ощущение охотника. Толстого гнал вперед спортивный азарт. «Я точно игрок,— думал он иногда о себе,— не выгода подчас важнее для меня, а наслаждение самой игрой». (Граф, к тому же, был тщеславен.) «Выловить бы рыбу покрупнее, удивить Бенкендорфа»,— мечтал он. Чувство своего тайного могущества восхищало Якова Николаевича.

В этот вечер графа интересовал только Бакунин.

«Богема, простофиля, столь же умен, сколь и глуп»,— думал Толстой, согласно своему методу не обращая на него никакого внимания, кроме диктуемого долгом вежливости.

«Сам навяжется с разговорами»,— рассчитывал хозяин дома, переходя от гостя к гостю и поддерживая общий разговор. Слуги подали ужин. Все уселись за стол.

— Я увлекаюсь Герценом. Вы читали, конечно, его «Дилетантизм в науке»? — спрашивала госпожа Еланова отставного капитана с чудесно расчесанными, завитыми и надушенными бакенбардами.

— Превосходное сочинение! — подхватил граф Толстой.— Несомненно, Герцен и поэт Огарев — звезды первой величины на русском небосклоне. Я, правда, с ними не согласен во многих политических воззрениях. Все это брожение молодости. Но свободу мыслей и взглядов ставлю превыше всего и уважаю в людях смелость искания истины и благородство устремлений. Сам шел в жизни тропинкой, усеянной терниями, прощен, объездил многие земли и увлекался всяческими утопиями, прежде чем понял, что людям нужен пастырь на земле, как нужна вера в пастыря на небесах.

Ужин окончился. За одним столом уселись игроки в карты. Еланова не отпускала от себя степного помещика Толстого, с которым оказалась в дальнем родстве; они тщательно перебрали несколько поколений своих родичей.

Бакунин нашел хозяина дома курящим в кабинете, примыкавшем к залу.

— Собираетесь ли вы наконец возвращаться в Россию? — спросил граф.— Ведь Бенкендорф шутить не любит. Насколько мне известно, еще в феврале вам предложено возвратиться на родину. Не делайте непоправимой ошибки, мой друг. Вернитесь. Я сам некогда, подобно вам, решил бросить пенаты и много раз потом жалел об этом. Послушайтесь старика и друга, вернитесь, пока не поздно, домой, там ждет вас...

— Каталажка,— прервал, усмехаясь, Бакунин.— Я ведь признан политически неблагонадежным. Но не это меня смущает. Я не из трусливых. Восстал — будь готов к тюрьме. Однако как раз теперь нахожу то, что искал,— революционную теорию и свой дальнейший путь.— Помолчав, Бакунин продолжал: — Вы знаете, Яков Николаевич, как долго кочевал я не только по разным странам Европы, но и в поисках самого себя, так сказать, своих идей. Интересно ли вам все это?

Толстой знал пристрастие Бакунина к многословию. Но разве не в словесной стихии вылавливал граф все то, что следовало сообщить в Петербург в секретном пакете за многими печатями и условной подписью под текстом?

— Говори, говори,— оживился Яков Николаевич и насторожился, как бы что-нибудь не упустить, не запамятовать.

«Ах, скорее бы изобрели какие-нибудь машины, которые поставишь этак под диван, а они и будут записывать все, что говорится вокруг»,— подумал граф. После пятидесяти лет агент Третьего отделения заметил, как резко ослабла его память.

А Михаил Александрович между тем пододвинул поближе к камину кресло, зажег пахитоску, затянулся и, приглушая голос, заговорил.

...Игра в гостиной увлекла картежников, а Еланова убеждала своего поклонника в том, что любить умеют только под небом Италии, куда им обоим и следует отправиться.

— Парижская осень способна убить романтику. Все так серо, так уныло...— И, переходя на сиплый шепот, Еланова начала декламировать монолог гётевской Миньоны:

Знаешь ли чудный край,
Где все радость сулит,
Где все манит, зовет,
О любви говорит...

Михаил Александрович Бакунин рассказывал графу Якову Толстому о кружке Станкевича, этого ученейшего, откликавшегося на все значительное в окружающем мире юноши, кружке, в котором спорили «до петухов» о назначении человека, о смысле жизни, о божестве.

— До этого я был не более чем не закончивший школу прапорщиков, к горести семьи моей, никчемнейший дворянский сын, без должных средств к жизни, без папенькиного наследства... Я зачитывался «Перепиской Гёте с ребенком» писательницы Беттины фон Арним и в ней впервые почерпнул мысли, которые сами не рождались еще в моей голове. Этой книге я обязан пробуждением. Она, подобно электрической искре, поджегшей дерево, вызвала пожар.

— Странно,— процедил Яков Николаевич,— я никогда не чувствовал ничего подобного. Может быть, мне помешало знакомство с автором, дамой весьма мнящей о себе и ума хоть и хорошего, но не превосходного.

— Для меня она муза, вдохновившая гения,— мечтательно ответил Бакунин.— В тридцать пятом году мы все изучали

«Критику чистого разума» Канта, а затем принялись штудировать Фихте. Я искал бога, мучительно искал его. И что же? Отверг все и пришел к воинственному отрицанию. Я жаждал верить, но понял, что не постигаю абстракцию, а то, что доступно мне, пусто. Пантеизм не помог мне обрести божество. Природа мертва и обречена. И богом стал для меня человек.

Толстой слушал, не шевелясь и ничем не выдавая своего отношения к сказанному.

— Цель жизни, предмет истинной любви,— продолжал, ожидая его реплики, Бакунин,— был бог, которого я нашел в человечестве. Мой бог возвышается соответственно возвышению и улучшению человека. Вам понятно, граф?

— Еще бы! — слегка насупился Толстой, понимая, что слышит опасную ересь, которую надо запомнить.

Бакунин встал и уже громко, широко раскидывая руки, как бы ораторствуя с кафедры, заявил:

— Нет прав, нет обязанностей, есть лишь общечеловеческая любовь. Всякая обязанность всегда исключает любовь и ведет к преступлению, к бесчестью.

— Темно что-то у вас получается,— разочарованно промямлил Яков Николаевич.— Я сам философствовал немало, но жизнь *опрокинула все эти мудрствования*.

Из соседней гостиной, привлеченные громким и патетическим голосом Бакунина, вошли в кабинет остальные гости. Михаил Александрович почувствовал себя польщенным (он любил всегда быть в центре внимания) и продолжал:

— У меня нет тайн, господа. Но вряд ли Гегель, который был моим кумиром в юности, может заинтересовать нас, русских людей.

— Что вы? Да ведь в России премудро-невнятные книги сего мужа науки стали почти что святыней.

— Все существующее разумно,— совсем уж некстати вставила Еланова, желая показать, что она кое-что знает о написанном сумрачным берлинским профессором.

— Я читал вашу статью, господин Бакунин, кажется, в позапрошлом году, о положении дел в Германии. Она печаталась в журнале, издаваемом этим неуемным Арнольдом Руге. Отличное произведение! — сказал один из гостей Толстого.

— Да это было давно! — махнул рукой Бакунин.— С тех пор я брожу по свету. То Дрезден, то Берлин, то Цюрих...

— Вы, кажется, сошлись там с Вейтлингом? Говорят, он этакий юркий, кривоногий портняжка,— улыбнулся граф Толстой.

В это время несколько слуг во главе с Иваном вошли с подносами, уставленными фруктами, сладостями и винами. Гости заметно оживились.

— Да,— ответил графу уже совсем иным тоном, тише и значительнее, Бакунин,— от вас у меня нет тайн. Вы столько раз помогали мне, бездомному искателю истины...

— Ну что еще за счеты! Я очень рад и еще помочь. Сам был молод и рыскал за истиной. Прехитрая это штучка, оборотень!

— Вильгельм Вейтлинг с виду потомок Нибелунгов, и душа его необъятная.

— Неужели не уродец? Я слышал — чахлый, сутулый, как и положено подмастерью. Я что-то не верю в героев из плебса.

— Ошиблись, Яков Николаевич. Вильгельм — красавец. Душой это Спартак. Знаете ли вы, что значит здравый смысл и чистый ум пролетария, взявшего от патриция знание и культуру? Да это силища, равной которой не найдешь. Античный герой!

— Так вот где нашли вы богов, которых тщетно искали! — язвительно заметил граф.— Среди всякого сброда, вроде немецких коммунистов, толпящихся вокруг демагога Вейтлинга. Впрочем, я не хочу мешать вам спотыкаться. В этом залог того, что вы выберетесь из трясины. Ваше здоровье! — Толстой чокнулся с Бакуниным, несколько растерявшимся от такого заявления хозяина дома.

— О, я знаю, вы кремень, Яков Николаевич. Старый александровский вояка, друг декабристов...

— И вот сейчас я на чужбине. Россия для меня нетерпима, хотя́ я и верен своему царю... Кстати, после возвращения из Бельгии вы, кажется, виделись и с Прудоном? Это что же, второй из братьев Аяксов?

— Да, в какой-то степени Вейтлинг и Прудон — братья по духу и целям. Один — француз с немецкой головой, другой — немец, пропитанный французской культурой. Оба неподкупны, красноречивы и бодры, хотя живут в лишеннях, которые испытывают все рабочие. Никто и ничто не может оторвать их от родной среды.

— От разрушительных идей коммунизма,— уточнил Толстой.

— Но, знаете, граф, кто помог мне разобраться и подчинил меня железной логике мыслей, поразил необъятностью знаний, цельностью характера, смелостью дерзаний, несокрушимостью воли? Это немецкий ученый и революционер — доктор Карл

Маркс. По правде сказать, он не слишком мне симпатичен как человек, мы разные люди, но я преклоняюсь перед ним как мыслителем.

Толстой сказал с деланым равнодушием:

— Я о Карле Марксе слышал. Это, пожалуй, сейчас самая видная фигура на темном фоне грядущих восстаний рабочих. Громовержец плебса. Но чем же он пленил вас, дворянина и славянина?

Бакунин начал перечислять достоинства Маркса, который, по его словам, создавал впервые в истории цельную социально-политическую систему. Ему, Марксу, признался Бакунин, он обязан тем, что теперь меньше мечется в поисках истины и философии, а смело идет по социалистическому пути. Карл Маркс направил его запутавшуюся мысль к материалистической философии.

Толстой поднялся с кресла и тяжело опустил большую холеную руку на плечо собеседника.

— Скажите, жена этого седьмого чуда, кажется, баронесса? Ее брат чуть ли не прусский министр. Но они, говорят, не богаты. В наше время рабочий мессия обречен на голодное существование.

— Некий Юнг, друг Маркса из Кёльна, недавно прислал ему тысячу франков, чем спас семью от множества лишений и дал возможность писать новые труды... Статьи в газетах нынче оплачиваются недорого,— доверчиво сообщил Бакунин.

— Жаль, жаль, что доктор Маркс не знает себе цены. Такая голова пригодилась бы в каждом государстве. Но он несговорчив. Сейчас неподкупность у нас называется принципиальностью. Я встречал Маркса несколько раз и впервые еще в Берлине, как-то в ресторане. Давно это было. Он уже тогда показался мне необычным студентом, начиненным порохом. Дай ему волю, первым делом освободил бы крестьян в России и установил у нас республику.

— Я на четыре года старше Маркса, а не понял и десятой доли того, что для него является аксиомой,— сказал Бакунин.

— Мне хотелось бы повидать этого самого Маркса. Люблю по старой памяти потренировать мозг, очень уж обрюзг я за последние годы.

— Извольте. В зале «Валентино» на днях соберутся лучшие умы времени — Маркс, Прудон, например. По правде сказать, Прудон мне больше по душе, чем этот мудрец с Рейна. Я люблю ведь галлов.

— Заезжайте за мной, голубчик. Поедем вместе. И не стесняйтесь, дружок, ежели в чем нуждаетесь. Род Толстых и род Бакуниных древни суть и славны. И не забудьте про Маркса.

Незадолго до этого Яков Николаевич отправил в Третье отделение в Петербург один экземпляр сдвоенного номера «Немецко-французского ежегодника», вышедшего под редакцией Арнольда Руге и Карла Маркса. Он доносил, что издание Руге и Маркса заполнено «гнусным подстрекательством и опорочением всего, что достойно самого высокого уважения: ничему нет пощады, нет для этих людей ничего святого».

Было около одиннадцати часов вечера, когда Бакунин покинул обширный и всегда столь гостеприимный дом Толстого. Парижане готовились ко сну. Мелкие торговцы, ремесленники, рабочие, начинавшие свой трудовой день с рассвета, жаждали отдыха и сна. В ночные часы Париж торговал развлечениями, женщинами, вином. Для богачей, жаждущих веселья, для иностранцев всю ночь оставались открытыми кафешантаны, игорные залы. Не спали также бездомные, которых было так много в столице, слонявшиеся по сырым, неуютным в эту пору бульварам, и воры, ищущие возможности поживиться.

Мишель прошел по тихим улицам Сен-Жерменского предместья, где за жалюзи и атласными или шерстяными шторами едва мерцали огни. Он очутился на улице Ванно и, проходя мимо узкого черного дома номер тридцать восемь, вспомнил, что тут живут Руге и Маркс. Невольно возник в памяти давешний разговор о Марксе с графом. Какое-то неуловимое чувство недовольства собой поднялось в душе Бакунина. Зачем разоткровенничался он, как неопытный отрок, перед этим хитрым вельможей, о котором ходят дурные слухи? Но Бакунин не любил тревожиться поздними сожалениями. К тому же он был высокого мнения о своей персоне, это помогало ему всегда чувствовать себя правым. Поразмыслив, он твердо решил, что держался разумно, и с удовольствием вспоминал сытный ужин и лесть Толстого. Но Маркс... Мишель снова почувствовал недовольство собой. Гигант, перед которым он часто испытывал робость, внушал ему необъяснимую враждебность. В чем же дело? Бакунин отбросил мысль о зависти. Нет, он выше этого недостойного чувства. Ведь именно Карл всегда к нему был так внимателен и терпелив. Карл помог ему разобраться в самом себе, а это подчас важнее всего в жизни. Определив свой путь, Бакунин лучше понял окружающее. И вместе с тем Карл все же был чем-то чужд Бакунину.

Трудно было найти натуры более противоположные. Все в Карле — в его деятельности, в его мышлении — было последовательно, гармонично и собранно. И все было противоречиво, поверхностно и разбросанно в Бакунине, точно не было какого-то стержня в его жизни и характере.

Тщетно пытался Бакунин работать планомерно и упорно. Всегда что-то ему мешало и отвлекало от дела. Успокаивая себя, он называл трудолюбие и прилежание педантизмом. В работе, любви и дружбе он быстро загорался и быстро остывал. Его тяготили всякие узы, даже тогда, когда они были ему полезны.

Одинокий, склонный то к преувеличенному восхищению, то к поспешному разочарованию, всегда многоречивый, порывистый, но слабовольный, он любил бесцельные прогулки, сутолоку городских улиц, разговоры и споры далеко за полночь. Способный, легко схватывающий и развивающий чужую мысль, переменчивого нрава, он искренне думал, что готов на самые трудные подвиги, но в то же время как-то сникал, падал духом, когда жизнь ставила перед ним очередные препятствия. Бакунин всегда метался. Марксу же всегда не хватало времени и претили пустозвонные слова.

Оставив позади улицу Вано, Бакунин не пошел на этот раз за миловидной девушкой, как-то по-кошачьи приблизившейся и на мгновение прижавшейся к нему с нежным мурлыканием:

— Пойдем со мной, дорогой. Я не дам тебе скучать до утра.

Не зашел он и в кафе, чтобы выпить еще бокал крепкого вина.

По бульварам он добрался до темной улицы, где в убогом доме снимал комнату. Старуха консьержка, брюзжа, вышла на его стук, но скоро подобрела, узнав жильца, который часто внимательно выслушивал ее жалобы и охотно помогал то советом, то деньгами, когда имел их сам.

Зайдя в маленькую комнату, Бакунин зажег лампу, снял шарф, который казался ему весь вечер петлей на шее, и, издав довольное «уф!», сбросил сюртук, затем пододвинул шаткий столик, снял с него и переставил на подоконник не вымытую с утра чашку из-под кофе, тарелку с объедками и стопку книг. Затем принялся писать размашистым почерком:

«Редко можно встретить человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как Маркс. Исключительным предметом его занятий является наука экономическая. С особым тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других положительностью познаний и практическим

складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и отличающихся строгою критикою и смелостью выводов. Но ко всему этому господин Маркс прибавляет еще диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля...»

«Когда-нибудь допишу эту характеристику»,— подумал Бакунин, отложив написанное. Он закурил, подошел к зеркалу... Его круглое, чуть потное лицо и сильная фигура производили приятное впечатление. Он представил себе, как будет выглядеть на баррикаде, конечно в качестве командира революционных повстанцев. Получалось внушительно. И, посмеявшись над собой, он лег в постель, сбросив на пол одежду и обувь.

Утром его разбудила консьержка. Курьер передал господину Бакунину приглашение явиться немедленно к секретарю русского посольства в Париже. В тот же день он узнал, что суд в Петербурге приговорил его за революционную деятельность, направленную на свержение царского строя в России, и за отказ вернуться на родину к лишению дворянства и к каторжным работам.

II. СКИТАНИЯ

— Я хочу напомнить тебе, Карл, одну мысль, а быть может, ты вспомнишь и ее автора,— сказала Женни, чуточку сощурив свои огромные, всегда готовые улыбнуться карие глаза.— «Невежество — это демоническая сила, которая, опасаемся, послужит причиной еще многих трагедий. Недаром величайшие греческие поэты в потрясающих драмах из жизни королевских домов Микен и Фив изображают невежество в виде трагического рока». Как хорошо это сказано, правда?

— Дорогая,— не без удивления ответил Маркс,— как ты сумела запомнить дословно целый абзац из моей передовицы в «Рейнской газете»? Я даже не знал, что ты ее читала. Это написано, когда мы были в разлуке.

Женни пожала плечами и шутливо поклонилась:

— Все, что пишет Карл Маркс, к вашему сведению, я знаю так же хорошо, как и он сам.

— Спасибо, а то меня иногда тяготит мысль, что, читая тебе все написанное, я утомляю и эксплуатирую твою доброту и терпение.

— Никогда не говори этого, милый. Чем больше я узнаю тебя, тем больше люблю. И кажется подчас, что сильнее нельзя уже любить, как нельзя углубить твою мысль. Но твой мозг

находит еще и еще что-то новое, а мое сердце ширится, чтоб любить тебя еще крепче и еще полнее...

Карл молча сжал тонкую руку жены, затем наклонился и поцеловал нежные маленькие пальцы. Всю жизнь, с ранних лет, он любил одну эту женщину и в любви к ней узнал подлинное счастье. Тщетно пытался бы он вспомнить день, когда увидел ее впервые. Это было в Трире. Карл был еще ребенком, шаловливым фантазером. Четыре года разницы в летах между Женни и Карлом больше сказывались в детстве и не имели для них теперь никакого значения. Только в отрочестве, покончив с проказами, Карл, поглощенный книгами и мыслями, впервые поднял глаза на прекрасную девушку. Красавица Женни поразила его воображение, столь пылкое и творческое; она была самой прекрасной из всех принцесс и фей его детских сказок, которыми он так пленял своих сестренок.

Как хороша была юная Женни! Ею любовались все жители Трира. Стройная, с гордо откинутой головой, обрамленной каштановыми локонами, с искрящимися глазами, нежным овалом лица, маленьким, чуть пухлым ртом... Но и сейчас не менее прекрасна жена Маркса. Величественная красота ее напоминает античных богинь. Тот же гладкий лоб, смелый разлет темных бровей и строгий, ровный нос. Был ли день в его жизни, когда этот образ не волновал его, не жил в нем?

Он отгоняет досадные воспоминания, когда хмель юности и полной независимости одурманил его. Сколько раз корил его за траты и ненужную удаль отец. Совсем другим стал Карл, полюбив Женни. Они ждали друг друга семь лет.

— Единственная, любимая,— говорит Карл и снова почтительно и нежно целует ее пальцы.

— Не правда ли, Карл, сколько бед и преступлений исчезнет на земле, когда миллионы людей приобщатся к знаниям.

— Ты не учла, мой друг, что невежество — орудие, которым умело пользуются тысячи привилегированных. Не так-то легко было Прометею похитить огонь у богов и отдать его народу. Но есть еще иного сорта невежество. Его мы можем наблюдать даже вблизи своей квартиры.

— Руге и его компания,— подсказала Женни.

— Да, филистер всегда в конце концов обнаружит душу лавочника и готов торговать всем, даже своими ошибками, если на них найдется спрос. То же и с Бауэрами, Рутенбергом. Много их встречалось на нашем пути. Это все политические пустоцветы!

Карл и Женни собирались в этот вечер пойти в зал небольшого ресторана, где намечалась встреча немецких изгнанников, живших в Париже. Был канун рождества. Во всех парижских газетах литераторы соревновались в рождественских рассказах. Они умиляли сердца читателей красочными описаниями страданий мальчиков и девочек, продающих в холодную ночь спички у витрин лавок, уставленных яствами, или на пороге церкви, сентиментально рассказывали о бездомных старухах и преступниках, раскаявшихся в своих преступлениях.

Нищие клянчили на углах улиц и прятались в подворотнях, завидя полицейского.

— Прудон, пожалуй, прав, когда утверждает, что, подавая милостыню, мы тем самым потворствуем распространению попрошайничества,— сказала Женни, доставая из муфты кошелек.— Но трудно удержаться, чтобы не помочь.

В витринах, освещенных изнутри ярче обычного, лежат розовые поросята в нарядных воротничках из белой бумаги, вырезанной наподобие накрахмаленных кружев. Телячьи ножки, обвитые бумажными лентами, кровавые куски мяса и множество тушек кур, гусей, дичи должны были поразить воображение прохожих, усилить их аппетит и привести к прилавку. В цветочных магазинах господа в цилиндрах выбирали бутоньерки в петлицы фраков и сюртуков. Молодые люди старались вспомнить любимые цветы своих невест. Если нет того, что нужно, они подбирали хотя бы цвет, который в этот сезон объявила своим их избранница.

— У вас нет белых роз? Какая досада! Тогда дайте мне белую азалию.

Продавщица лукаво смеется.

— Дама вашего сердца,— говорит она игриво,— вероятно, брюнетка, если носит белые платья.

— Белый цвет к лицу и блондинкам. Все зависит от оттенка кожи,— смущенно отвечает молодой человек.

В больших вазах стоят наготове букеты. Как и поросята в витринах магазинов на центральных улицах столицы, цветы, крепко стянутые лентами, ненатурально торчат из широких круглых узорчатых бумажных ободков. Чтобы головки цветов — роз, азалий, гвоздик, тубероз — не никли, их безжалостно проткнули и укрепили на проволоке, которой в букете не меньше, чем вянущих стеблей. Такова новая мода. Букеты отлично подходят к зашнурованным твердым корсажам с

косточками под подкладкой, к юбкам с металлическими обручами, придуманными закройщиками и портными больших и малых торговых фирм. Это они, невидимые и всесильные, управляют женщинами и мужчинами, определяя их вкусы, желания, толкают подчас на безумные траты.

В одном из цветочных магазинов Маркс увидел в корзине букетики фиалок, привезенных, очевидно, из Ниццы. Он купил цветы. На улице, как и в магазине, все засматривались на красавицу Женни. И Маркс гордился тем, что его жена так хороша собой.

«Цветущая акация»,— вспомнил он сравнение, которое подобрал ей в юности.

Но Женни как бы не замечает вызываемого ее внешностью восхищения.

— Как жаль, что наша девочка еще не может играть в мячик или в куклы. Я не могу дождаться, когда она вырастет,— говорит Женни, охваченная обычным материнским нетерпением.

— Девочка все отлично понимает,— возражает Карл.— Мы купим ей медведя и назовем его Атта-Тролль. Гейне будет польщен. Мишка как-то солиднее, нежели кукла.

...Маркс жил в Париже немногим больше года. Это было чрезвычайно плодотворное для него время. Множество новых впечатлений, открытий в области философии и экономики, интересные знакомства с Гейне, Гервегом, полемика с противником, оттачивающая оружие бойца, сближение с французскими и немецкими пролетариями и, главное, дружба с Энгельсом особой метой выделили 1844 год. Карл мог не без удовлетворения подвести теперь итоги. После отъезда Фридриха в Бармен он напряженно писал ответ Бруно Бауэру.

Маркс выработал свое особое мироощущение и видение. Если бы сферой его изучения были физика, химия или медицина, он, подобно гениальным естествоиспытателям, пришел бы к величайшим открытиям. Но он избрал другой путь, мечтая сделать наибольшее число людей счастливыми.

В 1844 году Маркс уже твердо знал, где наибольшее количество несчастных на земле и кто они. Философия поразила его своей оторванностью от жизни. Он стал изучать политическую историю человечества и особо занялся первой французской революцией, экономикой прошлого и настоящего. Все таинственное становилось для него более ясным, доступным, послушным его несокрушимой логике и уму.

— Это был обогащающий, хороший год,— сказал Карл Женни, глядя на веселые елки в витринах магазинов, знаменующие приближение Нового года.

В зале ресторана было многолюдно и шумно. Члены певческого общества, рабочие и ремесленники — итальянцы, поляки и французы, решили провести с немцами праздничный вечер.

Сигизмунд Красоцкий пришел одним из первых, но Пьетро Диверолли и Кабьен задержались у Стока, который торопясь пришивал пуговицы к их стареньким пиджакам. В это время Женевьева гладила тщательно выстиранные блузы мужа и его товарищей. Много хлопот доставила им всем чистка изрядно поношенной обуви. Маленький Иоганн с любопытством рассматривал полукруглый чепец матери, который она доставала из сундука не более раза в год. Он был убран яркими искусственными цветами, какие Женевьева любила мастерить в свободные часы. Наконец сборы были окончены, и Сток с женой отправились с улицы Вожирар в зал «Валентино», расположенный неподалеку от центра города.

Оркестр уже играл бравурный вальс, когда в зал вошли несколько рабочих с семьями и Карл с Женни. Женщины грациозно сбросили огромные капюшоны и теплые капоры или чепцы. При желтоватом свете газовых рожков все лица казались моложе и красивее. Карл отдал шубку Женни вместе со своим пальто и цилиндром капельдинеру из немецких эмигрантов, который, как старого знакомого, весело приветствовал его:

— Добро пожаловать, доктор Маркс. Я с большим удовлетворением прочитал вашу статью о наших доблестных силезских борцах.

Карл поблагодарил старика и хотел о чем-то спросить, но в это время к нему бросился худощавый, стройный молодой человек. Это был редактор «Форвертса» Бернайс. Его подвижное вдохновенное лицо отражало сейчас беспокойство. Он казался крайне озабоченным.

— Я получил важные и вполне достоверные сведения,— сказал он Карлу.— Как хорошо, что я могу поговорить об этом с вами. Наша газета накануне полного разгрома. Дорогой Маркс, обсудим, как мы будем держаться. Ведь судьба «Форвертса» — наша с вами судьба.

Попросив Женни обождать его в соседнем зале, Карл с Бернайсом прошли из вестибюля в буфет.

Все второе полугодие газета «Форвертс» выступала со статьями против королевской власти в Берлине, не щадя самого Фридриха Вильгельма IV. Король этот, занявший четыре года назад престол, открыто покровительствовал теперь помещичьему юнкерству — опасной и тупой силе, стремившейся объединить все германские княжества под эгидой реакционной прусской империи.

Бернайс в своих статьях жестоко громил приверженцев правительства, этих, по его мнению, христианско-германских простаков в Берлине, которые, поддерживая короля, предрешали исход наступления, начатого мракобесами-дворянами. Вместе с Бернайсом на немецкие порядки ополчился и Генрих Гейне. Его полные сарказма стихи в газете зло высмеивали «нового Александра Македонского», как прозвал он Фридриха Вильгельма.

Бессильное что-либо сделать в чужой стране с немцами-смутьянами, королевское правительство грозило им всякими карами.

Первого апреля 1844 года за статью в «Немецко-французском ежегоднике» Карл Маркс был обвинен в государственной измене, и в Берлине был издан приказ о его аресте в случае перехода прусской границы. Королевское министерство требовало от французского премьера Гизо расправы с сотрудниками «Форвертса». Господин Гизо пытался отмолчаться. При всей своей реакционности он был весьма образованным человеком, умелым и осторожным политиком. Опасения, что его многочисленные враги, если он расправится с газетой, объявят его прислужником прусского короля, известного всем деспота и самодура, побуждали Гизо долго не принимать требуемых из Берлина мер. У Гизо было твердое правило — не торопиться и выжидать.

А «Форвертс» продолжал наступать на реакцию, подняв забрало. Король и королева прусские все чаще приходили в ярость. Стрелы газеты попадали в цель.

Между прусским правительством и Гизо участилась секретная переписка. Прусский посол фон Арним, элегантнейший и желаннейший гость всех парижских салонов, на одном из блестящих балов долго и убедительно доказывал Гизо необходимость защиты престижа прусской короны и прусской политики от немецких плебеев, приютившихся в Париже.

Изысканно одетый и выхоленный аристократ был достаточно умен, чтобы не обращаться письменно к французскому правительству. Сам исписавший множество листов бумаги, посол отлично знал, чего стоит автограф. А высказанное устно всегда можно отрицать. Он забыл, однако, что история имеет длинные и чуткие уши. Фон Арним просил французского премьера и министра иностранных дел Гизо наказать сотрудников газеты должным образом. Но разговор этот не остался тайной.

— Я уверен,— сказал усталым голосом Гизо, провожая взглядом придворную даму,— что ваше естественное возмущение этой газетой не может относиться также и к поэту Генриху Гейне. Вся образованная Европа венчает его лаврами. Я сам, признаюсь, неизменный почитатель его чудесной лиры. Два стихотворения, превосходные, как все, что подсказывает Гейне его муза, не должны бы обидеть короля и королеву. Поэты — это дети, то капризные, то злые, но всегда прекрасные. Кто же серьезно обижается на проказы детей? Не правда ли, господин посол?

— Господин Гейне больнее всего жалит своим пером. Он напечатал одиннадцать, а не две сатиры на прусскую политику и на его величество короля.

— Поэты — пчелы,— твердо сказал Гизо.— Они, может быть, и жалят, но, перелетая с цветка на цветок, дают нам нектар, мед. Кто же обидится на пчел? Два или одиннадцать стихотворений — не важно, если они плод высокого вдохновения. Не будем столь педантичны и придирчивы к любимцам богов. К тому же, как мне сообщили, Генрих Гейне вряд ли является членом редакции газеты, столь досадившей вам и прусской короне.

— Я сам люблю поэзию и не раз оказывал услуги бесшабашному Гейне. Не считайте меня варваром. Но что касается этой скверной газетки и ее сотрудников, они, поверьте, не заслуживают никакого снисхождения.

— Вопрос о закрытии газеты и высылке ее сотрудников предрешен правительством, уверяю вас.

— Спасибо.

В то время как Гизо и фон Арним, закончив разговор о «Форвертсе», занялись бургундскими винами, разлитыми в нежные, будто радуга, бокалы баккара, Маркс и Бернайс договорились о том, что не отступят от взятой линии и не пойдут на попятную, как бы им ни угрожали.

Они вернулись из буфета в низкий, квадратный зал. На больших окнах и дверях висели шерстяные гардины, перетянутые золотыми шнурами, стены были увешаны скверно выполненными батальными картинами и портретами царствующей Орлеанской династии.

Проходя по залу, Карл увидел Бакунина. Жестикулируя и встряхивая пышной гривой волос, он о чем-то пылко и громко спорил с несколькими русскими. Один из них был Яков Толстой, который, заметив Маркса, тотчас же направился к нему вместе с Бакуниным.

— Я восхищен глубиной вашего ума,— говорил он густым басом.— Статьи «К еврейскому вопросу» и особенно, конечно, «К критике гегелевской философии права» превосходно корчуют старые пни. Да-с, кто из нас, русских, не болел гегелианским умопомрачением. И вы, немецкий ученый, революционер, вслед за Фейербахом приходите, чтобы вернуть людям их головы.

Карл внимательно смотрел на барина в светло-зеленом рединготе с золотыми пуговицами, в узеньких, готовых лопнуть при поклоне, сиреневых, в клетку, брюках.

Русские, кроме Бакунина, поражали богатством своих нарядов, острым ароматом духов и роскошными прическами. Волосы графа были разделены пробором и тщательно уложены мелкими локонами. Двое других русских, одетые в светлые рединготы с накрахмаленными торчащими бантами, завили волосы волнообразно, закрыв ими уши. Их бакенбарды спускались до подбородка.

Не менее бросались в глаза и русские барыни в огромных пестрых шалях из индийского кашемира, наброшенных поверх широчайших тафтовых платьев. Перстни, браслеты и броши подчеркивали богатство. Госпожа Еланова смотрела на Маркса, приподняв золотой лорнет, нисколько не скрывая того, что он внушает ей столько же страха, сколько и почтения.

— Какое счастье, что революции теперь вышли из моды. Я где-то уже видела эту голову. Ах, да! В Риме, в Сикстинской капелле. Там потолок работы Микеланджело. Среди облаков — Саваоф,— не приглушая голоса, говорила она красавцу Григорию Михайловичу Толстому.— Этот ваш Маркс — истинный Саваоф. Взгляд его такой, точно он видит все насквозь,— повторила Еланова, задержав Бакунина.

Но Бакунин, едва поклонившись словоохотливой помещице, отошел к Марксу.

Они вернулись из буфета в низкий, квадратный зал. На больших окнах и дверях висели шерстяные гардины, перетянутые золотыми шнурами, стены были увешаны скверно выполненными батальными картинами и портретами царствующей Орлеанской династии.

Проходя по залу, Карл увидел Бакунина. Жестикулируя и встряхивая пышной гривой волос, он о чем-то пылко и громко спорил с несколькими русскими. Один из них был Яков Толстой, который, заметив Маркса, тотчас же направился к нему вместе с Бакуниным.

— Я восхищен глубиной вашего ума,— говорил он густым басом.— Статьи «К еврейскому вопросу» и особенно, конечно, «К критике гегелевской философии права» превосходно корчуют старые пни. Да-с, кто из нас, русских, не болел гегелианским умопомрачением. И вы, немецкий ученый, революционер, вслед за Фейербахом приходите, чтобы вернуть людям их головы.

Карл внимательно смотрел на барина в светло-зеленом рединготе с золотыми пуговицами, в узеньких, готовых лопнуть при поклоне, сиреневых, в клетку, брюках.

Русские, кроме Бакунина, поражали богатством своих нарядов, острым ароматом духов и роскошными прическами. Волосы графа были разделены пробором и тщательно уложены мелкими локонами. Двое других русских, одетые в светлые рединготы с накрахмаленными торчащими бантами, завили волосы волнообразно, закрыв ими уши. Их бакенбарды спускались до подбородка.

Не менее бросались в глаза и русские барыни в огромных пестрых шалях из индийского кашемира, наброшенных поверх широчайших тафтовых платьев. Перстни, браслеты и броши подчеркивали богатство. Госпожа Еланова смотрела на Маркса, приподняв золотой лорнет, нисколько не скрывая того, что он внушает ей столько же страха, сколько и почтения.

— Какое счастье, что революции теперь вышли из моды. Я где-то уже видела эту голову. Ах, да! В Риме, в Сикстинской капелле. Там потолок работы Микеланджело. Среди облаков — Саваоф,— не приглушая голоса, говорила она красавцу Григорию Михайловичу Толстому.— Этот ваш Маркс — истинный Саваоф. Взгляд его такой, точно он видит все насквозь,— повторила Еланова, задержав Бакунина.

Но Бакунин, едва поклонившись словоохотливой помещице, отошел к Марксу.

— Послушайте, Маркс,— сказал он и порывисто взял Карла за руку,— я хочу сказать, что считаю вас совершенно правым в споре с Руге. Честность суждений прежде всего. И хотя ваш противник не раз защищал меня в словесных и газетных схватках, я не могу кривить душой. Вы правы. Вы, а не он.

— Рад, очень рад,— живо отозвался Карл.

Но граф Толстой бесцеремонно отодвинул Бакунина и попытался снова начать беседу с Марксом.

— Я, знаете, понимаю ваше отвращение к крепостничеству. Должен вам сказать, что сам ненавижу рабовладельчество и дал клятву, что перед смертью...— начал он, но осекся.

В это время Маркса окружило несколько человек. Первым из подошедших был неустрашимый революционер, друг Бюхнера и Бланки — портной Иоганн Сток, с болезненным красноватым лицом и седой головой.

За ним шел Пьер-Жозеф Прудон. Бакунин приветствовал их широким жестом руки.

— Прудон! — взвизгнула госпожа Еланова.— Да он не похож на плебея. Если его получше одеть, он мог бы заседать в палате пэров.

— Он всегда вполне прилично одет,— сказал степной помещик.

— Но мне известно точно,— вмешался граф Толстой,— что господин Прудон сознательно обрекает себя на всяческие лишения, живет в жалкой каморке под крышей. Я был у него и застал пишущим на подоконнике. Сегодня он явился в костюме мелкого буржуа, а при моем знакомстве с ним был одет в заплатанные брюки, шерстяную фуфайку и башмаки на деревянной подошве. Он ведет жизнь самого ограниченного в средствах пролетария, каким, впрочем, и является по рождению.

— Ну, это уже поза,— сказал кто-то из русских.

— Нет, убеждение, но я уверен, что ему это надоест,— закончил Толстой, наблюдая за Марксом, который в обществе Стока, Прудона и Бернайса прошел в соседнюю комнату.

Через несколько минут Бернайс вернулся в главный зал и с эстрады попросил всех собравшихся усесться. Без особой сутолоки и шума на добротных старых стульях разместились почти все пришедшие.

Вслед за юным Бернайсом на эстраду вышел Прудон. Он выглядел моложе своих тридцати пяти лет. Светлые, очень мягкие волосы беспорядочно падали на его гладкий большой лоб. Маленькие очки в металлической оправе не скрывали

небольших близоруких глаз, как-то рассеянно смотревших на мир. Бакенбарды обрамляли овальное тонкое лицо с четко вырисованным, упрямо сжатым ртом и небольшим носом. Чистокровный бургундец, он внешне очень походил на немца, и только порывистые движения, жестикуляция и торопливая темпераментная речь обнаруживали в нем француза.

Прудон говорил горячо, но неясно об экономических противоречиях, о грядущей революции, о коммунизме. Слова его, многочисленные цитаты, которыми он обильно пересыпал речь, казались убедительными в тот момент, когда произносились, но тут же рассеивались, исчезали, как мыльные пузыри. В них не было ни последовательности мысли, ни убедительности.

— Немецкая голова у этого француза, да вся беда, что путаная,— сказал Иоганн Сток руководителю общества немецких изгнанников врачу Герману Эвербеку.

Женни, внимательно вслушиваясь в речь Прудона, думала: «Его мысли — бусинки, не собранные на нить». Вдруг она почувствовала, как у нее дрогнуло сердце. Это было всегда, когда на трибуне появлялся Карл. Как ни была она уверена в каждом слове, которое он скажет, ей не удавалось преодолеть волнение.

Маркс заговорил. В зале наступила тишина ожидания. Даже русские, усевшись поближе к эстраде, перестали перешептываться.

За год пребывания в Париже Маркс стал одним безмерно дорог, другим — страшен. Единственно, чего он не внушал к себе, это безразличия.

Едва Карл произнес несколько фраз, Женни — вся внимание, напряжение, любовь — уже поняла, о чем он решил говорить. Это был рассказ о новых выводах, сделанных им в последние месяцы. Он жил ими и тогда, когда писал статью для «Форвертса», и все последующее время. Он как бы дорабатывал и проверял снова и снова то, что так волновало его, рождая новые думы.

Маркс раскрыл различие между освободительным движением буржуазии и пролетариата. Он не раз задумывался над тем, кто же возглавил революцию 1789 года во Франции. Лионские фабриканты, к которым примкнули зажиточные интеллигенты и ученые — Бриссо, Кондорсэ, великий физик Лавуазье, инспектор мануфактур Роллан и его жена, дочь ювелира,— все они были бесправны, несмотря на богатство, образование, и рвались к политической власти не вследствие нужды.

Богачам из третьего сословия стало невыносимо презрение

аристократической Франции, преграждавшей им дорогу к власти.

Но движущей силой революции всегда был народ, голодавший и лишенный всяких прав. Он постоянно боролся за кусок хлеба, за топливо, за работу.

Буржуазия корыстно использовала восстания масс в своей борьбе с феодалами и дворянами. Революционная энергия принесла ей политическое могущество. Но всегда, захватив власть, буржуазия предавала своих союзников — трудовой люд и, присвоив себе все плоды победы, начинала борьбу против ремесленников, рабочих, крестьян. Труженики, рабочие воздвигали баррикады, вооружаясь топорами, если не было иного оружия,— кампями. Победа или поражение народа определяли судьбы революции. Перед взором Карла проходили хорошо знакомые ему картины нищеты и лишений лионских текстильщиков, английских рабочих, не имевших права на человеческую жизнь. Вот что толкало обездоленных плебеев на восстания, на бунт. Глубоко различны причины и цели революций буржуазных и пролетарских.

Пролетарий должен стать человеком, гражданином, несмотря на сопротивление тех, кто поставил его в нечеловеческие условия. Маркс говорил о том, какая жестокая борьба ждет бойца-пролетария, и предрекал ему неизбежную полную победу.

Иоганн Сток не мог более усидеть на стуле. Он, как зачарованный, продвинулся к кафедре.

Когда Маркс сошел с трибуны, к нему протянулось несколько рук. И эти объятия, и особенно глаза, смотревшие с любовью и доверием, были самым большим вознаграждением за его труд.

— Ты не только мыслитель. Ты человек! — сказал Марксу Сток.

Марксу жали руку революционеры, рабочие из Италии, Польши и Франции. Морщился Прудон, но и он понимал значение речи Маркса.

Помещик из степной полосы России, Григорий Михайлович Толстой, утирая слезы от избытка восхищения, протиснулся к Карлу, обнял его и сказал, коверкая французские слова:

— Клянусь перед людьми и своей совестью,— вернусь домой, построю крестьянам школу и больницу, превращу их в людей. Доктор Маркс, едем со мной в Россию, умоляю вас, прошу. Едем, друг!..

До самого Нового года и в первые дни января Маркс не

отрываясь работал над «Критикой критической критики». Случалось, он не ложился спать по нескольку ночей. Это был подлинный творческий полет. Лицо Карла желтело, но он не чувствовал усталости. Огромное перенапряжение проявлялось только в большей вспыльчивости, которую, впрочем, легко гасила Женни.

В новом своем труде он вел не только пылкий теоретический спор и опровергал Бруно Бауэра и его единомышленников. Карл как бы вернулся мыслью назад. Разве не был он сам некогда гегельянцем, не шел в одном строю с Бруно в поисках философской истины? Как далеко ушел он вперед с тех пор, когда в день смерти профессора Ганса в гостеприимном домике Бауэров в Шарлоттенбурге усомнился в том, чему ранее верил.

Как и всегда, Карл, разрушая, творил и, низвергая, создавал. Глубокие, прекрасные по изложению откровения заполняли страницы. Болтовне Бруно Бауэра о французском материализме и французской революции Маркс противопоставил блестящий анализ этих исторических явлений. Бруно Бауэр доказывал противоположность между духом и массой, различие между идеей и интересом.

«...*«Идея»* неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от *«интереса»*,— писал Маркс.— ... *Интерес* буржуазии в революции 1789 г., далекий от того, чтобы быть *«неудачным»*, все «выиграл» и имел *«действительный успех»*, как бы впоследствии ни рассеялся дым *«пафоса»* и как бы ни увяли *«энтузиастические»* цветы, которыми он украсил свою колыбель. Этот *интерес* был так могущественен, что победоносно преодолел перо Марата, гильотину террористов, шпагу Наполеона, равно как и католицизм и чистокровность рода Бурбонов».

Бруно Бауэр заявлял, что государство соединяет воедино «атомы» гражданского общества. Маркс опроверг и это положение.

«Только *политическое суеверие* способно еще воображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую жизнь, между тем как в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство».

В ответ на презрительные замечания Бруно о значении промышленности и природы для исторического познания Маркс спрашивал: полагает ли критическая критика, что она подошла хотя бы к самому началу познания, исключая из исторического

движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, промышленности, естествознанию?

«Подобно тому,— писал Карл о критической критике,— как она отделяет мышление от чувств, душу от тела, себя самое от мира, точно так же она отрывает историю от естествознания и промышленности, усматривая материнское лоно истории не в грубоматериальном производстве на земле, а в туманных облачных образованиях на небе».

Поздней ночью Маркс закончил первый совместный с Энгельсом труд.

Он снова перечел написанное Энгельсом начало брошюры и с особым удовольствием остановился на сверкающем умом и сарказмом абзаце:

«Критика только то и делает,— писал Фридрих,— что «образует себе формулы из категорий существующего», а именно — из существующей *гегелевской* философии и существующих социальных устремлений. Формулы — и ничего более, кроме формул. И несмотря на все ее нападки на догматизм, она сама себя осуждает на догматизм, мало того — на догматизм *женский*. Она является и остается старой бабой; она — увядшая и вдовствующая *гегелевская* философия, которая подрумянивает и наряжает свое высохшее до отвратительнейшей абстракции тело и с вожделением высматривает все уголки Германии в поисках жениха».

Закончив чтение рукописи, Карл написал имена авторов. На первое место он поставил имя друга, на второе — свое.

Затем свернул сигаретку из легкого табака и закурил с явным удовольствием. Карл отдыхал, испытывая приятное сознание доведенного до конца дела. Впереди было столько непочатой работы, столько новых замыслов и целей...

В эти дни Гизо исполнил обещание, данное прусскому правительству. 16 января 1845 года Карл Маркс получил предписание покинуть пределы Франции. Генрих Бернштейн избавился от высылки, дав обязательство прекратить издание «Форвертса», Арнольд Руге остался в Париже после того, как упросил саксонского посланника вступиться за него и доказал свою лояльность к Пруссии. Генриха Гейне спасло покровительство Гизо, поклонявшегося его таланту. Маркс не шел ни на какие отступления от своих принципов и решил переехать в Брюссель.

Вечером накануне отъезда в квартире Маркса собрались

наиболее близкие его друзья. Эмма Гервег пришла первой. На другой день Женни должна была с ребенком переселиться к ней на несколько дней до своего отъезда вслед за мужем в Брюссель.

В квартире было уже неуютно и неустроенно. Исчезли вазы с цветами, салфеточки, добротные, привезенные из Трира гардины. На кроватке маленькой Женнихен не было тюлевого полога с розовыми бантами. На стол кое-как собрали скромный ужин. Эмма осмотрелась вокруг, всплеснула руками, поднесла к глазам батистовый, в кружевных прошивках, дорогой платочек и обняла Женни.

— Дорогая, я так боялась за Георга. К счастью, он не ввязался в эти дела. Мне, впрочем, кажется, что ему тоже хотелось бы быть высланным. Это ведь доказательство сопротивления, борьбы. Но Георг и без того опальный поэт. Всего лишь два года назад нас выгнали из Швейцарии. Ах, поэту всегда хочется сильных ощущений! Гервег столько же трибун, сколько и лирик. К тому же он не может себе представить жизнь в Париже без Карла.

Все еще продолжая говорить, Эмма взяла на руки крошку Женни. Она прижала ее к груди, покрывала пушистую головку поцелуями, приговаривая при этом ласковые словечки, затем снова озабоченно повернулась к Женни.

— В наше время все лучшие люди стали вынужденными бродягами и кочуют из страны в страну,— сказала Эмма.

Появление Георга и затем Гейне помешало ей продолжать.

Генрих Гейне резко изменился за последнее время. Он с трудом передвигал не сгибающиеся в коленях ноги. Болезнь медленно убивала его. Лицо Гейне было зеленовато-бледным и слегка перекошенным. Веки то и дело непроизвольно смыкались, закрывая глубоко запавшие темные глаза. Седая борода удлиняла исхудавшее страдальческое лицо. Он едва владел бессильно свисающей левой рукой. Трудно было поверить, что всего несколько лет назад Гейне, как и Гервег, обладал привлекательной наружностью и славился своей стремительной живостью.

Одет был Гейне по последней моде, щеголевато. Он всячески стремился скрыть свою немощь и физические муки. Отъезд Маркса глубоко огорчал поэта, и он, всегда любивший шутки, на этот раз был молчалив и печален.

Вскоре вернулся и Карл. Он принес билет на поезд в Брюссель. Разговор долго шел вокруг предстоящего путешествия.

— До Брюсселя четырнадцать часов езды,— сказал Карл. Он обвязывал веревкой корзину с уложенными вещами.

— Это в лучшем случае, а то проедете и все двадцать часов,— вмешался Гервег, мрачно взиравший на опустошенную комнату, на сборы в дорогу.

Он закурил сигару, уселся в кресло и казался еще бледнее и подавленнее, чем обычно.

— Медленно развивается железнодорожный транспорт в Европе, а ведь это истинное благодеяние для человека. Вряд ли во всей Франции мы имеем более трех тысяч километров железнодорожных путей,— сказал он.

Генрих Гейне раскупорил бутылку дорогого вина и предложил распить его за здоровье присутствующих и за счастливое будущее.

Когда все выпили, Гейне, сощурив и без того узкие глаза и улыбаясь одним пухлым женственным ртом, снова наполнил бокалы и сказал:

— Да сгинут тираны, филистеры, отщепенцы!

— Предлагаю тост за то, чтобы мечта стала действительностью! — провозгласил Гервег. Он вскочил с кресла и с неожиданной горячностью принялся чокаться.

Когда вино было распито, Генрих Гейне прошел в другую комнату, приблизился к кроватке маленькой Женни и наклонился над ней. Ленхен, обычно отгонявшая от колыбельки посторонних, чтобы девочку не заразили чем-либо, милостиво ему улыбнулась. Это была привилегия Гейне. Однажды, когда у малютки Женни начались сильные судороги, угрожавшие ее жизни, поэт, случайно пришедший к Марксу, спас ее, сам приготовив ей ванну. Растерявшиеся, полные отчаяния родители были поражены, с какой быстротой и ловкостью выкупал, а затем нянчил Генрих Гейне их дочурку. Ванна прекратила судороги, и к маленькой Женни вернулось здоровье.

После прощального ужина у Георга разболелась голова, и Эмма стала уговаривать его уйти пораньше домой.

— Он так хрупок, так впечатлителен. Высылка Карла повергает его в отчаяние,— говорила она, завязывая ленты капора.— До завтра, дорогая Женни.

Гервег крепко обнял Карла.

— Я приеду к тебе, если иначе мы не сможем свидеться,— сказал он.

Проводив Гервегов, Карл, Женни и Гейне уселись за стол. Речь зашла о Руге.

— Я могу перефразировать Солона,— сказал Гейне.— Мудрец говорит: «Пока человек живет, остерегайтесь называть его счастливым». Покуда жив Арнольд, остерегайтесь называть его честным человеком. Обождите, ему остается еще достаточно времени для будущих гадостей. Он уже пробует упражняться в них ради последующего совершенства.

Все рассмеялись.

— Мне хотелось бы узнать от вас о госпоже Жорж Санд,— заговорила Женни,— ведь вы близко знакомы и даже дружны с ней. Сейчас я снова перечитала «Индиану» и «Консуэло». Она очень талантлива, хотя и низводит иногда тему своих произведений до одной только любви, к тому же вне времени, вне обстоятельств. И все требует и требует для нее законной свободы...

Гейне провел рукой по мягким длинным волосам, посмотрел на Женни и сказал небрежно:

— Что ж, она дама, уже начавшая быть немолодой. Но всегда она умна и талантлива. Шопен, с которым она теперь не расстается, несомненно, даровитейший пианист-виртуоз, обаятельнейший человек. Но он очень болен, горячо переживает невзгоды своей родины — Польши, и ему нелегко из-за неспокойного характера возлюбленной.

— Жорж Санд, очевидно, любит музыку. Лист ведь тоже был долгое время ее другом,— заметила Женни.

— Да, но графиня д'Агу поссорила их. Аврора Дюдеван — не понимаю, зачем скрылась она под мужским псевдонимом Жорж Санд,— мечется в поисках истины. Она находит ее в музыке. Разве музыка не лишена противоречий, столь терзающих нас? В звуках нет глупости и желания слыть умным. Мы, каждый на свой лад, находим в них все, что хотим, и становимся от этого лучше, одухотвореннее.

— Жорж Санд — самая смелая женщина и в жизни и в творчестве,— сказала убежденно Женни.— Мне нравится ее смуглое лицо с глубокими черными глазами, смотрящими на мир внимательно, понимающе, но не без грусти.

— Есть от чего взгрустнуть, когда разглядываешь человечество,— сказал Генрих, отбросив обычную насмешку.

Поздно в этот последний вечер распрощались Женни и Карл с Гейне.

— Из всех, с кем мне приходится расстаться, разлука с вами, Генрих, для меня тяжелее всего. Я охотно увез бы вас с собой,— сказал Маркс, обняв в последний раз Гейне.

...Третьего февраля на рассвете Маркс уехал в Брюссель. Женни осталась у Гервегов, чтобы продать мебель и часть белья, полученного в приданое. Нужны были деньги на переезд и устройство в незнакомом городе. Желая поскорее выехать из Парижа к мужу, Женни продала все за бесценок, и средств у нее оказалось совсем мало. К тому же она захворала. Не оправившись окончательно от болезни, несмотря на уговоры Эммы остаться, Женни покинула ставший ей чужим и неприятным город. В наемной карете Гервеги отвезли ее с ребенком на вокзал.

С грустью смотрела Женни сквозь грязное окно кареты на Париж, где провела немало счастливых часов. Подскакивая на неровной булыжной мостовой, карета, запряженная неуклюжим першероном, проезжала по знакомым оживленным улицам. Гервег читал ей стихи о прекрасной Лютеции — праматери Парижа — и восторгался химерами Нотр-Дам. Эмма советовала прикрыть личико малютки Женнихен в поезде вуалью.

— Там так грязно, и дым валит из трубы локомотива, точно из кратера Везувия. В вагоне нет никаких удобств. Это великое достижение века пара — прообраз ада,— говорила она, все время что-то перекладывая.— Я предпочитаю почтовые кареты и особенно езду на перекладных. Какая романтика, какие виды, воздух! Георгу с его слабым горлом нельзя ездить по железной дороге. Это годится лишь для здоровых и бедных.

— Вот именно,— улыбнулась Женни,— ее строят рабочие, пусть она им и служит.

— Эмма, отдаешь ли ты себе отчет в том, что говоришь? — возмутился Георг.

— Право, когда столько забот и беспокойства, сколько у меня, легко запутаться и сказать глупость,— примиряюще ответила Эмма.

Подъехали к вокзалу, похожему на огромный уродливый сарай, отгороженный забором. Носильщики вынесли вещи на деревянный настил перрона. Неистово грохоча и дымя, небольшой локомотив с огромной трубой подтащил несколько узких, похожих на ящики вагонов.

Гервег закашлялся от зловонного дыма, и Эмма оттащила его прочь. Пассажиры кинулись к дверям и в страшной сутолоке занимали жесткие скамьи, бросая на них вещи. Едва Женни с ребенком и Елена с множеством корзин и баулов разместились, послышались резкие звонки, предупреждающие об отправке поезда. Локомотив снова отчаянно завыл и окутал

вагоны бурой пеленой дыма. Тщетно Женни пыталась за этой завесой еще раз увидеть друзей, стоявших на платформе. Вагоны вздрогнули, наклонились, точно готовые сорваться в пропасть, и двинулись по рельсам.

Две женщины, очевидно богатые лавочницы, осенили себя крестным знамением. Католический священник вытащил четки из кармана коричневой сутаны и принялся читать молитвы.

— Доедем ли живыми? Это ведь опасный способ передвижения? — спросил старичок в рединготе до колен, испуганно поглядывая в окно.— Тут и не выскочишь! Этакая бесовская прыть!

Какая-то дама почувствовала дурноту. Ее укачало, и, открыв окно, она высунулась, страдая, как от морской болезни. Но обе лавочницы заснули, громко захрапев.

В конце вагона расплакался ребенок, и тотчас же проснулась малютка Женнихен. Мать взяла ее на руки, чтобы Ленхен могла достать большую светло-желтую корзину с провизией. На шляпной коробке был сервирован завтрак. С необыкновенной ловкостью Ленхен накрыла ее белой салфеткой и поставила тарелки с тонко нарезанной, точно лепестки роз, ветчиной, с охотничьими, похожими на сигары, сосисками и швейцарским сыром, на котором выступили «слезы». Хлеб и домашнее печенье дополняли трапезу. Нельзя было устоять против соблазна, и Женни принялась за еду, к великому удовольствию Ленхен, которая была тщеславна, когда дело касалось ее кулинарных и домоводческих талантов.

На границе таможенные чиновники проверили вещи, и поезд двинулся по бельгийской земле. Женни не находила в окружающем какого-либо отличия от Франции. Разве только в том, что на остановках местные жители говорили на французском и на фламандском языках. За окном вагона то появлялись, то исчезали перелески, поля и холмы. Хмурое небо, моросящий дождик, переходящий на лету в тающий снег, были такими же, как и на улице Ванно. Встречавшиеся по пути вокзалы, похожие на сараи,— все это было точь-в-точь такое же, как и за условной чертой, называемой границей.

...Поезд запаздывал. Карл долго ждал на вокзале прибытия хрипящего локомотива и грязных шатких вагончиков. Наконец поезд пришел, и Карл обнял жену и дочь. Прошло несколько недель, как Женни и Карл не были вместе, но им обоим казалось, что тоска друг по другу дошла до предела.

«В трудные дни надо быть вместе»,— думала Женни. Теперь,

когда они встретились, беспокойство Женни о будущем кончилось, все казалось легким и преодолимым.

— Лабрюйер пишет,— сказала Женни, когда они двинулись с вокзала,— что любовь — это огонь, а разлука — ветер. Большое чувство разгорается под его воздействием, а маленькое — гаснет, не выдерживая испытания.

— Милая, неужели в тебе все еще живут сомнения? Наша любовь давно прошла все испытания и вышла из них несокрушимой и вечной.

Женни пожала ему молча руку. Она с интересом смотрела на незнакомый город. Он поражал множеством готических, рвущихся ввысь строений, храмов, остроконечными крышами, узкими, но, не в пример Парижу, чинными улицами и многочисленными площадями, украшенными статуями и фонтанами. Тут чувствовалась иная культура — фламандская.

— Страна купцов. Спокойная буржуазная монархия, о которой тщетно, восседая на вулкане, мечтает Луи-Филипп в Париже.

Когда Женни вошла в тщательно прибранную меблированную квартиру в отеле «Буа Соваж» на тихой улице Плен-Сант-Седюль и немного отдохнула от утомительного путешествия, Карл рассказал ей о том, что произошло с ним тотчас же по приезде в Брюссель. Его вызвали в ведомство общественной безопасности, где встретили самым учтивым образом. Разговор был коротким.

— Если вы, господин Карл Маркс, желаете с семьей проживать в королевской столице Бельгии, будьте любезны дать нам письменное обязательство не печатать ни единой строки о текущей бельгийской политике.

Маркс невольно облегченно вздохнул и добродушно улыбнулся. Такого рода обязательство он мог дать не кривя душой. У него не было ни малейшего намерения заниматься таким вопросом.

— Охотно подпишу и ручаюсь, что выполню обязательство,— сказал он и быстро поставил свою подпись на заготовленном к его приходу документе.

Так открылась следующая страница его жизни.

В Брюсселе познакомилась Женни с поэтом Фрейлигратом. Он пришел к Марксу в морозный февральский день, тотчас же после ее приезда из Парижа.

Маленькая Женни громко смеялась, сидя на высоком, огороженном со всех сторон деревянными перекладинами стуле. Девочка была очень мила в новом платьице, украшенном оборочками и кружевцами. Чепчик на темной головке заканчивался лентами, подвязанными под круглым с ямочкой подбородком. Ленхен разложила на столах и этажерках накрахмаленные салфеточки, расставила безделушки — и скромные меблированные комнаты отеля «Буа Соваж» преобразились.

Услышав голос вернувшегося домой Карла, Женни вышла в соседнюю комнату.

Карл был не один. Он представил жене пришедшего с ним невысокого мужчину.

— Вот это Фердинанд Фрейлиграт, поэт, демократ, неукротимый обличитель мракобесия и обвинитель реакционного пруссачества.

— Автор «Свободы» и «Памятника». Отличные стихотворения,— заметила Женни, всматриваясь в усталое незнакомое лицо.

Фрейлиграту было уже под сорок. Скитания последних лет, разочарование в прежних идеалах чистого романтизма, возмущение господствующей в мире несправедливостью наложили отпечаток горечи и недоверия не только на его душу, но и на бледное, слегка припухшее лицо с широкой бородой. Беспорядочно рассыпавшиеся волосы падали на плечи.

Период политического нейтралитета кончился для Фрейлиграта. Мечтатель, презиравший тенденцию в литературе, тосковавший по отвлеченному искусству, он столкнулся с суровой и бурной действительностью и содрогнулся, видя, как страдали люди, как беспросветна была жизнь большинства из них.

Стихи о прошлом, неясные и волнующие, как соловьиные трели, преклонение перед легендой и песней, которые дали ему королевскую пенсию в триста талеров, поэт считал теперь презренным отступничеством. Изгнание Гервега, репрессии против живой мысли и слова усилили его возмущение. Он отказался от подачки короля, покинул Германию, издал новый цикл революционных стихов — свой «Символ веры».

Знакомство с Фрейлигратом было очень приятно Карлу. Ему нравилась его открытая, простая и мужественная душа.

К концу февраля еще одно событие оживило и обрадовало

Маркса. Вышла в свет книга его и Энгельса против Бруно Бауэра. Впрочем, Карл уже жил иными мыслями.

В эти дни Фридрих прислал ему большое письмо, которое писал в течение нескольких дней в форме дневника.

«Дорогой Маркс!

Наконец, после долгой переписки с Кёльном, я получил твой адрес и сейчас же сажусь тебе писать. Как только пришло известие о твоей высылке, я счел необходимым открыть сейчас же подписку, чтобы коммунистически распределить между нами все причиненные тебе лишние расходы. Она прошла хорошо, и недели три назад я послал 50 с лишком талеров Юнгу; я написал также дюссельдорфцам, которые собрали столько же, а в Вестфалии я поручил агитировать Гессу... Я надеюсь, однако, через несколько дней получить все деньги, и тогда я тебе вышлю в Брюссель вексель. Так как я не знаю, хватит ли этого, чтобы ты мог устроиться в Брюсселе, то, само собой разумеется, мой гонорар за первую английскую статью, который я скоро получу хотя бы частью и без которого я могу обойтись, так как займу у отца, я предоставляю с величайшим удовольствием в твое распоряжение. Эти собаки не должны, по крайней мере, радоваться, что поставили тебя в затруднительное денежное положение. Верх мерзости, что тебя заставили еще заплатить за квартиру вперед. Боюсь, впрочем, что тебя не оставят в покое и в Бельгии и что тебе придется, в конце концов, переехать в Англию...

...Тут, в Эльберфельде, происходят чудеса. Вчера мы устроили в самой большой зале и первом ресторане города наше третье коммунистическое собрание. На первом присутствовало 40, на втором — 130, на третьем, по меньшей мере,— 200 человек. Весь Эльберфельд и Бармен... был там представлен. Гесс читал реферат. Читали стихотворения Мюллера, Пюттмана и отрывки из Шелли, а также статью о существующих коммунистических колониях... Успех колоссальный. Коммунизм является главной темой разговоров, и каждый день приносит нам новых приверженцев... Ты не имеешь никакого представления, насколько здесь благоприятна для этого почва... Как долго нас оставят в покое, я не знаю. Полиция во всяком случае в большом затруднении: она не знает, что ей делать, а главная скотина, ландрат, как раз теперь в Берлине. Но если наши собрания запретят, мы обойдем это, а если не удастся, то мы уже настолько всех расшевелили, что все наши литературные произведения здесь читаются нарасхват.

26 февраля

Вчера утром обер-бургомистр запретил госпоже Обермейер отдавать ее помещение для собраний, а мне было официально передано, что если, несмотря на это запрещение, собрание будет устроено, то последует арест и суд. Мы, конечно, не обратили на это внимания и должны ждать, привлекут ли нас, что, впрочем, мало вероятно, так как мы были настолько умны, чтобы не давать им для этого никакого повода, и вся история кончилась бы только большим позором для правительства. На собрании ведь были прокуроры и члены суда, а обер-прокурор принимал участие в прениях.

7 марта

С того времени, как я писал предыдущие строки, я провел неделю в Бонне и Кёльне. Кёльнцы могут устраивать собрания благодаря союзу. По нашему делу пришел указ из Дюссельдорфа, которым запрещаются дальнейшие собрания...

«Критическая критика» *все еще не получена.* Новое название: *«Святое семейство»,* меня еще больше поссорит с моим благочестивым и без того уже сильно раздраженным стариком. Ты, конечно, не мог этого знать. Как видно из объявления, ты мое имя поставил первым. Почему? Я ведь почти ничего не написал, и твой стиль ведь все узнают.

Пиши мне сейчас, нужны ли тебе еще деньги. Виганд недели через две должен выслать мне кое-что, и тогда ты можешь располагать этим. Я боюсь, что подписка получится всего 120—150 франков...

Твой *Ф. Э.*»

В мае Карл снял маленький домик на улице Альянс номер пять-семь, недалеко от ворот Сен-Лувен. Примечателен был домохозяин, добродушный пожилой врач Брейер, который стал часто посещать и лечить всю семью Маркса. Он был сторонником учения о витализме, заявлял, что длительность жизни человека определена от рождения, и верил в чудодейственную силу кровопускания. Приходя к больному, доктор Брейер иногда вытаскивал из кармана острый скальпель, завернутый в фуляровый платок, чем крайне пугал пациентов, особенно женщин. Он был очень красноречив, когда доказывал, что болезнь есть следствие дурной крови, и Маркс не раз отступал перед ним и разрешал вскрывать вену на руке.

Однажды, когда Ленхен и Женни были особенно заняты хозяйством, раздался энергичный стук молотком по входной

двери. Не снимая фартука и поправ[illegible] на ходу прическу, Женни пошла открывать.

— Могу ли я видеть Карла Маркса? — спросил молодой человек с улыбающимся, удивительно располагающим лицом.— Я Энгельс.

Женни Маркс живо протянула ему руку.

— Прошу вас, мы очень рады, Карл и я.

— Значит, вы жена доктора Маркса? Я так много слышал о вас лестного. К сожалению, когда я встречался с Карлом в Париже, вы были в отъезде.

— Да, я была тогда в Трире.

Молодые люди улыбнулись и сразу почувствовали взаимную симпатию.

— Карл, Карл, приехал наконец наш друг! Иди скорее сюда!

Карл и Фридрих горячо обнялись. После обеда Женни, разливая кофе, спросила:

— Скажите, Энгельс, как могло случиться, что, не зная лично Карла, вы в ранней юности написали стихи о себе и о нем как о двух соратниках? Они звучат как предвидение. Не правда ли?

— Да, я всегда искал такого друга, как Карл...

— Мне хотелось бы услышать вновь стихи Освальда — Фридриха, в которых он чудесным образом предвосхитил наш сегодняшний день,— настойчиво повторила Женни.

— Прочти, пожалуйста,— присоединился к жене Карл.

И Фридрих, смеясь, начал вспоминать свое стихотворение, написанное несколько лет тому назад.

Тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца
И в чьей груди насквозь проперченное сердце,
Тот длинноногий кто? То *Освальд*-монтаньяр!
Всегда он и везде непримирим и яр.
Он виртуоз в *одном:* в игре на гильотине,
И лишь к *единственной* привержен каватине,
К той именно, где есть всего один рефрен:
Formez vos bataillons! aux armes, citoyens!..
Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?
То *Трира* черный сын с *неистовой* душой.
Он не идет,— бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.

— Отлично! — зааплодировала Женни.

— Нет,— тихо ответил Фридрих,— эти вирши я писал давно, когда был еще очень молод.

— Но вам теперь только двадцать пять,— весело рассмеялась Женни.

— А Марксу двадцать семь,— сказал Энгельс.

— Вы и по годам идете рядом, как и следует друзьям!

Дверь отворилась. В комнату деловым, энергичным шагом вошла девушка с корзиной в руке, в белоснежном чепце, надетом поверх высоко зачесанных волос. Лицо ее поражало свежестью, светлые глаза — чистотой. Такому румянцу и алым губам могла позавидовать любая парижанка.

Вошедшая недоверчиво и немного исподлобья, строго испытующе посмотрела на Энгельса и остановилась в нерешительности.

— Знакомьтесь, Фридрих. Это наш добрый гений, божок домоводства...— начала Женни.

— И диктатор,— вставил Карл.

— Елена Демут. Моя мать, у которой Ленхен жила с девятилетнего возраста, прислала ее нам, лишив себя лучшего сокровища, которое было в ее доме.

— Что вы это говорите,— смутилась Елена и несколько неуклюже поклонилась Фридриху.

Их глаза, одинаково смелые и правдивые, встретились. Выражение лица Елены несколько смягчилось, но, казалось, она не хотела поддаваться очарованию ума и простоты, исходившему от молодого человека, и снова немного нахмурилась. Она была осторожна и недоверчива. Трудное детство, бедность в деревне, где росла Елена, приучили ее внимательно и долго приглядываться к незнакомым людям и сдерживать свои чувства.

— Ленхен — друг всех наших друзей, надеюсь, она отныне будет другом и тебе, Фридрих,— сказал Карл, улыбаясь.

Когда вскоре Ленхен вышла, Женни снова заговорила о ней:

— Право, не знаю, что бы я делала без этой преданной подруги. У нее руки кудесницы. Она все умеет: шить, стряпать, нянчить Женнихен и находить выход из самого безысходного тупика, в который нас часто заводит безденежье и, главное, моя бесталанность в ведении хозяйства.

— Добавь, что Ленхен нередко обыгрывает меня в шахматы. Удивительно, как проницательно добра и природно умна эта девушка. Ей только двадцать два года. У нее, бесспорно, не только большое сердце, но и глубокий ум,— сказал Карл.

Фридрих Энгельс приехал в Брюссель чрезвычайно увлеченный Людвигом Фейербахом и много рассказывал о нем Карлу.

— Как я тебе уже писал,— говорил Фридрих,— Фейербах ответил на наше общее письмо к нему. Я уверен, он неизбежно придет вскоре к коммунизму и станет нашим соратником.

Карл с сомнением покачал головой.

— Фейербах неоспоримо прав, когда объявляет абсолютный дух отжившим духом теологии. Верно и то, что «Сущность христианства» осветила многие головы и спасла их от путаницы и мрака. Мы от всей души приветствовали его в феврале прошлого года, хотя не все у него приемлемо. Ты знаешь, я писал об этом в «Немецко-французском ежегоднике»... Но будет ли он борцом? Это ведь созерцательный ум, к тому же жизнь в глуши делает его все более вялым, безразличным. Увы, Фейербах не хочет понять, что человек существо общественное и всегда зависит от данной среды и условий. Он воспринимает человека исключительно биологически. В этом его великое заблуждение. Природа природой, но не уйти нам в этом мире и от политики. Рядом с энтузиастами природы должны стать энтузиасты государства, хочет или не хочет этого Фейербах.

Помолчав и подумав, Энгельс ответил:

— Фейербах подверг жестокой проверке гегелевскую философию природы и религии, ты вскрываешь и исследуешь философию права и государства.

— Что же ты хочешь? Чтобы я досказал то, о чем умалчивает этот смелый и могучий мыслитель? иронически спросил Маркс.

— Да, тебе это по плечу. Но потому, что у Фейербаха, согласно его же словам,— ответил Фридрих,— есть движение, порыв, кровь, я все же верю, что он станет, рано или поздно, в наши ряды. Пока же в своем письме он говорит, что еще не покончил с религией, а без этого не может прийти к коммунизму. И все же по натуре он коммунист. Будем надеяться, что летом он, несмотря на свое отвращение к городу и столичной сутолоке, приедет из своей баварской Аркадии к нам в Брюссель и мы поможем ему преодолеть сомнения.

— Конечно, конечно,— подтвердил Карл, любуясь уверенностью и оживлением свежего лица и гибкими красивыми движениями ходившего по комнате Энгельса.

...Людвиг Фейербах много лет подряд жил в Брукберге, в красивейшем уголке Баварии. Угрюмый, замкнутый, он любил сельское уединение, созерцание природы, одинокие прогулки по безлюдным долинам и холмам. Природа, утверждал он, обогащает его ум и душу, открывает тайны жизни и подсказывает

ответы на кажущиеся неразрешимыми вопросы. «Город — это тюрьма для мыслителя»,— любил повторять Фейербах слова Галилея и спорил с теми, кто звал его к людям. Он объявлял, что в одиночестве и тишине черпает силы для борьбы. Но борцом он не был и уклонялся от действия. Пассивный характер Фейербаха отражался и на его книгах. Он любил размышлять, но не призывал к борьбе и протесту.

Вскоре после выхода «Святого семейства» один из видных чинов австрийской тайной полиции в Вене передал для ознакомления Меттерниху объемистый пакет, пришедший от сотрудника влиятельной газеты «Allgemeine Zeitung».

Австрийский канцлер сидел за столом в темном мундире и через лорнет просматривал бумаги. Старость безжалостно разрушила этого некогда столь могучего хищника.

Легкий слой румян и пудры еще более подчеркивал потухший взор глубоко запавших мутных глаз, мертвенно желтые, сморщенные, острые уши и отвислый подбородок. Грозный оплот мировой реакции походил теперь на жалкую одряхлевшую рысь, не имеющую больше сил рипуться за добычей.

Но Меттерних не оставлял еще политической борьбы. Он не хотел замечать сложившейся помимо его воли враждебной обстановки. С тем же бешенством бессилия, с каким он бежал прочь от сотен зеркал своего дворца, отражавших с жестокой точностью его обезображенное временем лицо, он отворачивался теперь и от политического барометра, указывавшего на приближение бури.

Дряблой, в перстнях, рукой Меттерних отложил новенькую терпко пахнущую типографской краской книгу, на заглавном листе которой прочел имена авторов: Фр. Энгельс и К. Маркс,— и бегло просмотрел донесение. Оно состояло из письма издателя Левенталя и приписки осведомителя. Отпустив подчиненного, канцлер надел очки в золотой оправе и погрузился в чтение.

Левенталь писал некоему журналисту — сотруднику газеты, с которым был коротко знаком:

«Я посылаю Вам книгу Энгельса и Маркса, только что вышедшую из печати. Эта книга в настоящий момент представляет особый интерес, так как Маркс недавно был выслан из Парижа. Энгельс и Маркс — наиболее способные сотрудники «Немецко-французского ежегодника» Руге. Энгельс, который

долго жил в Англии, является наилучшим знатоком английских социальных порядков. Его осведомленность в английских фабричных отношениях признана неоспоримой и в Германии.

Данная книга борется против философско-социального направления бауэровской «семьи» и написана в резко саркастической манере.

Энгельс и Маркс, образуя фракцию коммунизма, являются, следовательно, в известной мере крайними по своим взглядам. Книга их — это победоносный и сокрушающий поход против бауэровского пустословия, претенциозности и безвкусной фразеологии. Она, во всяком случае, произведет впечатление, особенно благодаря своему совершенно новому критическому подходу к «Парижским тайнам» Эжена Сю. Она также содержит интересные замечания о французской революции, французском материализме и социализме...

Ознакомление с этой книгой подведет вас к богатому и благодатному источнику, имена обоих авторов ее уже стали предметом обсуждения прессы.

Вы меня очень обяжете, если выступите с обстоятельным разбором этой книги в «Allgemeine Zeitung».

Надеюсь, что я вскоре смогу доказать вам, как всем сердцем я ценю ваше дружеское расположение к себе...

До личной встречи...

Преданный вам
Левенталь

Франкфурт-на-Майне, 24 февраля 1845 г.»

Меттерних перевернул последний листик письма, на нем была пометка осведомителя.

«Книга в 21 печатный лист «Святое семейство», или «К критике критической критики» против Бруно Бауэра и компании Фр. Энгельса и К. Маркса — замечательное явление. На этих днях она вышла в издательстве Рюттен и Левенталь. Как именно доктор Левенталь, который вообще хорошо разбирается в социалистическом движении Франции, оценивает книгу, можно в известной мере получить представление по его письму».

Подписи не было, но Меттерних хорошо знал почерк немецкого журналиста, давно состоявшего на платной службе в австрийской полиции.

Откинувшись в кресле с высокой резной спинкой, старый канцлер перелистал книгу двух молодых коммунистов. Уже бег-

лое ознакомление с ней дало ему возможность оценить юмор, задор и недюжинные знания авторов.

«Ученые люди,— подумал он, ожесточаясь.— И как, однако, заражены страшным ядом века! И все же это от молодости. Образумятся с годами, оценив преимущества кастовых барьеров и прелесть денег».

Тем не менее настроение Меттерниха в этот день было испорчено.

В мае 1845 года вышла книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Фридрих всегда глубоко вникал в каждую мысль, изложенную Марксом. Карл тоже отдался весь чтению книги друга. И чем глубже, поразительнее было то, что он находил, читая, тем радостнее, счастливее становилось выражение его лица. Карл мог гордиться молодым автором замечательного первого труда о рабочем классе. Все было значительно, ново, неоспоримо в книге Энгельса. Страшные картины непосильного труда и нужды людей, вся жизнь которых — вращение по кругам Дантова ада,— это внешнее, говорил молодой ученый. Это следствие. И затем Энгельс с проницательностью мудреца постиг и глубинную сущность бедствия — капиталистический способ производства. Он открыл закон не только возвышения, но и неизбежного падения буржуазии. Нищете сегодняшнего дня он научно противопоставил неизбежное грядущее возвышение тружеников. Он бросал грозное обвинение капиталистам и буржуазии, рассказывал, как крупная промышленность угнетает огромную массу своих рабов — пролетариев, и далее доказывал, что по суровым законам исторической диалектики рабочие неизбежно поднимутся и ниспровергнут ту силу, которая их порабощает. Слияние рабочего движения с социализмом — вот дорога к господству пролетариата.

— Твоя книга замечательна,— сказал Карл Энгельсу.

Той же весной Маркс сформулировал свои тезисы о Фейербахе. Они сложились в часы глубокого раздумья, когда он медленно прохаживался по комнате, сосредоточенно глядя перед собой, или сидел за рабочим столом, выкуривая одну сигару за другой. Снова и снова тогда обдумывал он философские взгляды Фейербаха.

Быть может, Маркс и нашел гениальный зародыш нового мировоззрения в часы этих ночных раздумий?

Маркс записал краткие итоги творческого анализа и раз-

мышлений в первую попавшуюся ему под руку тетрадь. Это была записная книжка, в которой Женни отмечала расходы по хозяйству и количество белья, отдаваемого в стирку.

«Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»,— написал Маркс.

Это был одиннадцатый тезис, имеющий прямое отношение к Фейербаху. Карл подчеркнул слова «объясняли мир» и «изменить его» чертой, похожей на острую летящую стрелу.

Чрезвычайно сложный, трудночитаемый почерк Маркса отражал уверенность и волю. Кажется, что не по хрупкой бумаге, а по мрамору, резцом выведена его удивительная вязь. Лаконический слог, полный глубокого значения, напоминает изречения древних мудрецов, что высекались на камне для последующих поколений.

В противоположность Фейербаху, который рассматривал человека абстрактно, Карл Маркс доказывал, что сущность человека «есть совокупность всех общественных отношений».

Женни с ребенком уехала в Трир к матери, и Фридрих уговорил Карла отправиться в Англию месяца на полтора, чтобы ознакомиться с самой мощной капиталистической державой Европы. В начале июля оба друга выехали в Лондон.

...Только тридцать миль отделяют континентальную Европу от Англии. Всегда бурный пролив был для англо-шотландского государства спасительным водным заграждением, защищавшим от вражеских воинов, вражеских влияний, вражеских новшеств.

Взъерошенный сквозными ветрами, истерический Ла-Манш служил острову в течение ряда столетий тем, чем была для Китая Великая стена. На протяжении веков остров не знал чужеземных нашествий. Последними завоевателями были норманские феодалы, открывшие собой длинную летопись английских королей. Позднее флотилии, посылаемые с континента, тщетно старались причалить к берегам крепнущей морской державы, идущей на смену адриатической Венеции, средиземноморской Генуе и Испании. Напрасно Наполеон, боровшийся за европейский рынок, готовился высадить десант на противоположном французской Нормандии берегу. Неудачные морские войны с англичанами положили начало его гибели...

Старую истину, что три четвертых Земли затоплены водой, задолго до других учли стесненные местом потомки кельтов и

саксов. Вода стала им сушей. Суровая жизнь на обойденном солнцем острове создала крепких, беспощадных морских торговцев и завоевателей.

Христофор Колумб обогатил своим открытием не столько Испанию, сколько Англию. Карты Васко да Гама привели британцев в Индию и на острова Великого океана. Неутомимые, легализованные государством английские пираты шныряли по всем морям и океанам, не встречая значительной помехи и преград, увозя драгоценности, захватывая рабов, которыми торговали прибыльно и бойко, наравне с сукном и баранами.

Заморские купцы проявляли в подвластных землях ничем не ограниченную звериную жестокость. Но, возвращаясь на родину, они мгновенно преображались в весьма набожных, лицемерных, готовых к покаянию и покаянию слуг короля и церкви, в строго нравственных отцов, в елейно-послушных сыновей. Это свойство перевоплощения сохранилось у колониальных купцов и чиновников на столетия.

Ступив на трап парохода, идущего под имперским королевским флагом, английские пассажиры, направляющиеся в колонии, оставляют позади свою предназначенную для «домашнего употребления» маску.

Так с годами сеть британского колониализма опутала более полмира. В удачно закинутый с маленького клочка земли невод попались целые материки и огромные страны. Около полмиллиарда людей беспомощно барахталось в этих сетях.

Расстояние не в силах отделить английского собственника от его предприятий. Австралийские стада и пшеница, канадские молочные фермы, индийские хлопковые и чайные поля, каучуковые плантации островов и южноафриканские металлы вынуждают своих хозяев к постоянным длительным разъездам.

Вода — основа благоденствия Англии, поле ее битв, ее военная дорога.

...В первый же день пребывания в Лондоне Энгельс и Маркс отправились посмотреть парламент.

— Сколько крови пролили англичане, чтобы добиться парламентаризма, считая, что в этом — гарантия справедливости, благоденствия, счастья народа,— сказал Карл, рассматривая Вестминстерское аббатство.

Здесь рядом с суровой усыпальницей королей и героев, как многовековой храм пуритан кромвелевской поры, высится серый, мрачный парламент.

Почерневшие, как весь Лондон, от угольного чада миллионов каминов стены, шпили, укрытые сводами оконца, готические башни — таково здание парламента, современника хмурого средневековья, отстроенного после пожара в начале XIX века.

Маркс и Энгельс медленно входят внутрь.

...Ожившими тенями минувших веков дозор проходит по гулкому ледяному холлу-галерее, просторной, как арена для турниров громоздких, звенящих доспехами рыцарей. Сборчатые, пышные костюмы, меховые шапки тюдоровской поры, квадратные фонари в руках стражников — великолепное дополнение к каменным парламентским стенам. По стершимся ступеням великан пристав, «носитель черного жезла», и его свита спускаются в коридоры палаты общин.

Двести лет назад в сырых темных погребах отчаявшийся смельчак Гай Фокс наполнил бочки порохом, мечтая взорвать продажный парламент и жестокого короля. Выданный сообщником, он погиб на плахе Тауэра. Но призрак мятежного заговорщика долго пугал парламентариев. Поныне каждый раз перед началом сессии традиционный обход не существующих более погребов служит своеобразным поминовением Гая Фокса.

Из холодных чертогов «казенной» квартиры при парламенте, в черной мантии, в рыжем парике, ниспадающем на плечи завитушками, выходит спикер. Через анфиладу пустых залов, украшенных лишь стенными фресками, он проходит по узкому, освещенному тусклым светом с потолка, сумрачному, как часовня, залу парламентских заседаний. Избранный пожизненно, спикер обречен идти всегда той же дорогой, в том же платье средневекового придворного к позолоченному креслу в проходе парламентского «святилища». Здесь он садится на мешок шерсти, символизирующий источник благоденствия Великобритании. Перед ним на зеленом сукне канцелярского стола — своды парламентских постановлений и булава — вооружение председателя.

Золотушный писец, чахнущий в ленивой атмосфере парламентских дебатов, встречает спикера благоговейным, установленным много сот лет назад поклоном и протягивает ему отточенное гусиное перо.

Меняются кабинеты министров, но неизменен тучный спикер и вылинявший среди справочных тетрадей клерк.

Спикер обязан тотчас же после избрания покинуть свою партию, подчиняясь закону о беспристрастии. С точностью и равнодушием автомата он предоставляет «слово» членам парла-

мента, обязанный замечать выраженные ими желания выступить с речью.

Он — одна из неотъемлемых частиц устарелой парламентской машины. Тщетно искать на его лице, в сжатых губах скряги, в сонных глазах отблесков мысли или темперамента политического деятеля. На помятом лице спикера нет следа ни пороков, ни достоинств. Он мог бы сидеть за прилавком мясной лавки, в банковском кабинете, за конторкой надсмотрщика долговых тюрем. Таких людей природа изготовляет оптом.

Только одно неотъемлемое достоинство, приведшее к спикерскому креслу, выделяет его в толпе депутатов — память: огромный, содержащийся в примерном порядке склад, на полках которого разложены имена и округа всех парламентариев. Он знает их безошибочно в лицо и называет по местности. Такова традиция. Имя депутата произносится только тогда, когда за ним следует порицание.

Пронзительный гонг извещает о начале заседания. В тот день, когда в парламент пришел Маркс, шли прения о положении в Ирландии. Болезнь картофеля уничтожила там весь урожай. Перенаселенная Ирландия, прозванная «страной картофельной кожуры», дошла в течение года до неописуемой нищеты. Ввоз индийского хлеба по удешевленной цене не помог. Не только в Ирландии, но и во всей Англии и Шотландии народ также голодал.

Правительство вынуждено было подумать о ввозе беспошлинного хлеба из-за границы. Однако богачи землевладельцы и хлеботорговцы решительно возражали. Королева Виктория обратилась к лорду Джону Росселю, предлагая ему составить министерство и провести этот важный законопроект. Но, не имея достаточной поддержки в парламенте, он отказался. Только Роберт Пиль, хитрец и интриган, унаследовавший от отца титул барона и громадное состояние, весьма влиятельный среди консерваторов (так стали называть себя отныне тори), мог добиться решения этого вопроса.

Прения в парламенте о хлебных законах длились уже несколько лет. А голод в это время вползал в лачуги Великобритании и валил с ног людей. О нем пели заунывные песни, грозные и мрачные, как реквием. Поэт Эбенезер Элиот издал свои «Стихи о хлебных законах», которые, как псалом, переходили из уст в уста:

Выходили из престонских сукновален
Тысячи маленьких заключенных

И грустно улыбались бледными губами.
Это была смерть на пороге жизни.
Прохожие спрашивали: «Разве это дети?»
С ними шли живым грозным потоком,
Поддерживая друг друга, мужчины —
Армия истощенных теней.

Роберт Пиль объявил себя сторонником свободной торговли хлебом. Одновременно он усилил военные гарнизоны англичан в Ирландии, чтобы припугнуть изнемогающую от голода и всяческих лишений страну, где не прекращались волнения и массовая эмиграция. Роберт Пиль понимал, что народ яростно ненавидит существующие хлебные законы, обогащающие аристократию, и не захочет более погибать от голода и платить корыстным землевладельцам по одному пенни надбавки за каждый фунт хлеба.

Маркс с большим интересом прислушивался к прениям о хлебных законах.

Первым выступил член парламента, депутат от Девонширского округа. Приподнявшись, но не сходя с места, он невыносимо ровным голосом начал читать речь о пользе развития куроводства в Соединенном королевстве.

Спикер, безучастно глядя на оратора, подсчитывал в уме расходы, предстоящие в связи с началом светского сезона приемов.

Матовый цилиндр текстильного фабриканта Кобдена, сидящего в первом ряду направо от спикера, сполз на внушительный треугольник носа. Тряхнув головой, он передвинул шляпу и вытянул тощие ноги. Писец почтительно отодвинулся от лакированных дорогих штиблет.

Цыплята, уже ставшие курами, несут бесчисленное количество яиц, легко превращаемых в слитки золота; девонширский депутат отирает пот со лба, доказывая выгоды своих предложений.

— Слушайте, слушайте! — изредка восклицают немногие, выражая тем одобрение оратору.

Зал заседаний парламента вмещает не более половины всех депутатов. В большие «парламентские дни», когда випы (загонщики) в поисках голосующих без устали снуют, сзывая и свозя депутатов, немало парламентариев толпится в проходах и дверях или занимает места на галереях, предназначенных для посторонних и прессы.

Средневековый архитектор поставил депутатские трибуны

вдоль длинных готических стен, чтобы депутаты правительственной партии и оппозиции сидели лицом друг к другу.

Партийные организаторы иной раз, пользуясь неудобствами зала, подготовляют коварные замыслы, могущие решить участь кабинета. Перед голосованием по незначительному поводу, когда правительственная партия беспечно отсутствует, не предвидя для себя опасностей и подвохов, ловкий загонщик под строжайшей тайной мобилизует силы оппозиции. Заслышав красноречивый гонг, к месту боя — в зал сессии — в неожиданно большом числе сходятся спрятанные до того по квартирам, кабинетам, соседним ресторанам депутаты-оппозиционеры. В панике мечутся, отыскивая своих, загонщики правящей партии; если в течение четверти часа они не противопоставят вражескому натиску свои голоса, кабинет рискует падением.

В холле, на рубеже нейтральной зоны между двумя палатами, прохаживается коренастый светлоглазый Гладстон, честолюбец, выжидающий своего часа, чтобы возглавить правительство Великобритании.

Оживленно жестикулируя, встряхивая поминутно прямыми черными прядями волос, в кулуарной толпе ораторствует неврастенический лидер вигов. Это худой, прямой как посох человек с лихорадочным взглядом чахоточного.

Его прислал в парламент город Глазго — город отверженных.

Старые дома, душные шахты, бессолнечные заводские сараи промышленной Шотландии пометили клеймом нищеты, недоедания, горького пьянства многих своих обитателей. Изуродованные рахитом дети, безработные, жмущиеся к стенам, точно случайные прохожие, усталые женщины у нетопленных очагов над пустыми кастрюлями и немногие счастливцы, имеющие сегодня заработок,— вот кого часто можно увидеть в Глазго.

...В затянутых коврами и портьерами залах палаты лордов особенная тишина и дорогостоящий комфорт аристократических лондонских клубов. В мягких креслах дремлют древние старцы. Мимо представителей «голубой крови» бесшумно скользят лакеи. На застекленных полках многоэтажных шкафов прекрасной библиотеки в сафьяновых гробах-переплетах — бумажный прах сотен тысяч протоколов, отчетов, речей давно исчезнувших людей. Тут же в читальне грозное предупреждение истории — свиток, скрепленный сотнями разнообразных подписей,— смертный приговор Карлу I.

За окнами бьется бурливая в часы прилива Темза. На противоположном берегу, вдали, как бастионы крепости, стоят доки.

«Святая святых» палаты лордов — зал заседаний. На низких античных скамьях, крытых пурпурным сукном, восседают сенаторы-патриции, подлинные господа империи и парламента, титулованные, богатые скотоводы, помещики, банкиры, главари разбойничьих обществ, законно разоряющих колонии, потомки работорговцев и завоевателей. Десятки знамен побежденных и покоренных наций спускаются с круглого балкона.

«Давно истлевшая мудрость былых поколений все еще пытается воздействовать на современность. Смешные церемонии, неудобные костюмы предков, бесчисленные уродливые, выродившиеся предрассудки используются как защитная форма господства аристократии»,— думает Карл.

Парламент, добытый в многолетней борьбе против произвола королей, герцогов, аристократов, обагренный кровью вольнолюбцев, погибавших за свободу и истинную веру, когда-то опасный и жестокий соперник монархов, все еще арена, где без устали повторяется одна и та же, всем давно известная, изрядно надоевшая пьеса.

Поздней ночью кончается парламентская сутолока. Дома поглотили дневные шумы. Лондон как будто пуст.

...Города с большой точностью изобличают привычки, историю, социальный строй нации.

Город — великолепный музей, где экспонатами являются и сложной архитектуры столетние дома — кладбища многих поколений, и стены, запечатлевшие подчас первый крик и предсмертный стон гениев.

По утрам с окраин отправляются на работу счастливцы, сохранившие ее, тащатся калеки и нищие к месту «службы» — на углы людных улиц, в простенки больших домов, идут слепцы с собаками-поводырями продавать спички у порогов магазинов и банков, едут клерки и лавочники.

В течение многих лет беспредельное высокомерие, национальное чванство одурманивали, как наркотик, сознание преуспевающей нации. На постоянный подкуп и различные формы благотворительных подачек рабочему классу буржуазия и ее правительство тратили ежегодно много миллионов фунтов стерлингов. Сумма незначительная в соотношении с колоссальной данью, которую получал великобританский буржуа. Англия — страна, награбившая неоценимые сокровища.

Шовинистические восторги всегда подобны приторному ли-

керу, очень приятному после сытного, дорогого обеда. Но ликер тошнотворен и непереносим для пустого желудка.

Ужасна, как проказа, как гноящиеся впадины незрячих глаз, нищета Востока. Ее выставляют, как знаки отличия, о ней исступленно кричат обнаженные чудовищные язвы: зловонные жилища; хворые, изможденные дети; грязные, равнодушные, отупевшие от голода, детского воя женщины; тощие мужчины, готовые за еду и на унизительное кривляние и на сверхчеловеческий труд; старики, борющиеся с собаками за съедобные сокровища помойных ям. Нищета Востока криклива, необъятна, воинственна. Не было борьбы за жизнь более упорной, длительной и бесплодной, чем ежедневная борьба со смертью китайского, индийского, африканского кули.

На Востоке лишения не позор, они преимущество большинства.

Совсем иная нищета Запада — скрытая, заплатанная, робкая, ослабленная горьким стыдом за себя, добровольным унижением.

Английской нищете в особенности свойственна трагическая робость. Незабываема походка безработного, плетущегося по дорогам Англии из города в город, из конторы в контору. Безработица хлыстом полоснула его по крепкой спине, сдвинула плечи, ослабила ноги. Потрепанный костюм, плохо вымытые у ближайшего ручья большие беспомощные вне труда руки, помятое долгим бродяжничеством лицо не дают ему поднять глаза.

Скелетообразная старуха, закутанная в ветхий платок, как в сгнивший саван, вынырнула из тумана на одной из центральных улиц Лондона, протягивает руку, в которой дрожит увядший букетик фиалок. Она жертва стыда больше, чем нищеты, в которой не решается признаться. Стыд скомкал ее уста, и она умрет от голода и сырости на этом же углу, не решившись прервать молчание воплем. Жалкий букетик никто не купит, но умирающие фиалки легализуют старуху в зорких глазах полиции, выдавая ее за продавщицу цветов.

Нищенка — выходец из иного мира, мира обездоленных. Через улицы, едва освещенные фонарями и лампами магазинов, она возвращается к себе на окраину, где никто не покупает фиалок. Путь домой долог. Старуха идет до рассвета по набережной, мимо спящих на скамьях нищих, по мосту над Темзой, мимо склонившихся над водой в страшном раздумье — «быть или не быть?» — людей без завтрашнего дня, уставших вымаливать работу. Прижимая к платку дряблые стебельки цветов и

несколько выпрошенных молчаливо грошей, добирается она до своей лачуги. Зеленые, как плесень, стены и ободранный кустик у порога полны все того же тоскливого стыда за свое безобразие и бедность.

В Лондоне дома и люди молчат, настороженно прячут свои раны, непросыхающую сырость, чадящий очаг, удушающие запахи перенаселенности. Приглушает занятнанной подушкой стоны роженица, корчащаяся на деревянной без матраца кровати. Бесшумно выпускает из своей мансарды мужчину проститутка. *Тихонько перебирает подаяние нищенка...*

Фридрих торопился в Манчестер, и скоро Карл понял, в чем была причина. Там ждала Энгельса миловидная ирландка — Мэри Бернс. *Молодые люди любили друг друга уже несколько* лет. Мэри была долгое время работницей и познала смолоду много горя и унижений. Тем больше дорожил ею Энгельс. Она была общительна, непосредственна, от природы умна и наблюдательна. Мэри всей душой и навсегда привязалась к Энгельсу *с того самого дня, когда он встретил ее случайно на одной из* убогих и жалких улиц Манчестера.

Марксу многое понравилось в текстильной столице. Но особенно пристрастился он к большой общедоступной библиотеке, одной из старейших в Европе, носящей имя крупного манчестерского мануфактуриста — Хэмфри Чэтама. Здание библиотеки — одно из древнейших в городе. В XII веке это был замок, превращенный затем в монастырь. В годы английской революции в нем размещались арсенал, тюрьма и казарма. Маркс подолгу любовался архитектурой библиотеки, причудливо сплетавшей стили ранней и поздней готики. Книгохранилище было размещено в бывших кельях монастыря и даже в пределах часовни. До середины XVII века книги, согласно завещанию Чэтама, были прикованы к полкам цепями, чтобы их не расхищали. Позже библиотекари запирали читателей за деревянными решетками в небольших нишах, навешивая огромные висячие замки.

Введя в первый раз Маркса в библиотеку, Энгельс сказал ему:

— Особенно много здесь изданий шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков и, представь, есть девяносто книг — инкунабул, напечатанных до тысяча пятисотого года по методу, изобретенному еще Гутенбергом!

В читальне убранство оставалось неизменным уже два столетия. Вокруг дубового темного стола посредине комнаты с низким сводом стояли стулья — современники Кромвеля. Резные аллегории над камином изображали факел знания, лежащий на книге учения, змею и петуха — символы мудрости и бдительности. Пеликан, кормящий птенцов, должен был олицетворять христианское милосердие.

Маркс выбрал себе место за квадратным бюро в башенном выступе читальни. Сквозь разноцветные стекла высокого окна падал нежный желтый, синий, зеленый и красный свет.

В Чэтамской библиотеке Маркс смог впервые ознакомиться с трудами представителей английской классической политической экономии, которые до сих пор знал лишь в переводе.

В Манчестере Фридрих познакомил Карла с тремя настоящими, как он выразился, людьми. Часовщик Иосиф Молль, превосходный оратор, умевший быть также и превосходным слушателем, сапожник Генрих Бауэр, суровый на вид и сердечнейший человек, и Карл Шаппер, упорный и бесстрашный студент, то наборщик, то учитель, произвели на Маркса сильное впечатление.

Эти три немца были закалены самой жизнью, испытавшей их на постоянной борьбе, в тайных рабочих обществах. После разгрома «Союза справедливых» они бежали в Англию и тотчас же принялись восстанавливать разрушенное. Очень скоро они объединили немцев-изгнанников. Большое влияние на немецких рабочих в Англии имели книги Вейтлинга и выступления чартистов.

Фридрих Энгельс многократно бывал в Англии. Его охотно принимали в самых различных кругах. Он нравился равно деловым людям и женщинам своим умом, обходительностью и внешностью. Его легко можно было принять из-за его чисто военной выправки не за скромного бомбардира, каким он был недавно, отбывая в Пруссии военную службу, а за гвардейского офицера, несколько неуклюжего в непривычном штатском платье. Лицо Фридриха все еще оставалось юношески пухлым, и только глаза отражали немалый жизненный опыт и зрелость мысли. Он в совершенстве владел английским языком и превосходно знал историю, экономику, политическое положение и быт Великобритании, где ему недавно пришлось безвыездно провести около двух лет. Тогда-то он сотрудничал в чартистской газете «Northern Star», в социалистическом органе «Новый нравственный мир». Энгельс не преминул познакомить Маркса

с несколькими видными руководителями чартистского движения.

Джордж Юлиан Гарни, потомственный пролетарий, человек с суровым лицом, всегда нахмуренными мохнатыми бровями, уже несколько лет был коротко знаком с Энгельсом. Встретившись впервые с Марксом, он долго испытующе всматривался в него, затем внезапно просто, широко улыбнулся и протянул ему большую шершавую ладонь. Что-то располагающее, неожиданно ласковое почудилось Карлу в его крепком рукопожатии. Интересным и приятным был и другой знакомый Энгельса, словоохотливый, вносивший много оживления, поэт-чартист Эрнест Джонс. Он свободно владел немецким языком, что значительно облегчало обсуждение с ним всех серьезных политических вопросов. Ведь Карл еще не совсем твердо усвоил разговорную английскую речь.

В таверне «У ангела», расположенной на Уэбберстрит, в августе состоялось совещание демократов разных стран. Там был также и Маркс. Согласно принятым в Англии правилам ведения собраний, с Энгельсом заранее договорились, что он выступит в защиту подготовленной резолюции.

Председательствовал Чарльз Кин, несколько медлительный, всеми уважаемый пожилой человек, много лет и сил отдавший борьбе за хартию вольностей. Ораторы говорили пространно. К концу председатель отыскал глазами Энгельса, который степенностью, подобранностью ничем не отличался от англичан.

— Слово предоставляется ситизену Фридриху Энгельсу,— объявил Кин. Назвав его ситизен — гражданин, он подчеркнул, что выступать будет политический эмигрант.

Энгельс говорил как прирожденный англичанин. Тот, кто узнавал, что он немец, недоумевал и сомневался, так ли это. Фридрих поддержал резолюцию, которая предлагала собрать проживающих в Лондоне демократов всех национальностей для обсуждения вопроса о создании общества, имеющего целью взаимное ознакомление — посредством периодических совместных собраний — с движением за общее дело, протекающим в каждой отдельной стране.

В конце августа Карл Маркс покинул Англию и отправился домой. В сентябре Женни родила дочь. Карл просил назвать ее вторым из двух наиболее любимых им женских имен. Первое всегда было Женни, второе — Лаура.

На семейном совете, где полным правом голоса пользовались

также Фридрих Энгельс и Ленхен, это имя, воспетое некогда Петраркой в его сонетах, было утверждено без возражений.

Возле кроватки шустрой, румяной, пухленькой Женнихен, которая теперь бегала по всей квартире, наполняя комнаты самой прекрасной музыкой — детским смехом, поставили еще одну, ее сестрички. У Ленхен и Женни прибавилось дел и забот, у Карла — счастья. В эту ясную яркую осень в домике на улице Альянс, номер пять-семь, было весело и легко. Энгельс, живший тоже в Брюсселе, вносил туда много тепла и света. Всегда бодрый, неутомимый, он как бы излучал энергию, уверенность, спокойствие трезвого и вместе с тем пылкого ума.

Статный, крепкий, как викинг, он обладал пытливой душой мудреца и был из числа тех немногих гармонических и цельных людей, к которым принадлежал и Карл Маркс. Оба они росли в семьях, где сохранились твердые устои брака и семьи. Однако характер и жизненные интересы отца Фридриха резко расходились с характером и взглядами юстиции советника Генриха Маркса.

Энгельс-старший был властный человек, фанатически преданный столько же Лютеру, сколько божеству торговли. Зато мать Фридриха была прекрасной, тонко чувствующей, впечатлительной женщиной, много читавшей и думавшей, однако всегда покорной воле мужа. Фридрих нежно любил свою мать.

— Если бы не она,— говорил он Женни и Карлу,— не ее умоляющие глаза, хрупкое здоровье, я не уступал бы ни в чем отцу, который верит в ад и отравляет себе существование страхом перед небесными карами, охотясь с невероятным коварством за моей душой, чтобы ввергнуть ее в лоно христианской церкви. Жалость к матери сковывает меня покуда.

В Брюсселе Маркс и Энгельс приступили к совместной работе над новым произведением. Они решили назвать его «Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Бруно Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице различных пророков».

Пока Карл и Фридрих разрабатывали эту тему, прусское правительство продолжало беспокоиться о судьбе своего подданного. Оно боялось Маркса и потребовало от бельгийских властей немедленной его высылки.

Все чаще стали вызывать Карла в ведомство общественной безопасности, и когда ему стало ясно, что длинная лапа Пруссии не даст ему и впредь покоя, он вышел из прусского подданства.

Он осуществил это решение 1 декабря 1845 года. В этот день на улице Альянс собрались друзья Маркса.

— Итак, Карл, ты теперь вне подданства,— сказал Фрейлиграт.

— Думаю, я никогда уже не приму ничьего подданства.

— *Латинская поговорка гласит,— отозвался* Фридрих: — «Там, где свобода, там мой дом». Это было любимым изречением Франклина. Где же теперь твой дом, Маркс?

— Англичанин Томас Пэйн, приехавший в Англию после американской кампании, где он воевал против англичан за свободу Америки, сказал Франклину: «Там, где нет свободы, там моя родина»,— ответил Карл.

— Эти слова Пэйна впоследствии повторил Байрон, когда ехал сражаться за свободу греков,— напомнила Женни.

III. НАПОЛЕОН КАРЛИКОВЫЙ

Мария Дерук отбросила темную портьеру и, сложив руки на груди, остановилась перед позолоченной дверью. Она оставалась одна в большом зале, и этот жест, вдохновенное выражение глаз были вполне искренними.

С детства Марию учили притворяться или, как говорили ей обычно, владеть собой. Уже давно она постигла в полной мере это сложное искусство. Просыпаясь утром, Мария тотчас же запасалась множеством масок, которые с ловкостью иллюзиониста меняла в течение дня. Иногда ей следовало быть надменной, иногда равнодушной, то суровой, то задумчиво-рассеянной.

После революции 1830 года ее родные потребовали, чтобы она улыбалась покровительственно и ласково даже черни, всем этим выскочкам, предки которых, может быть, торговали на рынках или, что еще хуже, пришли в Париж из деревни, где пасли скот в поместьях аристократов.

Но теперь, у себя, Мария Дерук могла дать выход подлинным своим чувствам. Никогда во время молитвы ее лицо не было освещено таким восторгом. Она давно уже не верила ни во что сверхъестественное, кроме гадания на картах. Бог так часто не исполнял ее желаний, что она посещала церковь с гораздо меньшей охотой, нежели старую тетку-герцогиню, хотя и это было скучно.

Перед этой дверью ее всегда охватывал трепет. Она уподоблялась язычнику, благоговейно входящему в кумирню.

Приподняв пальцами волочившийся по ковру край темного шуршащего платья, Мария другой рукой открыла тяжелую дверь и вошла в большую полутемную комнату. Полоски света, пробивающиеся сквозь прикрытые жалюзи, придавали несколько таинственный вид окружающему.

Пол в овальной комнате был застлан ковром цвета сирени, и таким же сиреневым шелком обиты были стены. Посредине комнаты, как жертвенник в храме, стоял большой мраморный пьедестал, вокруг которого покорно увядали цветы. На нем был бюст Наполеона I того времени, когда корсиканский генерал короновался императором. В эту пору скульпторы придавали его хмурому усталому лицу с нечистой кожей олимпийское величие.

В зале висели портреты и были расставлены бюсты всей семьи Бонапарта: матери Наполеона — Лютеции, его братьев и сестер. Самой красивой была Полина Боргезе. Она была изваяна в виде обнаженной Венеры знаменитым скульптором Канова. Все другие женщины — в пышных платьях, коронах и диадемах, мужчины — в мантиях или военных мундирах, были написаны то умело, то грубо масляными красками, акварелью, тушью.

В большой позолоченной раме отдельно висел портрет первой жены императора Наполеона, Жозефины Богарне, креолки с острова Мартиника. В годы великих исторических потрясений складываются необыкновенные судьбы. Виконтесса Жозефина Богарне, в прошлом вдова казненного революцией генерала, была случайной любовницей смелого Гоша. Она сблизилась с ним в тюрьме, где оба ждали суда. Затем она была содержанкой одного из всесильных директоров — Барраса и по его настоянию сошлась с опасным для Директории властолюбивым героем Тулона — бригадным генералом Бонапартом и стала в конце концов императрицей Франции. Бонапарт усыновил ее двух детей — сына Евгения, дочь Гортензию — и стал их заботливым отцом. Особенно мила была ему одиннадцатилетняя Гортензия, умевшая приласкаться и развеселить Наполеона, как никто. Она с малых лет хорошо рисовала, еще лучше пела, сочиняя слова и музыку для своих несложных песен. Шли годы, и Гортензия превратилась из подростка в не столь красивую, как мать, но все же очень хорошенькую девушку.

Жерар Дюрок был любимцем Наполеона и с 1796 года его постоянным спутником. Отважный и добродушный, он с первой встречи понравился молоденькой падчерице Бонапарта. Они часто танцевали на вечерах, которые давала жена первого консула, стараясь завязать связи в среде влиятельных богачей и

военных. Однажды на полутемной террасе Дюрок поцеловал Гортензию, и она ответила «да» на извечный вопрос о любви.

Однако у ее отчима были другие расчеты. Их энергично поддерживала Жозефина. Наполеон уверенно шел к короне. У Жозефины не было от него детей, и она боялась, как бы желание Наполеона иметь наследника престола не привело к мысли о разводе с нею. Она сумела внушить ему решение назначить своим преемником младшего из его братьев — Людовика. А чтобы цепь была еще нерасторжимее, Жозефина уговорила мужа женить Людовика на своей девятнадцатилетней дочери Гортензии. Таким путем, казалось ей, упрочатся навсегда связи Богарне и Бонапартов.

К этому времени в семье Наполеона все переменилось. Когда-то любовь к Жозефине причиняла командующему итальянской, а затем египетской армиями тягостные мучения ревности. Сколько раз лежал Наполеон у ног прекрасной креолки. Теперь, оценив растущее могущество мужа, наоборот, Жозефина изводила его подозрениями в неверности.

Тщетно умоляла Гортензия мать и отчима не выдавать ее насильно замуж. Людовик также не хотел жениться на нелюбимой девушке, казавшейся ему скрытной и лживой. Но Наполеон не отступил. Он становился тем настойчивее, чем большее встречал сопротивление. Брак был заключен в 1802 году. Если бы не требование Наполеона, супруги разошлись бы тотчас же. Но политический расчет, вопрос о наследовании власти, вкрадчивые уговоры Жозефины лишали их этой возможности. Прошли годы, у Гортензии родились два сына. Почти никогда не видели они своих родителей живущими вместе.

Тем временем честолюбивые стремления, желание укрепить трон с помощью родственных связей со старинным австрийским королевским домом Габсбургов побудили Наполеона оставить Жозефину и жениться на принцессе Марии-Луизе, имевшей безупречную родословную и некрасивое, узкое лицо.

Чтобы не обидеть брата Людовика и падчерицу, Наполеон отдал им Голландию, где по приказу из Парижа их короновали. Нелюбимая и не любящая мужа Гортензия и здесь рисовала натюрморты, сочиняла чувствительные стихи и мелодии, меняла любовников.

Роман голландской королевы с адмиралом Веруэлом получил широкую огласку, и, когда в 1808 году у Гортензии родился мальчик, названный Шарль-Луи-Наполеон, ее законный муж, путешествовавший в это время по Пиренеям и давно не встре-

чавшийся с женой, решительно отказался признать ребенка своим сыном. Однако под давлением общественного мнения и, главное, воли императора он махнул рукой на случившееся, забрал двух старших детей, которых имел некоторое основание считать своими, и навсегда порвал с навязанной ему женой. У Гортензии, кроме рисования и музыки, прибавилось еще одно развлечение — разыгрывать покинутую жену и мать. В то время знаменитая актриса Жорж выступала в салонах с монологом оставленной Медеи, и образ этот был в большой моде.

С 1810 года Гортензия жила в Париже. Она почти не появлялась в свете. Ее мать, Жозефина, сохранившая титул императрицы, пребывала вне Парижа, в имении Мальмезон, где окружила себя зверьками и растениями с Индийских островов.

Подчеркнуто одетая в просторную тунику, похожую на одеяние античных весталок, принимала бледная Гортензия в своем особняке лишь немногих близких и любовника, молодого шталмейстера своего двора графа Флаго, который, в угоду своей знатной возлюбленной, также изображал разочарованного и страдающего человека.

В 1813 году Гортензия родила еще одного сына, отцом которого официально значился тоже Людовик Бонапарт, хотя уже много лет супруги не виделись. Мальчик получил титул графа Морни и рос вместе с братом в особняке, где все отражало страстное преклонение Гортензии перед Наполеоном, давшим ей титул королевы.

Близкой подругой Гортензии была в ту пору жена генерала, некогда весьма ценимого при дворе за то, что у него и Наполеона были ноги одного размера. Генерал Дерук разнашивал новые сапоги императора. Этот человек, столь счастливо одаренный природой, был крайне необходим Наполеону и сопровождал его повсюду.

Когда жена Дерука умерла от родов, Гортензия забрала новорожденную, названную Марией, и девочка росла и воспитывалась с ее сыновьями.

Независимо от того, был ли Наполеон Бонапарат на троне или в изгнании, дом его падчерицы Гортензии Богарне оставался храмом, где все служили только этому божеству. Тщетно новое правительство Франции, сам Людовик XVIII пытались огромным даром в четыреста тысяч франков и титулом герцогини привлечь на свою сторону бывшую королеву Голландии. Ничто не могло ослабить ее поклонения отчиму. Едва весть о побеге Наполеона с острова Эльба донеслась до нее, как вместе

с детьми она бросилась навстречу императору, уверенная в том, что отныне и навсегда восторжествует идея цезаризма.

В течение «ста дней» Гортензия неотступно следовала за Наполеоном. Обычная ее притворная меланхолия исчезла, и бывшая королева Голландии развивала стремительную деятельность, собирая сторонников Бонапарта. Ее дом превращается в штаб, где бывали все те, кто стремился к восстановлению династии корсиканца. Гортензия уверяла, что отныне не будет абсолютной власти, что Франция вернется к свободе и равенству, завоеванным в 1789 году.

Первого июня 1815 года Гортензия, сняв траур по недавно умершей матери, в светлом платье и шали, вместе с Луи, маленьким племянником императора, рано утром в открытом кабриолете поехала на Марсово поле. Этого дня ждали все, кто верил еще Наполеону. Но император не сказал ничего о тех благах, которые он обещал народу, высаживаясь на французской земле. Ограничившись несколькими пышными неопределенными фразами о том, что он осчастливит родину, Бонапарт приказал начать военный парад. Вскоре, 18 июня, последовала битва при Ватерлоо. Все было кончено, Наполеон I пал, чтобы более не подняться. Изгнанная из Парижа вернувшимися Бурбонами, которые не простили ей того, что, приняв в 1814 году деньги и титул герцогини, Гортензия изменила им во время «ста дней», она отныне скиталась из страны в страну...

Гортензия унаследовала от своей матери хищническую жадность. С юных лет сберегала она деньги, пока не накопила огромного состояния. Эта томная мечтательница становилась неузнаваемой, когда отторгала у мужа имущество, когда выслушивала отчет управляющего своими имениями или торговалась, покупая драгоценности.

В 1817 году бывшей королеве Гортензии надоело переезжать из одного немецкого княжества в другое. Она купила в тихом швейцарском кантоне обширный дворец Арененберг и отправилась туда с детьми, чтобы поселиться навсегда.

Кутаясь в меховой салоп, Гортензия полулежала в карете, обитой коврами, уютной, как маленький будуар. Рядом с ней сидели худенький мальчик с невыразительным продолговатым скучающим лицом — Луи-Наполеон — и девочка с широко расставленными серыми глазами — Мария Дерук. В девочке все отражало восторженное удивление и желание задавать вопросы: и глаза, и вздернутые стрелки ресниц, и нос с приподнятым кончиком, и полуоткрытые губы, напоминающие формой серп.

Бывшая королева говорила:

— В тысяча восемьсот тринадцатом году погиб великий маршал императорского двора герцог Фриульский.

— Ваша светлость говорила нам, что он был такой красивый и добрый,— сказала девочка.

— Вы плохо воспитаны, моя дорогая. Когда говорят взрослые, их не прерывают.

— А когда говорит королева, молчание должно быть полно благоговения,— вмешалась в разговор пожилая гувернантка, которая сидела выпрямившись в углу кареты, стараясь слиться с ковром и быть совершенно неприметной.

— Итак, герцог Фриульский, вернейший из верных, постоянный спутник и любимец моего отчима, пал на другой день после Бейзенского сражения. Увы, мой сын, вы еще не знаете великих дат, которые определяли судьбу империи.

Луи хотел что-то сказать, но воздержался, вспомнив, что его мать любила говорить одна и не терпела реплик.

— Императрица Жозефина, моя мать, всегда считала, что она принесла счастье императору. Это бесспорно так. Его величество долго не решался на развод с нею. Он ведь был очень суеверен. И действительно, как только он женился на отвратительной, похожей на лошадь австриячке, так счастье отвернулось от него. Но я уверена, это ненадолго. Римляне говорили, что боги возносят своих избранников, потом бросают их в бездну, чтобы снова поднять. Разве судьбы Александра Македонского или Кая Юлия Цезаря не были полны превратностей? Я уверена, мы недолго пробудем в этом скучнейшем зеленом склепе, который называется Швейцарией.

Наступило молчание.

— Жаль, что остров, где находится мой дядя, не называется мысом Доброй Надежды,— четко произнес Луи-Наполеон слова, которые слышал не раз от одного из окружавших его людей.

— Все равно я не теряю надежды,— воскликнула Гортензия.— Он вернется, и снова народы и государи падут к его ногам.

Путешествие через Альпы было нелегким. Лошади с трудом брали горные перевалы. Валил снег. Вершина Монблана исчезла во мгле.

Карета остановилась. Слуги распахнули дверцы.

— Ваше величество, не пожелаете ли отдохнуть? Мы на швейцарской границе. Впереди горы, и вряд ли встретится жилье.

— Да, мы отдохнем, пожалуй.

Гортензия осмотрелась. Нависли сумерки. Просторное шале — темно-коричневый дом в два этажа — стояло у подножия горы. Сосновый лес подходил к самым стенам. Где-то громыхали горные обвалы. Было жутко и холодно. Тем заманчивее казался яркий свет в окнах и дым, поднимавшийся из трубы.

В большой комнате все уже было готово к приему путников. Пылал камин, и на деревянном, ничем не покрытом темном столе расставлены тарелки, кувшины и кубки.

— Отлично,— сказала Гортензия и приказала раздеть детей.

Маленького графа Морни, который ехал с няней и воспитателем в другой карете, внесли на руках и пытались разбудить. Он открыл глаза, но капризничал и вскоре опять заснул.

Гортензия сбросила шубу и поправила вьющиеся волосы нежными руками, унизанными кольцами и браслетами. Ей было тогда тридцать четыре года. Ее пышная красота волновала многих. Александр I три года тому назад, когда союзные войска заняли Париж, колебался, кому отдать предпочтение — матери, Жозефине, которой он открыто увлекался, или ее прелестной дочери Гортензии.

Русский царь предложил обеим свое покровительство, и когда, проболев четыре дня таинственной горловой болезнью, в разгар увеселений победителей умерла красавица Жозефина, он продолжал с еще большим рвением покровительствовать ее дочери.

Гортензия вспоминала это теперь, покидая родную Францию. Впервые ее испугало одиночество. С мужем она разошлась навсегда. Брат Евгений был далеко. Любовники оставили ее. Друзья — граф Морни, давший имя ее младшему сыну, маршалы Ней и Мюрат — погибли. В чем было спасение? Только император мог вернуть ей снова блестящее существование прошлых лет. И все желания, мечты, надежды Гортензии сосредоточились на нем.

Хозяева почтовой станции, затерянной в Швейцарских Альпах, низко кланяясь, внесли подносы с едой.

В это время раздался звон колокольчиков, и к шале подкатила еще одна карета. Вошла дама, закутанная в меха, за ней — молодой мужчина и две горничные. Сняв шубу, дама приветливо обратилась к Гортензии:

— Французы! Как приятно! — И, помолчав немного, добавила: — Я узнаю вас, ваша светлость.

— Я в затруднении, мадам,— надменно вскинула голову Гортензия.

— В таком случае я представлюсь,— ответила вновь прибывшая.

Она была болезненно полна и дышала с трудом. Бледное, несколько отечное лицо ее говорило о серьезном недомогании. Но глаза блестели задорно и проницательно.

— Я — Анна-Луиза-Жермена де Сталь-Гольштейн. Может быть, мое имя вам что-нибудь скажет... А это... мой друг и секретарь Альбер де Рокка,— представила она молодого человека, стоявшего позади.

Гортензия сделала шаг назад. Перед ней стояла одна из самых выдающихся писательниц Европы, неустрашимый и упорный враг Наполеона. Много лет назад он изгнал ее из Парижа.

— Я в восторге от этой встречи,— ледяным тоном сказала бывшая голландская королева,— ваша книга о Германии и особенно любовь и страдания Коринны потрясали не раз мое сердце.— Голос Гортензии смягчился, и вдруг иные чувства овладели ею.

Несчастная судьба высокоодаренной женщины, вступившей в неравную борьбу с общественным мнением, волнующе и умно описанная в романе госпожи де Сталь, напоминала Гортензии ее собственные переживания. Какой бой приняла она, когда родила в отсутствие мужа ребенка от обворожительного шталмейстера графа Флаго. Если бы не вмешательство императора, то ее, королеву, сожгли бы на костре злословия его вельможи и их жены. Император одним взглядом потушил пересуды и приказал бездетному графу Морни усыновить новорожденного, которого не хотел признать Луи Бонапарт, тщетно вымаливавший развод с постылой женой.

Но вскоре другие мысли обуяли Гортензию и опрокинули готовое было возникнуть почтение к таланту мадам де Сталь.

Как эта дочь финансового божка Неккера осмелилась сказать об ее отчиме, что он был первым из контрреволюционеров! Ведь это она разъезжала по России, Швеции, Англии, позоря Наполеона, осуждая все его дела и призывая к войне с его деспотизмом.

Гнев и ненависть охватили Гортензию.

— Вы, мадам,— заметила она язвительно,— кажется, скитались эти годы в поисках защиты и покровительства.

— Не для себя, а для Франции, ваша светлость. С того дня,

как старательные полицейские министра Фуше поздней ночью вывезли меня из Парижа, я действительно имела случай повидать много замечательных людей и стран. Впрочем, я слыхала, что и вы, ваша светлость, немало ездили за последние годы...

Обе женщины, одна больная и стареющая, с умной улыбкой, другая цветущая, полная сил, холодно поклонились друг другу и разошлись в разные углы большого зала трактира.

Дети допили молоко, и слуги начали собирать господ в дорогу.

Гортензия еще раз обернулась к писательнице, сидевшей на широком стуле у большого камина. Молодой человек налил кружку вина и протянул ее своей спутнице, вглядываясь заботливо, влюбленно в большое, грубоватое, но умное и красивое лицо Жермены.

От Гортензии не укрылось ничего. Она уловила суть отношений этих двух столь разных по возрасту людей.

«Он ее любит, и как любит!» — подумала Гортензия, удивляясь и невольно завидуя. Ее взгляд скользнул по фигуре мадам де Сталь и надолго задержался на ее руках. Они были маленькие, нежные и вместе с тем сильные.

Когда слуги вынесли из шале закутанных высокопоставленных детей и вдали замерли топот лошадей и стук колес, мадам де Сталь заговорила со своим спутником. Он был ее мужем, но об их браке не догадывался никто. Таково было желание Жермены: *она не хотела отравлять свое счастье злословием людей.*

Альбер де Рокка был на много лет моложе жены. Семь лет назад его, тяжело раненного в испанском походе, привезли в Женеву и вверили заботам мадам де Сталь. Он покорил ее своей беспредельной преданностью. А по ней так истосковалось сердце Жермены! Умный и льстивый граф Луи де Нарбонн, талантливый, славолюбивый Бенжамен Констан, слабохарактерный итальянский поэт Монти, которых она любила,— все изменили ей и обидели в ней не только женщину, но и человека. Альбер де Рокка полюбил в Жермене не талант и славу, но всю ее, уже больную и разочарованную. И с ним ее женская привязчивая душа нашла наконец покой и счастье.

Встреча с падчерицей Наполеона взволновала впечатлительную Жермену. Деспотизм Наполеона всегда вызывал в ней глубокое возмущение. Сейчас, в тихом шале под Монбланом, она рассказывала Альберу о своем знакомстве с императором, о разочаровании в нем.

— Признаться,— говорила она тихо,— я тоже не сразу рас-

познала в нем деспота и надеялась, что он сын тысяча семьсот восемьдесят девятого года и осуществит лучшие идеалы революции. Не сразу я увидела самонадеянного честолюбца. Бездушие и грубость — вот его основные черты.

— Но он умеет быть и обаятельным человеком.

— Да, он опаснейший комедиант. Когда Бонапарт бывал искренним и не притворялся, как на парадах и перед дипломатами, то признавался, что такому человеку, как он, наплевать на жизнь миллионов людей!.. Моя мать, женщина весьма строгих правил, читавшая не Руссо и Вольтера, как я, а библию, всегда говорила о законе возмездия. Теперь, к счастью для мира, миллионы людей плюют на императора.

— Так ли это, моя дорогая? — покачал головой Альбер.— Боюсь, что и сейчас кое-кто творит легенду о «великом императоре, доблестном создателе славы Франции, заботливом отце народа».

— Нет, нет, Бонапарт, клявшийся в верности революции на скрижалях прав человека, превратил Францию в казарму,— ответила Жермена. Она тяжело дышала. Разговор о Наполеоне всегда волновал ее. — Я ненавижу этого человека, он зло нашего века. Забудем о нем. Право же, на далеком острове он никому больше не страшен.

Но госпожа де Сталь, казалось, не могла оторваться от мыслей о бывшем императоре.

— Еще когда Наполеон был консулом, он иной раз прислушивался к чужому мнению и возражениям. Но когда ему удалось зажать всю Францию в кулак, этот деспот терпел возле себя только ретивых исполнителей своей воли, повторявших, как эхо, его слова. И каких только подлецов и ничтожеств не было при его дворе! Фуше, право, был не из худших.

Вдруг Жермена вскинула свои красивые руки и, обессилев, опустила их на колени.

— Вам плохо, друг мой, вы устали? Прошу вас, успокойтесь,— встрепенулся Альбер.

— Ничего, дорогой. Это нахлынули воспоминания. А они делают нас и моложе и старше. Однажды я спросила Наполеона, какую из женщин он считает наиболее замечательной. «Ту, которая родит мне побольше солдат»,— ответил Бонапарт, не раздумывая. А солдат он однажды назвал «пушечным мясом». Нет, я не поверю, чтобы имя этого человека отныне произносилось иначе как только с презрением. Я не допускаю мысли о том, что он выйдет на авансцену истории.

— К несчастью, цезаризм все еще прельщает ложным блеском сердца многих французов.

— Да, это верно,— согласилась Жермена де Сталь.— Основная цель революции, перед которой я преклоняюсь, в завоевании народом политической и духовной свободы. Если преступления отдельных лиц и запятнали революцию, то никогда еще во Франции не выявлялось столько возвышенных сторон человеческого духа. Разве не было в революционных походах беспримерного героизма, самоотречения, энтузиазма? Но теперь, следом за диктатурой Наполеона, мы наблюдаем уродство Реставрации. Произвол власти, придворная аристократия, не имеющая никаких достоинств и заслуг, кроме «родословного древа», невежественный, бесправный народ, армия, низведенная до простого механизма, стеснение печати, никаких гражданских свобод. Ничего, кроме полицейских шпиков и лжи. Бурбоны охотно купили бы меня, писательницу, за любые деньги, лишь бы я восхваляла созданный ими мрак. Но еще никому не удалось купить мое перо!

Мадам де Сталь тяжело откинулась на спинку стула, и лицо ее побледнело. Она задыхалась. Альбер вскочил, позвал горничных, сидевших на скамье у стены поодаль.

— Мадам плохо. Воды! — Он расстегнул корсаж платья Жермены и приложил к ее вискам смоченный в уксусе фуляровый платок.

Жермена попыталась улыбнуться. Глаза ее запали и слегка потускнели. Голос прерывался.

— Не вернуться ли нам назад, в Копе? В парижской сутолоке вам будет тяжело...— спросил Альбер.

— Нет-нет, мы едем в Париж,— решительно ответила Жермена.

Оставив позади французскую границу, Гортензия Богарне медленно спускалась в покачивающейся карете вниз, к швейцарским озерам. Она тоскливо посматривала на горные прекрасные пейзажи, простирающиеся за окнами. Как не хотелось ей жить в этой маленькой стране молочного скота и часовых мастерских, которую мрачный Кальвин напугал божьей карой и учил жить в строгих нравах и трудолюбии.

Все ее мысли были подле низверженного императора. В нем одном оставался залог на лучшее будущее. Его возвращения и возвышения ждала Гортензия, вспоминая прошлое. Но мечты, как это часто бывает, не сбылись.

...Прошло четыре года. И вот однажды в кантон Тургау дошла весть, которой больше всего боялась Гортензия: генерал Наполеон Бонапарт, бывший император Франции, скончался на острове Святой Елены.

— Все кончено для нас,— со слезами прошептала Гортензия.

Только на другой день вышла она из своего кабинета и спустилась в гостиную. При появлении королевы, как величали во дворце Арененберг Гортензию, все ее близкие встали.

Луи-Наполеон, высокий худощавый тринадцатилетний мальчик, подошел к матери первым. С ним был его воспитатель — месье Леба, сын соратника Робеспьера — Филиппа Леба, одного из самых бесстрашных и преданных революции представителей якобинской диктатуры.

За любимым сыном Гортензии шел его десятилетний брат, Шарль-Огюст-Жозеф граф Морни. Это был пухлый мальчуган с насмешливым выражением круглого лица. Он только что открутил от нарядного мундирчика с траурным крепом на рукаве золотую пуговицу и тайком пробовал ее прочность маленькими крепкими зубами. Воспитатель младшего из сыновей Гортензии, отставной офицер, рьяный сторонник императора, растерянно смотрел на проделки своего воспитанника, предотвратить которые было уже слишком поздно. В платье с траурными плерезами, точь-в-точь как у бывшей голландской королевы, следовала за мальчиками Мария Дерук. Ее небольшие шустрые глазки мышиного цвета внимательно вглядывались во все окружающее. Подходя к покровительнице, она постаралась придать своему личику скорбное выражение и опустила глаза.

— Францию постигло великое несчастье. Умер император. В течение года дом наш будет погружен в траур,— тихо и скорбно сказала Гортензия и театральным жестом повесила на портрет Наполеона венок из лавров, оплетенный черными муаровыми лентами.

Месье Филипп Леба, молодой двадцативосьмилетний археолог, выразил соболезнование Гортензии последним.

— Император был подлинным революционером,— сказала ему Гортензия, вспомнив о том, что перед нею сын якобинца, погибшего 9 термидора.

Филипп Леба молча поклонился, не желая в такие минуты затевать споры и возражать очевидной нелепости. Смерть Бонапарта нисколько не интересовала его. Твердый республиканец по своим убеждениям, он хотел посвятить свою жизнь только науке. В его комнате кроме силуэта отца, скромного

акварельного портрета матери висели также изображения Робеспьера и Марата. Всего больше было на стене гравюр, посвященных раскопкам античной Греции.

Филипп Леба родился незадолго до того, как заговор контрреволюционеров нанес в спину революции смертельный удар. 9 термидора, когда гибель якобинцев стала очевидной, его отец выбросился в окно ратуши. 10 термидора труп Леба обезглавили на Гревской площади. Маленький Филипп с матерью провел несколько месяцев в тюрьме. Лишения, которые пришлись на долю вдовы Леба и ее сестры — невесты Робеспьера — Элеоноры, были беспредельны. Но обе женщины, потерявшие всех друзей и родных, на допросах были непреклонны. Когда Елизавета Леба была освобождена, мальчика встретила тяжелая нужда. Мать добывала пропитание, не гнушаясь никакой работой. Лишь в 1801 году Елизавета Леба вышла замуж за брата своего погибшего мужа, и жизнь ее ребенка стала несколько обеспеченнее.

Мать рано научила Филиппа петь «Карманьолу» и «Марсельезу». Он читал статьи своего отца и речи Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Но борцом ее сын не стал. Он изучил древнегреческий язык, латынь и увлекся археологией. В далеком прошлом человечества Филипп искал покоя и прибежища. Современность пугала его, как непрерывная гроза, от которой некуда скрыться.

По ночам он часто видел страшные сны, перед ним возникали ужасы, о которых столько раз слыхал он от матери и Элеоноры. Снова и снова вставал в его воображении едва освещенный зал в ратуше Парижа. Робеспьер диктует запоздалое воззвание. Его отец, Филипп Леба, стоит у окна. Начинается летний крупный дождь. Гаснут факелы. Расходятся немногие, оставшиеся верными робеспьеристам отряды. Вдруг двери открываются. Врываются заговорщики...

Сын якобинца просыпается и долго сидит погруженный в ледяное раздумье. Ему кажется, что он помнит все дальнейшее — тюрьму, нищету, унижения, которые испытывала его мать. Нет, прочь от всего этого. Леба читает Платона и Сократа, упивается вечной мудростью умерших цивилизаций. Но когда он посещает дом своей матери и дяди, где живут идеи былой революции, он снова отдается мечтам о правах человека, о великих идеях Свободы, Равенства и Братства. И тогда, занимаясь с Луи-Наполеоном, он говорит ему с нарастающим увлечением о великой революции французов, обновившей мир, о

неравенстве людей, о произволе правителей сегодняшней Франции. И его ученик вскакивает и кричит: «Я республиканец и буду бороться с бесправием и нищетой!»

Кроме Леба с Луи-Наполеоном занимался аббат Бертран, один из тех, кто находил в догматах католической веры обоснование для поощрения всяческих пороков.

— Если бы не было грехов, церкви не осталось бы дела,— говаривал этот снисходительный прелат, не утомлявший ни себя, ни ученика излишними размышлениями.

На берегу Боденского озера, где стоял замок бывшей королевы Гортензии, жизнь казалась лишенной каких бы то ни было потрясений. Но, занимаясь с сыновьями французской грамматикой и литературой, Гортензия старалась приохотить их к путешествиям и приключениям.

— Я боюсь, что зрелище всегда спокойного озера усыпит волю и честолюбие моих сыновей,— говорила она своей воспитаннице Марии Дерук.— Без честолюбия в наши дни нет карьеры, нет жизни для представителя рода Бонапартов. Мой сын должен быть воином, как его дядя.

По настоянию матери Луи Бонапарт поступил в Швейцарии на военную службу и стал капитаном артиллерии. Позднее она отправила его путешествовать.

— Дитя мое, я хотела бы видеть вас полководцем, завоевателем, борцом, победителем, как ваш дядя.— Гортензия хотела добавить «и императором», но она не осмелилась высказать то, о чем мечтала, суеверно боясь вмешаться в судьбу.

В 1830—1831 году Луи Бонапарт вместе со своим старшим братом Наполеоном-Людовиком принял участие в заговоре итальянца Чиро Менетти, стремившегося вырвать светскую власть у римского папы. Заговорщики потерпели поражение. Вскоре Наполеон-Людовик умер, а Луи Бонапарт бежал с английским паспортом во Францию. Но оттуда его немедленно выслали.

Когда умер родной сын императора Наполеона — герцог Рейхштадтский, Гортензия не могла скрыть своей радости. Единственным наследником и представителем наполеоновских притязаний стал ее Луи-Наполеон Бонапарт.

Поддерживаемый честолюбивой матерью и немногими сторонниками, он заявил в печати о своем праве на французский престол. Давно забыты были уроки Филиппа Леба, который старался влить в его душу ненависть к единодержавию.

«Если бы Рейн,— писал племянник Наполеона,— был мо-

рем, если бы добродетель была единственным стимулом человеческой деятельности, если бы заслуги прокладывали путь к власти, я стремился бы к республике... Но в жизни все это не так, и потому предпочтительнее монархическая форма правления, которая осуществляла бы республиканские принципы. Народ, законодательный корпус, император — вот три равные силы, которые должны управлять государством... Страна будет счастлива, когда гармония будет господствовать между этими тремя властями...»

— Он — достойный отпрыск гения,— сказала Гортензия своей воспитаннице.

Мария Дерук к тому времени стала уже взрослой девушкой. Было что-то лисье в ее узком личике, обрамленном рыжеватыми локонами. Ее тонкие губы, как и в детстве, напоминали своей формой серп, глаза редко смотрели прямо, как бы боясь выдать мысли, которые следовало тщательно скрывать. Марию и прозвали «Лисичкой». Замкнутая, наблюдавшая за всем из-под приспущенных ресниц, девушка в числе многих тайн прятала и свою большую любовь к тому, кто претендовал на трон Наполеона.

Одна только Гортензия догадывалась о безответной любви своей воспитанницы к ее сыну.

— Брак для такого избранного самой судьбой молодого человека, как Луи Бонапарт, должен быть ступенькой к возвышению и подчинен строгим политическим и стратегическим расчетам,— сказала ей как-то Гортензия предостерегающе.— Он принадлежит не себе, а всей нации, всему народу, может быть, всему миру.

— Но ведь мать вашего величества была всего лишь потерявшей состояние и преследуемой режимом вдовой виконта,— вспыхнула всегда выдержанная мадемуазель Дерук.

— Луи-Наполеон родился сыном короля и королевы голландских, племянником императора Франции,— спокойно и даже с некоторым сочувствием к Марии возразила Гортензия.— Что касается сердца, то у него другие законы и права. Любить можно вне зависимости от титула и политических вериг. Я сама испытала это.

«Луи-Наполеон не замечает женщин, он полон одной страстью, одним стремлением к власти»,— хотела сказать, но не решилась Лисичка и прикусила тонкую губу мелкими зубами.

В Париже королевское правительство Бурбонов не придавало серьезного значения молодому претенденту на власть. Но

из разных политических соображений республиканцы Лафайет, Арман Каррель, писатель Шатобриан всячески превозносили его за якобы присущие ему честность и патриотизм. Рассчитывая использовать имя Бонапарта для низвержения существующего строя, они в речах и статьях постоянно напоминали о нем.

В 1836 году Луи-Наполеон, надеясь на свое имя, совершил попытку захватить власть. Дело было в Страсбурге. Несколько офицеров во главе с Водре, командиром артиллерийского полка, организовали бонапартистский заговор. Поздним осенним вечером Луи прибыл в город, одетый в военный костюм, подобный тому, который носил некогда император, в традиционной треугольной шляпе. Однако, к большому огорчению Гортензии, в облике ее сына не было никакого сходства с отчимом. Император был приземистый, низкорослый, а его наследник высок и сутуловат. Чертами лица Луи также не походил на Наполеона I.

Солдаты стояли перед казармой, недоуменно перешептываясь. Водре объявил, что во Франции вспыхнула революция, король низложен и власть должна перейти к законному наследнику великого Наполеона. Кое-кто из солдат крикнул, как было договорено: «Да здравствует император!» Офицеры-заговорщики подхватили эти слова.

Тщетно старавшийся быть величественным, худосочный неврастеник Луи-Наполеон лишь на несколько мгновений почувствовал себя императором. В другом полку, где никто из солдат не был подкуплен и офицеры сохранили верность правительству, заговорщики не нашли поддержки. В ту же ночь Луи-Наполеон был арестован вместе со своей свитой и ретивым полковником Водре. Участников заговора предали суду, который, однако, не состоялся, так как главный виновник, Луи-Наполеон, так униженно покаялся письменно перед королем в своем преступлении, так восхвалял великодушие и милосердие власти, что был помилован Луи-Филиппом и освобожден из тюрьмы. Тотчас же неудачливый претендент уехал в Америку.

В 1837 году тяжело заболела в своем дворце на Боденском озере Гортензия. Дни и ночи проводила Мария Дерук возле больной, здоровье которой подтачивал таинственный недуг. Вот тогда-то и отдала ей бывшая королева не только много драгоценностей, но и все реликвии семьи, завещая хранить их как святыню.

— Мой младший сын, Жозеф Морни, стал истым буржуа. Я оставляю ему большую ренту. Увы, в нем нет аристократизма. Он похож на моего деда-плантатора, который был великим дель-

цом. Луи-Наполеон слабохарактерен и теряется при каждой неудаче. Но звезда Наполеона Первого не погасла, и я верю — нам суждено продолжить существование династии. Если моему отчиму нужны были гений и удача, то Луи-Наполеону нужно только воскресить в умах народа то, чего достиг его дядя. Ты же, Мария, будешь служительницей пантеона Бонапартов, будешь весталкой нашего храма. Тебе я завещаю то, что дороже всего для меня. Ты отдашь все это Луи, когда он будет императором, а пока допускай в этот храм лишь тех, кто чтит память великого императора.

Вернувшись из Америки, Луи-Наполеон застал мать умирающей. Очень скоро по требованию французского правительства он вынужден был оставить Швейцарию и поселился в Лондоне. Мария Дерук покинула навсегда Арененберг и переселилась в Париж, где купила огромный дом в Сен-Жерменском предместье. Здесь она и устроила храм, где божеством стал Наполеон I. С тех пор прошло восемь лет. Мария свято выполняла свою миссию проповедницы бонапартизма и идей самого Луи-Наполеона. Она вышла замуж за одного из рьяных приверженцев своего кумира — Филиппа Предо.

Муж Марии был очень богат, представителен и до того предан Наполеону I, что, говорят, даже во сне выкрикивал: «Да здравствует император!» У него был податливый характер, и Мария решила, что лучшего мужа ей не сыскать. Они соединили свои состояния и стремление возвеличить Луи-Наполеона.

Глубокая тишина царила в алтаре храма, устроенного в особняке Сен-Жерменского предместья. Мария Дерук-Предо в это утро долго сидела у мраморного изваяния императора. Но вот дверь бесшумно открылась, и на пороге появился среднего роста мужчина в модном сюртуке и ярком жилете.

— О, это вы, граф,— встрепенулась Мария.

Румяный, упитанный граф Жозеф Морни неожиданно грациозно для его несколько тяжелой фигуры поклонился хозяйке дома.

— Я неоднократно просил вас называть меня просто Жозеф, как это было в счастливые годы Арененберга. Вспомните, сколько раз я таскал вас за косички, и вы никогда не жаловались, хотя и всхлипывали. У вас был каменный характер, Мария. Жаль, что ни я, ни Луи-Наполеон не имеем такого.— Граф Морни осмотрелся.— Ба, да это пантеон! Я вижу здесь всех

предков моего брата, запечатленных не только при жизни, но и после их смерти... Выйдем отсюда, милая Мария, здесь пахнет гробовой плесенью.

Действительно, в одной из витрин лежали гипсовые маски, снятые с усопших Бонапартов. Белое лицо Наполеона с закрытыми глазами казалось неправдоподобно маленьким, жалким и скорбным. На стене над витриной висела целая коллекция картин, изображавших дам и мужчин в гробах.

— М-да, невеселое предупреждение,— снова буркнул уже раздосадованно Жозеф Морни.— Это зрелище способно даже испортить мне аппетит! Как истый эпикуреец, я, впрочем, постараюсь скорее утопить печаль в добром вине.

— Жозеф, я не видела вас больше года. И вы все такой же! Не сделались серьезнее и почтительнее к тем, кто и после смерти взывает к нам, требуя действия,— недовольно произнесла хозяйка, когда они вышли из алтаря в светлую обширную гостиную. Здесь она принимала «непосвященных».

— Не забывайте, дорогая, во мне не течет кровь Бонапартов, я просто добрый буржуа. Я приобрел большой сахарный завод и сначала получал хорошие барыши, но сейчас дела идут плохо. Биржевые спекуляции также не приносят мне богатства, я азартен, акции же скачут вверх и вниз, как блохи.

— Жозеф, ваша мать была бы в отчаянии и от того, что вы стали сахарозаводчиком, и от вашей плебейской манеры выражаться.

— Дорогая Мария, повторяю, я буржуа и вполне соответствую своему положению, хотя и граф! Прошу вас, однако, помнить, что столь обожаемые вами герцоги и виконты императора выражались значительно грубее. Ведь под их мундирами и титулами часто скрывались вчерашние торговцы, солдаты из крестьян и простолюдины из столицы.

— Ну, Жозеф, вы всегда были балагуром и шутником.

— А как поживает наш высокочтимый братец, Наполеон Второй?

— Не Второй, а Третий. Вы все путаете. Наполеоном Вторым следует именовать маленького римского короля, которому этот омерзительный палач Меттерних присвоил титул герцога Рейхштадтского.

Мария поднялась с кресла и, негодуя, прошлась по мягкому ковру гостиной. Потом подошла к Жозефу и очень тихо сказала:

— Нас много, прячущих пока на груди изображение наполеоновского орла — эмблему великого императора. Мы сильны,

и очень скоро вы, как и я, присягнете на верность Наполеону Третьему. Мы не дремлем.

— Но, позвольте, Мария,— шепотом, хотя никого не было в гостиной, возразил насмешливо Жозеф,— ведь Луи-Наполеон уже дважды — в Страсбурге и на берегу Ла-Манша — провалился на бессмысленном маскараде, переодеваясь в костюм своего дяди и водружая на голову его треуголку! С кучкой болванов совершить переворот!

— Тогда был великий день! — воскликнула Мария.— И хотя прошло пять лет, я помню все: и себя в мужском костюме, и прирученного орла, которого я выпустила, когда Луи-Наполеон высадился на французский берег, чтобы вернуть себе корону. Если бы не мерзкая чернь и какие-то солдаты, наш заговор удался бы и власть была бы снова в руках того, кто имеет на нее законное право.

Жозеф Морни взял со столика газету и с удивлением увидел в ней статью брата.

Мария вытерла глаза кончиком кружевного платочка и замолчала. Ей не хотелось вспоминать позора, которым кончилась и вторая попытка Луи-Наполеона захватить власть. Он был арестован и предан суду за то, что стрелял в толпу и ранил солдата. Поведение жалкого претендента на французский престол и в этот раз было недостойным. Он дрожал, истерически всхлипывал, просил пощады. На суде его защищали самые красноречивые из французских адвокатов. Мария, удачно избежавшая ареста, ее муж и другие оставшиеся на свободе заговорщики не пожалели денег. Жюль Фавр и Беррье в палате пэров призвали к состраданию к племяннику императора, некогда возвеличившего Францию. Как раз за несколько месяцев до этого правительство короля решило перевезти останки Бонапарта, как национального героя, в Париж и торжественно похоронить. Заглохший было культ диктатора ожил, и суд над его наследником взбудоражил страну.

Луи-Наполеон, покаявшийся и давший клятву верности королю Луи-Филиппу, был приговорен к тюремному пожизненному заключению без ограничения прав.

Его увезли в крепость Гам, где он находился в особо льготных условиях. Мария и его друзья по нескольку раз в год ездили в крепость и проводили там много времени. Благодаря общительному и приветливому коменданту крепость мало чем напоминала тюрьму. Луи-Наполеон Бонапарт радушно принимал у себя посетителей, занимался гимнастикой, писал статьи.

Услужливые журналисты, которых одаривала Мария и другие бонапартисты, делали все, чтобы раздуть популярность «гамского узника». Во Франции возникло даже несколько газет, которые пропагандировали немудреные идеи Луи Бонапарта и на все лады расписывали его несуществующие достоинства и «страдания».

Луи Бонапарт заявил в газетах, что он навсегда отказался от мысли захватить власть и стать императором. Он объявил себя революционером, республиканцем и напечатал несколько статей «об искоренении нищеты». Он пытался критиковать современные ему экономические отношения, ведущие, по его словам, к тому, что «вознаграждение за труд зависит от случая и произвола».

«...Рабочий класс не владеет ничем. Его нужно сделать собственником»,— писал он. Эти строки, в которых сказалось явное влияние книг Луи Блана, вызвали сочувствие к нему многих видных социалистов. Редактор газеты «Прогресс Па-де-Кале», республиканец де Жорж, прочитав брошюру Луи Бонапарта, отправился в Гам. Затем в своей газете он стал постоянно печатать статьи знатного узника, большей частью путаные и всегда лицемерные, в которых наследник императора обещал искоренить нищету созданием многочисленных сельскохозяйственных ферм, где будут жить пролетарии, не имеющие работы.

Де Жорж восклицал патетически, когда писал о Луи-Наполеоне: «Я убежден, что он отныне не претендент на трон, но член нашей партии, борец за наше республиканское знамя!»

Граф Морни несколько раз перечитал статью в газете с очередными клятвами своего брата в верности республиканским идеям.

— Это только ширма,— сказала Мария презрительно.— Все готово. Не пройдет и полугода, он будет на свободе. На этот раз побег, несомненно, удастся.

Граф Морни насторожился. Он любил брата, и мысль об освобождении и, может быть, возвышении Луи взволновала его.

— Деньги нужны? — спросил он грубо.

— Они никогда не бывают лишними ни в каком деле,— ответила Мария сквозь зубы.

— Отлично. Я человек азартный и не раз уже терпел банкротство. Пусть это будет еще одной авантюрой, в которой я приму участие.

— На этот раз наш Луи-Наполеон переоденется не императором, а плотником,— шепотом рассказывала Мария.— С верным человеком мы отправим ему ящик с инструментами. Он развлекается тем, что изучает ремесла. Это вызывает к нему любовь черни и убаюкивает подозрительность стражи. Небольшой морской рейс — и друзья доставят его в Англию.

— Вы молодец, Мария,— сказал с чувством Жозеф.— Если бы вы предпочли меня, а не Луи-Наполеона, который не унаследовал от своего великого дяди даже его корсиканской страстности, я оставил бы ради вас свои сомнительные спекуляции и заводы, которые вы так презираете.

— Увы, в ваших жилах не течет ни одной капли императорской крови,— сказала улыбаясь Мария и пригласила графа Морни в столовую к обеду.

Луи-Наполеону, находящемуся в заключении, его процветающему брату — дельцу Морни — и другим сторонникам идеи цезаризма предстояло вскоре появиться на авансцене истории.

IV. ТРУДНЫЙ ГОД

Женевьева сидела возле маленького Иоганна и напряженно старалась понять, почему две почтовые кареты, из которых одна выпила в шесть часов утра из Парижа в Лион, а другая из Лиона в Париж на час позже, встретятся на полдороге именно через столько-то времени. Сын терпеливо объяснял матери задачу, которую только что решил.

— Поразительно,— сказала Женевьева,— чего только не способна выдумать наука... Но почему многие ученые люди живут бедно, хотя знают все на свете? Раньше я думала, что учение всегда приносит богатство.

Она услышала, как закипает суп, и быстро направилась к печи.

— Богатство чаще достается неучам,— сказал Иоганн Сток, входя в комнату.

Он снял теплую фуфайку и вышел в сени, где стояло ведро с водой и таз, чтобы умыться после работы. Иоганн был утомлен и хромал больше обыкновенного.

— Быть дождю. Болят у меня кости,— сказал он, досадуя на свою немощь. Вернувшись в комнату, он ласково потрепал сына по плечу и пододвинул убогий стул к столу. Женевьева достала из печи кастрюлю, поставила миску. В углу комнаты в бадье намокало белье.

Иоганн посмотрел на красные, опухшие руки жены и угрюмо спросил:

— Все стираешь? Надрываешься?

— Надо было начинать сегодня стирку белья господина Ивье, ведь он учит нашего сына.

Поймав взгляд мужа, она поспешно спрятала руки под передник и села, стараясь скрыть свою усталость.

Иоганн подумал с грустью: «В ее возрасте богатые женщины расцветают, а она, что старая яблоня, посерела, высохла и покривилась».

Он отодвинул тарелку, чувствуя, как сострадание к жене сжимает ему горло, и сказал:

— Вот что, жена, так дальше жить мы не можем. Мне в Париже не найти дороги. Работа у меня временная, да и в «Союзе справедливых» на многое не нахожу ответа. Надо подумать, не перебраться ли куда-нибудь. Я слышал, что в Брюсселе безработных портных как будто меньше.

Маленький Иоганн сорвался с табурета и восторженно завертелся юлой. Он только и мечтал, что о путешествиях и незнакомых местах.

Женевьева, не скрывая огорчения, села подле мужа.

— *Иоганн, зачем ты придумал это? Здесь у меня есть* знакомства, постоянная поденная работа.

— Это стирка-то? — горько усмехнулся муж.

— Была бы хоть такая работа. Ведь благодаря ей из нашего малыша выйдет ученый человек. А в чужих местах согласится ли кто учить сына прачки и портного? Ты тоже нет-нет да и имеешь заработок. Тут много хороших людей — Эвербек и другие. А то снова потащимся, как цыгане, по свету. Что цыгане? У них хоть есть лошадь и кибитка, а у нас всего лишь корыто, поломанная кровать, стол, три стула, немного тряпья да еще вот кастрюля.

Женевьева добросовестно перечислила все достояние семьи. Но Сток не уступал. Маленький Иоганн тоже упрашивал мать не бояться переезда в чужие места.

— И чего ты так беспокоишься, Женевьева? — удивился Сток.— У работника есть большое преимущество перед его хозяином — он ничего не имеет и легок на подъем. Терять нам нечего.

Женевьева махнула рукой и согласилась:

— И вправду, хуже не будет.

Ранней весной Сток и его семья в почтовой карете двину-

лись в Брюссель. Кучер протрубил в рог, захлопнул дверцы, и лошади побежали по мощеной улице к заставе.

Когда наскучило смотреть в окно, Сток достал узкую книжечку в потемневшем переплете и начал читать вслух жене и сыну.

— «Еще в восьмом столетии хроники упоминают о местечке Брусцелле. Герберга, сестра Оттона Первого, принесла с собой это местечко в приданое, когда выходила замуж за Гизельберта Лотарингского. Дочь ее сына Карла, Герберга, вышла замуж за Ламберта, графа Лувенского. Начиная с Иоганна Первого, который правил с тысяча двести пятьдесят первого по тысяча двести пятьдесят девятый год, Брусцелл постепенно превращался в столицу, и город Лувен потерял свое значение. После неоднократных вооруженных столкновений граждан, ревниво защищавших свои привилегии, с патрициями или князьями, после суровых кровопролитных войн в тысяча триста пятьдесят пятом году Брюссель перешел в собственность к графине Фландрской, супруге герцога Филиппа Смелого.

В тысяча четыреста тридцатом году герцог Бургундский, Филипп Добрый, вступил во владение Брабантом, столицей которого был Брюссель, и при его внучке Марии город перешел во владение Габсбургского дома. Постоянное нарушение прав, скрепленных присягой, данной этими князьями народу, приводило к восстаниям».

Женевьева, вздохнув, прервала мужа:

— Куда ни глянешь — все одно и то же. Обижают народ,— он не стерпит — восстанет, его же и побьют, и опять все сначала.

Иоганн продолжал читать:

— «Карл Пятый сделал Брюссель столицей Нидерландов. Город наполнился блеском и шумом придворной жизни. При его сыне Филиппе Втором Брюссель стал ареной Нидерландской революции».

— А было ли, отец, так, чтобы не было бедных? — спросил маленький Иоганн.

— Нет, дружок,— улыбнулся Сток,— на моей памяти такого еще не было. Но будет.

— Читай дальше,— попросила Женевьева. И Сток снова принялся за прерванное чтение:

— «Страшна была тирания Филиппа Второго, этого кровожадного деспота. Он установил в стране инквизицию, которая сжигала на кострах невинных людей, обвиненных в ереси.

В начале тысяча пятьсот шестьдесят шестого года в Нидерландах образовался «Союз дворян среднего достатка», которые поклялись защищать свободу веры против посягательств испанского правительства. Один из знатных и богатых нидерландцев, Барлемон, выслужившийся перед испанской правительницей Маргаритой Пармской, прозвал членов союза гезами, что значит нищие. Это название не унижало, а, наоборот, приблизило восставших к народу. Гезы начали одеваться в пепельно-серую одежду нищенствующих монахов и прикрепили к груди особый значок — гезский пфеннинг, на котором были изображены две протянутые руки с сумой. Они возглавили восстание народа против испанского гнета. Жестокий герцог Альба был послан в Нидерланды, чтобы подавить восстание и уничтожить главарей. Но все его попытки расправиться с повстанцами не увенчались успехом... В море на испанский флот и на побережье, где расположились войска усмирителей, нападали морские гезы. Гезы заняли в тысяча пятьсот семьдесят втором году город Бриль и постепенно освободили от испанцев-поработителей все северное побережье Нидерландов. Брюссель особенно пострадал от свирепости герцога Альба и от испанской инквизиции, стремившейся к беспощадному уничтожению нидерландских вольностей. На кострах инквизиции и в камерах пыток погибли тысячи людей.

Во время продолжительных войн, которые велись в Нидерландах, Брюссель был опорным пунктом то нидерландцев, то испанцев. Город храбро защищал свою независимость, пока после смерти от руки убийцы доблестного и справедливого принца Оранского не вынужден был сдаться Александру Фарнезе Пармскому в тысяча пятьсот восемьдесят пятом году. Иезуиты и католическое духовенство употребили все старания, чтобы искоренить протестантизм, который, несмотря на жестокие преследования, глубоко укоренился в Брюсселе... Город сильно пострадал во время войны Испании с французским королем Людовиком XIV и Австрии с Людовиком XV».

— Что же это, кто с кем ни дерется, а Брюссель громят,— удивилась Женевьева.

— Так оно и бывает, когда страна теряет независимость. Да и к тому же у города такое месторасположение — мимо не пройдешь! — ответил Иоганн и снова взялся за книгу.

— «Со вступлением на престол австрийского императора Иосифа Второго настал период горьких испытаний, известный под названием Брабантской революции тысяча семьсот восемь-

десят девятого года. Едва после кратковременной независимости в тысяча семьсот девяностом году было восстановлено австрийское господство, как вследствие битвы при Жемаппе страна белгов, как называли ее при Кае Юлии Цезаре римляне, подпала под власть французов. Но в марте тысяча семьсот девяносто третьего года победа австрийцев при Неервиндене заставила французов оставить город. Сам император австрийский, Франц Второй, торжественно присягнул Брабантской конституции, но спустя несколько месяцев победа, одержанная Журданом при Флерюсе, привела французов в Брюссель, который был низведен отныне до положения главного города Дильского департамента. Ничто не могло ему вернуть прежнего блеска. В тысяча восемьсот четырнадцатом году после свержения Наполеона Брюссель со всей Бельгией был присоединен к основанному тогда королевству Нидерландскому и попеременно с городом Гаагой стал местом пребывания Генеральных штатов и королевского двора».

Сток закрыл книгу и спрятал ее в корзину.

— Что же было потом? — спросил заинтересовавшийся маленький Иоганн.

— Потом в Брюсселе в июле тысяча восемьсот тридцатого года вспыхнула революция. Полилась кровь народная по всей стране. Четыре дня шли в Брюсселе уличные бои между восставшим народом и королевскими войсками. Повстанцы победили, и Брюссель стал столицей вполне независимого королевства Бельгии...

На следующий день, в воскресенье, на рассвете, Сток с женой и сыном вышли из почтовой кареты у дорожного трактира за шлагбаумом. Знакомый ремесленник, немец, приютил их у себя в Нижнем городе, на улочке возле Шельдского канала.

Маленький Иоганн совсем не устал в дороге и, пока его отец и мать отдыхали у гостеприимного земляка, вышел из низкого чистого домика и направился к полю. На окраине города воздух был прозрачным и чистым. Иоганн увидел реку Сенне, которая, делясь на несколько рукавов, текла, перерезая город неподалеку от канала. Женщины в огромных рогатых чепцах полоскали у берега белье. Вдали на лугу гнали скот пастухи. Рысью пронеслись мимо мальчика к городу несколько всадников.

Позабыв строгий наказ — не отходить далеко от дома, Иоганн отправился вверх по узким кривым чистым улочкам.

Ему встречалось все больше народу. В Нижнем городе люди говорили на незнакомом Иоганну фламандском языке. В это воскресное утро верующие, в строгих темных одеждах, с библиями в руках, торопились к церковной службе.

Чем выше поднимался мальчик, тем нарядней и шире становились улицы, величественнее дома. Он услыхал снова знакомый французский язык и вошел в парк, где гуляли нарядные дети в сопровождении нянь, воспитателей, гувернанток. Все они глядели на Иоганна с удивлением. В простой чистой одежде и деревянных башмаках, с развевающимися волосами, один, он действительно казался странным в этом чудесном парке.

Погуляв немного, Иоганн вышел из сада и вскоре очутился на площади Мучеников. Там была могила борцов, павших за свободу в 1830 году. Иоганн положил на памятник героям веточку сирени, которую тайком сорвал в парке.

— Ого! — сказал господин в плаще, заметив, с каким благоговением смотрел маленький мальчик на памятник.— А что знаешь ты о тех, кому сейчас принес цветы?

— Это были хорошие люди. Они не побоялись голландских королевских солдат и сражались четыре дня, чтобы народу жилось лучше,— сказал Иоганн и добавил, улыбаясь застенчиво: — Как только я вырасту, буду тоже бороться за народ, за то, чтобы не было бедных, а все на свете были богатыми.

— Да ты, я вижу, парень смышленый. Где ты живешь?

Иоганн не знал, что ответить. Он лишь сейчас понял, что ослушался родителей и не знает дороги домой.

Человек в плаще, с бледным и утомленным лицом заметил колебание и растерянность мальчика.

— Ты бездомный? Как тебя зовут?

— Я не бездомный. Мы только утром приехали из Парижа и остановились у папиного друга. Меня зовут Иоганн Сток.

— Ты сын портного? Твой отец прихрамывает?

— Мой папа не хромал, когда был такой, как я,— ответил Иоганн.

Через несколько минут Фердинанд Фрейлигрaт шел с маленьким Иоганном по улицам Брюсселя, оживленно разговаривая, как с давнишним знакомым.

На площади городской ратуши он ввел мальчика в маленькое кафе и заставил выпить чашку кофе и съесть горячие сосиски.

— Ты, сынок, наверное, основательно проголодался,— ска-

зал поэт, с удовольствием наблюдая, с каким завидным аппетитом маленький парижанин поглощает еду.

— А вы кто такой? — спросил Иоганн, старательно очистив тарелку с печеньем.

— Я Фрейлиграт.

Всегда несколько тусклые глаза поэта засветились доброй улыбкой. Иоганн задумался.

— А что вы делаете?

— Пишу стихи.

Иоганн обрадовался.

— Их потом поют, я знаю,— ответил он, очень довольный.— Вы знаете такую песню? — продолжал мальчик и тихонько запел:

Звучит над землею свободы труба,
Весь мир содрогается вдруг,
Развернуто знамя — то знамя борьбы,
Толпятся народы вокруг.

— Браво! — воскликнул Фрейлиграт.— Кто перевел тебе гимн чартистов на французский язык?

— Это отец поет, а мама любит больше «Марсельезу»,— сказал важно Иоганн.

Они вышли из кафе. Мальчик засмотрелся на необыкновенное здание в готическом стиле с уходящей ввысь башней, которая заканчивалась огромной фигурой расправившего крылья архангела Михаила. Фрейлиграт пояснил ему, что эта ратуша построена в XV веке, во время испанского господства, и высота башни достигает нескольких сот футов.

Иоганн хотел бы еще побродить по незнакомому, очень понравившемуся ему городу, но поэт был неумолим. Он понимал беспокойство отца и матери, потерявших своего сына. Фрейлиграт подозвал фиакр и повез Иоганна к знакомому немцу, который должен был помочь выяснить, у кого же именно остановился по приезде Иоганн Сток. По дороге мальчик попросил поэта прочесть ему стихи.

— Я бы хотел понять, как они делаются,— сказал Иоганн серьезно.

Фердинанд прочитал мальчику свои стихи о республике.

La République! La République!
Разгром всего былого!
Святой победы светлый лик!
Мы шли на риск!
Три дня — и все готово!

La République! La République!
Vive la République! [1]
Все вести опоздали;
Единый вздох, единый миг...
И мы вошли
В истории скрижали!
Республика! Республика!
Да здравствует республика!

Только к вечеру Фрейлиграт доставил маленького Иоганна его родителям, пережившим немало волнений.

Через несколько дней Сток получил работу в мастерской модного портного на Зеленой аллее. Маленького Иоганна удалось поместить в школу, устроенную несколькими набожными филантропами «для бедных детей». Женевьева была отныне освобождена от тяжелой поденной работы, она ждала второго ребенка.

Вильгельм Вейтлинг приехал в Брюссель из Лондона несколько раньше Стока. Пребывание в Англии принесло ему лишь разочарования. Карл Шаппер, Иосиф Молль и Генрих Бауэр — руководители «Союза справедливых» — встретили его дружески, но очень скоро отшатнулись от новоявленного пророка, которым возомнил себя этот портной.

В то время как в Англии все выше и выше поднимались волны чартистского движения, когда труженики бастовали, собирались, несмотря на преследования, требуя десятичасового рабочего дня, повышения оплаты труда и освобождения заключенных в тюрьмы своих вождей, Вильгельм Вейтлинг ораторствовал среди немецких изгнанников, предлагал создать единый всемирный язык, без которого будто бы немыслимо объединиться рабочему классу. Он разрабатывал для этого особую систему.

«Единый язык рабочих,— удивленно или досадливо спрашивали его,— разве в этом дело? На каком бы языке ни говорил пролетарий, его ждет везде одна и та же эксплуатация, голод, непосильный труд».

Вейтлинг упрямо пытался также доказать, что христианство на заре его возникновения и есть подлинный коммунизм. И это в то время, когда по всей Англии собирали подписи под

[1] Республика! Республика!
Да здравствует республика! *(франц.)*

петициями рабочих парламенту. Было собрано уже свыше миллиона. Теоретические расхождения между ним и другими руководителями Лондонского просветительного общества постепенно углублялись. Вейтлинг с видом оскорбленного гения отходил от своих недавних единомышленников и все больше отрывался от рабочего класса и его борьбы.

Вейтлинг покинул остров и прибыл в столицу Бельгии как раз тогда, когда закончил свою новую книгу — «Человечество, как оно есть». В ней он тоном пророка проповедовал переход от коммунизма к христианской идеологии. Не зная об этом, Маркс встретил Вильгельма Вейтлинга как дорогого ему человека.

Еще весной 1845 года Маркс и Энгельс, ценя публицистический талант Вейтлинга, предложили ему издавать в Лондоне коммунистический журнал. Однако он отказался и написал тогда в Брюссель:

«Дорогие друзья! Между различными коммунистическими деятелями нет единодушия. Это особенно дает себя чувствовать при таких начинаниях, где требуются жертвы и где каждый может сделать больше или меньше, в зависимости от своего рвения к делу пропаганды. Но я вынужден прервать свою мысль — короче, дело обстоит так, что я счел издание здесь журнала затруднительным и в особенности не захотел иметь никакого отношения к редактированию. Если бы вы мне прислали письмо такого же содержания месяц тому назад, то я бы с радостью сделал все возможное для осуществления этого проекта. Но сейчас для меня слишком поздно. Я всегда терплю очень долго, но когда приходится слишком туго, то принимаю быстрое решение. Так случилось и сейчас. Вот уже неделя, как я отказался от всякого писательства и занялся изобретением в производстве модного товара. Я потратил остаток своих денег на то, чтобы заказать машину и сделать образцы. Сегодня вечером мне опять будут нужны деньги, и я не знаю, где их достать (2 фунта я смогу получить только завтра)... Редактирование такого журнала всегда неблагодарное дело. Я, во всяком случае, взялся бы за это только в соответствии с вашим предложением, а именно, чтобы каждая статья помещалась за подписью автора. Но тогда многие бы стали приносить статьи, из которых надо было бы делать выбор. На этом наживешь врагов. А тут еще, пожалуй, захотят устраивать заседания и выносить большинством голосов решения по поводу того, что будет выходить из моей головы, и не следует ли это сделать погуще

или пожиже, применительно к головам других людей. Короче говоря, в работе не было бы уже той свободы, которой я располагал, когда издавал «Junge Generation» и «Hilferuf». Уполномоченным я поэтому ответил отказом».

По приезде в Брюссель Вейтлинг часто посещал Маркса, и Карл вскоре увидел, что мелкие обиды, ущемленное самолюбие, огромное самомнение совершенно преобразили этого политического деятеля.

В один из вечеров Иоганн Сток отправился к Марксу. Дверь ему открыла Ленхен и, добродушно поздоровавшись, ввела в рабочую комнату Карла. Там было накурено и шумно. Из присутствовавших Сток не знал никого, кроме самого Маркса. Энгельс, показавшийся Стоку очень юным, поздоровался с портным так сердечно и просто, точно они были давным-давно знакомы.

Один из находившихся в комнате гостей с приятным лицом назвался — Вестфален.

— Мой шурин и друг детства,— пояснил Иоганну Карл и представил остальных.— Вот Иосиф Вейдемейер; он упрям и верен слову, как все уроженцы Вестфалии. А вот — познакомьтесь, господин Анненков, из суровой и мрачной России. А это сам прославленный Вейтлинг!

Иоганн увидел белокурого красавца в длиннополом сюртуке, обтягивающем стройную фигуру. Узкие штиблеты на его ногах сверкали.

«Впрямь ли он из рабочих?» — усомнился про себя Сток, бесцеремонно разглядывая Вейтлинга — автора столь понравившейся ему книги «Гарантии гармонии и свободы». Хорошо подстриженная бородка, напомаженные волосы, самоуверенная поза Вейтлинга были точно у приказчика из дорогого магазина. Но проницательные глаза Стока поймали настороженный взгляд из-под нахмуренных бровей, беспокойную гримасу тонких, четко вырисованных вздрагивающих губ. Сток догадался, что перед ним человек, чем-то раздраженный, неустойчивый, легко переходящий от одного настроения к другому.

«Нет, этого я не хотел бы иметь рядом с собой на баррикаде»,— подумал Иоганн. С некоторых пор, знакомясь с новым человеком, он неизменно мысленно определял, доверился ли бы он ему, очутившись рядом под огнем.

Все уселись за небольшой, покрытый зеленой скатертью стол. Павел Анненков недавно прибыл с рекомендательным письмом Григория Михайловича Толстого к Карлу Марксу.

Помещик, знавший Карла Маркса по Парижу, писал ему об Анненкове:

«Мой дорогой друг! Рекомендую вам господина Анненкова. Этот человек должен понравиться вам во всех отношениях. Достаточно его увидеть, чтобы полюбить. Он расскажет вам обо мне. Не имею возможности в настоящее время высказать вам все, что хотел бы, так как через несколько минут уезжаю в Петербург.

Примите уверения в искренности моих дружеских чувств.

Прощайте и не забывайте Вашего истинного друга Толстого».

Анненков жадно присматривался ко всему окружающему, Маркс ему очень понравился.

— Этот человек подлинно сложен из воли, энергии и несокрушимого убеждения. Какой поразительный контраст с болтунами-всеразрушителями, которых встречал я перед отъездом в России,— сказал он, обращаясь к Эдгару фон Вестфалену.

Карл сидел с карандашом в руке, записывая что-то на листе бумаги. Энгельс, высокий, прямой, серьезный, стоя говорил собравшимся о необходимости для всех тех, кто посвятил себя делу освобождения людей труда, найти единую точку зрения на происходящие события. Надо установить общность взглядов и действий, создать доктрину, которая была бы понятна и принята теми, у кого нет времени или возможности заниматься теоретической разработкой всех вопросов в отдельности.

Энгельс говорил с все нарастающим увлечением, разволновался и начал слегка заикаться.

Сток внимательно слушал его речь. Энгельс старался доказать Вейтлингу, что не проповедями, а научной пропагандой можно привлечь к себе тружеников.

На этом собрании решался вопрос о том, какие именно коммунистические книги следует издавать в первую очередь. Вейтлинг настаивал на том, что его произведения наиболее нужны. Он требовал немедленного их издания.

Вдруг Маркс встал и подошел к Вейтлингу вплотную. Глаза его смотрели строго. Движения были несколько угловаты.

— Скажите, Вейтлинг,— спросил Карл громко,— каковы ваши теоретические взгляды сегодня и как вы думаете их отстаивать, увязывая христианский догматизм с идеями коммунистов? Ведь именно это вы предлагаете в своей последней книжке?

Вейтлинг растерялся. Он окинул неуверенным взглядом собравшихся и принялся объяснять, в чем его цель.

— Нужно не созидать новые теории, а принять уже проверенные опытом и временем,— сказал он,— надо открыть рабочим глаза на их положение, на несправедливость, унижения, которые они встречают повсюду. Пусть рабочий не верит обещаниям сильных мира сего, пусть надеется только на свои силы, пусть создает демократические и коммунистические общины.

Вейтлинг говорил в этом духе долго, речь его становилась все менее содержательной и подчас бессвязной. Насколько каждое высказанное Энгельсом положение было убедительно и одна мысль закономерно следовала за другой, настолько противоречиво, обрываясь и путаясь, вырывались слова у Вейтлинга. По существу, он не делал никаких выводов.

Сток все более удивлялся. Не менее разочарованным казался и Павел Анненков, который в начале собрания с благожелательным интересом смотрел на знаменитого Вейтлинга.

Маркс все больше мрачнел, слушая его, и постукивал карандашом по столу. Брови его нахмурились, глаза заблестели. Внезапно он приподнялся, посмотрел прямо в лицо Вейтлингу и прервал его.

— Возбуждать народ, не давая ему никаких твердых положений и лозунгов,— значит обманывать его! — воскликнул он.— И знаете ли вы, Вейтлинг, что обращаться к рабочим без строго научной идеи, без проверенного учения — это то же, что разыгрывать в наши дни из себя бесчестного и пустого пророка, который к тому же считает простых людей доверчивыми ослами... Вы неправы, вы неправы! Люди, не имеющие политической доктрины, причинили много бед рабочим и грозят гибелью самому делу, за которое берутся, не понимая своей ответственности.

Вейтлинг вспыхнул, поднялся и заговорил неожиданно гладко и уверенно:

— Меня называют пустым и праздным говоруном! Меня, которого знают все труженики Европы! Я собрал под одно знамя сотни людей во имя идей справедливости, солидарности и братства. Но вы не можете задеть меня, Маркс, своими нападками. Я вспоминаю сотни писем, полные благодарности, которые получаю из разных стран. Те, кто пишет их, а не вы, далекие от нужд народа, будут моими судьями, если понадобится. Моя работа среди понимающих меня тружеников зна-

чительно важнее всяческих кабинетных учений и критики, которые порождены незнанием бедствий народа и его нужды. Вы живете вдали от тех, кого хотите учить. Что вы знаете? Чем вы можете помочь народу?

При последних словах, произнесенных повышенным тоном, Вейтлинг закинул назад голову, взглянул на всех сверху вниз. Но вдруг он попятился и поспешно сел. Окончательно разгневанный его словами, Карл с такой силой ударил кулаком по столу, что замигала покачнувшаяся лампа. Побледнев, Маркс крикнул:

— Никогда еще невежество никому не помогло!

Затем он вскочил, резко оттолкнув стул.

Тотчас же вслед за ним все поднялись со своих мест. На этом собрание и закончилось. Вскоре все начали расходиться.

Иоганн Сток вышел вместе с Анненковым. Оба они были потрясены тем, что произошло в квартире Маркса в этот вечер.

— И это Вейтлинг? Я думал, он настоящий человек, а не самоуверенный индюк,— сказал Сток своему новому знакомому.— Но Маркс — до чего необыкновенный, до чего большой ум.

— Все, что ни скажет и как ни скажет Маркс,— подтвердил Анненков,— глубоко и справедливо. Это человек замечательный. Таких нелегко сыскать на свете.

У тусклого фонаря они дружески расстались.

Снова Иоганна захватила жажда борьбы. Он думал: «Мы выступим вооруженными не проповедями Вейтлинга, а строгой наукой победы. Ее знают такие люди и бойцы, как Маркс».

Павел Анненков задержался в Брюсселе и зачастил в уютный домик на улице Альянс.

Многократно, с чувством облегчения он покидал родину и странствовал по Европе. Душно было во всем мире, но совсем непереносимой казалась ему атмосфера в России. Анненков любил поговорить, не приглушая голоса и не оборачиваясь воровато по сторонам. Он стыдился страха, мелькавшего в душе опасения, что за высказанное либеральное слово его может ждать жестокая расплата, как то случилось уже со многими его друзьями.

Небогато одаренный творчески, он, однако, умел думать и отличать среди людей и идей самое высокое и передовое. Все поражало его в Марксе. Часами он готов был слушать его непреклонные высказывания, которые казались русскому свободомыслящему помещику радикальными неоспоримыми приго-

ворами над лицами и предметами. В Марксе и Энгельсе он нашел то, чего не было в нем самом и во многих его друзьях, оставленных в Петербурге и Москве,— единство слова и дела.

Анненков все более поддавался огромной силе воли и убеждения Маркса.

Он находил неизъяснимое наслаждение в разговорах с Карлом.

«Есть люди,— думал он,— которые чем ближе их узнаешь, тем кажутся они мельче и время, проведенное с ними,— потерянным. А Маркс как гора. Издалека не определить ее величины, а подойдешь — и видишь, что вершина уперлась в самое небо».

Удивляла Анненкова и непосредственность, простота Карла. Случалось, придя к нему, Анненков находил его резвящимся с детьми, похожим на шалуна мальчишку, или увлеченно играющим в шахматы с Ленхен. Как радовался Карл, выигрывая партию!

— Поистине, великое просто,— говорил тогда Анненков.

Часто после очень скромного ужина Карл приглашал его в кабинет, где, куря сигары, они беседовали далеко за полночь.

Маркс не уставал спрашивать и слушать о далекой и загадочной России, стране рабовладельцев и самоотверженных революционеров, невежд и гениальных писателей.

— Я могу удостоверить,— рассказывал как-то Анненков Марксу,— что друг мой Белинский, о котором вы много уже слыхали, знает вас и Энгельса не только по вашим теоретическим работам, но и по политической борьбе. Мы не раз, как вот сейчас с вами, говорили с ним об этом. «Немецко-французский ежегодник» тотчас же по выходе штудировался им с большой тщательностью. Причем, помнится, именно ваша статья «К критике гегелевской философии» особенно заинтересовала Белинского и, я в этом уверен, придала ему бодрости и душевного веселия, открыв глаза на многое. Да и кто мыслящий может равнодушно пройти мимо таких глубоких изречений, как ваши. Я ведь многие знаю наизусть.

«Религия — это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух бездушного безвременья. Она — опиум для народа».

Цитируя Маркса, Павел Васильевич незаметно для себя встал с места и придал голосу патетические интонации. Карл, улыбнувшись одними глазами, пододвинул ему кресло. Опомнившись, Анненков сел и продолжал спокойнее:

— Столь богато одаренный человек, как Белинский, не мог не понять всю значительность вашей статьи о гегелевских взглядах на мир. К несчастью, наши русские в пору правления Николая Палкина, и даже Белинский, не могут печатно сказать все то, что они думают. По мнению Белинского, которое он высказывал не раз друзьям своим, и мне в том числе, истина, если нельзя ее обнародовать и популяризировать, всего лишь мертвый капитал. В одном я уверен: если мучительная болезнь, подтачивающая Белинского, не убьет его вскорости, этот познавший столько бед и нищеты, безупречный, гениальный человек должен прийти к коммунизму...

Подолгу разговаривали Маркс и Анненков также о судьбах славянских народов.

— Из всех славянских языков для моего западноевропейского уха особенно приятен русский,— отмечал Карл.— Хотя все славянские языки, очевидно, очень близки и схожи.

Сток считался добросовестным и умелым портным. Кроме того, он долго работал в Париже, что очень ценилось.

Хозяин мастерской поручал ему выполнять самые сложные заказы. Никто лучше не шил модные жилеты и узкие брюки. Он знал особенности последних парижских моделей и умел шить также сюртуки и рединготы с пышными складками сзади. В Брюсселе такие складки решались заказывать лишь самые рьяные щеголи да твердые поклонники лорда Дэнди, считавшие, что только мужчина, одетый изысканно, является истинным аристократом.

Хозяин мастерской на Зеленой аллее, одной из самых нарядных в Брюсселе, никогда сам не бывал в Париже и поэтому особенно прислушивался к мнению Стока.

— Что ты думаешь об этом сюртуке? — спрашивал он Иоганна, показывая ему старый журнал мод, полученный из Франции.

— Слишком просторен,— отвечал Иоганн, с профессиональным любопытством вглядываясь в костюм нарисованного господина с длинными волосами, напомаженными на макушке, и пышно завитыми усами, закрывшими половину щеки.— Сейчас в Париже господа одеваются в обтягивающие, словно перчатка руку, сюртуки. Их застегивают только на одну верхнюю пуговицу, чтобы открыть жилет и брюки, которые всегда изящнее, если они в мелкую светлую клетку. Фуляровый пла-

ток должен крепко стягивать шею, открывая узенькую полоску тугого воротничка.

— Да, но как же рукав и проймы? — выпытывали хозяин и закройщик.

— По фигуре натянуты, и рукав узенький, на двух пуговичках, без манжет.

— Это очень шикарно,— восторгался закройщик,— наш король Леопольд Первый не откажется от такого костюма. Сколько же пуговиц на сюртуке?

— Шесть,— отвечал Сток,— а на рединготе в этом году следует нашивать восемь, по четыре с обеих сторон.

— Да, Франция — великая страна! Законодательница мод,— вздыхал хозяин, преисполняясь уважением к своему парижскому мастеру.

А Иоганн радовался, что ему обеспечена работа. Часто после двенадцатичасового рабочего дня он отправлялся в маленькое кафе, недалеко от мастерской, где в эти мартовские дни почти ежедневно собирались социалисты.

Сток мог просмотреть там же и газеты. Они писали о том, что в Ирландии множество людей умирает от голода из-за гибели картофеля от какой-то диковинной болезни. Ирландцы питались мхом и травой, бросали обжитые места и бежали в города, где подбирали отбросы и рылись в мусорных свалках. Свыше ста тысяч ирландцев отправились в Канаду и Соединенные Штаты на первых подвернувшихся кораблях.

«Несчастные ирландцы,— писала брюссельская газета,— заполняют до отказа любые суда. Их нередко отвозят за океан на разваливающихся кораблях, на которых нет никакой врачебной помощи. Почти в каждой партии, бегущей с родины, где второй год нечего есть, много чахоточных и больных заразными болезнями. Более шестнадцати процентов ирландских эмигрантов уже умерли либо в пути, либо в карантинах, где их держат по прибытии в Новый Свет».

Газеты также сообщали, что войска русского царя Николая I ведут кровавые упорные бои с мусульманским вождем Шамилем в горах Кавказа, что в английский парламент подано сто сорок девять петиций. Полтора миллиона человек поставили под ними свои подписи. Народ требовал освобождения томящихся в тюрьмах чартистов...

Сток сумрачно качал головой. Много горя повсюду! Он доставал коробочку с табаком и начинал нервно скручивать си-

гарету, чтобы успокоиться. Его всегда охватывало раздражение, когда он чувствовал собственное бессилие.

Как-то его окликнули из противоположного конца узкой комнаты. В окраинном кафе, не имевшем даже биллиарда, стояли круглые столики и вдоль стены высилась длинная стойка буфета. За ней с равнодушным видом сидел хозяин, не спускавший глаз с посетителей и беззвучно, одним мановением руки, управлявший несколькими кельнерами, которые с салфетками, перекинутыми через левую руку, жонглируя подносами, носились по залу.

— Сток, дружище, пересаживайся к нам!

Иоганн узнал приветливое лицо в рамке темных волос. Это был Фрейлиграт. Поэт был ему очень симпатичен. Не задумываясь, со своей кружкой пива Сток перекочевал к столу, откуда его звали.

Рядом с поэтом сидел знакомый портному по бурному собранию у Маркса Иосиф Вейдемейер. О нем Сток знал немного. Это был уроженец Вестфалии, бывший артиллерийский офицер прусской армии, занявшийся журналистикой.

Закуривая давно скрученную сигарету, портной рассматривал Вейдемейера. Чем старше становился Сток, тем осторожнее решался он давать оценки людям и поэтому, встречаясь впервые с человеком, терпеливо всматривался в него.

Иосиф Вейдемейер располагал к себе честными, вдумчивыми глазами. Благожелательность и добродушие исходили от него. Сток подумал: «Он, кажется, надежный парень. Сразу выдает людям и мне вексель на доверие: берите, мол, Иоганн, я вам верю, докажите, что я прав».

«Хороший парень этот Иосиф из Вестфалии,— еще раз подумал Сток почти с нежностью,— только часто, наверно, его надувают!»

Вейдемейер между тем рассказывал, как глубоко заинтересовали его работы Маркса и Энгельса.

— Как силен Маркс в науке! — восторгался он.— Как замечательно верно оценивает деятелей революционного движения и их позиции. Вот, например, об «истинных социалистах» Маркс сказал безапелляционно: «Для этих старых баб, вроде Гесса, Люнинга, Грюна и компании, характерно постоянное стремление замазать и подсластить всяческую действительную партийную борьбу».

Вейдемейер не мог с этим не согласиться...

— Представьте себе, не только Маркс, но и Энгельс выска-

зывал мне удивительные мысли.— При этих словах Вейдемейер достал из кармана тетрадку и продолжал: — Я даже записал кое-что, как видите, вкратце. Разрешите, я прочту свою запись. «Истинные социалисты» чрезвычайно опасны для пролетарской борьбы. Это ловкие мелкие буржуа. Своей словесной белибердой эти истинные путаники и пустомели собираются революционизировать Германию, привести в движение пролетариат, побудить массы к мысли и действию. Чепуха! Они смазывают все классовые противоречия. Чего только не наболтали они в своих статьях!.. Поговаривают они немного также о собственности по Прудону — отнюдь, впрочем, не из первоисточника и потому изрядно перевирают. К этому у них добавлено несколько патетических воплей о бедствиях пролетариата, необходимости какой-то организации труда и союзов для улучшения жизни низших классов. Вообще же совершенно неудобоваримый винегрет под соусом «истинного социализма». Все это к тому же полно неприкрытого невежества в отношении политической экономии! Они ничего не знают о состоянии общества сегодня». Вот примерно что сказал мне Энгельс, и, поразмыслив, я пришел к выводу, что он вполне прав,— закончил Вейдемейер.

— Да, его и Маркса не оглушишь пустыми словами,— заметил Сток и поднял бокал.— За социализм, против «истинных социалистов»,— проговорил он и залпом выпил пиво.

Вейдемейер рассказал и о том, как, побывав в семье Маркса и разглядев, что живется им трудно, решил помочь Карлу в издании его замечательной рукописи «Немецкая идеология». Нелегкое оказалось это дело. Арнольд Руге чинил всяческие препятствия. Он потребовал от своего компаньона, издателя Фребеля, чтобы тот немедленно порвал всякие отношения с Марксом.

Нет более упорного врага, нежели бывший идейный соратник, ставший отступником. Руге неистовствовал и вредил Карлу в чем только мог, хотя и не смел отрицать его дарования. Именно поэтому он ненавидел Карла все сильнее.

— Самые старательные черти в аду всегда бывшие ангелы,— буркнул Сток, когда Иосиф рассказал о злоключениях, преследовавших новое творение.

— Все же мне удалось найти двух промышленников, которые читали некоторые «дерзостные» книги и после бокала вина кричали, что они коммунисты. С ними мы договорились о трех изданиях «Немецкой идеологии». Но когда эти два «истинных

социалиста», два демократа узнали о содержании книги,— Вейдемейер сделал глубокий вздох и надул щеки,— тогда они сказали так: «Маркс и Энгельс решили нас выпороть, а вы хотите, чтобы мы сняли штаны и подставили наши зады. И все это за наши же деньги»...

Все рассмеялись.

— Простофиля вы, старина,— сказал грубовато Сток,— поди, так и поверили в коммунизм богачей. Бьюсь об заклад, что издатели найдут и дальше множество оговорок и не захотят печатать Маркса. О, я хорошо знаю их породу. Они щедры, только когда жертвуют на гроб коммуниста, а тут надо тратиться на живую книгу.

— Мне удалось пока собрать несколько сот франков, чтобы Маркс мог спокойно работать дальше,— сообщил Вейдемейер.— То, что он делает, столь важно для всех нас, для нашего движения! А что будет с изданием — не знаю. Но издать «Немецкую идеологию» необходимо. Это нужно для дела рабочих, для победы коммунистов.

— Что и говорить, доктор Маркс тот врач, который знает, как снять бельма с глаз слепого! — воскликнул Сток.

— Хорошо ты сказал,— оживился Вейдемейер и продолжал: — Маркс спокойно относится к неудачам с изданием «Немецкой идеологии», хотя там гениальные мысли, замечательные теоретические открытия! Ведь в ней, полемизируя с Фейербахом, он создает образ человека будущего, совершенного революционера. Удивительный Маркс человек! Весь поглощен уже новой работой и предстоящей полемикой с теми, кто мешает и путает как в теории, так и в практике борьбы. Вот уже подлинно нет в нем и тени честолюбия. Книга его все еще не печатается, а он считает, что цель ее все-таки достигнута.

— Какая же это цель, по-вашему? — спросил Сток.

— Выяснение сути дела для самих себя, сведение счетов с прежней философской совестью — так сказал мне Маркс.

— *Как же это?* — *изумился Фрейлигграт.*— *А вот мы*, поэты, писатели, жаждем большей частью одного — лишь бы напечатать поскорее свое произведение. Иногда в этом вся наша цель.

— Значит, у вас одно славолюбие,— усмехнулся Сток.

— Жажда похвал,— добавил, улыбаясь, Иосиф.— Но, мне кажется, не в этом должна быть радость творчества. Для истинного борца слово — всегда оружие, клич, обличение, но никак не самоцель.

Фрейлигрaт покраснел, поспешно встал, уронив узкий резной стул, вскинул голову и неожиданно принялся, заглушая все остальные голоса, декламировать:

Не верьте, что больше в живых ее нету,
Что чужд ее голос для наших времен,
Пусть смелое слово в оковах запрета,
И кто не доносчик — молчать обречен.
Пусть карами злыми насилье грозится,
Пусть многим уделом — в изгнанье томиться,
Иной себе вены вскрывает в темнице.
Свобода жива, и бессмертны права.
Свободу! Права!

Кто-то зааплодировал, кто-то громко крикнул:

— Стихи эти не могут относиться к свободной Бельгии!

Несколько степенных господ демонстративно поднялись и, наскоро расплатившись, вышли из кафе. Хозяин встал из-за стойки и подошел к поэту, протягивая ему обе руки:

— Читайте, брат! Я тоже участвовал в уличных боях тысяча восемьсот тридцатого года, и вот этот рубец от раны,— он обнажил руку,— подтверждает, что я дрался лихо за свободу, права, конституцию. Замечательные стихи!

Польщенный Фрейлигрaт продолжал:

Борьба не решится проигранным боем!
Придут к нам победа и день торжества,
В ответ на удар мы усилья удвоим
И громко воскликнем: «Свободу! Права!»
Идут они вместе на благо народа,
Готовы всегда для борьбы и похода,
Ведь там, где права, торжествует свобода,
И там, где свобода, в почете права!
Свободу! Права!

Сток позабыл, казалось, время и где он находится. Один за другим, как при звуках некогда петых песен, как при ощущении запахов, некогда коснувшихся обоняния, вставали перед его мысленным взором лучшие часы жизни. И все они были борьба.

Знамена их всюду, над каждым отрядом,
Что мстит за неправду и горечь обид,—
Пусть здесь нет успеха, так будет он рядом,
И правда в итоге везде победит.
Да, эту победу венок ждет гигантский:
И греческий лавр, и трилистник ирландский,
И дуб из священной дубравы германской,
И стран всей земли в нем сплетется листва!
Свободу! Права!

Фрейлиграт закончил читать стихи, и десятка два слушателей подхватили последние слова: «Свободу! Права!» — и наградили поэта щедрыми рукоплесканиями.

Стоку мучительно захотелось побыть одному, и он, распрощавшись, вышел из кафе. Потребность в одиночестве часто охватывала его. Она впервые появилась после двухлетнего одиночного заключения и усиливалась с годами. Женевьева сначала негодовала, но затем смирилась.

«Запой одиночества»,— определил он сам эту новую страсть и не противился ей.

В Брюсселе по приезде ему еще почти не приходилось проводить несколько часов одному.

«Перемена места — перемена судьбы»,— слышал он когда-то библейское изречение. Стоку оно казалось лишенным мудрости.

«Какая такая судьба у бедного подмастерья?» — досадливо морщась, думал он.

Однако все-таки было разное и в его жизни. Менялся он, менялись люди.

С того дня, как в зале «Валентино» он услышал с трибуны маленького красноречивого Луи Блана, затем старого знакомого, болтуна Пауля, и, наконец, глубоко поразившего его Карла Маркса, пытливый ум портного, точно бурный поток, прорывающийся сквозь горы и ущелья, вошел постепенно в берега и уверенно двинулся вперед широкой, спокойной рекой.

Сток много думал и читал. Лионское восстание, «Общество прав человека» Бюхнера, «Общество времен года» Бланки, «Союз справедливых» — это были ступени, по которым он взбирался все выше и выше в борьбе за свободу и справедливость.

Не так давно трескучие фразы Вейтлинга могли бы увлечь его, как и многих других. Но хотя жизнь и была для Стока трудной школой, он сумел стать превосходным ее учеником. Ни одни слова без дел, какими бы многообещающими и красочными они ни были, ни одни только действия, какими бы искренними и смелыми на первый взгляд они ни казались, уже ничего для него больше не значили. Он хотел понять причины поражений и побед, сущность и особенности революций.

Маркс и Энгельс первые из тех, кого он встретил, отвечали на многие волнующие его вопросы, только они, анатомируя общество, историю, экономику прошлого, разгадывали казавшуюся мистической загадку вечного неравенства, порабощений и страданий столь многих людей на земле.

«Откуда и как явилась эта проказа, называемая нищетой, бесправием, когда мы заболели ею? Что ждет моего сына? Как его спасти?» — думал Сток, спускаясь по улице вдоль одного из рукавов тихой реки Сенне.

В этом году в Брюсселе повсюду мостили улицы, переделывали или заново настилали тротуары. Несмотря на поздний час, все еще стучали молотками каменщики. Пригибаясь, они тащили, пригоняли, укладывали камни на влажный песок. Стоку вспомнились гравюры, изображавшие египетских рабов за такой же работой, и он мысленно удивился, как мало изменились за тысячелетия жизнь и техника на земле.

В темноте портной споткнулся о камень и почувствовал острую боль в бедре. От этого ему стало еще тоскливее. Прислонившись к стене дома, чтобы переждать, покуда стихнет боль, Сток вдруг как бы увидел себя со стороны. Его передернуло. Тридцать пять лет, а он уже сед, хром, лицо в морщинах, глаза запали.

«Короток наш век: безработица, тюрьма либо пуля, что-нибудь да загонит в гроб,— подумал Сток и медленно поплелся дальше к Зеленой аллее.— Был ли я счастлив? Что же это такое, счастье?»

С тех пор как Сток медленно умирал в течение двух лет в одиночной каменной щели прусской тюрьмы, он привык иногда разговаривать с самим собой вслух. Не замечая этого, он громко обращался к себе с этими вопросами.

Какой-то прохожий остановился, тщетно стараясь рассмотреть в темноте лицо Стока, и пошел дальше, пробормотав укоризненно:

— Ишь как развезло парня!

Но Иоганн был трезв. Боль в ноге сменилась нытьем в суставах от усиливающейся сырости. Он оглянулся, чтобы понять, где находится, и увидел, что свернул ко дворцу Лекен, где живет король. Чтобы попасть к себе домой, следовало возвратиться назад и спуститься в улочку за Шельдским каналом.

Мысли мучили его. Он снова перебирал события минувшего, как бы ворошa стог сена. Сухие стебли — ушедшие навсегда дни — рассыпались от прикосновения и безжалостно кололи. Но портной нашел среди них несколько свежих, зеленых и душистых листьев. Ему припомнилось, как, молодой и здоровый, он нес с берега Роны прижавшуюся к нему озябшую Женевьеву. Он услышал голос Бюхнера, читавшего «Воззвание»,

на которое возлагалось столько надежд. Проскрипела телега, вывезшая его тайно из заточения на свободу. Он увидел вновь обретенную Женевьеву и почувствовал бодрое, крепкое рукопожатие Маркса, как бы обещавшее ему свершение всех его желаний.

«Если собрать воедино эти ничем не омраченные часы и мгновения, может быть, получится целый день. Один день счастья за все тридцать пять лет! Это, пожалуй, и немало для таких, как я...»

С такими мыслями вернулся Иоганн домой.

Рано утром хозяин мастерской вызвал портного в примерочную. В большом, обитом бархатом кресле, возле зеркала во всю стену, сидел какой-то господин, вытянув большие толстые ноги в дорогих полосатых брюках и штиблетах с узенькими носами.

Он курил сигару, дым которой был таким едким, что портной закашлялся.

Хозяин строго посмотрел на Стока и приказал:

— Ты поедешь сейчас же в Остенде, примеришь и пригонишь тот гардероб, который заготовили лучшие из моих мастеров для больного его сиятельства. Цени мое доверие! — Хозяин повернулся к господину и, низко ему поклонившись, сказал, указывая на Иоганна: — Это лучший из моих работников. Много лет он шил в Париже у знаменитого Лазье на улице Мира, где сам герцог Орлеанский не раз покупал жилеты.

Заказчик поморщился и важно процедил:

— Мой господин одевался лучше всех в Париже и очень разборчив. К несчастью, он сейчас после долгой болезни прикован к креслу. Он нуждается в костюмах, сшитых по самой последней моде и на всякий жизненный случай: прием при дворе, например, охота, бега и тому подобные дела.

Сток только теперь сообразил, что впушительный господин всего лишь дворецкий или лакей какого-то знатного вельможи.

Иоганн должен был выехать немедленно.

— Торопитесь, торопитесь, карета уже ждет.

В огромный сундук, осторожно перестилая бумагой, слуги укладывали всевозможные брюки, строгие длинные сюртуки, пышные рединготы, узенькие фраки и бессчетное количество разных жилетов с богатой отделкой и драгоценными пуговицами.

Сток попросил одного из подмастерьев зайти к Женевьеве и предупредить, что он вернется с морского побережья только через день-два.

В полдень богатая карета, нагруженная сундуками, баулами, огромными шляпными коробками, тронулась в путь. Всю дорогу толстый надменный лакей его сиятельства говорил о себе, своих болезнях, разнообразных путешествиях, службе, но ни словом не обмолвился о больном господине, которому вез столь богатый и разнообразный багаж.

Стока разбирало любопытство, но он умел издавна преодолевать в себе любые чувства и лишь нехотя прислушивался к разглагольствованиям своего спутника, милостиво предоставившего ему место не на козлах или запятках, а в самой карете, на переднем сиденье. Впрочем, это объяснялось тем, что лакей боялся скуки и нуждался в слушателе.

— Когда в тысяча восемьсот десятом году я имел честь служить в Париже у сиятельной графини Потоцкой,— говорил он,— мне приходилось видеть великого Наполеона. А с его мамелюком Рустамом я вот, как с тобой теперь, не раз разговаривал в передней императора. Большой имел он вес при дворе, хоть и черен был, словно савоярский трубочист. Не одному вельможе этот мамелюк оказал протекцию. Мы ведь, слуги, многое можем, поверь, я-то знаю это. Чего только я не насмотрелся! Раз в Варшаве самому императору за столом прислуживал. Ел он мало, но так быстро, что никто за ним не поспевал... Слыхал я, что когда задумал Наполеон жениться на австрийской принцессе, то из Вены гонец ему не портрет ее, а туфельку привез. Не лицом она, мол, а ножкой вышла! Да ведь ему не Мария-Луиза нужна была с ее ножками, а родство с древним Габсбургским домом. Велик всем, кроме роста, был корсиканец.

К вечеру кони, несшиеся во весь опор, доставили наконец карету на морское побережье. Остенде — водный курорт — в эту пору года казался безлюдным. Море неистовствовало и поднимало над серой набережной валы, рассыпавшиеся пенистыми каскадами. Прохожие брели под большими черными зонтами, прижимаясь к домам. Самые дорогие отели были закрыты на ремонт. При свете газовых фонарей городок казался мрачным и безжизненным.

Наконец, свернув несколько раз в тихие улочки, карета выбралась на проселок, понеслась и внезапно остановилась у железной ограды. Слуги в ливреях открыли тяжелые ворота,

увенчанные гербом, и по большой безлистной еще аллее карета домчалась к дому, в котором освещено было только несколько окон.

Сток долго стоял в полутемном холле, среди чемоданов, сундуков и коробок. Казалось, о нем, как и о багаже, все забыли. Но вот на лестнице с золотым канделябром в руке появилась дама в темном платье, с яркими волосами и позвала его повелительным жестом. Несколько слуг понесли вещи вверх по лестнице. В большой комнате без окон, стены которой были сплошь из зеркал,— очевидно, туалетной,— портного снова оставили одного. Он не решался присесть на обитые атласом скамейки, хотя чувствовал себя очень усталым после стремительной езды.

Внезапно приоткрылась затканная золотыми цветами портьера и, смеясь, вошел очень худой, довольно высокий мужчина в костюме простого рабочего. Его сопровождали слуги, раболепно сгибавшие спины, два богато одетых господина и дама, которую Сток видел на лестнице. Позади, с костюмом на изогнутой калачиком руке, шел лакей, с которым Сток ехал сюда.

— Ну вот я и среди верных друзей,— нервно заговорил вошедший.— Право, костюм плотника имеет много преимуществ в наши дни, и я очень сожалею, что вынужден сейчас сменить его на дорожный редингот.

— Ваше высочество, все давно готово и не терпит отлагательств,— низко кланяясь, сказал один из господ.— Торопитесь, молю вас. Этот портняжка быстро исправит недочеты вашего костюма, который шили лишь по приблизительной мерке.

— Но я хотел бы отдохнуть и провести ночь в гостеприимном доме моей дорогой Марии. После почти шести лет спартанской жизни в тюрьме Гам хочется растянуться на хорошей кровати.

— Луи, прошу вас, навсегда забудьте этот гамский ад! — вскрикнула золотоволосая худая дама в темном платье с высоким воротником, подчеркивающим острый подбородок. Она сжала руки и вдруг, что-то сообразив, резко обернулась в сторону Стока.

— Вы будете хорошо вознаграждены не только за труд, но и за молчание,— тихо сказала она.

Затем, подозвав толстого лакея, она проговорила:

— Пока наш господин не покинет берега, задержите портного, если нужно, даже насильно. У него вид якобинца. Эти

люди не раз причиняли Франции множество хлопот. Как могли вы выбрать такого разбойника и урода? — Она скривила негодующе лицо.— Разве вы не чувствуете, он так груб, что от его кожи исходит медвежий запах.

— Простите, мадам, но он шил на улице Мира костюмы герцогу Орлеанскому и показывал мне кошелек, которым тот его вознаградил,— бессовестно соврал злополучный слуга, пытаясь выгородить не столько Стока, сколько себя.

— Приступайте же к одеванию его величества,— несколько успокоившись, распорядилась Мария и, слегка улыбнувшись тому, кого она нежно называла «Луи», величественно вышла из комнаты.

Только под утро Стока выпустили из таинственного знатного дома. Поездом он добрался до Брюсселя и на Северном вокзале узнал от выкрикивающего последние новости газетчика, что «претендент на французский престол, единственный потомок императора Наполеона I, Луи Бонапарт, загримировавшись и переодевшись рабочим, с доской и рубанком в руке бежал из тюрьмы Гам, куда был пожизненно заключен. В настоящее время племянник Наполеона высадился и гостеприимно принят в Англии».

— Так вот кому я накануне пригонял редингот и перешивал пуговицы на слишком просторном жилете! — воскликнул изумленный Сток.

В конце месяца в арендуемом зале, позади дешевого ресторана «Лебедь», должно было состояться очередное собрание немецких тружеников-коммунистов. Обычно там читались лекции по истории Германии или по политической экономии. Случалось, обсуждали статьи из газет и журналов, и нередко разгорались шумные споры.

Несколько десятков портных и их подмастерьев, в большинстве пылких приверженцев Вейтлинга, ножовщики, каретники, краснодеревщики и плотники, а также часовщики посещали эти собрания. В своих мастерских и на городских окраинах они в свою очередь объясняли простым людям, с которыми сводили их обстоятельства или случай, то, что сами узнали от своих земляков. Так непрерывно расширялись связи, прибывали новые силы.

Утописты, вроде дряхлого Кабе, обещавшие райскую жизнь в фаланстерах сказочной Икарии, давно потеряли власть над

этими людьми, разуверившимися в легендах, какими бы упоительными они ни казались.

Рабочие, кто инстинктивно, вслепую, кто уже прозрев, искали выхода из западни, которой стала для них жизнь. Каждый день означал новые тяготы, а будущее казалось еще более угрюмым и безрадостным. Как и у Стока, идеи коммунизма захватывали их сердца, недоверчивые, усталые, нередко изведавшие разочарования.

Иногда на собрания являлись полицейские и угрюмо выстраивались у входных дверей. Но придраться им было решительно не к чему, и, тщетно пытаясь понять, о чем спорят эти ремесленники — в большинстве своем иноземцы,— полицейский комиссар разочарованно уводил блюстителей порядка. Случалось, что собрания проходили вяло и даже скучно, если ораторы повторяли общие слова о человечности, о терпимости, о смирении. Подобные речи напоминали церковные проповеди и усыпляюще действовали на слушателей, уставших после долгого рабочего дня.

Маркс и Вейтлинг вошли в зал собрания одновременно. Необычайно прямо державшийся, статный и красивый Энгельс замешкался в дверях при виде Вольфа и Вейдемейера.

— Боюсь, что нам не устоять сегодня против страшного поветрия скуки и предстоит продремать весь вечер,— шепнул шутливо Вольфу Энгельс.— Если здесь выступит какой-нибудь последователь Прудона и начнутся схоластические рассуждения о собственности, об истинной стоимости, мы погибли. Эпидемия сонной болезни распространяется из Франции стремительно.

Вольф захохотал.

— Умоляю вас, Фред, если будете выступать, не пускайтесь в дебри германских первобытных лесов и не рассказывайте об общинном строе древних херусков. Когда я засыпаю, то, говорят, отчаянно храплю. Полиция вообразит, что здесь произошел пороховой взрыв.

— Да, беда, мы накануне мирового словопотопа. Все это водолейство пошло от «истинных социалистов», и теперь в нем преуспевает Вейтлинг,— уже сердито заметил Энгельс.

Между тем в зале кто-то призывал к тишине. Сначала все шло по-обычному, спокойно и мирно. Оратор, портной, близкий друг Вильгельма Вейтлинга, говорил собравшимся о тяжелом положении своих собратьев по профессии.

— Хозяева открывают большие мастерские готового

платья, и нам угрожает безработица. На машинах быстро шьют одежду. Я всю жизнь учился шить, а теперь любой неуч может сделать брюки. А как быть нам, умелым портным-одиночкам? Скоро у нас не останется заказчиков.

— Только и работы будет, что закройщикам,— закричали из рядов, где сидели портные и портняжьи подмастерья.

Сток посмотрел на Вейтлинга. Он, как всегда напомаженный и одетый в чрезмерно обтягивающий сюртучок, нетерпеливо мял в руках листок бумаги.

Беспокойство среди портных нарастало.

— Что же помалкивает доктор Маркс? — крикнул Вейтлинг, пряча карандаш.— Ведь он великий теоретик!

И прежде чем кто-либо успел опомниться, он вскочил на шаткую трибуну и закричал, багровея и дрожа, как всегда, когда он волновался:

— Карл Маркс, как средневековый алхимик, хочет обогатить рабочий класс и уничтожить власть денег и буржуазии. Он занимается всем: историей людей, историей революций, историей денег. Отлично! Похвально! Он ненавидит невежество. Конечно, где уж нам, пролетариям, знать пути обогащения и революций! Но пусть скажет мне доктор Маркс, почему сейчас, когда Вейдемейер нашел в Вестфалии издателей не только для Маркса и Энгельса, но и для целой библиотеки иных социалистических авторов, зачем он отбросил меня, Вейтлинга, рабочего, портного, от этого денежного источника? Разве мое учение не приносит пользы моим собратьям? Я рабочий и знаю, как помочь пролетариату. Почему я отвергнут?

Лицо Маркса потемнело, брови сошлись на переносице. Энгельс, чья выдержка и умение владеть собой поражали даже невозмутимых англичан, прикоснулся к его плечу большой сильной рукой и сказал по-английски:

— Спокойствие, друг.

Однако спор разгорался и захватил весь зал. Претензии Вейтлинга не встретили сочувствия. Собрание высмеяло его за игру в новоявленного пророка. Выступавшие обзывали его кто павлином, кто индюком, а кто апостолом Вильгельмом.

Через несколько дней Вейтлинг сидел в квартире Маркса, и Женни наливала ему третью чашку кофе. Ленхен, поводя плечами не то с раздражением, не то с сожалением, принесла

из кухни кусок поджаренного мяса с картофелем и поставила перед смущенным гостем.

— Что же, опять ни гроша? — спросила она, бесцеремонно глядя на светловолосую опущенную голову портного.

— Тот проект, который я сейчас разрабатываю,— сказал Вейтлинг таинственно,— стоит всего, что доныне открыли величайшие умы. Иной учится всю жизнь и ничего не открывает, а иного осенит, точно молния, истина, которой ждет страждущее человечество.

— Это уж что-то библейское,— улыбнулась Женни.

— Вы не верите в пророков и гениев? — оживился Вейтлинг.

Женни призадумалась и ответила медленно:

— Вот Энгельс говорит, что гений — это прилежание. Пророком в наши дни, мне кажется, может быть только очень образованный человек, умеющий обобщить все, что люди познали до него, и найти законы, движущие миром и людьми. Пророками были Галилей, Коперник, Стефенсон... Джемс Уатт, например, создал паровую машину и предсказал, что пойдут по рельсам поезда и по морям суда, на фабриках загудят станки, движимые новой силой.

— Мы расходимся в определении сущности пророческого дара,— сухо ответил Вейтлинг и жадно принялся за еду.— Как я буду смотреть в глаза Карлу после происшедшего на этом проклятом собрании, как с ним говорить? — спросил он вдруг, краснея.

— Вы скажете о своем бедственном положении, Вильгельм. Карл, несомненно, поможет вам, хотя, признаюсь, у нас сейчас очень плохо с деньгами. Но у вас их вовсе нет... А ваша гадкая выходка? Да, это было плохо, очень плохо. Но вы жалеете, следовательно, это не может больше повториться. Это главное.

Когда Карл, вернувшись домой, увидел Вейтлинга и узнал, что тот крайне бедствует, он не закрыл перед ним ни двери своего дома, ни своего очень тощего в эти дни кошелька.

Но вскоре, однако, наступил окончательный разрыв между Марксом и Вейтлингом. Карл простил ему личные нападки, но порвал с ним беспощадно, когда Вейтлинг посягнул на общее дело коммунистов и нарушил единство.

Один из объявивших себя коммунистом, ученик Фейербаха немецкий эмигрант Герман Криге, поселившийся в Нью-Йорке, стал издавать там еженедельник «Народный трибун».

Все статьи в журнале, и особенно статьи самого Криге, вскоре начали позорить своей пошлостью и ничтожеством идею коммунизма. Он на все лады склонял слово «любовь», заменяя им слово «борьба».

Герман Криге, выдавая себя за литературного представителя немецкого коммунизма, одновременно ловко устраивал в Америке свои делишки. Он выпрашивал без всякого стыда у американских богачей деньги, писал немецким купцам жалобные прошения, обильно цитируя псалмы и проповеди о любви к ближнему. Купцы, впрочем, ему не отвечали. Они предпочитали квакеров этому любвеобильному и подражавшему сектантам коммунисту.

В своем журнале «Volks Tribun» Криге обращался к женщинам, обещая им любовью исцелить все социальные недуги и быстро осчастливить все человечество. Он писал, не смущаясь никакими слащавыми оборотами: «Женщины, вы — жрицы любви»,— и, объявляя любовь основой отношений между людьми, повторял без конца: «Любви, любовью, из-за любви», «лучи любви», «звуки любви»...

Но возмутительнее всего было обещание, которое «Народный трибун» давал в одной из своих статей: «Мы не хотим нарушать ничьей частной собственности; то, что ростовщик уже имеет, он может сохранить...»

Одиннадцатого мая у Маркса собрались коммунисты. Чтение статей из «Народного трибуна» заняло не много времени.

Затем Эдгар фон Вестфален сказал:

— Криге сознательно своим бредом о любви расслабляет и мужчин и женщин. Нам с Криге не по пути. Все высокопарные разглагольствования его напоминают религиозные проповеди. Он хочет быть пророком и превратить коммунизм в какую-то новую религию.

Затем Эдгар фон Вестфален под общее одобрение прочел полный критический разбор материалов «Народного трибуна» и огласил документ, названный «Циркуляром против Криге».

Лишь Вейтлинг промолчал, когда все присутствующие стали выражать возмущение писаниями Криге.

— Прошу еще внимания, я зачитаю вам резолюцию,— сказал резко Маркс, обращаясь, казалось, более к Вейтлингу, который в это время встал из-за стола и подошел к окну, заложив руки за спину.— Слушайте проект постановления...

«1) Тенденция, проводимая в «Volks Tribun» ее редактором Германом Криге, не является коммунистической.

2) Детски напыщенный способ, при помощи которого Криге проводит эту тенденцию, в высшей степени компрометирует коммунистическую партию как в Европе, так и в Америке, поскольку Криге считается литературным представителем немецкого коммунизма в Нью-Йорке.

3) Фантастические сентиментальные бредни, которые Криге проповедует в Нью-Йорке под именем «коммунизма», оказали бы в высшей степени деморализующее влияние на рабочих, если бы они были ими приняты.

4) Настоящее постановление вместе с его обоснованием будет сообщено коммунистам в Германии, во Франции и в Англии.

5) Один экземпляр посылается редакции «Volks Tribun» с требованием напечатать это постановление вместе с его обоснованием в ближайших номерах этой газеты».

Едва Карл закончил чтение, Энгельс решительно взял лист с резолюцией и подписался под ней первым. За ним последовали остальные. Один только Вейтлинг продолжал стоять у окна, то сдвигая, то раздвигая тяжелую полосатую штору.

— Очередь за вами, Вейтлинг,— сказал Вестфален,— ваша подпись будет девятой.

— Я не собираюсь подписывать эту резолюцию,— вызывающе бросил Вейтлинг и с силой дернул шнур с кистями.— Криге — искренний человек. Он добр к людям, он борется под лозунгом «Да здравствует любовь!» А вы все пасмешники, неверующие, всеразрушающие. Я повторяю его слова: «Мы принадлежим человечеству».

— Браво! Криге и Вейтлинг вместе переневают «отца» Ламенне,— вспылил Эдгар фон Вестфален. Ему очень хотелось сцепиться с Вейтлингом, но Энгельс властно призвал его к хладнокровию. Все же Эдгар успел высказать Вейтлингу то, что думал: — Вы и Криге с вашими проповедями становитесь отныне тормозом в рабочем движении. Вас нельзя считать коммунистами.

— Прощайте, наши дороги расходятся,— ответил напыщенно Вейтлинг.— Я уеду в Америку к тому, кого вы считаете моим единомышленником, к Герману Криге. Время скоро покажет, кто из нас настоящие коммунисты — вы или я, сын рабочего и подлинный рабочий.— Он поклонился на манер трагика из мелодрамы и вышел, неестественно подняв плечи и откинув светлые растрепавшиеся волосы.

— Мы сделали все за эти полгода, чтобы найти с ним об-

щий язык, и не нашли,— тихо сказал Маркс.— Больше других я осыпал похвалами в свое время его книгу, как выход на арену социальной борьбы. Но, несмотря на природную одаренность и некоторую проницательность, он не смог подняться настолько высоко, чтобы увидеть завтрашний день и понять суть противоречий и борьбы. Вейтлинг, не отдавая себе в этом отчета, озлобляется, замыкается в себе, презирает нас и катится вниз...

Карл долго не ложился спать и выкурил немало сигар. Зайдя в его кабинет после полуночи, Женни тщетно попыталась вернуть ему спокойствие. Разрыв с Вейтлингом тягостно отразился на настроении Маркса. Наедине с собой он, как всегда в юности, беспощадно рылся в самом себе, проверяя, не сделал ли ошибки, не поддался ли мелкому чувству раздражения, которое должен был бы подавить. Он вспомнил о том, *с каким радушием встретил Вейтлинга, как хотел помочь ему* разобраться во всем, как уговаривал продумать и понять свои заблуждения.

— Во мне, по-видимому,— сказал Карл Женни,— жило не осознанное до конца представление, что люди рабочего класса не должны ошибаться в силу условий, в которые они поставлены были с детства. Но это неверно. Они все тоже только люди и, как каждый из нас, могут заблуждаться. Вейтлинг — типичный сектант, а это никак не совместимо с коммунизмом. Идея коммунизма объемлет целые народы, а вокруг разных «пророков» будут всегда только одиночки.

Пролетарий, которого Карл хотел вооружить столь трудно добытым оружием, не только не взял его, но и пытался мешать в классовой борьбе. Это было еще одно предостережение, и Карл, не без душевной боли, вынужден был сделать из случившегося суровые выводы.

— Ты ведь любишь, Карл, повторять поговорку древних: «Подвергай все сомнению, прежде чем сделать окончательный вывод»,— после долгого молчания сказала Женни. Как всегда, она поняла сразу все, что он пережил в этот вечер.

— Следует добавить: «Не делай исключения также и для самого себя»,— улыбнулся Карл.

Кроме забот, связанных с революционной работой, Маркса охватывало беспокойство из-за нарастающей нужды, в которой жила его семья. Тщетно Женни и Ленхен старались скрывать

от него возникающие трудности. То продавая вещи, то унося их в ломбард, они кое-как сводили концы с концами.

Редкий день за обеденным столом Маркса не было нескольких нуждающихся рабочих и единомышленников. Они все знали, что последним грошом и куском хлеба всегда поделятся с ними Карл и Женни. Ленхен пыталась ворчать, но сама первая кормила каждого, чья заплатанная одежда и обувь красноречивее слов рассказывали о безработице и трудностях жизни в изгнании. Женни любила тогда подшутить над ней в отместку за обвинения в неумении экономить.

— Ты запретила мне брать сыр и сахар из этого ящика, но я их там больше не вижу,— говорила Женни, притворяясь удивленной.

— Ну вот еще! Что ж, надо было отпустить этого парня ненакормленным? У него и глаза-то голодные. Бедный, как он набросился на хлеб с сыром.

— То-то, не ругай же нас в другой раз.

— Как не ругать, когда мы задолжали молочнице, зеленщику, в мясную лавку! — горячилась снова Ленхен.

Вейтлинг не угомонился и принялся распространять всевозможную клевету об «отъявленных интриганах», как называл он тех, кто выступал против Германа Криге. Вейтлинг отправлял за океан редактору «Народного трибуна» в толстых конвертах самые гнусные обвинения и злостную ложь на недавних соратников. Его старания угодить противникам Маркса и Энгельса принесли ему приглашение в Нью-Йорк на пост редактора еженедельника «Народный трибун» Германа Криге. Однажды, когда Иоганн Сток с несколькими портными-коммунистами явились к Вейтлингу, старуха консьержка сообщила, что господин Вейтлинг отбыл в Америку после того, как получил оттуда изрядную сумму денег на дорогу.

Все это время Сток редко бывал дома и не мог уделять много времени сыну. Между тем маленький Иоганн не скучал в Брюсселе. Ему жилось привольно. В школе его били линейкой реже других, так как он легко запоминал грамматические правила, счет и, главное, молитвы. У него был отличный слух, и во всей школе никто не пел лучше его псалмы царя Давида и бельгийский национальный гимн. Остальное время он проводил на берегу реки Сенне с оравой веселых мальчуганов и ждал лета, чтобы переплыть канал.

В эти дни осложнились отношения Маркса и с Прудоном. Не имея своей газеты, Карл, Фридрих и их единомышленники в Брюсселе пользовались печатными или литографированными письмами для общения с коммунистами в других странах, а также для борьбы с враждебными течениями. Но чтобы связь была обоюдной и постоянной, они создали коммунистические корреспондентские комитеты в Лондоне и Брюсселе. Такова была организация, объединявшая коммунистов. Только из Парижа не было еще регулярной информации. Карл дружески написал Прудону и просил его взять на себя это дело. Ответ пришел скоро. Прудон соглашался изредка писать обо всем происходящем в коммунистическом движении столицы, но поучал свысока Маркса.

«Я,— сообщал Прудон в своем заносчивом письме,— исповедую теперь почти абсолютный антидогматизм в экономических вопросах. Не нужно создавать хлопот человеческому роду идейной путаницей: дадим миру образец мудрой и дальновидной терпимости; не будем разыгрывать из себя апостолов новой религии, хотя бы это была религия логики и разума. Я предпочитаю лучше сжечь институт частной собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, устроив Варфоломеевскую ночь для собственников. Попутно я должен сказать вам, что намерения французского рабочего класса, по-видимому, вполне совпадают с моими взглядами...»

Итак, Прудон отрекался от идеи насильственной революции и превозносил теоретическую путаницу, которую Маркс считал наибольшей опасностью в борьбе за коммунизм. Прудон объявлял себя носителем каких-то всеобщих идей пролетариата, но жестоко ошибался. Французские рабочие хотели революции и шли к ней. Это видел Маркс, но не понимал Прудон, желавший сгладить все противоречия и договориться с теми, кого он называл «собственниками».

Карл, хотя и не раз сомневался в Прудоне, был ошеломлен ответом знаменитого теоретика. Неужели и этот рабочий не мог подняться выше уровня бунтующего ремесленника, выше крикливого мелкого труса? Что от того, что Прудон пролетарий, если он уводит своих братьев в трясину, из которой нелегко будет выбраться?

В своем письме, напыщенном и дерзком, Прудон сообщил также, что в книге, которую пишет, поведает миру, как разрешить проблему собственности. Когда его произведение будет

напечатано, он позволит Марксу обрушить на него «огонь и скалы». Он готов отразить любое нападение.

Карл, дочитав письмо до этого места, почувствовал, что в нем улеглась ярость. Как средневековый рыцарь, он под брошенную перчатку и стал готовиться к открытому бою, где книга Прудона будет издана.

Фридрих Энгельс летом того же трудного года уехал в Париж. Как-то среди новостей, которые он постоянно сообщал Брюссельскому коммунистическому комитету сношений, Фридрих написал:

«Сообщаю вам для развлечения: «Экономический журнал» за август этого года содержит в статье о коммунизме следующее: «...Господин Маркс — *сапожник*, подобно тому, как другой *немецкий коммунист*, Вейтлинг,— портной. Первый (Маркс) невысокого мнения о французском коммунизме (!), который он имел счастье изучить на месте. Впрочем, М. также не идет дальше абстрактных формул и остерегается вдаваться в какой-нибудь действительно практический вопрос. По его мнению, освобождение немецкого народа послужит сигналом для освобождения человеческого рода: головой этого освобождения будет философия, а его сердцем — пролетариат. Когда все будет подготовлено, галльский петух возвестит немецкое воскресение. Маркс говорит, что нужно *создать* в Германии всемирный (!!) пролетариат для осуществления философской мысли коммунизма. Подписано Т. Ф. ...»

Энгельс, внимательно изучая все происходящее в Париже, интересовался также и русскими людьми.

«...А теперь еще одна в высшей степени любопытная история,— сообщал он в другой раз.— «Augsburger Allgemeine Zeitung» в корреспонденции из Парижа от 16 июля пишет о *русском* посольстве в Париже... «Это — официальное посольство; но вне его или, скорее, *над* ним, стоит некий *Толстой;* он не занимает определенной должности, но известен как *доверенное лицо двора*. Раньше он работал в министерстве народного просвещения, потом явился в Париж с *литературной миссией*, написал здесь несколько мемуаров для своего министерства и доставил несколько обзоров французской прессы. Затем он перестал писать, но тем больше делал. Он живет на широкую ногу встречается со всеми, принимает всех, занимается всем, все знает и очень многое устраивает. Мне кажется, что именно он является *действительным русским послом* в Париже...»

...Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, на-

вравший нам, что он хочет продать в России свои имения... Поляки и *многие* французы давно уже знали это, только немецкие радикалы, среди которых он считал более удобным играть роль радикала, ничего не знали... Когда Толстой прочитал статью, он рассмеялся и пошутил над тем, что он, наконец, открыт. Он теперь в Лондоне и, так как роль его тут сыграна, попытает свое счастье там...

Даже Бакунин, который *должен был знать* всю историю, как другие русские знали ее, тоже очень подозрителен... Как ни мало опасны для нас эти шпионы, им, однако, не следует ничего спускать...»

Энгельс ошибался, спутав графа Якова Толстого, о котором шла речь в газете, с добродушным краснобаем Григорием Толстым, *помещиком из России*, бывшим в Париже в то время.

Карл Маркс, желая до конца выяснить, какой же все-таки из Толстых шпион, написал к Анненкову и вскоре получил из России ответ.

«О боже! — восклицал в письме Павел Анненков.— Наш честный, простой, прямой Толстой, который думает теперь в России о том, чтобы распродать все свои имения и поселиться в Европе! Благодарю вас, мой дорогой Маркс, от его имени, *что вы усомнились, читая статью в «Allgemeine», и обратились* ко мне за разъяснениями».

V. БИТВА ИЛИ СМЕРТЬ

«И все-то я должен терпеть и к тому же молить еще бога, чтоб не было хуже». Прочитав это, Мария Львовна Огарева *поспешно отложила томик персидских стихов, переведенных* недавно на французский язык, и достала из ящика бархатный с золотыми застежками альбом, куда заносила то, что нравилось ей из прочитанного. Отрывки из Пушкина, Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, Мюссе, Ламартина, Гейне перемежались с вписанными в альбом усложненным завитушками почерком цитатами из Екклезиаста, Штрауса, Сен-Симона. Особенно часто встречались в альбоме мысли Жорж Санд. И теперь стихи древнего персидского поэта оказались по соседству с патетической фразой из любимого Марией Львовной романа: «Консуэло, o mia alma!»

В тот же вечер Мария Львовна говорила своей приятельнице Лизе Мосоловой:

— Послушай стихотворение, Лиза, ведь это же прямо обо мне писано: «И все-то я должен терпеть...» Странно, право. Семь веков тому назад в далеком Ширазе страдал поэт, как я теперь страдаю в Париже.

Мария Львовна считала себя очень несчастной. Муж, узнав о ее разгульном и расточительном образе жизни, настойчиво добивался развода, тем более что они несколько лет уже жили раздельно.

Давно разошлась Мария Львовна с художником Сократом Воробьевым, с которым встретилась в 1842 году. Нынешний любовник ее, мот и повеса, с лицом и станом Аполлона Бельведерского, был в последнее время очень груб и явно тяготился ею. Мария Львовна дурнела от бессонных ночей, шампанского и ликеров. Лицо ее преждевременно постарело, и только вечером, при затененном свете, сильно подкрашенная, она могла еще казаться такой же красивой, как некогда.

Страшный недуг подтачивал ее силы. Не была ли это чахотка? Одна мысль об этом вызывала в Марии Львовне отчаяние.

О чахотке говорили повсюду, не скрывали страха перед этой болезнью, тщетно искали, откуда она берется и чем лечится. Эта неведомая болезнь уносила во цвете лет во всех странах мира несметное число жертв.

— У меня в семье умирали от старости или уж от переедания. Несомненно, туберкулез — наследственная болезнь,— значит, я ей не подвержена,— убеждала больше себя, нежели подругу, Мария Львовна и продолжала: — Но врачи говорят, что эта болезнь появляется от горя, а я так страдаю!

Лиза Мосолова, дочь мелкопоместного помещика, приехала в Париж в качестве гувернантки с семьей богатых русских. В Петербурге она давала уроки французского языка и занималась переводами.

Черноволосая и большеглазая, с желтовато-бледной кожей, она обладала крайне переменчивым лицом и слыла то красавицей, то дурнушкой. Мария Львовна звала ее Кармен, хотя в характере Лизы не было ничего общего с искусительницей из новеллы Проспера Мериме. Лиза была неговорлива, трудолюбива и строга к себе и людям.

— Поверишь ли, Карменсита,— снова принялась болтать Мария Львовна,— я всегда была сторонницей свободной любви, еще до того, как прочла «Индиану» Жорж Санд. Я ненавидела цепи брака. Но теперь, когда Николя хочет развода, я принци-

пиально не сниму с него брачных цепей. Ведь это он толкнул меня в пропасть, он, до самозабвения преданный Герцену, всегда занятый не мной, а всякими отвлеченными идеями, разными кружками, где так скучно красивой женщине. Он не должен был оставлять меня в Париже и предоставлять случайностям. Быть красивой и богатой очень трудно. И вот моя жизнь разбита. Никогда не выходи замуж, Лизанька! Не губи себя!

Лиза, не поднимая глаз, ответила просто:

— Когда любишь, не думаешь о цепях, о рабстве. Любовь — свобода, если она настоящая. Когда сердце прочно привязано к кому-либо, сколько остается сил и времени для дела. Мне кажется, самое лучшее — это любить и быть любимой. Тогда все остальное обязательно наладится.

Мария Львовна вскочила с маленького пуфа и воскликнула с негодованием:

— Глупости! Экие бредни. Да кого любить-то? Фантазеров, как Николя или Герцен, чахоточных небожителей, каким был Станкевич, например, или распутников, как Панаев. А ведь это лучшие люди, кажется, как мне говорили когда-то. Мой муж был всегда щедр ко мне. А иной еще изморит жадностью. Изменять же будут все до одного. Я ненавижу мужчин, ненавижу!

— А не можешь без них жить и дня одного,— тихонько засмеялась Лиза.

— Я не должна была бы говорить тебе этого. Ты ведь намного моложе и к тому же девушка,— спохватилась Мария Львовна.

— Из книг мы знаем много больше,— ответила Лиза.— Да и жизнь рано учит тех, кому надо, как мне, думать о хлебе насущном. Вот, к примеру, недавний урок. Граф, с семьей которого я приехала теперь во Францию, не раз соблазнял меня пойти к нему на содержание. Он предлагал мне квартиру и немалые деньги. Когда я отвергла его домогательства и отказалась обманывать сообща с ним его жену, он мне ответил: «Зачем ей знать? Ведь то, чего мы не знаем, не существует».

— Да он философ,— сказала заинтересованная Мария Львовна, отложив пилочку для ногтей.

— Философия простая. Жена для него — будни, я же должна была быть праздником. Спустя месяц он снова стал приставать ко мне и тут выложил следующее: жену, мол, бросить был бы рад, опостылела, хоть и богата. Но оставить

ее не могу, здоровье того не позволяет. Боится граф апоплексического удара от скандала, который подымется, едва узнает обо всем семья и высший свет. Карьере тогда конец. Нет у него, видишь ли, сил. А на блуд здоровья хватает. И вообще, по его мнению, все в жизни слаще, когда тайно и преступно. Уж такое развел красноречие, так ныжился передо мной,— смеялась Лиза, затем встала, выпятила живот, надула щеки и пресмешно попыталась имитировать графа.— И представь, о моих чувствах и о своих ко мне он вовсе позабыл сказать что-либо.

— Что же ты после этого сделала? — спрашивала Мария Львовна.

— Хотела немедленно бросить место гувернантки в его доме, но потом раздумала. Зачем? Я ведь поступила, как надо было, и вера моя в хороших людей и большую любовь не ослабла.

— Но зато ты, верно, поумнела,— сказала Мария Львовна, снова принявшись за шлифовку ногтей.

— Нет, Мари, какой была, такой осталась. И так же зорко берегу сердце для любви.

— Неисправимая мечтательница ты, вот кто! Любви нет. Есть хмель, чувственность, слова, которые, как цветы, вянут и облетают со временем.

— Любовь не цветок, а могучее дерево,— упрямо возразила Лиза.— Трудно только посадить его так, чтобы не засохло, а выросло.

Мария Львовна начала раздражаться:

— Не знаю, как у простонародья, а в нашем кругу везде своя драма, своя ложь, своя мерзость. Где деньги — там и гнилье. Ну, а все же без роскоши и денег я жить не согласна.

Во время этого разговора в будуар неожиданно вошел завитый барашком молодой человек. С подчеркнутой фамильярностью поцеловал он руку хозяйки и едва склонил пышную голову перед Лизой, которая поспешно встала и, сделав общий поклон, вышла из комнаты.

«Как она может, зная Николая, тянуться к этому фату с лицом дешевой куклы! — думала Лиза, медленно идя по набережной Сены.— Бедная женщина, потерявшая себя! Но чем мне ей помочь? Чтобы любить, надо, широко раскрыв сердце, вытряхнуть из него всякий сор».

Когда она вошла в дорогой отель, где жила в большом апартаменте из пяти комнат семья графа, ей встретился

Михаил Александрович Бакунин. От него Лиза узнала, что графиня только что решила спешно выехать в Брюссель, а затем в Остенде. В этом не было ничего нового. Графиня была взбалмошной и вздорной дамой, ей быстро надоедало все, кроме интриг. Дочь и сын, которых графиня возила по Европе, предоставлены были Лизе, гувернеру из студентов и двум крепостным слугам, сопровождавшим господ в этом путешествии.

Самой тягостной обязанностью Лизы было каждый вечер докладывать графине о четырнадцатилетней Леле и ее младшем брате Леше. Графиня мало интересовалась детьми, но никогда не лишала себя возможности довести Лизу до яркой краски на лице и тщетно сдерживаемых слез.

— Да, моя милая, счастье попасть в наш дом после нищеты, в которой вы жили, и вам надо это ценить и быть благодарной. Что вы видели, бедная, в жизни? Ваш отец, конечно, никогда не был истинно благородным человеком. Поэтому он и спился. Что ни говорите, а воспитание в жизни — все! Какое мне дело до души, если человек чавкает за столом. Сейчас много развелось таких. Это не благородные люди и уж конечно не господа в настоящем смысле этого понятия. Я барыней была, есть и буду, а они все, простите, полуживотные. Подойдите к окну. Взгляните на улицу, не правда ли, это зверинец! Какие плебейские рожи, ноги, походка. Лошадей и то надо скрещивать, чтобы получить чистокровных.

Презрительно улыбаясь, графиня продолжала:

— Я убеждена, что эта страшная толпа и через десятки поколений не станет человеческой. И подумать только, до чего мы дожили: они требуют прав господства. Не понимаю, зачем медлят знать и короли. Надо объединить все высшие сословия мира и действовать. Мы же не раздумываем, когда убиваем диких зверей. А вот не можем решиться выставить пушки, чтобы очистить землю от этих двуногих с дурацкими рожами, которые вылезли из всех щелей. Я часто наблюдаю за вами, Лиза, и замечаю, что вы стоите над страшной пропастью. Объясните, что общего у вас с горничной из отеля? А вы улыбнулись ей, как равной. Я сегодня нашла у вас под подушкой Прудона. Если бы ваша покойная мать не была бы в родстве с моей теткой, я бы тотчас же избавила от вас мой дом. Но что делать, я так мягкосердечна, мне вас жаль. Без нас вы погибнете. Об этом говорит мне и граф. Нынче вечером пыталась я также воздействовать на этого слабоумного Мишеля Бакунина и уговорить его вернуться на милость государя. Несомненно, царь,

продержав его два-три года в тюрьме, простил бы. А так он обречен. Как можно жить на свете вдали от своего царя, от всех светских, благородных людей? Ему лучше бы, пожалуй, умереть. Это было бы менее бесчестно и не так позорно для всех его несчастных родственников.

Иногда подобные монологи графини длились часами, и Лиза боялась, что не выдержит и скажет то, что чувствует, и тогда окажется мгновенно без работы и денег на улице малознакомого города. Чтобы выдержать жестокое многословие графини, она принималась мысленно читать любимые стихи и повторять неправильные французские глаголы и английские идиомы.

Графиня, видя ее задумчивость и сосредоточенное лицо, начинала злиться.

— Вы, кажется, не слушаете меня, моя милая. Вы мечтаете? Запомните: чтобы мечтать, надо быть богатой, а вы нищая. Я говорю все это, надрывая свое сердце, для вашего же блага, хотя знаю, что наживаю в вас врага. Люди не выносят правды. Однако справедливость и человеколюбие для меня превыше всего в жизни, моя милая.

После этого поучения графиня с гувернанткой прошла в комнату дочери. Девочка сидела перед зеркалом, жадно читая «Евгению Гранде» Бальзака, покуда крепостная горничная расчесывала ей длинные прямые блестящие волосы. Внимание графини привлекли цветы, уныло свисавшие в большой золоченой фарфоровой вазе с видом Дома Инвалидов в Париже.

— Вы опять не подрезали стеблей, и бедные гвоздики преждевременно гибнут. И, конечно, воду не меняли сегодня,— трагически произнесла графиня. Безразличная к людям, она болезненно переживала все, что относилось к растениям.

Покуда горничная бегала за водой, графиня уселась на оттоманку и сказала дочери:

— Твоя походка приводит меня в отчаяние, ты не плывешь, как следует воздушному созданию, каким должна быть женщина, а шагаешь подобно гренадеру. Когда твоя левая нога коснулась, скажем, Тюильрийского сада, правая топчет площадь Согласия. Ужас, ужас, ужас... (Слово «ужас» графиня произнесла по-английски.) С сегодняшнего вечера я сама буду заниматься с тобой. Подайте тарелку, Лиза.

Графиня положила тарелку ребром между ног дочери выше колен и приказала ей пройтись несколько раз по комнате. Едва семеня ногами и почти не разгибая колен, Леля осторожно двинулась по ковру.

— Вот так, теперь ты делаешь шажки, которые придают тебе грациозность. Не забывай, что ты не плебейка и это должно быть видно по походке.

Более получаса мать наставляла дочь; одновременно она неутомимо поучала гувернантку и горничную, как ухаживать за цветами, и бережно обрезала стебли и обрызгала водой бессильно повисшие головки цветов в вазе.

Графиня происходила из незнатной, но зато очень богатой семьи и принесла в приданое графу, не имевшему ничего, кроме титула и перезаложенного родового поместья с десятком крепостных, большое состояние. Деньги, увенчанные графским гербом, казались ей заслуженным вознаграждением за какие-то врожденные особые качества, которые, впрочем, знала в себе лишь она одна. Низенькая, с очень злой и хищной мордочкой грызуна, она, несмотря на разнообразные льстивые улыбочки, умело подвешиваемые на лице, никак не могла казаться приятной и вызывать к себе расположение. За пятьдесят пять прожитых лет графиня если и сделала что-либо доброе, то только из тщеславия или из расчета. Один раз она пожертвовала на постройку церкви крупную сумму, но тотчас же устроила в ней богатый родовой склеп. В другой раз подарила институту благородных девиц библиотеку, за что удостоилась приглашения ко двору. Вред же, который она принесла людям, было бы невозможно измерить.

Когда ее лучшая подруга собралась выходить замуж, она, желая быть справедливой, сообщила жениху, что он выбрал для себя дочь алкоголика, к тому же девушку с трудным характером и вставной челюстью. Она поссорила своего мужа со всеми друзьями, разлучила старшую дочь с мужем. Ее надменность и лицемерие вошли в поговорку. Однако все свои действия она неизменно сопровождала длинными поучениями о пользе, о справедливости, о любви к правде. Зато графиня страстно любила цветы и заливалась слезами, когда погибал ее любимый куст азалии, увядал пышный жасмин в саду или чахли кусты особого сорта роз, за которыми в своем имении ухаживала она сама. Графиня даже вставала на рассвете только для того, чтобы обойти теплицы с цветами. Когда же она уезжала, управляющий писал ей особые донесения о том, как чувствуют себя лилии и пальмы.

Только безвыходное положение, в котором очутилась Лиза, принудило ее взять хорошо оплачиваемое место гувернантки в доме своей богатой дальней родственницы.

Спустя несколько дней после встречи Лизы с Марией Львовной Огаревой графиня со всей семьей и домочадцами отправилась в Брюссель. В каждой стране, куда бы она ни приезжала, одной из ее тщеславных целей было представляться царствующей фамилии. В Париже она удостоилась приглашения к Луи-Филиппу и даже в течение трех минут разговаривала с королевой об изменении к худшему климата Парижа и неприхотливости фиалок. В Брюсселе графиня мечтала побывать во дворце Лекен, где жил в это время король Леопольд I. Графиня стала добиваться приема через высокопоставленных знакомых. Для этого она не переставала восхищаться бельгийским королем.

— Со времени восшествия на престол этот подлинно благородный монарх отдает все силы процветанию своего государства. Посмотрите, как красивы аллеи, какие здесь липы! — восклицала графиня, когда громоздкая карета проезжала по улицам Брюсселя.

После визита к их величествам она собиралась заняться покупкой тончайших кружев и нарядных перчаток. За бельгийскими мануфактурами издавна утвердилась всемирная слава.

Пока графиня была поглощена суетными хлопотами, к великой радости ее детей, крепостных и служащих, отдыхавших от поучений и придирок, Лиза пошла в один из пансионов, чтобы отнести важное письмо от друга из Парижа Вильгельму Вольфу, о котором наслышалась много удивительного. Вильгельм Вольф, прозванный «Казематным Вольфом», недавно бежал из Германии за границу. Тюремное заключение в Силезии в течение более четырех лет подорвало его здоровье. Лиза слышала, что Вильгельм бесстрашен, умен, великодушен. Жизнь его прошла в сплошной борьбе. Сначала нищета силезской деревни, где он родился, грозила навсегда впрячь его в подневольное ярмо. Но он решил бороться за право знать как можно больше. Откуда в маленьком пастушке, в босоногом крестьянском паренька зародилась такая тяга к свету? Где взял он силы, чтобы, помогая с утра до ночи родителям в тяжелом деревенском труде, одновременно учиться грамоте? Не боясь ничего, без гроша в кармане пошел он в город.

Несомненно, Вильгельм был самородком. Воля его победила все препятствия, и он добрался до университета. Там он жадно взялся за изучение античных языков, трудов мыслителей и поэзии. История древних революций потрясла его. Он увидел окружающее иным и вознегодовал. С тем же несокрушимым

упорством, с каким с детства боролся он с судьбой за возможность учиться, решил силезский крестьянин отстаивать права народа.

Вольф не застал уже в живых Бюхнера, не существовало и созданное им тайное «Общество человеческих прав». Вильгельм отыскал бюхнеровское «Воззвание к крестьянам», а вскоре прочел и статьи Маркса и Энгельса. Всюду, где представлялась возможность, Вольф выступал, резко критикуя деспотизм, бюрократию, жестокие законы цензуры, издевательство над рабочими и крестьянами родной Силезии. Правительство объявило его опасным демагогом и заточило в крепость, где он провел многие годы, хирея физически, но нисколько не ослабевая неукротимым духом. Выйдя на свободу, он поселился в Бреславле и давал частные уроки. Одновременно он устным и печатным словом боролся за идеи свободы и революции. Против него снова создали дело по обвинению в призыве к подрыву существующего строя. Впереди снова встал призрак тюрьмы.

«Стоит ли лечь живым в могилу, обречь себя на тягостное и, главное, бесцельное умирание?» — думал Вольф и решил последовать совету друзей. С их помощью он тайно оставил родину.

Лиза, думая о жизни Вольфа, известной ей по рассказам его друзей, не могла справиться с нарастающим волнением. Она сидела в сумрачной гостиной пансиона, пока хозяйка пошла звать своего постояльца.

Громоздкая, старинная фламандская мебель, шкафы с резными дверцами, лари и стулья с узкими высокими спинками, которыми была заставлена комната, еще усиливали беспокойное ожидание.

Лиза старалась представить себе, каким должен быть человек, за плечами которого тридцать пять лет столь трудной жизни.

Когда на пороге показался наконец среднего роста, довольно широкоплечий мужчина в коричневом сюртуке с черным бантом под подбородком, она почувствовала некоторое разочарование. У Вольфа было круглое, бледное, строгое лицо. Большой, четко очерченный лоб, совсем гладкие, на пробор расчесанные волосы, крепко стиснутые губы делали его немного похожим на пастора. Близорукие глаза смотрели уверенно и спокойно. Какая-то глубокая мысль была в них.

«Как он, однако, скромен, точно ничего особенного не сделал

в жизни»,— подумала Лиза и вдруг поняла, что это та высшая простота, к которой приходят люди только после многих сложных плутаний и в жизни и в своих думах и чувствах.

«Ребенок начинает с простоты — это его сущность, затем, вырастая, теряет ее, пробиваясь и борясь за жизнь, и снова приходит к простоте, как к истине, к прибежищу. Так бывает с большими душами. Он пришел к синтезу, существеннейшему, что находят лишь немногие»,— подумала Лиза, покуда Вольф вскрывал конверт и читал принесенное письмо.

Прочитав его, Вильгельм подошел к Лизе, щуря под стеклами очков глаза, усталые от многих испытаний, от полутьмы крепостных камер, от чтения при слабом свете. Он сказал приветливо, точно давно знал эту совсем чужую девушку:

— Мне пишут, что и вы знаете, что такое беда, и что, подобно мне, вы долго учительствовали.

— Что вы, господин Вольф! Моя жизнь так легка и удачлива по сравнению с тем, что вы пережили.

— Вы, мадемуазель, вероятно, лет на пятнадцать моложе меня. Кто знает, каков будет ваш багаж, когда вы проживете с мое,— снова с удивительной добротой в лице и в голосе сказал Вольф и добавил: — Итак, вам хочется встретиться с коммунистами? И послушать их? Что ж, я помогу вам в этом.

— Я хотела бы также познакомиться с женщиной, которая по развитию и уму была бы равна вам, мужчинам.

— Ага, вы, значит, феминистка, ученица Мэри Вулстонкрафт и так называемых «синих чулков»?

— Да, я очень чту их.

— Я познакомлю вас с благороднейшей из женщин, которую нельзя не уважать, но она отнюдь не феминистка в том смысле, какой вы вкладываете в это слово.

— Я буду очень рада! Спасибо, господин Вольф. Где и когда можно будет вас встретить?

— Вы, вероятно, знаете чудо Брюсселя, построенное только в этом году? Стеклянный пассаж Сен-Гюбера? Для дам, даже если они отчаянные феминистки, это великий соблазн. Завтра в пять я буду там в кофейне вместе с друзьями.

Женни Маркс переживала тяжелые дни. Нужда в семье достигла таких размеров, что не было денег даже для уплаты Елене Демут за ее услуги. Мизерного заработка Маркса едва хватало на пропитание семьи.

— Что ж,— сказала Женни мужу, когда, уложив детей и уговорив Ленхен отдохнуть, осталась с ним наедине,— отныне я сама буду нянчить детей, вести хозяйство и готовить пищу. В этом, милый Карл, нет ничего особенно трудного. Вот только меня тревожит, не отразится ли это на моей работе по переписке твоих сочинений, а также на корреспонденции с нашими друзьями по партии. Секретарских обязанностей становится все больше с каждым днем, и отказаться от них мне было бы тягостно.

— Об этом не может быть и речи,— возразил Карл. —Тебя никто не может заменить в этой работе! Что касается домоводства...— Он хотел что-то добавить, но мрачно смолк и поник головой.

— Мы не можем безвозмездно пользоваться трудом Ленхен. Ей нужны деньги, чтобы помогать младшей сестре и родным. Нельзя принимать чрезмерные жертвы,— волновалась Женни.

— Да, ты права, это было бы чудовищно. Но что скажет сама Ленхен, согласится ли она уехать в Трир, на родину, к твоей матери, где ей будет много легче и спокойнее, чем здесь?

На другой день Карл заговорил с Еленой о том, что они не хотят пользоваться ее трудом безвозмездно, а платить не имеют возможности и поэтому, несмотря на всю их привязанность, вынуждены с ней расстаться.

Елена, казалось, сначала просто не понимала, зачем, отвернувшись в сторону, Женни повторяет вслед за мужем, что у них нет денег. Она недоуменно переводила свои ясные пытливые глаза с Женни на Карла, окутанного дымом дешевой сигары.

В открытую дверь Ленхен видела две детские головки, склонившиеся над куклой: одну черноволосую, другую каштаново-золотистую. Эти две девочки, Карл и Женни были самыми любимыми ею существами. Вся ее жизнь сосредоточилась на них. Их радости и горести стали ее горестями и радостями.

— Меня... отправить... в Трир,— прошептала она, тупо уставившись в одну точку.

И вдруг, как бы очнувшись, сорвала фартук и отчаянно закричала:

— Жалованье не можете платить?! Да разве я когда-нибудь напоминала вам о нем или сама подумала об этом? Деньгами все равно не оплатить всего, что я вам отдала. Или любовь моя к вам всем ничего не стоит? Уж не собираетесь ли

вы заплатить мне за бессонные ночи, проведенные возле Женнихен и Лаурочки? Вы, господин Маркс, душевный человек, а так оскорбляете ни в чем не повинную девушку. Вот как злом платят за добро!

— Постой, каким злом? Мы хотим сделать лучше для тебя, а нам ведь...— пыталась вмешаться Женни.

Но Ленхен совсем потеряла самообладание:

— Вы думаете, что я предана вам, потому что корыстолюбива? Конечно, всякий понимает, если он не дурак, что в мире нет такой второй умной головы, как у доктора Карла Маркса, и он будет когда-нибудь известным и богатым человеком. Но если даже мне не суждено дожить до этого, я не брошу моих крошек и Женни. Стыдитесь, господин Маркс! Я хоть и всего-навсего деревенская девушка, но не позволю вам из-за каких-то денег превращать жену в кухарку и самому делаться дворником.

Сжав кулаки, она пошла на Карла.

— Не уеду! Я думала, здесь моя семья! — И зарыдала.— Как мне теперь жить без вас всех? Да я с ума сойду от тоски! А вас тут обязательно и зеленщик и мясник обсчитывать будут. Все до нитки раздадите, промотаете. Вы ведь в этих делах доверчивее детей. А девочки наши как же без меня останутся? И тот, третий, который родится? Если меня не будет здесь, то у доктора Маркса совсем испортится печень и характер и моя дорогая Женни заболеет.

Карл растерялся, видя неподдельное отчаяние молодой девушки. Женни не могла более сдерживать умиленных слез и крепко обняла свою верную подругу. Никогда больше не поднимался вопрос о разлуке этих трех преданных друг другу людей.

Вильгельм Вольф заехал к Марксу, чтобы пригласить его и Женни отправиться осмотреть брюссельскую новинку, о которой трубили газеты. Женни попробовала было отказаться. Но Вольф, с ему одному присущей чуткой настойчивостью, уговорил ее посмотреть великолепный пассаж Сен-Гюбера. Он осторожно подчеркнул, что это единственная для него возможность хоть чем-нибудь вознаградить Женни за ее необъятное гостеприимство.

— Разрешите и мне ощутить удовольствие быть хозяином дома и принимать гостей. Я использую для этого весь стеклян-

ный пассаж — гордость белгов. И я уверен, что ни одно сокровище на его витринах не будет достаточно хорошо для вас.

— Вот так чудо! Люпус в трансе красноречия! — раздался раскатистый, удивительно мощный смех Карла.

Вольф смутился, так как был застенчив с женщинами столько же, сколько непреклонно тверд с мужчинами. Он забеспокоился, не задел ли чем-нибудь Женни. Но она уже завязывала под подбородком зеленые ленты шляпки-корзинки, украшенной бархатными анютиными глазками, чтобы отправиться в замечательный универсальный магазин.

Стеклянный трехэтажный пассаж Сен-Гюбера вмещал несколько кофеен и множество лавок, торгующих всевозможными товарами.

Жители Брюсселя были убеждены, что в Лондоне и в Париже, где недавно открылись такие же пассажи, не было ничего более величественного.

С того дня, когда на углу улицы Саблон появилась квадратная тумба на замке и с прорезом сверху, куда полагалось опускать письма, в Брюсселе ничто не вызывало такого любопытства и удивления. Но первые почтовые ящики никак не могли сравниться с огромным стеклянным ларцом, каким выглядел пассаж Сен-Гюбера. К нему ежедневно со всех сторон города и даже из провинции направлялись теперь кареты и пешеходы.

Чего только не было на прилавках: кружева, так щедро украшавшие в эти годы пышные платья женщин; модные персидские и кашемировые шали,— сложная окраска и узоры их напоминали пестрых змей, перья павлина и степные цветы; английские немнущиеся сукна, индийские воздушные шелка; ленты всех оттенков; нежные веера из страусовых перьев. От английской булавки до сложнейших дамских часов на длинных дорогих цепочках — все продавалось у Сен-Гюбера.

Дамы не могли оторваться от шарфов, безделушек и головных уборов из соломы, атласа, перьев, цветов, похожих формой то на чепчики их бабушек, то на детские капоры. Мужчины восхищались разноцветными жилетами, новыми фасонами рединготов и длинными, до земли, шинелями, тростями с набалдашниками из золота и слоновой кости, примеряли разнообразные шляпы с большими полями, высокими тульями и лоснящиеся цилиндры.

Из России прибыли сюда необычайные меха, дорогие, как драгоценные камни, и не менее соблазнительные. Шубки из

горностая, беличьи ротонды, мужские воротники и шапки из бобра и соболя привораживали посетителей. У входа в магазин, где торговали мехами, стояли чучела огромного бурого медведя и двух волков, ощерившихся и грозно раскрывших пасти.

— Вольф, люпус [1],— улыбнулся Карл.

— О, если бы все волки были столь совестливы, любвеобильны, как наш друг,— ответила Женни, взяв под руку Вильгельма.

— Но, увы, homo homini lupus est (человек человеку волк) — так было во все века.

Они вошли в кофейню, щедро украшенную цветами, флажками и фонариками. Каждому входящему выдавался на память бумажный треугольник с гербом бельгийской столицы и стихами по поводу открытия пассажа.

Вольф заказал кофе, пирожные и предложил Карлу дорогие гаванские сигары, недавно появившиеся в Европе. Друзья закурили. Девушка в национальном фламандском костюме предложила посетителям куклу в пышных, как и она, юбке и чепце. Вильгельм тотчас же купил ее для девочек Карла и Женни.

— Остановись, дружище,— сказал Карл,— завтра ты окажешься без обеда. Ты транжиришь деньги, как Крез, и забываешь изречение древних: «Не покупай мелочей сегодня, чтобы не продавать самого нужного завтра».

— Возможность тратить — единственное, чем оправдано существование денег на земле. Не беспокойся. Один из должников, которого я готовил в университет в Бреславле, отыскал меня здесь и прислал деньги. И, признаться, я был тронут, так как, исчезнув внезапно из города, я тем самым дал ему право не платить мне долга. Но я не мог откладывать побега, не правда ли?

— Н-да, ты очень щепетилен, старина,— заметил Маркс, поглядывая с особой ласковостью на открытое и мужественное лицо нового друга.

— Хитрили ли вы когда-нибудь, Вильгельм? — спросила неожиданно Женни, тоже внимательно всматриваясь в глаза Вольфа.

— Хитрость — это нечто вроде ума инстинктов. Человек же должен, по-моему, покорить в себе силу инстинктов высшим

---

[1] Вольф (по-немецки) и люпус (по-латыни) имеют одно значение — волк.

из того, что он имеет, то есть умом. Зачем хитрить, когда можно думать? — ответил просто Вильгельм.

В это время в кофейню вошла Лиза в своей неизменной синей кофточке и пышной юбке, отделанной черной тесьмой. Скромная теплая клетчатая шаль заменяла ей верхнюю одежду, капор из синего атласа хорошо оттенял желтовато-бледное миловидное лицо, как всегда строгое.

Вольф, узнав ее, поднялся навстречу и представил Женни и Карлу.

Лиза, подстрекаемая любопытством, задержала взгляд на Марксе и подумала, что это, вероятно, очень властный и одаренный человек, затем она повернулась к Женни и, очарованная ее величавой красотой, широко улыбнулась и как бы вся потянулась к ней. Женни почувствовала это внезапно вспыхнувшее доброжелательство и ответила ей искренней улыбкой.

— Я очень благодарна господину Вольфу за это знакомство,— сказала Лиза с волнением, которому сама удивилась.— Вы оказались лучше, нежели я думала, а ожидать можно было многое, так горячо он говорил вчера о вас.

— Вольф судит о своих друзьях пристрастно. Он сам очень хороший человек. Его совесть ничем не запятнана. Это подлинно кристалл, прозрачный и твердый в одно и то же время. Когда он верит людям, то отдает им себя, как и своим идеям, полностью, без остатка. Это благороднейшее сердце, которое не щадит себя ни в чем. Я знаю его недолго, но уважаю и люблю,— шепотом сказала Женни Лизе.

Разговор между двумя женщинами завязался с той легкостью, которая неизменно возникает, когда люди ощутили взаимную симпатию и доверие. Вскоре Лиза перевела беседу на тему, наиболее ее интересовавшую.

— Скажите, госпожа Маркс, как вы относитесь к вопросу о равноправии женщин? Нынешнее положение женщин меня угнетает. Жорж Санд требует равноправия в гражданских законах и в любви, но у нее уж очень сильно выражена обида на мужчин за их измены. Ей хочется мести. А это не по мне. Читая книги о кружке «синих чулков», я тоже не нашла ответа на все, что меня волнует. Очень уж путано и похоже на игру от нечего делать то, что они проповедуют и делают.

— Да,— ответила Женни.— Вы правы. Все их советы о том, что женщине надо быть серьезнее, завоевывать уважение примерным поведением, умением воспитывать детей и вести хозяйство, ничего не решают. Сейчас во всех странах открылось

много пансионов, где воспитываются будущие жены богатых людей. Мэри Вулстонкрафт была значительно дальновиднее, когда требовала, чтобы мы, женщины, изучали также механику, астрономию, естественную историю и даже философию и благодаря этому становились равными со своими мужьями в знаниях, а если потребуется, умели заработать себе и детям кусок хлеба.

— Я счастлива, что самостоятельна и помогаю своему больному отцу,— проговорила не без гордости Лиза.

Женни это понравилось.

— Хорошо, очень хорошо,— улыбнулась она поощрительно и рассказала Лизе о себе, о своей жизни.— Я хотела бы иметь как можно больше знаний и энергии,— закончила Женни,— чтобы помогать мужу и его друзьям в борьбе. А то, что вы говорите о женском равноправии, верно, но ведь оно касается главным образом богатых.

— Я вас не понимаю,— удивилась Лиза.

— Столь чтимая вами законодательница феминизма Мэри Вулстонкрафт,— сказала Женни,— права в том, что богатые женщины похожи на дикарей. Подобно дикарям, они стремятся к нарядам, удовольствиям, услаждающим плоть, а не разум, к ненужному господству, всевозможным хитростям ради всего этого. Тысячелетиями нас учили слепо повиноваться мужскому авторитету. Но мне кажется, что у бедняков это неравенство значительно меньше.

Женни говорила громко. Карл и Вильгельм Вольф давно уже прислушивались к заинтересовавшей их беседе. Кофе стыл в белых фарфоровых чашках, и взбитые сливки опали.

— Скажите, мадемуазель,— обратился Карл к Лизе,— известно ли вам, что в Англии идет теперь отчаянная борьба женщин-работниц за то, чтобы им и подросткам дали десятичасовой рабочий день вместо двенадцати-, а то и четырнадцатичасового? Как вы думаете, много ли у них нарядов, удовольствий и прочих дикарских радостей в жизни? Все эти дамы, прозванные «синими чулками», и умнейшая из них, Вулстонкрафт, были сыты. Им не хватало только гражданских прав. А жены ремесленников и работников нищенствуют и вместе с мужчинами борются за самое существование свое и своих детей. Рабочий чтит в женщине товарища по работе и по борьбе за право быть человеком, и только он, разбив все цепи, освободит полностью женщину.

Вильгельм Вольф с восхищением слушал Маркса. Лиза совсем растерялась. Эти простые мысли никогда не приходили ей в голову.

— Я подумаю обо всем этом новом,— сказала она, внутренне сопротивляясь и желая сохранить самостоятельность в своих суждениях.

Уходя, она шепнула Вольфу, проводившему ее до двери:

— Спасибо. Госпожа Маркс — необыкновенная женщина. Впервые я вижу, чтобы два таких человека, как она и ее муж, встретились и сошлись в жизни... Вот это, видно, и есть подлинное счастье.

Ожидаемая Карлом книга Прудона прибыла из Парижа. Она называлась «Система экономических противоречий», или «Философия нищеты».

Карл читал ее до поздней ночи, не отрываясь, жадно вникая в сущность высказываемых Прудоном мыслей и положений. Часто он обводил нетерпеливым карандашом целые абзацы, исписывал поля книги; случалось, он звал Женни, чтобы прочесть ей то, что казалось ему наиболее уязвимым, противоречивым и неправильным. Когда он дочитал, книга была подобна полю сражения.

— Книги — мои рабы и должны служить мне, как я хочу,— шутил нередко Карл и с глубоким убеждением в своей правоте подчеркивал на страницах фразы, отмечал ногтем то или другое слово. Как и во всем ином в жизни, Карл в чтении никогда не оставался равнодушным. Мысль его всегда была в движении и откликалась на все окружающее, на каждое печатное слово. Особенно не мог он оставаться безучастным к книге, пытавшейся утверждать политические и социальные взгляды, которые он считал ложными.

Двадцать восьмого декабря 1846 года Карл писал Павлу Васильевичу Анненкову:

«Вы уже давно получили бы мой ответ на Ваше письмо... если бы мой книгопродавец не запоздал с присылкой мне книги Прудона *«Философия нищеты»*... Я пробежал ее в два дня... Признаюсь откровенно, что нахожу книгу плохой, очень плохой...

Прудон не потому дает ложную критику политической экономии, что является обладателем смехотворной философии, но он потому дает смехотворную философию, что не понял совре-

менного общественного строя в его сцеплении, если употребить слово, которое заимствовал Прудон, как и многое другое, у Фурье».

Посвятив далее несколько страниц книге Прудона, Карл в заключение писал:

«Он, как святой, как папа, предает анафеме бедных грешников и поет славу мелкой буржуазии и жалким любовным и патриархальным иллюзиям домашнего очага. И это не случайно. Прудон — с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии».

Маркс намеревался принять вызов Прудона и вступить с ним в теоретический бой. Писать он решил на французском языке, чтобы Прудон мог в подлиннике прочитать эту работу, а главное, стремился помочь французским коммунистам в их борьбе с Прудоном. До сих пор, изучая Гегеля и Фейербаха, а также статьи Маркса и Энгельса, Прудону приходилось пользоваться в качестве переводчиков Грюном и Эвербеком. Маркс избавил его от этой необходимости. В своей книге о «Философии нищеты» Прудона он решил показать всю ограниченность его взглядов и опровергнуть доводы Прудона против коммунистической идеи.

— Пожалуй, следует назвать мою книгу «Нищета философии»,— сказал Маркс.— Что ты скажешь об этом названии, милая Женни?

— Я нахожу это название очень метким,— подумав, ответила она. Женни всегда была советчицей мужа в сложном деле подбора названий к его произведениям. На этот раз заглавие нашлось быстро.

Карл принялся за работу. Когда Женни и Фридрих выслушали первые главы книги, они сказали о ней почти одно и то же.

— Твой труд, несомненно, явится вехой в истории науки,— проговорил Энгельс.

— Я с удовольствием перепишу эту рукопись,— заметила Женни.

Карл благодарно улыбнулся Женни и попросил ее во время переписки тщательно проверять особенности французской речи. Хотя сам Карл отлично владел французским языком, ему казалось, что Женни говорит на нем в совершенстве. Точно так же он думал и о Фридрихе, имевшем врожденный дар лингвиста и овладевшем многими чужеземными языками.

«Труд г-на Прудона,— начинал свою книгу Маркс,— не

просто какой-нибудь политико-экономический трактат, не какая-нибудь обыкновенная книга, это — своего рода библия; там есть все: «тайны», «секреты, исторгнутые из недр божества», «откровения». Но так как в наше время пророков судят строже, чем обыкновенных авторов, то читателю придется безропотно пройти вместе с нами область бесплодной и туманной эрудиции «Книги бытия», чтобы потом уже подняться с г-ном Прудоном в эфирные и плодоносные сферы сверхсоциализма».

Карл выступил хорошо вооруженным знанием экономики. Он внимательно перечитал Рикардо, который во многом ему в эту пору нравился. Но Маркс, изучая законы развития капиталистического общества, видел его неизбежный взрыв, в то время как для Рикардо капитализм был незыблемым и вечным строем.

В разделах своей книги, посвященных философии, Карл доказал, что история не бесформенный хаос.

Прудон в своем путаном и высокомерном произведении предлагал для преобразования общественного строя множество рецептов, перепевая английских социалистов. Вера Прудона в вечную справедливость и гармонию в современном буржуазном обществе ни на чем не основана. В действительности же мир походил на аквариум, куда бросили одновременно щук и карасей.

Карл утверждал, что положение Прудона о возможности обмена между людьми без всяких классовых противоречий выгодно только для буржуазии. Это иллюзия ослепляющая, а тем самым вредная для рабочих.

Охваченный высоким порывом, позабыв обо всем ином, Маркс весь отдался мышлению и творчеству.

«С самого начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме рангов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому режиму антагонизма классов».

Одно открытие влекло за собой другое.

В конце концов, думал Маркс, подыскивая простые, понятные образы для своей книги, первоначально различие между носильщиком и философом было менее значительно, чем между дворняжкой и борзой. Пропасть между ними вырыта разделением труда.

Мысль эта ему понравилась, и Маркс быстро ее записал. Он поднялся из-за стола и, подойдя к книжной полке, отыскал томик Фергюссона, учителя Адама Смита. Перелистав давно знакомые страницы, Карл остановился на следующей фразе: «В такой период, когда все функции отделены друг от друга, само искусство мышления может превратиться в отдельное ремесло».

В памяти Маркса вставала вся история формирования человеческого общества. Тысячелетия назад не было на Земле богатых и бедных, господ и рабов. Человек каменного века, живущий в пещере, первобытный скотовод, построивший первый плуг, были равны между собой. Безымянные таланты изобретали и совершенствовали орудия труда. Шли века, и все менялось вместе со способом производства. Некогда не существовало различия между философом и человеком физического труда, но, думал Маркс, придет время, и черта, отделяющая труд физический от труда умственного, вновь сотрется.

Маркс далее писал, что разделение труда создало касты и принизило судьбу рабочего.

«Труд,— говорил Маркс,— организуется и разделяется различно, в зависимости от того, какими орудиями он располагает. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая...

Машина столь же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Машина — это только производительная сила. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства...»

Прудон в наивном невежестве утверждал, что металлы золото и серебро были избраны как деньги по воле государей.

Маркс опровергал это ясными выводами своей всепроникающей аналитической мысли. «Деньги — не вещь, а общественное отношение. Как и индивидуальный обмен, они находятся всегда в полном соответствии с определенным способом производства», — заявлял он.

О коммунистической, конечной цели думал Маркс, когда доказывал, что правильная пропорция между предложением и спросом, о которой писал Прудон, станет возможной только в будущем. Буржуазия, ни с чем не считаясь, хищно стремится к прибылям. Она вслепую кидается навстречу сменяющимся непрерывно процветанию, депрессии, кризисам и подъемам и снова застою.

Ненаучной, мелкой, даже жалкой была та часть книги Прудона «Философия нищеты», где он выступал как философ. Эта область знания была наиболее изучена Марксом. Если к экономической науке он вплотную подошел недавно, хоть и отдался ей с присущей ему безудержной страстью и проник в самые недра, то философии он посвятил много лет, не одну бессонную ночь и неизмеримое количество умственной энергии.

Сначала подчинившись, потом преодолевая и поднявшись над Гегелем и затем над Фейербахом, этим «материалистом снизу и идеалистом сверху», Маркс определил, куда и как надо идти в теории и практике. Прудон же беспомощно барахтался в философских учениях и повторял с обычной самоуверенностью идеалистический постулат, что мир действительности является следствием мира идей.

Рядом с Марксом, который, подобно орлу, поднимающемуся в поднебесье, мог единым взором обозреть огромные пространства, Прудон, человек, стоявший выше по своему развитию многих людей своего времени, выглядел тем не менее лишь петухом, не имевшим крыльев — той силы, которая дала бы ему возможность взлететь.

Это был неравный бой. Маркс шутя сбивал спесь с важного и самоуверенного Прудона.

Глубокая убежденность, опиравшаяся на знания, анализ, кругозор, делала Маркса скромным. Прудон вынужден был пыжиться, заранее защищая положения, которые, не имея достаточных научных обоснований, возводил на песке. Он мнил себя стоящим выше и буржуазных экономистов, которые старались замазать все дурное в современном им обществе, и социалистов, обвинявших в несправедливости и неравенстве правящую буржуазию.

Карл, безукоризненно владевший диалектическим методом, понимал, что во всяком зле в какой-то мере может быть добро и в добре — зло. В каждой странице истории Карл без труда находил положительные и отрицательные стороны.

Карл тщательно следил за всеми процессами становления и постепенного укрепления буржуазии. В рамках одних и тех же отношений одновременно производится и богатство и нищета. По тем же законам внутри буржуазного общества появляется и новый класс — пролетариат, а вслед за этим развивается неизбежная борьба между этими двумя классами. Экономисты являются в эти годы теоретиками буржуазии, коммунисты и социалисты — теоретиками пролетариата.

«...Но по мере того как движется вперед история,— отвечает Маркс Прудону,— а вместе с тем и яснее обрисовывается борьба пролетариата, для них становится излишним искать научную истину в своих собственных головах; им нужно только отдать себе отчет в том, что совершается перед их глазами, и стать сознательными выразителями этого. До тех пор, пока они ищут науку и только создают системы, до тех пор, пока они находятся лишь в начале борьбы, они видят в нищете только нищету, не замечая ее революционной, разрушительной стороны, которая и ниспровергнет старое общество. Но раз замечена эта сторона, наука, порожденная историческим движением и принимающая в нем участие с полным знанием дела, перестает быть доктринерской и делается революционной...»

Маркс писал «Нищету философии» на одном дыхании, с трудом отрываясь для сна и еды, весь охваченный нахлынувшими мыслями. Все эти дни он не мог ни о чем другом думать и часто просыпался ночью, чтобы записать ранее не дававшуюся ему формулировку.

Женни называла это творческой лихорадкой. Так оно и было на самом деле. Карл пожелтел от напряжения и долгих часов работы без свежего воздуха. И все-таки писал он необыкновенно быстро, поражая этим Энгельса. Обычно придирчивый к себе, он опять и опять переписывал и откладывал уже сделанное, и неудовлетворенная мысль его проникала все глубже и глубже в суть вопроса.

В смысле требовательности к себе Карл походил на средневекового поэта, о котором рассказывали, что он писал за столом, имевшим сто ящиков. Каждый раз, дополнив или исправив сонет, он перекладывал его дальше и считал оконченным лишь тогда, когда вынимал его из сотого ящика.

В этот период часто Маркс работал до глубокой ночи.

Давно уже спал Брюссель. На ратуше часы пробили три раза. Маркс все еще сидел за письменным столом. Женни поднялась с постели, на цыпочках вошла в кабинет мужа и села подле него. Свет лампы падал на склоненное лицо Карла, на его усталые веки. Женни вглядывалась в каждую новую морщинку на его лбу, вспоминая, когда она появилась впервые. Ей казалось, что в суете, в повседневных заботах она недостаточно уделяет ему внимания.

Нередко Карл работал до рассвета...

Еще раз определил он сущность земельной ренты и доказал, что это всего лишь та же феодальная собственность, перенесен-

ная в условия буржуазного производства. В то время как Прудон с присущей ему самоуверенностью заявлял, что фабрика впервые возникла в результате простого сговора тружеников средневековых цехов, Карл, опровергнув это, доказал, что не цеховой мастер, а предприниматель-купец стал ее хозяином.

Карл высмеял также мнение, высказанное Прудоном, что конкуренция порождена человеческим характером и потому неизбежна, и заявил, что, появившись в XVIII веке, она может навсегда исчезнуть в последующие столетия, как только изменятся исторические потребности.

Пышное здание, построенное Прудоном, вся его беспомощная теория распалась на жалкие куски под ураганной силой мысли Маркса.

В самом конце своей книги Карл коснулся исторического значения протеста рабочих против гнета, который выражался в стачках и объединениях для совместной борьбы. Прудон не придавал стачкам и союзам рабочих никакого серьезного значения, оставаясь глухим к грому все более часто повторяющихся восстаний. Признав, что борьба за работу и кусок хлеба частично разделяет тружеников, порождая конкуренцию, Маркс доказывал, что у них всегда останется общая цель — заработная плата на сколько-нибудь приемлемом уровне. Необходимость сопротивления толкает рабочих к объединению в союзы, где выковывается теоретическое и практическое оружие для грядущих боев. Когда-то давно и буржуазия начинала с объединения против гнета феодалов. Так зачинается класс, который потом, свергнув поработителей, сам становится у власти и создает новый строй.

Нарастающие противоречия между пролетариатом и буржуазией должны неизбежно привести к революции. Таков закон истории.

Всякое общественное движение не исключает политического, нет политического движения, которое не было бы общественным. Только в бесклассовом обществе этого уже не будет.

Так, подвергнув разрушительной критике идеалистический и метафизический метод Прудона, Маркс защитил и развил новое научное пролетарское мировоззрение. Он заложил основы новой политической экономии.

Закончил Маркс свое замечательное произведение словами Жорж Санд:

«Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса».

VI. ЗРЕЛОСТЬ

Георг Гервег приехал к Марксу вместе со своей многоречивой и мужеподобной супругой Эммой. Он нуждался в Карле, особенно в периоды частой хандры и расслабленности воли, ждал его душевной поддержки.

Гервег не мог надолго расставаться даже со своей заурядной женой именно потому, что у нее никогда не пробуждалось никаких тяготящих душу мыслей и разъедающих сомнений. Георг то считал себя гениальным, то совсем бездарным. Нередко он нахрадочно носился с планами действенной жизни, которые требовали, однако, большой физической и моральной силы, а потом проводил лежа в постели целые дни, утверждая, что болен и жаждет смерти.

Послушный, много читавший и знавший, он разделял взгляды Маркса и считал себя коммунистом, но часто колебался и впадал в уныние.

Как бы трудно ни жилось Марксу, даже во время болезней, он никогда не терял ни внутренней силы, ни огромной целеустремленности. Слабохарактерный Гервег всегда искал сильных духом людей, чтобы опереться на них и выпрямиться. Он был подобен плющу, у которого нет устойчивого ствола.

Маркс был бесконечно щедр к единомышленникам и отдавал им большими пригоршнями сокровища своего ума и памяти. Гейне, Гервег, Фрейлиграт, Веерт и многие другие, общаясь с ним, духовно обогащались. Их кругозор расширялся: они начинали видеть дальше, чувствовать глубже, знать больше. В этом была великая сила духа Карла. Ни низменной зависти, ни мелкого тщеславия, ни злобной скупости никогда не знал *Карл Маркс*.

Гервег приехал в Брюссель мрачный и подавленный. Карл сотчас же заметил это.

— Силен? — спросил он друга, хлопнув его по плечу, как бы желая встряхнуть.— Опять переневаешь свои унылые сонеты, «И славлю смерть, друзья» — так ты писал, кажется?

— Да,— ответил Гервег и продолжал начатое в шутку Карлом стихотворение:

Как капли от пучины, с неохотой
Оторвались мы от первичных сил.
Смерть нас уносит в океан, что был
Нам родиной до нашего отлета...

— Ты любишь жизнь и боишься смерти,— прервал поэта Маркс, но тот декламировал дальше:

Вам гибель горькой кажется пилюлей,
Но ведь, не требуй смерти ход вещей,
Мы сами б к ней с своих путей свернули.

— Тебе часто удавалось, старина, прибегать к поэзии как к оружию, а вот это нытье и воспевание смерти можно уподобить дезертирству.

Гервег разочарованно слушал Маркса и качал головой.

— Я не вижу ни одного трона, который бы покачнулся,— сказал он равнодушно.

— Приложи ухо к земле, Георг. Троны падут не сами по себе, а когда разверзнется под ними земля.

За завтраком Эмма, сообщив присутствующим о том, что Георг лишился аппетита, страдает бессонницей, охладел к графине д'Агу и стал верным мужем, принялась выкладывать новости, которые с неутомимостью пчелы собирала в Париже.

— Гейне, бедняжка, похож на скелет. Представьте, ему запретили бриться, и у него выросла седая бородка. Врачи говорят, что он умирает, но это может тянуться еще несколько лет. Когда мы были у него, я едва скрывала слезы. Он стал какой-то умиленный, тихий, но все еще острит и не сдается. Мы застали у него госпожу Жорж Санд. Она, представьте, еще больше потолстела и почернела. Это одна из немногих женщин, которую Гейне, несомненно, уважает. Именно потому, я думаю, они не были никогда в любовной связи, хотя об этом много болтали в Париже. Ах, как мне жаль Фридерика Шопена. Жорж Санд, кажется, его уже оставила. Он не проживет долго. Не знаю, что он в ней нашел. У гениальных женщин всегда тяжелый характер и плохие дети.

— Но сын Жорж Санд, Морис, скромен, умен, хорошо учится,— вступилась Женни.

— Зато дочь Соланж — красивая змейка. Это она поссорила Шопена с писательницей...

— Видал ли ты Бернайса? — спросил Карл Гервега. Его раздражала пустая болтовня Эммы.

— Конечно. Он большей частью живет в Сарселе, в этом ужасном местечке под Парижем, где девять месяцев сплошная грязь, а три месяца такая пыль, что мой Георг, наверно, заболел бы там ангиной,— не дав ответить мужу, затараторила госпожа Гервег.

Бернайс все так же подвижен и деловит, как прежде, и так же неустойчив, восторжен и доверчив,— сказал Гервег,— хотя он и твердит иногда, что никому не верит без тщательной проверки.

Снова Эмма, не дав договорить мужу, заглушила его мягкий тенор своим резким контральто:

Вы знаете, Бернайс разъезжает в прекрасном модном шарабане, запряженном гнедой лошадью. Это, конечно, выезд Борнштейна. Хотела бы я знать, где этот гамбургский пройдоха берет деньги. Неужели все еще у Мейербера? В Париже я столько раз встречала красавца Энгельса. Как он мил! — восклицала неутомимая супруга поэта, и ее маленькие глазки светили.

Фридрих чем-то похож на эллина. О таких, как Энгельс, пел Гомер, - сказал Гервег, поглаживая свою холеную темную бородку, которой гордился, как и всей своей женственной, томной внешностью.

Завтрак был наконец окончен, и Маркс увел Гервега к себе. Там они смогли поговорить о том, что было важно для обоих.

Адальберт фон Борнштедт переселился в Брюссель. Он говорил, что не может подолгу оставаться на одном месте. Менее всего хотелось ему жить на родине, в Пруссии. Отношения его с прусской полицией после неудачного редактирования «Форпоста» испортились. Борнштедт все же непрестанно стремился иметь в своем распоряжении газету. Этот с виду совершенно отсутствующий ко всему светский человек любил власть, которую дает живое печатное слово. Ему нравилась сутолока редакции, запах типографской краски, непрерывный поток новостей, проносящийся через газету. Флегматичный внешне, он жил тщательно скрываемой многосторонней и полной страсти жизнью. Прусское и австрийское правительства высоко ценили его незаурядные способности. Как всякий одаренный шпион, он был также и актером.

Адальберт обладал даром перевоплощения. Взяв на себя какую либо роль, он начинал верить сам, что это и есть его подлинная сущность.

Борнштедт был поглощен идеей создания нового печатного органа. Была ли это взятая на себя роль или искреннее стремление?

Наконец ему удалось осуществить свое желание, и он начал

выпускать два раза в неделю «Немецкую Брюссельскую газету». То, что Борнштедт резко изменил свои взгляды по сравнению с теми, которые он отстаивал в «Форвертсе» до краха газеты, никого не удивляло. Адальберт не пятился назад, не отступал, как филистеры, вроде Руге, и Маркс охотно протянул руку тому, кто объявлял себя его единомышленником.

Борнштедт же по самому роду двойственной жизни хорошо разбирался в людях и был тонким психологом. Это было главным правилом игры, которая стала его жизнью. Знать людей не всегда для того, чтобы точно обрисовать их в секретных донесениях, но чтобы укрыться, не быть разоблаченным,— чрезвычайно важное свойство для тех, чьим вдохновителем становится Иуда. И это искусство маскировки в совершенстве постиг Борнштедт.

Он сумел обмануть даже Меттерниха и прусских профессионалов тайной полиции. Без особого труда ему почти всегда удавалось вводить в заблуждение всех, с кем он встречался, и уж особенно тех, на кого он старался произвести наилучшее впечатление.

Не люди, а одни секретные бумаги, которые он писал и отправлял в Австрию и Пруссию, могли раскрыть его истинное лицо.

У палача тоже есть подобие сердца, которое бьется трепетно, когда он ласкает своих детей. У предателя могут быть свои симпатии и понимание качества окружающих его людей. Издатель «Немецкой Брюссельской газеты» понял, каким неоценимым кладом знаний и мыслей являются два молодых друга — Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Он не мог не оценить их политический темперамент, необычайный интеллект. Среди многих других Адальберт выделил Маркса и сделал все возможное, чтобы понравиться ему и привлечь к работе в газете. Перо такого человека, как Карл Маркс, подобно мощному крылу, высоко поднимало любое издание. И Борнштедт, ближе узнав Маркса, не только стал гордиться своим сотрудником, но и предоставил в его распоряжение всю газету.

Еще со времен парижского «Форвертса» о Борнштедте говорили, что он провокатор. Но никаких фактических подтверждений не было. Многих политических деятелей противники пытались очернить такими наветами, поэтому Маркс и Энгельс не придали слухам о Борнштедте никакого значения. Они считали его честным человеком, хотя и непостоянным в своих полити-

ждениях. А поскольку газета была им необходима,
согласились принять в ней участие.
педт сначала не понял, какой силищей является
ческое учение и какой высокой принципиальностью
Марке и его единомышленники. Позднее он с ужасом
ких мощных вызвал духов. Конфликт неизбежно
и вскоре Борнштедт затеял интриги против комму-

же Маркс получил хорошую трибуну, откуда он и
мышленники начали борьбу за свои взгляды. С по-
ости они могли вмешиваться и направлять общест-
вание не только немецких изгнанников, но также социа-
и коммунистов иных национальностей в Бельгии и
странах. Это дало им преимущество в спорах с «истин-
социалистами» и буржуазными демократами, такими, как
ицей.

Для своей небольшой по объему книги против Прудона Карл
ко нашел двух издателей, одного — в Брюсселе, другого —
в Париже, но расходы по печатанию должен был оплатить сам.
Он очень нуждался в заработке.

Карл не верил, что Борнштедт может быть предателем.
Подозрения против него, которые когда-то зародились в немец
кой колонии в Париже, казались Марксу неосновательными
потому, что с первых дней своего возникновения «Не
мецкая газета», смело выступавшая против
самовластия в Пруссии пропивола, подверглась жестоким
Прусское посольство в Брюсселе требовало от бель-
го правительства закрытия газеты. Было ли это возму-
искренним или нарочитым, чтобы отвести от фон Борн-
штедта вполне подозрения? Существование газеты не раз
висело на волоске. Все это, казалось, подтверждало честные на-
мерения фон Борнштедта — бороться с прусским деспотизмом.

Маркс решил не упускать возможности активной общест-
ной деятельности. Он с увлечением начал сотрудничать в «Не-
мецкой Брюссельской газете». Многие статьи он писал вместе
с Энгельсом, воюя с другими немецкими газетами, особенно с
«Рейнским обозревателем», издававшимся в Кёльне. Этот город
был дорог обоим. Карл провел в нем несколько лет и оставил
там немало друзей, с которыми не терял живой связи и поныне.
Он любил вспоминать кабачок возле сумрачного собора, где
спорил до рассвета с Рутенбергом и Гессом. Да, Кёльн — весе-
лый город, там живет крепкий народ, любящий песни и шутки.

В свое время по дороге в редакцию «Рейнской газеты» Маркс любил иногда останавливаться возле старого дома на Штернгассе, где родился Петер Пауль Рубенс и умерла Мария Медичи.

В Кёльне теперь жил асессор консистории из Магдебурга, по имени Герман Вагенер, молодой человек с кладко прилизанными волосами и мыслями, усерднейший автор подстрекательских и витиеватых статей в «Рейнском обозревателе». Эта газета была реакционной и пыталась проповедовать феодальный, христианский социализм. Прусский мракобес Вагенер писал в «Рейнском обозревателе», что буржуазия доказала свое безразличие к нуждам простого народа, считая его не более чем пушечным мясом, годным для борьбы заводчиков против законной власти. Иное дело юнкерство, дворянство. Вагенер пытался сделать рабочих оплотом прусского реакционного правительства.

А Маркс и Энгельс утверждали, что пролетариат не заблуждается ни относительно намерений буржуазии, ни юнкерского прусского правительства. Власть тех или других для рабочих — угнетение.

Не пощадили Карл и Фридрих и рассуждения Вагенера о преимуществах христианства перед коммунизмом.

«Социальные принципы христианства,— писали они,— располагали сроком в 1800 лет для своего развития и ни в каком дальнейшем развитии со стороны прусских консисторских советников не нуждаются.

...Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов — господствующего и угнетенного, и для последнего у них находится лишь благочестивое пожелание, дабы первый ему благодетельствовал.

...Социальные принципы христианства превозносят трусость, презрение к самому себе, самоунижение, смирение, покорность, словом — все качества черни, но для пролетариата, который не желает, чтобы с ним обращались, как с чернью, для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости — важнее хлеба».

Помимо нескольких статей против «Рейнского обозревателя» Энгельс написал ряд фельетонов о «немецком социализме в стихах и прозе», имея в виду снова «истинных социалистов».

Фридриха особенно возмущали слащавые и унижающие пролетариат строки поэта из группы «истинных социалистов». Тщедушный, кривоногий, жалкий бедняк, готовый на всякие унижения,— таков был, по мнению поэта Бека, рабочий. И под-

линным гневом звучат слова Энгельса в его отзыве о поэзии Карла Бека: «Бек воспевает трусливое мещанское убожество, «бедняка»... существо с ничтожными, благочестивыми и противоречивыми желаниями... но не гордого, грозного и революционного пролетария».

Дни в Брюсселе казались Женни слишком короткими,— так много у нее было в то время дел. Переписка рукописей Карла, непрерывно возраставшая корреспонденция с единомышленниками в разных странах, деятельное участие в «Немецком рабочем обществе», членом которого она была, требовали много времени. Женни достала книги и организовывала для рабочих библиотеки. Она помогала в устройстве общеобразовательных занятий для немецких изгнанников. И в то же время ей приходилось работать по подбору необходимых Карлу материалов, выписывать статистические таблицы по разным вопросам экономики. На столе Женни лежали вперемежку книги по философии, истории, стопки газет на нескольких языках и всегда много беллетристических книг, которые она читала вслух Карлу. Она иногда выписывала цитаты, которые затем появлялись в работах Карла. Шамиссо и Жорж Санд, Гейне и Бальзак, Гёте и Шекспир не исчезали с рабочего столика Женни.

Обычно поздно вечером Карл принимался за чтение многочисленных газет на разных языках. Заметив что-либо особо интересное, он звал Женни и читал ей вслух.

— Ого, сладкоголосая арфа изволит поведать читателям свои «принципы жизни»,— сказал как-то Карл, просматривая газету «Bien Public», издаваемую поэтом Ламартином.— Все последнее время он явно не довольствуется ролью одного из пламенных проповедников католицизма в поэзии.

— Вот как? Что вещает теперь этот политический кондитер, поставляющий, впрочем, весьма ядовитые, хоть и засахаренные, поэмы вроде «Жослена»? — спросила Женни.

Она достала корзинку с разноцветными мотками шерсти, села подле мужа и принялась вязать.

— Несомненно, Ламартин рьяно протискивается к министерскому креслу. Успех у дам и промышленных заправил не может заменить ему политической власти.

Карл отложил сигару и принялся читать.

«Мой взгляд на коммунизм может быть кратко выражен... следующим образом: если бы бог вверил мне общество дикарей

для того, чтобы их цивилизовать и сделать культурными людьми, то первое, с чем бы я их познакомил, был бы институт собственности...»

«Это закон природы и условие жизни,— писал далее Ламартин.—...Человек посредством дыхания присваивает себе воздух, посредством передвижения — пространство, посредством обработки — землю, и он присваивает себе даже время, увековечивая себя потомством; собственность есть воплощение принципа жизни во вселенной; коммунизм был бы смертью для труда и для всего человечества».

Письмо Ламартина против коммунизма настолько заинтересовало Маркса, что он написал на него ответ.

Женни много приходилось возиться с детьми, делить с Ленхен заботы о хозяйстве. Это было нелегким делом: денег не хватало на самое необходимое для возросшей семьи.

В течение дня гостеприимную квартиру обязательно посещал кто-либо из проживающих в Брюсселе или приезжих единомышленников Маркса. И тогда Женни должна была принимать, а иногда и выслушивать гостя, так как Карл часто бывал занят срочной статьей, ответом на важное письмо или подготовкой к выступлению.

Нередко в этот год он болел из-за крайнего умственного переутомления. Тогда Женни неотступно была возле него. Она ждала третьего ребенка, но старалась мужественно переносить недомогание и работала без устали. Превосходно владея собой, Женни всегда оставалась ровной, приветливой и веселой. В доме было как-то особенно уютно и царила атмосфера доброжелательства и спокойствия, столь необходимая Карлу, который уставал подчас так, что становился раздражительным.

Женни хотелось, чтобы он отдохнул на берегу моря, в соседнем Остенде, куда обычно выезжали жители Брюсселя. Она перечитывала давнишнее письмо Энгельса. В нем Фридрих сообщал о расходах, связанных с пребыванием в Остенде, и приводил следующий перечень:

«квартира	125—150 франков
завтрак	45— 45 »
обед	150—175 »
(если ты будешь есть на берегу моря; здесь много жрут)	
ужин, 2—3 бифштекса	60— 90 »

кофе после обеда, крайне необходимый на берегу		
две чашки	18—18	»
ванны 1,30—1,50 фр.	ок. 40	»
стирка белья стоит очень дорого, минимум	20—30	»
	418—548 фр.	»

Большая получалась сумма.

Карл решительно отказался ехать к морю, хотя чувствовал себя столь плохо, что пришлось пустить ему кровь. Как всегда, когда Карл заболевал, Ленхен отправилась за доктором Брейером, хозяином домика, где они жили. Он явился немедленно и вытащил из кармана фуляровый платок, в котором лежал скальпель.

— Вот и снова,— сказал Брейер,— усиленная работа мозга привела к порче крови. Это, знаете ли, неизбежно.

Ученость лекаря не мешала ему совершать иной раз весьма тяжелые для пациента оплошности. Увлекшись рассуждениями о пользе кровопускания, он по ошибке вскрыл у Карла вену не на левой руке, как следовало, а на правой. Чтобы не тревожить рану, крайне сконфуженный эскулап запретил Карлу писать. Рана начала гноиться, и, к ужасу Женни, появился озноб. В течение нескольких дней положение Маркса внушало серьезные опасения.

В это время в Брюссель приехал из солнечного Нимвегена двоюродный брат Карла, жизнерадостный, розовощекий крепыш Лион Филипс. В семье Карла все любили этого молодого голландца. Для него же после монотонного быта родного города деятельная, насыщенная мыслями и спорами трудная жизнь Маркса была откровением, бурей, которая очищала воздух и обновляла душу.

Из-за мучительно ноющей руки Карл в течение нескольких дней был лишен возможности писать. Он стремился побольше читать, но Филипсу иногда удавалось все-таки уговорить его отдохнуть. Если дочери не гуляли или не спали, Карл возился с ними на ковре, изображая лошадку. Лион Филипс подсаживал трехлетнюю смуглянку Женни на спину Карла, и она принималась, заливаясь смехом, подталкивать его ножонками, требуя, чтобы он бежал быстрее. Малютка Лаура хотела тоже, чтобы ее развлекали. Она что-то лепетала и старалась догнать веселую кавалькаду. Лион Филипс подхватывал ее на руки и подбрасывал кверху. В детской поднимался тогда веселый шум.

По всему дому разносились мужские голоса. Женни тоже не могла оставаться равнодушной и присоединялась к веселящимся.

Из кухни прибегала Ленхен, чтобы посмотреть на взрослых, шаливших, как дети. В эти счастливые минуты совсем забывались все житейские трудности.

Когда Маркс возвращался в свою рабочую комнату, Филипс, прежде чем Карл возьмет какую-нибудь книгу и углубится в чтение, завязывал разговор. Все в мире казалось спокойному уроженцу Нимвегена крайне запутанным и сложным. Он не успевал освоить одну систему взглядов, как натыкался на что-нибудь новое.

— Вокруг такая неразбериха,— говорил он и, не скрывая огорчения, доставал большой красный, вышитый бисером кисет, чтобы успокоить нервы табаком.— Каким образом Карл и Фридрих могут во всем происходящем разобраться? — спрашивал Филипс.— Сколько в мире философских теорий, сколько экономических доктрин, и все они твердят разное. Даже тех, кто называет себя социалистами и коммунистами, развелось невесть сколько.— Филипс загибал пальцы, подсчитывая:— Сенсимонисты, фурьеристы, последователи «папаши Кабе», Дезами и католического священника Ламенне, «истинные социалисты», христианско-феодальные социалисты...— У пытливого голландца начиналось головокружение, и он в отчаянии опускал руки.— Не меньше появилось и пророков, орущих на весь мир, что только они обладают подлинной истиной. Одни братья Бауэры вносят столько сумятицы,— сокрушался Филипс.

Ему казалось, что вокруг него чудовищный, первозданный мир. «Где же кончается,— думал он,— библейский хаос и появляется свет?»

— Видно, вся сумятица в философии порождена немцами! О, какое счастье, что я голландец!

Вокруг Маркса в Брюсселе собралось немало коммунистов. К постоянному сотрудничеству в «Немецкой Брюссельской газете» Карл привлек Мозеса Гесса и Вильгельма Вольфа. Приехал из Англии и сблизился тотчас же с Карлом двадцатипятилетний Георг Веерт, друг Энгельса.

В отрочестве Веерт, родившийся в небогатой семье пастора, был отдан учеником к купцу. Торговый дом, куда поступил он,

находился неподалеку от Эльберфельда — родного города Энгельса. Судьба свела Фридриха и Георга в Англии, где молодой Веерт служил комиссионером немецкой торговой фирмы в Бредфорде, в то время как Энгельс находился в соседнем Манчестере. Они встречались по воскресеньям и не могли наговориться. Тогда же они оба познакомились с чартистами, у которых многому научились. Георг Веерт, как и Фридрих Энгельс, стал в Англии социалистом.

В юности, посещая вольнослушателем Боннский университет, Георг познакомился с литераторами и поэтами. Сначала робко, затем все увереннее принялся он за перо и нашел себя. Много переживший и передумавший, он не поддался ничьим влияниям; без труда отбросив приторные, лицемерные поэтические упражнения «истинных социалистов» и напыщенные, путаные литературные искания «Молодой Германии», Веерт легко, уверенно, самобытно писал стихами и прозой. Он был рожден для литературного творчества, имел свой особенный голос.

Поэзия и художественная проза требуют врожденного дарования; тщетно пытаться петь, если родился безголосым. Истинный писатель и поэт природой создан для искусства, и никакая школа, если нет таланта, не заменит ему его. И голос, как и у певца, у литератора бывает разной силы, тембра и качества. Умение владеть своим инструментом, развивать звучание, знать свои возможности приходит с ростом и самосознанием артиста, будь он певец, художник или писатель.

Веерт много работал, совершенствуя врожденное дарование. У народа он учился языку и заглянул в самую колыбель творчества — в эпос.

Велико было воздействие на него друга юных лет — Энгельса. Книга Фридриха «Положение рабочего класса в Англии», которую Веерт изучал по рукописи, еще до выхода ее в свет, произвела на него неизгладимое впечатление. В своем очерке «Пролетарии в Англии» Веерт писал, что в настоящее время один из самых выдающихся философских умов Германии — Энгельс — взялся за перо, чтобы написать обширный труд о жизни английских рабочих. Он верил, что это будет труд неоценимого значения.

Веерт неустанно работал над своим самообразованием и в Бредфорде, изучал философию и историю. Тогда же Георг сблизился с вождями чартистов — Гарни и Джонсом — и принялся за чтение экономической литературы. Знакомство в Брюсселе с

Марксом углубило его знания, расширило кругозор. Он стал борцом не только в литературе, но и в повседневной жизни.

Болезненный, с часто вспыхивающим на щеках румянцем, с острым удлиненным лицом, с умными глазами, жадно всматривающимися во все окружающее, правдивый и верный своему слову, впечатлительный, подверженный смене настроений и в то же время смелый и сильный духом, он горел и не щадил себя в любом деле. Будучи полной противоположностью спокойному Вильгельму Вольфу, Георг был так же бескорыстен, честен и чуток, как и он.

Веерт, подобно многим поэтам, прятал под внешней самоуверенностью постоянное сомнение в своем даровании. Чуткая и наблюдательная Женни поняла его и умела ободрить. Как и Гейне, молодой, талантливый Веерт доверял ей и побаивался ее суждений о своем творчестве. Тем более воспрянул он духом, когда однажды она сказала ему:

— Георг, вы написали превосходные стихи. Прочтите мне еще раз. Это подлинная, умная поэзия.

И Веерт снова декламировал:

В рассветный час под шум осин
И жаворонка пение
У матери родился сын
На горе и мучение.
В шестнадцать лет — таков удел! —
Выносливый и сильный,
Он фартук кожаный надел
И стал к печи плавильной.
Он жаркий уголь шуровал
Тяжелой кочергою,
И тек расплавленный металл
Медлительной рекою.
Он пушки лил. На всех морях
Те пушки громыхали,
Несли французам смерть и страх,
Китай опустошали,
Творили в Индии не раз
Суровую расправу.
И стон стоял, и кровь лилась
Британии во славу.
Трудился он в жаре, в пыли.
А старость приближалась.
И с горькой старостью пришли
Болезни и усталость.
К нему нет жалости теперь.
Он, нищим, одиноким,
Был грубо выброшен за дверь
Хозяином жестоким.

Он шел, качалось все кругом
В глазах, слезой омытых,
А в сердце — ненависть, как гром
Всех пушек, им отлитых.
И он сказал: «Настанет час
Грозы и битв суровых,
Когда ударим против вас
Из десятидюймовых!»

К Марксу потянулся и однофамилец Вильгельма Вольфа, молодой Фердинанд Вольф, по прозвищу «Красный», весьма способный и деятельный журналист.

Кроме этих людей, прошедших суровые испытания и отлично выдержавших их, у Карла в редакции и на дому постоянно бывали рабочие: наборщики «Немецкой Брюссельской газеты» Карл Валлау и Стефан Борн, портные, каретники, столяры, кузнецы. Не только немцы, но и участники революции 1830 года — бельгийцы часто приходили и засиживались в уютной квартире Карла и Женни. Сблизились с Марксом бельгийцы — революционер Жиго и архивариус городской библиотеки Тодеско. Маркс, Энгельс и Жиго возглавили первый Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет.

Через коммунистические корреспондентские комитеты и друзей в эту пору непрерывно расширялись и завязывались новые связи с социалистами разных стран. По существу, это были первые партийные ячейки.

В Германии находилось немало старых и новых единомышленников Маркса. Они сообщали обо всем, что печаталось в газетах и журналах, о событиях общественной и политической жизни и передавали полученные из Брюсселя ответы рабочим кружкам и сочувствующим интеллигентам разных городов.

Все больше возникало рабочих обществ среди ремесленников и пролетариев. Часто они собирались под видом певческих, музыкальных и общеобразовательных кружков. Но после хорового пения народных и патриотических песен собравшиеся принимались за обсуждение вопросов, гораздо более их волнующих, чем популярная песня «Заря, о заря» или романсы Шуберта и Шумана.

Подробно писал Карлу обо всем злободневном, о спорах и борьбе за единство среди коммунистов Кёльна его старый друг и соратник по битвам в «Рейнской газете» Георг Юнг.

Молодые начинающие врачи Роланд Даниельс и Карл Людвиг д'Эстер, жившие в Кёльне, разделяли взгляды Маркса. Оба они постоянно сообщали все самое важное в Брюссель-

ский коммунистический корреспондентский комитет, но открыто коммунистической группы не создавали. Чрезвычайно осторожный, физически хрупкий, но волевой Даниэльс сохранял полную конспирацию. Д'Эстера в Кёльне считали демократом, и он также не разглашал своих коммунистических воззрений. Маркс знал это и одобрял эту тактику, так как считал необходимым не отталкивать мелкую городскую буржуазию, к которой д'Эстер имел доступ.

В конце года, узнав о большом разброде среди социалистов в Париже, Маркс и его товарищи по комитету пришли к заключению, что в столицу Франции нужно поехать Энгельсу. И через несколько дней Фридрих уехал в Париж. Для него начались горячие дни. Он выступал с лекциями на различные темы перед немецкими тружениками в общинах «Союза справедливых», горячо отстаивая коммунистические идеи против извращений вейтлингианцев и «истинных социалистов» — Карла Грюна и «папаши Эйзермана».

Особенно приверженцы к Вейтлингу были портные и их подмастерья. Они же отличались необычайной говорливостью и готовностью спорить до рассвета. Как-то Энгельсу пришлось присутствовать на их обсуждении будущего коммунистического общества.

Старик портной с седыми волосами бурого оттенка и длинным морщинистым лицом говорил:

— Хотел бы я знать, как же будут при коммунизме устроены столовые. Вот, скажем, прихожу я обедать. Еды навалено всяческой сколько хочешь. Бери и жри. А что же насчет посуды? Ведь официантов не будет. И ложки, ножи, вилки, все серебряные, лежат себе, бери кто хочет. Человек от рождения вор. Значит, он ложку эту и нож, поевши, в карман, да и домой. Так, что ли?

— Правильно,— согласились присутствующие.

Кто-то крикнул:

— Нужно страх божий иметь, иначе чем человека напугаешь.

— Вот я и думаю — вилки и ложки при коммунизме,— продолжал старый портной,— надо прикреплять к столам цепочками, а то иначе государству только и дела будет, что производить столовую посуду.

Столяры-краснодеревцы, ювелиры и кожевники отличались от портных значительно большей широтой понятий и охотно критиковали вейтлингианцев.

Обычно, возвращаясь домой после проведенного в кругу единомышленников или в споре с противниками вечера, Энгельс принимался за письма — сообщения Брюссельскому коммунистическому корреспондентскому комитету. На столе, где он писал, господствовал всегда образцовый порядок: стопками лежали книги и бумаги, которые следовало прочесть, и материалы для начатой статьи. Усаживаясь за письма в Брюссель, Фридрих радовался тому, что он как бы мысленно преодолевает расстояние и приближается к самым близким ему людям. Он все больше и больше привязывался к Марксу. У него вошло в привычку в частных письмах делиться с ним мыслями, планами и всем, что происходило в его личной жизни.

Но в сообщениях Брюссельскому коммунистическому корреспондентскому комитету Энгельс писал только то, что происходило в рабочем и коммунистическом движении Парижа.

«...Я пришел в ярость по поводу вечного повторения моими противниками одних и тех же аргументов и прямо напал на этих филистеров, что вызвало большое возмущение среди грюнианцев, но чем вырвал у благородного Эйзермана *открытые возражения* против коммунизма...— писал он однажды в Брюссель.—...Теперь я ухватился за данный мне Эйзерманом предлог,— нападки на коммунизм,— тем более, что Грюн, не переставая, вел интриги, бегал по мастерским, по воскресеньям приглашал публику к себе и т. д. и т. д., и в воскресенье после ...заседания *сам* совершил безграничную глупость и в присутствии восьми или десяти филистеров стал нападать на коммунизм. Я заявил тогда, что раньше, чем я соглашусь на дальнейшую дискуссию, следует проголосовать, собираемся ли мы здесь как коммунисты или нет... Впрочем, они *хотели бы прежде всего знать*, что, собственно, такое коммунизм... Я дал им в высшей степени простое определение...

...Я... определил намерения коммунистов так:

1. отстаивание интересов пролетариев в противоположность интересам буржуа;

2. достижение этого посредством отмены частной собственности и замены ее общностью имуществ;

3. признание, что для проведения этих целей нет никакого другого средства, кроме насильственной, демократической революции. Дискуссию об этом мы вели два вечера... Когда дело дошло до голосования, собрание было объявлено коммунистическим в смысле вышеупомянутого определения — 13-ю голосами против 2, оставшихся верными грюнианцам, из которых

один потом заявил, что он имеет величайшее желание перейти к коммунизму».

Перечисляя тех, среди которых ему приходится выступать в Париже, Энгельс упоминает ремесленников:

«Если бы можно было собираться открыто, у нас скоро было бы больше ста человек одних столяров. Из портных я знаю только нескольких, которые также приходят на собрания столяров...»

Он называет кузнецов и кожевников и сообщает:

«С ремесленниками здесь я думаю столковаться... Конкуренции между ними нет никакой. Плата стоит всегда на одном и том же уровне...»

Однако собираться открыто в Париже, особенно в эту напряженную предреволюционную пору, было невозможно. Никогда еще не кишели окраины таким количеством шпионов. Полиция преследовала всякие собрания, и немецкие изгнанники сходились по десять — двадцать человек под видом пирующих в кабачках и трактирах, стараясь не вызвать ничьих подозрений.

Помимо ремесленников и рабочих Энгельс встречался в Париже с Луи Бланом, Фердинандом Флоконом, редактором газеты «Реформа».

Луи Блан необычайно щеголеват и крайне тщеславен, Флокон росл, грузен, небрежен в одежде и безразличен к внешним знакам славы. Луи Блан, который тяготился своим маленьким ростом, часто повторял слова Наполеона: «Быть длиннее — не значит быть выше». Ему нравился Энгельс. Когда они как-то встретились на улице Парижа, он с интересом выслушал молодого, не по летам зрелого в суждениях, высокого и стройного немца.

Обычно легко обижающийся, Луи Блан не выразил ни малейшего недовольства, когда Фридрих Энгельс стал излагать ему свои критические замечания по поводу написанной Бланом «Истории революции».

— У вас верный нюх, и вы на отличной дороге, но вас опутывают чары,— сказал в заключение, смеясь, Энгельс.

Луи Блан, недоумевая, спросил своим пискливо-высоким голоском:

— Чары? Но какие?

— Самые опасные — ваша идеология. Пока вы не сбросите их, вы будете бродить, не находя выхода.

Луи Блан не решился оскорбиться и принял слова Энгельса как шутку.

Брюссельские коммунисты были тесно связаны с революционной фракцией чартистов. Редактором чартистской газеты «Северная звезда» в Лондоне был радикальный демократ Джордж Юлиан Гарни, называвший себя Маратом. Он, а также Эрнест Джонс, долгое время живший в Германии и свободно владевший немецким языком, и другие чартисты, оказывая заметное влияние на «Братских демократов», тесно соприкасались в революционной борьбе с коммунистами.

На заседаниях Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета обсуждались вопросы социалистического движения не только в Германии, но и Франции и Англии. В июле, в связи с победой на выборах в палату общин любимца английских рабочих О'Коннора, Маркс и Энгельс приветствовали его и всех чартистов с замечательным успехом.

В Англии в международную организацию «Братских демократов» входил также «Союз справедливых» во главе с Карлом Шаппером и Моллем, давнишними знакомыми Энгельса и Маркса.

Зимой 1847 года Иосиф Молль, человек среднего роста, но атлетической внешности, врожденный дипломат, знавший людей не хуже, чем каждую мельчайшую деталь часов, которые чинил с удивительным терпением, пересек Ла-Манш и прибыл в Брюссель. В первый же вечер после приезда он встретился с тремя членами Брюссельского комитета — Марксом, Вольфом и Жиго.

— Мы раздумывали,— медленно, степенно говорил им Иосиф Молль,— откуда могут доктора наук, белоручки, никогда не знавшие нашей нужды, почувствовать, какая мозоль болит у рабочего? Да и вы ведь тоже относились к нам с недоверием. Не отрицайте. Мы огрубели, но и толстая кожа чувствительна, и в кости зуба есть живой нерв. Мы казались кое-кому только бродячими подмастерьями. Верно, мы бродили за хлебом насущным и за истиной. Англия и борьба чартистов многому учат рабочего, кто бы он ни был, хоть немец, хоть американец. Мы читаем то, что рассылает Коммунистический корреспондентский комитет, изучаем ваши статьи, многому научились у вас и предлагаем вам вступить в наш союз, так как разделяем все ваши научные взгляды. Мы хотим отныне работать и бороться за коммунизм вместе. Я говорю не от себя, а от членов нашего союза в Англии. Вот моя доверенность.

Молль подал лист добротной бумаги, на котором красивым четким почерком Карл Шаппер писал:

«Коммунистическому корреспондентскому комитету в Брюс-

селе. Подписавшиеся члены Лондонского корреспондентского комитета предоставляют Иосифу Моллю полномочия и поручения от их имени вступить в переговоры с Коммунистическим корреспондентским комитетом в Брюсселе и дать устный отчет о положении наших дел. Одновременно просим Брюссельский комитет доверить гражданину Моллю, который является членом здешнего комитета, переговоры по вопросам любой серьезности и сообщить все, что касается Лондонского комитета».

Документ был датирован 20 января 1847 года и подписан кроме Шаппера еще четырьмя членами союза.

В последующих переговорах с Марксом все сомнения Молля окончательно рассеялись, и он продолжал настойчиво уговаривать членов Брюссельского комитета вступить в «Союз справедливых». При этом он рассказал, что Центральный комитет союза решил созвать в Лондоне конгресс, на котором будет оглашен особый манифест. В нем взгляды, отстаиваемые Марксом и Энгельсом, должны быть провозглашены как учение всего союза. Но ведь могут быть и возражения у наиболее отсталых и косных людей, и именно поэтому необходимы союзу такие опытные и хорошо вооруженные теорией бойцы, как Карл и Фридрих.

— Без вас нам трудно будет положить некоторых наших старых путаников на обе лопатки и заставить их задуматься. Мы отошли от утопических учений и будем строго придерживаться научного коммунизма,— сказал Молль.— Вы и Энгельс поможете нам. Есть у нас неплохие парни, бойцы, настоящие пролетарии, но за прошлые годы нагромоздилось столько всяких теорий, что у них в голове хаос. А терять их, отбрасывать нельзя. Если в союзе будут такие, как вы, мы сомневающихся парней легко выведем на прямую коммунистическую дорогу.

Из Брюсселя Молль поехал в Париж к Энгельсу.

Вскоре Маркс, Энгельс, Вольф и многие другие их единомышленники приняли предложение «Союза справедливых» и стали его членами.

Графиня наконец добилась представления ее бельгийскому королю Леопольду I и в течение нескольких минут льстиво хвалила ему его парки и зеленые насаждения.

— Ваше имя войдет в историю как одного из самых свободомыслящих монархов и царственного садовода. Тот, кто любит

флору, обладает необыкновенной душой,— говорила она, приседая в сложном реверансе, установленном этикетом.

После посещения королевского дворца графиня занялась покупками. Мебель, которую она собиралась приобрести на фабрике «поставщика его величества», показалась ей безобразной.

— Я нахожу,— сказала графиня Лизе безапелляционно,— что при буржуазном правлении вещи неизбежно становятся уродливыми. Что это за кровати, похожие на пышные катафалки? Что за комоды, пузатые, как торгаши, для которых их делали? Что за кресла, годные разве что для квартиры ростовщика или комиссионера! Я считаю — со времен Людовика Шестнадцатого и королевы Марии-Антуанетты исчезло умение украшаться и пользоваться жизнью. Корсиканский выскочка тщетно пытался подражать аристократам. Слава богу, в России благодаря нашему великому государю роскошь сохранилась во всей неприкосновенности. Придется заказать своим крепостным-краснодеревцам диван и обить его турецким ковром. Впрочем, закажу и модные смешные круглые сиденья — пуфики, как во дворце у константинопольского султана. А дешевая китайщина — все эти веера, ширмочки, фонарики, которыми увлекается Париж,— мне не по вкусу. Их привозят купчики с Востока в большом количестве. А вещь должна стоить жизни человеческой и быть подлинно единственной! Тогда она становится сокровищем, достойным украсить дом патриция. Вот посмотрите — мой туалетный столик, например, палисандрова дерева весь в резных узорах. Работая над ним, мой крепостной мастер лишился зрения. Говорят, скоро мебель будут выпускать фабрики, как эти ужасные парижские рединготы, которые все на один манер, точно гробы для бедных.

Графиня в каждом городе обязательно выискивала гадалок и проводила у них немало времени. Она жадно стремилась проникнуть в свое будущее, веря картам, движениям планет, линиям рук, кофейной гуще и бреду впадавших в транс юродивых.

Она гадала не только на себя и графа, но также на обожаемого монарха Николая I, трепеща от мысли, что ему, а значит, и всем патрициям, как называла она дворян, угрожает опасность гибели от рук «черни». Гадалок, составителей гороскопов никогда еще не было так много в Европе, как после революции 1830 года. Уходящая навсегда аристократия искала прикрытия в темных дебрях мистики, предсказаний и гаданий.

Пока графиня выбирала кружева, посещала оранжереи и цветочные магазины и бывала у гадалок, Лиза в свободные часы несколько раз навестила Вильгельма Вольфа. От него она узнала о создании Союза коммунистов. Он дал ей также книгу Маркса против Прудона и книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Перед сном Лиза обычно доставала нарядную тетрадь в тисненом переплете из желтой кожи с двумя металлическими застежками — свой тайный дневник — и записывала то, что казалось ей самым важным, поучительным и дорогим. В эти часы одиночество, которое с юности, словно тень, неотступно следовало за ней, исчезало. В дневнике девушки переплетались рассказы о мелочах быта, сухие описания событий, сокровенные признания и догадки ищущей души.

«Бакунин был нынче особенно печален,— записала она накануне отъезда из Парижа.— Мы гуляли с ним, прошли в Лувр и любовались там сокровищами скульптуры и живописи, затем поднялись по крутой лесенке в башенку мрачного собора Нотр-Дам, чтобы погладить каменных химер. Бакунин не переставая говорил. Он не верит больше, что скоро зазвучит набат революции над миром, и проклинает мощь тьмы. А недавно он думал противоположное. Он хотел бы поднять восстание народов и обвинял умников, которые мешают прорваться возмущению своими доктринами о классовой борьбе...

«Революция — стихия, а не наука,— говорил Михаил Александрович.— Нельзя остановить тайфун, а вот разные профессора воображают, что сумеют направить ветер по своему разумению так, чтобы он срывал только крыши дворцов, а не хижин. Они мешают и путают».

«Но разве ветру или тучам можно мешать в их движении?» — спросила я. «Нет, конечно, но люди должны понять это и не прятаться от ветра, который веет не по законам, а по стихийному порыву»,— повторял Бакунин.

Не знаю, прав ли он? Но я уже спокойнее слушаю его. Сколько хороших слов говорят люди, и так далеки от слов дела их! Я стала страшиться звонких слов. Бакунин уже не так пленяет мое сердце, как когда-то, когда я еще мало читала, мало слышала и думала. Стараюсь преодолеть мое влечение к нему. Он всей моей муки не замечает, занятый, как маньяк, собой и желанием взорвать старый мир. Но я знаю: загораясь так, что, кажется, способен растопить огнем все льды земли, Мишель вдруг гаснет, и тогда видно — пылал всего лишь... стог

соломы. Все же я верю в него, в то, что он способен, пусть часто только под влиянием минуты, на великое самоотречение и на подвиг не ради тщеславия. Мне нравятся люди, которые столь сильны, что изо дня в день идут приступом, пока не возьмут вражеские бастионы. Я хотела бы, чтобы Бакунин имел волю, направляемую сильным умом, а не порывистую, то напрягающуюся, то опадающую, не защищенную в минуту слабости от всего дурного».

Однажды Вильгельм Вольф рассказал Лизе, что Союз коммунистов основал много просветительных кружков. Они должны были вести пропаганду политических идей, вовлекать новых членов, а также расширять знания рабочих, учить малограмотных чтению и письму, устраивать библиотеки.

Вольф пригласил Лизу на собрание «Немецкого рабочего общества». Он был его секретарем.

— Но не приходите в среду,— сказал Вольф,— а то, пожалуй, проскучаете вечер. Мы в этот день занимаемся для вас неинтересными, для нас же очень важными вопросами повседневных нужд рабочих и наших членов в частности. В ближайшую среду, например, мы будем рассматривать положение портных в связи с расширяющимся фабричным производством одежды. Будет заслушан доклад Иоганна Стока. А вот в воскресенье — мой еженедельный обзор политических событий, после которого — пение, декламация и разные развлечения.

В воскресенье вечером, накануне отъезда в Остенде с графиней и ее детьми, Лиза пришла в «Немецкое рабочее общество», нанимавшее для своих собраний большой светлый зал на первом этаже гостиницы «Лебедь». Ее удивило большое количество собравшихся. Кроме мужчин в праздничных костюмах, членов общества,— их было не менее ста человек — в зале находилось почти столько же женщин — жены, сестры и дочери рабочих. Все чувствовали себя совершенно непринужденно и были, видимо, хорошо между собой знакомы. Впрочем, и она очень скоро почувствовала себя так же просто, как и они, и тоже как бы в среде близких людей. Вскоре с ней заговорили; молодой человек, оказавшийся столяром, пододвинул ей стул и познакомил с худенькой степенной старушкой, своей матерью. Она без стеснения сказала Лизе, что недавно начала учиться грамоте и уже разбирает по слогам.

Веселый говор, шутки, смех в разных концах зала постепенно смолкли. Председатель общества Карл Валлау занял место за столом на возвышении и позвонил в колокольчик.

Здесь были люди разных национальностей. Помимо немцев, французов, итальянцев и бельгийцев пришли поляки. Совсем недавно в Брюссель переехал Сигизмунд Красоцкий. Он прибыл в Бельгию с Иоахимом Лелевелем, своим другом по польскому восстанию 1830 года. Лелевель был одним из самых смелых революционеров демократического крыла польской эмиграции.

Ни Адам Мицкевич, ни Фридерик Шопен — гении, перед которыми склонялся с восхищением Красоцкий,— не были ему так дороги, как Иоахим Лелевель. Уже во время восстания этот зрелый сорокапятилетний человек выделялся среди тех, кто поднял знамя борьбы. Его очень не любили аристократы сейма. Лелевель критиковал узость взглядов шляхты. Он понимал, что восстание не было ни национальной, ни социальной революцией.

Лелевель призывал к оружию всех поляков без исключения и требовал равных прав для людей всех национальностей, населяющих Польшу, и наделения крестьян землей. Он хотел превратить борьбу за независимость в войну за свободу, которая охватила бы всю мрачную консервативную Европу. Уже вскоре после своего прихода Лиза обратила внимание на его лицо с волевым подбородком и проницательными глазами. Под его взглядом нельзя было лгать и кривить душой. Движения Лелевеля были необычно живы.

Он носил широкую голубовато-синюю блузу, того же нежного цвета южных подснежников, что и его полные ума и жизнерадостности глаза. Редко когда внутренняя сущность человека так гармонировала бы с внушительной и прекрасной внешностью.

Недалеко от Лелевеля в зале находился Энгельс. С ним была молодая светловолосая женщина. Глаза ее искрились, она с нескрываемым любопытством смотрела на окружающих, громко смеялась и несколько раз непринужденно прижималась к Фридриху. Лиза увидела, как Энгельс и его спутница подошли к Женни Маркс. Как всегда, Женни была величественна и красива.

Фридрих радостно улыбнулся при виде жены друга. Его серые глаза как-то посветлели, и он пошел ей навстречу.

— Я осмеливаюсь представить вам, дорогая госпожа Маркс, моего юного друга Мэри Бернс,— сказал он несколько смущенно.— Как видите, Мэри решилась переплыть бурный Ла-Манш, чтобы скрасить мое одиночество.

— Рада видеть вас здесь,— ответила Женни на превосход-

ном английском языке. Она не произнесла больше ни одного слова.

В это время Карл Валлау снова позвонил в колокольчик и объявил собрание открытым. Вильгельм Вольф занял место за деревянной конторкой с правой стороны возвышения и заговорил ровным, несколько приглушенным голосом. Его речь очень скоро всех увлекла, несмотря на то что Вильгельм не прибегал ни к каким ораторским ухищрениям, не жестикулировал и не старался чеканной фразой, внезапной паузой привлечь к себе внимание. Простота его речи была очень приятна, но одна она не могла бы заставить слушать столь многолюдное и различное по составу собрание. Он приковывал к себе внимание тем, что обогащал слушателей знаниями, фактами. Иногда он улыбался, и тогда лицо его молодело, становилось каким-то просветленным.

«Какой чудесный человек этот Вольф!» — подумала Лиза, и многие чувствовали то же. Рядом с Лизой сидела миловидная, полная, нарочито ярко одетая дама, и только одна она во время речи не то презрительно, не то досадливо морщила губы.

— Вам нравится, как говорит этот верный до гроба рыцарь всезнающего Маркса и красавца Энгельса? — спросила она неожиданно Лизу.

— Да, очень. И я знаю, он не только рыцарь, он друг Маркса. А говорит отлично, просто, понятно и разумно. Я как бы вижу, слушая его, что происходит сегодня в Ирландии, в чем состоят социальные противоречия во Франции и зачем пытается прусский король столкнуть рабочих с богачами. Вы не согласны с этим? — в свою очередь спросила Лиза соседку.

Та повела пышными плечами, ничего не ответила и отвернулась.

Вольф между тем рассказывал собравшимся о том, что дал английским работницам и подросткам закон о десятичасовом рабочем дне, принятый парламентом в результате многолетней упорной борьбы.

Когда доклад был окончен, к Лизе подсела женщина с усталым морщинистым лицом и неожиданно молодой улыбкой. Очень трудно было определить ее возраст.

«Несомненно, француженка»,— думала Лиза, поглядывая на соседку и тщетно стараясь угадать, сколько ей лет. Но вот женщина поправила шаль, которой старалась скрыть фигуру, и Лиза увидела, что она беременна.

Женевьева Сток, заметив внимательный взгляд Лизы, сама

заговорила с ней. Она спросила, какое ремесло знает Лиза и что делает ее муж или брат, приведший ее на собрание.

— Я не немка,— улыбнулась Лиза,— я русская и не имею отношения к вашему обществу. Но я друг всех вас, настоящий друг.

В это время мимо Лизы и Женевьевы, манерничая и свысока поглядывая на окружающих, прошла дама, которая во время речи Вольфа так явно выражала свою досаду и пренебрежение к нему.

— Не знаете ли вы, кто это? — спросила Лиза.

— Как не знать! — ответила Женевьева.— Это жена нашего второго председателя. В «Немецком рабочем обществе» два председателя. Второй — Гесс. Сабилла Гесс, хоть и воображает о себе много, груба и глупа. Говорят, она была раньше женщиной весьма легкого поведения.

После деловой части собрания начались развлечения. Сперва пели немецкие песни, гимн чартистов и «Марсельезу». Затем Георг Веерт вышел на трибуну. Он сильно ссутулился, и на его худом лице загорелся яркий румянец.

— Друзья,— начал он.— Мы ведь все братья, где бы ни жили и какой бы национальности ни были. В течение трех лет я наблюдал борьбу за жизнь и права трех миллионов английских рабочих. Среди них было много ирландцев. Я прочту вам свои стихи о немце и ирландце:

Английская ночь — ненастье и грязь.
Два парня, ирландец и немец, сойдясь
Под небом, как в собственном доме,
Устроились спать на соломе.
Друг друга со всех осмотрели сторон,
И каждый подумал: «Мой компаньон,
Ирландец он или немец,
Здесь так же, как я, чужеземец».
«Но это,— сказали они,— все равно;
Нас, кажется, горе сроднило одно,
Не розы судьба нам дарила, а муки,
Все наше богатство — дырявые брюки».
И вдруг рассмеялись: «Что ж, не беда!
Взойдет и нашего счастья звезда!»
И стали парни друзьями до гроба,
Ирландец и немец — нищие оба.

Веерт смущенно улыбнулся, когда его щедро одарили аплодисментами. Затем кто-то сыграл на скрипке старинную саксонскую народную песню. А потом на подмостки вышла Женни Маркс и начала декламировать стихи Гейне.

«Афина Паллада»,— подумала Лиза, вглядываясь в совершенные по форме и красоте античные линии лица и фигуры Женни.

— Баронесса, а как проста,— сказала ей Женевьева.

В чтении стихов особенно ясно сказывалось, как претили Женни напыщенность и ложный пафос, столь излюбленный на современной ей сцене. Она декламировала вдохновенно, просто. Голос ее, не очень сильный, но нежный и глубокий, волновал. Четкая дикция и какая-то умная интонация доносили до них глубокий смысл, вложенный поэтом в его произведение.

Женни имела большой успех.

Но вот, сдвинув стулья, молодежь принялась танцевать.

Лиза, не дождавшись конца вечера, сердечно распростилась с Женевьевой и Вольфом и вышла из зала.

У дверей на улицу она заметила худенького человечка, прижавшегося к стене и явно старавшегося слиться с серыми камнями. Лиза, обернувшись, увидела, что он следует за ней.

— Как кстати в этот поздний час вы устремились за мной! — воскликнула, пройдя несколько улиц, она.— Под вашей охраной я спокойно добралась до дому.

Шпик оторопело смотрел то на девушку, то на роскошный особняк, снятый графиней в Брюсселе. Природа не была щедра к этому агенту тайной полиции и наградила его запоминающейся наружностью. Он косил на оба глаза, и, как бы для предупреждения доверчивых людей, в то время как один его глаз смотрел подобострастно, другой пугал злобой.

Пройдя тихонько в свою комнату, Лиза поспешно разделась и достала заветный дневник.

«Сегодняшний вечер никогда не должен изгладиться из моей памяти,— записала она.— Я была среди людей здоровых, чистых душой, жадно вбиравших в себя все, чего не умеют ценить богачи: знания, скромные радости и чистое веселье. Кто сказал, что рабочие — хилые уроды? Какая клевета! Их не смогли сделать такими даже все унижения и несправедливости, даже рабство. Спартак и Робин Гуд — вот от кого ведут они свою родословную. Граф и графиня, цари и вельможи мне безмерно гадки. Я читала у Спинозы, что люди страшны не обидами, какие они нам наносят, а тем, что поднимают своей несправедливостью зло в нашей собственной душе, гася свет ее. Но бывает и наоборот. Люди, которых я узнала в Брюсселе, гармонией характеров и действий своих открывают добро в наших душах, зажигая в них яркий свет».

VII. «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Летом 1847 года в Лондоне состоялся конгресс «Союза справедливых». Карл не смог поехать из-за отсутствия денег. От Брюссельского комитета в Англию отправился Вольф, от Парижского — Энгельс.

На конгрессе был принят временный устав, переданный затем на обсуждение отдельных комитетов для окончательного утверждения. «Союз справедливых», по предложению Маркса и Энгельса, отныне переименовался в Союз коммунистов.

Он ставил перед собой великую цель — свержение власти буржуазии, установление господства пролетариата, образование нового общества — без классов и без частной собственности.

Прежний лозунг «Все люди — братья» был заменен. Новый призыв впервые появился ранней весной в первом номере «Коммунистического журнала». Он гласил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Заседания конгресса проходили бурно. Среди лондонских коммунистов были приверженцы французского утописта Кабе, мечтавшие уехать в Америку и основать там сказочную страну Икарию.

В своих статьях Этьен Кабе писал: «Здесь нас преследуют и правительство, и духовенство, и буржуазия, и даже революционные республиканцы. Здесь нас поносят и клевещут на нас и всячески стараются уничтожить нас и физически и морально. Поэтому давайте покинем Францию и уедем отсюда в Икарию». Он предлагал устроить коммунистическую колонию за океаном и приехал в Англию, чтобы выступить в Лондонском просветительном обществе. Проект его был отклонен.

После первого конгресса коммунистов «Немецкая Брюссельская газета» приобрела вполне отчетливое революционно-коммунистическое направление.

Карл зорко вглядывался во все происходящее в Европе и подмечал признаки быстро приближающейся революционной бури. По всей Западной Европе углублялся торгово-промышленный кризис. Он особенно тяжко отразился на жизни рабочих и ремесленников Англии, Германии и Франции. Мелкие и средние предприниматели вынуждены были закрывать свои предприятия и увольнять рабочих. Безработица увеличивалась с каждым днем. Год 1847-й был неурожайным в Европе, и нищета душила бедняков. Начался голод и с ним — болезни. От тифа вымирали целые селения в Германии и Франции. Цены

росли. Наживались купцы и капиталисты, погибали неимущие. Вспыхивали голодные бунты. Народ громил булочные.

В больших промышленных городах происходили стачки, чреватые восстаниями.

Энгельс сообщал из Франции:

«Здешние рабочие острее, чем когда-либо, ощущают необходимость революции и притом гораздо более радикальной и основательной, чем первая... И когда придет время, когда столкновение между народами и правительством станет неизбежным,— они вмиг окажутся на улицах и площадях, они разроют мостовые, перегородят улицы омнибусами, телегами и каретами, забаррикадируют все переулки, каждый узкий тупик превратят в крепость и двинутся, сметая все на своем пути, от Бастилии на Тюильрийский дворец».

Маркс и Энгельс не сомневались в близости демократической революции в Западной Европе. Они старались скорее и крепче сколотить революционную партию рабочего класса.

Тотчас же после окончания первого конгресса Союза коммунистов Энгельс приехал в Брюссель. Совместно с Карлом он организовал местную общину союза, председателем которой был избран Маркс.

В конце сентября, когда воздух Брюсселя особенно прозрачен и на аллее Луизы ветер срывает и кружит листья лип, кленов и каштанов, таких же золотисто-красных, как покатые черепичные крыши строгих и узких домов, Карл уехал в Голландию. Здесь он должен был получить свою долю наследства после смерти одного из родственников матери.

Фридрих оставался в Брюсселе. Как-то утром он неожиданно получил приглашение на банкет. Чтобы отвлечь подозрения полиции, революционеры собирались для деловых встреч и пропаганды под предлогом банкетов в специально нанятых залах гостиниц или трактиров. Однако Энгельс тотчас же понял, что на этот раз встреча предстоит иная. Его приглашал Борнштедт.

Адальберт фон Борнштедт не скрывал больше своего недовольства «Рабочим обществом» и особенно деятельностью в нем Маркса и Энгельса. Предоставив Карлу газету, он не предвидел, что из этого получится. Маркс и Энгельс с его помощью разожгли неугасимый огонь действенного коммунизма!

Адальберт и кое-кто из немецкой колонии — зажиточные люди и умеренные демократы Зейлер, Гейльберг и другие, обиженные тем, что на них не раз обрушивались Маркс и

Энгельс за их политическое непостоянство и колебания,— решили подвести подкоп под «Рабочее общество», создав другое, благонамеренное и чинное, и тем самым ослабить влияние Маркса.

В эти дни Борнштедт впал в уныние, и бесстрастное лицо его, похожее на гипсовую маску, еще более вытянулось. Впервые не он обвел вокруг пальца нужных ему людей, а сам был одурачен. Не только издаваемая им «Немецкая Брюссельская газета» ушла из-под его надзора, но и в «Рабочем обществе» он не сумел приобрести никакого влияния. Тщетно желая заручиться доверием и стать своим, он подарил «Немецкому рабочему обществу» двадцать шесть книг для библиотеки и двадцать семь географических карт. Рабочие приняли дары с благодарностью, но и только. Они не избрали его за это в почетные члены, не сделали руководителем союза, не поставили его бюст, как это было принято.

Наоборот, чем больше старался нравиться Борнштедт, тем сильнее вызывал недоверие и настороженность у рабочих. Здоровое природное чутье подсказывало им, что этот прикидывающийся другом человек относится к ним крайне высокомерно.

Кандидатура Борнштедта при вступлении в общество должна была обсуждаться по докладу наборщика издаваемой им газеты Карла Валлау точно так же, как и любого столяра, каретника или другого иного ремесленника. Адальберт бесился и, объединив недовольных, решил нанести удар в спину общества. Он выждал время, когда Маркс уехал в Голландию по личным делам, и начал действовать.

Обо всем этом думал Энгельс, приводя в порядок свою одежду, кровать, письменный стол, прежде чем выйти из дому.

Фридрих был, в противоположность Карлу, крайне педантичен. Величайший порядок господствовал на его рабочем столе, в шкафу, на полках с книгами. Когда Карл писал, все вокруг было подчинено его мышлению: книги, перья, карандаши валялись где попало, точно пронесся ветер, все разрывая и раскидывая по сторонам. Энгельс, наоборот, работал в строгом покое. Он никогда не разбрасывал книг, не откидывал нетерпеливой рукой ненужные ему в эти минуты листы бумаги, не оставлял на столе, подоконниках, ручках кресел пепел многих выкуренных сигар.

Каждая вещь, покорно служившая Фридриху, имела как бы навсегда определенное ей место; стопки книг лежали, тща-

тельно сложенные, перенумерованные тетради были всегда под рукой. Столь различные темпераменты, однако, не мешали дружбе.

Обдумывая все, чем мог быть вызван банкет, Энгельс окончательно утвердился в своих подозрениях относительно интриги Борнштедта и решил принять немедленные меры. Фридрих поспешил к «Люпусу» — Вильгельму Вольфу. Туда же пришел и Карл Валлау.

Председатель и секретарь общества вместе с Фридрихом решили, что пойти на банкет необходимо не только им, но и еще нескольким рабочим. Нужно было быть готовыми ко всему и поддержать бельгийцев против буржуазных демократов. Тридцать человек из «Немецкого рабочего общества» изъявили желание быть ради этой цели на банкете.

В понедельник, 27 сентября, Вольфу удалось узнать, что задумал Борнштедт. Устроители предполагали организовать международную «Демократическую ассоциацию». Почетным председателем должен был быть избран столь же престарелый, сколь и прославленный участник бельгийской революции семидесятидевятилетний генерал Меллине. Действительным же главой ассоциации намечался Жотран, красноречивый, влиятельный бельгийский адвокат. Из двух вице-председателей один должен быть немцем и желательно рабочим.

Энгельс тотчас же предложил Карла Валлау, но кандидатура его отпала, так как наборщик не говорил по-французски, что было обязательным условием избрания в руководство международной ассоциации. Сколько ни уговаривал Фридрих Вольфа заменить Валлау ради пользы общего дела, тот решительно отказался.

Вице-председателем должен быть ты, Энгельс,— настаивал Вильгельм.

У меня, увы, слишком моложавый вид.

Это не довод. Мы можем подвергнуться разным случайностям. Дело придется иметь с такими ловкими интриганами, как Борнштедт и его клика, ты справишься.

Энгельс согласился.

Зал для банкета был нанят в трактире «Льежец» на узкой длинной площади Дворца юстиции.

Фон Борнштедт, главный устроитель и хозяин вечера, пришел задолго до назначенного часа и с необычайным для него оживлением принялся распоряжаться кельнерами, расставлявшими по его указанию вазы с цветами и фруктами и вина на

больших столах, образующих букву «П». Наконец появились и приглашенные: поляки, итальянцы, бельгийцы, немцы. При виде Энгельса и его друзей фон Борнштедт едва мог замаскировать свою тревогу.

— Посмотри на Борнштедта,— сказал Фридрих Вольфу,— как он хлопочет, подбегает то к одному, то к другому из присутствующих, явно интригует.

Наконец все сто двадцать гостей уселись за стол, и начались тосты. Пили стоя за мучеников свободы, за братство и равенство. Единственный присутствующий на банкете русский предложил тост за революцию и гибель деспотизма.

Энгельс, вскинув красивую голову, поднял бокал в память Великой французской революции. Языки развязались, становилось все шумнее и шумнее.

Швейцарцы чокались с итальянцами, немцы — с поляками, французы пылко обнимали бельгийцев. Ораторы говорили по-фламандски, по-французски, по-немецки, по-польски, обращались к народам Англии, России, Бельгии и Германии, призывали их объединиться и установить справедливость и свободу.

Возбужденный вином, доброжелательностью окружающих и нахлынувшими воспоминаниями, худой, седоволосый польский изгнанник Залевский, патетически вскидывая руки, обратился к немцам и призвал их объединиться.

— За союз между несчастной Польшей и великой, благородной и поэтической Германией! — закончил он.

Иоахим Лелевель, всегда отлично владевший собой, едва сдерживал слезы. Каждому изгнаннику мерещилась далекая отчизна, и крепла надежда на ее освобождение.

Когда речи закончились и собравшиеся принялись за десерт и кофе, фон Борнштедт заявил, что следует начать выборы членов организационного комитета, и выдвинул вице-председателем от немцев Карла Валлау, хотя раньше сам отвел его, как не знающего никакого иного, кроме немецкого, языка. Вильгельм Вольф тотчас же поднялся и предложил кандидатуру Энгельса. Имя это присутствующие встретили шумными аплодисментами. Взбешенному фон Борнштедту ничего не оставалось, как притворно улыбаться.

— Милое дитя,— сказал он громко Энгельсу и предложил ему чокнуться.— Я безмерно рад вашему успеху.

— Приходится иногда делать довольную мину при плохой игре,— сказал Вольф, сидевший рядом с Фридрихом и наблюдавший эту сцену.

Дальше выборы пошли гладко.

По случайному стечению обстоятельств на другой день после банкета фон Борнштедт должен был быть принят в члены «Рабочего общества». 30 сентября Энгельс сообщил Марксу:

«...Затем речь зашла о приеме Борнштедта... Первым встал Гесс и предложил Борнштедту два вопроса относительно собрания в понедельник. Борнштедт ...отделался ложью, а Гесс был настолько слаб, что объявил себя satisfait. Юнг напал на Борнштедта лично по поводу его выступления в обществе... Выступали еще многие другие. Одним словом, упоенному победой господину фон-Борнштедту пришлось пройти сквозь строй. С ним рабочие обращались очень плохо, и он был так потрясен,— он, который своими книжными дарами считал себя от всего огражденным,— что он мог отвечать только слабо, уклончиво, сдержанно... Тогда выступил и я, разоблачил всю интригу... опроверг все увертки Борнштедта одну за другой и, наконец, заявил: Борнштедт вел против нас интриги, хотел составить нам конкуренцию, но мы победили и поэтому можем теперь допустить его в общество. Во время речи,— это была самая лучшая, какую я когда-либо произносил,— меня часто прерывали аплодисментами, особенно, когда я сказал: «эти господа думали, что победа уже на их стороне, потому что я, их вице-председатель, ухожу, но они не подумали о том, что между нами есть еще один, которому это место принадлежит по праву, единственный, который может здесь в Брюсселе быть представителем немецких демократов, это — Маркс»,— тут раздались громкие аплодисменты... Наши рабочие во всей этой истории вели себя прекрасно... они отнеслись к Борнштедту с величайшей холодностью и беспощадностью, и когда я закончил свою речь, то в моей власти было провалить его огромным большинством... Но мы поступили с ним хуже, мы приняли его с позором. На общество эта история произвела прекрасное впечатление; в первый раз наши рабочие сыграли роль, овладели митингом, несмотря на все интриги, и призвали к порядку человека, который хотел перед ними важничать. Только несколько приказчиков и т. д. и т. д. были недовольны, масса полна энтузиазма по отношению к нам. Они почувствовали, какую они представляют силу, когда они объединены».

Одновременно Энгельс написал письмо Жотрану с отказом, ввиду скорого его отъезда, от поста вице-председателя организационного комитета ассоциации.

«Милостивый государь! Принужденный оставить на не-

сколько месяцев Брюссель, я не имею возможности выполнить обязанности, которые собрание 27-го с. м. возложило на меня.— Поэтому я прошу вас пригласить к участию в работах комиссии по организации международного демократического общества немецкого демократа, проживающего в Брюсселе.— Я позволю себе предложить вам того из немецких демократов Брюсселя, которого собрание, если бы он мог на нем присутствовать, выбрало бы на ту должность, избранием на которую оно почтило меня в его отсутствие. Я говорю о г. Марксе, который, по моему глубокому убеждению, имеет больше всего права быть в комиссии представителей немецкой демократии. Таким образом, не г. Маркс заменит меня в комиссии, а скорее я на собрании заменил г. Маркса».

Через полтора месяца после организации «Демократической ассоциации» Маркс и Эмбер были избраны ее вице-председателями. Устав этого общества подписало около шестидесяти бельгийских, польских, французских и немецких демократов. Кроме Маркса из немцев его подписали Георг Веерт, Мозес Гесс, Вильгельм Вольф, Фердинанд Вольф, Стефан Борн и Адальберт фон Борнштедт.

На собраниях «Демократической ассоциации» часто встречались Сток и Красоцкий. Они вспоминали вспыльчивого, добродушного Пьетро Дивероллн и жизнерадостного Этьена Кабьена, с которыми дружно жили некогда в домнке вдовы каретного мастера в Париже, на улице Вожирар. Ни француз, ни итальянец ни разу не сообщали им о себе за это время. Сток, впрочем, терпеть не мог писать письма. Он не совсем был уверен в своей грамотности и из самолюбия не хотел показывать этого. Сигизмунд Красоцкий, наоборот, любил эпистолярные развлечения. Дважды он написал на улицу Вожирар своим прежним товарищам, но не получил ответа. Быть может, член партии «Молодая Италия» Дивероллн уехал в Италию, а Кабьен переменил квартиру?

Уроки математики и игра на скрипке не мешали Сигизмунду выполнять поручения Иоахима Лелевеля. Этот человек, несмотря на болезни и преклонный возраст, поддерживал связи со многими участниками польского восстания 1830 года, оставшимися верными идеям свободы. С родины и из разных стран мира, где жили поляки-изгнанники, ему сообщали все наиболее значительное. Он участвовал в революционных обществах и был одним из деятельнейших руководителей «Демократической ассоциации». Живой ум Лелевеля помогал ему находить

общий язык с любым представителем тружеников. А как хорошо говорил он с трибуны! Тогда казалось — даже старость пугливо отступает при виде этого стремительного человека.

Графиня, жившая на бельгийском модном курорте Остенде, звала к себе Лизу.

Едва переступив порог нарядного будуара, заставленного, как оранжерея, разнообразными цветами, девушка поняла, что случилось что-то, предвещавшее ей большие неприятности. Приторный и острый запах цветов дурманил голову.

Графиня встала и, подняв кверху узенькое личико с близко расположенными крысиными глазками и очень тонкими губами, заговорила мрачно и зловеще:

Я ничего не жду хорошего от молодых людей нашего века, когда заправляют журналисты и юристы, лавочники и Ротшильды, когда газеты стали раздавать даже даром. В Париже какой-то извозчик старался всучить мне газету с плебейским названием «Омнибус». Он принял меня за горничную, ибо кто же еще ездит в этих ящиках, запряженных жалкими лошадёнками, кроме бедняков? Тогда же я поняла: Францию опять ждет ужасная анархия. Бедные аристократы!.. Но того, что вы, молодая девушка, хотя и без всяких средств к жизни, связались с чернью и пали так низко, я все таки не предполагала, хотя многое в вашем поведении могло бы предупредить меня. Это мне не первый урок. Бакунин тоже скатился в бездну. Вот! — Графиня взяла со стола дневник Лизы двумя пальцами, изобразив отвращение, точно она держала в руках дохлую мышь. [illegible], швырнув тетрадь в сторону, на пол, графиня воскликнула: Нет, я не в силах читать вам ваши признания. Всю эту [illegible] что вы проповедуете! На каких только задворках [illegible] с какими разбойниками не проводили вечера! [illegible] с этим роман Эжена Сю «Парижские тайны»! [illegible] и подняла с полу свой злополучный дневник. [illegible] заговорила снова:

[illegible] думаете, что графине не следует читать [illegible] записки. Но ведь я мать и верноподданная своего [illegible] Если бы мы были в России, я сообщила бы о них куда [illegible] К сожалению, мы на земле этого добрейшего Лео- [illegible] Первого. Нет ничего удивительного, что после плебейских [illegible] которые свергли настоящих монархов, нынешние [illegible] такие, как, например, Леопольд или его племянница —

английская королева Виктория, многое переняли от лавочников, посадивших их на трон. Не следует забывать, что бельгийский король женат на дочери Луи-Филиппа. Я уверена, что его жена, Луиза Орлеанская, просто буржуазка и настолько не похожа на королеву, что проверяет белье, когда его приносят прачки. Только в России еще сохранилась династия настоящих императоров. Я была и есть опора трона, чистокровная дворянка, а вы хуже моей крепостной Феклуши. И хотя это убьет вашего несчастного отца, я не могу больше допустить, чтобы вы портили моих детей и слуг. Вот расчет. Можете отправляться под забор к своим могучим пролетариям, так, кажется, зовете вы этих чудовищных и страшных плебеев, несущих миру одни только бедствия.

И, не дав Лизе произнести ни слова, графиня величественно вышла из комнаты. Лизе осталось только взять небольшую сумму денег, оставленную ей на столе, и пойти собирать свой скромный багаж. Куда было ей податься? Ехать в Россию, где у дряхлой тетки лежал в параличе ее отец, она не могла. Не раздумывая долго, Лиза решила отправиться в Брюссель, где у нее были верные друзья.

В сумрачный осенний вечер Карл по дороге в Лондон остановился в Остенде. У самого вокзала, против бассейна, находился отель «Корона», где его ждал Энгельс. На другой день оба друга (Женни провожала их до небольшого портового парохода) поплыли в Дувр. Карл должен был как специальный представитель от «Демократической ассоциации» выступить с приветствием на митинге, посвященном годовщине польской революции 1830 года. Затем вместе с Фридрихом они готовились к участию в работах второго конгресса, созванного Союзом коммунистов. На нем предстояло утвердить устав и обсудить новую программу.

Митинг в честь Польши происходил в зале собрания «Лондонского просветительного общества немецких рабочих», основателями которого семь лет назад были учитель Шаппер, сапожник Бауэр и часовщик Молль, недавно побывавший в Брюсселе.

Собравшиеся узнали Маркса и встретили его бурными возгласами и громкими аплодисментами.

— Старая Польша, несомненно, погибла,— сказал Карл, поднявшись на трибуну. Его мощный голос разносился по всему

залу. Смуглое лицо и блестящие глаза оратора приковывали к себе внимание присутствующих.— И мы меньше, чем кто-либо, хотели бы ее восстановления. Но погибла не только старая Польша. Старая Германия, старая Франция, старая Англия — все старое общество отжило свой век. Гибель старого общества не является потерей для тех, кому нечего терять в этом обществе, а во всех современных странах в таком положении находится огромное большинство.

Затем Карл объяснил, что освобождение угнетенных трудящихся связано с победой пролетариата над буржуазией, и в какой бы стране ни победил рабочий класс, он поможет всем порабощенным народам. Если бы в Англии чартисты взяли власть, это было бы началом освобождения всех других пролетариев, где бы они ни находились, всех народов вообще.

Закончив свою речь, Карл под возгласы одобрения вручил адрес от «Демократической ассоциации» «братским демократам».

В конце встречи председатель собрания зачитал ответ, посылаемый в Брюссель ассоциации:

— «Ваш представитель, наш друг и брат — Маркс — расскажет вам, как восторженно встретили его появление и чтение вашего адреса. Все взоры сияли радостью, все уста приветствовали его, все руки братски протягивались к вашему представителю... Мы принимаем с чувством живейшей радости союз, который вы нам предлагаете. Наше общество существует уже два года, и девиз его: все люди — братья. На нашем последнем празднестве годовщины основания общества мы предложили созвать Демократический конгресс всех наций, и мы были очень рады, когда узнали, что и вы выступили с такого же рода предложениями. Заговор королей нужно побороть заговором народов... Мы убеждены, что для того, чтобы осуществить общее братство, нужно обращаться к действительному народу, к пролетариям, к людям, которые каждодневно проливают кровь и пот под гнетом современного общественного строя. Из хижин и мансард или из подвалов, от плуга, с фабрики, от наковальни придут и уже идут по той же дороге носители братства и избранные спасители человечества».

Затем на трибуну вышел Энгельс. И когда он четко и громко сказал: «Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации»,— англичане, поляки, французы, бельгийцы, немцы, итальянцы встретили его слова шумным одобрением. Полное сердечное согласие утвердилось

между представителями многих наций на этом собрании. В знак единства Гарни и Энгельс предложили приветствовать демократические газеты — английскую «Северную звезду», французскую «Реформу» и «Немецкую Брюссельскую газету», и тогда трижды ураганом разразились аплодисменты. Все присутствующие, встав и обнажив головы, начали петь «Марсельезу». Голоса сливались, как сердца всех присутствующих здесь простых людей.

Сразу же после собрания в честь Польши в том же помещении начался второй конгресс коммунистов.

Маркс и Энгельс считали, что пора уже коммунистам открыто выступить и рассказать всему миру о своих взглядах, стремлениях и целях.

Маркс говорил:

— Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппозиционная партия, которая в свою очередь не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным противникам?

Коммунизм стал силой, и следовало клевете и россказням о нем противопоставить программу самой партии и сказать, что коммунисты не заговорщики, собирающиеся тайно, что они борются открыто.

Только Маркс и Энгельс, по мнению всех собравшихся в Лондоне коммунистов, могли сделать это. Горячие споры об уставе и программе длились более десяти дней. В завершение дебатов Марксу и Энгельсу поручено было изложить принципы коммунизма в манифесте.

Первоначальные названия его — «Исповедание веры» и «Катехизис» — были отброшены. Энгельс предложил назвать важнейший документ «Манифестом Коммунистической партии». Карл поддержал его.

Среди многих разноплеменных рабочих в большом, низком, освещенном газовыми фонарями зале находился и портной Фридрих Лесснер — немец, коммунист, долго бродивший до этого по свету и хлебнувший немало горя.

Лесснер, как и многие другие на конгрессе, не мог отвести глаз от молодых руководителей Союза коммунистов. Карлу было около тридцати лет, Фридриху — двумя годами меньше. Великолепный возраст полноценной зрелости. Карл был широкоплеч, крепко сложен, энергичен. Энгельс поражал уверенно-

стью, быстротой движений и стройной выправкой. Речь Маркса была краткой, логичной, понятной, он никогда не говорил лишних слов, и каждая фраза-мысль была как бы звеном в цепи неопровержимых доводов. Энгельс любил метко шутить, говорил лаконично и решительно. Волнуясь, он начинал слегка заикаться. Все в нем отражало необыкновенную одаренность натуры. Он был жизнерадостен, удивительно правдив.

Карл и Фридрих хорошо знали людей, и Лесснер быстро определил это, вглядываясь в их лица, следя за их движениями, вслушиваясь в речи и замечания. Портной отметил саркастическую складку рта Маркса, придававшую ему то выражение непреклонности и силы, которого так боялись его противники.

Перед тем, как отправиться в Брюссель, два друга побывали в Манчестере, куда Фридрих, когда бывал в Англии, всегда заезжал по поручению отца. Как и два года назад, в первую поездку, Карлу не удалось ни разу работать в читальном зале Британского музея в Лондоне. Но зато в Манчестере, пока Фридрих находился в конторе «Энгельс и Эрмен», Маркс проводил многие часы в знакомой ему городской Чэтамской библиотеке.

Густой плющ обвил серое, всегда как бы сырое от дождя, здание манчестерской библиотеки с несколькими башенками. Там, в одном из круглых выступов с окном из разноцветных стекол, где было особенно хорошо, тихо и уютно, Маркс любил сидеть перед квадратным бюро. Библиотекарь Томас Джонс, рыжеватый, высушенный, крайне вежливый, отлично знал книжные богатства, которыми распоряжался. Он умел быть совершенно незаметным, хотя все время находился в библиотеке и с поразительной быстротой и ловкостью взбирался по лесенке к верхним полкам, даже когда держал в руках множество книг. Он был ходячим каталогом и справочником. Карл и Фридрих уже давно прониклись к нему заслуженным уважением.

При виде Маркса Джонс, хотя прошло уже два года, приветствовал его так, точно они расстались накануне. Он не забыл ни одной книги, которые брал у него тогда Карл, и спросил учтиво:

— Будет ли мистер Маркс далее конспектировать Оуэна, Гадлера, Тука, Джильберта, или ему хватило тех выписок, которые он с невероятной быстротой сделал за полтора месяца в прошлом году?

Маркс и на этот раз перечитал за время пребывания в Ман-

честере множество книг. Он просмотрел и «Политическую справедливость» Годвина, под влиянием которой сложились взгляды Оуэна. Очень образованный, дерзко мыслящий, Годвин большую часть жизни был обречен идти одиночкой, своим особым путем.

Его книга «Политическая справедливость» стоила баснословно дорого — три гинеи, но все же она произвела сенсацию в парламентских кругах. Питт, прочитав ее, пришел в бешенство и успокоился, лишь когда решил, что «книга ценою в три гинеи не может принести вреда в среде, на которую рассчитана, потому что там заработок не достигает и трех шиллингов».

«Бытие определяет сознание и формирует человеческий характер»,— писал в своей нашумевшей книге ученик Гольбаха и Локка. «Добродетель и грех — не следствие врожденных свойств, а следствие обстоятельств...» «Инстинкты и наследственность едва ли существуют и уж, во всяком случае, не играют решающей роли в формировании человека...» «Брак безнравствен, поскольку связанные люди не могут следовать велениям своего рассудка...» «Вещи должны принадлежать тем, в чьих руках они наиболее продуктивны...»

Эти замечательные мысли Годвина нравились Марксу.

Годвин, подобно Томасу Пэйну, отрицал не только монархический, но и всякий иной правительственный строй, обвиняя всякую власть в насилии. Лишь коммунизм, по мнению Годвина, идеальная система, но ее может осуществить только общество, высокоразвитое умственно и нравственно.

Несмотря на высокую цену, книга Годвина разошлась в небывалом тираже. Мечты о республике и перестройке мира волновали потрясенные революциями и войнами умы молодежи. Байрон зачитывался ею в своей комфортабельной квартире при Оксфордском университете. Шелли потихоньку читал «Политическую справедливость» на школьной скамье в Итоне и до конца жизни остался верным годвиновским доктринам.

Женой Годвина была известная Мэри Вулстонкрафт, поборница женской эмансипации. Ее книга «Обоснование женских прав» считалась библией феминизма.

Маркс, выходя в коридор, чтобы выкурить сигару, часто сталкивался там с мистером Джонсом, который любил пофилософствовать. Карл терпеливо выслушивал его подчас странные монологи.

Как-то, доказывая, что жизнь не более чем «суета сует», Джонс, подняв свой желтый палец, задал Марксу вопрос:

— Из чего же состоит человек?

И, не дав Карлу вымолвить слова, сам ответил на свой вопрос:

— Ученые недавно подсчитали, что средний англичанин нашего времени, например, состоит из десяти галлонов воды; жира в нем довольно, чтобы сделать семь кусков мыла; угля хватит на девять тысяч карандашей; железа — на гвоздь средней величины; извести — на побелку небольшого курятника; порция магнезии невелика, но количество серы могло бы избавить собаку от блох. Я берусь все эти вещества купить на рынке за пять шиллингов. Вот цена человека!

Маркс долго смеялся над такой оценкой человека.

Карл Маркс пытливо присматривался к быту и нравам англичан.

Англия — колыбель предельного, крайне суженного бытового индивидуализма. Поблекшее, воинственное слово «независимость» воспринято гражданами ее величества как возможность не знать своего соседа. Мистер Браун гордится тем, что после сорока лет жизни стена к стене, коттедж к коттеджу не знаком с мистером Смисом.

Маркс и Энгельс были люди веселые, приветливые, простые в обращении с окружающими. Перед ними невольно открывались даже самые замкнутые души. Их приглашали в самые чопорные дома мелких буржуа. Им говорили:

— Мы, хвала небу, не нуждались в соседских услугах, будучи людьми, достаточно обеспеченными для независимости. В наших домах есть все, чтобы не одалживаться и не мешать друг другу. Случай сводит людей на одном клочке земли, но случай не может считаться основанием для их знакомства...

Так мистер Браун последний узнает о браке соседа, не замечает рождения его детей и катафалка с двумя джентльменами в блестящих цилиндрах и сюртуках, которые отвозят гроб с останками мистера Смиса на кладбище...

Надменная молчаливость, презрительная сдержанность, обидное безразличие, скучающий, скачущий поверх людей взгляд — все эти детали высокомерия, совершенно не свойственные англичанам, когда они в кругу близких,— испытанный щит, отражающий посторонние вторжения в их личную жизнь, обременительные, случайные знакомства.

Не давать и не брать взаймы — священный девиз, прочная путеводная нить буржуа.

Дом британского зажиточного горожанина неприкосновенен, охранен законом, неприступен, как крепость феодала. За такую «свободу» жилища английский буржуа боролся упорно и долго. Без достаточного основания ни полиция, ни сам лорд — мэр города — не смеет переступить порога, если нет на то согласия домохозяина.

Стандартный «дворец» мелкого буржуа — двухэтажный коттедж — и снаружи и внутри лишен каких бы то ни было характерных для его обитателей особенностей, какого-либо уклонения от неких средних норм не только в обстановке, но даже в назначении комнат. Крайняя обособленность не внесла разнообразия в английскую жизнь. Марксу казалось, что за миллионами стен укрывается в Англии один и тот же отстоявшийся быт. В первом этаже помещаются кухня, столовая и гостиная. На втором этаже миллионов домов обязательно размещаются узкие спальни с деревянными кроватями, шкафами и комодами им под стать.

Английский дом как бы заменяет зонтик и недавно появившийся в Европе макинтош, названный так по имени его изобретателя. Под ним не промокнешь, но не согреешься и не скроешься от ветра. Жилище англичанина обогревает камин — костер пещерного жителя, и шерстяное белье — бараний тулуп предков.

Укладываясь на ночь в постель, англичане не снимают, а меняют одежду — дневную на ночную.

Одевшись как бы для восхождения на гору, британец лезет на высокую постель. Мягкая перина поверх нескольких одеял (их количество уменьшают или увеличивают в зависимости от погоды) заменяет до утра тепло потухших каминов.

Марксу и Энгельсу, когда они бывали в гостях у зажиточных англичан, всегда казалось, что они видят очень странный мир.

Викторианская безвкусица щедро представлена в каждой квартире английского обывателя. Семейные портреты, литографии, изображающие охоту, дерби и собак, скрывают стены. Мягкая мебель, расставленная по всей комнате и вдоль стен, громоздка, неуклюжа, как перина, омнибус и ротонда. Китайская лаковая ширма, вышитый турецким полумесяцем и звездами экран перед камином, переливающиеся радугой искусственные перламутровые цветы в «славянских» вазах под вышитым какой-то родственницей «извержением Везувия» соседствуют с гипсовыми и фарфоровыми статуэтками — рождественскими

подарками за несколько десятилетий. Пестрые попугаи, причудливые хризантемы, пышные розы на чехлах кресел и диванов своей яркой окраской как бы заменяют комнате недостающий солнечный свет и создают экзотику, какой она укладывается в английском представлении. Может быть, все это должно напоминать хозяину дома лилово-оранжевые краски экваториальных вод и южных островов, мимо которых он когда-то плыл за товарами или хотел бы плыть.

И всего одна-две книжки где-нибудь среди подушек или на каминной подставке!

Карл перелистывал не раз книгу «Кто есть кто» — толстую сплетницу в красном переплете, сообщающую о профессии, родословной и семейных отношениях не всегда знаменитых, но всегда зажиточных общественных деятелей, банкиров, купцов империи.

Карл не мог жить без книг, и его поражало, как мало их в домах самодовольных мелких буржуа. И это в стране, где творили Шекспир, Мильтон, Свифт.

Лишь в домах богачей библиотеки обязательны, как зимний сад и зал для танцев. Но они безлюднее старого кладбища. Слуги почтительно стирают пыль со старых манускриптов, которые составляют коллекции их господ, так же как собрания китайских будд или орхидей. Страшная, тягучая скука, сплин, как туман, окутывал дома зажиточных горожан, и Маркс бежал от них прочь, испытывая нечто подобное удушью.

С юности его любимым поэтом был бунтарь Шелли. Теперь, на его родине, Карл до конца осознал всю глубину жизненной трагедии не только этого смелого поэта, но и его не менее беспокойного друга Байрона. Оба они навсегда покинули «веселую» старую Англию и умерли на чужбине.

Маркс и Энгельс гораздо чаще, чем у буржуа, бывали на окраинах Манчестера и Лондона в жилищах рабочих. Здесь они увидели много горя и неописуемую нищету. И все же здесь дышалось легче и люди не прятались друг от друга, как трусливые улитки.

«Защитным» свойством отличается и английская, ничего не высказывающая, граничащая с дерзостью, обороняющаяся вежливость.

Наиболее употребляемое слово в английском языке — thank you — начинает и заканчивает деловой и случайный разговор. Благодарят за все, кроме еды. Кондуктор омнибуса благодарит, протягивая билет пассажиру; старуха поспешно благодарит

прохожего, наступившего на ее тридцатилетнюю мозоль; продавщица благодарит ничего не купившего покупателя; ребенок — высекшего его учителя. Это автоматически используемое слово, без оттенков, без интонаций, заменяет англичанину междометие, вызволяет его в затруднительном положении и ограждает от чужого вмешательства.

Такова была Англия времен королевы Виктории.

Однако не быт англичан, а главным образом экономика передовой промышленной и колониальной страны Англии, глубокие классовые противоречия и поднимающееся рабочее движение привлекали внимание Маркса. Но пребывание в Англии и на этот раз было очень недолгим. Вскоре он возвратился в Брюссель, а Фридрих Энгельс направился в Париж.

Лиза поселилась в маленьком дешевом пансионе недалеко от дома, где жили Сток и Женевьева. В семье портного было теперь уже двое детей. Маленький Иоганн не мог понять, зачем понадобилась родителям еще и крошечная Катрина, которая причиняла одно только беспокойство, мешала спать своим криком и вынуждала мать то и дело стирать ее пеленки. Но Сток и его жена были очень довольны, и мальчик не без ревности замечал, что маленькое существо, которое не умело ни сидеть, ни говорить, непонятно почему часто вызывало улыбки на лицах отца и матери.

Лиза стала давать уроки французского языка немцам. Найти учеников ей помог Вильгельм Вольф. Как-то Лизу вызвали в полутемную столовую пансиона. У окна, почти загородив его своей широкой фигурой, стоял Бакунин. Лиза была рада, что полутьма скрыла румянец, вспыхнувший на ее лице. Она вся преобразилась, и Михаил Александрович, который редко замечал что-либо непосредственно его не касающееся, сказал ей о том, как она красива. Впрочем, он тут же перевел разговор на себя, свои дела и мысли.

Бакунин был необычайно оживлен. Он рассказал Лизе о том, что изгнан из Парижа за речь, произнесенную на банкете в годовщину польского восстания 1830 года. В ней он не поскупился на критику русского самодержавного режима.

— За это, по ходатайству нашей жандармерии, Гизо предложил выслать меня из Франции, — говорил Бакунин. — Но кто оказался наибольшим подлецом во всем деле — это наш блистательный посол Киселев. Вот достойный воспитанник Бенкен-

дорфа! Он, представьте, в низости своей дошел до того, что распустил слухи, будто я был агентом Третьего отделения. Конечно, этому никто не поверил! Но это лишний раз говорит о том, что наши политики иначе как краплеными картами не играют.

Лиза не могла скрыть своего восхищения Бакуниным. На другой день они встретились в скромном кафе «Швейцария», недалеко от городской ратуши. Здесь обычно бывали изгнанники, нашедшие приют в Бельгии.

Бакунин был менее оживлен и чем-то раздосадован. Неразделенная любовь делала Лизу особенно наблюдательной и чуткой.

— Что с вами? — спросила она с беспокойством.

— Ничего особенного,— ответил Бакунин.— Надо действовать! Вести народ на приступ дворцов, низвергать власть тиранов, а здесь, в Брюсселе, взамен этого только резонерствуют. Карл Маркс читает лекции рабочим о наемном труде и капитале, о заработной плате. Зачем это? Надо заряжать пушки, а он портит рабочий люд, делает из него «мыслителей». Какое-то теоретическое сумасшествие!

Лиза всплеснула руками.

— Но ведь рабочие должны знать, за что им драться на баррикадах. И неужели вы откажетесь вступить в их союз? Кто помешал бы вам отстаивать там свои идеалы?

Бакунин побагровел, его большое привлекательное лицо стало некрасивым от ярости, серо-синие глаза округлились.

— Никогда, слышите, никогда не вступлю я в Союз коммунистов, в собрание разных там ремесленников! Никогда не захочу иметь с ними никаких дел. В их обществе нельзя дышать полной грудью. Советую вам читать Прудона и Фейербаха именно потому, что их отвергают теперь Маркс и Энгельс.

— Что вы говорите! Ведь Маркс и Энгельс признают значение Фейербаха для истории, философии и германской общественной мысли. Они сами многому у него научились,— ответила Лиза, вспомнив лекцию, которую недавно слушала.

— И, однако,— снова вспылил Бакунин,— они заявляют, что в области социально-политической Фейербах не дошел до конца и остался вне коммунистического учения. Все экономические теории Маркса — ложь и глупость. Меня они нисколько не интересуют. Ведь я слышу, как, подобно вулканическому извержению, приближаются народные восстания. Земля колеблется. Под натиском стихий не устоит и русское самодержавие.

Лиза придвинула свою тонкую руку ближе к большой грубоватой руке Бакунина и несмело прикоснулась к ней.

— Возьмите меня с собой как сестру, как друга. Я пойду с вами куда захотите: на баррикады, в изгнание, на смерть.

Он удивленно взглянул на девушку. На лбу его пролегла, но тут же исчезла морщинка.

— Простите, Лиза! Вы, наверно, не подумали о том, что я не принадлежу себе. Жизнь моя кочевая, неустроенная. Да и такие, как я, ведь обреченные.

— Но ведь вы верите в торжество справедливости! — сказала Лиза.

— Да. Но достигается она ценою великих жертв, самоотречения и крови.

— Значит, правы те, кто учит, как побеждать наверняка и с наименьшим количеством жертв?

— Чушь! Победа будет за храбрыми, свободными духом, ненавидящими цепи рабства! — воскликнул Бакунин.— «О, рабочий люд, судьба твоя — загадка!» Верно говорит Прудон.

Лиза отдернула руку, которую взял было Михаил Александрович, поспешно встала из-за стола и, сославшись на начавшуюся головную боль, покинула кафе. Ей было тяжело, более одиноко, чем всегда, и стыдно за свой не понятый Бакуниным порыв.

В тот же день Лиза пошла к жене Стока. К ней она чувствовала симпатию и доверие. Женевьева, много страдавшая, без слов смягчила горести русской девушки.

Перед домом (он стоял на окраине города), где жил Сток, с оравой ребятишек играл маленький сын портного. Разделившись на две группы — бельгийских «повстанцев» и голландских «солдат», отчаянно дралась на мостовой детвора. «Повстанцы» выкрикивали революционные лозунги. Маленький Иоганн изображал генерала Меллине и побеждал противников.

Женевьева в одно и то же время умудрялась готовить обед, нянчить крикливую Катрину и наблюдать в окно за расшалившимся сыном.

Увидев Лизу, она торопливо положила дочку на большую семейную постель, бросила ложку на стол и вытерла передником сиденье высокого резного стула.

— Хотите кофе? — спросила она.

— Да не хлопочите, пожалуйста, Женевьева. Я только на минутку, посмотреть на вас и узнать, как учится маленький Иоганн. Не помочь ли ему?

— Ленив мальчонка. Зато мой муж превратился в примерного школьника. Сыну бы его прилежание.

— Вот как! Чему же учится господин Сток?

— Он ходит на лекции доктора Маркса в нашем «Рабочем обществе». И поверите ли, вечером пишет и читает, читает что-то и пишет час за часом! Жаль, что нам, женщинам, не понять их премудрости. Никогда еще мой Иоганн не был так доволен и не учился столь прилежно. Вот посмотрите, сколько он исписал бумаги!

Лиза, чуть улыбнувшись, взяла из рук Женевьевы тетрадь.

«Маркс вчера объяснял причины кризисов,— прочла она, открыв наугад страницу.— Он сравнивает их с землетрясениями. И вправду, чтобы уцелеть, промышленный мир приносит тогда в жертву богам преисподней часть своих богатств, товаров и производительных сил».

Перелистав тетрадь, Лиза задержалась на словах о том, что капитал и труд взаимно обусловливают друг друга.

— Неужели вы такая ученая, что понимаете это? А мне кажется, тут и не по-немецки написано,— сказала Женевьева с явным почтением в голосе.

— И мне в этом пока что трудно разобраться,— ответила Лиза.— Надо, видно, подучиться. Нужно и нам знать, почему богатеют одни и едва сводят концы с концами другие.

— Вы думаете, рабочему человеку станет легче жить, если он поймет, отчего у него столько болячек? — спросила Женевьева.

Лизе вдруг припомнился недавний разговор с Бакуниным, злобное выражение его лица, когда он упомянул имя Маркса, и она ответила сухо:

— Знать болезнь — еще не значит уметь ее лечить. Иногда, может быть, лучше оставаться в неведении, раз нет лекарства.

— А если коммунисты найдут его? — спросила Женевьева, но, взглянув в окно, бросилась из дому.

Маленькие бельгийские «революционеры» так ретиво избивали голландских «усмирителей», что на улице поднялся невероятный крик. Перепуганные матери выбежали из домов и принялись растаскивать увлекшихся битвой детей. Иоганн с поцарапанным носом и огромным синяком на лбу отбивался не только от противников, но и от матери и Лизы, которые тащили его с мостовой.

— Мы победили! — кричал он.

Маленький Иоганн становился все более проказливым и непослушным.

— Вот горе мне с ним,— обмывая кровоточащий нос сына, жалобно говорила Женевьева.— Никакой управы на мальчишку!

Лиза попыталась ее успокоить:

— Будет добрый боец, когда вырастет.

— Если до той поры в драке не сломает шею,— заметила мать и вдруг добавила: — Скажите и вы ему, барышня, что слезы матери превращаются в камни и падают на дорогу, по которой идет в жизни человек. Он обязательно споткнется о них и пожалеет впоследствии. Так в детстве не раз говаривала мне, когда я ее огорчала, дорогая матушка.

— Бабушка Катрина храбро дралась на баррикадах. И я буду драться тоже,— выпалил Иоганн и убежал.

Энгельс пробыл в Париже месяц. Во всех слоях населения Франции в это время росло недовольство. Заводчиков и фабрикантов стиснули со всех сторон банкиры, опиравшиеся на короля и его правительство. Народ изнемогал от нищенской зарплаты при двенадцати — четырнадцатичасовом рабочем дне. Всесильный любимец короля Гизо стал ненавистен очень многим. Но он был убежден, что с помощью оружия удержит Францию в повиновении королю, забыв слова ловчайшего из политиков — Талейрана, что штыками можно добиться всего, но сидеть на них нельзя.

В кофейнях на Больших бульварах, возле Биржи и в читальне Национальной библиотеки Энгельс просматривал газеты разных стран, интересуясь всем, чем живет планета. Он читал на разных языках. В ранней молодости Фридрих любил писать «многоязычные» письма, чередуя вперемежку немецкий с английским, французским, испанским, португальским и голландским.

Из Бремена — шумного торгового порта, куда приплывали корабли со всего света,— юноша Энгельс когда-то писал сестре Марии, шутливо кокетничая обширными познаниями в лингвистике:

«Так как я пишу многоязычное письмо, то теперь я перейду на английский язык, или нет, на мой прекрасный итальянский, нежный и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам прекраснейшего сада, и испанский, подобный ветру в де-

ревьях, и португальский, подобный шуму моря у берега, украшенного цветами и лужайками, и французский, подобный быстрому журчанию милого ручейка, и голландский, подобный дыму табачной трубки...»

С годами количество иноземных языков, которые он изучил, все возрастало.

Многие вечера в зиму 1847 года Фридрих провел на собраниях рабочих и ремесленников. Он рассказывал о том, что происходило на Лондонском конгрессе; иногда ему приходилось жестоко спорить с противниками коммунизма.

Как по шелесту листьев в кроне деревьев опытный лесничий определяет приближение бури, Энгельс предвидел по многим приметам в политической жизни и экономике, что близок новый подъем революционного движения.

Встретить новый, 1848 год Энгельс решил на банкете немецких революционных эмигрантов в Париже. Банкеты тогда вошли в моду во всех слоях общества.

Революционная пропаганда Энгельса давно уже беспокоила французские власти. В конце января он получил предписание под угрозой выдачи его прусской полиции в течение суток покинуть Париж. Поздней ночью полиция ворвалась к нему на квартиру, требуя немедленного отъезда. Одновременно были арестованы многие немецкие рабочие-эмигранты. Всем им предъявили обвинение в пропаганде коммунизма. 31 января Фридрих приехал в Брюссель.

Тем временем Маркс писал «Манифест Коммунистической партии» вдохновенно и самозабвенно. Каждое положение этого документа было выношено им давно. Но он отчеканил заново многие мысли.

Среди заметок о заработной плате, в тетрадке, помеченной декабрем 1847 года, которой он пользовался как конспектом при чтении популярных лекций, у Маркса было записано:

«...все так называемые высшие рода труда — умственный, художественный и т. д.— превратились в предметы торговли и лишились, таким образом, своего прежнего ореола. Каким огромным прогрессом явилось то, что все функции священников, врачей, юристов и т. д., следовательно религия, юриспруденция и т. д., стали определяться лишь преимущественно по их коммерческой стоимости!»

Это чудесное сырье дум и выводов превратилось в чеканную блестящую строфу «Манифеста». Маркс писал о современной буржуазной власти, что «...врача, юриста, священника, поэта,

человека науки она превратила в своих платных наемных работников».

По приезде в Брюссель Энгельс стал усердно помогать другу в работе над программой коммунистической партии.

Карл работал медленно, без конца переделывая фразы и отбрасывая то, что казалось ему излишним. Каждую мысль, слово он подолгу отбирал, испытывал и шлифовал, как самый терпеливый и придирчивый гранильщик драгоценных камней. Он создавал непревзойденный по образности, точности и яркости документ, как произведение искусства, из одного целого.

Женни снова и снова переписывала его рукопись и то дивилась, то принималась роптать:

— Сколько же раз можно заново оттачивать, уточнять смысл, заменять то или иное слово? Когда же ты будешь наконец доволен сделанным? Я переписываю весь текст уже третий раз, а отдельные страницы — без счета.

Время шло... В Лондоне, в Союзе коммунистов, начали уже сомневаться, выполнят ли Маркс и Энгельс свое обещание.

И наконец настал незабываемый час, когда Женни дописала рукопись Карла.

— «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма,— произнесла она вслух первые слова «Манифеста».— Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские».

Женни подошла к Карлу, занятому уже новым делом — подготовкой к очередной лекции в «Просветительном рабочем обществе», и положила руку на его плечо. Он обернулся и, взглянув в ее лучистые глаза, понял, какое одобрение и восхищение они выражали. Близость Карла и Женни была так велика, что подчас им не нужно было слов,— взгляд говорил им больше. Маркс взял руку жены, улыбнулся и приложил ее узкие нежные пальцы к усталой голове. Всегда это прикосновение освежало его и радовало.

Как и Женни, он знал, что боевым, неотразимой силы оружием снабжены теперь пролетарии в их борьбе за освобождение и власть.

«Манифест Коммунистической партии», законченный в последние дни января 1848 года, был направлен в рукописи в Лондон, в распоряжение Центрального комитета коммунистов.

Недавний знакомый Маркса и Энгельса портной Фридрих

Лесснер, деятельный коммунист, по прибытии рукописи тотчас же отнес ее в одну из лондонских типографий.

Весь январь и февраль Карл был чрезвычайно занят в редакции, на участившихся собраниях. Давно уже спала семья, а он далеко за полночь сидел за рабочим столом, то читая, то покрывая листы бумаги острыми, извивающимися и трудно разбираемыми буквами. Книги и газеты на разных языках наполняли комнату.

В эти ночные, ничем не нарушаемые часы мысль Маркса, как световой луч, обегала планету, и оттого мир казался вовсе не таким большим, как когда-то в Трире, когда он изучал глобус и представлял себе Землю необъятной и таинственной.

Карл думал об Италии, где народ вооружался против Австрии. В Швейцарии шла гражданская война. Впервые все двадцать два кантона соединились в одну федеральную республику. Германия была охвачена брожением. Соединенные Штаты Америки победили в войне с Мексикой...

«Манифест Коммунистической партии» вышел из печати в конце февраля 1848 года. В книге было 23 страницы. Имена авторов — Маркса и Энгельса — в этом первом издании не были указаны.

«Манифест Коммунистической партии» охватил все области политической и социальной жизни мира. Он учил рабочих борьбе и победе.

Гордым призывом к пролетарской революции заканчивается этот гениальный исторический документ:

«Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Каждая высказанная в «Манифесте» мысль Маркса и Энгельса о будущем счастливом бесклассовом коммунистическом обществе принадлежит вечности.

Очень скоро после выхода в свет «Манифеста» рабочие узнали и оценили его.

В те же дни мир обошла весть о начавшемся восстании в Париже. Пал трон Луи-Филиппа. Революция смела буржуазно-королевскую власть и, как огонь по сухой траве, перекинулась в Бельгию. Король Леопольд I сумел хитростью и, главное, уступчивостью предотвратить свое падение. Он созвал либерально настроенных министров, депутатов парламента и мэров городов страны и заявил, что немедленно подчинится и отречется

сам от престола, если такова будет воля народа. Леопольд I говорил все это опустив глаза, вздыхая столь драматически, изъявлял такую покорность, что присутствующие в тронном зале парламентарии-буржуа умилились и поспешили успокоить короля заявлениями о том, что не имеют никаких замыслов ни против него лично, ни против королевской власти в Бельгии.

Едва кончилась эта чувствительная сцена, как Леопольд I приказал войскам разгонять народные собрания, стихийно начавшиеся на площадях города. Одновременно полиция получила приказание начать травлю и усиленную слежку за революционерами-изгнанниками из других стран. Власти опасались народных масс, и особенно рабочих.

Как только весть о революции в Париже дошла до домика Маркса, возбуждение и радость охватили всех. Наконец-то!

До поздней ночи не спали в семье Маркса. В детской стояли теперь уже три кроватки. Женни родила сына. Маленький Эдгар, названный в честь брата Женни, любимого друга детства Карла, сосредоточивал на себе любовь всей семьи. Ребенок поражал всех осмысленным взглядом темных больших глаз и красивым выпуклым лбом. Родители, сестренки и Ленхен души не чаяли в спокойном, здоровом, веселом мальчике.

В этот полный треволнений день Карл, решивший с самого начала революции, что его место отныне в Париже, написал туда требование отмены приказа о высылке и начал готовиться к спешному отъезду. Очень долго сидели у него друзья, с которыми он делился мыслями о наступившей революции, о том, как действовать коммунистам.

Карл, получивший незадолго до этого небольшое наследство, тотчас же передал свои деньги для покупки оружия. Остальные члены «Рабочего союза» давали также кто сколько мог. На собранные деньги были куплены револьверы, ружья, кинжалы.

Через несколько дней, в субботний вечер, совершенно неожиданно, Маркс получил с нарочным королевский приказ в течение двадцати четырех часов покинуть Бельгию. Это не огорчило его. Карл, Женни и Ленхен принялись укладывать чемоданы и готовиться в путь. Им помогали в этих поспешных сборах несколько случайно забредших друзей.

Когда далеко за полночь все разошлись, Карл, по обыкновению, вместе с Женни прошел в детскую, чтобы взглянуть на спящих детей. Но вдруг раздался резкий стук во входную дверь. Ленхен, домывавшая посуду на кухне, поспешила открыть. Карл в это время снова занялся укладыванием своих чемода-

нов. Вопреки бельгийскому закону, запрещающему нарушать неприкосновенность жилищ граждан между заходом и восходом солнца, десять вооруженных полицейских агентов во главе с полицейским комиссаром ворвались в квартиру Маркса и предложили ему следовать в тюрьму городской ратуши. Никаких оснований для ареста не было предъявлено. Ему сказали лишь, что его паспорт якобы не в порядке, хотя он предъявил полиции документы, разрешающие проживать в Брюсселе, где он уже находился три года!

Все в доме всполошились. Только Маркс сохранял невозмутимость и старался успокоить разволновавшуюся Женни. Ленхен принялась сначала бранить полицейских, затем закрыла лицо фартуком, чтобы скрыть слезы. В детской от топота ног проснулась Лаура и громко позвала мать. Ее крик разбудил Женнихен. Только Эдгар спокойно спал в своей колыбельке.

За окном была холодная зимняя ночь. Овладев собой, Ленхен принялась поспешно искать в шкафу теплую одежду, шейный платок для Карла. Впервые эта спокойная и собранная женщина раскидала по стульям и столам белье, которое всегда так тщательно стирала, гладила и складывала.

Женни ходила следом за Карлом, точно этим могла удержать его. Мысль, что сейчас она останется без мужа в этой квартире одна, приводила ее в полное отчаяние.

— По какому праву смеют арестовывать тебя? Это произвол. Я сейчас же пойду к магистру общественной безопасности, подниму на ноги всех, в ком есть еще совесть и честь. Я все скажу, что думаю об их порядках,— говорила она.

Полицейские торопили Маркса. Не желая усиливать отчаяние жены и беспокойство, охватившее дом и передающееся детям, которые громко плакали, Карл поцеловал девочек, ободряюще коснулся рукой плеча Ленхен и, крепко обняв Женни, вышел на улицу со своими конвоирами.

Но Женни, несмотря на его просьбу остаться до утра спокойно дома и поберечь себя и детей, выбежала на улицу, на ходу застегивая шубку и завязывая капор.

«Карл, я не могу остаться без тебя!» — повторяла она, отталкивая полицейского. Никакие уговоры Маркса не действовали. Лишь у подъезда полицейского управления стража грубо оттеснила Женни от Карла.

Маркса ввели внутрь дома, и дверь за ним глухо захлопнулась. Женни осталась одна на темной сырой улице. Часовой по-

требовал, чтобы она отошла от ворот. Это были страшные для нее минуты. Вернуться домой и ждать рассвета казалось ей невозможным. Дом без Карла?! Нет и нет! Дрожь прошла по ее телу, когда она представила себе, что входит в его кабинет, где книги и вещи еще хранят на себе его тепло, его прикосновение... А вдруг его искалечат, убьют?

Сердце жены и друга Карла, сердце Женни забилось так сильно, что причинило ей острую боль. Любовь к мужу она ощущала теперь с еще большей силой.

«Надо что-то делать, вырвать его из лап полиции»,— думала она, стучась в разные дома малознакомых, казавшихся ей влиятельными людей. Ее встречали то с удивлением, то с досадой за прерванный сон, то с желанием помочь люди в шлафроках, с заспанными лицами и взлохмаченными волосами и бакенбардами. Слуги видных чиновников со свечами провожали Женни до подъезда, сомневаясь в ее рассудке.

Женни зашла также к бельгийскому адвокату г-ну Жотрану, председателю «Демократической ассоциации». Он всегда предлагал свои услуги преследуемым иностранцам.

Подле собора Святой Гудулы она встретила своего друга — Жиго. Крайне взволнованный арестом Карла, он пошел с ней по пустынной улице.

Внезапно к Женни подошли два полицейских.

— Госпожа Маркс? — спросил один из них.— Отлично! Вас нам как раз и надо.

— Где мой муж?

— Следуйте за нами, и мы покажем вам, где он находится.

Женни была так утомлена, что едва держалась на ногах. Жиго проводил ее до полиции.

Через час Женни ввели в смрадное помещение — длинный каменный коридор с несколькими окошечками, забранными ржавыми решетками в стенах. «Тюрьма,— подумала Женни.— Здесь где-то Карл, и я, может быть, с ним рядом». Этого она и хотела.

Тюремный сторож, которому передали ее полицейские, потянул взвывший, как горемычный пес, засов и открыл камеру.

— Иди,— сказал он, подтолкнув Женни.

Смрад чуть не вызвал у нее рвоту. Она с трудом сделала шаг по скользкому полу и вошла внутрь. Тотчас же снова заскрипел засов и щелкнул замок.

Женни сначала ничего не могла разглядеть вокруг. Откуда-то доносился храп, кто-то тяжело вздыхал. Обойдя омерзи-

тельно пахнущую парашу, Женни нащупала жесткие деревянные нары. Полное безразличие, безмерная усталость сковали ее. Мир, свобода, представлялось ей, были так отныне далеки и недосягаемы, что теряли реальные очертания. Казалось, давным-давно она уже покинула свой дом.

Вдруг Женни охватило острое беспокойство о детях. Ей стало казаться, что Ленхен бросили в тюрьму и никогда больше ей не суждено обнять своих близких. Она зарыдала. Чья-то худая, жесткая рука прикоснулась к ней.

— Не плачь-ка и ложись. Утро вечера мудренее. В тюрьме сидят не звери,— сказал ей хриплый голос.

Свет чадящего фонаря, висящего над дверью, был так слаб, что Женни не смогла разглядеть лица женщины в лохмотьях, которая уступила ей свое место на нарах.

Пощупав скромную, но добротную одежду Женни, всмотревшись в нее, женщина сказала с состраданием:

— Ишь ты какая, а тоже попалась. От тюрьмы и сумы, видать, не отказывайся.

Несмотря на предельное отчаяние и напряжение, Женни все-таки уснула, подложив руки под мокрое от слез лицо.

Проснувшись, она сначала не могла понять, где находится. Все окружающее показалось ей кошмаром. На нарах сидели и лежали женщины, вид которых красноречивее всяких слов говорил об их мытарствах.

Это были бездомные старухи, беззубые, бледные как трупы; бродяги, на лицах которых запечатлелись не только всевозможные пороки, но и многолетняя нищета; развязные или угрюмые проститутки. Они бессовестно врали и хвастались друг перед другом отчаянными кражами, ловкими мошенничествами и богатыми содержателями.

Утром Женни встала на нары и выглянула. Каково же было ее удивление и радость, когда она увидела у противоположного окна, за железной решеткой, усталое лицо друга — бельгийского архивариуса Жиго. Он узнал ее и стал жестами показывать ей на тюремный двор.

Взглянув вниз, Женни не могла сдержать крика. Она увидела Карла, которого вели куда-то под конвоем.

Вскоре Женни перевели в другое помещение, совершенно не топленное, где она оставалась в течение трех часов, дрожа от холода. Через час ее вызвали к следователю. Довольно учтиво у нее пытались получить подтверждение того, что Карл не был лоялен в отношении бельгийского правительства. Однако, ничего

не добившись, следователь дал распоряжение отпустить Женни на свободу.

А Маркс тем временем находился в камере с буйно помешанным, от которого ему ежеминутно приходилось обороняться.

К вечеру Карл получил предписание немедленно покинуть Брюссель и вернулся домой. Там его ждал ответ Временного французского правительства, которое в самых вежливых выражениях отменяло приказ о его высылке. Письмо было подписано Фердинандом Флоконом, знакомым Энгельса и Маркса, редактором газеты «Реформа».

Париж снова был открыт Карлу, и он вместе с Женни срочно выехал туда, где не смолкала «Марсельеза», где торжествовала победу революция.

Сток и Женевьева также собирались во Францию. Никогда еще Иоганн не был так возбужден, как с той минуты, когда узнал, что в Париже началась революция.

Революция! Как долго, как напряженно ждал он ее. Мысль эта ускоряла его пульс. Невольно прошлое снова воскресало в его памяти. Лионское восстание, «Общество прав человека», два года одиночного заключения. Это был его капитал политического деятеля, его завоеванное право называться революционером.

Даже время убийственного пребывания в прусском каземате он не считал пропащим. Там он потерял здоровье, но познал себя и окреп как боец.

Он не жалел о страшных годах тюрьмы. Они обогатили его душу не менее, нежели тайные заговоры и участие в восстании «Общества времен года» Огюста Бланки.

«Ничто не пропадает даром в жизни человека, умеющего думать и чувствовать»,— размышлял Сток.

Женевьева принялась укладывать жалкий скарб семьи, готовясь к скорому отъезду из Бельгии. Ей предстояло снарядить в дорогу также двух детей. Маленькая Катрина ползала в ногах матери и теребила ее фартук. Сын Иоганн сильно изменился за последнее время. Из ребенка он превратился в крепко скроенного, уверенного подростка. Он реже шалил, реже дрался на улицах с мальчишками, стал подражать отцу, стараясь казаться степенным и молчаливым. Со времени известий о революции Иоганн пытливо прочитывал каждую попавшуюся ему в руки

газету или воззвание. Как и родители, Иоганн-младший рвался в Париж. Революция... Вначале он смутно понимал, что это слово означает, хотя оно и раньше постоянно доносилось до его слуха. В детстве он воспринимал его как женское имя, потом как таинственный пароль и только в Брюсселе недавно понял, что взрослые, произнося его, подразумевают борьбу за свободу, баррикады, сражение, где жизнь или смерть.

В это время Сток получил расчет, к большому неудовольствию хозяина, который ценил его за добросовестность и трудолюбие.

— Ну, куда тебя несет? — говорил он, разводя недоумевающе руками.— Торопишься сделать жену вдовой, а детей сиротами? Сломишь ведь ты в этом дьявольском пиру себе шею. У нас в Брюсселе все как-то тише и безопаснее. Наш проповедник, мудрый человек, называет революцию потехой чертей. Ну, чего тебе не хватает? Жил бы себе да поживал. Там, глядишь, и домик бы приобрел, сам бы портняжное заведение открыл. Руки у тебя золотые, к тому же и не пьешь. На что вам нужно какой-то коммунизм на земле устраивать, людей благодетельствовать! Все равно до богачей и королей не доберетесь.

Сток не стал спорить и, пожелав хозяину здоровья, распрощался с ним навсегда.

Хозяин был верующий протестант и проповедовал смирение. Долго смотрел он вслед уходящему прихрамывающему Стоку, силясь понять, зачем тот бросает насиженное место и спокойную работу.

Вместе с семьей портного в Париж собирался и Сигизмунд Красоцкий. Поляк тоже был взволнован, вспоминая, как восемнадцать лет назад участвовал в польском восстании.

«Революция пробьется из Франции на восток и в конце концов поднимет польский народ на борьбу за свободу!» — думал он.

Наконец был назначен день отъезда. Накануне вечером проводить товарищей пришли рабочие-бельгийцы и те из немцев и поляков, которые собирались уехать из Брюсселя позднее. Они принесли с собой пиво и закуски. Вскоре в комнатенке Стока стало шумно и накурено.

Выпив и закусив, поговорили о предстоящей дороге, затем кто-то затянул песню. Внезапно Женевьева, разрумянившаяся и помолодевшая, начала «Марсельезу». Не все присутствующие хорошо знали слова, но страстный мотив никого не оставил равнодушным. Запели все.

Вместе с взрослыми [redacted] Великой французской революции пел и юный Иоганн. Смутное чувство радости и тревоги охватило его душу.

Маленькая Катрина удивленно вслушивалась в звуки, заполнявшие комнату.

— Вот это песня! Под нее и жить, и сражаться, и умирать хорошо,— сказал Сток.

После пения наступило молчание. Каждый подумал об отъезжающих и о будущем, которое так много обещало. Сток, вдруг вспомнив о чем-то, порылся в карманах и достал книжечку в желтой, словно весенние лютики в лугах, обложке. Кое-кто из рабочих узнал ее:

— «Манифест Коммунистической партии»!

Книжка пошла по рукам, но каждый из берущих предварительно вытирал, чтоб не испачкать тонкую обложку, свои исколотые, натруженные руки. Женевьева, всегда питавшая особое почтение к печатному слову, с беспокойством следила за рабочими, перелистывавшими и разглядывавшими книгу.

— Иоганн, дружище, ты — известный грамотей. Почитал бы нам, что ли,— попросил седобородый каретник и добавил: — Не велика книжечка: тридцати листиков не наберется, а, говорят, мудрее любого катехизиса.

Иоганн придвинул лампу и начал медленно читать.

Вступление поразило всех слушателей.

— Значит, страшен богачам коммунизм-то,— сказал раздумчиво все тот же седой старик.

Сток читал все громче и увлеченнее. Рабочие и ремесленники придвинулись ближе к столу, стараясь уловить каждое слово, каждую мысль «Манифеста Коммунистической партии».

Сток читал:

— «...общество все более и более раскалывается на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга, класса — буржуазию и пролетариат».

Женевьева, захваченная чтением, ощутила мучительное беспокойство. Время как бы стремительно передвинулось для нее назад, и она увидела себя ползущей с кусками корпии и кувшином воды под пулями на мосту предместья Круа-Русс в Лионе. Шел бой. Раненые звали ее на помощь...

Сток продолжал читать:

— «...Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии.

...В ледяной воде эгоистического расчета потопила она свя-

щенный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод *одну* бессовестную свободу торговли».

— Святая правда,— сказало несколько голосов.

— «...Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников».

— Отец,— не выдержал Иоганн,— значит, нам не побороть ее никогда. Сильна буржуазия, всех сильней на свете?

Сток ответил сыну словами «Манифеста»:

— «...буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие,— современных рабочих, пролетариев».

— Выходит, как всегда, что это наш долг, наше дело убить змия,— сказал все тот же каретник. Он недавно перешел к коммунистам от сторонников утопического учения Кабе.

— Конечно, наше! На кого же еще надеяться? — раздались голоса других слушателей.

— «Коммунисты не являются особой партией,— читал далее Сток,— противостоящей другим рабочим партиям.

У них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом».

— Постой, старина,— спросил один из друзей Стока кузнец из Кёльна, живший по соседству.— Скажи-ка нам, кто же написал эту рабочую библию? Эту песнь песней? На обложке ничего об этом не сказано.

— «Манифест Коммунистической партии» — это программа нашего союза,— ответил Сток.— Его написали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Еще не старые они люди, а все поняли, потому что они настоящие ученые.

— Золотая книга! — раздалось сразу несколько голосов.

Ударив по плечу Стока, старик каретник сказал:

— В начале книги говорится: призрак коммунизма бродит по Европе. Очень хорошо. Теперь этот призрак уже облекся в плоть и кровь во Франции. Гляди же, Сток, чтоб буржуазия снова нас, рабочих, вокруг пальца не обвела.

...Поздней ночью Сток остался один у стола со своими мыслями. Женевьева с детьми крепко спала. Иоганн снова углубился в чтение книги, ставшей для него священной.

Он нашел то, что искал всю жизнь: «Манифест» стоил, по его мнению, всех книг, которые он прочитал, всех слов, которые

он слышал. Охватывая область всей политической и социальной жизни мира, он учил Стока борьбе и победе. Портной более не сомневался, что он, его дети, его класс явятся творцом нового, коммунистического общества, которое возглашал «Манифест», и гордая радость переполнила его душу.

И, улыбаясь, как улыбается узник, когда наконец перед ним открылись ворота тюрьмы, он повторил:

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

VIII. ПРАЗДНИКИ ИСТОРИИ

Вдова старшего сына короля Луи-Филиппа герцогиня Орлеанская не решалась лечь в эту ночь.

Накануне вечером по королевскому приказу на бульваре Капуцинов солдатами линейного королевского полка была в упор расстреляна мирная народная демонстрация. Пение «Марсельезы» заглушила стрельба. Более пятидесяти человек было убито. И снова над Парижем раздался клич: «Да здравствует республика! Долой короля! Мщение!»

До поздней ночи на телегах увозили погибших. Моросил холодный дождь. Шипели факелы.

Луиза Орлеанская в третий раз послала горничную разведать, что происходит в городе. Та принесла тревожные вести. Начинались пожары. Движение по улицам стало невозможным. Повсюду воздвигались баррикады, достигавшие высоты двух-, а то и трехэтажного дома. Сторожевые будки, захваченные на улицах кареты, срубленные деревья, столбы, бочки, доски, навалены кучами, загораживали улицы и переулки. Вооруженные пикеты восставших задерживали и опрашивали прохожих. Плошки, прикрепленные к палкам, освещали грозные баррикады и их защитников. На стенах домов появились воззвания: «Граждане! Луи-Филипп, король банкиров, приказал нас убивать, как это сделал Карл X. Пусть он отправляется вслед за Карлом X!», «Долой королей! Мы требуем республику!», «Свобода, равенство и братство!»

Луиза, сидя у камина, смотрела, как статс-дамы распоряжались укладкой ее вещей. Над загромоздившими комнату большими сундуками с металлическими гербами Орлеанского дома на стенках суетились камеристки, укладывая груды кружев, мехов, тяжелых парчовых и невесомых шелковых платьев.

Сновавшие с кладью слуги вносили необычное беспокойство в неприветливые величественные дворцовые залы.

Герцогиня вспомнила о том, что революция 1830 года принесла ее тестю, Луи-Филиппу, корону и богатство. Но отец короля, Филипп Эгалитэ, был обезглавлен во время первой великой революции. Луиза, едва преодолевая нахлынувший страх, быстро поднялась с кресла, подошла к окну и приоткрыла портьеру. Февральская ночь показалась ей особенно угрюмой, зловещей. Вдали мелькали силуэты людей с зажженными факелами, доносились слова «Марсельезы». Она впервые поняла их угрожающий смысл:

Дрожи, тиран! И ты, предатель,
Переползавший рубежи,
Ты, подлых замыслов создатель,
Перед расплатою дрожи.
Любой из нас героем будет,
И если первые падут,
Французы смену им найдут,
Их голос Родины разбудит.
К оружию!..[1]

Герцогиня злобно потянула к себе край бархатной портьеры и отошла к камину. Чтобы скрыть охватившее ее волнение, она наклонилась к огню и принялась медленно ворошить длинными щипцами тлеющие угли.

Что несет с собой завтрашний день для нее и ее маленького сына, графа Парижского, наследника престола? Честолюбивая и властная, она не раз мечтала избавиться от постоянной опеки скупого короля и поучений ханжи королевы.

Охваченная тревогой, Луиза не могла больше оставаться одна и подозвала статс-даму, которой особенно доверяла.

— Не находите ли вы, что король, имевший перед собой страшный пример падения Карла Десятого, мог принять энергичные меры, чтобы подавить мятеж? Колебания в столь опасный момент могут принести нам всем гибель. Я никак не могу понять, что привело чернь к бунту.

— Ваше высочество,— почтительно, но с достоинством ответила статс-дама,— революции, как извержения вулканов или землетрясения, вне человеческой воли. Это божья кара.

Лакеи шумно захлопнули сундуки, доверху набитые вещами. Статс-дама выслала слуг и подошла с поклоном к Луизе, чтобы напомнить ей о драгоценностях. Но герцогиня медлила и про-

[1] Перевод П. Антокольского.

должала всматриваться в разгорающееся пламя камина. Часы, которые некогда украшали спальню казненной королевы Марии-Антуанетты, пробили двенадцать раз. Луиза Орлеанская, встряхнув пышно убранной головой, чтобы отогнать тревожные мысли, решительно направилась к шкафу, где в потайных ящиках хранились ее драгоценности. Она торопливо сняла с шеи длинную золотую цепь с ключиком ювелирной работы, усыпанным алмазами, и открыла замок с секретом.

В это время без доклада, нарушив сложный этикет, размахивая руками и как-то странно подергивая плечом, в комнату вошел министр Луи-Адольф Тьер. Ему было за пятьдесят. Маленького роста, с необыкновенно короткой талией, он напоминал суслика, ставшего на задние лапы. Скрывая глаза, на узком носу торчали огромные очки.

— Что-нибудь случилось? — спросила Луиза, мгновенно оробев.

— Прошу ваше высочество немедленно отправиться к королю. Решается судьба династии. Торопитесь,— резко, со свойственной ему бесцеремонностью ответил Тьер. Но, заметив испуг в больших глазах Луизы, смягчился и добавил вкрадчиво:— Ваш сын, граф Парижский, и ваше высочество, смею надеяться, спасут обезумевшую страну.

Лицо Луизы вспыхнуло. Страх сменила надменность. «Неужели регентство?» — подумала она и, сразу овладев собой, сказала:

— Я верю, благоразумие возьмет верх во Франции... Прошу вас сопровождать меня к его величеству.

Накинув на себя шаль, низенькая полная герцогиня оперлась на руку Тьера и, стараясь придать себе величавость, направилась в противоположное крыло дворца Тюильри, в королевские покои. На широком дворе, который им пришлось пересечь, толпились, громко споря, офицеры и солдаты королевской гвардии. Луиза не обратила внимания на царивший во дворе шум и необычайный беспорядок. Она внимательно вслушивалась в то, что говорил ей Тьер, и даже не замечала раздражавшего ее прежде провинциального акцента министра.

— Ваше высочество хочет знать, что происходит в Париже? Дворцы сегодня — осажденные крепости. Чернь снова охвачена безумием. Увы, вал поднимается, грозя поглотить всех нас. Если бы король внял моим советам, моим настояниям, если бы он отправился немедленно в Сен-Клу...

— В Сен-Клу? Но зачем?

— Чтобы призвать армию и с нею двинуться назад к столице. Мы приступом овладели бы Парижем и растоптали бы мятежников. Пусть это будет стоить большой крови, многих жертв. Тем лучше. Мы уничтожим всех врагов порядка, монархии, инсургентов, которые восстают против тех, кто двигает прогресс. Дикари уже сожгли один из дворцов Ротшильда. Франции нужен хирург. Нож. В этом ее спасение.

Тьер остановился. Глаза его за стеклом очков засветились.

— Вы правы. Ваш план выражает ум и волю. Надо отрезвить народ. Но что же рецил король? — спросила Луиза, не скрывая своего восхищения Тьером.

— Гизо и королева отговорили его величество, и он отверг наступление извне на Париж. Тем хуже,— мрачно ответил Тьер.

— Неужели же вы, как Пилат, умыли руки? Гизо — рок для нашей семьи, вы — ее спаситель.

— Благодарю вас,— загадочно улыбнулся Тьер,— я ваш верный слуга, запомните это.— И, снова подергивая плечом и размахивая рукой, он продолжал: — Сегодня на площади Карусель мне удалось заставить короля вовремя повернуть коня и отступить во дворец.

— Отступить? Я вас не понимаю.

— Увы, вслед королю из окон летели пули. Национальные гвардейцы скрестили штыки и потребовали реформ. Мужайтесь, герцогиня. Жребий брошен. Король Луи-Филипп вынужден отречься от трона в пользу вашего сына.

Тьер и Луиза Орлеанская вошли в большой зал. Король, осунувшийся и одряхлевший, сидел в кресле. Вокруг стояли члены его семьи, придворные и поодаль — Гизо.

В больших бронзовых канделябрах горели свечи. Их колеблющийся свет падал на посеревшее растерянное лицо Луи-Филиппа с его большим «бурбонским» носом и выпяченной губой, на выхоленную руку Гизо. Гобелены на стенах оставались в полутьме, и вытканные на них фигуры пастухов и пастушек казались более живыми, нежели король и его окружение.

— Когда я взошел на престол,— сказал Луи-Филипп, обводя всех выпуклыми рыбьими глазами,— эта старая лиса Талейран предсказал мне, что я процарствую всего семнадцать лет. Очевидно, он считал меня столь же безрассудным, как и Бонапарт, или глупым, как Карл Десятый. И что же, здание, которое я воздвигал с таким тщанием, тоже оказалось непрочным. Но безумцы, уничтожающие плоды моих трудов, еще покают-

ся и, как блудные сыны, придут, чтобы пасть к ногам отца своего.

Оживившись и привстав с кресла, король недоуменно развел руками:

— Как это все началось? Ничего не понимаю. Ведь еще вчера народ не просил у меня ничего, кроме реформ. Зачем же сегодня ему требуется республика? Ведь я же обещал им реформы, я пожертвовал даже верным Гизо и назначил Тьера и Барро. Подумать только, до чего дошли безумцы, они уничтожили решетку храма Успения богородицы и священными прутьями подпирают баррикады.

Король замолчал. Все присутствующие учтиво вздохнули.

Заметив вошедшего Тьера, Луи-Филипп подозвал его движением руки.

— Верно ли, что вас стащили с кабриолета и окунули в грязь?

Тьер подтвердил это.

— Ах, как ужасно, — всплеснул руками король.

— Мятежники разграбили оружейные магазины, обезоружили посты, деревья в парках и бульварах навалены, как после бури,— сказал Тьер.

— Сколько баррикад воздвигли бунтовщики в моей столице? — спросил, задыхаясь, Луи-Филипп, прижав руку к сердцу.

— Более двух тысяч, государь,— с готовностью ответил Тьер.

Луиза Орлеанская, скрывая истинные чувства, торопливо подошла к королю и, опустившись перед ним на колени, нарочито громко и патетически воскликнула:

— Умоляю, государь, не отрекайтесь от престола. Корона непосильно тяжела для нас. Вы, вы один созданы для того, чтобы ее носить!

Король ничего не ответил. Кое-кто из дам зарыдал. Королева подошла к Луизе и поцеловала ее.

— Дитя мое, ваш сын под именем Луи-Филиппа Второго будет достойным преемником своего деда.— И добавила сквозь слезы: — Мой дорогой муж, французы не стоят такого доброго короля, как вы. Я верю, что...

— Время не терпит! — прервал бесцеремонно Тьер разглагольствования королевы.— Мятежники приближаются, мы бессильны. Поздно, слишком поздно!

— Как поздно? — закричал король.— А где же моя гвардия?

Маршал Бюжо, вы уверяли меня, что отвечаете за мою безопасность. Действуйте. Я даю вам все полномочия!

— Ваше величество,— ответил Бюжо,— я бессилен. Слишком поздно.

Король подписал отречение в пользу внука и объявил, что тотчас же покидает Францию.

Луиза Орлеанская решительно отказалась ехать. В ее руках было отречение короля в пользу графа Парижского, ее юного сына. Это означало, что она становится правительницей Франции до совершеннолетия Луи. Мечты ее сбылись. Она не могла более скрыть своей радости. Едва простившись с низложенным королем и его женой, Луиза по совету Тьера отправилась в Бурбонский дворец, чтобы оттуда явиться в палату депутатов.

Отряды Национальной гвардии и восставшего народа подошли между тем к Тюильри. Королевские гвардейцы вышли им навстречу и подняли ружья прикладами вверх. Братание сопровождалось объятиями. Полетели каскетки, шляпы, кирасы, меховые шапки. Все запели «Марсельезу»:

Французы! Будьте в ратном поле
Великодушны и добры,
Пред вами жертвы поневоле,
Наемники чужой игры.
Но весь ваш правый гнев — тиранам,
Кровавым тиграм наших дней,
Кто тело Родины своей
Обрек неисчислимым ранам.
К оружью, граждане! Равняй военный строй!
Вперед, вперед, чтоб вражья кровь
Была в земле сырой.

Народ не хотел более никаких королей. Испуганный Луи-Филипп бежал из Тюильри через боковой выход у вращающегося моста. Там его ждал экипаж. Однако народ заметил Луи-Филиппа. Один из офицеров охраны обратился к молчаливо взиравшей на низложенного короля толпе:

— Господа, пощадите короля!

В ответ несколько голосов крикнули:

— Мы не убийцы, как он. Пусть уезжает!

Лошади тронулись, и экипаж помчался по набережной, затем свернул на площадь с белым обелиском, где в годы первой великой революции стояла гильотина. Король вздрогнул и откинулся на спинку сиденья. На этом месте по воле народа скатились некогда головы Людовика XVI и герцога Орлеанского, отца его, Луи-Филиппа.

Отпустив короля из Парижа без единого оскорбительного слова, народ ринулся в его дворец. Мимо богато сервированных столов, через спальни, где валялись брошенные роскошные женские платья, меховые ротонды, тончайшее белье, кружева, страусовые перья, веера и ценные безделушки, люди бежали к тронному залу. Им казалось, что, разбив в щепы и предав сожжению лепной золоченый трон, они как бы навсегда освобождают свою страну от ненавистного ига монархии.

Трон Луи-Филиппа был сожжен несметной толпой народа на площади Бастилии. Танцы и песни сопровождали эту символическую расправу с королевской властью.

В эти дни ни одна вещь не была украдена в покоях низверженного Луи-Филиппа. Так безгранично и глубоко было презрение народа ко всему принадлежащему королям, что ни одна теплая шаль, которая могла бы согреть ребенка в семье бедного труженика, ни одна свеча, которая осветила бы лачугу, не была взята из дворцов.

Луи-Филипп Орлеанский был корыстолюбив, алчен, ненасытен в стяжательстве. Уверовав в несокрушимость своей династии, он предавался страсти накопления. Скупал угодья, леса, дворцы, разорял государственную казну, входил в огромные долги, которых не платил. Неисчислимы были его коллекции часов, статуэток, картин и скульптур из бронзы.

Король задолжал тридцать миллионов франков. В одном только замке Нейльи свалено было про запас свыше двадцати пяти тысяч восковых свечей. В февральскую ночь 1848 года, когда народ поджег дворец Нейльи, свечи эти озарили ярким пламенем старые липы, мраморные беседки и статуи королевского сада.

— Вот это костер! — говорили восставшие. Огонь, казалось, достигал неба.

Самое высокое, чистое и лучшее, что таится в человеческой душе, раскрывалось и господствовало в светлые дни революции. Труженики точно обретали себя, расправляя плечи. И чтобы не стать снова рабами, они уничтожали вещи, фетиши. Сгорел дотла старинный дворец Орлеанов — Пале-Рояль.

Но герцогиню Луизу — отныне королеву-регентшу — разгул революции не беспокоил. Она провела неповторимые часы, предвкушая власть, которую ей вручил король. Слушаясь во всем Тьера, она подготовила умилительную сцену. Пешком, скромно одетая, в черном вдовьем платье, вместе со своими двумя сыновьями и несколькими герцогами она прибыла в палату депу-

татов, чтобы выслушать решение народных представителей. Кое-кто из монархистов встретил ее появление приветствиями. Одилон Барро, учтивейший приверженец династии Орлеанов, предложил собравшимся признать королем графа Парижского при регентстве герцогини Орлеанской. Но в зал хлынули вооруженные отряды республиканцев.

— Низложим всех Орлеанов! Да здравствует республика! — закричали со всех сторон.

Луизе, пытавшейся выступить с подготовленной речью, не дали говорить. Председатель надел шляпу и объявил перерыв. Но гул и крики не смолкали. Ледрю-Роллен, юркий краснобай, пытавшийся уместиться на двух стульях — пролетариата и буржуазии, всегдашний сторонник средней линии, вскочил на трибуну и попросил выслушать его, но ничего не добился. Его сменил поэт Ламартин. Он не терял ни одного часа в эти все сметающие дни и, отбросив лиру, стремился протиснуться к власти. Он зачитал список Временного правительства. В то же время в редакции газеты «Реформа» Флокон, Луи Блан и их приверженцы составляли свой список министров.

Через несколько часов в ратуше была провозглашена республика.

Луиза Орлеанская в сопровождении Тьера покинула палату депутатов. Они шли пешком. Вот уже двое суток, как в Париже не видно было ни одного экипажа.

Пряча лицо под вуалью, Луиза медленно шла подле Тьера по бульварам. Деревья были срублены. Кое-где путники натыкались на разбитые статуи, опрокинутые скамьи. Под ногами звенели осколки стекла. Наконец Тьер без долгих разговоров и церемоний препроводил претендентку на престол в Дом Инвалидов, где ей затем пришлось провести несколько тревожных дней. Она уже ни к чему больше не стремилась, ей хотелось только одного — поскорее очутиться в Англии. Там высадился ее свекор, бывший французский король, со своим многочисленным семейством.

На прощание Тьер сказал Луизе бесцеремонно:

— Мадам, я боюсь, что профессия королей вышла из моды. Им грозит безработица. Я нахожу, что лучшая форма правления, менее других разделяющая народ, это республика. Исключение можно сделать только для империи, если во главе ее стоит гигант, подобный Наполеону. Но титаны более не родятся. А жаль... Вспомните Талейрана. Хорошо, говорил он, когда стадо баранов ведет лев, но плохо, если львов поведет баран.—

Тьер вдруг замахал руками и закачался на маленьких ногах. Он громко смеялся.— Заверяю вас, герцогиня,— сказал он уверенно,— рано или поздно бараны опять позовут льва — царя зверей. Было уже немало революций, а конец один. Все равно какой-нибудь король будет управлять стадом.

— Что же, пришел конец династии Орлеанов? — спросила Луиза, с трудом скрывая чувство ненависти к министру-плебею.

— Может быть, мне это все равно. Мой отец, когда я родился, был бедным ремесленником.

— Но ведь вы истый буржуа,— удивилась герцогиня.

— Это теперь не имеет значения. Я за тех, кто победил. Банкротство всегда результат ошибок. Успех — венец истинных достоинств. Прощайте, мадам.— Тьер исчез в ночной темноте.

Луиза долго смотрела ему вслед. Она не сомневалась, что этот изворотливый честолюбец еще не раз предаст тех, кто ему доверится, и свершит не одно подлое дело. У него было будущее, которого она уже не видела перед собой. А может быть, история еще вынесет и ее на поверхность? Надежда придала неудачливой правительнице силы. Луиза прошла в главный зал Дома Инвалидов. Это была усыпальница Бонапартов. Посередине на богатом постаменте стоял гранитный гроб Наполеона. Несколько лет тому назад сын короля Луи-Филиппа, принц Жуанвильский, привез сюда останки императора с острова Святой Елены.

«Потомки этого корсиканского самозванца во всяком случае никогда больше не взойдут на престол. Если монархия воскреснет, мой сын — вот кто первый претендент на корону»,— подумала Луиза.

В день отъезда в Англию к герцогине явилась толпа кредиторов ее свекра, низложенного короля Луи-Филиппа. Владелец пекарен, тощий бородатый длинноногий старик, представил счета на двадцать пять тысяч франков, торговец яйцами и маслом, чей пискливый голос был крайне неожиданным при его могучем сложении, совал прямо в лицо Луизе Орлеанской пачку долговых расписок более чем на шестьдесят тысяч. Отчаянно ругались поставщики мяса и зеленщики. Король задолжал им свыше ста тысяч франков.

— Не думайте, что мы не отыщем толстяка Луи и за морем! — кричали кредиторы.

— Король еще вернется! — прервала их возмущенная Луиза.— Вы первые позовете его. Сейчас, когда чернь взбунтовалась, вы обнаглели. Но именно королю вы обязаны своим

достатком. Пусть вернет вам бог разум и чувство благодарности!

Но кредиторы еще долго не унимались. Луиза вынуждена была укрыться от них в отдаленных комнатах Дома Инвалидов.

...Вскоре и она оставила Францию. Волна истории на мгновение подняла ее на гребень, чтобы тут же отбросить в сторону. Никогда больше династии Орлеанов не суждено было взойти на французский престол.

Французы говорят о Париже, что это столица всех столиц земли, место мировых встреч, вторая родина для изгнанников, предмет постоянного сожаления для тех, кто вынужден его покинуть. Париж, по их мнению, высится, как огненный столб, направлявший некогда библейский народ, сияет звездой, служившей маяком восточным правителям.

Средневековая легенда считала основателем древней Лютеции — праматери Парижа — мифического Геркулеса. Но прославленный город в 1848 году был плохо вымощен, в жару пылен, в дождь грязен. Рядом с особняками знати, с дворцами королей стояли невзрачные дома с темными подворотнями; в узкие тесные улицы вокруг ратуши и Вандомской площади едва пробивался солнечный свет. В предместьях Сен-Дени и Сен-Мартен было много лавок с огромными вывесками. Бакалейщики украшали свои магазины натюрмортами или назидательными картинами. Изображения пеликана, раздирающего свое тело, чтобы накормить детенышей, были в большой моде. На вывеске-картине торговца бургундскими товарами бог и апостол Петр, выглядывая из облаков, рекламировали устриц. Под картиной было написано:

«— Петр, я хочу спуститься на землю попробовать вкус этого животного, которое не знаю и не помню, чтобы я создал.

— Вы останетесь довольны вкусом устриц, продаваемых этой фирмой.

— Спасибо за справку,— говорит бог,— никогда не поздно получить хороший совет».

На парижских рынках фруктами и овощами торговали алжирцы, тунисцы и марокканцы. На столичных улицах всегда было много цветочниц.

Настал март 1848 года. В Париж продолжали съезжаться изгнанники-революционеры из многих стран — немцы, поляки, ирландцы, итальянцы. Временное правительство Второй респуб-

лики гостеприимно открыло им двери столицы. Из тюрем вышли прославленные борцы «Общества времен года» Огюст Бланки и Барбес. То, что еще недавно казалось недосягаемой мечтой, внезапно осуществилось.

Могучие лучи мартовского солнца никогда не возвращали к жизни быстрее деревья и травы. Природа милостиво одаривала людей. Ранняя теплая весна украсила Париж. Он ожил после зимы и засиял. Трехцветные и пунцовые знамена, революционные эмблемы, белые статуи Свободы, торжественные шествия и песни, бодрые, веселые, шуточные, героические, изменили празднично французскую столицу.

Карл и Женни Маркс не узнавали города, который был им обоим дорог. Ведь на улице Ванно провели они первый счастливый год после женитьбы!

Маркс любил Париж. Он знал его улицы, площади, окраины, его лучшие книгохранилища, памятники, музеи, театры. Здесь безмерно обогатилась его мысль. Маркс почерпнул в бурной истории Франции многое из того, что помогло ему понять законы, неумолимо двигающие вперед человеческое общество. У него было много друзей среди вожаков французских рабочих тайных обществ. Но Париж первых дней февральской революции показался Карлу иным, новым.

С улиц исчезли скучающие франты, надменно размахивающие тонкими тросточками с золотыми набалдашниками. Не стало тучных господ, презрительно посматривающих через лорнет, и брюзгливых барынь в светлых ротондах, восседавших на мягких сиденьях кабриолетов. Не видно было и самих экипажей с рослыми кучерами на козлах и ливрейными лакеями на запятках. Кое-где еще оставались баррикады, возникшие стихийно, как горы в минуту землетрясения. Распевая песни, их торопливо разбирали работники в пестрых блузах, с засученными рукавами, с красными шарфами на шеях. Работа спорилась, сопровождалась смехом и шутками.

— Не хотели одной трети, взяли все,— говорили они, играя двояким значением слова «Тьер», означающего на французском языке также и одну треть.

— Долой решетки! — отвечали им, намекая на то, что Барро — фамилия любимца Луи-Филиппа и ставленника Гизо — означает также решетку. Боязливо косились на рабочих, разбиравших свои бастионы-баррикады, лавочники и их жены с поглупевшими от страха лицами.

С каждым часом город становился наряднее и чище. Мос-

тили улицы, восстанавливали пострадавшие от пожаров и снарядов дома и памятники. Опустели тюрьмы. Отменена была смертная казнь. Никто не помешал герцогине Орлеанской и Гизо отправиться вслед за низверженным королем в Англию.

Революция всегда кажется чудом для тех, кто, как узник, благодаря ей выходит на свет из тьмы. Ощущение легкости, когда с истерзанного тела сняли кандалы, беспредельное раздолье поднимает в душе все самое чистое и светлое.

Рабочий, полунищий, обремененный большой семьей, нашел во дворце Тюильри триста тысяч франков и тотчас же сдал их правительству. Не было предела героизму тружеников Парижа. Сами испытавшие голод, унижения, страдания, обретя свободу и права, они преисполнились состраданием и добротой, какую редко видел мир. Парижане, исконные любители зрелищ, были охвачены опьянением движения, шума, красками и звуками.

Блаженство победы охватило пролетариев Парижа. Казалось, что все преграды отныне рухнули, что зло, нищета, несчастья навсегда уничтожены. Незнакомые друг другу люди разных национальностей чувствовали себя братьями. История перевернула еще одну страницу.

Чувства Карла и Женни обострились. Город пел и радовал слух, улицы были щедро украшены знаменами, лозунгами, и каждое слово волновало, как свершение желаний.

Свобода собираться под небом или в богатейших замках столицы, чтобы публично обсуждать насущные жизненные вопросы. Право объединяться в союзы, голосовать и отстаивать то, что несет счастье обездоленным. Возможность участвовать в шествиях, провозглашать те идеалы, за которые еще так недавно рабочие проливали кровь и жертвовали жизнью. Никогда заря над Парижем не казалась Женни такой нежной, свежей и прекрасной.

Как-то ранним утром Карл и Женни вышли на улицы французской столицы.

Каждый миг в эти дни стоил всей человеческой жизни. Карл и Женни почувствовали себя участниками величайших событий истории, ради которых стоило жить и терпеть любые испытания.

Женни шла по улицам, опьяненная весной, восторженным гулом толпы, радостью, светившейся в глазах людей, пестротой флагов, доносившимися отовсюду звуками музыки и песен.

На площади Согласия, куда в полдень пришли Карл и Женни, толпился народ. Среди множества картузов изредка мель-

кали мягкие шляпы. На гладко зачесанные волосы женщины накинули скромные косынки. Царила удивительная в столь многолюдном сборище тишина. Все благоговейно ловили каждое слово человека, говорившего стоя с сиденья наемного фиакра.

— Да это же Огюст Бланки,— сказал Карл жене, протискиваясь поближе к оратору, чтобы рассмотреть его. Он никогда раньше не видел Бланки, но отлично знал по дагерротипам это худое, преждевременно изборожденное глубокими морщинами лицо, эти острые глаза с фанатическим блеском, узкий рот аскета. Маркс знал и всю историю его жизни и борьбы.

— Как он сед, как изможден,— прошептала Женни.

— Что же удивительного, много раз уже он сидел в тюрьме, больше семнадцати лет в общей сложности его держали в суровом заключении.

Сын жирондиста Огюст Бланки, руководитель «Общества времен года», был приговорен к смертной казни после неудавшегося восстания 1839 года. Борьбе за республику он посвятил свою жизнь. В крепости Мон-Сен-Мишель, в каменном гробу, о стены которого постоянно разбивались морские волны, отбывал он пожизненное заключение взамен смертной казни. Теперь он снова был на свободе.

Яркий солнечный свет еще больше подчеркивал зеленовато-серый цвет лица Бланки. Оно будто переняло навсегда окраску стен тюремных камер, где он провел большую часть жизни. На этого непреклонного человека непрерывно обрушивались несчастья. Пока неукротимый бунтарь был в заключении, его жена, хрупкая, нежная женщина, умерла, не выдержав пытки страхом за его жизнь и долгой разлуки. Огюст Бланки горячо любил только одну эту женщину и дал клятву, что будет верен ей до самой смерти.

В то недолгое время, когда Бланки жил вместе с женой, они оба были очень счастливы. Вырвавшись из тюрьмы, он не нашел более жены и ребенка. Ему казалось, что безмятежные дни в маленьком домике на медлительной Уазе, где около десяти лет назад он в последний раз обнимал своих близких, приснились ему. Была ли у него жена, которая согласилась нести с ним тяжелую ношу борца? Подруга революционера! Каждый час она была готова к тому, чтобы претерпевать лишения, делить опасности и, может быть, остаться одной навсегда.

Бланки не имел более семьи, но долгие годы заключения и невозвратимые потери закалили его. Никто не видел слез от-

важного борца. Они как бы высыхали в пламени его глаз. С еще большей фанатической страстностью бросился он в стихию революции.

С детских лет Бланки, сын члена Конвента, готовился к борьбе за права народа. Во время июльской революции 1830 года он уже дрался на баррикадах. Когда Луи-Филипп, воспользовавшись народным восстанием, стал королем, Бланки выступил в Париже с речью против монархии и за это был отдан под суд. Рубцы от ран, полученных в уличных боях, шрамы от кандалов, совершенно седые волосы в сорок с небольшим лет — отметины революционера.

Сейчас же после февральской революции Огюст Бланки организовал «Центральное республиканское общество», которое собиралось в зале Прадо. С помощью своих приверженцев он стремился спасти молодую республику. Он слишком хорошо помнил и знал по опыту, как обманчиво бывает безоблачное утро, как временное соглашение между враждебными друг другу сословиями внезапно заканчивается бойней.

— Будьте бдительны, граждане! — призывал Бланки.— Революция — праздник для бедных тружеников, но катастрофа для богачей и деспотов. Не верьте тиграм, даже если они ползают на брюхе. Долой знамена короля, поднимем алые стяги республики! Вспомните июльские дни тысяча восемьсот тридцатого года. Мы сражались тогда на баррикадах не за монархию, а за республику, за свободу, равенство и братство. Сколько крови было пролито французским народом! И что же? Вместо Карла Десятого мы получили Луи-Филиппа. Один хищник сменил другого. Ротшильды и другие финансисты и банкиры создали свою монархию. Восемнадцать лет мы боролись, чтобы вернуть то, что должны были сберечь в тридцатом году...

Карл и Женни, как и вся толпа, жадно вслушивались в слова Огюста Бланки. Он наэлектризовывал слушателей своей внутренней силой, своей убежденностью.

Маркс взял Женни под руку, и они пересекли площадь.

— Железный человек этот ветеран революции,— сказал Маркс.

— Какая цельная душа! Он выстрадал эти тревожные мысли. Вся его жизнь — подвиг. Бедная госпожа Бланки, у нее не хватило сил дожить до этих дней...

Народ под крики «Да здравствует навеки республика!» во главе с Бланки двинулся к ратуше. Появились красные знамена и бюст Свободы — пышнокудрой женщины в фригийском кол-

паке. Кто-то окликнул Карла и Женни. Обернувшись, они увидели Бакунина. Блаженно улыбаясь, он неуклюже обнял Маркса, поклонился низко Женни.

— Мы все пьяны, не правда ли? Одни от безумного восторга и надежд, а те,— Бакунин указал на особняки финансовой знати с угрюмо прикрытыми ставнями,— от безумного страха. Это пир нашим душам без начала и конца. Уже колеблются все троны Европы. В Берлине паника. Меттерних скрылся. Австрия прогонит Габсбургов, в Мадриде раскрыт республиканский заговор. Итальянцы обретут свободу. Революция охватит Польшу и докатится до России.

Бакунин, охмелевший радостью, схватился за голову. Он задыхался от счастья.

— Да, вы правы, Бакунин. Революции — это праздники истории,— сказала Женни радостно.— Какое ликование!..

Маркс взял Бакунина под руку, и все трое пошли по бульварам.

— Кто бы мог подумать, что вы, русские, еще более темпераментны, чем французы и мы, рейнландцы,— сказал Маркс.— Казалось бы, снега и льды охлаждают ваши порывы. А в действительности у вас пылкие сердца и горячие головы. Сегодня у нас поистине русский день. Мы виделись уже с Павлом Анненковым. Всегда столь сдержанный, он стал теперь неистов и красноречив, как Сен-Жюст.

— Разверзлось небо! — вскричал Бакунин.— Никто не может остаться теперь равнодушным. И что всего удивительнее, с первого дня достигнута кульминационная точка. Кто бы мог думать! Стихийная революция, почти что мгновенно увенчавшаяся республикой. Французские работники точно на сказочных крыльях взлетели на вершину самых недосягаемых желаний. Прощайте, друзья, спешу в клуб якобинцев. Есть уже и такой, он находится на улице Сены. В Париже свыше семидесяти клубов. Имеются и женские,— обратился Бакунин особо к Женни.— Советую записаться. Революция победила и движется на восток.

— Вы неисправимый мечтатель. Революция не веселый карнавал, она, увы, противоречива и начинена порохом,— сказал Карл раздумчиво.

Бакунин нахмурился, покраснел.

— Ваш скепсис, Маркс, убийствен.

Попрощавшись, Бакунин быстро двинулся по улице. Маркс, улыбаясь, смотрел ему вслед.

— Гражданин Маркс! — обернувшись, крикнул Бакунин.— Я надеюсь свидеться с вами у Гервега.

— Обязательно, гражданин Бакунин,— помахав шляпой, весело ответил Маркс.

Карл с раннего утра до поздней ночи был на ногах. Он отыскал немало прежних друзей, побывал на улице Вожирар, посетил рабочий клуб и присоединился к демонстрации, идущей к зданию Временного правительства с петицией о немедленном повышении заработной платы и борьбе с безработицей. Его закружил вихрь свободы. Невероятное действительно стало обыденным. «Но что будет дальше? — задавал себе вопрос Карл.— Как развернутся события?»

После бурных февральских дней армия труда, выходя из конур и подвалов, устраивала свой великий смотр. Как в годы средневековья, воскресли в Париже своеобразные цеховые корпорации. Столяры, водовозы, каретники, портные и их подмастерья, кучера почтовых карет, извозчики, мастера седельные, ткачи, железнодорожники, рабочие сахарных, химических заводов и газовых компаний объединялись в союзы. После бурных заседаний они нередко шествовали с приветствиями и требованиями туда, где заседало Временное правительство.

Они шли с песнями, которые рвались из переполненных ликованием сердец и сопровождали отныне каждый шаг, каждое действие революции. Яркие знамена и ленты, белые статуи Свободы, фригийские колпаки, вздернутые на острия пик, символические фигуры санкюлотов первой революции придавали особый колорит этим шествиям. Могучее четвертое сословие грозно заявляло о себе, внушая трепет буржуазии.

Монархия Луи-Филиппа не имела своей черной Вандеи — опоры во французской провинции. Революция победоносно продвигалась по всей стране. В Лионе — рабочей столице Франции — впервые после кровавых восстаний тридцатых годов развевались снова красные знамена. Рабочие навсегда разрушили в этом прославленном героическом городе ткачей крепостную стену, с которой их столько раз расстреливали королевские пушки. Ратушу, где когда-то их подло обманул, прикинувшись другом, префект Бувье Дюмуляр, и улицы города охраняли рабочие патрули. Порядок был восстановлен, и рабочие принялись за организацию мастерских, чтобы уничтожить безработицу. Тем, кто не имел еще заработка, выдавались бесплатные боны на хлеб. Так было в марте во всех даже самых отдаленных уголках Франции.

По всей стране, как и в Париже, происходили праздничные народные банкеты. Духовенство служило панихиды по расстрелянным на бульваре Капуцинов в первые дни февральской революции, и священнослужители вместе с прихожанами, заканчивая службу, пели в храмах «Марсельезу».

Солнечная весна. Разливались реки, неслись с гор ручьи. По всей Франции народ сажал деревья свободы, украшая их красными лентами. Это стало традицией революционной поры.

«Народы для нас братья, тираны — враги»,— раздавался на парижских улицах припев новой, полюбившейся народу песенки.

Маркс изучил все революции, которые когда бы то ни было сотрясали Европу. Греция, Рим дали ему бесчисленные примеры того, как боролся угнетенный человек в рабовладельческом обществе. Он изучал восстания и революции в Англии. История для него была ключом к будущему.

События первой великой революции во Франции были известны Марксу до мельчайших подробностей, и то, что казалось Марату, Робеспьеру загадкой или неподолимой силой судьбы, для Маркса было исторической необходимостью. Он знал, в чем причина падения якобинцев и как случилось, что Луи-Филипп Орлеанский стал монархом.

Как и Энгельс, Карл не удивился революции во Франции. Они предвидели ее, как астроном предвидит появление кометы. Маркс понимал, что эти дни накладывают на каждого революционера небывалую ответственность. Нельзя было терять ни одного часа.

Карл и Женни отправились к Гервегам. В квартире поэта, которую его жена, дочь банкира, обставила с показной роскошью, в эти дни господствовал хаос. Эмме пришлось примириться с тем, что ее обшитые турецкими коврами диваны заменяли отныне постели нескольким приехавшим из Бельгии немецким изгнанникам. В столовой в стиле ампир со стола не исчезала ни днем, ни ночью посуда, и какие-то казавшиеся ей подозрительными и совершенно невоспитанными бедняки располагались в гостиной и кабинете Георга, как у себя дома. Эмма не могла скрыть своего недовольства, между ней и мужем возникали частые споры.

Но ранее покорный и вялый Георг совершенно преобразился. Он стал говорлив. Былого сплина и томного выражения глаз как не бывало.

— Рабочий,— любил повторять он восторженно,— отвержен-

ный и нищий,— вот герой, вот истинный суверен Франции сегодня. Долой шляпу перед картузом, как поют на улицах, на колени перед пролетарием. Он истинно храбр в битве и великодушен, когда побеждает.

Эмме казалось, что муж издевается над ней. Ее пугало, что он не нуждается больше в ее заботах.

— Всегда, когда Георг такой, он делает одни только глупости, влюбляется и заводит себе любовницу,— говорила она, округляя свои редко мигающие совиные глаза и до шепота понижая грубый, неприятный голос.

Нередко она пробовала жаловаться на Георга его давнишнему другу Бакунину. Но тот отвечал ей неумеренными похвалами поэту, и Эмма, досадливо пожав плечами, умолкала.

Зачастил в их дом и подружился с Гервегом приехавший из Брюсселя Адальберт фон Борнштедт. Он еще более высох и посерел. Скрытый недуг подтачивал этого безукоризненно выдрессированного человека. Эмма нашла в Борнштедте, как ей казалось, полное понимание, и она не уставала восхвалять его:

— Вы, подлинный аристократ, отдали всего себя неблагодарному делу — осчастливить тружеников. Они не поймут вашей жертвы.

В ответ Борнштедт низко кланялся и многозначительно качал круглой головой.

Борнштедт, Бакунин и Гервег обсуждали положение в разных странах Европы. Они решили сделать все возможное, чтобы ускорить революцию в Пруссии и Польше.

Насколько искренни были Гервег и Бакунин, настолько же скрытен Борнштедт.

За несколько лет до февральской революции этот опытный провокатор рассорился с прусской тайной полицией и остался на службе только у австрийцев. Однако, когда началась революция, он порвал и с Веной. С этого времени Борнштедт потерял навсегда покой, так как считал, что революционный поток разольется по всей Европе, тайное станет явным и его ждет суровое возмездие. В поисках спасения он решил совершить какой-нибудь героический подвиг, рассчитывая таким образом привлечь к себе симпатии и заслужить доверие немецких революционеров. Воинственный план Гервега как нельзя более соответствовал его расчетам.

— Итак, решено,— заявил Борнштедт,— соберем в кулак всех немецких изгнанников-революционеров, создадим мощный

легион, вооружимся и двинемся на германскую границу. И монархия падет!

— Французские братья нам помогут! — вскричал Гервег.— Мы с вами, Адальберт, поведем легион. Победа или смерть!

— Превосходно,— поддерживал Гервега Бакунин,— ты не только великий поэт, но и настоящий революционер. Ваш план поможет и мне наконец осуществить заветную мечту. Революция должна начаться также и в Польше. Восстание тысяча восемьсот тридцать первого года научило поляков борьбе за независимость и свободу. В Париже находятся тысячи польских повстанцев. Я уже установил связь с Польской централизацией. Впрочем, если они будут медлить, я сам выеду в Прагу и в Познань. Я отдам все силы тому, чтобы поднять восстание в Польше. А к польской революции присоединятся все славяне. И, обрастая как снежный ком, превращаясь в грозную лавину, славянские революционные войска двинутся на Николая Романова. Это единственная возможность навсегда разделаться с кровавым русским самодержавием. Все славянские племена и народы создадут тогда единую республику, подобно тому как галлы осуществляют теперь мечты великого Брута. Но славянская революция должна быть свершена руками славян! — Бакунин повысил голос.— Я вижу, друзья, также вольную Италию, Испанию. Не удивлюсь, если и на небе господь бог объявит вскоре вселенскую республику.

— Браво! — зааплодировал фон Бориштедт.— За вами, несомненно, пойдут народы. Я полностью разделяю вашу тактику. Необходимо, дорогой Гервег, скорее собрать всех немецких революционеров, создать боевой легион и двинуться через границу. Мы поведем его вместе. Перед всезажигающим энтузиазмом наших бойцов не устоять ни юнкерскому правительству, ни самому королю. Пришел последний час тиранов!

— Да будет так! — обрадовался Георг.

— Осанна! — сказал Бакунин и сложил комически пальцы крестом.

В это время в кабинет Гервега ворвалась Эмма. Крупные неправильные черты ее лица стали еще безобразнее от искажавшей их злости.

— Умоляю вас, господа, воздействуйте на Георга. Только что к нам снова ввалился с багажом какой-то немецкий бродяга, приехавший из Брюсселя. Это, видимо, ткач или портняжный подмастерье. От его одежды пахнет потом. Меня тошнит от запаха этого блузника в картузе, в скрипучих сапогах. И Георг

пригласил его к нам. Они, видите ли, отправятся вместе делать революцию в Германии!

Гервег рассвирепел.

— Эмма, это человек, у которого ты должна учиться благородству. Он будет жить у нас, даже если ты из-за этого переедешь в гостиницу,— закричал поэт, наступая на растерявшуюся жену.

Эмма притихла и, пятясь, исчезла за портьерой.

Бакунин взглянул на часы и стал прощаться.

— Поверите ли, друзья мои,— сказал он,— нынче я встал в четыре часа поутру. За этот подлинно безумный день перевидел уйму народу, но никого не запомнил. Говорил, говорил, говорил со всеми, но не удержал в памяти ни одного сказанного мною или услышанного слова. В этом нет, однако, ничего удивительного. Всеми чувствами, всеми порами впитывал я революционную атмосферу и терял отдельные черты происходящего передо мной. На каждом шагу новые предметы, новые известия и надежды без конца и края.

Уже стоя у двери, Бакунин вдруг хлопнул себя по лбу.

— Кстати, чуть не запамятовал. Нынче видел Маркса и сговорился встретиться с ним здесь. Мне кажется, немецкий философ все еще не понимает, что главное сейчас — это разрушение. А созиданием пусть занимаются потомки. Слов нет, он многое постиг в материалистических науках, а вот не понял до сих пор, что главное — это стихия... Пожалуй, мне лучше уйти. Не по сердцу мне этот немец. Побегу в студенческий клуб. Там Ламартин, отлично прозванный кем-то большой шарманкой революции, будет удивлять народ фейерверком красноречия.

— Да, Ламартин — оратор искусный,— заметил Гервег,— на днях он начал речь так: «Мы творим сегодня высшую поэзию...» Сей певец жирондистов, католицизма, Луи-Филиппа и, наконец,— кто мог бы подумать — республики взлетит высоко.

— Власть заманчива, и на ее огне сгорают, как в аду, души честолюбцев,— скрипучим глуховатым голосом, без малейшей улыбки на мертвенном лице сказал фон Борнштедт.

Вскоре после ухода Бакунина раздался удар молоточка по входной двери. Вошли Карл и Женни Маркс. Их радостно встретили хозяева и несколько немецких изгнанников, недавно прибывших в революционный Париж. Завязалась шумная беседа. Эмма с удивлением смотрела на Женни. Видимо, Женни чувствовала себя отлично среди бородатых людей, более чем скромно

одетых, в стоптанной обуви, которые бесцеремонно расположились в квартире Гервегов.

— Вы стали чрезмерно демократичны, дорогая Женни. Признаюсь, коммунизм, когда его олицетворяют пусть честные и несчастные, но столь грубые простолюдины, пугает меня. Я перестала спать и худею, когда думаю о будущем.

Женни от души рассмеялась.

— Напрасно, Эмма. Я никогда не была такой счастливой, как теперь.

В это время Борнштедт в самых изысканных выражениях пригласил обеих женщин, а затем Гервега и Маркса поехать вместе с ним в театр. Он достал ложу в Комеди Франсез. Сама Рашель, лучшая актриса Франции, должна была выступать в этот вечер.

Вскоре все пятеро вышли из дому. Стемнело. Зажглись фонари. Будничный вечер казался праздником. Никогда так громко и весело не смеялись на улицах Парижа. Смех, беспечный, безудержный, счастливый, вызывающий, дерзкий, несся над толпой. Смягчались лица и голоса людей. Исчезли накрахмаленные банты и тугие цилиндры. Появились простые шляпы и свободно повязанные галстуки. Продавцы газет заглушали уличный шум, выкрикивая последние известия:

— Заговоры в Вене — Меттерних исчез из замка Иоганнисберг!

— Луи-Филипп высадился в Дувре!

— Всеобщая революция приближается!

Маркс и Гервег остановились у киоска и купили вечерние выпуски газет.

— Земля минирована, пороховой шнур прокладывает себе дорогу под царские дворцы,— сказал Гервег.— Наше дело — поднести огонь.

В газетах перечислялись делегации иностранцев, побывавшие в этот день на заседании Временного правительства.

— Вот это уже подлинный церемониальный марш демократов Европы,— заметил Гервег.— Прочти сообщение, как через своих сынов, живущих в Париже, приветствовали победу революции норвежцы, англичане, греки, болгары, итальянцы, румыны, ирландцы, поляки.

У самого здания театра улицу запрудило шествие пожарных. Вслед за ними со знаменами и песнями прошли, возвращаясь с торжественного заседания в одной из секций Парижской коммуны, рабочие сахарного завода.

Наконец можно было снова продолжать путь. Борнштедт пожаловался Эмме и Женни на болезнь горла, которая, по мнению врачей, угрожает ему вскоре потерей голоса.

— Все это очень досадно,— говорил он хрипло,— голос — это тоже оружие в дни революции.

— Не правда ли, Георг — врожденный трибун? Он превосходный оратор,— заметила Эмма.

— Конечно. Я безмерно рад, что Гервег внял моим уговорам и согласен стать во главе вооруженного немецкого отряда. Он докажет, что поэт может быть и революционным полководцем. Не волнуйтесь,— добавил Борнштедт,— я буду с ним рядом.

Георг и Карл шли поодаль и тихо разговаривали.

— Борнштедт разработал удивительный план, который поддерживаю я и Бакунин,— начал Георг. Но по мере того, как он рассказывал о затее с вторжением в Германию вооруженного отряда, лицо Маркса мрачнело.

Поэт заметил это и вспыхнул:

— Ты не согласен с тем, что это единственный способ вызвать революционный взрыв в Германии? — спросил он запальчиво.

— Здесь не место и не время для такого разговора,— сумрачно ответил Карл. Они подходили к зданию Комеди Франсез, переименованной теперь в театр Республики.

— Нет, скажи мне сейчас же, что ты думаешь об этом,— настаивал поэт.

— Ваш план в корне порочен. Нельзя импортировать революцию. Вы с Борнштедтом обрекаете людей на бессмысленную гибель. Что могут сделать несколько сот человек, даже если они хорошо вооружены, против регулярных армий германских королевств и княжеств?

— Ты всегда боялся риска, Карл. Нельзя жить только головой, иногда надо слушать голос сердца,— твердил Георг, задерживая Маркса у входа.

— Сердце — плохой советчик, если нет головы,— пытался отшутиться Карл.

Они вошли в фойе театра, где их поджидали Женни, Эмма и Борнштедт.

— Умоляю, оставьте политические споры,— схватив под руку мужа, твердила госпожа Гервег.— Это ужасно. Я больна от этой вашей революции. Мои нервы не могут ее выдерживать дольше. Она убьет не только меня, но и великого немецкого поэта.

Театр был переполнен. Сощурив утомленные от постоянной ночной работы глаза, Маркс с интересом разглядывал зрителей. Рабочие в широких блузах и их жены в дешевых шалях поверх простых платьев восхищенно и вместе с тем с едва уловимой робостью оглядывали нарядный театр. Женщины прятали натруженные руки и смущенно улыбались. Мужчины нарочитой развязностью старались прикрыть неуверенность. Рядом с пролетариями сидели люди, одетые в такие же блузы из хлопковой или грубой шерстяной ткани. Из-под воротников, из широких манжет предательски вылезало тончайшее нижнее шелковое белье, а из грубых башмаков — пестрый дорогой чулок. Еще разительнее выглядели богатые женщины. Исчезли великолепные прически и накладные локоны, украшения, меха и кружева. Не только одежда, но и манеры изменились у переодетых богачей. В то время как рабочие переговаривались шепотом, буржуа старались шуметь и бесцеремонно толкаться в проходах, щеголяя растрепанными головами и давно не бритыми лицами, стремились замаскироваться в этой разнородной толпе, сойти за тех, кто, поднявшись с житейского дна, с поражающей легкостью опрокинул королевский трон, изменил образ правления в стране и создал республику.

— Ах, посмотрите,— громко восклицала Эмма, долго и жадно разглядывавшая в бинокль партер и ложи,— это же владелец самого большого ювелирного магазина в Париже господин Поль. Его жена имеет такие же жемчуга, как госпожа Ротшильд. Представьте, каждая жемчужина величиной с вишню. Господин Поль, очевидно, взял напрокат костюм у своего привратника. А вот и сама мадам, его супруга. Взгляни, Георг, на ней грубые башмаки и юбка судомойки! — Эмма смеялась гулким басом.— Тут подлинный маскарад,— продолжала она и принялась перечислять всем известные фамилии парижских богачей.— Напрасные старания, их выдают выхоленные руки и длинные ногти,— злорадствовала жена Гервега.

Впервые Эмма Гервег испытывала удовлетворение, что ей, жене изгнанника-революционера, нечего бояться. Значит, могущество не только в деньгах, которые она принесла в приданое поэту. Более того, в такие дни не стоило вовсе вспоминать о том, что отец Эммы был видным банкиром. Теперь не она спасала Георга, а он ее. Эта дикая, по мнению жены Гервега, мысль была столь неожиданной, что она не заметила, как тихо пополз занавес. На большой сцене, убранной красным бархатом, стояла огромная гипсовая статуя Свободы. Ее охраняли Спар-

вает наш план установления республики в Германии, но и жертвует вольному легиону кроме оружия и снаряжения деньги и предоставляет этапное помещение. Каждый легионер будет получать по пятидесяти сантимов в сутки до тех пор, покуда мы не покинем гостеприимную Францию. Это превосходно. Мы уничтожим германский деспотизм.

Возмущение Карла нарастало. Итак, чудовищная, бессмысленная, кровавая затея осуществлялась. Подходя к кафедре после пылкой и бессвязной речи Гервега, Маркс едва подавлял в себе чувство гнева и негодования. Он знал, что ему нужно взять себя в руки и преодолеть раздражение, иначе ему не уверить слушателей. Только полное спокойствие на трибуне может убедить аудиторию. Он остановился, чтобы окончательно овладеть собой, и невольно бросил уничтожающий взгляд на сидевших перед ним Гервега и Борнштедта. Поэт передернул узкими плечами, нервно пригладил изнеженной, в перстнях, рукой волосы. Оливковые щеки его внезапно стали багровыми, и на лице на мгновение появилось выражение испугавшегося своей проказливости ребенка. Он резко откинулся на спинку стула и постарался принять вызывающую позу. «Что ж, история скоро скажет, что я прав», — хотелось ему крикнуть.

Карл все это заметил и с облегчением ощутил полное безразличие к бывшему другу. Георг Гервег больше не существовал в его сердце. Борнштедт оседлал утиный нос большими очками, скрывшими воспаленные, слегка косившие глаза.

Судьба сотен немецких революционеров, находившихся сейчас в этом зале, наполняла тревогой сердце Карла. Надо было предупредить их об опасности. Он принял вызов Борнштедта и Гервега и вступил в бой.

Голос Карла гремел и наполнял собой зал. Он шел и от разума, и от большого, доброго сердца. Карл лишился еще одного дорогого ему друга ради того, чтобы не дать смутить и подвергнуть бессмысленной гибели своих соотечественников-революционеров. Немало дней провел Маркс с Гервегом. Много раз в семье поэта Карл и Женни чувствовали себя, как в родном доме. В стихах, мыслях, поступках Гервега было много частиц души Маркса. Но дело борьбы за революцию решало. Гервег вольно или невольно вредил, изменил. И дружба обернулась враждой.

— Борнштедт и Гервег призывают к тому, чтобы импортировать революцию из Франции в Германию. Революция не парфюмерия, не предметы роскоши! — гневно заявлял Маркс.

Маркс объяснил, почему министры французского Времен-

ного правительства, особенно такие, как Ламартин, весьма рады избавиться от многих тысяч немецких ремесленников и рабочих. Во Франции свирепствовала жестокая безработица. Избавиться от конкурентов-тружеников и одновременно от бесстрашных и опытных революционеров — мечта многих буржуа в Париже. Это стоит не пятьдесят сантимов...

— Но главное не в этом,— продолжал Маркс.— Что сможет противопоставить один легион, состоящий из самых мужественных борцов-революционеров, регулярной армии тридцати с лишним немецких королевств и княжеств? Геройство и смерть. Авантюристическая игра в революцию будет стоить жизни лучшим нашим людям. В угоду чему пойдут они на гибель? Интригам одних,— Карл отыскал глазами Борнштедта,— и мальчишескому тщеславию и эгоизму других...— Он вытянул руку в сторону Гервега.

Бывший агент прусского и австрийского правительств дрожащими пальцами протирал очки. «Если б я мог его убить!» — думал Борнштедт.

— Как я ненавижу его! — шептал Георг, ерзая на стуле.

— Революция во всей Германии наступит очень скоро. В этом не может быть сомнения,— продолжал Маркс.

— Гадаете на кофейной гуще. Пророчествуете,— взвизгнул Гервег.

— Нет. Это историческая неизбежность,— строго ответил Маркс.

Его волнение давно улеглось. Спокойно, убежденно, просто, как недавно в Брюсселе, когда он читал лекции в «Рабочем просветительном обществе», Карл объяснял собравшимся то, что происходило изо дня в день в экономической и политической жизни их родины.

Борнштедт зорко вглядывался в притихший зал. Слова Маркса разрушали чары, которыми пытались околдовать слушателей он и Гервег. «Маркс сорвет все, что мне удалось сколотить с немалым трудом»,— бесился Борнштедт. Не поворачивая головы и лишь скосив глаза, он взглянул на лицо Гервега и уловил на нем плаксивую гримасу. «Этот славолюбивый болван, пожалуй, сейчас бросится просить у Маркса прощения». Нельзя было медлить. Игра, так ловко придуманная им, грозила проигрышем.

— Братья немцы!..— воскликнул Борнштедт.

Видя, что слова его не слышны, он замахал протестующе руками. Такая необычная вспышка человека, известного своей

невозмутимостью, произвела некоторое впечатление. Мгновенно очнулся и Гервег, которого охватили было сомнения и нечто похожее на угрызения совести.

— Не слушайте Маркса. Никогда еще отвага и героизм не вредили революции! — звонко крикнул поэт, сорвался с места и стал рядом с Марксом.— Пусть не пугает нас, пусть лучше скажет, что же противопоставляет он вольному легиону немецких республиканцев,— кричал Гервег, пытаясь заглушить поднявшийся шум.

Борнштедт поспешно вышел из зала.

— Маркс, говори! Не мешайте нам слушать Карла Маркса!— раздавалось со всех сторон.

— Мы должны, мы обязаны вернуться в Германию,— продолжал Маркс.— И мы сделаем это поодиночке, а не в отряде, который будет разгромлен и уничтожен, едва переступит границу.

— А льготы,— несмело возразил кто-то.

— Льготы? — слегка насмешливо переспросил Карл.— Временное правительство из тех же соображений окажет помощь и тем, кто отправится один на родину.

В это время в зал под бой барабана вошел снова Борнштедт. Вытянувшись по-военному, маршевым шагом двигался он к трибуне, держа в руках перед собой древко с черно-красно-золотым знаменем.

Нервически дрожа, Гервег снова закричал:

— Вызываю добровольцев! Да здравствует Германская республика и вольный легион, который ее установит!

В зале все зашумели, задвигали стульями. Кто-то вытащил стол и предлагал записываться в отряд.

«Какой, однако, прохвост этот Борнштедт, да и Гервег не лучше»,— думал Маркс. Через несколько дней Борнштедт был исключен из Союза коммунистов.

Генрих Гейне был обречен. Врачи установили прогрессивный паралич. Исход болезни был предопределен, и не было средств облегчить страдания умирающего поэта. Агония, по мнению друга Гейне, весьма опытного врача Ротрие, могла продолжаться еще несколько лет...

Свет ясного солнечного дня, яркой лампы, стук молота, шуршание рубанков в руках рабочих, восстанавливающих послереволюционный Париж, причиняли поэту острые физические

страдания. И все-таки, когда вдали на улице гремел барабан и раздавались звуки воинственного революционного гимна, он собирал последние силы и, опираясь о стены, если никого не было рядом, пробираясь от кресла к креслу, плелся к окну. Его полуослепшие глаза жадно искали пестрые знамена, трясущиеся руки посылали приветствия демонстрантам.

— Несчастье в такое время быть совершенно бессильным. Все сознавать и не участвовать в революции, которую я воспевал всю жизнь. Лучше смерть, нежели прозябание,— шептал поэт, и слезы катились по его худому лицу.

Вот уже год, как ценой неслыханной жертвы Генрих Гейне добыл себе постоянный кусок хлеба — ежегодную ренту в четыре тысячи восемьсот франков. Ради этого он, по требованию богатого хитрого родственника-банкира, согласился уничтожить четыре тома неизданных «Мемуаров». Брат поэта собственноручно уничтожал рукописи. Лежа в «матрасной могиле», как называл Генрих Гейне опостылевшую ему кровать,— а в ней он провел почти недвижимым уже несколько лет,— смотрел он из-под непроизвольно опускавшихся полупарализованных век, как догорали лучшие и самые дорогие страницы истории всей его жизни, духовного роста, падений и возвышений, дум.

Отныне гамбургские банкиры были спокойны. Убийственное перо, разоблачавшее перед всем миром их скаредность, пошлость и лицемерие, было наконец сломано, а «Мемуары» исчезли в огне.

Однако в неподвижном теле Генриха Гейне заключена была неутомимая, дерзкая душа. Ясное сознание его не меркло.

Часто по узкой крутой лестнице дома, где он жил, поднималась тучная женщина под густой вуалью, в высокой шляпе — верный друг поэта, Аврора Дюдеван, издавшая много книг под псевдонимом Жорж Санд. Гейне оживал, когда она появлялась в его квартирке, заставленной старой мебелью, заваленной книгами и пропахшей микстурами.

Матильда Гейне — порочная, легкомысленная женщина — тотчас же оставляла Генриха наедине с гостьей, весьма довольная тем, что получает возможность заняться своими делами. Эту лукавую женщину больше беспокоила болезнь любимого попугая, нежели мужа. Она не могла понять, чем замечателен Генрих Гейне, и никогда не прочла ничего им написанного. Матильда предпочла бы выйти замуж за владельца лавки или биржевого маклера, но, кроме Гейне, не нашлось никого, кто повел

бы ее под венец. Впрочем, по ее мнению, браки заключались на небесах.

Здоровый цвет лица, аппетит, крепкий сон, округлые формы, раскатистый смех, довольство собой и окружающим успокаивали Гейне, который старался не замечать измен, эгоизма и ничтожества этой женщины.

Встречаясь с Жорж Санд, которую Гейне знал в годы своего здоровья и творческого половодья, он как бы снова возвращался к жизни. Парализованный, немощный поэт при виде Жорж Санд как бы выздоравливал. С этой выдающейся женщиной его некогда связывало чувство большее, нежели дружба.

Давно ли Гейне живо взбирался вверх по гористой улочке Пигаль к подножию Монмартра, к дому Авроры, расположенному в глубине большого сада? Казалось, Париж остался далеко позади. Зеленая трава пробивалась сквозь неровный булыжник мостовой, пели птицы, и гудели колокола маленького храма. Навстречу шли в живописных плащах и шляпах художники, поэты со своими подружками, точно выхваченные из романов о богеме. Гейне любил Монпарнас, эту обитель детей искусства. Здесь не было и следа чопорности и блеска Больших бульваров, роскошной улицы Лафит или Сен-Жерменского предместья. В доме Жорж Санд его весело встречали, как желанного гостя, слуги, сын писательницы Морис и пухленькая белокурая дочь ее Соланж. Шопен, кутаясь в плед, поднимался навстречу Гейне с радостным приветствием. В нарядной гостиной с большим портретом предка Жорж Санд, славного своей отвагой в боях и успехом у женщин, полководца Мориса Саксонского, постоянно бывали Бальзак, аббат Ламенне, поэт Мицкевич, известный актер Бокаж, композитор Лист. Гейне, входя в дом Жорж Санд, ощущал прилив душевных сил, как бы творческий порыв. Начинался невидимый турнир, когда под взглядом мечтательных темных глаз хозяйки соревновались в метком слове, глубокой мысли, ярком сравнении ее друзья. В этом пиру разума принимала участие и сама Жорж Санд. Молчаливый Шопен вноеил свою ленту, усаживаясь за рояль. Здесь впервые зазвучали некоторые из его бессмертных прелюдов, мазурок. В пылких спорах и дружеских беседах зарождалось немало выдающихся творческих замыслов.

Бальзак увлеченно рассказывал о России и Италии, Бокаж читал монологи Мольера, аббат Ламенне ровным голосом, не смущаясь шутками Гейне, проповедовал веру в разумного, им созданного бога и свободу личности. Мицкевич со слезами на

глазах декламировал отрывки из своей бессмертной поэмы «Дзяды». Доходила очередь до Гейне. Превосходный рассказчик и острослов, он умел быть трогательно лиричным и увлекать сердца нежной, ласкающей поэзией.

И теперь, когда перед ним появлялась Жорж Санд, она мгновенно как бы переносила его, умирающего, в беззаботно счастливое прошлое. Мысли снова набегали, опережая одна другую, и меткие слова, полные то разрушительного, то созидательного юмора, сыпались с уст воскресшего Гейне. В тусклых глазах его зажигался вновь огонь, и веки не походили больше на два опавших лепестка.

Жорж Санд, прозванная в Париже «женщиной с сумрачными глазами», отвечала добродушным, веселым смехом на каждую шутку умирающего. Природа дала ей прекрасную улыбку, молодившую и украшавшую большое смуглое лицо с отяжелевшим подбородком. Гейне все в ней нравилось — и иссиня-черные густые волосы, рассыпавшиеся по плечам, и умные глубокие глаза, смотревшие прямо в лицо людям, никогда не боявшиеся опасности и упорно искавшие правду в любви, жизни и смерти.

Писательница обычно рассказывала Гейне об их общих друзьях.

— Бальзак пишет лихорадочно,— говорила она низким голосом, ласковым и красивым.— Я боюсь за него. Мне кажется, он очень болен.

Гейне с сомнением качал головой.

— Вы ошибаетесь, Аврора. С его здоровьем можно прожить еще полсотни лет. Этот талантливейший толстяк очень крепок.

— Конечно, его талант молод. Писатель не может состариться, иначе он станет бесплодной смоковницей. Но Бальзак несомненно очень болен. Он отекает, как стеариновая свеча. Его губит не только переутомление — он работает днем и ночью, но и госпожа Ганская! Эта полячка красива столько же, сколь бездушна и коварна. Она не ценит гения Бальзака и его любви.

— Разве она не собирается выйти за него замуж? — спросил однажды Гейне Жорж Санд, когда зашел снова разговор о Ганской.

— Да, собирается. Но я опасаюсь, что она скоро станет его вдовой.

Разговор зашел о Мериме, чей строгий талант завоевал признание, о Стендале, чьи книги не имели успеха, и смелых стихах Гюго.

Вдруг в прихожей раздался громкий мужской голос, и следом за улыбчивой, нарядной Матильдой в комнату, где лежал больной Гейне, вошел Маркс.

Он несколько смутился, увидев незнакомую пожилую женщину в коричневом дорогом, но скромном платье. Маленький рот, крупный породистый нос с горбинкой, смелый взгляд тотчас же бросились в глаза Карлу. Он узнал Жорж Санд и поклонился ей сердечно и почтительно.

— Карл, дорогой друг, как я рад тебе! — Гейне хотел приподняться, но едва смог оторвать голову от подушек.

Жорж Санд и Маркс поддержали его. Матильда подложила огромную подушку под сутулые бессильные плечи больного.

— Как видишь, женщины все еще носят меня на руках,— пытался острить Гейне.

Карл знал от Энгельса о безнадежном положении поэта. Однако вид Гейне, которого несколько лет назад Маркс оставил сравнительно бодрым, потрясал. Он не представлял себе, как далеко зашли разрушения в этом хрупком теле. Глубокое сострадание охватило чуткое, впечатлительное сердце Маркса, и, пока поэта усаживали в постели, он отошел к окну, чтобы скрыть свое волнение.

— Я ждал тебя, Карл, вместе с женой. Мне хотелось прочесть ей кое-что. Признаюсь, тонкой иронии этой чудесной женщины я немного побаиваюсь. Такого сочетания ума и совершенной красоты, как в ней, я не встречал никогда. Жаль, что, создав Жени, природа тотчас же разбила уникальную форму, как скульптор, который хочет, чтобы его произведение не повторялось больше. И все же сегодня у меня истинно праздник,— продолжал Гейне оживленно.— Возле меня два лучших друга. Хорошо с вами. Но, быть может, еще одна женщина — смерть — уже идет ко мне.

— Читайте Дюма,— нахмурилась Жорж Санд.— Его книги лечат нервы лучше всех лекарств. Я это испытала на себе. Если же не подействует, я привезу вам доброго Ламенне. Он тоже лекарство.

— О нет, прошу вас, избавьте меня от этого попа. Я предпочитаю атеизм доктора Маркса,— по крайней мере, хоть на том свете мне не будут угрожать черти. Да, кстати, знаете ли вы, дорогая Аврора, что свою книгу о Прудоне Маркс заканчивает вашими словами: «Битва или смерть, кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса».

— Я много слышала о «Нищете философии» доктора Мар-

кса, но еще не видала этой книги. Мне очень хотелось бы ее прочесть, тем более что Прудон и его теории кажутся мне неубедительными,— сказала Жорж Санд.

— Я с удовольствием преподнесу вам свою новую книгу. Но боюсь, что она утомит вас...

Гейне живо прервал Маркса:

— Нет, нет, не верьте ему, Аврора; это блестящее сочинение не только по мыслям, но и по стилю. Никогда не следует ничего откладывать. У меня две твои книги, Карл. Располагай одной из них.

Карл с готовностью встал, подошел к рабочему столу Гейне, надписал книгу и подал ее Жорж Санд.

Аврора Дюдеван, дружески улыбаясь автору, прочла скромную надпись: «Госпоже Жорж Санд. Карл Маркс. 1848 г.»

— Благодарю вас, доктор Маркс. Философия, конечно, привилегия немцев. Французы слишком порывисты, чтобы терпеливо искать смысл жизни. Впрочем, у нас и нет времени для большой философии, мы все время бунтуем...

— Скажите, Аврора, это верно, что вас выдвигают кандидатом в Национальное собрание,— перебил писательницу Гейне.— Вы, несомненно, получите больше голосов, нежели все Ламартины, Ледрю-Роллены и прочие Луи Бланы.

— Да, но я решительно отвергаю все попытки разных лиц вовлечь меня в политическую игру. Мое место — Ноган. Там, в тиши долин и лесов, я сделаю гораздо больше полезного, чем в суете сует, называемой в наши дни политикой...

Жорж Санд начала прощаться. Она осторожно обняла Гейне и, крепко, по-дружески пожав руку Марксу, еще раз поблагодарила его за книгу. У двери она обернулась, чтобы снова сказать несколько ободряющих слов больному поэту. Проводить ее вышла Матильда, не принимавшая участия в разговоре.

Карл и Генрих остались одни. Лицо поэта потемнело, он глубоко погрузился в подушки и полузакрыл глаза. На мгновение Карлу показалось, что Гейне скончался. Он обеспокоенно прикоснулся к руке больного, она была потная и теплая.

— Я жив, жив еще,— углом рта попытался улыбнуться Гейне. Болезнь сделала его необыкновенно чувствительным и восприимчивым.— И кроме того, у меня большие неприятности, дружище! Я давно хотел тебе сказать о денежной помощи от...

— Гизо...— прервал его Карл настороженно и тут же пожа-

лел о том, что проговорился: Гейне вздрогнул, еще больше осунулся. Судороги прошли по его лицу.

— Так ты уже слышал? Негодяи пытаются оговорить меня, объявляют платным агентом этого человека.

— Но я убежден, что это не так. Главное для тебя — сохранять спокойствие,— строго потребовал Карл.

— Маркс, веришь ли ты мне? Или успокаиваешь, считая приговоренным к смерти? Мне не надо сострадания ни от кого, даже от тебя. Я не подлец, моя совесть чиста в этом деле. Однако моя честь в руках первого попавшегося корреспондента. Я не хочу, чтобы бульварные газеты стали моим трибуналом.— Гейне снова попытался приподняться, глаза его широко открылись.— Меня может судить только суд присяжных истории литературы, и никто другой. Пособие, которое я действительно получал от министерства Гизо, не было никогда данью, это была милостыня. Я не боюсь называть вещи своими именами.

Маркс сидел, подперев рукой большую красивую голову. Четко очерченные брови его скорбно приподнялись.

— Как давно начал ты получать эту злосчастную пенсию и почему именно обратился за ней к Гизо? — тихо и строго спросил он поэта.

— Я голодал и был подлинно на краю бездны. Декретом бундестага меня, как заведалу «Молодой Германии», решили погубить. Не только на все написанное мною, но и на будущие сочинения был наложен запрет в Германии. Меня лишали всякого заработка по произволу, без следствия, суда и приговора.

— Но почему ты получал это пособие Гизо тайно? — снова задал вопрос Маркс, не поднимая глаз на Гейне.

— Мне платили пособие через кассу министерства иностранных дел. Из пенсионного фонда, который не подлежал общественному контролю. Я не задавался вопросом, удобно ли, чтобы мне платили из этой кассы, а не из другой. Меня не могли поддерживать открыто. Я был бельмом на глазу немецких посольств. Ты знаешь, как часто мои королевско-прусские враги надоедали французскому правительству, настаивая на моей высылке.

Карл встал и принялся шагать из угла в угол небольшой, заставленной мебелью комнаты с полузатянутыми, чтобы свет не раздражал больные глаза поэта, шторами. На его лице застыло выражение скорби, недоумения и жалости. Если бы Гейне

был здоров, Карл сказал бы ему все, что думал об этом. Не было оправдания тому, что Гейне брал подачку королевского правительства. Но поэт был при смерти. Маркс молчал.

Болезненно впечатлительный Гейне следил за каждым его движением. Худые, серые руки поэта с длинными узловатыми пальцами конвульсивно перебирали края пледа. Карл заметил эти страшные, неспокойные руки и мгновенно овладел собой.

Лицо Гейне как-то посинело от прилившей к щекам крови. Он схватил руку Карла и благодарно пожал ее.

— Гизо отказывался выслать меня из Парижа. Да, он платил мне пособие регулярно. Но никогда, запомни,— мне ведь недолго жить, а перед смертью ложь бесцельна,— никогда он не потребовал от меня за это ни малейшей услуги, ничего, что делает человека подлецом. Он ценил мой поэтический дар, и роль мецената ему льстила. Вскоре после того, как он принял портфель министра иностранных дел, я нанес ему визит, чтобы поблагодарить за спасение от нищеты. В разговоре я выразил удивление, что он помогает мне, человеку, чьи радикальные взгляды совершенно противоположны его воззрениям. Гизо ответил мне с меланхолической благосклонностью: «Я не тот человек, который способен отказать в куске хлеба поэту, живущему в изгнании». Затем мы говорили о поэзии, и он, оказалось, знал многие мои стихи наизусть. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда я виделся и говорил с ним.

Гейне откинулся на подушку и закрыл глаза. Он был очень утомлен и слаб. Пот покрыл лицо поэта. Руки неподвижно вытянулись на одеяле. Маркс молчал. Внезапно гримаса, как судорога, искривила лицо Гейне. Он мучительно застонал.

— Я ненавижу королей и всю жизнь воевал с ними. И что же? Теперь я между двух огней. Друзья и враги могут поверить тому, что я продал свое перо французскому королевскому правительству.

— Надеюсь, нет ни одного написанного тобой слова, позорящего тебя и подтверждающего это,— пытался успокоить Маркс отчаявшегося поэта. Но тот, казалось, ничего не слыхал.

— Гиены будут визжать, считая меня политическим трупом. Я никогда, слышишь, Маркс, никогда не был угодливым писателем, который берет плату не только за навязанные ему кем-либо мысли, но и за молчание. Этому порука — вся моя жизнь. Не низменные расчеты, а высшие интересы побуждают меня сражаться за свою честь. Я никого и ничего не боюсь. И повторяю: моим судом да будет история. Все отрекутся от меня, когда

будут опубликованы архивы Гизо. Но ты, Маркс, зная истину, не отвернешься от меня.

Маркс ничего не ответил.

Разговор о положении во Франции и Германии, о действиях Гервега, Борнштедта и Бакунина, разговор, который был очень важен для Маркса, не мог уже в этот раз состояться. Гейне был сражен не только своей болезнью, но и тем, что многие уже знали о получении им пенсии от Гизо. Карл вышел от Гейне крайне подавленный. В передней он услышал игривый, возбужденный смех Матильды. Ей вторил какой-то мужчина. Карл нахмурился.

А она все танцевала,
Пила вино и хохотала,—

вспомнил он стихи Гейне, думая с отвращением о его жене.

Нетерпеливо ждал Маркс приезда Энгельса в Париж. Была уже половина марта, а дела все еще задерживали Фридриха в Брюсселе. Карл и Женни, вынужденные вместе с верной Ленхен и тремя маленькими детьми спешно покинуть Бельгию, не смогли захватить с собой даже самого необходимого. Фридрих Энгельс привел в порядок все их дела, собрал, чтобы отвезти в Париж, скромное имущество, расплатился с долгами.

Друзья обменивались частыми подробными письмами. Маркс писал Фридриху: «Здесь буржуазия становится опять отвратительно наглою и реакционной,— и добавлял по-французски: — но ей еще влетит».

Одновременно он сообщал о том, что Борнштедт будет исключен из союза. Двумя днями позже Энгельс, следивший по газетам за всем происходящим во Франции, ответил:

«...Очень хорошо, что вы выбрасываете Борнштедта. Этот молодчик оказался таким ненадежным, что его действительно необходимо исключить из союза... Ламартин становится с каждым днем все более и более противным. Во всех своих речах он обращается только к буржуа, чтобы их успокоить. Избирательная прокламация Временного правительства тоже целиком обращена к буржуа, для их успокоения. Не удивительно, что эти подлецы наглеют...»

В эти же дни Яков Николаевич Толстой не знал ни одного часа отдыха. Он с раннего утра до полуночи был занят: принимал доверенных людей, посещал министерства и салоны, зорко приглядываясь ко всему происходящему и не пропуская ни одного слова, если оно касалось внутренней или внешней

политики новой французской республики. Поздней но
першись в кабинете и подкрепляясь вином, он писал
виденном и слышанном пространные донесения в П
Их читал сам Николай I, так как Яков Николаевич з
славу человека, весьма знающего Францию и всякие бу
идеи. Ему особо покровительствовал приближенный
граф Орлов.

Ежедневно по утрам к Толстому являлся его агент
ник Анри Мюрже, которого он некогда обучил правоп
сделал своим переписчиком. Это был невысокий, чре
благообразный, подвижной и жадный, как воробей,
человек с живыми птичьими глазами, удивительно
менявшими выражение. Анри Мюрже выглядел то у
и смущенным, то дерзким или рассеянным. Мелкие ра
тые черты его лица совершенно не запоминались, чт
наиболее примечательным в наружности молодого ф
Мюрже был сыном привратника того дома, где много
живал Толстой.

Знаток людей, Яков Николаевич приметил ничем
чательного юношу, беспумно двигавшегося по лестни
рые глаза Анри обнаруживали его наблюдательност
рость. Он умел замечать каждую мелочь и молчать.
приласкал сына портье, занялся его образованием и
не только каллиграфически переписывать его рукоп
собирать нужные ему сведения с легкостью и быстр
робья, на которого тот был так похож. Пронырливы
старательно выполнял поручения Толстого и получа
франков в месяц. Он сумел завязать нужные русско
денту знакомства, втерся в доверие к Виктору Гюго
литературным знаменитостям и с их помощью сразу
февральской революции устроился работать в двух р
газет. Это было очень нужно Толстому.

Ровно в девять часов крепостной лакей Иван, прож
доме «луной всмятку», поднимал Якова Николаевича
вым: «Пора, барин!»

Покуда Иван одевал и обувал своего господина, Т
жаловался ему на нездоровье и старость, то принимал
различные вирши, как он называл стихотворения.
Иван выучил наизусть оды Державина и особенно
посвященные Якову Николаевичу Толстому Пушкины

— Тебе, наверно, невдомек, что я был некогда
аскетом,— говорил Толстой, глядя на старого лаке

маленькими глазами.— Что уставился на меня? Я не икона. Ты, поди, и не слыхивал, что это за слова такие замысловатые. Вот с кем приходится старость коротать. Вон отсюда, старое полено! внезапно свирепея, кричал Яков Николаевич.

С годами характер графа становился все более гнетущим, деспотическим. Оставаясь один за завтраком в ожидании прихода Анри Мюрже, Толстой любил перечитывать записные тетради в сафьяновом переплете с золотыми инициалами или рассматривать свои изображения. В комнате было много дагеротипов, портрет маслом. В углу на цоколе стоял мраморный бюст Якова Николаевича в псевдоримском стиле.

«Да-с, настоящий патриций,— думал Толстой, тонким батистовым платком стирая пыль с кудрявой головы, полного лица и атлетически крепкой шеи.— Пушкин звал меня философом. Я был, пожалуй, самым воздержанным из эпикурейцев, собиравшихся под зеленой лампой».

Но вот Иван докладывал о приходе Анри Мюрже. Молодой француз входил бочком, выставив вперед правое плечо, хотя огромная дверь была открыта настежь.

«Эко ходит,— думал Толстой,— в любую щель протиснется. Ловок. Очень полезный и, надо думать, преданный мне молодец».

Мюрже между тем несколько раз кланялся — до тех пор, пока Яков Николаевич не предлагал ему позавтракать вместе.

Как Николетта? — спрашивал он, обычно игриво рассмеявшись.

Анри притворялся пристыженным.

— Не смущайся, мой мальчик. Поэт, которого ты не знаешь, Пушкин, один из моих друзей, посвятил мне такие строки...

— Месье Пушкин сейчас в Париже? — спросил Мюрже.

Толстой не ответил на этот вопрос и начал читать стансы, произвольно переставляя четверостишия:

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен!
Будь молод в юности твоей.

Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье.

— Вы, месье Толстой, верно, были донжуаном и бонвиваном.

— Увы, нет. Выслушай начало стансов Пушкина, и ты поймешь, как много потерял я сладких мгновений в своей юности. Не повторяй моих ошибок! «Философ ранний, ты бежишь... пиров и наслаждений жизни...» Вот каков я был.

— Что же он еще сочинил? — угодливо спросил Анри Мюрже, доедая пулярку, покуда Толстой вспоминал молодость и обращенные к нему стихи Пушкина:

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

— Пришла эта пора! — угрюмо сказал граф и вдруг, подобрав углы губ, добавил: — Не будем терять времени в бесполезных размышлениях. Нет, я — в трудах. Я нужен и ни о чем не сожалею. Что нового, мой мальчик?

— Я видел сына редактора газеты «Друг народа» господина Распайля-младшего. Болтунишка, чтобы похвалиться своей осведомленностью, готов выдать все секреты, какие только удается ему подслушать. Он сообщил мне множество фактов о том, что члены Временного правительства уже ссорятся между собой и полны ненависти друг к другу.

— Отлично, раздоры в правительстве всегда опасны для страны и выгодны ее врагам. Я ждал раскола, но, признаюсь, не так скоро. Не прошел еще и медовый месяц. Что за причина разлада?

— Спор о том, как устранить безработицу, и вопросы организации труда. Французский демос требует работы и открытия мастерских немедленно.

— Ого, ты знаешь греческий. Почему же ты так напыщенно зовешь демосом чернь?

— Слово плебс известно тем, к кому оно относится, я и отыскал в греческом словаре подобное же.

— Ладно, ладно. Что дальше?

— Скандалом сопровождалось принятие декрета, предложенного крайними республиканцами, об уничтожении дворянского звания. Многие республиканцы находят, что это несправедливо и ожесточит аристократов.

— Бог дал нам дворянство и титулы, и он же один, а не люди властен отобрать их,— сказал Толстой возмущенно.

Мюрже достал из папки секретный циркуляр министра иностранных дел к дипломатическим агентам французской республики. Яков Николаевич жадно схватил важный документ,

надел очки и начал внимательно просматривать текст, перечитывая некоторые места:

«...Французская республика не намеревается затевать с кем-либо войну... Она не будет вести никакой революционной пропаганды в соседних странах. Она знает, что устойчивой бывает только та свобода, которая имеет свои собственные корни в жизни данной страны; но она заставит себя уважать и заслужит симпатии светом своих идей, картиной порядка и мира, которую она надеется дать человечеству...»

Толстой улыбнулся. Лицо его от этого стало еще более старым и хищным.

— Никто из просвещенных монархов в это не поверит, потому что во Временном правительстве собрались лебедь, рак да щука. Невозможно понять, кто же из этих господ действительно управляет Францией. Временное правительство — это сущая окрошка из крайних террористов и самых умеренных буржуа. Ламартин, сидя на нескольких стульях, вещает, как птица Феникс. Одно несомненно: он хочет быть президентом республики, хотя еще вчера сочинял оды Луи-Филиппу. Кем же, однако, они хотят казаться перед Европою?

Анри взял циркуляр и стал читать его вслух:

«Республика произнесла три слова, раскрывшие ее душу и призвавшие к ее колыбели благословение бога и народов: Свобода, Равенство, Братство... Если Франция обладает сознанием выпавшей на ее долю в наш век освободительной и цивилизаторской миссии, тогда для нее не существует слова, которое обозначает войну. Если Европа благоразумна и справедлива, у нее нет слова, которое не означало бы мира».

Толстой встал.

— Довольно, все ясно! Это замаскированный язык якобинцев. Того и гляди, появится во Франции какой-нибудь новоявленный Марат. Впрочем, Огюст Бланки на трибуне — тот же «друг народа». А Ламартин и Ледрю-Роллен — эти трусливые краснобаи — нам не страшны. Однако их демагогия приводит к тому, что чернь может снова попытаться, как в тысяча семьсот девяносто третьем году, захватить власть. Что ж, инженер Гильотен придумал когда-то «бритву», чтобы отсекать головы баранам. Есть еще бог и русский царь! Наша метла не раз уже чистила французские конюшни.

Мюрже льстиво улыбался.

— Ну, что еще нового? — грубо буркнул раздраженный Толстой.

— Есть и другие происшествия. На днях к ратуше направились торговцы и капиталисты. Тысячи три, не меньше, пошли прямо с Биржи и требовали от правительства отсрочки платежей. Грозились, если им откажут, закрыть предприятия, выбросить рабочих на мостовую и лишить их куска хлеба.

— Я уже слыхал об этом бунте черных сюртуков,— ответил Яков Николаевич.

— Это, конечно, мелочь,— оживился Мюрже.— А вот шествие благородных граждан, к которому присоединились кой-какие отряды Национальной гвардии, было куда более импозантно. «Долой коммунистов!» — кричали демонстранты и требовали вернуть им знаки отличия и дворянское звание.

— Слыхал и об этом. Там было много женщин. Не люблю я бабьего визга, даже если он направлен против коммунистов.

— Да, это была манифестация дамских муфт и меховых гвардейских шапок. Они ворвались в женский республиканский клуб и затеяли пресмешную потасовку.

— В этом есть кое-что отрадное: среди национальных гвардейцев нашлись смелые сторонники порядка. Надеюсь, мой друг Мюрже, что здравомыслящие члены правительства учтут это и сумеют использовать их в борьбе с чернью. А канальи с окраин требуют повышения заработной платы и короткого рабочего дня,— добавил Яков Николаевич и быстро записал что-то в свою тетрадь. Затем он поднялся, давая этим знать, что аудиенция окончена.

Молодой француз стоял, ожидая дальнейших распоряжений.

— Изучайте настроения литераторов и влиятельных лиц. Впрочем, во время революции силой являются не они, а политические деятели. Постарайтесь познакомиться с Луи Бланом и особенно с этим помешавшимся на фанатическом коммунизме и терроре Огюстом Бланки. По-видимому, сей политический каторжник не успокоится, пока его снова не закуют в кандалы.

— И не обезглавят,— добавил Мюрже.

— Доживем и до этого. Прощайте, мой верный юный друг.

До вечера, когда Яков Николаевич должен был собираться на прием к министру Ламартину, он работал в своем кабинете. Слугам было запрещено тревожить барина. Посетителям отвечали, что его нет дома.

На листы веленевой бумаги Толстой списывал с черновиков составленный им в течение предыдущих дней обзор французской армии. Он был убежден в том, что революция может быть

подавлена только извне и только русским самодержавием, а собранные о французской армии и ее дислокации сведения подтверждали неоднократно высказанную им мысль, что момент для вторжения благоприятен. И действительно, все его агенты и информаторы доносили, что войска Франции сосредоточены главным образом в центре страны, а северная и восточная границы республики никак не защищены.

Крупными четкими буквами он писал, что состоящий на жаловании состав армии исчисляется в 548 тысяч человек.

Толстому удалось собрать не только официальные данные о составе французской армии, но и представить в Петербург разбор боеспособности частей и отчет об умонастроениях офицеров и солдат.

С большим знанием того, о чем писал, Толстой отмечал сильные и слабые стороны французской армии, указывал месторасположение и оснащение частей.

Донесение было столь секретным, сведения такой высокой государственной важности, что даже Иван не смел входить в кабинет графа. Через каждые три часа лакей стучал в его дверь со словами «Пожалуйте, барин, кофий», и Толстой с порога забирал у него чашку и снова запирался.

Он писал далее:

«Один из представителей, член военной комиссии собрания, аккуратно посещающий ее заседания, и другой представитель, г. Парабит, человек с некоторыми странностями, но добросовестно и успешно занимающийся вопросами, относящимися к армии, дали мне указания относительно действительного наличного состава военных сил Франции; указания эти отличаются достоверностью.

Прикомандированный к военному министерству офицер генерального штаба, сын бывшего генерала времен Империи и Реставрации, подтвердил мне и до некоторой степени разъяснил с большей точностью эти указания. Из них явствует, что, если принять во внимание отсутствующих по болезни, исключить департаментскую жандармерию, роты ветеранов и роты дисциплинарные, а также обучаемых рекрутов, которые в случае войны не могли бы быть использованы в походе,— хорошая, боеспособная часть армии может исчисляться в 380—385 тысяч человек.

Парижский гарнизон состоит из двадцати армейских пехотных полков, девяти полков легкой пехоты, двух полков кавалерии, одного полка артиллерии.

Поражает прежде всего количество войск всех родов оружия, собранных в Париже или сконцентрированных в окрестностях столицы. Войска эти, включая и Мобильную гвардию, представляют наличный состав в 85 тысяч человек, которых можно собрать в течение пяти или шести часов.

На границах войск так мало, что при настоящем положении они не могли бы оказать серьезного сопротивления нападению.

В случае войны в Италии правительство, двинув Альпийскую армию, было бы вынуждено заменить стоящую в Лионе дивизию корпусом в 18 или 20 тысяч человек. Рабочее население Лиона — одно из самых опасных в Европе. Об этом свидетельствует выдержанная им в течение семнадцати лет вооруженная борьба. Для того чтобы сдерживать это зараженное коммунистическими доктринами, буйное и воинственное население, королевское правительство было вынуждено окружить Лион отдельными фортами прежде, чем применить ту же самую меру к Парижу. Эта рабочая масса только что проявила одушевляющее ее настроение, дружно голосовав за Распайля, точно так же как и парижские коммунисты. За Распайля было подано более 30 тысяч голосов — людьми, из которых каждый имеет ружье.

Разрушающая общество анархия проникла в армию, в последней имеются сторонники самых противоречивых принципов...

Создание Мобильной национальной гвардии было одним из первых действий Временного правительства. В этот день, вернувшись к себе очень поздно вечером, г. Ламартин сообщил находившимся в его гостиной лицам об истинных мотивах, вызывающих решение правительства принять соответствующий декрет. Привожу дословно его слова: «Мы решили, что будет сформировано 24 батальона Мобильной национальной гвардии, по 700 человек каждый, и что желающие поступить в ее ряды будут получать по 30 су в день. Через два часа уже было значительное число записавшихся. На них мы можем положиться, и если террористы опять сделают на нас нападение, наши «мобильные» встретят их выстрелами».

Эти слова вполне объясняют мысль, которой руководилось правительство ратуши. Едва оно заняло свое место, как сейчас же увидело, что власть у него оспаривается теми, кто взял красный флаг как эмблему своих доктрин. Ламартин ораторствовал перед чернью, которая вопила на площади Грев, но так как его речи не всегда могли иметь успех, а к тому же можно было

легко предвидеть, что требования самодержавного народа из предместий будут все возрастать, Временному правительству нужно было организовать около себя в целях своей защиты преданное ему войско.

...Мобильная гвардия набиралась среди праздного люда, которым изобилует Париж; туда приняли также и бродяг, и очень молодых людей, желавших ускользнуть от надзора семьи, и тех погибших детей улицы, которых народ называет тити и гамены. Все кварталы доставили свой контингент, главную же массу батальонов дали предместья. Молодые люди из хороших семей, хорошо воспитанные, иногда знатного рода, вступили тоже в ряды Мобильной гвардии, потому ли, что, вступая в ее ряды, они хотели избежать возможных преследований, или, скорее, они хотели смешаться с вооруженным народом с целью руководить движением и настроением умов, когда настанет момент что-либо предпринять...»

Толстой откинулся в кресле. Он устал. Однако не в его привычках было что-либо откладывать. Он достал большой голубой плотный конверт, тщательно проверил его целость, вложил донесение и запечатал его пятью большими сургучными печатями. Затем в ожидании курьера положил пакет в потайной ящик. Он встал, довольный тем, что завершил важное дело, и посмотрел на календарь. Вспомнив что-то, позвал Ивана и велел дать выходной костюм.

Была суббота — приемный день у госпожи Ламартин. Толстой с помощью Ивана облачился в скромный черный длиннополый сюртук. Парикмахер долго приглаживал его жидкие волосы, стараясь придать прическе модную небрежность.

— В Париже,— говорил брадобрей, проведя мокрой щеткой по бороде Якова Николаевича,— господа требуют, чтобы я причесывал их так, как столяров и ткачей. Для этого не нужно ничего, кроме пятерни.— Он выразительно растрепал свои волосы.— Никто с двадцать четвертого февраля больше не завивает шевелюру. Дамы спрятали в шкатулки до лучших времен свои накладные локоны. Парикмахерам грозит безработица.

— Что ж, Луи Блан и его коллеги откроют для вас мастерские,— тая улыбку в уголках опущенных губ, ответил Толстой.

Окончив туалет, он приказал вызвать наемный фаэтон и с неизменной палкой в руке вышел. До Университетской улицы, где жил Ламартин, было далеко. Хмурое небо усугубило дурное настроение графа. Он думал о том, что Франция склонилась над бездной и для спасения ее необходим решительный военный

в большом чине. Если бы такой человек нашелся и стал во главе войск, затем двинулся на Париж, предавая все огню и мечу, может быть, ему удалось бы уничтожить ужасное ярмо, каким казалось Толстому господство тех, кого он называл проклятыми якобинцами. А тут еще известие о том, что Вена охвачена революционным мятежом. В Пруссии тоже было неспокойно... Только Россия избегла пока брожения. А что, если...

Толстой гнал от себя тревожные мысли, но страх исподволь мучил его. Иван Гаврилович Головин, русский политический эмигрант и писатель, недавно перешедший в английское подданство, снова опубликовал в газете статью о том, что Яков Николаевич — давнишний провокатор, агент Третьего отделения. Однако ему не поверили. Даже Бакунин выступил в защиту Толстого. Но как знать, что будет дальше? Революция — великая разоблачительница.

Погруженный в невеселые думы, Яков Николаевич не заметил, как экипаж выехал на узкую темную улицу, где находился клуб Парижской коммуны. Из открытых окон доносились шум и аплодисменты. Толстой сошел с фаэтона и направился в переполненное людьми здание. Вход в клуб был свободный. Остановившись у двери, граф сложил ковшиком руку и, приложив ее к уху, принялся вслушиваться в то, что говорил дюжий парень в блузе навыпуск, в холщовых брюках и грубых башмаках. Речь его вызывала бурное одобрение присутствующих.

— Нас обманула Временное правительство,— услышал Яков Николаевич.— Флокон, Луи Блан и Ледрю-Роллен бессильны помочь рабочим. Огюст Бланки и Барбес не у власти. Мы по-прежнему трудимся по десять-одиннадцать часов в сутки, живем в лачугах, получаем гроши. Я заявляю от имени пролетариев: война капиталу, война дворцам и особнякам, война аристократам, война буржуа!

— Правильно! Говори, говори! — закричали в зале.

— Нужно провести чистку в правительстве, иначе нас, как в тысяча восемьсот тридцатом году, совсем околпачат. Нам снова навяжут короля.

— Но сначала нас всех перебьют,— раздались голоса.

Возбуждение нарастало. Присутствующие подняли кулаки.

— Надо заменить членов правительства,— продолжал, все более повышая голос, оратор.— Выбрать испытанных патриотов, не знающих колебаний. Если с нами не сговорятся подобру, откажемся немедленно от работы — будем бастовать, выйдем на улицу, вооружимся. Нас много, мы сила.

Толстой не стал дальше слушать, вышел, поднял воротник шинели. Его охватило бешенство. Невольно он оглянулся вокруг, выискивая глазами полицейских. Их не было.

— Еще бы,— процедил он сквозь зубы,— чего ждать?! Коссидьер — глава полиции — тоже из подонков общества, как и вся шайка в клубе Коммуны. Он наверняка рьяный сообщник всех вожаков черни.

Толстой свернул на бульвары. Между воротами Сен-Мартен и Сен-Дени он остановился, пораженный движущейся ему навстречу процессией. Нарядно одетые люди с лорнетами и моноклями, в огромных белоснежных галстуках шли по мостовой. Юноша в блестящем мундире с тросточкой в руке нес белоснежное знамя с огромной, золотом вышитой лилией Бурбонов.

— Да здравствует монархия! — кричали демонстранты.— Долой республику!

Толстой с необычной легкостью бросился в проезжавший мимо фиакр и велел кучеру мчаться галопом. Тот безжалостно стегнул лошадей. Обернувшись назад, Яков Николаевич увидел, как из окружающих переулков бежали навстречу легитимистам республиканцы.

— Долой белое знамя! Да сгинут враги народа и тираны! Да здравствует республика!

Начался жестокий рукопашный бой. Когда фиакр сворачивал за угол, Толстой услышал пение «Карманьолы» и, привстав, увидел белые знамена, валявшиеся на грязной мостовой.

Бледный, как монархический флаг, Яков Николаевич, стараясь унять бушующее сердце, прижал пухлые руки к груди.

— Черт побрал бы всех этих карманьольщиков! — шептал он.— В пору уезжать из этого пекла.— Кровь, отхлынувшая было от головы, вдруг прилила к затылку с пугающей силой. Почувствовав звон в ушах и головокружение, Толстой грузно привалился на спинку сиденья.

«Пора просить у царя и Орлова отставку. Меттерних отошел от дела, настала и моя очередь»,— пронеслось в воспаленном мозгу русского сановника.

Но в этот день ему пришлось пережить еще одно потрясение. С Елисейских полей в сторону Тюильри навстречу фиакру двигались толпы народа, казавшиеся графу несметными. Они шли тесно сомкнутыми рядами к ратуше. Грозные плакаты в их руках призывали Временное правительство одуматься и принять срочные меры к улучшению жизни простого народа. Надев очки, Толстой прочел, что демонстранты требовали покончить

с изменниками и умеренными и выполнить обещания, данные труженикам в первые дни революции.

«Свобода печати в продажных руках есть орудие лжи».

«Уничтожьте безработицу, дайте рабочим заработок, достаточный для жизни».

«Укоротите рабочий день. Рабочие изнемогли от непосильного труда».

Народ заполнял тротуары и мостовые. Ехать в экипаже стало невозможно, и Толстой покорно побрел на Университетскую улицу пешком. Никогда, даже во времена Конвента, казалось ему, окрестности Тюильри не видали такого скопления людей. «Их не менее двухсот тысяч,— прикинул Толстой.— Эти оборванцы расплодились в чудовищном количестве. Они несметны».

Навстречу Толстому непрерывно двигались грозные, как лавина, толпы. Над ними в сером небе колыхались знамена, тысячи флагов, украшенных девизами, патриотическими надписями и эмблемами. Он увидел зеленое полотнище с изображением арфы и надписью: «Ирландия», черно-красно-золотое — немцев и, наконец, ярко-малиновое с рвущимся вверх орлом.

«Поляки!» — встрепенулся Толстой и пробормотал:

— Вот подлые твари! Необходимо убедить царя в том, что они на все способны. Враги, неуемные, стоглавые, как гидра. Душишь одну — вырастает сотня.

Сделав большой крюк, отдаленными переулками добрался наконец Яков Николаевич до дома министра иностранных дел. Ламартин внушал Толстому одно только презрение. Но, поднимаясь по широкой лестнице, он старался придать своему лицу мягкое и даже льстивое выражение.

«Что этот болтунишка, изменивший королю и богу, говорил на днях? Надо бы вспомнить для разговора. Ах, да, что-то вроде: «Я посвятил себя общему делу,— умирают лишь однажды». Не бог весть как радостно смотрит господин министр на свое будущее, но сказано пышно».

Молоденькая служанка взяла у Толстого шинель и указала на одну из дверей, ведущих из прихожей в жилые покои.

«А где же лакей, чтоб доложить?» — чуть не спросил Яков Николаевич, но, сообразив, что этикет ныне не в моде и можно входить без доклада, с неудовольствием открыл дверь в салон госпожи Ламартин. Это была большая комната, заставленная столиками, креслами, турецкими диванами, жардиньерками с

цветами и этажерками с книгами и газетами. Стены были сплошь увешаны свежими литографиями, изображавшими народные шествия и статую Свободы, карандашными и акварельными портретами самого Ламартина с гордо запрокинутой головой. Люстры не были зажжены, и только свечи в канделябрах скупо освещали комнату.

Госпожа Ламартин, женщина неопределенного возраста и внешности, в пышном платье цвета бордоского вина, кивнув приветливо Толстому, снова обратилась к нескольким дамам, сидевшим вокруг нее. Все они курили, громко смеялись, перебивали друг друга и вели себя, по мнению Толстого, крайне бесцеремонно и даже неприлично. Он терпеть не мог женщин, которые чувствовали себя равными с мужчинами.

Было в салоне также несколько журналистов, споривших о том, кто будет президентом. Какой-то юноша с взлохмаченной прической сообщил Якову Николаевичу, что пишет стихи, и тут же начал читать их приглушенным голосом. Стихи начинались и кончались словами: «Свобода, равенство и братство».

Толстой, найдя их про себя бездарными, все же принялся расхваливать поэта.

Госпожа Ламартин сказала, что министр опаздывает, и, меланхолически закатив глаза, добавила:

— Мой муж жертвует собой ради блага родины. Он укротил, как мог, ураган опасных народных страстей. Но вчера он сказал мне, что заготовил завещание. Увы, завтрашний день в тумане. Каждая минута его жизни — подвиг и может оказаться последней...

— Какой героизм! — произнес глухо поэт.

— Достойное служение долгу,— добавил кто-то из журналистов.

— К несчастью, поэзия первых дней свободы сменилась жестокой прозой,— добавила госпожа Ламартин, опустив глаза.

В салоне воцарилось приличествующее сказанному молчание. В это время в комнату вошли двое мужчин. В высоком сухощавом человеке с презрительным взглядом и узким ртом Толстой узнал Ламартина. Коренастого военного он видел в первый раз.

— Разреши представить тебе,— обратился Ламартин к жене, а затем к гостям,— и всем вам надежду правительства — генерала Эжена Кавеньяка.

Услыхав это, журналисты всполошились.

— Скажите, гражданин Кавеньяк, возьмете ли вы портфель

военного министра? — наперебой стали спрашивать они алжирского генерал-губернатора.

— Положение военного министра — одно из самых ложных в современной Франции,— уклончиво ответил Кавеньяк.— На словах он располагает всей армией, в действительности у него нет под рукой ни одного батальона. Что сможет он сделать в случае беспорядков и волнений, которые грозят со всех сторон нашей родине? Бонапартисты, карлисты, республиканцы, наконец, бешеные коммунисты готовы схватиться не на живот, а на смерть друг с другом. Если Временное правительство вернет войска в Париж и гарнизон столицы будет достаточно силен, можно будет решать вопрос, который вас интересует. Я человек военный. Не рассуждать, а действовать во имя порядка и процветания нации — мое правило. Мои зуавы, может быть, еще понадобятся. А пока пусть безобразничают горе-командиры Национальной гвардии и префект полиции Коссидьер.

Одна из дам, услыхав имя Коссидьера, живо сказала:

— Этот опасный демагог носит за поясом два пистолета.

— Вы правы,— заметил Ламартин,— на днях в таком виде он явился ко мне на прием. Я спросил гражданина Коссидьера: «Зачем вы носите при себе пистолеты? Разве вы боитесь за себя?» — «Нет,— ответил Коссидьер,— но я хочу быть наготове, чтобы ответить тому, кто окажется достаточно смелым и потребует моей отставки».— «Никто не думает требовать ее от вас, но когда мы захотим вас сместить, то пошлем отрешение от должности по почте».— «Я этого не боюсь,— сказал начальник полиции,— ни один почтальон не осмелится мне его принести, а если бы такой нашелся, он был бы так встречен, что уж другой не посмел бы явиться». Как вам нравится такой разговор, гражданин Кавеньяк?

— Значит, я более чем прав,— ответил надменно генерал.— Мои алжирские войска действительно нужны в Париже.

— Ужасно! — патетически произнесла госпожа Ламартин.— День ото дня жизнь становится невыносимее. Мэр Парижа восстановил систему гражданских карточек, какие были в первую революцию. Я, жена министра, не могу войти в ратушу к мужу, не предъявив такой карточки. Еще одна пародия на тысяча семьсот девяносто третий год. Какие-то оборванцы часовые останавливают меня на лестнице раз десять подряд и кричат: «Твоя карточка, гражданка!» Я показываю ее всюду: в кулуарах, в залах, вплоть до самого кабинета. А бываю я у мужа зачастую лишь несколько минут в неделю. Он так занят, что

ночует в ратуше. Представьте, на днях, когда я поднималась по лестнице, какой-то часовой в отрепьях крикнул снизу другому: «Пропустите временную жену Ламартина».

Все весело рассмеялись.

— Итак, никто из видных генералов не желает принять портфель военного министра? — спросил Толстой.

— Да, и пока профессор Араго, едва различающий виды оружия, вынужден руководить военным министерством.

— Сегодня был бурный день в столице,— снова начал Толстой, обратившись к Ламартину.— Не думаете ли вы, что красные повторят девяносто третий год, с той только разницей, что победят, а не погибнут под ножом заслуженной ими гильотины? Каковы ваши взгляды на этот счет, господин министр?

— Убеждения политика подобны волнам, гонимым ветром,— чуть улыбнулся Ламартин.— Если они несут его к берегу, он может порой сесть на мель, но только на время. Движение вод снова вынесет его на простор океана.

— Однако вы скептик!

— Я больше нежели скептик, в политике я атеист.

— Это свойство важно также и для дипломата.

— Ваш царь — последовательнейший из людей.

— Да, надеюсь, среди разбушевавшейся революционной стихии великая Россия будет единственным оплотом порядка!

Толстой склонил голову. Когда он поднял ее, на лице его снова застыло благоговейное восхищение Ламартином, которое с первой минуты пленило честолюбивого и самодовольного министра.

— Но как все-таки удается вам ладить с крайними демагогами, этими красными бешеными, которые готовы взорвать ратушу и, может быть, даже обезглавить кое-кого из членов Временного правительства? — спросил, немного помолчав, вкрадчиво Толстой.

— О, это — отношения между громоотводом и электрической искрой,— очень громко произнес Ламартин.

Журналисты, все как один, вписали это удивительное признание в свои записные книжки.

Генерал Кавеньяк, сославшись на скорый отъезд в Алжир, сделал общий поклон и покинул дом министра иностранных дел.

— Скажите, вы не знаете, кто такой Кавеньяк? Я имею в виду его происхождение,— спросил Толстой поэта, который, помимо того что писал стихи, имел бакалейную лавку.

— Извольте, я кое-что знаю. Ему уже сорок шесть лет,

хотя он, как все военные, выглядит моложе. У него репутация весьма посредственного командира. Более того, его считают трусом. Скажу вам по секрету, когда узнали, что он назначен генерал-губернатором Алжира, какие-то шутники из города Орана прислали ему ящик, в котором лежало женское платье и веретено. О нем говорят, что это корова в львиной шкуре, хотя он сын террориста и брат заговорщика. Вы, верно, помните покойного Годфруа Кавеньяка? Он умер в сорок пятом году. Благодаря имени отца и брата, республиканца, боровшегося с Карлом Десятым и Луи-Филиппом, генерал Кавеньяк приобрел доверие нынешнего правительства.

— Мне кажется, однако, этот Кавеньяк еще покажет себя скорее львом в обличье коровы. Я не заметил, чтобы он сочувствовал красным,— тихо произнес Толстой.

Госпожа Ламартин пригласила гостей в столовую.

— Субботний вечер,— говорила она радостно,— и воскресное утро — единственные часы, когда муж находится дома.

За скромным ужином завязалась общая беседа, и Ламартин принялся рассказывать о тех заботах, которые постоянно причиняют ему иноземцы-изгнанники. Толстой тотчас же завел разговор о поляках.

— Они, как и ирландцы и немцы, очень назойливы,— согласился хозяин дома и сообщил, что утром ему пришлось принять их депутацию. Поляки требовали, чтобы республиканское правительство дало им средства для эмиграции из Франции и проезда через Германию в Польшу, а также снабдило их оружием из государственного арсенала.— Я ответил,— сказал Ламартин, глядя прямо в лицо Толстому,— что мы дадим им денег и не станем вмешиваться в то, на что они их потратят. Но снабдить их оружием не можем, так как это противоречило бы нашему манифесту о невмешательстве в дела других государств. Будьте уверены, я не отступил от своего решения даже тогда, когда они разразились бранью и утверждали, что я продолжаю политику унижения народов, которая уже восемнадцать лет позорит Францию. Эти буяны грозили мне,— гневно воскликнул Ламартин,— что, если правительство республики не поступит должным образом, они присоединятся к тем, кого считают честными патриотами, кто смотрит на поляков как на братьев, и свергнут нас.

Вспомнив угрозу поляков, Ламартин еще более повысил голос и встал, раздраженно жестикулируя. Однако все это было напускное. Министр иностранных дел Франции отлично знал,

что Толстой сообщит в Петербург то, что сейчас услышал о польских изгнанниках. Поэтому Ламартин сводил все к общим фразам о человеколюбии, справедливости, в то время как подлинными мотивами помощи польским деятелям было желание ущемить интересы царской России. Помогая польскому национально-освободительному движению, французское правительство хотело тем самым ослабить политические и военные позиции Николая I.

— Я человек большой выдержки и доброжелательности к людям,— продолжал Ламартин, снова прямо глядя в глаза Толстого,— но, однако, потерял терпение и ответил им дословно так: «Если мы уступим требованиям тех, кому оказали гостеприимство, тех, кто обязан нам всем, вплоть до хлеба насущного, то мы докажем, что Франция пала еще ниже, чем сама Польша».

— Превосходный ответ,— заметил Толстой.

Но вдруг один из журналистов подошел к министру и, не стесняясь тем, что находится в его доме, резко заявил:

— Вы неправы, господин Ламартин. Трактаты тысяча восемьсот пятнадцатого года уничтожены. Воюющая Франция обязана помочь полякам получить самостоятельность. Это наш республиканский долг.

На мгновение в столовой наступила тишина, затем по залу прошел шум замешательства.

— Я понимаю,— воскликнула госпожа Ламартин возбужденно,— вы подосланы каким-нибудь потомком Марата, жаждущим человеческой крови. Я не могу допустить, чтобы гостиная министра иностранных дел превратилась в говорильню, достойную кафе якобинцев или их клубов.

Журналист, весьма довольный произведенным им эффектом, не кланяясь, направился к выходу, однако Ламартин в полном спокойствии остановил его у двери. Он очень побаивался газет и заискивал перед литераторами.

— Превыше всего ценю я откровенное мнение и уверен, что оно вызвано только расположением ко мне, иначе вы бы не переступили порога этого дома. Здесь все друзья республики и порядка. Разрешите мне поблагодарить вас за правдивость. Я неуклонно верю в свое будущее, а это значит — и в преуспевание Временного правительства.

Поздно вечером Толстой вернулся домой. Он был удручен всем, что видел и слышал в этот день. Долго сидел он в халате, уставившись мутными глазами в едва теплившийся камин.

Мысли его были мрачны. Революция казалась ему страшнее смерти. Она грозила разоблачением, позором. Что, если эпидемия беспорядков, как мысленно называл Толстой революцию, перебросится в иные страны, охватит Россию? Революционный поток уже достиг Вены и затопляет Берлин. Французская буржуазия начала бороться с республиканским режимом. Толстой надеялся на быструю победу реакции. Но теперь революция в Пруссии и Австрии укрепила демагогов. Пожар, который затухал, снова разгорается от искр пламени вспыхнувшего рядом здания. «Как все это обернется для меня? Необходимо доказать Петербургу и царю, что время более не терпит. Вмешательство России необходимо. Скорее бы началась война! Нужно послать хоть несколько русских корпусов для усмирения здешней черни!» С этими мыслями Толстой до утра просидел в кресле у потухшего камина.

В марте из Парижа на родину уезжали праздные русские баре. Собрался в Россию и знатный вельможа богач Нарышкин. Проститься с ним зашел его старый знакомый, ученый, помещик Головин. Вот уже несколько лет живя в Париже, изобличал он двойственную и предательскую натуру Толстого. Увлеченный этим, он не удержался, чтобы снова не заговорить на столь волновавшую его тему с хозяином дома.

Нарышкин поморщился:

— Что это ты, Иван Гаврилович, словно охотничий пес, носишься по болоту. Какой тебе прок в том, благороден или нет Яшка Толстой? Ведь, по совести говоря, он верой и правдой служит российскому престолу и идее самодержавия. Как нынче говорят — монархист. И не плохо бы, как он того жаждет, двинуть войска с Востока на Запад и раздавить здешнюю якобинскую мерзость. Толстой что Меттерних! Ему бы министром быть. Он Киселева давно за пояс заткнул. Истинно государственный ум. А ты его опорочить хочешь? За что? Для чего тебе-то?

— Но какими средствами Толстой пользуется! — гневался Головин.

— Пустяки. Цель всегда оправдывает средства.

— Эка, да ты прямо иезуит. Уж не член ли ордена Игнатия Лойолы?

— Нельзя не согласиться иной раз и с иезуитами. С ними мы не рисковали бы нынче головами и поместьями. А то плохо

совсем получается — в феврале меня, Нарышкина, с экипажа сволокли и заставили строить для черни баррикады. Вот тебе порядок! Нет, я уважаю в Толстом его ярую ненависть к революции. Он великий патриот. Обличив Якова Николаевича, ты тем поможешь красным. А может, ты с ними заодно? — Нарышкин даже привстал, сделав это предположение, и впился прямо в глаза Головина.

— Я просто ученый,— ответил тот смиренно.— Наблюдаю за всем происходящим и молю со слезами господа, да пошлет он счастье людям.— Голос Головина вдруг окреп и глаза зажглись.— Но мой долг — изобличить подлеца Толстого, и от этого я не отступлю.

Расставшись недружелюбно с Нарышкиным, Головин вернулся к себе и взялся за письмо к брату в Россию. Писал Головин медленно, обдумывая каждое слово, тщательно выводя крупные буквы.

«Тридцать тысяч иностранцев уехали из Парижа,— сообщал он между прочим.— Бедное человечество! Оно предпочитает резаться, нежели довольствоваться малым. Ламартин все ораторствует. Наполеона пока у французов нет, но война может его вызвать. Мне так противна вся эта борьба, что я хочу жениться и поселиться в глуши».

Есть в истории дни, значение которых неизмеримо во времени. Любое мгновение тогда полно новизны и несет в себе перемены для многих тысяч людей. Такие великие дни щедро дарят революции.

Париж жил напряженно и деятельно. Дни и ночи подле городской ратуши, где заседало Временное правительство, толпился народ. Окно, через которое 9 термидора, узнав о поражении якобинцев, выбросился на мостовую Робеспьер-младший, было затянуто траурным крепом. Народ забросал нечистотами памятник деспотичнейшему из королей — Людовику XIV. На голову статуи этого дорого стоившего Франции монарха кто-то нацепил шутовской колпак.

Каждый день у ратуши выстраивались безработные. Им выдавали там вдоволь хлеба, сыра, мяса. Правительство торопилось устраивать всевозможные мастерские, надеясь, что они станут его оплотом, подобно Мобильной гвардии.

Иоганн Сток с семьей вернулся в Париж. На улице Вожирар вдова каретного мастера снова сдала ему комнату. В одном

из открывшихся клубов он встретил старого друга — прядильщика Кабьена. От него он узнал, что Пьетро Дивероллн уехал в Италию, где, вероятно, вступил в повстанческую часть. Этьен Кабьен с гордостью показал Стоку свежий рубец от раны, которую получил, сражаясь на баррикаде на улице Сент-Онорэ.

— Ты опытный баррикадный боец, Сток. Жаль, что тебя не было с нами в эти дни в Париже. Ты глотнул бы изрядно пороху, старина. Это были дни, за которые не жаль отдать и самое жизнь.

Сток жалел, что опоздал и, как ему казалось, явился «на готовенькое». Но очень скоро, приглядевшись к окружающему, он сказал Кабьену:

— Боюсь, что парижские улицы еще недостаточно политы нашей кровью.

Иоганну очень хотелось повидать Огюста Бланки, но прежде надо было подыскать работу. Женевьева прихварывала, сын Иоганн нянчил сестренку и заменял по дому мать. Деньги, привезенные из Брюсселя, быстро были истрачены. Следовало прежде всего подумать о куске хлеба для жены и детей.

Сток узнал, что в помещении упраздненной с февраля долговой тюрьмы в Клиши была открыта первая мастерская товарищества портных. Рано утром он пошел туда просить работы.

Портняжная мастерская в Клиши была необычна. В больших помещениях, бывших камерах, между изгрызенными временем и сыростью колоннами, прямо на полу шили портные и их подмастерья. Столов и табуретов не было. С окон сорваны решетки. Свет и воздух беспрепятственно проникали внутрь бывшей тюрьмы, изгоняя затхлый запах плесени и аммиака.

У Стока было много рекомендаций, лучшей из которых являлась его принадлежность к «Обществу времен года» Бланки в 1839 году. Среди портных он нашел немало давнишних знакомых.

Рабочие сами избирали из своей среды руководителей мастерской. Один из них, почтенного вида бородатый старик в фригийском колпаке, с лицом библейского патриарха — его все звали «папаша Поль»,— долго рассказывал Стоку о порядках в портняжьем товариществе. От каждого рабочего кроме знания ремесла требовались хорошее поведение и отменное прилежание. Все в мастерской было устроено на новый лад. Имелся особый фонд для вспомоществования вдовам, сиротам и больным. Часть прибыли оставалась для накопления общего капи-

тала, который должен был упрочить и расширить основу товарищества в будущем.

— Портные и их подмастерья,— сказал «папаша Поль»,— мечтают возвести для себя жилой дом, где были бы читальня, школа и баня для всех жильцов. Ради этих будущих благ мы работаем, не считаясь со временем и силами.

Стоку показалось, что все это сон, лучший во всей его жизни.

Хотя условия труда в мастерской были крайне трудны, портные чувствовали себя превосходно и товарищество их не только быстро разрасталось, но и приносило большие доходы.

В тот же день Сток получил работу и, усевшись у грязной серой стены, принялся шить.

Он был счастлив. Улыбка не сходила с его до этих дней обычно угрюмого лица. Впервые он трудился не на хозяина.

Работа в мастерской в Клиши не мешала песням. Сток незаметно для себя стал подпевать простенькому мотиву, сложенному любимцем революционного Парижа Пьером Дюпоном. В песнях Пьера Дюпона и его друга Пьера Лашамбоди в простых и задушевных словах возвещалась свобода обездоленным и рассказывалось о нищете и мучениях страдающего класса тружеников.

Иоганн Сток пел. Голос его, окрепший и звучный, выражал радость раскрепощенной и возрожденной души.

Стены и колонны бывшей тюрьмы были густо увешаны яркими плакатами о правах и обязанностях свободного гражданина Франции. Несколько свернутых красных знамен стояло наготове, по углам. В любой момент они могли понадобиться для шествия по столице.

В Париже было много безработных. Получив паек и немного денег в ратуше, они обычно шли в поисках работы в Люксембургский дворец в государственное бюро для приискания занятий. Там всегда было очень шумно и многолюдно. Измученные долгими тщетными поисками работы, люди были раздражены и легко вступали в споры. В зале, где заседала конфликтная правительственная комиссия, грубо пререкались хозяева предприятий с рабочими. Нередко тут же, на ходу, разбирались и причины возникшей стачки.

Вслед за портными вскоре создали свои рабочие товарищества седельники и ткачи. Но трудно было этим кооперативам ручного труда соперничать с крупными заводами и фабриками, хозяева которых были очень богаты. Не все мастерские давали достаточное пропитание работавшим в них.

Революция не много дала трудовому люду Франции. Рабочий день сократился всего на час. В Париже он стал десятичасовым. А в провинции по-прежнему работали не менее одиннадцати часов. Женщины и дети получали за свою работу значительно меньше мужчин. По-прежнему народ ютился в лачугах, хотя и приносил великие жертвы ради революции, защищая ее, голодал.

Как-то Сток с разрешения «папаши Поля» отправился в бывший Люксембургский дворец, где заседала конфликтная комиссия. Надо было поддержать справедливые требования рабочих забастовавшего завода, на котором работал Этьен Кабьен.

Первый, кого увидел Иоганн Сток, войдя в зал конфликтной комиссии, был Луи Блан. Закидывая назад изящную голову, он пытался успокоить разбушевавшихся участников стачки. Он говорил о социальной революции и желательности безболезненного, мирного конца капиталистического строя. Он пытался как бы убаюкать тех, кто едва держался на ногах от переутомления и недоедания, кто ничего не жалел ради победы революции!

Чуть покачиваясь на непомерно высоких каблуках, Луи Блан прохаживался по залу между кресел, где сидели усталые, хмурые люди, и говорил, говорил без конца:

— Необходимо учредить правительственную рабочую комиссию... Нужно с помощью выпуска государственной ренты скупить железные дороги и рудники у богачей. Терпение, граждане! Мы учредим государственное страхование. Мы построим вам, подлинным хозяевам страны, таким, как я сам, пролетариям, превосходные дома и больницы. Мы создадим рабочим человеческое существование и выведем их из нищеты к богатству, от тьмы — к свету.

Луи Блан красочно описывал зачарованным слушателям, пришедшим из сырых и темных подвалов, их будущие отдельные светлые квартиры и, увлеченный своим красноречием, закончил так:

— Идите и работайте. Верьте нам. Вот какие будут у вас сады.— Приподнявшись на цыпочках, Луи Блан открыл окно, и неповторимый аромат Люксембургского сада, где несколько столетий подряд выращивались дворцовыми садовниками редкостные кусты и растения, ворвался в сумрачный зал с грязным полом, с полинявшими обоями. Вместе с ароматом цветов Люксембургского сада донеслось пение птиц. В зале воцарилось молчание. Улыбались в бороды буржуа, вызванные в конфликт-

ную комиссию. Сговор с непокорными тружениками казался им теперь делом решенным.

Но вдруг чей-то голос из толпы рабочих-жалобщиков нарушил тишину этого идиллического мгновения.

— Вы призываете нас, гражданин Луи Блан: «Идите и работайте!» — громко сказал Этьен Кабьен.— А подумали ли вы о том, что советуете нам делать? Все это обман, вольный или невольный, кто вас разберет! Вы помогаете надувать нас! Разве не знает гражданин Луи Блан, что нет у нас ни поля, чтобы вспахать его, ни леса, чтобы строить дома, ни железа, чтобы ковать. Нам не дозволено собирать плоды в садах, брать воду из колодцев, охотиться на лесных зверей или наслаждаться лесной прохладой! На нашу долю не хватает ни работы, ни жизненных благ. Когда мы появились на свет, все вокруг уже имело собственников. Без нас были созданы законы, жестоко выбрасывающие нас на произвол судьбы. Что же нам петь красивые песни о будущем? Мы хотим жить уже сегодня и разделить то, что сделано руками отцов наших и нашими. Зачем возводить дома, когда они будут не для нас. Мы живем в лачугах, а в построенных нами жилищах, подчас в огромных домах, прохлаждаются два-три человека. Ведь все даровано землею для равного пользования людей — так вы писали сами в своих книгах. А на деле все средства производства забраны у большинства и стали достоянием лишь немногих избранных.

— Правильно,— не растерявшись, сказал в ответ Луи Блан.— И вот, чтобы положить конец этому, я предлагаю вместо национальных мастерских, которые буржуа бросают вам как милостыню, лишь бы не озлобить и выиграть время, иные, социальные мастерские. Там рабочие будут не только сыты, но и смогут распоряжаться всем, что сделают своими руками.

Но Луи Блан давно уже не внушал прежнего доверия. Он оттолкнул сердца народа неустойчивостью и переметчивостью, путаницей взглядов, и рабочие на этот раз досадливо качали головами. Лучше получить хоть какую-либо работу и кусок хлеба в уже существующей мастерской, чем ждать, пока Луи Блан перейдет от слов к делу.

В то время как в ратуше и Люксембургской рабочей комиссии обсуждались вопросы о том, как же быть с безработицей и все еще нищенствующим рабочим классом, в Париже и провинции начались выборы полковников и офицеров Национальной

гвардии. Прежний соратник Огюста Бланки по «Обществу времен года» Барбес был большинством голосов избран в полковники Двенадцатого легиона, куда проникло много буржуазных сынков, скрывавших под военной формой солдат республики реакционные взгляды и выжидавших черного часа для сведения счетов с революцией.

Иоганн Сток был удивлен и опечален, узнав, что Огюст Бланки, которого он глубоко чтил, вынужден был порвать со своим другом и соратником по борьбе с Июльской монархией Барбесом. Портной помнил, как Барбес ввел его в тайное «Общество времен года», как вместе сражались они на баррикадах и оба были ранены.

Барбес и Бланки были в то время членами центрального комитета этого республиканского заговора. Бланки называли головой, а Барбеса руками всего движения. И, однако, в 1848 году вражда разъединила навсегда двух отважнейших борцов.

За львиную отвагу, представительную внешность любили французские простолюдины Барбеса, но всегда доверяли больше Бланки. Рабочие ценили в нем энергию и дальновидный ум.

Силе характера и неукротимому мужеству не всегда сопутствуют мощный разум и глубина мышления. Барбес не обладал ясным пониманием расстановки сил в революции. Кроме того, он легко поддавался влиянию льстецов, любил первенствовать и часто становился орудием в руках опытных интриганов.

Барбес отстаивал позицию Временного правительства. Но, помимо идейных разногласий, его развело с Бланки самое неодолимое и позорное из чувств, которое он испытывал к другу,— зависть.

В один из свободных вечеров в начале апреля Сток вместе с Кабьеном отправились на улицу Бержер в здание республиканского центрального клуба, которым руководил Огюст Бланки.

У здания бывшего театра, где разместились бланкисты, стояла толпа. Попасть на заседание оказалось очень трудно. Но Сток и Кабьен тотчас же отыскали друзей среди членов клуба и протиснулись в переполненное здание.

Не только рабочие, ученые, художники, артисты, но и буржуа стремились увидеть и послушать человека, чье имя звучало для одних как святыня, а для других — как революционный набат и смертельная угроза.

В Париже было несколько сот клубов, объединенных единой

центральной организацией — «Клубом клубов». Но ни один из них, да и все вместе не могли равняться по силе влияния среди трудового народа с клубом — центром организации сторонников Бланки.

Ожидая начала заседания, Сток и Кабьен прогуливались в фойе бывшего театра. К ним подошел коренастый, широкоскулый рабочий с веселыми глазами, в широченной блузе навыпуск.

— Здорово, дружище Марш,— обрадовался Кабьен,— давно мы не виделись.— И, обернувшись к Стоку, пояснил: — Это мой старый приятель. Мы вместе с ним шлепали по лужам, когда были сопливыми мальчуганами. Наши отцы работали в одной кузнице. Он дрался лучше всех ребят на нашей улице, и я получил от него не одну затрещину.

— Помнишь, как мы пугали богомольных старушек, влезая на деревья церковного сада?

Сток уже много раз слышал о Марше, одном из героев февральской революции.

Марш принялся подробно рассказывать о событии очень значительном, незабываемом и дорогом в его жизни — участии в рабочей делегации, требовавшей прав для своего класса у правительства.

— Ламартин, этот петух в павлиньих перьях, действительно вообразил, что мы, как дети, заслушаемся его красивыми сказками. Не тут-то было. Я сказал Ламартину: «У меня самого имеется язык, который проникает поглубже вашего и пробивает насквозь. Вот мой огненный язык». При этом я показал министру ствол своего ружья. Таков наш рабочий язык, иного в наших переговорах с буржуазией быть не может.

— И что же Ламартин? — с большим интересом спросил Сток.

— Сначала было растерялся, но быстро опомнился. Хитер. Начал уговаривать. Обождите, мол, граждане рабочие, дайте срок. Нельзя за час решить столь важные вопросы. Пока мы говорили с Ламартином, Луи Блан, Флокон, Ледрю-Роллен и кое-кто из рабочих, отойдя к окну, набросали текст декрета, какой мы примерно требовали. Я помню каждое слово: правительство французской республики обязуется обеспечить работой существование трудящихся, берет на себя обязательство предоставить занятие всем гражданам государства.

— Ты забыл, Марш, что мы добились и еще одного пункта,— добавил Кабьен и скромно пояснил Стоку: — Я ведь тоже был

делегатом, но, не будь Марша, господа министры околпачили бы нас.

— Какой же еще пункт вытребовали вы у правительства?

— Правительство признает, что рабочим необходимо организоваться в ассоциации, чтобы получать надлежащее вознаграждение за свой труд,— отвечал Марш.

— Хитро они вас обставили, хотя как будто и уважили ваши требования,— подумав, заметил Иоганн Сток.— Все только вокруг да около.

— Это мы и сами поняли потом, но рады были, что без драки кое-чего все-таки добились,— помрачнев, проговорил Марш.— Что было нам делать? Мы ведь приучены к терпению.

— Да,— покачал головой Сток,— народ как голодал, так и голодает. На своей шкуре, горьким опытом наш брат рабочий только и может уразуметь, как трудно жить ему в девятнадцатом веке.

— Правильно, старина,— одновременно сказали Марш и Кабьен.

— Кстати, признавайся, Этьен,— снова повеселев и хитро подмигивая другу, спросил Марш,— ведь это ты тогда срезал с дивана в ратуше бархат и соорудил из него красное знамя, которое мы затем бросили из окна демонстрантам.

— Хоть бы и так,— чуть улыбнулся Кабьен.— Мы сражались на баррикадах под красными знаменами. Алые стяги должны и дальше увенчивать наши победы и устрашать наших врагов.

Разговор трех товарищей оборвался. По всему театру зазвенели призывно звонки. Начиналось заседание. Все устремились в зал, чтобы поскорее занять места. На сцене театра появился Огюст Бланки.

Иоганн Сток содрогнулся, увидев изможденное, изрезанное бесчисленными морщинами лицо, седые волосы, хилую, сутулую фигуру человека, который олицетворял для него могучий дух, непреклонную волю и мужество. Портной закрыл глаза, и множество видений пронеслось перед ним. Сколько должен был выстрадать этот железный революционер! Почти два десятилетия мук в тюрьме, потеря семьи, разочарование в самых близких друзьях... Борьба во всех ее разновидностях. Но разрушалось только тело, не дух этого необыкновенного борца. И чем более сдавала плоть, тем крепче и неукротимее становилась воля Бланки.

— Известно ли вам,— начал вождь французских рабочих,—

что в меня пущена отравленная ядом стрела? Меня, семнадцать лет проведшего в заточении, обвиняют в том, что я подкупленный предатель. Слуги Луи-Филиппа, превратившиеся теперь в блестящих республиканских мотыльков, с гордостью расхаживают по коврам ратуши и с высоты своей добродетели, нажитой раболепством, бесчестят Иова, вырвавшегося из темницы. Исподтишка, со всей низостью пытаются они в своей продажной прессе под видом безымянных «показаний на допросе» обвинить меня в предательстве по отношению к «Обществу времен года», руководителями которого были я и Барбес. Я вызываю клеветников на эту или любую иную трибуну с открытым забралом. Покажите гнусный, вами состряпанный «протокол допроса» мне и народу. Поступок ваш внушен вам ненавистью и страхом. Вы не брезгаете никакими средствами, чтобы избавиться от соперников. Вам нужен был этот документ, вот вы и «нашли» его... Подлые увертки при его опубликовании выдают его позорное происхождение. Реакционеры, какие вы трусы! Я вызываю вас. Пусть суд народа, которому я служил, служу и буду служить до конца жизни, сам решит это дело. Я не хочу больше говорить о подлом ударе из-за угла. Оправдываться для меня унизительно.

Стоку казалось, что все это во сне. Когда же портной уяснил себе происходящее, на трибуне уже стоял один из его друзей — участник восстания 12 мая 1839 года. Он говорил от имени своих единомышленников, бывших членов тайного «Общества времен года», также отбывавших тюремное заключение. Он заявил, что все, о чем будто бы на допросе сообщил жандармам Бланки, в действительности выдал изменник революционного движения Дюретр. Все, о чем говорилось в этом тайном доносе, было и вообще давно всем известно.

— Мы требуем, чтобы Ташро, издатель «Исторического обозрения», бросивший тень на незапятнанное, достойное удивления имя непреклонного Огюста Бланки, появился наконец и был судим народом за клевету. Этот прислужник реакции, продавший свое перо, конечно, боится предстать перед нами. Позор ему! Не раз уже удавалось врагам народа схватить Бланки, пытать его, обрекать на смерть и держать за решеткой, но никогда не признал он себя побежденным.

«Нельзя молчать! — проносилось в разгоряченном мозгу Стока.— Тут дело не в Бланки, а во всем революционно-коммунистическом движении». Возмущение и порыв борца, бросающегося в самое опасное место боя, подняли и заставили Стока

говорить. Он выступал с места, удивляясь звучности своего голоса и тому, что слова рвутся наружу с такой легкостью.

Сток говорил, что удар наносится реакционерами не столько по Бланки, сколько по всей революции. Бланкисты сильны. Они отвергают малодушные компромиссы. Их боятся. И чтобы парализовать влияние их вожака, правящая клика прибегла к самому близкому ее душе средству — к клевете. Разве это впервые?

— Вспомните, граждане,— обращался Сток к затихшим слушателям,— Бланки уже объявляли агентом легитимистской партии. Враги революции считают, что лишняя бочка грязи, опрокинутая на наших людей, не помешает — что-нибудь да прилипнет. Не поверят их клевете — попытаются действовать подкупом либо предложат сговориться. Только и этому не быть! Не таков Огюст Бланки. Ледрю-Роллен, как ни притворяется чуть ли не самим Маратом, в душе лицемер и трус. Луи Блан — смешная карикатура на Робеспьера. Оба они готовы пресмыкаться перед буржуазией. Им с Бланки не по пути. Они это хорошо знают, и ненависть их к нему беспредельна. Неудивительно, что и они обрадовались случаю, чтобы сокрушить силу, не поддающуюся ни подкупу, ни обещаниям. На всякие низости способны из партийной вражды мелкие и крупные буржуа. Бланки и на этот раз выйдет победителем.

Сток говорил с воодушевлением, все больше увлекая своей безыскусственной речью народ, заполнивший театр-клуб.

Двадцать третьего апреля предстояли выборы в Учредительное собрание. Реакция, потерпев поражение в уличных схватках, пустила в ход все средства, чтобы получить большинство в парламенте. В деревнях ей деятельно помогала церковь. В небольших городах, где почетом все еще пользовались богачи, они стремились привлечь на свою сторону бедное население. Республиканцы были окружены со всех сторон хитроумными врагами. Бонапартисты, легитимисты, орлеанисты мечтали о том, чтобы возвести на престол своих ставленников, и не жалели на это денег. Попытка подорвать доверие к Бланки была еще одним средством борьбы в предвыборные дни.

Собрание подходило к концу. По предложению Марша и Кабьена было решено, что рабочие организации соберутся 16 апреля на Марсовом поле, чтобы выбрать четырнадцать офицеров в штаб Национальной гвардии. Затем должно было состояться торжественное шествие к ратуше для вручения Временному правительству петиции следующего содержания: «Граждане! Реакция поднимает голову! Клевета, орудие людей бесчестных

и беспринципных, поражает ядом своим истинных друзей народа. Нам, деятельным и преданным представителям революции, надлежит объявить Временному правительству, что народ требует демократической республики, организации труда на началах товарищества, уничтожения эксплуатации человека человеком. Да здравствует республика!»

Огюст Бланки закрыл собрание своего общества, призвав всех к спокойствию и выдержке.

Иоганн Сток дождался Бланки у бокового выхода из старого театра. Была звездная прохладная ночь. Тихо разговаривая, они добрались до маленькой таверны в доме, где жил Бланки, и зашли в зал. Сидя за дубовым столом, они ворошили далекое прошлое. Бланки отдался воспоминаниям о семье.

— Можно один раз любить, как только однажды мы живем,— сказал он сумрачно.— Никто не заменит нам мать и ту единственную женщину, которая послана нам судьбой. Изменить ей, живой или мертвой, для меня было бы равносильно тому, чтобы предать идею, которой я верен до гроба.

— Вы кремень, Огюст Бланки,— заметил Сток, и ему стало безмерно жаль этого человека. Ведь ему не было еще и сорока пяти лет! Героическая душа в изможденном, больном теле...

Бланки уловил что-то в выражении лица Иоганна Стока своими зоркими, смотрящими точно из самого сердца глазами и, не в силах скрыть, как устал он от непрерывно сыпавшихся на него ударов, произнес тихо:

— Меня, дряхлую развалину, влачащую изношенное тело в изношенном платье, потерявшего все дорогое, трусливые реакционеры осмеливаются клеймить, обзывать продажным.

Сток взял в свои руки сухонькую, узкую, жесткую руку Бланки и крепко пожал ее.

— Вы заняли единственно правильную позицию, бросив обвинение в лицо обвинителей.

Бланки, как бы устыдясь проявленной слабости, встряхнул прямыми белыми волосами и улыбнулся. Но глаза его оставались настороженными и печальными.

— Будем бороться до последнего вздоха. Победа в конце концов всегда за теми, кто прав.

Эмма Гервег с нетерпением ждала отбытия легиона, возглавляемого Георгом. В глубине души ей очень хотелось быть женой не только поэта, но и министра Германской республики. Она за-

видовала поэту Ламартину. У Гервега, по ее мнению, имелось больше достоинств, чтобы руководить государством. Георг жил долго в изгнании и писал революционные стихи. Ламартин же был монархистом до революции и воспевал королей и католицизм.

Салон, который Эмма надеялась открыть в Берлине, несомненно, должен был во всем превзойти тот, который имела госпожа Ламартин. Жена министра иностранных дел Франции, несмотря на внезапно обнаружившиеся республиканские взгляды мужа, везде кичилась тем, что она незаконнорожденная дочь короля. У Эммы Гервег и тут было преимущество — ведь она плоть от плоти буржуазии, дочь богатого банкира. Это куда больше соответствует современным понятиям. Да и кто такой Ламартин по сравнению с Гервегом? Это станет всем ясно очень скоро, когда имя немецкого поэта обовьют лавры великого революционного полководца. Тщеславные надежды не оставляли Эмму Гервег. Она твердо уверовала в удачу похода. Мечтая о славном будущем, она радовалась, что увидит, как посрамлен будет Карл Маркс, возражавший против плана Гервега насадить в Германии республику с помощью одного военного отряда, созданного возвращавшимися изгнанниками.

«В крайнем случае,— думала Эмма,— я помогу бедняжке Женни, когда мы будем уже в Берлине и у власти. Она все-таки по рождению баронесса. Зря только она возится со всякими подонками общества».

Был апрель. Эмма смотрела, как напротив ее дома, перед церковью, под бравурные звуки оркестра народ торжественно собирался на праздник. Принесли дерево свободы — тополь, уже покрывшийся зелеными почками. Обливаясь потом, но радостно улыбаясь, двое рабочих в широких фартуках ломами выбили камни на мостовой, очистили и вскопали сухую землю. Под громкие крики толпы и звуки фанфар дерево было посажено. Принаряженные женщины, гордясь своим участием в церемонии, щедро поливали землю водой. Затем из церкви, благословляя толпу, торжественно вышел священник. За ним чинно двигались два мальчика — служки в белых с золотом облачениях. Произнося молитву по-латыни, священник благословил дерево и окропил ствол. Тотчас же восторженно загудела толпа и украсила тополь знаменами, венками и лентами. Оркестр сыграл «Марсельезу». Церемония была окончена.

Эмма уселась на диван и размечталась о том, как будут венчать лаврами ее мужа в Берлине. И снова с возмущением и

даже ненавистью вспомнила она о Марксе и Энгельсе. Как приятно будет увидеть растерянность этих неблагодарных людей, не оценивших должным образом ни революционного гения Гервега, ни ее, Эммы, доброты.

«Женни Маркс жила у нас перед отъездом в Брюссель,— думала жена Гервега,— и надо сказать, аппетит у ее прислуги Ленхен был очень велик. Пребывание Женни с ребенком, как ни была она щепетильна, обошлось нам достаточно дорого. Но я всегда так бескорыстна и ничего об этом ей никогда не сказала...»

Эмма стала прикидывать в уме, за все ли ей заплатила Женни, и с разочарованием установила, что придраться было не к чему.

В дни сияющего апреля Гервег и Борнштедт закончили сборы немецкого легиона. Ранним утром легионеры выстроились с ружьями на плече и двинулись по пыльным улицам Парижа к вокзалу. Отряд был немногочислен; сотни немецких революционеров отказались от этой авантюристической затеи и остались с Марксом и вернувшимся из Бельгии Энгельсом, чтобы вскоре поодиночке перейти границу родины.

Жена Гервега сопровождала мужа, который был выбран начальником легиона. Она заказала себе для похода военную амазонку из трех национальных цветов: черного, красного и золотого — и водрузила на свою мужеподобную голову берет с большой кокардой тех же цветов. Прежнего беспокойства о судьбе мужа у нее как не бывало.

— Я буду твоим оруженосцем, денщиком,— шептала Эмма мужу,— и как жена разделю затем твой триумф.

За исключением Гервега, который вдохновенно предрекал себе и своему «войску» победу, и нескольких молодых людей, жаждущих славы и сильных ощущений, все легионеры чувствовали себя растерянными. Каждого терзали сомнения. Многие осудили план кампании, повторяя здравые слова Маркса и Энгельса. Не было единства в отряде, и оттого насупились брови, пригнулись плечи тех, кто поддался уговорам честолюбца Гервега и Борнштедта. Горсточка вооруженных людей с национальными и красными флагами двигалась с песнями по улицам французской столицы. Рабочие-парижане, недавно проводившие поляков, итальянцев, бельгийцев, поклонявшиеся всякому проявлению храбрости, громко приветствовали их и желали победы. Женщины кидали воинам весенние цветы. Немцы отвечали им, размахивая мягкими шляпами, украшенными птичьими перь-

ями, и салютовали ружьями. Особенно возбужденно вел себя Гервег. Он кланялся прохожим, читал стихи и выкрикивал призывы на немецком и французском языках, прижимая к груди букет алых роз, привезенных из Ниццы,— их поднесли ему на прощание.

Адальберт фон Борнштедт, еще более похудевший, тонконосый, похожий на стервятника, шел важно, оборачиваясь, зорко и злобно вглядываясь в тех, чьи хмурые лица отражали обуревавшие их сомнения. Борнштедт отлично понимал колебания этих смелых людей. Но Гервег был ему нестерпимо мерзок.

«Самонадеянность — дочь глупости»,— цедил сквозь зубы Борнштедт, ускоряя шаг и стараясь не слушать больше Георга, вызывавшего восхищение французов, особенно женщин. Наконец отряд дошел до вокзала, разместился в приготовленные французским правительством вагоны и отбыл к границе.

В те же дни три вооруженных польских отряда оставили Париж и по Страсбургской дороге двинулись к Рейну, чтобы затем идти к берегам Вислы. Генералы Рыбинский и Дверницкий — доблестные воины, неустрашимо сражавшиеся в начале тридцатых годов с русским самодержавием на подступах к Варшаве,— остались во французской столице, готовя новые легионы из земляков-повстанцев. Князь Чарторыйский собирал для поляков оружие и средства в Германии. Там ему, подчас по совершенно противоречивым политическим соображениям, охотно помогали...

Тем временем готовились в путь на родину также Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Женни уже уехала с детьми в Трир к матери.

Энгельс, как и Маркс, вернувшись из Брюсселя, был поглощен работой в Центральном комитете Союза коммунистов, куда его избрали заочно.

Оба друга решили, что, перебравшись на родину, они первым делом займутся там созданием ежедневной революционной газеты. Перед отъездом в течение одной недели они подготовили политическую платформу Союза коммунистов в германской революции и издали ее в виде листовки. Ее вручали вместе с «Коммунистическим манифестом» всем едущим в Германию революционерам. Платформа называлась: «Требования коммунистической партии в Германии». Она начиналась последними словами «Манифеста»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И дальше:

«1. Вся Германия объявляется единой, неделимой республикой.

2. Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным, если только он не подвергался уголовному наказанию.

3. Народные представители получают вознаграждение, для того чтобы и немецкий рабочий имел возможность заседать в парламенте немецкого народа.

4. Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не только потребляло, как это было прежде, но и производило бы больше, чем составляют расходы на его содержание. Это является, кроме того, одним из способов организации труда.

5. Судопроизводство является бесплатным.

6. Все феодальные повинности, все барщины, оброки, десятины и т. д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа.

7. Земельные владения государей и прочие феодальные имения, все рудники, шахты и т. д. обращаются в собственность государства. На этих землях земледелие ведется в интересах всего общества в крупном масштабе и при помощи самых современных научных способов.

8. Ипотеки на крестьянские земли объявляются собственностью государства. Проценты по этим ипотекам уплачиваются крестьянами государству.

9. В тех областях, где распространена аренда, земельная рента или арендная плата уплачивается государству в виде налога.

Все меры, указанные в пунктах 6, 7, 8 и 9, проводятся с той целью, чтобы уменьшить общественные и прочие повинности крестьян и мелких арендаторов, не уменьшая средств, необходимых для покрытия государственных расходов, и не нанося ущерба самому производству.

Земельный собственник, как таковой, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. Поэтому его потребление — это просто злоупотребление.

10. Вместо всех частных банков учреждается государственный банк, бумаги которого имеют указанный курс. Эта мера делает возможным регулирование кредитного дела в интересах

всего народа и подрывает, таким образом, господство крупных финансистов. Заменяя мало-помалу золото и серебро бумажными деньгами, она удешевляет необходимое орудие буржуазного обращения, всеобщее средство обмена и позволяет использовать золото и серебро во внешних сношениях. Эта мера, наконец, необходима для того, чтобы приковать к правительству интересы консервативных буржуа.

11. Государство берет в свои руки все средства транспорта: железные дороги, каналы, пароходы, дороги, почтовые станции и т. д. Они обращаются в государственную собственность и безвозмездно предоставляются в распоряжение неимущего класса.

12. В жаловании всех государственных чиновников не будет никаких иных расчетов, кроме того, что семейные, т. е. лица с большими потребностями, будут получать и больший оклад, чем остальные.

13. Полное отделение церкви от государства. Духовенство всех вероисповеданий будет получать плату исключительно от своих добровольных общин.

14. Ограничение права наследования.

15. Введение высоких прогрессивных налогов и отмена налогов на предметы потребления.

16. Учреждение национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим средства к существованию и берет на себя попечение о неспособных к труду.

17. Всеобщее бесплатное народное образование.

В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и мелкого крестьянства — со всей энергией добиваться проведения в жизнь указанных выше мероприятий. Ибо только с их осуществлением миллионы, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которых будут пытаться и впредь держать в угнетении, смогут добиться своих прав и той власти, какая подобает им, как производителям всех богатств.

Комитет:
Карл Маркс, Карл Шаппер, Г. Бауэр,
Ф. Энгельс, И. Молль, В. Вольф».

Иоганн Сток, узнав о намерении Маркса и Энгельса уехать из Парижа на родину, пришел к ним. Накануне он провел вечер с Огюстом Бланки и подробно рассказал об этом.

— Ты правильно выступил в клубе, Бланки — подлинный вождь пролетариата,— сказал Маркс.— Только слабодушный

может усомниться в этом человеке, только враг революции может верить клевете на него.

Затем разговор перешел на выборы офицеров Национальной гвардии. Они были назначены в будничный день, чтобы рабочие не смогли принять в них участия. Буржуазия одержала верх. Это было дурным предзнаменованием. Сток сообщил о том, что социалисты хотят собрать рабочих на Марсовом поле для выборов офицеров из своей среды.

Послушай, Иоганн,— сказал Маркс,— ты остаешься пока в Париже. Предлагаю тебе быть корреспондентом газеты, которую мы обязательно начнем издавать в Германии.

Сток растерялся от этого лестного предложения и не знал, что ответить. Он считал себя недостаточно грамотным. Но Маркс, а за ним и Энгельс убеждали его не отказываться.

— Ты прошел такую школу обучения, которой могут позавидовать многие знающие кое-что о жизни лишь по книгам, не всегда к тому же достоверным.

— Ну что ж, попробую. Кое-чему я действительно выучился за свою жизнь и особенно в Брюсселе,— подумав, согласился Сток.

— Вот и отлично. Пиши просто, все, как думаешь сам.

Когда Сток собрался уходить, Карл дал ему несколько листовок «Требований коммунистической партии в Германии». Портной заинтересовался неизвестным ему еще документом, сел у стола подле лампы и принялся читать. Когда он кончил, лицо его пылало.

— Эти требования смогут лечь в основу революции не только в одной Германии, если она будет истинно пролетарской,— сказал Сток.— Это маяк для рабочих, он будет освещать им путь еще сотни лет. Тут все, что может потребоваться для создания нового государства. Спасибо вам.

Он не мог скрыть охватившего его волнения. Наступило молчание. Маркс смотрел из окна на ночной Париж, но мысли его были далеко. Сток напряженно следил за его сосредоточенным и вместе рассеянным взглядом и думал: «Этот человек, такой доступный и простой с нами, тем не менее таинствен. В далекой древности люди преклонялись бы перед ним, как перед пророком».

И такая огромная нежность поднялась в душе всегда сдержанного Стока, что он, тихо приблизившись, крепко обнял на прощание Маркса.

До свидания в Кёльне, Иоганн.

— Прощай, Маркс.

Сток вышел и, прихрамывая, стал спускаться с лестницы. Внезапно луч света упал на ступеньки. Обернувшись, Иоганн увидел Маркса с лампой в руке на площадке.

— Береги себя, Сток,— раздался сверху голос.

— Прощай! — ответил портной. Он сам не знал, отчего ему так тяжело было на этот раз расставаться с Марксом.

«Может, не увижу его никогда больше? — пронеслось в его мозгу.— Время такое. Тюрьма или пуля...»

Он внутренне запротестовал против тягостных и казавшихся ему нелепыми предчувствий.

«Нет, я здоров! Только воля немного ослабла. Подтянись, Сток!»

В первых числах апреля Карл Маркс и Фридрих Энгельс выехали в Германию.

IX. ПРЕДТЕЧИ

Бакунин искал встреч с Лизой. В Брюсселе он чувствовал себя одиноким и охотно делился с ней сокровенными мыслями и надеждами. Он умел быть обаятельным и легко, сам не желая того, разжег старое чувство, которое Лизе удалось уже однажды почти погасить совсем.

Любовь к Мишелю вспыхнула с новой силой в сердце замкнутой, строгой девушки. Тщетно она пыталась противиться, отдавая себе ясный отчет в том, что Бакунин дорожит не ею, а тем чувством, которое он в ней вызвал. Оно ему льстило. Как коллекционер, он собирал проявления ее любви, сам оставаясь рассудочно-холодным.

Однажды, когда он привлек к себе Лизу и поцеловал ее смолисто-черные волосы, она сказала печально:

— В каждом, даже таком недюжинном человеке, как вы, Мишель, скрывается рабовладелец. Вы подлинный рыцарь свободы, а нуждаетесь в преданной и покорной рабе. Что же, вы нашли ее во мне.

Бакунину стало не по себе. Он попробовал отшутиться, но вдруг перешел на серьезный тон:

— Поймите же, Лиза, с детских лет я посвятил себя борьбе за благо всех людей на земле. Это определило мою судьбу странника и борца. Но не скрою, что в последние дни я во сне и наяву вижу ваши прекрасные глаза и с радостью читаю в них нежность. Спасибо. Но запомните: себе я не принадлежу.

Лиза тихо ответила:

Пусть так и будет. Я ничего от вас не требую взамен своей любви. Любить ведь тоже счастье. Мне даже жаль вас за то, что вы, любя всех, не любите одной. Я богаче вас.

Хорошо, что вы так глубоко умны. Обычно женщины ревновали меня к великой цели, которая настолько значительнее всего и, конечно, отдельной человеческой жизни. Но немногое, что остается в моем сердце от великой любви к страдающему славянскому племени, я хотел бы отдать вам.

Лиза подошла к Бакунину и, взяв в свои руки большую кудрявую его голову, прижала к груди.

Через несколько дней, самых счастливых в жизни Лизы, началась революция во Франции. Бакунин стал неузнаваем. С горечью увидела беззаветно полюбившая его женщина, как он попытался отдалиться от нее, охваченный иными стремлениями. Революционная стихия ведь была ему дороже всего на свете. Ей оставалось смириться, чтобы не потерять его навсегда.

Но едва Бакунин оставил Брюссель, отчаяние так овладело Лизой, что она захворала. Хотя Мишель, рассеянно прощаясь с нею на только что отстроенном нарядном Брюссельском вокзале, не позвал ее с собой в Париж, она все же решила отправиться следом за ним. Ее успокаивала мысль, что он не любил ни одной другой женщины и был совершенно свободен. Он казался Лизе большим, необычайным ребенком, всегда нуждавшимся в чьей-нибудь заботе.

И поэтому она думала о нем с захлестывающим душу материнским беспокойством. Ее большое чувство давно уже включало в себя все разновидности человеческой любви. Иногда ей хотелось быть его сестрой, чтобы ничто не могло их разлучить. Лиза боялась больше всего остаться покинутой и забытой.

Зная о материальной неустроенности Бакунина, она посылала ему почти все деньги, которые с таким трудом зарабатывала уроками и переводами, и писала каждый день письма. В этом находила она утешение.

«Михаил Александрович,— Лиза не решалась называть его по имени,— пожалейте обо мне хоть один раз в жизни. У меня ведь никого нет на свете, обо мне никто не сожалеет. Я никогда не говорю окружающим о своих горестях: это внутреннее достоинство осталось единственным проявлением моей гордости. Когда в последний раз, перед тем как ехать в Париж, вы были у меня, то говорили, что ваша внутренняя борьба так сильна, что вы даже от этого сделались больны, что у вас лихорадка. Зна-

чит, вам была страшна разлука, как и мне. Я и сейчас в таком же состоянии болезни. Сегодня мне так грустно, что невольно льются слезы, а не в моем характере плакать понапрасну. Не обижайте же, не огорчайте меня больше, право, я и так довольно несчастна. Напишите мне поскорее хоть несколько строчек. Жизнь наша так быстро проходит. Зачем же своевольно наполнять ее горечью для себя и для других?»

Не получив ответа ни на одно свое письмо, Лиза поехала в Париж на поиски Бакунина. Но приехала она туда через два дня после того, как он отправился в Познань. Ехать дальше у Лизы не было ни средств, ни сил. Сломленная горем неразделенной любви, она нашла приют у стареющей, больной Марии Львовны Огаревой. Не желая слушать ее наставлений и сетований, Лиза ни словом не обмолвилась обо всем, что пережила, и ни разу она не произнесла имени Бакунина.

В апреле тетка из России прислала Лизе немного денег на дорогу домой. Вскоре, совсем уже нежданное, пришло письмо от Бакунина в ответ на многочисленные письма, которыми Лиза забрасывала их общих знакомых. Это было суровое наставление. Мишель писал, что будущее его грозно, полно опасностей и что они расстались навсегда. Неизмеримая пропасть легла между ним и Лизой, и он просит забыть о том, что было.

Но любовь не боится слов, даже самых жестоких, если нет за ними действий и фактов. Лиза отвечала Бакунину письмом с той решительностью, которую родит великое отчаяние:

«Нет пропасти, через которую твердая воля не проложила бы дорогу: скажите слово — и где бы вы ни были, я найду средство увидеться с вами. Только сегодня, получив наконец ваше письмо, вздохнула я свободно. До сих пор в Париже я не знала, что существует время, дни и ночи. Мысленно я беспрестанно говорила с вами, старалась пересказать вам все, что я чувствовала и думала с тех пор, как мы познакомились, хотела убедить вас в том, как я страдаю. Все силы сердца и души тратила я на то, чтобы найти вас. Вы должны понять, как тяжело мне потерять вас навсегда, не имея даже возможности писать к вам, ни слышать о вас что-нибудь верное. Надобно испытать все, что я испытала, чтобы понять меня. Я всегда готова разделить с каждым горе, но редко сама встречаю участие в людях. Но даже если самые живые порывы души моей будут отвергнуты, я за то благодарю бога, что не теряю силы любить, а до тех пор, пока не оставит меня это чувство, не говорю, что несчастна.

Я решила ехать в Берлин, где, верно, смогу не только услы-

знать что либо о вас, но и свидеться с вами. От вас одного зависит приехать ко мне или позвать меня в Познань. Если имеете ко мне хоть немного дружбы, так ради бога — пишите».

Письмо Лизы тронуло Бакунина. Он обещал встретиться с нею в Берлине.

Легион Гервега и Борнштедта был наголову разбит вюртембергскими регулярными войсками на территории Бадена возле селения Нидердоссенбах. Легионеры попали в ловушку, подстроенную немецким и французским правительствами, для которых было весьма выгодно уничтожить их всех одним ударом. Гервег и весь отряд волонтеров мужественно сражались, но исход боя был предрешен.

В трудные часы Эмма проявила необычайное хладнокровие и находчивость. Вместе с Гервегом она укрылась в деревне, где упросила крестьянина спрятать неудачливого полководца в бочку и прикрыть его там соломой. Переодевшись в мужское платье, Эмма вывезла бочку на крестьянской телеге снова во Францию.

Адальберту фон Борнштедту так и не удалось загладить свое прошлое победой в бою и доказать, что он честный революционер. Он едва спасся после битвы при Нидердоссенбахе. Появляться там, где шумели революционные волны, ему больше было нельзя. Даже в Берлине и Вене, где было неспокойно, Борнштедт боялся, что его может призвать к ответу суд народа. К тому же застарелая болезнь, которую в течение многих лет он тщетно пытался излечить серными водами и ртутными втираниями, начала быстро развиваться. Борнштедта охватила мания преследования. Изнуренный постоянной бессонницей и ожиданием возмездия, он переезжал из города в город. Худой, похожий на скелет, он пугал окружающих внезапными приступами безумия, воплями о спасении. Галлюцинации не оставляли его, и он видел снова и снова, как падали, обливаясь кровью, и умирали смелые, самоотверженные люди, которых он повел на бесславную гибель.

«Если бы можно было начать жить сначала,— думал он иногда, терзаясь.— Если бы все забыть!» Но воспаленный мозг с новой силой воскрешал перед ним его прошлое.

Опасения Борнштедта все же сбылись: он был арестован. В тюрьме Адальберт бесновался как одержимый, и однажды, когда он особенно бушевал в камере, то отдавая воинскую

команду, то вопя о пощаде, то грозя кому-то, его связали и силой увезли в тюремную психиатрическую больницу Илленау. Там в буйном отделении Борнштедт скончался.

По дороге в Кёльн Маркс и Энгельс ненадолго задержались в Майнце, городе, прославленном осадами и героической борьбой с врагами во времена средневековья. Оба друга встретились там с членами Союза коммунистов и обсудили, как совместно вести революционную работу и теснее объединить рабочих.

Карл снова ступил на немецкую землю и слышал вокруг родную речь. Еще несколько месяцев назад возвращение в Германию означало бы для него тюремное заключение и, может быть, казнь. Но он знал всегда, что будет по-иному и он увидит свою родину.

Неурожай на протяжении последних нескольких лет и жестокий экономический кризис закончились в Германии, как и во Франции, народными восстаниями. В марте в Берлине, после двухдневной уличной борьбы, народные повстанцы одержали победу над королевскими войсками.

В Пруссии и других германских королевствах и княжествах были образованы буржуазно-либеральные правительства. Они, однако, ограничили свою деятельность проведением половинчатых реформ. Ничего, например, не было сделано для освобождения крестьян от феодального гнета. Положение трудового народа оставалось все таким же тяжелым, и у власти в полиции и армии находились те же лица, происходившие из дворянских родов. Германские буржуазные правительства оказались неспособными осуществить и объединение раздробленной на тридцать шесть частей-государств Германии.

Около четырехсот рабочих-немцев, большинство членов Союза коммунистов, уже переправились поодиночке через границу и прибыли в разные города Германии. Все они сразу же включились в революционную борьбу. Снова действительность доказала правоту тактики Маркса и Энгельса. Союз коммунистов выковал из революционных передовых рабочих и интеллигентов непоколебимых борцов.

Из Майнца в Кёльн Карл и Фридрих добирались в дилижансе. Была теплая весенняя ночь. Пассажиры пугливо озирались. Худой чиновник в застегнутом на все пуговицы мундире и теплом шарфе на шее, с лицом болотной птицы мрачно рассказывал пассажирам:

— Крестьяне, эти дикари в образе человеческом, как в проклятом тысяча пятьсот двадцать пятом году, вооружились косами, вилами и топорами. Они нападают на усадьбы и жгут их, как хворост, который отныне таскают безнаказанно из помещичьих лесов.

Женщины охали, мужчины поспешно закуривали, чтобы преодолеть страх и осветить хоть немного темноту весенней ночи.

— То, что мы переживаем, предсказано библейскими пророками,— изрек сидевший в углу пастор и достал корзину с провизией.— Когда страх гложет душу, обгладывай гуся,— добавил он, желая развеселить паству.

— Крестьяне не только жгут кабальные бумаги, конторы и дома землевладельцев, они грозятся вскоре приняться за всех господ,— продолжал чиновник.

Вдруг кучер резко сдержал лошадей. От толчка на головы пассажиров повалились свертки и баулы. Раздался женский визг.

— Вот они, вот! — крикнул кто-то.

Карл и Фридрих прильнули к окнам. На черном небе полыхало зарево, яркое, как солнечный восход.

— *Горит чье-то поместье! — закричали со всех сторон.*

— Скоро в Германии не останется больше ни одного замка. А потом мужичье примется за нас. Вот она, анархия!

Но никто не остановил дилижанс...

Одиннадцатого апреля Карл и Фридрих приехали в Кёльн.

Город внешне мало изменился с той поры, когда Маркс покинул его несколько лет тому назад.

Так же возвышался над готическими крышами домов громоздкий ларь — собор. На улицах степенно прохаживались рослые светловолосые рейнландцы, похожие на героев из «Песни о Нибелунгах». Превосходную колбасу подавали в трактирах вокруг Сенного рынка, где когда-то Маркс и Рутенберг спорили за кружкой пива или рейнского вина о грядущих судьбах разрозненной Германии.

Прусский город Кёльн, расположенный на левом берегу Рейна, был некогда Colonia Agrippina римлян. Население его почтенное веков занималось промыслами и торговлей. Издавна здесь шла торговля зерном, кожевенными товарами, табаком, рисом, вином, тканями. Для перевозки товаров пользовались многочисленными мелкими и крупными судами на Рейне. Улицы Кёльна располагались по дуге, хорду которой составляла река.

Кёльн — живописный город. В нем много храмов, площадей, мостов и богатых предместий.

Основная достопримечательность города — Кёльнский собор. Это одно из прекраснейших зданий мира, самая большая постройка готической архитектуры. Внутри собора взгляд поражают сто воздушно-легких колонн, поддерживающих неф.

Но наряду с замечательными строениями здесь же лабиринты грязных извилистых улочек, узких и темноватых, заполненных пешеходами, телегами и каретами.

Долгое время Кёльн был третьим по величине и народонаселению после Берлина и Гамбурга городом Германии. Значение его то вырастало, то падало в связи с войнами и сменой правителей.

В 1848 году, когда подули революционные ветры, в городе стало особенно шумно. Под светлым небом на площадях собирались, чтобы поспорить, рабочие и лавочники, крестьяне и студенты. Казалось им, что можно с помощью лишь слов перекроить на свой лад Германию, изменить ее общественный строй, добиться конституции.

Надеялись на воссоединение Германии. Ведь когда-то на Венском конгрессе австрийскому канцлеру Меттерниху удалось создать на территории бывшей Германской империи хотя и чахлый, но все же союз тридцати четырех маленьких государств. Австрия должна была играть роль их защитника против сильной Пруссии. Но значительная часть подвластных Пруссии и Австрии земель оставалась вне союза. Единственным органом, объединяющим все немецкие государства и четыре вольных немецких города — Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Любек и Бремен,— был Союзный сейм, находившийся во Франкфурте-на-Майне. Он состоял из уполномоченных отдельных немецких государств.

Едва прибыв в Кёльн, Маркс и Энгельс сразу же принялись за работу. Еще до февральской революции они не раз обсуждали возможность создания в Германии самостоятельной партии пролетариата. Но время для этого еще не приспело.

Положение в Пруссии и во всех немецких королевствах и княжествах становилось все более сложным. После прокатившихся по всей Германии кровопролитных восстаний рабочих в марте 1848 года, поддержанных крестьянами в деревнях, владельцами маленьких мастерских и лавок, прусский король и многочисленные князья вынуждены были пойти на некоторые уступки. Удар по феодально-самодержавному строю был нанесен. Однако

плоды нелегко добытой победы стали собирать богачи, промышленники, банкиры, хозяева больших магазинов и фабрик. В Берлине растерявшийся прусский король призвал на помощь в новом правительство богатейших магнатов — Кампгаузена и Гансеманна. Прусские дельцы больше всего боялись пролетариев и поэтому предпочитали сговор с помещиками и князьями. В результате власть буржуазии в полиции, армии и государственных учреждениях остались люди, верно служившие монархии, абсолютизму.

Уже в этом еще во Франции отлично разобрались Маркс и Энгельс. Не случайно именно Кёльн, город передовой рейнской промышленности, где пролетариат уже пробудился к политической жизни и осознал свои возможности, избрали они местом жительства и работы. Кроме того, в Кёльне были более благоприятные условия для издания большой революционной газеты. Там все еще действовал кодекс Наполеона, дававший несколько большие буржуазные свободы, нежели прусское право, прочно утвердившееся в Берлине.

Карл не мог оставаться долго без Женни. Хотя он был очень занят, сознание, что семья недосягаемо далеко, угнетало его. Как ни сложно, ни неясно было будущее, он все же решил вызвать Женни с детьми. Вскоре вместе с Ленхен они приехали в Кёльн.

Создать новую газету было нелегко. Не хватало денег. Маркс записался первой акционеров в Кёльне. Энгельс поспешил в родной Бармен, надеясь уговорить отца, хотя бы ради его коммерческой выгоды, помочь в этом трудном деле. Вупперталь доставил ему много хлопот и разочарований, о которых он напишет Марксу. Многие из тех, кого некогда Фридрих считал коммунистами, стали настоящими буржуа с тех пор, как обзавелись собственными предприятиями. Эти люди боялись как чумы обсуждения общественных вопросов; они называли это подстрекательством.

Через два или три дня ты получишь положительное сообщение, наше дело кончилось, писал Карлу Энгельс.— Разумеется, буржуа видит в нас своих будущих главарей, но не хочет давать нам в руки оружие, которое мы скоро обратим против них самих. От моего старика совершенно ничего нельзя добиться. Для него «Кёльнская газета» — это средоточие всякой крамолы, и вместо тысячи талеров он охотно послал бы нам тысячу картечных пуль».

Только необычайная энергия Фридриха, его ум и убедитель-

ные доводы преодолели препятствия. Он объездил много городов вокруг Бармена и весьма дипломатично уговаривал сочувствующих коммунистам состоятельных граждан вступить акционерами-пайщиками в дело издания газеты. В конце концов в придачу к тем, которых удалось уговорить в Кёльне Марксу, он нашел еще четырнадцать акционеров.

И вот уже первого июня вышел в свет долгожданный номер ежедневной «Новой Рейнской газеты». Главным редактором ее был Маркс. В состав редакции вошли Энгельс, Г. Веерт, Г. Бюргерс, Э. Дронке, Вильгельм и Фердинанд Вольфы. В подзаголовке значилось: «Орган демократии».

Маркс и Энгельс вынуждены были считаться с положением, которое было в каждом из больших или малых немецких княжеств, а также в королевской Пруссии. Немецкий трудовой народ состоял в большинстве своем из ремесленников. Промышленность значительно отстала от французской и особенно английской.

В политически раздробленной Германии не было еще возможности для создания массовой пролетарской партии. Зная это, несколько сот членов Союза коммунистов, прибывших, как Маркс и Энгельс, на родину, работали не покладая рук. Однако и они не могли сразу привести в движение полную предрассудков, подчас доверявшую хозяевам массу тружеников.

Акционеры «Новой Рейнской газеты», давая деньги на ее издание, настаивали на том, чтобы основой политики газеты было пленившее и успокаивавшее их слово «демократия». Учитывая все это, Маркс, Энгельс и их сторонники вошли в «Кёльнское демократическое общество».

За несколько месяцев, прошедших после мартовских революционных схваток в Берлине и Вене, бурлящая река снова вошла в берега. У кормила власти всюду оказались люди, отличавшиеся от своих феодальных предшественников только умением произносить напыщенные речи о необходимости свободы, справедливости и улучшения жизни рабочих. Чем больше было слов, тем меньше дела. Национальное собрание во Франкфурте должно было внести значительные изменения в законодательство и объединить Германию. Но в море фраз и добрых пожеланий пошли ко дну все предполагаемые свершения, и все оставалось по-старому.

Восемнадцатого мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне открылось общегерманское собрание, на которое все демократы возлагали немалые надежды.

Депутатам предстояло выработать параграфы конституции будущего единого германского государства. Но очень скоро стало ясно, что Франкфуртское собрание лишено какой бы то ни было решающей политической власти и не стремится приобрести ее.

Не только либералы, которых было большинство, но и депутаты, представлявшие мелкую буржуазию, отличались чрезвычайной говорливостью. Словами они прикрывали трусость, безволие и явное нежелание возглавить народное движение против быстрорастущей контрреволюции.

Первый же номер «Новой Рейнской газеты» прозвучал как взрыв бомбы. Статьи против Франкфуртского парламента — бессовестной говорильни, объяснявшие, как обманут пролетариат, одержавший в Берлине победу во время мартовской революции 1848 года, испугали прежде всего господ акционеров. Они осаждали в эти дни скромный кабинет Маркса в редакции и выражали свое возмущение газетой.

— Позвольте,— горячился один из купивших акции газеты буржуа,— вы подкладываете под мой матрац адскую машину. И это за мои же деньги. Какая тут, к дьяволу, линия добропорядочной демократической политики? Это же чистейший коммунизм! Я не хочу сидеть вместе с вами на скамье подсудимых.

Маркс сдержанно успокаивал акционеров, не давая им, впрочем, никаких обещаний изменить курс газеты.

И «Новая Рейнская газета» стала единственным, подлинно революционным рупором пролетариата Германии.

Редакция газеты, заменив, по сути, прежний Центральный комитет Союза коммунистов, направляла также деятельность членов союза, которые в эту пору возглавляли многие германские рабочие союзы. Маркс и Энгельс создали революционный боевой штаб коммунистов, где работали лучшие, даровитейшие журналисты, писатели, поэты. С сумерек и до глубокой ночи не закрывались двери кабинета Маркса. Веерт то и дело врывался, чтобы поделиться с главным редактором блеснувшей у него мыслью или прочесть своим глуховатым голосом новые, пылающие, как его глаза, стихи.

Именно здесь, в накуренной шумной комнате с узким диванчиком, на котором часто проводил короткие часы ночного сна Маркс, Веерт чувствовал себя наиболее счастливым. И не он один. Отсюда, с этой командной высоты, открывалась не только вся Германия, но и весь мир. Из этой простой комнатки

с несколькими столами и стульями, с множеством окурков вокруг чернильниц, на папках и на полу, гремел набат.

Каждый, пробывший хоть немного времени среди этих вдохновенных, необыкновенных, излучающих искры воли, ума, добра, знаний, целеустремленных, веселых людей, точно восходил на самую высокую вершину и, ошеломленный, взирал на открывшуюся ему панораму.

Ежедневная газета была начинена порохом. Слова стали гранатами. Но в них была не только разрушительная, но и созидательная сила. Энгельс оказался превосходным воином в газете. Его перо стоило многих батарей и неизменно обеспечивало победу. Болезненный, но неутомимый Веерт, сдержанный Фрейлигграт, весельчак и балагур Фердинанд Вольф, прозванный «Красным»; торопливый, горячий «Малыш» — Дронке; трудолюбивый, самоотверженный Вильгельм Вольф — никто не мог состязаться с многогранным Энгельсом, хотя каждый из них тоже хорошо работал, писал очерки, статьи, фельетоны.

— Я читал у Плутарха, что Ганнибал побеждал оттого, что мог не спать по нескольку суток, терпеливо переносил невзгоды, голод, холод и был упорен в любом деле. Несомненно, наш Фред из той же породы великих полководцев,— говорил Веерт.

И действительно, никто не мог превзойти Энгельса в блеске и неповторимости, ясности и глубине его публицистических выступлений. Не было темы, которую, подчас в последнюю минуту, перед самой отправкой газеты в набор, он не превратил бы в полную глубочайшего ума и знаний или уничтожающей иронии статью. Для газеты он был сущий клад и не раз помогал Марксу, который нес всю тяжесть общего политического руководства и множества организационных дел. Большинство передовиц создавал Энгельс почти что на ходу, и, как Юлий Цезарь, он мог одновременно писать, говорить и просматривать подоспевший редакционный материал.

— Ты подлинно ходячая энциклопедия! — восторгался Карл другом.— Все знаешь, до самого корня, сообразителен как черт, способен работать в любое время дня и ночи, после еды и натощак.

Во всем Маркс и Энгельс превосходно дополняли друг друга.

«Новая Рейнская газета» жестоко бичевала измену буржуазии, предавшей рабочих и крестьян. В своих статьях ее авторы-коммунисты разрушали ложное представление, утвердившееся в народе, что мартовские бои 1848 года завершили революцию и несут с собой будущие блага.

«Ты думаешь, что покончил с помещичьим государством? — писал Энгельс в одной из своих статей.— Заблуждение! Ты думаешь, что теперь тебе уже обеспечено право свободного объединения, свобода печати, вооружение народа и прочие высокие слова, которые летели к тебе через мартовские баррикады? Заблуждение! Чистейшее заблуждение!

Когда прошел приятный хмель,
Очнулся ты в недоуменье...»

Сражаясь против реакционных сил, Маркс и Энгельс в своей газете стремились утвердить самосознание рабочих, так же как и забитых немецких крестьян, расковать их энергию, призвать на завершение буржуазной демократической революции. Тогда, по их мнению, откроется широкая дорога к последующей борьбе — за революцию социалистическую. Это давалось нелегко. Приходилось преодолевать сопротивление не только одной государственной власти. Стефан Борн, член Союза коммунистов, давнишний знакомый Карла и Фридриха, создал в Берлине организацию, назвав ее «Братством рабочих». Он попытался, приспособляясь к самым отсталым ремесленникам, убедить их в том, что важны не общеполитические задачи всего германского народа, а чисто экономическое устройство самих рабочих. Борн сводил революционную борьбу к вопросам продолжительности рабочего дня и заработку. «А об этом,— говорил он,— можно сговориться с предпринимателями».

Руководитель кёльнского «Рабочего союза» врач Андреас Готшальк и вернувшийся в Германию из Америки Вейтлинг, не понимая чисто буржуазного характера революции, наоборот, требовали немедленного развязывания гражданской войны и провозглашения рабочей республики. Вейтлинг на собраниях нападал на «Новую Рейнскую газету», обвиняя ее в стремлении объединить все демократические силы в ущерб рабочим.

Невежественные в политике, крайне самонадеянные, сектанты соединяли в себе демагогическую фразеологию с трусостью, когда доходило до дела. Их выступления вносили путаницу в умы, что волновало Маркса и Энгельса, так как нельзя было допустить раскола в опаснейший момент наступления германской и мировой контрреволюции. Как никогда, нужно было сохранять единство и волю к победе, чтобы спасти то немногое, что оставалось у рабочих и крестьян от мартовских побед.

Вспыльчивый, горячий, Маркс умел быть хладнокровным в минуты наибольшего напряжения и опасности. Таким он был

в редакторском кресле «Новой Рейнской газеты», на трибуне собрания коммунистов, «Демократического общества» и «Рабочего союза». Самообладание его не знало тогда предела, и он твердостью, смелостью, уверенностью и ясностью мысли побеждал противников.

Ничто важное для судеб человечества, происходившее в мире, не ускользало от внимания «Новой Рейнской газеты». События в Польше находили отражение на ее страницах в такой же степени, как и вопросы необходимости революционного объединения Германии. Энгельс в статье «Новый раздел Польши» горячо поддерживал национально-освободительное движение польского народа. Он неопровержимо доказывал, что создание демократической Польши является непременным условием создания демократической Германии. Все страны мира — звенья одной цепи.

Маленькая таверна «У Марианны», недалеко от площади Бастилии, на вывеске которой тотчас же после революции хозяин собственноручно нарисовал пику, напоминавшую кочергу, и фригийский колпак, похожий на треугольную сахарную голову, состояла всего из одной низенькой комнаты с очагом посередине. Запах превосходно поджаренного мяса и яблочного сидра, который приготовляла хозяйка, уроженка бургундской деревни, постоянно наполнял таверну и вызывал бурный аппетит у посетителей.

На стенах ее со времен объявления Второй республики висели портреты Робеспьера и Марата и яркие литографии, изображавшие взятие Бастилии, заседания Конвента и шествия 1793 года. Хозяин состоял членом возродившегося клуба якобинцев и объявлял себя сторонником самых крайних революционных взглядов. Он читал газету «Друг народа» Распайля и похвалялся, что в таверне часто ужинает Огюст Бланки.

Иоганн Сток и Кабьен после работы бывали «У Марианны», где обычно собиралось так много посетителей, что приходилось примащиваться по двое на табуретах.

Как-то в сумерки, подойдя к таверне, портной и прядильщик остановились у настежь открытой двери.

— Ба, да здесь сам Беранже,— сказал радостно Кабьен и указал Стоку на старика с лысой головой. Только на затылке поэта венчиком вились длинные седые волосы.

Иоганн жадно вглядывался в дряблое лицо великого песенника. Несколько выпуклые, покрасневшие глаза Беранже плохо

видели. Он щурил их. Запоминался его добродушный нос с утолщенными ноздрями.

Беранже казался растерянным. Его засыпали вопросами собравшиеся в таверне рабочие и ремесленники.

— Ты упорно отказываешься от участия в Учредительном собрании. Почему? Ведь все лучшие люди, весь рабочий люд Франции отдают тебе свои голоса.

— Мы пели твои песни на баррикадах. Ты всегда жалел бедных и знаешь наши нужды.

Сток услыхал, как Пьер-Жан Беранже ответил на эти вопросы, не повышая слабого голоса:

— Вы забыли, что мне уже около семидесяти. Я теряюсь среди множества людей. Мой бедный ум смущен даже сейчас. Вас слишком много. Я отказывался не только от парламентской скамьи, но и от кресла в академии. А это ли не честь для писателя! Поймите же и пощадите старого и немощного своего друга. Разве на протяжении тридцати с лишним лет не был я эхом ваших печалей и надежд? Но эхо родится в тиши лесов, полей и вод. Не извлекайте же меня из моего уединения. Там я во много раз полезнее вам, друзья мои.

— Что же, ты бежишь! — крикнул молодой рабочий с металлургического завода.

Сток прорвался к нему и схватил за руку.

— Молчи, юнец. Взгляни на седины, на дрожащие старческие руки Беранже. Пусть служит он пролетариату своим пером там, где ему спокойнее.

Рядом со Стоком стал стройный мужчина с длинными волосами в широкой темной блузе.

— Я рабочий, как вы. И, подобно многим поэтам, обязан Беранже тем, что пишу песни. Мое имя Дюпон.

Восторженные возгласы прервали любимейшего песенника революционных окраин.

— Говори, Пьер. Мы умеем ценить песни и стихи больше, нежели толсторылые буржуа.

Но Дюпон, как бы не слыша, подошел прямо к Беранже и, откинув руку жестом средневекового менестреля или трубадура, поклонился.

— О Беранже! Наш предводитель старый, мы каждою строкой тебе должны!

Затем он принялся рассказывать, как со всей Франции стекаются к Беранже вдохновенные, но часто беспомощные поэмы и стихи начинающих поэтов из рабочего класса. С терпением

и любовью читает и правит эти первые творения пролетариев старый Беранже.

— Кто из нас, пролетарских поэтов,— продолжал Дюпон,— не получал совета от него? — И снова он изящно поклонился патриарху поэзии.— Беранже, ты не раз учил нас не бросать иглы, наковальни, рубанка и молота, прежде чем не появится уверенность в успехе. Ты предупреждал, что нищета и горе в наши дни настигают писателей и ввергают их в пропасть бедствий. Тяжелое ремесло быть поэтом и воспевать правду среди хищников буржуа. Ты, Беранже, не только друг и певец рабочих, но и учитель тех, кто рвется к поэзии. Кто еще, как ты, стал бы настраивать с такой заботливостью лиру тружеников? Слава тебе в веках!

Старый поэт растроганно обнял Дюпона и затем обратился к многочисленным блузникам, которые словами, взглядами, жестами наперебой высказывали ему свое почтение и преданность.

— Спасибо, братья! Скажу вам словами своей песни:

О, сделай так, чтоб говорили
Они при имени моем:
«Хвала ему, ведь он впервые
Привел поэзию к нам в дом!»

Когда Беранже ушел, Сток и Кабьен еще долго молчали, поглощенные своими думами. Вспомнив что-то, портной сказал:

— А ведь и Маркс, лучший и умнейший из всех людей, которых я знавал, назвал Беранже бессмертным. Вот какая сила в песне, если от колыбели до гроба сопровождает она народ.

— Пора бы тебе показать мне этого Маркса. Не так-то часто хвалишь ты кого-либо.

— Да, брат, такие, как он, родятся только раз в тысячу лет. Но познакомить тебя с ним пока не могу. Он в Германии.

Сток долго еще говорил о Марксе и Союзе коммунистов. Он был необычайно возбужден и весел в этот вечер.

А дома ждало его несчастье. Пока портной был на работе, а потом в таверне «У Марианны», занемогла Женевьева. Обычно она умела скрывать от мужа и детей свои недуги. Но в этот раз болезнь оказалась такой тяжелой, что ей это не удалось. Приступы тошноты, рези, внезапно начавшись, все усиливались. Еле-еле дотащилась она до ветхой постели, впервые за всю жизнь легла днем и, не выдержав боли, громко застонала. Владелица дома прибежала узнать, что стряслось у постояльцев. Женевьева, судорожно вздрагивая, попросила ее увести прочь детей.

— Присмотри за маленькой Катриной, Иоганн,— сказала она жалобно сыну.— Не знаю, встану ли я. Очень мне трудно.

Девочку едва оторвали от матери, а перепуганный мальчик не смог сдержать слез. Он впервые видел мать такой слабой. Добрая вдова каретного мастера увела к себе детей, и Женевьева до прихода мужа осталась одна. Поздно вечером Сток нашел жену в судорогах. Вся в поту, она металась по постели. Портной окликнул ее, но не получил ответа. Тогда он поднял ее голову. На него глянули чужие, измученные предельным физическим страданием, полные ужаса глаза. Они смотрели сквозь него куда-то далеко.

— Милая, голубка, женушка, хозяюшка,— причитал Сток.

Откуда только брались у него эти ласковые слова? Как мало дарил он их Женевьеве за восемнадцать лет их совместной жизни! Как мечтала она о такой ласке! А теперь глаза ее смотрели, выражая только глубокое страдание и недоумение.

Иоганн поднял Женевьеву на руки и ужаснулся тому, как легко было ее тело. Она казалась ему такой же, как в Лионе, когда он нес ее с берега Роны. Он прижал ее к себе, точно мог этим отогнать духов зла, пробравшихся к ним. Судороги опять свели тело больной. Она застонала. Охваченный отчаянием бессилия, Иоганн достал небольшие сбережения и, завязав деньги в платок, выбежал из дому. Как помочь жене? Он смутно помнил, что на улицах, где жили богатые люди, видел металлические вывески врачей. Ему пришлось долго идти до центра Парижа. Там, неподалеку от красивого, величественного темно-серого храма Сен-Сюльпис, среди нарядных домов, он наконец отыскал один, в котором жил доктор. Сток постучал молотком по двери. Служанка удивленно взглянула на рабочего в шерстяной фуфайке поверх грубой блузы. Она не решилась впустить его в приемную и задержала в темной передней.

— Господин доктор выйдет к вам сам,— сказала она, не скрывая презрения.

Стоку все было безразлично. Единственно, чего он не мог вынести, это промедления, а время, как назло, тянулось томительно медленно, пока врач доедал свой ужин. Портной едва удерживал проклятия, но не решался войти в комнату, чтобы не рассердить того, кто единственный мог, как ему казалось, еще спасти Женевьеву. Наконец, недовольный вызовом в неурочный час, доктор с белоснежной салфеткой, заткнутой за ворот сюртука, вышел в переднюю.

— Вы больны? — спросил он брезгливо.— А, это ваша жена больна! Это ложь! Ну хорошо. Где ваш экипаж? Я не хожу пешком к пациентам. К тому же прошу учесть, что я такой же труженик, как вы, и должен иметь заработок. Лечить бесплатно я не могу. Если у вас нет денег, обратитесь, пожалуйста, к моему соседу...

Сток протянул врачу большую часть всех своих денег. Затем, сильно прихрамывая, побежал за наемным фиакром.

Доктор брюзжал всю дорогу по поводу того, что бедняки обычно преувеличивают опасность недуга и на самом деле здоровы.

Сток молчал. Про себя он надеялся, что Женевьеве, пока его не было, стало лучше. Но едва он вошел в комнату, надежды его рухнули. Очевидно, больная встала, желая как-то облегчить страдания, но приступ болей свалил ее снова. Ползком добираясь до кровати, она опрокинула табурет и разлила воду. Подушка в пестрой наволочке валялась в ногах, и голова больной беспомощно свисала с тюфяка. Гримаса боли перекосила ее исхудавшее, ставшее неузнаваемым лицо. Врач брезгливо осмотрелся, затем раскрыл кожаный чемоданчик, который привез с собой, и достал огромный градусник.

— Я уверен, что мог бы не тащиться в это логово,— сказал он раздраженно.

Вдруг у Женевьевы начались конвульсии. Врач побледнел и, сутулясь, приблизился к кровати.

Женевьева извивалась, прижимая руки к впавшему животу. Глаза ее широко раскрылись. Она была в полном сознании, но не имела сил говорить. Из пересохшего горла вырывались неясные звуки. Врач встретился с ней взглядом, и страх, который был на лице больной, передался ему с удвоенной силой. Сток увидел все это и внезапно понял, что нет надежды.

— Спасите ее, умоляю вас. Пожалейте нас. Помогите! — закричал он истошным голосом, какой никогда в жизни до этой минуты не вырывался из его горла.— Помогите, сжальтесь, господин доктор! У нас дети!

— Куриный бульон, котлетки телячьи, миндальное молоко,— говорил врач, пятясь от постели больной.— Еще хорош в таких случаях ромашковый настой. Мои коллеги добивались с его помощью отличных результатов. Теплая ванна облегчает боли.

Дрожащими руками он выписал за столом несколько рецептов и протянул их портному.

Когда врач, прикрыв руку фуляровым платком, взялся за ручку двери, Сток загородил ему дорогу.

— Вы не можете так уйти. Она ведь умирает. Я достану вам еще денег. Эта женщина для меня дороже жизни. Я однажды уже считал ее мертвой, но она вернулась ко мне, нашлась. С тех пор она была со мной всегда. Она никогда не жаловалась. Это святая женщина. Спасите же ее! Вы ведь учились.

— Увы, друг,— сказал врач мягко,— я не бог. Медицина тут бессильна. Берегитесь заразы сами. Вы, кажется, тоже нездоровы.

— Но что с Женевьевой? Что это за болезнь?

— Холера.

Каждый день в Париже и других городах Франции и всей Европы в это время умирали тысячи людей от чудовищной болезни. Холера была страшна, как чума в средние века. Сток слыхал и читал об этом, но болезнь казалась ему такой же далекой, как желтая лихорадка в Кайенне. И вот она заползла в его дом и убивала Женевьеву.

Две ночи и день боролся портной, как умел, за жизнь жены. Согревал холодеющее тело своим дыханием, укутывал тряпьем, собранным среди жалкого домашнего скарба, носил на руках, отмечая с все нарастающим отчаянием, как легче и легче становится его ноша. Он звал ее, молил не уходить, не оставлять одного.

Болезнь была подобна зверским пыткам. Чувствуя свою полнейшую беспомощность и не зная, как облегчить страдания любимой женщины, Иоганн то впадал в ярость и грозил судьбе, то готов был униженно вымаливать у бога, в которого не верил, пощаду. Он представлял себе всю несложную и горемычную жизнь жены и чувствовал, что не был ни достаточно добр, ни внимателен к ней. Запоздалые сожаления, непоправимость свершившегося терзали его. Когда жена погладила его исхудавшей рукой, он заплакал, как в детстве.

— Болей хоть многие годы, но только не исчезай совсем. Живи ради меня. Не умирай! — молил он.

Когда-то в течение нескольких лет он считал себя вдовцом и привык к этой мысли. Но затем внезапно обрел жену снова. Десять лет они несли вместе огромную тяжесть, называемую жизнью пролетариев. Заботы друг о друге и детях, горести и немногие радости, ночи и дни соединили их, спаяли. Сток чувствовал, что умирает не одна Женевьева, но и большая часть его самого. Он не смыкал глаз, боясь проспать мгновение смерти,

и, однако, оно застало его неожиданно. Женевьева отстрадала. Смерть ее была не менее тяжелой, нежели жизнь. И так же безропотно, как несла она тяготы и лишения, так же покорно и тихо она скончалась. В гробу Женевьева лежала настолько изменившаяся, точно за три дня болезни стремительно прошла через те не прожитые еще годы, которые привели бы ее к глубокой старости. В действительности ей не было еще и сорока лет.

Долгое время Сток не мог поверить, что Женевьевы больше не существует. Он старался оживить холодное и затвердевающее тело слезами, словами, прикосновениями и не давал хоронить ее, как бы надеясь на чудо воскрешения. В эти скорбные дни мир, люди, даже дети не интересовали его.

«Это сон, надо же наконец проснуться!» — думал он упрямо. Но физическая боль только подтверждала реальность окружающего.

Друг Кабьен говорил ему:

— Выпей-ка лучше вина, Сток. Зачем растравлять себе раны? Мертвых не воротишь.

Иоганн впадал в ярость:

— Я не хочу забывать ее. Почему должен я успокаиваться? Она никогда не жалела себя и не бежала прочь от меня. Мы с ней одно.

— Но ведь ее нет,— увещевал Иоганна добродушный прядильщик.— Пора взяться за ум, старина. Не береди себе душу.

— Как так ее нет? А я, а прожитые наши годы?

Окружающие сокрушенно качали головами. Из фонда помощи мастерской Клиши ему выдали пособие, но оно приходило к концу. Голод угрожал всей семье. Иоганн-младший пошел работать на фабрику. Он был здоровый, рослый подросток.

Сток никак не мог преодолеть тоски. Каждый день, ища Женевьеву, он отправлялся на кладбище, сидел возле обложенного дерном бугорка и мысленно звал жену. Он отныне был единственным свидетелем исчезнувшего своего и ее прошлого, известного и понятного только ему одному. Смерть больше не страшила портного. Постепенно глубокий покой охватывал его душу.

Однажды, когда он возвращался с кладбища, прижимая к сердцу пучок травы, сорванный там, где, казалось ему, лежит сердце Женевьевы, какой-то прохожий сунул ему листовку.

«Именем суверенного народа!

Граждане! На февральских баррикадах люди, которым мы дали титул членов Временного правительства, обещали нам де-

мократическую и социальную республику; они нам дали торжественные обещания, и мы, веря их словам, покинули наши баррикады. Что же они сделали за три месяца? Они не выполнили того, что обещали.

Мы, граждане поста мэрии 8-го округа, требуем:

Демократическую и социальную республику!

Свободное объединение труда с помощью государства!

Требуем удаления войск из Парижа.

Граждане, вспомните, что вы властители. Помните наш лозунг: Свобода, Равенство, Братство!»

В середине апреля Иоганн Сток шел рядом с Бланки в грандиозной демонстрации рабочих, направлявшейся к Марсову полю и в ратушу, чтобы вручить правительству патриотический дар и петицию. Прошло почти два месяца, а народ, терпеливо дожидавшийся реформ и голодавший, чтобы дать время молодой республике окрепнуть, все еще ничего не добился от нового правительства. У Бланки и его сторонников возникло подозрение о предательстве Ледрю-Роллена и других министров.

Когда демонстранты подошли к Гревской площади, самые худшие их опасения оправдались. Они очутились между двух шпалер войск, направивших на них штыки и дула ружей. Солдаты хранили угрожающее молчание. По сотни расфранченных господ и дам бесновались за стеной солдат на тротуарах. Размахивая тростями и зонтиками, буржуа вопили:

— Долой коммунистов! Долой Бланки!

Ратуша, к которой подошли пораженные неожиданностью рабочие, выглядела как крепость. Министр внутренних дел Ледрю-Роллен, вняв советам Ламартина, объявил Париж в опасности и созвал легионы Национальной гвардии, состоявшие преимущественно из крупных и мелких буржуа. Эти гвардейцы горели желанием свести счеты с бойцами февраля.

Вооруженные до зубов, они заняли двор и все залы ратуши.

Несколько делегатов прошли внутрь здания, чтобы вручить требования народа правительству. Под ликующие крики, раздавшиеся из окон ратуши, навстречу демонстрации вышел Двенадцатый легион Национальной гвардии. Во главе его, с обнаженной шпагой, шагал могучего сложения высокий человек. Сток узнал в нем Барбеса. Из группы рабочих ему навстречу вышел щупленький, низкорослый Огюст Бланки. Гробовое молчание сопровождало эту встречу двух борцов, двух знаменитых

революционеров, двух членов Центрального комитета «Общества времен года».

Рука Барбеса дрогнула под уничтожающим взглядом бывшего соратника, и он опустил шпагу.

— Ты против народа, против пролетариев! — вне себя от стыда за Барбеса воскликнул Бланки и повернулся спиной к тому, кто не заслуживал в эту минуту даже его укора.

Вскоре к народу из ратуши вернулись делегаты и сообщили, что Ламартин отказался говорить с ними. Из рядов Национальной гвардии и толпы собравшихся контрреволюционеров все громче раздавались крики:

— Долой коммунистов! Долой Бланки!

Бланки и его единомышленники вынуждены были покинуть ратушу. Преследуемый по пятам врагами, Бланки скрывался у верных друзей.

Иоганн Сток вместе с Кабьеном составлял листовки и распространял их. В одной из прокламаций говорилось:

«К оружию!

Мы хотим демократическую и социальную республику.

Мы хотим верховной власти народа.

Все граждане республики не должны и не могут желать иного.

Для защиты республики нужно участие всех. Многочисленные демократы, которые уже поняли это, борются за права трудового народа.

Тревога, граждане! Пусть каждый из вас откликнется на этот призыв!»

По четвергам, после работы, Сток встречался со своими соотечественниками на квартире суетливого, самоуверенного краснослова врача Германа Эвербека. Этот низенький, проворный, будто краб, человек вызывал у Иоганна чувство раздражения. Они часто ссорились.

Обычно Эвербек к вечеру заканчивал прием пациентов. Но в кабинете его все еще господствовал невообразимый беспорядок. Сток спотыкался о ведра с водой и тазы с грязными тампонами ваты. Запах сулемы, серных втираний действовал на него так же неприятно, как и неумолкавший визгливый голос хозяина.

Фердинанд Вольф и приезжавший время от времени из Кёльна Эрнст Дронке приходили обычно вместе. Сток всякий раз удивлялся тому, что Фердинанд подражает повадкам богемы Монмартра. Вольф носил широкую красную блузу и повязывал шею пунцовым бантом.

«Художник и уж конечно не немец, а француз с виду этот «Красный Вольф»,— думал о нем портной.

Друг Фердинанда, Дронке, по прозвищу «Гном» и «Малыш», был очень симпатичен. С лица его не исчезала улыбка, она только перемещалась, задерживаясь то в глазах, то в углах губ.

— Ну вот, все четыре парижских корреспондента «Новой Рейнской газеты» налицо,— говорил Фердинанд Вольф.— Как успехи, Сток? Я вчера отправил кое-что в Кёльн. Прочти. Мой опознавательный знак на полосах газеты — квадрат.

— Это ты перенял у меня. Я первый выбрал для себя опрокинутый треугольник. Им я обозначаю в прессе мои сообщения из Франции. Конспирация необходима. Все может еще случиться,— важно изрек Эвербек.

«Я всегда считал его трусом»,— подумал Сток.

— Жаль только,— говорил между тем Эвербек,— что Маркс слишком уж подружился с этим отчаянным и легкомысленным острословом из Бармена, который хотя и заикается на двадцати языках, а вот общего языка с людьми не находит. Энгельс не умеет ладить ни с кем. Он Марксу не пара.

— Послушайте, Эвербек,— прервал его Сток,— вы всегда интригуете. Энгельс — замечательный журналист, глубокий теоретик и знает толк в людях.

— Что этот портной болтает? Сравнить Маркса — Аристотеля девятнадцатого века — с задирой Энгельсом, который посмел как-то критиковать даже меня! — вскричал Эвербек.

— Уймись ты, шумный лекарь,— пробасил Фердинанд Вольф,— сам хотел бы быть таким, как Фридрих. Исцели себя от зависти.

— Меня обвинять в интриганстве, меня, руководителя коммунистических общин! Увы, нет больше ничего святого на свете! — Эвербек вскочил и принялся бегать по комнате, вытянув вверх короткие руки.

Довольно, пошумели, и ладно,— вмешался Дронке.

Гном прав, давайте-ка прекратим споры, поговорим о том, что делается в Париже. Сток, рассказывай.

Ну что ж, я-то всегда за братство,— заявил Эвербек как ни в чем не бывало и уселся в свое врачебное кресло.— Хорошо говорится в песне: «Здесь нет врагов, здесь все друзья»,— запел он высоким надтреснутым тенором.

В этот вечер корреспонденты «Новой Рейнской газеты» долго говорили о тревожном положении в Париже.

Вскоре Сток выехал в Лион. Лионские рабочие были во много

раз лучше организованы, нежели парижские. Они сохранили созданные после ряда поражений тайные революционные общества, разбитые на пятерки, десятки и сотни, тесно связанные со всей городской массой тружеников. После революции пролетарии текстильной столицы создали свои кассы взаимопомощи и клубы. Сток был рад увидеть город, где на баррикадах предместья Круа-Русс получил некогда первое боевое крещение.

Кабьен долго гулял с Жанеттой по извилистым, плохо мощенным улицам Латинского квартала, прежде чем решился наконец предложить:

— Выходи за меня замуж.

Девушка выпятила пухлую нижнюю губу и сделала смешную гримасу.

— Ведь у тебя старики родители. Чем будешь ты кормить меня? Не дури. Мы люди бедные. Что за радость плодить на свет таких же?

Жанетта с двенадцати лет служила прислугой. Очень хорошенькая, жизнерадостная и смышленая, она рано узнала жизнь с самой неприглядной стороны, отбиваясь от приставаний мужчин. Незадолго до февральской революции Жанетта едва не вышла замуж за торговца скобяным товаром. Но раздумала. Он оказался не только скаредным ханжой, но и открыто высказывался против республики. Жанетта же после февральского переворота стала рьяной республиканкой. Она познакомилась с Кабьеном весной, когда они шли рядом, распевая «Марсельезу» во время демонстрации. Какие счастливые это были дни в жизни обоих!

Убеждая девушку стать его женой, Этьен говорил:

— Мой отец щетинщик, и его руки, хоть и порядочно изуродованы, все еще пригодны для работы. А мать,— он тяжело вздохнул,— умерла на прошлой неделе от холеры...

Жанетта перестала мило гримасничать. Лицо ее отразило искреннее сострадание.

— Бедный. Я сама сирота с детства и знаю, каково потерять мать. Это большое горе. Если бы мы поженились, я, наверно, любила бы ее. Добрая старушка — это, право, благословение неба,— добавила она грустно.

— Моя мать была такая работящая. Такая хорошая. Похожих на нее я не видывал. Какой суп стряпала она нам с отцом. Она могла бы отлично нянчить наших детей!

— Вот куда ты уже замахнулся. Может, я не хочу выходить за тебя замуж, люблю другого,— пошутила Жаннетта.

Но Этьен уже твердо знал, что она станет его женой.

Чем эта пухленькая девушка его прельстила? Он не думал об этом. Ему даже казалось святотатством судить о ее внешности, как это делали другие. Сначала ему захотелось всегда слышать ее нежный смех, напоминавший птичье пение. Потом он заметил веснушки на тонком задорном носу, и они умилили его сердце.

«Точно перчиком посыпано ее лицо,— думал Этьен. И когда смотрел на лица других девушек, сожалел о них: — Может, и хороши, да кожа бесцветна, ни одного пятнышка, ни одной веснушки».

Подметив, что Этьен полюбил в ней также и то, что она считала своим изъяном, Жаннетта прониклась к нему не только нежностью, но и своеобразной благодарностью.

«Ведь молоденькие и красивые мы недолго,— размышляла рассудительная девушка.— Потом появятся морщины, немощи. Не на один год выйду я замуж. Такой человек, как Этьен, будет любить меня и неказистую и старую».

— Вдвоем легче и бедовать,— уговаривал ее Кабьен.

— Ты бы о радости, о счастье говорил. А то все о печали! — воскликнула Жаннетта.

— Ты не дала мне досказать. Нам теперь идти не под гору, а вверх... На приступ лучшей жизни.

— Вот этого я и боюсь. Как бы не быть мне вдовой. Сколько их теперь развелось. Чуть раздастся набат, побежишь и ты на баррикады.

— Ну, это не женское дело, тебя не касается,— помрачнел молодой прядильщик.

— Э, нет! Где ты, Этьен, там и я, Жаннетта.— Сама того не зная, девушка с чувством произнесла сакраментальную брачную формулу древних римлян: Ubi tu es, Gains, ibi ego, Gaia!

Через несколько дней Кабьен привел в дом к отцу жену. Она всем соседям пришлась по сердцу общительностью, трудолюбием, веселым нравом. После смерти Женевьевы она предложила взять на воспитание маленькую Катрину и Иоганна-младшего. Его назвала она Жаном.

— Где трое, там и пятеро поместятся,— сказала она твердо, заметив, что муж колеблется.— Кто поможет сиротам, ежели не мы? Как-нибудь перебьемся. Нам жалеть нечего — нищету разве что.— И, уже гневаясь, добавила: — Чего хмуришься,

Этьен, ведь это дети твоего друга. Как же не поделиться последним грошом и лоскутом?

Кабьену стало стыдно, и он робко обнял осерчавшую жену.

— Твое дело. Но ведь лишняя работа. Своих детей еще нет, так чужими обзавелись. Впрочем, ты ведь всему голова.

Жан был не по летам серьезный, высокий парень. Никто не дал бы ему четырнадцати лет. В железнодорожном депо он работал вместе со взрослыми и с гордостью вручал Жаннетте заработанные деньги на прокорм себя и сестренки. Он хорошо знал грамоту, свободно читал по-немецки и по-французски, что было большой редкостью среди рабочих, и все свободное время отдавал книгам. Жан не водил дружбы с одногодками и, возвращаясь затемно с работы, читал в углу все, что попадалось под руку.

Жаннетта относилась к нему по-матерински и не замечала, как, отрываясь от чтения, он следил за каждым ее движением. Все в Жаннетте вызывало в нем благоговение. Закрывая глаза, он видел ее подвижную фигурку, миловидное свежее лицо, выпуклую нижнюю губку, слышал детский голос и переливчатый смех. Иногда она ловила его взгляд и говорила, притворно сердясь:

— Ну, чего только ты уставился на меня? Экий соглядатай! Я ведь почти на десять лет старше и гожусь тебе в матери, мальчуган. Ты должен меня бояться и слушаться.

— Какая там мать? — отвечал вяло Жан. И добавлял смущенно: — Матери старые бывают, а ты, Жаннетта, как в книгах пишут, самая красивая на свете. Таких только в театре показывают.

Кабьен часто слышал эти наивные слова восхищения. Он был доволен. Но про себя думал, что мальчуган слишком уж поддался воздействию книг, где все выдумано и нисколько не схоже с действительностью.

Как ни любил Кабьен Жаннетту и ни рвался к ней сердцем в этот медовый месяц их брака, он все реже бывал дома. Жизнь становилась с каждым днем непереносимее для рабочего.

Правительство вернуло в Париж войска накануне выборов в Учредительное собрание. Тщетно клуб Бланки протестовал против этой угрозы народу. Землевладельцы, аристократы, реакционное духовенство и чиновники бешено боролись за то, чтобы собрать голоса для своих депутатов среди темной, невежественной массы крестьян, составлявшей огромное большинство избирателей. Они распространяли хитроумно придуман-

ные сказки о кровожадности республиканцев и создали чудовищную, пугающую легенду о страшном парижанине по имени «Отец Коммунизм». Политическая отсталость крестьян, контрреволюционная агитация монархистов и буржуа привели к тому, что на выборах в Национальное учредительное собрание демократы потерпели большое поражение. Среди восьмисот восемнадцати депутатов — буржуазных интеллигентов, чиновников, землевладельцев, крупных и мелких капиталистов и священников — было только восемнадцать рабочих и шесть мастеров.

Во время торжественного открытия Национального учредительного собрания депутаты стоя провозгласили: «Да здравствует республика!» Семнадцать раз повторен был этот клич. Депутаты вышли к народу, заполнившему площадь перед Бурбонским дворцом, чтобы снова объявить, что республика, завоеванная февральским восстанием парижского пролетариата, есть и будет впредь.

Но это была лишь ширма. С первых же дней деятельность Учредительного собрания подтвердила самые мрачные предположения революционных рабочих. Сразу началось уничтожение всего того, чего добились рабочие после февраля. Чтобы осуществить этот коварный и страшный план, соединились буржуазные республиканцы и монархисты, будь то легитимисты, орлеанисты или бонапартисты.

Когда текстильщики Руана, измученные безработицей и низкой заработной платой, узнали, что их кандидаты в Учредительное собрание не прошли, а вместо них избраны богатейшие фабриканты и эксплуататоры, ярость их не знала предела. Они обвинили власть в фальсификации выборов и устроили шествие протеста у городской ратуши. Прокурор, буржуазный республиканец Сенар, вызвал войска и приказал избивать безоружных рабочих. Началась бойня. Рабочие защищались камнями. Расправа с народом была зверской и кровопролитной. Около ста рабочих были ранены и убиты. Не довольствуясь этим, буржуазия судила повстанцев, и сорок восемь из них, объявленные главарями, были приговорены к каторжным работам и тюремному заключению.

Бланки выпустил грозное воззвание, обвиняя реакционеров в нарочно подстроенной Варфоломеевской ночи для трудящихся Руана. Парижская газета Луи Блана и Флокона «Реформа» писала, что «борьба между пролетариатом и буржуазией начинается сызнова».

Так начался новый период реакции во Франции.

В начале мая Национальное собрание приняло постановление, запрещающее публично зачитывать в его стенах петиции. Просьбы и жалобы разрешалось подавать только в письменном виде через соответствующие бюро. Поводом к такому решению было намерение некоторых революционных клубов организовать шествие к Учредительному собранию с требованием немедленной помощи героической Польше, сражающейся за свободу.

В древнем польском Кракове австрийцы жестоко расправились с героями-повстанцами. В провинции Познань не прекращалась борьба, и прусские войска, пользуясь перевесом сил, громили города и села свободолюбивых, храбрых поляков. Ламартин, хотя и говорил, что имя Польши олицетворяет для французского народа угнетение одной из человеческих рас и отмщение за тиранию, делал все возможное, чтобы Франция не помогала повстанцам.

Делегации от национальных комитетов Галиции и Познани привезли обращение к французскому народу, содержащее призыв о помощи делу их национального освобождения. Сигизмунд Красоцкий был одним из делегатов от Национального польского комитета в Познани.

Учредительное собрание вынуждено было согласиться на обсуждение польского вопроса.

Парижане, особенно трудящиеся, рвались поддержать борющийся польский народ. Организатором демонстрации перед Учредительным собранием в день обсуждения петиции Польши был Централизаторский комитет, созданный взамен только что распущенного «Клуба клубов». 15 мая к Бурбонскому дворцу с требованием немедленного выступления Франции в защиту восставших поляков двинулось мирное шествие. Оно возникло стихийно, неудержимо.

Старые друзья — Этьен Кабьен и Сигизмунд Красоцкий — ранним утром отправились прямо на площадь Бастилии. Там уже бушевало необозримое людское море. Сигизмунд Красоцкий развернул принесенное знамя. На малиновом шелке с вышитым белым орлом, расправившим крылья для полета, крупными буквами было выведено: «Да здравствует вольная Польша!» Рядом развевались флаги объединенной Германии и свободной Италии. На зеленом, как весенняя трава, фоне вздрагивала поодаль ирландская арфа.

Полчища людей, украсивших грудь значками и кокардами, размахивали зелеными ветками, букетами цветов и полевых

трав. Все было так празднично, ликующе прекрасно, точно люди собирались на прогулку, чтобы танцевать и наслаждаться природой и жизнью. Смех, песни, шутки, сливаясь, звучали как симфония радости, братства и полной доверчивости. Ничто не предвещало, что может на ясном майском небе появиться туча и омрачить торжество.

— Мы идем с визитом к нашим приказчикам и ждем их гостеприимства,— острили в народе.

— Это не приказчики, а наши слуги. Так они сами себя величают.

— Да здравствует всеобщая республика!

— Да здравствует сестра Франции — Польша!

Более ста пятидесяти тысяч людей медленно двигались к дворцу Бурбонов, где находилось отныне Национальное собрание. Они решили высказать свою волю. Многие из демократов и социалистов надеялись на то, что будет создано революционное правительство, и готовились к этому. Их план гласил следующее: распустить Национальное собрание; учредить Комитет народного спасения из девяти человек; удалить всех чиновников, заведующих общественными функциями, за исключением только мэров; назначить и утвердить городские комитеты из семи членов, из которых пять должны быть рабочие; создать оборону из рабочих, распустить Национальную гвардию и выслать тех ее членов, которые будут носить мундир и оружие; ввести прогрессивный налог, соответствующий четвертой или даже третьей части дохода капиталистов; недвижимое имущество тех, кто откажется платить этот налог, объявить общественной собственностью; в течение трех недель урегулировать законом условия труда в интересах рабочего класса.

Тщетно опытный политик Огюст Бланки, помня о предательстве в ратуше всего месяц тому назад, предостерегал членов своего клуба от преждевременного выступления. Он говорил:

— Воздержимся. Еще не приспело наше время, чтобы бросить вызов реакционерам и победить. Надо беречь силы тружеников. Сейчас враги сильнее нас. Потерпим же, друзья, всего пять-шесть недель. Ветер изменит свое направление и подует в нашу сторону.

Этьен Кабьеи и другие рабочие поддержали Бланки. Но 15 мая ничто не могло удержать народ. Революционный водоворот закружил всех. Тогда Бланки возглавил выступление. Даже всегда колеблющийся, не имевший твердой цели Барбес вышел на улицу с членами своего клуба.

За шутками, громким смехом толпы скрывалось глубокое недовольство, разочарование, беспокойство за революцию. У церкви Святой Магдалины демонстрация задержалась. Стихийно возник митинг. Цепляясь за острые прутья ограды, ораторы взбирались на каменные выступы стены, чтобы произнести речь. Они грозили кулаками в сторону расположенного неподалеку Бурбонского дворца.

И тогда настроение слушателей резко изменилось. Нахмурились лица, раздались возгласы недовольства. Точно налетел шквал — и вспенилось людское море.

Ораторы, члены различных клубов Парижа, возмущались правительством. Оно не помогало Польше сбросить иго деспотизма. Иные напоминали об Италии, борющейся с Австрией, третьи требовали роспуска Национального собрания, обманувшего чаяния народа.

Выступил и Сигизмунд Красоцкий. От волнения он слегка заикался.

— Когда моя родная Польша была еще жива, еще свободна, она была светочем европейской культуры. Пусть не думают поработители, что им удалось ее убить; она не умерла, она только заснула.

— Да здравствует Польша! — отвечали демонстранты.— Говори, поляк, дальше!

И Красоцкий, все более овладевая собой, продолжал:

— Я не хочу оскорбить кого-либо подозрением, что он не предан делу Польши искренне и всецело, как мы, ее сыны, однажды уже доказавшие силу своей любви к родине. Весь вопрос в том, какие средства должны быть избраны для быстрейшего восстановления независимости Польши. Франция очень сильна. В ее распоряжении полмиллиона солдат регулярной армии и Национальная гвардия. Она может, если захочет, диктовать свои взгляды и идеи другим государствам, не прибегая к крайнему средству царей и королей — к войне. Пусть же Франция поможет Польше обрести свободу! Мы ждем, мы надеемся.

И снова крики «Да здравствует свободная Польша!» были ему ответом.

Внезапно на каменных ступенях церкви Святой Магдалины появился Бланки. Возгласы радости и восхищения, как всегда, встретили его.

— Народ,— начал он резким, сильным голосом, простирая вперед худую жилистую руку. И толпа, столь возбужденная,

ракулом революции.— Я думаю, что выражу чаяния
скажу: народ Франции предлагает Национальному
отчас же торжественно обещать, что мы не сложим
ока не будет восстановлена Польша тысяча семьсот
второго года, пока она не станет свободной. Мы, уни-
оскорбленные французы, требуем также искупления
упления, что совершило правительство в провинции.
аете: недавно в Руане пролилась невинная кровь
черей нашего народа. Позор! Во времена революции
страшные злодеяния в республиканской Франции.
реступников!

Бланки потребовал, чтобы Национальное собрание
аконом об охране труда. Он принялся жестоко бичe-
уазию, порождающую нищету и неравенство.

ред! Да здравствует республика! — раздались воз-
гул морского прибоя в бурю. Десятки рук бережно
го, иссиня-бледного народного трибуна. Он возглавил
цию, направлявшуюся к дворцу.

ред!

площадь Согласия, демонстранты подошли к дворцу
заняли все входы. Первый, кто вышел им навстречу,
тин. Он все еще рассчитывал на воздействие своего
о голоса и гладких, красивых слов. Но на этот раз
и слушать.

ь! раздалось из толпы. — Довольно повторять свои
ии. Хватит фраз!

ин поспешно удалился. Народ ворвался в огромный
ния Национального собрания. Люди в синих блузах,
ах, обросшие, пыльные, потные, вызвали среди
и и галереи светских дам, являвшихся на засе-
, переполох и смятение. Роняя шарфы,
бились прочь по просторным галереям.
ворвались и эту пышно разря-
не могли бы быть большей. Грохоча,
и скамьи. Умение подмечать все
ей весело смеялись.
ть разорвавшиеся чулки и оборки! — кри-
щим.

ий ужас обуял дипломатов и их жен, занимав-
е места в зале. Выбраться из переполненного

людьми здания было не легко. Потерявшие самообладание господа в сюртуках и рединготах прыгали через перила галерей или по колоннам спускались в зал. Там творилось не меньшее столпотворение. Трибуна французского парламента превратилась в арену ожесточенных схваток. Барбес, считавший, что победа обеспечена и что ему предстоит возглавить новое правительство, теснил со своими приверженцами депутатов Национального собрания, представителей крупной буржуазии. Совершенно растерявшийся Луи Блан, надрываясь из последних сил, умолял народ сохранять спокойствие. У подножия трибуны уже началась драка. Противники падали друг на друга, задние теснили передних, при этом все бранились и кричали.

Депутат Распайль тщетно пытался взобраться на трибуну, чтобы прочесть петицию народа. Внезапно кто-то крикнул:

— Бланки, пусть говорит Бланки! Мы хотим слушать Бланки!

Рабочие подняли Бланки на плечах, и он сказал еще одну чудесную, зажигательную речь о воле народа. Едва он кончил, к трибуне подняли штык, на кончике которого был наколот лист бумаги со словами: «От имени народа: Национальное собрание считается распущенным».

Председателя собрания тотчас же бесцеремонно столкнули с его кресла. Раздались призывы: «К оружию, братья! В ратушу!» Кабьен, призвав к тишине, огласил список кандидатов нового правительства. В нем значились первыми Бланки, Кабэ, Барбес.

Духота в зале между тем становилась угрожающей. Задыхавшиеся, утомленные демонстранты, считая свою победу несомненной, направились к выходам из дворца. Кое-кто собирался пойти в ратушу. Искали Ледрю-Роллена, чтобы заставить и его пойти туда же. Но, прикинув, что победители скоро будут побеждены, юркий и приспосабливавшийся только к сильным министр спрятался под столом в одной из канцелярий дворца. Барбес же, сначала не доверявший исходу дела, наоборот, вообразил, что может вскоре получить столь желанное место в правительстве, и отправился в ратушу, чтобы не упустить представившейся возможности. Он просчитался, в то время как подленький Ледрю-Роллен оказался в выигрыше.

В Бурбонский дворец ворвались национальные и мобильные гвардейцы. Демонстранты вынуждены были отступить. Заседание Национального собрания возобновилось. Вылезший из-под

стола Ледрю-Роллен и откуда-то вынырнувший Ламартин под охраной гвардейцев верхом направились в ратушу.

Там Барбес подписывал декрет о роспуске Национальной гвардии. Национальные гвардейцы с Ламартином и Ледрю-Ролленом во главе арестовали Барбеса и отправили в крепость Венсенн. Так было покончено с «мятежом против республики». И снова, как в дни разгрома восстания «Общества времен года», реакционеры бросили лозунг: «Долой Бланки! Долой Барбеса!» Несмотря на отход Барбеса от своего бывшего соратника, враги революции соединили его имя с именем Бланки.

Неудачная попытка переворота послужила еще одним сигналом к свирепому террору реакции. Опьяненные вином и бесконтрольностью, мобильные и национальные гвардейцы громили под видом обысков квартиры демократов и социалистов, опустошали редакции их газет, закрывали народные клубы.

Расправились они и с «Центральным республиканским обществом». Его председателю Бланки пришлось отныне вести в Париже жизнь, полную опасных приключений.

Одно время Бланки скрывался у надежных друзей на улице Монтолон. Он носил форму офицера Национальной гвардии и имел при себе подложные документы. Бланки был бодр и деятелен, как всегда, и напряженно работал над созданием новой революционной организации, сохраняя обычное самообладание. Кабьен был поражен его удивительной выдержкой и силой духа. Этьен Кабьен, за которым тоже неусыпно следила полиция, все-таки нашел способ незамеченным посетить Огюста Бланки.

— Я пришел к тебе, старик, чтобы от имени друзей не только в Париже, но и во всей Франции настаивать, просить тебя уехать отсюда, — сказал Кабьен решительно.— Беги в Англию или Америку немедленно. Все готово для этого. Верные люди ждут тебя. По твоим следам идет стая полицейских. Ты вне закона, голова твоя оценена. Тебя прикончат. А ты нужен всем истинным республиканцам на свободе. Сохрани себя для революции, для

— Я не бежал с поля битвы. Бой только еще начинается. — Нет, Этьен. Мое место во Франции и именно в Париже в это время борьбы. Кто убедил тебя, Этьен, что на гильотине почетнее и приятнее, нежели в бою, при кровопролитном рву? Где бы я ни был, остаюсь врагом реакции, следовательно, могу ждать пули в лоб или в затылок. Право, лучшая из смертей, по-моему, на баррикадах, из рук врага. Ведь это означает — в борьбе.

— Знаешь ли ты, Бланки, что наш общий друг смелый Марш вчера схвачен и заточен в Венсеннский замок? Я никогда не забуду его слов двадцать пятого февраля: «Рабочие согласны пожертвовать для республики тремя месяцами нищеты». И что же, мы получили три месяца измены. Подумать, что такой силач, такая голова, как Марш, связан, брошен в тюрьму, чтобы кормить там вшей.

Кабьен не мог скрыть, как ему тяжело. Бланки нахмурился. У него нервно задрожали сухие серые веки.

— Марш отточит на тюремных камнях свой ум. Этот парень — настоящий борец. А рабочие нищенствуют три месяца, и не видно, чтобы их ждало что-либо другое. Не только солью, но и кровью окроплен их черствый хлеб.— Бланки встряхнул головой.— Надо готовиться к действию. Что еще слышно в городе, Кабьен?

— Реакционеры свирепствуют. Они кричат: «Долой республику».

— Все понятно! Правые и те, что называют себя центром, открыто высказывают свои симпатии монархическому образу правления. Стыд и страх, сдерживавшие их порывы, исчезли отныне. Буржуа и богатые крестьяне хотят королевской власти.

— Ледрю-Роллен,— сказал Кабьен,— несмотря на то, что ползает перед буржуазией на брюхе, да и всеобщий примиритель Луи Блан вскоре будут отброшены с позором прочь от порога власти. Ламартин тоже кажется подозрительным господам реакционерам. Они ему еще припомнят, как он вначале пел народу любовные песни.

— Несомненно, это уже политические мертвецы, хотя и стараются выслужиться. Не все живые действительно живы,— сказал Бланки и, пронизывающе взглянув на Кабьена, спросил: — А ты, друг, готов ли к боям?

— Я рабочий. Был и буду до смерти с такими же блузниками, как я сам,— твердо ответил прядильщик.

— Спасибо, брат. Не унывай. Будущее за тружениками. И если нам придется умереть, нас утешит сознание, что победа все же будет за нами. А где Иоганн Сток?

— Он в Лионе. Там у нас много дела.

— Да, рабочий Лион не так легко сломить. Вот где Национальная гвардия заслуживает своего громкого названия. Она почти вся состоит в Лионе из рабочих и не поддерживает реакцию.

Долго говорили еще два соратника. Заканчивая беседу, Бланки сказал:

— Запомни, Этьен, впереди предстоят жестокие бои, смертельные схватки. Будь храбр. Не бояться смерти — значит перестать быть животным и стать человеком. Подавить инстинкт страха то же, что добыть себе непроницаемую броню. Реакционеры толкают Францию в бездну. Остановиться они не смогут. Дело народа — пресечь их гнусный заговор, иначе на много лет на нашу родину опустится мрак.

Бланки задумался. Серое лицо его казалось высеченным из гранита, и только глаза горели, как факелы.

— Может найтись и диктатор, который превзойдет в деспотизме презренное ничтожество, каким был Луи-Филипп. Желая разделаться с нами, богачи изберут себе в правители любого палача. Но мы не сдадимся ни в каком случае и, верю, победим. Неиссякаема сила народа, борющегося за свои права. Вот, кстати, мое письмо тем, кто мечтает видеть Бланки висящим на фонаре: «Терпение, господа, ваша Национальная гвардия еще не сумела поднять меня на свои штыки, я свободен и скоро снова смогу обратиться к народу».

— Я хотел спросить тебя,— сказал, собравшись уходить, Кабьен,— как быть рабочим и ремесленникам, если правительство закроет мастерские? Их ждет тогда голод. А нищета и так измучила нас и наши семьи. Что сказать мне тогда безработным?

Бланки досадливо поморщился.

— Это, право, не самое главное. Нужно прежде победить. Потом будем думать, чем помочь нуждающимся.

— Словами, даже самыми хорошими, не накормить и не одеть детей. Скажи, Бланки, как нам быть?

— Нужно отобрать самых испытанных и отважных и создавать тайные общества действия. Тогда мы победим и осуществятся наши желания,— упрямо заявил Бланки.

Тщетно Кабьен добивался от него ответа на свой вопрос, как помочь голодающим и предотвратить безработицу. Прощаясь с Этьеном, Бланки назначил ему встречу через несколько недель, когда, по его мнению, можно будет начать открытую борьбу.

Оставшись один, Кабьен почувствовал недовольство.

«Бланки не смог мне ответить. Что же я скажу труженикам? Как нам быть, как жить?»

Кабьен вспомнил рассказ Стока о Марксе. Неужели этот

ученый немец ответил бы на его вопрос, помог бы советом? «Но разве не французы учат весь мир борьбе за революцию? Это не дело немцев»,— решил он, однако.

В последних числах мая Огюста Бланки подстерегла и схватила полиция. Для него начались снова бесконечное мученичество и пытки тюрьмы. К семнадцати потерянным годам, проведенным до этого в заточении, прибавились еще двадцать лет погребения заживо.

В двадцатых числах ветреного, жаркого, пыльного июня рабочим национальных мастерских в возрасте от 18 до 25 лет правительственная исполнительная комиссия, заседавшая в Люксембургском дворце, предоставила на выбор либо немедленно вступить в ряды армии, снова введенной в Париж, либо готовиться к отъезду в департаменты, какие им будут указаны, и заняться там земляными работами с подряда.

Чаша терпения пролетариев оказалась переполненной до краев.

— Мы не пойдем! Нас хотят уморить лихорадкой в нездоровых местностях. Наш поденный заработок будет равняться отныне пятнадцати су. Что будет с нашими семьями? Нас посылают в изгнание, приговаривают к смерти. Наши дети, жены и старики обречены на гибель. Мы не пойдем!

По всей столице на улицах, в переулках толпились люди, охваченные тем отчаянием, которое предвещает восстание.

— Мы не пойдем! — раздавалось со всех сторон.

На одной из площадей собралось более ста тысяч рабочих, чтобы избрать делегацию и послать ее в Люксембургский дворец в исполнительную комиссию. Кабьен, избранный делегатом, выступил с речью.

— Мы говорим властителям Франции: нет силы на земле, которая может лишить нас права на труд.— Кабьен дрожал от негодования.— Мы добыли республику кровью своей и не дадим сделать нас снова рабами. Мы требуем справедливости, а в ответ нам показывают штыки! Мы просим работы, а получаем свинец. Соединимся же и, провозгласив, что права труженика нарушены, мощным натиском раздавим всех хищников и эксплуататоров.

В Люксембургском дворце в исполнительной комиссии делегации рабочих, возглавляемой Кабьеном и Пюжолем, ответили кратко:

— Если рабочие не хотят отправиться добровольно в провинцию, мы принудим их к этому силой.

Кабьен и Пюжоль вернулись на мрачную площадь Сен-Сюльпис.

— Граждане,— начал Пюжоль,— верны ли вы знамени республики?

Тысячи голосов ответили:

— Да!

— Слава вам, сыны Парижа! Всей Франции вы даете пример мужества и патриотизма. Горе тем, кто остается глух к голосу народа. Соединимся же все, и пусть наш клич «Работы и хлеба!» прозвучит из края в край нашей родины. Идемте вновь сражаться за республиканские права! Вперед!

— Мы верили обещаниям, но нас обманули, нас подло предали. Клянемся же все отомстить за измену! — крикнул Кабьен.

— Клянемся! — единым дыханием отвечали десятки тысяч людей.— Клянемся!

Наступала ночь. Вздрагивая, запылали багровые факелы.

Восстание началось.

На улицах предместья Дю-Тампль, Ла-Вилетт и Сент-Антуан *с молниеносной быстротой возникли баррикады.*

Огромный Париж загудел:

— К оружию! На баррикады!

Перепуганная буржуазия бросилась искать спасения у командующего армией генерала Кавеньяка, нетерпеливо ждавшего часа, когда он сможет разделаться с революционными рабочими и стать фактическим диктатором.

Он сознательно медлил, выжидая, чтобы отчаявшийся народ вышел на улицы и построил побольше баррикад. Ему хотелось кровопролитной бойней раз и навсегда покончить с тем, кого он считал неукротимой постоянной опасностью,— с пролетариатом Парижа. Лишь убедившись, что все предместья заняты восставшими, он приказал стянуть свои войска на равнину Сен-Дени.

Алжирский генерал не скрывал своей радости от предстоявшей победы в столь неравной борьбе. Прохаживаясь по своему кабинету, Кавеньяк испытывал опьяняющее наслаждение палача. Наступало время действовать. Он дал приказ одному из подчиненных двигаться со своей бригадой по Большим бульварам и разбить повстанцев в районе заставы Сен-Дени, не жалея пороха и пуль, другому — укрепиться в ратуше. Тре-

тий отряд войск должен был двигаться от дворца Люксембург к пантеону. Ни старикам, ни детям, ни женщинам не должно быть пощады, если они принадлежат к пролетариату. Разрешалось убивать их на месте, где бы они ни появлялись — в окнах домов, в подворотнях, на улицах.

...Выглянув из-за баррикады, Кабьен заметил, что солнечные часы на бульваре показывали около часа дня. В это время гвардейцы и солдаты Кавеньяка открыли убийственный огонь по укрытию рабочих. Скрывшись за опрокинутой телегой, водруженной на гребне баррикады, Кабьен приказал своему отряду выжидать. Под четкий барабанный бой шли по улице национальные гвардейцы. Когда они приблизились, Кабьен, командовавший баррикадой, крикнул:

— Стреляй!

Тотчас же из-за прикрытия высотой с двухэтажный дом посыпался град пуль. Мостовая покрылась убитыми и ранеными гвардейцами. На помощь им, застигнутым врасплох, поспешил новый батальон. Свинцовый град снова посыпался на гвардейцев с крыш окружающих домов, из окон и с террасы соседнего кафе. Кабьен дал знать на ближайшую баррикаду, что есть возможность ударить по противнику с тыла. Он послал туда для подкрепления нескольких повстанцев и ружья. Баррикада Кабьена была построена весьма искусно и сообщалась переходами с двумя другими через пролом в стенах домов.

Очутившись под перекрестным огнем, войска Кавеньяка отступили. Тогда рабочие выбежали на улицу и бросились в рукопашный бой. С красным знаменем в руке на верху баррикады появился Кабьен.

— Да здравствует социальная республика! — резким, сильным голосом крикнул он.

— Работу или свинец! — раздался за ним женский голос.

Оглянувшись, Кабьен увидел Жаннетту, которую оставил дома, в безопасности. Впервые за этот кровавый день на лице его отразился ужас.

— Зачем ты здесь? Сейчас же беги домой!

— Где ты, Этьен, там и я, твоя Жаннетта.

В это мгновение Кабьен увидел в переулке подходившее свежее подкрепление Мобильной гвардии. Позабыв обо всем, он соскочил вниз, чтобы предупредить свой отряд об опасности. Защитники баррикады, отстреливаясь, вернулись под прикрытие. Гвардейцы бросились на новый приступ. Разгорелся ожесточенный бой.

— Ни шагу назад, победа должна быть за нами! — подбадривал Кабьен с вершины баррикады. Заметив некоторую растерянность среди рабочих, он снова высоко поднял знамя.

В этот момент вражеская пуля свалила его. Уронив древко с красным полотнищем, он поскользнулся и упал на штыки озверевших гвардейцев.

Пурпурное знамя подхватила Жаннетта. Маленькая безоружная юная женщина с развевающимися светлыми волосами остановила солдат. Кто-то из них знаками приказывал ей скрыться. Но офицер взял ружье, прицелился и выстрелил. Без стона упала Жаннетта на руки юного Жана Стока. Тотчас же из-за баррикады показалась еще одна женская фигурка и подхватила залитое кровью Жаннетты знамя. Сраженная насмерть пулей, упала вскоре и она. Но защитники баррикады с силой отчаяния и жажды мести продолжали сражаться еще долго. Только через два дня пала баррикада Кабьена. На ней не осталось в живых ни одного человека. Лишь раздробив камни артиллерийскими снарядами, решились гвардейцы подойти к баррикаде вплотную.

Восстание охватило весь город. Более четырехсот укреплений рабочих закрывали проходы в предместья, на многие бульвары и улицы. Париж был объявлен на осадном положении, а вся исполнительная власть по решению Национального собрания перешла к Кавеньяку.

Наконец-то он стал диктатором. Как упорно и страстно добивался он этого! Париж сотрясала беспрерывная канонада. Осажденные повстанцы сражались как львы, насмерть. Они предпочитали умереть за нагромождениями из камней и щебня, нежели сдаться. Погибших сменяли живые. Многие в эти последние дни приводили к себе на баррикады жен и детей.

— Мы не можем их кормить, пусть же умрут вместе с нами.

Женщины бросались навстречу штыкам.

— Вы убили наших мужей, сыновей и братьев,— убейте же и нас!

Дольше всех сопротивлялось Сент-Антуанское предместье. Рабочие вывесили на баррикаде плакат:

«Граждане!

К оружию! Мы хотим социальной и демократической республики. Мы хотим самодержавия народа. Иного желания не может и не должно быть у граждан республики. Но для защиты республики необходимо содействие всех... Это святое дело защиты насчитывает уже много жертв; мы все, как один чело-

век, решили отомстить за павших мучеников или умереть. Вперед же, в бой! Пусть ни один из вас, граждан, не отвернется от этого призыва. Если в слепой закоснелости вы останетесь равнодушными при виде этого моря пролитой крови, то мы ляжем костьми под развалинами Сент-Антуанского предместья. Подумайте о ваших женах, о ваших детях и станьте в наши ряды!»

Кавеньяк предложил сент-антуанцам под страхом свирепой кары сдаться. Они ответили, что капитулируют, только если будут приняты их условия: 1) Национальное собрание должно быть распущено, 2) армия отведена на 40 миль от Парижа, 3) все пленники Венсеннской тюрьмы немедленно освобождены, 4) народ сам выработает конституцию, 5) постановление о роспуске национальных мастерских должно быть отменено, 6) Национальное собрание обязуется издать закон о праве на труд.

Начались переговоры между рабочими и представителями Кавеньяка.

— Мы не бунтовщики. Мы защитники республики, борющиеся за свои принципы,— говорили рабочие трем генералам — делегатам правительства.

Кавеньяк через своих парламентеров угрожал, что не оставит камня на камне от всего предместья, если баррикады не будут разобраны немедленно и повстанцы не сдадутся без всяких условий. Тогда рабочие потребовали за капитуляцию еще нескольких дополнительных гарантий: пленные революционеры будут освобождены, оружие у них не будет отобрано и никаких преследований за июньское восстание не последует. Кавеньяк отверг все требования рабочих и дал несколько часов для размышления, с тем чтобы затем возобновить наступление на героические баррикады.

С тяжелым чувством вернулись к повстанцам делегаты народа после переговоров. Надежды больше не было. С высоты баррикады, запиравшей вход в предместье, выступили они с отчетом перед стойкими защитниками прав трудового народа. Выбора не было: либо без всяких условий сдаться, либо сражаться до последнего патрона и человека. Рабочие выбрали последнее. Нападение солдат Кавеньяка было бешеным и неудержимым. Баррикады окутал густой пороховой дым от разрывающихся снарядов. Смерч пыли кружился над крышами, скрывая солнечный свет. Падали камни, горели дома. Слышались людские крики, адский гул канонады.

Регулярные войска обошли Сент-Антуанское предместье и ударили по рабочим с тыла. Началась расправа с мужественными героями.

Женщины молили солдат не расстреливать пленников. Но по всему городу шли массовые казни. Городская ратуша, пантеон, Монмартрские каменоломни предместий Дю-Тампль и Сент-Антуан превратились в места боен. Кровь ручьями лилась по мостовой. Но те, кто, пережив мгновение ужаса, нашел затем покой смерти, оказались счастливее десятков тысяч попавших в погреба и подвалы в качестве заложников и арестантов. Их сбрасывали ударами прикладов в смрадные подземелья и ямы, без воздуха и света, полные гнилостной воды и крови. Когда эти темницы ужасов переполнялись до отказа людьми, которых ничем не кормили и не поили, стража выволакивала часть полуживых узников наверх. Очутиться на воздухе значило быть немедленно убитым, и многие из мучеников предпочитали это. Трупы сбрасывали в Сену, и течением их уносило в море.

Много дней и ночей на площади Карусель непрерывно раздавались залпы. Париж знал, что каждый выстрел нес с собой смерть героев июньского восстания. В городской ратуше гвардейцы потехи ради вешали захваченных рабочих на дверных крюках и оконных переплетах. Они развлекались тем, что сталкивали их с набережной в воду и затем расстреливали. Каждый блузник казался им повстанцем, и многие были зарублены только за то, что носили такую одежду.

В эти дни русский царь Николай I прислал Кавеньяку поздравление по поводу подавления июньского восстания парижских рабочих.

Жаннетта была тяжело ранена и долго не приходила в сознание. Сын Иоганна Стока Жан принес ее на руках домой и выхаживал, как самая лучшая сиделка. Когда Жаннетта пришла в себя, отчаяние, овладевшее ею, было тяжелее самого ранения.

— Зачем осталась я на этом уродливом свете?! — причитала она, срывая повязки с заживающих ран, и заливалась слезами.— Зачем вы меня вылечили? Не хочу я жить! Не хочу! Мое место с Этьеном в сырой земле. Люди хуже волков, те не пожирают друг друга. Будь проклята эта земля, раз на ней нет ни добра, ни жалости, ни правды.

Жан не знал, что ответить, а маленькая Катрина испуганно всхлипывала.

Иоганн Сток, узнав по слухам о восстании рабочих в Париже, немедленно выехал из Лиона. Семафорный телеграф бездействовал, и никаких сообщений не передавалось. На полпути до столицы поезд остановился. Почтовые кареты из-за осадного положения задержались в нескольких десятках лье от Парижа. Иоганн попытался пойти пешком, но нога разболелась с такой силой, что он свалился и пролежал более суток на почтовой станции. Сток был в полном отчаянии оттого, что не принимает участия в баррикадных боях. Но он надеялся, что успеет добраться к друзьям до решительной схватки. Множество случайностей мешало ему и не давало возможности быстро попасть в Париж.

После трех дней бесплодных попыток портной наконец уговорил одного поселянина довезти его до окрестностей столицы. Однако внезапно в пути пала лошадь, а у самого городского шлагбаума, куда доплелся Сток, его арестовали, как подозрительного бузотера, чуть не расстреляли и выпустили через несколько дней, уже после разгрома героического восстания.

Десятки тысяч рабочих были убиты в бою или расстреляны и замучены. Парижская буржуазия давала бесчеловечный урок ненавистным ей пролетариям.

Иоганн Сток не нашел ни одного из многочисленных своих друзей. Одни были убиты карательными отрядами Кавеньяка, других заточили в тюрьмы или выслали на погибель в заморские колонии. Непосильная работа и желтая лихорадка — эта бескровная гильотина — в течение первого же года изгнания освобождали высланных от бремени, каким для них стала жизнь.

У Стока не было больше своего домашнего очага. Дети жили у Жаннетты. Он отправился туда. Отец Кабьепа, арестованный за сына, погиб в подземной тюрьме Тюильрийского сада. Без воздуха, без воды и еды, в темноте отвратительной ямы сидел он несколько дней среди многих себе подобных. Однажды, задыхаясь от зловония, подполз он к решетке узкого окна, чтобы подышать свежим воздухом. Голод терзал старика, и, увидев проходящего солдата, он попросил хлеба. «Вот тебе хлеб!» — ответил тот, смеясь, и пустил ему пулю в лоб.

— Просторно стало у нас,— с горькой усмешкой сказала Жаннетта Стоку.— Я да твои дети.— Глаза ее казались Стоку в эту минуту безумными.— Неужели не будет убийцам отмще-

ния? — вдруг закричала она.— Что нам делать? Как отомстить? Камни пропитаны кровью. Кровь везде. Ты слышишь выстрелы? Это до сих пор расстреливают наших братьев.— Она зажала ладонями уши, и гримаса ужаса исказила ее лицо.— Кто же будет отныне строить их дома, мосты и железные дороги, прясть и шить убийцам платья и обувь, ковать их лошадей, добывать им металлы и уголь, рубить дрова? Они не успокоятся, пока не отправят нас всех на кладбище. Но зачем нас хоронить, когда можно топить в реках? Вода омоет наши раны.— Жаннетта вдруг разразилась смехом, от которого Стоку стало не по себе. Он усомнился в ее рассудке. Но она сказала, как-то сразу окаменев: — Я в своем уме, Иоганн! Скажи, что же произошло? Я была женой Кабьена целый месяц. Знаешь ли ты, что значит не хоронить самых дорогих тебе людей? Все они уходят, исчезают... Может, они вовсе и не умерли? А? Где их искать? Мой отец ушел из деревни в город и не вернулся. Говорили потом, что он умер. Но я не видела его в гробу, не целовала его лба, не провожала в могилу, не лежала на траве, под которой покоится его тело. Моя мать умерла, когда я служила в прислугах. Мы были бедны, самые бедные в Сен-Дени, и никто не запомнил, где ее зарыли. Теперь не стало Кабьена и его отца. Я видела, как упал Этьен, и подхватила знамя, чтобы над ним не надругались враги. Но умер ли он, где его тело? Я не хоронила мужа, а все зовут меня вдовой Кабьена... Ушел и пропал старик свекор.

Жалость все более овладевала Стоком.

— Они погибли, как и многие тысячи других героев. Память об Этьене Кабьене не исчезнет, а разве это не важнее бугорка земли, под которым истлевают его кости.

— Я не верю, что их всех нет. Может быть, они вернутся. Если б я своей рукой закрыла дорогие мне глаза, поцеловала милые руки, омыла бы слезами его тело, ходила бы на могилу, как в родимый отчий дом...

Она заплакала, и Сток тоже едва сдерживал слезы. Разве не целовал и он на могиле Женевьевы траву, разве в шелесте кладбищенских деревьев не находил успокоения?

Жан, молча слушавший разговор отца и Жаннетты, сказал своим ломающимся отроческим голосом:

— Нечего хныкать. Мы отомстим убийцам. И как отомстим! Мы рассчитаемся с ними за каждую пролитую каплю крови! — Он потряс кулаком.

— Отлично, парень,— ответил Сток, оправившись и как бы

даже устыдившись только что высказанной слабости.— Тебе будет легче. Ты будешь бороться с буржуазией, когда пролетарии будут иметь опыт этой борьбы. Сейчас нам, рабочим, видно, это еще не по силам. Не всегда баррикады решают исход борьбы.

Помолчав, Сток добавил:

— Подрастешь — поймешь. Я в твои годы был совсем еще несмышленым, хоть и крепким дубком. А вот выучился кое-чему и опален порохом, как дуло ружья.

Жаннетта подошла к Стоку.

— Отец,— сказала она, сама не замечая, что называет его так. Совсем седой, сутулый, хромой портной выглядел по сравнению с ней очень старым.— Отец, неужели революция кончилась? А как счастливы были мы весной...

— Да,— помолчав, ответил портной,— лучшие, самые смелые из пролетариев погибли. Наши клубы закрыты. Национальные мастерские уничтожены. Не сразу вырастут наши сыновья-мстители. Наступил теперь праздник для денежных тузов и промышленников, и Кавеньяк сейчас могущественнее Бонапарта после победы под Аустерлицем. Он спас власть и имущество буржуазии. Алжирский палач стал подлинным диктатором.

Шли месяцы зловещей осени 1848 года. Сток томился. Он думал было отправиться в Кёльн к Марксу, с которым непрерывно переписывался, отсылая в «Новую Рейнскую газету» подробную информацию и корреспонденции. Но болезнь дочери, а затем сына, будто чудом выздоровевшего от холеры, задержала его в Париже.

В двадцатых числах июня 1848 года «Новая Рейнская газета» сообщала:

«...Известия, только что полученные из Парижа, занимают так много места, что мы вынуждены опустить все статьи комментирующего характера.

Поэтому всего несколько слов нашим читателям. *Ледрю-Роллен и Ламартин,* а также их министры — *в отставке: военная диктатура Кавеньяка* перенесена из Алжира в Париж; *Париж залит кровью...»*

Днем позже Энгельс писал о страшном 23 июня:

«...Июньская революция — революция отчаяния, и она протекает в молчаливом гневе, в мрачном хладнокровии отчаяния.

Рабочие знают, что они ведут *борьбу не на жизнь, а на смерть*, и перед грозной суровостью этой борьбы умолкает даже веселое остроумие французов.

В истории известны только два момента, подобные той борьбе, которая, вероятно, в настоящее время еще происходит в Париже: это война рабов в Риме и Лионское восстание 1834 года. Старый лионский лозунг «Жить, работая, или умереть, сражаясь» внезапно ожил вновь через четырнадцать лет и теперь начертан на знаменах... Исчезло единение февральской революции — то поэтическое единение, полное ослепительных иллюзий и обольстительной лжи, достойным воплощением которого был сладкоречивый предатель Ламартин».

Подробности трагедии, разыгравшейся в Париже, Энгельс гневно описывал день за днем в «Новой Рейнской газете», горя негодованием против буржуазии.

Печать германской буржуазии прославляла палачей генерала Кавеньяка. Клевета и ложь обрушивались на героев, которые четыре дня сражались на баррикадах французской столицы с превосходящими их во много раз силами противника.

Маркс и Энгельс, зорко следя за маневрами реакции, давно ожидали неизбежного столкновения между пролетариатом и буржуазией Парижа. И все же кровопролитная гражданская война глубоко потрясла их души.

Не покидая ни на час редакции, они ждали депеш из Франции по семафорному телеграфу и, главное, курьеров из залитого кровью города. За столом Маркса обсуждали привозимые известия, нетерпеливой рукой вскрывали пакеты и просматривали документы и последние французские газеты.

Маркс и Энгельс работали неустанно. Дело, за которое сражались французские пролетарии, было их кровным делом. Каждый из них мысленно сражался на баррикадах Парижа.

«Храбрость, с которой сражались рабочие, поистине изумительна,— писал Энгельс.— От тридцати до сорока тысяч рабочих целых три дня держались против восьмидесяти тысяч солдат и ста тысяч национальных гвардейцев, против картечи, гранат и зажигательных ракет... Рабочие разбиты, и значительная часть их зверски уничтожена... История отведет им совершенно особое место, как жертвам первой решительной битвы пролетариата».

Июньская революция парижских рабочих потерпела поражение. Снова торжествовала международная реакция. Карл Маркс, следивший за всеми перипетиями борьбы, в своей статье

«Июньская революция» подвел итоги чудовищным событиям, происшедшим в столице Франции.

Карл писал о страшных парижских событиях. Он не покидал редакции. Иногда он вставал из-за стола и подходил к окну. Небо было зловещим, предгрозовым, пунцово-серым. Город изнемогал от зноя и духоты. Солнца не было, не было и дождя. Ночь не приносила облегчения. Воздух казался неподвижным и окутывал, как густая пыль.

На рассвете в кабинет Карла зашел Энгельс. Маркс протянул ему исписанные листы.

— Уже готово? Это так не похоже на тебя, Карл! И ты не задержишь своей статьи и, как обычно, не захочешь что-то дополнить, выправить, изменить в написанном?

— Время не терпит, Фридрих,— ответил Маркс все еще во власти мыслей, которые излагал в своей статье.— Обрати внимание — ни одного известного республиканца, будь то из «National» или из «Reforme», не было на стороне народа! Не имея других вождей, других средств, кроме самого восстания, народ оказывал сопротивление объединенным силам буржуазии и военщины дольше, чем какая-либо французская династия... Питомцы медицинского факультета отказывали раненым плебеям в помощи науки. Наука не для плебея, который совершил неслыханное, небывалое преступление — вступил на этот раз в бой за свое собственное существование, вместо того чтобы проливать кровь за Луи-Филиппа... Итак, фейерверк Ламартина превратился в зажигательные ракеты Кавеньяка.

— Это сказано отлично,— прервал Энгельс.

— Вот оно — fraternité противостоящих друг другу классов, из которых один эксплуатирует другой. Братство, возвещенное в феврале, огромными буквами начертанное на фронтонах Парижа, на каждой тюрьме, на каждой казарме. Его истинным, неподдельным, его прозаическим выражением является гражданская война в своем самом страшном обличии — война труда и капитала. Это братство пылало перед всеми окнами Парижа два дня тому назад, когда Париж буржуазии устроил иллюминацию, и какую, в то время как Париж пролетариата сгорал в огне, истекал кровью, оглашался стонами. Все это я изложил в своей статье.

— Ты писал ее чернилами, смешанными с кровью,— тихо заметил Энгельс.— Я прочту статью сам, ты, верно, очень устал, передохни немного.

— В такие дни не должно б[redacted]сталости,— отозвался Маркс.— Кажется, я сказал то, что [redacted]уем и думаем мы все сегодня.

Двадцать восьмого июня в «Новой Рейнской газете» появилась статья Маркса:

«Парижские рабочие *подавлены* превосходящими силами врагов, но не *сдались* им. Они *разбиты,* но их враги побеждены. Минутный триумф грубой силы куплен ценой крушения всех обольщений и иллюзий февральской революции... ценой раскола французской нации на две нации — нацию имущих и нацию рабочих. Трехцветная республика отныне носит только *один цвет* — цвет побежденных, *цвет крови.* Она стала *красной республикой*...

...*Февральская революция* была красивой революцией, революцией всеобщих симпатий, ибо противоречия, резко выступившие в тот момент против королевской власти, еще дремали мирно, рядышком, находясь *в неразвитом виде,* ибо социальная борьба, составлявшая их подоплеку, достигла пока лишь призрачного существования, существования фразы, слова. Июньская революция, напротив,— революция отвратительная, отталкивающая, потому что на место фразы выступило дело, потому что республика обнажила голову самого чудовища, *сбив с него защищавшую и скрывавшую его корону*...

...При временном правительстве было признаком хорошего тона, более того, было *необходимостью* внушать великодушным рабочим, тем самым рабочим, которые, как это было напечатано в тысячах официальных плакатов, *«предоставили в распоряжение республики три месяца нужды»,*— было одновременно политикой и фантазерством внушать им, что февральская революция совершена якобы *в их* собственных интересах и что в февральской революции речь идет прежде всего об интересах рабочих. С *открытием* Национального собрания наступили прозаические времена. Речь шла уже только о том, чтобы, как выразился министр Трела, вернуть труд в его прежние условия. Итак, рабочие сражались в феврале для того, чтобы быть ввергнутыми в пучину промышленного кризиса...

...Парижских рабочих от 17 до 25 лет оно либо вынуждает поступать в армию, либо выбрасывает на мостовую; иногородних рабочих оно высылает из Парижа в Солонь, не уплатив даже причитающихся им при расчете денег; взрослым парижанам оно временно предлагает милостыню в организованных на

военный манер мастерских, при условии отказа от участия в каких бы то ни было народных собраниях, т. е. при условии, что они перестанут быть республиканцами. Но ни сентиментальная риторика после февраля, ни жестокое законодательство после 15 мая не достигли цели. Надо было решить вопрос на деле, на практике. Для кого же вы, канальи, совершили февральскую революцию, для себя или для *нас*? Буржуазия поставила вопрос так, что должен был последовать ответ июнем — картечью и баррикадами...

...Конфликты, возникающие из самих условий буржуазного общества, *должны быть преодолены* в борьбе, *их нельзя устранять* с помощью фантазии. Лучшая форма государства — та, в которой общественные противоречия не затушевываются, не сковываются насильственно, следовательно, только искусственно, только по видимости. Лучшая форма государства — та, в которой эти противоречия доходят до открытой борьбы и тем самым находят свое разрешение...

...Но *плебеи истерзаны голодом, оплеваны прессой, покинуты* врачами, по милости «порядочных», ославлены ворами, поджигателями и каторжниками; их жены и дети ввергнуты в еще более безграничную нищету; их лучшие представители из оставшихся в живых сосланы за море. Обвить лавровым венком их грозно-мрачное чело — это *привилегия,* это право демократической печати».

«Новая Рейнская газета» была во всем мире первым печатным органом, поднявшим залитое кровью знамя парижских рабочих.

Зажигательные статьи, связанные с июньским восстанием, привели в бешенство и панический страх немногих из оставшихся акционеров газеты. Они решительно отказались иметь какое бы то ни было к ней отношение. Но Маркс и Энгельс, выслушав их негодующие либо испуганные речи на собрании акционеров, не отступили ни на шаг от взятой линии. Ничто не могло уже прекратить в то время существование известной всей Германии и полюбившейся труженикам газеты. «Новая Рейнская газета» смело приняла бой, который ей открыто объявила окрепшая после разгрома рабочих во Франции международная реакция.

В самом начале июля того же бурного 1848 года часовщик Иосиф Молль, честнейший из честных, «настоящий человек», по мнению Маркса и Энгельса, некогда приезжавший к ним в Брюссель, был избран председателем «Кёльнского рабочего

союза». А несколькими месяцами позже его сменил на этом посту Карл Маркс.

Каким бы делом ни руководил Маркс, он точно наэлектризовывал окружающих его людей и будил дремлющую в них энергию и творческое разумение. Самые вялые из его соратников обретали неожиданную устремленность и страстно отдавались работе, которая приобретала для них особую значительность и волнующий смысл. Марксу удалось оживить работу союза. Маркс и Энгельс, будучи людьми внутренне мощными и несокрушимыми, умели уважать человеческое достоинство и ценить дарования других. Они много помогали своим сотоварищам. И в значительной мере поэтому все, что писали в газете Вольф, Фрейлиграт, Веерт и остальные сотрудники «Новой Рейнской газеты», обычно сверкало, искрилось, поражало обилием новых мыслей, иронией, заразительным вдохновением.

Улица Шапочников — одна из многих улиц Кёльна. Ничем не отличался внешне от сотен других и дом номер семнадцать. В нем находилось издательство Дица и редакция «Новой Рейнской газеты». За простым столом, в комнате без особых примет, обычно работал редактор Вильгельм Вольф. Казалось, он никогда не оставлял этого места, разве только чтобы побывать в типографии. Настойчивый, трудолюбивый, он отдавал газете всего себя, свое время и досуг.

— Послушай, дружище Люпус,— как-то обратился к Вольфу Веерт,— сегодня опьяняющий вечер, и слышу с Рейна зов Лорелеи.

— Говори проще, Георг. Очевидно, ты хочешь, чтобы я выпустил за тебя завтрашний номер? Как зовут твою Лорелею: Амалией, Луизой или Гретхен?

— Ты величайший из магов и читаешь мои мысли, как гранки,— засмеялся поэт.— Но тайну ее имени я унесу в могилу.

— Ну, это уже Шиллер,— шутливо поморщился Вольф.

За исключением Люпуса, все редакторы «Новой Рейнской газеты» не достигли еще и тридцати пяти лет. Они были молоды, жизнерадостны, любили развлечения, шутки, стакан вина в доброй веселой компании.

Стояло яркое лето. В окна дома редакции врывались волнующие запахи свежего сена и цветущих лип. Веерт и Энгельс нередко приходили в редакцию с берега Рейна после купания или гребли, оживленные и радостные. Ночью в редакции к ароматам, доносившимся извне, примешивался едкий, горький

запах сигар и нежной «Кёльнской воды» — духов, прославивших во всем мире имя их создателя, уроженца Кёльна — дистиллятора Жана-Марии Фарина.

Энгельс тщательно изучал в это время особенности июньских событий в Париже. «Перевес сил в правительственных войсках в значительной степени предрешал исход поражения рабочих»,— писал Энгельс. Разбирая уличные сражения с военной точки зрения, Энгельс открыл важнейшую ошибку, совершенную восставшими. «Народ был слишком великодушен,— писал он.— На ракеты и гаубицы правительственных войск Кавеньяка следовало ответить массовыми поджогами зданий». Энгельса всегда интересовали военные проблемы. Июньская трагедия учила его тактике и стратегии классовых войн и борьбы во время вооруженного восстания.

Прусское правительство понимало, какой угрозой его господству был подъем рабочего движения в Рейнской провинции. В главном городе ее, в Кёльне, находился штаб Союза коммунистов во главе с Марксом и Энгельсом, имевший могучее оружие — популярнейшую из газет, такую, каких никогда не бывало еще на свете.

«Новая Рейнская газета» была многогранна и умна. Маркс и Энгельс знали, какой несокрушимой силой обладает сарказм и веселый смех. Голос газеты был то очень серьезен, то презрителен, то насмешлив. Сатирические фельетоны в стихах и прозе перемежались с глубоким научным разбором происходящих во всем мире, и особенно в Германии, событий. Стихи Фрейлиграта и Веерта украшали «Новую Рейнскую газету», как и глубокие статьи Маркса, Энгельса, Вольфа, других сотрудников и многочисленных корреспондентов из разных городов.

Георг Веерт писал для газеты сатирическую поэму об аристократическом врале и карьеристе фон Шнапганском, приключения которого очень потешали читателей. Веерт без промаха разил исконных врагов революции: юнкеров, националистов, либеральствующих буржуа и реакционных филистеров. В герое поэмы читатели скоро узнали князя Лихновского, правого депутата Франкфуртского собрания.

Как-то Веерт прочел, примостившись по обыкновению на подоконнике, стихи, которые понравились редколлегии и тут же пошли в очередной номер:

Сегодня ехал я в Дюссельдорф.
Сосед мой — советник почтенный.

Бранился весьма откровенно:
«Редакторы этой газеты дрянной —
Чертей опасная свора:
Совсем не боятся ни бога они,
Ни Цвейфеля — прокурора!
Как средство от всех неурядиц земных
Хотят они первым делом
Республику красную провозгласить
С имущества полным разделом.
На части мельчайшие разделен
Весь мир будет ими вскоре:
На горсти земли и песку — вся твердь,
На малые волны — море.
Получит каждый на радость себе
Кусочек нашей планеты:
Достанется лучшее — редакторам
Из «Новой Рейнской газеты»...
. . . . . .
Но тут господин советник умолк.
И полон я был раздумья:
Каким вы мудрым казались мне
В наш век сплошного безумья.
Меня ваша речь в восторг привела,
А если нужны ответы,
Скажу, что я-то редактор и есть
из «Новой Рейнской газеты»...[1]

«Новая Рейнская газета» казалась властям столь опасной революционной крепостью, что уже в июле против нее возбудили судебное преследование. Прошло менее полутора месяцев со времени выхода первого номера. В Кёльне начались аресты. Газета тотчас же оповестила об этом своих читателей. Полиция ответила обыском в здании редакции. Жандармы вскрыли все шкафы и ящики столов. Тысячи бумажных листков, как снежный буран, завертелись по комнатам.

В ворохе запечатленных мыслей, отчетов, стихов, передовиц полицейские отрыли статью «Аресты», которая показалась им оскорбительной. Она была без подписи, и следователи силились, сопоставляя почерки, найти ее автора. Были допрошены Маркс, Энгельс, Дронке, а также издатель газеты Корф. Все они наотрез отказались назвать автора статьи. Тогда в качестве свидетелей были вызваны в полицию одиннадцать наборщиков.

Через несколько дней, выступая со статьей о судебном следствии против «Новой Рейнской газеты», Маркс писал: «...обращаем внимание читателей на то, что одни и те же пре-

[1] Перевод Б. Тимофеева.

следования начались одновременно в разных местах — в Кёльне, в Дюссельдорфе, в Кобленце. Странная цепь случайностей!»

Спустя несколько дней Маркса снова допрашивали по поводу статьи «Аресты».

Женни с детьми и Ленхен жили в Кёльне в дешевой меблированной квартирке, будто на бивуаке, готовые немедленно, если понадобится, пуститься снова в путь. Скарб семьи так и не выгружался из корзин. Даже многочисленные книги и бумаги лежали неразобранными.

Карлу не часто удавалось вырваться домой. Бывал он и в разъездах. Тем большей радостью сопровождалось его появление. Дети, ревниво отталкивая друг друга, взбирались на его колени или неотступно ходили за ним, а когда наступал вечер, отказывались идти спать и капризничали до тех пор, покуда он сам не укладывал их в кроватки, рассказывая сказку.

Ленхен хлопотала, приготовляя любимые Карлом блюда: мясо под острой подливкой, пирожное со сливками и крепкий кофе. Женни обстоятельно сообщала мужу обо всем происшедшем в семье за время его отсутствия.

Но Карл обычно торопился в редакцию или по другим делам, и Женни неизменно провожала его. Они шли рядом, поглощенные друг другом, влюбленные, как в ранней юности в Трире, и каждый, кто видел их вместе, невольно думал: «Как они счастливы».

В августе в Кёльне происходил первый рейнский конгресс демократов, на который съехались делегаты семнадцати организаций. В перерыве между заседаниями к Марксу подошел высокий, красивый молодой человек с маленькими холеными усиками на чисто выбритом лице.

— Я давно ждал счастливой возможности пожать вам руку, доктор Маркс,— начал он, заметно любуясь собой и своей четкой дикцией.— Вы, вероятно, слыхали обо мне. Я руковожу дюссельдорфским «Демократическим союзом». Меня зовут Фердинанд Лассаль.

Карл не скрыл своей заинтересованности и ответил крепким рукопожатием.

— Вы еще очень молоды,— сказал он удивленно.

— Мне двадцать три года.

— Что ж, прекрасный возраст для борца. Рад познакомиться. Насколько я осведомлен, в Дюссельдорфе вы не теряете времени даром. И хорошо делаете, что опираетесь в рево-

люционно-демократической деятельности на рабочих, а не на буржуазию. Она была бы плохой опорой. Вспомните Париж!

Лассалю не терпелось рассказать Марксу о том, как много времени он тратит на бракоразводную тяжбу графини Гацфельд.

— В «Новой Рейнской газете» мы писали о том, с какой настойчивостью вы ведете это дело,— отозвался Маркс.

— Деятельность моя весьма разносторонняя. Помимо общественных и социальных дел, а также юриспруденции, я намерен в ближайшие годы писать также книгу о Гераклите. Моя работа только начата, но не в моих привычках останавливаться на полпути в чем бы то ни было. Я хочу написать о мыслителе древности, который сумел первым высказать революционную мысль о том, что все в мире постоянно подвержено изменениям.

Маркс прищурился и бросил на Лассаля испытующий взгляд.

— Что ж, все это очень похвально. Подобная тема требует мужества.

Откинув красивым жестом завитые волосы, Лассаль принялся в цветистых выражениях превозносить духовную мощь Маркса. Лицо Маркса изменилось. Две морщинки, столь излюбленные Рембрандтом, отражающие суровую волю и проницательность, четко обозначившиеся за последние годы на переносице Карла, углубились, и глаза досадливо сощурились. Маркс не любил похвал, подозревая в них примесь лести и неискренности — свойств, которые он считал особо отвратительными. Лассаль тотчас же уловил недовольство Карла и умно перевел разговор на дела демократического общества в Дюссельдорфе.

В течение нескольких дней, которые Фердинанд Лассаль провел в Кёльне, он постоянно искал возможности видеться с Марксом, но у Карла, однако, все время оставалось возникшее с первого дня знакомства двойственное чувство к нему — расположение и вместе с тем острая антипатия.

Чрезвычайно подвижной, разговорчивый, заражающе деятельный, отлично образованный, остроумный, Лассаль производил впечатление весьма недюжинного человека. Он был хорошо известен в Германии из-за нашумевшего бракоразводного процесса графини Софи фон Гацфельд, который успешно вел вот уже два года.

Лассаль встретил графиню в Берлине, когда она была в

отчаянном положении. Оставленная почти без средств деспотом мужем, забравшим у нее ребенка, она тщетно искала помощи. Обращение в суд женщины в среде феодального дворянства означало не только преследование, но и безусловный проигрыш. Судьба одинокой, оскорбляемой всеми Софи фон Гацфельд поразила юношу, едва достигшего двадцати одного года. Он не был юристом, но мысль сразиться с кастой, которую Лассаль ненавидел с детства, увлекла его. В его глазах графиня являлась жертвой не только мужа, но и всей придворной аристократии, хотя она и принадлежала к ней по рождению. Процесс добивавшейся свободы и материнских прав графини должен был стать политическим событием.

Лассаль был честолюбив и склонен к преувеличениям. С отроческих лет он мечтал о борьбе и славе. В четырнадцать лет Фердинанд, отвечая отцу, возмущавшемуся, что сын тянется к революционной деятельности и хочет стать мучеником, в то время как может жить в богатстве вместе с родителями, писал:

«...Если бы все так рассуждали, если бы все были так трусливы, то откуда взялся бы борец? Почему я должен сделаться мучеником? Потому, что божественный голос во мне призывает меня на борьбу, потому, что я могу бороться и страдать за благородную цель, словом, потому, что я не могу иначе...»

Юный Лассаль с самых ранних лет мечтал также и о другом:

«...Хотя я настроен революционно-демократически, республикански, но чувствую, что на месте Лаваньи из «Фиеско» Шиллера я поступил бы так же и не удовольствовался бы только ролью первого гражданина Генуи, а из этого следует, если рассмотреть дело получше, что я просто эгоист. Родись я принцем или князем, я был бы и душой и телом аристократ, но так как я сын простого буржуа, то буду в свое время демократом... Из Парижа, этого приюта свободы, я, как Берне, обращусь ко всем народам, и все князья затрепещут от страха и поймут, что пришел их час. Но каких только препятствий не поставил я сам себе на пути! Как будут издеваться мои враги над сбежавшим торговцем... Приказчик! «Рыцарь аршина»! — зашипят изо всех углов. Но с троном придет конец и барышам, и приказчик заговорит с ними таким языком, что они умолкнут».

Обрадованный возможностью показать и проявить себя, не считаясь ни с чем, Лассаль начал добиваться в суде развода

для графини Гацфельд. Он быстро усвоил все тонкости и хитросплетения прусской юриспруденции и с величайшей ловкостью вызвал на бой могущественного богача графа Гацфельда. Но хотя ему и казалось, что защита прав обиженной аристократки имела какое-то революционное значение, он вел, по существу, обыкновенный, весьма к тому же нечистоплотный бракоразводный имущественный процесс, сопровождавшийся то великосветскими скандалами, то выгодными сделками. Особенно много разговоров вызвало похищение у любовницы графа Гацфельда шкатулки, в которой хранилась дарственная запись в ее пользу. Эта история произошла в дни мартовской революции, и несколько участников кражи шкатулки избегли наказания. Однако граф не захотел отступить. Обвинив Лассаля в подстрекательстве к похищению и подкупив его слугу, фон Гацфельд начал новую тяжбу.

В августе 1848 года состоялся суд по этому обвинению. Лассаль защищался сам. Его речь длилась шесть часов. Он был оправдан. Процесс принес ему широкую известность. В своем выступлении Лассаль не без присущего ему преувеличения сравнивал бедствия графини с угнетением пролетариата. Когда из зала суда он возвращался домой, толпы народа приветствовали Лассаля восторженными криками.

Часто Лассаль приезжал в Кёльн. Он сумел сблизиться с Карлом, старался оказывать всяческие услуги и, проникнувшись к нему глубоким почтением, добился, что они перешли на «ты». Но друзьями в подлинном, большом смысле этого слова они не стали, да и не могли быть.

Маркс при виде Лассаля невольно настораживался и старался держать его на неуловимой внешне, но значительной дистанции. Ему претили в молодом человеке отсутствие скромности, хвастливость, мелкое, подчас недостойное честолюбие и неразборчивость в средствах для достижения цели. Карл вспоминал оценку, которую дал Лассалю как-то Гейне. Она казалась ему очень меткой. «Основательнейшую ученость, обширнейшие знания и величайшее остроумие, какое я когда-либо встречал,— писал поэт,— он соединяет с такой силой воли, такой практической ловкостью, что я невольно изумляюсь ему... Лассаль является истым сыном нового времени, которое ничего не хочет знать о том самоотречении и скромности, какими мы в свое время, с большей или меньшей искренностью, пробавлялись и щеголяли. Это новое поколение людей хочет наслаждаться, оно хочет въявь заявить о себе».

Поэт Фердинанд Фрейлиграт прибыл в Лондон. До февральской революции он служил там клерком в торговом доме и едва сводил концы с концами. Не в силах далее влачить с семьей столь жалкое существование, он решил отправиться в Америку. Туда его настойчиво призывал давнишний друг, заокеанский гений Лонгфелло. Однако революционный взрыв в Париже изменил все намерения Фрейлиграта. Он вернулся в Германию. Настала и для него долгожданная пора непрерывного творческого действия. Талант его, давно созревший, проявился с новой, небывалой силой.

Поэт, который некогда отстаивал идеи аполитичности искусства, теперь открыто выступал, подняв забрало, как солдат и бард революции. Политические темы его стихов усиливали их художественную значимость.

В том же 1848 году Фрейлиграт был обвинен в призыве к вооруженному восстанию против королевской власти. Его судили в Дюссельдорфе. С невозмутимостью героя держался он во время процесса. Суд присяжных под ликующие крики собравшихся в зале вынес ему оправдательный приговор.

Маркс нелегко вступал в дружбу с кем-либо. Лишь очень немногие могли гордиться его полным доверием и привязанностью. Но подлинной дружбе он был верен и предан до конца. Не признавая пустозвонной словесной дружбы без общего дела и целей, Маркс считал себя ответственным не только за себя, но и за своих друзей. Он делил с ними все, радовался их успехам, бросался за них в бой. Как никто, гордился Карл Фрейлигратом, чье поэтическое творчество и революционная деятельность приносили неоценимую пользу демократическому движению.

«Он настоящий революционер и вполне честный человек,— похвала, которой я могу удостоить лишь немногих»,— писал Карл Вейдемейеру и просил приласкать Фрейлиграта, так как поэты, как дети, нуждаются в ободрении, чтобы слагать стихи.

В конце августа Маркс решил побывать в Берлине и в Вене. Необходимо было укрепить связи с демократическими и рабочими обществами и добиться от их руководителей решительной борьбы с крепнущей контрреволюцией.

Берлин произвел на Карла, как и много лет назад, когда юношей он прибыл туда из Трира, отталкивающее, мрачное впечатление. По улицам, высоко вскидывая ноги, шагали исполненные самодовольства вооруженные отряды реакционеров.

Серые, однообразные, как спички, дома вызывали непреодолимую скуку.

В ресторане Спарганапани, знакомом Марксу с университетских лет, за чашкой кофе со сливками он просмотрел газеты, особое внимание уделил «Новой Прусской газете».

Незадолго до приезда Карла в Берлин здесь происходил съезд крупнейших землевладельцев. В течение нескольких дней они произносили бурные речи в защиту интересов дворянства. «Новая Прусская газета» стала органом этого «юнкерского парламента», который, не жалея средств, поддерживали и лютеранская церковь, и королевская чета, и даже царское правительство России, видевшие в нем желанный оплот контрреволюции.

На первой странице газеты Маркс прочел статью, призывавшую начать крестовый поход против революционных идей и революционеров. Автором ее был молодой преуспевающий военный по фамилии Бисмарк, один из влиятельнейших членов «прусского кружка», могущественной партии, имевшей в своем распоряжении основные контрреволюционные организации.

Маркс знал, что вождь старопрусской придворной группы, сам генерал Герлах, и предприимчивая хитрая королева Елизавета благоволили к светловолосому гиганту, представителю старинного богатого дворянского дома. Он во всем выказывал преданность прусской короне и юнкерству, ненависть ко всякого рода реформам, бычье упорство и к тому же имел истинно тевтонскую представительную внешность. В своих статьях и речах обычно фон Бисмарк не только призывал к крестовым походам, но и поучал, как надобно создавать новые организации прусских юнкеров, опоры монархии и порядка.

Такие взгляды были приятны и королю Фридриху Вильгельму, отличавшемуся вообще крайней неуравновешенностью, но твердо стремившемуся не уступать ни в чем народу. Он оказался вынужденным после мартовской революции поступиться некоторыми привилегиями и потом делал все, чтобы их вернуть. Король мечтал о государственном перевороте и возлагал отныне все свои надежды на прусское юнкерство.

Во время пребывания в Берлине Маркс перевидал много нужных ему людей, выясняя, в частности, возможности получения денег для «Новой Рейнской газеты».

Со времени панического и предательского бегства акционе-

ров газета жила за счет тиража. Одного этого дохода не всегда было достаточно. Маркс вложил в издание все свои личные сбережения.

В Берлине Карл встретился с Бакуниным. Они разговорились.

— Кстати,— помрачнев, сказал вдруг Бакунин,— царское правительство продолжает оговаривать меня. Опровержение вашей газеты не всех убедило.

Бакунин имел в виду провокационную клевету, пущенную о нем царским послом в Париже Киселевым.

Однажды в «Новую Рейнскую газету» поступили сообщения, вызвавшие смятение, печаль и бурное возмущение. Информационное бюро Гавас, а за ним и парижский корреспондент газеты Эвербек сообщали о полученных ими данных, будто Михаил Бакунин является тайным агентом русского царского правительства. Ссылка на то, что у Жорж Санд имеются подтверждающие документы, придала известию правдоподобность. Однако уже через несколько дней «Новая Рейнская газета», получив письмо писательницы, отвергшей этот подлый вымысел, напечатала опровержение.

— Я вам разъясню некоторые детали этой истории,— продолжал Бакунин.— Мне хорошо известно, что единственным источником клеветы является русское правительство. После того, как пять лет назад я был заочно приговорен к каторжным работам в сибирских рудниках, меня ни на час не оставляли в покое, где бы я ни жил как беглец. Царское правительство дошло до того, что принялось распространять слух, что я бежал из Петербурга не по политическим причинам, а потому, что украл значительную сумму денег. Но и этого было мало. Меня обвиняли в намерении убить Николая Первого. Для этой цели я будто бы отправил в Россию двух мятежных поляков. А теперь — вот эта клевета... Фантазия русского правительства работает неутомимо, и я не могу даже предвидеть, какая еще падет на меня вина.

— Вы сильно досадили русскому самодержавию. Вот оно и пытается вам мстить жалким и подлым образом,— подтвердил Карл.

— Да, я действительно стараюсь разрушить упорно создаваемую легенду о единении царя с русским народом. В публичных речах я не раз говорил о творящихся в России беззакониях и одновременно бессилии правительства улучшить жизнь народа. Я обнаружил отделяющую власть от народа

пропасть и доказал, что царское правительство скоро рухнет со всеми своими низостями и ложью. Я предсказал Николаю близкую гибель и возрождение освобожденной русской нации из-под обломков русского государства. Я предложил от имени революционных партий России, от всех волнующихся сил народных, стремящихся к свету и свободе, революционный союз с польским народом против императора Николая и его злодеяний. Конечно, царскому правительству не за что быть мне благодарным!

— Но что это за революционные партии в России и кто в них состоит? Вы уже много лет как оттуда. Имеете ли вы связь с кем-либо на родине? Меня чрезвычайно интересует Россия. У нее, несомненно, великое будущее!

— В России много пороха в крестьянстве. Оно и есть тот народ, который надо поднять на свержение самодержавия. Фабричных работников у нас мало. Это бедняки, они оторваны от земли, и не в них сила. К сожалению, Европа почти ничего не знает о русском народе. Николай и его клика пытаются окружить Россию китайской стеной так, чтобы оттуда не доносился ни единый звук: будь то стон страдания или вопль возмущения.

— Этого никакой царь больше не добьется! Время наше несется быстро, революции ломают преграды между государствами,— заметил Маркс.

— Европа должна думать, что русский народ глуп, что он любит и боготворит царя! — воскликнул Бакунин.— И царь и его правительство все делают, чтобы убедить мир в своей силе и единении с народом.

Сидя за столом друг против друга, Маркс и Бакунин напоминали двух бойцов на коротком привале в трудном походе.

Бакунин, сшеломленный, но не растерявшийся после июньского поражения французских рабочих, вернулся недавно из Бреславля. До этого он побывал в Праге на славянском конгрессе и все еще надеялся на единение всех славян в борьбе с русским самодержавием. Он высказал это в беседе с Карлом. Маркс пробовал доказать, что славяне покуда стоят по обеим сторонам баррикад.

— Многие австрийские славяне,— говорил он,— помогают врагам, и не принадлежность к тому или иному племени, а к классу решает все в революции.

Споря и не чувствуя полного единства, они не хотели, однако, раздоров. Каждый невольно думал о том, когда и как

придется встретиться опять. Их ждали жестокие бои и опасности. В данное время для обоих цель жизни была в защите революционных завоеваний. Это сближало Маркса с Бакуниным, хотя они шли разными путями к осуществлению своих идеалов.

Было уже поздно. Желая закончить вечер чашкой крепкого кофе, Маркс и Бакунин зашли в чопорную кондитерскую Кранцлера. Не успели они усесться за столик, как громкий низкий голос позвал Маркса. К ним подошел мужчина с бакенбардами, весьма внушительной комплекции, в расстегнутом длинном сюртуке.

— Не узнаешь? Да вглядись же в меня, Карлихен! Не мы ли с тобой бегали по берегу незабвенного Мозеля? Наши отцы и матери имели не мало огорчений от маленьких сорванцов. А помнишь, как почтенный Виттенбах напутствовал нас в гимназии Фридриха Вильгельма? Признаться, я все забыл из того, чем так упорно начиняли наши головы.

— Шлейг?! — удивился Маркс. В первый момент он обрадовался встрече, перенесшей его в Трир, в пору детства. Но затем, внимательно вглядевшись в бывшего товарища по школе, в его сытую, пошлую, лоснящуюся рожу, холодно и насмешливо добавил: — Что же, твой божок Меркурий покровительствует тебе по-прежнему?

— Еще бы,— подняв вверх унизанные кольцами жирные руки, важно изрек Фриц Шлейг.— Я компаньон самого Кампгаузена. Не скрою, мои капиталы уже равны...

— Ладно, Шлейг. Вижу, ты все тот же, каким я знал тебя в Ober-prima. Помнится, мы прозвали тебя Растиньяком с мозельских берегов. Боги, видно, тебе благоприятствовали!

— Не скрою, не скрою! Мои три сына и две дочери унаследуют солидное состояние. И надеюсь, послужат на пользу людям и прогрессу, как и их отец,— не замечая иронии Маркса, сказал Шлейг напыщенно и грузно опустился в обитое зеленым бархатом кресло, которое угодливо подставил ему кельнер.

— Ищу гувернантку,— сказал Шлейг, отдышавшись.— Их в Берлине нехватка. Редкий товар.

Бакунин, с полнейшим пренебрежением поглядывавший на бесцеремонно усевшегося за стол господина, вдруг заметно оживился.

— Я не представлен вам, но это не помеха.

Шлейг церемонно ответил на поклон Бакунина.

— У меня есть протеже, молодая русская дама, знающая

три языка — немецкий, французский, английский — в совершенстве,— сказал Бакунин.— К тому же она отличного воспитания, дворянка, из хорошей семьи. Вы знаете ее, Маркс? — И он назвал имя Лизы.

— Серьезная и симпатичная девушка,— подтвердил Карл.

Шлейг обрадовался.

— Я очень благодарен вам! — воскликнул он.— Воспитанием своих детей я занимаюсь сам. Это не дело матери. Женщины ведь глупы, и, может быть, в этом их прелесть.— Он зычно захохотал.

Записав адрес пруссака, Бакунин встал и, распрощавшись дружески с Марксом, откланялся Шлейгу.

Бакунин был в ту пору одинок и растерян. Встреча с Марксом ободрила его. Теперь он не ощущал досадного двойственного чувства, которое испытывал прежде,— раздражения и вместе тяготения к удивительному немцу.

«Это могучий теоретик»,— проносилось в мозгу Бакунина. Он отчетливо представил себе лицо Маркса.

«Красота этого человека какая-то особая,— подумал Бакунин.— Она происходит не от правильности черт, а от постоянного горения сердца, которое прорывается наружу во взгляде, жесте, слове. Однако он стоит на неверном пути. Не в немецких теоретиках и философствовании теперь сила, а в действии, в разрушении. Наше дело взрывать старые устои. Пусть будущие поколения созидают на их руинах».

Покуда Карл был в Берлине, Шлейг настойчиво искал с ним встреч. Как некогда в детские годы, он и теперь не мог преодолеть преклонения перед Марксом и страстного желания поразить его хоть чем-нибудь. И чем больше избегал, открыто презирая его, Маркс, тем назойливее становился этот грубый хищник, самоуверенный и наглый благодаря огромному нажитому всякими сомнительными спекуляциями состоянию.

— Послушай, Карлхен, я мог бы сделать для тебя очень многое. Почему ты бежишь от старого друга? — начинал он разговор, врываясь утром в номер дешевой гостиницы, где остановился Маркс.— Я, право, не могу оставаться равнодушным к твоей судьбе. Ты издаешь газету, которая доведет тебя, человека с такими дарованиями, до каторги. Подумай о своей бедной матери и семье. Еще не поздно. Мои друзья, господа Кампгаузен, Ганземанн и многие другие весьма порядочные и богатые люди, охотно тебе помогут. Мы можем сделать тебя директором банка, даже своим компаньоном. У тебя светлая

голова. Ты знаешь, откуда берутся ценности, как делаются деньги. Кто из нас не дерзал и не кидался к крайностям в молодости. Теперь, после всех этих бунтов и революций, ты должен одуматься, а мы могли бы сделать тебя в конце концов даже министром. Я слыхал, что в своем злосчастном увлечении ты вкладываешь в газету последние денежки. Но ведь ты обанкротишься. Заверяю тебя, хуже нельзя использовать своих денег. Ты мог бы стать величайшим дельцом, правителем...

Длинный монолог Шлейга не возымел на Маркса никакого действия.

Тогда, видя, что уговоры бесполезны, Шлейг, сложив руки на выпуклом животе, сказал умильным голосом:

— Хорошо, сходи с ума как хочешь! Я умываю руки. Но у меня к тебе есть просьба. Брат твоей жены господин Фердинанд фон Вестфален весьма влиятелен при прусском дворе. Король ему особенно доверяет. Портфель министра для него давно готов. Раз ты ничего не хочешь для себя, то помоги в моих делах. Дай мне письмо к нему с рекомендацией.

Шлейг растерялся, услышав, как весело, неудержимо расхохотался в ответ Маркс.

— Изволь, если хочешь быть выгнанным за дверь и заподозренным во всякой ереси, я направлю тебя к этому блестящему столпу, подпирающему гнилые балки прусской монархии!

После этой встречи Шлейг уж больше не преследовал своей «любовью» Карла Маркса.

Двадцать седьмого августа Карл приехал в кипучую столицу Австрии. Насколько отталкивающе бездушен, безлик был чопорный Берлин, настолько обаятельной казалась Вена, прославленный город музыки, зеленых лужаек, общительных людей. Венгры, чехи, хорваты, итальянцы, поляки, подпавшие под власть феодальной империи Габсбургов, передавали немцам многое из своей культуры и национальных особенностей. Издавна в Вену являлись художники и музыканты. Из бесчисленных кофеен этого немецкого Парижа, невзирая на политические события или войны, доносились игра венгерских и румынских оркестров, пение, смех, спорящие голоса.

Но за внешней беспечностью невозможно все же было не увидеть, что положение в городе очень тревожное. С мартовских дней, когда народ избавился от ига Меттерниха и потребовал от короля уничтожения феодальных повинностей, мно-

гое изменилось. В порабощенных Австрией многочисленных странах начались восстания за независимость и свободу.

Всего за четыре дня до приезда Маркса на улицах самой Вены произошли кровопролитные бои. После июньского выступления парижских рабочих напуганная австрийская буржуазия предпочла монархию республике. Это и вызвало возмущение демократических слоев населения Вены.

Ширились национальные движения словаков, сербов, хорватов, трансильванских румын. Они усложняли и так тяжелое положение в Венгрии, где не затихала революционная буря.

На первом же заседании венского «Демократического союза», где обсуждался вопрос о положении в столице Австрии после недавних уличных боев, Маркс говорил о том, что события эти не следствие смены кабинета и распрей в правительстве, а, как и восстание рабочих в Париже, порождены классовой борьбой между буржуазией и пролетариатом.

Знакомясь с чрезвычайно сложными перипетиями борьбы немецкого, венгерского и других народов, входивших в состав австрийского государства, Карл встречался в Вене с рабочими, студентами, посещал клубы, вел переговоры с руководителями демократических обществ.

В то время основной целью германской революции было объединение, а в Австро-Венгрии демократы, наоборот, стремились к разрушению разноплеменной империи Габсбургов. Многонациональная страна походила на огромное полотнище из разноцветных лоскутьев.

Очень скоро Маркс своими необъятными знаниями и простотой обращения завоевал симпатии тех, с кем познакомился.

— Точно он всю жизнь был в нашей шкуре,— говорили австрийские рабочие с удивлением и почтением.

— Что же это за человек? Знает наше прошлое, настоящее и будущее, точно пророк в старой библии! — слышались перешептывания, когда Маркс выступал на заседании первого венского «Рабочего союза» с подробным докладом о наемном труде и капитале.

В среде рабочих, единомышленников, он отдыхал. Его не знавшая страха душа вбирала в себя тепло благодарности, любви, полного доверия. Не дрогнув, он повел бы их на бой. Но время еще не пришло, и Карл знал это. Он рассказывал труженикам о неумолимом законе возникновения и гибели класса угнетателей, о социальных отношениях в Европе и о значении пролетариата в революционной борьбе.

В то время когда Карл устанавливал тесные связи с соратниками в Вене и хлопотал о деньгах для «Новой Рейнской газеты», Энгельса вызвали к кёльнскому судебному следователю уже не как свидетеля, а как соответчика по делу, возбужденному из-за статьи «Аресты».

Политическая обстановка в Пруссии обострялась с каждым днем, и Маркс вынужден был поторопиться с отъездом из Вены. По дороге в Кёльн он снова остановился в Берлине. Здесь в течение нескольких дней он сумел довести до конца переговоры с руководителями демократического движения и побывать на заседании прусского Национального собрания.

Все в Берлине знали, что король и его клика хотят вернуть в Берлин войска и с их помощью расправиться с буржуазной оппозицией. Маркс был на заседании Национального собрания, когда депутаты потребовали от военного министра приказа, который вменял бы офицерам в долг чести отставку, если их политические взгляды не совпадают с конституционным правлением. Это была жалкая попытка предотвратить надвигающийся разгром.

Карл внимательно слушал прения. «Новая Рейнская газета» давно уже предсказала гибель «мудрствующего, брюзжащего, неспособного к решениям» берлинского Национального собрания, если оно не изменит своей увертливой и трусливой соглашательской политики.

Перед самым отъездом Карл наконец добыл некоторые средства для «Новой Рейнской газеты». Польские демократы согласились дать для дальнейшего издания газеты, наиболее последовательно защищавшей дело освобождения польского народа, две тысячи талеров. Маркс поспешил в Кёльн.

Прирейнские провинции особенно беспокоили короля и его ставленников. Чтобы предотвратить там восстание, почти треть прусской армии была расквартирована в районах, где находилась наиболее мощная индустрия и был сильный рабочий класс. Действительно, в Рейнландии в последние годы ширилось революционное движение. Кроме «Демократического общества», во главе которого был Маркс, в Кёльне действовал также «Рабочий союз», руководимый коммунистами, бывшими эмигрантами — Иосифом Моллем и Карлом Шаппером.

Имя главного редактора «Новой Рейнской газеты» было известно далеко за пределами Германии. Оно становилось все более и более опасным для прусского правительства. Не только среди рабочих, ремесленников, интеллигенции, но и в ар-

мии «Новая Рейнская газета» пользовалась любовью и уважением.

Однажды в редакцию боевого кёльнского органа пришло письмо, обращенное к редакторам газеты и руководителям «Рабочего союза»:

«Мы, солдаты 34-го пехотного полка, не можем не выразить многоуважаемой редакции «Новой Рейнской газеты» нашу искреннюю и глубокую благодарность... Поверьте, что имена Маркса, Шаппера, Энгельса, Вольфа никогда не изгладятся из нашей памяти. Более того, мы надеемся, что придет время, когда мы сможем выразить этим господам нашу благодарность».

Под этим письмом стояло 1700 подписей.

В те же дни на жалобу Маркса по поводу отказа принять его в германское подданство министр внутренних дел ответил, что считает вполне законным и окончательным решение кёльнских властей, отказавшихся вернуть Карлу право быть прусским гражданином. Так Маркс остался вне гражданства.

Фриц Шлейг нанял Лизу без долгих разговоров. Иметь гувернантку аристократического происхождения ему льстило. Вместе с увеличивающимся состоянием возрастало и тщеславие этого ловкого дельца. Желая быть поближе к Бакунину, Лиза отказалась от мысли ехать в Россию на хлеба к тетке и осталась в Берлине. Отец Лизы умер. Ничто не влекло ее на родину. А Бакунин был неподалеку, и в нем была отныне вся ее жизнь.

Хозяин дома встретил ее радушно в темной гостиной, заставленной множеством дорогих вещей. Лиза растерялась от такого количества зеркал, этажерок, столиков и диванов. Не легко было пройти по комнате, напоминавшей плохой антикварный магазин, и не уронить какой-нибудь вазы или пуфа, предназначенных только для того, чтобы поразить воображение посетителей. Шлейг с удовольствием подметил смущение вошедшей. Он объяснил его по-своему.

— Очень рад, фрейлейн, вашему прибытию,— произнес он важно.— Все, что вы видите здесь, право, безделица. По природе я собиратель всего прекрасного, чего бы это мне ни стоило. Отныне я украсил свой дом еще одним бесценным сокровищем.

Лиза не сразу поняла этот замысловатый комплимент и,

вспомнив, как некогда граф домогался ее любви, ответила Шлейгу недовольным взглядом.

— Мы, кажется, не поняли друг друга,— быстро нашелся Шлейг,— я имел в виду это великолепное, украшенное амурами зеркало. В нашу тревожную эпоху многие аристократы спешат продать свои ценности и покинуть объятые пламенем раздоров страны. Попросту они бегут в Англию, например. Я тоже не зеваю. Деньги, так учит нас история, во время бунтов и прочих неприятностей падают в цене. Есть смысл своевременно превращать их в золото и предметы вечной стоимости. Как видите, я не забываю этого драгоценного правила и не теряю времени даром.

Лиза не могла не улыбнуться циничесной простоте этого толстого и багрово-румяного человека.

— Да, ваши апартаменты,— заметила она,— действительно похожи на склад.

— Зачем выражаться столь прозаически. Если бы вы только знали, чего мне стоили и за сколько со временем можно будет продать эти картины, ковры и мебель! Но перейдем к делу. У меня пятеро детей. Заранее сообщаю вам, что моя жена, добродетельная и почтенная матрона, их не воспитывает. Женщины, женщины, ничтожество вам имя, кто это сказал, не помню, но, несомненно, он знал, что говорит. Мадемуазель, я вижу, вы удивлены. Вам непонятно, кто перед вами. Вы знаете Маркса. Это мой приятель детских лет. Если вы его спросите обо мне, он отмахнется, как от комара. Он меня презирает. Да, именно так! Не все же родятся философами, мудрецами, как он. Я тоже не последний человек на свете, а не могу понять Карла. Каждый промышленник в Берлине вам скажет, что Фриц Шлейг знает отлично людей. Мой земляк Маркс — единственная загадка, которой я не разгадал. Но вернемся к нашим с вами делам. Итак, я хочу, чтобы хотя бы один из моих сыновей был так же образован, как Маркс. Второй из них будет продолжать мои дела. Я уже создал компанию «Фриц Шлейг и сын». Как вы думаете, такие умы, как Маркс, порождение природы или воспитания?

— То и другое,— ответила Лиза.

— Отныне я доверяю вам моих детей, потому что вас рекомендовал мне этот гений или чудак — я еще не решил, кто он. Мы не видались много лет, и, представьте, я снова растерялся в его присутствии, как и тогда, когда был так же беден, как он теперь. Почему?

После первого разговора с Шлейгом Лиза не видала его очень долго. Слуги говорили, что хозяин «делает деньги» и ездит по делам. Дети оказались вымуштрованными отцом и одновременно избалованными матерью. Это была женщина, состоящая из огромного количества жира, в котором исчезли крошечные глазки, носик и ротик. Она проводила время, безудержно отдаваясь чревоугодию, за которое расплачивалась множеством болезней. Разговоры о еде, одышке, коликах и других недомоганиях очень скоро измучили Лизу не меньше, нежели в свое время поучающие монологи графини.

В доме Шлейга была огромная библиотека. Лиза предвкушала счастливые часы занятий чтением в большой комнате со стенами, сплошь уставленными книжными шкафами. Сызмала Лиза находила наибольшие наслаждения наедине с книгой.

Каково же было ее изумление, когда она выяснила, что библиотека Шлейга состоит сплошь из неразрезанных книг. Она обратилась к хозяину с просьбой разрешить ей взять одно из сокровищ, переполнявших полки, и разрезать страницы.

— Увы, сожалею, фрейлейн,— ответил Шлейг.— Но я не могу обесценить все, что здесь собиралось мною с большим трудом и тщанием. Дело в том, что моя библиотека тем и драгоценна, что состоит из новеньких томов, к которым никто не прикасался. Я собиратель неразрезанных книг. Это капитал, которому завидуют все коллекционеры из нашего общества. У меня несколько соперников, но я их превзошел, купив недавно по случаю у разорившейся вдовы букиниста несколько шедевров в совершенно неприкосновенном виде.

— Вы хотите сказать — с неразрезанными страницами,— с трудом скрывая иронию, спросила Лиза.

— Конечно. Иначе я не заплатил бы за них ни одного талера...

Однажды, проходя по большому, душному от невероятного количества портьер, гардин и вещей дому, Лиза заметила под лестницей дверь и услышала чье-то бормотание и вздохи. Сквозь щель виден был свет. Лиза, думая, что здесь нуждаются в помощи, вошла и очутилась в маленькой, чрезвычайно убогой комнатенке без окна. Ссохшаяся старушонка в заплатанном шлафроке сидела на стареньком дешевом стульчике и жадно доедала суп из миски с отбитыми краями. Свеча скупо освещала нищенскую кровать, большой таз и кувшин и еще какую-то утварь.

— Простите,— сказала Лиза, стараясь сообразить, к кому же она попала.

Шлейг терпеть не мог стариков, считая их неспособными к труду. И слуги в доме были только молодые и физически сильные люди. Шамкая беззубым ртом, старушка гостеприимно предложила Лизе сесть в кресло с обшарпанной дырявой обивкой, такое же древнее и жалкое, как она сама.

— Я так редко вижу у себя кого-либо. А чтобы выходить на улицу, слишком стара,— заговорила она.

Лиза села. Старость всегда вызывала в ней сострадание и почтение.

— Кто же вы? — спросила она, все больше удивляясь, что раньше не видала и не слыхала об этой беспомощной жилице в каморке под лестницей.

— Я мать госпожи Шлейг.

У Лизы перехватило дыхание. Она представила себе огромный дом с множеством светлых комнат, наполненный дорогими вещами. В нем не нашлось, однако, места для старой матери хозяйки!

— Фриц да и моя дочь терпеть не могут старух. И я их понимаю. Старость, моя дорогая, никого не красит. Зажилась на свете. Это большое несчастье для человека.

— Но ведь они богаты.

— О, конечно. Я сама отдала Фрицу все состояние, завещанное мне добрым господином Шварцем, посудным коммерсантом. Но видите ли, каждый капитал,— так мне объяснили мои дети,— должен приносить проценты. Я же ничего больше не могу дать. Старуха, подобная мне,— статья расхода, и только! — Госпожа Шварц грустно улыбнулась. А Лиза не находила слов от возмущения. Она негодовала. Ей захотелось убежать прочь из дома преуспевающего прусского буржуа. Но мысль о том, что Бакунин еще раз заедет повидаться с ней в Берлин, вынудила Лизу оставаться внешне безучастной ко всему, что было столь отвратительно в доме господина Шлейга.

Бакунин между тем скитался по Германии из государства в государство. Прусское правительство не давало ему визы на выезд в Познань. Он был совершенно без денег, без друзей, без связей. Лиза помогала ему из своего скудного заработка, стремилась своей любовью, заботой ободрить его, успокоить. Когда изредка они встречались, Бакунин принимался жаловаться на свое отчаянное, безвыходное положение.

— Я пригвожден к Берлину безденежьем. Будь у меня

средства, я поехал бы в революционную Венгрию либо в Польшу и принялся бы там за подготовку восстания. Осень на исходе, а я все еще бездействую. Сижу и жду у моря погоды. И к тому же объявлен на весь мир шпионом. Я удаляюсь от людей, боюсь, что мне не верят.

Он возбужденно вскакивал и принимался ходить по комнате.

— Никогда мне не было еще так тяжело, мне всюду чудятся косые взгляды, подозрения.

Лиза принималась успокаивать его, хотя ее уставшая душа изнывала от горя и одиночества.

— Все знают, Мишель, что вы честнейший из честных. Вам верят. Будьте же мужественны,— уговаривала его Лиза.— Очень скоро придет и столь желаемый вами час действия!

— Нет и нет. «Новая Рейнская газета» стала любимейшим чтением немецких демократов.

— Тем лучше, ведь именно эта газета напечатала, что подлые сплетни о вас были клеветой.

— Да, но пятно остается на ткани, даже если жирный суп разлит был нечаянно. Меня теснят с обеих сторон: в глазах русского правительства я злодей, во мнении публики — мерзкий шпион. Я обязан доказать народу, что честен, хотя бы ценой гибели своей. Моя участь безвозвратно определена. Клянусь, что не отступлю от своей цели, не собьюсь с дороги, раз начатой, и пойду вперед, покуда не докажу усомнившимся во мне полякам и немцам, что я не предатель. К тому же, как демократ, я глубоко поражен июньскими событиями в Европе. Нет сомнения, что они омрачат еще больше европейский горизонт. И здесь, в Германии, правительство втихомолку собирает силы и ожидает только удобного часа для того, чтобы нанести демократии губительный удар.

— Ах, Мишель, все будет хорошо. С вашими способностями и волей вы победите в любом деле. Ваши планы столь удивительны. Ваше «Воззвание к славянам» потрясает умы и сердца.

— Я весь охвачен одним желанием. Я жажду революции,— говорил Бакунин, воодушевляясь восторженным отношением к нему Лизы.— И уж верно — среди всех червленных республиканцев и демократов я червленнейший. Может быть, я так раздражен и разъярен из-за предыдущих неудач, нестерпимости и странности моего положения. К тому же реакция в Европе достигает теперь кульминационной точки. Время более

не терпит. Вот каков мой последний план. Выслушай меня. Я все обдумал.

Лиза знала, что Бакунину безразлично ее мнение о чем бы то ни было. Однако он нуждался в слушателе.

— Славянская революция должна начаться в Богемии! Перекинуться в Моравию и австрийскую Шлезию и охватить затем весь славянский мир. А потом — немецкие земли. Тогда и германская революция — до сих пор это восстание городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов — превратится в общенародную! В Праге будет заседать революционное правительство с неограниченной диктаторской властью. Изгнав дворянство, противоборствующее духовенство, чиновников, мы уничтожим также все клубы, журналы, все проявления болтливой вредной анархии, мы превратим все в действенную, полезную анархию, покорив всех одной диктаторской силе.

У Лизы закружилась голова от путаного многословия Бакунина. Она не решалась, однако, оспаривать что-либо, зная нетерпимость Бакунина к возражениям.

Оставшись одна, Лиза долго бродила по Тиргартену, поглощенная мыслями о минувшей встрече.

«Бедный Мишель,— думала она.— Как разрывают его противоречивые стремления. Как много хочет он свершить и как мало знает, что именно следует делать. Мозг его вмещает столько идей, но все действия свершаются только в одной его голове. Он истинно предан добру и народу. Но как этого, однако, мало, чтобы действительно осуществить святые идеалы. А его замыслы не прожектерство ли одно? Не бредни ли горячечные?»

Лиза невольно представила себе Вильгельма Вольфа, Маркса и их друзей в Брюсселе. Ей случалось также читать их статьи в «Новой Рейнской газете». И сейчас она с неуловимым чувством зависти и досады думала о них. Мишель был одинок, как орел, и не способен создать вокруг себя постоянного круга верных единомышленников. Его дальнейшая судьба вызывала у Лизы тревогу и тяжелые предчувствия.

Двадцать шестого сентября «Новая Рейнская газета» крупным шрифтом вместо передовицы поместила следующее сообщение:

«Осадное положение в Кёльне. Сегодня мы снова печатаем

номер без оглавления. Мы спешим выпустить газету. Из достоверных источников нам стало известно, что в ближайшие часы город будет объявлен на осадном положении, гражданское ополчение распущено и разоружено, выпуск «Новой Рейнской газеты»... приостановлен, учреждены военные суды и ликвидированы все завоеванные в марте права. Ходят слухи, что гражданское ополчение не намерено допустить, чтобы его разоружили».

За день до этого кёльнская прокуратура возбудила судебное следствие против Энгельса и Вильгельма Вольфа. Их обвинили в заговоре против существующего строя.

Несколько раньше, в мае, произошло восстание во Франкфурте-на-Майне.

Покуда Франкфуртское собрание занималось досужими разговорами о том или ином пункте параграфа конституции, король Шлезвиг-Гольштинии попытался объединить свои владения с Данией. Это вызвало отпор немецкого населения герцогства. Оно обратилось к Союзному сейму за помощью, но в ответ на это прусские войска заняли восставшие города.

Во Франкфурте вспыхнули уличные бои. Один из реакционных членов Франкфуртского собрания, князь Лихновский, стрелял в толпу и был растерзан ею. Рабочих и ремесленников поддержали крестьяне окрестных деревень. «Новая Рейнская газета» писала по этому поводу: «И все же, признаться, у нас мало надежды на победу храбрых повстанцев. Франкфурт слишком небольшой город, а несоразмерная сила войск и всем известные контрреволюционные симпатии франкфуртских мещан создают слишком большой перевес, чтобы мы могли питать преувеличенные надежды».

Во Франкфурте было объявлено осадное положение, и каждый захваченный с оружием в руках немедленно предавался военному суду. Железная дорога была во многих местах разобрана и почтовая связь нарушена. Кёльн ответил на поражение тружеников Франкфурта массовыми народными собраниями.

Выступая перед рабочими, Энгельс объяснял им причины поражения франкфуртских собратьев.

— Несомненно,— говорил он,— именно артиллерия решила исход уличных боев, открыв войскам пути к баррикадам. Франкфуртские лавочники и буржуа открыли двери своих домов солдатам, предоставляя им все преимущества в борьбе, когда каждое окно становилось бойницей. Покуда крестьяне двигались по проселочным дорогам на помощь рабочим, пра-

вительственные войска быстро подтягивались к городу по железной дороге...

Прирейнская провинция бурлила. Каждый день в Кёльне, то в манеже, то на площадях, то в больших, похожих на лабазы, помещениях, предназначенных для народных празднеств, собирались рабочие и ремесленники.

— Почему,— кричали они, завидя оратора,— наше правое революционное дело терпит поражение? Мы только и читаем, только и слышим что о разгроме рабочих в Неаполе, Праге, Париже, Вене. Вот то же произошло во Франкфурте.

На это с исчерпывающей полнотой ответил им Энгельс.

«Объясняется это тем,— писал он,— что все партии знают, насколько борьба, подготовляющаяся во всех цивилизованных странах, имеет совершенно иной, неизмеримо более значительный характер, чем все происходившие до сих пор революции. Ибо в Вене, как и в Париже, в Берлине, как и во Франкфурте, в Лионе, как и в Милане, дело идет о свержении политического господства буржуазии — о таком перевороте, даже ближайшие последствия которого наполняют ужасом сердца всех солидных и занимающихся спекуляцией буржуа.

Разве есть еще в мире какой-нибудь революционный центр, где бы в течение последних пяти месяцев не развевалось на баррикадах красное знамя, боевой символ связанного братскими узами европейского пролетариата?

И во Франкфурте борьба против парламента объединенных юнкеров и буржуа велась под красным знаменем. Именно потому, что каждое происходящее сейчас восстание прямо угрожает политическому положению буржуазии и косвенно — ее общественному положению, именно поэтому происходят все эти поражения. Безоружный в большинстве своем народ должен бороться не только против перешедшей в руки буржуазии силы организованного чиновничьего и военного государства,— он должен также бороться против самой вооруженной буржуазии. Против неорганизованного и плохо вооруженного народа стоят все остальные классы общества, хорошо организованные и хорошо вооруженные. Вот чем объясняется, что народ до сих пор терпел поражения и будет терпеть поражения до тех пор, пока его противники не будут ослаблены либо вследствие участия армии в войне, либо вследствие раскола в их рядах, или же пока какое-нибудь крупное событие не толкнет народ на отчаянную борьбу и не деморализует его противников».

Желая вызвать провокациями восстание в Кёльне, чтобы затем зверски расправиться с его участниками, полиция начала аресты руководителей кёльнских рабочих союзов и демократических обществ. В тюрьме оказались Шаппер и Беккер. Угроза заключения нависла над особо чтимым рабочим людом Иосифом Моллем. Атмосфера в городе накалилась. Возмущенные бесчинством властей, рабочие вышли на улицы и принялись строить баррикады.

Маркс на митинге «Рабочего союза», стихийно возникшем на Старом рынке утром 25 сентября, выступил с настойчивым призывом не поддаваться провокации. Он уговаривал возбужденных до крайности, рвавшихся в бой тружеников помнить о коварстве противника и беречь силы для великих назревающих событий.

— Преждевременное восстание бесцельно и пагубно,— говорил Маркс.— Королевско-юнкерская власть повсеместно начинает наступление. Нужно помнить об этом и не ослаблять свои силы. Буржуа, как везде в последнее время, поддержат контрреволюцию...

Каждый раз, когда с губ Маркса срывалось слово «буржуа», он точно выплевывал его, как нечисть, и голос его приобретал презрительные интонации.

После окончания собрания на Старом рынке, понимая, что время не терпит и победа за теми, у кого больше мужества и выдержки, Маркс и его многочисленные сторонники отправились на совместное заседание «Демократического общества» и «Рабочего союза» в огромный зал Эйзера. Обычно там давались великолепные симфонические концерты и звучала, потрясая сердца слушателей, музыка Глюка, Бетховена, Баха. Там же нередко устраивались богатые балы.

Было всего три часа пополудни, и нежные осенние лучи солнца врывались в многочисленные окна, скользили по разгоряченным лицам собравшихся в зале людей. Возбуждение и гнев народа грозили восстанием.

Но снова раздался мощный голос Маркса, властно предостерегающего собравшихся от преждевременных, обреченных на неудачу уличных выступлений. Здравый смысл полководца революции одержал верх, рабочие убедились, что строить баррикады пока что не следует, что нужны спокойствие, выдержка и сплоченность...

Однако комендант Кёльна ввел осадное положение, запретил «Новую Рейнскую газету» и издал приказ об аресте Энгельса и

других членов редакции. Не желая оказаться в лапах прусской военщины, Энгельс, Дронке и оба Вольфа покинули город. В распоряжении об аресте Энгельса было сообщено:

«Лица, приметы коих описаны ниже, бежали, чтобы скрыться от следствия, начатого по поводу преступлений, предусмотренных статьями 87, 91 и 102 Уголовного кодекса. На основании распоряжения судебного следователя города Кёльна о приводе этих лиц настоятельно прошу все учреждения и чиновников, которых это касается, принять меры к розыску указанных лиц и в случае поимки арестовать и доставить их ко мне.

За обер-прокурора
государственный прокурор *Геккер.*

Кельн, 3 октября 1848 г.

Имя и фамилия — Фридрих Энгельс; сословие — купец; место рождения и жительства — Бармен; религия — евангелическая; возраст — 27 лет; рост — 5 футов 8 дюймов; волосы и брови — темно-русые; лоб — обычный; глаза — серые; нос и рот — пропорциональные; зубы — хорошие; борода — каштановая; подбородок и лицо — овальное; цвет лица — здоровый; фигура — стройная».

В Бармене, куда направился Энгельс, он прятался в пустом старинном особняке деда. Тщетно полиция искала его.

Потом Фридрих бежал в Бельгию. Там его ждали арест и тюрьма. В арестантском фургоне, как «бродяга без должных документов», Энгельс был препровожден на французскую границу. Оттуда добрался он наконец до Парижа.

Бежал из Кёльна также преследуемый по пятам полицией друг Энгельса «Малыш» — Дронке.

Маркс оставался в Кёльне. Вскоре, несмотря на опасность, он добился возобновления выхода «Новой Рейнской газеты». Однако финансовая ее основа оказалась полностью разрушенной. Денег на издание больше не было. Тогда, желая во что бы то ни стало возобновить выпуск газеты, Маркс решился на крайнее средство. В Трире у матери хранились принадлежащие ему несколько тысяч талеров из наследства отца. Это было все, что оставалось на крайний случай, который всегда подстерегает борца и его семью. И, однако, Карл решился израсходовать последние свои деньги на боевой бастион, каким была газета. Он сказал об этом Женни, вопросительно взглянул в ее не умевшие ни хитрить, ни лгать глаза. Была ночь. В соседней, очень

скромно обставленной комнате спали трое их детей. Они оба подумали о них в эту минуту. Но в глазах Женни, прямо ответившей на взгляд мужа, не промелькнуло ни малейшего удивления, сомнения или сожаления.

— Революция — дело нашей жизни,— сказала Женни просто.— Хорошо, что деньги найдут себе правильное применение. Я нахожу, что лучше нельзя было бы их использовать.— И положила руку на крепкое плечо Карла.

Итак, Маркс снова не сдался. Он продолжал воевать.

В октябре издание «Новой Рейнской газеты» возобновилось. Редакционный комитет пополнился Фердинандом Фрейлигратом. Вскоре вернулся Вольф.

Не было только Энгельса. Париж, где торжествовала черная контрреволюция, тяжело поразил его. Сравнивая столицу Франции в медовый месяц республики с тем городом, какой он увидел в октябре, Энгельс писал в своих путевых записках:

«Между тогдашним и нынешним Парижем было 15 мая, было 25 июня, была жесточайшая борьба, когда-либо виденная миром, было море крови, было пятнадцать тысяч трупов. Гранаты Кавеньяка взорвали непреодолимую веселость парижан. Замолкли звуки «Марсельезы»... Рабочие же, без куска хлеба и без оружия, скрежетали зубами от затаенного возмущения. Но Париж был мертв,— это не был уже Париж...

Я не мог выдержать долго в этом мертвом Париже — я должен был уехать,— все равно куда...»

Энгельс направился в Швейцарию. Денег у него было немного, и пришлось идти пешком... В эту пору Маркс посылал ему средства на жизнь и категорически настаивал, чтобы он не торопился возвращаться в Кёльн, где его ждала тюрьма.

Кёльнский «Рабочий союз» направил к Марксу делегацию с просьбой руководить всей организацией. Карл к огромному количеству дел, которыми занят был круглые сутки, присоединил временно и руководство «Рабочим союзом».

Когда гонения на «Новую Рейнскую газету» немного ослабли, вернулся Веерт и тотчас же вооружился пером. В одном из первых номеров, вышедших после временного запрещения газеты, была напечатана его лирико-сатирическая поэма:

Я радости большей не знал никогда,
Чем больно врага ужалить,

Да парня нескладного шуткой за
И весело позубоскалить.
Так думал я, лиру настроив мою,
Но струн прекратил движение:
Забавам конец! Кёльн святой угодил
В осадное положение...
Весь город покрылся щетиной штыков
И сходен стал с дикообразом.
Архангелов прусских рать заняла
Все рынки и площади разом...
К нам в дверь с патрулем заглянул лейтенант
И грозно изрек при этом
Под бой барабана смертный вердикт:
Запрет «Новой Рейнской газеты»...[1]

Вскоре Веерт был привлечен к суду за обличительный роман о рыцаре Шнапганском. За свою поэму, будто бы явившуюся подстрекательством к убийству реакционера князя Лихновского во время Франкфуртского восстания, Веерт был приговорен к тюремному заключению.

Осень несла с собой дожди и холод. Золотая листва деревьев, которых так много в Кёльне, потемнела и осыпалась. Помрачнел веселый Рейн. В редакции «Новой Рейнской газеты» круглые сутки не прекращались гул голосов, топот ног, сутолока. Типографские рабочие, наборщики, курьеры работали самоотверженно, наряду с членами редакции и корреспондентами. По ярко-красным якобинским колпакам горожане узнавали типографских рабочих «Новой Рейнской газеты». Ничто не могло повергнуть их в уныние. Это были неустрашимые, умеющие без устали трудиться и от души посмеяться люди, готовые, если нужно, с оружием в руках отстаивать газету. Их не смущали тревожные вести со всех концов Европы...

Второй демократический конгресс в Берлине — а на него возлагали столько надежд германские революционеры — вместо действенных мер против контрреволюции занялся пререканиями и сочинительством никчемных резолюций.

Рабочие Вены, которых во время восстания поддержали только студенты и предали крестьяне и буржуазия, после долгого сопротивления вынуждены были сдаться штурмующим войскам. Черно-желтые знамена Габсбургской династии снова раскачивал суровый ноябрьский ветер в примолкшей, оробевшей австрийской столице.

---

[1] Перевод Б. Тимофеева.

В Берлине прусский король объявил о роспуске Национального собрания.

Европейская революция завершала свой круговорот. Начавшись в Париже, она приняла европейский характер.

Контрреволюция нанесла свой первый удар в Париже в июньские дни и также стала всеевропейской.

Фердинанд Лассаль вступил в гражданскую милицию Дюссельдорфа и принялся готовить вооруженное сопротивление контрреволюции. Он послал в Берлин членам агонизирующего Национального собрания адрес от имени ополченцев Дюссельдорфского округа:

«Пассивное сопротивление уже исчерпано. Мы заклинаем Национальное собрание: призывайте к оружию, призывайте к делу!»

Одновременно Лассаль уговаривал народ не платить налогов в знак протеста и призывал вооружаться.

На собрании в Нейсе, близ Дюссельдорфа, один из его друзей-рабочих крикнул: «Смерть королю!»

Лассаль был арестован. «Новая Рейнская газета» немедленно выступила со статьями в его защиту.

Маркс оставлял редакционный стол, чтобы вести рабочее собрание, произнести речь, но поздно ночью снова возвращался просмотреть очередной номер и прочесть поступившую информацию. Огромным напором воли он преодолевал нечеловеческую усталость. В его иссиня-черных волосах появились белые нити. Суровым стало его смуглое лицо. А работы становилось все больше и больше.

На одном из многолюдных собраний Маркса избрали в члены Народного комитета Кёльна. Народный комитет должен был попытаться спасти завоевания революции.

Все это время не оставлял в покое Маркса и судебный следователь. Полицейские придирки становились назойливее. Газету и ее редактора обвиняли в подстрекательстве к восстанию, в оскорблении полиции и чиновников, в призыве к низвержению королевской власти. Однажды, когда Маркс вышел из здания суда, его встретила встревоженная толпа. Народ собрался, чтобы в случае надобности защитить своего вождя.

Фридрих Энгельс в дорожном костюме и крепких сапогах, с палкой в руке, не чувствуя усталости, шел горными тропами к франко-швейцарской границе. На вершинах Альп, переливаясь

всеми цветами радуги, сиял снег. От ледников веяло прохладой. Воздух был пропитан пряным ароматом вянущих трав и поздних цветов. Горы вокруг казались опрокинутыми наискось и напоминали геометрические фигуры.

На альпийских лугах пастухи на глиняных окаринах наигрывали заунывные мелодии. Им вторили колокольчики, подвязанные к ошейникам потучневших за лето коров. Вдоль извилистых, то взбирающихся вверх, то круто срывающихся в ущелье, дорог редко встречались трактиры. Сыр, кусок хлеба и фляга с водой вполне устраивали путника.

Фридрих любил природу и умел видеть и слышать ее, как никто другой. Изредка присаживаясь у дороги, он мог подолгу наблюдать жизнь крошечных обитателей трав. Мошка или жучок привлекали его внимание. Иногда он срывал незнакомый цветок или растение и, продолжая путь, с терпением и пытливостью ученого старался определить его вид. Окружающая природа не оставляла его равнодушным. После многих месяцев напряжения, бессонниц, непрерывного общения с людьми тишина гор, неповторимый запах ранней осени сначала чем-то раздражали его. Но постепенно нервы Энгельса успокоились. Ночлег на траве, когда стрекочут кузнечики, а над головой мигают звезды, ранние сумерки и поздние восходы солнца, медленно выползающего из-за остроконечных вершин, укрепляли его физические силы.

«Бродить по альпийским дорогам в такое время. Какая бессмылица, какая глупость! — иной раз думал он.— Я точно выброшен за борт. Эдак, пожалуй, можно скоро дойти до мысли, что тюремное заключение лучше, нежели подобная «хромая свобода».

Энгельс успокаивал себя мыслью, что очень скоро снова вернется к работе, к борьбе.

Швейцария показалась Фридриху невыносимой. После бурных событий в недавнем прошлом, разыгравшихся в этой стране, она превратилась в сытое, покойное болото, где самодовольные буржуа чувствовали себя превосходно, будто жабы под дождем. Кальвинизм — лицемернейшая из религий — железной паутиной оплел сознание мещан. Наслаждаясь покоем, они скорее смогли бы стать палачами революции любой страны, нежели вступиться за права какого-нибудь народа.

Прогуливаясь по набережной чистенькой, приглаженной Женевы, глядя на вяло катящее свои ясные волны озеро Леман,

Энгельс томился изгнанием. Его все больше раздражала невозмутимость этой окруженной горами страны, где в кантонах всем заправляли владельцы сыроварен, часовых заводов и шоколадных фабрик.

Вскоре Энгельс горячо возненавидел тишину благообразной и богобоязненной Лозанны и Берна с его красивыми пейзажами, окрещенного «швейцарскими Афинами». Все же Энгельс не терял времени даром. Он разыскал революционных рабочих и близко сошелся с ними.

В Лозанне его содержательные, полные ума и насмешек над буржуа речи снискали ему доверие и уважение тружеников города. Он был избран делегатом от лозаннского «Рабочего союза» на конгресс рабочих в Берне. В мандате союза двадцативосьмилетний революционер был назван «старым борцом за дело пролетариата».

Во время вынужденного пребывания в Швейцарии Энгельс не терял связи с «Новой Рейнской газетой» и посылал Марксу статьи и корреспонденции.

Только в середине января 1849 года, когда обстановка в Рейнской Пруссии несколько изменилась и опасность ареста отпала, он снова очутился среди друзей и единомышленников в Кёльне.

В обычный час за столом Маркса собрались все редакторы «Новой Рейнской газеты». Энгельс, взволнованный и счастливый, вглядывался в дорогие ему лица. Точно прошли десятилетия, так много изменений произошло в мире за короткие несколько месяцев.

В Париже президентом республики был избран Луи-Наполеон Бонапарт. Он и его клика энергично расчищали путь к империи. В тисках контрреволюции оказались Вена и Берлин. Последней крепостью, над которой все еще гордо реяло красное знамя, был Кёльн, но и этому свободолюбивому городу угрожала осада.

Несколько новых, ранее неведомых Энгельсу морщин, как рубцы от ран, пролегли на выпуклом, могучем лбу Маркса. Еще ярче и проницательнее стал взгляд его черных глаз с голубыми белками. Похудел и возмужал Веерт, и иное выражение появилось в его небольших, крепко сомкнутых губах, более суровым казалось всегда немного печальное лицо Вильгельма Вольфа. Невозмутимым, хотя и заметно утомленным, выглядел Фрейлиграт. Еще подвижнее и хлопотливее были «Малыш» Дронке и Фердинанд Вольф.

Но ни малейшей растерянности и тем более уныния не было среди редакторов «Новой Рейнской газеты». Наоборот. Приближающиеся бои как-то воодушевляли их, придавали торжественность их словам и действиям.

Дронке сообщил Энгельсу, что в редакции имеется восемь ружей и несколько сот патронов.

— Наш гарнизон в боевой готовности,— пошутил он при этом.

— Ты имеешь в виду типографских и редакционных работников? — спросил Энгельс.

— Конечно, но нам не хватало командира! Теперь ты вернулся, отлично. Будешь командовать!

В феврале Маркс и Энгельс предстали перед судом присяжных. Их обвинили в оскорблении властей. Но какое жалкое зрелище являл собой прокурор, когда один за другим к решетке подошли и заговорили обвиняемые. Каждое слово Маркса и Энгельса чудодейственно превращало мнивших себя великанами судейских чиновников в крошечных лилипутов. Обвинители превратились в обвиняемых.

Присяжные оправдали Маркса и Энгельса. Спустя два месяца «Рабочий союз» и его руководители порвали с мелкобуржуазными демократами. Колебания и предательство этих недавних союзников были слишком опасны в дни революционных боев.

Когда из Берлина пришел указ ввести в Кёльне осадное положение, комендант крепости, зная, что это грозит бунтом, не решился его выполнить. Тогда начались сложные закулисные интриги полицейского управления, ищущего средства избавиться от Маркса и выслать его из Кёльна. Директор полиции обратился за помощью в Берлин к министру внутренних дел. Он сообщал, что меры принуждения против главного редактора «Новой Рейнской газеты» повлекут за собой опасное возмущение всех революционеров свободолюбивого города.

Министр в свою очередь не решился действовать сам и запросил совета у обер-президента Рейнской провинции.

Около двух месяцев в министерстве внутренних дел раздумывали, как разделаться с Марксом и газетой, которая, согласно полицейским донесениям, разрушает все устои, подстрекает к ниспровержению существующих государственных учреждений, издевается и высмеивает все, что король считает священным. А тираж газеты между тем все возрастал!

Десятого мая Карл Маркс был за городом и вел переговоры

с отставным лейтенантом Генце, преследуемым за революционные взгляды, об основании большого коммунистического издательства. Вернувшись на другой день в Кёльн, Маркс получил предписание покинуть пределы Германии. Одновременно была решена и участь «Новой Рейнской газеты».

Девятнадцатого мая вышел последний, отпечатанный алой краской, пылающий, как факел, номер. Под багряным названием газеты были напечатаны стихи Фрейлиграта:

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
«НОВОЙ РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Не удар открытый в открытом бою,
А лукавые козни, коварство,
Сломило, подкравшись, силу мою
Варваров западных царство!
И выстрел из мрака меня сразил.
Умертвить мятежницу рады,
И вот лежу я в расцвете сил,
Убитая из засады!
В усмешке презренье к врагам затая
И крепко сжимая шпагу,
«Восстанье!» — кричала пред смертью я,
Не сломили мою отвагу.
Охотно бы царь и прусский король
Могилу мне солью покрыли,
Но венгры и пфальцы, затая в себе боль,
Салютуют моей могиле!

И в одежде рваной рабочий-бедняк
В могилу меня провожает
И мне на гроб, как участия знак,
Прощальные комья бросает.
Из березовых листьев и майских цветов
Принес он, полон печали,
Венок, который после трудов
Жена и дочь сплетали.
Так прощай же, прощай, грохочущий бой!
Так прощайте, ряды боевые,
И поле в копоти пороховой,
И мечи, и копья стальные!
Так прощайте! Но только не навсегда!
Не убьют они дух наш, о братья!
И час пробьет, и, воскреснув тогда,
Вернусь к вам живая опять я!
И когда последний трон упадет
И когда беспощадное слово
На суде «виновны» — скажет народ,—
Тогда я вернусь к вам снова.

На Дунае, на Рейне словом, мечом
Народу восставшему всюду
Соратницей верной в строю боевом,
Бунтовщица гонимая, буду! [1]

После этих волнующих, пророческих стихов Фрейлиграта следовало обращение редакторов газеты к кёльнским рабочим:

«На прощание мы предостерегаем вас против какого бы то ни было путча в Кёльне. При военном положении в Кёльне вы потерпели бы жестокое поражение. На примере Эльберфельда вы видели, как буржуазия посылает рабочих в огонь, а потом самым подлым образом предает их. Осадное положение в Кёльне деморализовало бы всю рейнскую провинцию, а осадное положение явилось бы необходимым следствием всякого восстания с нашей стороны в данный момент. Ваше спокойствие приведет пруссаков в отчаяние.

Редакторы «Новой Рейнской газеты», прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет: освобождение рабочего класса!

Редакция «Новой Рейнской газеты».

Карл Маркс последним сошел с боевого корабля.

У него не было ни гроша денег. Женни отправила в ломбард единственное ценное, что у нее оставалось,— серебряную посуду с гербом Вестфаленов. На вырученные деньги можно было тронуться в путь. Ввиду полнейшей неопределенности будущего Женни, дети и Ленхен поехали в Трир. Старая баронесса Вестфален всегда была рада дочери и внукам.

Карл и Фридрих направились в Баден.

...Бакунин метался в поисках действия. Один план сменялся в его разгоряченном мозгу другим. Он бросался от одной крайности в другую.

В Праге, куда Бакунин прибыл, чтобы возглавить богемскую революцию, у него не было знакомых. В тайное общество, которое он мысленно подготовил и начал организовывать, не вступил никто, кроме двух чехов, братьев Густава и Адольфа Страка. Бакунин произвел на этих доверчивых студентов богословского факультета, случайно встреченных им в Лейпциге, неотразимое впечатление своим зажигательным, патетическим

[1] Перевод М. Зенкевич.

красноречием. Они доверились ему как своему руководителю и согласились выполнять все его поручения.

Хаос в голове Бакунина, противоречивость его взглядов дошли до абсурда. Сперва видя, как прусские и австрийские государства поработили многие славянские племена, он разразился гневным «Воззванием к славянам», направленным против русского царизма и Николая I, затем вдруг решил написать письмо русскому самодержцу, призывая его самого возглавить славянские народы и стать их царем во всем мире! В своем письме он пытался убедить русского царя поднять общеславянское знамя. Он писал: «Если бы вы, государь, сделали это, объединили всех, кто только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, они с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья Российского орла и устремились бы с яростью на всю Западную Европу».

Так он колебался между идеей панславизма и братства всех рас и народов, отрицал всякую теорию, мечтал о всеобщем разрушении, об отмене всех законов и вдруг жаждал власти, диктатуры сильной личности. Бакунин был одинок и жалок.

Оставаясь один, он ощущал свое полное бессилие и, впадая в крайности, снова писал письма царю Николаю, чтобы затем порвать их. Письма получались многословные, похожие на исповедь, необдуманные. Но писались они с жаром, искренне и всегда отражали душевный беспорядок и бесчисленные противоречия его ума.

Наконец мятущаяся, страстная натура привела Бакунина на баррикады Дрездена во время майского восстания.

Храбрость и хладнокровие Бакунина сделали его во время самых тяжелых и безнадежных боев подлинным предводителем восставших. Его полнейшее презрение к опасности и смерти, забота о соратниках снискали ему наконец любовь, уважение и признательность революционеров. Львиная растрепанная голова, могучая атлетическая фигура Бакунина, возвышавшаяся на баррикадах, зычный голос, неустрашимость ободряли сражавшихся повстанцев. Он один возглавлял до последней минуты отряды защитников баррикад, когда уже все официальные руководители временного правительства и восстания позорно бежали. Бакунин оставался не потому, что надеялся на успех. Горсточка храбрецов из рабочих не могла изменить общего хода истории. Бакунин, конечно, был бессилен спасти обреченную революцию. Но он боролся до конца, не спал, не ел, не пил, даже не курил, чего с ним не бывало уже много лет.

Когда поражение стало неизбежным, Бакунин предложил оставшимся в живых повстанцам взорвать себя вместе с ратушей, чтобы не сдаваться врагу. Он сохранил для этого достаточное количество пороха. Но члены временного правительства отказались. Тогда, собрав самых смелых из защитников баррикад, Бакунин вывел их из горящего Дрездена. Отряд повстанцев направился к Фрейбургу. Бакунин не оставлял мечты ввести этот отряд в Богемию и начать там давно желанное восстание. Но его соратники были сильно утомлены, измучены, подавлены поражением, плохо вооружены. В Хемнице вместо помощи они нашли предательство. Реакционные бюргеры встретили отряд крайне враждебно, ночью схватили повстанцев в кроватях и передали прусским властям. Бакунин был в это время снова так подавлен и измучен нравственно, что хотя неоднократно мог бежать, остался безучастным к своей судьбе. Он надеялся, что его расстреляют на месте, и боялся только одного — выдачи русскому правительству. Прусское военное командование заточило его в старинную крепость Кенигштейн. Вскоре его дважды судили, сначала прусским, затем австрийским военным судом, и приговорили к смертной казни.

Приговор гласил: «Михаил Бакунин из Торжка Тверской губернии в России, родившийся в 1814 году, греческой церкви, холостой, расследованием, произведенным военно-судебным порядком вследствие объявленного от 10 мая 1848 года в Праге и окрестностях осадного положения, на основании законно установленных фактов и его признания, удовлетворяющего всем требованиям закона, уличен в государственной измене против австрийской империи и за это преступление подлежит смертной казни через повешение».

Затем случилось то, чего Бакунин боялся превыше всего: его выдали русскому царю.

В то время Лиза переживала мучительные, лихорадочные дни. Отчаяние сменялось надеждой или растерянностью. Сначала до нее дошли вести о поражении дрезденских повстанцев, затем о том, что Мишель убит. Оглушенная неожиданно свалившимся горем, она не видела вокруг себя ничего, кроме тумана, каким всегда представляла себе смерть. Фриц Шлейг, которому она поведала все, сообщил ей, что слухи о гибели Бакунина не верны, но что он был арестован в Хемнице, судим и приговорен к смертной казни. Саксонский король заменил ее пожизненным заключением и тотчас же передал Бакунина австрийскому имперскому суду в Праге. Здесь его обвинили

в том, что он руководил антигосударственными выступлениями в Богемии, и тоже приговорили к смерти...

— Помогите ему,— умоляла Шлейга Лиза,— я отплачу вам верной службой до конца своих дней.

Польщенный тем, что его считают столь могущественным, Шлейг обещал дать Лизе денег на поездку к Бакунину. Однако он предупредил ее, что помочь узнику никто не в силах.

— Видите ли, фрейлейн,— сказал он, отсчитывая заработанные ею деньги,— ваш соотечественник — большой преступник. Поговаривают, что сам русский царь вмешался в его дело. Это может изменить его судьбу только в том смысле, что вместо того, чтобы быть повешенным в Праге, он будет вздернут на виселицу на своей родине.

Увидев, как побледнела Лиза, Шлейг назидательно добавил:

— Я знаю, что в австрийском уголовном уложении сказано, что если иностранец совершил за границей преступление, направленное против основных законов, государственных кредитных билетов или монетной системы этого государства, то его следует судить по сему закону наравне с жителями этой страны. Господин Бакунин будет, следовательно, снова судим, в этот раз австрийцами. Вы можете гордиться, не всякому в жизни суждено быть приговоренным к смерти в нескольких государствах. Скажу вам откровенно, я предпочел бы лучше умереть от холеры, но это дело вкуса. История показывает, что всякий, кто пытается сотрясать троны, может рассчитывать на веревку или кандалы.

Кенигштейн — красивейший городок в Таунусе. С холмов открываются веселые зеленые просторы. Мягкие полукруглые очертания лиственных рощ, убегающих за горизонт, умиротворяют душу. Но Лиза с ненавистью смотрела на окружающее.

Над горизонтом возвышалась серая, похожая на острую скалу крепость. Плющ и вьюны ползли по каменным выступам, и тюрьма казалась от этого обезлюдевшим средневековым замком. И только крики невидимых часовых за готическими стенами да тусклый свет сторожевых фонарей разрушали эту иллюзию.

Лиза металась у подножия холма, где находилась крепость. Она была женой, сестрой, другом Бакунина, но формально сохранила посторонним ему человеком.

Сухопарый офицер с рыбьими глазами и треугольным подбородком долго выслушивал ее путаный монолог. Ни о каком

свидании либо передаче письма и денег не могло быть и речи. Лиза поняла, что судьба Бакунина предрешена.

Как лунатик, бродила она вокруг тюрьмы, мечтая устроить побег Мишелю, подкупить стражу, судей. Все это было больным бредом. Без денег, связей она чувствовала полное бессилие. Как пробить эти страшные стены мыслью, словом, чувством и донести до узника надежду, вдохнуть в него свою любовь и сострадание? Одиночество Бакунина и Лизы, разделенных грудой камней, было таким же непреодолимым, как пропасть вселенной между двух звезд.

Потеряв всякую надежду, изможденная, так же как прикованный к стене железной цепью, закованный в кандалы Бакунин в тюремной камере, Лиза ждала исхода суда.

В это время ей попался номер петербургской газеты «Русский инвалид». То, что она прочла там, привело ее в содрогание:

«Пагубные учения, народившие смуты и мятежи во всей Западной Европе,— писала газета,— и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве.

Но в России,— где святая вера, любовь к монарху и преданность престолу основаны на природных свойствах народа и доселе хранятся непоколебимо в сердце каждого,— только горсть людей, совершенно ничтожных, большей частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности. Действия злоумышленников могли бы только тогда получить опасное развитие, если бы бдительность правительства не открыла зла в самом начале.

По произведенному исследованию обнаружено, что служивший в министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства с тем, чтобы основать оное на безначалии. Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя в назначенные дни молодых людей разных сословий. Богохуление, дерзкие слова против священной особы государя императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц — вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей. В конце 1848 года он приступил к образованию независимо от своих собраний тайного общества, действуя заодно с поручиком лейб-гвардии Мо-

сковского полка Момбелли, штабс-капитаном лейб-гвардии Егерского полка Львовым 2-м и неслужащим дворянином Спешневым. Из них: Момбелли предложил учреждение тайного общества под названием «Тайного товарищества» или «Братства взаимной помощи и людей превратных мнений»; Львов определил состав общества, а Спешнев написал план для произведения общего восстания в государстве.

У двух из сообщников Петрашевского: титулярного советника Кашкина и коллежского асессора Дурова — были также назначены в известные дни собрания в том же преступном духе.

Для раскрытия всех соучастников в этом деле государю императору благоугодно было учредить особенную секретную следственную комиссию.

По предъявленному его величеству, после пятимесячных самых тщательных разысканий, докладу комиссии, все лица, кои оказались вовлеченными в преступные замыслы или случайно, или по легкомыслию, посредством других, были по высочайшему повелению освобождены от всякого дальнейшего преследования законом.

Затем признаны подлежащими окончательному судебному разбору 23 человека, коих высочайше повелено предать суду по полевому уголовному уложению в особой военно-судной комиссии, учрежденной под председательством генерал-адъютанта Перовского.

Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судной комиссией, признал, что 21 подсудимый, в большей или меньшей степени, все виновны: в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка,— а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием; остальных же двух: отставного поручика Черносвитова, к обвинению которого юридических доказательств не оказалось, но обнаружившего самый вредный образ мыслей, оставить в сильном подозрении и сослать на жительство в одно из отдаленных мест империи, а сына почетного гражданина Катенина, по случаю помешательства в уме, оставить в настоящее время без произнесения над ним приговора, но по выздоровлении вновь предать военному суду.

Его величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата, изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания, и вследствие того высочайше повелел: прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск

и, по совершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их различным наказаниям».

Дождавшись вторичного разбора дела Бакунина, который был снова осужден на смерть и затем выдан русскому царю, Лиза поехала в Петербург. В пышных черных волосах ее появились седые пряди, трагически раскрылись черные суровые глаза молодой женщины и нервно подергивались губы.

Думая о своем детстве, Женни как бы наклонялась над ним, подобно тому как широкие ветви наклоняются к корням. Все в маленьком городе Трире, где она родилась и родился Карл, полно было для нее особого смысла, все воскрешало прошлое, даже самый воздух.

Мало что изменилось в Трире за годы ее странствий с Марксом. Те же башенные часы важно и гулко отсчитывали время на площади Главного рынка. Журчал фонтан, украшенный фигурой святого, и те же львиные головы по углам пьедестала статуи вяло выплевывали воду.

Вот и платан недалеко от Римской улицы, где когда-то жили Вестфалены и где так часто в светлые, душные вечера стояли и не могли наговориться Карл и Женни.

Дом на Брюккенгассе под номером шестьсот шестьдесят четыре тоже не изменился. Фасад его ничем не выделялся среди сотни подобных городских домов. Единственным украшением на прямых серых стенах были цифры над входной дверью, указывавшие, что дом построен в XVIII столетии.

Дом этот давно исчез бы, разрушившись, прослужив нескольким поколениям и уступив место более совершенному сооружению иного века. Но зимой 1818 года дом взял в долгосрочную аренду адвокат Маркс. 5 мая 1818 года у госпожи Генриетты Маркс родился третий ребенок, названный Карлом Генрихом.

Как хорошо знала Женни большой диван карельской березы с нарядной обивкой, на котором появился на свет ее муж. Часто сидела она в юности на нем вместе со своей подругой Софи, сестрой Карла. Девушки занимались рукоделием, рисованием или слушали чтение.

Каждый уголок в доме Марксов был дорог Женни. В прите-

гающем к дому саду всегда было много цветов. Их разводила Софи. Сирень, розы, тюльпаны, настурции и резеда все лето наполняли воздух пряным ароматом.

Мощеный дворик, по обе стороны которого тянулись раскрашенные розовой и зеленой краской резные балкончики, соединявшие главную часть дома с флигельком, был совершенно необычен и напоминал архитектуру Алжира и Туниса.

Из передней первая дверь вела в невысокий просторный кабинет Генриха Маркса. Много счастливых вечеров в задушевных беседах с отцом провел там в отрочестве Карл. Когда сын уехал учиться в Бонн и позднее в Берлин, здесь за большим столом отец писал ему свои обширные эпистолярные поучения, делился сомнениями, заботами и честолюбивыми надеждами.

«Я надеюсь, мой сын, дожить до того дня, когда твое имя прогремит и слава увенчает тебя».

Как никто другой, сумел Генрих Маркс привлечь к себе сердце Женни. Она ничего от него не таила.

В этом же кабинете Карл и Женни оплакивали своего старшего друга — Генриха Маркса.

Женни медленно уходит из дома, где родилась ее большая любовь к Карлу.

Приветливо улыбаясь, здороваются с Женни Маркс горожане. Те, кого она знала детьми, за годы ее отсутствия стали матерями и отцами семейств, подруги ее матери, перед которыми Женни некогда учтиво приседала, состарились.

Женни любила бродить по родному городу. Она всегда задерживалась на мощеном дворике гимназии Фридриха Вильгельма, где учились Карл и ее брат Эдгар, и смотрела на дом, обвитый плющом, похожий на прусскую казарму, цвета незрелых помидоров. У стены его — несколько деревьев с запыленной листвой, почти не дающие тени.

Посещала она и кладбище под горой. Там были две дорогие ее сердцу могилы. Отец, Людвиг фон Вестфален, воскресал в ее памяти: жизнерадостный, благожелательный к людям, жадный к знаниям, слегка насмешливый.

Под скромным надгробным памятником покоился отец Карла. Его с дочерней нежностью любила Женни. С сыновней преданностью и уважением относился и Карл к отцу своей жены.

Эти два человека резко выделялись среди своих сограждан. Оба взрослыми людьми пережили нашествие французов, возвышение и падение Наполеона, бурные годы европейской исто-

рии после Великой французской революции. Хорошо образованные, подлинно гуманные, они передали Карлу и Женни опыт пережитого и подняли их дух и мысль над душным маленьким Триром.

Гений Маркса нашел в этих двух людях первое признание. Так не раз думала Женни, склоняясь над каменными плитами с золотыми буквами имен и цифрами дат...

В главном городе Бадена Мангейме, куда приехали Маркс и Энгельс, готовилось восстание. Во время встречи с руководителями восстания они настаивали на том, чтобы был осуществлен военный план, разработанный Энгельсом.

— Прежде всего,— требовал Фридрих,— следует не допустить частных мятежей в крепостях и гарнизонных городах. Это лишь бессмысленная трата сил. Но совершенно необходимы диверсии в маленьких городах, в фабричных районах и сельских местностях, которые задерживали бы продвижение правительственных войск. А все свободные силы нужно собрать в хорошо защищенном, наиболее удобном округе и создать там ядро революционной армии.

Баденские вожди восстания не имели ни достаточного мужества, ни способности предвидения. Они пришли в ужас от плана столь смелых действий и отвергли советы Маркса и Энгельса. И это вскоре привело к гибели восстания.

Из Бадена Маркс и Энгельс поехали в Кайзерслаутерн. Здесь они встретились с членами пфальцского временного правительства. С помощью испытанного кёльнского соратника коммуниста д'Эстера Маркс получил мандат демократического Центрального комитета для поездки в Париж к «монтаньярам», как называла там себя социал-демократическая партия, объединявшая рабочих и мелких буржуа. Громкое и бессмертное название партии 1793 года — Гора — само по себе вызывало ярость правящих кругов Третьей республики во главе с президентом Франции Луи-Наполеоном Бонапартом и свирепым усмирителем июньского восстания генералом Кавеньяком.

Маркс и Энгельс направились во Францию. По дороге в Париж в гессенском княжестве Карла и Фридриха арестовали как участников восстания. Судьба их в эти дни зависела от многих обстоятельств. В то смутное время, после разгрома революции в Германии, они могли равно стать перед военным судом и быть

расстрелянными, как и случайно сразу выйти на свободу. Из Дармштадта под усиленным конвоем Маркса и Энгельса привезли во Франкфурт-на-Майне и освободили так же неожиданно, как ранее схватили и везли, считая опаснейшими преступниками. Карл, понимавший, что в Германии при создавшейся обстановке нечего ждать новых значительных революционных событий, прямо поехал в Париж.

Энгельс вернулся в Кайзерслаутерн, чтобы помочь повстанческим отрядам в их отступлении. По его вполне оправдавшемуся предсказанию самые решительные коммунисты были также и самыми решительными солдатами. Энгельс — один из них — вступил в добровольческий отряд, которым командовал отставной прусский лейтенант Виллих.

Отряд этот успешно блокировал прусскую крепость Ландау. Она легко могла бы быть взята повстанцами, если бы у них была артиллерия. Энгельс с присущим ему темпераментом и волей участвовал в боях и одновременно осаждал штаб восстания в Кайзерслаутерне, требуя голубиц для Виллиха. Руководителям временного правительства Бадена не понравилась критика Энгельса, и он был арестован в одном из пограничных пфальцских городков.

Со связанными руками пешком его погнали в Кайзерслаутерн и затем посадили в тюрьму. Узнав об этом, рейнские рабочие и солдаты добровольческого отряда заявили, что покинут позиции, если Энгельс не будет немедленно освобожден. Протест и возмущение среди повстанческих частей были так грозны, что распоряжением временного правительства Энгельс через двадцать четыре часа был освобожден со всевозможными извинениями.

Вскоре разведчики доставили известие, что на провинцию наступают контрреволюционные прусские войска. Фридрих снова взялся за оружие.

До момента интернирования пфальцско-баденской армии в Швейцарии он принимал участие во всех походах и боях добровольческого, прославившегося своей дисциплиной и отвагой отряда Виллиха. Солдатам этой части пришлось принять на себя удары наступавших пруссаков и прикрывать отступление всей баденской армии.

В середине июля 1849 года восстание в южной и западной Германии было окончательно подавлено, чем и определился исход германской революции. Все было кончено. Энгельс с остав-

шимися в живых бойцами перешел на швейцарскую территорию.

Около двух месяцев Фридрих и Карл ничего не знали друг о друге. Крайне взволнованный слухами о том, что Маркс арестован, Энгельс писал из кантона Веве в конце июля Женни Маркс:

«Дорогая госпожа Маркс!

И вы, и Маркс будете удивляться, что я так долго не подавал о себе вестей... В тот самый день, когда я писал Марксу (из Кайзерслаутерна), получилось известие, что Гамбург занят пруссаками, и тем самым отрезано сообщение с Парижем. Я не мог поэтому отослать это письмо и отправился к Виллиху. Я принял участие в четырех сражениях; из них в двух довольно серьезных, особенно в битве при Раштатте; при этом я убедился, что столь восхваляемое мужество — ординарнейшее из качеств, которые человек может иметь. Свист пуль — сущие пустяки, и в продолжение всего похода я, несмотря на многочисленные проявления трусости, не видел и дюжины людей, которые бы проявляли трусость во время сражения. Зато много «храброй глупости».

...После того, как наш корпус прикрыл отступление баденской армии, мы направились, на целые сутки позже всех остальных, в Швейцарию, и со вчерашнего дня я нахожусь здесь, в Веве. Во время похода и прохождения через Швейцарию мне было абсолютно невозможно написать хотя бы строчку. Но теперь я спешу дать о себе весточку и тем скорее написать вам, что где-то в Бадене я слыхал, будто Маркс арестован в Париже. Мы не видели газет и потому ничего не могли узнать. Я не мог проверить, правда это или нет. Вы понимаете мои опасения, и потому самым настойчивым образом прошу вас избавить меня от этого беспокойства и поставить меня в известность о судьбе Маркса. Так как я не слышал никакого подтверждения этого слуха об аресте Маркса, я все еще надеюсь, что это неправда.

Если бы только у меня была уверенность, что Маркс свободен! Я часто думал о том, что под прусскими пулями я находился на гораздо менее опасном посту, чем другие в Германии и особенно Маркс в Париже. Избавьте же меня сейчас же от этой неуверенности...»

Маркс со всей своей семьей находился в это время уже в Париже. В свою очередь обеспокоенный судьбой Энгельса, он очень обрадовался письму друга.

В конце августа Энгельс получил от Маркса ответ.

«Дорогой Энгельс!

Меня высылают в департамент Морбиган, в Понтийские болота Бретани. Ты понимаешь, что я не соглашусь на эту замаскированную попытку убийства. Я поэтому покидаю Францию.

В Швейцарии мне не дают паспорта, я должен, таким образом, ехать в Лондон, и не позже, чем завтра. Швейцария и без того скоро будет герметически закупорена, и мыши будут пойманы одним ударом.

Кроме того: в Лондоне у меня имеются положительные виды на создание немецкого журнала. Часть денег мне обеспечена.

Ты должен поэтому немедленно отправиться в Лондон. Этого требует твоя безопасность. Пруссаки тебя дважды расстреляли бы: 1) за Баден; 2) за Эльберфельд. И зачем тебе эта Швейцария, где ты ничего не можешь делать? У тебя нет никаких затруднений к приезду в Лондон...

Я положительно рассчитываю на это. Ты не можешь оставаться в Швейцарии.

Моя жена остается пока здесь...

Твой *К. М.*»

В Париже Маркс стал свидетелем все более и более яростных нападок наглеющей реакции на революционную демократию.

В первый же день по приезде, когда он шел по улице Пуатье, его остановила старушка с четками в руке и, осенив себя крестным знамением, прошептала «Аве Мариа» и подала маленькую книжечку. Это была одна из тридцати брошюр, изданных «партией порядка» для народа, чтобы вызвать страх и отвращение к социализму. Карл знал о группе контрреволюционеров, называвшей себя «партией порядка». Она состояла из орлеанистов, бонапартистов, легитимистов, католиков и даже нескольких республиканцев, объявивших экономические реформы порождением сатаны. Продажные борзописцы без совести и сердца за большие деньги составляли для издания гнусные проповеди, которые богатые старушки навязывали прохожим бесплатно, если те не соглашались заплатить за них пять сантимов.

Карл наугад раскрыл поданную ему брошюрку. Тираж ее достигал полумиллиона. Маркс прочел:

«Красный это не человек, это красный... Лицо у него забитое, огрубевшее, без выражения; мутные бегающие глаза, ни-

когда не смотрящие в лицо, избегающие взгляда, как глаза свиньи; грубые негармоничные черты лица; низкий, холодный, сдавленный и плоский лоб; немой, невыразительный, как у осла, рот; крупные выдающиеся губы — признак низких страстей; толстый широкий, неподвижный, без тонкости очертаний и крепко посаженный нос; вот общие характерные черты, которые вы найдете у большинства коммунистов. На их лицах начертана глупость учений и идей, которыми они живут».

Маркс швырнул брошюру в мусорный ящик возле бакалейной лавки.

«Как, однако, распух желчный пузырь у господ контрреволюционеров,— внутренне улыбаясь, подумал он.— Здорово их пугает народ, хоть и мнят они себя победителями».

В реакционных писаниях особенно изощрялись Валлон и Теодор Мюрэ, известные своими кутежами и продажностью купеческие сынки, и крючконосый наглый полицейский агент Шеню. Эти типы писали и издавали многотысячным тиражом ядовитые пасквили, изобличавшие, впрочем, самую мерзостную сущность душ самих авторов. На обложке брошюрок для приманки они изображали сельского священника, проповедующего детям, или голубей среди цветов. Названия их тоже должны были вводить в заблуждение. Например, были брошюры, названные: «Катехизис рабочего или слово трудящегося», «Как крестьянину быть счастливым», «Вечера в вандейской хижине», «Работы и хлеба».

Иной раз среди авторов, взявшихся за перо, чтобы бороться с социализмом, встречались люди со знатными именами или видным положением. Депутат Национального собрания Луи Вельо, маршал Бюжо изощрялись в описаниях крестьянских семей, отказавшихся от социалистических химер. «Смиритесь и помните, богатые только попечители и правители для бедных, и сам бог пожелал, чтобы они выполняли эту миссию на земле!» — убеждали они.

Тьер также появился снова на политической арене. Не обладая никакими экономическими познаниями, бывший министр короля Луи-Филиппа написал книгу «О коммунизме», при котором, по его словам, «работать, радоваться и жить придется сообща».

Благодарная буржуазия, усмотрев в его брошюре защиту ее собственности, снабдила Тьера большими деньгами на борьбу с французской плебейской революцией. Тьер создал на средства банкиров и фабрикантов издательство, которое стало выпускать

очень дешевые, а подчас и раздаваемые бесплатно книжки. Они назывались «Мелкие сочинения Академии моральных и политических наук».

Впрочем, народ чаще пользовался бумагой тьеровских изданий для совсем других, весьма прозаических целей.

В ответ на брошюры, трактаты, пасквили контрреволюционеров еще более дерзко, вызывающе и громко звучали куплеты любимого народного певца Парижа, молодого и задорного Пьера Дюпона:

У социализма два крыла —
Студент и рабочий.
Полет его не знает предела,
Не знает конца!

Им вторили волнующие и жгучие стихи Беранже. Потрясал своей разоблачительной прозой Гюго. Идеи социализма владели по-прежнему умами людей парижских предместий.

Они отвечали агитаторам реакции:

— Прочь! Нам нужно бесплатное образование для наших детей, больницы для хворых и увечных, посильный рабочий день. Мы хотим жить по-человечески. Прочь, летучие мыши в сутанах и мундирах и пауки в сюртуках! Долой дворян, попов и богачей!

В городе свирепствовала холера, врачи не знали, как и чем лечить смертоносную болезнь. Народ, охваченный отчаянием, становился все более бесстрашным. Знойное лето, пыль, окутавшая дома, деревья, самое небо, внезапные вспышки ярости усталого трудового люда, угрозы победителей создавали особо тягостную атмосферу неопределенности и беспокойства в столице.

Французские войска, вопреки пятой статье конституции, гласившей, что республика никогда не употребляет своей силы на подавление национальных интересов народа и не вмешивается в дела чужих государств, подошли к Риму и осадили «вечный город».

Тысячи и тысячи впечатлительных, легко загорающихся французов, узнав об этом, до утра не покидали площади и бульвары. Они требовали, чтобы правительство и президент Бонапарт действовали согласно конституции и призвали армию к исполнению законов. Но на петиции и требования, вынесенные на многолюдных собраниях, ответа не было. Народ был безоружен, ослаблен после июньской бойни, руководители-революцио-

неры погибли, сидели в тюрьмах или скрывались. Гора в эти годы не сумела возглавить рабочее движение.

Правительство искало повода для повторения прошлогодней кровавой расправы. Оно считало, что армия и полиция обеспечат контрреволюции победу над трудящимися.

В то время как все враги трудового народа объединились, народ не имел подлинно революционного руководства.

Партия Горы была оторвана от народа. Она подвергалась преследованиям со стороны правительственной «партии порядка», исподволь готовившей заговор против республики.

Маркс познакомился с монтаньярами ближе и понял, что они ничего не могут серьезно противопоставить силам контрреволюции. Многоречивые и напыщенные в стенах Национального собрания, монтаньяры 1848 года становились жалкими болтунами, когда оказывались среди народа.

Монтаньяры призывали к гражданскому миру, в то время как спасение революции было только в оружии.

Тотчас же после июньской трагедии Национальное собрание начало расследование происшедших событий. Оно создало следственную комиссию, во главе которой стал полулиберал, полупалач, всегда ничтожный и расчетливый карьерист Одилон Барро. Он был одним из тех, кто должен был помочь Луи-Филиппу предотвратить февральскую революцию, но не сумел этого сделать. Он мечтал быть главой королевского правительства, но, так как монархия пала, приспособился к республике, чтобы ускорить ее падение. Комиссия Барро, имевшая чрезвычайные полномочия, оказалась на деле полицейским застенком. Она стала ловить всех, кто избежал июньской расправы и ареста, и передавала их в руки палача или посылала в тюрьму. Оговоры, случайное письмо, смелое поведение на допросах были для комиссии вполне достаточным поводом, чтобы вынести приговор. Даже народные представители — члены Национального собрания не были защищены от преследований комиссии. Такие уклончивые и безвольные депутаты, как Луи Блан и Коссидьер, оказались в конце концов под особым надзором.

Служивший «партии порядка» генерал Кавеньяк, чье слово имело решающее значение, откровенно заявил, что не будет препятствовать «ходу правосудия». На партию Горы обрушились непрерывные полицейские удары. Ее ряды таяли день ото дня.

Третьего августа прокурор заявил Национальному собранию, что начинает судебное преследование против депутатов, членов

Горы. Ответом ему был шум и сумятица. Все монтаньяры вскочили со своих мест и закричали:

— Доказательства! Представьте доказательства нашей вины!

Ледрю-Ролле и Луи Блан бросились к трибуне, опрокидывая скамьи. Председатель собрания заглушил их речи звонком. Обвиняемым так и не дали возможности произнести ни одного слова. Прокурор тем временем готовил поддельные улики и лживые свидетельские показания против колеблющихся депутатов, не принадлежащих к какой-либо партии.

Уже в июле министр внутренних дел Франции через префекта полиции предписал Карлу Марксу поселиться в департаменте Морбиган в Бретани. Климат этой малярийной местности был чрезвычайно вреден для здоровья.

— Это то же, что гильотина или Кайенна! Ехать туда невозможно,— сказала решительно Женни, узнав о предписании.

Она в то время была беременна и вскоре ждала четвертого ребенка. А семья находилась в жесточайшей нужде. «Новая Рейнская газета» поглотила все до последнего гроша. Марксу пришлось обратиться за помощью к Фрейлигграту и Лассалю, который вышел из тюрьмы после шестимесячного заключения.

Оказавшись на свободе, Лассаль тотчас же принялся за неоконченное дело о разводе графини Софи фон Гацфельд. Это вызвало чувство досады и отвращения у его единомышленников. Особенно негодовал на него за это поэт Фрейлигграт.

— Охота Лассалю копаться в семейном графском навозе,— говорил он раздраженно.

Узнав из письма Маркса о его лишениях и материальных невзгодах, Лассаль обрадовался, что может выставить себя в наивыгоднейшем свете. Он был от природы довольно щедрый человек, но выхваль. Желание показать, что он помогает людям и особенно самому рейнскому громовержцу Карлу Марксу, превозмогло былые обиды за критику. Со свойственной ему живостью он стал обходить знакомых и незнакомых сограждан, рассказывая о положении изгнанника, и показывал его письмо. Так он собрал некоторую сумму денег. Совсем иначе поступил Фрейлигграт. С душевным тактом и деликатностью он поделился с другом всем, чем мог, хотя сам был в очень стесненных обстоятельствах.

Узнав о шумихе, поднятой вокруг его просьбы Лассалем, Маркс не смог скрыть своей обиды и досады.

— Лучше злейшая нужда, нежели публичное попрошайни-

чество,— сквозь зубы, скорбно и сердито хмуря брови, говорил он Женни.— Лассаль рад случаю, пользуясь моим доверием, похваляться своей отзывчивостью перед первым встречным. Зачем только обратился я к этому тщеславному дельцу? Право, эта история злит меня.

Женни не менее мужа была уязвлена гласностью, которой предал Лассаль их нужду и тяготы.

А Ленхен, посвященная во все житейские затруднения семьи, где она была своим человеком, добавила поучительно:

— Как сказано еще в писании, не то важно, что даешь, а то, как даешь. У господина Лассаля правая рука знает хорошо, что делает левая.

После долгих колебаний и сомнений Маркс отказался ехать в Бретань и решил переселиться с семьей в Лондон. Состояние здоровья Женни, ожидавшей скорых родов, затрудняло переезд всей семьи. Карл должен был поехать один, чтобы найти жилье. Это было очень трудно. Средств на жизнь почти не было.

Зловеще и сурово начиналось третье изгнание Карла Маркса.

Двадцать четвертого августа маленькое утлое суденышко отплыло от берегов неспокойной Франции. Опершись на перила палубы, Маркс пытливо смотрел вдаль. Бурливо катил свои темно-серые воды Ла-Манш.

Маркс напряженно думал о причинах поражения французской революции. Через несколько часов ему предстояло снова ступить на землю самой могущественной индустриальной державы мира. Богатейший из французских фабрикантов был всего лишь мелкий буржуа в сравнении с крупным английским промышленником. В Англии преобладает промышленность, во Франции земледелие. Карл вынул записную книжку и набросал мысли, которые родились в этот час как итог пережитого и продуманного за последние месяцы. Он твердо решил по приезде в Лондон заняться исследованием причин, приведших к поражению революции. Ему уже становилось понятным, что Франция, как и полуфеодальная Германия, экономически еще не была достаточно подготовлена для победы рабочего класса.

С волнением и грустью вспоминал Маркс о том, как много коммунистов и рабочих пало в неравной борьбе с контрреволюцией во Франции и Германии. В глубоком печальном раздумье он незаметно для себя снял шляпу перед их безвестными могилами. Морской ветер растрепал копну его седеющих волос.

«Нынешнее поколение напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пустыню,— записал Маркс.— Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира».

Корабль приближался к порту. Показались неясные контуры прибрежных белых скал Дувра. Остров, на котором предстояло жить Карлу Марксу, был окутан густым туманом.

Прекрасна молодая поросль леса. Деревца тянутся ветвями и кроной к небесам. Но идут годы, и одни из них повалены бурею, другие покривились от ветров, третьи подгнили или ослабели, и над бором высятся немногие могучие, несокрушимые великаны. Им не страшны ураганы. Выше и выше поднимаются их ветви к солнцу и звездам.

Марксу было немногим более тридцати одного года, когда он высадился на берег Великобритании.

Денег у него почти не было. Прежде всего нужно было подыскать квартиру для беременной Женни, троих детей с Ленхен. Еще раз предстояло начать жизнь сызнова. Как все чрезвычайно сильные люди, он испытывал невозмутимое спокойствие и прилив энергии именно потому, что трудностей на жизненном пути стало больше.

Шел дождь, столь обычный в Англии. День точно начался не с рассвета, а с мрачных, серых сумерек. Когда поезд подходил к окутанному плотным туманом Лондону, Марксу внезапно припомнились строки из «Божественной комедии» Данте:

На полпути земного бытия
Вошел я в лес, угрюмый, темный...

Спальня Марии Дерук была точной копией опочивальни, устроенной некогда в имении Мальмезон Жозефиной Бонапарт для своего венценосного мужа.

Шатер из бледно-голубого шелка должен был изображать походную палатку. Правда, несколько огромных меховых шкур покрывали не землю — паркетный пол. Кровать Марии Дерук тоже мало походила на койку солдата. Совсем уж некстати свисали в изголовье разноцветные знамена.

Голубая шелковая палатка стояла в огромном зале и казалась прихотливой игрушкой. Несмотря на духоту и едва проникающий свет, Мария с некоторых пор спала только в ней.

В это утро она получила, как это теперь довольно часто бывало, корзину фиалок.

— От президента республики, мадам,— сообщническим тоном доложила горничная. Фиалки были эмблемой Бонапартов, подобно тому как лилии украшали герб Бурбонов.

Мария прикрепила к корсажу свежий букетик лиловых цветов и вышла из палатки.

Вместе с президентом Луи-Наполеоном и его братом графом Морни она отправилась в этот день в закрытом экипаже, под эскортом национальных гвардейцев, в Мальмезон, бывший пригородный дворец Бонапартов. Президент республики решил купить дворец своей бабушки.

— Вы мне поможете, дорогая Мария,— сказал Луи-Наполеон капризным голосом, поглаживая пальцами в перстнях холеную узкую бородку.— Мы восстановим культ императрицы Жозефины. Ведь она совмещала красоту и деятельный ум, она содействовала возвышению моего великого дяди в той же мере, *в какой Мария-Луиза помогла его падению*!

— Не преувеличиваете ли вы значение этих двух женщин в судьбе императора? — поджав хитро губки и опустив глаза, сказала Мария.— Что мы, женщины, такое? В лучшем случае игрушки, в худшем — груз в жизни мужчины!

— Верно, что мужчины правят миром,— заявил убежденно граф Морни.

— А женщины нередко правят ими,— вызывающе бросила Мария.— Но это, конечно, не относится к коронованным особам,— добавила она, увидев, что Луи-Наполеон слегка нахмурился. Она знала, что Луи человек слабовольный, и опасалась, как бы он не заподозрил в этих словах намека на него самого!

— Кстати,— сказал Морни,— я слыхал, что вы, Луи, доказывали недавно на одном из званых обедов невозможность управлять французами посредством кротости. Это может повредить вам во мнении буржуа. Плеть, с моей точки зрения, нужна только для плебеев.

— Я имел в виду другое! — оживился президент.— Энергия и воля подготовили великие события, они доставили славу моему дяде, и нация ему признательна. Если бы он действовал робко и ощупью, то был бы не коронован, а изгнан.

— У вас, брат мой, другие обстоятельства. Несколько месяцев на посту президента недостаточны, чтобы укрепить власть. Тем более что Национальное собрание ревниво оберегает свои права и ставит вам всяческие рогатки.

— Я не намерен довольствоваться несколькими месяцами правления,— сказал Луи-Наполеон.

— Браво! — воскликнула Мария, аплодируя.— Ничего другого я не жду от вашего высочества. Вам власть дана не людьми, а богом.

— Тише,— забеспокоился Жозеф.— Женщина всегда выдает сокровенные замыслы мужчины.

— Я слуга Бонапартов. Это подтверждает все мое прошлое.

— Вы, Мария, действительно героиня и заслуживаете поклонения!

— Я никогда не взял бы власть на короткий срок,— начал снова Луи-Наполеон,— я убежден, что продлю ее до бесконечности. Эфемерное могущество вовсе не согласуется с моим французским характером.

— Благодарю вас, ваше высочество,— восторженно сказала Мария,— игра не стоила бы иначе свеч! Ваше имя уже произносят с благоговением в самых дальних деревнях нашей родины. На вас устремлено столько взоров. Вы — наша надежда.

— Позвольте,— сказал Морни,— я весьма заинтересован в продвижении моего брата к престолу. Но мне кажется, нарушить закон республики — значит вызвать в стране анархию. Ведь революционный сброд не дремлет. Впрочем, на выборах вы получили более шести миллионов голосов. С этим можно продержаться не меньше шести лет! Не правда ли?

— Ерунда, Жозеф. Вы рассуждаете не как политик. Заявляю вам, что я хочу править до моей смерти,— сказал Луи-Наполеон.

Экипаж остановился у каменной ограды Мальмезона. Несколько единомышленников из «елисейской братии», сняв шляпы, ждали президента. По дорожкам, усыпанным гравием, Луи-Наполеон, его близкие и охрана прошли в небольшой дворец, где подолгу жила и умерла императрица Жозефина.

— Здесь все напоминает моих великих предков,— сказал президент республики своей свите, изобразив на лице почтительную грусть. Учтиво кланяясь, дворецкий проводил его в комнату, где все сохранялось в том же виде, как при Наполеоне Первом. Большой круглый резной стол был украшен портретами на эмали всех маршалов империи. На стене висел портрет Жозефины с прядью ее волос под стеклом.

— В этой комнате маршалов мой дядя любил проводить часы досуга,— мечтательно сказал Луи-Наполеон и уселся в кресло, где обычно сиживал император.— Я должен купить этот

дом как можно скорее. Он принадлежит истории,— сказал президент, вставая.— Граф Морни, поручаю вам оформить купчую.

Лицо Жозефа вытянулось, и глаза беспокойно забегали.

Когда в зимнем саду, где некогда цвели редкие растения, привезенные с острова Мартиники, братья остались одни, Луи-Наполеон сказал:

— Я очень нуждаюсь в деньгах. Собрание прескверно содержит президента Франции. Впрочем, это гнусное положение скоро кончится. Прошу тебя, Жозеф, ссуди меня необходимой суммой на покупку Мальмезона. Я верну тебе втрое. Обратись к Жерому Бонапарту и всем моим родственникам, если у тебя не хватит золота.

— Увы, мой дорогой Луи! Наши кошельки опустели. Мы все буквально без гроша с того времени, как впряглись в вашу колесницу. Еще немного, и я банкрот,— ответил Морни, разводя руками.

— Поймите же наконец,— нетерпеливо, с обычными капризными интонациями в голосе заговорил Бонапарт.— Еще небольшое усилие, и я буду на троне! Но расходы, естественно, все возрастают. Ручаюсь, что скоро государственный банк будет выпускать кредитные билеты с моим профилем, ты будешь министром, а Жером Бонапарт моим наследником. У вас обоих блистательные перспективы. Ты меня знаешь, я никого из вас не забуду. Но сейчас, пойми, необходимо пустить пыль в глаза всем этим денежным мешкам, а также солдатам и офицерам. Их надо ловить на золотой крючок — так советует мой верный Флери.

Морни долго не отвечал и мысленно что-то подсчитывал. Затем он спросил:

— А что же наш новый приверженец, банкир Фульд? Он ведь как будто окончательно превратился из ярого орлеаниста в еще более рьяного бонапартиста! Это человек с носом, созданным не для того, чтобы нюхать цветы, а ориентироваться в окружающем! Раз он с вами, вы, уважаемый братец, несомненно, идете в гору и приближаетесь к цели.

— Он одолжил мне около миллиона. Я действительно несколько улучшил свои денежные дела. Это, кстати, врожденный министр финансов. Но его помощи мне мало. Ведь я беру последнюю дистанцию на пути к трону. Расходы, естественно, возрастают. Например, я покупаю Мальмезон. Зачем? Потому что это произведет внушительное впечатление на всех. Учти, Жо-

зеф, что акции, на которые ставит Фульд, поднимутся на один франк тридцать пять сантимов. И он положит в карман без труда до трех миллионов франков. Однако торопись — после взлета курс на них обязательно полетит вниз, и никакие телеграфные измышления и шумиха не спасут спекулянтов от поражения.

— Поздравляю вас. Вы не только глава государства, но и великолепный биржевой игрок.

— Вообще Фульд не дурак. Если с его помощью я получу престол, он, пожалуй, лопнет от денег и почета, которого добивается. Мария легко нащупала его ахиллесову пяту — этой женщине, право, нет цены.

В зимний сад, где они находились, вошли сопровождавшие президента лица. Сыновья Гортензии Богарне заговорили о капризах погоды и предстоящих увеселениях.

Тем же вечером, прежде чем отправиться на свидание к президенту в маленькую «избушку» — особнячок на Елисейских полях, Мария посетила госпожу Матильду Демидову, племянницу Наполеона I. Эта не слишком привлекательная, но молодая и безмерно богатая дама была дочерью бывшего вестфальского короля Жерома Бонапарта и приходилась кузиной Луи-Наполеону. Как и Мария, она принимала весьма деятельное участие в заговоре бонапартистов.

После нежных объятий и восклицаний обе дамы уселись наконец на пуфики в будуаре хозяйки дома. Стены, полы, мебель будуара были покрыты шерстяными и шелковыми вытканными и вышитыми кусками материи и походили на выставку тканей. Задрапированные окна и двери не пропускали свежего воздуха, и Мария, вдыхая запах мускуса и вербены, почувствовала легкое удушье. Но госпожа Демидова боялась свежего воздуха и яркого света. Она чувствовала себя великолепно среди ковров, гардин и покрывал.

— С тех пор как я стала русской, мне нравится все восточное, в то время как мой муж и его родные стараются во всем походить на нас, французов,— быстро заговорила хозяйка дома.— Скажу вам, дорогая Мария, по секрету: только в России можно спокойно наслаждаться богатством и знатностью рода. Я боялась, что попаду в курную избу или терем, как это называется у северных варваров. В действительности же русские аристократы оказались такими же изысканными, как и Людовик Четырнадцатый! Я имею все, о чем может мечтать женщина! И даже, представьте, рабов. Но не негров, как в Америке, а

таких же светлокожих, как мы с вами. Хотите, я покажу вам своего лакея? Это великолепный экземпляр.

Матильда позвонила. Вошел красавец среднего роста с необыкновенными глазами, подернутыми поволокой, и волосами цвета вянущих листьев клена.

— Петр, никого не пускать. Меня нет дома,— сказала госпожа Демидова ласково и не без кокетства.

— Да, хорош! Вылитый принц Боргезе,— согласилась Мария.— Берегитесь, Матильда, нельзя постоянно подвергать себя такому соблазну. Впрочем, если русские рабыни так же хороши, то и ваш муж находится не в меньшей опасности!

— Я не держу возле себя молодых служанок,— ответила, скривив губы, Демидова.— Это грех — подобным образом испытывать верность мужчин.

Обе дамы расхохотались. Мария сказала, что президенту снова требуются деньги. Госпожа Демидова закурила тоненькую пахитоску.

— Поймите, дорогая, я уже заложила ради кузена Луи все свои драгоценности и серебро,— сказала она с холодком в голосе.— Нет ничего, чем бы я не пожертвовала для нашего общего дела. Но во Франции, к сожалению, нельзя продавать рабов. А муж не шлет мне больше денег из Петербурга. Представьте, сегодня агент торговой фирмы осмелился потребовать от меня шестьсот франков за какие-то вина. Я ответила ему, что не имею ни одного лиарда. Он, право, был крайне обескуражен! Тогда я ободрила его, сказав: будьте спокойны, месье, вы ничего не потеряете. Обещаю вам, что вы будете скоро поставщиком императора.

— Как вы неосторожны! — воскликнула Мария.— Шпионы Кавеньяка и Национального собрания шныряют вокруг. Луи имеет столько врагов.

— Пустяки, дорогая! «Партия порядка» и алжирский зверь уже вышли из моды. Кавеньяк так груб! Представьте, он даже не умеет танцевать. Сразу видно, что в его жилах не течет голубая кровь. Палач сделал свое дело, и ему пора убираться. Однако отчего кузен Луи так неосмотрительно транжирит деньги?

Мария принялась перечислять самые неотложные расходы президента. Одна только тайная полиция и телохранители-корсиканцы обходятся ему более ста пятидесяти тысяч. Деньги, подкуп решают теперь все. Глупый, низложенный Луи-Филипп Орлеанский не догадался спасти корону с помощью этого вер-

ного средства, хотя имел двадцать четыре миллиона дохода. А жалованье президента Франции всего шестьсот тысяч в год.

— Его высочество,— горячилась Мария,— потомок Наполеона Первого. Он должен швырять деньгами. Драгоценности, гобелены, севрский фарфор и кредитные билеты необходимы, чтобы расположить к нему сердца офицеров, членов собрания, дипломатов и, особенно, журналистов. Пресса сейчас иной раз важнее картечи и мушкетов. Наша газета «Pouvoir» должна соответствовать своему названию и быть действительно мощью. А для этого нужны деньги. Я подсказала президенту, что солдатам Елисейского дворца следует выдавать дополнительное жалованье. Будет время, и их ружья пригодятся. Ничего не поделаешь, надо платить. Французский сброд, разные лавочники, попы, дикие крестьяне, которые кричат «Да здравствует Наполеон Третий», корыстолюбивы, это копеечники. Впрочем, благодарение богу, их можно купить. Куда труднее справиться с честными людьми, всей этой шайкой истинных республиканцев, потомков Бабефа.

Мария достала веер, ей стало душно. Госпожа Демидова покорно сняла с себя жемчуг, несколько браслетов с крупными бриллиантами и протянула их приятельнице.

— Вы так красноречивы! Я уверена, Мария, вы будете прославлены, как одна из замечательнейших подруг императора. Вы не просто метресса, вы современная госпожа де Ментенон.

— Нет, нет, дорогая Матильда. Я не хочу славы. Госпожа де Сталь, которую я однажды еще ребенком видела на альпийском перевале, писала в своем бессмертном романе «Коринна», что слава для женщины является могилой ее счастья.

— Что ж, она права! Место женщины только в сердце мужчины,— согласилась госпожа Демидова и добавила многозначительно: — А вы, Мария, свили прочное гнездо в сердце первого из Бонапартов.

Мария ничего не ответила и скрыла глаза под длинными ресницами. Ее накрашенный рот больше, чем обычно, напоминал серп.

Вскоре, отпустив карету на углу безлюдной улицы, она пошла пешком и остановилась у маленького, похожего на улей особнячка, открыла своим ключом дверь и вошла. Президент опаздывал. Мария переоделась в спальне, где все до последней булавки было куплено ею. В столовой был накрыт ужин на две персоны. Она спокойно ждала своего возлюбленного, хотя знала,

что у нее есть соперницы: то юная англичанка, которую Луи привез из Лондона, то быстро исчезавшие проститутки, доставляемые ему из парижских притонов услужливыми собутыльниками. Марии все это было безразлично.

Честолюбивые планы, заговорщицкие тайны соединили этих двух людей и связали крепче, нежели самая пылкая любовь. Луи-Наполеон, трусливый и безвольный, ценил в Марии неутомимого, ловкого, надежного сообщника. Она была тем зарядом воли и целеустремленности, в которых ему отказала природа. Когда что-либо ему не удавалось, он принимался обвинять и оскорблять ее, зная, что она только крепче сомкнет губы и не скажет ни слова. Если же успех ему сопутствовал, он мгновенно забывал, чем обязан этой хитрой и смелой женщине, и начинал бахвалиться и превозносить самого себя. И снова Мария, опустив глаза, молчала. Но когда надо было действовать и поддержать его дела, она становилась настойчива и убедительно красноречива и почти всегда добивалась успеха.

Луи-Наполеон приехал на свидание раздраженным. Мария мгновенно поняла это, взглянув в большое грубое лицо сына Гортензии Богарне и адмирала Верюэла. Узкая бородка лопаточкой, которой претендент старался скрыть отсутствие четкого подбородка, как-то сердито топорщилась. Сонные глаза смотрели еще более бездумно, нежели обычно. Снимая шарф, он свернул набок тугой стоячий воротничок и окончательно рассердился.

— Сколько времени я должен ждать? Только что толпа набросилась на двух бравых юношей, которые крикнули, узнав меня: «Да здравствует император!» Это черт знает что такое! Министр юстиции Руэр должен преследовать по закону тех, кто травит преданных мне людей.

— Время вашего торжества у порога, мой любимый,— сказала Мария.— Барро сделает все, что надо.

Президент холодно отстранил ее, сел к столу и быстро осушил маленький бокал с приторной густой коричневой влагой.

— Отцы бенедиктинцы знают толк в хмельных напитках. Ничто не может сравниться с их ликерами. Я хотел бы быть папой римским,— сразу приходя в хорошее расположение духа, сказал Луи-Наполеон и грубо привлек к себе Марию.— В свое время вы долго ждали взаимности, Лисичка! — сказал он спустя некоторое время.— Пожалуй, столько же, сколько я жду короны.

— Но никогда поражения не ослабляли меня! Напротив,— улыбнулась хищным маленьким ртом Мария, поправляя прическу.— Я говорила себе, подожду, прошло много времени, остается меньше.

Но Луи-Наполеон уже думал о другом.

— То, что я высказал в моей книжке «История пушки», остается и сейчас моей программой.

— Издание этой брошюры было неудачной вылазкой, мой друг,— прервала Мария, наливая вино в два бокала.— После того как тупица Кавеньяк употребил для подавления июньского мятежа пушки, говорить об этом было неуместно. В доме повешенного молчат о веревке.

— Собственно, до финиша остается один шаг. Восстание против меня, пожалуй, уж невозможно. Теперь мы знаем, на что следует опираться при мятежах: если чернь построит баррикады, мы также будем воздвигать баррикаду против баррикады. Шайкам плохо организованных рабочих мы противопоставим дисциплинированные войска. И я не стану спасаться из моего дворца через черный ход при виде нескольких тысяч уличных мальчишек и негодяев, как это сделал Луи-Филипп.

Луи-Наполеон закурил гаванскую сигару и развалился в кресле у камина. Мария подошла к роялю.

— Сыграйте песню, которую моя мать сочинила в Аренепберге. Когда я буду императором, она станет официальным гимном французов.

Мария спела песню, слова и музыку которой написала некогда Гортензия Богарне. Луи-Наполеон, дирижируя рукой, подтягивал припев. Он выпил еще несколько рюмок ликера и заметно охмелел.

— По правде говоря, история моей жизни мало подходит для императора! Я не знаю даже точно, кто был моим отцом.

— Замолчите, Луи,— взмолилась Мария.— Никогда, нигде не говорите этого. Вы — император по крови и по божьему велению. Клянитесь, что забудете обо всем, кроме этого.

— Как не идет вам патетика,— усмехнулся Бонапарт.

В это время по улице мимо «избушки», купленной Марией для свиданий с любовником, случайно проходил Иоганн Сток. Погруженный в думы, как это бывало с ним все чаще, он не замечал окружающего. Вдруг громкий окрик пробудил его.

— Эй, сворачивай! Здесь проходить не разрешается!

Осмотревшись, портной увидел, что находится возле высокой железной ограды. Два могучих великана, одетые в военную

форму, судя по произношению корсиканцы, сторожили калитку.

— С каких это пор по парижским улицам запрещен проход? — обозлившись, крикнул Сток.— Какие еще темные дела вы здесь прикрываете?

— Молчи и убирайся, если не хочешь объесться свинцовыми клецками,— огрызнулся телохранитель и двинулся навстречу Стоку. В это время двери особняка с шумом открылись, и на дорожке, ведущей к ограде, появились два человека — мужчина в цилиндре и дама с лицом, плотно закрытым черной вуалью. Корсиканцы набросились на щупленького портного и, прежде чем он успел опомниться, скрутили ему назад руки.

— Что все это значит? Неужели злоумышленник? — спросил явно заинтересованный и польщенный президент.

— На вас готовилось покушение, но вы спасены,— крикнула Мария.— Это все козни Кавеньяка.

— Обыщите его,— скомандовал Луи-Наполеон.

В одно мгновение Стока повалили и обшарили.

— Он безоружен,— сказали, не скрывая огорчения, оба корсиканца и, встряхнув портного, потащили его к Луи-Наполеону.

— Странно,— пробормотал тот с досадой. Свет фонаря упал на лицо задержанного.— Ба, да этот блузник мне знаком. Должен сказать, что у меня удивительная память на лица. Мы уже где-то виделись, не правда ли?

— Я шил вам заглазно костюм в Брюсселе, а затем пригонял его на вас в Остенде,— зло вымолвил Сток, в свою очередь узнав племянника Наполеона.

— Вспомнил. Это были превосходные фрак и охотничий костюм. Даже такие снобы, как лорд Дерби, восхищались их фасоном. Если бы вы сшили мою одежду хуже, я, может быть, вздернул бы вас на виселицу. Но запомните! — президент Франции не забывает услуг. Отпустите этого портного...

— Не надо, может быть, он член шайки бланкистов. Он похож на Марата. Отправьте его в тюрьму, прошу вас! — шептала между тем Мария.

— Нет. Слово Бонапарта неизменно. Кстати, недавно мой портной заузил редингот. Вы бы этого не сделали. Идите же, гражданин, расскажите рабочим, что я их друг и защитник, и служите впредь Луи-Наполеону, который вас освободил.

Президент и Мария вошли в закрытую карету. Лошади тронулись, и все стихло на маленькой улице.

Сток долго не мог опомниться. Второй раз судьба свела его с претендентом на французский трон.

«В чем его сила? Кто поднял на своих плечах эту гадкую козявку, воображающую себя великаном?» — думал портной, не двигаясь с места.

Долго Сток вспоминал все, что знал о Луи Бонапарте. Президент республики участвовал в заговоре братьев Бандиера, затем служил полицейским чиновником в Англии и в погоне за наживой занимался темными махинациями, не брезгая подкупом и расправой с неугодными. Различные человеческие подонки сопутствовали ему на протяжении многих лет. Два раза Луи Бонапарт был арестован за попытки устроить государственный переворот, и оба раза он вел себя на суде малодушно и постыдно. Теперь он стал президентом Франции и вместе с кровавой «партией порядка» провозглашает себя сторонником защиты собственности и религии.

И вдруг Иоганн припомнил однажды высказанную Марксом мысль: Бурбоны были династией крупной земельной собственности, Орлеаны — королями банкиров. Бонапарты опираются на крестьян — отсталых, забитых, консервативных. Избранником темных, ведомых церковью жителей деревень может явиться не тот Бонапарт, который подчиняется буржуазному парламенту, а тот, который сумеет разогнать его.

Портной долго обдумывал это предсказание и решил: у Маркса глаза орла. Он видит далеко вперед.

Затем Сток медленно пошел к площади Согласия.

В большом, хорошо знакомом ему городе Иоганн чувствовал себя в последнее время не менее одиноким, нежели когда-то в каменном мешке крепостной тюрьмы. Как это случилось, что ему не хотелось больше никого видеть? Он с трудом старался приобщиться к тому, что считал бессмысленной суетой.

После смерти жены, а затем июньского поражения, когда исчезли почти все его друзья, ему подчас казалось, что он потерял все пять чувств, а сердцем как бы выключился из жизни. Удары были так сильны, что Сток словно оглох и одеревенел. Был ли это инстинкт самосохранения или, наоборот, значительная часть его души навсегда отмерла? Он часто задавал себе этот вопрос, сидя с иглой в руке над шитьем, и радовался, когда нечаянно прокалывал палец и ощущал острую физическую боль.

— Я все же еще чувствую что-то...— мысленно говорил он тогда.

В окраинной захудалой мастерской, куда портной устроился на работу, было грязно. По углам ютились большие мрачные пауки. Иоганну нравилось наблюдать за ними. Пауки казались ему такими же нелюдимыми и одинокими, как он. Поднимая усталые от работы глаза, портной с уважением и нежностью следил за этими трудолюбивыми ткачами. Одиночество всегда окружало их, как паутина. Сжавшись в комочек, проводили они часы и дни в одиночку. Сток внутренне содрогался. Камера в тюрьме казалась ему отныне не самой страшной формой одиночества. Со времени поражения революции он познал его во всем многообразии оттенков цвета, звука и предметности.

Теперь Сток ловил себя на том, что часто смотрит на людей с удивлением. Особенно если они шумели, хохотали, казались довольными, веселыми.

«Не знают, что творят,— думал портной, пробираясь в толпе.— Когда и как неоспоримая истина о том, что счастье всех людей, а не горсточки — единственная правда жизни, дойдет до них? Они в крови уже потому, что остались равнодушными».

Его мучила мысль, что он обречен. Родиться, чтобы всю жизнь знать одни только поражения? Он не мог примириться с этим. Родиться слишком рано, не добиться намеченной цели и понимать это?

Обманывать себя портной уже больше не умел, он слишком многое пережил, познал и понял. Часто он уходил на могилу Женевьевы, где свято берег каждую травинку. Усевшись у изголовья, Сток перечислял про себя всех, кого уже не существовало.

— Их уже значительно больше там, чем на земле,— шептал он грустно. Портной не верил в загробную жизнь и под словом «там» видел перед собой огромную черную яму, где не было ни света, ни ощущений, ни мыслей.

Вспоминая Женевьеву, он не мог удержать слез.

«Пока я жив, жива во мне и она. Скоро исчезну я. Даже маленькая Катрина не будет помнить, как нежно улыбалась ее мать. Память о нас и та живет не дольше трех поколений. Вечны только те, что делают душу человека лучше и жизнь его счастливее».

Сток попытался искать членов Союза коммунистов. Однажды он встретил нескольких сторонников Виллиха, Шаппера и Бартелеми и поспорил с ними. Он написал письма Марксу и узнал о том, что Центральный комитет союза обосновался отныне в Кёльне. В Майнце жил дальний родственник Стока, молодой

портняжный подмастерье Фридрих Лесснер. Иоганн решил отправиться к нему, чтобы наладить прочные связи с коммунистами, придерживавшимися программы действий Маркса и Энгельса. Однако следовало сначала позаботиться о детях и накопить денег на дорогу.

Сын Стока Жан, не по летам высокий, сильный, развитой юноша, работал кочегаром на локомотиве. Он категорически отказался покинуть Францию, и главной причиной этого была Жаннетта.

С отроческих лет он самозабвенно полюбил молодую женщину. Тщетно ссылалась она на десять лет разницы в возрасте и требовала от него только сыновней привязанности. Жан не мог обходиться без нее ни одного дня, сам не отдавая себе отчета, что будет дальше.

Вдова Кабьена тоже крепко привязалась и к нему и к Катрине, которую воспитывала, как родную дочь. Ради нее она отказалась от выгодной должности у прилавка магазина и, чтобы не оставлять без надзора ребенка, стирала и чинила на дому белье. Верная памяти Кабьена, она решительно отклоняла брачные предложения, которые часто сулили ей безбедную жизнь.

Когда Жан узнавал о сватовстве, его лицо не предвещало ничего хорошего.

— Ты не посмеешь выйти замуж. Подожди немного, никто не будет любить тебя, как я,— шептал он, задыхаясь от гнева и нежности.

— С каких пор щенята осмеливаются вмешиваться в мои дела? — смеялась Жаннетта, но сердце ее начинало биться сильнее.— Тебя еще не было на свете, когда я нянчила соседских детей в деревне. Это, верно, ты держался за мой палец, когда впервые встал на ножки, и я вытирала твой мокрый нос, а ты ревел и кричал мне: «Не надо, няня!»

Если Жан пытался взять Жаннетту за руку, она отдергивала ее с ужасом, точно это было недопустимо, как кровосмешение. Но расстаться с юношей было для нее уже невозможно. К тому же любовь к маленькой сестре Жана все усиливалась в сердце красивой вдовы.

После ужина Жаннетта обычно принималась за починку или глажку белья, Катрина засыпала, а Жан, когда был свободен, вытаскивал книгу.

— Если в твоей книге есть что-либо про любовь, почитай-ка вслух. Только чтобы все хорошо кончалось,— просила она.

Особенно нравились ей романы Александра Дюма и Эжена Сю. Жан читал далеко за полночь. Покончив с работой, Жаннетта укладывалась рядом со спящей Катриной. Опершись локтями на подушку, она внимательно слушала Жана, то вдруг разражаясь веселым смехом, то негодуя.

Иоганн Сток возвращался обычно очень поздно. Он был крайне взыскательный критик и, слушая чтение сына, нередко говорил:

— Ну и враль твой писатель. Видно, я состарился, чтобы пробовать эдакую слюну в сахаре.— И, брюзжа, он укладывался спать.

Весной, накопив немного денег и поручив детей заботам доброй Жаннетты, Иоганн Сток отправился в Германию в Майнц к Фридриху Лесснеру.

Портняжному подмастерью Лесснеру было всего двадцать семь лет, но у него было уже славное прошлое. Иоганну все нравилось в молодом коммунисте: и его живой, несколько восторженный склад мыслей, и упорство, с каким он рвался к науке.

Лесснер хорошо знал Маркса и Энгельса. Он встретился с ними еще в Лондоне в 1847 году на конгрессе, превратившем «Союз справедливых» в Коммунистический. В дни революции 1848 года немецкий эмигрант приехал в Кёльн. Жил он там нелегально и тем не менее быстро приобрел известность на окраинах под именем Картенса. Он деятельно помогал «Рабочему союзу», часто выступал в «Демократическом обществе» и постоянно заходил в эти напряженные, незабываемые дни в редакцию «Новой Рейнской газеты». Вскоре здесь он стал своим человеком.

— Быстро миновало светлое, золотое времечко,— рассказывал он Стоку.— Тогда я верил, что весь немецкий народ немедленно восстанет и, как один человек, завершит революцию. Кто бы мог подумать, что выйдет по-другому и бургомистры будут ползать на брюхе и целовать руки тиранов, обагренные в крови наших лучших братьев.

Сток жадно расспрашивал Лесснера, как шла борьба за свободу в Кёльне.

Подмастерье рад был говорить об этом часами. Оба коммуниста, один пожилой, усталый, другой здоровый, молодой, полный сил, старались понять причины, приведшие столь хорошо начавшуюся в феврале 1848 года революцию к поражению.

— Я читал новые статьи Маркса и Энгельса, как откровенье,— признавался Сток.— Маркс и Энгельс помогли мне разобраться во всей заварухе, охватившей Европу. Тут и опытному следопыту немудрено было сбиться с дороги. Жаба Луи Блан во Франции да индюки вроде Вейтлинга, Руге и других могли задурить нам голову. Но с Марксом не заплутаешься.

— Это верно. Он и Энгельс слепого и того выведут на свет божий. Честь им и хвала,— ответил Лесснер.— Мне довелось также часто встречаться с Вильгельмом Вольфом и Фердинандом Фрейлигратом. Поэт — видно, это профессия такая — молчалив и замкнут, все где-то витает, к нему трудно подступиться, а вот Вольф душа человек, весь нараспашку. Когда он, бывало, выступал в «Демократическом обществе», зал бывал битком набит. Слушать Вольфа — истинное наслаждение, он и рассмешит, и объяснит все простым словом. Никогда он, точно как Маркс и Энгельс, за словом в карманах не шарит.

— Я думаю, что когда в башке много мыслей, всегда будешь хорошим оратором. Иной лезет на трибуну с пустой головой и только машет руками, встряхивает головой и пускает словесную струю на слушателей. Сколько ни старается, а в лучшем случае в сон вгонит. А таким, как Маркс, Энгельс или Вольф, всегда есть чего сказать рабочему человеку.

— Ты прав, Сток. Сколько я их ни слушал, а всегда дивился, откуда столько мыслей в одной человеческой голове берется. Мозг у них, как веретено из сказки, ткет и ткет нить дум.

— Когда ты слышал Маркса в последний раз? — как-то особенно тепло спросил Сток.

— Это было на собрании «Демократического общества» в ноябре тысяча восемьсот сорок восьмого года,— начал рассказывать Лесснер.— Маркс сообщил нам о казни в Вене демократа Роберта Блюма. Ты, верно, знаешь эту подлую провокацию австрийского правительства. Блюм был делегатом немецкого народа. Приговор военно-полевого королевского суда был прямым вызовом всем нам, демократам и социалистам. Никогда не забуду я Маркса в этот горький час на трибуне. Он был суров и грозен. Как сейчас вижу — поднимает он высоко руку, в которой депеша о расстреле Блюма. В зале — могильное молчание. Мы все онемели от возмущения. Ни за что ни про что убили нашего представителя. Маркс заговорил. Если б он сказал:

«Идите за мной, сразитесь с деспотами и умрите все до последнего человека»,— мы, как один, не пожалели бы живота своего.— Лесснер помолчал.— Нельзя не довериться такому человеку, как Маркс,— продолжал он.— Такие не подводят. Это скала.

Сток курил и смотрел перед собой.

— За время революции рабочие не только многое осознали, вынесли на своих плечах, поняли, но, главное, выяснили, кто чего стоит,— сказал он задумчиво.— Многие освободились наконец из-под влияния мелкобуржуазных крикунов. Маркс и Энгельс нашу кровушку жалеют, как свою собственную, и не дадут ей пролиться зря. Не то что Виллих и Шаппер.

— И я тоже полностью согласен с большинством Центрального комитета. Виллих и другие вредные болтуны меня не сбили с пути истинного. В Майнце мы, коммунисты, печатаем и распространяем листовки. Дело это наладили так, что в течение часа, если понадобится выступить, наводним ими весь город. Мы стараемся разъяснить по-рабочему, по-простому, как вести себя труженикам в это тяжелое время, каковы наши цели, ну и что вообще происходит на свете. Кстати, а ты читал обращение Бланки, напечатанное вместе с пояснениями Маркса и Энгельса? Вообрази — Виллих, Шаппер и вся их шайка хотели было присвоить себе этот пламенный привет старого бойца из тюрьмы Бель-Иль!

— Вот это новость! — воскликнул Иоганн.— Давай-ка сюда обращение. У тебя оно, наверное, есть!

— Есть, конечно,— ответил Лесснер.

Когда Лесснер ушел, Сток взобрался на деревянный топчан, служивший кроватью, и приоткрыл занавеску. Узкое оконце выходило на горбатую крышу и упиралось краем в длинную трубу. Ничего, кроме множества крыш, крытых черепицей, точно рыбьей чешуей, не было видно. Сток залпом прочел обращение Бланки. Предисловие к немецкому переводу было без подписи, но, как ему уже было известно, принадлежало перу Маркса и Энгельса.

«Несколько жалких обманщиков народа, так называемый Центральный комитет европейского центрального сброда, под руководством гг. Виллиха, Шаппера и т. д., праздновали в Лондоне годовщину февральской революции».

Сток широко улыбнулся. «Вот пишут, точно кнутом стегают негодяев!» — подумал он и, весьма заинтересованный, принялся читать дальше.

«Луи Блан — представитель сентиментального фразерствующего социализма, интригуя против другого предателя народа, Ледрю-Роллена, присоединился к этой клике второсортных претендентов. Они зачитали на своем банкете различные адреса, которые якобы были посланы им. Из Германии, несмотря на все усилия, им не удалось выклянчить никакого послания. Благоприятный симптом развития немецкого пролетариата!

Они написали также Бланки, благородному мученику революционного коммунизма, с просьбой прислать адрес. Он ответил им следующим тостом:

«Предостережение народу

Какой подводный камень угрожает будущей революции? Тот же, о который разбилась вчерашняя революция: плачевная популярность буржуа, переодетых в трибунов.

Ледрю-Роллен, Луи Блан, Ламартин, Флокон.

Мрачный список! Зловещие имена, начертанные кровавыми буквами на всех мостовых демократической Европы.

Временное правительство убило революцию. На его голову падет ответственность за все несчастья и за кровь стольких тысяч жертв.

Умерщвляя демократию, реакция только занималась своим ремеслом. Преступление совершили те изменники, которых доверчивый народ согласился считать своими руководителями и которые предали народ реакции.

Презренное правительство! Не слушая криков и просьб народа, оно назначает налог в 45 сантимов, который возмущает охваченных отчаянием крестьян.

Оно сохраняет монархические главные штабы, монархических судей, монархические законы. Измена!..

...На него, на него одного ложится ужасная вина за все бедствия, уничтожившие революцию 1848 года.

О, бывают большие преступники, но худшие из них это те люди, в которых обманутый их ораторскими фразами народ увидел свой меч и свой щит; те, которых он с энтузиазмом провозгласил властителями своего будущего.

Горе нам, если в день грядущего торжества народа забывчивость и снисходительность масс допустят к власти хоть одного из этих людей, изменивших своему мандату! Второй раз с революцией было бы покончено!

Пусть рабочие всегда помнят список этих проклятых имен;

и если хотя бы одно, да, хотя бы одно когда-нибудь окажется в революционном правительстве, пусть все они в один голос крикнут: «Измена!»

Речи, клятвы, программы снова были только плутовством и обманом; те же жонглеры вернулись бы для того, чтобы проделывать те же фокусы; это было бы первое звено в новой цепи деяний еще более бешеной реакции! Проклятие и месть им, если они посмеют когда-либо вновь появиться! Будет стыдно за глупую толпу и жалко ее, если она еще раз попадется в их сети!

Мало того, что февральские фокусники навсегда изгнаны из городской ратуши, необходимо предохранять себя от новых изменников.

Изменниками будут те правительства, которые, поднявшись на плечах пролетариата, не проведут немедленно же:

1) общее разоружение буржуазных гвардий;

2) вооружение всех рабочих и их военную организацию;

конечно, необходимо будет провести еще много других мероприятий, но они естественно будут вытекать из этого первого акта, являющегося предварительной гарантией, единственным залогом безопасности народа.

Ни одно ружье не должно оставаться в руках буржуазии; иначе нет спасения.

Сторонники разных учений, оспаривающие теперь друг у друга симпатии масс, сумеют когда-нибудь осуществить свои обещания, провести реформы и добиться благосостояния народа, но при условии, если они не бросят добычу ради ее тени. Они добьются лишь печальной неудачи, если народ, в своем крайнем увлечении теориями, не будет радеть об единственном практическом, надежном элементе — о силе!

Оружие и организация — вот главное орудие прогресса, решительное средство покончить с нищетой.

У кого меч, у того и хлеб! Перед оружием падают ниц, безоружную толпу разгоняют. Франция, ощетинившаяся штыками рабочих,— вот пришествие социализма.

Для вооруженных пролетариев не будет ничего невозможного, исчезнут все препятствия, всякое сопротивление.

Но пролетарии, которые дают себя забавлять смешными прогулками по улицам, посадкой деревьев свободы, звонкими фразами адвокатов, получат сначала святую водицу, потом оскорбления, наконец — картечь, и нищету всегда.

Пусть же народ сделает выбор!»

Окончив чтение, Сток где-то в глубине души ощутил легкое разочарование.

«Замечательно написал старик,— подумал он,— а чего-то все же не досказал и не постиг».

И вдруг Иоганн, старый боец, последователь Маркса и Энгельса, нашел объяснение своему недовольству.

«Бланки не разобрался в том, что сама жизнь делает из нас, рабочих, наиболее революционный класс на земле. К тому же он в одну кучу валит и рабочих, и просто бедноту, и крестьян. Он не понял, кто же такие пролетарии! Вот отчего нет четкости в словах Бланки! Нет, не создать ему такого союза, как наш. Мужественный он революционер, не чета путанику и хвастуну Барбесу. Но до Маркса и Энгельса ему далеко, как до звезд».

Сток недолго пробыл в Майнце. Ему не терпелось вернуться во Францию. Он понял, что там нужнее. Умный и наблюдательный Лесснер не задерживал его.

«В деле быстрее оправится»,— решил он. В день отъезда старый ветеран и молодой подмастерье за кружкой пива говорили, как два равных друга.

— Ты моложе меня лет на пятнадцать! Может быть, ты и увидишь еще счастье нашего брата. А мне за сорок. Это и есть наш рабочий век,— сказал Иоганн Сток.

— Для революционера нет возраста, возразил Лесснер.— Каждый день борьба для него начинается сначала. Вот мое дело теперь листовки. Когда отпечатаешь их, точно лучи солнца завернул в бумагу и раздаешь их людям. Время, правда, трудное, но тебе, старик, не пристало ныть.

Сток потемнел было, но вдруг схватил Лесснера за руку:

— Сначала я хотел тебе дать оплеуху, но потом понял, что, может, ты и прав. Устал я бороться за будущее, так сказать, в кредит. Неужели ты и впрямь заглянул в мою душу? Нет, Лесснер, не лавочник я, не ноющая волынка.

Вернувшись в Париж, Сток все же долго не мог отделаться от сомнений в самом себе, но больше старался уже не впадать в отчаяние. По вечерам у него собирались рабочие. Жаннетте пришлось отныне слушать не увлекательные выдумки романистов, а книги Маркса и Энгельса и других коммунистов. Сначала она заявляла, что ей скучно, но постепенно мысли о жизни трудового народа, изложенные просто и ясно, стали захватывать и ее. Так человек, впервые слушающий сложную симфоническую музыку, бывает обычно оглушен и раздражен, и лишь после

проникновения в ее сущность для него внезапно открывается новый мир звуков и ощущений, о котором он, не сознавая того, мечтал всегда. В том, что вначале казалось Жаннетте только шумным хаосом, она различала теперь чудесную музыку, голоса отдельных инструментов.

В те же дни в Париже и по всей Франции крепко спаянная партия бонапартистов начала готовиться к государственному перевороту. Со всех важнейших постов в армии были устранены «африканские генералы», как звали в обществе ставленников Кавеньяка. Они были умело заменены приверженцами бонапартистов. К полному удовольствию Ватикана, школы были переданы в руки духовенства. Это черное дело подготовил неутомимый и ловкий враг демократии и социализма Адольф Тьер, председатель комиссии по пересмотру системы образования. Нисколько не маскируясь, Тьер заявлял, что обязательное обучение — это коммунизм и школа для народа — излишний предмет роскоши.

— Массы,— говорил он,— нуждаются в предустановленных свыше истинах, и их единственной философией должна быть религия.

Когда католическая церковь и филантропические религиозные организации стали хозяевами народных школ, многие сельские учителя были изгнаны. Их заменили черные сутаны. Гонениям подверглись также демократы — профессора университетов, чиновники, офицеры и унтер-офицеры. Многих перевели в Африку и другие колонии.

Правительство Луи Бонапарта прозвали «министерством приказчиков», хотя оно значительно больше походило на министерство полицейских. Страна задыхалась в жандармской петле, наброшенной на нее. Неустойчивые честолюбцы в среде чиновников и офицеров устремлялись в бонапартистский лагерь, чтобы из преследуемых стать преследователями. Исполнительная власть Франции располагала полумиллионной армией чиновников. Государство надзирало над всеми гражданами, вторгаясь не только в самые значительные, но и в ничтожные проявления их повседневной жизни.

В то время как сельское хозяйство испытывало большие трудности, промышленность и торговля продолжали процветать.

Великосветский сезон 1851 года был в разгаре. После балов в Елисейском дворце у Фульда и Ротшильда предстоял великолепный прием у Марии Дерук. По замыслу бонапартистов,

в этот вечер должен был произойти смотр руководителей заговора.

Марию окрыляли успехи Луи-Наполеона.

«Как знать,— думала она,— может быть, за все, что я сделала для его возвышения, он в подражание дяде женится на мне. Муж не будет помехой. Его можно убрать в любой момент. Жозефина Богарне была не более знатна, нежели я, и уж во всяком случае во много раз глупее. Да и репутация моя в свете несравненно лучше».

Граф Морни стал с недавнего времени наиболее доверенным другом любовницы президента.

Он имел доступ к ней в любое время.

В день бала, когда парикмахер уложил последний локон и приладил диадему на рыжих волосах «Лисички», Жозеф Морни вошел в ее будуар.

— Все отлично, сударыня! — сказал он и широкой маленькой рукой потрепал щечку проходившей мимо прехорошенькой горничной.

— Вчера в Гранд-опера я зашел в ложу Кавеньяка. Этот старый верблюд посмотрел на меня так, точно я его погонщик. Но я наговорил ему столько похвал и комплиментов, что он стал благосклоннее. Пусть я обанкрочусь на железнодорожных акциях, если я не сумел усыпить его подозрительность и не промыл ему врагьем вспухший было желчный пузырь.

— Какие выражения, Жозеф, вы ведь не на собрании рыботорговцев,— поморщилась Мария.

— Одна из дам,— продолжал Морни,— усерднейшая пропагандистка Орлеанского дома, спросила меня ехидно: что стал бы я делать, если бы мой великий братец задумал разогнать Национальное собрание? Кстати — между нами говоря — хорошая идея! «Не знаю,— ответил я этой дуре.— Но если дойдет до того, то смею уверить вас, сударыня, я всегда буду с теми, в чьих руках находится метла».

Мария хитро улыбнулась только одними глазами. Она боялась, что сложный грим, наложенный на ее лицо и делавший кожу алебастрово-белой, может осыпаться. Затем она сказала, осторожно разжав губы:

— Знаете, Жозеф, этот ответ не только хорош и умен, но в нем отразились и ваш характер, и мораль, и принципы.

— Я не раз говорил вам, что давно уже стал честным буржуа.

— И ваш девиз отныне — нажива.

— А что еще дает нам возможность наслаждаться? Вся наша «елисейская братия» поклоняется той же богине. Без нас Луи Бонапарт пропал бы, как в Страсбурге и Булони.

Бал начался. Луи-Наполеон с видом полководца, обозревающего свои лучшие воинские части, проходил по освещенным сотнями свеч и огромными газовыми шарами залам. Перед ним угодливо, заискивающе склонялись все приглашенные. Молочная сестра Бонапарта госпожа Корню сказала хозяйке дома, задыхаясь от чрезмерной полноты и восхищения:

— Луи-Наполеон величествен, как и надлежит императору Франции! Я нахожу, что высокий рост вполне восполняет то, чего он не унаследовал от великого Наполеона Первого.

Мария ответила словами Гортензии Богарне:

— У президента есть большое преимущество перед Наполеоном Первым, тот восемнадцатого брюмера захватил корону, а Луи-Наполеон может потребовать ее как законный наследник.

Оркестр грянул попурри из «Риголетто». Несколько коммерсантов отправились в курительную комнату, чтобы за низкими мозаичными алжирскими столиками поговорить о красной опасности, подползающей к Парижу. Их особенно тревожил недавно заседавший военный трибунал в Лионе. Судили членов «Молодой Горы», будто бы пытавшихся подготовить восстание в пятнадцати департаментах.

— Я не очень-то верю, чтобы эта голытьба, ослабленная кровопусканьями, могла нам угрожать! — сказал один из лионских текстильных магнатов, виконт Дюваль. Недавно он унаследовал от умершего свекра крупнейшие мануфактуры в департаменте Роны.— Покуда существует полиция, будут также и заговоры. Кажется, так говорил великий Фуше великому императору. Я отнюдь не сторонник «Молодой Горы», но не люблю провокаций.

— Дорогой Дюваль,— ответил один из богатейших банкиров столицы,— я не ожидал от вас такого легкомыслия. Насколько помню, именно вы пулями подавили Лионское восстание. И я думаю, что нас еще ждут страшные дни! Я не поручусь, что мы не погибнем под топорами восставших хамов! Нет ничего чудовищнее разъяренного простолюдина. Ясно одно — Франция накануне кровавой жакерии. Разрешите, господа, познакомить вас с сочинением господина Ромье.— Банкир достал маленькую книжечку в смятой обложке и, вынув бисерную закладку, прочел выразительно, медленно, как проповедь: — «Везде уже дан

пароль, нет ни одного дерева, ни одного куста, за которым не скрывался бы враг, приготовившийся к великой социальной битве...»

Курильщики собрались вокруг него. Одни вяло, другие нервно и злобно откусывали и сплевывали в пепельницы коричневые толстые окурки или раздували в них пламя. Вспыхивая, прессованные палочки душистого гаванского табака освещали на мгновение разнообразные выхоленные, расчесанные бороды, короткие и длинные усы и гладкие или завитые бакенбарды.

— В чем же спасенье? — спросил кто-то из курильщиков, затянулся и выпустил удивительно ровный столбик дыма.

— В военной диктатуре,— ответил финансист.— Весьма здравомыслящий Ромье говорит, что только пушка может разрешить вопросы нашего столетия. Хотя бы ее пришлось привезти из России!

— Из России! Теперь не тысяча восемьсот четырнадцатый год! У нас хватит и своей картечи! — воскликнул кто-то.

— А на какой именно день назначает Ромье восстание черни? Этот писака, видно, хорошо изучил отбросы общества!

— Все должно произойти второго мая тысяча восемьсот пятьдесят второго года, в день переизбрания президента,— значительно произнес банкир.

Синий плотный табачный дым уже заволок комнату. Все продолжали молча курить. Вдруг тишину нарушил высокий насмешливый голос:

— Кто здесь хоронит меня?

В дверях стоял в бравой позе Луи-Наполеон.

Дюваль вынул красивым жестом чуть тлеющую сигару изо рта и ответил, вызывающе глядя в бесцветные глаза Бонапарта:

— Увы, в наше время ничто не вечно, а особенно президенты. Их величие и самое бытие в Елисейском дворце, согласно конституции, исчисляется всего лишь четырьмя годами. В день выборов они начинают недолгий путь к концу, подобно тому как новорожденный постоянно движется навстречу зрелости и смерти.

— Великолепный ответ, однако виконт явно на кого-то зол Юпитер, ты сердишься,— значит, ты неправ,— ответил Бонапарт.— Я объясню вам, в чем дело. Господин Дюваль — член «партии порядка», которая недовольна тем, что я отстаиваю для моей страны возвращение всеобщего избирательно

го права. Я всегда был честным республиканцем и готов принять любой бой за права народа, доверившегося мне как президенту.

— Смею напомнить, что закон о всеобщем избирательном праве был недавно изменен не без вашего участия,— сказал Дюваль. Его светлые, пустые, как у хищной птицы, глаза посветлели от злости.

— Не будем ссориться, дорогой виконт. Политика — скверное ремесло. Но я служу народу, и его благо для меня превыше всего. Должен, однако, сказать, что уважаю прямоту суждений. Вы имеете во мне друга.

Вероломство было одной из наиболее четко выраженных черт в расплывчатом и вялом характере Луи-Наполеона.

Бал в доме Марии внешне ничем особенным не отличался от тех, которые давали в эти дни все богатые и влиятельные парижане. Было очень много военных, к которым весьма благоволил глава правительства, банкиров, биржевых заправил, промышленников. Республиканцы и демократы держались особняком и чувствовали себя неуверенно среди торжествующих бонапартистов.

Обильный ужин, сотни бутылок шампанского и дорогих бургундских вин не смогли развязать языки и объединить общество. Хозяйку дома Марию, однако, нисколько не тревожили скучающие лица дам и колкости по поводу неудавшегося веселья на этом разноликом сборище. Когда начались танцы и картежная игра, она шепнула несколько слов графу Морни и вскоре вместе с ним исчезла из зала.

— Боги! — всплеснул толстыми короткопалыми руками граф Морни.— Вы таки загнали нас в Аид, так, кажется, греки называли преисподнюю. Здесь повсюду одни только урны. Что за пристрастие у такой прелестной женщины ко всякой мертвечине!

— Тише, Жозеф,— умоляюще прошептала Мария,— не святотатствуйте.

Посередине комнаты находилось мраморное изваяние Наполеона I в большой короне. Несмотря на позднюю осень, садовники Марии вырастили в оранжерее фиалки, и сейчас они увядали у подножия памятника. Запах цветов и сырости в не проветривавшемся годами зале был тошнотворен и неприятен. Свечи в старинных канделябрах скупо освещали множество портретов на стенах. Несколько человек в военных мундирах и бальных фраках столпились возле президента.

— Итак, послезавтра, друзья мои, второе декабря, великая годовщина битвы при Аустерлице. Прошло сорок шесть лет, но слава этого дня радует сердце каждого француза,— начал Луи Бонапарт.—Вы знаете, что заговорщики всех видов — коммунисты, социалисты, демократы, легитимисты и орлеанисты — замышляют уничтожить подлинную власть народа, посягнуть на его права. Судьба начертала мне стоять на страже интересов великой и свободной Франции. Но если мы будем медлить, вероломные враги поднимутся и уничтожат все завоевания народа. Наше дело предупредить угрозу, растоптать мятежников, спасти родину. Смерть или победа. Не правда ли, господа?

Луи-Наполеон, вначале говоривший с пафосом и силой, заметно начал выдыхаться. Он озирался и всматривался в лица обступивших его единомышленников. Мария наблюдала за каждым его движением, повторяя про себя чуть слышно заклинание:

— Будь сильным! Не робей! Будь смелым!

И Луи Бонапарт точно снова набрался мужества.

— Откладывать дело нельзя! Национальное собрание стало центром заговора против республики. Все эти Кавеньяки, Дювали, Шангарнье, Тьер и особенно каналья с окраин должны быть захвачены врасплох и обезврежены. Будем беспощадны!

— Да здравствует император! — шепотом, хотя музыка и топот танцующих в соседних залах всё заглушали, провозгласили заговорщики.

Здесь были все его сподвижники. Полковник Флери, промотавший в притонах деньги, доставшиеся в наследство от отца — богатого купца. Прошумев затем дебошами и кутежами в африканской армии, он стал адъютантом и доверенным лицом президента и главным вербовщиком его сторонников среди военных. Он снова мог сорить деньгами, которые предоставлялись для его миссии бонапартистами, спаивая, подкупая и уламывая офицеров всех рангов. Несколько раз с этой целью Бонапарт отправлял его в Африку, где он быстро сколотил бесшабашную банду на все готовых заговорщиков.

Совсем недавно в распоряжение главнокомандующего парижским гарнизоном генерала Маньяна прибыли войска из Африки, на которые в случае переворота бонапартисты могли положиться. Сам Маньян, кутила и мот, был по уши опутан долгами. Ему грозила долговая тюрьма. Бонапарт спас его, одол-

жив миллион франков. В случае удачи переворота Маньян надеялся выбраться из трясины, в которой барахтался.

Покуда Бонапарт продолжал ораторствовать перед теми, кто должен был добыть ему корону, а себе состояние и выгодные места, Мария отвела в сторону давнишнего своего друга по Арененбергу и соучастника Луи-Наполеона по страсбургской и булонской авантюрам — де Персиньи. Он был казначеем предстоящего переворота и его душой.

— Прошу вас, бесценный друг,— прошептала Мария, просительно заглядывая в тяжелое, темное лицо господина де Персиньи,— не оставляйте его высочество ни на минуту. Он так впечатлителен, легко теряет в себя веру. Вы одни можете предотвратить катастрофу, если он падет духом. Это так ему свойственно.

— А вы, мадам, разве ретируетесь? — насмешливо спросил де Персиньи.

— О нет! Но я только слабая женщина. Здесь, в присутствии всех этих героев,— она указала на блестящие мундиры заговорщиков,— я предпочитаю молчать. Кроме того, нельзя, чтобы пошли толки, что император держится за бабью юбку.

— Все наши друзья преклоняются перед вами, Мария! За вас можно, не раздумывая, отдать многих из тех, кто носит сапоги, и даже со шпорами,— улыбнулся де Персиньи.

— К несчастью, вы правы в том, что под словом баба подчас можно подразумевать мужчину.

— Итак, сударыня, не упускайте случая укрепить волю вашего избранника. Я уже имел случай видеть его охваченным слабостью тогда, когда следовало скрывать страх и явить мужество.

Заправилой предстоящего переворота был генерал Леруа, называвшийся также Сент-Арно. В число заговорщиков его завербовал Флери, умевший безошибочно отбирать себе подобных, растленных и на все пригодных авантюристов. Сент-Арно сумел создать в армии, особенно после того, как Бонапарт назначил его военным министром, серьезную оппозицию Кавеньяку и его генералам. Хищник, картежник и бессовестный грабитель, обескровивший беззащитную африканскую колонию Константина, он был достойным соперником властолюбивого палача Кавеньяка. Так же опутанный с головы до ног долгами, он мог осуществить свои планы только с помощью государственного переворота в пользу Бонапарта, обещавшего власть и деньги.

Еще одним среди многих других мотов, игроков, честолюбцев был префект парижской полиции Мопа. Ему было всего тридцать два года, когда он обратил на себя благосклонное внимание президента усердием, с которым преследовал и арестовывал в провинции республиканцев-социалистов. Правда, судьи не оказывали ему желанной поддержки: он собирал недостаточно улик! Впоследствии Мопа усовершенствовал методы своей работы. С помощью провокаторов и хулиганов он начал подбрасывать в квартиры своих жертв оружие, бомбы, поддельные документы. Эти низкие действия Мопа и его префектуры были обнаружены, разыгрался шумный скандал. Но Бонапарту такие люди были особенно нужны, и он перевел Мопа из провинции в столицу и повысил в чине. Таким образом, армия и полиция были полностью к услугам заговорщиков.

— Здесь, перед лицом всех моих предков и великого императора, которому я наследую, я призываю вас еще раз принести присягу нашему общему делу во имя процветания Франции! — сказал Луи-Наполеон.

Бонапартисты упали на колени перед изваянием Наполеона I, несколько смущенные чрезмерной патетичностью разыгравшейся сцены.

— К делу! — сказал Луи-Наполеон.— Прошу господ Морни, Персиньи, Сент-Арно и Мопа быть завтра ночью в моем рабочем кабинете. А теперь — к гостям.

Мария подошла к двери и приоткрыла портьеру. Заговорщики поодиночке покинули ее «храм». Оставшись одна, она, охватив руками голову, распростерлась на ковре. Она плакала от счастья. Наконец-то свершалась мечта всей ее жизни. Она выполнила клятву, данную у постели своей умирающей благодетельницы Гортензии Богарне.

— Чтобы испытать этот блаженный миг, стоило жить,— шептала Мария.

На другой день у Бонапарта собрались заговорщики. Морни, как ни старался, не мог скрыть своего страха.

— Да-с, дельце мы затеяли. Никогда я не шел на такой риск, хотя и приобрел репутацию отчаянного биржевика. Тут можно, господа, не то что остаться нищим, но к тому же потерять такую немаловажную принадлежность, как голова,— пытался он острить.

Изрядно выпивший Сент-Арно, как умел, вселял бодрость в сообщников.

— Успех этого сражения обеспечен. Должен сообщить, что даже в провинции Константина, сражаясь с кабилами, я был менее уверен в победе, а между нами говоря, эти почти безоружные африканцы ничего не значили по сравнению с нашей отличной артиллерией и многочисленной пехотой.

В полночь явился и сам Луи-Наполеон. Он старался казаться спокойным. Из потайного ящика он вынул пакет. На нем было написано только одно слово: «Рубикон». В конверте находились прокламации, декреты, воззвания, которые следовало сейчас же напечатать и распространить.

— Дорогой Жозеф,— заявил Бонапарт, повернувшись к Морни,— среди этих бумаг находится ваше назначение. Отныне вы министр внутренних дел. Итак, друзья, мы начинаем выступление на рассвете. Когда-то мой гениальный дядя, Наполеон Первый, в незабываемый исторический день восемнадцатого брюмера встал на защиту Свободы и гражданских прав и разогнал узурпаторов. Сейчас нам предстоит сделать то же. Ступайте и действуйте! Рубикон перейден!

Адъютант президента с ротой жандармов ночью занял типографию и предложил печатать документы бонапартистов. Чтобы не вызвать подозрений наборщиков, рукописи были разрезаны на мелкие полоски. Однако рабочие почуяли недоброе и отказались приступить к работе. Тогда около каждого из них поставили по два солдата с ружьями. Жандармы объявили, что будут убивать на месте каждого, кто попытается покинуть типографию. К трем часам утра все прокламации были готовы и под руководством Мопа розданы для расклейки особо доверенным лицам. Ночью же префект полиции приступил к излюбленному своему занятию — арестам. В проскрипционных списках, где были главным образом социалисты и видные республиканцы, оказались также Кавеньяк и Тьер.

Друг династии Орлеанов Тьер крепко спал, когда за ним пришли полицейские. Ничто не могло особенно поразить этого циника. На месте Луи-Наполеона он поступил бы точно так же. Снимая белый ночной колпак и длинную рубаху, он обдумывал, как себя вести, и пришел к выводу, что ничего серьезного ему не угрожает. С обычной развязностью Тьер вошел в тюремную камеру и потребовал, чтобы ему немедленно подали горячий кофе с молоком. Он сумел доказать полицейской администрации, что не намерен нарушать режим питания даже в угоду Бонапарту и что здоровье его еще не раз пригодится Франции.

Иоганн Сток узнал о совершившемся перевороте утром, когда шел в свою мастерскую. На углу улицы он прочел извещение, что президент республики постановляет распустить Национальное собрание и весь округ объявляется на осадном положении. В длинной прокламации говорилось, что раскрыт злостный заговор большинства депутатов собрания, который грозил Франции гражданской войной.

«Конституция, как вам известно, была установлена так, что она должна была заранее подрывать ту власть, которую доверили вы мне»,— заявлял Бонапарт и требовал фактической диктатуры, опираясь на пять параграфов конституции своего дяди Наполеона I, действовавшей в 1799 году, когда тот стал первым консулом.

Под призывом к населению было приклеено грозное предупреждение полицейского префекта Мопа против сборищ на улицах и какого бы то ни было противодействия новой власти.

Сток побежал к Бурбонскому дворцу. Он увидел, как из здания собрания, уронив на пороге шарф — должностной знак, выбежал испуганный председатель собрания Дюпен и за ним несколько депутатов. Солдаты с гиканьем гнали их пинками и ударами шашек в ножнах.

— Право за нами, но сила в руках противника! — крикнул один из народных представителей, бросаясь со всех ног в близлежащий переулок.

Сток пошел по предместью Сен-Жермен, богатейшей части Парижа. Ничто в этот час не напоминало о случившемся. Только на окраинах портной заметил зловещее оживление.

Жаннетта встретила Иоганна на пороге. Она подошла к нему вплотную и заглянула прямо в лицо. Худшие опасения ее подтвердились.

— Ты пришел, чтобы уйти. Останься дома, отец. Чем будете вы сражаться? Кулаками? В предместье нет больше ни одного ружья. Тьер, Кавеньяк или Бонапарт — какая разница для рабочего человека? Все они враги наши, все кровопийцы.

— Где Жан? — резко прервал портной.

Узнав, что сын не возвращался из поездки, он взял на руки Катрину и долго прижимал свежее, счастливое от неведения детское личико к своей обросшей щеке.

— Ты всегда была добра к нам, Жаннетта, не оставляй и впредь моих детей. Вам троим легче будет на свете,— сказал он.

— Что за проповеди, Иоганн! Не думаешь ли ты сложить голову за конституцию? — чуть не плача, сказала Жаннетта.— Пожалей своих детей. Останься! От конституции давно остались только хвост да уши. Не ищи же смерти зря!

Но Сток ушел. На одной из окраинных улиц, где толпились возбужденные событиями рабочие, он увидел тюремную карету, везшую узников из Венсенна.

— Депутатов везут! — раздавалось в толпе.

— За мной! Освободим их! — крикнул портной и схватил под уздцы лошадей. За ним к карете бросились остальные рабочие. Но на освободителей смотрели посеревшие от страха лица. Смертельно перепуганные депутаты принялись умолять толпу не освобождать их.

— Уйдите! Оставьте нас! Иначе мы из-за вас поплатимся жизнью,— кричали арестованные.

Сток обернулся к отступившей было страже.

— Везите дальше ваш груз,— сказал он с презрением,— нам он не нужен. Идемте, братья, вы видели, что это за люди.

Сток пошел бродить по Парижу, не отдавая себе ясного отчета, почему он не возвращается домой. На Больших бульварах горсточка парижан с присущей французам горячностью обсуждала происшедшие события. Однако появившиеся военные разогнали собравшихся.

Растерянность и недоумение повисли над окраинами. Сток понимал все. Но возле него не было ни одного друга, который выслушал бы то, что его томило, помог бы решить, как быть. Маркс, Энгельс были далеко, Кабьен и Женевьева не существовали. Сын и Жаннетта не понимали его.

«Все кончено. Даже тень февральской революции отныне исчезла. Вор, авантюрист стал отныне диктатором. Снова украдена свобода, надежды рабочего класса. Штыки и рясы, которым уже отданы школы, будут править нами. И это все, что выросло на крови героев февральской революции. Маркс говорит, что надо взращивать семена победы. Однако нужны не только люди, но и почва. Он прав. Но я не доживу до этих дней».

Военный патруль проходил вдоль набережной. Париж был на осадном положении. Портной вошел в подъезд и переждал, пока солдаты скрылись вдали.

Память Стока была в эту ночь подобна чистому небосклону, усеянному звездами. Он перебирал всех, с кем сводила его судьба. Каждый человек несет в себе свою вселенную.

«Может быть, вернуться к детям и успокоить Жаннетту?» — подумал портной. Он знал, что она мечется в ожидании его, и повернул домой. Стока уже не трогало малодушие, охватившее Париж. И в это именно время на одной из улиц в предместье Сент-Антуан он встретил депутата Национального собрания Бодэна.

— Постой-ка, брат! — окликнул Бодэн портного.— Я видывал тебя в портняжной мастерской и рад, что ты жив.

Так в эту декабрьскую ночь решилась судьба Стока. Утром с возгласами «К оружию! На баррикады! Да здравствует конституция!» Сток, Бодэн и несколько сот рабочих обезоружили сторожевые посты и бросились строить баррикаду. Несколько задержанных телег оказались недостаточным строительным материалом для возведения уличного бастиона. Вскоре прибыли войска, чтобы усмирить восставших. Видя всю бесполезность борьбы, некоторые защитники баррикады, не ожидая боя, собрались уходить. Тщетно Бодэн и Сток уговаривали их остаться.

— Это не баррикады, а решето! Мы не хотим подставлять свои головы только для того, чтобы сохранить за собой заработок в несколько франков в день,— сказал худой ткач и бросил ружье.

В это время рота солдат двинулась на рабочих.

— Стойте, братья! Вы увидите, как люди умирают за гроши на хлеб! — вскричал в отчаянии Бодэн, взбираясь на баррикаду.

Раздался оглушительный залп. Пораженный тремя пулями в голову, он упал бездыханным на руки Стока.

Весть о смерти одного из самых честных, твердых и уважаемых среди рабочих членов партии Горы мгновенно облетела рабочие окраины. Она действовала как электрическая искра! Город ожил, стал роко тать. Вскоре появились другие очаги сопротивления цезаристской власти. Стены домов покрылись рукописными листовками, призывавшими сражаться с узурпатором. Сторонники орлеанистов и либеральной буржуазии открыто высмеивали Бонапарта, вспоминая жалкий исход его былых авантюр в Страсбурге и Булони. Однако Сент-Арно и его шайка не растерялись. На основании осадного положения военный министр известил парижан, что всякий, кто будет захвачен при постройке и обороне баррикад или же с оружием в руках, будет расстрелян на месте.

И все же в Елисейском дворце в ночь с 3 на 4 декабря ни-

кто не ложился. Префект Мопа до такой степени был охвачен страхом, что закаленный неудачами на бирже новый министр внутренних дел Морни послал подчиненному депешу: «Ложитесь скорее спать, пока не замарали штанов».

Около полуночи генерал Маньян издал приказ войскам не показываться на улицах города. Таково было указание Жозефа Морни. Этот розовощекий лысый делец превзошел всю «елисейскую братию» в кровожадности и коварстве. Собрав заговорщиков, он сказал:

— Пусть бунтовщики соберут свои силы и понастроят баррикады, а мы потом одним ударом раздавим их. Мы ведь в тридцать, если не больше раз сильнее их! Не будем утомлять войска мелкими стычками. Надо, чтобы они были наготове в решительный момент. Нам нельзя растягивать борьбу, иначе успех может обернуться поражением.

Четвертого декабря генерал Маньян дал приказ войскам выйти на улицы и палить картечью безо всякого предупреждения не только по баррикадам, но и расстреливать толпы гуляющих на улицах. И зверское избиение парижан началось. Охмелевшие солдаты палили из пушек по бульварам, садам и домам, кавалеристы верхом врывались в кафе и рубили шашками случайных посетителей, кто бы они ни были.

Когда все баррикады были разметаны в щепы артиллерийским огнем и оставшиеся случайно в живых их защитники застрелены на месте, Бонапарт решил проехаться по своей столице. Его сопровождал эскорт с факелами. Мария упросила императора, как отныне она называла Луи Бонапарта, разрешить и ей сопровождать его в этой прогулке.

На бульварах в этот вечер были расставлены столы, и бочки с вином непрерывно доставлялись победившему войску. Горели костры. Огонь их поддерживался щепками, оставшимися от разрушенных баррикад. Музыка военных оркестров заглушал залпы, доносившиеся с Марсова поля,— там все еще расстреливали рабочих. В полицейской префектуре, чтобы избежать шума, захваченных защитников баррикад убивали ударом толстой дубины по виску. Оправившись от страха, префект Мопа сам руководил экзекуцией и учил своих агентов бить насмерть.

— Ты не смотри, что это человек, бей его, как быка. Сегодня у нас сущая бойня,— приговаривал он.

Бонапарт со своей свитой долго разъезжал по Парижу. Всюду его встречало гробовое молчание. Только там, где неисто

ствовала пьяная солдатня, кое-кто кричал ему приветствия. Город снова судорогой свел террор.

Иоганн Сток был тяжело ранен на баррикаде, перегородившей улицу Святой Маргариты. Войска оцепили ее со всех сторон и расстреливали из пушек. Сток лежал под кузовом кареты, медленно истекая кровью. Он остался всеми незамеченным. Ушли солдаты, увели пленников, а он все еще плавал в светлом бездумном тумане. Когда вместе с острой физической болью и слабостью к нему вернулось сознание, он сделал попытку приподняться, но кузов кареты прижал его, как гробовая крышка. Тщетно пытаясь освободиться, Иоганн опять потерял ощущение бытия. Затем снова вернулись боль и мысль. Силы исчезали вместе с вытекающей из ран кровью. Иоганн осознал, что часы его сочтены, и удивился своему спокойствию. Умирать вовсе не было страшно. Он почему-то вспомнил траву на могиле Женевьевы и то, как неприметно и спокойно увядают зеленые хрупкие стебельки. Что-то похожее на сожаление о жизни возникло в его сознании.

«Спасите»,— захотелось ему крикнуть. С чувством отвращения к себе он сжал плотно сухие губы. «Сток, разве ты жалкий трус?»

— Единственно, что мне остается,— это умереть по-человечески,— шептал он едва слышно.

Вдруг ему стало легче. Иоганн открыл глаза. Необъяснимое любопытство, какое испытывает ребенок, стремящийся поймать мгновение, когда его поглотит сон, охватило умирающего.

Тем временем лошадиный топот, голоса людей внезапно полоснули тишину, принесшую мир в душу Стока. Какие-то люди с факелами в руках подняли кузов, увидели и вытащили его.

— Заговорщик, блузник! — раздались крики.— Сир, не омрачайте торжества зрелищем этого презренного анархиста.

Два офицера подняли Иоганна на ноги и, поддерживая, скрутили назад бессильные руки.

— Этот негодяй притворяется тяжело раненным,— услышал Сток надменный женский голос.

С огромным трудом он приоткрыл глаза. Свет огней ослеплял. Телохранители подтащили его к карете. Сток увидел знакомое лицо Бонапарта.

— Да здравствует коммунизм! — собрав последние силы, крикнул Иоганн.

Луи-Наполеон побагровел, выхватил пистолет и, подавшись всем корпусом вперед, выстрелил в большой выпуклый лоб портного.

— Однажды я убил плебея и меня пытались судить за это! Отныне это невозможно! — воскликнул он.

— Особа императора неприкосновенна и священна. Вы подлинный герой, мой обожаемый,— сказала Мария.

Карета императора и сопровождавший ее кортеж помчались дальше.

Иоганн Сток лежал на мостовой с потемневшим, опаленным лицом, глядя в небо открытыми, ничего более не видящими глазами.

1958

Книга вторая

Посвящаю Никите Сергеевичу Хрущеву

I. В ИЗГНАНИИ

Невозможно отделить Англию от ее туманов. Они то же для нее, что солнце для тропических островов, что северное сияние и долгая ночь для Заполярья. В их мутной пелене таится вдохновляющая сила. Туман — творец сказок. Без него не могло быть ирландской саги, шотландских поэм, английских легенд. Туман-кудесник по своей прихоти изменяет окружающее. Окрашенный перегаром очагов, он нередко побеждает солнце и повисает над землей непроницаемой завесой. Тогда днем темнее, чем ночью. С мигающими фонарями бродят по улицам прохожие-невидимки. Туман пополз в щели и наполнил жилище дымом, свет в окнах от этого багровый, тусклый. Заунывно гудят повсюду сигнальные гонги, непрестанно визжат звонки. Человек идет на звуки. Небо как опрокинутая чернильница.

Наиболее обманчив желтый туман. Он зловонен, жирен, ползуч, как гной. Огни бессильны и не могут пробиться сквозь его мельчайшие ядовитые клетки. В дни желтых туманов гибнут в столкновениях корабли. Пастухи и животные, потеряв дорогу, блуждают в горах, срываются в пропасти, поезда идут под откос, люди сталкиваются лбами. Все тонет беззвучно и невидимо в разъедающем глаза и горло желтом киселе. Ноет тело, сердце, тупеет мозг, не получая живительного кислорода. Человек вязнет в мокрой вате, слепой и оглохший. Туман лишает его основных двух чувств, обостряя лишь осязание.

Прекрасен белый туман, иногда легкий, прозрачный, иногда густой, но светлый, как внутренние стенки раковины.

Мглистая дымка никогда не исчезает, не рассеивается над Англией. Туманы выдают секрет своеобразной английской живописи, происхождение блеклых закатов и восходов солнца на полотнах великого британского художника Тернера.

Волшебный туман превращает золушку в принцессу. Грустные бесцветные озера в туманное утро величественны и безбрежны.

Пастух со стадом на бурых пастбищах, подобно путнику в пустыне, окружен миражами. Туман превращает дальнее дерево в башню, камни — в причудливые здания. Плеск ручья, приглушенный туманом, доносится говором толпы. Так рождаются сказки, стихи, легенды.

Поразителен в сумеречный туманный день Лондон. Ограды особняков вырастают внезапно на узкой улице, как войско, обнажившее мечи, укрытое щитами. Каждая рыбная лавчонка под пологом тумана — корзина, полная только что выловленных влажных, с матовым блеском жемчужин.

Великобритания в середине XIX века была самой сильной колониальной и промышленной империей мира. Ничто, казалось, не угрожало ее процветанию. Фунт стерлингов был наиболее устойчивой валютой, и государственный банк Британии диктовал свои законы всем биржам. Не только британские деньги, но и печать обрела огромное могущество. Газета «Таймс» была настолько влиятельной, что к каждому ее слову прислушивались правительства Европы и Америки.

Чопорное самодовольство окутывало уверенный в себе Лондон.

В один из первых дней после переезда в Англию Маркс направился в Монтег-хауз, где в то время помещался Британский музей, затерявшийся в сложном лабиринте столичных улиц. Это было ничем не интересное, весьма сумрачное здание. В холодных темных залах громоздились доставленные туда со всех концов земли трофеи Великобритании.

Карл внимательно осматривал один отдел этого святилища за другим. По особому закону вещь, попавшая сюда, никогда не может быть изъята.

Не Персия или Турция, позаимствовавшие для своих поразительных ковров цвета и краски у неба, у поэтов — сюжеты, у

гаремных затворниц — их преувеличенное представление о недосягаемом для них мире, владеют совершеннейшим из ковров.

Лучший ковер мира, страшный по числу затраченных на его создание часов труда, висит не в мечети на Востоке, не в прославленном дворце шахов, а в одном из неприветливых холодных залов Британского музея. В сокровищнице Великобритании есть величайшие алмазы и кровеподобные рубины Индии, неповторимые по раскраске вазы и священные древнейшие будды Китая.

Карл, размышляя о могуществе британского колониализма, медленно шел из зала в зал, пока не оказался в огромном египетском отделе. Справочные таблички перечисляли статуи, расставленные подряд вдоль стен, словно в антикварной лавке. Собранные здесь бесчисленные реликвии древней цивилизации потрясли Маркса, но в то же время вызвали чувство досады. Напыщенные фараоны, свирепые священные быки, звероликие Изиды и Озирисы, испещренные иероглифами двери и фасады храмов, куски колонн лежали здесь немые, неинтересные вдали от породившей их Нильской культуры, оторванные от африканской земли и солнца. Так думал Маркс, наклоняясь над десятками мумий, которым узкие комнаты Британского музея заменили темные своды пирамид.

За смелую неосуществимую мечту — обрести бессмертие — властелины Египта спустя несколько тысячелетий расплачиваются тем, что превращены в интригующие экспонаты музеев. Миллионы человеческих глаз рассматривают, изучают, как древние письмена, иссушенные, выпотрошенные оболочки некогда живших людей. Смерть лишена индивидуальности, и одинаково жалки и отталкивающе безличны трупы храбрых египетских полководцев и прославленных красотой танцовщиц храмов.

Мысли Карла были далеко, и он не сразу услышал, как толстый краснощекий старик сторож сказал ему, позевывая:

— Веселее жить среди дохлых крокодилов, чем сидеть на этом кладбище с утра до сумерек и следить, чтобы кто-нибудь не стащил эти чучела.

Маркс улыбнулся. Он всегда рад был случаю послушать человека, не лишенного чувства юмора. Сторож оказался в прошлом полисменом. Когда-то в течение многих лет этот рослый шотландец украшал своей величественной фигурой перекре-

сток Сити. Стоило ему поднять руку, имевшую силу плотины, мгновенно задерживающую бурные потоки карет и омнибусов, как движение замирало. А теперь, в старости, он был приставлен охранять могилы египетской знати.

Расставшись с фараонами, Маркс прошел в античный отдел музея. Он показался ему не менее обширным, утомительным и скучным. Лепные украшения, амфоры, надгробия должны были воссоздать быт римских патрициев и греческих деспотов. Среди изуродованных временем грустных обломков — останков далекого прошлого — Маркс искал то, что рассказало бы о жизни миллионов рабов, ремесленников и крестьян. Это большинство человечества нередко лишено было исторического воскрешения.

Не только храмом искусства, не только неудачной иллюстрацией истории казался ему музей, но и образцовой рекламой великобританского колониализма.

Церковь и школа с малолетства приучали каждого островитянина думать о возвеличении империи королевы Виктории. Не случайно ее корону украшали и величайшая жемчужина Индии, и драгоценные камни, добытые в колониях. В Британском музее Карл видел, как ловко восхваляются благодеяния британов в порабощенных землях. Диким и страшным показан быт островитян Тихого и Индийского океанов до того, как там водрузили флаг Британской империи. Ничто не напоминает о зверствах завоевателей. Из-за стекол шкафов смеются и хмурятся языческие боги, восковые негритянки в уродливых белых рубахах плетут из пальмовых листьев циновки, в то время как приветливый миссионер читает им полезные наставления. На картине английского художника изображена резвящаяся в день рождения королевы Виктории чернокожая детвора.

Карл вышел покурить. Многое открыл ему великий Британский музей, знаменитый сообщник грабежей знатных путешественников, безжалостных солдат и решительных миссионеров, подобный сказочной пещере жадных разбойников, воспетых Шехерезадой.

Тут же, в здании Монтег-хауза, находилась библиотека-читальня — мрачный длинный зал с неисчислимыми богатствами. Карл был удивлен неудобством помещения и потрясен обилием книг, перечисленных в сотне огромных каталогов. Библиотекарь заполнил карточку Маркса на право постоянного посещения читальни, предварительно шепотом выяснив фамилию, имя, возраст.

— Ваша профессия или звание? — спросил он, не поднимая головы.

— Доктор философии,— ответил Карл.

Передавая Марксу книги, библиотекарь сказал с гордостью:

— Британский музей основан в тысяча семьсот пятьдесят третьем году и открыт для публики в тысяча семьсот пятьдесят девятом. Сейчас он не вмещает уже всего, что имеет, а новые исторические реликвии и книги непрестанно прибывают. Рад сообщить вам, что архитектор уже изготовил проект, и через несколько лет, я надеюсь, не только музей, но и вся библиотека, которыми так гордится Великобритания, будут находиться в великолепном помещении.

Маркс погрузился в чтение, радуясь тишине вокруг, нарушаемой только шелестом страниц.

За миллионами книжных переплетов жили мысли, фантазии, научные догадки, гениальные открытия многих столетий. Редко кто умел, подобно Карлу, чувствовать и понимать книгу. С ранних лет она была ему нужна, как хлеб, воздух, вода. Он не помнил себя без книги. Тысячи и тысячи их перебывали в его руках, будоражили мысли, смягчали горести, рождали негодование или улыбку. С годами, узнавая все больше и больше, он становился требовательнее. Все труднее было найти желаемое, и тем больше радости приносили те книги, которые помогали работе и давали высокое наслаждение уму или хороший отдых.

Маркс, как верного друга, полюбил читальню Британского музея.

Хрупкие листы бумаги, буквы обладают заманчивой тайной продления человеческого бытия. Перегруженные гигантские полки, упирающиеся в потолок, напоминают грандиозный колумбарий. Но в старинных кожаных или изящных матерчатых и обычных картонных переплетах — урнах — не хлопья пепла, а перешагнувшие века полнокровные, обжигающие, бодрящие, утешающие, звонкие, унылые, родящие смех, деловые и мудрые слова.

Но, как и кладбище, книжные шкафы, наперекор былым раздорам, соединили на одном пространстве — полке — лютых врагов и разбросали верных друзей в угоду расчетливым, умело составленным каталогам.

В обильном отделе французской революции опять встретились и поставлены рядом Дантон и Робеспьер, Марат и госпожа Роллан.

Одинок, как и в жизни, многотомный Данте.

Маркс, тщательно знакомясь с драгоценностями библиотеки, узнал, что в особом тайнике хранится до двух тысяч папирусов, извлеченных во время раскопок. Десятки ученых посвятили себя их расшифровке, проводя в читальне Британского музея большую часть жизни.

Рядом с Марксом за узеньким столиком сидел молодой астроном. Он просматривал античные небесные карты и зачитывался средневековыми многословными и неясными записями астрологов о затмении солнца и загадочных нашествиях комет. Поодаль уезжающий в Индию чиновник знакомился с разнообразными проявлениями тропической лихорадки, описаниями охоты на слонов, правовыми преимуществами англичан перед индийцами.

Французский историк приехал в Лондон, чтобы перерыть письма и счета Марата, долго жившего в Англии, а заодно перечитать любовный бред и памфлеты неугомонного политикана Мирабо. Историк жаждал оклеветать великого революционера Марата и воспеть продажного болтуна Мирабо. Не найдя достаточно материалов в Национальной библиотеке Парижа, он пересек Ла-Манш. В архивных хранилищах Британского музея много редкостных документов.

Неудачливый компилятор с важным видом выдергивал цифры из справочников, чтобы подтвердить ранее выкраденные и плохо перелицованные размышления и анализы знатоков вопроса. Весьма напыщенная дама читала исследование об особенностях фламандской школы живописи.

* * *

Иосиф Молль, соратник и друг Маркса, пал героически во время Баденского восстания в битве при Мурге. Девяностотысячное прусское войско с трудом, ценой большой крови, одержало победу над пятнадцатью тысячами солдат революционной армии. Иосиф Молль сражался до последнего патрона. Его смерть была тяжелым ударом для всей партии коммунистов.

Энгельса потрясла гибель Иосифа Молля. Чуткая, сильная и вместе крайне отзывчивая душа Фридриха горевала.

«Тем жертвам баденского восстания,— писал Энгельс,— которые в той или иной мере принадлежали к образованным классам, в прессе, в демократических союзах воздаются всякого рода почести в стихах и прозе. Но никто не поминает ни

словом о сотнях и тысячах рабочих, которые вынесли на себе всю тяжесть боев и пали на полях сражений, о тех, которые заживо сгнили в раштаттских казематах, или о тех, которым теперь за границей, единственным из всех эмигрантов, приходится в изгнании испить до дна горькую чашу нужды... Наши «демократы» слишком невежественны и слишком проникнуты буржуазным духом, чтобы постичь революционное положение пролетариата, постичь будущее рабочего класса. Поэтому им ненавистны также те истинно-пролетарские характеры, которые слишком горды для того, чтобы льстить им, слишком проницательны... Но если так называемые демократы не заинтересованы в том, чтобы оценивать по достоинству таких рабочих, то долг партии пролетариата — воздать им по заслугам. И к лучшим из этих рабочих принадлежал *Иосиф Молль из Кёльна*...

...После февральской революции он вернулся в Германию и вскоре вместе со своим другом Шаппером принял на себя руководство Кёльнским рабочим союзом. Эмигрировав в Лондон после кёльнских событий 1848 года, он вскоре вернулся в Германию под чужой фамилией, вел агитационную работу в самых различных местностях и принимал на себя выполнение *миссий, которые отпугивали всех других своим опасным характером*. Я снова встретил его в Кайзерслаутерне. И здесь он взялся за выполнение таких поручений в Пруссии, которые подвели бы его прямо под расстрел, если бы он был узнан. Возвращаясь из своей второй поездки такого рода, он благополучно пробрался через расположение всех неприятельских армий до самого Раштатта, где немедленно вступил в наш отряд, в безансонскую рабочую роту. Спустя три дня он был убит. Я потерял в нем старого друга, а партия — одного из своих самых неутомимых, бесстрашных и надежных передовых бойцов».

Прошло немного времени со дня гибели Молля. Фридрих Энгельс жил в Швейцарии. Он изнемогал от тоски. Но вернуться в Германию означало быть немедленно арестованным и, может быть, даже казненным. Его друзья и соратники решительно требовали, чтобы он оставался за границей.

Тихо плескались в каменных берегах серо-синие чистые воды озера Леман. Было воскресенье.

Швейцарские города в воскресные дни бывали пусты, без-

жизненны, как будто эпидемия чумы или холеры загнала в дома все живое. Пятьдесят два дня в году Швейцария вычеркивала из календаря — этого счетчика времени, пятьдесят два интервала, пятьдесят две долгих паузы в жизни — пятьдесят два воскресенья. Молчаливые тени людей в темной одежде с молитвенниками в руках дважды в день отправлялись в храмы. Редкие полицейские дремали на пустых улицах. Кофейни, рестораны, двери и ставни жилищ были наглухо закрыты. Казалось, что по воле бессердечного Кальвина, чья религия утвердилась в Швейцарии, смерть или опустошительное бедствие нависли над страной. Верующие шли молиться, опустив головы, как беженцы или как сопровождающие похоронную колесницу.

Энгельс, отбрасывая носком узкого штиблета камешки, прогуливался по чистенькой набережной Женевы. Приближались прозрачные сумерки, ранние в этой горной стране. Жаркий день сменился прохладой. На пышных каштанах созрели плоды; иногда они с шумом падали и раскалывались на песке приозерного бульвара.

Когда Энгельс подходил к пристани, его заметил молодой человек в потрепанном, но тщательно выутюженном костюме, сидевший на скамье с газетой в руках. Юноша вскочил и, жестикулируя, бросился навстречу.

— Рад видеть вас, Энгельс.

— Добрый вечер, Либкнехт.

Они пошли рядом вдоль озера. У Вильгельма Либкнехта была очень привлекательная внешность. Особенно выразительны были большой нос с горбинкой и продолговатый овал лица. Выражение глаз и манеры молодого человека отражали застенчивость, маскируемую развязностью. Он часто краснел, то размахивал руками, то прятал их, вдруг замолкал в разговоре, как бы подыскивая нужные слова.

— Поймите меня правильно. Я считаю вас человеком чересчур резким, но ценю ваши знания и отвагу. Не только умом, но и талантом надо обладать, чтобы в столь молодые годы написать книгу о положении рабочего класса в Англии, быть таким колким публицистом, военным тактиком и теоретиком. Это удивительно.

— Вы говорите так высокопарно, точно готовите мне эпитафию,— попытался остановить похвалы собеседника Энгельс.

Но тот не унимался.

— Я видел немало так называемых великих мужей...

— Надеюсь, дорогой Либкнехт, вы не имеете в виду великих пигмеев, вроде Гейнцена и Струве, которых хорошо знавали,— расхохотался Энгельс.— Сравнение с ними я уж как-нибудь выдержу. У вас передо мной преимущество: шесть лет разницы в вашу пользу. Все приходит к тому, кто умеет ждать,— говорят французы, а я добавлю: бороться.

— Вы прозорливый человек. Я, право, хотел бы сражаться под вашим командованием.

— Не забывайте, что я всего лишь лейтенант Виллиха в пору Баденского восстания. Там сражались и вы, Вильгельм.

— Мне кажется, Фридрих, вы быстро ориентируетесь, в любой сложной обстановке. Ваши статьи в «Новой Рейнской газете» о революционной войне в Венгрии всеми, кто их читал, приписывались крупнейшим военачальникам. Все, что вы в них предсказывали, сбывалось. Признайтесь, какими документами вы располагали? — допытывался Вильгельм.

Энгельс хитро прищурился. Широкие ноздри его слегка шевелились. Что-то ребяческое и задорное было в выражении энергичного лица.

— Я не имел ничего, кроме официальных сводок, печатавшихся в газетах австрийского правительства. Официозы постоянно врали, что австрийцы одерживают победы в Венгрии.

— Что ж, у вас талант ясновидца?

— Нет. Я просто брал факты, а не плутал за дымовой завесой газетных выдумок. Названия местностей, расположение частей до и после боя, передвижение войск служили мне лучшим опровержением официальной лжи и помогали делать правильные выводы. Карта военных действий опрокидывала все фальсификации, по которым получалось, что австрийцы-победители наступают назад, а венгры отходят вперед.

— Благодаря вашим статьям мы знали: несмотря на фанфары австрийцев, объявивших о разгроме венгров, они фактически стремительно бежали от войск Кошута. Для меня было счастьем познакомиться с вами во время баденских боев. Что сказать об этих днях? Хотя поход был бездарно организован и заранее обречен, мне он дороже всего в жизни. А теперь я прозябаю в этом рае дремлющего сытого буржуа.

— Не унывайте, Вильгельм. На нашей планете еще много для нас дел и свершений.

Долго прохаживались они в этот вечер по набережной Женевы.

Вскоре Энгельс отправился в Италию. Это был единственный путь, по которому он мог добраться до Лондона без риска.

На неспокойном Апеннинском полуострове история залегала пластами, и, как опытный геолог, Энгельс различал минувшие эпохи возвышений и падений, которые знал с ранней юности. Страна великих полководцев, революционеров, ученых и поэтов волновала его воображение.

Братья Гракхи, Брут и Катулл были так же дороги ему, как неистовый Джордано Бруно, проницательный Галилей, мечтательный Петрарка и мудрый Данте. Давно задумывался Энгельс над историей развития и гибели разных цивилизаций. Древний Рим, Венеция и пришедшая ей на смену Генуя не раз приковывали к себе его беспокойную, пытливую мысль.

Не отрываясь от окна почтовой кареты, любовался Энгельс величавым зрелищем горного перевала. Вот уже отошли снежные вершины. Потеплело. Открылся вид на озеро. Между шестов на веревках вялилась на солнце рыба, высыхали на ветру макароны. Была чудесная осенняя пора.

Энгельс остановился на ночлег в придорожном трактире. До полуночи любовался он итальянским небом, на котором даже тусклый Млечный Путь казался россыпью алмазов. Когда он проснулся на рассвете, до его слуха донесся сильный нежный мужской голос, поющий волнующую арию из «Нормы».

«Здесь, очевидно, остановился какой-то прославленный тенор»,— подумал Фридрих и поспешил к окну. По улице, громко распевая, шел погонщик осла, запряженного в маленькую тележку. Обросший и загорелый, в коротких штанах и порванной, как после драки, белой рубахе, подхваченной кожаным старым поясом, он точно сошел с жанровой картины.

Ничто так не обогащает ум человека, не расширяет его горизонтов, как путешествия и знакомство с чужими странами. Энгельс жадно впитывал в себя новые впечатления. Он совершенствовал и проверял также свое знание итальянского языка.

Италия переживала тяжелые времена. После яркой, озарившей на миг страну революционной вспышки 1848 года опустилась мрачная тьма реакции. Австрия мстила за ненадолго потерянное ею господство и требовала от маленьких государств раздробленной Италии повиновения и расправы с революционерами.

Террор свирепствовал в Венецианской и Ломбардской провинциях. Только в маленьком Пьемонте в Сардинии король Виктор Эммануил сохранил основной статут — конституцию 1848 года. Этот молодой монарх не забыл уроков минувшего года, стоившего престола его отцу, и под влиянием министров — известного писателя и художника дальновидного Д'Азелио и либерала Санта-Роза — не уступал венскому двору в его требованиях отказаться от всяких национальных претензий. Понимая силу сопротивления народа наступившей реакции, он устоял против подкупа австрийцев, предлагавших значительные экономические уступки. Король Виктор Эммануил мог проявить твердость, так как государство его было отлично защищено с тыла непроходимыми Альпами. К тому же он заручился поддержкой Наполеона III, который искал только повода для раздоров с Австрией. В ожидании часа, когда Италия попытается объединиться и раздвинет свои границы до Адриатики и Сицилии, Пьемонт превратился в центр объединения итальянских патриотов. Энгельс с особым интересом читал издававшиеся в Турине пьемонтские газеты и отмечал, как быстро развивались там промышленность и торговля, были построены крепости, перевооружалась армия.

В октябре Фридрих приехал в Геную. Невозможно остаться равнодушным к этому бело-голубому городу — большому порту на Средиземном море. Рощи кипарисов и тамарисков спускаются с холмов, смягчая зной улиц, где живут купцы, торгующие со всем светом. Голы и раскалены тупики и закоулки вокруг порта, где ютится генуэзская голытьба, грузчики, разносчики, рабочие и матросы. Осмотрев домик Колумба и до утомления побродив по городу, Энгельс спустился к пристани и зашел в харчевню пообедать. Он любил, усевшись поодаль, наблюдать многоязычную портовую толпу. Но не моряки с чужеземных судов привлекли на этот раз его внимание. У ничем не покрытого стола, позабыв о тарелке с остывшими причудливо рассыпавшимися макаронами в жирном томатном соусе, сидел смуглый итальянец с суровым лицом древнеримского гладиатора. Опустив голову, он рассматривал, прикрыв рукой, какую-то картинку.

«Ему бы плащ и широкополую шляпу,— был бы типичный карбонарий, как его представляют себе слабонервные дамы»,— думал Энгельс. Он доел уже вторую порцию превосходных ма-

карон, а рабочий все еще о чем-то размышлял, не поднимая глаз.

— Ты, верно, очень любишь свою невесту, раз позабыл об обеде,— пошутил Энгельс.

Итальянец быстро закрыл большой грубой рукой картинку и ответил резко:

— А может, я молюсь пресвятой деве!

Затем он подвинул еду и принялся с громким присвистом, сложив губы трубочкой, ловко втягивать остывшие макароны. Покончив с ними, он искоса снова поглядел на Фридриха и, облизав измазанный пунцовым соусом рот, заговорил:

— Вы, синьор, из иностранцев, а ловко говорите на нашем языке. Если бы я не прожил много лет в чужих странах, то не разобрался бы в этом. Иной калабриец, к примеру, говорит по-итальянски так, точно щелкает орехи. Его и не поймешь сразу. Самый правильный язык — генуэзский.

— Корни языка одни и те же, а произношение может несколько отличаться. Я знаю некоторые ваши наречия.

Так завязалась беседа у Энгельса с Пьетро Диверолли, который, покинув около двух лет назад Париж, возвратился в Италию. Он был свидетелем объявления Римской республики, насладился недолгой свободой, едва не лишился жизни во время австро-итальянской войны и теперь скрывался под другим именем в родной Генуе.

Убедившись, что Энгельс заслуживает доверия, он показал ему яркий литографированный портрет, который прятал...

— Узнаешь? — спросил он, блеснув маленькими карими глазами.

Фридрих увидел грубо нарисованного высокого, узкого в талии человека с неестественно выпяченной грудью. Светло-коричневые волосы падали на плечи, и на бронзовом загорелом лице с густыми усами и бородой резко выделялись фиолетово-синие глаза. Маленькая, расшитая золотом ермолка, лихо надетая набекрень, и полосатый жилет были необычны и переняты, очевидно, у турок.

— Да кто же не знает теперь Джузеппе Мария Гарибальди, спроси любого. Необыкновенная жизнь у этого отчаянного храбреца. Многое повидал он, плавая на бригантинах «Констанция» и «Сперанца». Родись он тремя веками раньше, был бы великим конквистадором. Смелый мореходец и воин.

Диверолли от неожиданности обронил кисет с табаком. Он был уверен, что иностранец не знал в лицо Гарибальди.

— Откуда ты все о нем знаешь?

— Ну, не все. Но слыхал кое-что. Я уверен, что его не смутит поражение и он еще появится в Италии. Апрельские дни того года, когда его легионы вступили в освобожденный Рим, повторятся.

— Я был в головном отряде,— тихо признался Дивероли.— Ты прав, немец, это не забывается и повторится. Впервые я встретился с Гарибальди в Марселе. Его партийная кличка была тогда Борель. Я был там с Мадзини.

Пришла очередь удивиться Энгельсу:

— Значит, ты член «Молодой Италии», мадзинист?

— Да, я друг великого итальянца,— последовал ответ.

До самого отъезда из Генуи Энгельс часто встречался с Дивероли, который посвятил себя борьбе за славное будущее вольной Италии и выполнял тайные поручения Мадзини.

Искренний и честный, Пьетро Дивероли не мог жить без поклонения кому-либо. В это время он страдал оттого, что не знал, кому отдать предпочтение: Мадзини, который привлек его к революции, или Гарибальди, казавшемуся генуэзцу чуть ли не полубогом.

— К сожалению,— доверчиво сообщал он Энгельсу,— оба эти великих человека не очень дружны. Я был свидетелем их жестокой размолвки. Один учен и осторожен, проницателен, как Макиавелли, и настойчив, как Риенци, а другой — великий воин, закаленный бурями и крушениями, хочет возвеличить Италию не меньше, чем сам Кай Юлий Цезарь. Теперь посуди, могут ли эти два героя, достойные Ромула и Рема, ужиться в одной норе? Но это необходимо, они двое — опора нашего объединения.

— Чего ты хочешь, Пьетро,— спрашивал Фридрих,— федерации всех государств твоей родины или единой Италии?

— Зачем нам федерация? Мы — кости одного тела. Мы умираем потому, что нас рассекли.

— Ты прав.

Как-то Дивероли показал Энгельсу свой любимый холм Санто-Кампо, где некогда прощался с Мадзини. Внизу раскинулось Средиземное море. Долго сидели они молча на нескошенной траве. Кружевные тонкие ветви тамариска раскачивались над ними, словно опахало. В такие минуты хочется говорить о самом сокровенном.

— Ты одинок или женат? Вряд ли такой красивый парень не снится какой-нибудь девушке? — спросил ласково Дивероли.

— Женщину, которую я люблю, зовут Мэри,— просто ответил Энгельс.— Ты слыхал про Ирландию? Эрин — зеленая страна, как называют ее ирландцы. Она бедна. Народ ее порабощен Англией и тоже непрестанно дерется за свою независимость.— Помолчав, он добавил: — У Мэри глаза прекрасные, как кипарисовая роща у моря. Она меня, кажется, очень любит. А твоя жена где, Пьетро?

— Я вдовец,— начал Диверолли.— В Париже судьба свела меня с добрым и веселым юношей французом Кабьеном, немцем Стоком и поляком Красоцким. Какие это были люди! Поляк был из твоей породы — ученый и вежливый. По вечерам играл он на скрипке, да так, что полюбился всей улице. Музыка переворачивает и потрясает душу. Я вот не могу жить без песни. И полюбил-то я раз в жизни не женщину, а ее голос. Однажды здесь, в Генуе, услышал за оградой сада чудесное сопрано и стал каждый вечер ходить к этому дому. Когда мы встретились наконец с певицей, она оказалась горбуньей, но мое сердце уже полюбило.

— Ты женился на ней?

— Да, и не жалел. Мы прожили всего один год. Бедняжка умерла, а я не могу утешиться. Голос ее звучит во мне до сих пор.

Вскоре Диверолли проводил Энгельса на парусное судно, идущее в Англию. В последний раз выпили они вязкое пряное «кианти». Энгельс дал итальянцу свой адрес в Манчестере.

— Взялся за древко красного знамени,— сказал он с обычной приветливой улыбкой,— будь готов к странствиям.

До Лондона Энгельсу предстояло плыть около полутора месяцев. Трудолюбивый Фридрих не мирился с бесцельной потерей времени. Едва ступив на палубу, он решил тотчас же заняться изучением навигационных наук и принялся с присущей ему тщательностью и прилежанием записывать в дневник особенности погоды, направление ветров, состояние моря, изменения в очертаниях берегов.

Фридрих очень любил море. Оно больше, чем иная стихия, было созвучно его отважной, чуждой всему низменному, мелкому душе. Он наслаждался и морским покоем и всеразрушающими могучими штормами, которые сопутствовали ему в этом долгом осеннем путешествии. Подобно норвежским берсекерам,

не знавшим страха, радовался Энгельс буйству водной стихии, в которой звучала для него сама вечность.

Прекрасный, многогранный, смелый, он сам был как море.

В середине ноября он наконец добрался до Лондона и снова очутился у своего друга Маркса.

* * *

В первые дни по приезде в Лондон Маркс чувствовал себя одиноким. Погиб Иосиф Молль. Не было в Англии ни Энгельса, ни Карла Шаппера, ни Вильгельма Вольфа. Вскоре приехал Георг Веерт, все такой же лихорадочно энергичный, легко загорающийся, насмешливый.

Карл ждал Женни. Она много странствовала в этом году, весной побывала во Франкфурте-на-Майне, где издавал газету Вейдемейер. Он и его домовитая жена Луиза встретили ее очень радушно. Там с их помощью она снова заложила в ломбард и превратила в деньги серебряную посуду с чеканными баронскими гербами. Сколько уже раз фамильное серебро Женни спасало от голода и холода ее детей и мужа! Совсем недавно Энгельс выкупил его из Брюссельского ломбарда, и вот оно снова оказалось сданным под залог во Франкфурте-на-Майне. Затем Женни повезла детей в Париж, но и там семья осела ненадолго. Проводив мужа, больная, обеспокоенная неопределенным будущим в изгнании, ждала Женни переезда с детьми и Ленхен в Англию.

Был хмурый, слякотный день, когда она сошла на незнакомый, чужой берег. Лондон был окутан густым туманом.

Георг Веерт помог устроить Женни с детьми в крошечных меблированных комнатах у знакомого портного, проживавшего на Лейстер-сквере. Но так как Женни была накануне родов, пришлось искать более просторную квартиру. Карл снял ее в Челси в небольшом потускневшем кирпичном здании.

Дома в Челси чрезвычайно похожи один на другой, будто отобранная по росту, ширине плеч, охвату талии британская полиция. В этом районе города помимо иностранцев и мелких лавочников жило в ту пору много клерков и продавщиц малых и больших магазинов, которых так много в британской столице. В Челси, более чем где бы то ни было, становилось ясным, что Лондон — город по преимуществу среднего класса. Служащие торговых контор, банков и страховых компаний, приказчики, лавочники — таков был основной массив лондонского на-

селения. Промышленность и заводской пролетариат преобладали в центре и на севере страны, ближе к месторождениям угля и железа.

Из унылых домов в Челси по утрам отправлялись на работу степенные, поблекшие клерки. Они шли в конторы, на вывесках которых хвастливо подчеркивалось, что фирмы существуют пятьдесят — семьдесят пять лет. Давность служит гарантией деловой их добросовестности.

Неодолимая тоска охватывала каждого входящего под старые своды контор. Низкие потолки, пыльные доски полов, крепко сложенные, претендующие быть вечными, холодные стены, украшенные купеческими доспехами — похвальными листами, дипломами гильдий, когда-то полученными медалями на бархате в черных тяжелых рамах. Чернильные пятна проползли угрями в поры деревянных конторок. Желтый свет едва пробивался сквозь узкие окна со стеклом мутным, как слюда. Траурной вуалью лежали черные тени противоположных домов. Спертый воздух в не проветривавшихся десятилетиями комнатах одурял, как туман, затопляющий Лондон.

Бесполезно было бороться с мертвящей обстановкой старых «солидных» контор. Бесцельно сопротивляться цепкому, ядовитому, обвивающемуся змеей, черному туману, густому, как тропический лес. Контора, словно лондонский туман, засасывала.

Клерк, проводящий значительную часть жизни в своеобразной гробнице, не мог устоять перед гипнотической силой мумифицированного прошлого, тем более что, возвращаясь домой, он продолжал то же условное, оторванное от настоящего бытие.

Все настойчивее, все громче было шуршание переворачиваемых историей страниц, но английский клерк слышал лишь скрип конторских половиц и крысиный писк под ними. Понимание исторических процессов не обязательно для клерка. Хозяину нужна была его точная цифровая память, исполнительность автомата. Английский клерк — наиболее безличное, после наемного гвардейца короля, существо. Среди прочих примет он отличался также отсутствием возраста; жил без молодости, зрелости, старости — трех по-разному окрашенных стадий жизни — излюбленной темы в классической поэзии. Легче было, пользуясь системой Кювье, по одной кости определить весь облик ископаемого, чем по бездумному, застывшему лицу клерка определить количество прожитых им лет. Конторские служа-

нции Англии были очень вежливы, очень уравновешенны и очень упрямы. Каждый клерк мечтал жениться, в согласии с традицией диккенсовского романа, на дочери хозяина и иметь затем свою контору. Но обычно после долгих лет, ступая по узеньким ступенькам служебных повышений, он довольствовался скромной пенсией и кое-как доживал век на положении рантье. Консервативный, боязливый, но брюзжащий, он уважал короля и своего пастора.

Старость для клерка — венец дел и жизни, в особенности если наследство родителей и удачно выбранные процентные бумаги пополняли его скудные средства.

Тогда осуществлялись извечные стремления: появлялся счет в банке, карета, вмещающая всю семью его, включая внуков и собак, да выборный пост в церкви.

Уважая свою профессию и предназначая ей одного из своих наследников, клерк, однако, таил в замурованных конторских стенах точащую зависть к богатому независимому господину. Но богатство в сознании английского клерка укладывалось только как случай необычный, вроде миллионного выигрыша на ирландских или калькуттских скачках, на которых он сам неизбежно проигрывал.

Хозяйка квартиры, снятой Марксом, была вдовой клерка. После смерти мужа она сдавала две из трех комнат в доме, который сама снимала. Это была дама, чья внешность полностью опровергала пословицу, что «лицо — зеркало души». Оно казалось высеченным из серого пористого камня, и на нем невозможно было увидеть проявления какого бы то ни было чувства. Радость, испуг, удивление либо беспокойство не отражались на этой отталкивающей каменной маске с узким загнутым подбородком и несколькими синими бородавками на сухих щеках, уходящих под серые, как зола, волосы.

Пятое ноября — день «порохового заговора» — своеобразно отмечается в Лондоне.

Двести с лишним лет тому назад отчаявшийся в поисках справедливости смельчак Гай Фокс в сырых темных ямах-погребах наполнил бочки порохом, мечтая взорвать продажный парламент. Выданный сообщником, он погиб на плахе Тауэра раньше, чем успел поджечь фитиль. С той поры призрак заговорщика пугает парламентариев. Каждый раз перед началом сессии традиционный обход всего здания парламента и его погребов служит как бы поминовением несчастливого мятежника XVII века.

В день, когда он должен был осуществить взрыв парламента, на улицах столицы появляется молодежь в масках, верхом на ослиных чучелах. Раздаются громкие выкрики: «Да здравствует Гай Фокс!», рвутся в воздухе сотни хлопушек, гудят трещотки.

Пятого ноября 1849 года под гам, грохот и смех, раздававшиеся в Челси, у Женни Маркс родился четвертый ребенок — сын Генрих. В честь великого заговорщика ему дали прозвище — Фоксик.

Скромная квартирка стала еще более шумной. Несмотря на все возрастающие материальные лишения, тесноту, не было, казалось, предела гостеприимству и радушию хозяев. Из Швейцарии в лондонское изгнание прибыл и поселился у Маркса артиллерийский лейтенант Август Виллих, бывший командир отряда, доблестно сражавшегося под Баденом. Это был крайне неуклюжий, высокий, громоздкий, круглоголовый человек, с жидкими гладкими волосами, начинавшимися на макушке и покрывавшими только затылок, с светлыми живыми маленькими глазами.

По утрам Август имел обыкновение врываться к Женни и Карлу. Ему с ночи не терпелось продолжить неиссякаемые дебаты о коммунизме и обо всем, что надо предвидеть и учесть к тому скорому времени, когда он победит на земле. Долговязая фигура Виллиха, его серая фуфайка, подпоясанная на испанский манер красным шарфом, напыщенность речи удивляли и смешили Женни.

— Вы настоящий Дон-Кихот,— говорила она шутливо.

— Может быть, и так, но прошу учесть, госпожа Маркс, что я никогда не воевал с ветряными мельницами, зато уже не однажды расправлялся с германскими мракобесами и намерен сражаться до конца жизни, как истый пруссак,— раскатисто гогоча, заявлял Виллих.

Присев в ногах постели Карла, он начинал бесконечный спор по поводу той или иной проблемы, которая может возникнуть при победе коммунизма. Маркс настороженно присматривался к этому человеку, большому путанику в вопросах теории.

Пока Женни, а затем и Ленхен не прекращали жарких дебатов о «естественном» коммунизме, напоминая Карлу и Августу о завтраке, они оба увлеченно разговаривали, шутили, курили или ожесточенно спорили.

В Лондон прибывали эмигранты. Большей частью без денег, без прибежища и работы, они встречали под осенним свинцовым небом Англии вначале одни только лишения и беды. Это было нелегким испытанием. Худшие чувства, такие, как мелочная зависть, злоба, у самых слабых быстро пускали ростки и развивались, отравляя и без того трудное существование.

Карл деятельно принялся за организацию помощи политическим эмигрантам. Комитет, в который он входил, опубликовал воззвание:

«Теперь, когда в Германии в дикой суматохе военной расправы снова воцарились «порядок и спокойствие»... когда военные суды едва успевают отправлять в могилу с простреленной головой одного «мятежника» за другим; когда тюрьмы уже не в состоянии вместить всех «государственных изменников» и единственным существующим еще правом является право военно-полевых судов,— тысячи и тысячи немцев скитаются без крова на чужбине.

С каждым днем растет их масса, а вместе с нею и бедствия этих лишившихся родины людей; гонимые с места на место, они утром не знают, где им удастся найти ночлег вечером, а вечером не знают, где достанут себе кусок хлеба завтра утром.

Бесчисленное множество эмигрантов заполняет города Швейцарии, Франции и Англии. Со всех концов Германии стекаются несчастные. Кто сражался на венских баррикадах против черно-желтой лиги... кто бежал из Пруссии от военщины Врангеля и Бранденбурга, кто в Дрездене с ружьем в руках защищал имперскую конституцию, кто воевал в Бадене в рядах республиканской армии против объединившихся в крестовый поход государей,— независимо от того, либерал он или демократ, республиканец или социалист,— все они, сторонники самых различных политических учений и интересов, объединены теперь общей судьбой: изгнанием и нищетой.

Половина нации в лохмотьях с протянутой рукой просит милостыни у чужого порога.

И в Лондоне наши соотечественники-эмигранты ищут приюта на холодной мостовой блестящей мировой столицы. Каждый корабль, пересекающий канал, привозит из-за моря новые толпы людей, лишившихся родины; на всех улицах Лондона раздаются жалобы изгнанников на нашем родном языке.

Эта нужда глубоко взволновала многих немецких друзей свободы, проживающих в Лондоне. 18 сентября текущего года

состоялось общее собрание Просветительного общества немецких рабочих и прибывших немецких эмигрантов для организации Комитета помощи нуждающимся демократам. Избраны следующие лица: *Карл Маркс,* бывший редактор «Новой Рейнской газеты»; *Карл Блинд,* бывший посланник баденско-пфальцского правительства в Париже; *Антон Фюстер,* бывший член австрийского рейхстага в Вене; *Генрих Бауэр,* сапожный мастер в Лондоне, и *Карл Пфендер,* живописец в этом городе.

Этот Комитет будет ежемесячно представлять публичный отчет общему собранию, а также — в сокращенном виде — на страницах немецких газет. Во избежание всяких кривотолков принято решение, что *ни один член Комитета впредь не должен получать какого-либо пособия из комитетской кассы.* Если кто-нибудь из членов Комитета вынужден будет когда-либо обратиться за помощью, то он с того же момента перестанет являться членом Комитета.

Мы просим вас, друзья и братья, сделать все, что в ваших силах. Если вы хотите, чтобы поверженная в прах и закованная в цепи свобода снова воспряла, если вы сочувствуете страданиям ваших лучших передовых борцов, то вы откликнетесь на наш призыв без особых увещаний с нашей стороны».

Карл и Женни, сами на краю нищеты, делились с немецкими изгнанниками всем, чем могли. Ленхен надрывалась от работы. Ночами вместе с Женни она стирала пеленки, штопала чулки, чинила белье, днем шла за покупками, стряпала, топила камины, возилась с четырьмя детьми, из которых всегда кто-нибудь, а то и все разом бывали нездоровы.

Женни кормила грудью Генриха. Часто ребенок громко плакал и корчился от колик, так как молоко матери бывало испорчено чрезмерными заботами, бессонницей и переутомлением.

Нищета надвигалась и окутывала Маркса и его семью, как черный туман. Неприятности следовали одна за другой.

Маленький эмигрантский мирок, состоявший из разнородных, часто глубоко чуждых и враждебных друг другу людей, раскололся.

Счастье, как пестрый ароматный цветок, привлекает и украшает человека, несчастье испытывает и срывает с него покровы, будто лютая пурга. Лишь подлинная любовь и дружба, только крепкие, чистые души выдерживают проверку бедой и лишениями.

Маркс тотчас же по приезде в Англию занялся делами Со-

юза коммунистов. Время было трудное... Революционный ураган, пронесшийся над Европой, раскидал по разным странам многих членов Союза. Слабые метались, теряли веру в будущее, сильные рвались к действию, к дальнейшей борьбе. Одни погибли, другие были в заточении. Больше чем когда бы то ни было передовому отряду требовался командир. Неутомимый, упорный, бодрый, вопреки возникающим и нарастающим трудностям, Карл Маркс властно понес вперед коммунистическое знамя.

Необходимо было перестроить работу внутри Союза. Реакционеры наступали. Переписка и связь с единомышленниками в других странах становилась либо невозможной, либо крайне затрудненной. Письма перехватывались, вскрывались, адресаты преследовались.

Благодаря энергии и влиянию Маркса уже в сентябре 1849 года был реорганизован Центральный комитет Союза. Энгельс обрадовался, когда встретил в числе членов Центрального комитета Августа Виллиха, с которым проделал всю баденско-пфальцскую кампанию.

К началу нового года было разослано извещение о выходе в Лондоне «Новой Рейнской газеты. Политико-экономического обозрения» под редакцией Маркса. Ответственный издатель К. Шрамм опубликовал написанное Марксом и Энгельсом сообщение:

«Журнал носит название той газеты, *продолжением* которой его и следует рассматривать. Одна из его задач будет состоять в том, чтобы в ряде ретроспективных обзоров обрисовать период, прошедший со времени насильственного прекращения выхода «Новой Рейнской газеты».

То, что представляет наибольший интерес газеты — ее повседневное вмешательство в движение и возможность быть непосредственным рупором этого движения, отражение текущей истории во всей ее полноте, непрерывное живое взаимодействие между народом и ежедневной печатью народа — все это неизбежно утрачивается, когда имеешь дело с журналом. Зато у журнала то преимущество, что он позволяет рассматривать события в более широком плане и останавливаться только на наиболее важном. Журнал дает возможность подробно и научно исследовать *экономические* отношения, которые составляют основу всякого политического движения.

Такое время кажущегося затишья, как теперешнее, должно быть использовано именно для того, чтобы уяснить пережитый

период революции, характер борющихся партий, общественные отношения, которые обусловливают существование и борьбу этих партий.

Журнал будет выходить раз в месяц отдельными выпусками объемом не менее *пяти* листов... Распространение взяла на себя книготорговая фирма Шуберт и К° в Гамбурге.

Просьба к друзьям «Новой Рейнской газеты» организовать подписку в той местности, где они находятся, и возможно быстрее переслать подписные листы нижеподписавшемуся...

К. Шрамм
Ответственный издатель.

Лондон, 15 декабря 1849 г.»

* * *

Женни старалась скрыть от окружающих страх перед нараставшими трудностями. Огромная сила воли требовалась, чтобы терпеть бедность, придирки злой и недобросовестной квартирной хозяйки, заниматься изнуряющей не только физически, но главным образом духовно домашней работой. Если бы не помощь Ленхен, она сломилась бы совсем под тяжестью быта. День обе женщины проводили в стряпне, починке белья, бесконечном мытье посуды, уборке тесных, уставленных вещами комнат, ухаживали за четырьмя маленькими детьми. Тарелки, ложки, вилки, пеленки то и дело нуждались в том, чтобы их мыли и стирали. Женни понимала тех женщин, которые становятся раздражительными, опустошенными от постоянной однообразной, невидимой работы в доме, от борьбы с нищетой.

«Каменщик,— думала она,— трудится тяжело, но он знает, что из-под его рук поднимутся стены домов; плотник, столяр создают много полезного для людей; красильщик, каретник — все видят плоды своих дел. Ученые, врачи, учителя обогащают, спасают, учат, воспитывают человечество, а я с утра до ночи думаю, как бы перебиться без денег, накормить, обшить и обстирать дорогих мне людей. Как колесо прялки, верчусь я на месте».

Ее мучила мысль, что она отстает от того, чем живет Карл, и недостаточно читает. По ночам беспокойные думы отгоняли сон. Она лежала, глядя в темноту большими карими глазами, стараясь скрыть от мужа свою бессонницу. Что делать, как найти выход из тупика? Женни страшилась надломиться, уподобиться ворчливым, погрязшим в засасывающей тине житейских мелочей и дрязг женщинам, которых встречала в эмигрантских

семьях. Нищета в чужой стране была великим испытанием. Выдержит ли она? Легко быть красивой, начитанной, блистательной, когда со всех сторон не подпирает бедность, заботы, неблагодарный домашний труд. Она старалась перенять у Карла его неиссякаемое жизнелюбие и титаническую волю. Но как только раздавался слабый крик Генриха-Фоксика в рядом стоящей колыбельке или кашель и детский плач из соседней комнаты, нервы ее напрягались до боли. Она вскакивала и бежала к детям, страдая и думая о том, как уберечь их от опасностей, которых было так много у людей, терпящих недостаток во всем необходимом.

Хозяйка квартиры, где жили Марксы, оказалась не менее подлой, нежели мисс Мардстон из романа Диккенса, на которую была так похожа. Получая деньги от жильцов, она, однако, ничего не платила домовладельцу. События разыгрались с быстротой, обычной в Англии при выселении неплательщиков. В сырой, черный от тумана день Маркс со всей семьей оказался на улице.

Женни Маркс писала об этом другу Вейдемейеру:

«...Мой муж ищет для нас помещение, но с четырьмя детьми никто не хочет нас пускать. Наконец, нам оказывает помощь один друг, мы уплачиваем за квартиру, и я быстро продаю все свои кровати, чтобы заплатить аптекарю, булочнику, мяснику и молочнику, напуганным скандалом с описью имущества и внезапно набросившимся на меня со своими счетами. Проданные кровати выносят из дома, погружают на тележку — и что же происходит? Было уже поздно, после захода солнца, вывозить вещи в такое время запрещается английскими законами, и вот появляется хозяин в сопровождении полицейских и заявляет, что среди моих могут быть и его вещи и что мы хотим сбежать за границу. Не прошло и пяти минут, как перед нашей квартирой собралось не менее двухсот — трехсот зевак, весь сброд из Челси. Кровати вносят обратно; отдать их покупателю можно было лишь на следующее утро после восхода солнца. Когда, наконец, продав все наши пожитки, мы оказались в состоянии уплатить все до копейки, я переехала со своими милыми малышами в наши теперешние две комнаты в немецкой гостинице на Лейстер-стрит, 1, Лейстер-сквер, где мы более или менее сносно устроились за $5^1/_2$ фунтов стерлингов в неделю.

Простите, дорогой друг, что я так подробно и обстоятельно описала один лишь день нашей здешней жизни. Я знаю, это нескромно, но сегодня вечером сердце мое переполнено, руки дро-

жат и мне хочется хоть раз излить душу одному из наших старейших, лучших и вернейших друзей. Не думайте, что эти страдания из-за мелочей меня сломили. Я слишком хорошо знаю, что мы далеко не одиноки в нашей борьбе и что ко мне судьба еще милостива, я принадлежу к немногим счастливцам, потому что рядом со мной мой дорогой муж, опора моей жизни. ...Никогда, даже в самые ужасные минуты, он не терял веры в будущее, всегда сохранял самый живой юмор и был вполне доволен, когда видел веселой меня и наших милых детей, с нежностью ласкающихся к своей мамочке.

До свидания, дорогой друг! Передайте самый сердечный привет вашей милой жене и поцелуйте вашего крошку от имени матери, уронившей не одну слезу на своего младенца. Наши трое старших детей прекрасно себя чувствуют, вопреки всему. Девочки красивые, цветущие, веселые, приветливые, а наш толстый мальчуган полон юмора и самых забавных затей. Бесенок по целым дням поет с необычайным пафосом и весьма громким голосом. Весь дом дрожит, когда он во весь голос распевает слова из фрейлигратовской марсельезы:

Приди ж, июнь, пора свершений!
Мы жаждем подвигов и дел.

Быть может, всемирно-историческое призвание этого месяца... состоит в том, чтобы начать гигантскую борьбу, в которой мы все будем сражаться рука об руку».

Пришлось ненадолго поселиться в немецком отеле на Лейстер-стрит, возле Лейстер-сквера, после чего Карл и Женни обосновались, прельщенные дешевизной, в двух маленьких комнатках на Дин-стрит — узкой и мрачной улице возле Сохо-сквера. Это был безрадостный квартал, расположенный неподалеку от центральной площади Пиккадилли.

В Сохо жила иноземная голытьба: ирландцы, немцы, французы, итальянцы. Они перебивались случайной работой и едва сводили концы с концами в огромной равнодушной столице. Приземистые здания с небольшими окнами, вычурные фонари с грязными стеклами не украшали узкую Дин-стрит, на которой не росло ни одного деревца. В осенние и зимние дни вид этой серой, как и небо, улицы производил удручающее впечатление. Ленхен выводила детей в сквер Сохо — угрюмое подобие садика с низко подстриженными чахлыми деревцами и густым газоном. Чад миллионов каминов спускался на низко расположенную Дин-стрит и черной траурной каймой обводил дома. Воздух в

кривых закоулках Сохо не проветривался, и дышать здесь было всегда как-то особенно тяжело. Англичане охотно сдавали квартиры в этом проклятом мрачном квартале иностранцам, так как считали его небезопасным для своего здоровья.

Чума, появлявшаяся время от времени в эпоху позднего средневековья, в значительной мере избавляла город от бедняков, не имевших пищи и крова и, естественно, становившихся первыми ее жертвами. Трупы бродяг и нищих валялись тогда по немощеным улицам старого Лондона, распространяя страшную заразу и угрожая особнякам городских буржуа. Зажиточные семьи бежали из чумной столицы в свои поместья, но часто, зараженные, умирали по пути. Стоны, заглушаемые колокольным звоном, сигнализировавшим о бедствии, стояли над Лондоном.

Наиболее опустошаемым эпидемиями местом была припортовая часть английской столицы. Трупы чумных хоронили там, где теперь находилось Сохо. Они отравили воду квартала, и улица Дин-стрит считалась убийственным местом в Лондоне.

Карл и Женни не знали этого. Они были рады дешево стоившему пристанищу и полны надежд на удачливое будущее.

Когда дети бывали здоровы, Женни оставляла их с Ленхен и шла осматривать незнакомый громадный город.

Она никогда не бывала до этого в Англии, но язык, культура, история этой страны были ей с детства близки и знакомы.

Бабушка Женни, в память которой она получила свое имя, унаследовав также ее необычайную нежную красоту и статность, была чистокровной шотландской аристократкой из рода суровых и мятежных Аргайлей. Внешнее сходство между двумя Женни поражало. Волосы шотландской красавицы были светлые и походили на омытый морской водой, пронизанный солнечными лучами песок.

Все в Лондоне интересовало Женни. Вместе с Карлом осмотрела она Британский музей, картинную галерею, парки и тоскливые верфи порта. Однажды Энгельс предложил Женни пойти в паноптикум госпожи Тюссо, знакомый ей по рассказам родных с детства. Карл присоединился к ним.

Живописец воплощает жизнь, фантазию, эпоху на полотне, скульптор подчиняет резцу камень. В конце XVIII века мадам Тюссо с упорством пчелы попыталась отлить свой век из несопротивляющегося воска. Она родилась в царствование Людо-

вика XV. Только фарфор и раскрашенный воск могли отра[illegible] фальшивую позолоту и мишуру быта, разнообразие многоцветных костюмов, завитушки париков, жеманство вырождающейся чванной знати.

Ловкая, едва перебивающаяся, искавшая заработка Мари Трезхольд, по мужу Тюссо, одаренная торгашьим нюхом, искусными руками и точным глазом копировщика, быстро разбогатела, создав первый паноптикум в Париже. Придворные дамы, скрывавшие грязь плохо мытых тел и волос под слоем пудры, наперебой заказывали ей свои восковые изображения. Богачи третьего сословия подражали им. Восковых двойников наряжали в дорогие костюмы и ставили в нишах будуаров.

Так было до 1789 года. Налетевшая революция столкнула не одну куклу монархической Франции. Хозяйка паноптикума была разорена. Тщетно отклеила она с розовых щек кукол мушки (измышление аристократических модниц), прицепила им трехцветные кокарды на взбитые пышно волосы и переодела королевских дам санкюлотками. На рынках и площадях редкий гражданин заходил в передвижной балаган смотреть на запыленного, скалящего восковые зубы Вольтера и дряблощеких светских дам, с которыми неподалеку сводила окончательные счеты гильотина.

Упрятав в ящики не приносившие более прибыли куклы, мадам Тюссо искала иных средств к существованию. Она декорировала революционные празднества и на заработанные деньги неустанно скупала вещи, которые, по ее расчетам, должны были со временем дать внушительные барыши.

Востроносая прыткая женщина стала неустанным посетителем всех аукционных залов, где за гроши распродавались конфискованные, подчас редкостные вещи гильотинированных и эмигрировавших контрреволюционеров. Палач Сансон после долгого торга продал ей один из притупившихся ножей «народной бритвы». На потемневшем лезвии мадам Тюссо нашла следы крови Марии-Антуанетты, Дантона.

В дни террора складной стульчик предприимчивой гражданки стоял у подножия эшафота. Она рисовала лица смертников, делала слепки с еще не остывших отсеченных голов. Хлам тюрем и моргов наполнял каморку неприметной собирательницы исторических лохмотьев.

После термидора мадам Тюссо оказалась владелицей многих «сокровищ», быстро возраставших в цене. У нее были ключ от главных ворот снесенной Бастилии, кафтаны и парики Робес-

ньера, книги с пометками Сен-Жюста, рукописные декреты Конвента, посмертные маски последних революционеров — кровавые отпечатки погибшей революции.

В начале XIX века мадам Тюссо напрасно пыталась соблазнить новую знать восковыми фигурами; раскрашенные куклы казались особенно уродливыми после прекрасных творений художника Давида и гениального скульптора Кановы.

Разочарованная и обедневшая мадам покинула Францию и увезла восковой груз через Ла-Манш в невозмутимую, медлительную Англию.

Не познавшие тревог революции бритты с интересом и страхом взирали с острова, огражденного водой, на смутный континент. Полубезумный, однорукий Нельсон сторожил их покой, беспощадно расстреливая с морских судов все, что было помечено словами: свобода, равенство, братство.

В тихом, нетребовательном Лондоне хозяйка паноптикума нашла пристанище. Созванные многообещающими афишами богатые зеваки подолгу разглядывали французскую революцию в «приготовлении мадам Тюссо»: Марата под окровавленной простыней, нарядную Жозефину Богарне за тюремной решеткой, санкюлота, подозрительно похожего на герцога Конти — первого покровителя паноптикума. Картонная гильотина с подлинным ножом и корзинкой для голов собирала толпы зрителей. Англичане, после ста с небольшим лет, прошедших со времени кровопролитной революции их предков, охотно подставляли тугие нервы под ледяной душ чужих «ужасов».

Но и кровоточащие головы постепенно приелись. Неутомимая кукольная мастерица поспешила иначе потрафить публике. Паноптикум разросся: рядом с угрюмым Наполеоном появился модный цирковой клоун. Марата оттеснил повешенный за подложные векселя и растрату денег английского банка денди Генри Фоунтлерой, Марию-Антуанетту затмила леди Гамильтон, умершая как раз в это время в одной из лондонских трущоб.

Мадам Тюссо изо всех сил старалась подменить жизнь восковой копией. Англия служила ей благородной моделью.

Но и в глубокой старости основной интерес мадам сосредоточивался на преступлениях, на невообразимых злодеяниях и криминальных драмах.

Крошечная, высушенная временем старушка — постоянный гость беспощадных английских судов, жадный коллекционер всего, что пахнет и окрашено кровью. Отравители, детоубийцы,

[redacted]ители, поджигатели служили ей моделями. Она скупала истрепавшиеся веревки виселиц, всевозможные орудия убийств и пыток, черепа жертв.

Ежегодно менялись экспонаты музея. Устаревшие театральные знаменитости, жертвы сенсационной катастрофы и, наконец, свергнутые революцией или ушедшие в отставку правительства безжалостно уничтожались. Прежде чем бросить в чан-гроб недавних кумиров, им выковыривали стеклянные глаза, выщипывали волосы, ресницы, брови. Огонь мгновенно расплавлял желтые туловища и размалеванные головы.

Умелые руки специалистов перевоплощали восковую маску. Костюмерши кое-как перешивали платья, сообразно с размерами и привычкой одеваться новых героев, в изобилии поставляемых газетной шумихой, сменой власти, успехом или трагедией.

В полутемном зале экс-министры спешно освобождали места членам нового кабинета. В особых нишах стояли восковые фигуры видных общественных деятелей Великобритании: ирландца Пальмерстона, шотландца Гладстона и любимца королевы Дизраэли.

Карл, Женни и Фридрих подошли к восковым копиям подлинных властителей империи.

Ничто, даже льстивый резец скульптора госпожи Тюссо, не смогло уничтожить выражения надменности и властолюбия в обрамленном жиденькими седыми волосами хищном лице с губами скряги лорда Пальмерстона.

— Ему уже шестьдесят шесть лет,— заметил Энгельс.— Пальмерстон учился вместе с Байроном и тоже пытался писать стихи, но они были очень плохие.

— Вот как! — удивилась Женни.— Он вовсе не похож на поэта. Скорее ростовщик по виду. Но как удалось ему приобрести столь большое влияние на ход британской политики?

— Сумма свойств. Он отнюдь не Демосфен, но саркастической злости, расчета и хитрости у него в избытке. Он коварен. В начале карьеры он, подобно Пилю и Гладстону, был фанатический тори, но после тысяча восемьсот тридцатого года, учуяв иное направление международной политики, перешел к вигам. Это подняло его акции. Он стал заигрывать с революционерами Италии и Венгрии, лобызался с Кошутом, но, бьюсь об заклад, давно уже субсидирует всех реакционеров мира. Пальмерстон

беспощаден и лжив, но кого он искренне ненавидит и боится, так это Россию.

— Его циничная наглость служит ему защитой от всяких неожиданностей,— вмешался в разговор Маркс.— Он умеет казаться покровителем, тогда как на самом деле предает; умеет ублажать явного врага и доводить до отчаяния союзника; умеет в надлежащий момент оказаться на стороне сильного против слабого и обладает искусством произносить смелые слова, обращаясь в бегство. По его мнению, масса народа не должна иметь никаких прав, и телесные наказания он всегда считал абсолютно необходимым благом.

В это время слуга музея, с мягкой тряпкой и щеткой в руке, подошел к восковой кукле и, почтительно наклонившись, почистил штиблеты министра Пальмерстона. Женни, Карл и Фридрих не могли удержаться от смеха.

— А вот и сам Уильям Юарт Гладстон, шотландский буржуа, полуархиепископ, полуделец. Он еще молод, ему не более сорока. Витая на словах в небесных сферах, он на деле отличается вполне земным практицизмом, скаредностью и редкой даже для политика изворотливостью,— снова заговорил Энгельс.

Из ниши недоверчиво и настороженно смотрел в зал высокий человек в черном сюртуке. Волевая линия жестокосердных подобранных губ, выпуклый, надменный нос, чуть раздутые нетерпеливо ноздри и так называемый «чистый» лоб под откинутыми прямыми волосами протестантского пастора были у восковой копии, как и у живого оригинала. Чуть согнутые, крепкие плечи, которые мгновенно могут выпрямиться, деспотический жест сжатой в кулак руки, как бы едва удерживаемой от того, чтобы не подкрепить резким движением слова грубой команды, и в то же время выжидательный лжепокорный наклон большой головы удачно раскрывали противоречивые черты характера Гладстона.

Иначе выглядел рядом стоявший его постоянный соперник, любимец королевы Виктории — Дизраэли.

Все в этом смуглом худом человеке с насмешливыми глазами, похожем на испанского гранда, отражало откровенное, сжигающее честолюбие. Политический задор, нетерпение избалованного удачами, не знавшего преград, цинично умного Дизраэли еще больше подчеркивали скрытность, притворство, точный расчет ждущего своей минуты, готового к прыжку купеческого сына Гладстона.

Карл тщетно искал среди восковых фигур, размещенных вдоль стен наперекор историческим былям и датам, любимого своего поэта Шелли. Его не было, так же как и могучего крестьянского поэта Шотландии Бернса и мечтательного Китса. Но Женни увидела Шекспира. Он стоял, подняв руку в кружевных манжетах, подле хмурого Свифта.

Восковой Диккенс с нескрываемой скукой отмечал в толпе те же надоевшие, слишком знакомые лица: тощая дама с шелковой суповой миской, опрокинутой на макушку; чинный болезненный мальчик, притупленный «хорошим воспитанием»; лысый скептик; любитель виски, дымящий трубкой отставной моряк; остроголовый скряга; напыщенный ханжа; неуклюжий, блеклый клерк; одинокая немолодая девушка, отдающая неисчерпанную нежность кошкам. Дольше, чем перед другими куклами, простаивали зрители возле шеренги выстроенных в исторической последовательности королей и королев Британии всех династий, от норманских завоевателей до современных Виндзоров. Ревнивая Елизавета и ее соперница королева шотландская стояли друг против друга. И тут же художники представили в воске сцену казни Марии Стюарт. Палач держал в руках отсеченную голову, из которой (грубый фокус) текла красная жидкость.

Сын шотландской королевы Яков, преемник рыжей распутной «девственницы» на англо-шотландском престоле, примирил убийцу с ее жертвой, похоронив их в одной могиле в Вестминстерском аббатстве. «Музей», следуя тому же правилу, смирил былую вражду «усопших душ». Поэтому дюжий Генрих VIII опять соединен был со всеми шестью своими женами, из которых трех он отправил на эшафот. Нумерованные Георги, Вильгельмы и Шарлотты завистливо поглядывали на маленькую немку Викторию, пышнотелую королеву Великобритании.

Маркс с женой и Энгельс прошли вдоль этого своеобразного воскового парада истории, обмениваясь ироническими репликами и взглядами.

— Англичане весьма гордятся произведениями госпожи Тюссо. Но мне это кажется пародией на подлинное искусство,— сказала Женни.

— Помесь балагана с бульварной прессой,— заметил Карл.

— Это, пожалуй, подлинное отражение испорченных вкусов и представлений процветающей империи королевы Виктории,— добавил Энгельс.

В январе 1850 года Маркс начал работать над новой книгой о классовой борьбе во Франции последних двух лет. Это должна была быть, по его замыслу, летопись революции с 1848 по 1849 год.

В тиши читальни Британского музея Карл обдумывал и готовил каждый раздел этой книги.

«Нет,— думал он,— в этих поражениях революция не погибла. Погибли пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей. Погибали лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не февральская победа, а только целый ряд поражений».

Эту мысль Карл решил изложить как вступление к новому труду. Записав ее на бумаге, он добавил:

«Одним словом, революция шла вперед и прокладывала себе дорогу не своими непосредственными трагикомическими завоеваниями, а, напротив, тем, что она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию».

В этом глубоком диалектическом выводе сказался революционный вождь, мыслитель, гигант, вызвавший на бой все злые силы мира и видевший даже в поражении верный путь к победе.

Маркс, доказывая необходимость завоевания рабочим классом политической власти, впервые употребляет классическую формулу «диктатура пролетариата» и раскрывает ее политический и экономический смысл. Говоря об отличии революционного социализма и коммунизма от мелкобуржуазных утопических теорий, обанкротившихся во время революции, Маркс писал, что научный социализм есть объявление непрерывной революции, а классовая диктатура пролетариата — необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще.

В это же время Маркс вместе с Энгельсом выпустил несколько номеров нового журнала. К сотрудничеству в нем они привлекли своих верных сторонников — Вейдемейера, Вильгельма Вольфа и других.

На ничем не примечательной обложке «Новой Рейнской газеты. Политико-экономического обозрения» наряду с Лондоном, где жили Маркс и Энгельс, значились в качестве места издания Гамбург и Нью-Йорк. Немало немцев — участников недавней революции — эмигрировало в Америку. Издатели надеялись, что за океаном журнал найдет большой спрос. Рассчитывая на новый подъем революционного движения, Маркс и Энгельс предполагали вскоре перейти к выпуску еженедельной и даже ежедневной газеты. Как всегда, Карл находил безмерное удовлетворение в многообразной работе, которой отдавался со всей присущей ему могучей страстью. Действие, как и мышление, несло для него всегда в себе то, что зовется на земле счастьем.

Как-то Энгельс ворвался к Марксу необычайно возбужденный.

— Не угодно ли? — торопливо глотая слова, начал он, сняв цилиндр и протягивая Марксу газету.— Австрийская «Abendpost» напечатала-таки всю гнусную речь господина Кинкеля в суде. Отрекшись от революции, этот подлец фактически выдал палачам пролетариев, обвиняемых по одному с ним делу.

Готфрид Кинкель, посредственный немецкий поэт, мелкобуржуазный демократ, после суда над участниками революционных боев под Раштаттом бежал из тюрьмы и поселился в Англии, где его подняли на щит как героя и мученика недруги коммунистов из немецкой эмиграции, рьяно травившие Маркса и Энгельса.

— Что ж, надо разоблачить Кинкеля, невзирая на то что все германские сентиментальные лжецы и демократические фразеры отчаянно завопят. Впрочем, он-то в душе будет нам только благодарен. Своим нападением мы лишь улучшим отношение к нему прусских мракобесов-реакционеров. Они убедятся еще раз в том, что он был искренен на суде, уверуют в его благонамеренность и пригодность служить в любом королевско-юнкерском департаменте,— саркастически говорил Маркс.

— Этот слабодушный актер прикидывается мягкосердечным младенцем в то время, когда двадцать шесть его товарищей тем же судом приговорены к смерти и расстреляны. Я знал этих людей. Смело и гордо пошли они на казнь. Вся защитительная речь Кинкеля — прямой донос на взятых в плен повстанцев. На нем кровь Янсена и Бернигау, которых казнили,— горячился Фридрих.

Карл прочитал речь Кинкеля и с отвращением отбросил газету.

— Кинкель выдал военному суду свою собственную партию,— воскликнул он,— сообщил о ее намерениях отдать Франции левый берег Рейна. Ему ли не знать, что в момент решительных схваток между революцией и контрреволюцией пролетарский боец обязательно поддержит революцию, кто бы ее ни представлял — французы, китайцы или какая-либо иная нация.

В тот же день Маркс и Энгельс написали статью для «Обозрения», назвав ее «Готфрид Кинкель».

* * *

После мрачной зимы, изнуряющей туманами и дождями, в марте в Лондоне наступила весна, хрупкая, окрашенная в нежные полутона. Стало светлее и суше. Даже узкая Дин-стрит в Сохо под блеклыми сиренево-розовыми лучами солнца казалась менее убогой и безрадостной. Ленхен с детьми отправлялась в скверик, огороженный железной решеткой, с низенькими, еще безлистыми деревцами и яркой, как водоросли, травой. Маленькие Женни и Лаура, в шубках, из-под которых спускались оборки теплых панталончиков, бегали по серым дорожкам, перебрасываясь мячом. Возле Ленхен играл Эдгар, которого в семье все звали ласково Муш. Иногда мальчик поднимал свое удивительно осмысленное личико с задумчивыми недетскими глазами.

— Муш, лови! — крикнула шалунья Лаура и бросила мяч.

Мальчик неуверенно поднялся на ножки и протянул вверх руки. Потеряв равновесие, упал, ударившись о скамью. Скривив от боли рот, он боролся с собой, чтобы не заплакать, и пытался улыбнуться. На большом выпуклом, как у отца, красивом лбу появился синяк. Ленхен достала из кармана широкой юбки медный пенс и, приложив к ушибленному месту, другой рукой принялась шлепать скамеечку.

— Зачем ты ударила Муша, гадкая такая,— приговаривала девушка, хитро сощурив глаза и поглядывая вбок на Муша.

Успокоившись, он с удовольствием смотрел на этот акт отмщения, затем сказал снисходительно:

— Не надо. Ей ведь тоже больно.

Обе сестренки весело засмеялись, и снова началась игра.

В это время Женни Маркс, побледневшая от бессонной ночи, с пятимесячным Генрихом на руках, медленно ходила из угла в угол неуютной, нищенски обставленной комнаты. Было сыро

и холодно. Горящий камин давал мало тепла. Малыш был снова болен. Он отказывался от материнской груди, извивался, стараясь высвободить худенькие, крепко спеленатые ножки. Обессилев от крика, ребенок жалобно стонал. Капельки пота выступили на посиневшем личике, и такое страдание отражалось в его глазах, что у Женни подгибались ноги и останавливалось сердце. Не было в мире жертвы, которую она не принесла бы сейчас, чтобы облегчить муки этого беспомощного существа. Сознание бессилия страшнее всего.

Дверь отворилась. Встревоженный, вошел на цыпочках Карл.

— Как наш маленький заговорщик? — спросил он шепотом с таким растерянным выражением, что Женни не решилась сказать правду.

— Ему лучше. Не тревожься,— успокаивала она мужа и крепче прижимала горячее детское тельце к груди.

Карл вздохнул с облегчением.

— Чем я могу тебе помочь? — спросил он, ободренный.

— Иди, пиши спокойно. Все хорошо. Закрой только, пожалуйста, окно.

Под квартирой, где жил Маркс с семьей, находилась прачечная, и тяжелые пары от лоханей, в которых намокало в мыле белье, проникали сквозь стены, поднимались наверх и отравляли и без того тяжелый воздух.

— Я жду вечером Фреда, Виллиха, Бауэра,— сказал Карл и вернулся во вторую, такую же сумрачную и душную комнатенку, чтобы продолжать работу за столом, заваленным книгами.

Вечером Генриху стало лучше. Обессиленная Женни по настоянию мужа прилегла подле заснувших детей. Ленхен возилась по хозяйству. Из комнаты Карла доносились оживленные мужские голоса.

Обычно заседания Центрального комитета Союза коммунистов происходили либо в помещении Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне, или в кабачках, мало доступных вниманию агентов тайной полиции, но в этот раз Маркс был не совсем здоров, и решено было собраться у него на квартире.

— Итак, согласно общему решению, эмиссаром Центрального комитета в Германии будет Генрих Бауэр. Что скажет по поводу этого достопочтенный джентльмен? — подражая лишенному оттенков скрипучему голосу парламентского спикера, за-

кончил по-английски Энгельс, повернувшись к давнишнему своему соратнику.

— Поехать-то можно, но хватит ли моего разумения? — ответил смущенно Бауэр по-немецки.— Во всяком случае, я такой человек: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кем нужно быть для нашего дела, тем и буду. С тех пор как не стало Иосифа Молля, мне нигде не сидится, а особенно в этом киселе — Лондоне. Очень рад поехать на родину.

— Отлично. Вопрос решен,— подвел черту Виллих.— Теперь послушаем обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Кто из двух авторов, Маркс или Энгельс, его зачитает?

— Тише, Август, с твоим голосом, подобным иерихонской трубе, командовать только на плацу. Разбудишь детей,— попросил Карл.

— Прости, дружище. Сам не рад своей глотке,— извинился Виллих.

Энгельс подкрутил фитиль мигающей лампы, уселся поближе к столу и начал:

— «Братья!»

Стало тихо. Из соседней комнаты донесся шепот Ленхен, перекладывавшей Фоксика.

— «В течение обоих революционных лет, 1848—1849, Союз коммунистов вдвойне выдержал испытания: во-первых, тем, что его члены повсюду энергично участвовали в движении, что они и в печати и на баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах единственного решительно революционного класса, пролетариата. Союз, далее, выдержал испытание и в том смысле, что его воззрения на движение, как они были изложены в циркулярных письмах конгрессов и Центрального комитета в 1847 году и в «Коммунистическом манифесте», оказались единственно правильными и что высказанные в этих документах ожидания вполне оправдались, а понимание современного общественного положения — пропагандировавшееся раньше Союзом только тайно — теперь у всех на устах и публично проповедуется на площадях».

Карл, стараясь не шуметь, поднялся, вышел из комнаты и вернулся со стаканом сладкого чая, который заботливо подвинул Энгельсу.

— «Мы говорили вам, братья, уже в 1848 году,— продолжал читать Энгельс своим ровным, приятным голосом,— что немецкие либеральные буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что приобретенную власть против рабочих.

Вы видели, как это сбылось. В самом деле, именно буржуа после мартовского движения 1848 года немедленно захватили государственную власть и тотчас использовали эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по борьбе, вернуться в их прежнее, угнетенное положение...»

Энгельс отпил чаю и снова наклонился к столу. Он читал медленно, четко, изредка поднимая глаза на слушателей. Виллих то вставал, то садился. Он заметно нервничал. Бауэр, положив на большие колени натруженные рабочие руки с короткими пальцами, казался очень довольным.

— Все было предсказано так, точно в воду глядели,— не выдержал он.

— «И роль, которую немецкие либеральные буржуа в 1848 году сыграли по отношению к народу, в предстоящей революции эту столь предательскую роль возьмут на себя демократические мелкие буржуа...»

— Святая правда,— снова не выдержал Генрих Бауэр.

— «Мелкобуржуазно-демократическая партия в Германии очень сильна. Она охватывает не только значительное большинство бюргерского населения города, мелкого торгово-промышленного люда и ремесленных мастеров: за ней идут крестьяне и сельский пролетариат, пока он еще не нашел опоры в самостоятельном пролетариате городов...

Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе, в интересах революционных пролетариев, демократические мелкие буржуа стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сделало бы для них по возможности более сносным и удобным существующее общество».

Виллих подошел сзади к Энгельсу.

— Но где же главные задачи Союза? — нетерпеливо и резко спросил он.

Фридрих недоуменно поднял голову.

— Терпение, старина,— ответил он сухо.

Прочитав большой абзац о вреде объединения с мелкобуржуазными демократами, он повысил голос, окинул всех, и особенно Виллиха, строгим взглядом и продолжал:

— «...наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти».

Энгельс читал все громче, подчеркивая слова и делая внушительные паузы:

вместо того, чтобы еще раз опуститься до роли хора,
льно рукоплещущего буржуазным демократам, рабочие
всего Союз должны добиваться того, чтобы наряду с
ными демократами создать самостоятельную тайную
ую организацию рабочей партии и превратить каждую
дину в центр и ядро рабочих союзов, в которых позиция
сы пролетариата могли бы обсуждаться независимо от
ных влияний».

т это по мне,— возбужденно заявил Виллих. Его удли-
ицо с маленькими хитрыми глазками, окаймленное
бородой, покраснело от возбуждения.

едней комнате было совершенно тихо. Спали Женни и
ол облегченно откинулся на спинку кресла и закурил.
окумента подходило к концу.

сли немецкие рабочие и не смогут достигнуть господ-
существления своих классовых интересов, не пройдя
ю более длительного пути революционного развития,
т раз у них есть, по крайней мере, уверенность, что
кт этой приближающейся революционной драмы сов-
прямой победой их собственного класса во Франции и
м будет сильно ускорен.

я своей конечной победы они сами больше всего сде-
, что уяснят себе свои классовые интересы, займут как
орее свою самостоятельную партийную позицию».

Виллих и Бауэр ушли, Фридрих, оставшись наедине
, сказал:

риехал Бартелеми. Бежал до суда из тюрьмы Бель-
Пер. Он находился в камере рядом с Бланки.

ртелеми? Что же, этот мрачный парень снова бредит
? Боюсь, если он не образумится, то бессмысленно сло-
ву на плахе.

, пожалуй. Бартелеми уже отсидел десять лет за ни-
нужное убийство полицейского. Жаль, что у бланкистов
л только их ошибки. Однако, как показали июньские
ревосходный, испытанный баррикадный боец.

орее заговорщик по профессии. В организованном им
аррикад 24 февраля» этот парень показал полное неве-
какой бы то ни было теории и опасную путаницу в
ии революционного движения. Он легко может стать
любой провокации. Тем не менее он, видимо, честен в
блуждениях и отчаянно смел. Надо попытаться вернуть
ву.

Пока Маркс и Энгельс говорили о Бартелеми, сам он находился неподалеку от лондонского порта на уличке Вест-Индских доков, в кабачке Джонатана Брауна.

Неизвестно, откуда пришел в английскую столицу кабатчик. Он переменил немало разных профессий, прежде чем осуществил свою мечту — основал большой кабак в лондонских доках.

Лицо Джо Брауна перекроили неисчислимые драки, запойное пьянство, наркотики, морские ветры и кораблекрушения. Каждая из десятков стран, мимо которых проходят английские корабли, пометила его. Он привез в лондонские доки низкий раболепный поклон содержателей опиекурилен Гонконга, прищуренный, настороженный взгляд японцев, изощренную ругань английских чиновников в Бомбее. На лице кабатчика, огромном и рыхлом, как разваренная свекла, торчал отталкивающий нос со сломанной переносицей, свисающий продолговатым комком мяса и кожи к развороченному отвратительному рту.

В пивной Джонатана Брауна было всегда людно. Безработный грузчик огромными руками, привыкшими поддерживать многопудовые тюки колониальных товаров, осторожно подносил ко рту маленькую кружку пива, купленную на последний пенс. Его жена, с лицом узким и желтым, как подгнивший банан, жадно следила за его движениями в надежде, что и ей останется немного. Матросы, только что покинувшие пароходы, пришедшие из Норвегии и Китая, грубо прижимали к себе золотушных накрашенных девиц и угощали их виски. Табачный дым заволакивал пивную, скрывал деревянный потолок и стены.

Прорезая голоса, топот ног и смех, в кабак ворвался протяжный детский плач. Неровным шагом, стараясь не расплескать питье, мать шла на зов ребенка, оставленного в рваной соломенной коляске под окном дома. Вперемежку с пьяными ласками поила она продрогшее дитя черным острым элем.

Рядом с пивной у Джо Брауна имелось еще две комнаты. Одной он особенно гордился. В огромном стеклянном шкафу находились заспиртованные останки пестрых ядовитых змей, скорпионов, пауков, тарантулов, которые могли бы украсить не один балаган на базарах английской провинции. Напоминая о беспредельных просторах сухих американских прерий, смотанные лассо лежали возле почерневшего человеческого черепа и чучел редкостных тропических птиц.

Девушки Вест-Индских доков, рожденные в семьях докеров и грузчиков, с детства познали только лишения и с малолетства

попадали в руки разных Джонатанов Браунов, становились их агентами по завлечению и спаиванию клиентов.

С утра сотни проституток ждали прилива Темзы — в часы солнечного заката обычно прибывали в доки корабли. Трепетно, будто заждавшиеся жены моряков, прислушивались они к сиренам с моря, волнуясь, читали на черных заборах дока бюллетени об ожидаемых судах, выслеживали в дождь и ветер матросов у порта.

Обреченным созданиям в дешевеньких платьях ярких расцветок, скрывающим под пудрой больные, несвежие лица, обязан был Джо Браун своими сокровищами. На столах, полках, в витринах находились разноликие будды, неуклюжие языческие божки, многоцветные вазы, слоновые клыки, укутанные в кружево резьбы статуэтки белой, желтой, черной расы. Каждая вещь имела свою историю, одинаково завершенную. За бутылку виски или пива под залог в несколько шиллингов попали к Джо Брауну эти, иногда художественные, иногда грубо поддельные, предметы.

Хитро улыбающегося деревянного будду спас из разрушенного канонадой тысячелетнего деревенского храма и отдал Джо Брауну за две кружки пива моряк.

Голую размалеванную танцовщицу — типичный рекламный товар парижских кафешантанов — хозяин пивной выиграл в карты у угрюмого пароходного повара, приехавшего в Лондон из Марселя. Из оттопыренного кармана кабатчика всегда вылезала колода грязных карт. Джо был азартный картежник.

Но как попала к Джо грациозная поющая венецианская люстра, каменный многовековой идол с Огненной Земли, старинная ваза, увитая фарфоровыми хризантемами, с острова Формоза? Об этом хозяин пивной предпочитал не говорить.

За «музеем» Джонатана Брауна находилась полутемная комната-чулан. Там-то и собрал Бартелеми своих единомышленников — несколько французских и немецких эмигрантов. Он рассказывал им о своем смелом побеге и дальнейших планах.

У Бартелеми были звучный проникновенный голос и манеры светского человека, умеющего держать себя с достоинством в любом обществе. Односторонняя логика, упорство фанатика не могли не действовать на слушателей. Этот человек был совсем лишен гибкого мышления, но какая-то одержимость одной целью гипнотически заражала слабых. Спорить с ним было почти невозможно. Лицо синеватого оттенка, густые брови

и мрачные темные глаза с желтыми белками, вспыхивавшие нездоровым блеском,— все это производило тяжелое впечатление.

— Мы должны сделать все, чтобы революция не была снова украдена из наших рук. Враг среди нас, в нашей семье. Тем легче его обезглавить. Его надо искать повсюду — за прилавком, за конторкой. Он прикидывается другом. Будем бить друзей насмерть, если они подозрительны. Самый страшный враг — это тот, кто маскируется другом и бродит среди нас. Не верьте никому, никогда. Я клянусь вот этими, уже не раз наносившими смертельные удары по врагам, руками уничтожить диктатора буржуазии, предателя из предателей, одного из тех, кто объявлял себя другом нашим,— Ледрю-Роллена.

Кабатчик Джонатан Браун стоял у двери с видом опытного заговорщика. Слушатели сидели, завороженные мелодическим ровным голосом, страстностью и магнетической безумной силой этого странного человека.

— Всегда ли ты был таким неукротимым? — спросил молодой светлоглазый добродушный механик, работавший с Бартелеми до июня на одном заводе.

— Я был кротким щенком, как ты, пока, после участия в мятеже при Луи-Филиппе, жандарм, ударив меня, закованного, по лицу, не пробудил во мне — рабе — человека. Я убил его спустя три дня.

— Он пробудил в тебе тигра,— сказал кто-то.

— С врагами надо действовать их методами,— нашелся Бартелеми.

— Что ты намерен делать теперь?

— Попытаться освободить Бланки и других братьев из тюрьмы Бель-Иль и затем убивать тиранов и предателей. Первый в списке моей души — Ледрю-Роллен. Мы должны организовать тайное общество, найти верных людей. Без заговора нет революции. А теперь, братья, воздадим должное нашему усталому телу.

Кабатчик принес вино, и все собравшиеся не без удовольствия распили его.

— Смерть предателям и тиранам! — провозгласил Бартелеми.

В полночь все поднялись.

— Ты, Эммануэль, переночуешь здесь. Моя жена и дочь уже готовят тебе постель,— сказал Джонатан Браун, скривив лицо, что означало у него улыбку. Жена кабатчика — пухлая свод-

ня — и хорошенькая дочь Нэнси, которой Бартелеми понравился с первого взгляда, старательно разложили на нескольких ящиках тюфяк и подушки.

Эммануэль почувствовал неудержимое желание приобщить Нэнси к новому заговору. Он начал с того, что крепко поцеловал ее в щеку. Нэнси вспылила, но Эммануэль умел быть нежным и быстро получил прощение.

— Быть может, завтра я буду болтаться в петле виселицы,— говорил он.— Моя жизнь — вспышка пороха. Пусть же хоть мгновение да будет мое.

— Как можешь ты жить в непрерывной опасности? — спрашивала дочь кабатчика.

Из пивной все еще доносились топот танцующих, пиликание скрипки и пьяные голоса.

— Опасности и составляют самую прелесть жизни заговорщика. На каждом шагу полиция ставит нам западню, мы не выходим из тюрем или каторги. Там, а не здесь проходит наша жизнь, там наш родной дом. Может быть, завтра я буду снова на баррикаде и где-то уже лежит пуля, которая прекратит биение моего сердца. Я хочу насладиться настоящим,— нашептывал Бартелеми, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Слова твои жгут, но сердце остается холодным,— сказала Нэнси, вдруг поняв душу этого человека.

Он внимательно, даже подозрительно, заглянул в ее глаза, чистые и добрые.

— Ты точно кувшинка, выросшая на этом кабацком болоте,— сказал он раздумчиво,— умная кувшинка. Ты права, сердце мое холодно. Я очень устал, но и это тоже только миг. Привычка играть жизнью, точно бильярдным шаром, притупила во мне страсти, хотя этого никто не видит. Я равнодушен даже к свободе, иначе как мог бы снова рисковать тем, что попаду в тюрьму. Я безразличен к жизни, иначе не мог бы убивать во имя революции и быть готовым к казни. Если бы я мог уничтожить всех наших врагов, всех тиранов, я, быть может, опять стал бы веселым и простым парнем.

— У тебя больная душа,— жалостливо сказала Нэнси и погладила его пышные волосы.

Вскоре после приезда в Англию Бартелеми встретился с Марксом и Энгельсом.

— Я знаю вперед все, что вы оба мне скажете,— начал Бар-

телеми раздраженно.— Но мы никогда, как это ни жаль, не поймем, видимо, друг друга. Напрасный труд уговаривать меня. Мы с вами люди одной идеи, но разных методов ее осуществления.

Саркастические линии в уголках губ Маркса, четко обозначившиеся за последние годы, стали резче. Он слегка улыбнулся.

— Вам, Бартелеми, всегда были нужны революционные приключения, экспромты. Вы хотите жить и бороться вне времени и пространства, без необходимых исторических и экономических условий. Вы неизбежно обанкротитесь. Нельзя пренебрегать всем тем, что определяет исход борьбы и победу.

— Победу,— сказал Бартелеми,— определяют порох, вовремя взорвавшаяся бомба, пуля, пробившая насмерть преступную голову.

Карл грузно подался вперед и облокотился на стол руками, пристально глядя в черные глаза говорившего.

— Феодализм и нынешний буржуазный строй — это тысячеглавые гидры,— произнес он сурово.— Уничтожьте одну голову, взамен тотчас же вырастут тысячи новых. Нужно быть умалишенным или одержимым, чтобы отрицать законы, движущие обществом. Вы чудовищно заблуждаетесь и тем вредите революции. Как средневековые алхимики, вы отрицаете теорию и обрекаете себя на бессмысленную гибель. Ваши заговоры, адские машины, пистолеты — это роковое недомыслие.

— Если идти за вами, то никогда не дойдешь до победной революции,— огрызнулся Бартелеми.

— Других дорог нет. Не мы их выдумали. Вы не остановите течения событий,— вмешался в разговор Энгельс. Его, как и Маркса, начало раздражать тупое упорство собеседника.— Вы много старше нас, Эммануэль, и преступный задор вам не к лицу. Обуздайте свой опасный темперамент и примитесь за организацию революционных рабочих.

— Занимайтесь этим вы, мое дело повернуть течение истории так, как это нужно нам.

— Напрасные старания, история не рычаг, которым вы, механики, управляете в совершенстве. Она отбросит и раздавит вас без пощады,— сказал Маркс. Чувство досады и острого раздражения против казавшегося ему неумным пожилого человека улеглось, сменившись чем-то похожим на сострадание.

— Вы все еще живете у Джонатана Брауна в его кабаке? — спросил Фридрих.

— Зря вы не доверяете этому почтенному человеку.

— Боюсь, что и в этом выборе вас ждут только одни разочарования,— усмехнулся Фридрих.

— Ерунда! — вспылил Бартелеми.— Вместе с Джо мы прощупываем настроения рабочих, отыскиваем нужных людей, вербуем их для работы. Кабак — отличное место для секретных свиданий. Нас никто не выследит.

— В этих мерзких притонах члены ваших групп приобретают, очевидно, навыки не столько революционеров, сколько забулдыг, прожигателей жизни. Как же это увязать? — спросил Маркс и обменялся с Энгельсом красноречивым взглядом.

— Зато мы одурачиваем шпионов прусского и здешнего правительства, которыми кишмя кишит Лондон,— упорно настаивал на своем Бартелеми.

До позднего вечера то затихал, то разгорался спор Маркса и Энгельса с нетерпимым проповедником терроризма. Было совсем уже темно, когда все трое вышли на улицу. Энгельс проводил до омнибуса Карла и Бартелеми. Едва они вышли из дома, за ними увязалось несколько шпиков. Завидев плотного широкоплечего Маркса, по-военному прямого Энгельса, долговязого Бартелеми, они устремились за ними, словно рыбы-прилипалы, шныряющие подле могучих обитателей океана.

— Бартелеми, как я и думал, фразер,— сказал Карл жестко, когда остался наедине с Фридрихом. Слово «фразер» было одним из самых уничтожающих в его лексиконе. С людьми, которых Маркс считал краснобаями, он не хотел иметь никакого дела.

В омнибусе, кафе, читальне Карл уже много раз замечал пухленького господина с плоским бледным лицом, покрытым веснушками. Запомнилась не только его физиономия в крапинку, но и рединготт, обтягивающий большой живот, и маленькая рыжая шляпа пирожком.

У Энгельса был также свой «хвост», как Виллих называл полицейских шпиков. И Маркс и Энгельс относились к полицейскому наблюдению с ироническим спокойствием. Иногда, пока Маркс и Энгельс работали вдвоем, оба сыщика жаловались друг другу на неудобство своей профессии.

— Не знаю,— говорил кругленький веснушчатый шпик,— зачем только тратит правительство деньги на этого немца.

— У полиции бывают свои причуды или очень секретные соображения.

— Я под видом агента одной фирмы был в квартире Мар-

кса,— продолжал веснушчатый.— Это совсем бедные люди. У них одна комната и чулан, который служит также спальней. Детвора не выглядит здоровой. Говоря честно, мой дом во много раз лучше.

— Ты хотел бы следить за каким-нибудь лордом или банкиром?

— Не в этом дело, но мой объект торчит иногда целый день в читальне. Можно разориться на том количестве бумаги, которое он исписывает.

— Что же ты делаешь, пока он набивает себе голову всякими науками?

— Вот в этом-то и дело. Мне приходится читать из-за него все газеты нашей империи. От этого болит голова. Только так и спасаюсь от сонливости.

— А я вот читаю, наоборот, чтобы спать. «Таймс» на меня действует очень быстро. В нашей профессии лучше выпить вовремя кружку эля.

Пока полицейские шпики изо дня в день делились своими невзгодами, Карл и Фридрих просматривали материалы «Обозрения». Маркс заканчивал книгу о классовой борьбе во Франции. Энгельс работал над историей крестьянской войны в Германии, он анализировал причины, ход и итоги великого антифеодального восстания крестьянства в 1525 году. Несмотря на то что Фридрих мастерски воскрешал далекое прошлое своей родины, в книге его звучали громовые раскаты современности.

Энгельс объяснил значение крестьянства в классовой борьбе. Он доказал необходимость для революционного пролетариата добиваться руководства крестьянством. Причины поражения крестьянского восстания в Германии в 1525 году крылись, по его мнению, в предательстве бюргеров — предшественников современной буржуазии — и в политической раздробленности страны.

Воскрешая могучие характеры бойцов Великой крестьянской войны, Энгельс писал о том времени, когда Германия породила выдающиеся личности, равные лучшим революционным деятелям истории всех веков.

Немецкий народ проявил в ту войну стойкость и выдержку, развил великую энергию. У немецких крестьян и плебеев зародились тогда идеи, которые приводят и поныне в содрогание потомков бюргеров. На образах людей того времени и выводах о классовой борьбе XVI века Энгельс показал сущность революционных боев 1848 и 1849 годов.

* * *

Хэмптон-корт, расположенный неподалеку от Лондона, считается одним из живописнейших мест Англии. Негустые леса и луга примыкают к запущенному строгому парку угрюмого замка Генриха VIII, этого неукротимого, порочного человека и дальновидного политика, расцветившего историю Англии буйными празднествами, турнирами, религиозными и феодальными распрями, личными преступлениями и государственными завоеваниями.

Леса и холмы, просторы полей в Хэмптон-корте напоминали немцам-изгнанникам их родину. Может, именно поэтому Просветительное общество немецких рабочих часто избирало этот красивый уголок местом пикников.

Рано утром одного из летних воскресных дней 1850 года Ленхен разбудила Карла, Женни и девочек, чтобы отправить их поскорее на загородную прогулку. Долго разглаживала она накануне вечером ленты для кос и светлые платья. Сборы были короткими. Еще раз зорким оком оглядела Ленхен маленьких Женнихен и Лауру, поправила банты в их пышных, вьющихся волосах, распрямила умелыми пальцами оборки на панталончиках.

— Наши девочки и их мама обязательно затмят всех красотой на празднике,— пророчески изрекла она и затем, что-то вспомнив, стремглав бросилась к ящику комода и осторожно извлекла оттуда четыре накрахмаленных носовых платка.

— Карл, не забудь, что билеты на дорогу лежат в правом кармане твоего сюртука, туда же ты положил и кошелек. Ох уж эта рассеянность ученых людей! — приговаривала она.

— Не рассеянность, а поглощенность более важным делом,— улыбнулась Женни.

— Нечего защищать мужа. Вот когда вас всех, как безбилетных, высадят в поле, тогда и объясняйте кондуктору. Носовые платки я дала всем. Пожалуйста, не теряйте их,— тем же наставительным тоном добавила Ленхен и заботливо еще раз оглядела Карла, Женни и детей.

Был на редкость теплый, яркий день, и праздник, сопровождавшийся песнями, музыкой, играми и танцами на поляне Хэмптон-корта, удался на славу.

Вильгельм Либкнехт, недавно приехавший из Швейцарии, где напоследок просидел несколько месяцев в тюрьме, чувствовал себя как дома среди этих мало знакомых ему людей.

Здесь, на солнечной поляне Хэмптон-корта, среди празд-

нично настроенных соотечественников отчетливо выявлялись обаяние, простота и вместе какая-то особенность Карла.

Есть люди, перед которыми нельзя не подтянуться духовно, не собрать волю и мысль, не сделаться чище и правдивее. Таким был Маркс. В его присутствии беседа становилась содержательнее, мысли окрылялись и очищались души.

Либкнехту казалось, что он не только по рассказам Энгельса и по сочинениям, но и лично давно знал Карла, хотя видел его впервые. Он заранее мысленно создал себе его живой образ. Обычно человек редко соответствует тому идеалу, который сложился в воображении другого. Маркс оказался еще более могучим, излучающим ум, веселье, волю, нежели о нем думал молодой и несколько восторженный Либкнехт.

«У него голова и могучая грива волос мифического небожителя. Какая бездна юмора и проницательности в каждом его слове»,— думал Вильгельм, прислушиваясь к беседе, которую вел Маркс, шуткам и раскатистому, заражающему смеху.

«Отец Маркс», как его звали члены Просветительного общества, рассказывал с необычайным воодушевлением, что несколько дней назад осматривал на Риджент-стрит модель электрической машины, везущей железнодорожный состав.

— Я увидел в витрине, как проворный электрический локомотив тянет множество маленьких вагонов. Бездымно, бесшумно несся вперед этот великий вестник будущего. Отныне задача разрешена, но последствия открытия еще не поддаются учету. Технический прогресс поведет в дальнейшем к экономической революции, которая неизбежно окончится политической.

Царствование пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, по мнению Карла, окончилось; его заменит неизмеримо более революционная сила — электрическая искра.

Речь зашла о естествознании, о достижениях в других науках. Маркс принялся высмеивать тупоумие европейских реакционеров, воображающих себя победителями.

— Нет,— говорил он,— революция не задушена насмерть, она воспрянет и победит. Наука, в частности естествознание, электрическая энергия исподволь готовят новый взрыв против мракобесов и реакционеров.

— Мне тоже казалось, когда я смотрел через стекло на модель электрического локомотива, что он похож на коня, который принес гибель священной Трое,— сказал Либкнехт и подошел к Марксу с робостью, которую всегда вызывает сознание,

что перед тобой нечто выдающееся, значительно превосходящее обычные нормы. Он почувствовал неуверенность ученика перед учителем и заметно смутился.

У Маркса был проникновенный, глубокий взор; он имел обыкновение смотреть прямо, неотрывно, как бы разгадывая и проверяя внутренний мир собеседника. Либкнехт легко выдержал это безмолвное испытание. Между ними завязалась оживленная дружеская беседа. Вильгельм говорил по-немецки с резко выраженным верхнегессенским акцентом, и Карл стал, подшучивая, поправлять его.

Отыскав глазами среди играющих в жмурки у опушки леса Женни и детей, он направился туда и познакомил Либкнехта с ними. Обе маленькие девочки вскоре принялись бегать вперегонки и играть в прятки с новым знакомым.

В пять часов все участники пикника уселись на траве пить чай и закусывать бутербродами.

Ничто: ни смычок великого Паганини, ни парламентские распри, ни известие о начавшейся где-либо войне — не мешало жителям острова ровно в пять пить обязательно чай. В эти часы пустели концертные залы, палата общин, редакции газет, редела толпа на улицах и площадях. Этот обычай переняли и немецкие изгнанники, где бы ни находились. И на лугу Хэмптонкорта чай и сандвичи казались особенно вкусными. Впрочем, кой-кто предпочел пиво и сосиски.

Маркс не допускал празднословия и пересудов. Он и в беседе всегда преследовал определенную цель: либо давать — и тогда он становился преподавателем, советчиком, либо брать — тогда он сам охотно выспрашивал и слушал того, с кем говорил. Либкнехт сразу ощутил эту особенность и понял, что встреча с Марксом обогащает его.

Карл любил людей и не уставал всматриваться, искать в них хорошее, самобытное, значительное.

— Вы, кажется, филолог? — поинтересовался он, когда Либкнехт окончил рассказ о своих злоключениях после Баденского восстания и о том, как с проходным свидетельством пробирался из заключения через Францию в Лондон.— Я тоже очень увлекаюсь языкознанием,— продолжал Карл.— И, представьте, старые языки интересуют меня не меньше новых. Кстати, знаете ли вы испанский?

Вильгельм не изучал этого языка.

— Жаль, знать его филологу обязательно нужно. Это ведь язык Сервантеса, Лопе-де-Вега, Кальдерона. Я помогу вам, при-

ходите ко мне. Захватите дитцевскую сравнительную грамматику романских языков и повторите основы и структуру слов.

На другой же день Либкнехт, живший неподалеку — на Черч-стрит, пришел к Марксу и стал с тех пор бывать у него почти ежедневно.

Он принес грамматику и с помощью Карла принялся изучать испанский язык. Каждый день Маркс проверял его и требовал прочесть новые отрывки из «Дон-Кихота».

Всегда порывистый, легко вспыхивающий, Маркс был чрезвычайно выдержан, терпелив и спокоен, когда становился преподавателем, чем крайне удивил Либкнехта. Великолепная память, необозримая начитанность и внутренняя цельность познаний Маркса не могли не поражать всякого, кому он хотел помочь и делился сокровищами, которые вмещал его необычайный мозг. Он дополнял, по-новому видел, понимал и заставлял служить себе и тем самым людям прошлое и настоящее.

Как-то, зайдя на Дин-стрит, Либкнехт услышал, что в этот день к Марксу являлся Луи Блан. Женни, смеясь, рассказывала обо всех подробностях этого визита.

Дверь Блану открыла Ленхен и была чрезвычайно удивлена. Перед ней стоял франтоватый человечек, ростом не выше двенадцатилетнего ребенка, в высоченном блестящем цилиндре и обуви на таких высоких каблуках, каких не надевала ни одна модница.

— Доложите обо мне,— сказал он важно, с неохотой снимая головной убор, делавший его на вид более высоким.

— Итак, сам «великий» историк и политик, крошечный Луи Блан, которого за женственное личико Карл зовет Белой Луизой, пожаловал к нам. Ленхен ввела его в наши апартаменты,— рассказывала Женни, обводя рукой пролетарскую квартирку, первая комната которой служила приемной, рабочим кабинетом, гостиной, столовой и спальней, а вторая — кухней и детской.— Оставшись один, Луи Блан отыскал в углу наше маленькое плохонькое зеркало и подскочил к нему. В полуоткрытую дверь я увидела презабавную сцену. Господин Блан начал прихорашиваться, любуясь собой, принимая разные позы, проверял в зеркале жесты, стараясь придать себе наиболее внушительный вид. Мавр и я едва удержались от смеха, сделавшись невольными свидетелями столь необычного спектакля.

— Да, мне пришлось кашлянуть, чтобы этот актеришка перестал наконец кривляться у зеркала,— добавил Маркс.— Надо было видеть, с какой грацией, достойной разве что герцога Сен-

Симона, представляющегося Людовику Четырнадцатому, склонился этот шут перед Женни. Однако я дал ему понять, что поза и фиглярство мне кажутся отвратительными, и Луи Блан вынужден был заговорить естественным достойным тоном.

Маркс был хорошо известен среди эмигрантов Лондона, и Луи Блан рассчитывал свести с ним близкое знакомство. Он надеялся произвести благоприятное впечатление своей особой, многосторонними познаниями, красноречием. Но Маркс слишком хорошо знал этого вертлявого, честолюбивого, непоследовательного в политике человека, принесшего немалый вред революции. Луи Блан быстро понял, что не найдет в Марксе союзника. Больше они уже не встречались.

* * *

Вскоре Либкнехт начал посещать курс лекций по политической экономии, которые читал Маркс, развивая в основных чертах цельную, совершенно новую систему.

Либкнехта все глубоко поражало в Марксе: манера необыкновенно ясно говорить, умение заинтересовать и донести до рабочего столь трудные понятия.

«Ясность языка, — думал Вильгельм, — конечно, результат ясного мышления. Ясная мысль всегда обусловит ясную форму».

Во время лекций Маркс пользовался грифельной доской, на которой писал мелом формулы. Точно так же делал он и в Брюсселе, когда впервые начал преподавать в рабочем обществе политическую экономию. В конце занятий он обычно задавал вопросы и отвечал на них, чтобы проверить не только слушателей, но и себя, а также трудности в изложении, которые остались непонятными. Он был врожденным педагогом и умел говорить языком, доступным любой аудитории, какой бы она ни была по уровню знаний и подготовленности.

Иногда после лекций на Грей-Уиндмилл-стрит Маркс и Либкнехт отправлялись на Ратбонскую площадь. Там в одном из старых домов находились тир и зал для фехтования, снятые в аренду французскими эмигрантами. Обычно они встречали тут Бартелеми. Этот маниакальный террорист, не довольствуясь тем, что был отличным фехтовальщиком, подолгу упражнялся в стрельбе из пистолета.

— Когда-нибудь, — говорил Бартелеми, сумрачно сдвинув густые темные брови, — я пробью одну за другой головы всех тиранов и предателей, вроде Ледрю-Роллена.

— Бессмыслица,— раздражался Маркс.— Этот безумец дойдет до виселицы, воображая, что приносит себя в жертву революции. Какая ограниченность мышления! — Карл, досадливо тряхнув головой, шел из тира в фехтовальный зал.

С середины XIX века в Англии стало модным брить начисто лицо. Но все без исключения французы сохраняли если не бороды, то усы, которым придавали разнообразную форму: от густых щеток до тонких, фатовато закрученных вверх стрелок. В обтягивающих костюмах и масках они выглядели очень эффектно и ловко орудовали рапирой, шпагой или эспадроном.

Со времени счастливых дней в благословенном беспечном Бонне Карл увлекался фехтованием и метко наносил удары противнику. Много раз в университетские годы участвовал он в лихих студенческих турнирах и всегда охотно выходил на поединок. Карл знал толк в отточенной шпаге и считал фехтование демонстрацией силы, ловкости и отваги.

После долгого перерыва он сначала чувствовал себя не совсем уверенным, состязаясь с французами, тем более что вначале не знал их приемов. Но, скоро освоясь, получал преимущество благодаря стремительной атаке и редкой находчивости. Карл припомнил приемы знаменитого в Бонне фехтовальщика Медведя и, подражая ему, ловко отступал, заманивая противника, и с удивительной для его комплекции и возраста легкостью носился по залу, пока не добивался победы в горячей схватке.

Вильгельм, который был значительно моложе Маркса, фехтовал тоже хорошо, но уступал ему в мастерстве и часто после долгого состязания бывал вынужден сдаться, не выдерживая неукротимого натиска.

Утомленные, возбужденные, в отличном настроении покидали они Ратбонскую площадь и выходили на расположенную рядом чинную Оксфорд-стрит.

Как-то, ввиду редкой в Англии прекрасной погоды, Либкнехт уговорил Маркса взобраться на открытый империал омнибуса и прокатиться в сторону живописного зеленого Хэмпстед-Хис, чтобы подышать немного свежим вечерним воздухом. На одной из остановок около пивной столпились люди, и чей-то женский голос отчаянно вопил: «Помогите, убивают!»

Мгновенно Карл, а за ним и Вильгельм спрыгнули с омнибуса на мостовую и очутились в самой гуще народа. Какая-то пьяная женщина, визжа, отбивалась от мужа, который, не жалея тумаков, тащил ее прочь. Мужья, избивающие жен, были в Лондоне не в диковинку и всегда вызывали ярость Маркса.

Услыхав женские вопли, он бросился вперед, желая защитить жертву. Либкнехт последовал за ним. Но пьяная женщина тотчас же встала на защиту своего супруга и, подняв кулаки, перешла в наступление, тесня своих защитников, которым пришлось ретироваться.

— Это могло кончиться хуже. Вот уж поистине, где двое дерутся, третий не суйся. Но, признаюсь, мужа, бьющего жену, я и впредь готов буду избить до полусмерти,— сказал, смеясь, Маркс.

— Да, но мы могли дорого заплатить за филантропическую попытку вмешательства. Ваш порывистый характер порой бывает опасен,— заметил Либкнехт.

Недолго длилась относительно беспечная пора в жизни Маркса. Есть странная закономерность в нашествии бедствий, когда для них открылись двери дома. Как змеи перед холодом, ползут они полчищами. С нищеты начинаются болезни, смерть, мелкие дрязги, отравляющие душу, обнажается сущность людей, разрушаются иллюзии. Первыми жертвами бедности становятся самые слабые.

Нищета изнуряет мужчину, калечит женщину, убивает детей.

Женни металась, видя, как хиреет Муш, гибнет маленький Генрих, часто хворает Карл.

Каждую неделю домохозяйка приносила ей счет за квартиру. Одна комнатка и каморка, какой, по сути, была вторая, стоили больших денег, за которые в Трире можно было снимать огромный дом. Цены в столице королевы Виктории были невероятно высокие. Забота о хлебе насущном для шести человек мучила Карла и Женни своей трагической неразрешимостью. Пришлось просить Иосифа Вейдемейера продать последние ценности семьи — фамильное серебро, заложенное во Франкфурте-на-Майне. Так как не было денег для выкупа его из ломбарда, Карл предложил занять их с немедленной отдачей после продажи.

Все свои деньги Маркс израсходовал на нужды революции и остался к этому времени нищим. Энгельс не имел возможности помогать ему, так как сам нуждался. С отцом своим, текстильным фабрикантом, он был тогда в ссоре и поэтому не переезжал в Манчестер, ожидая, чтобы старик сам попросил его поступить на службу в свою контору.

Маркс заканчивал трудно дававшееся ему письмо к Вейдемейеру, когда в комнату ворвались с веселым смехом две девочки и тотчас же взобрались на колени отца. Ни лондонские туманы, ни мрачная Дин-стрит не были в состоянии стереть румянец и ослабить блеск глаз этих здоровых, жизнерадостных малюток. Они потребовали сказок, и Карл, чья воля в каждом деле поражала его друзей и врагов, покорно подчинился их требованиям. Не задумываясь, он принялся рассказывать о девочках, которые не слушались старших, чуть не попали из-за этого под омнибус, заболели, выпив воды без спросу из бочки в сквере, и в конце концов в наказание очутились у злого волшебника.

— Продолжение завтра,— сказал Карл и осторожно опустил Женнихен и Лауру на пол.

Девочки, все еще находившиеся во власти сказки, не решились спорить.

Хитро улыбнувшись, Карл сказал:

— Вы ведь не хотите попасть в мешок скверного колдуна?

Они действительно этого боялись. Затем он вернулся к письму, в котором попросил Вейдемейера продать все серебро, но сохранить маленькие нож, вилку, кубок и тарелочку — имущество шестилетней Женнихен.

В эти гнетущие дни Карл совместно с Фридрихом работал с удвоенной энергией. Они писали рецензии на новые книги. Издавна обоих интересовал Томас Карлейль. Он был единственным английским писателем, на которого оказала значительное влияние немецкая литература.

— Что ж,— заметил Карл,— мы хотя бы в порядке вежливости должны обратить внимание на его памфлеты.

Томас Карлейль после февральской революции во Франции стал ярым ее врагом. Он попытался утвердить культ отдельных героев, противопоставляя их народу. С презрительным пренебрежением отрицал он роль массы. Эти-то высказывания Карлейля заставили Маркса и Энгельса вооружиться пером для смелой и резкой отповеди.

Мелкобуржуазные демократы, их историки и литераторы придавали чрезмерное значение роли отдельной личности. Кай Юлий Цезарь и Наполеон, римские папы и всевозможные законодатели заслоняли для них истинного творца человеческой истории — народ. Преклонение перед отдельными лицами было свойственно и некоторым приверженцам Вейтлинга.

Карл и Фридрих понимали, какая опасность таится в этом противопоставлении отдельной личности трудовому народу.

Прежде чем писать статью, Карл и Фридрих весь вечер проговорили о Карлейле.

— Каковы его идеи, таков и стиль. В прошлых своих работах он находил новые слова в английском языке и дерзко переплавлял устарелые обороты и образы. Его стиль был часто слишком высокопарен, но подчас блестящ и уж, во всяком случае, всегда оригинален. А вот теперь совсем не то. Послушай-ка, как плохо написаны его «Современные памфлеты». Это явный регресс,—сказал Маркс и прочел вслух несколько абзацев.

— Культ гения у Карлейля в его последних брошюрах покинут гением, остался один культ,— добавил насмешливо Энгельс.— Книга Карлейля начинается с заявления, что современность есть дочь прошлого и мать будущего. Это неплохо сказано, но в новой эре, начало которой Карлейль видит сегодня, первым значительным явлением отмечен — кто бы ты думал? — папа Пий Девятый, который с высоты Ватикана возвещает «Закон правды». Какой продуманный идиотизм! Какое сознательное недомыслие!

Культ одной личности. Как выгоден он тем, кто рассчитывает получать титулы и богатство. Но сколько неисчислимых бед несет он народу. Произвол, каприз и прихоть постепенно узакониваются, и вот уже всех тех, кто творит историю, подменяет одна воля, одно имя, доброе или злое, кто может предугадать это? Народ вначале незаметно подталкивают к неведомой бездне, какой является всегда характер человека, получившего бесконтрольную власть в государстве. Десятки случайных влияний, подозрительность и распущенность, усиливающиеся вместе с самовластием, решают подчас судьбы не только отдельных зависимых людей, но и всего народа. Маркс и Энгельс вспомнили Александра Македонского, папу Цезаря Борджиа, восточных деспотов и русских царей.

Работая над статьей о Карлейле, Карл и Фридрих отметили цитаты в рецензируемой книге, которые уточняли ту мысль, что обожествлением отдельных личностей и почитанием их Карлейль усугубляет все глупости буржуазии, он видит в рабочих толпу, лишенную разума, которая должна подчиниться людям, самой природой наделенным силой власти. Карлейль узаконивает деление общества на рабов и господ. Напыщенными, восторженными фразами о героях он оправдывает угнетение народных масс, пытаясь лишить их подлинной и великой исторической значимости.

Покончив с памфлетами Карлейля, Карл и Фридрих приня-

лись за рецензию на печатную клевету Шеню и Делаода — двух полицейских, французских провокаторов.

В ней снова коснулись волновавшей их мысли о характерах и значимости тех, кто стал вождями революции, тайных обществ и государств. «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения,— писал Маркс и Энгельс,—...были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Карл и Фридрих неистово сражались с представителями мелкобуржуазного эмигрантского болота. Зловонная клевета отравляла воздух, мешала их большому делу.

Женни не раз приходилось успокаивать крайне раздраженного мужа. Когда дрязги и ложь касались Энгельса, ярости Карла не было предела.

— Всякие мерзавцы распространяют в немецких газетах слух, что наш Комитет помощи изгнанникам сам проедает эмигрантские деньги. Человеческие отбросы, вроде Телеринга, бесчестно клевещут при этом на Энгельса. Я вызвал бы кое-кого из них на дуэль, если бы они были достойны этого,— гремел Карл.— Однако я еще встречусь с ними на ином поле и сорву с них маску революционной честности. Мир упорно отказывается замечать этих моллюсков, и они готовы с помощью грязной клеветы и травли тех, кого все уважают, привлечь и к своей особе внимание. Зависть, мелочность, ничтожество — вот что порождает всю их возню.

Он вскакивал с кресла и шагал из угла в угол маленькой комнаты, выкуривая одну за другой крепкие пахитоски.

— Этот Телеринг,— сказал он,— лебезил передо мной и пытался навязать мне роль демократического далай-ламы, этакого нового владыки будущего. А когда я наотрез отказался, высмеяв подобную нелепость, он проделал немало всяческих трюков, пока наконец не обрушился на Фридриха.

Узнав о мерзком ударе в спину и попытке опозорить Комитет помощи, Энгельс писал Вейдемейеру:

«...импотентные «великие люди» мещанства оказались достаточно подлыми, чтобы распространять подобные гнусности. Наш комитет уже три раза давал отчет, и каждый раз мы про-

сили посылавших деньги назначить уполномоченного для проверки книг и квитанций. Разве какой-нибудь другой комитет это делал? На каждый сантим у нас имеется квитанция. *Ни один* член комитета не получал никогда ни одного сантима...»

Карл и Фридрих шли к цели. Но время и силы, нужные для больших дел, приходилось тратить подчас впустую, и сознание этого угнетало обоих.

Что может принести отдохновение и творческий покой душе? Чем глубже духовный мир человека, тем шире простор для его мысли, тем легче поднимается он над мелочами, которые, как тина, грозят засосать его.

Вся противоречивая планета постоянно оставалась перед умственным взором Маркса и Энгельса, и по сравнению с этой громадой чуть видимыми пузырьками на болоте были дрязги Телеринга и его группки.

Промышленный кризис 1847 года, подготовивший февральское восстание, в это время в большинстве европейских стран прекратился и сменился бурным подъемом. Работая над отчетами, прессой, экономическими обзорами, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что их былые надежды на скорую революцию не имеют под собой в данное время никакой почвы. Этот вывод потребовал новой боевой тактики.

«При таком всеобщем процветании,— писали Маркс и Энгельс,— когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи».

Они утверждали, что подъем революционной волны будет следствием нового кризиса, который неизбежен, как и сама революция.

Совсем иными были настроения Виллиха и только что вернувшегося из Германии Карла Шаппера. Оба они увлекли за собой многих лондонских членов Союза. Как узник, заточенный в тюрьме, теряя ощущение действительности, постоянно ждет и верит в освобождение и строит несбыточные планы, так обреченные на изгнание немецкие революционеры жаждали нового восстания и считали, что могут ускорить его по своей воле. Они рвались в бой, который неизбежно закончился бы поражением, и требовали действий, не считаясь с экономической и политической обстановкой. Это было опасное безумие, похожее на то, которое обуяло Гервега и обрекло затем на гибель горсточку храбрецов его отряда.

лись за рецензию на печатную клевету Шеню и Делаода — двух полицейских, французских провокаторов.

В ней снова коснулись волновавшей их мысли о характерах и значимости тех, кто стал вождями революции, тайных обществ и государств. «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения,— писал Маркс и Энгельс,—...были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Карл и Фридрих неистово сражались с представителями мелкобуржуазного эмигрантского болота. Зловонная клевета отравляла воздух, мешала их большому делу.

Женни не раз приходилось успокаивать крайне раздраженного мужа. Когда дрязги и ложь касались Энгельса, ярости Карла не было предела.

— Всякие мерзавцы распространяют в немецких газетах слух, что наш Комитет помощи изгнанникам сам проедает эмигрантские деньги. Человеческие отбросы, вроде Телеринга, бесчестно клевещут при этом на Энгельса. Я вызвал бы кое-кого из них на дуэль, если бы они были достойны этого,— гремел Карл.— Однако я еще встречусь с ними на ином поле и сорву с них маску революционной честности. Мир упорно отказывается замечать этих моллюсков, и они готовы с помощью грязной клеветы и травли тех, кого все уважают, привлечь и к своей особе внимание. Зависть, мелочность, ничтожество — вот что порождает всю их возню.

Он вскакивал с кресла и шагал из угла в угол маленькой комнаты, выкуривая одну за другой крепкие пахитоски.

— Этот Телеринг,— сказал он,— лебезил передо мной и пытался навязать мне роль демократического далай-ламы, этакого нового владыки будущего. А когда я наотрез отказался, высмеяв подобную нелепость, он проделал немало всяческих трюков, пока наконец не обрушился на Фридриха.

Узнав о мерзком ударе в спину и попытке опозорить Комитет помощи, Энгельс писал Вейдемейеру:

«...импотентные «великие люди» мещанства оказались достаточно подлыми, чтобы распространять подобные гнусности. Наш комитет уже три раза давал отчет, и каждый раз мы про-

сили посылавших деньги назначить уполномоченного для проверки книг и квитанций. Разве какой-нибудь другой комитет это делал? На каждый сантим у нас имеется квитанция. *Ни один* член комитета не получал никогда ни одного сантима...»

Карл и Фридрих шли к цели. Но время и силы, нужные для больших дел, приходилось тратить подчас впустую, и сознание этого угнетало обоих.

Что может принести отдохновение и творческий покой душе? Чем глубже духовный мир человека, тем шире простор для его мысли, тем легче поднимается он над мелочами, которые, как тина, грозят засосать его.

Вся противоречивая планета постоянно оставалась перед умственным взором Маркса и Энгельса, и по сравнению с этой громадой чуть видимыми пузырьками на болоте были дрязги Телеринга и его группки.

Промышленный кризис 1847 года, подготовивший февральское восстание, в это время в большинстве европейских стран прекратился и сменился бурным подъемом. Работая над отчетами, прессой, экономическими обзорами, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что их былые надежды на скорую революцию не имеют под собой в данное время никакой почвы. Этот вывод потребовал новой боевой тактики.

«При таком всеобщем процветании,— писали Маркс и Энгельс,— когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи».

Они утверждали, что подъем революционной волны будет следствием нового кризиса, который неизбежен, как и сама революция.

Совсем иными были настроения Виллиха и только что вернувшегося из Германии Карла Шаппера. Оба они увлекли за собой многих лондонских членов Союза. Как узник, заточенный в тюрьме, теряя ощущение действительности, постоянно ждет и верит в освобождение и строит несбыточные планы, так обреченные на изгнание немецкие революционеры жаждали нового восстания и считали, что могут ускорить его по своей воле. Они рвались в бой, который неизбежно закончился бы поражением, и требовали действий, не считаясь с экономической и политической обстановкой. Это было опасное безумие, похожее на то, которое обуяло Гервега и обрекло затем на гибель горсточку храбрецов его отряда.

Тщетно Карл и Фридрих порознь и вместе со своими сторонниками пытались образумить Виллиха и Шаппера. Ничто не помогало. Доводы разума и логики только ожесточали их. Они не были ни достаточно образованны, ни предусмотрительны. Жизнь в эмиграции приводила их в отчаяние. Раскол среди членов Центрального комитета Союза становился неотвратимым, осложняя и без того трудные дни изгнанников.

Конрад Шрамм пришел к Марксу обедать, чтобы затем вместе с ним идти на заседание. Ничто в Конраде Шрамме не напоминало купца. Он скорее походил на романтического поэта. Худое лицо его было обрамлено копной длинных вьющихся волос, и глаза, очень ясные и блестящие, смотрели дерзко и мечтательно. Вспыльчивый, прямолинейный, подверженный смене настроений, он был страстно предан идее коммунизма и самому Марксу. Женни и дети любили Шрамма, радовались его посещениям. В их квартирке молодой человек чувствовал себя непринужденно и легко.

Карл встречал его обычно шутливым приветствием:

— Салют, юный романтик коммунизма, какие виды на погоду?

— Если вы имеете в виду сегодняшнее заседание, то я предвижу, какой ураган словесной пыли поднимет Виллих.

— Да, у Виллиха ведь, как он любит повторять, все всегда просто. Он шныряет по поверхности, не мучая себя ни изучением исторического и экономического материала, ни вообще глубоким мышлением. Он верит в наитие свыше, а для этого лучше иметь пустую башку. Таких демократических простачков сейчас появилось много. Шаппер уперся как осел. Это вполне первобытный коммунист, как его называет Энгельс. Беда в том, что, запутавшись вместе с Виллихом, он вообразил, что желаемое может сделаться действительным по мановению волшебной палочки.

После более чем скромного обеда и крепкого черного кофе Карл и Конрад собрались уходить. Женни настояла на том, чтобы Маркс взял с собой свой большой черный зонт.

Был ясный тихий день, каких немало бывает в сентябре на острове. Природа точно хочет дать людям возможность собрать силы, чтобы противостоять приближающимся туманам и слякоти. Но погоде в Лондоне нельзя довериться. И действительно, не успели они пройти по узким улицам квартала Сохо до Пикадилли-серкус, где была стоянка омнибуса, как начался проливной дождь.

На заседание Центрального комитета явилось девять человек, в том числе Энгельс, Генрих Бауэр, Эккариус, Шаппер и Виллих.

Маркс заговорил первым. Он предложил перевести Центральный комитет из Лондона в Кёльн, передав его полномочия тамошнему окружному комитету. Решение должно было быть сообщено немедленно членам Союза в Париже, Бельгии, Швейцарии и Германии. Далее Маркс настаивал на выработке новым Центральным комитетом устава и создании в Лондоне двух округов Союза коммунистов, не поддерживающих отныне друг с другом никаких сношений и связанных только тем, что оба принадлежали к одной партии.

— Мои мотивы,— сдерживая возрастающее возбуждение, продолжал говорить Маркс,— следующие: на место универсальных воззрений Манифеста ставится немецкое национальное воззрение, льстящее национальному чувству немецких ремесленников. Вместо материалистического воззрения Манифеста выдвигается идеалистическое. Вместо действительных отношений главным в революции изображается воля. В то время как мы говорим рабочим: вам, может быть, придется пережить пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет гражданской войны для того, чтобы изменить существующие условия и чтобы сделать самих себя способными к господству, им, вместо этого, говорят: мы должны тотчас достигнуть власти, или же мы можем лечь спать. Подобно тому, как *лжедемократы* употребляют слово «народ», так употребляется ныне слово «пролетариат»,— как пустая фраза. Чтобы претворить эту фразу в жизнь, пришлось бы объявить всех мелких буржуа пролетариями, то есть представлять мелких буржуа, а не пролетариев. На место действительного революционного развития пришлось бы поставить революционную фразу.

— Вы не станете отрицать, Маркс, что без воли нет победы? Спросите любого военачальника. Все, право, так просто. Надо разойтись, нам не по пути! — зычно крикнул Виллих.

Маркс посмотрел на него уничтожающим взглядом и продолжал, повернувшись к Шаппер, который сидел на стуле и лихорадочно записывал что-то.

— Эта дискуссия наконец показала, какие принципиальные разногласия составляют подоплеку личных раздоров, и теперь уже пришло время принять меры,— не отвечая Виллиху, говорил далее Маркс.— Именно эти противоположные утверждения и стали боевыми лозунгами обеих фракций: некоторые члены

Союза называли защитников Манифеста реакционерами, пытаясь таким путем сделать их непопулярными, что, впрочем, им совершенно безразлично, ибо они не стремятся к популярности. Однако ясно само собой, что оставаться вместе было бы просто вредной тратой времени. Шаппер часто говорил о разрыве,— что же, я отношусь к разрыву серьезно. Я думаю, что нашел путь, на котором мы разойдемся, не вызывая раскола партии.

— Ну, а если мы думаем по-иному? Как это называется — изменой рабочему делу или борьбой за него? Мы не боимся раскола,— прорычал Шаппер.

— Призываю вас к порядку,— властно вмешался председатель и поднял маленький колокольчик.

Морщинка на переносице Маркса углубилась, черные с проседью волосы растрепались и, как грозный нимб, окружали лицо. Снова заговорил Шаппер. От волнения он побледнел и непрерывно вытирал потный лоб фуляровым платком.

— Я полагаю, что новая революция выдвинет людей, которые будут вести себя лучше, чем те, кто пользовался известностью в тысяча восемьсот сорок восьмом году. Я высказал подвергшийся здесь нападкам взгляд потому, что вообще с энтузиазмом отношусь к этому делу. Речь идет о том, мы ли сами начнем рубить головы или нам будут рубить головы. Во Франции настанет черед для рабочих, а тем самым и для нас в Германии. Не будь этого, я, конечно, отправился бы на покой, и тогда у меня было бы иное материальное положение. Если же мы этого достигнем, то сможем принять такие меры, которые обеспечат господство пролетариата. Я являюсь фанатическим сторонником этого взгляда. Но большинство Центрального комитета хочет противоположного. Однако, если вы больше не хотите иметь с нами дела, что ж, тогда расстанемся. В предстоящей революции меня наверняка гильотинируют, но я, невзирая ни на что, поеду в Германию. Смерть так смерть! — Шаппер откашлялся и опустил глаза.— Я давнишний друг Маркса, но если придется идти на разрыв, что ж, тогда мы пойдем одни.

— Что касается энтузиазма,— снова заговорил Маркс,— то немного его требуется, чтобы принадлежать к партии, о которой думаешь, что она вот-вот придет к власти. Ныне пролетариат, если бы он пришел сейчас к власти, при существующих экономических условиях проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобуржуазные меры. Наша партия может

прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят осуществлять ее взгляды.

Маркс привел в пример Луи Блана, его провал и, обведя зорким взглядом всех присутствующих, спросил, почему же не высказывается никто из остальных членов меньшинства.

Виллих демонстративно поднялся и молча покинул помещение.

Спустя несколько дней на собрании Просветительного общества Шаппер снова отстаивал свою точку зрения. Он призывал немедленно приняться за конспиративную работу и делать революцию.

— Безумцы! — закричал Конрад Шрамм, теряя терпение от пустозвонного многословия выступившего затем Виллиха.— Вы требуете немедленной революции или грозитесь уйти на покой. Вы призываете нас к немедленному вооруженному восстанию, лишь бы проливать кровь, заранее зная о поражении, только ради вашего нетерпения. Вы предлагаете игру в революцию и вредной болтовней вносите сумятицу в наши ряды вместо серьезного революционного дела.

— С каких пор всякие купцы будут учить нас, истинных бойцов, тактике? — бросаясь вперед и грозя кулаками Шрамму, завопил тощий Виллих.— Я командовал революционной армией на фронте, а вы, Шрамм, наверно, прятались в это время под прилавком. Трусы, здесь собрались трусы!

— В погоне за успехом вы уже готовы выносить помойные ведра мелких буржуа, прикрываясь при этом громкой фразой,— раздался голос портного Эккариуса, сторонника большинства Центрального комитета.

Все вскочили со своих мест.

— Позор меньшинству, ведущему нас в такую трудную пору к расколу! Мы не позволим этого. Виллих, Шаппер и компания будут нести отныне ответственность за то, что нет более должного единства в Союзе коммунистов, а в нем — наша сила! — повысил голос Энгельс.

В это время, не жалея бранных слов и наступая друг на друга, в углу комнаты схватились в крайнем раздражении Конрад Шрамм и Август Виллих. К концу словесной перепалки Виллих заявил, что вызывает на дуэль самого Маркса, вождя партийного большинства. При этом он не поскупился на клеветнические выпады.

— Я требую немедленной сатисфакции за оскорбление

Маркса и моих друзей. Вы — раскольник и подлый лгун, к барьеру! — задыхаясь и кашляя, заявил Шрамм.

— Если бы вы не потребовали этого первым, я вынудил бы у вас согласие на дуэль пощечиной. Мы будем стреляться на пистолетах! — заорал Виллих, который был превосходным стрелком и попадал на расстоянии двадцати шагов в любую мишень.

Несмотря на все попытки Маркса и Энгельса предотвратить дуэль, она состоялась вблизи Антверпена на берегу моря. Секундантом Виллиха был Бартелеми.

На Дин-стрит, в семье Маркса, в предполагаемый день дуэли царило большое волнение. Все боялись за жизнь Конрада Шрамма.

Неожиданно, когда Карла не было дома, раздался резкий стук во входную дверь, и перед Ленхен, бросившейся открывать, появился Бартелеми в черной пелерине и мягкой широкополой шляпе.

— Вы из Бельгии? Какие новости о Шрамме? — спросила Женни.

Низко поклонившись, Бартелеми ответил замогильным тоном:

— Пуля в голову!..— и тотчас же удалился.

Женни, потрясенная столь трагической вестью, бросилась искать мужа, Либкнехта и всех остальных друзей Шрамма. Никто не сомневался в его гибели.

На другой день, когда на Дин-стрит все были безутешны, внезапно вошел сам мнимоумерший. Голова его была забинтована, настроение бодрое. Оказалось, что Шрамм был только контужен и потерял сознание. Не разобрав, в чем дело, Виллих и Бартелеми распространили слухи о смертельном исходе дуэли.

Большинство членов Центрального комитета с Марксом и Энгельсом во главе постановили перенести местопребывание Центрального комитета Союза коммунистов в Кёльн. К сторонникам Виллиха и Шаппера вскоре присоединились несколько французов, в том числе и Бартелеми.

Не в силах дольше видеть лишения в семье Карла, Фридрих поступил конторщиком в фирму отца и переселился в Манчестер. Без его помощи шесть человек на Дин-стрит были обречены на медленную гибель, а Карл Маркс не мог бы довести до конца ни одного задуманного труда, помимо текущей работы он продолжал собирать материалы для книги по политической экономии.

В хмурый, серый, как пасть камина, день внезапно умер Фоксик. За несколько минут до смерти он смеялся и шалил. Вдруг личико его исказилось, по телу прошли конвульсии, которыми он страдал с рождения, и дыхание остановилось.

В одно мгновение в комнате, где играли дети, чинила белье Ленхен и писала письма Женни, все переменилось. Смерть впервые ворвалась в эту крепко спаянную любовью семью.

— Это родимчик. Его убил паралич! — закричала Ленхен.

Мать остекленевшими глазами смотрела на мертвое тельце.

— Мой мальчик, дитя мое! — шептала она, прижимая его крепко к себе, желая отогреть и оживить своим теплом.

Муш и девочки горько зарыдали, хотя меньше всех понимали, что именно произошло. Вопли Ленхен и стоны матери испугали их. На крики и плач прибежал Карл. Сначала он не мог понять, какое горе обрушилось на него.

— Наш маленький заговорщик, как это могло случиться? — растерянно повторял он, но вдруг режущая боль пронизала его. Это был испуг за Женни. «Ему, бедняжке, уже все равно, он ничего не ощущает, надо помочь ей»,— пронеслось в мозгу.

Смерть Генриха ошеломила Женни. С мертвым ребенком на руках сидела она, глядя остановившимися, широко раскрытыми сухими глазами перед собой.

— Это я умерла,— едва выговорила она внезапно запекшимися губами.

Карл, едва сдерживая слезы, нежно коснулся ее руки.

— Побереги себя ради нас.— Он указал на испуганно жмущихся друг к другу детей.

Ленхен горько плакала, опустив голову на руки. На полу валялся моток шерсти и крючок, которым она вязала носочки Генриху.

Женни взглянула на побледневшее личико мертвого мальчика. Он казался ей живым и спящим. Мать коснулась губами лобика, и холод его, особый, ни с чем не сравнимый холод смерти, еще раз подтвердил ей, что все навсегда кончено. Ужас потери потряс Женни. Она закричала так протяжно, как в родах, когда давала ему жизнь. И тотчас же внутри ее забилось, затрепетало протестующе другое живое существо — ребенок, которого она в себе носила.

«Погибло одно мое дитя, а сейчас я, может быть, убиваю другое»,— подумала она.

Карл, проникновенность и чуткость которого были постоянным счастьем для Женни, сказал ей ласково:

— Пожалей маленького, который скоро родится. Я его уже так люблю. Побереги себя для живых.

Но слова не заклятье для страдания. Скорбь окутала Карла и Женни.

Маркс писал Энгельсу 19 ноября 1850 года:

«Дорогой Энгельс!

Пишу тебе только несколько строк. Сегодня в 10 часов утра *умер* наш маленький заговорщик Фоксик. Внезапно, в одном из тех конвульсивных припадков, которые у него часто бывали. Еще за несколько минут до этого он смеялся и шалил. Все это случилось совершенно неожиданно. Можешь себе представить, что здесь творится. Благодаря твоему отсутствию как раз в данный момент мы чувствуем себя очень одинокими...

Твой *К. Маркс*»

Нет большего горя, нежели смерть детей. Генрих был тем более дорог матери, что она спасала его жизнь в самых тяжелых условиях, ценой величайших усилий. Ее терзала мысль, что ребенок пал жертвой материальных лишений, нужды. Она кормила его сама грудью и ухаживала за ним не щадя себя, днем и ночью. Он был ей особенно дорог и оттого, что она вложила в него так много забот и последних своих сил.

Женни впала в состояние нервного истощения и возбуждения, не спала, не ела и не хотела отдать мертвого ребенка, когда пришло время его хоронить.

— Моя скорбь так велика,— шептала она бескровными губами.

Ленхен, лицо которой распухло от слез, беспокоясь за Женни, принялась снова за домоводство и уход за всеми взрослыми и маленькими членами семьи. Она же взяла на себя все заботы по похоронам.

Карл стойко скрывал свою печаль, стараясь утешить жену. Все пережитое, глубоко спрятанное в сердце, вскоре свалило Карла, и он серьезно заболел. В ответ на письмо Энгельса, полное искреннего сочувствия по поводу смерти сына, Женни спустя несколько времени, овладев собой, писала в Манчестер:

«Ваше дружеское участие к нам в связи с нанесенным нам судьбой тяжелым ударом — потерею нашего маленького любимца, моего бедного, стоившего мне стольких страданий крошки,— принесло мне большое облегчение... Моему мужу и всем нам сильно недоставало вас, и мы часто тосковали по вас. Все же я рада, что вы уехали отсюда и находитесь на верном

пути к тому, чтобы стать крупным Cotton-lord [1]... Но самое лучшее при этом все же то, что вы, несмотря на Cottontrade [2] и прочее, останетесь прежним Фритцем и, говоря языком трех архидемократов, Фридриха-Вильгельма (четвертого), Кинкеля и Мадзини, не отойдете от «священного дела свободы». Карл уже писал вам о здешней грязи... рыцарь... Виллих Гогенцоллерн увеличил свою благородную свиту несколькими негодяями и разбойниками с большой дороги... На последнем польском празднике, где соединились французские, немецкие, венгерские и польские филистеры (Виллих, Фиески, Адам и др.), дело чуть не дошло до драки. Кроме этого, мы ничего не слыхали об этой шайке.

Вчера вечером мы были на первой лекции Эрнеста Джонса об истории панства. Его лекция была очень хороша и для англичанина прямо выдающаяся, для нас, немцев, «прогнанных сквозь строй» Гегелем, Фейербахом и т. д., она была не вполне a la hauteur [3]. Бедный Гарни был при смерти; у него был нарыв в дыхательном горле. Ему еще нельзя говорить. Английский врач дважды оперировал его и не попадал на больное место. Его «Red Republican» [4] превратился в «Friend of the People» [5]. Ну, на сей раз хватит. Дети много говорят о дяде Ангельсе, а маленькая Тилль, следуя вашим почтенным инструкциям, дорогой господин Энгельс, великолепно поет песню о «старой шубе и лихом венике».

Рождество, я надеюсь, вы проведете у нас».

Виллих и Шаппер нашли сторонников главным образом в Просветительном обществе среди немецких ремесленников. Тогда Маркс, Энгельс и их друзья решили выйти из этой организации.

В ноябре 1850 года появился сдвоенный, пятый-шестой, номер «Обозрения». Издание журнала отныне прекращалось. Реакция продолжала свой победный марш по Европе.

В последнем политико-экономическом обзоре за полугодие Маркс и Энгельс, говоря о причинах поражения революции, связывали их с экономическим подъемом в главных европейских государствах.

В это же время Мадзини, Ледрю-Роллен, Руге в своем воз-

---

[1] Хлопчатобумажным лордом.
[2] Торговлю хлопком.
[3] На высоте.
[4] «Красный республиканец».
[5] «Друга народа».

звании писали, что сумерки, опустившиеся на Европу, объясняются честолюбием и завистью отдельных вождей и их взаимной враждой. Свою программу они излагали как веру в свободу, равенство, братство, семью, общину и видели спасение в общественном строе, вершиной которого является бог и его законы, а основанием — народ.

В последнем номере «Обозрения» член Союза Эккариус писал о положении портняжьего дела в Лондоне. Он работал закройщиком в одной из городских мастерских и сумел увидеть, что вытеснение большими фабриками мелких ремесленных мастерских является положительным историческим признаком. Ученик Карла и Фридриха, он понял то, чего не могли постигнуть многие ученые-экономисты и «пророки», вроде портного Вейтлинга.

В развитии и процветании крупной буржуазии Эккариус увидел приближение пролетарской революции.

Материалистическое понимание современности скромным портным было большой радостью для Карла. Он восторженно приветствовал его.

— Прежде чем пролетариат победит на баррикадах и на боевых линиях, он возвещает о своем грядущем господстве рядом интеллектуальных побед,— заявил Маркс.

Со времени отъезда Энгельса в Манчестер между двумя друзьями завязался живой обмен в письмах мыслями, планами, оценками событий и людей.

В одном из писем о Луи Блане, которого в шутку, намекая на его женственность, Маркс называл Луизой, и о Ледрю-Ролене, ставших эмигрантами и живших в Англии, Маркс писал Энгельсу:

«Луиза никогда не импровизирует своих речей, он от слова до слова пишет свои речи и заучивает их *наизусть* перед зеркалом. Ледрю же, в свою очередь, всегда импровизирует, в важных случаях делает себе некоторые заметки matter of fact [1]. Совершенно оставляя в стороне их внешние различия, Луи уже по одному этому совершенно неспособен *рядом* с Ледрю произвести малейшее впечатление. Естественно, что он должен был ухватиться за всякий повод, который позволил бы ему избегнуть сравнения с опасным соперником. Что касается его исторических работ, то он делает их, как Александр Дюма свои фельетоны. Он всегда изучает материалы только для следующей

[1] По сути дела.

главы. Таким образом, появляются книги вроде «Histoire de dix ans» [1]. С одной стороны, это придает его изложению известную свежесть, ибо то, что он сообщает, для него так же ново, как и для читателя, а, с другой стороны, в целом это слабо.

Это о Луи Блане».

Маркс и Энгельс были великими стилистами, хотя и отличались друг от друга в манере изложения.

В своих письмах Энгельс реже пользовался иноземными словами, в то время как в письмах Маркса их бывало очень много, и он любил перемешивать немецкий язык с английским и французским. Но особенно мастерски он владел родным языком. Оба друга обладали тонким чувством юмора.

Величайшее правдолюбие, отвращение ко всему искусственному, предельное ощущение человеческого достоинства и внутренней честности особенно четко и явно выступают из их различного и вместе с тем тождественного стиля, всегда раскрывающего подлинную сущность человека.

Стиль всегда неповторим, как отпечатки пальцев человека, как его лицо и выражение глаз. Никогда на протяжении существования людей не появлялись на земле два одинаково мыслящих существа. Неисчерпаемы творческие силы природы. И так же многообразен и несхож с другими стиль человека, этот своеобразный отпечаток его души.

Язык Маркса более порывист, жгуч, нежели у Энгельса, чей слог поражает изяществом и логической непринужденностью. Оба друга полностью подчинили слово мысли. Сатирическая зарисовка, меткая характеристика, неожиданное сравнение, точный образ перемежаются в их произведениях и письмах с всесторонним анализом предмета и совершенными по форме и сути выводами.

II. ОСТРОВ В ТУМАНЕ

Был теплый ветреный летний вечер. Фридрих после скучного рабочего дня в конторе бумагопрядильной фабрики «Эрмен и Энгельс» шел по улицам Манчестера. Старый промышленный город был грязен. Ветер поднимал и кружил тряпки, бумагу и мелкий сор, валявшийся в изобилии на мостовой.

По знакомым переулкам Энгельс направился на окраину и очутился на большой дороге, соединяющей Манчестер с про-

[1] «История десяти лет».

мышленными городами Бирмингамом и Шеффильдом, а также с пастушьим Йоркширом и далекой Шотландией.

Северный путь растянулся широким серелым свитком между городами, храня невидимые отпластования прошлого. Когда-то гладкие римские плиты покрывали здесь пыльную землю. Потом по неровным камням пробегали кони революционной армии Кромвеля, двигавшейся мимо Манчестера на север.

Энгельс думал об этом, вдыхая запах трав. По дороге мимо него шумно проезжали в близлежащие селения почтовые дилижансы, удобные кареты и нескладные омнибусы.

Фридрих был страстным охотником. Вдыхая широкими ноздрями доносящийся издалека сложный аромат леса, он подумал, как хорошо будет зимой отправиться, с ружьем и сумкой за плечами, на охоту за лисами и мелким зверем.

Обычно по вечерам прогулка Фридриха длилась не более двух часов. Он возвращался домой легким шагом тренированного альпиниста мимо однообразных домов зажиточных горожан. Небольшие палисадники были обнесены добротными решетками, на овальных клумбах цвели цветы. Дорожки, посыпанные гравием, вели к парадному крыльцу. Из-за густых занавесок пробивался на улицу мягкий свет.

В полутьме резче выделялись контуры старой ратуши и пуританского храма на главной площади города. Вяло плескалась вода в канале.

Во всех английских городах, свято хранящих давние традиции, прошлое воскрешается не конструктивно по отдельному камню, а по всем деталям живой архитектуры и быта.

Дом, где жил Фридрих, был обычным двухэтажным коттеджем, воспроизводящим в улучшенных формах жилище феодальных времен, с лестницей внутри, ведущей на жилой чердак. Там в новые времена располагались маленькие спальни. Дом этот, с узкой кирпичной трубой на черепичной покатой крыше, недавно построенный, являлся точной копией такого же, существовавшего сотни лет назад.

В Манчестере, как и во всех городах острова, фантастически смешались века. Разве не средневековьем навеяна идея каминов? Точно так же тепло очага с тлеющими поленьями собирало вокруг себя семью скотовода или ткача в XIII—XIV веках, как привлекал людей камин в пору королевы Виктории. В маленьких домиках и в угрюмо-величественных усадьбах безмерно богатых английских лордов под каменным выступом разводятся костры, подобные тем, на которых бесшабашный кутила Яков I,

сын Марии Стюарт, король Соединенного Англо-Шотландского государства, задавая пиры, велел поджаривать кабанов, оленей, медведей — трофеи охоты, подношения придворных, крестьян.

Фридрих вошел в маленький дом, который недавно снял в Манчестере. Мэри Бернс была в отъезде. Старуха — владелица домика — ежедневно убирала комнаты Энгельса и готовила ему пищу. У нее было отталкивающе-безобразное лицо. Большой угристый нос, красноватые глаза одряхлевшей птицы, загнутый подбородок, костлявая шея вызывали в памяти Фридриха представление об одной из макбетовских ведьм. Но обладательница столь чудовищной внешности была совсем не таким уж зловещим существом. Она состояла членом нескольких благотворительных обществ, верила, что бог — это Красота и Разум, и завещала все достояние своему священнику и дому призрения бездомных собак. Фридрих называл старуху ведьмой за то, что, стирая пыль с книг, она часто при этом творила беспорядок на его столе и полках. Нередко в груде бумаг не сразу находились нужные письма и документы, что вызывало раздражение и досаду у чрезвычайно аккуратного Энгельса.

Вечером, как всегда, старуха подала ужин, растопила камин и, пожелав квартиранту приятных сновидений, ушла. К ночи заметно похолодало. Взяв газеты, Фридрих уселся подле небольшого камина. Изредка он подбрасывал узкие поленья и раздувал с помощью особого приспособления, наподобие кузнечных мехов, затухающий огонь. Большие стенные часы завозились, заохали и с трудом отзвонили девять раз. Энгельс тотчас же поднялся и вошел в маленькую комнату, служившую ему кабинетом. Там уже горела лампа на письменном столе. Было очень тихо. Где-то далеко, может быть в саду, трещали сверчки. Эти неожиданные живые голоски вызвали улыбку на лице Фридриха. «Не хватает только печи и чайника для полной диккенсовской идиллии»,— подумал он, пододвигая кресло и раскрывая книгу. Осторожно разрезав красивым ножом слоновой кости несколько страниц, Энгельс принялся громко, слегка запинаясь, читать по-русски:

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты...

Не поняв «мечты», он взял словарь и стал отыскивать значение этого слова, чтобы затем выписать его в особую тетрадь.

Совсем недавно Энгельс начал изучать русский и, как это

всегда бывало при изучении иностранных языков, достиг уже очень многого.

«Евгений Онегин» пленил его. Хотя он слыхал немало о поразительном богатстве современной русской литературы, о гении Пушкина, но был еще больше поражен, когда смог черпать из самого родника, не нуждаясь отныне в нередко умерщвляющих оригинал переводах.

«Как в гербарии растение не может дать подлинного представления о прелести и аромате живого цветка, так только в подлиннике можно насладиться поэзией и прозой незнакомого народа»,— думал Энгельс. С увлечением и редким прилежанием изучал он русский язык, откладывая грамматику для того, чтобы отдохнуть и насладиться неповторимыми строками пушкинского романа.

Обычно после часа этих занятий Энгельс принимался за военные науки, к которым с юности имел призвание. Он доставал военные карты, руководство по артиллерии Бема, военную историю Монтекукули и множество других немецких, французских и английских книг. Особенно усердно изучал он англичанина Непира, француза Жомини и немца Клаузевица.

Со времени переселения в Манчестер Энгельс напряженно работал над материалами о наполеоновских и революционных войнах. Чрезвычайно требовательный к себе в любой области знаний, он считал, что недостаточно, еще поверхностно разбирается в тех или иных деталях, чтобы понимать и правильно оценивать военно-исторические факты. Элементарная тактика, теория укреплений, начиная с Вобана и кончая современными системами отдельных фортов, полевые укрепления, различные виды мостов и, наконец, история всей военной науки, меняющейся непрерывно в связи с развитием и усовершенствованием оружия и методов его применения,— все это глубоко изучал Фридрих. Он писал своему другу Иосифу Вейдемейеру, артиллерийскому офицеру, делясь сомнениями и спрашивая о новой организации армий, дивизий, корпусов, о лазаретах и военном снабжении, о различных конструкциях лафетов.

Большой атлас Штилера и всевозможные подробные описания сражений лежали на столах и стульях в рабочей комнате Энгельса.

— Если не работать систематически, то не достигнешь никаких серьезных результатов,— любил он повторять.

Все, чем бы ни занимался и что бы ни изучал тщательно и

глубоко Энгельс, должно было служить одной конечной цели — пролетарско-освободительной борьбе. Как и Маркс, он считал, что знание иностранных языков необходимо.

Предвидя грядущие революционные столкновения в царской России, Энгельс начал систематически изучать русский язык. В то же время осложнения на Востоке привели его к мысли о необходимости изучить восточные языки. Персидский язык показался ему необычайно легким, и он усвоил его структуру в несколько недель.

Изучение военных наук, помимо пристрастия к ним, было вызвано также еще и тем, что Энгельс считал весьма значительной роль армии в предстоящих революциях. Пролетариату, по его мнению, не хватало опытных, знающих военачальников. О современных ему представителях офицерства он составил себе крайне отрицательное мнение.

— Этот сброд,— говорил Фридрих презрительно о прусских военных,— проникнут отвратительным сословным духом. Они смертельно ненавидят друг друга, завидуют один другому, как школьники по поводу малейшего отличия, но все — заодно по отношению к штатским.

Рано утром, тщательно одевшись и скромно позавтракав, Фридрих отправился в контору. Дела текстильных фабрик шли успешно. В 1851 году английская хлопчатобумажная промышленность потребляла еженедельно тридцать две тысячи кип хлопка против двадцати девяти в 1850 году. Манчестер торговал особенно широко с Ост-Индией и Китаем.

С глубоким вздохом принялся Энгельс за конторские и фабричные книги и проработал до полудня, когда наступил час ленча.

Между часом и двумя прекращалась деловая жизнь Великобритании. Останавливались заводы, пустели конторы, запирались едва ли не все магазины. От часа до двух англичане ели горячий второй завтрак. В это священное время в близлежащие от контор харчевни, трактиры, таверны торопились клерки, чиновники, мелкие лавочники — многоликие представители среднего сословия. Фабриканты, владельцы больших магазинов, дельцы отправлялись домой в своих экипажах.

Энгельс заходил в маленький трактир, где бывал обычно самый разнообразный народ. Он заказывал бифштекс и с неиссякаемым интересом ко всему, что входит в понятие «жизнь», принимался рассматривать окружающих. Глядя, как едят вокруг него, он думал, внутренне улыбаясь, что только в церквах и за

столом у мелкого буржуа появляется эта блаженная отрешенность от мирской суеты.

Англичане жуют медленно, сосредоточенно, будто читают Библию или тянут псалмы.

Отсутствие привередливости, крайняя нетребовательность к качеству и привычка к однообразной, просто приготовленной пище являются одной из завидных особенностей британской нации.

Эта особенность досталась современным британцам от предков, странствовавших по морям в поисках земель и сокровищ. Впоследствии пуританская мораль также требовала поста и простоты обихода.

Гастрономическое гурманство изгонялось суровыми догмами протестантства.

Еда усложнялась позднее только внешним оформлением, появилась сложная сервировка и много столовых украшений. Континентальные скептики говорят, что англичанин, не поморщившись, съест котлету из соломы, если ее подадут с бумажными розетками на блюде, в сопровождении обязательных для обеда четырех ножей, трех вилок и двух ложек.

Клерк, которому в годы детства и отрочества подаваемые матерью к обеду пудинги разных сортов заменяли календарь, так как их сладкая подливка находилась в непосредственной зависимости от того или иного дня недели, естественно, всю жизнь полуавтоматически выбирает привычные ему блюда. В четверг пудинг всегда будет залит соусом из черной смородины, а в воскресенье — яблоками в желтках. Но разваренная картошка и лишенная вкуса, как поджаренная трава, брюссельская капуста, так же как и пресная рыба, вписаны традицией в ежедневный английский обед.

Гастрономическим шедевром Англии являются ее шестнадцать сортов мороженого. На трогательных, украшенных цветами и голубками меню ресторанов мороженому посвящается особый раздел, в котором размещен на первый взгляд не столько перечень еды, сколько опись инвентаря неведомого сентиментального стихотворца: весна, грезы, рай, роза...

Когда после ленча Энгельс вернулся к своему рабочему столу в конторе, он открыл записную книжку и увидел, что ему следует отправить госпоже Маркс разноцветную бумажную пряжу для вязания, которую он обещал ей в последнюю встречу. Клубки были уже приготовлены и уложены в коробку. Оставалось сдать их на почту. Он позвал привратника и передал ему

посылку для отправки в Лондон. Затем Фридрих принялся за отчеты, поступившие с текстильной фабрики.

К его столу подошел компаньон отца, Пит Эрмен, сухопарый старик представительной внешности с голубовато-серебристыми завитыми волосами, обрамлявшими узкое бронзовое лицо с выпуклыми сиреневыми прожилками на лбу и носу.

— Читали ли вы знаменитую Хатма Йоги, это великое открытие, исчерпывающий рецепт эликсира жизни, который тщетно искали алхимики? — начал он.

Фридрих знал, что Эрмен, недавно побывавший в Индии, увлекается учением йогов, и понял, что ему придется набраться терпения и выслушать очередную лекцию текстильного промышленника.

— Знаете ли вы, Фред, что во время эпидемии оспы в прошлом веке на английском судне погибли только те моряки, которые спали с открытым ртом?

— Поразительно, сэр! — удивился Энгельс.— Не могу понять, в чем же тут причина? Разве оспа проникает через рот? Дженнер иначе объяснил пути заражения.

— Они умерли потому, что не дышали носом. Как вы дышите, мой мальчик? Запомните раз и навсегда, что вам необходимо выучиться дышать носом. Для этого рекомендуется, втягивая воду, попеременно дышать одной ноздрей. Мудрые йоги узнали также, что, если во время душевных потрясений какие-либо органы перестали повиноваться нам, усилием воли можно и нужно заставить их правильно функционировать. Видите ли, все высшие йоги обладают способностью воздействовать на отдельные клетки. Повторением одного или группы слов вы сможете также подчинить их себе. Для этого нужно твердым голосом многократно повторять приказание какому-либо органу, поглаживая или поколачивая его. Например: «Печень, исполняй лучше свою работу, ты слишком медлительна. Я тобой не доволен. Теперь ты должна работать лучше. Работай, работай, я тебе говорю, и чтобы больше не было этих глупостей». А вот сердце нельзя запугивать, с ним надо обращаться очень мягко и нежно. Его следует просить вот так.— Господин Эрмен постарался придать своему обветренному лицу умильное выражение и начал ласково приговаривать: — Дорогое сердце, успокойся, бейся не так напряженно, будь добрым и умным, добрым и умным...

Затем, ласково похлопав себя по жилету в том месте, где находилось сердце, фабрикант снова перешел к обычному тону и продолжал доверительно:

— Можно заранее дать срок, и даже довольно большой, для исправления отдельного нашего органа и каждый день надо мягко напоминать ему об оставшемся времени, чтобы он не торопился, но по мере приближения быть настойчивее. Однако все это требует практики, терпения и терпения. Советую заняться этим учением. Знаешь ли такую заповедь йогов? «Благо йогу, умеющему дышать своими костями. Учитесь направлять поток праны по всем семи жизненным центрам». Все это я узнал от мудрейшего йога в Бенаресе.

Вот каков мой вывод: если человек может управлять всеми своими органами, даже печенью, то, несомненно, он способен предотвращать все бедствия современной промышленности и торговли, такие, как колебание цен и кризисы сбыта. Как ты думаешь, Фред? Твой отец поседел не столько от нашей трудной эпохи, сколько от твоих упражнений в политической экономии и социализме. Но мое мнение, которое я имел удовольствие не раз уже высказывать моему достопочтенному компаньону, такое, что со временем, когда ты сам станешь фабрикантом, ты сумеешь достичь процветания и богатства... Кстати, как поживает твой неизменный друг и корреспондент господин Маркс?

При последних словах Фридрих нахмурился, так как давно уже подозревал, что кто-то в конторе вскрывает приходящие на его имя письма. Может быть, это был приказчик Эрмена, который докладывал все своему хозяину?

Посоветовав Фридриху дышать носом, компаньон отца степенно проследовал в свой кабинет.

К концу унылого рабочего дня за конторскими книгами Энгельс получил обширную почту. Письма были от Мэри из Ирландии, от Иосифа Вейдемейера, от Вольфа и Маркса из Лондона. Убедившись, что жена здорова, Фридрих, отложив письма остальных друзей, сорвал сургучную печать и принялся за чтение письма с обратным адресом «Дин-стрит, 28».

Письмо Маркса было тревожным и кратким. Он сообщал об аресте в Кёльне коммуниста врача Даниельса. Вейдемейер вынужден в связи с репрессиями скрываться в окрестностях Франкфурта. Далее Карл сообщал другу, что им обоим следует уничтожить или спрятать немедленно все письма ввиду возможного обыска.

«Ты тоже хорошо сделаешь,— писал он,— если менее важные письма сожжешь, а остальные, заключающие в себе какие-либо данные и тому подобное, поместишь в запечатанном пакете у Мэри».

Сообщение о происходящих в Германии преследованиях коммунистов не застало Фридриха врасплох. Он постоянно читал немецкие газеты, в том числе и «Кёльнскую газету», которые сообщали о раскрытии «коммунистического заговора», готовившего акт государственной измены.

Энгельсу было известно, что 10 мая в Лейпциге был арестован эмиссар Союза коммунистов портной Нотьюнг. Полиция по отобранным у него бумагам узнала о существовании и действиях коммунистической партии.

Вскоре в Кёльне арестовали членов Центрального комитета Союза коммунистов. Фрейлиграт едва избежал ареста, благодаря тому, что случайно, ничего еще не зная о подстерегающей его опасности, незадолго до этого уехал в Лондон.

С некоторых пор Фридрих заметил, что усилилась слежка. Он не мог шагу ступить без того, чтобы шпионы не следовали за ним по пятам.

«Прусский посол в Лондоне, фон Бунзен, этот попик во фраке,— думал Энгельс,— не упустит случая представить английскому правительству какие-нибудь сногсшибательные враки обо мне и Карле, изображая нас чудовищами, способными подорвать благоденствие Великобритании».

В эти погожие летние дни 1851 года в Манчестер неожиданно приехал один из двух владельцев бумагопрядильной фабрики — Фридрих Энгельс-старший. Появление отца в Англии не слишком обрадовало сына, но безукоризненное воспитание и выдержка помогли ему ничем не выразить подлинных чувств.

Несмотря на то что Фридриху-младшему было уже около тридцати одного года, отец держал себя с ним все еще как с вышедшим из повиновения подростком. Характер старика Энгельса никогда не отличался покладистостью, с годами же деспотизм и самонадеянность его значительно усилились. Сколь терпелива и чутка была мать Фридриха Элиза, столь же нетерпим, властен и ханжески религиозен отец. В этот приезд, однако, старик, упоенный победой реакции в Германии и возрастающими прибылями, был менее раздражительным и придирчивым.

— Итак, дорогой Фридрих, слава господу богу, я оказался прав! Стадо подчинилось пастырю своему. Революция потерпела крах, провалилась, как всякое исчадие ада, раз и навсегда. О, немцы не так глупы, чтобы поддаться болтовне недоучек,

дураков и представителей «черноземной силы»,— говорил Энгельс-старший, прохаживаясь по гостиной. Из кармана его черного длинного сюртука высовывался переплет маленькой дорожной Библии.

Слуга доложил с порога о Питере Эрмене, который был приглашен к обеду.

Старик Энгельс не доверял своим компаньонам Эрменам и потому послал Фридриха в Манчестер, чтобы тот контролировал их деятельность как коммерсантов. Но в свою очередь он беспокоился и за сына, зная его безбожие и приверженность революционным идеям, и в этом отношении хотел бы, чтобы кто-либо сообщал ему о поведении Фридриха.

Оба Энгельса, старший и младший, пошли навстречу гостю. Высокие, стройные, широкоплечие, они очень походили друг на друга. Только совсем разное было выражение их глаз: одушевленные, ясные, поражающие умом — у сына, мутные и жестокотупые — у отца.

За столом Энгельс-старший стоя прочитал молитву и затем подал знак всем садиться за стол.

— Люблю Англию,— начал он, завязывая салфетку вокруг свекольно-красной шеи.— Это страна богомольных людей. Господь не посылает ей испытаний. Промышленность и торговля преуспевают, не правда ли, Питер?

Фабриканты разговорились о прибылях, о промышленном и торговом подъеме. Отец Энгельса признался, что с 1837 года, за четырнадцать лет, он удвоил свое состояние.

— При этих условиях можно претерпевать даже революции, особенно когда во главе государства стоят такие превосходные монархи, как наш прусский король.

— Не надо забывать, что английская королева Виктория его родная и достойная племянница,— присовокупил Эрмен.

После нескольких кровоточащих бифштексов, заниваемых рейнландскими винами, оба компаньона-фабриканта почувствовали прилив бодрости и заметно оживились.

— В Германии выскребают остатки коммунистического сора,— хитро сощурив глаза, начал Энгельс-старший.— Никто из порядочных людей, впрочем, не боится больше красного призрака. С этим навсегда покончено. Король разделался с горсткой мятежников и сумасшедших, как некогда господь бог с вавилонянами.

Энгельс-младший закусил губу, чтобы сдержаться и не поссориться с отцом, который открыто вызывал на спор. Но глаза

его загорелись недобрым блеском. Старик поймал брошенный через стол сердитый взгляд сына. Его расчеты на то, что в присутствии гостя Фридрих вынужден будет молчать, могли и не оправдаться. Энгельс-старший знал по опыту, каким даром речи, какой беспощадной находчивостью обладал его сын в словесном единоборстве. Всю эту немую сцену заметил наблюдательный и хитрый Питер Эрмен и пришел на помощь своему компаньону.

— Йоги учат, что мысли оформляются в действии, а действие, в свою очередь, порождает их. Что ты думаешь об этом, Фридрих?

— Все это зависит, по-видимому, главным образом от того, дышит ли человек носом,— ответил все еще очень бледный Энгельс-младший. При этом он, едва слушая болтовню Эрмена, думал: «Мой старик становится вызывающим. За то, что я заставил его замолчать, он отомстит мне — сократит еще больше мое жалованье, а деньги так нужны сейчас Марксу. Необходимы они и для Мэри. Впрочем, если эта стычка не будет иметь дурных последствий, то холодные деловые отношения с отцом будут гораздо приятнее для меня, нежели душевное лицемерие. Мне ничего не остается другого, как заниматься этой собачьей коммерцией».

Энгельс постоянно помогал деньгами Марксу в это тяжелое время. Он хотел дать возможность другу не отрываться от работы над новой книгой по политической экономии, считая, что Маркс является гениальным мозгом партии. И, как всегда в жизни, Энгельс решил так не только по велению сердца, горячо любившего Маркса и его семью, но и потому, что этого требовал его целеустремленный ум, все подчинявший интересам революционного дела.

Во имя победы пролетариата Энгельс готов был принести себя в жертву, превратившись в рядового конторщика, а Маркс, подчинившись силе его убеждения, принял это самоотречение. Оба друга доказали этим величие своего духа, ибо принимать жертву самого близкого человека бывает подчас для некоторых натур не менее трудно, нежели приносить ее.

После обеда подали кофе с ликерами и сигары. Фридрих Энгельс-старший встал, прошелся по комнате и начал играть на виолончели. Он сыграл с большим чувством мелодию Глюка и кое-что из Моцарта.

Господин Эрмен продолжал рассказывать о семи жизненных центрах йогов: лбе, затылке, мозге, солнечном сплетении, области крестца, верхушке и низе живота. Старик Энгельс слушал,

едва скрывая зевоту, занятый своими думами. Внезапно он прервал разглагольствования друга:

— Оставим индусов, Питер. Прошу выслушать меня. Сколько раз я предлагал моему сыну отправиться в Индию. В Калькутте компании «Эрмен и Энгельс» особенно необходимо иметь доверенного человека. Как ты смотришь на это предложение, Фридрих?

— Я снова отказываюсь наотрез и не поеду из Манчестера никуда.

— В таком случае не ропщи, что я плачу тебе жалованье, которое получает любой конторщик в этом городе. В твоем возрасте деньги только развращают человека. Впрочем, скорее господь и я простили бы тебе грехи, свойственные юности: чревоугодие, умеренный блуд и разные светские развлечения, нежели подрыв государственных и общественных устоев, подстрекательство к анархии, к господству дьявола на земле.

Энгельс-младший снова искоса гневно взглянул на отца, поднялся, извинился перед гостем и вышел из комнаты.

— Питер, мне остается сказать, как в евангелии: имеющие уши да слышат, имеющие глаза да видят. Таково мое чадо. Ты лучше других понимаешь, что я спасаю сына от окончательного падения в греховную пропасть тем, что оберегаю от соблазнов, не давая денег. Три фунта в неделю — и ни гроша больше. Это, правда, мало, но так надо для спасения его души. Когда я уеду в Бармен, ты не должен уступать просьбам Фридриха о деньгах. Обещай мне.

— Будь спокоен,— ответил Эрмен торжественно,— мы не станем оплачивать топор, который подрубает наш сук. Помогать всякому революционному сброду через твоего сына и наследника было бы слишком неблагоразумно. Надейся на меня. Я ведь не спускаю глаз с твоего мальчика. На наше жалованье ему особенно не развернуться. А ты, старина, дыши носом — в этом секрет долговечности и душевного спокойствия. Помни, главное — наша взяла!

Через несколько дней Фридрих проводил отца в Германию. В тот же вечер он писал Марксу:

«Провозившись целую неделю со своим стариком, я опять его благополучно сплавил и могу, наконец, тебе сегодня послать прилагаемый перевод на 5 фунтов. В общем я могу быть доволен результатом моего свидания со стариком. Я ему нужен здесь, по крайней мере, еще года три, а я не взял на себя никаких постоянных обязательств даже на эти три года».

Извиваясь и путаясь, убогие улицы Сохо, внезапно сплетаясь, обрывались у круглой, богатой площади Пиккадилли. Там находились нарядные театры, магазины и рестораны. От Дин-стрит, где жил Маркс, до Пиккадилли-серкус было не более пятнадцати минут хода.

Рядом с Пиккадилли-серкус, в одной из кривых уличек, был маленький ресторан, где по вечерам собирались чартисты и иноземные изгнанники. За небольшой общей залой была комната, выкрашенная в серый цвет, в которой помещался дубовый стол и несколько узких, очень неудобных скамеек. Газовый фонарь под потолком лил неприятный тусклый свет. Если бы не камин из розовых кирпичей, комната походила бы на тюремную камеру. На каминном выступе стоял деревянный слон с отбитым хоботом, очень похожий на бегемота. В «комнате слона», как ее торжественно звали в ресторане, в холодный, слякотный декабрьский вечер собрались Маркс и оба Вольфа — Фердинанд, по прозвищу Красный, и Вильгельм, которого в семье Маркса звали Люпусом. Ждали Веерта, но, простудившись, он не смог прийти и остался дома, где изгонял инфлюэнцу крепким грогом и медом.

Переворот Луи Бонапарта в Париже, подобно землетрясению, вызвал своеобразное колебание почвы и на британском острове. Но на бирже было пока спокойно, акции почти не дрогнули, хотя при дворце королевы Виктории и в правительстве высказывалось недовольство — вспоминали, сколько тревог и бедствий принес некогда Великобритании Наполеон I. Только скрытный и дальновидный Пальмерстон потихоньку потирал руки от удовольствия и готовил приветствие Луи Бонапарту. Любопытство обывателей все возрастало, и у газетных киосков толпился народ.

В эти дни всех занимало одно — бонапартистский переворот в Париже. Со времени, когда Луи Бонапарт с большим перевесом голосов был избран президентом, возможность захвата им всей власти в стране казалась Карлу и Фридриху вполне осуществимой. «Елисейская братия» постоянно прочила его в императоры Франции. И, однако, между предполагаемым и свершившимся всегда большая дистанция.

— Ловко обделывает свои грязные делишки этот прохвост и король шутов,— сказал Фердинанд Вольф, разматывая ярко-красный шерстяной шарф, которым обычно повязывал шею.

Дрова в камине разгорелись и трещали. Стало жарко.

— Это уже не Страсбург и Булонь,— тихо заметил Вильгельм Вольф, неторопливо размешивая сахар в чашке с крепким кофе.— Переворот будет стоить жизни многим тысячам людей. Террор елисейских пиратов, купивших армию, только начинается.

Маркс курил, Фердинанд Вольф встал, подошел к камину и разворошил горящие поленья, чтобы убавить несколько жару. Это был рослый, здоровый человек сангвинического, порывистого характера, одетый небрежно и в то же время экстравагантно.

— Вечерние газеты сообщают, что новый Цезарь уже перетащил свои сундуки из Елисейского дворца в Тюильри. Кавалеристы приветствовали его криками: «Да здравствует император, да здравствует колбаса!» Луи Бонапарт не зря закармливал их, поил шампанским и пивом.

Маркс улыбнулся.

— Энгельс мне пишет,— сказал он,— что именно ты, Фердинанд, с твоим исчерпывающим знанием богемы и колючим пером создан быть историографом этого императора бандитов, люмпенов, сидельцев и рыбных торговок. Эти старые ослы из Национального собрания оказались захваченными врасплох, хотя постоянно вопили об опасности переворота. Самая хитрая бестия во всей Франции, старый лис Тьер, и господин палач Кавеньяк проспали восемнадцатое брюмера и провалились в волчьи ямы, которые вырыла им «Елисейская братия».

— Хорошо сказал один из местных газетных писак,— отозвался Фердинанд,— что политические горничные Франции старыми вениками выметают раскаленную лаву революции и при этом отчаянно колотят друг друга. Одна светская дама уверяет, что Францией не раз правили метрессы, но впервые на трон взбирается альфонс.

— Что ты думаешь, Карл, о происходящем? — прервал Фердинанда Вильгельм.— Несомненно, в самое ближайшее время этот проходимец коронуется императором.

— Да, в этом его цель, дорогой Люпус. Однако крот истории роет славно,— ответил Маркс, резким движением погасив сигару.— Революция проходит через чистилище. Она действует методически. Второе декабря отделило первую половину ее пути. Революция довела до кульминации парламентарную власть и ниспровергла ее. Теперь она перед всем миром вскроет, как гнойник, государственную власть буржуазии, чтобы собрать

против нее всю силу разрушения. А когда будет закончена и эта вторая часть ее предварительной работы, тогда Европа поднимется и скажет: «Ты хорошо роешь, старый крот!»

* * *

Черный туман навис над Лондоном. На смену ночи не приходил рассвет. Отчаянно выли сирены, гудели гонги, визжали звонки в руках прохожих и на облучках карет и омнибусов. Черный туман вползал, как змей, в щели домов. Он вызывал удушье, тошноту, головную боль. Казалось, никогда уже луч света не прорежет ночь и мрак преисподней навсегда окутал землю.

В двух комнатах в доме 28 на Дин-стрит было в эти дни особенно неуютно и печально. Дети притихли и реже принимались петь и бегать. Никто не ронял больше простую, случайно подобранную мебель. Троим взрослым и четверым малышам было очень тесно в маленьком жилище, тем более что у Карла и Женни часто ночевали бездомные немецкие изгнанники.

Февраль — отвратительный месяц на острове. Желтый туман, зловонный и липкий, чередуется с черным.

Почти весь этот месяц Карл Маркс не мог посещать библиотеку Британского музея и вообще покидать квартиру. Его сюртук и обувь были заложены в ломбарде. Денежный залог под его одежду, который пошел на уплату долга домохозяйке, спас всю семью от того, чтобы не очутиться на улице, под открытым небом. Давно уже Ленхен не готовила к обеду мяса и не покупала детям молока. Картофель, овсяная каша и хлеб составляли еду взрослых и детей. Зеленщик и бакалейщик грозили прекратить продажу в кредит, и призрак полного голода неустанно преследовал во сне и наяву измученную нищетой Женни. Нервы ее совсем расстроились, и она часто плакала. Это приводило Карла в отчаяние. Но снова и снова он собирал силы и с еще большим рвением отдавался работе.

В старых брюках, тщательно залатанных Ленхен, в теплой рубахе сидел он за своим письменным столом, поглощенный, несмотря на трагизм создавшегося положения, работой.

За окном был черный, непроницаемый туман. Стонала на руках Женни маленькая болезненная от рождения Франциска, в доме было сыро, голодно и холодно, а мысль Маркса охватывала необъятные пространства, реяла над миром, заглядывала во все уголки и, как ураган, срывала завесы с будущего челове-

чества. Ни бедность, ни кандалами сковывающий быт не могли ослабить могучую творческую энергию и яркое пламя мышления, неустанно горевшее в этом человеке.

После долгой изнурительной болезни, перенесенной в январе, Карл выглядел еще более смуглым и похудевшим. Он точно сошел с картины, изображавшей арабского шейха или неукротимого бедуина. За прекрасные сверкающие глаза, смолисто-черные, хотя уже с проседью, волосы, за кожу оливкового цвета родные и друзья звали его Мавром. Это прозвище полюбилось маленьким Женнихен, Лаурочке и Мушу. Отныне они редко называли его иначе, заменив «Мавром» обычное «папа».

Библиотека Британского музея была любимым местом Карла в Лондоне. В ее величавом тихом зале он мог работать сосредоточенно и спокойно. Суета перенаселенной квартиры, смех или плач детей, окрики Ленхен — неизбежные помехи, всего этого не было в Монтег-хаузе, и Маркс проводил в его читальне иногда весь день, с девяти утра и до семи вечера. Это были самые безмятежные и плодотворные часы.

Но февраль 1852 года вместе с туманами, болезнями принес безысходную нужду. Небольшая сумма, которой щедро, отдавая большую часть заработанных денег, делился с семьей друг Энгельс, не могла существенно помочь. Заработка почти не было.

Несколько месяцев назад редактор «Нью-Йорк дейли трибюн» Дана прислал Марксу письменное приглашение сотрудничать в его большой газете.

В 1848 году предприимчивый Чарльз Дана приехал в Кёльн из Нью-Йорка с одним из корреспондентов издаваемой им газеты. Маркс произвел на американцев сильное впечатление. Они слушали его необыкновенно содержательные, ясные, воодушевляющие речи и поражались сочетанию крайней сдержанности и глубокой страстности в молодом редакторе «Новой Рейнской газеты», с глубиной и многогранностью его души.

В Нью-Йорке Дана вспомнил о Марксе и, узнав его адрес в Лондоне, решил привлечь к сотрудничеству в своей газете. Получив письмо от Дана, Карл, поглощенный работой над книгой по политической экономии, обратился к Энгельсу в Манчестер, и тот за его подписью направил в «Нью-Йорк дейли трибюн» просимые статьи.

Не раз сплетались воедино мышление и творчество двух друзей. Но то, что опасно для людей с маленьким или неравным интеллектом, когда сильный поглощает более слабого, не могло грозить таким титаническим умам и душам, как Маркс и Эн-

гельс. Настолько безмерно богаты духовно и умственно были они оба, что, сливая знания, мысли, чувства, каждый из них сохранял свою полную независимость и цельность натуры. Среди совершенно равных нет проблемы самолюбия или мелочных счетов.

Скованный отсутствием одежды и обуви, Маркс дома неотрывно писал книгу о государственном перевороте, совершенном во Франции 2 декабря минувшего года.

Первую главу «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», как назывался новый труд Маркса, он послал другу Вейдемейеру в Америку, куда тот переселился незадолго до этого с женой и двумя детьми. Преследования полиции, готовившей провокационный процесс коммунистов в Германии, а также материальные лишения вынудили Иосифа Вейдемейера искать пристанища и удачи за океаном. Не сразу Карл и Фридрих одобрили это решение преданного и дорогого им обоим друга. Но иного выхода не было.

Осенью Вейдемейер с семьей выехал из Гавра в Нью-Йорк. Сорок суток трепали осенние штормы судно, идущее в далекую Америку. После многих мучений добрались немецкие эмигранты до Нового Света.

Едва устроившись на новом месте, Иосиф Вейдемейер энергично принялся за осуществление намеченного плана — издание политического еженедельника. Он попросил Маркса написать для этого предполагаемого журнала историю государственного переворота в Париже. До середины февраля Карл еженедельно писал для Вейдемейера статьи, которые озаглавил общим названием «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Он начал первую статью словами из письма к нему Энгельса:

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Коссидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспьера, Гора 1848—1851 гг. вместо Горы 1793—1795 гг., племянник вместо дяди. И та же самая карикатура в обстоятельствах, сопровождавших второе издание восемнадцатого брюмера!

Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и

окружающее и создают нечто еще не бывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории».

В течение зимы 1852 года Вейдемейеру ничего не удавалось. К весне, однако, дела его пошли лучше: он получил место землемера и одновременно приступил к изданию журнала «Революция». Первый выпуск должен был состоять из нового произведения Маркса, написанного под непосредственным впечатлением событий во Франции.

Все остающееся от домашних хлопот и неурядиц время и все силы Женни отдавала переписке «Восемнадцатого брюмера». Наиболее плодотворной для дела была ночь. Тогда спали дети и наступала наконец тишина. Часто Карл диктовал ей текст статей, прохаживаясь по комнате. Быстро записывая, Женни вслушивалась не только в слова, но и в чистый, глубокий голос, который так любила.

— Прошу тебя, родная,— говорил Карл тихо, чтобы не потревожить спящих детей и Ленхен,— отмечать абзацы незаполненными белыми промежутками, впрочем, я поставлю сам «галочки», чтобы Вейдемейер мог легче разобраться в тексте. На чем ты остановилась?

Женни раздумчиво, стараясь оттенить мысль мужа соответствующими интонациями, прочла несколько страниц текста, который переписывала.

Внезапно Женни остановилась. Лицо ее, обычно матово-бледное, осветилось изнутри и порозовело. Она ласково улыбнулась и сказала шутливо по-английски:

— Секретарь и супруга доктора Маркса заявляет, что в книге «Восемнадцатое брюмера» много великолепных мыслей. Они изложены, Чарли, столь кратко и четко, как это умели делать только античные писатели.

От долгой ночной работы у Маркса болели глаза. Он то и дело закрывал их ладонью. Женни подошла к нему и заглянула в его усталое лицо. Вокруг покрасневших глаз залегли фиолетовые тени.

— Ложись сейчас же спать,— потребовала Женни.— Пишешь уже более месяца, не разгибаясь, с раннего утра до ве-

чера. Дай я приложу тебе примочки из крепкого чая на глаза. Они так воспалены.

Карл очень страдал от болезни глаз, но продолжал много работать, часто до самого рассвета. В этот раз он обещал уступить просьбам жены, но прежде принялся за ответ на письмо Вейдемейера, в котором тот, между прочим, извещал о рождении сына.

«Желаю счастья новому гражданину мира! Нет более замечательного времени, чтобы родиться на свет, чем нынешнее,— писал Маркс.— К тому времени, когда путь из Лондона в Калькутту будет продолжаться семь дней, у нас обоих головы будут давным-давно снесены или будут трястись от старости. А Австралия, Калифорния и Тихий океан! Новые граждане мира не в состоянии будут понять, до какой степени мал был наш мир».

С неохотой подчинившись жене, Карл лег в постель, и Женни, позабыв обо всех лишениях и бедах, снова горячо принялась за переписку.

Некоторые мысли в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» так нравились ей, что она готова была вскочить с места, разбудить Карла и сказать ему, как великолепен его ум, как богат язык, необозрим духовный горизонт.

«Это превосходно стилистически. Тут нельзя убавить или прибавить ни одной мысли или слова»,— думала Женни и снова перечитывала полюбившееся ей место из новой книги:

«Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы...

Буржуазные революции, как, например, революция XVIII века, стремительно несутся от успеха к успеху, в них драматические эффекты один ослепительнее другого, люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем, каждый день дышит экстазом, но они скоропреходящи, быстро достигают своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье, прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, каковы революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и дело останавли-

ваются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова, с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливают своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост против них еще более могущественный, чем прежде, все снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению...»

Было уже три часа ночи. Проснулась и горько заплакала Франциска. Жалобный голосок младенца отозвался в сердце матери невыносимой болью. Таким же слабым, хворым был и Фоксик всю свою недолгую жизнь. Неужели и этого ребенка Женни суждено потерять? С некоторых пор страх за жизнь детей мучил ее неотвязно. Как им помочь? В доме не было ни гроша. Одни долги. Слезы не приносили Женни больше облегчения, не растворяли горя. Они только ослабляли. Ей казалось, что нервы обнажены, лишены покрова и вибрируют от каждого случайного прикосновения. Как вернуть себе прежнее спокойствие? Потеряв сына, она не могла оправиться. После родов Женни долго болела, и причиной были материальные лишения. Иногда, под гнетом нищеты, она казалась себе совершенно раздавленной, и тогда только Карл возвращал ей волю к жизни...

Думая обо всем этом, Женни отложила переписку и поднялась, чтобы перепеленать Франциску. Но Ленхен опередила ее. С ребенком на руках подошла она к Женни и положила его к ней на колени.

— Опять слезы. От них молоко превращается в уксус,— укоризненно шепнула Ленхен.

— Ты права,— ответила Женни, расстегивая корсаж,— но мои дети лишены всего в этом мрачном проклятом городе, они хиреют от недоедания, от недостатка дневного света.

— У самой темной тучи всегда есть, однако, серебряная подкладка. После черных туманов таким ярким покажется нам чистое небо,— сказала Ленхен.— Я видела многих богатых людей, а не хотела бы быть и дня на их месте. Когда имеешь такое верное, любящее сердце, как сердце Карла, и таких друзей, как господин Энгельс, Вольф и кое-кто еще, право, нельзя гневить судьбу. А наши детки? Разве это не сокровища? Многие могут позавидовать нам. Ведь хорошие люди — это самое дорогое и редкое на свете. Душа твоя всегда пиршествует.

Женни ничего не отвечала. Она вспомнила, что на одной из страниц рукописи мужа, которую только что переписывала, прочла замечательные слова об «эпохах малодушия». Неужели в ее жизни началось такое время? Малодушие... Нет и нет! Не сама ли она выбрала свой жребий и не гордилась ли им всегда? Жена бойца, жена исполина. Этот удел был поистине счастливым.

Она познала такую любовь, о которой многие тщетно только мечтают. Душа ее, благодаря общению с Карлом, никогда не тускнела, не мельчала, не теряла человеческого величия. За годы замужества ни скука, ни пошлость, ни низменные интересы или мерзкая ревность, ни оскорбительные подозрения не вовлекли ее в свой зловонный водоворот. Карл незаметно, самим своим присутствием поднимая ее все выше, открыл перед Женни весь мир, все видимые и незримые сокровища. Это ли не сказочное богатство, не вершина счастья?!

Когда Ленхен унесла Франциску, Женни, прежде чем пойти отдохнуть, переписала две страницы «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта». Ей было жаль расстаться с рукописью.

«Конституция, Национальное собрание, династические партии, синие и красные республиканцы, африканские герои, гром трибуны, зарницы прессы, вся литература, политические имена и ученые репутации, гражданский закон и уголовное право, свобода, равенство, братство и второе воскресенье мая 1852 г.— все исчезло, как фантасмагория, перед магической формулой человека, которого даже его враги не считают чародеем. Всеобщее избирательное право, казалось, продержалось еще одно мгновение только для того, чтобы перед глазами всего мира составить собственноручно свое завещание и заявить от имени самого народа: «Все, что возникает, достойно гибели».

Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом три проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию».

В середине февраля, раздетый и разутый нищетой, Маркс, не покидавший дома, вчерне закончил «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Женни переписывала последние листы. Как бы

утомлена она ни была, живое слово со страниц, густо исписанных мелкими сложными, рвущимися куда-то вперед буквами, мгновенно возвращало ей уверенность и внутреннее равновесие. Она писала бы не отрываясь до утра, если бы властная рука Ленхен или ласковый, но твердый голос мужа: «Пора, ложись спать, ты устала»,— не возвращали ее к действительности и не заставляли прекращать работу.

Женни переписывала одну из последних подглавок:

«Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек, по имени Наполеон, возвратит им все утраченные блага. И вот нашелся некто, выдающий себя за этого человека только потому, что он — на основании статьи кодекса Наполеона: «Отыскание отцовства запрещается» — носит имя Наполеон. После двадцатилетнего бродяжничества и целого ряда нелепых приключений сбывается предсказание и человек становится императором французов. Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что она совпадала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества.

Но тут мне могут возразить: а крестьянские восстания в доброй половине Франции, а облавы, устраиваемые армией на крестьян, а массовые аресты, массовая ссылка крестьян?

...Династия Бонапарта является представительницей не революционного, а консервативного крестьянина, не того крестьянина, который стремится вырваться из своих социальных условий существования, определяемых парцеллой, а того крестьянина, который хочет укрепить эти условия и эту парцеллу,— не того сельского населения, которое стремится присоединиться к городам и силой своей собственной энергии ниспровергнуть старый порядок, а того, которое, наоборот, тупо замыкается в этот старый порядок и ждет от призрака империи, чтобы он спас его и его парцеллу и дал ему привилегированное положение. Династия Бонапартов является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...»

Несколько раз перечла Женни страницу, где буквы то сплетались, то рассыпались в виде острых значков и точек и напоминали нотопись. Нелегким делом было разобрать особый почерк Маркса. Но Женни это удавалось.

«У буржуазии теперь явно не было другого выбора, как голосовать за Бонапарта. Когда поборники строгости нравов на Констанцском соборе жаловались на порочную жизнь пап и вопили

о необходимости реформы нравов, кардинал Пьер д'Айи прогремел им в ответ: «Только черт может еще спасти католическую церковь, а вы требуете ангелов!» Так и французская буржуазия кричала после государственного переворота: «Только шеф Общества 10 декабря может еще спасти буржуазное общество! Только воровство может спасти еще собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!»

Хотя Женни всегда оберегала краткий отдых Карла, в этот раз ей не терпелось сказать ему, как мастерски написана его новая книга о событиях в современной Франции.

Разбуженный женой, Карл не сразу понял, что произошло. Щуря больные, переутомленные глаза, он недоуменно посмотрел на Женни.

— Что-нибудь случилось? — спросил встревоженно Карл, привыкший за последнее время ко всяким неожиданным невзгодам и напастям.

— Прости, дорогой. Но, право, я не могла дождаться утра. Ты написал замечательную книгу, которая намного переживет нас с тобой. Трудно запечатлеть в момент, когда еще льется лава, извержение вулкана, или когда еще колышется почва — землетрясение.

— Ты забыла об ученом Плинии, который описал гибель Помпеи, находясь у подножия пылающего Везувия,— улыбнулся Маркс.

— То была всего лишь запись стихийного бедствия, и только. Ты же сумел объяснить причины, открыл подспудные силы, вызвавшие переворот авантюриста Бонапарта, так, что никто никогда не добавит к этому ничего более значительного.

Карл жил очень уединенно. Вейдемейер был за океаном. Веерт странствовал, Энгельс и Вольф находились на острове, но вдали от Лондона.

В числе немецких эмигрантов, нашедших гостеприимный кров у Маркса, был двадцатишестилетний, ничем особо не замечательный, но весьма говорливый домашний учитель Вильгельм Пипер. Он чувствовал себя отлично, ночуя на тюфяке, постланном на полу на Дин-стрит, 28, и питаясь скромными, но очень вкусными обедами, которые приготовляла добросердечная Ленхен. Пипер играл с детьми, вмешивался во все дела Женни, повторял с важным и поучающим видом, словно эхо, все, что

говорил по тому или иному поводу Маркс, и охотно выполнял некоторые секретарские обязанности. Не имея собственной отчетливой индивидуальности, Пипер был подобен благообразной внешностью и характером луне, которая, являясь мертвым светилом, отражает свет солнца. Находясь возле Маркса, Пипер казался даже ярким, поскольку довольно точно использовал то, что перенимал у Карла.

Назойливый, неумный Пипер поступил в качестве домашнего учителя в семью одного из родоначальников династии банкиров Ротшильдов. Зимой 1852 года он снова зачастил на Дин-стрит.

Пипер, которого Карл иногда называл добрым малым, в последнее время возомнил себя теоретиком и надоедал всем поучениями. Самонадеянно, бестактно и намеренно громко он пытался излагать то, что сам довольно плохо усвоил, вмешивался в разговор, испытывая этим долготерпение Карла и Женни.

Шутки ради он принимался поддразнивать детей Маркса и как-то, подарив не по годам смышленому Мушу нарядную записную книжечку, пригрозил затем, что заберет ее обратно. Обеспокоенный малыш спрятал подарок в укромное место и с таинственным видом шепнул на ухо отцу:

— Знаешь, Мавр, теперь-то я книжечку так запрятал, что ее никто не найдет. А если Пипер спросит, я скажу, что подарил ее нищему.

Пипер, как и все, кто бывал в семье Маркса, любовался величавой прелестью Женни. Лишения не отразились на ее красоте. Скромная одежда не ослабляла впечатления, которое она производила на окружающих.

«Хороша, словно греческая богиня, и к тому же так умна, приветлива, учена и остроумна»,— думал Пипер и охотно выполнял ее поручения. Он помогал ей в переписке рукописей Маркса и в разных маленьких домашних делах.

Вернувшись из роскошного дома Ротшильда, Пипер еще откровеннее восторгался Женни. В самых богатых хоромах ему не довелось встретить равную ей по красоте и статности женщину.

«Ни один современный Крез не может похвалиться такой женой, как Маркс,— думал он.— И эта чудесная жемчужина находится в такой нищете, предпочла жизнь изгнанницы, отказалась от всего, что обеспечивали ей знатность и необыкновенная красота».

Кончилась зима. Женнихен и Лаура с утра уходили в школу, и в мрачной квартирке становилось скучнее. Прекратились черные и желтые туманы, и на Пиккадилли-серкус появились первые продавщицы лиловых фиалок и ярко-желтых дефидолий. Над городом повисла прозрачная дымка белого тумана.

После долгого вынужденного затворничества Карл, выкупив из ломбарда сюртук и штиблеты, вышел впервые на улицу. Он жмурился от яркого света и глубоко вбирал влажный и дымный, как всегда в столице Англии, воздух. От многодневного пребывания в четырех стенах у Карла кружилась голова. Он приподнял шляпу с квадратной тульей и широкими полями, радуясь прикосновению свежего ветерка к густым волосам.

Было воскресенье — унылый конец английской недели, день, предназначенный не только Лютером, Кальвином, но и английским парламентом для чтения Библии, размышлений о грехах и их искуплении. Более ста лет назад особым парламентским декретом в «божьи» дни были воспрещены под угрозой строгих кар всякие общественные увеселения, зрелища, музыка, танцы.

В праздники Лондон казался опустошенным, как в средневековье эпидемией оспы или великим пожаром. Театры, против которых беспощадно боролся Кромвель, ненавидевший их, как потеху презренной аристократии, все еще несли на себе клеймо пуританского проклятия. Вышедшие из подполья в эпоху реставрации королевской власти, они, однако, никогда не смогли вернуть себе привилегии шекспировской поры и безропотно подчинялись в середине XIX века парламентским гонениям, имевшим почти двухсотлетнюю давность. В день отдыха закрыты были не только все без исключения магазины, читальни, но и рестораны. Зато в этот день, когда люди изнывали от безысходной скуки, особенно бойко торговали пивные. Заглянув в одну из них, Маркс увидел за столом с кружкой пива в руке Эрнеста Джонса, с которым был дружен последние годы.

— Алло, Карл, очень рад вас видеть, садитесь, дружище,— на чистом немецком языке весело приветствовал его Джонс — один из вождей чартистов, известный поэт и замечательный оратор.— Кончили ли вы книгу, ради которой ведете столь отшельническую жизнь? Не желая нарушать вашего творческого уединения, я не заходил к вам довольно долго. Надеюсь, вы подвели хорошую мину под негодяя Бонапарта? Никому это не удастся лучше, нежели вам. Известна ли вам резолюция, вынесенная на нашем митинге в Национальном зале?

Джонс вынул из кармана печатный текст и прочел его не без пафоса. У него был чистый, громкий голос и энергическая жестикуляция:

— «Митинг с ужасом и отвращением встретил победоносное узурпаторство Луи-Наполеона — узурпаторство, совершившееся с помощью целого ряда преступлений, измен, насилий и организованных убийств, не знающих себе равных во всей истории Европы. Мы глубоко сочувствуем великодушному французскому народу, видя, как национальные права и свободы, завоеванные им с такими тяжелыми усилиями, грубо попираются военной силой, и мы твердо надеемся вместе со всеми благомыслящими людьми, что Европа скоро увидит конец этой узурпаторской власти, конец, достойный его царствования, достойный его преступления и его неблагодарности по отношению к французскому народу».

— Что ж, резолюция резка, и это хорошо,— сказал Карл.

— За нее голосовало большинство присутствовавших. Между прочим, время оказалось хорошим учителем для господ вроде Карлейля. Второе декабря — великолепная иллюстрация к их теории о великих личностях, творящих историю. Если такое продажное и трусливое ничтожество смогло возглавить государство великих свободолюбцев, чего же стоят все разглагольствования о культе героев?

— На гребне исторической волны иногда может оказаться скорлупа от яйца или даже навоз,— саркастически улыбнулся Карл.

— Ого, сильно и точно сказано.— Свежее, приветливое лицо Джонса приняло чрезвычайно серьезное и даже несколько суровое выражение напряженно думающего человека. Рука англичанина поднялась, разжалась и точно схватила что-то.— Я понял, Маркс, что вы, именно вы являетесь живым опровержением тех, кто считает решающей силой роль личности в истории. У вас проникновенный, нечеловеческий разум, ваша самоотверженность почти божественного свойства. Не мешайте мне говорить. Оттого, что вы пришли в этот мир тогда, когда, согласно вами же найденной разгадке, экономические, исторические предпосылки для осуществления самых благородных целей человечества еще отсутствуют в должной степени, вы, Маркс, еще не стали душой и мыслью масс, вы, мудрый и сильнейший из сильных, не оценены пока по достоинству. Вы принадлежите будущему.

Маркс несколько раз пытался остановить пылкую речь

Джонса, но ему удал азала мне уже много интересного о твоей выбрасываемую вверхр ила превосходным кофе. Я провел часок
— Не прерывайте еньких друзей. Мы выстроили великолепон победит, будут свя ли трубку мира.
Джонс прочел свои не улеглись дети, в квартире Маркса не
— Хорошие стихи,— Когда Ленхен наконец удалось уложить
Джонс принялся за к и Муша и укачать покашливающую и Джонс вышли на безлю дись все взрослые члены семьи. Карл
— Проклятое воскресе овались друг по другу и сели рядом. даться. Сидеть на скамейк ц. Переписка могла лишь отчасти занять себе жизнь ревматиз щение. И сейчас они старались воз- Джонс. разлуке.
— Отлично,— согласился бы ковали на огне мысли, те поло-
Они медленно направилис истории, которые не раз обдумыненной улице магазинов — Окс енные десятками миль. Но внаниже Маркса, но так же широкопл верхности. Они как бы отды-
— Вы так-таки ничего еще мне
книге,— заговорил снова англичанин.— из чартистов, повсюду французских сочинениях, посвященных т идрих, сохраняя, одвороту второго декабря? сам его мнение об
— Да, я их читал. Переворот «Елисейской Марат — дои будет еще долго будоражить умы всех демократов мира. тов из книг называется «Наполеон малый». Автор — Виктор Гюго, другая — «Государственный переворот» небезызвестного вам Прудона. Гюго и я, как видите, эмигранты, и оба нашли прибежище на земле туманного Альбиона.
— Не хочу ставить вас, Маркс, в один ряд с другими. Нельзя не уважать таланта Гюго, он, в конце концов, смелый человек. Что же касается достопочтенного Прудона, то чем дальше, тем больше он становится похожим на свистульку, воображающую себя орга́ном.
Карл принялся рассказывать Эрнесту Джонсу о двух французских книгах, посвященных столь волновавшей его теме.
— Для Гюго события второго декабря явились громом среди ясного неба. По его мнению, это чуть ли не рок. Он видит в случившемся лишь насильственное деяние одного человека и, пытаясь умалить значение политического прохвоста, каким, несомненно, является Луи Бонапарт, возвеличивает его, приписывая безмерную мощь личной инициативе. Это неизбежно, раз не объяснены и попросту обойдены молчанием истинные исторические и политические причины такого стремительного возвышения. Поэтому книга Гюго, по-моему, несмотря на едкие и

Джонс вынул из кармана печатный тевесна, как карточный
пафоса. У него был чистый, громкий гол
стикуляция: интересовался Джонс.
— «Митинг с ужасом и отвращениемываемых объективных
узурпаторство Луи-Наполеона — узурп хотя и стремится пред-
ется с помощью целого ряда преступлезультатом предшествую-
ганизованных убийств, не знающих себчески непрерывно возве-
Европы. Мы глубоко сочувствуем вели
народу, видя, как национальные празрешили загадку трагико-
им с такими тяжелыми усилиями, бязательно прочту «Восем-
силой, и мы твердо надеемся вместне придется ждать обещан-
людьми, что Европа скоро увидит, так как я достаточно вла-
власти, конец, достойный его царзие прочесть ваше сочинение
ступления и его неблагодарности
народу». ей книге, в противоположность
— Что ж, резолюция рез; каким образом классовая борьба
— За нее голосовало босылки для того, чтобы этот скоморох
прочим, время оказалофать роль героя.
Карлейля. Второе де
теории о великих
продажное и ты с Джонсом о встрече на следующий день,
ство повернул в квартал Сохо. Внезапно обернувшись, он уви-
дел круглое веснушчатое лицо следовавшего за ним почтенного господина в шляпе пирожком.

«Мой шпик тут как тут. Долго же я водил его по городу»,— подумал Карл. Это его рассмешило. Подойдя к своему дому, Карл еще раз посмотрел на несколько смущенного шпика, который сделал такой жест, точно хотел снять свою странного фасона шляпу и раскланяться.

Насвистывая шуточную немецкую песенку, Карл поднялся на второй этаж в свою квартиру. Едва он открыл ключом дверь, как услышал хор детских голосов:

— Ура, дядя Ангельс приехал, дядя Ангельс привез леденцы, конфеты и разные вкусные вещи!

Позади оживленных, разрумянившихся Женнихен и Лауры с Мушем на руках появился Энгельс.

— Ба, вот приятная неожиданность! У нас Фредерик,— радостно воскликнул Маркс, сбросив пальто.

Осторожно поставив мальчика на пол, Фридрих подошел к Карлу, ласково всматриваясь в его лицо.

— Как твои глаза? Кажется, тебе лучше. Наконец-то я вырвался опять к вам на несколько дней из проклятого Манчестера.

Госпожа Маркс рассказала мне уже много интересного о твоей книге, а Ленхен напоила превосходным кофе. Я провел часок в обществе своих маленьких друзей. Мы выстроили великолепный вигвам и раскурили трубку мира.

Весь вечер, пока не улеглись дети, в квартире Маркса не смолкали смех и шутки. Когда Ленхен наконец удалось уложить спать Женнихен, Лауру и Муша и укачать покашливающую хилую Франциску, собрались все взрослые члены семьи. Карл и Фридрих заметно истосковались друг по другу и сели рядом. Улыбка не сходила с их лиц. Переписка могла лишь отчасти заменить им живое личное общение. И сейчас они старались возместить время, прошедшее в разлуке.

В разговоре оба друга как бы ковали на огне мысли, те положения в политике, экономике, истории, которые не раз обдумывали и проверяли порознь, отделенные десятками миль. Но вначале беседа скользила лишь по поверхности. Они как бы отдыхали рядом.

— Джонс, несомненно одареннейший из чартистов, повсюду рекламирует твою корреспонденцию, Фридрих, сохраняя, однако, твое инкогнито. Завтра ты услышишь сам его мнение об этом. Кстати, я уже писал тебе, что неудавшийся Марат — достопочтенный Гарни, любитель всяких театральных эффектов и рекламной шумихи, бесстыдно отбивает для своей газеты «Друг народа» подписчиков у Джонса. Черт знает, где достает он деньги. Недавно Гарни нанял и пустил по Лондону фургон с объявлениями, призывающими подписываться на «Друга народа». Во всех витринах магазинов, хозяева которых объявляют себя социалистами, ты можешь полюбоваться рекламой газеты благородного чартиста Гарни Джорджа Джулиана.

— Думаю, что госпожа Гарни, его супруга, принимает во всех этих предприятиях самое деятельное участие. Я знавал только одну женщину столь же напористую,— сказал Энгельс.— Ты догадываешься, конечно, кого я имею в виду?

— Прелестнейшую из гадюк — Эмму Гервег,— смеясь, ответил Маркс.— Я теперь еще более убежден, что Гарни тщетно пыжится и хочет доказать, что мыслит и действует самостоятельно.

— Ты превосходно заметил, Карл, когда-то о Гарни, что в душе его живут три духа,— вмешалась в разговор Женни,— один усмирен вами, господин Энгельс, вот отчего мистер Гарни всегда отступает и как-то сжимается, когда вы с ним спорите, второй — это он сам в неприкосновенном виде, но третий и к

тому же самый могущественный — это семейный дух, его достойная супруга.

— Эта дама,— заметил, смеясь, Карл,— превосходит всех героинь Шериданової «Школы злословия», Бекки Шарп из «Ярмарки тщеславия» по сравнению с ней новорожденный младенец. Даже меня и Женни она умудрилась впутать в свои мерзкие сплетни. Эта женщина сует свои длинные руки не только в кухонные кастрюли знакомых, но и во все политические начинания мужа. Немало хороших людей уже поплатились только за то, что встречались с ней когда-либо. Но довольно об этом. Хорошо, что Эрнест Джонс другой. Несмотря на некоторую мягкость характера и частые колебания, несомненно последовательный, надежный борец. Читал ли ты его новую поэму?

— Стихи Джонса очень хороши,— сказала Женни, оживившись. Она, как и Карл, любила искусство во всех его проявлениях и не уставала следить за литературой, поэзией, музыкой.

В соседней комнате раздались стоны и мучительный детский кашель.

— Франциска снова больна. У нее, по-видимому, бронхит. Как я боюсь за эту крошку! — Сказав это, Женни поспешно вышла из комнаты.

— Я разделяю тревоги госпожи Маркс,— произнес Фридрих.— Ребенок кажется мне очень слабеньким. Хорошо, если не будет воспаления легких.

Маркс помрачнел и нервно принялся отыскивать на столе коробку с пахитосками. Он тяжело вздохнул.

— Бедное дитя,— сказал Карл тихо.— Оно пришло в мир в тяжелое для нас время. Женни, произведя на свет Франциску, горестно оплакивала нашего умершего сынишку. После родов, как ты, наверно, помнишь, она долго болела. Ребенок находился у кормилицы. Здесь ведь к тому же так тесно. Материальное положение мое так плачевно, что больная малютка не имеет необходимых лекарств и достаточной врачебной помощи. Если бы не ты, Фредерик, мы уже, должно быть, не существовали бы больше.

Энгельс не мог усидеть на месте. Он встал, прошелся по комнате, стиснул руки и сказал с горечью:

— Молчи, Карл. Я так мало могу сделать теперь для тебя и твоей семьи. Но терпение, друг! Когда я перестану быть всего лишь конторщиком и сделаюсь компаньоном фирмы отца, где бы она ни была — в Манчестере или Ливерпуле, все сразу изменится в твоей жизни. Я не могу дождаться той минуты, когда

твоя семья будет иметь все необходимое и ты спокойно сможешь писать свою, несомненно замечательную и необходимую для нашей борьбы и победы, книгу по политической экономии. То, что ты мне показывал, превосходно и нужно миру и человечеству как воздух. Ты допишешь свой труд, чего бы нам это ни стоило, а пока...

Голос Энгельса, всегда такой ровный, уверенный, дрогнул. Маркс посмотрел на него сверкающим благодарным взглядом. Они молча закурили. Вскоре разговор возобновился, сначала отрывисто, вяло, затем с нарастающей силой и увлечением. Оба друга как бы домысливали в беседе все, что было не до конца уяснено. Взаимопонимание Карла и Фридриха было так велико, что, едва один начинал говорить, другой мгновенно безошибочно мог продолжать его мысль. В этом отчетливо сказывались их совершенная близость и единство.

Оба они отлично знали все, что касалось развития английской экономики и важнейших политических событий. Маркс и Энгельс жили интересами всей планеты, и разговор их был подобен кругосветному путешествию. Индия, Америка, Китай и европейские страны — все это было в поле их зрения и мысли.

Но вот беседа перешла к волновавшим их особенно делам Союза коммунистов. Маркс, негодуя, рассказывал о подлом прусском провокаторе Гирше, втершемся в Союз коммунистов.

— По моему предложению, — говорил он, — этот юркий негодяй был исключен на очередном собрании коммунистов Лондонского округа. Пришлось изменить адрес и день еженедельных собраний, чтобы скрыться от полиции. Вместо Фаррингтон-стрит в Сити, где мы собирались по четвергам, отныне встречаться будем в таверне «Роза и корона», неподалеку отсюда, в Сохо, на Краун-стрит. Как видишь, Фред, мы окружены шпиками. Наши письма перлюстрируются. Необходима осторожность, чтобы ничем не подвести арестованных в Кёльне братьев по партии.

Борьба за соратников, которых привлекли к суду, обвиняя в участии в так называемом немецко-французском заговоре, была кровным делом Маркса и Энгельса, и они долго обсуждали, как следует им ее вести. Было уже далеко за полночь, когда они заговорили об американских друзьях Вейдемейере и Клуссе, который недавно сообщал в письме много важных сведений о деятельности за океаном мелкобуржуазных политических дельцов, таких, как Кинкель и Гейнцен.

— Ну, а как ведут себя эмигрантские инфузории здесь, в Лондоне? — спросил насмешливо Энгельс.

— Копошатся. Чтобы различить их деятельность, требуется сильнейший микроскоп. Но переступим через них. Я уже знакомил тебя с тем, что установил для самого себя со всей ясностью в сложном вопросе о классах и классовой борьбе в истории. Существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства — это первое; классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата — второе, и, наконец, третье — эта диктатура сама собой составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов вообще.

На следующий день Фридрих пришел на Дин-стрит в холодные серые сумерки. Здоровье Франциски ухудшалось, и в квартире царило беспокойство. Женни и Ленхен не отходили от больного ребенка. То они принимались обогревать его, закутывая в теплую шаль, то, не добившись облегчения, бросались поднимать раму окна, чтобы освежить комнату притоком воздуха. Ничто не помогало.

Старшие дети, Карл и Фридрих перешли в соседнюю комнату. Камин чадил, и Карл принялся растапливать его. У огня на рваном полосатом пледе лежал хилый котенок. Все в семье Маркса и он сам трогательно жалели и любили животных. Часто дети приносили с прогулки домой брошенного щенка или горемычную кошку.

Энгельс раскладывал на тонких ломтиках белого хлеба ветчину и сыр. Он был большим мастером делать сандвичи. Женнихен и Лаура с детской беспечностью помогали ему. Потом они окружили Энгельса, требуя сказок. Только Мавр, по мнению детей, умел сочинять их лучше Фридриха. Но в этот печальный день они не решались просить о чем-нибудь отца.

Прежде чем начать рассказ, Энгельс прошел в соседнюю комнату.

Женни бросилась к нему навстречу, тревожно говоря:

— Малютка очень страдает. Она задыхается. Я никогда не видела, чтобы бронхит был столь мучительным. Не знаете ли вы какого-либо исцеляющего средства?

— По моему разумению, надо искупать ее,— вмешалась решительно Ленхен.— Когда-то господин Гейне спас горячей ванной от смерти нашу крошку Женнихен.

— Что ты думаешь о ванне, Фред? — с надеждой в голосе спросил Маркс, взяв на руки хрипящую потную Франциску.

Маленькие ноздри девочки раздувались. Иногда она открывала мутные тоскливые глазки, глядя в пространство. Впервые в жизни Карл вдруг почувствовал желание закричать о помощи. Он крепко закусил губы и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Конечно, это не может причинить вреда малютке. Ванна, во всяком случае, совершенно безвредна,— ответил Энгельс и принялся деятельно помогать Ленхен готовить горячую воду. Про себя он думал: «Ребенок очень болен. Неужели и он, как Фоксик, погибнет в Лондоне?»

После ванны Франциске стало лучше, и надежда — эта злейшая и желаннейшая обманщица — снова внесла успокоение в семью Маркса.

Фридрих вернулся к терпеливо поджидавшим его детям. Он пододвинул единственное кресло к камину, и Муш тотчас же забрался на его колени, а девочки уселись рядом. Насытившийся котенок улегся у их ног, поближе к огню.

— Надеюсь, я не помешаю импровизации? — спросил Маркс и подошел к рабочему столу, чтобы просмотреть свежий номер «Таймса».

— Нет, Мавр. Но, увы, я не обладаю твоим даром фантазии. Хорошо, что мои слушатели весьма снисходительны. Итак, хотите ли вы, высокочтимые леди и джентльмены, послушать миф о Прометее? — сказал Энгельс, обняв одной рукой Муша, другой — Лауру и Женнихен.

— Да, да, о Прометее! — закричали дети, которым понравилось звучное, никогда ранее не слышанное имя.

Фридрих понизил голос и медленно, таинственно, как надлежало, начал рассказывать сказку.

— Это было давным-давно, на далеком рубеже земли, принадлежавшей жестокосердным скифам. Там всегда грохотало и пенилось море. Узкие и острые скалы, будто ножи и кинжалы, торчали на берегу, омываемые волнами. Никогда не ступала в этой дикой и пустынной местности нога человека. Но вот однажды появились там страшные стражи сурового греческого бога Зевса. Их звали Власть и Сила. Они гнали перед собой титана — Прометея, чтобы приковать его навеки к вершине самой высокой скалы. Позади Прометея, печально понурив голову, брел его друг, сын Зевса, кузнец Гефест. Ему было приказано приковать к скале руки и ноги пленника. Но мало показалось Зевсу этого наказания, и он велел также пронзить грудь титана

стальным острием. «Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы!» — приказывали Власть и Сила Гефесту. «О Прометей! — шептал тот печально.— Я страдаю, видя твои муки, но не могу ослушаться грозного бога Зевса».— «Торопись, бей крепче, иначе и ты тоже будешь закован!» — прервала Гефеста суровая Власть.

И вот все было кончено. Титана приковали к скале и в грудь воткнули стальное копье.

«Безумец, ты помог людям и навлек гнев богов, а эти жалкие однодневки на земле не придут облегчить теперь твои страдания. Зачем ты пожалел их, дерзкий?» — насмехались над титаном Власть и Сила.

Маркс давно отложил газету и, опершись головой на руку, то ли слушал, то ли думал о чем-то.

— Распростерт на высокой скале,— продолжал Энгельс громче,— пригвожден и опутан оковами Прометей. Жгут его тело палящие лучи солнца, проносятся над ним бури, по изможденному телу хлещут дожди и град, зимой леденящий холод сковывает искалеченное тело. Каждый день громадный орел прилетает и садится на грудь Прометея и рвет клювом его печень. Потоками льется кровь, обагряя скалу. За ночь заживают раны и вновь отрастает печень, но утром прилетает орел и клюет ее снова. Многие сотни лет длятся эти муки, но не сломлен гордый дух Прометея страданиями. Бессильны перед ним его лютые враги.

— Какая страшная сказка! — говорит Лаура.

— А за что приковали Прометея к скале? — спрашивает Женнихен, блестя черными в голубой оправе белков, такими же яркими, как у отца, глазами.

Муш силится понять сказку и напряженно морщит лобик.

— Могучий Прометей, вопреки воле Зевса, похитил с божественной горы Олимп небесный огонь и передал его людям,— продолжает Энгельс.— Полудикие, жалкие, несчастные люди благодаря огню обрели письменность, числа и ремесла. Прометей принес им счастье и подорвал безграничную власть над человеком мстительных богов.

За помощь сильную
Главарь богов неистовыми пытками
Мне отомстил наградою чудовищной,—

декламировал Фридрих строфы из Эсхилова «Прикованного Прометея».

Ведь такова болезнь самодержавия:
Друзьям не верить, презирать союзников.
Вы спрашивали, почему постыдно так
Меня калечит,— ясный дам, прямой ответ.
Едва он на престол сел родительский,
Распределять меж божествами начал он
Уделы, власти, почести: одним — одни,
Другим — другие. Про людское горькое
Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род
Людской замыслил, чтобы новый вырастить.
Никто за них не заступился, я один!
Один лишь я отважился! И смертных спас![1]

Энгельс помолчал.

— Вот что еще говорил Прометей,— сказал он затем: — «Я людям подарил огонь...»

Женнихен протянула ручки к камину.

— Он стащил с неба огонь?— сказала она, удивленно вскинув вверх черные ресницы.— Но как стали бы люди жить без него? Они замерзли бы, наверное?

Никто ей не ответил. Муш дремал на руках Энгельса. Лаура прикорнула, положив голову на его колено. И Женнихен одна, пораженная загадочной сказкой, смотрела не мигая в пасть камина. Ей казалось, что сквозь пунцовые языки пламени она видит распластанное тело Прометея, которое разрывает острый птичий клюв.

В тихой комнате снова зазвучал мужественный голос Энгельса. Он продолжал читать наизусть столь любимые Марксом и им стихи Эсхила:

...Врагу от врагов
Казнь и муку терпеть — в этом стыдного нет,
Ну так пусть двухлезвийные кудри огня
В грудь мне ринутся, в клочья пускай разорвут
Воздух — громы и дурь сумасшедших ветров!
Пусть тяжелую землю до самого дна,
До кремнистых корней потрясет ураган.
Пусть в кипенье и бешенстве хляби морей
Вперемежку сплетутся с дорогами звезд.
Пусть швырнут мое тело в бездонный провал
Чернокрылого тусклого Тартара, пусть
Заклубит меня круговерть медной судьбы,
Умертвить меня все же не смогут!

Энгельс опустил глаза и увидел, что только Женнихен по-прежнему жадно слушала, раскрасневшись, миф о Прометее. Муш и Лаура тихо спали.

---

[1] Перевод Адр. Пиотровского.

— Несчастный титан. Неужели всегда Зевс будет его так жестоко мучить? — спросила Женнихен испуганно.

— Прометей огненосец и провидец. За это-то больше всего и ненавидел его злобный бог. Прометей предсказал, что Зевс должен погибнуть.

Пускай сейчас надменен Зевс и счастьем горд,
Смирится скоро!..
...Пускай царит, небесными гордясь громами.
Пускай царит,
В руке стрелою потрясая огненной!
Нет, не помогут молнии. В прах рухнет Зевс
Постыдным и чудовищным крушением.
Соперника на горе сам себе родит,
Бойца непобедимейшего, чудного!
Огонь найдет он гибельней, чем молния,
И грохот оглушительнее грома гроз...
И содрогнется в страхе Зевс.

Наступило молчание. Затем, улыбнувшись широкой ласковой улыбкой, Фридрих продолжал, обращаясь к своей единственной слушательнице:

— Запомни, малютка, Прометей был великий и благородный мученик, как сказал некогда наш Мавр. Он принес себя в жертву потому, что больше всего на свете любил людей. Ничто и никто не мог сломить его волю. Только божественный огонь мог принести счастье людям. И раз боги не отдали добровольно, Прометей его похитил.

* * *

Тринадцатого апреля, после нескольких дней пребывания в столице, Фридрих уехал в Манчестер. А днем позже в тяжких страданиях умерла маленькая дочь Маркса.

Снова светило лондонское солнце сквозь прозрачную дымку. Наступила пасха. Продавщицы цветов вывезли на улицы тележки с букетиками разноцветных голландских тюльпанов и серебристых нарциссов. Звонили колокола. В сквере Сохо зеленела свежая трава, веселились воробьи. Только в квартирке на Дин-стрит, 28 стало еще мрачнее. Крохотное бездыханное тельце умершей покоилось в маленькой смежной комнате. Трое детей и трое взрослых горько оплакивали Франциску.

Смерть вошла в дом, где господствовала нищета. Ленхен первая, со свойственной ей трезвостью и силой перед лицом всяких страданий, вспомнила о том, что нужен гробик, но в ко-

шельке Маркса не нашлось ни гроша для его покупки. Эрнест Джонс хотел достать денег, но и ему это не удалось. Мертвое дитя, у которого никогда не было при жизни колыбельки, лежало на столе, не имея последнего прибежища. Ночью вся семья укладывалась вместе в соседней комнате.

Будущее не предвещало им скорого избавления от страшных лишений. Закрыв глаза, без сна лежала Женни возле своих детей. Мысли, одна мрачнее другой, возникали в ее утомленном мозгу. Что будет с Мушем? Не по летам развитой, необыкновенно одаренный мальчик заметно слабел, прозрачно бледным было его личико, темные круги лежали вокруг прекрасных, глубоких, полных мыслей глаз.

Женни поднялась с постели, похожая на смелую прекрасную орлицу, готовую погибнуть, но спасти своих птенцов. Дети спали. Стараясь не разбудить мужа и Ленхен, со свечой в руке прошла она в соседнюю комнату, где лежало уже три дня ее мертвое дитя. Здесь в полном одиночестве, окаменев от горя, глядя без слез на застывшее белое личико, она вдруг вспомнила Трир и огромный сад с беседкой, обвитой виноградными лозами, где так любила сидеть в знойный день ее мать, баронесса Каролина фон Вестфален. Девочка, бегавшая среди цветов в белоснежном платье с оборками и бантами, похожими на стрекоз, веселая, нарядная, неужели это была она? Если бы Муш, Лаура, Женнихен росли в достатке, если бы маленькая Франциска и бедный Фоксик резвились в старом вестфаленском доме, может быть, смерть не осмелилась бы приблизиться к ним.

Больному воображению Женни послышались звуки музыки. Кто это играл обычно Моцарта на белом клавесине в зале, убранной в шотландском стиле? Это ее брат. Теперь Фердинанд фон Вестфален стал чванным прусским министром. Он богат, но никогда сестра не обратится к нему за помощью.

Снова далекий Трир приблизился к Женни. Как беспечно начиналась ее жизнь в отчем доме! Вот и платан на Римской улице, свидетель счастливых свиданий. Часто стояла она в его тени, слушая Карла. Впереди, казалось ей тогда, была одна только радость. Женни закрыла лицо руками.

— «Нет горя горше, чем в несчастье о счастии минувшем вспоминать»,— прошептала она слова поэта.

В это время знакомая, бесконечно дорогая рука легла на ее плечо.

— Карл,— прошептала она вошедшему незаметно мужу,— мне трудно, невыносимо. Как нам быть дальше? Поддержи

меня, я слабею. Сколько раз ты уже возвращал мне силы. Откуда только ты их черпаешь?

— Это и есть жизнь, Женни. Будем сильны в час испытаний. Рождение и смерть чередуются и неизбежны, как ночь и день, покой и буря, прилив и отлив.

— Пусть мы только однодневки на земле,— печально сказала Женни,— но все-таки дороже всего для нас дети. Скоро ли наступит время, когда на свете не будет больше столь несчастных, как мы с тобой, родителей, которым не на что похоронить своего умершего от бедности и лишений младенца?

Немного успокоив и уложив жену, Маркс подошел к чуть тлеющему камину и закурил. Скоро горка окурков выросла в пепельнице. Он взволнованно зажигал и раскуривал одну за другой тонкие пахитоски. Мысли, тяжелые, как жизнь на Дин-стрит, давили его. Облокотясь головой на крепкую руку, Карл думал о том, имел ли он право обречь на столь тяжкие испытания Женни и детей. Может быть, следовало, избрав столь тернистый боевой путь, идти в жизни одному?

С юности Карл выбирал только трудные дороги, был верен одной цели — сделать наибольшее число людей счастливыми. Бесстрашно ради этого он спустился в ад, где жило большинство человечества. В философии, истории, экономической науке искал он упорно средства вывести людей к счастью. Нищета, потери детей, голод, болезни — удел тех, кому он посвятил себя,— стали и его судьбой. Иначе быть не могло. Вместе с Карлом терпели лишения Женни и их дети.

Мог ли Маркс с его чуткой душой, строгим, правдивым сердцем и титаническим умом избрать иную жизнь? Тогда это был бы другой человек.

Возле умершего ребенка Карл сурово допрашивал свою совесть: был ли он прав, не жесток ли к семье? И совесть отвечала без колебаний: «Иди дальше той же тропой. Она ведет к тому, чтобы победить все несчастья. Эта потеря еще раз поможет тебе понять безмерность горестей на земле, твои слезы — едва зримая капля в море других».

Карл отошел от камина, глаза его были подернуты страданием и грустью. Вокруг все спали. На одной из кроватей лежали вместе Женнихен, Лаура и Муш. Склонившись над ними, едва сдерживая желание обнять их, Маркс вглядывался в спящих. Как горячо любил он детей! Не размышляя, пожертвовал бы отец ради них своей жизнью, но отступиться от своей совести, целей, идей не смог бы никогда.

Женнихен и Лаура спали, раскинувшись на постели, порозовевшие, как бы готовые улыбнуться, и тем более бледным казался маленький Муш. Мальчик видел, верно, тяжелый сон, и его умное, нежное, вдохновенное личико горестно кривилось. Подле олицетворявших здоровье сестер он казался хрупким стебельком, растущим без достаточного дневного света.

Нервы Карла были крайне напряжены, и он внезапно содрогнулся от тяжелого предчувствия и боязни за сына. Это длилось только мгновение. Отогнав страшную мысль, отец не сдержался, наклонился и осторожно, ласково коснулся губами трех пушистых головок, пахнувших свежескошенной травой.

Настало утро.

Маленькую Франциску все еще не на что было похоронить.

Обезумев от отчаяния и смятения, Женни бросилась к одному французскому эмигранту, жившему в квартале Сохо, и попросила о помощи. Это был добрый, отзывчивый человек. Он тотчас же дал ей два фунта стерлингов. На эти деньги куплен был гробик. Годовалую Франциску похоронили на кладбище для бедных.

Неудачи преследовали Маркса, и казалось, судьба удавом обвилась вокруг его дома. Из Америки шли вести одна печальнее другой. Издание брошюры «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» задерживалось,— у Вейдемейера не было средств.

И только в конце апреля, прекраснейшего месяца на острове, до Дин-стрит добрался первый луч надежды. Благодаря помощи одного немецкого эмигранта, отдавшего все сорок долларов своих сбережений, можно было опубликовать книгу в виде выпуска журнала «Революция».

Горе как бы отхлынуло на время от семьи Маркса. Издатель «Нью-йоркской трибуны» Дана предложил Марксу написать для его газеты статьи о текущих английских делах, а Энгельс прислал другу денег и ободрил его сообщением, что, получив прибавку жалованья, сможет отныне несколько увеличить материальную помощь. В бессолнечной квартирке на Дин-стрит, 28 снова стало веселее. К обеду Ленхен жарила мясо и пекла детям сладкие пирожки. Женни смогла купить себе и детям новые платья, и Муш получил игрушки.

* * *

Вильгельм Либкнехт достиг того чудесного возраста, когда человек с особой силой вбирает в себя все, что может, и неутомимо действует. Хотя перед ним было еще очень много полно-

ценных лет жизни и он знал это, как всякий совершенно здоровый физически и духовно человек, ощущение не до конца использованного времени, нетерпение, желание все испытать постоянно томили его. Этим-то он особенно нравился Карлу и Фридриху, так как был им сродни.

Мысли о любви тревожили Вильгельма. Он смотрел на каждую привлекательную женщину с необъяснимой грустью и растерянностью. Рано лишившись матери, Вильгельм получил суровое воспитание и особенно стеснялся женщин. Но в Женни с недавнего времени он нашел заботливую сестру и мать и делился с ней всем, что волновало и мучило его в печальном изгнании. По его мнению, Женни совмещала в себе все самое лучшее: красоту, слегка насмешливый, глубокий ум, душевное благородство.

— Я уверен,— сказал Вильгельм Женни, помогая ей складывать переписанные листы рукописи Карла,— что вы поймете то, о чем я часто думал в последнее время, и не сочтете меня чудаком. Я пытаюсь заглянуть в будущее, теоретически обобщить ряд житейских наблюдений и кое-каких фактов.

Женни вопросительно посмотрела на Либкнехта, отложив работу.

— Короче говоря,— продолжал он,— речь идет о семье и браке в будущем.

— Вот как! И что же вы об этом думаете? — заинтересовалась Женни.

Вильгельм, собрав всю силу воли, чтобы преодолеть нахлынувшее смущение под прекрасным сияющим и ободряющим взглядом, заметно повысил голос и принялся говорить очень быстро:

— Литературные образы и ситуации, всякие случаи из жизни и думы об этом извечном вопросе, который притягивает и вбирает в себя много духовных и физических сил человека, говорят мне, что многое изменится в будущем. В подлинно человеческом, то есть коммунистическом, обществе не будет любовных драм с кровавой развязкой. Яснее: между любовью и семейными узами не возникнет роковых противоречий. Ведь главное, что порождает драму,— это судьба детей. А при коммунизме люди будут так богаты, что дети найдут заботу не только семьи, но и общества, благоденствие и счастье. Исчезнет в литературе и искусстве тема о брошенных детях. Человек подчинится в любви только велению сердца. Сгинет ревность, и ничье чувство собственного достоинства не будет более уязвлено.

И, говоря библейскими оборотами, сбросит человек последнее иго, и увидит он, как хорошо быть вечно молодым.

— Вы еще не любили,— сказала тихо Женни.— Когда вам посчастливится отыскать единственную любимую, вы воскликнете, как Фауст: «Остановись, мгновенье!» Никогда ничто не сможет сравниться для вас с многообразием и глубиной охватившего сердце великого чувства.— Женни помолчала.— Вы правы в том, что люди при коммунизме будут прекрасны, одухотворенны и цельны. Любовь к одному или одной подчинит все инстинкты. Как духовно постоянно развивается человечество, стремясь достигнуть совершенства, так в коммунистическом обществе будет углубляться и шириться способность любить преданно и верно одно существо.

— Нет,— все более удивляясь своеобразию и ясности мысли Женни, оживился Либкнехт,— я не согласен с вами, хотя то, что вы говорите, и очень заманчиво. По правде говоря, меня пугает однообразие в любви, моногамия кажется мне пресной и тягостной, от нее веет пуританством.

— Милый теоретик, вы чрезмерно умствуете,— засмеялась Женни.— Пуританская мораль — это провозглашение устоев собственности. При коммунизме, я думаю, все будут настолько свободны, что человек сможет связать себя только таким чувством, которое, раз родившись, умрет только вместе с ним самим. Когда вы полюбите, то поймете без всяких теоретизирований, как многогранна, безгранична и всегда нова подлинная любовь. Впрочем, предоставим будущим поколениям устраивать свою жизнь так, как будет диктовать им их время и сердце.

В немногие свободные часы Вильгельм отправлялся бродить по огромному Лондону. Иногда он встречался с Бартелеми, который уводил его на окраины. Как-то они попали на излюбленное зрелище столичных жителей — собачьи бега. Как и петушиные бои, эти бега привлекали множество зрителей.

Невозмутимая в повседневности толпа, к изумлению Либкнехта, совершенно преображалась на игрищах и состязаниях. Вой, стоны, крики сопровождали бегущих к финишу собак, догонявших зайца. Не оставалось тогда и следа от пресловутой английской чопорности, сдержанности, контроля над жестом и словом.

Бартелеми был весьма охоч до таких зрелищ и, если были деньги, ставил на тотализатор. Еще больше нравились ему петушиные бои в лондонских трущобах, устраиваемые в больших старых сараях. Либкнехта возмутила эта страшная садистиче-

ская забава. Петухи, обреченные на взаимное растерзание, бились с чудовищной отвагой и смертельным упорством. С подсказанной инстинктом предельной злобой кололи они враг врага шпорами, клювами, бились общипанными крыльями, грудью. Диким криком одобрения сопровождали зрители удар старого, хромого, израненного петуха, мгновенно ослепившего соперника. В этом бою не было победителей и финиша. Это была война насмерть. И слепой петух, кровоточащий, общипанный, собрал последние силы, чтобы умереть отомщенным. Внезапно, высоко закинув костлявую шею, он взлетел над противником, повалился на него коршуном и ударом клюва пробил ему голову. Птицы сплелись и издали победный хриплый клич. Оба победили, оба были мертвы.

Вильгельм с отвращением отвернулся. Его тошнило. Бессмысленнее, жесточе, чем само сражение соперников, показались ему озверелые лица присутствовавших, их открытые слюнявые рты, их сладострастно сожмуренные глаза, их вздохи и рев. Чувствуя нараставшее омерзение, Вильгельм потребовал, чтобы Бартелеми вышел с ним из зловонного сарая.

— Как можешь ты, Эммануэль, развлекаться зрелищем, достойным людоедов Соломоновых островов? — спросил он раздраженно.

— У нас с тобой разные вкусы, да и взгляды тоже. Как видишь, здесь всегда тьма народу. Я люблю толпу. К тому же нужно ожесточить сердце, чтобы принести кровавые жертвы во имя победы. Нельзя в наше время бояться крови. Не ты ее прольешь, так тебя обескровят. Недавно я читал, что где-то на Кавказе, в горах, есть люди, поклоняющиеся дьяволу. Они рассудили, что бог есть начало добра, его бояться нечего и молиться ему не стоит. Другое дело дьявол. Он беспощаден и потому опасен.

— Это секта иезидов,— подтвердил Либкнехт.

— Мне все равно, как она называется. Зло торжествует в современном мире. Бедные перепуганные человечки пытаются молениями и жертвами умилостивить черта. Я не их единомышленник и поднял меч. Со злом я буду бороться злом и уничтожу тиранию.

— Ого, ты возомнил себя безмерно могущественным и хочешь всех чертей перебить из одного своего пистолета. Ты безмозглый петух и не видишь ничего дальше своего клюва.

Бартелеми вспылил и разразился бранью, как всегда, когда у него не было аргументов. Рассорившись с Либкнехтом, он от-

правился в трактир Джо Брауна, где его давно уже поджидала юная Нэнси.

В эти дни Маркс часто уходил в Гайд-парк. Он и во время прогулок не расставался с записной книжкой, чтобы не потерять мелькнувшую мысль, подчас счастливую находку, подводившую итог многим часам работы за письменным столом или в читальне Британского музея. Его мозг работал неутомимо, с величайшей основательностью. Ночь или день не имели для него решающего значения. Все больше часов проводил он в это время без сна. Его организм, созданный для большого напряжения и творчества, настойчиво требовал также и физических упражнений. Карл уходил в далекие прогулки пешком. По длинной Оксфорд-стрит, одной из нарядных улиц Лондона, расположенной неподалеку от Сохо, он шел до Марбль-Арч, где начинался просторный, зеленый Гайд-парк.

Памятником, напоминающим о средневековом простолюдине, служит не Ченсери-корт, где его судили, не парламент, где его обращали в рабство, не Вестминстерское аббатство, где отпевали его королей, а обширные городские парки — общинные луга средних веков. Таков Гайд-парк, широкая оголенная лужайка посреди города. Там пасутся отягощенные свалявшейся серо-желтой шерстью бараны — последнее напоминание о детских годах нации.

В Лондоне, объединившем много отдельных городов, слившихся воедино в процессе роста, о былом раздельном существовании напоминают парки-луга.

Карл, у которого была необычайно живая фантазия, любил представлять себе, усаживаясь на взятом под залог стуле под древним дубом, как на светлой траве возле исчезнувших теперь колодцев танцевала в праздники молодежь средневековья, как бродячий зверинец выгружал тут свои клетки и медведь потешал публику кривлянием и фокусами.

Иногда, встречая на прогулке своего молодого ученика и друга Либкнехта, он охотно рассказывал ему о средневековом Гайд-парке, где в дни праздников ставились на лугу мистерии, а девушки, одетые ангелами, визжа, убегали от загрывающих с ними юношей — чертей. Божья матерь дискутировала с сатаной, а зрители, рассевшись на траве, то и дело вмешивались в театральное действие, вставляли свои замечания, ругали актеров, кидали им яблоки и букеты лаванды. Раскатистый смех непрерывно сотрясал навес — защиту от дождя. Нередко цеховые главари собирали на этом лугу своих членов и устраивали тор-

жественные шествия с знаменами и цеховыми отличиями. Цирюльники несли символическое мыло, бритвы, миски и полотенца, портные — иглы, нитки и ножницы. В дни частых ярмарок траву Гайд-парка вытаптывали выведенные на продажу кони, коровы, бараны и свиньи. Зазывно кричали лоточники, и неутомимый гигант дни и ночи вертел визжащую карусель, а пивовары не успевали выкатывать бочки.

В чумное нашествие на лугах жгли трупы.

Гайд-парк ничем не был похож на кичливые общественные сады континентальной Европы.

Нарядные парки Парижа или Вены стесняли, как богатая гостиная, заставленная хрупкой мебелью и тончайшим фарфором. Там на каждом шагу ковровые клумбы, плетеные ограждения, начищенные, разглаженные дорожки, печатные угрозы и правила поведения, полные забот не о людях, ищущих отдыха, а об изнеженных и дорогих растениях. В венском Шенбрунне или парижском Люксембургском саду люди — только невольное и нередко досадное дополнение к траве и цветам.

Нищета нигде не кажется такой уродливой, как на фоне какого-либо старого фонтана, статуй или цветочных узоров берлинского Тиргартена.

В Гайд-парке почти нет фонтанов, нет клумб, нет дорог. Есть трава и проложенные по ней тропинки. Гайд-парк — не пестрое городское украшение. Расположенный в самом центре Лондона, опоясанный наиболее людными улицами, он, однако, достаточно просторен и безыскусствен, чтобы тотчас же заставить позабыть о городе. Нет оград, нет запрещений. Трава доступна, как скамейка. Умело посаженные по краям парка тополя, ольхи, липы, дубы скрывают городские постройки, поглощают городские шумы.

Покидая Гайд-парк, один или с друзьями, Карл всегда останавливался на углу маленькой площади Марбль-Арч, чтобы послушать ораторов.

В Англии, где парламент существовал более шестисот лет, каждая деталь городского быта насчитывала века. Под бесстрастными ольхами представители социальных и богословских идей вербовали себе сторонников. Не было ни одного общественного течения, которое не заявило бы о себе на углу Гайд-парка. Дождь и туман не препятствовали ораторам и слушателям, запасшимся огромными черными зонтами и калошами.

Карл наблюдал за высушенным, коричневым, как гусеница, старичком квакером, воодушевленно дирижировавшим хором

из десяти — пятнадцати доисторических персонажей с лицами закоренелых грешников.

— Вечность, вечность, где мы проведем вечность? — надрывались певцы псалмов.

Двое безработных в рваной одежонке обратились к Марксу и, показывая на поющих, сказали презрительно:

— Черт с ней, с вечностью, хотели бы мы знать, где провести ночь сегодня на земле.

Маркс остановил их, и вскоре разговор стал таким интересным и важным для всех троих, что они пошли вместе прочь от квакеров, католического священника, дающего справки о чудесах, совершенных святым Сюльпицием, и охрипшей дамы неопределенного возраста, призывающей вернуться к библейским заветам и презреть римского папу.

Один из безработных, с характерным для уэльсцев гортанным произношением, метко и зло шутил по адресу правительства, описывая печальную судьбу своих братьев-углекопов.

— Уэльсца не обдуришь, мозги у него пенятся, как добрый эль,— сказал второй безработный, шотландец из города Глазго.

Маркс пригласил обоих рабочих в маленькую харчевню, хотя был крайне ограничен в деньгах, и накормил их скромным ужином. Слушал он шотландского грузчика, и ему казалось, что Глазго, в котором он никогда не был, исхожен им, как Манчестер и Лондон.

Рабочий говорил о том, почему покинул родные места. Глазго — второй по населенности город Великобритании, столица нищеты. Там живут рудокопы, грузчики, металлисты, передавая свою профессию по наследству из поколения в поколение.

— От нашей бедности, ядовитых газов земного нутра фабриканты и заводчики бежали прочь. Они знают, где жить. Их замки расположены в тридцати милях от города. Хорошо на берегах суровых озер, среди заповедных лесов, в шотландских горах, густо поросших папоротником,— рассказывал случайный знакомый Карла.

Маркс слушал и думал о мрачном городе Шотландии.

«Есть на свете города, возникшие как пристань в укрытой от ветров бухте. Есть города-базары, родившиеся на месте обычного привала кочевников; там травы бывших пастбищ погребены под камнями улиц, древние реки, служившие водопоем для скота, давно высохли. Есть города, которые теперь только

памятники былой культуры, тоскливые кладбища, напоминающие о давних событиях. Черный Глазго, видно, не похож ни на один из этих городов. Его построили на каменноугольных пластах близ моря, как строят шахту. Построили, чтобы вырвать из недр земли ее сокровища и тотчас же услать их прочь».

Глазго — город тружеников. На расстоянии многих километров тянутся низенькие домики рабочих кварталов. Тусклые стекла и заштопанные занавески напрасно пытаются скрыть убогую пустоту комнат, почерневший от ветхости очаг и худобу босоногих светловолосых ребят, играющих на полу.

Город не раз попадал в когти свирепой безработицы. Казалось тогда, что по огромным судостроительным заводам и верфям пронесся страшный опустошительный смерч, потопивший корабли, разметавший грузы и разогнавший людей. Работа в порту почти замерла. Кое-где прямо на земле валялись неубранные бревна, недоделанные мачты, куски заржавевшего железа и гнилого каната, пустые бочки. В сухих доках крюки кранов напоминали петли виселиц... С моря почти не приходили суда. Огромнейшие портовые склады были переполнены товарами.

Тщетно отборные силачи грузчики, толкаемые искоркой надежды, собирались под серыми стенами грузохранилищ. Двери контор по найму были наглухо закрыты, напрасно стояли здесь толпы высоких рыжих шотландцев и худощавых подвижных темноволосых ирландцев. Это были матросы, не нужные ни одному кораблю. Они стояли здесь, пока не спускались сумерки, и только тогда молчаливо и согбенно плелись к своим лачугам. Многие шли в зловонные закоулки. Там была жалкая утеха нищеты: пивные, курильни опиума.

Лишь немногие одиночные гудки будили утром окраины. Большинство труб не дымилось. Хмурые заводские строения, окружающие Глазго, как крепостные бастионы, были темны и безлюдны.

Только в центре города жизнь текла по-обычному. Горожане побогаче, купцы и коммивояжеры посещали скучные театры и парк с искусственным прудом и гротами, покупали в магазинах пестрые шотландские пледы, клетчатые юбки шотландских стрелков королевской армии, шапочки с перышками, воющие шотландские волынки — смешные побрякушки прошлых лет.

Маркс пристально наблюдал, как из страны скотоводства, домотканой шерсти и крестьянского труда Шотландия превращалась в страну больших и малых Глазго, угрюмых промышленных городов.

* * *

Вильгельм Вольф знал жену Энгельса со времен брюссельского изгнания. Приехав в Манчестер, Люпус пришел к Мэри. Как все люди, познавшие с детства нужду, выросшие среди народа, она была очень наблюдательна, по-особому умна, чутка и чрезвычайно благожелательна к простым людям. С ними ей было легче и проще, нежели с теми, чья культура, воспитание и знания намного превосходили ее собственные.

Люпус увидел на столике в гостиной кроме рукоделия много книг. Желая вызвать улыбку на хмуром лице вначале упорно молчавшего гостя, Мэри с присущим ей ирландским юмором начала рассказывать о скупости соседнего лавочника-шотландца.

— Он, вероятно, пишет своей невесте, что готов был бы умереть от любви к ней, если бы похороны не стоили так дорого,— шутила Мэри.— Нельзя о каком-нибудь народе судить строго, люди ведь бывают разные, однако «сендей маки», как англичане называют шотландцев, очень уж мелочны. Я работала когда-то в Манчестере у хозяина-шотландца и натерпелась немало горя.

— «Сендей маки»? — спросил, улыбнувшись, Вольф.

— Я и забыла, что вы иностранец. У шотландцев волосы сендей, то есть песочного цвета. Их фамилиям обычно предшествует слово «мак».

Разговорились. Мэри с добродушным юмором описывала годы, когда она работала на фабрике «Эрмен и Энгельс».

— Ни одна леди в Виндзорском дворце не гордится так своим происхождением, как я. Было время, когда я стеснялась этого, но теперь многому хорошему научил меня Фридрих.

В комнату с корзиной для рукоделия вошла молодая темноволосая девушка.

— Это моя сестренка Лицци,— сказала Мэри.

В конце мая Маркс уехал к Энгельсу в Манчестер. Оба друга собирались совместно писать памфлет о «великих мужах эмиграции», для которого собирали задолго до этого различные материалы.

Эрнест Джонс также находился в Манчестере, где происходила конференция чартистской партии.

Ирландец Фиргус О'Коннор, вождь английских рабочих, был безнадежно болен и находился в больнице. Чернокудрый красавец доктор Тейлор умер, Джулиан Гарни не пользовался

больше популярностью; в погоне за успехом и карьерой он промотал доверие масс.

Хартия из шести пунктов, содержавших требование всеобщего избирательного права, все еще не была претворена в жизнь, и борьба за нее, несколько видоизменившись, продолжалась. Всеобщее избирательное право в Англии, где пролетариат составлял большинство населения, угрожало политическому господству правящих классов и встречало их бешеное сопротивление.

Эрнест Джонс был родом из Уэльса, но рос и получил образование в Германии. Он принадлежал к старинному аристократическому роду. С детства Эрнест проявлял необычайное поэтическое дарование и, вернувшись в Англию, делил время между адвокатурой и литературой. Он вскоре стал известен как поэт, но в 1846 году, познакомившись с Фиргусом О'Коннором, вступил в ряды чартистов и отдался весь борьбе за права народа. Его необыкновенный дар, знания, ум высоко оценили рабочие. Народ поверил и полюбил его. Джонс был готов бесстрашно встретить и дать отпор любой враждебной атаке заступников старой Англии — важных тори, хитрых вигов.

Всегда жизнерадостный, обходительный, исключительно выносливый, Джонс мог говорить с трибуны много часов подряд при невероятной жаре или под рев бури. Он умел, как никто, ладить с людьми, нравиться с первого взгляда, щедро делился всем, что имел, будь то материальные или духовные ценности. В то время как Гарни приступил к изданию «Звезды свободы» О'Коннора, Эрнест Джонс, преодолев многочисленные препятствия, создал «Народную газету». Первый номер ее вышел в мае 1852 года. Маркс стал деятельнейшим сотрудником этого органа и помогал Джонсу не только в общем редактировании, но и по отделу сообщений из-за границы. Газета полюбилась народу, число подписчиков ее возрастало, и она приобрела большое влияние.

В середине мая пять дней в спорах и обсуждениях заседала конференция чартистов в Манчестере. Джонс, несмотря на самоотвод в связи со своей издательской работой, был избран во Временный исполнительный комитет партии.

Тщетно завистливый Гарни, отброшенный от руководства, в своей газете «Звезда свободы» нападал на новый Исполнительный комитет и особенно на Джонса. Джонс был выдвинут кандидатом в парламент от Галифакса.

Чтобы иметь право избирать в британский парламент, муж-

чина должен владеть домом, дающим к тому же значительный доход. Этот закон, естественно, лишал большинство рабочих права голоса, но в первый день выборов, когда кандидаты публично обращались к народу, за них могли голосовать все собравшиеся простым поднятием рук, независимо от того, избиратели это были или неизбиратели. Такова была традиционная церемония. Затем начиналась баллотировка, и в ней участвовали только привилегированные избиратели. Тогда-то и решался исход выборов. Иногда достаточно было быть выдвинутым в кандидаты поднятием рук народа, чтобы провалиться при баллотировке. А избрание в кругу имущих сопровождалось взрывом негодования тех, кто был слишком беден, чтобы иметь право голоса.

Именно так произошло летом 1852 года в промышленном городе Галифаксе, где Эрнест Джонс был избран двадцатью тысячами рук под ликующие крики народа, а затем провален пятьюстами голосов тех, кто являлся правомочным избирателем от зажиточных горожан.

Это, однако, был незабываемый день, о котором долго не могли забыть английские рабочие. Джонс произнес тогда одну из лучших, самых ярких речей и превзошел в ораторском искусстве О'Коннора и Тейлора.

Немало часов, готовясь к своему выступлению, провел Джонс на Дин-стрит, внимательно вслушивался, запоминал, вписывал в записную книжку поразившие его простотой, новизной и неоспоримостью мысли своего друга о труде и капитале.

Вторым кандидатом в парламент от Галифакса был богатый, знатный буржуа Чарльз Вуд. Его косноязычная, самонадеянная речь не имела никакого успеха у слушателей.

Встреченный взрывом восторга, Эрнест Джонс сказал:

— Избиратели и неизбиратели! Вы собрались сюда по случаю великого и торжественного праздника. Перед вами стоят сегодня представители двух систем, и вам надлежит решить, которые из них должны управлять вами в течение семи лет. Семь лет — это целая небольшая жизнь! Вы, двадцать тысяч человек, примете сегодня решение, может быть, только для того, чтобы завтра пятьсот человек нарушили вашу волю! Итак, перед вами представители двух систем. Правда, налево от меня находятся виги, тори и фритредеры, но, по существу, между ними нет никакой разницы. Богач предприниматель говорит: дешево покупайте и дорого продавайте. Тори говорит: дорого покупайте и еще дороже продавайте. Для рабочих оба они оди-

наковы... Труд — вот создатель всех богатств. Для того чтобы выросло хотя бы одно зерно или был выткан хоть один ярд ткани, человек должен трудиться. Труд тоже является товаром, который отдается внаем, труд выступает на рынке как предмет купли-продажи; поскольку же труд создает всякое богатство, его и необходимо прежде всего покупать. «Покупайте дешево, покупайте дешево!» Труд покупается на самом дешевом рынке. Но за этим следует: «Продавайте дорого, продавайте дорого!» Что продавать? Продукты труда... Предприниматель дешево покупает труд, он затем продает товары и при этом должен получить прибыль. Он продает самому рабочему, и в результате каждая сделка между предпринимателем и нанимающимся представляет собой преднамеренное мошенничество со стороны предпринимателя. Так труд от непрерывного ущерба опускается все ниже, а капитал от постоянных обманов поднимается все выше...

Эрнест Джонс стал развивать свои взгляды на политические и экономические реформы и затем продолжал:

— Избиратели и неизбиратели! За то, что я пытался расширить вашу свободу, меня лишили моей. За то, что я стремился воздвигнуть для всех вас храм свободы, меня бросили в тюремную камеру для уголовных преступников. За то, что я пытался поднять голос в защиту истины, я был осужден на молчание. Два года и одну неделю меня держали в тюрьме в одиночном заключении... Могут сказать, что это не общественное дело. Но это именно такое дело! Это — общественное дело, ибо человек, который не сочувствует жене арестованного, не станет сочувствовать и жене рабочего. Тот, кто не желает сочувствовать детям заключенного, не станет сочувствовать детям наемного раба...

— Слушайте, слушайте! — раздались тысячи голосов в толпе.

— Кто голосовал против понижения пошлин на сахар и отмены налога на солод? — продолжал Джонс.— Виг! Вот он! Долой его! Кто голосовал против сокращения ночного труда рабочих, против обследования положения вязальщиков на фабриках, против запрещения начала работы малолетних ранее шести часов утра, против помощи беременным женщинам из бедноты, против билля о десятичасовом рабочем дне? Виг! Вот он! Долой его! Долой его во имя бога и человечности! Граждане Галифакса! Граждане Англии! Обе системы перед вами. Судите и выбирайте!

* * *

«Дорогой Энгельс!

Твое письмо попало сегодня в весьма возбужденную атмосферу.

Жена моя больна, Женничка больна, у Ленхен нечто вроде нервной горячки. Врача не могу и не мог позвать, не имея денег на лекарства. В течение 8—10 дней моя семья кормилась хлебом и картофелем, и сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это. Разумеется, при теперешних климатических условиях эта диета не была полезна...»

Карл невольно взглянул в окно. Шел проливной дождь. Смывая с карнизов пласты угольной пыли, по стеклам текли грязно-серые потоки воды. Стиснув челюсти, сведя в одну широкую скорбную линию темные брови, Карл снова взял перо.

«Статью для Дана я не написал, так как не имел ни одного пенни на чтение газет...»

Карл откинулся на спинку стула. Он испытывал гнетущую усталость. Несколько пахитос, выкуренных одна за другой, успокоили его. Карл думал о неудачах, преследовавших его в последнее время. Вейдемейер не выслал ему всего гонорара. В Германии, напуганный расправами с коммунистами, издатель Брокгауз в очень вежливом письме отверг статью Маркса. Тщетно пытался он с помощью знакомого англичанина добиться учета векселей на имя нью-йоркского издателя Дана. Круг бедствий замыкался. Ему ничего не удавалось.

«Самое лучшее и желательное,— писал Маркс Фридриху, и скачущие вкривь и вкось буквы отразили предельное нервное напряжение,— что могло бы случиться, это — если бы домовладелица вышвырнула меня из квартиры. Тогда я расквитался бы, по крайней мере, на сумму в 22 фунта ст. Но такого большого одолжения от нее вряд ли можно ожидать. К тому же, еще булочник, молочник, чаеторговец, зеленщик, старый долг мяснику. Как я могу разделаться со всей этой дрянью? Наконец, в последние восемь — десять дней я занял несколько шиллингов и пенсов у каких-то обывателей; это мне неприятнее всего, но это было необходимо для того, чтобы не околеть».

Карл закончил письмо, с искаженным горечью лицом запечатал конверт и опять закурил.

Нищета — испытание на медленном огне, которое он избрал добровольно,— изнуряла его. В это же время Прудон за свою псевдокритическую, а в действительности возвеличившую Луи Бонапарта книгу получил несколько сот тысяч франков.

Никто лучше Маркса не знал, как добываются и накапливаются богатства в буржуазном мире, но ни разу мысль о возможности сговора, уступке своей совести не промелькнула в его неукротимой голове. Жребий был брошен им раз и навсегда.

Карл не заметил, как, встав с постели, к нему подошла больная, исхудавшая жена. Глаза ее лихорадочно блестели, она ежилась от озноба, куталась в шаль. Тщетно Карл попытался уговорить ее снова лечь.

— Родная моя,— говорил Карл, укутывая ноги Женни стареньким клетчатым пледом,— поверь, все будет в конце концов хорошо. Только бы ты была здорова. Я знаю, как малейший луч надежды возвращает вновь силы твоей гибкой, чуткой душе. Ты подлинный Феникс, возрождающийся еще более прекрасным из всеразрушающего пламени. Ты — мое сокровище...— Карл прижался лбом к горячим рукам Женни.

— Это не моя, а твоя сила духа, Мавр, побеждает все испытания. Как меняется с годами представление о счастье! В юности оно суетно, полно тщеславия, жажды сверхъестественных приключений, побед и блеска, в зрелости — гораздо более человечно, скромно и глубоко.

— Не у всех,— улыбнулся Карл.

— Помнишь, мы читали о китайском мудреце Тао. Он говорил, что счастье, во-первых, в том, чтобы обрести истинного друга, и, во-вторых, в чистой совести. Хотя нам очень тяжело сейчас и в доме нет ни гроша, я добавила бы к этим заветам Тао также любовь — такую, которая с каждым днем становится ярче и сильнее, как у нас с тобой. Только неудачник может говорить о том, что время убивает чувство. Мне кажется, что я уже с детских лет полюбила тебя, но настоящая, большая привязанность пришла только после свадьбы. Как заблуждается тот, кто думает, что лучшие мгновения любви — до брака. Союз двух влюбленных — это только начало настоящего счастья, и ни бедность, ни лишения не в силах его ослабить. Стоит мне подумать, что тебя может не быть рядом со мной, и ужас холодит сердце. Разлука убила бы меня. А вдвоем нет ничего непреодолимого.

Женни умолкла, внимательно вглядываясь в лицо мужа.

— Карл, мне кажется, ты в последние дни чем-то обеспокоен. Из-за болезни я не знаю твоих дел. Но думаю, что это не только проклятые долги и кредиторы. Прошу тебя, расскажи все сейчас же. Ты ведь знаешь, что неизвестность всегда гнетет.

Карл уступил.

— Что ты думаешь о венгерском эмигранте Бания, который заходил к нам несколько раз?

— Ты как будто не особенно доверял ему?

— Да, мне внушала подозрение его близость с орлеанистами, бонапартистами и всякой иной нечистью. Однако он рассеял мои сомнения, представив подписанный самим Кошутом приказ о назначении его в пору венгерской революции шефом полиции. Это в корне меняло дело. Но до конца я все же не доверял этому субъекту и, кажется, был прав. Все же ему удалось взять у меня для издания в Берлине наш с Фредериком памфлет «Великие мужи эмиграции». И что бы ты думала? Он попросту украл эту рукопись, направленную против «великолепных» Кинкеля, Руге, «рыцарственного» Виллиха и других жаб нашей эмиграции. Я подозреваю теперь, что он продал эту рукопись прусскому правительству.

Женни всплеснула руками:

— Значит, Бания подослан к тебе прусской полицией? Карл, милый, как много шпионов уже было возле нас. Они, как змеи, вот уже сколько лет вьются вокруг тебя. Уверена, что и сейчас этот веснушчатый толстячок стоит под нашими окнами. Ты, видимо, чрезвычайно тревожишь полицию различных государств. Но ведь ваш памфлет никак невозможно приобщить к кёльнскому делу в качестве адской машины коммунистов?

— Да, Бания просчитался, и очень скоро его хозяева обнаружат надувательство. В нашем памфлете нет никаких новых данных, ничего такого, что можно было бы использовать против членов нашей партии. Все характеристики и факты против «великих мужей» хорошо известны международным ищейкам. Я разоблачу Бания в прессе, и Кошут откажется от услуг этого шпиона. Карьера Бания в Лондоне отныне кончена, ему придется искать для своего «таланта» подмостки в других странах. Все обвинения против Бюргерса, Лесснера, Даниельса и остальных узников построены на подлогах. Их не посмеют осудить. Они будут оправданы. Никакой закон в мире не может дать основания называть Союз коммунистов заговорщической организацией, тайным сообществом.

Карл встал, резко отставил в сторону стул, заговорил возбужденно:

— Уже полтора года сидят в кёльнской тюрьме одиннадцать невиновных, весь механизм прусского государства, посольств в Лондоне и Париже работает без устали, чтобы сфабриковать обвинение, не имея при этом ничего, кроме собственных измыш-

лений. Прусское посольство здесь, в Лондоне, превращено в настоящее отделение тайной полиции. Атташе посольства Грейф — матерый шпион и провокатор. Они идут на все. Кражи со взломом, подлоги, подделки стали их профессией. Прусские почтовые чиновники перехватывают наши письма и разоблачительные документы, которые мы посылаем в немецкие газеты и адвокатам обвиняемых. Нам предстоит сейчас очень много дел. Борьба в разгаре. Тем печальнее, что наша квартира превращена, по сути, в лазарет.

Как бы в подтверждение слов Карла, жалобно попросила воды мятущаяся в жару Лаурочка и громко начала бредить тяжело заболевшая Ленхен.

Уложив жену в постель, Маркс принялся исполнять обязанности сиделки. Ему старательно помогал маленький Муш. Это был чрезвычайно сообразительный, отзывчивый мальчик. Не по летам развитой, он всячески старался помогать взрослым. Все в доме горячо любили ласкового и веселого мальчугана.

В этот день, утром, у наружной двери, ведущей с улицы на лестницу, раздался резкий звонок. Муш бросился открывать. Ему очень нравилось отодвигать засов — дело весьма трудное для четырехлетнего мальчика. Когда дверь наконец была отперта, Муш увидел на пороге булочника с хмурым, злым лицом.

— Где твой отец? Он задолжал мне уже много денег,— сказал он грозно.

Муш вообразил, что перед ним сам людоед из сказки «Мальчик с пальчик», но не оробел и решил перехитрить его. Увидев в руках булочника корзину, он выхватил из нее несколько хлебцев и, крича на ходу: «Отца нет наверху», бросился бежать по лестнице. Булочник махнул рукой и пошел восвояси. Так в семье Маркса, не имевшей в этот день ни гроша, оказался хлеб.

На другой день пришли деньги от Энгельса, и можно было наконец уплатить самые неотложные долги, пригласить врача, которому пришлось лечить почти всех обитателей квартиры. Совершенно ослабевшим Женни и Ленхен был прописан крепкий бренди, целебные свойства которого исстари высоко ценились на сыром острове. Дольше всех болела Лаурочка, но и она поправилась.

* * *

С тех пор как шпион прусской полиции Вильгельм Гирш, молодой приказчик из Гамбурга, в начале 1852 года был разоблачен и с позором изгнан из Союза коммунистов, он не находил

себе покоя. Слабовольный, ничем не примечательный, как песчинка, он с детства жаждал хоть чем-нибудь да прославиться. В мыслях Гирш часто видел себя героем, но каждый раз, когда жизнь давала ему возможность проявить лучшие свойства, он тотчас же начинал колебаться, боясь расплаты, и оказывался трусом. Агенты прусской тайной полиции в Лондоне издевались над разоблаченным шпионом, угрожали ему и требовали, чтобы он своим усердием возместил потери от неудавшейся игры. В то же время те, кто еще недавно считал его своим единомышленником-коммунистом, при виде Гирша шарахались в сторону, точно он был чумной бактерией. Нечто подобное черному туману окутало его. К тому же он не мог ничего более разведать о том, что делалось в Союзе. Он не знал, что тотчас же после его исключения собрания коммунистов по предложению Маркса были перенесены в Сохо, на Краун-стрит, в таверну «Роза и корона», а день собраний — с четверга на среду.

Гирш между тем продолжал барахтаться в сетях, которые накинула на него полиция. Прямым его начальником был крупный немецкий агент — провокатор Флёри, известный в лондонском Сити зажиточный купец-демократ. Жена, англичанка, и тесть, квакер, сами того не зная, превосходно маскировали Флёри, который прослыл почтеннейшим и весьма скромным человеком. Именно он вызвал шпика к себе в контору в Сити и тоном, не терпящим никаких возражений, приказал ему срочно сфабриковать для предстоящего процесса в Кёльне книгу протоколов собраний Союза коммунистов.

— Но, господин Флёри, вы ведь знаете, что меня не пускают более на коммунистические четверги на Фарринг-стрит,— плачущим голосом взмолился Гирш.— От меня бегут эмигранты, как от прокаженного. Когда недавно я встретил доктора Маркса на набережной Брайтона и окликнул его, то я чуть не сгорел от молнии, которую метнули его глаза. Смилуйтесь, господин Флёри, я ведь не писатель, книга получится никуда не годной, а мне, как козлу отпущения, придется отвечать за все.

— Ты неплохо писал недавно протоколы заседаний в Рабочем обществе,— рассмеялся Флёри.— Кроме того, тебе помогут опытные специалисты по составлению всяких важных документов. Приказание передано мне из Пруссии через лейтенанта Грейфа. Ты знаешь, что он — шеф всех прусских полицейских агентов в Лондоне, прикомандирован к прусскому посольству в качестве атташе, и нам с тобой не поздоровится, если все не

вана, переплетена в красный сафьян и отправлена прусской полиции.

Вскоре Грейф и Флёри вызвали Гирша и предложили ему выехать в Кёльн, чтобы подтвердить под присягой на процессе подлинность протоколов.

— Вам щедро заплатят. Затем вы получите пожизненную государственную пенсию,— уговаривал Флёри.

Но полицейский инстинкт у Гирша был слишком точен. Он понимал, что клятвопреступление осложнит его положение, если дело примет плохой оборот. Будь он прокурор или полицейский советник, вот тогда бы за него вступились. Но, маленький винтик в прусской полицейской машине, Гирш легко может быть заменен. Он сознавал это и наотрез отказался клясться в подлинности подложных документов. Рассорившись с Флёри и Грейфом, всеми отвергнутый, Гирш потерял покой, сон, аппетит. Жизнь для него больше не имела смысла. Сначала совесть и страх едва не вогнали его в петлю, затем он бросился на Боу-стрит в английский суд и там, поклявшись на Библии, сознался, что под руководством Грейфа и Флёри сфабриковал фигурирующую на Кёльнском процессе коммунистов книгу протоколов. В тот же день лейтенант Грейф упаковал свои чемоданы и бежал из Лондона.

* * *

К началу процесса коммунистов в Кёльне вокруг Маркса сгруппировались все его друзья и соратники. Отныне темные комнаты на Дин-стрит напряженной атмосферой напоминали редакцию «Новой Рейнской газеты». Позабыв о хандре и недовольстве жизнью, снова с бумагой и карандашом в руках на подоконнике расположился Георг Веерт, степенно прохаживался темноволосый бледный Фрейлигрaт, весело смеялся и балагурил добродушнейший Дронке, прозванный Малышом за низкий рост и детское выражение гладкого лица. Он был очень весел и, как часто с ним бывало, только что выбрался счастливо из беды. Когда Малыш пробирался через Францию в Лондон, его опознали и арестовали, как рьяного немецкого революционера. Но случайная удача вывела Дронке из Мазасской тюрьмы. Через Булонь он был выслан в Англию.

Приехал и Вильгельм Вольф. Он очень изменился за последние годы. Жизнь в эмиграции, стесненные обстоятельства заметно состарили его. Он стал угрюм, вспыльчив и обидчив. Глубоко уважая и любя Люпуса, Маркс всячески старался предот-

вращать легко возникавшие по мелочам раздоры, а Женни и Ленхен окружали его нежной, чисто родственной заботой.

В дни приближающегося суда над соратниками все, кого называли «марксианами», снова помолодели и стали плечом к плечу, чтобы отразить удары и спасти арестованных коммунистов. Карл совершенно позабыл о сне и отдыхе. Он ел на ходу, к большому огорчению Ленхен, и был весь поглощен делом. Под его руководством Женни, Дронке, Пипер и нанятые писцы непрерывно размножали, по шесть — восемь копий, различные документы, которые должны были разоблачить клевету, подлоги, лжесвидетельства полицейского процесса. Отправка корреспонденции из Англии в Германию была крайне сложной. Цензура неистовствовала, и письма Маркса вылавливались, вскрывались и похищались. Посылать почтой что-либо из Лондона стало невозможным.

Георг Веерт и Фридрих Энгельс, имевшие обширные знакомства среди английских купцов, принялись собирать адреса фирм, торгующих с Германией. Через Париж, Франкфурт и другие города отправлялись отныне вместе с грузом или прейскурантами документы, доказывающие невиновность обвиняемых, а также опровержения для немецких газет и адвокатов.

Адреса купцов и коммивояжеров лежали на столе Женни. Под видом коммерческих писем, не вызывая ничьих подозрений, плыли через Ла-Манш и пересекали реакционнейшую Францию словесные мины, которые разрушали все хитроумные, провокационные измышления полиции, действовавшей по указу прусского правительства и короля.

Ни у кого из тех, кто боролся в крошечной бедной квартирке на Дин-стрит с могучей германской реакцией, не было достаточно средств для оплаты почтовых расходов и услуг разных лиц, к помощи которых прибегали, чтобы следить за всем происходившим во враждебном лагере, особенно среди прусских шпионов в Лондоне.

Женни, у которой от постоянной работы пером немели пальцы, писала в Вашингтон другу Адольфу Клуссу:

«Вы, конечно, понимаете, что «партия Маркса» работает день и ночь... Все утверждения полиции — чистейшая ложь. Она крадет, подделывает, взламывает письменные столы, дает ложные присяги, лжесвидетельствует и, вдобавок ко всему, считает, что находится в привилегированном положении по отношению к коммунистам, поскольку они поставлены вне общества».

Муш, Лаура и Женнихен особенно радовались, что их дом полностью превратился в канцелярию. Карандаши и бумага были отныне в неограниченном количестве, и Ленхен, которой то и дело приходилось поить кого-нибудь из работающих чаем, не мешала детям играть на полу или пускать бумажные кораблики в бадье, где она стирала белье. Входная дверь на Дин-стрит, 28 не запиралась. Дети радостно вертелись среди малознакомых людей, громко сообщавших о том, удалось ли достать деньги, отправить почту, узнать последние новости из Кёльна, проследить за действиями прусских агентов.

Трое малышей, взвинченные нашествием множества чужих людей, беспорядком и суматохой в доме, вдруг принимались петь, свистеть в свистульки и бегать взапуски, отчаянно шуметь. Тогда их усмирял грозным окриком отец и бесцеремонно выдворял в другую комнату. Но вскоре неугомонные ребятишки, которых не пугали ни нахмуренные брови Маркса, ни его угрозы, снова врывались в накуренную, переполненную людьми комнату, где все было так необычно и интересно.

Много дней и ночей отдал Карл борьбе за кёльнских собратьев-коммунистов и, как всегда, сделал все возможное в столь неравных условиях; в изгнании, без гроша, травимый не только реакционерами, но и предателями-отщепенцами, он вложил в это дело всю свою энергию, страстность, знания юриста и опыт политического вождя.

Маркс и Энгельс фактически направляли ход судебного процесса в Кёльне: давали указания, как выступать подсудимым, руководили защитниками и неоднократно вынуждали прокуратуру отказываться от вымышленных материалов обвинения.

Пять недель длилось судебное разбирательство. Разоблаченные прусские правительство и полиция были опозорены. Но оскорбленная буржуазия и государство требовали искупительных жертв. Семь обвиняемых были осуждены.

Двадцатого ноября Энгельс, Фрейлиграт, Маркс и Вольф опубликовали в английской газете заявление:

«Нижеподписавшиеся, выполняя свой долг перед собой и перед своими ныне осужденными друзьями в Кёльне, считают необходимым привести для английской публики следующие факты, связанные с недавним процессом-монстр, который происходил в упомянутом городе и не получил достаточного освещения в лондонской прессе.

Потребовалось восемнадцать месяцев только для того, чтобы добыть улики для этого судебного процесса... А каковы же были предлоги для того, чтобы держать их в столь затянувшемся суровом заточении?

...Истинной причиной всех этих проволочек была боязнь прусского правительства, что объявленные им с такой помпой «неслыханные разоблачения» не выдержат испытания перед лицом столь скудных фактов. В конце концов, правительству удалось подобрать такой состав суда присяжных, какого еще доселе не видывали в Рейнской провинции: в него входили шесть реакционеров-дворян, четыре представителя финансовой аристократии и два лица, принадлежащих к высшему чиновничеству.

Каковы же были улики, представленные этому суду присяжных? Одни лишь нелепые воззвания и письма, принадлежащие кучке невежественных фантазеров, жаждущих приобрести вес заговорщиков, которые являлись одновременно и сообщниками и орудием некоего Шерваля, явного агента полиции. Большая часть этих документов находилась в руках некоего Освальда Дица в Лондоне... прусская полиция, когда Дица не было дома, взломала ящики его стола и, таким образом, завладела нужными ей документами путем обычной кражи...

...Была пущена в ход вся полицейская машина под руководством некоего Штибера, главного свидетеля обвинения в Кёльне, королевского полицейского советника и начальника берлинской уголовной полиции. На заседании 23 октября Штибер объявил, что экстренный курьер из Лондона привез ему особо важные документы, неопровержимо доказывающие участие обвиняемых, совместно с нижеподписавшимися, в инкриминируемом им заговоре. «Среди других документов курьер доставил ему подлинную книгу протоколов заседаний тайного общества, проводившихся под председательством д-ра Маркса, с которым обвиняемые вели переписку». Однако Штибер запутался в своих противоречивых показаниях относительно даты приезда к нему его курьера. И когда д-р Шнейдер, главный защитник обвиняемых, прямо обвинил Штибера в лжесвидетельстве, последний не решился дать какой-либо другой ответ, кроме ссылок на свое достоинство, как представителя короны, которому доверена важнейшая миссия со стороны высочайших властей в государстве. Что касается книги протоколов, то Штибер дважды показал под присягой, что она является «подлинной книгой протоколов лондонского коммунистического общества», но потом, окончательно

прижатый к стене защитой, он признал, что она, возможно, является только записной книжкой, захваченной одним из его шпионов. В конце концов, из его же собственных показаний выяснилось, что книга протоколов является преднамеренным подлогом и что следы ее происхождения ведут к трем лондонским агентам Штибера — Грейфу, Флёри и Гиршу. После этого последний сам признался в том, что он составил книгу протоколов под руководством Флёри и Грейфа. Это было с такой очевидностью доказано в Кёльне, что даже государственный обвинитель объявил столь важный штиберовский документ «в высшей степени злополучной книгой», простым подлогом. Это же лицо отказалось признать заслуживающим внимания письмо, которое являлось одним из доказательств, выдвинутых обвинением,— в этом письме был подделан почерк д-ра Маркса; документ этот также оказался свидетельством явного и грубого подлога. Подобным же образом всякий другой документ, предъявлявшийся для доказательства не революционных стремлений, а действительного участия обвиняемых в чем-то, хотя бы издали напоминавшем заговор, превращался в доказательство совершенного полицией подлога. Страх правительства перед разоблачениями был так велик, что оно не только заставило почту задерживать все документы, адресованные защитникам, но и поручило Штиберу запугивать последних угрозами преследования за «преступную переписку» с нижеподписавшимися.

Если, несмотря на полное отсутствие убедительных судебных доказательств, тем не менее был вынесен обвинительный приговор, то это стало возможным — даже при подобном составе присяжных — лишь в результате того, что новый уголовный кодекс был применен как закон, имеющий якобы обратную силу... Кроме того, кёльнский процесс по своей продолжительности и по тем необычайным методам, к которым прибегла сторона, возбудившая обвинение, принял характер такого громкого процесса, что вынесение оправдательного приговора было бы равносильно осуждению правительства...»

Карл писал 19 ноября 1852 года в Манчестер Энгельсу:

«В прошлую среду Союз, по моему предложению, *распустил себя,* а также *объявил несвоевременным* дальнейшее существование Союза на континенте... я пишу литографированную корреспонденцию с подробным изложением *полицейских безобразий,* а для Америки — воззвание о пожертвованиях в пользу арестованных и их семейств. Казначеем является Фрейлигрaт. Подписано всеми нашими».

Рейнское судилище продолжало волновать Маркса, и он написал о нем книгу «Разоблачения о Кёльнском процессе коммунистов».

«В лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными судом присяжных, стоял безоружный революционный пролетариат; обвиняемые были, следовательно, заранее осуждены уже потому, что они предстали перед этим судом... Если что и могло на один момент поколебать буржуазную совесть присяжных, как оно поколебало общественное мнение, то это — обнаженная до конца правительственная интрига, растленность прусского правительства, которая раскрылась перед их глазами. Но если прусское правительство применяет по отношению к обвиняемым столь гнусные и одновременно столь рискованные методы,— сказали себе присяжные,— если оно, так сказать, поставило на карту свою европейскую репутацию, в таком случае обвиняемые, как бы ни была мала их партия, должно быть, чертовски опасны, во всяком случае их учение, должно быть, представляет большую силу. Правительство нарушило все законы уголовного кодекса, чтобы защитить нас от этого преступного чудовища...

...Рейнское дворянство и рейнская буржуазия своим вердиктом: «виновен», присоединили свои голоса к воплю, который издавала французская буржуазия после 2 декабря: «Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!»

Весь государственный аппарат Франции проституировался. И все же ни одно учреждение не было так глубоко проституировано, как французские суды и присяжные. Превзойдем же французских присяжных и судей,— воскликнули присяжные и суд в Кёльне... Превзойдем же присяжных государственного переворота 2 декабря...»

В то же время, когда Маркс работал над «Разоблачениями о Кёльнском процессе коммунистов», прусский министр внутренних дел с напряженным вниманием просматривал каждое новое донесение своих лондонских агентов.

Особая папка «Дело королевского полицейского управления в Берлине о литераторе докторе Карле Марксе, вожде коммунистов» непрерывно пополнялась и становилась все более громоздкой.

«Вчера вечером я был у Маркса,— сообщалось в одном из донесений от ноября 1853 года,— и застал его за работой над

составлением очень подробного резюме дебатов кёльнского процесса: это — своего рода критическое освещение с юридической и политической точек зрения; само собой разумеется, что при этом сильно достается правительству и полиции... Вам известно его гениальное перо, и мне нечего говорить вам, что этот памфлет будет шедевром и привлечет к себе в сильной мере внимание масс».

* * *

Как-то на Дин-стрит несколько месяцев спустя после кёльнского процесса под вечер в гости к Марксу пришел Либкнехт с молодой женой. У Маркса весь день адски болела голова, но, выпив чашку кофе, он почувствовал себя лучше и присел к общему столу.

Либкнехт сообщил, что Бартелеми вызвал на дуэль Ледрю-Роллена, но тот отказался стреляться. «Я заставлю вас принять вызов испытанными средствами — плевком в лицо, пощечиной, публичным оскорблением»,— отвечал строптивый дуэлянт. Ледрю-Роллен собирается избить его палкой и обратиться в суд за защитой.

— Этот сумасброд, по-видимому, поставил себе целью стать Ринальдо-Ринальдини эмиграции. Бывает же и такого рода честолюбие,— заметил Карл.

Разговор перешел на Виллиха, который прибыл в Нью-Йорк, где его друг Вейтлинг устроил по этому случаю банкет.

— Я уже слыхал об этом,— оживился Карл.— Обвязав себя огромным красным шарфом, папаша Виллих закатил длиннейший спич о том, что хлеб дороже свободы, затем Вейтлинг поднес этому герою саблю и выступил с речью, в которой доказывал, что первым коммунистом был Иисус Христос, а его прямым преемником не кто иной, как он сам, знаменитейший Вильгельм Вейтлинг.

Все рассмеялись.

— Знаете ли вы, доктор Маркс, что Шаппер ищет к вам путей? Он понял, что ошибался и залез в грязь по уши,— сказал Либкнехт.

— Это хорошо,— обрадовался Карл,— это очень хорошо. Бедой многих эмигрантов являются иллюзии. Они, как мираж в пустыне, сбивают путников с пути и заводят в безводные пески. Мне всегда казалось, что Шаппер разберется во всем сам и найдет нас. Не случайно он был настоящим человеком, другом

Иосифа Молля, Генриха Бауэра. В нем нет подлости, иногда его, впрочем, охватывало этакое смутное томление нетерпеливой души, свойственное и неплохим людям.

— Карл наиболее требователен к тем, кого особенно ценит и уважает,— заметила Женни,— и гораздо снисходительнее к безразличным ему людям.

— Вот уж, поистине, про Карла можно сказать словами евангелия: «Кого люблю, того изобличаю и наказываю». Он и ко мне бывает придирчив. А я не сержусь и не боюсь его вовсе,— сказала, вызвав всеобщий смех, Ленхен, убиравшая посуду со стола.

— Ну, ты-то уж доподлинно верховная власть в доме, диктатор. Не я тебя, а ты меня всегда изобличаешь,— продолжал смеяться Карл.

Приближались рождественские праздники. Их, как никогда доныне, радостно ждали в семье Маркса. Большую елку, спрятанную до времени от пытливых детских глаз, украшал с веселым рвением Малыш — Эрнст Дронке. Он взобрался на высокий табурет, чтобы водрузить на ветках бумажные флажки, звезды, яркие украшения и золоченые орехи, которые ему подавала Ленхен. Куклы, кухонная посуда, ружья, барабаны и трубы лежали под елкой среди пакетиков с фруктами и конфетами. Наконец все было готово и елка освещена разноцветными свечками. Карл торжественно позвонил в колокольчик и широко распахнул дверь, приглашая оторопевших от счастья малышей. Лаура стремительно бросилась вперед со свойственной ей решительностью, Женни и Муш растерянно застыли на месте. То, что они увидели, казалось сказочным. Они едва узнавали комнату, заставленную старой пыльной мебелью. Сверкающая елка все в ней затмила.

III. РУССКИЕ ДЕЛА

Граф Орлов, брезгливо оглядывая тюремную камеру, поднес к большому, самоуверенно вздернутому носу надушенную перчатку и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Его императорское величество желает, чтобы вы исповедались перед ним во всех своих прегрешениях.— Затем, понизив голос, шеф жандармов добавил: — «Пусть сей блудный сын,— сказал государь,— пишет ко мне так, как ежели бы он говорил со своим духовным отцом».

Бакунин ответил, не раздумывая:

— Передайте государю, что слова его потрясли меня до глубины души, что они взволновали мое сердце.

Орлов, не взглянув больше на узника, покинул камеру. За ним гуськом вышли комендант Петропавловской крепости и два жандармских ротмистра. Дверь захлопнулась, тяжело лег засов, и проскрипел ключ.

Опеломленный неожиданным посещением, Бакунин прижался густо обросшей щекой к каменной стене, но мгновенно отпрянул. Ледяным могильным холодом повеяло на него. Гробовая тишина царила вокруг. Сжав голову исхудавшими прозрачно-желтыми руками, он уткнулся в колючую, набитую соломой, подушку.

Более двух лет Бакунин находился в одиночном заключении. Где-то за стенами крепостных тюрем неудержимо неслась многоликая, многоголосая жизнь. Но он был заживо похоронен. Гряда камня и цепкие прутья решеток отделяли его от таких же обреченных. Время перестало существовать и неслось с невероятной быстротой, лишенное каких бы то ни было примет и событий. Только память, только мозг — эти необъятные сокровищницы и тайники — помогали ему не сойти с ума, но они же рождали непреодолимый страх.

В последнее время Бакунин искал путей спасения. Жажда жизни усиливалась одновременно с мыслью о приближении небытия.

Дважды приговоренный в чужих странах к казни, он был выдан России, чтобы быть повешенным на плацу Петропавловской крепости.

Чувство унизительной, мерзкой боязни неумолимо, удавом, обвило его слабую душу. Как спастись? Как остаться жить?

В маленькое, забранное решеткой оконце, точно нарочно, чтобы мучить, врывался теплый, освеженный рекой и напоенный летними травами ветер.

«Орлов прав, советуя писать царю. Кто еще может отвести от меня руку палача? — думал Бакунин.— Только сам палач Николай I. А что, если разжалобить его?»

Бакунин вспомнил, как два года назад, запершись в гостинице немецкого городка, он намеревался обратиться к государю, но затем изорвал написанное. Что особенного, если он, русский дворянин, припадет теперь к стопам своего повелителя, сдастся и будет помилован царем? Но сомнения снова точили его. Возможно ли ему, руководителю защиты Дрездена, участнику

Пражского восстания, называвшему себя социалистом, ползать на брюхе перед престолом?

Стыд на мгновение ледяной струей окатил сердце, но страх победил. Мысль о том, чтобы любой ценой получить помилование, уже не вызывала более содрогания.

Бакунин понимал, что Николай не удовлетворится малым, потребует полного покаяния и заставит узника обнажить свою душу. Исповедь навсегда покроет его, революционера, позором. Но что, если она останется тайной? Какой смысл царю оглашать ее? Искреннее раскаяние, быть может, спасет ему жизнь и даст свободу. Бакунину к тому же польстило, что царь сам захотел его признаний.

«Пасть во мнении немецких и прочих революционеров вовсе не означает еще стать действительно подлецом,— думал он.— Что толку в том, что меня вздернут на виселицу или сгноят в каземате? Какая будет в том польза для процветания славянских народов? Им я посвятил себя и ради них несу крест на Голгофу. Делами невиданными сотру я в будущем горькую необходимость стать сейчас на колени и постыдно вымаливать жизнь. А может, и вообще-то впредь отойти мне от донкихотской борьбы, поселиться с добрыми родителями? Революция разбита и скована, как я. Впереди только мрак, такой же убийственный, как в этой камере. Нет, история не бросит в меня камнем, тем более что я не назову ни одного русского имени и не выдам никого».

Но гнетущее недовольство собой все нарастало. Бакунин взял со стола Библию, единственную книгу, которая находилась в каменном мешке, и, загадав, раскрыл наугад страницу. «Живой пес лучше мертвого льва». Узник вздрогнул и снова погрузился в размышления.

«Исповедаться перед тираном — значит зачеркнуть все былое, из бунтаря превратиться в жалчайшего раба, вбить кол во все, чему верил и поклонялся. Что бы сказал Станкевич, который был моей совестью?»

— Нет, ты не трус и не отступник,— произнес он вслух, не замечая, что говорит о себе во втором лице.

Бакунин вдруг почувствовал облегчение. Даже ослабляющий животный страх покинул его. Смерть перестала пугать, и внезапно чувство силы и спокойствия наполнило все существо узника. Простые, не новые мысли о неизбежности конца для всего живущего успокаивали, как речные волны. Сотни тысяч человеческих поколений прошли по земле, исчезли, будто неис-

числимые листья дерев и лепестки цветов. Бакунин вспомнил строки из письма к нему Белинского в счастливые годы молодости. «Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель,— писал Белинский.— Никогда так не стремилась к ней душа моя и никогда так не ужасалась ее. В одно и то же время я вижу в ней и очаровательную девушку и отвратительный скелет. И хочется жить и страшно жить, и хочется умереть и страшно умереть. Могила то манит меня к себе прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тления».

За окном камеры, бойко чирикая, завозились воробьи. И тотчас же тоска тысячами игл впилась в сердце и мозг заключенного.

Два года он был один. Тишина ослабила его слух, полумгла — зрение. Руки и ноги все еще болели от оков, в которых его держали в прусских и австрийских тюрьмах.

— Умереть, чувствуя себя до краев полным мыслей, слов, желаний,— это было бы безумием,— шептал он, слушая пение птиц.— Во имя чего? Ради призрачных понятий о долге и мужестве? Нет! Жить, быть свободным! Ведь еще ничего не сделано. Белинского уже нет в живых, но свет от него, как от погасшей звезды, еще многие сотни лет будет изливаться на человечество. Впрочем, зачем мне слава? Хочу лишь солнца, воздуха, сельского покоя, ласки близких, свободы двигаться, права идти куда глаза глядят. О, пусть только откроются двери тюрьмы, и я пойду в леса, поля, пока не подкосятся ноги от сладкой усталости. Свобода — вот высшее счастье бытия. Погибнуть только ради того, чтобы какой-то замухрышка историк обронил обо мне два-три добрых слова? Не хочу! Я рожден для другого.

На секунду в памяти Бакунина всплыли образы пяти казненных декабристов, которых он чтил с юности. Стремительно он отогнал прочь эти видения с внезапно вспыхнувшей злобой.

«Нет, я не мечтатель, как Рылеев, не стоик, как Муравьев-Апостол. К тому же, где моя Сенатская площадь? Ее не было».

В тот же вечер Бакунин принялся за исповедь. Увлеченно набрасывал он лист за листом, позабыв о еде и сне. Не находя должных слов, он то перечеркивал написанное, то рвал страницы и наконец придумал начало, которое показалось ему достаточно убедительным.

«Ваше Императорское Величество!

Всемилостивейший Государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего Императорского Величества,— зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом,— я сказал себе, что мне остается только одно: терпеть до конца и просить у бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную.— Я знал, что лишенный дворянства, тому назад несколько лет, приговором Правительствующего Сената и Указом Вашего Императорского Величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний».

Бакунин положил перо. Лицо его горело, но сомнения исчезли. Так убийца не чувствует иногда никаких угрызений совести после совершенного преступления и сам удивлен своему безразличию и спокойствию.

Выпив воды, он принялся писать о том, как тронут был снисходительным обращением стражи при въезде на русскую границу и затем в продолжение всей дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости. Бакунин коленопреклоненно благодарил царя за милостивое отношение к нему в течение двухмесячного пребывания в крепостном заключении в России. Почти два года до того провел он прикованный к стене в тюрьмах Пруссии и Австрии.

«Граф Орлов объявил мне от имени Вашего Императорского Величества, что Вы желаете, Государь, чтобы я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что я дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего Императорского Величества... Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, Государь, и против Вашего правительства: дерзал противустать Вам, как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, Государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы! — Чтож более мог бы я написать своему Государю?

...Да, Государь, буду исповедываться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения; и прошу Бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего Императорского Величества...»

Чем больше он писал, тем сильнее исполнялся чувством преданности и даже преклонения перед самодержцем всероссийским. И уже почти бесхитростно, преисполненный нежностью, Бакунин писал:

«Государь, я преступник перед Вами и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости. Мой политический фанатизм, живший больше в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко-определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо не были моими героями. К тому же, Государь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском Училище, я так же, как и все товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово: «Государь едет» приводило всех в невыразимый восторг и все стремились к Вам навстречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив, возле Вас и под Вашим покровительством, искали убежища от начальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры: Вы были грустны, Государь; мы молча окружили Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины,— и как счастлив был тот, которому Вы скажете, бывало, слово! — Потом, много лет спустя, заграницей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть Императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, но не в сердце...»

Исповедуясь перед Николаем I, Бакунин искренне и рьяно осуждал свою былую революционную деятельность. Грехом, преступлением, безумием называл он прекраснейшие годы исканий и борьбы. Он благодарил бога за то, что тот помешал ему вызвать революцию в России и тем самым, как он писал, сделаться извергом и палачом соотечественников.

Сбросив тюремный халат, в одних грубых штанах и туфлях на босу ногу, он в жаркие, душные летние дни и ночи, взлохмаченный, потный, возбужденный, писал свое покаяние, все более

увлекаясь и преисполняясь радостью оттого, что «гибельные предприятия, некогда затеянные против Государя и родины, остались неосуществленными».

Он писал уже не только о себе. Имена его друга поэта Гервега, бесстрашного патриарха польской революции Лелевеля и многих других появились на страницах пылкой исповеди.

«...клянусь Вам, что ни с одним русским, ни тогда, ни потом, я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьяго человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам — образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, а еще менее средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и со своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда,— а именно начиная с 1846-го года — обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха; они слушали меня с усмешкой, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда, и то весьма изредка, помогали...»

Много дней и ночей писал Бакунин свои признания. Был вечер. Тюремный надзиратель подлил масла в фонарь и поставил его на плохо обструганный потемневший стол, заваленный кипою исписанной и чистой бумаги. Бакунин встал и принялся ходить по узкой и зловонной камере. Странная усмешка то появлялась, то исчезала с его лица, которое в прежние годы всегда вызывало двойственное впечатление: одни считали это лицо красивым, другие — отталкивающим. Он думал о родном Премухине, отцовском имении, где провел детство и надеялся скоро найти душевное отдохновение. Но более всего о сестре Татьяне. Необычно, греховно любил он ее, предпочитая всем остальным женщинам.

«Не знаю, как назвать мое чувство к Танюше,— думал он, мечтая о возможности скорой встречи,— но оно из тех, что испытывали, верно, греческие боги, сочетавшиеся браком даже с сестрами и матерями. Ревность ко всем, кто ей нравился, изглодала всю мою душу, чуть не рассорила навек с Виссарионом

Белинским. Эта страсть опустошила мое сердце, и я не мог больше никого любить. Привязанность Лизы только бесила меня».

Потом Бакунин вернулся к «Исповеди». Он писал о последних месяцах пребывания за границей, когда возмечтал один объединить славян под главенством России.

«Разве уже тогда я не любил своего царя?» — вспомнил он и пожалел о том, что не решился в то время довериться ему.

«Я вздумал вдруг писать к Вам, Государь! — продолжал исповедоваться Бакунин.— И начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу — я тогда был на свободе и не научен еще опытом,— но, впрочем, довольно искренней и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный обзор тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, Государь, во имя всех утесненных славян, прийти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом, и, объявив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многословное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом — было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум.

Я разорвал письмо это и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, Государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего Императорского Величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам, и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые не равно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке...»

Мысли обгоняли перо. Внезапно перед узником встало лицо Маркса. Жгучая ненависть к нему, вызвав удушье, заставила Бакунина прекратить работу. Он лег на койку, вперив жесткий, пустой взгляд в грязный потолок. Всегда Маркс, этот загадочный своей несокрушимостью исполин с всевидящим горящим

взором и саркастической улыбкой, вставал на его пути. Вот и сейчас в тюремной камере проклятая память вызвала его образ как убийственный упрек.

— Все равно все погибло. Июньские дни в Париже стали роком для революции. Она невоскресима,— шептал Бакунин.— Сколько бы Маркс и все коммунисты ни старались, ни боролись, они обанкротились...

Злобная, мстительная радость охватила Бакунина. «Я переживу этих людей и их коммунистический бред...» Но Маркс снова и снова вставал в разгоряченном мозгу узника. Бакунин вдруг понял, что только одного отныне боится, чтобы этот могучий немец когда-нибудь не узнал о его «Исповеди». Схватив дрожащими пальцами ручку и обмакнув перо в густые темные чернила, он написал русскому царю:

«Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором «Новой Рейнской газеты», выходившей в Кёльне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил поляков, а так как «Новая Рейнская газета» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде, и уже громко, заговорили о моем мнимом предательстве».

Еще несколько дней и ночей неотрывно письменно исповедовался Бакунин. Был нестерпимо жаркий августовский день, когда он дописал последние строки:

«Я благословляю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в отеческие руки Вашего Императорского Величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего Императорского Величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник *Михаил Бакунин*».

В августе «Исповедь» была передана Николаю I. С карандашом в руках, делая пометки на полях, внимательно читал ее царь. 27 сентября он вызвал генерал-лейтенанта Дубельта, к которому особенно благоволил, и, передавая «Исповедь», сказал ему, глядя в упор выпуклыми белесыми, как у щуки, глазами:

— Передайте великому князю Александру, пусть почитает. Что до Бакунина, повинную голову меч не сечет. Уповаю на господа, что с годами сей путаник и смутьян в надежной крепостной тюрьме образумится, искупит свои прегрешения вели-

ким терпением. Свидание с отцом и сестрой я ему разрешаю, конечно в присутствии Набокова.

Дубельт прочел собственноручную надпись Николая на первом листе «Исповеди». Она относилась к наследнику престола: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно».

Спустя несколько дней Дубельт, один из влиятельнейших людей в государстве, человек с сухощавым, бездушным, хитрым лицом, на докладе у царя снова упомянул об «Исповеди».

— Ныне кающийся грешник Бакунин правильно судит о коммунизме, как изволили о том вы, ваше величество, отметить на полях покаянной его рукописи,— заговорил управляющий Третьим отделением, почтительно наклоняясь к столу, за которым сидел Николай.

Царь посмотрел выпуклыми рыбьими глазами на новенький голубой мундир с золотыми нашивками, аксельбантами и шнурами рьяного гонителя революционеров и сказал с подчеркнутым безразличием:

— Кому, как не Бакунину, знать в совершенстве сей предмет? Пусть, однако, господь просветит его смутную душу.

— Ваше величество,— оживился Дубельт,— этот преступник пишет о Западной Европе, что дряхлость и разврат, происходящие от безверия, приведут ее к гибели. Все шарлатанят и обманывают там друг друга. Привилегированные классы держатся у власти эгоизмом и привычкою. Сие есть слабая препона против возможной бури. И что хуже всего, посреди всеобщего гниения одна только непросвещенная, грубая чернь сохраняет силу. Она особенно опасна, потому что является оплотом чудовищнейшей из идей — коммунизма. Беспрестанный крик и страх перед коммунистической ересью, по мнению преступника Бакунина, будто бы помогли ее распространению более, чем пропаганда тайных и явных коммунистических обществ.

— В Богемии, отчасти в Моравии, да и в Шлезии ядовитый корень коммунизма пустил ростки. Надо вытаптывать его без пощады и сжигать дотла.

— Вы, государь, весьма милостивы к Бакунину. Он ревностно сеял смуту в сих землях.

Царь потемнел лицом.

— Бакунин безволен и одинок. За ним никого нет. У подножия эшафота не первый раз вижу поверженных в прах. Не все, однако, молили о продлении жизни своей,— Николай презрительно и зло усмехнулся.

Но настроение царя резко ухудшилось. Он вспомнил о нет-

рашевцах, мужественно стоявших перед виселицей и не просивших пощады. Они испугали его, как отзвук страшного революционного шквала 1848 года. Николай мгновенно терял самообладание, когда вспоминал отвагу этих людей, томившихся теперь на каторге. Как все жестокосердные, мстительные люди, он был труслив.

Несмотря на исповедь и прошения родственников, Бакунин оставался в заточении в Алексеевском равелине.

Когда он купил себе унизительными признаниями жизнь, страх казни наконец исчез. Бакунин почувствовал себя почти счастливым от животной радости бытия. «Я дышу, ем, пью, и так будет еще долго!» — думал он.

Но свидания с родственниками, разрешенные царем, вернули ему ясное понимание происшедшего. Каждый раз после редких желанных встреч с близкими Бакунин чувствовал с еще большей горечью и мукой, что произошло нечто непоправимое.

Страшный миг расставания, когда два конвоира уводили его назад в сумрачную камеру, был подобен чтению приговора. Сознание погребенности заживо в каменном мешке требовало душевных сил, которых он в себе не находил. Однако нужно было смириться, являть полную покорность. Вначале он был в этом искренен, но постепенно вернулось утерянное чувство человеческого достоинства. Он сам не знал отныне, где пролегала черта между правдивостью и притворством, столь двойственна была его слабая душа.

Шли дни, недели, месяцы, годы... Михаил Бакунин, обрюзгший, бледный, то раздираемый противоречиями, то впадавший в длительную апатию, все еще сидел в секретной камере Алексеевского равелина.

Только в марте 1854 года по указанию царя начальник Третьего отделения собственной его величества канцелярии генерал-адъютант граф Орлов отдал распоряжение о переводе арестанта в Шлиссельбургскую крепость.

Одиннадцатого марта комендант Санкт-Петербургской крепости докладывал в рапорте:

«Весьма секретно.

Во исполнение Высочайшего Его Императорского Величества повеления содержавшийся в доме Алексеевского равелина преступник Михаил Бакунин сего числа в 9 часов вечера передан подполковнику корпуса жандармов Тизенгаузену для доставления в Шлиссельбургскую крепость и из списка об арестантах исключен...»

Лиза вернулась в Россию. В Петербурге она провела несколько безрадостных дней, так ничего и не узнав о судьбе Бакунина. Глядя на Петропавловскую крепость, где, думалось ей, томится или погиб уже Мишель, она вспомнила вдруг стихи Огарева:

А там далеко за Невой
Еще страшней, чернее здание
С зубчатой мрачною стеной
И рядом башен. Вопль, рыдания
И жертв напрасных стон глухой,
Проклятий полный и страдания.

Из Петербурга Лиза отправилась в Москву и поселилась у своей тетки княгини Евпраксии Александровны, женщины весьма начитанной, властной и скупой. В детстве Евпраксия Александровна долго жила в Англии и прослыла в Москве англоманкой и «синим чулком». Особенно старалась она убедить всех, что бедна, и добилась этого. Замолкли слухи, будто Евпраксия Александровна унаследовала от отца большие деньги, которые хранила в заграничных банках.

После нескольких лет разлуки Лиза с любопытством всматривалась в большое теткино лицо с крупными, неженскими чертами, с бородавками на обвислых щеках. Евпраксия Александровна много лет носила одно и то же клетчатое платье, похожее покроем на мужской редингот, и курила почти без перерыва толстые заграничные пахитоски. Говорила она нарочито низким голосом и преимущественно по-английски, а не по-французски, как было принято в высшем обществе. К Лизе она благоволила за то, что та, подобно ей, не была замужем и не просила денег.

Тетка Лизы была привержена к английской кухне. Повар, крепостной Лука, славился приготовлением пудингов, острых подливок и кровавых бифштексов.

— Вернулась наконец к родным пенатам,— начала Евпраксия Александровна.— Предупреждаю тебя, моя дорогая, что ты в России. Следует из этого сделать все необходимые выводы и, во-первых, попридержать язык и вести себя тише. Здесь, увы, не благословенная земля королевы Виктории. Каждый пятый, будь то даже дворянин, с которым ты встретишься, обязательно шпион и служит не богу, а дьяволу, то бишь Дубельту. Не доверяйся никому. Живем мы в опасное время. Не вхожу в то, нужно ли это и правильно ли, так как политикой не интересуюсь,

но прошу тебя душевно: запомни мои советы и руководствуйся ими. Вольнолюбивыми и всяческими вольтерьянскими идеями можешь делиться только с одной своей подружкой — подушкой. Ну и со мной, если уж от молчания голова разболится. Остроги наши битком набиты всяким народом, и декабристы до сих пор не прощены. Государь — человек нрава необыкновенного и шутить не любит. Готовится ныне и туркам нос утереть.— Затянувшись пахитоской и переходя снова на русский язык, она продолжала: — Царь наш, истинный помазанник божий, спас Русь от мятежа и революции, чего не сумели ни Бурбоны, ни Габсбурги. Жандармы его подлинно как легавые псы, мгновенно чуют крамолу.

Позавтракав, Евпраксия Александровна прогнала из столовой всех слуг, многозначительно сощурила смышленые, быстро перебегавшие с предмета на предмет глазки, улыбнулась широким, по-жабьи смыкавшимся выпуклым ртом и сказала Лизе:

— Не скрою от тебя, мой друг, что графиня, вернувшись из Брюсселя, заезжала ко мне жаловаться на тебя. Говорила, что ты в Париже с простонародьем баррикады возводила и в каких-то революционных притонах «Марсельезу» пела. Но я ее пыл быстро охладила. Сами, мол, не лыком шиты, тоже, чай, столбовые дворяне, и не по мужьям, а по крови, и как себя вести знаем, просим не учить. Но графинин язык до Третьего отделения доведет, так что береженого бог бережет, а особенно на родной сторонке. Надеюсь, дневники ты свои сожгла. Не те времена, чтобы бумаге доверяться. Да и возраст у тебя не тот, оставь это развлечение провинциальным барышням, мечтающим о гусарах.

Лиза скрыла улыбку и пообещала тетке не вести более дневника.

Успокоенная Евпраксия Александровна продолжала:

— Теперь о твоих делах поговорим. Денег от меня не жди. Все свои имения я заложила и перезаложила. Крестьянам оброк поуменьшила. Толку от этой благотворительности ни для них, ни для себя, по правде говоря, не вышло. Словом, бедна я, совсем бедна. Тебе же от отца-покойника осталась в наследство только одна душонка, да и та безземельная,— девка Машка. Пребестолковое создание. Живите покуда обе в моей избе, авось места хватит (избой Евпраксия Александровна называла свой двухэтажный, окрашенный режущей глаза охрой, огромный особняк в одном из кривых узких переулков возле Спиридоновки).

Лиза молча выслушала тетку, чем очень той угодила, и прошла к себе.

Девке Машке было лет под пятьдесят. Природа не слишком поизрасходовалась, производя ее на свет. Лицо крепостной, на котором едва был обозначен нос, пара бесцветных глаз и длинный рот почти без губ, было, однако, очень добродушным.

Глядя на свою крепостную, Лиза вспомнила, что Маша долгое время была сожительницей отца, родила от него ребенка и одна в течение долгой болезни ухаживала за стариком с удивительным терпением и старательностью.

— Что же, Машутка,— сказала Лиза мягко,— я, конечно, сейчас же дам тебе вольную. Какая же из меня рабовладелица? Такой бесчеловечности я не допущу.

Маша, горько зарыдав, бросилась в ноги Лизе, умоляя не гнать ее прочь.

— За что это вы решили от меня отделаться, барышня? Не хочу я на старости лет побираться и умереть под чужим забором. Ем я мало, да и одежкою запаслась при покойном барине. Свое отработаю, вот те крест святой, отработаю. Смилосердствуйтесь!

Лиза смотрела со все возрастающим состраданием на женщину, смертельно испугавшуюся свободы, и едва успокоила ее, пообещав повременить с вольною.

За обедом она рассказала тетке об испуге и причитаниях Маши.

— Она права,— сказала Евпраксия Александровна уверенно.— Куда ей податься, горемычной нищенке? В деревне и без нее бедняков много, в городе — по старости только что в воду или петлю. Мне вот недавно один наш дипломат презентовал забавную американскую книгу, тоже о рабах, только не белокожих, как наши, а черных. Они, впрочем, хоть и негры, а вызывают, представь, сострадание. В Америке рабы, оказывается, очень религиозны и не воруют. Это весьма выгодно их господам. Да не верится что-то. Чувствительная, сентиментальная книга.

— Не знаете ли, тетенька, кто ее автор? — поинтересовалась Лиза.

— Сама впервые слышу это имя. Какая-то мещаночка, дочь пастора, по фамилии, кажется, Бичер-Тоу. Вот эта книжонка, дарю тебе. Я не любительница повестей о рабах, они меня расстраивают. Твоя графиня говорит: это то же, что читать о животных, некоторые из них, мол, умны и преданы человеку, но

однако же далеки от нашей породы. Я так не думаю. Но не люблю чувства жалости, оно вызывает у меня головную боль и тошноту.

Лиза прочла на скромной обложке: «Хижина дяди Тома. Сочинение госпожи Гарриет Бичёр-Стоу».

Возвратившись в свою комнату, Лиза сперва равнодушно заглянула в книгу, но вдруг жизнь ее как бы переместилась. Внезапно она очутилась на ином материке, в мало известной ей доселе стране, на севере, затем на юге Америки. Том, Хлоя, Ева и другие герои потрясающей книги о рабстве окружили ее. Лиза то бежала по льдинам, спотыкаясь, рядом с преследуемой по пятам негритянкой, то рыдала с тетей Хлоей или умирала, как Ева, на руках человечнейшего из негров.

Никогда ни один рассказ не поглощал ее так и не причинял ей столько страданий. Она читала об Америке и видела в то же время крепостную Россию.

Тщетно Евпраксия Александровна вызывала ее к себе. Лиза каждое сне слышала голос слуги. Точно так же не замечала она, как разрезывает костяным ножиком и перелистывает страницы. И только когда прочла все, к ней снова вернулось ощущение времени и места. Лиза долго не вытирала мокрых от слез глаз. Маша на цыпочках входила и выходила из комнаты и молилась о том, чтобы Лиза начала снова спать, есть, разговаривать и двигаться. Наконец чары окончательно рассеялись.

— Эта книга писана кровью, а не чернилами. Она пробуждает совесть и стыд даже в душе палача,— повторяла Лиза.— В могучем девятнадцатом веке открыто и законно процветает рабовладельчество в России и Соединенных Штатах Америки.

Впечатлительная, исстрадавшаяся душа Лизы не могла примириться со всем, что она видела в мрачной николаевской России. Но одинокая, без друзей и почти без знакомых, она была совершенно бессильна. К тому же нужда с каждым днем все более угнетала ее.

Узнав, где живет сестра Бакунина, Лиза поехала к ней с визитом. Варвара Александровна Дьякова встретила гостью хотя и с некоторым недоумением, но весьма дружелюбно, особенно когда узнала, что за границей брат Михаил был дружен с ней. Курносое личико Дьяковой, с вопросительно смотрящими на мир светлыми глазами, располагало к себе всякого, и Лиза обрадовалась новому знакомству. У Дьяковых в это время находился и отец Мишеля, тверской помещик Александр Михайлович Бакунин, еще крепкий, разговорчивый и доброжелательный

старик. За чаем он пристально рассматривал гостью и несколько раз неодобрительно покачал головой, когда она начала говорить о необходимости отмены крепостного права.

— Вижу, мадемуазель, что и вы идете по дорожке бедствий и заблуждений. Как бы не провалиться и вам в ухаб да не сломать косточек. Нынче молодежь не щадит ни себя, ни престарелых родителей. Может, я покажусь вам старомодным, домостроевским человеком, а вот скажу свой жизненный вывод. Богатым и тем вредно нынче философствовать и метаться в поисках туманной, одному богу ведомой истины, ну, а небогатым надлежит, если то мужчины, деятельно, верой и правдой, служить царю, а ежели то женщины — беречь семью, быть источником радости, покоя и в добронравии воспитывать молодое наше племя.

Лизе ничего не удалось выспросить у старика Бакунина о свидании его с сыном. Он решительно отвел разговор на другое. Молчала об этом и Дьякова.

Только спустя несколько месяцев Лиза познакомилась и с другими сестрами Мишеля. О них отец сказал стихами:

Все четыре — стыд сознаться —
Так нужны сердцу моему,
Что я без ужаса расстаться
Подумать с ними не могу.

— Четыре? — переспросила Лиза. И пожалела: так жалобно искривилось тотчас же лицо старого Бакунина.

— Да, у меня их всегда четыре, хотя любимица моя Любаша, сей непорочный ангел, недолго гостила на суровой земле и умерла уже много-много лет назад.

Лизе припомнилось, что Любовь Александровна была невестой Станкевича, умершего также в ранней молодости от чахотки. «Хорошие гибнут рано»,— подумала она с грустью.

Младшая из сестер, Александра Александровна, подозрительно и даже враждебно окинула Лизу пристальным взглядом необычайно узких глаз и замкнулась, но Татьяна, которую пылко и болезненно любил Мишель, отнеслась к ней с любопытством и доверием.

Несколько дней Лиза и Татьяна провели вместе. Обеим хотелось говорить только об одном — об обожаемом ими Мишеле. Осторожно, многое скрывая, Лиза описывала свои встречи с ним в Париже, Брюсселе и Берлине. Татьяна, раскрыв большие, печальные, верные и добрые глаза, заметно волнуясь, не уставала выспрашивать у новой знакомой все, чего не знала о своем

брате. Лиза отвечала, испытывая от этого то боль, то радость, но, главное, надеясь, что услышит сама многое от сестры любимого ею человека. В этом она не ошиблась. Татьяна после долгой беседы принесла коробку с письмами брата, которые он прислал ей еще до отъезда за границу. Читая их, Лиза как бы заглянула не только в прошлое, но и в душу Мишеля.

В 1836 году Бакунин писал сестрам:

«...На душе светло, ясно; я сознал себя, я никогда еще не сознавал себя так верно, так определенно, как теперь. Человек, который не страдал,— не жил; одно только страдание может привести к сознанию жизни, и если счастье есть полное сознание жизни, то страдание есть также необходимое условие счастья. Не страдание безответное, бессознательное, апатическое — нет! Но страдание... происходящее от беспредельности целей и желаний и конечности способов к удовлетворению и достижению их. В это время во мне происходило сильное борение; я начинал удостоверяться, что жизнь внешняя не должна быть целью даже практической деятельности человека, но не так легко от нее отречься. Душа иногда так слаба, что не умеет довольствоваться внутренним сознанием своего достоинства, так слаба, что иногда требует наград от внешнего мира. Трудно, тяжело разбивать друг за другом все эти фантастические образы, которые составляют поэтическую сторону жизни, в которые так прекрасно, так гармонически слились оба элемента всеобщей жизни: духовная и внешняя. Но, наконец, я дошел до этого, я сознал всю пустоту этих желаний, я сознал, что вне духовного мира нет истинной жизни, что душа должна быть собственной своей целью, что она не должна иметь другой цели. Путь, может быть, безотрадный, но зато достойный человека!

О, я много выстрадал за это время, много потерял очарований — тем лучше: чем менее их, тем путь вернее, чем менее человек зависит от внешнего мира, тем более ему доступен внутренний. Все, что я сказал, может выразиться очень простой формулой: не ждать чудес от внешнего мира. О, это необходимо, необходимо для усовершенствования духовной жизни. Должно оторвать себя от законов света, и я начинаю тем, что решился не делать шагу для успеха в своей политической жизни, а жить покаместь преподаванием математики. Итак, я для света ничтожное творение, нуль, учитель математики, а для себя собственно, для друзей, меня понимающих, я стал гораздо выше прежнего, я убил мелкий эгоизм самосохранения, я стряхнул с себя иго предрассудков, я человек!»

Прочитав это письмо, Лиза сказала:

— «Человек, который не страдал,— не жил». Какое счастье, что Мишель так думает. Ему выпало великое испытание страданием, и он выдержит его, не сгибаясь, ибо, по его же теории, он познает жизнь. Страдание закалит его на новые подвиги. Теперь я за него совсем, совсем спокойна.

Татьяна рассказала Лизе о том, каким трудным был, однако, характер Бакунина, и о своей давнишней размолвке с ним.

— Когда мы теряем близких, а тюрьма страшна, как и могила, нас мучает раскаяние. Мне так больно, что я когда-то ссорилась с братом, но он, увы, не щадил отца и мать и причинял им немало горя. Однажды я вынуждена была даже написать ему жестокое письмо. Как мучительно теперь, когда он так страдает, вспоминать об этом! Бедный Мишель! Мы так любим друг друга. Но тем более мне следовало сказать ему все, что я думала о его безжалостном отношении к нашей семье. Он решил уехать и жить на средства посторонних людей. Вот прочтите мое суровое послание. Была ли я права? Судите меня теперь.

Лиза жадно впилась глазами в узкий белый листок бумаги.

«...Могли ли родители согласиться, чтобы их сын жил на счет посторонних? — писала Татьяна.— Мишель, Мишель, твоя видимая бесчувственность раздирает мое сердце. Я знаю, что это письмо навлечет на меня твое негодование и презрение; я на это себя обрекаю. Ты считаешь меня неспособной понять тебя. Увы! Я поняла тебя больше, чем хотела бы. Я должна была бы (по-твоему) прочувствовать важность того, что подвигло тебя на этот последний шаг; я должна была бы верить, что ты принужден к нему чувством чересчур сильным, чересчур страстным, чтобы можно было с ним бороться, а я не вижу в твоем поступке ничего этого, я в нем вижу лишь проявление твоего эгоизма, твоего равнодушия к твоей семье... Мишель, до сих пор мы всегда тебя защищали, может быть, мы даже слишком горячились, говоря в твою пользу, но я не могла слушать, как тебе приписывали холодное, эгоистическое сердце, и забывала, что говорю с моими родителями. И вчера, когда отец сказал мне: «Я тебе повторяю, что Мишель не способен любить», я не находила слов, чтобы оспорить его мысли о тебе. Мишель, если бы ты знал, в каком ужасном положении я себя чувствовала. Возможно ли, чтобы то, что говорит отец, была правда?..

...Мишель, я открыла тебе мое сердце... Я знаю наперед, что ты подумаешь, что ты, может быть, скажешь, прочитав мое письмо. Я не могу с тобой быть неискренней. Лучше потерять

твою дружбу, нежели молчать и таить что-либо против тебя на сердце».

Дочитав письмо, Лиза с укоризной посмотрела на Татьяну, которая едва удерживала слезы.

— Как я была неправа в отношении брата! Он истинно велик в своей любви и служении людям, но его с юности не понимали окружающие. Это натура столь сложная и необыкновенная, что не всем дано оценить ее по достоинству.

— Да,— подтвердила Лиза,— за границей было то же. Мишель претерпел много несправедливого и жестокого. Но он отважен, это герой, и люди поймут и поклонятся ему. Я уверена, что ни пытка, ни муки заточения не могут сломить его воли. Перед его мужеством поблекнет героизм Пестеля и петрашевцев, он останется до конца верен своим идеалам.

Короткое знакомство и взаимное расположение Татьяны Бакуниной и Лизы Мосоловой оборвались так же внезапно и необъяснимо, как и начались. Они исчерпали полностью то, что свело их. Каждой хотелось как можно больше узнать от другой о предмете их любви и тоски, а достигнув этого, они расстались с некоторым недовольством собой и друг другом. Не будь на свете Мишеля, они, совершенно разные по характерам, не сблизились бы даже и на несколько дней.

•

Татьяна уехала в Премухино, Лиза осталась снова совсем одна в отдаленной комнате особняка тетки, с которой встречалась лишь изредка.

— Друг мой, дистанция — залог добрых отношений между людьми,— сказала Евпраксия Александровна и предложила, чтобы Маша брала для своей барышни еду прямо из кухни.— Я буду рада видеть тебя по воскресеньям. В этот день являются ко мне гости и тем, собственно, вычеркивают его для меня. Терпеть не могу суесловия, и с тех пор, как все уверились, что я действительно бедна, и перестали интересоваться мною, живу куда привольнее и спокойнее. Однако те, кто еще более обойден фортуной, нежели я, толкутся в моей избе по праздникам. А вообще, бедность, скажу тебе, Элизабет, великий друг человека. Когда я была в твоих годах и считалась богатою, от женихов, от так называемых друзей и прихлебателей проходу не было. Вокруг меня были суета и великая возня праздная. Потом, когда узнали, что я нищенка, всех от меня точно вихрем сдуло. Никто более не сватался, не льстил, не обхаживал меня.

Тут то я всех и рассмотрела, точно на зубок испробовала. Мало кому оказалась нужна я сама по себе. Так вот и живу: гол как сокол, зато не обманута людьми.

После этого странного разговора с теткой унылой чередой проходили ничем не расцвеченные дни в жизни Лизы. Она поняла, что бесполезно далее добиваться сведений о Бакунине, и в полном одиночестве сызнова проверила, строка за строкой, свое прошлое: «Мишель меня не любил и никогда не полюбит. Даже в несчастье он ни разу не вспомнил обо мне, я поняла это, видясь с его родными. Но я не перестану о нем думать, пока он не будет на свободе».

Постепенно ей стало ясно, что в России никто не сможет помочь узнику. Ничто не могло пробить стены Петропавловской крепости и царского дворца. Ни оказавшиеся призрачными надежды на высокие связи, ни мольбы престарелых родителей не изменили судьбы Мишеля. Чудом было уже то, что, дважды приговоренный за границей к смертной казни, он, однако, был помилован императором Николаем.

Лиза решила искать в России людей, подобных тем, кого знавала и уважала в Бельгии. Но и это было весьма трудным делом, особенно для женщины.

Недоверие и настороженность, трусость и порождаемая ею подлость господствовали в той среде, где вращалась Лиза. Люди прятали истинные мысли и чувства иногда так глубоко, что затем теряли их вовсе.

Лиза томилась в полном одиночестве. Иногда ей казалось, что, будучи свободной, она в действительности так же отрезана от всего живого, как Бакунин в тюрьме. Случались дни, когда ей не с кем было молвить слово. Лизе стало казаться, что с каждым годом она все больше уходит в себя. У нее не было никого близкого на свете. «Неужели,— думала она с тревогой,— мне суждено навсегда остаться одинокой? В конце концов, перейдя черту молодости, я останусь единственным свидетелем исчезнувшего своего прошлого и никто не сможет более понимать меня».

Как-то к Евпраксии Александровне приехала из провинции приятельница с одиннадцатилетним сыном.

— Знакомься, Лизанька, с хорошими людьми,— сказала племяннице тетка и подвела ее к молодой даме и худенькому, светловолосому мальчику с внимательными, не по летам умными глазами.

— Это Писарева Варя,— продолжала хозяйка дома с не-

свойственной ей ласковостью,— чистая душа. Отдалась вся, как римская матрона, воспитанию детей и заперлась в своем именьице в Елецком уезде... А Митя все тот же скороспелка? — спросила гостью Евпраксия Александровна.— Как бы чрезмерное развитие ума не повредило его здоровью. Помнится, четырех лет он бегло читал по-русски и по-французски. Теперь, верно, уж так учен, что боязно вступать с ним в беседу. Ты бы, Варенька, больше заставляла его резвиться, бегать, а то рыхловат он и бледен.

— О нет, Митя просто очень благонравный и послушный мальчик.

— Как же, этому я сама свидетель. Представь себе, Лизанька, однажды, когда он был еще очень мал, я предложила ему конфету и варенье. Матери в комнате не было, и малыш, который никогда не делал ничего без ее разрешения, не желая меня обидеть, положил сладости в рот и продержал их, не проглотив, пока не вошла Варя. То-то было смеху, когда он, не решаясь раскрыть губы, чтобы не выронить варенья, ждал, чтобы мать дала ему знак, как же ему быть. Признайся, Митенька, учиться тебя тоже принуждают?

Мальчик, сильно покраснев, ответил с большим достоинством:

— Силою учиться никого нельзя заставить. От этого только противнее стали бы науки.

«Умен»,— подумала Лиза, глядя на Митю с возросшим интересом.

— Он всегда беготне и шалости предпочитал чтение,— добавила смутившаяся было госпожа Писарева.— Митя очень прилежен, не то что его сестренка Верочка. С трех лет он полюбил, сидя за своим столиком, перебирать картинки, раскрашивать их и готов был до полуночи слушать рассказы или читать книги. У него счастливая память: схватывает все на лету и хранит без труда. Учение, слава богу, дается ему так же легко и приятно, как иным детям игры.

— Тем более надо бы поудержать его. И так развит сверх меры,— назидательно заметила Евпраксия Александровна и позвала Митю прокатиться с ней по городу.

Лиза и Варвара Дмитриевна остались одни и все еще продолжали беседовать о детях и их воспитании.

— Я только в одном неумолима и готова к принуждению,— сказала, все более воодушевляясь, мать Мити,— чтобы заставить сына быть всегда правдивым и искренним. Мы дома

прозвали его «хрустальной коробочкой». Он не лжет, не утаивает мыслей своих и чувств. «Говорить только то, что думаю, что чувствую» — вот его девиз, и я бога благодарю, что сумела отвратить навсегда Митю от лжи и сделала его искренним.

— Вы страстно любите сына.

— Да, я боюсь, что любовь моя может стать эгоистичной.

— Такая любовь близка к деспотизму,— тихо заметила Лиза.

— Но это деспотизм материнский. Я требую, чтобы мой мальчик делился со мной всеми помыслами, сомнениями. Вся моя жизнь ведь посвящена Мите, а мне нужна только его дружба. Он плоть от плоти моей, лучшая часть моей души. Его горести и радости должны быть также и моими. Скоро он поедет в Петербург. Страшно подумать о том, как буду я жить вдали от него.

— Но мальчику предстоит рано или поздно начать свою жизнь. Не надо мешать его полету.

— Увы, таков удел матерей: всем пожертвовать для детей и остаться к старости одинокими.

Лизе нравилась с каждым часом все больше новая знакомая.

Внешность Варвары Дмитриевны не привлекала к себе внимания. Неправильные черты лица, неяркая кожа — все было обыкновенным. Но стоило заглянуть, не просто посмотреть, а углубиться в широко раскрытые, вопрошающие глаза Писаревой, как захотелось бы еще и еще видеть их. Большие глаза смотрели как бы из самой глубины души, и было в них отражено столько внутренней моральной силы, искренности и любви, что они совершенно заслоняли невыгодное первоначальное впечатление от ее внешности.

Варвара Писарева была так же правдива, как и Лиза, и это редкое качество, свойственное обеим, естественно, сблизило их в те несколько дней, что они пробыли вместе. Очень полюбился Лизе и маленький Митя.

«Общение с искренними людьми,— писала она в своем дневнике, когда Писаревы уехали,— делает нас нравственнее и чище. Я прочла у Карлейля, что говорить правду — это счастье, выпадающее на долю немногих избранных. Как часто мы лжем из выгоды, самолюбия, вежливости, жалости, притворства, страха. Мы стремимся казаться иными, чем являемся на самом деле, и это тоже ложь, которая заводит нас в непро-

ходимые дебри. Мы обманываем подчас и самих себя. Мы сознательно выдаем иногда желаемое за бывшее.

Неужели правда, что

Мы на ложь обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Только трусы лживы. Сильные и благородные натуры вытравляют ложь, как ржавчину, всемогущей правдой. Все великое всегда правдиво. Варвара Дмитриевна знает это, и, внушая сыну отвращение к неискренности и лжи, она воспитывает смелого человека».

Вдруг все изменилось в жизни Лизы. Однажды Маша вызвала ее на половину старой барыни.

В пышной мрачной кровати без сознания лежала Евпраксия Александровна. Лицо ее было иссиня-пунцовым. Она хрипела. Перепуганная горничная рассказывала, что барыня внезапно упала и сильно ушибла голову. У нее парализовало правую руку и отнялась речь.

— Апоплексический удар. Я неоднократно предупреждал княгиню, что от английских кровавых бифштексов и острых подливок не будет проку. Они для русского желудка истинно смертельны,— объявил врач, рьяный славянофил, демонстративно носивший поддевку, подпоясанную красным кушаком, и широкий картуз.

Несколько дней провела Лиза без сна у ложа больной. Ни уход, ни лекарства не помогали.

На рассвете весеннего утра Евпраксия Александровна умерла. Она была последним близким человеком Лизы. Ничто отныне больше не связывало Лизу Мосолову с Москвой. В час, когда она думала, где им с Машей приклонить голову и как зарабатывать на жизнь, Лиза узнала, что тетка оставила ей огромное наследство. Она стала отныне очень богатой женщиной, обладательницей большого капитала в Английском банке. Едва весть об этом облетела Москву, множество ранее не замечавших Лизу людей появилось на пороге ее дома. Им отвечали, что барышня больна и никого не принимает.

Столь резкая перемена ошеломила Лизу. Она считала, что безнравственно наслаждаться материальными благами, полученными из-за того, что близкий человек умер. Ей не пришлось

быть свидетельницей отвратительных ссор, сопровождающих, как обычно, раздел добычи наследниками у свежей могилы, так как у Евпраксии Александровны не нашлось других близких родственников. Вещи, хранившие на себе как бы отпечаток умершей, вызывали у Лизы только грусть, сожаление и мысли о бренности земной.

Наследство искажало естественную печаль о смерти.

Лиза поспешила отпустить на волю крестьян, принадлежавших ее тетке, обеспечила слуг и старую Машу и покинула Россию, направляясь в Париж.

Все столичные газеты в отделе великосветской хроники сообщили о большом наследстве, полученном мадемуазель Мосоловой. Из золушки она внезапно превратилась в принцессу и, сделавшись очень богатой, вскоре поняла чудовищную силу денег в том обществе, где жила. Ничто не изменилось в ее внутреннем мире или внешнем облике, однако, ранее никем не замечаемая, подчас откровенно презираемая, она вдруг стала всем необходимой. Ее начали считать красивой и весьма оригинальной. Особенно поразило Лизу, когда она приехала в Париж, письмо княгини Дарьи Христофоровны Ливен, высокопоставленной, весьма известной в высшем свете нескольких государств дамы, с которой была в родстве. Впрочем, никогда раньше княгиня не признавалась в этом.

«Милая Лиза,— писала ей по-французски княгиня Ливен.— Ваше светское положение позволяет мне представить вас в том кругу, к которому мы принадлежим по рождению. Злая фортуна подшутила жестоко над вашим отцом и вами. Однако божественный промысел восстановил справедливость, и вы снова среди нас, бедное дитя. Сколько пришлось вам выстрадать среди людей иных каст! Тем более я, познавшая многие горести и гонения, рада познакомиться с вами. Надеюсь, вам будет хорошо в моем доме. Приезжайте».

Лиза вспомнила все, что многократно слышала о княгине Ливен. Дарья Христофоровна приходилась родной сестрой могущественному Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Она была женой князя Ливена, бывшего в течение многих лет русским послом в Лондоне и затем воспитателем наследника престола. После тридцати семи лет супружества княгиня Ливен, вопреки воле царя Николая, уехала одна за границу и не пожелала больше возвратиться к мужу в Петербург.

Несколько лет пылкое увлечение связывало ее с Меттернихом, но затем оно сменилось взаимной ненавистью.

Дарья Христофоровна до разрыва с мужем пользовалась особым благоволением государя и постоянным покровительством королевы Виктории. Пальмерстон был с ней в дружеской переписке, а знатные, богатейшие лорды Эбердин и Грей не скрывали своего преклонения перед этой своеобразной женщиной. Княгине Ливен было за пятьдесят, когда ее по-юношески страстно полюбил уже не молодой Гизо. Их связь, длившаяся не один год, не оставалась тайной в высшем свете. Врожденный талант дипломата и превосходное знание закулисных дел в политике в соединении с ловким холодным рассудком обеспечили ей в течение всей жизни особое положение в Петербурге, Берлине, Париже и Лондоне.

Дарья Христофоровна была беспредельно честолюбива. Однако на пути ее беспрерывного возвышения встала запоздалая любовь. Из-за Гизо, несмотря на уговоры Бенкендорфа и мужа, приказы и угрозы царя, она осталась за границей. Ссылаясь на болезни и душевные страдания, вызванные смертью двух сыновей, княгиня Ливен отказалась вернуться в Петербург и жила то в милом ее сердцу Лондоне, то в Париже, вблизи любимого человека. Ее салон считался могущественным в дипломатическом и светском мире Европы, и она продолжала выполнять сложные и важные поручения Николая I.

Шли годы. Воспитатель наследника князь Ливен умер, но и овдовев Дарья Христофоровна не вышла замуж за Гизо.

— Могу ли я, наследница древнего рода, соединиться браком с буржуа? Это невозможно даже в век процветающего третьего сословия. Между нами кастовая пропасть.

Умный, светски обаятельный, политик и ученый, Гизо не настаивал на венчании, хотя взаимная любовь его и Дарьи Христофоровны крепла с годами.

Все эти подробности из жизни княгини Ливен стали известны Лизе от покойной тетки.

Прочитав письмо Дарьи Христофоровны, Лиза захотела увидеть женщину со столь незаурядными биографией и характером. Она охотно приняла приглашение Дарьи Христофоровны и поселилась в великолепном особняке в Сен-Жерменском предместье.

Княгиня Ливен оказалась худенькой старой дамой, которую не могли омолодить ни притирания, ни белила, ни строго продуманный туалет, ничто не могло скрасить разрушения от времени, особенно сказывающиеся в линиях когда-то стройной шеи. Стоячий воротник не мог уже скрыть дряблости кожи и

поддерживать слабый подбородок и щеки. Княгиня Ливен никогда и не была красивой. На тонком неправильном личике поражали, однако, необычайно проникновенные, полные ума, задора, иронии глаза. В старости, как это обычно бывает, яснее обозначились и недостатки, и достоинства ее внешности.

Превосходный знаток людей, княгиня Ливен быстро разобралась в наиболее определившихся чертах характера Лизы, но постаралась ничем не проявить этого и заговорила о том, к чему, знала по опыту, никакая женщина не может остаться совершенно равнодушной.

— Вам надо заняться собой, милая Лиза. О душе поговорим позднее, сначала подумаем о бренных предметах. Я прикажу вызвать сюда мою портниху, и мы обсудим ваш будущий гардероб. Моя кузина Евпраксия, эта замечательная нелепица, как ее звали в детстве, наверно, не сказала вам, что следует не только читать Шатобриана, но также класть на ночь на лицо маску из сырого мяса, земляники или огуречного сока, чтобы кожа не была сухой и серой. Моя камеристка займется этим. Увы, дитя мое, феи, присутствовавшие при вашем рождении, не позаботились о цвете вашего лица. А это главное, особенно при вечернем освещении. Свечи были гораздо милостивее к женщинам, чем газовые лампы, которые жестоко подчеркивают наши недостатки — морщины и вялость век.

Лиза, слушая княгиню Ливен, не могла скрыть своего удивления. Ей казалось, что эта женщина, которую считали отличным политиком и дипломатом, сразу же начнет разговор о чем-нибудь особо важном для судеб Европы, военных приготовлениях Турции и России и угрозе большой войны или, по крайней мере, о Наполеоне III и его раздорах с царем Николаем I.

Решив приблизить к себе Лизу, Дарья Христофоровна имела затаенную цель. Поднав под влияние католической церкви, она стремилась, считая это особо богоугодным делом, уловить в ее лоно как можно больше душ. Лиза, скромная, замкнутая, страстная, много страдавшая, как сразу определила княгиня Ливен, и, главное, очень богатая, была, по ее мнению, создана для того, чтобы увлечься пышной мишурой католической церкви. Надо было, однако, исподволь, незаметно подвести ее к этой мысли. И Дарья Христофоровна, посоветовавшись со своим духовником, решила действовать без торопливости и заслужить любовь и полное доверие своей родственницы.

Однажды во время утреннего туалета графиня Ливен сказала Лизе:

— С тех пор как судьба лишила меня двух любимых сыновей, я поняла всю тщету земной жизни и бесполезность борьбы с тем, что предначертано нам свыше. Смирение, покорность, вера в грядущее соединение с любимыми — вот чем живу я отныне. Но это вовсе не значит, что надо посыпать главу пеплом и предаваться печали. Наоборот, дитя мое, святая католическая церковь и ее духовники помогли мне преодолеть страдания. Не надо отказываться от мирских благ и дел. Основное — это вовремя искупить грехи.

Не подметив ни малейшего интереса у Лизы к тому, чтобы получить отпущение прегрешений, и почувствовав в ней полное безразличие к делам церкви, Дарья Христофоровна перешла к тому, что ждала от нее Лиза с самого начала их знакомства. Она заговорила оживленно о политике.

— Гроза в мире приближается,— сказала уверенно княгиня Ливен.— Многие важные события в Европе начинались с мелочей. Наш дорогой государь вполне прав, когда пишет императору Наполеону, человеку, между нами говоря, с весьма сомнительным прошлым, не «любезный брат», как полагается по этикету между царствующими лицами, а просто «друг». Это тоже не малая честь для вчерашнего арестанта. Луи Бонапарту не удалось политических выгод ради породниться ни с одним из царствующих домов Европы. Слава богу, наш царь разрушил его хитроумный план.

— Разве это тоже дело рук Николая Первого? — поинтересовалась Лиза.

— Да. Его величество использовал все свое влияние, чтобы предотвратить позор подобного соединения.

— Однако Наполеон Третий женат...

Княгиня Ливен презрительно улыбнулась.

— Да, на испанке незнатного и бедного рода, графине Евгении Монтихо-и-Теба. Она посетила меня незадолго до того, как стала императрицей Франции, и, представьте, вела себя в моем салоне как истая аристократка. Не будем, однако, вспоминать сомнительное прошлое этой красотки. До замужества она успела насладиться жизнью. Но ведь мать и бабушка Наполеона Третьего тоже не были образцами морали. Как ни старается Бонапарт создать теперь культ Гортензии и Жозефины Богарне, ему это не удастся. Не правда ли, забавно, что гимном империи стала песенка, написанная когда-то его матерью? Увы,

мой друг, все эти люди принадлежат к полусвету. Это слово отлично придумано господином Александром Дюма-младшим. Все в современной несчастной Франции, как в «Даме с камелиями», только полусвет, все на грани приличия и непристойности. Двусмысленны и ложны императорский двор и политика, биржевые спекуляции и даже литература. А нравы? От дикого племени канка европейцы переняли омерзительный, неприличный танец и назвали его «канкан». В кафешантанах всей Франции его пляшут, вскидывая ноги до самого носа и выше. И, представьте, это вовсе не весело и, значит, вовсе уж непристойно. Наш строгий вальс доставлял, право же, гораздо больше радости. Я часто говорю об этом с господином Гизо. Ничто, запомните, не вызывает такого волнения, как видимость целомудрия.

За ужином Дарья Христофоровна вновь заговорила об угрозе войны.

— Недавно Наполеон Третий сказал многозначительные слова: «Если мои военные суда появятся в восточных водах, то знайте, что я иду, чтобы победить Россию. На этот раз сражаться нам придется в менее суровом климате, чем это было под Москвой». Не правда ли, какой недвусмысленный и зловещий намек на наше Черное море? Я не могу остаться безразличной к такой угрозе. В ближайшие дни мы отправимся с вами, милая Лиза, ко двору королевы Виктории. Есть все основания беспокоиться, что королева и ее правительство присоединятся к враждебной России коалиции. А я, что бы обо мне ни говорили, родилась и умру верноподданной обожаемого мною царя Николая.

Через несколько дней Лиза вместе с княгиней Ливен отправилась через Дувр в Англию.

Дарья Христофоровна стремилась в Лондон еще и для того, чтобы повидаться с Гизо. Княгиня Ливен самоотверженно заботилась о любимом человеке, спутнике ее старости, и тяготилась разлукой с ним.

В Булони, на пристани, в ожидании маленького суденышка, идущего к берегам Англии, Лиза спросила Дарью Христофоровну, почему ее близкая дружба с Меттернихом обернулась враждой.

— О милый друг,— прикрыв глаза, улыбнулась княгиня Ливен,— в нашем кругу мужчины, а тем более выдающиеся, не любят умных женщин. Они привыкли только к поклонению. Ум в женщине невыносим для человека, который считает себя

гениальным и не желает слышать ничего, кроме лести. Жена австрийского канцлера, очаровательная дурочка, постоянно курит ему фимиам и совсем не интересуется политикой.

Был конец мая. Начинался великосветский сезон. Королева давала свой первый бал во дворце, подаренном ей около двадцати лет назад герцогом Букингемским. Этот невзрачный плоский серо-желтый замок, опоясанный густым парком, она предпочитала всем другим, за исключением разве только Виндзорского.

Княгиня Ливен, пользуясь обширными связями при дворе, без труда включила Лизу в список приглашенных на первый бал во дворце.

Лизе хотелось посмотреть это необычайное, почти театральное зрелище. Королева объявила, что в этом сезоне ее любимым цветом будет голубой, и платья приглашенных на бал шились из самых дорогих материй только этого цвета или его оттенков.

В полдень и сумерки у сквозной железной дворцовой ограды и глухих ворот всегда собирались любопытные.

Развод караула, о котором возвещали гулкие барабаны, сопровождался сложной церемонией: салютованием шпагами, рапортами.

Гвардия королевы, как и великобританская полиция, вербовалась преимущественно в Шотландии. Только там, среди угрюмых озер и гор, вырастали такие широкоплечие, рыжекудрые силачи. Бывшие пастухи, похожие на викингов, служили также главным украшением уличных перекрестков, где их стадами были отныне омнибусы и кареты. Они же живыми статуями стояли у парадных королевских подъездов, рядом с трехцветной сторожевой будкой. В полицейских темных касках и меховых гвардейских шапках, почти скрывавших лица, в черных форменных шинелях с эполетами, они были декоративны, безжизненны и лишены всякой индивидуальности, как каменные львы и вазы на дворцовых фронтонах.

Смена караула у ворот Букингемского дворца была излюбленным зрелищем детей. Наемные воины короля казались им большими оловянными солдатиками, и нередко малыши просили матерей купить им таких же. Нелегко было поверить, что подобная автоматичность движений доступна живым людям. Даже лошади у двух всадников, занимавших ниши главных

ворот, подчинены были механическому ритму барабанов и топоту караульных, этих выстроившихся попарно маскарадных воинов.

Но излюбленнейшую пищу для любопытства английских сплетников доставляли дни дворцовых балов.

Королевский прием еще не начинался, но вереницы карет с приглашенными уже с полдня заняли прилегающие к Букингемскому дворцу кварталы. Английские богачи и знать подъезжали в слонообразных, покачивающихся в такт лошадиному бегу, обитых сукном или шелком рыдванах и черных каретах с ливрейными лакеями на запятках. Фырканье и ржание великолепных лошадей нарушали покой улиц. Зеваки, с утра дежурившие на путях ко дворцу, рассматривали кареты, в которых сидели дамы в придворных туалетах.

Длинные, широкие платья шились для дворцового бала из затканной золотом парчи и тафты, блестящего атласа или из индийского легкого муслина. В моде были кринолины, растянутые благодаря десятку тонких металлических обручей, образующих под юбкой подобие каркаса для абажура. Те, кто должен был представляться королевской чете, носили тяжелые четырехметровые шлейфы, прикрепленные к плечам. Нелепым пучком торчали страусовые перья поверх фаты, наброшенной на прически дам; в их руках тихо покачивались большие мохнатые веера.

Пытаясь скоротать долгие часы ожидания, придворные леди играли в вист со своими позолоченными, затянутыми в тугие набрюшники кавалерами. Иногда уже с двух часов дня выстраивались чередой кареты королевских гостей, надеявшихся, что к десяти часам вечера им удастся добраться до желанного подъезда.

Приехавшая из Индии графиня беспокоилась, как бы не увяли белые, укутанные листьями лилии, с которыми сегодня предстанут перед троном три ее чахлые, непомерно долговязые дочери. Чтобы утомление не пробилось серым налетом сквозь румяна и пудру на щеки молодых «дебютанток», впервые представляемых королевской чете, отец и брат, оба в орденах и придворных костюмах, старались развлекать их веселыми шутками. Однако ни атлас дорогих платьев, ни прославленные, многократно описанные всей столичной прессой драгоценности, ни тонкие лилии не смогли украсить этих дурнушек.

В противовес английскому мелкому буржуа, вовремя спрятавшемуся и уцелевшему за тяжелой дубовой портьерой пури-

танства, английская знать дорого заплатила за свое господство и силу. Со времен средневековья она была заражена и разъедена пороками, привезенными со всех концов мира. И парад старой аристократии у Букингемского дворца нередко казался унылой выставкой физического уродства.

Шпалерами растянувшиеся, дисциплинированные зрители вливаются, позабыв о дожде, о режущем глаза тумане, в окна карет, обсуждая туалеты.

Темнеет. В некоторых движущихся бонбоньерках зажигают свечи. Вист в разгаре. Мимо медленно подвигающихся к цели приглашенных англичан проносятся шарабаны иностранцев — представителей дипломатического корпуса. Их вправе обогнать, и задержать только громоздкие, пестрые, похожие на дилижансы кареты придворных и членов королевского дома.

С девяти часов вечера двери дворца раскрыты. Мраморные ступени ведут из обширного желтого холла в анфилады зал. Шаги разодетых, едва влачащих расшитые шлейфы женщин бесшумны на коврах. Одинаковые перья в их волосах покачиваются монотонно, как султаны на гривах унылых лошадей похоронных процессий. Чопорная скука ползет со стен, увенчанных гобеленами, картинами, невыразительными портретами королей в мундирах и мантиях. Застывшими восковыми фигурами кажутся повсюду у дверей расставленные солдаты и офицеры конвоя его величества — причудливая иллюстрация английской истории костюма. Тут и короткие шаровары, кафтаны времен Генриха VIII, со сборчатыми, «фонарем», рукавами из разноцветных полос, и белые, гармоникой плиссированные воротники, привезенные в Шотландию и Англию из Франции злосчастной королевой Марией Стюарт. Тут и елизаветинские пажи в атласных туфлях с большими медными пряжками, и солдаты Карла I в сапогах с отворотами. У портьер, в красных мундирах и меховых шапках, неподвижные солдаты.

Дарья Христофоровна в придворном платье из тяжелой голубой парчи, с трудом поддерживая рукой длинный шлейф, усеянный драгоценными камнями и обшитый соболем, со страусовыми перьями поверх прически и белого тюля, спускающегося по плечам, отвечает на бесчисленные поклоны. Лиза поднимается за ней вверх по лестнице, устланной коврами.

На лицах проходящих мимо дам Лиза с удивлением замечает однотипные, застывшие, ничего не говорящие улыбки, выученные, по-видимому, с самого детства.

— Посмотрите, Лиза, на эту новоиспеченную виконтессу.

[redacted] муж, вероятно, какой-нибудь денежный мешок,— говорила княгиня Ливен, не снимая с лица улыбки.

В дорогом платье павой проплывает по залу жена крупного ветильного фабриканта, купившего титул виконта. Мечты ее конец осуществились.

Пухлые красные плечи виконтессы вылезают угрожающими опнуть помидорами из овального выреза бледно-голубого, кканного золотом платья. На надменно откинутой голове чаются три страусовых пера. Величественно напыжившись, рет она уроненный веер из рук подоспевшего слуги. И тотчас же выражение высокомерия сменяет маска раболепства, когда она кланяется сухопарой герцогине. С каким беспокойством и чванством оглядывает себя новая аристократка в зеркале! Все расступаются, пропуская вперед титулованную даму, обладательницу огромных земель в колониях, одну из прославленных интриганок и политических кумушек, окружающих королеву. Ее пронырливость вошла в поговорку.

Лиза посмотрела на знатную плантаторшу, которая внезапно остановилась, чтобы влюбленным взглядом проводить близкую родственницу королевы.

— Напрасные старания! — сказала Дарья Христофоровна, дружелюбно ответив кивком головы на чей-то поклон.— Эти пройдошливые ничтожества из купцов и дельцов никогда не станут своими в стенах Букингемского дворца. К счастью, никакая подлость и угодливость не превратятся в мостик между кастами. Английская аристократия принуждена и умеет благодаря прекрасному воспитанию терпеть простолюдинов, но не растворит их в своей среде.

— Однако в парламенте они сидят и вершат дела государства вместе,— удивилась Лиза.

— Вы наивны, дитя мое. Палата лордов только отчасти парализованная пасть. Она неизменно жаждет проглотить палату общин. Точно так же подлинная аристократия голубой крови не допустит, чтобы разные выскочки из среднего сословия стали чем-нибудь большим, нежели прислужниками старой знати.

Княгиня Ливен была права. Поколениями пробивались разбогатевшие буржуа сквозь щиты и пики геральдических гербов. Долгие годы длилось это медленное смешение и одновременно золочение титулов.

Английская аристократия, наиболее замкнутая и потому вырождающаяся, в большинстве своем сказочно богатая, сохра-

няла за собой сокровища, земли, акции, торговые капиталы в колониях и в самой Англии.

По большим и малым залам прогуливаются придворные. Мимо трона с поклонами сегодня пройдет их более тысячи. Зеркала во много раз умножают соединяющиеся друг с другом залы и чопорную толпу.

Как в паноптикуме, здесь все призрачно и перепутано. Тот старик с голым черепом, восковым лицом, увешанный смешными, дутыми, как елочные украшения, орденами, цветными лентами,— человек он или карикатурное изваяние? Люди вокруг похожи на кукол, куклы здесь сошли бы за людей.

Сухопарый Пальмерстон сменил скромный костюм на коротенькие штанишки — подражание французскому двору Людовика XV,— шелковые чулки, плотно обтянувшие икры, и лакированные туфли с черными тафтовыми бантами. Волосы его натурально седые, в противоположность густо напудренным головам важных лакеев.

Седина в Англии, как и на Востоке, признается большим достоинством, метой прожитых лет, свидетельством мудрости, признаком «хорошего тона». Нигде в мире не встречается подобная английской холеная, чуть желтая седина.

С каким нескрываемым удовольствием прохаживается по королевским покоям Дизраэли — лорд Биконсфильд. Его плечи выпрямлены, но полы фрака висят жалкими мертвыми крыльями.

— Очарователен,— шепчут ему вслед дамы. Он нравится в свете. Королева часто посылает ему фиалки из своих оранжерей.

Лиза вошла в тронную залу.

Под тяжелые аккорды «God save the king»[1], монархического гимна, в полупустую тронную залу вошли, держась за руки, королева и ее муж принц-консорт Альберт. За ними вразброд двигались принцы и герцоги.

Маленькие пажи долго и тщательно расправляли многометровый, затканный золотыми нитями шлейф королевы на тронных, покрытых ковром подмостках. Вышитые по бархату звезды, цветы и птицы переливались и сияли.

Маршал двора, существо неразличимое, затменное собственными же медалями, галунами, эполетами, отдал последние распоряжения своей армии адъютантов — десятку порхающих

[1]«Боже, храни короля» *(англ.)*.

пестрых «божьих коровок» в красных мундирах и белых брюках. Из дворцового полководца маршал превратился в оперного дирижера.

Один взмах его рыжей руки открыл шествие.

В дверях между тронной залой и «загоном», где ждали выхода статисты-гости, опытные пажи подхватывали, расправляли непокорные, то ползущие, то скачущие и извивающиеся, дамские хвосты — шлейфы.

Королевская чета стояла у золоченых бархатных кресел.

Шурша атласом, склонилась в замысловатом реверансе жена русского посла. Королева и ее муж кивнули в ответ головами.

Фамилии и титулы знатных дам, отдающих поклон королевской чете, наспех объявлял глашатай.

Шли упитанные светловолосые немки, стройные шведки и датчанки, томные испанки и смуглые итальянки.

Королева и ее муж важно кивали им.

Жена американского посла представила трех расфранченных соотечественниц. Чтобы появиться при дворе, они в течение нескольких недель переплывали на небольших судах океан. Жены богачей Нового Света не могли скрыть теперь растерянности, трепета и горделивого восторга. Среди них была ирландка, познавшая некогда жестокую нищету и унижения, измышленные Англией против упрямого, непокорного соседнего острова, на котором она родилась. Но разбогатевшие рабы незлопамятны. Тщеславие ослепляет.

Заокеанские миллионерши соперничали между собой в пышности туалетов и драгоценностей, однако они были бессильны превзойти в этом английских леди и в особенности жен индийских магараджей.

— Мы тоже некоронованные королевы,— сказала раздосадованно одна из них,— и платим мы за все наличными. Наши предки не грабили своих подданных столетиями.

Кивок короля и королевы обошелся им недешево. Придворные дамы, бывшие посредницами, получили под видом оплаты за обучение этикету очень дорогие подарки. Добиться пригласительного билета на королевские приемы — сложное и щекотливое дело; но деньги — ключ, открывающий и дворцовые двери. И когда приглашение было получено, жены и дочери американских бизнесменов и плантаторов Юга покупали себе роскошные придворные одеяния.

С тех пор как появилась фотография, стало модным заказывать портреты в придворном туалете. Они предназначались для

того, чтобы виселъ, изумляя и внушая зависть знакомым, где-нибудь в парадных залах нью-йоркской, чикагской, филадельфийской резиденции. Ради этой чести безмерно тщеславные жены американских буржуа готовы были на любую трату и жертву.

Когда пригласительный билет был получен, жена американского посла отвозила счастливую дебютантку во дворец на бал, где она с особым усердием и старательностью кланялась королевской чете, доказывая этим, что не напрасно в течение двух недель брала специальные уроки реверансов.

Откланявшись, все приглашенные занимали предназначенные им места в полукруглой тронной зале и продолжали разглядывать последующий парад.

Следом за дамами двигались члены дипломатического корпуса: послы, секретари, военные атташе. На них были придворные костюмы либо яркие, без меры увешанные орденами мундиры. Дипломатов сменяли министры.

Прикомандированный парламентом казначей его величества и контролер королевских расходов тоже пришли выразить верноподданнические чувства.

Вслед за министрами и вельможами начинался «выход» юных английских аристократов, впервые представляемых королеве.

Оркестр играл марши. Приглашенные дефилировали по тронной зале.

Одеяние и украшение каждой из проходящих женщин стоили много десятков тысяч фунтов стерлингов. Знатоки находили тут неповторимые, прославленные кружева, сотканные при свете сальных свечей в феодальных замках и монастырях. Соболя, горностаи, серебристые лисы отягощали атласные, парчовые шлейфы, то каскадами пены, то языками пламени разбегающиеся по полу. Женские лица являлись бесчисленными рекламами косметических изделий, без слов прославлявшими французские белила, румяна, карандаши для бровей, пудру.

При дворе господствовал французский язык. Парижские предметы роскоши, курорты в Пиренеях, игорные дома на Ривьере были излюбленной темой разговоров.

Полторы тысячи раз кивнула приглашенным за вечер королева Виктория. У нее заболели шея и голова, и когда церемония поклонов окончилась, прежде чем снова появиться в залах, где чинно танцевали и закусывали, она отдала себя во власть опытной массажистки, поджидавшей ее в туалетной.

Княгиня Ливен, по-девичьи подвижная и неутомимая несмотря на преклонный возраст, под руку с французским послом шла по дворцовым апартаментам.

— Моя супруга, представьте, княгиня, ехала из Рима в Париж почти две недели. Я слышал, что скоро появятся спальные вагоны, иначе пользоваться железной дорогой станет невозможно для людей из общества.

— Две недели, какой ужас! — отыскивая глазами узкую длинную фигуру Пальмерстона и не находя его, отвечала Дарья Христофоровна.— Я, впрочем, всегда предпочитала море суше.

— К сожалению, княгиня, вскоре некоторые моря могут оказаться небезопасными для путешествий,— многозначительно заметил французский дипломат.

— Как будто с пиратами и корсарами покончено навсегда, к огорчению писателей, которым в течение нескольких столетий была особенно близка эта тема. Теперь многие государства похваляются своим флотом. Россия помалкивает, но она очень могущественна,— с нарочитой небрежностью говорила Дарья Христофоровна, входя в залу, где были сервированы столы.

Безвозвратно ушла полулегендарная пора обжорливого Генриха VIII, когда на королевских празднествах гостей потчевали необъятными тушами кабанов, быков, сладким мясом лебедей, горькой дичью и запивали еду бочками лучшего вина. Королева Виктория угощала гостей богато, но без излишеств. Особенно гордилась она серебряной с позолотой сервировкой, бесценным фарфором и белоснежными скатертями из тончайшего полотна.

Княгиня Ливен отказалась от ужина, и разговор с французским послом возобновился.

— Его величество русский царь,— говорил французский дипломат,— естественно, стремится упрочить свое влияние на Балканском полуострове и обеспечить проход своим кораблям в Эгейское море через черноморские проливы. Но вряд ли Турция, Англия и Франция поддержат его в этом стремлении. Скажите, княгиня, вы, верно, как и вся придворная аристократия Петербурга, беспокоитесь теперь о своих поместьях на Крымском полуострове. Говорят, это райский уголок.

— Нет, не судьба дворцов в благословенной Тавриде беспокоит меня,— сказала Дарья Христофоровна.— Опасная авантюра - пытаться подорвать величие и военную мощь России и мешать ей выйти в Средиземное море. Мне жаль не крымские парки и замки — им ничего не угрожает, а те страны, которые

осмелятся подняться против двуглавого орла. Он клюет жестоко, смертельно.

В конце этого разговора в зале появилась приметная сутулая фигура седовласого старика, которого тотчас же окружила подобострастная толпа гостей.

Это был премьер-министр королевского правительства, вождь непрерывно богатеющей, идущей в гору, алчной, самонадеянной и воинственной английской буржуазии.

Княгиня Ливен, сказав какую-то светскую любезность собеседнику, отошла от него и прямо направилась к Пальмерстону. Перед ней почтительно расступились.

— Сэр Генри,— сказала она повелительно,— мне хотелось бы узнать, как ваше самочувствие.

Могущественный государственный деятель Англии некогда был увлечен женой русского посла Ливена. Прошло много лет, но Дарья Христофоровна, давно состарившаяся, совершенно преображалась, встречаясь с тем, над кем приобрела некогда особую власть. Даже тембр ее голоса менялся.

Княгиня Ливен и Пальмерстон были одного возраста, но министр королевы Виктории, удачливый соперник Гладстона и Дизраэли, выглядел куда более дряхлым. Между его белой шевелюрой и бакенбардами торчали необычайно большие, настороженно растопыренные уши. Рот старика походил на рубец, и все лицо казалось обтянутым мятым потемневшим пергаментом. Взор запавших, без всякого блеска глаз был надменный и тяжелый.

— Я очень рад видеть вас, княгиня,— сказал Пальмерстон по-французски, без улыбки.— Вы, как всегда, отлично выглядите и все так же очаровательны. Что привело вас в Лондон и почему я узнаю об этом не первым?

— Меня погнала из Парижа тревога. Мы старые друзья, не правда ли, сэр Генри? — сказала Дарья Христофоровна, то открывая, то закрывая надушенный веер.— Я всегда молодею, глядя на вас. Когда-то на королевских балах мы проводили незабываемые часы. Вы читали мне свои стихи и убивали наповал наших недоброжелателей разящей иронией.

— Это было, увы, так давно, дорогая леди Долли.

— Да, сэр Генри, как меняются времена, нравы и люди. Вы не были тогда так враждебны ко всему, что мне дорого. Мы понимали друг друга с полуслова. Вы не терпели ничего сомнительного и неверного в политике.

Пальмерстон слегка нахмурился. Он знал, что слова кня-

гини Ливен всегда полны скрытого смысла. Не намекает ли она на его стремление ускорить войну с Россией?

«Эта колдунья Ливен все знает, с ней надо говорить, как мужчина с мужчиной,— думал хитрый, расчетливый политик.— Она к тому же все сообщит в Петербург. Тем лучше». Пальмерстон молчал, выигрывая время и предоставляя говорить княгине.

— Вы некогда безошибочно предсказывали будущее по линиям руки; еще лучше вы разгадывали судьбы государств. Что видите вы на горизонте? — спросила Дарья Христофоровна небрежно.

— Будем надеяться, война не начнется.

— Когда дипломат говорит «нет», это означает «может быть».

— Англия первая никогда не возьмет на себя столь ответственный почин, но и не потерпит, если обидят доверившихся ей союзников. Правительство ее королевского величества всегда стоит на страже угнетенных наций, где бы они ни находились.

— Турции, например,— чуть вспыхнула Дарья Христофоровна,— дикой, невежественной страны, которая теснит и издевается над проживающими в ее пределах христианами.

— Балканы созданы богом как яблоко раздора. Но я не хочу, чтобы они поссорили нас, леди Долли. Дружба с вами была для меня всегда выше политики. Она вне распрей мира. Верьте мне и располагайте мною.

...Пальмерстон прошел с княгиней Ливен по длинной картинной галерее до холла, где ее ждал слуга, держа наготове широкую, подбитую горностаем ротонду с огромным капором.

— Карету ее сиятельства княгини Ливен! — выкрикнул лакей.

В закрытом экипаже, подъехавшем к устланному пурпурными коврами подъезду, княгиню ожидала Лиза, покинувшая тронную залу несколько раньше. Дарья Христофоровна была в дурном расположении духа и молчала.

Княжеский выезд в ряду других медленно двигался к ограде Букингемского дворца. Хотя было уже далеко за полночь, толпа зевак не поредела. Ее праздное любопытство возрастало от невозможности заглянуть внутрь, пробить взглядом каменные дворцовые стены... Воображаемое обычно увлекательнее действительно существующего.

«Итак, быть большой войне»,— думала Дарья Христофоровна. Она содрогнулась, представив себе, как осложнится тогда

ее жизнь. Чистокровная немка по происхождению, русская по воспитанию, космополитка по всем своим симпатиям и привычкам, но зависимая целиком от царского дома Романовых, как останется она во время войны за границей? Ей предстояло увидеть, как будут рады карлики тому, что начался поход против греческой церкви, соперницы Рима, и против Восточной Европы. Рьяной приверженке деспотического правления Николая I, русской княгине придется молча смотреть на то, как демократы и революционеры будут восторженно приветствовать борьбу со страной крепостников, которую они называют палачом польского народа и свободы в Европе. Но о возвращении в Россию она не могла и не хотела думать. Петербург, особенно после смерти детей, стал ей постыл и нестерпим. К тому же она любила Гизо и не представляла себе разлуки с ним.

«Как, однако, предотвратить войну?» Острый ум княгини Ливен лихорадочно работал. Но она сознавала свое бессилие.

Лиза искоса посматривала на Дарью Христофоровну, но так и не могла прочесть ее мыслей. Она была очень рада, что бал у королевы кончился.

Весь вечер Лизе не везло. Сначала она чуть не упала, склонившись в реверансе в тронной зале, причем уперлась коленом в пол, чтобы подняться (верх неприличия!), затем, добравшись до своего места у стены, вместо того чтобы остаться стоять, покуда шло представление у трона, опустилась на стул. Какой-то дюжий придворный, стоявший сзади, с окриком «Встаньте!» приподнял ее с сиденья и при этом оторвал оборку платья. Прикрывшись шлейфом, Лиза еле пробралась в дамскую комнату, где дворцовая горничная кой-как зашила прореху на талии и прикрепила кружева. Наконец усталая Лиза выбралась из толпы королевских гостей.

В карете княгини просидела она более часа, удивляясь, зачем пошла на этот бал. Чтобы по собственной охоте изображать одного из статистов в суетном, нелепом и устаревшем дворцовом спектакле?

«Так далее жить нельзя. Вот уже месяц, как я растрачиваю все, что накопила некогда душа, ем слишком обильно, много сплю и в полной праздности теряю время. И ничего еще не сделано для Мишеля».

Невеселые мысли Лизы прервала Дарья Христофоровна:

— Отменный бал. Вам удалось повидать сегодня лучших людей империи. Королева выглядела очаровательно, немножко

только потолстела. Каждый год ее величество дарит Великобритании нового царственного отпрыска, но теряет из-за этого грациозность линий. Нельзя же превращать деторождение в профессию, особенно когда твое чело увенчано короной...

Лиза рассмеялась.

— Однако вы можете быть беспощадной и даже по отношению к коронованным особам,— сказала она, вспомнив о размолвке княгини Ливен с Николаем I.

— Итак, дорогая Лиза, теперь, представившись ко двору, вы можете начать визиты в высшем свете. Все без исключения будут рады вам. Можно подумать и о браке. Но не торопитесь и будьте осмотрительны. Особенно бойтесь неравенства в чем бы то ни было. Когда мне стало невмоготу бремя брака и муж чинил мне препятствия к отъезду за границу, мой брат Александр Бенкендорф сказал о князе Ливен: «Он мстит тебе за то, что так долго терпел над собой твое умственное превосходство». Если это и было так, то ведь я посвятила себя служению мужу в продолжение очень многих лет, и он прослыл прекрасным дипломатом и ученейшим человеком. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Люди не прощают другим сознание своего ничтожества. А это познается сравнением...

— Я вовсе не собираюсь выходить замуж,— решительно заявила Лиза.

— Тем лучше. Раз вы дорожите независимостью, мы можем не расставаться с вами и поехать в сопровождении господина Гизо в Рим, а затем снова в Париж.

— Нет, дорогая княгиня. Я очень многое повидала и поняла благодаря вам. Но я остаюсь в Лондоне. У меня здесь важное и трудное дело.

— Быть может, я могла бы вам помочь в чем-либо, мой друг? Имя княгини Ливен еще не совсем потускнело среди избранных этого мира.

— Тогда разрешите просить вас о помощи моему другу. Он очень страдает. Его имя — Михаил Бакунин. Он заточен в Петропавловскую крепость. Вы, вероятно, слыхали о нем.

Если бы в эту минуту карету княгини окружили разбойники, то и тогда на ее лице не отразились бы больший ужас и возмущение.

— Вы сошли с ума! — прошептала она.— Государственный преступник, замышлявший цареубийство! Позор своей родины и семьи! Я скорее простила бы вам увлечение каким-нибудь шулером из Монте-Карло. Но Бакунин...

— Я обращусь к тем, кто захочет ему помочь. И прежде всего к Герцену. Это самый замечательный и решительный из русских людей.

Лиза говорила очень вежливо, четко и тихо. Но в голосе ее была непреклонная решимость.

Оставшись одна, Дарья Христофоровна дала волю своему негодованию. «Долгие годы бедности и нужды растлили ее. Это погибшее создание,— думала она с бешенством.— Я жестоко ошиблась в этой молчальнице и смиреннице с лицом испанских грешниц, ставших затем святыми. Нет, она отнюдь не Тереза из Гренады, как сказал о ней мой аббат. Я становлюсь глупее к старости и все чаще ошибаюсь в людях. Я мечу бисер перед свиньями. Не пора ли скрыться на время в монастыре или, пожалуй, лучше объявиться больной и не принимать никого, кроме тех, кто мне действительно дорог».

Княгиня с нежностью подумала о Гизо. Его долгая, верная любовь делала ее моложе. Она тосковала о нем в Париже, радуясь, что почти в семьдесят лет способна еще так остро по-женски страдать в разлуке. В Лондоне Гизо проводил в ее доме большую часть дня. Они иногда ездили вдвоем в приморский Брайтон, где, к своему неудовольствию, встречали поселившегося там на покое Меттерниха. Вечера проводила обычно Дарья Христофоровна с Гизо наедине в нескончаемой беседе. В день королевского бала они не смогли встретиться, и, прежде чем лечь, графиня Ливен на голубом листке бумаги с оттиском короны написала своему возлюбленному несколько строчек. «Как всегда,— закончила она письмо,— я благодарю вас за долгие годы привязанности и счастья, которое вы мне дарите».

Затем княгиня позвонила и, поддерживаемая под руки камеристками, направилась в опочивальню.

Следующим утром Лиза переселилась в строгий и удобный отель и почувствовала себя снова свободной.

Герцен казался Лизе человеком особого склада, необыкновенным, как Станкевич, Белинский, Грановский и ее дальний родственник Николай Огарев.

В 1848 году в одной из книг «Современника» Лиза запоем прочла и запомнила навсегда повесть Герцена «Сорока-воровка». Позднее, размышляя над книгой Бичер-Стоу, она снова вспомнила о печальной участи крепостной русской актрисы.

Наконец-то оказавшись в Лондоне, она получила возможность познакомиться с Герценом и посоветоваться с ним о том, как приняться ей за освобождение Бакунина.

Наняв кеб, она назвала кучеру адрес. Лошадь медленно двинулась по улицам Лондона, и Лиза стала рассматривать город, который ей показался величественным, но мрачным. В эту пору года он был весь в зелени, яркой и омытой теплым дождем. Некоторые дома были доверху обвиты плющом, диким виноградом и другими ползучими растениями. Особенно хорош был огромный, густолиственный Ричмондский парк, возле которого жил Герцен. Но вот по гулкой мостовой подъехали к его дому. Кучер, в огромной шинели со множеством воротников, один больше другого, остановил лошадь у большого чистого дома и слез с облучка. На резкий звонок вышла пожилая приятница и с учтивым приветствием открыла калитку. Лиза пошла к дому по нарядной, обсаженной по краям цветами дорожке. С крыльца в это время спустился слуга, низкорослый пожилой итальянец.

Еще раньше, нежели Лиза назвала себя, он на ломаном французском языке сказал ей, что хозяина нет дома и вообще господин Герцен никого не принимает.

Лицо Лизы отразило сильное огорчение, но слуга оставался неумолим. Разбрасывая гравий кончиком кружевного зонтика, испытывая полное разочарование, Лиза покорно двинулась обратно по дорожке. В это время из-за дома вышла дама, ведя за руку двух маленьких девочек. Одной из них, смуглой и очень хорошенькой, было на вид не более трех лет, другой, светловолосой, с грустными, широко расставленными серыми глазами, едва ли более девяти. Лиза встретила настороженный и недоброжелательный взгляд дамы, но не смутилась.

— Но может ли господин Герцен принять меня? Мне так нужно его видеть, — просительно обратилась к ней Лиза.

— Вы, наверно, не знаете, что недавно он потерял безгранично любимую жену. Здоровье его с тех пор оставляет желать лучшего. Мы стараемся всячески оградить его от ненужных и утомительных разговоров.

— Я недавно из России, — настаивала Лиза. — По делу Бакунина. Быть может, это имя что-либо ему скажет.

Мальвида Мейзенбуг, воспитательница детей Герцена, несколько смягчилась.

— Я попробую помочь вам, хотя это расходится с моим решением оградить господина Герцена от всего, что может его

взволновать. Прошу вас: в разговоре не касайтесь драмы, им пережитой.

Спустя несколько минут Лиза вошла в кабинет Герцена.

* * *

Прошло три года после того, как Александр Иванович Герцен отказался вернуться на родину и был заочно приговорен царским судом к лишению всех прав состояния и объявлен вечным изгнанником из пределов Российского государства. Имение его под Москвой было конфисковано. Герцен принял швейцарское гражданство, подчинившись неизбежной формальности, облегчавшей в дальнейшем его борьбу с царским деспотизмом.

Он был богат, деньги, доставшиеся ему в наследство от покойного отца, Ивана Алексеевича Яковлева, были своевременно переведены за границу и тем спасены. Отныне, став эмигрантом, Герцен мог выступать с поднятым забралом против русского царизма. Под своим, широко известным уже к этому времени в России, псевдонимом — Искандер — он следом за «Письмами из Франции и Италии» выпускает книгу «О развитии революционных идей в России» и одну за другой статьи, которые сжигают плотную завесу лжи, скрывавшую русский народ от глаз западноевропейской демократии.

«Никто... не знает, что такое эти русские,— пишет он в статье «Россия»,— эти варвары, эти казаки. Что такое народ, мощную юность которого Европа могла оценить по борьбе... Цезарь лучше знал галлов, чем Европа русских. Нет недостатка в книгах о России, но большая их часть — политические памфлеты: они писались не для лучшего ознакомления с этой страной... Цель их была пугать Европу и поучать ее картиной русского деспотизма...»

Предвидя великую миссию своей родины, Герцен писал: «Много народов сошло с исторической сцены, не пожив полной жизнью, но у них не было таких колоссальных претензий на будущее, как у России. Вы знаете, к истории нельзя применить поговорку «опоздавшим — одни лишь кости», наоборот, им остаются лучшие плоды, если они способны питаться ими».

Лиза не читала ни одной книги или статьи Герцена, кроме его повестей. Она знала и сочувствовала его трагически сложившейся личной судьбе последних нескольких лет, исполненной разочарований, скорби, ревности и потерь.

Поздней осенью 1851 года погибли во время кораблекрушения мать Герцена, добрейшая Луиза Ивановна, и маленький сын Коля. Прошло всего полгода после этого страшного удара, и смерть снова ворвалась в его дом. Скончалась вместе с новорожденным ребенком молодая, обаятельная и умная жена Герцена — Наталья Александровна, которую, после недолгой, но сложной драмы, вызванной ее увлечением поэтом Гервегом, обрел он снова, чтобы пережить со всей остротой счастье любви и муку окончательной утраты.

Лиза с добрым чувством прикоснулась к широкой, крепкой руке Герцена. Ей хотелось вложить в рукопожатие всю силу своего уважения, сочувствия, дружеского расположения. Герцен, чьи нервы за последние годы были в постоянном болезненном напряжении, ощутил искренность и прямоту незнакомки. Нахмуренное, припухшее лицо его смягчилось, глаза подобрели, улыбнулись.

Сначала разговор не налаживался. Лиза несколько робела. Перед нею был снова человек необычного склада, как она сама определила его. К тому же Герцен был нетерпелив и, как бы предугадывая мысли другого, вторгался в разговор и сам направлял его по своей воле. Однако выдержка и благожелательность, исходившие от Лизы, победили, и он вдруг откинулся на спинку большого кожаного кресла и как-то успокоился. Началась плавная и неторопливая беседа, поглотившая обоих.

Герцен с презрением говорил о современном Париже, который ранее был ему очень мил и дорог. Город этот, колыбель великих революционных традиций, отныне воплотил буржуазное лицемерие, жестокость и тупоумие.

Второе декабря — день переворота Луи Бонапарта — был страшен для Герцена, как удар молотка, вбивающего гвоздь в крышку гроба обманутой Франции. Революция 1848 года, которой он радовался, словно пришествию великой правды и счастья на землю, казалась Герцену отныне погребенной.

Лондон, куда, потеряв жену, снова вернулся Герцен, произвел на него большое впечатление. Столица отражала и могущество Англии и ее бесчисленные противоречия. Богатство, излишества немногих, нищета большинства, социальное неравенство и технический прогресс, предрассудки, узость воззрений, ханжество уживались мирно с свободой собраний, правом убежища чужеземных изгнанников и сравнительным отсутствием полицейских стеснений. Город был подавляюще велик,

будто отдельная страна; в нем безостановочно, оглушающе, размеренно, как паровая машина или локомотив, двигалась, перемалывалась неукротимая жизнь.

Герцен искал полного одиночества и нашел его в многолюдном человеческом потоке, где так легко можно было затеряться со своими думами, тоской и жаждой действия.

Почти что в сельском уединении Чомлей-лоджа, этого густо обвитого жимолостью тихого дома, возле буколически прекрасного Ричмондс-парка, Герцен принялся за обессмертившую его работу и создал вольную русскую печать.

— Это кротовый труд, но как знать, быть может, удастся подрыть и опрокинуть могучие вековые своды,— сказал Герцен, провожая Лизу к калитке сада. Он еще раз пообещал ей сделать все возможное, чтобы как-нибудь помочь Бакунину.

В своем дневнике Лиза писала:

«Самая мучительная борьба, которую приходится нередко выдерживать человеку, это борьба с самим собой. Годы проходят, и я кажусь себе ни на что не годной неудачницей. Высшее образование наглухо закрыто для женщин, служба гувернантки меня изнурила и унизила. Несчастливая любовь к Бакунину была тем страшна, что подорвала во мне веру в себя как в женщину.

Жизнь на родине казалась мне лживой и жестокой, как в большом водоеме, где в зеленоватой воде веселые большие рыбы с леденящим душу коварством нагоняют и пожирают более слабых. Чтобы преодолеть отчаяние, я искала поддержку у природы: гладила незащищенные, детски чистые кусты цветов летом, нежный снег — зимой и подолгу благоговейно погружалась в гамму красок восходов и закатов солнца.

Я говорила себе тогда: прекрасное в природе примиряет нас, смягчает, как гениальная музыка, и заставляет любить жизнь, этот яркий, непостижимый сон. Но и смерть тоже сон, только без сновидений, тяжелый, лишенный цвета и звука.

Богатство изменило всю мою жизнь, однако неудовлетворенность не только осталась в душе, но и неизмеримо возрастает. Мне не угрожает больше каждодневная притупляющая борьба за существование, и тем напряженнее и свободнее работает неспокойная мысль».

Встреча с Герценом глубоко поразила Лизу. Переняв от Бакунина некоторое пренебрежение к общепризнанным авторитетам и нежелание подчиняться кому бы то ни было, даже если это было во благо, она со свойственной ей настороженн-

постью приглядывалась к этому тучному человеку с острым и вместе печальным взглядом темных глаз.

Ей показалось, что уж очень гладка и красива его уверенная речь, изысканна и нарочита манера поведения, но какое-то почти ощутимое излучение таланта, яркость и быстрота мысли, полемический темперамент и, главное, отвага и горячность, с которой он говорил, пленили ее.

«Борьба — моя поэзия»,— сказал он между прочим.

Эти чудесные слова долго вспоминались Лизе. Ей даже начало казаться, что в них есть особое звучание, как у песни. И она решила, что такие люди, как Герцен и те, кого ранее она знавала в Брюсселе, подобно величию и прелести неба, природы и музыки, созданы для того, чтобы опровергнуть дикость и жестокость современной ей жизни, чтобы показать, каким должно стать и будет когда-то человечество.

«Такие именно люди построят царство божье на земле, когда не будет больше зла и горя,— записала Лиза в своем дневнике.— Если бы их не было, над миром зазвучали бы слова Данте в надписи при входе в ад: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

В мае 1853 года Вольная русская типография, устроенная Герценом, была открыта. Управляющим типографией стал польский эмигрант Людвиг Чернецкий, друг и сотрудник Герцена. Наборщики были также поляки, и среди них оказался Сигизмунд Красоцкий, нашедший убежище в Лондоне.

В газете польской демократической эмиграции в том же мае появилась заметка: «Герцен понял долг русского народа; честь ему! Мы же делаем свое дело. Пришло время показать, что с правительством Николая — никогда, создать братский союз с русским народом против его дьявольского правительства — всегда!»

Лиза часто бывала в доме Герцена. Трое его детей, особенно четырнадцатилетний сын Александр, встречали ее очень радушно. Только их воспитательница Мальвида Мейзенбуг, обожавшая Герцена и ревновавшая его ко всем без исключения посетителям, относилась к ней холодно и настороженно. Эта весьма образованная немка, сочувствовавшая освободительным идеям своего времени, происходила, как и Лиза, из древнего аристократического, но обедневшего рода и вынуждена была ради заработка давать уроки, заниматься переводами, служить гувернанткой. Близость к демократическому движению и жизнь в семье Герцена дали ей возможность встречать и хорошо

узнать многих выдающихся людей разных национальностей, и она очень гордилась этим.

В июле в Вольной русской типографии в Лондоне вышла прокламация «Юрьев день!», написанная Герценом. Лиза нашла в листовке все, о чем непрестанно думала с той ночи, когда читала «Хижину дяди Тома».

Герцен писал, что необходимость освобождения крестьян назрела. Будучи дворянином и революционером, он верил, что именно среднее дворянство отзовется на его призыв. Он не распознал тогда на Руси новую силу — разночинцев-революционеров — и писал, обращаясь к аристократии:

«В нашей среде развились потребность независимости, стремления к свободе и вся умственная деятельность последнего века. Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупается Россия в глазах других народов и в собственных своих. Из ваших рядов вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев. Из ваших рядов вышел Пушкин и Лермонтов. Наконец и мы, оставившие родину для того, чтобы хоть вчуже раздавалась свободная русская речь, вышли из ваших рядов».

Но далее, как бы предвидя, что его надежды на дворянство не оправдаются, Герцен смело предупреждал:

«Мы еще верим в вас... вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим для того, чтобы сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтобы сказать им: «Ну, братья, к топорам теперь. Не век вам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе; постойте за святую волю, довольно потешились над вами господа, довольно осквернили дочерей ваших; довольно обломали палок о ребра стариков... Ну-тка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз».

Как-то утром Лиза была потрясена, прочитав в «Таймсе» о двойном убийстве, которое совершил французский изгнанник, рабочий Бартелеми. Этого человека она встречала у Герцена и запомнила его привлекательное, слегка отмеченное оспой смуглое лицо, с резкими чертами и упрямым, мрачным взглядом лихорадочно блестевших глаз.

Прошло всего два года, как Бартелеми убил на поединке

одного из близких друзей Ледрю-Роллена — эмигранта, лихого гуляку и неуемного дуэлянта Курнэ. Тогда ему удалось отделаться лишь двухмесячным тюремным заключением.

В этот раз Бартелеми после шумной ссоры убил фабриканта содовой воды, с которым вел какие-то дела. Он зашел к нему домой вместе со своей возлюбленной, направляясь на вокзал, чтобы уехать в Голландию, а затем в Париж, где собирался произвести покушение на Наполеона III, как о том говорил своим друзьям. Однако вместо императора он разрядил свой пистолет в головы сначала купца, затем полицейского, который первым попытался его задержать. Обоих уложил насмерть.

Ежегодно немало людей гибнет на острове под колесами карет, омнибусов, поездов, каждый день огромные черные катафалки увозят на кладбище сотни гробов, щедро осыпанных венками из английских, голландских, бельгийских цветов. Живущие не проявляют к этой регулярной «очистке» никакого интереса. Мелким шрифтом «Таймс» перечисляет адреса и имена умерших естественной смертью, тех, чей доход был не ниже десяти тысяч фунтов стерлингов в год; под зазывающими заголовками в кратких словах поминаются погибшие от катастрофы или неосторожности. Последним некрологи ничего не стоят, и их материальный уровень не всегда определяется упоминанием на одной из двадцати четырех страниц почтенной газеты промышленников и биржевиков. Читатели пробегают статистику несчастных случаев между прочим. Зато в дни судебных процессов, обещающих человеческую жертву дряхлому богу англосаксонской юстиции, Лондон подобен древнему Риму.

На центральные улицы десятки, сотни газет вынесли свои обещающие рекламы: «Бартелеми сознался...», «Жуткая мистерия Бартелеми...», «Как Бартелеми убил...» Точки и обрубленные на полуслове фразы должны подстегнуть любопытство. Газетам в дни сенсационных процессов обеспечен повышенный сбыт. Еще продолжается следствие, еще не совещались члены суда, но статьи, заголовки в газетах, выдумки и враки репортеров предрешают судьбу обвиняемого. Не его последнее слово, не красноречие адвоката, а вой уличных газет формирует убеждение присяжных, которые должны сохранять беспристрастие.

Напрасно отдельные судебные деятели протестуют против английского суда Линча, против улюлюкания бульварной

прессы,— она не желает и не ищет лучшего материала для первой страницы.

Сквозь решетки печатных букв английский обыватель, как некогда древние сквозь ограду клеток, пытается увидеть и учуять запах хищников, которые вскоре огласят ревом арену и разорвут осужденного. Спортивный азарт побеждает добытую воспитанием сдержанность. Одни предвидят традиционно уважаемый эшафот, другие — шумное оправдание.

Только предрассудки мешают устраивать на углах, у подъездов домов тотализаторы. «Осудят или нет?» — этот вопрос порожден совсем не состраданием или жаждой справедливости, а единственно желанием угадать, предвосхитить исход.

Даже парламентские выборы превращаются в Англии в разорительную игру с обязательным тотализатором. Чье будет большинство, какая партия победит? Заключаются пари, букмекеры собирают ставки. Как в дни национальных великобританских празднеств — скачек, люди окружают редакции газет и бюро по подсчету голосов. Клерки и лавочники добросовестно подражают спортивному безумию дворянской знати и игорному азарту биржевиков Сток-Эксчейнджа.

Во время выборов в парламент каждая зажиточная семья, улица в рантьерском квартале, знакомые и незнакомые охвачены этой эпидемически распространяющейся болезнью — спекулятивным безумием.

— Ставлю на большинство у тори в триста мандатов.

— Ставлю... Ставлю... Ставлю...

В последние дни суда над Бартелеми напряжение читателей газет достигло предела. Переживания их не уступали по силе чувствам, охватывающим зрителей петушиных боев. Прошлое, да и вся жизнь подсудимого были крайне увлекательно представлены читателям английских газет. Бартелеми был недурен собой, ему не было еще пятидесяти лет. Он некогда убил полицейского, затем на дуэли — бывшего мичмана Курнэ, сражался на баррикадах, бежал из тюрьмы Бель-Иль.

Двенадцать присяжных загадочно молчали на своих огороженных деревянной решеткой скамьях. Все они были мелкими купцами и дельцами. Никто не смог бы предвосхитить их решение. Гражданский долг извлек в порядке очереди этих двенадцать мужчин из их однообразной ежедневности, поручил им решение человеческого «вопроса».

Бартелеми не отрицал вины, но отказался объяснить причины. Судья, слушая прения сторон, меланхолически сдувал пылинки с мантии, и только общественный обвинитель, блистательный оратор, окончивший аристократический Оксфорд, без устали обрушивал на подсудимого булыжники беспощадного, всеразоблачающего обвинения. Репортеры предвкушали приближение казни и предшествующую ей прибыльную суету. Смертный приговор для них наилучшая концовка процесса. Впереди вертятся бесчисленные интервью, сенсационные разоблачения, чувствительные бытовые картины. Священник доведет осужденного до истерики, премьер-министр откажет в помиловании, смертник напишет исповедь и в бессознательном состоянии будет гуманно повешен. «Гуманность» в данном случае означает высокое качество висельной веревки.

Бартелеми сумел заинтересовать собой всю Англию. Миллионы глаз приковало к себе каменное, скромного вида здание уголовного суда.

Лиза решила пойти в суд в день, когда должны были вынести приговор. В огромном грязноватом здании она сначала по ошибке попала в зал, где разбирались гражданские дела.

Трое судей второй инстанции были завернуты для пущего почета и страха в широкие черные тоги. Судьи, с их бабьими бритыми лицами и седыми космами криво надетых париков, показались Лизе живым олицетворением сотнями лет не проветривавшихся английских законов, годных более для эпохи ручного веретена, таранов, чернокнижья, сжигания колдунов и ведьм.

Подобострастно взирали на людей писцы, закинув вверх мышино-серые тупоносые лица. Судейские канцеляристы — особая порода людей, как и наемные гвардейцы королевы Виктории или английские полицейские. Если основным, иногда единственным условием для двух последних профессий служили рослость и физическая сила, то суд являлся убежищем согбенных рахитиков, потомков судейских чиновников, имеющих ряд наследственных телесных и умственных примет, профессиональных болезней.

Судейские стены — ловкая подделка под церковную готику — были совершенно непроницаемы. Уличный шум отскакивал от них, не оставляя следа, как рыцарские мечи от феодальных крепостей.

Бормотание адвокатов и судей под этими средневековыми сводами омолаживало мир на несколько столетий.

Почтенный буржуа-истец, положивший под скамью черный цилиндр, невольно превращался в глазах Лизы в богатого суконщика в коротких штанах и ярком кафтане, поссорившегося со своим подмастерьем, который тоже здесь, не в сером холстяном переднике поверх кожаного костюма, а в сереньком сюртучке и табачного цвета брюках. Их сменила синеносая пожилая девушка, доказывавшая, что тетка, оставив домик и состояние своей кошке, имела в виду ее, говоря о надежной попечительнице.

— Я обожаю кошек,— шептала мяукающим голоском обойденная племянница.

— Не думают ли достопочтенные джентльмены, что покойная отдала имущество кошке, чтобы не оставить его племяннице, которая, как достопочтенные джентльмены слыхали ранее, ей часто досаждала непослушанием? — спрашивал коллег один из трех судей второй судебной инстанции.

Девушка трагически замахала руками и с трудом согласилась уступить слово своему защитнику. Его скучное словоизлияние падало в зал каплями английского мелкого дождя.

Эпоха сжигания кошек под видом ведьм и оборотней в Англии прошла. Об этом, кроме частого завещания им имущества, говорит и кошачье кладбище, где надписи на могильных плитах, портреты и памятники на все лады пытаются выразить израсходованную на кошек нежность. Лиза вышла из зала.

Чопорно встряхивая мелкими седыми локонами, беспрестанно прохаживались в холодных «кулуарах» — каменных залах — адвокаты, представители высшего сословия. Их низшие по чину коллеги лишены права выступать в судах, но в действительности предрешали часто исход дела. Они вели следствие, выискивали улики обвинения или защиты, умело нащупывали слабые места противника. Эти подлинные вдохновители, «закройщики» процессов, безгласны в момент решающей схватки. Вместо них скрещивают словесные шпаги адвокаты и прокурор. Разделение обязанностей между адвокатами и их помощниками — одно из бесчисленных ухищрений, обреченная на неудачу попытка предотвратить подкуп, уничтожить опасное пристрастие — введено в незапамятные времена каким-то наивным англосаксонским Солоном.

В хламе английского судебного права продолжал гнездиться закон о телесных наказаниях для несовершеннолетних. Отец, подавший в суд жалобу на непокорного сына, добился того, что семнадцатилетний юноша был бит плетьми. Непочтитель-

ный сын был высечен по всем правилам, предусмотренным понимавшим толк в подобном деле средневековьем.

Лиза прошла в огромный зал, где судили Бартелеми.

Лицо обвиняемого было совершенно спокойно, и только еще нестерпимее горели глаза на иссиня-смуглом обросшем лице.

— Вы будете повешены за шею и провисите так, покуда не умрете. Да смилуется господь над вашей душой! — заключил чтение приговора судья, жестом облегчения сорвал с себя пыльный седой парик и медленно опустился в кресло.

Придерживая рукой конвульсивно бьющееся сердце, Лиза вышла на воздух. Она задыхалась.

«Какой конец у этого странного и, видимо, душевнобольного человека! Какая трагическая кровавая бессмыслица! — думала Лиза.— Хотел быть Брутом, а умрет как убийца, как опасный для общества зверь, бессмысленно отнявший жизнь у двух человек».

Ей стало жутко. Она закуталась в меховой салоп, подозвала проезжающий мимо кеб и поехала домой, но и там все еще не могла найти душевный покой. В тягостном недоумении и раздумье у камина, то и дело гаснувшего, провела Лиза бессонную ночь.

У ворот тюрьмы с рассвета, как всегда в часы казней, стояли тысячи людей: женщины в меховых ротондах и рваных драповых кофтах, мужчины, приехавшие прямо из ресторана, во фраках, и рабочие, направляющиеся на заводы. За оградой бесшумно вешали человека, и бесшумно стояла, впившись глазами в кирпич стены, толпа.

Бартелеми умирал мужественно. Он попросил локон девушки, которую любил, и сжал его в руке, когда палач подошел к нему.

В момент казни, в восемь часов тридцать минут, мужчины сняли кепи, цилиндры, шапки и шляпы. Вскоре заскрипел замок, и на пороге калитки появился полицейский. Виден был только надвинутый козырек его каски и острый подбородок. Он прикрепил на темной деревянной двери белый лист бумаги, который в нескольких весьма вежливых словах сообщал, что приговор над Бартелеми приведен в исполнение «самым человечным образом».

В восемь часов сорок пять минут улица перед тюрьмой опустела. Удовлетворенные зеваки спешили к дневным делам. Те, кто не стоял с ночи у тюремной стены, черпали в свою чашу кровь из газет, перечитывая смачные подробности, доставлен-

ные присутствовавшими при казни репортерами. Судья и прокурор лишний раз посетили свои церкви.

«Человек сотворен богом и ему принадлежит». Эта мудрость с колыбели и до гроба должна руководить британцем, кем бы он ни был: католиком, сектантом или приверженцем государственной англиканской церкви, потому что этим изречением руководствуется английский суд.

Вместе с Бартелеми был повешен еще один человек.

В Англии самоубийца считается посягателем на чужую собственность, поскольку его жизнь принадлежит не ему. Горе несчастным, спасенным из воды, куда они попали при необъяснимых обстоятельствах, вынутым из добровольной петли, подобранным с простреленной грудью или ядом в желудке. Их оживят, чтобы судить с неописуемой жестокостью и часто умертвить опять. Они считаются убийцами, убийцами самих себя и отвечают перед законом, как совершившие непростительное преступление.

Сострадание к отчаявшимся, потерявшим желание, силы жить здесь чуждо. В лучшем случае это оценят как проявление безумия.

Страшнее, чем всплеск воды, долго вздрагивающей от прикосновения человеческого тела, пошедшего ко дну, равнодушный смех и юмор прохожих на набережной.

— Ждал бы теплой погоды, охота умирать в этакий холод.

— Авось откачают и согреют на виселице...

— Сумасшедшим дорога в воду.

Суд думал так же.

— Да смилуется господь над вашей душой,— сказал судья, когда был вынесен смертный приговор.

В день казни Бартелеми Лиза пришла к Герцену. Она была подавлена, мрачна, немногословна. Смертная казнь, как и война, накаляет самый воздух, создает давящую, удушающую атмосферу.

— Какой плачевный и жалкий конец! — прошептала Лиза.— Повешен как убийца мелкого купца и случайно подвернувшегося полицейского.

— Да, Бартелеми был подлинно маньяком терроризма. Он мечтал убить Наполеона Третьего и целью своей жизни ставил свирепое уничтожение не деспотизма, а деспотов. Его сгубило безрассудство и узость фанатика. А жаль. Он мог бы принести большую пользу революции, храбро дрался на баррикадах и умел говорить мастерски. Его речи были свободны от

...к проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Помолчав, Александр Иванович сказал, горестно скривив большие губы и отойдя к окну, за которым навис темно-серый туман:

— Когда Бартелеми был схвачен, нашелся адвокат, который согласился защищать его бесплатно, несмотря на то что это было заранее проигранное дело. После суда он посетил Бартелеми, и тот предложил ему в знак благодарности свое пальто. И что бы вы думали? Адвокат, оказывается, сам хотел просить его об этом.

— Зачем? — удивилась Лиза.— Помнится, Бартелеми был одет более чем скромно.

— Так вот, послушайте,— продолжал рассказывать Герцен.— «Я, конечно, не собираюсь его носить,— сказал осужденному сей предприимчивый защитник.— Но оно уже запродано мною, и весьма выгодно».— «Кому?» — удивился Бартелеми. «Мадам Тюссо для ее особой галереи»,— нисколько не смутясь, ответил юрист. Бартелеми содрогнулся. Когда его вели на казнь, он попросил шерифа ни в коем случае не отдавать пальто адвокату.

Мысль о бесславном, постыдном конце Бартелеми еще долго преследовала Лизу. Чувство одиночества ее все обострялось, хотя она стремилась не думать об этом и заполнить до краев свои дни заботами о нуждах эмигрантов, выполнением мелких поручений Герцена и просто повседневной суетой.

Как-то в Вольной русской типографии Лиза познакомилась с польским эмигрантом Ворцелем. Худой, изможденный, с тонким аристократическим лицом, он напомнил ей братьев Гракхов, стойко переносивших все испытания. Она мысленно видела его в тоге у портика Форума, поднимающего народ зажигательной бунтарской речью.

Граф Станислав Ворцель родился богатым и знатным. Природа щедро наградила его здоровьем, привлекательной внешностью, способностями. С детства польскому магнату было дано все, о чем может мечтать человек. Гувернеры и отборные учителя с первых лет жизни обучили его французскому, английскому и немецкому языкам. Он был энциклопедически образован и глубоко изучил математику. Красавица Саломея, из шляхетского рода Кашовских, стала его женой, и в довершение семейного счастья у них родились сын и дочь. Казалось, что

жизнь Ворцеля протекает под счастливой звездой. И, однако, к тридцати годам с ним случилось то же, что рассказывает легенда о принце из рода Саккиев, ставшем затем Буддой. Он вдруг прозрел, увидел страдания народа, порабощение родной Польши, которая отныне стала навсегда его мистическим божеством. Ему опостылела роскошь, праздность людей его касты. Польское восстание 1830 года решило будущее молодого графа. Ворцель дрался в повстанческом войске за свободу Польши. После поражения он отступил с частями славного полководца Ромарино в Галицию. С тех пор навсегда лишился Станислав Ворцель родины и вынужден был искать пристанища в чужих странах. Жена и дети забыли его и никогда с этой поры не произносили его имени.

Для Ворцеля началась кочевая, неустроенная жизнь. Он решительно принес в жертву все, чего так настойчиво обычно добиваются люди: общественное положение, богатство, любовь.

В тридцатых годах в Париже судьба послала ему друга на всю жизнь, такого же фанатика, как и он,— Мадзини.

Оба они были религиозны, непреклонно целеустремленны, способны к полному самоотречению. Порыв и вдохновение ценили они выше какой бы то ни было теории и научного обобщения. Оба верили не только в судьбу отдельного человека, но и в предопределение для всего народа, для путей революции. Себя они считали миссионерами свободы или рыцарями крестовых революционных походов. В синих глазах Ворцеля, так же как в черных Мадзини, никогда не потухал жгучий огонь фанатического энтузиазма. Сблизившись с вождем «Молодой Италии», Ворцель хотел соединить польское дело борьбы за освобождение с общеевропейским, республиканским и демократическим движением. Порвав с польскими аристократами Чарторийским и Потоцким, Ворцель сблизился с Лелевелем.

В 1848 году Станислав возглавлял депутацию к Ламартину и требовал от правительства Франции действенной помощи порабощенной русским царизмом родине.

— На всякой перекличке народов в годину боя,— сказал он тогда министру иностранных дел республики,— на всякий призыв к борьбе за свободу Польша отвечает: я здесь! Она готова по первому зову идти на помощь всем угнетенным народам и видит в их освобождении освобождение Польши.

После июньского поражения изгнанный из Франции Станислав Ворцель нашел пристанище в Лондоне. Он нищенствовал, тяжело болел астмой, но, погибая физически, был непреклонен

и крепок духовно. Седой, изнуренный, худой и прямой, как посох, он, всю жизнь боровшийся с царизмом за освобождение Польши, задыхаясь от счастья, говорил Герцену в день выхода первого русского революционного воззвания из-под типографского станка в Лондоне:

— Мы пойдем вместе, у нас одна цель, одни и те же враги!

И русская Вольная типография соединилась тогда с польской.

IV. ИСПЫТАНИЯ

В дневнике, которому Лиза поверяла свои мысли и сомнения, она писала: «Мне кажется, что я сижу на приставном стуле у жизни и могу каждое мгновение очутиться без места. Если бы я была мужчиной, то знала бы, что делать. Однако, помимо стремления стать равноправной, у женщины есть и другая великая цель. Она должна, если уж не дано ей родить, воспитать ребенка, да так, чтобы в мире прибавилось действительно доброе существо; если бы все женщины поняли это, какие прекрасные люди появились бы на земле».

После долгих колебаний и размышлений Лиза решила взять на воспитание новорожденную сиротку.

Над почерневшим от угольного чада низким зданием родильного дома «Королева Шарлотта» на одной из окраин столицы грязный каменный аист держал в клюве ребенка. Лиза вошла в узкую палату. На желтых замусоленных стенах над убогими койками роженицы были прибиты дощечки с именами благотворительниц.

«Какая мерзость,— подумала Лиза,— богачи никогда не лишают себя удовольствия напомнить облагодетельствованным о их зависимости. Новорожденные в родильном доме «Королевы Шарлотты» сразу же получают жизнь как подаяние».

Женщины в палате приняли Лизу за одну из благотворительниц, чье имя преследует их неотступно, даже в бреду родильной горячки, в агонии. Они заискивающе улыбались и благодарили ее.

В плетеных гамаках, прикрепленных к изголовью материнской постели, лежали серые свертки — дети. В одной из палат пожилая леди и сопровождающий ее духовник предлагали роженицам окрестить младенцев. Сиделка внесла в палату чан с водой, и после недолгого невнятного бормотания молитвы аббат приобщил новую душу к своей церкви.

Большие, низкие, сырые, всегда холодные палаты казались угрюмыми и запущенными, как ночлежные помещения на нищенской окраине Уайт Чапель. Несвежее белье, потерявшие окраску одеяла, выщербленные табуретки и потрескавшиеся кружки больше, чем больничный опросный лист, говорили о нужде тех, для кого были предназначены.

Лизе представили на выбор несколько детей, матери которых умерли после родов.

— Я хочу взять самую слабенькую,— попросила Лиза.— Видите ли,— продолжала она,— борьба за жизнь этого крошечного создания сразу же соединит меня с ним крепкими узами привязанности. Кроме того, я окружу больного ребенка заботой, которая поможет ему выжить.

Англичанка недоуменно покачала головой.

— К какой христианской секте вы принадлежите? — спросила она Лизу, когда та решила взять хилую малютку по имени Анна.

Лиза не могла сдержать улыбку.

— Представьте, я не исповедовалась уже более пятнадцати лет.

В течение месяца Лиза боролась со смертью, круживщей над Асей, так назвала она удочеренную девочку. Когда победа была одержана, Лиза записала в дневнике:

«Если этот ребенок и не был рожден мною, я отвоевала его у смерти и как бы снова дала ему жизнь. Вряд ли я люблю его меньше, нежели родная мать. Бдения ночами у колыбельки, радость при виде косенькой, первой детской улыбки, сосущая сердце тревога, мелкие каждочасные заботы и, наконец, счастье от того, что она будет жить,— вот та невидимая, нерассекаемая пуповина, которая связала меня с моим ребенком навсегда. Всякая побежденная опасность увеличивает мое чувство к маленькому беспомощному существу, защитой которому служит только любовь».

Занятая ребенком, Лиза несколько месяцев нигде не бывала. В это время Герцен сообщил ей в кратком письме о перемене своего адреса. Он оставил дом возле тенистого нарядного Ричмондс-парка и переехал на противоположный конец Лондона.

В один из особенно светлых осенних дней Лиза отыскала Герцена на Финчлей-род. Ей не понравился плоский, неприветливый, усыпанный галькой палисадник и серое угрюмое здание без особых примет, каких в Лондоне тысячи.

Француз-слуга проводил гостью в кабинет.

Завидев Лизу, Герцен поднялся из-за громоздкого письменного стола и дружески сжал двумя большими мягкими ладонями ее тонкую руку в тугой перчатке.

— Добро пожаловать, милая соотечественница,— сказал он приветливо.— Дети и даже наш сухарь фрейлейн Мейзенбуг соскучились по вас. Я рад, что вы увидите сегодня самого Мадзини. Мы собираемся с ним в док на корабль к бесстрашному Гарибальди, который только что приплыл из Южной Америки. Вы, верно, слыхали, что сей великий воин снова встал у штурвала бригантины.

Лиза обрадовалась.

— Вот удача. Я давно хотела увидеть вождей итальянского освобождения, и особенно Мадзини. Это, кажется, непревзойденный оратор, фанатик, патриот.

— И организатор,— оживился Герцен.— Мадзини накинул в свое время на всю Италию сеть тайных обществ, связанных между собой единой целью объединения и свободы. Такой беспримерно храброй организации еще не было нигде. Полиция оказалась бессильной проникнуть в ее ряды. Еще бы! Контрабандисты, попы, кондукторы почтовых карет, корчмари, аристократы, купцы, светские дамы и поселянки так или иначе примыкали к «Молодой Италии», помогали и повиновались ей.

— Мне говорили, что многие мадзинисты сблизились с чиновниками Наполеона и откололись от «Молодой Италии». Слава Мадзини была в зените в сорок девятом году, и сейчас она меркнет, не правда ли? — спросила Лиза.

— Да, отчасти. Неудачи после поражения в сорок девятом году состарили Мадзини, даже озлобили. Но такие люди, как он, не отступают. Чем хуже складываются их дела, тем выше поднимают они знамя. Теряя все, они изыскивают новые средства для борьбы. В этом непреклонном постоянстве и вере, подчас наперекор судьбе, в неутомимой деятельности, которую подстегивает неудача, есть что-то маниакальное, действующее магнетически на толпу. Великий человек иногда бывает на грани безумия. Я уверен, что не разум и логика, а вера, любовь, ненависть ведут к победе народа.

В это время в кабинет Герцена необычайно легкой походкой вошел высокий, стройный, пожилой человек с низко опущенными плечами, прямой шеей и суровым сильным лицом, обрамленным белоснежной бородкой. Глубокие упрямые морщины избороздили его выпуклый лоб и щеки. Блестящие большие

глаза смотрели властно и вместе грустно. В руке он держал зажженную сигару.

— Эввива Мадзини, эввива Италия! — сказал весело Герцен и устремился навстречу гостю.

— Эввива Руссия! — широко улыбнулся Мадзини. Выражение его лица сразу смягчилось и прояснилось.— Гарибальди ждет нас к завтраку,— напомнил он,— не будем медлить.

Вскоре Герцен, Лиза и Мадзини приехали в Вест-Индские доки.

Лиза не могла побороть волнения, когда представляла себе Гарибальди, чье имя, овеянное славой, было известно всему миру. Каков этот мужественный человек, то воин и предводитель римского ополчения, то моряк? Тем более она не смогла скрыть разочарования, когда, войдя на палубу, увидала коренастого, невысокого человека, с ничем не замечательным лицом, в светлом пальто, какие носили коммивояжеры и клерки, в пестром шарфе на шее и полинявшем картузе. Гарибальди и его экипаж, состоявший из итальянцев, по-южному энергично жестикулируя, встретили гостей.

В капитанской каюте был сервирован завтрак. Ананасы, бананы, кокосовые орехи и плоды манго украшали стол и подчеркивали, что корабль совсем недавно пересек экватор. Гарибальди оказался на редкость радушным хозяином и приятным собеседником. Он красочно, живо описывал приключения, которые встретились на пути из Южной Америки в Англию, и Лизе казалось, что она сама побывала в океане во время шторма, любовалась густо-зелеными, как малахит, тяжелыми экваториальными водами, наблюдала необычные нравы обитателей островов и далеких стран Нового Света.

Постепенно она начала понимать значительность и одаренность итальянского народного вождя. «Гарибальди еще покажет себя. Он набирает силу и, как лев, притаился, чтобы броситься на добычу»,— подумала Лиза.

Подали устриц и вино. Мадзини предложил тост за гостей с севера. Когда бокалы были осушены, Герцен сказал:

— Мы, русские, и вы, итальянцы, во многом схожи между собой. Есть у нас и одинаковые пороки.

— Да, итальянцы тоже не считают работу на хозяина наслаждением. Они не любят ее тревог, усталости и недосуга.

— Дольче фар ниенте — сладостное ничегонеделание, размышления — вот о чем мы мечтаем со времен Ромула и Рема,— пошутил Мадзини.

Все рассмеялись.

— Промышленность у нас в России отстала, как и в Италии,— снова заговорил Герцен.— В недрах вашей прекрасной земли хранятся, как и в нашей, клады, которых не коснулась еще рука человеческая. Зато нравы итальянцев и русских не заражены еще той пошлостью, которая разъела другие европейские страны.

— Наши оба народа, не щадя голов своих, дерутся с тиранами. Свобода или смерть! — громко провозгласил свой тост Гарибальди.

— Свобода или смерть,— сумрачно повторил Мадзини.— Хорошие слова... а долго ли ты собираешься странствовать по морям, Джузеппе? Твое место на суше, оно у стен Рима.

— Время не приспело. Подожди еще,— примиряюще ответил Гарибальди.

— Не могу и не хочу ждать. Не хочу быть изменником нашего дела.

— Когда же ты поймешь, друг, что поражение ослабляет не только тело, но и дух армии. Я решительно против всяких попыток восстания, если оно обречено, как сейчас, на поражение. Хороший воин знает, когда следует выстрелить.

— Чепуха. Время уже упущено. Оружие без употребления ржавеет. Италия давно готова. Мы медлим и этим укрепляем не себя, а врагов — Австрию, а не Италию. Промедление позорно и пагубно! — Мадзини встал и резко отбросил стул. Лицо его побледнело, глаза потускнели, как у тяжелобольного. Он так сжал пальцами окурок сигары, что раскрошил его в порошок. Лиза слыхала от Герцена, что Мадзини совершенно не выносит возражений.

Гарибальди поднялся тоже. Он казался спокойным и даже пытался улыбаться, но брови его сомкнулись на переносице, образовав одну сплошную темную, широкую линию от виска к виску. В каюте воцарилась тяжелая, разрывающая, как безвоздушное пространство, тишина. Два недавних соратника стояли насупившись, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться друг на друга. Лизе казалось, что она задыхается.

Желая предотвратить грозу, Герцен достал из жилетного кармана большие золотые резные часы луковицей и принялся многословно благодарить Гарибальди за гостеприимство.

Все, кроме Мадзини, вышли на палубу. Провожая в карете Лизу к ее дому, Герцен снова заговорил о двух замечательных итальянцах, с которыми только что они расстались.

— Такие личности, как Мадзини и Гарибальди, появляются только на итальянской почве, и притом во все эпохи. Это заговорщики, патриоты, искатели приключений, мученики, кондотьеры, кто хотите, но только не будничные, пошлые мещане. Они удивляют мир добром, злом, поражают силой воли и страстей. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет. Самоотверженность уживается в них с мстительностью. Они не дорожат своей жизнью, так же как и жизнью ближнего. В них бездна пороков и чисто античной добродетели. Они велики своей отвагой и преданностью родной Италии, и без них ей не быть ни единой, ни свободной.

* * *

Немало жестоких войн было в XIX столетии.

К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники, финансисты, купцы с вожделением посматривали на раскинувшиеся по берегам Черного и Средиземного морей владения одряхлевшей Оттоманской империи, а также на бескрайние просторы отсталой крепостнической России. Они стремились как можно быстрее полностью подчинить себе султанскую Турцию и обратить ее в колонию, а Российскую империю вытеснить с берегов Черного моря и установить свой контроль над проливами.

Николай I также желал воспользоваться ослаблением некогда могущественного восточного соседа. Он стремился обеспечить выгодный для русских помещиков и купцов режим черноморских проливов и упрочить свое влияние среди славянского населения балканских провинций Турции. Победоносная война должна была помочь русскому царю укрепить внутри страны крепостнический режим.

Султан, находившийся под сильным воздействием западных держав и распаляемый ими, мечтал между тем захватить Крым и Кавказ. Так Оттоманская империя и Балканы стали узлом острых противоречий между империалистическими державами и в то же время ареной напряженной борьбы балканских народов против иноземных поработителей.

После поражения февральской революции Николай I владычествовал в Средней Европе. Его сравнивали с Наполеоном I. Однако угроза николаевскому господству приближалась со стороны Англии и Франции. Под их нажимом Турция объявила

войну России. Так сбылось давнишнее желание всесильного тогда английского премьера Пальмерстона. Синопский бой — последнее в истории крупное сражение военных парусников, во время которого эскадра адмирала Нахимова потопила в течение четырех часов весь турецкий флот, захватив в плен командующего флотом Осман-пашу и его штаб,— явился предлогом для открытого вступления Англии и Франции в войну против России.

Правительство Пальмерстона хотело не только полностью подчинить себе Турецкую империю, но и захватить Крым, высадиться на Кавказе и отторгнуть Грузию. Император Франции решил воевать с Россией, так как он и его банкиры были связаны с Турцией могучими узами финансовых отношений. Ненависть к Николаю, столпу всемирной реакции, была также очень сильна среди народов Франции и Англии.

Маркс и Энгельс во всех деталях вникали в сложнейшие перипетии затянувшейся военной схватки. Из «Русского инвалида» и петербургской «Северной звезды», из «Римской газеты» и «Бельгийских обозрений», из прессы Англии, Америки и Германии черпали они многообразную военную информацию, сопоставляя противоречивые подчас сообщения и сводки, изучали военные карты и следили за передвижением частей всех воюющих армий. Маркс и особенно Энгельс регулярно писали о ходе крымских операций статьи и обзоры для «Нью-йоркской трибуны», которые издатель Дана помещал часто в качестве передовых своей газеты.

Сравнительно недалеко от Дин-стрит проживал Александр Иванович Герцен.

Несколько лет уже Маркс и Герцен жили на острове. Они никогда, однако, не встречались и враждебно судили друг о друге.

Во время Крымской войны Герцен доказывал, что завоевание Николаем I Константинополя приведет к падению самодержавно-крепостнического строя в России и объединит наконец всех славян. Магометанский стяг с полумесяцем и звездой будет сорван со святой Софии, и к столице Византии снова вернется былое величие и слава. Тогда-то начнется новая эра — эра всеславянской демократической и социальной федерации.

— Время славянского мира настало... Где водрузит он знамя свое? Около какого центра соберется он? — восклицал Герцен.— Это средоточие не Вена, город рококо — немецкий, не Петербург — город новонемецкий, не Варшава — город католи-

ческий, не Москва — город и[redacted]тельно русский. Настоящая столица соединенных славян — Константинополь.

Маркс зло высмеял эти высокопарные панславистские фразы. Он не мог обойти молчанием ошибки Герцена, опасные для международного рабочего движения.

Частые идейные колебания Герцена, его близость и долгая связь с либералами — дворянами, наивные, хоть и дерзко отважные, письма к царю, предназначенные для того, чтобы показать ему вред российского самодержавия, настораживали и отпугивали от русского революционера лондонских коммунистов. К тому же Герцен не таил своей неприязни ко всей немецкой эмиграции, подозревал ее в шовинизме. Он не понимал, что, отвергая панславизм, Маркс не менее жестоко борется с немецким национализмом, прусской военщиной и всем, что окрещивалось пышным понятием «прусский дух».

Идейные расхождения, как трещины, постепенно создали пропасть между двумя большими людьми, которые, как никто, по духовной сущности и широте мысли могли бы понять друг друга и сблизиться. Некритическое отношение Герцена к идеологам буржуазной демократии и мелкобуржуазного социализма, его народнические воззрения обострили враждебное чувство к нему Маркса.

Всего несколько городских улиц, полоска земли отделяла их, и никогда они не преодолели этого ничтожного препятствия. Неприязнь придавала им особую взаимную зоркость и обостряла критическое чутье.

«Насколько я знаю,— писал Маркс Энгельсу,— ты не читаешь «Морнинг Адвертайзер». Эта газета «объединенных трактирщиков» поместила статью одного иностранного корреспондента (полагаю господина *Головина*), содержащую апологию Бакунина. В ответ на это некий аноним Ф. М. в этой же газете объявляет Бакунина русским шпионом, рассказывает о том, как хорошо ему сейчас живется, и т. д. На это последовал ответ *Головина* и *Герцена*, которые заявляют при этом, что еще в 1848 г. одна «германская газета» пустила в ход клевету, «позволила себе даже ссылаться на свидетельство Жорж Занд».

Вчера я напечатал в «Морнинг Адвертайзер» следующее заявление: Господам Головину и Герцену было угодно связать издававшуюся мною в 1848—49 г.г. «Новую Рейнскую газету» с их полемикой против Ф. М. по поводу Бакунина и т. д. Инсинуации г.г. Герцена и Головина меня не трогают, но по-

звольте мне восстановить факты. Затем следует перечисление фактов...

Наконец в *сегодняшнем* номере «Морнинг Адвертайзер» этот негодяй Головин, не осмеливаясь назвать себя, но выступая за подписью «от иностранного корреспондента», пишет следующее:

«Как надо писать историю.

Бакунин русский агент,— нет, Бакунин не русский агент. Бакунин умер в Шлиссельбургской крепости, много настрадавшись от дурного обращения,— нет, Бакунин не умер, он еще *жив. Его сдали в солдаты и сослали на Кавказ,— нет, его не* сдали в солдаты, он все еще сидит в Петропавловской крепости. Таковы те противоречивые сведения, которые поочередно появляются в печати по поводу Михаила Бакунина... Есть люди, которые не знают, что человечество делает людей зависимыми друг от друга, что, освобождая Германию от влияния, которое имеет на нее Россия, мы *обратным путем воздействуем* на последнюю, погружая ее *снова* в тот деспотизм, от которого ее освободит только революция. Таких людей напрасно было бы убеждать, что Бакунин является одним из самых чистых и великодушных представителей прогрессивного космополитизма. *Французская* пословица говорит: «Клевещите, клевещите, от клеветы всегда что-нибудь останется». Клевета на Бакунина, распространенная в 1848 году одним из его друзей, в 1853 году вновь преподнесена неизвестным. «Предателями являются всегда свои,— говорит другая пословица,— и лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом». Местом для распространения клеветы против Бакунина стал не консервативный орган,— эту задачу взяла на себя дружественная газета. У людей, которые забывают,— как забыл д-р Маркс,— что Бакунин сделан не из того теста, из которого делаются полицейские, шпионы, очевидно, мало развито революционное чувство...»

...Я, со своей стороны, предложил бы *по существу* ответить следующее:

«Лучше иметь дело с умным врагом, нежели с глупым другом», воскликнул бы Бакунин, если бы ему пришлось когда-либо прочитать письмо того «заграничного» Санчо Панса, который упражняется в вашем воскресном номере в цитировании плоских пословиц. Разве не «глупый друг» тот, кто упрекает меня в том, что я не *сделал* чего-то, что могло бы заставить меня пожалеть о том, что мое имя связывается с ложным

обвинением? Разве не «глупый друг» тот, кто удивляется тому, что известно всякому школьнику, а именно, что истина устанавливается путем полемики и что исторические факты познаются из столкновения противоречивых утверждений? Когда «Новая Рейнская газета» напечатала парижское письмо, Бакунин находился на свободе. Если он сам в 1848 г. удовлетворился заявлением «Новой Рейнской газеты», то не «глуп» ли тот друг, который находит их неудовлетворительными в 1853 г.? Если он совершил ошибку, возобновив свою дружбу с редактором «Новой Рейнской газеты», то не «глуп» ли тот мнимый друг, который теперь публично разоблачает слабости Бакунина? Разве не «глупый друг» тот, кто находит необходимым снова погрузить Россию в деспотизм, как будто бы Россия когда-либо была от него свободна?»

Веря в честность шлиссельбургского узника Бакунина, Маркс и Энгельс, как и Герцен, прилагали все усилия, чтобы облегчить его участь. Никто из знавших Бакунина прежде людей не сомневался в том, что он ведет себя в заточении непреклонно, как и подобает отважному защитнику дрезденских баррикад, страстному поборнику боевых, революционных действий.

Узнав о статье Маркса, посвященной Бакунину, Лиза тем более обрадовалась, когда поздней осенью встретилась с Женни на популярном концерте классической музыки в Уайт-холле. Исполнялись произведения Моцарта, Глюка и Генделя.

— Не феминистические ли искания привели вас на родину Мэри Вулстонкрафт и синих чулков? — спросила Женни, вспомнив их памятный разговор в Брюсселе в Стеклянном пассаже.

— О нет, да и, по правде говоря, я охладела к феминизму.

Лиза вкратце рассказала Женни обо всем, что произошло с нею, а также о судьбе Бакунина, которого назвала своим близким другом.

— Я не теряю надежды помочь ему бежать из крепости и из России.

Увертюра к «Свадьбе Фигаро» прервала их беседу. После концерта они встретились снова у выхода и пошли вместе по широкой светлой Оксфорд-стрит.

— Мы живем в очень скверном месте,— сказала Женни,— но зато в самом центре Лондона. Мне очень нравятся продолжительные прогулки по оживленным улицам Вест-Энда. Я забываю тогда житейские невзгоды так же, как сейчас, когда

слушала музыку. Это мой лучший отдых. А вы где бываете, с кем встречаетесь?

Лиза восторженно отозвалась о Герцене.

— Это замечательный человек. Я так рада знакомству с ним. Он ведь тоже очень обеспокоен судьбой Бакунина,— добавила она.

— Мой муж и я читали многое из того, что Герцен напечатал в эти годы,— сказала Женни.

— Посмотрите, пожалуйста, также и его книгу «Тюрьма и ссылка». Она вышла недавно на нескольких языках. О Герцене говорят, что он сочетает в себе немецкую философию с французской политической теорией, английский здравый смысл с русским своеобразием. Мне кажется, он очень близок по духу вашему мужу. Ведь все его помыслы тоже о счастье человечества.

— Пути к счастью людей столь различны,— любезно, но холодно ответила Женни. Она заметно не пожелала продолжать разговор о Герцене. Лиза ощутила это и спросила о Вильгельме Вольфе, которого потеряла из виду после своего отъезда из Брюсселя.

— О, Люпус,— просияла Женни, но тут же погрустнела.— Он живет в Манчестере, вдали от нас, и часто хворает. Ему тоже нелегко приходится в изгнании. Но старик бодрится, хотя и стал значительно более угрюмым и иногда брюзжит. Ему ведь уже немало лет, да и тяжело под старость без семьи. Дорогой наш друг похож теперь уже не на волка, а больше на благородного старого зубра. Вы знаете, что эти редчайшие царственные животные, старея, ищут полного одиночества и блуждают по лесам одни, как бы предаваясь глубокому раздумью. Они не желают больше никого обременять. У Вольфа все та же чистая и глубокая душа, какая бывает только у детей и мудрецов. Мы его очень, очень любим.

До самого Пиккадилли-серкус беседовали Женни и Лиза и расстались у поворота в квартал Сохо. На прощание Лиза пригласила Женни к себе и обещала побывать на Дин-стрит, 28, но долгое время обе женщины не смогли повидаться.

В самом начале напряженного 1855 года у Женни Маркс родилась дочь — Элеонора. Младенец был настолько хил, что в первые месяцы смерть неотступно стояла подле его колыбельки. Однако маленькая Тусси, как прозвали Элеонору, окрепла и превратилась в упитанного, цветущего, жизнерадостного ребенка.

Остров, куда Маркс прибыл в изгнание, стал ему со временем второй родиной. С роспуском Союза коммунистов не порывались нити, связывавшие Маркса с Германией. Революционер, каким прежде всего и всегда он был, не мог отдаться только научной деятельности, стать вынужденным отшельником. Без революционной борьбы для него не было жизни.

Душевные силы и удовлетворение он черпал также, работая без устали над книгой по политической экономии, начатой много лет назад. Средства к существованию, весьма незначительные и, главное, не постоянные, приносило сотрудничество в заокеанской газете «Нью-Йорк дейли трибюн».

Основной заботой и целью этих трудных лет для Маркса было, чтобы не погас над миром революционный огонь, вспыхнувший столь ярко в сороковые годы. И пламя это теплилось, подчас укрытое земными сводами.

Маркс руководил из Лондона ушедшими в подполье коммунистическими общинами в родной Германии и поддерживал каждого бойца, как и он поневоле нашедшего приют в чужих землях. Расстояние не служило ему препятствием. Из-за океана, так же как с родины, он получал непосредственно или через соратников сообщения обо всем, что делалось для грядущей революции. Знакомый Маркса, Энгельса, Вольфа, испытанный боец 1849 года, рабочий, опиловщик по металлу Карл Вильгельм Клейн в большом письме сообщал лондонским руководителям коммунистического движения о подпольных организациях в Золингене, Эльберфельде-Бармене и Дюссельдорфе. Он еще в пятидесятом году доставил туда и успешно распространил среди наиболее надежных рабочих обращение коммунистического центра, руководимого Марксом. Связиста выследила полиция. Но все обыски, произведенные на местах явок, где он бывал, не дали никаких результатов, и Клейн остался невредим. Его преследовали по пятам, и он вынужден был на время с фальшивым паспортом скрываться в Бельгии. На родине против него выдвинули грозное обвинение в государственной измене. Когда пребывание в Бельгии стало грозить ему разоблачением и выдачей рейнландским властям, он бежал в Америку. Но огонь в глубоком германском подполье не угасал. Коммунистические рабочие тайные организации продолжали существовать, и связь их с Марксом, несмотря на огромные трудности пересылки документов и информации, не только не

рвалась, но становилась все более прочной. Клейн заканчивал свое письмо, пересланное в Лондон Марксу Фрейлигратом, так:

«До меня дошли разговоры,— писал смелый связист Клейн,— что в Лондоне считают, будто в Кёльне все наши перетрусили, что им так и не удалось до сих пор установить какие-либо связи в Германии. Это ложь. Общины Золингена, Эльберфельда и Дюссельдорфа посылали несколько раз своих представителей в Кёльн... Эти общины уполномочили меня установить прямую связь с нашим центром в Лондоне, что я и делаю этим письмом. Вышеуказанные общины могут послать своего делегата в Лондон. Я прилагаю кусок карты с следующей целью: делегат, который прибудет в Лондон, должен в качестве документа предъявить другую часть карты, а если при случае кто-либо из Лондона отправится в Эльберфельд, то он представит свою часть карты. Мы имеем в виду, как и прежде, распространять наши связи в Германии.

Я прошу наших друзей при первой возможности направить в Эльберфельд по нижеследующему адресу несколько строк и поставить меня об этом в известность, так как считаю необходимым также поддерживать с ними связь.

Карл Вильгельм Клейн из Золингена»

Ко всем трудностям и заботам, непрерывно обрушивавшимся на семью Маркса, присоединился спор с прусским министром внутренних дел Фердинандом фон Вестфаленом, сводным братом Женни, который не пожелал выделить своей сестре ничего значительного из присвоенного им наследства престарелого дяди, скончавшегося в Брауншвейге. Оно состояло из ценных книг и рукописей времен Семилетней войны, в которой деятельно участвовал дед Женни, тогдашний военный министр герцогства Брауншвейгского. В патриотическом рвении Фердинанд фон Вестфален присвоил их себе, чтобы подарить прусскому королевскому правительству. Из уважения к матери Женни не решалась на тяжбу и скандал. Она удовольствовалась несколькими талерами, которые получила от брата в уплату за ценнейший архив. А деньги были нужны ей больше, чем когда бы то ни было.

Медленно угасал Муш. В марте болезнь его приняла угрожающий характер. Карл не ложился и ночи напролет проводил у постели удивительно кроткого и веселого ребенка. Карл написал в Манчестер Фридриху:

«...Кривая болезни все время шла то вверх, то вниз, и мое собственное мнение менялось тоже чуть не ежечасно. Но, в конце концов, болезнь приняла наследственный в моей семье характер воспаления полости живота, и, повидимому, даже врач потерял всякую надежду. Моя жена вот уже с неделю так больна от душевного потрясения, как никогда раньше. У меня самого сердце обливается кровью и голова горит, хотя, конечно, я должен крепиться. Ребенка, за все время болезни, ни на минуту не покидает его оригинальный, приветливый и в то же время самостоятельный характер.

Не знаю, как благодарить тебя за дружбу, за то, что ты работаешь вместо меня, и за участие, оказываемое мальчику. Если произойдет какое-либо улучшение, напишу тебе тотчас же.

Весь твой *К. М.*»

Горе неотступно сторожило Карла и его семью. После изнурительной болезни, явившейся следствием плохого питания, пребывания в проклятой бессолнечной дыре на Дин-стрит, где даже воздух был ядовит, восьмилетний Эдгар-Муш скончался. Необыкновенно одаренный, красивый, чуткий мальчик умер на руках своего отца.

Муш олицетворял счастье всей семьи. Не по летам развитой, очень веселый, общительный маленький «полковник», как прозвали его за пристрастие к военным забавам, Эдгар делил с родителями все их тяготы и заботы и радовался, как взрослый, удачам, если такие бывали. Казалось, что с его смертью горе и отчаяние навсегда прочно утвердились в осиротевшем доме.

В той же полутемной комнате, на том же узком столе, где покоились так недавно тела маленьких Генриха и Франциски, лежал бездыханный Эдгар. Снова в Лондон пришла весна, но Дин-стрит казалась мрачной и темной, как склеп. Восковое личико Муша покоилось среди желтых нарциссов и светлых тюльпанов.

Подкошенная отчаянием Женни тяжело заболела. Собрав последние силы, Ленхен, полуслепая от слез, старалась оградить от болезней трех девочек, предоставленных полностью ее попечению. Малютке Тусси было всего три месяца от роду.

Маркс, крепко сжав обеими руками голову, сидел подле гроба сына.

«Никогда не найду я полного успокоения и не примирюсь до конца с утратой моего ребенка. Никогда! С каждым днем и годом его будет мне недоставать все больше»,— проносилось в

измученном мозгу. Карл страдал все сильнее. Еще несколько глубоких морщин-шрамов пролегло на могучем лбу, и в глазах появилось выражение скорби, сосредоточенности и отчуждения. Он заметно поседел.

Одна человеческая душа может выстрадать столько же, сколько все человечество, и устоять.

«Дом, разумеется, совершенно опустел,— писал Маркс Энгельсу,— и осиротел со смертью дорогого мальчика, который оживлял его, был его душой. Нельзя выразить, как не хватает нам этого ребенка на каждом шагу. Я перенес уже много несчастий, но только теперь я знаю, что такое настоящее несчастье. Чувствую себя совершенно разбитым. К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что не могу ни думать, ни слушать, ни видеть.

При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что мы вдвоем сможем сделать еще на свете что-либо разумное».

Поздней осенью, после смерти сына, Карл побывал в Манчестере у Энгельса, где он всегда мог отдохнуть в благоприятных условиях налаженного зажиточного быта в доме своего друга. Как всегда, утром он посещал Чэтамскую библиотеку и любовался ее старинной необычайной архитектурой, рассматривал книгохранилища, размещенные в бывших кельях и в строгой часовне святой Мэри. Стеллажи, имевшие в XVII веке, по рассказам, всего три полки, поднялись до самого потолка.

Два столетия оставалось неизменным убранство читальни, просторной комнаты под низкими сводами, с панелями из превосходного темного дуба. Карл просматривал газеты на большом столе с овальным верхом из цельной доски — торца могучего дерева, вокруг которого стояли тяжелые, мрачные стулья— современники Кромвеля. Выбрав книги, он проходил в четырехугольный выступ в виде фонаря со стрельчатыми окнами и четырехскатным столом — конторкой. В этом, освещенном наподобие средневековых храмов разноцветными оконными стеклами, помещении он работал всегда, когда посещал библиотеку.

Главный библиотекарь Томас Джонс, высокий сухощавый старик с покрасневшими утомленными глазами и неслышной легкой походкой, охотно помогал Карлу в подборе нужных ему книг. Джонс особенно гордился своими знаниями каталогов библиотеки и литературы по истории реформации.

Как-то в одном из окраинных рабочих трактиров «Пегая лошадь» Карл познакомился с мастером-сталелитейщиком Вильямом Беккетом, бывшим лондонским докером. Это был толстый, хорошо одетый человек, раскрашенный природой тремя сладкими красками: розовой, голубой и кремовой. Когда Маркс увидел его в первый раз, Беккет, собрав в комок расползающийся носик, рассказывал умиленным голосом рабочим, медленно распивающим черное пиво, о счастливом исходе родов королевы Виктории. Когда эта тема была им исчерпана, мастер принялся медоточиво расписывать все преимущества тред-юнионов и высмеивать чартистов.

— Сговор с предпринимателями, которые ведь такие же, как мы, рабочие люди, а многие из них не так давно были бедняками,— вот это правильное дело. Право же, довольно раздоров между разными классами. Я уверен, что рабочие союзы будут способствовать развитию промышленности, а не ставить палки в колеса, как это делали чартисты. Они устарели.— Беккет достал из широкого кармана томик священного писания в черном кожаном переплете — источник его плоских, не лишенных, однако, хитрости, мыслей.— Библия учит нас, как жить в мире и благоденствии,— изрек он торжественно.

Маркс заинтересовался этой только что народившейся разновидностью преуспевающего рабочего и даже решил посетить его дом. Спустя несколько дней, в воскресенье, вместе с Энгельсом он побывал у зажиточного механика.

На смену груженым тяжелым ящикам, среди которых прошла в доках молодость Вильяма Беккета, к нему пришло к сорока годам поистине «деревянное» благополучие. Подкупленный капиталистами, мастер, деятельный профсоюзный руководитель, поселился с семьей в собственном двухэтажном коттедже с тяжелыми резными дубовыми панелями на стенах комнат. Большая унылая кровать красного дерева занимала спальню, краем упираясь в огромный комод.

Угощая гостей чаем, Беккет сообщил, что надеется скоро быть избранным в парламент и тогда значительно увеличится его достаток.

Маркс и Энгельс знали, что английские капиталисты, получая огромные сверхприбыли, хорошо оплачивали труд верхушки рабочего класса. Беккет оказался в числе немногих избранных.

— Надо иметь голову на плечах,— говорил он смиренно, покуда его дородная жена, дочь фермера, разливала чай.— Надо

понимать современные национальные задачи. Чартизм отсох, как старая ветка на подгнившем дереве. Тред-юнионы — вот путь рабочих в землю обетованную. Заверяю вас в этом, джентльмены, а я не дурак. Мы с миссис Беккет надеемся еще побывать в Букингемском дворце,— он шлепнул жену по широкой спине.— Что скажешь, леди Беккет? Почему бы и нет? Мы назвали нашу дочь в честь ее величества Викторией. Может быть, нашей девочке суждено быть дочерью пэра. А? Времена ведь меняются. Надо иметь голову на плечах. Мой отец был убит в Бирмингаме во времена борьбы за хартию, деддуддит погиб, сражаясь с машинами. А я, вот видите, живу неплохо и делаю, поверьте, много добра для общества. Главное,— и я уверен в этом,— надо уметь жить в мире с промышленниками. Почему бы и нет? Они нужные для нации люди, умнее и опытнее нас и к тому же христиане.

Множество мыслей вызвала у Маркса и Энгельса встреча с преуспевающим и обласканным буржуазией мастером Беккетом.

Итак, буржуазнейшая нация, какой была Англия, страна колониальной и промышленной монополии, по-видимому, стремится наряду с буржуазией, буржуазной аристократией создать также и прослойку буржуазного пролетариата. Это было очень важным открытием для обоих друзей.

По воскресным дням Карл ездил в Манчестере верхом, но хорошим наездником он не был, хотя и убеждал друзей, что в студенческие годы брал уроки верховой езды и овладел этим искусством.

Фридрих, беспокоясь за друга, предоставил ему смирную лошадь, которую назвал Росинантом.

Но лучшим временем были вечера, когда, вернувшись из конторы домой, Фридрих делился с другом новостями, заботами и творческими планами. После сытного позднего обеда, обильно запиваемого рейнским вином, после выкуренной толстой гаванской сигары они часто обсуждали политические события на разных материках. Индия и Америка, Малайские острова и славянские земли были так же знакомы им, как промозглый остров, ставший их вынужденной родиной.

В это посещение Карлом Манчестера после долгого путешествия по Америке, Вест-Индии и Европе там находился неугомонный странник Георг Веерт. Он снова рвался обратно за

океан. После поражения революции он часто боролся с приступами меланхолии и нуждался в новых впечатлениях.

— Вы закисаете здесь, друзья мои, этот климат годен только для рыб и жаб. Жить здесь — безумие и слабость. Немногие годы, отпускаемые нам жизнью, терять в таком проклятом богами месте! Да и люди здесь, скажу я вам, такая же слякоть, как и все остальное. А знаете ли вы, что именно сейчас в лесах близ древней столицы Колумбии Санта Фе де Богота тигры поют арии из «Волчьего ущелья». Я вижу, как они повернули морды к луне, которая шагает по верхушкам кедров и вековечных пальм. Лима — город-мечта. Какие там женщины! Они так малы, что их можно спрятать среди лепестков огромных тамошних роз. Мне нравятся перуанцы. Этот народ не даст вам скучать и доставит множество развлечений. В первый день я пережил в Лиме землетрясение, на второй — пожар, а на третий — революцию.

— За исключением землетрясения, все это можно было видеть и в Париже,— вставил Энгельс.

Веерт продолжал рассказывать о своих многочисленных приключениях в тропических странах. У него был особый подражательный и мимический дар, и лицо его непрерывно меняло выражение.

Задорный хохот Георга был так же приятен и чистосердечен, как и у Карла и Фридриха, которые до слезинок в глазах смеялись, слушая его рассказы.

— Представьте себе перуанский остров Чинча. Главное его богатство — птичий помет, скопившийся за много тысячелетий. Он составляет главную статью дохода всего государства. Вот вам достойный предмет для размышления философам. Дерьмо превращается в золото, и потомки гордых инков спасаются от нищеты благодаря гуано. Ах, друзья мои, когда с вершины Кордильеров, залитой солнцем, смотришь на воды, низвергающиеся с глетчеров, чтобы на западе влиться в Тихий океан, а на востоке — в Атлантический, поражаешься необъятной мощи великой фабрики природы. Я мог бы до утра говорить о Калифорнии. Хотите, я повезу вас мимо Антильских островов. Мы отдохнем и освежимся кокосовым молоком на Кубе и через Мексиканский залив доберемся затем в Веракрус. Через заросли кактусов мы спустимся в серебряные рудники Рахаса и в Сан-Хуан де Лагос. Там буйствуют пьяные мексиканские барышники, игроки и воры. Я предлагаю также посмотреть на бой быков.

Веерт вскочил со стула, сорвал красную плюшевую салфетку с курительного столика, изогнулся и, размахивая ею, принялся изображать сцены корриды.

— Виво эль тореадор! — аплодировали Маркс и Энгельс. Оба они приняли участие в импровизированной живой картине, изображая то зрителей, то пикадоров и матадоров.

Вдоволь посмеявшись, все трое снова уселись за стол и принялись допивать остывший черный кофе. Но Веерт уже снова изображал в лицах, как индеец снимает скальпы и привязывает их к поясу. До полуночи не прерывалась оживленная беседа троих друзей.

Вскоре Энгельс остался один в Манчестере. Георг уехал в Вест-Индию, а Карл вернулся в Лондон.

Настала зима. Черные и желтые туманы по-прежнему окутывали Лондон своей ядовитой пеленой. Карл хворал. Помимо болезни печени его мучили нарывы. Один из них появился над верхней губой и вызывал острую физическую боль. Лицо распухло.

— Я похож на бедного Лазаря и на кривого черта в одно и то же время,— пошутил Карл, увидев себя в зеркале.

— Неправда, ты очень хорош, ты просто больной алжирский Мавр,— сердились на него старшие дочери.

Врачи считали болезнь Карла очень серьезной. Карбункул на лице, сопровождавшийся лихорадкой, был опасен.

— Мой дорогой повелитель,— со свойственным ей юмором сказала Женни,— отныне вы находитесь под домашним арестом впредь до полного выздоровления.— И она спрятала пальто и шляпу Карла, чтобы он не мог совершить в ее отсутствие побег в библиотеку Британского музея.

Карл сдался.

— Я подчиняюсь, но только в том случае, если за мной останется право работать дома.

Однако множество повседневных мелочей и забот, как всегда на Дин-стрит, мешали ему сосредоточиться. Он тосковал и рвался в тихую, покойную общественную читальню в Монтегхауз, где привык проводить время за работой с утра до позднего вечера.

Домашний рабочий стол Карла был завален книгами и рукописями. Карл много читал о России, так как Энгельс просил присылать ему материалы об этой стране для статей о панславизме.

Крымская война еще больше усилила интерес Карла к се-

верной мо[illegible]ественной державе и ее прошлому. По своему обыкновению, не довольствуясь поверхностным ознакомлением, он принялся глубже пробивать толщу избранного им для изучения предмета. Таков был Карл всегда и во всем. Труд был его стихией, радостью, отдохновением, и чем больше требовалось усилий, тем удовлетвореннее он себя чувствовал.

После многих французских и немецких книг о славянских странах и особо о России Маркс, углубляясь в малоисследованную чащу истории, добрался до истоков русской культуры. Его поразило «Слово о полку Игореве», приведенное в книге Эйхгоффа в подлиннике и в переводе на французский язык.

Безошибочный глаз и ухо поэта, каким всегда оставался Карл, мгновенно уловили великолепие стиха древнего сказителя:

Я покину бор сосновый,
Вдоль Дуная полечу
И в Каял-реке бобровый
Я рукав свой омочу.
Я домчусь к родному стану,
Где кипел кровавый бой.
Князю я омою рану
На груди его младой.

«Чудесная поэма, вся песня носит христианско-героический характер, хотя языческие элементы еще очень заметны»,— думал он, снова и снова перечитывая плач Ярославны и призыв князьям к единению перед нашествием монголов.

Карл наслаждался поэзией, воскресившей древнюю Русь, ее героику, удаль, скорбь и победы. Он вслух читал Женни наиболее пленившие его строфы и тотчас же сообщил Энгельсу об открытом им сокровище. Одновременно он жадно читал книгу Гетце «Князь Владимир и его дружина», а также «Голоса русского народа».

Здоровье Карла несколько улучшилось, но он все еще не выходил из дома. В безнадежно сырой и трудный из-за черного тумана, темный, будто над Лондоном спустился вечный мрак, день раздалось несколько громких ударов во входную дверь дома 28 на Дин-стрит. Лаура, на ходу заплетая золотистую косу, быстро сбежала по лестнице вниз, чтобы открыть дверь. Подумав, что, верно, булочник или бакалейщик принесли свои товары, Карл продолжал работать, не обращая ни на что внимания. Однако Лаура вернулась не с кульками и пакетами. В убогую квартирку она ввела двоих пожилых людей. В одном Карл тотчас же узнал Эдгара Бауэра. Другой, в длинном, по

щиколотки, вышедшем из моды в Англии рединготе и лоснящемся цилиндре, сначала показался ему незнакомым. Маркс с недоумением смотрел на неторопливо разматывавшего связанный из пунцовой шерсти шейный платок гостя, который принялся прилаживать раскрытый, мокрый, черный зонт над вешалкой и при этом говорил брюзгливым тоном:

— Проклятый остров. За всю свою жизнь я не видывал такой погоды. Только в Дантовом аду ею могли истязать грешников.

— Ба! Ты ли это, старый ворчун Бруно? — воскликнул радостно Карл и торжественно представил Бауэра своей семье.

— Вот — сам глава Святого Семейства, друг моей юности столько же, сколько и лютый враг моих воззрений на философию и пути человечества. Прошу, однако, любить и жаловать его. Позволь, Бруно, представить тебе мою семью. Это моя дочь Женни, она же Ди, она же Кви-Кви — император Китая.

— Женнихен — вылитый твой портрет, Карл,— сказал Бруно, любуясь черноглазой румяной девочкой, затем он перевел взгляд на ее сестренку, встретившую его на пороге входной двери.

Карл, подталкивая Лауру, порозовевшую от смущения, представил и ее.

— А это наш милый Готтентот и пестрый Какаду, любительница всего экзотического, путешественник по Африке и конквистадор в мечтах.

— Красавица в полном смысле слова,— сказал старый профессор.

— Фея из гофманской сказки,— галантно добавил его брат, Эдгар Бауэр.

— Ты, однако, разбогател, Карлхен. У тебя две прелестные дочки и царственно прекрасная жена.

— У меня не две, а три дочурки. Тусси еще совсем мала и сейчас спит. А ты, Бруно, женат ли, обзавелся ли семьей?

— Нет, увы, я старый холостяк. Наука — вот моя верная возлюбленная и подруга. А помнишь, как мы прозвали тебя в счастливые годы наших теоретических битв? «Магазин идей»! Да, Карл, справедливость требует признать, многое мы почерпнули у тебя.

— Мавр и для нас магазин сказок. Вы не можете себе представить, сколько он их знает, и не только одних сказок,— вторглась в беседу бойкая Лаура.

— Да, ты был неиссякаем и, видимо, немало пополнил за-

пасы в своем складе,— Бруно показал на голову и, помолчав, достал большой портсигар.— Как много лет, однако, мы не виделись. Кури, великолепный немецкий табак. Он напомнит тебе нашу родину.

— Никогда не курил я таких сигар, как те, которыми угощала меня тетушка Бауэр,— сказал Карл.— Дни в вашем обвитом жимолостью домике так же живы в моей памяти, как воспоминания о Трире, где прошла моя юность.

— Помнишь, как весело справляли мы день твоего рождения у нас, в Шарлоттенбурге? — спросил Эдгар Бауэр, раздув ноздри и выпуская табачный дым.

— Увы, праздник был омрачен смертью профессора Ганса. А где теперь краснобай Рутенберг, книжный червь Кеппен и крутоголовый Шмидт Штирнер? — спросил Карл, с наслаждением затягиваясь сигарой.

— Кеппен пишет очередную книгу о буддизме. Он невозмутим, аскетичен, презирает все неиндийское, а Рутенберг тучен, самоуверен и все та же нафаршированная цитатами колбаса. К тому же сей почтенный буржуа издает газету, в которой удивляет трактирщиков и отставных канцелярских писарей своей копеечной ученостью. А наш философ Шмидт, обладатель лба, похожего на купол Святого Петра в Риме, при смерти. Жаль, он подавал блестящие надежды. Никто не умел так любить, так возносить свое «я», как он.

— Это «я» заслонило Штирнеру весь горизонт. Бедняга провел жизнь в бесцельном созерцании и обожании своего «я», точно йог в разглядывании собственного пупа,— досадливо морщась, произнес Маркс.— И вот на краю могилы это «я» может подвести унылый итог прошедшей попусту жизни.

Сквозь столб сигарного дыма, поднимавшегося к потолку, Карл внимательно разглядывал Бруно Бауэра. Ему было около пятидесяти лет, но он выглядел значительно старше. Резко очерченное лицо — три острые линии, образующие лоб, нос и подбородок, сухая пористая кожа, серые сморщенные веки и выцветшие глаза не отражали больше никакого внутреннего горения. Он казался навсегда потухшей пыльной сопкой. Особенно неприятен был огромный плоский лоб, лишенный выражения. Волосы на голове Бруно вылезли и оголили череп до самой макушки. В его лице не осталось больше сходства с фанатиком Лойолой, как это было в молодости.

— Да, после Берлина, этого величественного и светлого города, Лондон — мерзкая тюрьма,— говорил между тем Бруно,

шепелявя и едва рас
ные зубы зеленовато
— Правда, в Гер
пышный расцвет дер
ция. А здесь я живу
ве под стать всему о
эти хваленые брита
английский, да ведь
Если бы не заимств
ли бы вообще челов
общения друг с дру
дометиями. По срав
кари.
Маркс широко, л
— Дорогой профе
в утешение вам дол
ворят то же самое о
исландцы являются
язык будто бы не за
Но Бруно возмущ
— Ерунда, Карл
вполне беспристрасте
годы, могу смело от
колепный по богатст
как красиво: «Нех
Ленхен и Женни
бродами с ветчиной
ной Демут, назвав е
— Сказочный д
имеют необыкновен
жется, только госпо
— Нашу мамочку
глазая Лаура.
— Счастливец, К
ниями. Я же одино
завистью признался
— Мысль — раба
Лаура.
— А жизнь — ш
— Чудесно! — во
фрейлейн цитируют
— Они унаследо

ывая губы. Ему мешали говорить
желтого цвета.
нии мы наблюдаем ем гибель гор
ень, но все же там м истинная ци
каком-то логовище. Л . Люди на этом
ружающему уродству ству. Жалкие со
ы. Это гомункулусы сы — автоматы
это пародия на человеческую
анные галлицизмы, , англичане
ческого языка и по пользовались бо
м нечленораздельными звуками
нию с нами, германцами, бритта
авно улыбнулся.
ор,— сказал он, весел ело блестя гла
н сказать, что голла ландцы и датч
мецком языке и утве тверждают, что
инственными истинны ными германца
орен иностранщиной ой.
но замахал руками.
н. Поверь, я вовсе не узкий не
Изучив множество языков за по
ть пальму первенства этим польскому
и звучанию язык. Послушай, пап
ие нежная польска я мова».
несли подносы с чаш чашками кофе и
сыром. Карл познако комил Бауэров
«нашей Ним».
,— заметил добродуш одушно Бруно
е мелодичные прозв озвища, обойден
Маркс.
зовут Мэмэ,— поясни ила все та же
рл, ты окружен люб обящими тебя
со мной только мысль сль,— с нескры
руно.
жизни! — вдруг тор оржественно
времени! — продолж жила Женни
ричал Бауэр.— Эти и юные пре
Макбета» не хуже ст старого Шлегел
ли от отца и матери и любовь к Ш

пасы в своем складе,— Бруно показал на голову и, помолчав, достал большой портсигар.— Как много лет, однако, мы не виделись. Кури, великолепный немецкий табак. Он напомнит тебе нашу родину.

— Никогда не курил я таких сигар, как те, которыми угощала меня тетушка Бауэр,— сказал Карл.— Дни в вашем обвитом жимолостью домике так же живы в моей памяти, как воспоминания о Трире, где прошла моя юность.

— Помнишь, как весело справляли мы день твоего рождения у нас, в Шарлоттенбурге? — спросил Эдгар Бауэр, раздув ноздри и выпуская табачный дым.

— Увы, праздник был омрачен смертью профессора Ганса. А где теперь краснобай Рутенберг, книжный червь Кеппен и крутоголовый Шмидт Штирнер? — спросил Карл, с наслаждением затягиваясь сигарой.

— Кеппен пишет очередную книгу о буддизме. Он невозмутим, аскетичен, презирает все неиндийское, а Рутенберг тучен, самоуверен и все та же нафаршированная цитатами колбаса. К тому же сей почтенный буржуа издает газету, в которой удивляет трактирщиков и отставных канцелярских писарей своей копеечной ученостью. А наш философ Шмидт, обладатель лба, похожего на купол Святого Петра в Риме, при смерти. Жаль, он подавал блестящие надежды. Никто не умел так любить, так возносить свое «я», как он.

— Это «я» заслонило Штирнеру весь горизонт. Бедняга провел жизнь в бесцельном созерцании и обожании своего «я», точно йог в разглядывании собственного пупа,— досадливо морщась, произнес Маркс.— И вот на краю могилы это «я» может подвести унылый итог прошедшей попусту жизни.

Сквозь столб сигарного дыма, поднимавшегося к потолку, Карл внимательно разглядывал Бруно Бауэра. Ему было около пятидесяти лет, но он выглядел значительно старше. Резко очерченное лицо — три острые линии, образующие лоб, нос и подбородок, сухая пористая кожа, серые сморщенные веки и выцветшие глаза не отражали больше никакого внутреннего горения. Он казался навсегда потухшей пыльной сошкой. Особенно неприятен был огромный плоский лоб, лишенный выражения. Волосы на голове Бруно вылезли и оголили череп до самой макушки. В его лице не осталось больше сходства с фанатиком Лойолой, как это было в молодости.

— Да, после Берлина, этого величественного и светлого города, Лондон — мерзкая тюрьма,— говорил между тем Бруно,

шепелявя и едва раскрывая губы. Ему мешали говорить вставные зубы зеленовато-желтого цвета.

— Правда, в Германии мы наблюдаем гибель городов и пышный расцвет деревень, но все же там истинная цивилизация. А здесь я живу в каком-то логовище. Люди на этом острове под стать всему окружающему уродству. Жалкие создания эти хваленые британцы. Это гомункулусы — автоматы. Язык английский, да ведь это пародия на человеческую речь. Если бы не заимствованные галлицизмы, англичане не имели бы вообще человеческого языка и пользовались бы для общения друг с другом нечленораздельными звуками и междометиями. По сравнению с нами, германцами, британцы — дикари.

Маркс широко, лукаво улыбнулся.

— Дорогой профессор,— сказал он, весело блестя глазами,— в утешение вам должен сказать, что голландцы и датчане говорят то же самое о немецком языке и утверждают, что только исландцы являются единственными истинными германцами. Их язык будто бы не засорен иностранщиной.

Но Бруно возмущенно замахал руками.

— Ерунда, Карлхен. Поверь, я вовсе не узкий педант и вполне беспристрастен. Изучив множество языков за последние годы, могу смело отдать пальму первенства польскому. Великолепный по богатству и звучанию язык. Послушай, например, как красиво: «Нех жие пенькна польска мова».

Ленхен и Женни внесли подносы с чашками кофе и бутербродами с ветчиной и сыром. Карл познакомил Бауэров с Еленой Демут, назвав ее «нашей Ним».

— Сказочный дом,— заметил добродушно Бруно,— все имеют необыкновенные мелодичные прозвища, обойдена, кажется, только госпожа Маркс.

— Нашу мамочку зовут Мэмэ,— пояснила все та же шустроглазая Лаура.

— Счастливец, Карл, ты окружен любящими тебя созданиями. Я же одинок, со мной только мысль,— с нескрываемой завистью признался Бруно.

— Мысль — раба жизни! — вдруг торжественно изрекла Лаура.

— А жизнь — шут времени! — продолжила Женнихен.

— Чудесно! — вскричал Бауэр.— Эти юные прелестные фрейлейн цитируют «Макбета» не хуже старого Шлегеля.

— Они унаследовали от отца и матери любовь к Шекспиру

и знают превосходно его драмы,— произнесла с чуть заметной гордостью Женни Маркс.

После скромной трапезы, когда, по английскому обычаю, мужчины остались одни, Бруно Бауэр стал особенно разговорчив. Он объяснил, что в экономике предпочитает учение физиократов и верит в особо благодатные свойства земельной собственности. В военном искусстве его идеалом стал Бюлов.

— Это гений, истинный, божественный Марс в современной военной науке.

Карл не мог поверить своим ушам.

«Как застоялась его мысль, как он отстал от времени, запутался»,— думал он, и чувство жалости смягчило раздражение. Бруно Бауэр походил на руины некогда интересного сооружения. Он изжил то немногое, что было в нем оригинального, и, хотя казался по-прежнему самоуверенным, на лице старика помимо его воли появлялась иногда жалкая улыбка.

Карлу казалось, что этого педантичного, ссохшегося умом и сердцем человека продержали в глухом сейфе долгие годы. Он как бы и не заметил грозной революции и всех последующих событий и не сделал поэтому никаких выводов. Да мог ли он их сделать вообще?

— Рабочие — это чернь, которую отлично можно держать в повиновении с помощью хитрости и прямого насилия,— развалившись в кресле, говорил Бауэр.— Изредка следует, впрочем, кидать им кость со стола в виде грошовых прибавок к заработной плате, и они будут лизать хозяйскую руку. Меня все ваши иллюзии, называемые классовой борьбой, вовсе не интересуют. Я ведь чистый теоретик, мыслитель, а массой, этим полузверьем, пусть управляют те, у кого сильны не мозги, а мускулы. Я же достиг своей цели и нанес смертельный удар по научному богословию. В Германии оно перестало существовать. Вот колоссальная победа, да, ради нее стоило родиться... Моя сфера — чистая наука, проблемы вечные, а не суета сегодняшнего дня.

Карл не стал спорить. Это было бесполезно. Различие в мышлении обоих было таким значительным, что никакое слово Маркса не могло коснуться сознания Бруно Бауэра.

«Стоит ли переубеждать этот застывший камень, который некогда, прежде чем затвердеть, был живым существом. Но я рад нашей встрече. Нет ничего на свете, что не заслуживало бы внимания и размышления, раз оно существует. И этот старик тоже по-своему занимателен». Таковы были думы

Карла, когда позднее он остался один за своим рабочим столом.

В те же дни радостные вести с родины привез Марксу уполномоченный от дюссельдорфских рабочих Леви. Он передал Карлу сведения о состоянии рабочего движения в Рейнской провинции.

«Главная же пропаганда,— сообщал Маркс Энгельсу о своих беседах с Леви,— ведется теперь среди *фабричных рабочих в Золингене, Изерлоне и окрестностях, Эльберфельде* и во всем Гарц-Вестфальском округе. В железоделательных округах ребята хотят восстать, и удерживают их только расчеты на французскую революцию и то, что лондонцы считают это пока несвоевременным... Люди эти, по-видимому, твердо уверены, что *мы и наши друзья немедленно же поспешим к ним.* Они чувствуют, разумеется, потребность в политических и военных вождях. За это, конечно, их нисколько нельзя осуждать. Но я боюсь, что, при их весьма натуралистических планах, они четыре раза погибнут, прежде чем мы сможем покинуть Англию. Во всяком случае нужно точно разъяснить им с военной точки зрения, что можно и чего нельзя делать. Я заявил, разумеется, что, в случае, если *обстоятельства позволят,* мы явимся к рейнским рабочим... что мы со своими друзьями серьезно обсудим, что могло бы сделать рабочее население в Рейнской провинции своими силами; я им сказал, чтобы они через некоторое время снова послали в Лондон, но *ничего* не предпринимали, не столковавшись предварительно с *нами*».

Личные горести в семье Маркса продолжались. Тяжело больная баронесса призвала летом 1856 года в Трир свою дочь. Женни поехала с девочками на родину и застала мать при смерти. После одиннадцатидневных страданий Каролины фон Вестфален не стало.

Когда умер Муш, Женни казалось, что ей нечем больше страдать. Душа ее изныла и как бы потеряла чувствительность. Однако смерть матери причинила ей снова мучительную боль. Женни удивлялась тому, как много может вытерпеть человек. В молодости болезни и горести проходят, как бы коснувшись только кожи и не оставив глубокого следа, в зрелые годы они потрясают, но не ломают волю, не ослабляют навсегда, в старости же несчастья разрушают и сокращают самую жизнь.

«Как глубоко прав Карл, когда говорит о потерях, которые нельзя забыть никогда,— думала Женни.— Какой-то мудрец утверждал, что подлинно выдающиеся люди легко переносят утраты. Их будто бы спасают и отвлекают от личных бед тесная связь с природой и человечеством, а также бесчисленные объекты познания. Мудрец был неправ. Никто не может забыть любимого ребенка или нежную мать».

Забыть! Страшное слово, в котором таится покой, измена и грусть. Нельзя жить, не забывая, не примирившись с потерей, но невозможно также утешиться навсегда. Маленькие Фоксик, Франциска, Муш и родители никогда не уйдут окончательно из сердца и памяти Женни. И, вспоминая о них всех или о каждом порознь, она с трудом будет скрывать горечь и боль.

Стоя в слезах над могилой матери, Женни Маркс вспоминала свое детство и юность. Нет больше в живых ни Людвига и Каролины фон Вестфален, ни советника юстиции Генриха Маркса. Умер директор гимназии, где учился Карл, старик Виттенбах, гордившийся исторической славой родного Трира и своим знакомством с великим Гёте. Исчезла с улицы вывеска книготорговца Монтиньи — якобинца, в лавке которого столько часов провел некогда юный Маркс.

Возвращаясь с кладбища, Женни долго смотрела на зеленеющие виноградники, спускающиеся к городу с окрестных холмов, на светлые медленно текущие воды Мозеля, на пожелтевшие от знойного солнца луга.

На улицах Трира она встречала много знакомых. Юноши и девушки стали уже зрелыми людьми, женщины, которых она знала в цвете лет, заметно состарились. Черные шляпки с матерчатыми цветами поверх седых буклей, подвязанные под отвислым подбородком, особенно подчеркивали их преклонный возраст. Все в городе выражали Женни сочувствие по поводу смерти баронессы Вестфален. Старики при этом заметно мрачнели.

— Подходит и наше время,— говорили они робко.

Траурные платья с плерезами и черные вуали нисколько не портили внешности старших дочерей Женни. Они казались еще миловиднее. Двенадцатилетняя Женни была похожа на своего отца. Те же темные, густые, блестящие волосы и яркие, умные, ласковые глаза. Смуглое лицо, маленькие, полные губы придавали ей сходство с креолкой.

Десятилетняя Лаура красотой пошла в мать. Пышные, волнистые, светло-каштановые локоны обрамляли ее точеное ли-

чико. Большие зеленовато-карие глаза ее всегда светились улыбкой.

Но любимицей всей семьи, баловнем стала малютка Тусси. Ребенок родился как раз тогда, когда умер Эдгар, и вся любовь к брату, вся нежность к нему были теперь перенесены на маленькую сестренку, которую старшие девочки нянчили с почти материнской заботливостью.

Покуда Женни была в Трире, Карл вместе с Пипером отправился в портовый город Гуль. Он повидал в пути много английских и шотландских городов, расположенных по сторонам Великого северного пути — Грейт-норс.

Замки шотландских лордов мелькали за оградами, на пригорках, среди могучих дубов. Редко разбросанные встречные пограничные шотландские деревни были неприветливо серы, как шерсть овечьих стад на горах, как перевал, почти всегда тонущий в тумане. Вливаясь в города, Великий северный путь обрастал ровными коттеджами, просыпающимися на рассвете и засыпающими в сумерки. С заходом солнца быстро пустели улицы провинциальных местечек, и после девяти часов вечера дома без света казались покинутыми. Тогда в полутьме отчетливо воскресало средневековье. Резче становились контуры пуританских неукрашенных храмов на площадях и в дряхлых закоулках. В Линтингтоне, укрытый ратушей и многосотлетними домами, опирающимися на костыли из балок и столбов, внушительной крепостью стоял над рвом выпотрошенный пожаром, жалкий при дневном свете замок Марии Стюарт, шотландской бесцветной королевы, прославленной плахой.

Эдинбург расположен на холмах и с моря кажется столицей феодального княжества. Уцелевшие сторожевые башни с бойницами в стенах кремля все еще являют мощь и неприступность. В осушенный ров вокруг дворца крепости в течение многих веков падали пылающие бревна. Трава внешнего вала умирала под тяжестью сотен человеческих тел и лошадиных крупов, захлебывалась кровью, сгорала в кипящей воде, которой поливали врагов сверху наймиты шотландских королей, боровшихся с Англией. Тараны английских баронов, копья, громоздкие шары-снаряды оставили, впрочем, едва заметные шрамы на каменной броне.

Эдинбург в равной мере жил средневековьем и современностью. XV век без ущерба уживался с XIX.

Безжалостен климат Шотландии. Всего два-три месяца пробивается сквозь плотные занавеси испарений лиловое солнце.

В тусклом, будто слюда, тумане оживают призраки. То, что при ярком свете ужаснуло бы, как разрытая могила, в полутьме шотландского дня вызывает лишь священный трепет.

В Великобритании прошлое только в небольшой мере эксплуатируемый товар — оно еще слишком тесно связано, сплетено с настоящим. Знаменитые древнейшие замки все еще обитаемы, и владельцы спят на постелях времен крестовых походов.

На старых улицах Эдинбурга взамен развалившегося дома, в котором останавливалась по дороге к своему дворцу Мария Стюарт, строится новый — точное воспроизведение погибшего.

Тут нелегко отыскать, как и в Италии и Греции, неприкосновенными развалины храмов, жилищ и улиц, одиноко пробивающихся сорными злаками между чуждых громад позднейших времен.

Шотландцы, как и англичане, при всей своей консервативности, сохраняя многое из быта предков, не отказываются совершенствовать его тем, что поставляет технический прогресс.

Не все ли равно, что дом с дымящей трубой, прилепленной к черепичной, покатой «готической» крыше, точная копия вчерашнего и позавчерашнего, что это плод фантастической смеси веков?

Шотландцы отличаются от англичан не только иным произношением тех же слов, внешним типом, темпераментом, но и характером. Антагонизм между «двумя ветвями одного дерева» необычайно силен. Англичане постоянно высмеивают шотландцев, за что те им платят сторицею. Шотландские остроты попадают прямо в цель, так как их измышляет ум более подвижной и гибкий, глаз более зоркий, язык острый и меткий.

Враждебность англичан обострена неравенством. Шотландским банкирам, промышленникам, помещикам принадлежат основные богатства страны. Они владеют неизмеримыми землями, стадами и поместьями на родине, подземными сокровищами, плантациями в колониях.

Карл часто перечитывал романы Вальтера Скотта, и сейчас ему казалось, что он раньше уже видел и хорошо знал природу, нравы и людей этого горного, сумрачного края. Глядя на удивительный цвет волос местных жителей, позаимствовавших краски у пунцового северного солнца и золотого приморского песка, он вспомнил такие же у маленькой дочери Лауры, уна-

следовавшей их оттенок от своей прабабушки, шотландки Женни оф Питароо.

Многое в Шотландии напоминало Карлу рассказы, слышанные в семье Вестфален об их предках-бунтарях Аргайлях и Комибл, героях многих книг Вальтера Скотта.

Бесконечны парки и леса вокруг замков шотландской знати. В охотничью пору кавалькады помещиков скачут на дорогих конях в сопровождении собачьей своры и загонщиков. Эхо в горах повторяет собачий лай и вой охотничьего рога в пустых бесконечных пространствах Шотландии, где черную землю сосут только травы, которые не всегда успевают выполоть ленивые овечьи стада.

Карл приехал в Лондон отдохнувшим. Вскоре, закончив свои дела в Трире и получив небольшое наследство, вернулась домой также и Женни.

Летом того же года, после четырех с половиной лет тюремного заключения, в Англии очутился портной Фридрих Лесснер, один из обвиненных по Кёльнскому процессу коммунистов. В тюрьме, как и на протяжении всей своей жизни, девизом коммуниста Лесснера было: мужество, выдержка и надежда. Он называл их своими верными спутниками.

В Лондоне Лесснер отыскал Фрейлигната, служившего в одной из контор столицы. В беспорядочной шумной квартирке, где жили поэт, его жена и пятеро резвых детей, Лесснер встретил Вильгельма Либкнехта и с ним отправился на Дин-стрит, 28.

Ему обрадовались там, как долгожданному, родному человеку. Карл очень заботился о своих соратниках. Он тотчас же принялся помогать Лесснеру в поисках жилья и работы и успокоился только тогда, когда все это было устроено.

В первое же воскресенье портной был приглашен провести день вместе с семьей Маркса за городом.

Был жаркий день, и участники прогулки решили отправиться на холмистые луга между Хэмпстедом и Хайгейтом.

С самого утра Ленхен занималась приготовлением еды для пикника. Она достала свою вместительную корзину, которую хорошо знали все домочадцы и друзья Маркса. Ленхен привезла ее некогда из Трира. Соломенная корзина сопровождала Женни и детей во всех их поездках и семейных прогулках. В ней лежали вкусно приготовленные кушанья: поджаренная телятина, пирог с саговой начинкой, фрукты, сахар и чай в кульках.

К одиннадцати часам пришли Лесснер и Вильгельм Либкнехт, частый попутчик в этих походах. Ленхен без долгих слов

нагрузила его своей заманчивой кладью. Веселая компания двинулась в путь. До намеченного места из Сохо было добрых два часа ходу, но это никого не смущало. Все были большие любители пешего передвижения и рвались прочь из пропахшей пылью и угольным перегаром столицы.

Воскресный город томился от безысходной скуки. Людно было только у пивных и церквей. По улицам проезжали экипажи с нарядными господами и дамами, прячущими лица от солнечных лучей под широкими полями шляп и куполообразными разноцветными маленькими зонтиками. За Примроз-хилл город как бы отступал и начинались пустыри, рытвины, холмы, проселочная неровная дорога. Дети мгновенно преображались и принимались на встречных лужайках со смехом и песнями отплясывать негритянские, шотландские и главным образом импровизированные танцы. Взрослые подтягивали знакомые мелодии и хлопали в ладоши.

Пели шуточные, смешные своей чувствительностью и напыщенностью романсы, арии из модных опер, народные песни. С притворной важностью тянули медленные патриотические гимны. Особенно старались заглушить друг друга Карл и Вильгельм. У первого был густой баритон, а у второго — жидковатый тенор.

— «О Страсбург, Страсбург — дивный город»,— запевали они дуэтом, и все хором подхватывали эту полюбившуюся им немецкую песню.

Девочки просили отца рассказать им какую-нибудь фантастическую историю. Никто не умел так искусно выдумывать чудесные, полные необычайно сложных приключений сказки, как Мавр. Они подразделялись не на главы, а на мили — по количеству пройденного пути.

— Расскажи еще одну милю, Мавр, пожалуйста,— просила Лаура,— мы к этому времени как раз доберемся до Хэмпстед-Хис.

Если отец отказывался, девочки обращались к матери:

— Мэмэ, Мэмэ, попроси Мавра. Тебе он не откажет.

Карл сдавался, и сказка продолжалась.

Дорога на Хэмпстед-Хис пролегала по отлогим холмам и пустырям, поросшим густым дроком и низенькими рощицами. Множество горожан устраивали тут пикники, расположившись на жидкой траве.

С пустынного, незастроенного крутого холма Хэмпстед-Хис хорошо был виден Лондон — могучий колониальный штаб, город

банков, роскошных магазинов, дворцов и особняков, мощной промышленности, черных лачуг и мрачных трущоб.

Вдали над крышами домов поднималось строгое, готическое Вестминстерское аббатство и круглый купол англиканского собора святого Павла. Серой лентой вилась Темза.

Хороши окрестности британской столицы. До самого горизонта тянутся зеленые пологие холмы, пересеченные добротными проезжими дорогами. Даже в редкие солнечные дни прозрачная дымка испарений никогда не исчезает, не рассеивается над Англией.

После серости Дин-стрит, после нагромождения каменных домов все вокруг казалось прекрасным, хотя растительность была чахлой и неказистой. Веселясь и шаля, добирались путники до тенистой холмистой местности, где можно было расположиться и позавтракать.

Домовитая Ленхен мало интересовалась открывшимся пейзажем и принималась выкладывать на клетчатую скатерку, постланную под низким дубом, провизию из своей заветной корзинки. Карл и Женни слушали, усевшись на траву, волнующий рассказ Лесснера обо всем пережитом в заключении.

— Мое прошлое в заключении — это сплошная цепь несчастий и неприятностей,— говорил недавний заключенный,— но я благодарен и за это судьбе, я стал сильнее, еще глубже понял свое положение и свою жизненную задачу. Нужно всегда помнить, что жизнь рабочего от колыбели до гроба — это непрерывная борьба, без борьбы нет жизни.

— Видел ли ты в тюрьме Даниельса? Этот настоящий человек и борец не вынес заключения, заболел смертельной формой чахотки,— заметил Маркс грустно.

— В этом нет ничего удивительного. Условия, в которых нас держали, были невыносимыми. Голод, насекомые, холод. В камере, где я некоторое время находился с Даниельсом, было так холодно, что у меня возникло ощущение, что я никогда больше не смогу согреться. О том, что нам пришлось и физически и морально выстрадать, могут засвидетельствовать четыре голых и сырых стены тюрьмы. Если бы они могли говорить, что бы услышали тогда люди... В особенно нетерпимых условиях находились мы все, осужденные по процессу в Кёльне.

Покуда шел этот разговор, девочки повели Либкнехта в соседнюю рощицу.

— Скажи, Лайбрери, как называется это растение? — спрашивали его то Женнихен, то Лаура.

За точные, исчерпывающие ответы на все вопросы дочери Маркса давно прозвали Либкнехта «Библиотекой» — Лайбрери.

— Что за чудесные цветы! Я уверена, что венок Титании был сплетен именно из таких же! — крикнула Женнихен.

— А я думаю, что венок царицы ночи был из темных роз,— возразила Лаура.

— Это незабудки,— очевидно, здесь где-то заводь,— сказал Либкнехт, любуясь сорванными цветами.

— Лайбрери, как всегда, прав, вот и пруд. Как здесь красиво! — *шумно выражали свое восхищение девочки.*

С букетом быстро вянущих незабудок все трое повернули назад. Их уже громко звали.

Подкрепившись едой и питьем, взрослые участники прогулки, *выбрав поудобнее местечко, расположились* кто подремать, кто почитать газеты. Женни и Лаура отыскали сверстников и принялись играть в прятки, перегонки и жмурки. Внезапно Карл увидел неподалеку дерево каштана со спелыми плодами.

— Посмотрим, кто собьет больше,— громко вызвал он всех на состязание.

С криками «ура» пошли на приступ Либкнехт и Лесснер, но Карл превзошел всех в ловкости. Он рьяно целился, бросая камешками, и, если не попадал в каштаны, неистовствовал. Когда под победные возгласы последний плод упал на землю, бомбардировка наконец прекратилась. Тут только Карл, изрядно вспотевший, почувствовал, что не может больше двинуть правой рукой. В пылу обстрела дерева он не заметил, как перенапряг мускулы.

В этот счастливый день выпало и другое чудесное развлечение — катание на осликах. Карл ликовал не менее своих детей. Взобравшись на осла, он изображал то Санчо Пансу, то самого Дон-Кихота. Женни должна была быть Дульсинеей Тобосской.

У самой вершины холма находилась старая харчевня — «Замок Джека Стро», очень нравящаяся Марксу. Он обычно выбирал столик у низкого окна, выходящего на запад. Хозяин разносил посетителям кружки с имбирным пивом и тарелки с хлебом и сыром. Вдали из окон открывался вид на Хайгейтскую возвышенность, поросшую деревьями и диким кустарником. На ней находилось кладбище Хай Гейт. Белые памятники и надгробья четко вырисовывались среди свежей зелени. Карл подолгу смотрел на эту тихую обитель мертвых.

Женнихен и Лаура играли в лапту на густой траве. К ним

часто присоединялись и бегали взапуски Мавр и его товарищи. Долго не умолкал тогда веселый смех.

Совсем уже стемнело, когда, насладившись в полной мере воскресным отдыхом, все отправились домой. Усталые девочки шли подле отца и матери. Легкая грусть о том, что все уже прошло, подкрадывалась к ним вместе с утомлением. Зажигались одна за другой на потемневшем чистом небе звезды. Женнихен запрокинула темноволосую головку. Не отрываясь, она смотрела вверх и вдруг начала говорить быстро, как бы в каком-то необъяснимом экстазе импровизации:

— Когда-то, давным-давно, звездные люди слетели на землю. Их крылья сломались. Тщетно рвались они назад в небо. С тех пор на звездах всегда по ночам мигают маяки. Зовут их и указывают обратный путь.

Глаза Женнихен расширились и блестели, она продолжала декламировать.

— Сокровище мое,— встревоженно прервала вдохновенные стихи дочери Женни Маркс и провела дрожащей рукой по лбу девочки.— Не больна ли ты?

— Она не по годам развита. Таким же был наш дорогой Муш. Мы потеряли уже стольких детей,— продолжала испуганно мать, обращаясь к мужу.

А Женнихен уже вприпрыжку бежала догонять сестру.

— Успокойся, дорогая. Наша пифия, как ты видишь, воплощенное здоровье,— взяв руку жены, ласково и твердо сказал Маркс.

Воскресенье проходило быстрее всех других дней недели.

В 1856 году несколько сот талеров, доставшихся по наследству после смерти Каролины фон Вестфален, дали возможность семье Маркса переехать из «старой дыры», как называл Карл Дин-стрит, в более здоровую, отдаленную от центра, расположенную в холмистой и зеленой части города местность и поселиться впервые за все годы пребывания в Лондоне в отдельном, удобном небольшом домике. Арендная плата за квартиру в районе Ридженс-парка в северной части столицы составляла 36 фунтов стерлингов в год. Это была дорогая цена, но Женни получила еще одно небольшое наследство от родственников в Шотландии, и вся семья смогла ненадолго передохнуть в более сносных условиях.

Добраться к миниатюрному домику, где поселился Маркс,

было трудно. Графтон-террас Мэйтленд-парк совсем не походила на обычную улицу большого города. Это был пустырь, на котором среди нагромождения камня, глины, выкорчеванных пней и мусорных куч стояло несколько домов. Настоящей дороги к ним не было. Все вокруг находилось в процессе возникновения и стройки.

Если шел дождь, столь частый в Лондоне, пройти по глинистой, скользкой почве было сущим испытанием для жителей Графтон-террас. Грязь густо облепляла ноги, мешала двигаться. С сумерек улица погружалась в непроглядный мрак, так как ни одного газового фонаря на ней еще не было. Но Женни с добрым юмором относилась ко всем неудобствам нового местожительства и радовалась от всей души светлому домику, казавшемуся ей дворцом после темного жилища на Дин-стрит.

«Это поистине княжеская квартира,— писала Женни,— по сравнению с прежними дырами, в которых нам приходилось жить, хотя все ее устройство обошлось не многим более 40 фунтов стерлингов... я казалась себе прямо-таки величественной в нашей уютной гостиной. Все белье и остатки прежнего величия были выкуплены из ломбарда, и я с удовольствием вновь пересчитала камчатные салфетки еще старинного шотландского происхождения. Впрочем, великолепие длилось не долго, пришлось снова снести одну вещь за другой в «поп-хаус» (так дети называют таинственный дом с тремя шарами): все же мы успели порадоваться окружающему нас житейскому уюту».

Покуда Женни Маркс относит снова в ломбард, вывеской которого служат три золоченых шара, вещи, Карл до поздней ночи пишет книгу по политической экономии, корреспонденции для газеты «Нью-йоркская трибуна», письма в Манчестер Энгельсу и единомышленникам. Иногда статьи по разным вопросам за подписью Маркса посылает за океан Фридрих Энгельс. Больше трети всех статей, помещенных в «Нью-Йорк дейли трибюн», написаны этим бескорыстным и верным другом. Точно так же и Карл помогает Фридриху то советами, то тщательным подбором в Британском музее необходимых материалов по различным теоретическим вопросам. Оба они подчас целыми днями работают друг для друга. Каждый дополняет другого.

«Нью-Йорк дейли трибюн», одна из наиболее читаемых в Соединенных Штатах газет, имела до двухсот тысяч подписчиков. С 1851 года Маркс был ее постоянным сотрудником. Издатель газеты и один из ее редакторов, социалист Дана, безжалостно эксплуатировал его, зная, как Маркс нуждается в деньгах.

«Социализм Дана сводится часто к мерзкому мелкобуржуазному надувательству»,— говаривал Энгельс.

Дана, случалось, платил Марксу только половину полагавшегося гонорара, хотя повсюду хвастался его участием в газете и сам отлично знал, какого необыкновенного автора приобрел. Имя Маркса увеличило спрос на газету. Он становился все более известен в Америке.

Тщетно Карл стремился к тому, чтобы получить возможность заниматься исключительно наукой. Он страдал и часто жаловался Энгельсу и Женни:

— Ух! Как надоело мне газетное бумагомарание. Оно отнимает много времени, рассеивает внимание и ничего не дает. Чисто научная работа — совсем другое дело. Оба мы с тобой, Фридрих, заняты не тем, чем следует. Каково тебе в конторе и на бирже. Представляю, как воешь ты между волками, куда занесли тебя обстоятельства.

Ежедневно по утрам, после завтрака, выкурив сигару, Карл брал черный дождевой зонтик, без которого трудно обойтись в Лондоне, и отправлялся в читальный зал Британского музея. До остановки омнибуса его провожали старшие дочери. Они горячо любили отца, обращались с ним запросто, как с равным, и называли неизменно Мавром за оливковый цвет лица и иссиня-черную с сединой гриву волос.

Только к вечеру возвращался Маркс домой. За обедом, когда собиралась вся семья, бывало всегда шумно. Усталый Карл ел очень мало, и это вызывало беспокойные расспросы Женни и заботливой Елены Демут. Болезнь печени, которой много лет уже страдал Карл, требовала строгой диеты, но он предпочитал острую пищу, соленья, копченую рыбу, ветчину, пикули и пряности.

Поднявшись из-за стола, Карл долго прохаживался из угла в угол маленькой гостиной. Каждую свободную минуту он посвящал детям, радуясь, как и они, наступающим воскресеньям. Если изредка в праздничный день в домике Маркса появлялся Фридрих Энгельс, все три девочки встречали его радостными возгласами. Не только Женни, но и Ленхен торопилась поделиться с Фридрихом всеми событиями последнего времени. И для каждого у него было ободряющее слово и шутка.

В июле 1857 года Женни родила седьмого ребенка, но лишь для того, чтобы тотчас же похоронить его. Он прожил всего несколько минут после рождения.

Из Америки вернулся в Лондон тяжело больной чахоткой

Конрад Шрамм. Его появление столько же обрадовало, сколько и опечалило Карла и Женни. Их верный друг быстро приближался к могиле. Душный и пыльный Лондон был невыносим для умирающего, и друзья уговорили его поехать на цветущий остров Джерси, где находился в это время больной Фридрих Энгельс.

К осени Карл отправился проведать своих друзей. Он застал Энгельса окрепшим и деятельным, но Конрад доживал последние месяцы. Сжигаемый лихорадкой, крайне возбужденный, совсем еще молодой, пылкий, отзывчивый, искренний, он напоминал чем-то Георга Веерта, умершего немногим более года назад в Гаване.

Карл был все еще весьма опечален преждевременной смертью молодого поэта и считал ее невозвратимой потерей для коммунистического движения, поэзии и литературы.

Тяжела была для него и вскоре наступившая кончина Конрада Шрамма.

Совершенно оправившись от затянувшейся болезни, Энгельс вернулся в Манчестер с острова Джерси. Была глубокая осень. Шли дожди. По настоянию врачей Энгельс проводил в конторе всего несколько часов в день. Он предался давнишней страсти — верховой езде и охоте. Слякоть и туманы не останавливали его. Он носился на крепком коне по особенно угрюмым в эту пору года полям и перелескам вокруг текстильной столицы, подстреливая лис и зайцев.

Редкий день не появлялся он на бирже. Тщательно одетый, подтянутый, он заметно выделялся среди снующей по залу возбужденной толпы биржевиков. Маклеры почтительно кланялись и расступались перед молодым купцом. Биржевые шакалы старались по настроению Энгельса определить, каков балл разбушевавшейся стихии кризиса. Они сердито перешептывались, подметив его хорошее, бодрое настроение. Действительно, в эти дни биржа мгновенно разгоняла у Энгельса скуку. Он охотно поддразнивал и вызывал ярость у купцов и биржевых игроков, предсказывая мрачное будущее их акциям.

Энгельс, исполненный надежд, что кризис всколыхнет пролетариат, жадно изучал приметы экономического тупика, в который зашла буржуазия на обоих полушариях.

«Кризис так же полезен мне, как верховая езда и морские купания,— думал он весело,— за последние семь лет я, право,

начал увязать в [illegible]куазной тине. Нужно скорее и начисто смыть ее с себя».

Экономические потрясения несли Энгельсу, как промышленнику, значительные материальные потери, но безмерно радовали революционера и ученого-экономиста, каким он был прежде всего. Энгельс с удовольствием подмечал панику, растерянность и удрученные мины текстильных фабрикантов, когда приходил в замызганный каменный сарай, превращенный в святилище торговли — биржу. Он подолгу задерживался у огромной грифельной доски, исписанной белыми цифрами. Это были последние сводки с поля биржевых боев — цена акций. Каждая из цифр раскрывала Энгельсу тайну бесчисленных житейских драм. Именно она принесла банкротство почтенной старинной фирме Беннох. Это повлекло гибель пяти других фабрикантов в недавно столь богатом промышленном Ковентри.

Энгельс предвидел, как по всей стране, вплоть до черного Глазго, вследствие краха столь влиятельных фирм разорится множество средних и малых предпринимателей, чьи имена так незначительны, что не указаны в толстом справочнике промышленников и торговцев острова.

В Ливерпуле прядильщики лишились почти всех заказов. На всех фабриках Манчестера введена была неполная рабочая неделя.

Биржа отвечала на кризис, как водная гладь на падение камня и поднявшийся ветер. Пошли круги по вспенившейся воде, закружились акции. Особенно трудно приходилось текстильным фабрикантам. Хлопок, который считался белым золотом века, упал в цене.

Как всегда, в эту кризисную осень там, где жарко грело солнце и редко проливались дожди, миллионы хлопковых коробочек, напоминавших бутоны крупных цветов, созрев и растрескавшись, выбросили комья белой ваты, которая, как пушистые стрелки одуванчика, повисла, зацепившись на жестких кустах. Хлопковые поля, поглотив тяжелый человеческий труд, дали пышный урожай, и, однако, цена на хлопок стала неустойчивой, сбыт упал. Начались затруднения с продажей шелкового сырья. Из Америки кризис перебросился в Европу и втянул в свой жестокий круговорот Англию, Германию, Францию и Италию. Промышленный застой вызвал осложнения в торговле.

У биржи были свои законы и цели. Чиновники и рантье, вложившие сбережения в бумаги хлопковых и шелковых компа-

ний в Европе и Америке, внезапно обеднели, прядильщики ткачи находили закрытыми и безлюдными ворота фабрик.

Как-то, возвратившись с биржи, Энгельс записал свои мысли и поделился ими с Марксом.

«...В четверг положение было отчаяннейшее, в пятницу... так как хлопок снова поднялся на один пенни, то говорили: самое худшее миновало. Но ко вчерашнему дню всех снова охватило такое отчаяние, что душа моя возрадовалась. Таким образом, их радость оказалась чистейшей болтовней, и почти не было ни одного покупателя, так что состояние здешнего рынка осталось таким же скверным, каким оно было и раньше».

* * *

Не желая лишаться русского подданства, Лиза решила покинуть Англию, войска которой уже около года осаждали Севастополь.

Поразительный героизм и стойкость русских войск вызывали все большее изумление и раздражение английского правительства. В русском воинстве особенно четко выявились черты национального характера. Все понимали, что солдаты под Севастополем самоотверженно отстаивают не крепостнический режим, а свою национальную независимость. Оборона Севастополя становилась легендой, и подвиги русских напоминали величавые сцены Гомеровой «Илиады».

Перед отъездом Лиза зашла попрощаться к Герцену.

— Вы едете в блаженную и скучнейшую Швейцарию? Это страна процветающего мещанства, этакая Аркадия лавочников и фермеров! Вам, верно, встретится там Николай Иванович Сазонов, с юношеских лет мой приятель, человек не без дарования и своеобразия. Что ж, поклонитесь ему от меня, хотя мы теперь охладели друг к другу. Первая размолвка произошла у нас еще в тысяча восемьсот сорок седьмом году. Это было в день моего прощания с Белинским в Париже,— говорил Герцен, мягко ступая по дорогому ковру своего нарядного кабинета.— Случилось так, что, возвращаясь от тяжело больного Виссариона Григорьевича, я встретил на Елисейских полях Сазонова. Был я тогда очень подавлен гиппократовой маской — маской смерти, которая легла уже на лицо погибавшего от чахотки друга. Я едва удерживал слезы.

«Жаль,— поняв мое состояние и сам огорченный, произнес Сазонов,— жаль, что Виссариону не нашлось другой деятель-

пости, кроме журнальной, и к тому же подцензурной».— «Ну, знаешь, трудно упрекать его, что он мало сделал»,— возразил я в сердцах.— «С такими способностями, как у Белинского, при других обстоятельствах и на другом поприще он сделал бы куда больше»,— продолжал Сазонов.

Я был весьма раздосадован таким замечанием и спросил его, что сделали, к примеру, русские, живущие вне отечества, полные сил телесных и талантов, не знающие гнета цензуры. Прогуливались, подобно Сазонову, из одного конца Парижа в другой, болтали в кафе, где одни дураки их слушали и, ничего не понимая, молчали, а другие ничего не понимали, но поддакивали. Вот и вся заслуга. Экие герои. Живут на воле долгие годы и без особых трудностей. Положения создаются людьми, сильные обязательно преодолевают препятствия и утверждают себя. А все эти болтуны, зарубежные бродяги в каком-то бреду и лунатизме, в оптическом обмане. Одна критическая статья Белинского во много раз полезнее для нового поколения, нежели игра в конспирацию, в государственных людей, вся напыщенная болтовня многих из наших изгнанников.

— И все-таки,— закончил Герцен спокойнее,— таких людей, как Сазонов, так просто нельзя сдать в архив. Он по природе своей бунтарь, кой-что полезное делал в февральскую революцию, и не случайно вечный странник. Вот только великого значения Белинского не понял достаточно.— Помолчав, Александр Иванович добавил многозначительно: — Государство Российское поставило многих из нас на пьедестал, загнав в тюрьмы и ссылки. Петрашевцы — это наши меньшие братья, как декабристы — старшие.

По пути в мирную Швейцарию Лиза остановилась в Париже, но и там ее национальность вызвала подозрение. Пришлось давать объяснения в полиции.

В первый же вечер, оставив маленькую приемную дочь Асю с няней в отеле, Лиза поехала послушать нашумевшую оперу Адольфа Адама «Жиральда, или новая Психея».

Музыка удивила ее убогостью гармонии, отсутствием подлинной мелодичности и досадным подражанием в инструментовке замечательным мастерам Доницетти и Россини. Однако публика шумно выражала свое восхищение. Адольф Адам был в большой моде и затмил в то время Верди, Гуно и Мейербера. Могущественный журнал «Музыкальная Франция», возносивший или низвергавший композиторов, объявил его гениальным.

Во время антракта Лиза невольно прислушивалась к тому, о чем говорилось вокруг нее в партере:

— Ламартин разорен, не то продал, не то продает свое поместье Милли.

— Виктор Гюго в ссылке пишет «Отверженных». Первые главы великолепны.

— Императрица Евгения на последнем балу носила атласный кринолин на двадцати четырех металлических обручах, украшенный сотнями десятью тюлевыми воланами.

— Александр Дюма-отец собирается в Китай.

— Ротшильд подарил певице Эмме Лаури бабочку, усеянную огромными бриллиантами.

— Французские и английские войска несомненно отпразднуют пасху в Севастополе. У русских нет больше ни снарядов, ни продовольствия.

— Парижский «Буфф» готовит оперетту Оффенбаха. В каждом действии танцуют канкан. Особенно отличается Селина Монтален; она сбивает носком своей туфельки цилиндр с головы партнера.

Центральные улицы Парижа показались Лизе неузнаваемыми. Всюду шла стройка, возводились леса. Наполеон III, несмотря на большие расходы, связанные с Крымской войной, которой не предвиделось конца, был охвачен лихорадочным стремлением прославить себя градостроительством. Он предпринял перестройку старинного города и пытался украшать его наподобие своего предшественника по династии — Наполеона I.

Бонапарт задумал создать Большой Париж и расширить его границы до самых окрестных укреплений, расположенных на расстоянии нескольких лье от центра. Сносились старые дома, уничтожались узкие улочки и тупички, прокладывались широкие проспекты, засаживались деревьями новые бульвары.

— Нужно уничтожить кварталы и предместья, которые созданы, будто нарочно, только для баррикадных боев и народных восстаний,— говорил император в кругу доверенных лиц.— Я приказал проложить громадную артерию, пересекающую Париж с севера на юг. Это будет удобно также для парадов. Я украшу мою столицу великолепными бульварами и домами, достойными Бонапартов.

Для гражданского строительства широко применялось помимо камня железо. Перестройка главного городского рынка преобразила весь квартал. Наполеон ассигновал двадцать миллионов франков на строительство оперного театра.

В лавках торговали сукнами, зонтами, макинтошами из Англии, женевскими часами, китайскими и персидскими коврами, поддельной бронзой, почтовой и иной бумагой, аптекарскими товарами из Германии. Но кое-где на дверях магазинов появились надписи: «Все, что здесь продается,— французское».

Купив несколько платьев и странное, никогда доселе не виданное в женском обиходе одеяние, состоящее из юбки и жакета и называемое, как и у мужчин, костюмом, Лиза поехала в Лозанну. Там она поселилась на спускающейся к озеру улице, самой чистой, добропорядочной и скучной, какую ей приходилось видеть за всю свою жизнь.

Хозяйка отеля была весьма почтенная вдова. Она сообщила постоялице, что свежим цветом своего лица, глубокомыслием и отличным пищеварением она обязана тому, что шестьдесят восемь лет жизни ложилась спать ровно в десять часов вечера. В этот час засыпали швейцарские города.

Для Лизы начались томительные, скучные дни. В том же благонамеренном отеле, где она поселилась, снимали комнаты обеспеченные рентами старые холостяки и вдовы. Среди них было немало сумасбродов и чудаков. Бывший педагог, как скоро узнала Лиза, в течение многих лет был влюблен в свою собственную шляпу: он обращался с головным убором, как с живым существом, называл ее «мадемуазель», клал на отдельный стул во время еды, покупал ей особое место в театрах и всячески подчеркивал вежливостью и вниманием силу своих «шляпных чувств». Брат хозяйки отеля, красивый старик с представительной внешностью патриарха, оказался знатоком и составителем ядов, которые для большей точности исследования то и дело проверял на самом себе. Каждые несколько дней все жильцы меблированных комнат бывали охвачены чрезвычайным беспокойством ожидания — останется ли жить или умрет неуемный ядоиспытатель от найденного им нового ядовитого соединения?

Знаменитый ядоиспытатель проникся к Лизе большой симпатией и однажды уговорил ее поехать к своему другу, специалисту по рыбам. Лиза очутилась в огромном стеклянном доме у озера Леман на окраине Лозанны, превращенном в необычайный аквариум, воссоздающий пестрое, узорчатое морское дно.

Щупленький, необычайно верткий старичок без всяких околичностей принялся, перебегая с места на место, восхищаться тем, что составляло главный предмет его жизни.

— Рыбы — самое прекрасное из всего существующего на

земле,— говорил он, задыхаясь и просительно заглядывая Лизе в лицо.— Согласитесь, что я прав, не случайно человеческое воображение наделило искусительниц сирен рыбьей чешуей. Они полурыбы. С рыбьей чешуей и окраской не могут равняться ни животные, ни тем более неуклюжие, бесцветные люди.

Лиза и не пыталась оспаривать слова столь вдохновенного знатока естественных наук. Но когда в течение нескольких часов подряд он читал ей лекцию о великолепии обитателей рек, озер, морей и океанов, она ощутила приступ острой меланхолии и ненависти к рыбам. На помощь ей пришел слуга с докладом.

— Господин Сазонов.

Лиза вздохнула с облегчением. Неожиданный гость избавил ее от водного многословия хозяина дома.

— Я много слышала о вас, Николай Иванович,— приветила Лиза вошедшего господина лет сорока, в претенциозном одеянии, состоявшем из чрезмерно узких светлых брюк и ярко-рыжего длинного сюртука. Большой бант под подбородком довершал вычурность его костюма. Манеры и осанка у Сазонова были барственные и внушительные. Но холеное болезненно-бледное лицо с широкими скулами, впалыми щеками казалось усталым и вместе брюзгливо-избалованным. Кожа на широком носу была словно покрыта паутинкой из лиловых и пунцовых прожилок.

Лиза знала многое о Сазонове по рассказам Бакунина: этот человек, крайних взглядов, мятущийся, участвовал в революции 1848 года в Париже и вместе с тем, в кутежах промотав свое состояние, дошел до долговой тюрьмы.

— Из России-матушки? — спросил Сазонов Лизу несколько глуховатым голосом и улыбнулся неожиданно грустной, старящей его улыбкой.

— Нет, из Лондона. Герцен говорил мне как-то, что вы были высланы из Франции в тысяча восемьсот пятидесятом году и в ту же пору Николай Первый лишил вас всех прав состояния и изгнал навечно из пределов своего государства.

— Да, было дело,— как-то смущенно ответил Сазонов и с явным беспокойством посмотрел на Лизу.

«Знает или не знает, что я под псевдонимом Штахеля печатаюсь нынче в петербургских «Отечественных записках», а не в «Современнике», где всем заправляет Чернышевский?» — подумал он. Но нет, Лиза ничего об этом не знала. Сазонов быстро успокоился.

— Для лучшего знакомства не угодно ли вам прочесть на досуге, как мой друг, почтеннейший Флокон, заступался за меня

в своей газете. Я ведь тоже был ее редактором в тысяча восемьсот сорок восьмом году и ведал иностранным отделом. Да, это были лучшие дни жизни человечества, горячие, неповторимые годы.

Сазонов достал из сафьянового портфельчика измятый номер «Реформы» далекого 1850 года и отдал его Лизе. Он не скрывал, что гордился своим прошлым. Только днем позже Лиза прочла статью во французской газете о своем новом знакомом.

«Гражданин Сазонов, русский демократ, мирно жил во Франции в течение десяти лет; он женился здесь и три месяца тому назад предложил нам свое сотрудничество в деле всеобщего возрождения. Его обвинили в том, что он злоупотребил правом убежища, вмешиваясь во внутренние дела приютившей его страны. Это — или ошибка, или ложь. Сазонов занимался иностранной политикой, а так как теперь вся европейская политика совершается на севере, то кто же лучше, чем северянин, мог объяснить ее главную идею и цель. К этому прибавили упрек, несколько странный в демократической республике, в том, что русский изгнанник участвовал в великом демократическом европейском комитете. Этот комитет никогда не существовал. Наш гость был редактором «Реформы». «Реформа» приговорена к смерти».

Лиза и Сазонов стали часто встречаться. Однажды они совершили прогулку по озеру Леман к Монтре, откуда открывается величественный вид на альпийские вершины. Сазонов был особенно разговорчив в этот день. Он многое изучил и повидал на своем веку, был дружен со многими интересными людьми. Лизе нравилась его манера говорить, несколько, впрочем, излишне гладкая и самоуверенная. «Точно с листа читает»,— дивилась она про себя.

— Вам не надоели еще англичане? Они ведь пережевывают идеи и всяческие новшества веками, поколениями, воспринимают, как бы это точнее выразиться, атавистически.

— Нельзя, право, делать такие обобщения обо всей нации в целом. Англия дала миру Шекспира, Шелли, Ньютона,— попыталась возразить Лиза.

— Это исключения, подтверждающие правило,— настаивал Николай Иванович.— Революционная искра, сжигающая сухие леса и степи на материке, еле тлеет в сырой траве острова, погруженного в туман. Сильна там броня традиций, застывших истин, переходящих от поколения к поколению. Швейцария, впрочем, в этом смысле младшая сестра Альбиона. Консерва-

тизм и недоверие мелких буржуа безграничны. Это худшие из человеческих тварей. Я выходец из помещичьей среды. И, признаюсь, рад, что не родился в семье лавочника или фабриканта. Узнав с детства крепостнический строй, сам по рождению дворянин, я смог подняться над своим классом и бросить ему вызов, да, именно перчатку. По образу мыслей и по направлению своему я, да будет вам известно, принадлежу к числу тех, которые верят, что наука и промышленность одни только могут привести нас к завоеванию свободы, что в последующем своем развитии они дадут нам новые верования, новое искусство и гражданское устройство, согласное с требованиями и нуждами современного человека.

— Позвольте,— раздумчиво произнесла Лиза,— эти слова ваши не навеяны ли книгою, которую я читала давно, лет восемь назад, в Брюсселе? Она называлась, кажется, катехизисом коммунизма.

— Вы ошиблись названием. Это не катехизис, а «Манифест Коммунистической партии». Я не стихотворец, но считаю сей документ чистейшей, великолепнейшей поэзией. Хотите послушать его по-французски? Это мой перевод.

И Сазонов принялся наизусть читать отрывки из «Манифеста».

Закат, похожий на огромную радугу, перекинулся с горы на гору. Вода озера казалась такой плотной, что хотелось коснуться ее ногой и пойти к отлогому берегу. В Монтре один за другим вспыхивали огни. Становилось прохладно. Пароходик обратным рейсом повез Лизу и Николая Ивановича в смирную, чистую Лозанну.

— Я мечтал организовать журнал и привлечь в него Маркса, Герцена и Мадзини.

— Возможно ли? — удивилась Лиза.— А впрочем, это было бы очень хорошо. Все они, да вот еще Бакунин, самые замечательные человеколюбцы на земле.

— Вы ошибаетесь, я знаю всех троих, они совсем разные,— оживленно заговорил Сазонов.— Искандер — Герцен — не столько человек убеждений, сколько пылких увлечений; я знаю его больше четверти столетия, он порывист, неустрашим, но это не теоретик, хотя весьма способный, честный и памятливый. Мадзини во многом с ним схож, но к тому же еще и неистовый фанатик. А Маркс...— тут Сазонов поднял руки, ему, казалось, не хватало слов,— гигант! Для него нужны иные мерила. Тут масштаб вселенский. Я враг авторитетов и вообще терпеть не могу

немцев. Но тут ничего не скажешь, он человечище, каких не сыщешь сейчас.

Сазонов весьма редко отзывался безоговорочно хорошо о комлибо. Тем более неожиданно для Лизы прозвучала эта его похвала. Она смолчала; ее всегда настораживала чрезмерная похвала кому-либо. К тому же Бакунин передал ей двойственное, скорее неприязненное чувство, которое сам испытывал к Марксу.

Желая перевести беседу на другое, Лиза спросила Сазонова, какими путями, по его мнению, следует идти России.

— Извольте, я повторю то, что напечатал в своей брошюре, изданной Герценом недавно в Лондоне.

— «Родной голос на чужбине»? Я слыхала об этой вашей статье, но еще не читала ее.

— Я адресовал ее нашим пленным, привезенным из-под Севастополя во Францию. Я выдвигаю следующие три задачи.

Первая. Свергнуть иго царского правительства, сплошь из немцев, которое давно, с тысяча восемьсот пятнадцатого года, изменило народности и действует только в пользу царской фамилии и ее немецких родственников, забывая истинное величие России и счастье ее и все указания великого Петра. Для этого не надо нам иностранной помощи, мы и одни справимся, а отечество освободит от присяги и войско и народ.

Вторая. С новым русским правительством во главе мы все уладим у себя дома и по соседству. Дома мы немедля и без оговорки дадим всем крестьянам нашим разом и вольность и землю.

Третья. По-соседски мы подадим полякам братскую руку, и когда их независимость будет восстановлена, то вместе с ними займемся устройством всего славянского мира.

— Как прекрасно то, что вы сказали! Вот и Бакунин хотел того же,— не скрыла своего восхищения Лиза.

Давно уже сумерки растворились в черной ночи. Исчезло во мгле озеро и горы. Фальшиво играл оркестр в ресторане. Уныло перекликались пароходные сирены. Вдалеке, как сквозь густую вуаль, поблескивали огни маленьких швейцарских селений и городов.

Сазонов укутал Лизу клетчатым пледом и заговорил о том, как она привлекательна. Лиза не прерывала его. Долгое одиночество измучило ее и невольно подстрекало, пробуждало желание чьей-либо близости. Лизе было уже больше тридцати лет. Она любила Бакунина долго и беззаветно, но не была никогда

им по-настоящему любима. Что-то кошачье, ласковое, неверное и вместе капризно-детское появлялось в Сазонове, когда он хотел понравиться женщине.

— Вам, конечно, говорили, что вы, как цыганка, зазывны и хороши. Жизнь наша стремительно несется к своему концу, и время цветения так коротко. Зачем же бежать от счастья? — нашептывал он вкрадчиво.

С большим трудом Лиза превозмогла себя и, отшучиваясь, вырвала руку, которую Николай Иванович пытался поцеловать.

Пароход причалил к голубой пристани Лозанны. На следующее утро в букете левкоев Лиза нашла письмо. Это было признание в любви. Она с ужасом поймала себя на том, что без конца перечитывает напыщенные, где-то как будто уже слышанные ею фразы, четко и красиво выписанные на листе кремовой веленевой бумаги.

«Вы похожи на южный цветок с чуть опавшими от засухи лепестками. Вам нужна живительная влага нежности и любви. Не отбрасывайте того, кто протягивает вам такое же усталое от жгучего одиночества сердце».

«А что, если не отринуть его, поверить, полюбить?» Лиза сидела в глубоком раздумье. И в это именно время к ней постучалась и вошла жена Сазонова. Это была дебелая, толстая нерусская дама с отвисшими щеками, сухой нечистой кожей и густой растительностью над верхней губой, которую не мог скрыть густой слой белой пудры. Заняв половину плюшевого дивана своей особой, она принялась оживленно и даже с видимым удовольствием рассказывать Лизе о донжуанских похождениях своего мужа. Говорила она долго, не скупясь на разные подробности.

— А про Сибиллу Гесс и то, как поступил с нею мой Николя, вы, верно, слыхали в Лондоне? Он тогда и женился на мне. Так ей и надо. Все знают, что Моисей Гесс, ее муженек, уже не в силах поднять свою отяжелевшую голову, так много на ней выросло рогов.

— Что вам нужно от меня? — сильно пожелтев, как всегда, когда волновалась, спросила Лиза госпожу Сазонову.

— Ничего. Мне вас попросту жаль. Русские очень странные люди, и как они поступят, никогда нельзя знать. Но считаю нужным предупредить вас: если бы не Гесс, а потом я, Николя снова очутился бы в долговой тюрьме. Он в долгах, как в цепях.

Сазонова с трудом подняла свое пышное тело с дивана и

важно покинула комнату. Лиза погрузилась в невеселые размышления. В висках у нее стучало. В это время, как апофеоз удручающего фарса, участницей которого она едва не стала, на улице перед окнами отеля раздались звуки шарманки. Слабый, довольно приятный мужской голос запел арию из модной оперетты «Корневильские колокола»:

И англичанки, немки, испанки,
И португалки, словом, весь мир,
Меня пленили, любовь дарили,
Создать сулили мне мой кумир.

А Лиза думала: «Отчего Сазонов, талантливый, знающий, в то же время никчемен? Вино, лень или безвременье растлили его? Какую бездну сил душевных сгубил он в себе попусту».

Ей припомнился Бакунин. Было что-то схожее и вместе разное в этих людях, близко знакомых друг с другом, родившихся в одну пору и взращенных как бы в одной колыбели. Лиза содрогнулась и отогнала испугавшую ее мысль о тождестве этих двух людей.

«Бакунин стоик, самоотверженный боец, овеянный славой, а Сазонов с его знаниями политики, истории, четырех языков краснослов и позер, неудачник, пустоцвет, женолюб и кутила,— написала Лиза в своем дневнике.— Но виноват ли он в судьбе своей, в том, что стал таким? Как определить ту долю вины, что падает на каждого из нас, и ту, что зависит от нашего окружения и времени? Юность Сазонова, да и мою, определить можно только герценовскими словами — «нравственное душегубство». Оно убивает душу не только Алексеевским равелином и рудниками, но бездушностью своей, страхом и подавленностью, и диву даешься, как могли у нас сложиться такие героические души, как декабристы, Белинский, Огарев, Герцен, Бакунин и все те, кто томится сейчас по делу Петрашевского на каторге. Эти люди всему учились, дерзали и гибли ради святого дела пробуждения и счастья России. Идеи их были романтичны и прекрасны. Они твердили людям о героизме монтаньяров, пересказывали учение утопистов, проповедовали необходимость революции, свержения самодержавия, а главное, учили ненавидеть всякое насилие и произвол».

* * *

В феврале 1855 года умер Николай I. Крымская война окончилась для царской России тяжелым поражением. Падение геройски сопротивлявшегося Севастополя стало неизбежным. Од-

на неудача следовала за другой. Деспотичнейший из монархов оказался перед позором банкротства всей его системы. Умер ли он естественной смертью или отравился, как упорно говорили при дворе и в народе, но Николая I наконец не стало. Вздох облегчения вырвался из груди многих русских людей. Дышать стало легче. Точно вериги свалились с измученного тела России. Ждали амнистии, освобождения крестьян и верили в доброе будущее.

Вскоре весть о смерти Николая I дошла до Швейцарии и, воскресив заглохшие было надежды, всколыхнула русских людей в изгнании.

Согласно Парижскому мирному договору, Россия лишалась права держать военный флот в водах Черного моря, но, за исключением небольшого района в устье Дуная, не потеряла других земель. Немногие оставшиеся в живых декабристы после тридцати с лишним лет каторги и изгнания возвращались в Петербург и Москву. Шли смутные слухи о реформах, но ничего определенного не было. Лиза смогла наконец оставить постылую страну гор. Помочь Бакунину выбраться на свободу становилось отныне осуществимым делом. После краткого увлечения Сазоновым Лиза испытывала угрызения совести. Ей все время казалось, что она чем-то провинилась перед Бакуниным.

— Изменить можно и в мыслях,— говорила она себе с укором.

Тотчас же по приезде в Лондон Лиза узнала, что Бакунина из Шлиссельбургского каземата, где он находился, увезли на поселение в Сибирь. Местом жительства была определена Нелюбимская волость Тобольской губернии.

Как-то утром в красивый коттедж в Примроз, где поселилась Лиза Мосолова, пришел Сигизмунд Красоцкий. Этот немолодой седоволосый поляк давно был ей очень симпатичен, но никогда обстоятельства не давали им возможности ближе познакомиться.

— Умер Ворцель. Гордость польских патриотов и святой человек. Не имея сил уже говорить, он написал за день до смерти своей: «...я выстоял мой черед, как следует человеку, я донес мой крест, пусть другой меня сменит».

Не совладав с собой, Красоцкий зарыдал. И сразу светская отчужденность, неуловимая преграда, встающая между душевно чистым мужчиной и женщиной, рухнула. Слезы человека, который плачет в жизни считанное число раз, тяжелы, как горные

обвалы. Подавленный собственной слабостью, Сигизмунд смущенно сказал:

— Я проливаю слезы сегодня не один.

Вместе с Герценом, Мадзини и Красоцким Лиза пошла в один из первых дней февраля за гробом Ворцеля, этого замечательного демократа, участника польского восстания 1830 года. Он умер в бедной комнатке, находясь на грани полной нищеты. Английские друзья оплатили его похороны, итальянцы, русские, поляки, немцы, сменяясь, понесли его тело к могиле. Малиновое знамя обвивало простой гроб.

После похорон Красоцкий рассказал Лизе о последних часах Ворцеля.

— Приступы астмы окончательно добивали его хрупкое тело. Я не отходил от больного. Он жестом подозвал Мадзини. Тот приблизился. Мой учитель и друг едва слышно потребовал от нас обета, что до последнего вздоха мы будем бороться за то, чтобы Польша не была забыта при освобождении всех народов мира. «Клянитесь!» — приказал он, приподнявшись с узкого дивана, и лицо его преобразилось. Вдохновенная надежда, несокрушимая убежденность отразились в снова вспыхнувших и посветлевших глазах.

После долгой паузы Лиза спросила, хотел ли он что-либо передать жене и детям.

— Мадзини, его душеприказчик, когда писал под его диктовку завещание и последние письма к друзьям, задал ему этот вопрос. «Мне им нечего сказать»,— ответил умирающий и отвернулся к стене.

— Какой суровый приговор, он звучит, как проклятие,— заметила Лиза.

— Сын Ворцеля — видный русский чиновник, дочь, вышедшая замуж за графа, и жена, сохранившая богатство мужа, никогда не только не протянули ему руку помощи, но и отреклись от него. Герцен о таких людях справедливо говорит, что они выжили из сердца, подобно тому как выживают из ума,— печалился Красоцкий.

Лиза заговорила о Бакунине.

По ее мнению, с которым соглашался и Герцен, новый российский самодержец, сорокалетний Александр II, не решится на такие реформы, которые освободили бы людей, подобных Бакунину, и ему не дождаться полной амнистии. Он обречен влачить жалкое существование в глуши, не принося пользы человечеству.

— Мы должны вырвать его из рук царя и его приспешников. Я ничего не пожалею для этого. Пошлите ему деньги.

Красоцкий обещал Лизе все разведать и помочь побегу ссыльного. Он чаще и чаще стал приходить теперь к Лизе Мосоловой в нарядный, окруженный зеленым палисадом домик, один из типичных в зажиточном квартале Примроз. Жизнь всех обитателей проходила в гостиной среди плюшевых гардин, штор, диванов, подушек и тяжелых кресел в дорогих чехлах. По стенам висели в золоченых рамах картины и литографии, изображающие охоту, бега и собак.

Лиза сняла дом внаймы и ничего не изменила в его обстановке. Ей казалось, что она в привокзальной гостинице, откуда вот-вот можно будет тронуться в дальнейший путь.

Красоцкий обычно находил Лизу в детской, где на полу, щебеча и смеясь, играла с шотландским черно-седым терьером Будлсом маленькая курносенькая Ася. Худая веснушчатая Пэгги, ирландка-няня, обычно тут же что-либо шила за столом.

Сигизмунд, которому всегда были рады, усаживался постоянно на одном и том же низеньком детском табурете у камина. Лицо его прояснялось в этой уютной, благожелательной атмосфере, которой он был лишен уже более двадцати пяти лет.

— Я все еще думаю о Ворцеле и ему подобных,— сказала ему как-то Лиза.— Мне хотелось бы заглянуть в их души, такие глубокие и почти таинственные.

Она подошла к жардиньерке, в которой стояли вазоны с хрупкой сиренью, выращенной в оранжереях.

— Посмотрите, в этих соцветиях всего четыре лепестка. Это наши обычные сердца. А вот цветы с пятью лепестками; их мало, и считается доброй приметой, счастьем найти их. Это души избранных.

Лиза прижалась лицом к цветам и замолчала. Пэгги отложила шитье и отправилась в кухню готовить ужин. Ася уже уснула на ковре, прижав к груди плюшевого зайца. Красоцкий сидел не шевелясь. На его усталом лице отражалось недоумение. Но не только о Лизе думалось ему, а о том, что он внезапно понял и ощутил.

«Я люблю эту женщину и не могу больше обходиться без нее. Она не знает и не поверит тому, что и ее сердце — маленькая скромная звездочка сирени, состоящая не из четырех, а из пяти лепестков».

* * *

В 1857 году Британский музей обосновался в специально выстроенном для него огромном здании. Многочисленные колонны украсили вход в эту сокровищницу Великобритании. Там все восхваляло мощь империи, силу колониализма.

Карлу очень понравился величественный читальный зал богатейшей из библиотек мира. Куполообразный потолок увенчивал круглый своеобразный храм, посвященный всему, что создано неповторимым произведением природы — мозгом человека.

Все постоянные посетители читальни имели определенные места, которые закреплялись за ними. Маркс выбрал пятый стол направо от входа, примыкающий непосредственно к стендам со справочниками. Он был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Могучая черноволосая с густой проседью голова Маркса, его крепкий короткий нос, его глубокие блестящие глаза привлекали внимание посетителей читальни Британского музея. Но он не замечал в эти часы никого. Он был во власти дум и творческих порывов.

Всю свою жизнь Маркс испытывал наивысшее наслаждение, отдаваясь мышлению. Способность эта казалась ему вершиной человеческого духа. Нередко вспоминались ему слова Гегеля: «Даже преступная мысль злодея возвышеннее и значительнее, нежели все чудеса неба».

Но мысль Маркса всегда была началом действия, творчества. Маркс готовил книгу «К критике политической экономии». Он исследовал капиталистический способ производства от самого его возникновения.

Решение написать эту книгу возникло у Карла еще в 1843 году в Париже, и это стало делом всей его жизни. Маркс говорил, что готов даже отказаться от платы, в которой так нуждалась его семья, лишь бы издать труд.

В невозмутимой тишине читального зала Маркс просматривал десятки книг по истории политической экономии, перечитывая снова Адама Смита и Давида Рикардо, многочисленные новейшие исследования, статистические отчеты, статьи о состоянии промышленности и техники, сообщения о недавнем открытии золотых приисков в Калифорнии и Австралии.

Энгельс также глубоко проник во внутреннюю сущность капиталистического общества, и Маркс высоко ценил его выводы.

Лондон был в ту пору отличным наблюдательным пунктом для изучения противоречий и кризисов в буржуазном обществе. С этой вершины Маркс снова и снова обозревал мысленно весь

мир, с потрясающей проникновенностью вскрыл и объяснил законы развития и гибели капитализма.

Обычно до семи часов вечера просиживал Маркс за книгами в читальне Британского музея. Непреодолимая тяга к курению заставляла его часто подниматься с удобного кресла, уходить в прилегающий курительный зал. С наслаждением затягивался он плохонькой, дешевой сигарой и медленно выдыхал горьковатый дым.

Иногда после долгого напряженного умственного труда Маркс отдыхал, перечитывая любимых поэтов. С юности помнил и любил боевые гордые слова Архилоха:

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды
пред тобой,
Ободрись и встреть их грудью, и ударим
на врагов!
Пусть везде кругом засады,— твердо стой,
не трепещи!

Иногда его захватывали увлекательные, изобилующие невероятными приключениями романы Лесажа, Поль де Кока и Дюма-отца. Это всегда давало отдых его переутомленному мозгу. Не меньше нравились ему исторические романы Вальтера Скотта, в которых он находил многое из истории шотландских предков своей жены.

Домик, снятый Марксом на Графтон-террас, был просторен и уютен. После мучительных лет нищеты и лишений на Дин-стрит Карл и его семья впервые жили сносно. Но страшные потери последних трех лет все еще угнетали душу Женни, хотя она и старалась не огорчать воспоминаниями близких. С особой нежностью брала она на руки трехлетнюю прелестную, всегда улыбающуюся Тусси, родившуюся за три месяца до смерти Муша. Тосковал по умершему мальчику и отец.

Лето и осень 1858 года были тяжелы для Маркса. Он работал часто до четырех часов утра, и не раз острые приступы болезни печени укладывали его в постель. Долги росли: газетчик, мясник, зеленщик, доктор, взнос в ломбард, башмачник и угольщик преследовали семью, как неотступный кошмар.

* * *

В 1858 году Бакунин поступил на государственную службу в Томске канцеляристом четвертого разряда, купил себе небольшой деревянный домик в этом тихом городе. Обо всем этом Лиза

узнала от Герцена и тотчас же написала в Сибирь. Но Бакунин ей ничего не ответил. Это, однако, не изменило решения Лизы во что бы то ни стало помочь ему бежать из Сибири. Герцен и Красоцкий принимали в разработке плана побега живейшее участие.

Однажды Лиза услыхала, что Вильгельм Вольф в Лондоне, и решила повидаться с ним. Она нашла его значительно изменившимся и внешне и внутренне. Долгое изгнание и болезни, несбывшиеся надежды на более скорую революцию состарили Люпуса, он стал угрюм и раздражителен.

Поражение революции — испытание, которое трудно вынести бойцу. Пусть он знает и верит, что впереди неизбежна победа, но годы проходят, силы слабеют. Мысли о том, что не увидишь воочию то, чему отдал всю жизнь, зрелище предательства, трусости, отступничества, неизбежно возникающее в момент разгрома,— все это нелегко пережить. Тоска по родине в старости, на краю могилы, особенно разрушительна и невыносима. *Люпус напряженно трудился, много читал, стараясь не* отстать от жизни, осмыслить все происходящее. Он был так же непреклонно уверен в правоте коммунистических идей, как и в дни создания Союза коммунистов, но часто грустил.

«Я не увижу рассвета человечества и обречен умереть беззвездной ночью»,— думал он.

Вся неизрасходованная нежность и любовь одинокого холостяка, раздражительного в старости, сосредоточивалась теперь на Марксе и его семье, на Энгельсе и немногих оставшихся верными общему делу друзьях. Он жил более чем скромно в одном английском городе и редко приезжал в Лондон. Лиза письменно условилась встретиться с ним на колониальной выставке в «Хрустальном дворце», который так напоминал обилием стекла брюссельский пассаж Гюбера, где они когда-то в кафе провели несколько замечательных часов более десяти лет назад.

В длинных залах с застекленными полками посетители выставки знакомились с самой мощной в мире промышленностью и завоеванными богатствами империи.

Непосредственно у входа расположен был индийский отдел — «непревзойденный алмаз великобританской короны». Образцы подземных сокровищ — угля, серебра, драгоценных камней, меди, золота — лежали под стеклом шкафов и витрин. Рис, фрукты, чай — все, что выращивает индийская земля,— было заключено в прозрачные банки и выставлено тут же, снабжено поясняющими этикетками. Панорамы демонстрировали

«счастливый» быт порабощенного, страдающего населения. Даже страшный промысел — вылавливание с морского дна жемчужин — показан был приятным, как купание, легким, как ловля рыб на удочку, занятием.

— На свете есть еще только один, равный по хитрой лживости музей. Знаете ли вы, где он находится? Нет. Так я скажу вам. В Латеране, бывшем папском дворце в Риме,— сказал Вольф Лизе, когда они шли по выставочным залам.— Там почтенные монахи восхваляют подвиги миссионеров в Азии, Африке и на островах. Они рекламируют благодать, нисходящую на язычников, буддистов, магометан после того, как они признали верховное владычество римского папы. Точно так же и здесь, на выставке, выразительно разложив вещевой прейскурант непрерывно похищаемых колониальных богатств, на фотографиях и цветных картинах, нас стараются убедить, как много выигрывают туземные народы от проникновения английского капитала.

Вольф сначала с презрением, а затем и раздраженно осматривал выставку.

— Посмотрите на посетителей. Англичане, очарованные и польщенные размерами и силой своей империи, узнают, откуда вывозится асфальт, масло, меха, уголь и где бурлит столь необходимая Британскому острову, порождающая мировые раздоры нефть.

Лиза с удивлением прислушивалась к словам Вильгельма Вольфа. Ей никогда раньше не приходилось сталкиваться с таким взглядом на развитие и экономику Англии.

— Видите, переходя от стенда к стенду, будущие купцы и промышленники соображают, чем и как выгодно торговать, будущие солдаты и колониальные чиновники изучают имперские границы, будущие мореплаватели отыскивают острова — причалы. Будущие политические деятели воспользуются, когда вырастут, этим «наглядным пособием» для пропаганды за или против существующего строя.

От витрины к витрине, с Мальты в Южную Африку, с острова Новая Зеландия, где климат и растительность так сходны с английскими, от Австралии к Тринидаду и к Ямайке переходили Лиза и Вольф, рассматривая неисчислимые колониальные богатства Британии. Долго стояли они перед картой и образцами ископаемых Индии.

— Хотите, я объясню вам в самых общих словах суть колониальной политики Пальмерстона? Пам заявляет: «Англия, не

жалея затрат, несет цивилизацию миру. Наши фабрики, плантации и доки дают порабощенным народам кусок хлеба. Мы, британцы, облагодетельствовали их нашей культурой». А миссионеры, по мнению англичан,— это факелы на дне темной пропасти. Но в действительности Индия разорена и страдает.

— Вы правы,— широко открыв свои грустные глаза и благодарно сжав старчески сухую руку Люпуса, сказала Лиза.— Но как это раньше никогда не приходило мне на ум!

После осмотра выставки Лиза и Вольф зашли в кафе. Вольф казался крайне усталым и начал беспричинно раздражаться. Одышка мешала ему говорить; он достал флакончик с ландышевой настойкой и, отсчитав несколько капель в стакан с водой, выпил их залпом. Когда ему стало лучше, разговор возобновился. Лиза рассказала ему о положении Бакунина.

— Вы правы, ему надо помочь вырваться из Сибири. Цари вероломны, а политика — стихия капризная и полна казуистических превратностей. В свое время я сам бежал, как вы знаете, и этим вовремя спасся. Я поговорю с купцами, которые отправляются на Дальний Восток, и узнаю, что можно предпринять.

— От Томска до Владивостока, кажется, не очень далеко,— размечталась Лиза. Ей было так легко и приятно в обществе Вольфа, который с умной чуткостью понял все, о чем она умолчала.— Не знаете ли вы, как живет госпожа Маркс? Мне рассказывали, что она и ее муж перенесли немало горя и утрат за последние годы. Я несколько раз собиралась посетить их, но боялась явиться некстати.

Лицо Вольфа стало печальным.

— Древние говорили,— ответил он строго,— что боги подвергают особенно жестоким преследованиям именно своих избранников, чтобы испытать и закалить их души. Карл Маркс легко мог бы стать обеспеченнейшим человеком, но никогда он не отступит от своих железных принципов и мировоззрения. Такие люди, как он, только крепнут в беде и предпочтут любые лишения и неустроенность, лишь бы остаться верными себе и своим политическим взглядам.

Лиза подтвердила слова Люпуса кивком головы и подумала при этом о Бакунине.

— Недавно,— продолжал Вольф,— Маркс высказал свое кредо: «Несмотря ни на какие препятствия, я пойду к своей цели и не позволю буржуазному обществу превратить меня в машину для выделки денег».

— О чем пишет сейчас доктор Маркс?

— Он работает уже много лет над книгой по политической экономии. Там немало сказано о предмете, которого ему особенно не хватает.

— Что же это?

— Деньги. Вряд ли кто-либо так хорошо знает о них столько, сколько он, и не имеет их при этом вовсе,— с смутной улыбкой закончил Вольф.

Из кафе Лиза и Вольф направились в расположенный неподалеку Кенсингтонский сад. Погожий осенний день был на редкость приятен. Белая прозрачная дымка тумана, смягчая краски, окутывала небо. Желтые, как песок на дорожках, листья деревьев слегка раскачивал свежий ветерок с моря. Пасущиеся на маленьких полянах овцы вяло выщипывали траву. Почти не разговаривая, любуясь окружающим, Вольф и Лиза подошли к самому концу сада, непосредственно соединяющемуся с огромным Гайд-парком. Там был пруд, где множество бывших и будущих моряков, старцев и мальчиков, спускали на воду игрушечные лодки, пароходы и яхты. Дисциплинированные собаки на берегу с важным видом наблюдали за действиями своих хозяев, одобрительно махая хвостами. Покуда кораблики, опрокидывая попутные парусные челны, пересекали водное пространство, судохозяева бежали на противоположную сторону пруда, чтобы помочь им причалить. Несколько неистовых самоучек-конструкторов в резиновых сапогах влезли в воду, чтобы испробовать свои модели. Порыв ветра вызывал внезапную бурю и аварию. Белые пароходики на воде были едва отличимы от тут же барахтавшихся чаек.

Лиза и Вольф долго простояли у пруда, наблюдая за игрушечным флотом. Они расстались у ворот Гайд-парка, договорившись о следующей встрече, когда Люпус еще раз приедет в Лондон.

Мысль о Бакунине не давала Лизе покоя. Однажды он приснился ей таким, каким она знала его в Брюсселе: огромного роста, полный, с всегда несколько потной кожей, с холодными, светлыми глазами, с вьющимися, каштановыми волосами, в которые приятно было погрузить руки. Во сне он был так ласков и нежен, как никогда в действительности, и, тяжело опустившись на колени, поднес Лизе желтые нарциссы.

Проснувшись поутру, она долго не могла понять, что мог значить этот сон. Ее преследовало ощущение близости Мишеля.

«Он, верно, сомневается в моей дружбе, удивляется, отчего я не еду к нему»,— думала Лиза.

Когда Красоцкий пришел к ней в полдень, чтобы вместе пойти к Герцену, она сказала ему решительно:

— Бакунин ждет меня. Он горд и потому не пишет об этом. Мое место рядом с ним в ссылке. Я уезжаю в Сибирь.

— Так поступали жены и подруги декабристов. Вы им сродни,— не скрывая своей печали, сказал Сигизмунд и больше не говорил об этом столь огорчившем его решении.

В этот день они оба были приглашены к пятичасовому чаю на Финчлей-род.

В небольшом садике перед двухэтажным домом за круглым столом собралась вся семья хозяина. Наталья Алексеевна Огарева, прозванная некогда в семье Герцена «Консуэло», стройная молодая женщина с малопривлекательным, каким-то сплющенным лицом, на котором резко выделялся большой утиный нос, разливала чай. Мальвиды Мейзенбуг больше не было. После приезда Огарева и его жены она почувствовала себя лишней и покинула дом Герцена, оставшись, однако, его верным и самоотверженным другом.

Лиза, очень симпатизировавшая Николаю Платоновичу Огареву, почти все стихи которого знала наизусть, не могла преодолеть свою неприязнь к Наталье Алексеевне. Та отвечала ей обидным равнодушием, еще усилившимся, когда она узнала, что Мосолова сродни покойной Марии Львовне, первой жене Огарева. И сейчас дамы холодно раскланялись. Герцен же с нескрываемой радостью усадил Лизу рядом с собой. Красоцкий заговорил с Огаревым.

— «Колокол» гремит, это подлинный набат,— сказал он о боевом органе, издаваемом Герценом и его другом в Лондоне.

— Я получила письмо из Варшавы. Доставка наших изданий туда пока еще очень затруднена,— вмешалась Наталья Алексеевна, желая дать понять гостям, что и она принимает во всех делах прямое участие.

Лиза привлекла к себе сидевшую рядом старшую дочь Герцена — Тату, миловидную девушку с задумчивым и рассеянным выражением грустного лица, и начала спрашивать об успехах в живописи. Тата отлично рисовала.

Когда слуга унес чайник и посуду и все встали из-за стола, Герцен заговорил с Лизой, понизив голос:

— Я приготовил вам сюрприз — письмо, и как бы вы думали, от кого?

— От Бакунина,— едва выговорила Лиза и приложила руку к разбушевавшемуся сердцу.— Нет ли там чего ко мне?

— Нет, но зато есть кое-что другое, весьма неожиданное.

— Что же это? — побледнев и как-то сжавшись, спросила Лиза.

И Герцен вдруг понял все, о чем она никогда никому не говорила.

«Вот осел,— мысленно обругал он себя,— да ведь тут драма. Пусть, однако, знает все, как оно есть». Скорбные складки, четко видимые на энергичном и мужественном лице Герцена, от крыльев носа спускающиеся к губам и прячущиеся затем в усах, стали резче, темнее.

«*Я жив, здоров, крепок, я женат, я счастлив...*» —первое, что бросилось в глаза Лизе. Едва устояв на ногах, она вернула письмо, не в силах читать дальше.

Герцен, видя явное смятение гостьи, взял ее под руку и повел из сада в свой кабинет.

— Не хотите ли посмотреть альбом репродукций великого Тернера? Никто, как он, не передает блеклые краски английского неба,— нарочито громко заговорил он, увидев приближающуюся Огареву, которая ревниво наблюдала за ним.

— Да, Тернер в своих портретах хорош. Его краски так же нежны, как на полотнах великого Левицкого,— ответила Лиза, с благодарностью глядя на Герцена. Самообладание постепенно вернулось к ней. Сославшись на болезнь своей маленькой приемной дочери, она вскоре распрощалась и, попросив Красоцкого не провожать ее в этот раз, уехала домой.

Она достала свой дневник, который не брала в руки уже много лет.

«Самое главное — научиться владеть собой, учил Гёте,— писала Лиза.— Настоящая любовь думает не о себе, а о счастье любимого, даже если это разбивает сердце. Мне не пристало жаловаться на судьбу. Девять лет я жила одним чувством любви к Мишелю и черпала в этом не только одно горе... Спасибо ему! Не хочу уподобиться злой принцессе из сказки, которая от обиды и ревности коварно послала своего возлюбленного в шатер, где его ждала не желанная невеста, а голодная тигрица — смерть. Не только ради Мишеля, но ради себя самой не успокоюсь я до тех пор, покуда не увижу его свободным...»

* * *

Через два года после восшествия на престол Александр II получил от Бакунина пространное прошение о помиловании. Узник писал:

«Государь! — Одинокое заключение есть самое ужасное наказание: — без надежды, оно было бы хуже смерти; это смерть при жизни... Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собой.— В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; но в принужденном бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине беспрерывного одиночества, долго обманывать себя невозможно: если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом; и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собой, о самом себе, сколь ни мучительны мысли, ею порождаемые,— раз начавши ее, ее уже прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

Государь! каким именем назову свою прошедшую жизнь? — Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением... а раз вступивши на ложный путь, я уже считал своим долгом и своей честью продолжать его донельзя. Он привел и ввергнул меня в пропасть, из которой только всесильная и спасающая длань Вашего Величества меня извлечь может...

Государь!.. если бы мог я сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе; но увы! прошедшего не воротишь! Если бы я мог загладить свое прошедшее делом, то умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы; я рад был бы омыть потом и кровью свои преступления...

Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно, заранее ему покоряюсь, как вполне справедливому, и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед Вами, Государь, чувство глубокой благодарности к Вашему Незабвенному Родителю и к Вашему Величеству за все мне оказанные милости.

Молящий преступник
Михаил Бакунин»

Царь повелел отправить Бакунина в ссылку на поселение.

По пути из крепости в Сибирь конвоир, жандармский поручик Медведев, с разрешения своего шефа князя Долгорукова привез арестанта в город Торжок, подле которого было распо-

ложено имение Бакуниных. И вот в течение нескольких часов Михаил Александрович снова находился в премухинском раю, о котором мечтал во сне и наяву, на чужбине и в каменной щели тюрем. Не было в живых отца, недавно скончалась несчастливая Варенька Дьякова, но две других сестры встретили его слезами и объятиями. Все так же замкнута, насмешлива и надменна была Александрина; нервна, экзальтированна и плаксива его любимица Татьяна. Она так и не вышла замуж, хотя перешагнула уже за сорок.

Мать, к коленям которой, как это бывало в детстве, припал сын, стала дряхлой, измученной старушкой. Михаил понял это, целуя сморщенную, узкую, как древний свиток, руку, которую он помнил такой гладкой, красивой. И в саду у дома состарились и медленно умирали березы; их он знал столько же лет, сколько самого себя.

Оглушенный пением птиц, голосами людей после восьмилетнего безмолвия, ослепленный светом и красками после мрака тюрем, едва державшийся на ногах, беспомощный, растерянный и нежный, как новорожденный, он вызывал жалость и беспокойство, но сам был совершенно счастлив.

Освобождение из каземата. Наконец-то! Сколько крови, жертв, героизма, подвигов, преступлений, больших и мелких подлостей, отступничества совершается ради этого. Но Бакунин отгонял такие думы. Это омрачило бы долгожданную радость. Он вбирал всеми чувствами жизнь, наслаждался правом двигаться, дышать свежим воздухом, возможностью смотреть в окно без решеток и оставлять все двери открытыми настежь. Будущее казалось прекрасным, как и все окружающие люди.

После восьми лет существования по ту сторону жизни он снова гладил стволы деревьев, удивлялся красоте каждого растения, ложился на землю, чтобы коснуться щекой травы, смотрел на забытые было звезды и громко смеялся.

Он казался немного безумным, но сам не замечал этого. И говорил, говорил, говорил. Все его тело болело от слишком яркого освещения, шума. Сердце его вдруг начинало биться быстро, неукротимо. Но время растворилось, прошло, и снова под охраной тактичного и молчаливого жандарма Бакунин отправился на север.

В Омске секретный арестант был сдан начальнику штаба отдельного Сибирского корпуса.

Выезжая в тайгу на поселение, Бакунин писал шефу жандармов генерал-адъютанту князю Долгорукову:

«Ваше Сиятельство!

Пользуясь отъездом поручика Медведева, беру смелость писать к вам еще раз для того, чтобы в последний раз благодарить Ваше Сиятельство за могучее ходатайство, спасшее меня от крепостного заключения, и за великодушное снисхождение, которое я имел счастье испытать в продолжение моего кратковременного пребывания в Третьем отделении и которое сопутствовало мне до самого Омска в лице поручика Медведева».

После недолгого пребывания в глухой Нелюбинской волости Бакунин был переведен в Томск, живописнейший городок. На новом месте Михаил Александрович устроился сразу же очень хорошо. Местное общество — богатые золотопромышленники, кой-кто из ищущих на окраине империи наживы дворян — отнеслось к нему сочувственно и доверчиво. Получив немного денег от родных, Бакунин купил себе бревенчатый, уютный домик и предался счастливому отдыху и, главное, сознанию хотя не полной, но все же свободы.

Наконец-то он мог ходить сколько хотел по широким просторам, правда в пределах нескольких верст вокруг города. Но и это было восхитительно. Он все еще бурно радовался и наслаждался окружающей природой. Долгое время глаза его болели, он плохо различал отдельные звуки. Его большое тело было расслабленным, и кожа постоянно покрывалась испариной. Но постепенно он становился крепче, здоровее. Исчезла гримаса горечи, расправились могучие плечи. Он помолодел и из старика превратился в человека полноценного возраста. Ему нельзя уже было дать его сорока четырех лет. Неодолимая жажда жизни охватила его в эту пору физического возрождения. Он, как змея, скинул с себя, будто выползину, прошедшие в крепости годы.

Давая уроки французского языка, Бакунин часто бывал в семье обедневшего белорусского дворянина Квятковского, который в надежде на богатство променял родную Могилевскую губернию на холодную Сибирь. Так и не сделавшись старателем, он поступил на службу к удачливому золотопромышленнику и жил безбедно с большой семьей. Его жена, полька, благоволившая к русским, охотно принимала гостей, тем более что в доме подрастали три дочери, миловидные, жизнерадостные, яркие блондинки — Софья, Антония и Юлия. С двумя старшими девушками занимался французским языком Михаил Александрович.

Обе ученицы быстро поддались очарованию этого говорли-

вого человека, столь много видавшего и испытавшего. Ему же понравилась Антония. Убедившись в том, что встречает взаимность, Бакунин решил жениться. Он объяснился в любви и поведал девушке, как влечет его к себе тихая семейная жизнь. Был ли он искренен, говоря об этом, хотелось ли ему действительно после долгого одиночества и страдания иметь наконец свой семейный очаг? Любил ли он Антонию, которой годился в отцы, или надеялся отвести от себя подозрения правительства, с помощью брака заслужить доверие царя и Третьего отделения и быть прощенным? Мечтал ли о побеге или, наоборот, собирался навсегда обосноваться в крае, сулившем многие служебные выгоды и быстрое обогащение? Он, верно, и сам не отдавал себе отчета во всем этом и, как всегда, не мог провести черты между ложью и искренностью.

Двойственная душа этого тучного человека огромного роста, с лицом, казавшимся одним мужественным и красивым, другим — расплывчатым и отталкивающим, оставалась загадкой и не внушала доверия.

Бакунин просил Антонию быть его спасительницей. Она, не скрывая своей любви, согласилась идти с ним под венец.

— Верьте мне,— убеждал ее Мишель вкрадчиво и пылко,— хотя я и мог бы называться ровесником самого гётевского Фауста и слишком стар, чтобы забавляться пустяками, я в то же время достаточно молод, чтобы любить вас и сделать счастливою.

Антония, с ее прозрачной кожей, ясными, ничего не выражающими огромными голубыми глазами и пышными волосами, одновременно напоминавшими цветом золото и платину, казалась ему то прекрасной Еленой, то чистой Гретхен.

Родители невесты, особенно отец, сначала возражали против этого брака. Бакунин был ссыльным, без будущего, без положения в обществе, без состояния. Но то, что он приходился по матери родным племянником могущественному губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому, положило конец их колебаниям.

Антония не сомневалась, что ее муж добьется в жизни всего, чего захочет, и слепо ему доверяла. Пышная, шумная, хмельная, как принято в Сибири, свадьба состоялась без промедления, и молодожены поселились у Квятковских.

Прошел год. Бакунин все больше тяготился нудной повседневностью отдаленного северного городка. Мятущийся, честолюбивый характер не мирился с провинциальным прозябанием.

В Томске некому было восхищаться его красноречием и начитанностью. Он изнывал от скуки в обществе болтливого тестя. Антония, пустенькая, добрая, не могла заполнить собой затянувшийся досуг Бакунина. Наконец хлопоты всесильного в этом крае Муравьева-Амурского увенчались успехом, и его родственник смог переселиться из Томска в Иркутск. Вся семья Квятковских последовала туда за дочерью и зятем. В большом торговом городе, резиденции губернатора Восточной Сибири, ссыльный, бесправный Бакунин попал снова к людям своего круга. Дома сановников Муравьева и Корсакова, а вслед за ними и другие открылись для него. Он был там желанным гостем и быстро прослыл человеком душевным, весьма образованным, всем сердцем раскаявшимся в своем прошлом и преданным российскому престолу. Купцы почитали за честь потчевать его у себя и помогать займом. Но с ссыльными революционерами Бакунин не поладил, всячески их избегал, обзывал сутягами и доносчиками.

Прямолинейный, крайне несговорчивый с власть имущими Петрашевский, живший в ссылке в Иркутске, бывшие декабристы и другие поселенцы презирали Бакунина. Ему это как будто было даже приятно. Чем руководился он в своем поведении? Хотел ли выслужиться, рассчитывал ли на царское прощение и милости, отводил ли от себя всяческие подозрения жандармов, чтобы осуществить побег?

Когда появилась у Бакунина мысль покинуть тайно Россию? Может быть, он решил это еще в Томске, дав себе отчет, что на родине он обречен на жалкое существование отверженного. Честолюбие глодало его. Если бы Александр II понял этого человека и приблизил, как знать, кем стал бы этот колеблющийся мятежник? Может быть, преданным и ретивым слугой престола? Но ни исповедь, ни многочисленные послания Бакунина не внушили царю полного к нему доверия.

Поняв, что на родине нет применения его энергии и впереди ждет постоянная зависимость и безденежье, он решил вырваться из ссылки. Переезд из глухого Томска в Иркутск значительно облегчал достижение этой цели. Осмотревшись, Бакунин увидел, что бескрайние просторы Сибири, а главное, близость Амура и морской границы облегчают побег. Далеко, с противоположного конца материка, к нему протянулась рука помощи. Лиза после женитьбы Бакунина с еще большим жаром принялась искать путей для его освобождения. Она считала, что это ее долг — преодолеть чувство ревности. Деньги Лизы

значительно облегчали бегство, о котором неотступно думал недавний арестант Шлиссельбургской крепости, валявшийся в ногах царя, чтобы только сохранить жизнь.

Завязав самые тесные отношения с местными чиновниками и богатыми золотопромышленниками, Бакунин принялся добиваться права передвижения по Сибири. Униженно описывая бедность свою и своего семейства, он убеждал начальство, что нуждается в разъездах, дабы, промышляя и торгуя, зарабатывать этим средства к существованию. Упорство его преодолело колебания администрации, и наконец сам генерал-губернатор Сибири Корсаков уважил просьбу Бакунина, взяв с него честное слово, что он ничем не нарушит закона. Бакунин охотно поклялся в этом. Разрешение было дано. Вплоть до самого моря мог он отныне свободно передвигаться по великой Сибири. Ему даже разрешалось плавать на казенных судах по Амуру.

Кяхтинский купец Сабашников нанял Бакунина к себе на службу и предложил ему отправиться на Амур для осмотра тамошних мест и выяснения, годны ли они для промышленных и торговых предприятий. Получив разрешение от Корсакова, Михаил Александрович стал готовиться к отъезду. Его белокурая красавица жена была посвящена им во все планы. Он всегда доверял женщинам, которые его любили, и не имел повода раскаиваться в этом. Накануне расставания Бакунин заверил Антонию, что он любит ее безмерно.

— Если, бог даст, все удастся и судьба будет ко мне благосклонна, мы встретимся в Англии. Поезжай, однако, туда через Петербург. Я буду ждать тебя, мой ангел-хранитель, у Герцена.

На рассвете, заверив родственников жены, что через два месяца вернется, Бакунин отправился по Ангаре к Байкалу. Было ослепительное утро. Белокаменный Иркутск на горе выглядел особенно красивым. Ярко блестели золоченые купола его собора и церквей. Ангара казалась мелководной настолько, что в совершенно прозрачной воде отчетливо видно было серо-зеленое каменистое дно. Скоро, как-то совсем неожиданно, появился обманчиво спокойный, огромный Байкал. Бакунин, несмотря на тщательно скрываемое беспокойство и поглощенность тем, что его ожидало, все же отдавался созерцанию величавой, неповторимой красоты окружающей природы. Исполинские сосны, подступившие к самому озеру, пронизанные потоком солнечного света, подавляли своим совершенством и величиной. Так теряется человек перед зрелищем горных вершин и бушу-

ющего океана. Природа достигла творческого предела. Это лучшее из того, что ею создано. Таковы сибирская тайга и озеро Байкал.

Вместе с Бакуниным в Николаевск-на-Амуре ехали несколько видных иркутских чиновников и военных, а также инженер-механик Маюров, человек с толстым красным лицом, любитель выпить, поиграть в карты, ищущий возможности быстро, легко разбогатеть. Природу он рассматривал жадно и презрительно, как тряпичник мостовую.

— Скажите, господин Бакунин, что можно извлечь из этой штуки? — Он указал на стройную, уходящую в небо сосну с ярко-зелеными пушистыми ветками, которые раскачивал, будто исполинское опахало, теплый ветер с Байкала.

— Из нее, пожалуй, выйдет корабельная мачта,— без удивления ответил Михаил Александрович,— да и сотни других полезных предметов. Думаю, она не менее щедро способна облагодетельствовать человека, нежели кокосовая пальма, к примеру. А первенство по красоте я без колебания отдам нашей царице лесов.

— Красота, батенька, как сказал философ, есть потрясение нервов. Из нее шубы не сошьешь, и признаю я эту самую красоту только у женщин,— пробурчал Маюров и предложил своему спутнику распить бутылку водки. Бакунин отказался. Полное самообладание и ясность мыслей были сейчас ему совершенно необходимы.

— Ну, одной красоты маловато и у женщин. Им еще и знания нужны.

— А я, знаете ли, тут полностью разделяю такие взгляды: «Поменьше учености, побольше бюста». Скажу я вам, батя Михаил Александрович,— захохотал Маюров,— опротивел мне этот будто бы богатейший край. Живут тут одни только каторжники, отщепенцы, забулдыги и всякое отребье рода человеческого. Заметили ли вы названия селений здешних, вот хоть бы от Иркутска к Красноярску: Решеты, Кандалки, Каински, Железы. Простите, я, кажется, на больное место ваше наступил. Но дворяне и в кандалах благородства не теряют. Скажите, однако, орел мой, что думаете вы о Сибири в смысле, так сказать, экономическом?

— Это край благословенный, хранящий неиссякаемые, необъятные богатства в дебрях своих, в лесах и на поверхности земли,— оживился Бакунин.— Он таит в себе силы свежие, будущность великую. Для умелого и даровитого человека здесь на

каждом шагу кладези. Это, если хотите, земля сокровищ. А что до отверженных и заблудших сынов России, то Сибирь самим провидением создана для возрождения их судьбы. Она не может не обновить человека, и все, кто посреди преступных заблуждений сохранил душу свою неприкосновенною, а также силы и волю для правильной жизни, находят в сем сказочном диком краю свое счастье и благосостояние. Надеюсь и я быть в их числе.

Маюров вслушивался в слова собеседника, как в песню.

— Как вы, Михаил Александрович, речь ведете. Родится же человек эдаким краснословом! А я диплом и знания кой-какие имею, на Амуре рысь либо тигра кладу наповал с одного выстрела, да вот говорить не мастак. Беден мой язык. Не Демосфен я и не Гизо. Значит, говорите, разбогатеть в Сибири можно даже и порядочному человеку?

Так, в беседах, развлекаясь на частых и длительных остановках рыбной ловлей, охотой, собиранием ягод, игрой в карты, медленно подвигались Бакунин и Маюров к Николаевску и прибыли туда на пароходе лишь в самом начале июля.

Вместе с ними в тот же день приехал в Николаевск и молодой мичман Бронзерт, которому в Иркутске был сдан секретный пакет с обозначением «нужное» для немедленного по приезде вручения военному губернатору Приморской области Восточной Сибири. В нем находилось сообщение о том, что Бакунин находится под надзором полиции. Но вместо того, чтобы передать важный документ непосредственно по назначению, мичман оставил его своему другу, который на другой день внезапно тяжко заболел. Лишь спустя два месяца дошло уведомление о поднадзорности Бакунина до адресата.

Ровно неделю находился Бакунин в Николаевске и завел много знакомств среди чиновников и купцов.

В маленьком скромном домике с палисадником и мансардой на речной набережной жил старый аудитор военно-судной комиссии при штабе приморского округа, по фамилии Котюхов. Это был старательный чиновник, смирный, богобоязненный и весьма надоедливый желанием во все соваться и изобличать. Комнаты его были увешаны портретами усопшего, а также ныне здравствующего императора, иконами, патриотическими картинками из времен отечественной войны и покорения Кавказа. Любимыми героями считал он Кутузова и Георгия Победоносца. Немногие ссыльные, живущие в Николаевске, уважали аудитора за его отзывчивость, трудолюбие и честность.

Он не брал взяток, не пьянствовал, не играл в карты и не развлекался жестокостью.

Июльским вечером накануне исчезновения Бакунина из города к домику аудитора дважды приходил весьма взволнованный старик в поношенном картузе и ветхом платье. Примечателен он был тем, что лицо его до бровей заросло волосами. Во второе свое посещение, узнав, что хозяина дома все еще нет, он обратился к широкоскулой пожилой прислуге с просьбой:

— Почтеннейшая, обещайте мне тотчас же, как только Василий Григорьевич вернется, вручить ему мое письмо. Оно очень важно и не терпит отлагательства.

Женщина, ответив что-то маловразумительное, вытерла о фартук руки, осторожно взяла запечатанный конверт, понесла его в комнату и положила на стол у хозяйской постели. Позднее она вошла снова, взяла лампу, подлила керосин, зажгла ее и поставила, не заметив, что при этом прикрыла письмо. Только на другой день, вернувшись из присутствия, старый аудитор случайно обнаружил его.

«Небезызвестный вам Бакунин приехал сюда затем, чтобы бежать за границу. Это я знаю достоверно,— писал хорошо знакомый Котюхову ссыльный Гилярий Вебер.— Если бы я, лицо частное, явился к лицу официальному и вздумал рассказать, что мне известно о планах Бакунина, то это не только имело бы вид доноса, но и было действительно доносом; заслужить же на старости лет название доносчика мне бы страх как не хотелось. Вы дело другое. Вас я знаю...»

Далее подробно описывался план побега Бакунина.

«Чтобы вам не показалось странным и непонятным мое желание удержать от побега Бакунина, я в кратких словах расскажу вам причины, заставившие меня вмешаться в это дело. Эти причины заключаются в следующем: 1) Я чувствую нелицемерную благодарность к нынешнему царю за многие милости, излитые на моих соотечественников и на меня самого. 2) Я глубоко убежден, что побег Бакунина сделает много зла его жене, семейству его и генералу Корсакову, а не принесет решительно никакой пользы ни человечеству, ни России, ни даже ему самому. Бакунин не в состоянии сделать никому добра: это олицетворение эгоизма. 3) Побег Бакунина повредит многим из моих соотечественников, находящимся в изгнании, потому что правительство из опасения, чтобы подобные случаи не повторялись между политическими преступниками, усугубит без всякого сомнения надзор за этими несчастными».

Прочитав сообщение Вебера, не теряя ни минуты, Котюхов побежал на пристань.

— Где капитан Сухомлин, где клипер «Стрелок»? — крикнул он, остановив первого проходившего мимо матроса.

— Эка вспомнили! — удивился тот.— Повел на буксире иностранное судно к морю.

— Далеко ли ушли?

— По лиману быстро не пойдешь.

— Какое судно повел «Стрелок»?

— «Горизонт», курс на Европу и Америку.

Старый аудитор схватился за голову.

— Предатели, взяточники, царя обманули,— бормотал он.— Конечно же не без Хитрово и Филипеуса дело состряпалось. Немалый, видно, куш отхватили, ну и обдурили юродивого своего начальника. Не губернатор, а стыд и горе края.

Охая и вздыхая, Котюхов бросился к начальнику штаба приморского округа Афанасьеву и рассказал все, что знал о намерениях беглеца.

— Если выслать готовый к отплытию «Амур», на котором Бакунин прибыл к нам, легко можно нагнать клипер,— настаивал он. Но Афанасьев слушал его рассеянно и ответил с подчеркнутым равнодушием:

— А нам с вами что за дело до Бакунина, пусть себе бежит. В ответе за него не мы будем, а генерал Корсаков.

— Да ведь Бакунин государственный преступник, ссыльный, состоит под гласным надзором полиции.

— Откуда, сударь, вам это известно? Никаких предписаний на этот счет из Иркутска к нам не поступало, а вот разрешение генерал-губернатора ездить ему по всей Сибири и даже на казенных судах я сам видел.

Котюхов с присущим ему упорством не отступал.

— Вам, начальнику штаба, не пристало равнодушно относиться к побегу. Каждый благонамеренный русский обязан помочь изловлению Бакунина. Снарядите погоню.

Афанасьев внимательно посмотрел на горячившегося аудитора и вдруг сказал твердо:

— Вы, пожалуй, правы. Время еще не упущено. Командир «Стрелка» не скоро доберется до Де-Кастри, потому что, по своему обыкновению, посетит все банки на лимане, а я между тем успею послать предписание «Амуру» плыть на Кызи и дальше.

— Слава богу,— облегченно вздохнул Котюхов и вышел.

«Амур» разводил пары. На фонарных столбах висели объявления, что пароход отправляется в Благовещенск.

Прежде чем идти домой, неуемный аудитор отыскал Вебера и допросил его сурово.

— Откуда узнали вы все о Бакунине? То-то теперь начнется дознание, притеснения и неприятности. Кто же способствовал его побегу?

— Извольте, добрейший Василий Григорьевич, я вам все как на духу расскажу. Бакунин, о котором писали мне друзья неоднократно из Иркутска, право, отвратителен, и не хочу я, чтобы ради его тщеславия и меркантильности страдали ни в чем не повинные люди. Вчера сей самовлюбленный краснобай зашел ко мне. Я не искал с ним сближения и встретил недружелюбно. «Вы мне не верите и относитесь апатично, но я готов сделать вам преважное признание»,— начал он и рассказал далее о том, что, давая честное слово Корсакову не бежать из Приморья, твердо решил сделать обратное. В Лондон зовут его, мол, Герцен и другие единомышленники. Много произнес он выспренних и пустозвонных фраз, любуясь собой и своим красноречием. Мерзкий он человек, путаный, вредный.

Аудитор, расставшись с Вебером, хоть и был он очень утомлен, снова свернул к пристани. Прошло уже несколько часов после разговора Котюхова с Афанасьевым, давно стемнело, а «Амур» не только не двинулся с места, но и огни на нем погасли.

Только спустя двое суток поплыл пароход в Кызи и повез предписание начальника штаба округа задержать и вернуть в Николаевск беглеца. В это время американское судно «Горизонт» увозило его далеко, прочь от российских берегов. Сидя в кают-компании за стаканом вина, раскрасневшийся, чуть вспотевший, счастливый, самонадеянный Бакунин громко рассказывал историю своей жизни нескольким пассажирам и капитану корабля.

— Кто я такой? Сын помещика Тверской губернии, воспитывался в артиллерийском училище, произведен в прапорщики и тут же уволен в отставку. Как видите, чин не велик, да я и не метил в генералы. Слыхали ли вы о повешенном царем декабристе Муравьеве-Апостоле? Это близкий родственник моей матери. Родившись аристократом, я, подобно ему, не мог покорно терпеть произвол государей и рабство, в котором находится простой народ на моей родине.

Бакунин встал. Он казался гигантом в небольшой каюте и,

рисуясь своим ростом и внушительной внешностью, прошелся по ковру к иллюминатору.

— Самая большая загадка на земле — это судьба человека. Мог ли думать я, дважды осужденный на смерть, прикованный цепью к стене прусской тюрьмы, восемь лет погребенный заживо в крепости палача-царя, что буду свободен, как океан. Жизнь моя начинается снова.

Когда Бакунин ступил на землю Великобритании, аудитор Котюхов подал прошение об отставке, так как навлек на себя жестокую немилость начальников и в первую очередь Афанасьева.

Но следствие по делу о побеге Бакунина только начиналось.

* * *

Приближалось рождество — Христмас — самый любимый и веселый праздник на Великобританском острове. Лиза заперлась в своей комнате, чтобы составить список необходимых подарков. Маленькой Асе и Оле Герцен предназначались куклы и мячи, Красоцкому новая скрипка, няне Пэгги клетчатая шотландская шаль, различным знакомым нарядные курительные ящички, флаконы с цветочными эссенциями или торты. Для Герцена и Огарева Лиза давно заказала два настольных золоченых колокола, издававшие мелодический звон.

Проверив, не забыла ли кого в длинном перечне, Лиза отправилась в наемном старом, скрипящем кебе, запряженном меланхолической лошаденкой, на Бонд-стрит, в большой пассаж и многоэтажные дорогие магазины.

«В Лондоне,— утверждали яркие расклеенные на тумбах рекламы,— вы можете купить все, что производится на нашей планете».

В лавках, торгующих собаками, были представлены все существующие на земле породы: от китайских плоскомордых мохнатых пекинизов, тибетских бесшерстных узкоглазых сторожевых псов, запрещенных к вывозу самим далай-ламой, до обрюзгших, насмешливых французских бульдогов и пушистых ньюфаундлендов.

Индус без труда мог отыскать в английских магазинах шаль, сотканную и расшитую на его родине, островитянин — знакомые бамбуковые плетенья.

Лондонские лавки имели свои особенности и разнились от таких же во Франции или Германии. Там — шум ярмарки, пест-

рота, путаница, загроможденность рынка; в Англии — тишина, порядок, простор хорошей конторы или банка.

В огромном магазине поставщика королевы молодой титулованный денди легко отбирал все, без чего не мыслил он жизни: полное снаряжение для лодочных гонок, костюм для верховой езды и ужения рыбы, набор трубок, модные галстуки и носовые платки, ручную обезьянку для скучающей кузины, старинный портсигар для клубного приятеля, кашемировую шаль для случайной подруги. Придворная дама узнавала там творения французских портных, законодателей моды. Знатная невеста находила для своего приданого белье, перчатки, чулки, одеяла и обстановку, ручной работы вышивку, старинную мебель, картины и породистых собак «поставщика ее величества».

Другие лавки тоже отдавали предпочтение английской шерсти, ярким тканям, к которым такое пристрастие у народа, погруженного в серый кисель неба, моря и камня. На их витринах разложены были светлые, сборчатые в поясе брюки, рыжие сюртуки и огромные кастрюли из бархата — дамские шляпки, похожие на вороньи гнезда, и надеваемые на кончик головы «свиные пирожки», опрокинутые на лоб, оставляющие открытым затылок.

В отделе «роскоши» седоволосые, всегда улыбающиеся приказчики из породы «верных, послушных слуг» кроме серебряных сервизов и фруктовых ваз, тяжеловесных и унылых, как керосиновая лампа, показывали многочисленные колониальные творения: костяных божков, зверей, жриц индийских храмов, плетенья, циновки и кружева с острова Мартиники, шкуры животных и драгоценные камни из Южной Африки.

Черногорские, лапландские и венгерские крестьянки вышивали для англичанок блузки, мережили белье, вязали платки и детские платья. Австрийские и немецкие кустари также доставляли в Англию свою продукцию. Большие многоэтажные магазины хищно скупали товар разорившихся фирм и ловко опутывали, забирая в рабство, мелкие обувные, одежные, столярные, шляпные мастерские в Уайт Чапеле и Сохо и продавали всю их не находящую сбыта продукцию под своей маркой.

Лизе доставляло большое удовольствие рассматривать красивые безделушки и покупать то, что ей нравилось. Как настоящая женщина, она не удержалась от примерки тафтового кринолина модного, переливающегося от зеленого к красному, цвета. Радостно было одаривать друзей и мечтать о том, как

обрадует их тщательно продуманный подарок. К вечеру усталая, оживленная, нагруженная всевозможными пакетами и свертками Лиза вернулась домой.

В детской она услышала веселый визг и гомон. На ковре животом вниз, поджав ноги, полз, изображая черепаху, Сигизмунд Красоцкий.

Завидев мать, раскрасневшаяся Ася бросилась к ней.

— Дядя Сиг такой смешной. Он хотел, чтобы я была обезьянкой.

Лиза прижалась губами к маленькой головке чуть вспотевшей от беготни девочки. Запах, исходивший от мягких детских волос, напоминал ей своей нежной пряностью ветки цветущего тополя.

— Я купила тебе подарки, дарлинг. Что бы ты хотела?

— Папу,— сказала девочка.

— Кого, кого? — растерялась Лиза.

— Только дядю Сига. Я хочу, чтобы он был не черепахой, а моим папой.

Ася вприпрыжку побежала к Красоцкому и охватила его ручонками. Совершенно смущенный, он продолжал все еще лежать на полу.

— Иди и позови Пэгги,— нашлась Лиза.

Тогда Красоцкий поднялся и подошел к ней.

— Пусть наивные пожелания ребенка вас не смущают,— сказал он, заикаясь от волнения.

— Послушайте, друг мой, вам под пятьдесят, а мне под сорок. Позади большая жизнь и опыт. Нам не пристало говорить языком юности. Если вы любите меня, какая я есть, со всеми моими непоправимыми ошибками... Но что с вами, отчего вы так бледны? Не больны ли вы?

— Нет, Лиза, я, верно, принадлежу к племени Азра, люди которого, как пишет Стендаль, умирают от любви.

В этот особенный для Сигизмунда и Лизы вечер они решили повенчаться в день Нового года, без оглашения и гостей.

Рассылая визитные карточки в традиционные дни рождества, Лиза нашла у себя адрес Женни Маркс, который взяла у Вольфа. Ей вдруг сильно захотелось увидеть эту женщину, в которой все внушало уважение и симпатию. И, поддавшись этому когда-то вспыхнувшему чувству, Лиза без долгих размышлений решила отправиться с визитом на Графтон-террас Мэйтленд-парк.

На столичной окраине, где жила Женни Маркс, наемный

фиакр с трудом продвигался вперед. Здесь был хаос созидания и стройки. Кучи щебня, глины, бадьи с раствором, ухабы и рытвины препятствовали всякому передвижению. Был праздник, и рабочих не было видно возле начатых укладкой стен. На большом пустыре среди нескольких неогороженных зданий Лиза отыскала дом № 9.

Задержав кебмена, она поднялась по нескольким ступенькам и на квадратной, каменной площадке принялась о скобу счищать грязь, густо облепившую ее высокие шнурованные ботинки. Заметив висевший на цепочке молоточек, постучала по металлической пластинке. Сначала в боковом узком окне появилась женская голова, повязанная платком, и затем входная дверь отворилась. Елена Демут вопросительно смотрела на гостью. В это время позади нее раздался голос Женни:

— Входите же, пожалуйста. Очень рада видеть вас. Это та русская дама, с которой Люпус познакомил нас еще в Брюсселе. Помнишь, я тебе рассказывала,— пояснила она Ленхен, которая недоверчиво продолжала рассматривать Лизу, сразу почувствовавшую неловкость оттого, что была столь богато одета. Шуба, отделанная соболями, доставшимися ей по наследству, заняла всю вешалку в маленьком холле.

Комнаты в доме, которые Женни показала Лизе, были очень миниатюрны, светлы и уютны. В полуподвале находилась кухня, на первом этаже по одну сторону — большой кабинет Маркса, а по другую — крошечные столовая и гостиная. Крутая лесенка вела наверх, где были узенькие спаленки для взрослых и детей. По сравнению с двумя каморками на Дин-стрит этот домик казался его обитателям пределом возможной роскоши, простора и удобств.

Когда Женни усадила ее в гостиной и Ленхен подала скромно сервированный чай с сандвичами, с прогулки вернулись Женнихен, Лаура и Тусси.

Обе старшие девочки несколько смутились, когда мать представила их незнакомой даме, но Тусси, прелестный трехлетний ребенок с румянцем во всю щеку и озорными глазенками, тотчас же очутилась на коленях у Лизы. Так же сердечно приветствовал ее большой черный кот с зелеными дикими глазами, пришедший вместе со своими юными хозяйками.

— Вас любят дети и животные, а это безошибочно хороший признак,— сказала громко Женни, искоса поглядывая на недовольную Ленхен.

— Вы русская? — зардевшись от смущения, спросила Женнихен.— Значит, вы рабовладелица. Вы привезли, верно, своих невольников с собой? Мне очень жаль этих бедных людей.

— У меня нет рабов,— тоже покраснев, отвечала Лиза,— я уверена, что этот позор кончится на моей родине и все люди будут свободными.

Лаура, неотрывно рассматривавшая гостью, вдруг сказала по-русски, четко выговаривая слова:

— Вы краснавица.

Лиза широко раскрыла глаза, услыхав слегка искаженное лишней буквой «н» лестное русское слово, обращенное к ней тоненькой очаровательной девочкой.

— Красавица не я, а вы, Лаура,— ответила она по-русски.

— Я знаю только это одно слово на вашем языке — краснавица. Бьюти. Дядя Энгельс научил меня. Он хорошо говорит по-русски и переводил как-то мне и Кви-Кви,— она указала на старшую сестру,— стихи Пушкина.

Лиза взяла со стула огромную соболью муфту и вынула нарядную бонбоньерку с конфетами.

— Это мне, я маленькая,— крикнула Тусси, вскочив со стула.

Госпожа Маркс сурово посмотрела на дочь и приказала ей выйти из комнаты, но та в ответ только надула губки.

— У Мавра совсем нет денег, и на рождество никому не купили подарков.

— Гадкая девчонка,— со слезами на глазах произнесла Лаура,— у нас есть всё.

— Нам ничего не надо,— добавила старшая из трех девочек.

— Муж на этих днях заканчивает большую многолетнюю работу по политической экономии, а «Нью-Йорк дейли трибюн», где он печатает постоянно свои статьи, платит очень неаккуратно и мало. В новом году все будет по-другому. Господин Лассаль, о котором вы, верно, слыхали, уже договорился с издателем в Германии, и книга на днях будет туда отправлена.

Женни пыталась казаться беспечной, но ей это плохо удавалось. Она вспомнила, что в доме нет денег даже для отправки издателю рукописи, дописываемой Марксом. Лизе становилось все более тяжело, и чувство стыда за свое богатство вдруг проснулось в ней с новой силой. Глядя на усталое бледное лицо Женни, на ее более чем скромное будничное платье

она думала, как бы помочь Марксу и его семье, но понимала, что от чужого, мало знакомого им человека они никогда ничего не примут. Помогать им было привилегией только самых дорогих и близких единомышленников.

— Прошу вас, не забудьте, что во мне вы имеете преданную душу, не могу ли я быть вам полезной? — несмело предложила Лиза, собираясь уходить после короткого визита.

Но Женни ответила ей только вежливым и холодным изъявлением благодарности.

— Я очень признательна но, право же, нам сейчас ничего не нужно.— Она не сказала больше ни одного слова, но Лиза прочла невысказанную мысль: «От вас, богатой дамы, такой же нам далекой, как все ваши друзья».

Когда Лиза ушла, Ленхен смогла наконец высказать свое недовольство.

— Пустозвоны, бездельники, являются показать нам свои меха и бриллианты. Последний сахар ставь им на стол и чай заваривай. А вы по своей слабости готовы тратить на них время. Кто только не приезжал и не торчал у нас бог весть сколько, а откуда что берется, не спрашивал. Сколько стоило нам пребывание всяких гостей? Можно было бы за год уроки музыки наших девочек оплатить этими деньгами. Тратитесь, точно миллионеры, как только появится хоть одно лишнее пенни в доме. Говорю все это я, впрочем, попусту. Горбатого могила исправит,— сердито бурчала Ленхен и, махнув безнадежно рукой, спустилась по крутой лесенке в кухню, где было холодно и пусто.— Праздник, а у нас ни гуся, ни пирога, ни ломтика ветчины, которую так любит Карл,— горевала она.

Лиза, вспоминая свой визит на Графтон-террас, долго испытывала тягостное чувство. В день Нового года она вышла замуж, но вскоре Сигизмунд Красоцкий тяжело захворал. Черные и желтые туманы, сырой, бессолнечный климат острова, где он жил изгнанником, воскресили старую болезнь, нажитую после поражения польского восстания 1830 года. Лютая чахотка грозила свести его в могилу, и, по совету врачей, Лиза покинула Англию. Она увезла больного мужа и маленькую приемную дочь на прославленные воды французских и немецких курортов. Но целебные источники не помогали. Ни один медик в мире, впрочем, не знал точно, что за болезнь туберкулез, откуда он берется и как лечится.

Более года ездила Лиза со своей семьей из одной местности в другую, меняя море на горы, леса на степи. Красоцкий понемногу начал поправляться, но все еще был слаб. Он горько страдал оттого, что причинял столько хлопот и беспокойства беззаветно любимой им женщине. Уговоры Лизы, ее нежность не помогали. Больной стал угрюм и молчалив.

Лиза тосковала по соотечественникам и искала их всюду, куда заносила ее судьба в пору вынужденного кочевничества. Бывая в Париже, Красоцкие неизменно останавливались на улице Мишодьер, неподалеку от Пале-Рояля, в маленьком отеле Мольера, который содержала рьяная сторонница женского равноправия мадам Максим. Это была тучная, чрезвычайно подвижная, говорливая дама, в мужского покроя костюме, курившая сигары. Под нарочитой развязностью и грубостью она с трудом скрывала простосердечье и чисто женскую отзывчивость. Постояльцы ее отеля обычно легко знакомились друг с другом и становились как бы членами одного кружка, возглавляемого пылкой и доброй мадам Максим.

По случаю приезда Красоцких она решила устроить вечеринку в большом незанятом номере бельэтажа. Как раз в эту же пору в Париже вышла в свет новая книга Прудона «О правосудии», в которой он, между прочим, коснулся и женского вопроса, пытаясь определить роль женщины в новом обществе. Прудон отрицал возможность равенства полов и объявил, что в семье, как и в обществе, мужчина по сравнению с женщиной то же, что цифры «три» и «два».

В отеле Мольера, где проживали ретивые поборницы женских прав и полной свободы, взгляды Прудона были восприняты как оскорбление и вызвали возмущение и протесты.

Когда Красоцкие вошли в большую комнату, где ввиду предстоящей вечеринки вся остальная мебель, кроме столов и стульев, была нагромождена в алькове, там стоял такой шум, что они с трудом смогли расслышать слова писательницы Женни д'Эрикур, друга мадам Максим, которая читала свое письмо Прудону.

— Женский вопрос — это вопрос вопросов, но он неотрывен от свободы для всех людей на земле, независимо от их пола,— детски звонким голосом, встряхивая пышными стрижеными волосами, выкрикнула Женни д'Эрикур.

— Какое нам дело до мужчин! Это деспоты, которых надо навсегда лишить их привилегий! — возразила одна из феминисток.— Я их ненавижу!

— Сделай исключение для своего мужа и сыновей,— рассмеялась мадам Максим.— Женни, как называется книга, которую ты пишешь, чтобы положить на обе лопатки Прудона?

— «Освобожденная женщина»,— ответила тоненькая остролицая молодая писательница.— Я должна все сказать. Моя ненависть к Наполеону также требует выхода.

Госпожа Максим при этих словах поднялась из-за стола и, сделав собравшимся таинственный знак, наглухо прикрыла ставни на окнах и стянула тяжелые шторы.

— Здесь только те, кто жаждет свободы для Франции, она ведь тоже женщина.

Кто-то затянул «Марсельезу». Подняли бокалы за революцию. Красоцкие чувствовали себя великолепно среди этих горячих голов и сердец. На вечеринке находился недавно приехавший из Петербурга Николай Васильевич Шелгунов, полковник из Лесного департамента, ученейший профессор лесного законодательства. Лизе вначале показалось непривлекательным его монгольское лицо, худое, с впалыми щеками и бородкой лопаточкой. Строгие глаза с припухшими веками смотрели испытующе из-под густых нависших бровей и как бы возводили непреодолимый защитный барьер. Но с первых же слов Шелгунова это впечатление рассеялось у Лизы, и она весь вечер провела с ним в увлекательной беседе.

— Вы оставили Россию, еще когда она была под николаевским прессом,— говорил Николай Васильевич.— Многое изменилось за эти годы. Начало пятидесятых годов и конец их весьма различны. После смерти царя у всех точно выросли крылья. Так бы и взлететь в небо.

— Да, я была в Москве в глухое время. Страх пропитал воздух. Все боялись друг друга и вольной мысли. Печать не смела сказать ни одного живого слова. Журналы восхваляли царский режим и предавали анафеме всех инакомыслящих,— вспоминала Лиза.

— А теперь совсем иное. Никогда на Руси не бывало такой уймы листков, газет, журналов, как начиная с пятьдесят шестого года. Вся печать нынче достигает, вместе с официальной, двухсот пятидесяти изданий. Это ли не осуществление самых смелых мечтаний передовых людей. Одними объявлениями об этих изданиях можно оклеить башню собора Ивана Великого. А к тысяча восемьсот шестидесятому году будет их еще больше. Как грибы после дождя, растут все виды слова печатного.

— И все это, наверно, главным образом в Петербурге издается.

— Нет, и в Москве в равной степени. Эти города — голова и сердце России. А сколько новых имен, замечательных людей выросло на родной нашей земле. Таланты что дубы могучие. Сейчас поистине пора молодых, их время,— сказал с неожиданным воодушевлением Шелгунов.

— А вы тоже пишете? — спросила Лиза.

— Я пока только еще начинающий литератор, писал до сих пор я по научному лесоводству,— улыбнулся Николай Васильевич, и лицо его стало значительно привлекательнее.— Сейчас есть нам над чем размышлять, что чувствовать,— значит, есть чем поделиться с другими людьми. Помимо лесной технологии живому человеку нужно живое, то, чем поглощен он сполна, что заставляет его мучиться в поисках ответа. Каждый в наши дни хочет читать и учиться и высказать громко думы свои. Долго были мы скованы и погружены точно в сон летаргический.

— Я много слышу в последнее время о Чернышевском. Видели ли вы его вблизи? Скажите, прошу вас: каков он, хотя бы по внешнему виду?

— Сила его не в наружности. Роста он небольшого, белокурый с рыжинкой, худощав. Говорит негромко и слегка потупившись. Голубые глаза у него заметно близоруки, внимательны и умны. Есть в нем своя большая внутренняя сила, так что невольно подчиняешься ему, хотя он к тому как будто и не стремится. Подлинно, это пророк университетской молодежи, истинный продолжатель идей и деятельности Белинского, но поднявший теоретическую мысль на новую высоту. К тому же это человек действия.

— Как вы стали, однако, красноречивы, говоря о Чернышевском.

— Да, это человек весьма необыкновенный, и дорог он мне тем, что стремится к преобразованию нашей общественной жизни и к борьбе за интересы крестьянские. О нем можно сказать словами Сиэса: «Он прочитал все, он знает все, он помнит все».

Николай Васильевич в свою очередь принялся расспрашивать Лизу о революционерах-изгнанниках, проживающих в Лондоне. Они долго говорили о Герцене, затем Шелгунов спросил:

— Не приходилось ли вам когда-либо встречаться с выдаю-

щимися и благороднейшими немецкими учеными Фридрихом Энгельсом и доктором Карлом Марксом?

— Авторами «Коммунистического манифеста»,— досказала Лиза.— Энгельса не знаю, а Маркса пришлось дважды видеть. Бакунин был с ними коротко знаком, и от него я часто слыхала о их деятельности.

— Читали ли вы «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса?

— Нет. Не пришлось.

— Читайте неотлагательно. Европейская экономическая литература не знает лучшего сочинения. Я захвачен этой замечательной книгой, собираюсь перевести ее, чтобы русские люди знали и автора, и его редкостный по глубине труд о рабах.

— О ком? — не поняла Лиза.

— Я говорю вслед за Энгельсом о классе рабочих. Это действительно новые невольники, которые продаются как товар тем, на кого работают, и цена на них падает или поднимается в зависимости от запроса.

Николай Васильевич Шелгунов был, по мнению Лизы, очень умным и значительным человеком. Он был вовсе не похож на тех русских, которых она знала раньше. В чем было различие, она не могла себе уяснить и отнесла Шелгунова к новым людям, появившимся в России после Крымской войны и смерти Николая I. Тоска по родине охватила Лизу. Но о возвращении нельзя было думать. Сигизмунд Красоцкий был все еще очень болен.

В Аахене, куда в 1860 году приехали Красоцкие, находилось много русских, свято веровавших в исцеляющую силу этого тенистого курорта. В отеле, где Лиза сняла комнаты для своей семьи, за табльдотом она заметила старого господина с окладистой неопрятно-серой бородой и жгучими монгольскими глазами на волосатом скуластом лице. С ним всегда была девушка, точно сошедшая со страниц романов Тургенева, которыми зачитывалась Лиза. Русая коса, строгие, нежные черты лица, тонкий стан — все в ней было красиво. Бородатый господин оказался русским помещиком Солнцевым, а девушка — его дочерью Ольгой.

Красоцкие и Солнцевы быстро подружились и проводили много времени вместе, тем более что старый помещик оказался отчаянным либералом, подписал петицию царю о необходимо-

сти освобождения крестьян, ораторствовал о пользе строительства железных дорог и заводов по типу английских. Сам он был пайщиком нескольких предприятий, от которых покуда, как говорил, больших барышей еще не имел, но надеялся на них в будущем. Ольга играла на рояле, любила мечтать, много читала, особенно французские романы, верила в бога и эмансипацию женщин, смутно представляя себе, впрочем, что это означает. Но, наивная во многом, она не была лишена здравого смысла и врожденного юмора. Как это часто бывает с очень молоденькими девушками, Ольга страстно привязалась к сдержанной, чуткой Лизе и поверяла ей все свои мысли и маленькие секреты.

Почти в то же время в Аахен приехал лечиться Фердинанд Лассаль и тотчас же привлек к себе внимание. Высокий, великолепно, по самой последней моде, одетый, всегда в цилиндре и с дорогой тростью, он выделялся даже в толпе самых изощренных щеголей. Лизе его красивое, правильное лицо приводило на память портреты знаменитых тореадоров, итальянских теноров и актеров, исполнявших роли роковых для женского сердца первых любовников.

Лассаль со скучающим и вместе победоносным видом прогуливался по аллеям парка. Лизе он не понравился.

— Бог мой,— сказала она, когда Ольга спросила ее мнение,— в шестидесятых годах нашего века донжуаны кажутся только смешными! Их время прошло. Сейчас другие герои.

— Не Растиньяк ли? — улыбнулась Ольга.

Каково же было удивление Лизы, когда несколько дней спустя старик Солнцев рассказал, что познакомился у источника с отчаянным революционером, о котором уже много слыхал в связи с делом своей знакомой, графини Гацфельд.

— Это сам Лассаль, пороховой человек,— закончил он свой рассказ.

— Я так и думала. Он не может быть обыкновенным,— сказала Ольга.— Ты познакомишь меня с ним, папа?

Вскоре Лассаль стал завсегдатаем у Солнцевых и Красоцких. Он не скрывал, что глубоко увлечен Ольгой и добивается взаимности, чего бы это ему ни стоило. Лиза не придавала большого значения его влюбленности.

— Лассаль слишком любит самого себя. Себялюбие может довести его до безумных поступков.

— О нет, вы неправы. Как же тогда понять его борьбу за народ? — оспаривала Ольга.

— Это поприще, на котором он выступает особенно блестяще. Разве революционер не может быть честолюбцем?

— Не должен,— возразила Ольга.

— Пожалуй, но жажда славы, известности не раз приводила людей на эшафот и в ряды повстанцев за правое дело.

На террасу, где происходил этот разговор, вошел Фердинанд Лассаль, гладко выбритый, розовокожий. Большие, немного выпуклые глаза его смотрели томно и нагло в одно и то же время, слишком маленький рот был ярок и свеж. Легкий запах амбры исходил от его элегантного костюма.

— Скажите, что привело вас к борьбе за тружеников? — спросила, вскинув нежную голову, Солнцева.

— То же, что заставило отвоевывать в течение многих лет права графини Гацфельд, так грубо попранные ее мужем. Сызмала я тосковал по справедливости. Как орел, я был одинок среди людей своей среды. Вы ведь знаете, я с детства был баловнем.

— Вы им остались и теперь,— улыбнулась Лиза, глядя на выхоленные ногти Лассаля.

— И тем не менее, воспитываясь в роскоши, я был и остаюсь рабочим. Не выражайте удивления. К рабочим я причисляю всякого, кто умеет быть полезным обществу. Причислять себя к рабочим в ином, внешнем смысле я не имею, увы, ни возможности, ни основания. Я, наоборот, буржуа, так как мои доходы дают мне возможность вести жизнь, посвященную науке, борьбе за социальную справедливость, и приносить этой цели значительные жертвы.

— Есть ли у вас настоящие друзья? — спросила Ольга.

— Да, но я иду своим путем в обществе, преследуемый, не раз осужденный судом, ненавидимый либеральной прессой, которая глядит на меня с еще большим ужасом, нежели все прокуроры и суды, вместе взятые.

— Скажите, господин Лассаль,— внезапно вспомнив что-то, спросила Лиза,— знакомы ли вы с доктором Марксом?

— Конечно, я даже недавно кое-что сделал для этого безусловно выдающегося, образованного человека. Мой близкий друг, издатель Франц Дункер, кстати, женатый на очаровательной Лине, дочери самого художника Генриха Лаубе, издает его новую книгу по политической экономии. Маркс так дорожит этим своим детищем, что соглашался, лишь бы оно увидело свет, издать его бесплатно, без гонорара. Но я возмутился таким самопожертвованием и добился для него кой-каких денег.

Это даст возможность его семье прожить безбедно некоторое время. Не все такие отзывчивые и честные люди, как Дункер. Другой издатель — Дана — платит ему гроши. Будь я на месте Маркса, немедленно начал бы тяжбу и выиграл бы, конечно. Некоторые родятся победителями. Для меня нет больших и малых дел, как рассуждает Маркс, все зависит от того, кто за них берется.

Лассаль долго говорил в этот день о себе, о своих жизненных принципах, но прежняя настороженность Лизы по отношению к нему не только не рассеялась, а возросла.

«Нарцисс самовлюбленный и глядящийся в людей, как в зеркало. Он ищет только восхищение и видит только самого себя, о чем бы ни говорил»,— думала она.

Через несколько дней Солнцевы должны были ехать назад в Россию. Накануне расставания Ольга вошла к Лизе и, не говоря ни слова, положила перед ней огромную тетрадь. В ней было более сотни мелко исписанных страниц.

— Что же это, исповедь господина Лассаля? — спросила Лиза иронически, увидев подпись.

— Он просит меня стать его женой,— сказала Ольга, вспыхнув.

— Каков же ответ?

— Я дам его через год. Весной мы встретимся снова. Надо проверить себя и его, так советует папа. Мне страшно выйти замуж за такого человека. Он баловень женщин, любимец своего народа, а я скромная девушка, равнодушная к политике, к революции. Ему орлица нужна, он ведь орел.

— Павлин он, а не орел,— досадливо, не сдержась, прервала Лиза.— С ним счастья не будет.

— Папа так же говорит. Но письма он пишет великолепно. Прошу вас, прочтите. У меня нет тайн, но вас, кажется, отпугивает количество страниц.

— Да, простите, Оленька, но, право, жестоко писать столь длинные послания. Надо бы и про адресата помнить. Это бумажный садизм какой-то.

— Не судите столь беспощадно. Но раз вы не склонны вникать во все рассуждения Фердинанда, я прочту вам маленький отрывок. Признаюсь, он мне льстит.

«До сих пор моя любовь была только пожирающим пламенем, в которое бросались женщины. Я не знаю ни одной, которая не постаралась бы захватить меня. Я говорил вам, что всегда избегал молодых девушек. Два раза только говорил я о любви моло-

дым девушкам, которые любили меня страстно и вызвали во мне желание обладать ими. И в обоих случаях я начинал с полного признания, что никогда не женюсь на них. За исключением этих двух случаев, я всегда сближался только с замужними женщинами, у которых я был, как вы однажды выразились, «баловнем». И некоторые из них действительно любили меня. Вы знаете, что женщины, когда любят, имеют привычку всегда задавать вопросы. И не было ни одной, которой бы я не ответил с своей обычной откровенностью, что, будь она свободна, я все же не женился бы на ней. Но, несмотря на это, а может быть именно вследствие этого, меня сильно любили. Я хотел брать, но не отдавать себя».

После отъезда Солнцевых Лиза больше не видалась с Лассалем и не жалела об этом. Заметив ее пренебрежение, он платил ей откровенной ненавистью.

К зиме Сигизмунд настолько поправился, что праздная жизнь на курортах могла для него наконец окончиться. Истомившийся болезнью и бездеятельностью, он настоял на возвращении в Лондон, откуда рассчитывал вместе с Лизой и ребенком направиться на родину. Но все старания бывшего польского повстанца получить разрешение на въезд в Варшаву не увенчались успехом.

Тогда Красоцкие решили отправиться за океан, в Северную Америку. Там начиналась борьба с южанами.

Лизе очень хотелось принять хоть какое-либо участие в великом деле освобождения из рабства негров. Наконец могла сбыться давнишняя мечта, впервые посетившая ее в ночь чтения «Хижины дяди Тома».

V. ОГНЕНОСЦЫ

Мировой экономический кризис начинается как горный обвал. Грохоча и сотрясая вершины, отрывается могучая глыба и летит неудержимо, низвергая камни, поднимая столбы снежной пыли, кроша лед и гранит. Подпрыгивая по отвесным скалам, одолевая препятствия, лишь немного замедляющие бег, бесформенное чудовище облипает снегом, почвой. Один обвал влечет другие. Грохот падающих в долины на головы людей, скот, на дома глыб сильнее и протяжнее канонады. От обвалов некуда скрыться, они раскачивают горы и оглушают мир.

Когда в 1857 году потерпел банкротство один из крупнейших французских банков, а следом за ним несколько европейских

торговых фирм, английский буржуа вынул сигару изо рта, поразмыслил и подбросил уголь во всеотдаляющий камин уютного холла. Натянув перину, перед сном он перечислил по пальцам предпринимателей, потерявших все состояние и покончивших самоубийством, и повторил при этом, мысленно тыча в глобус: это мир, а это Англия, и в Англии — мир. Но неодолимая глыба первого в истории мирового экономического кризиса вовлекла в свой все ускоряющийся полет вниз и Великобританию.

Грозил упасть, как сваливается камешек, оторванный от скалы обвалом, золотой фунт — символ силы и надменности нации. Поколебались цены и на все товары. Буржуа вздрогнул, озираясь по сторонам в недоумении и страхе. Так вздрагивает беспечный путник от гула горной катастрофы.

Разорилось много американских, английских и французских банкиров, владельцев магазинов, фабрик, плантаций. Началась безработица. Правители европейских государств искали, как предотвратить возможные восстания, спастись от краха. Никто не знал, откуда взялось это стихийное бедствие.

Маркс воочию наблюдал и проверял то, к чему он пришел умозрительно, исследуя анатомию капиталистического общества.

Подобно тому как в прошлые столетия великие физики открывали законы возникновения грозы или вращения планет, так Карл вывел незыблемость силы, управляющей явлениями в экономике капиталистического мира. Кризис не был для него ни загадкой, ни неожиданностью. Он и Энгельс его предвидели.

В половине июня 1859 года вышел первый выпуск книги Маркса «К критике политической экономии».

Карл часто и тяжело болел в это время. Однако он всеми силами стремился преодолеть естественную в связи с недомоганием слабость, мучаясь мыслью, что плод его пятнадцатилетних упорных исследований и напряженного труда может быть в чем-либо несовершенен. Требовательность к себе возрастала непрерывно с годами, и он взыскательно и кропотливо отделывал каждую фразу. Сознание ответственности перед своей партией также не покидало его ни на один миг.

«Я надеюсь добиться научной победы для нашей партии, она должна быть вооружена так же неотразимо теоретически, как и практически»,— думал он.

Сквозь густую пелену тумана, окутавшего мир после временной победы реакции, Маркс видел грядущее торжество труда в борьбе с капиталом.

Сейчас же он старался сохранить тех борцов из Союза ком-

мунистов, которые рассеялись по обеим сторонам Атлантики и вели трудную, полную лишений жизнь.

Книга «К критике политической экономии» в первую очередь предназначалась им. Она должна была выпестовать хорошо вооруженных теорией людей. Уже в самом предисловии Маркс сформулировал материалистическое понимание истории и опрокинул при этом все былые научные представления о развитии человечества.

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что́ является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции».

Материалистическое понимание истории явилось огромным торжеством научной мысли. Оно открыло путь к научному объяснению процессов общественного развития, которые до сих пор оставались вне рамок точного познания.

С помощью непреложного научного анализа Маркс вынес смертный приговор капиталистическому строю. Он не указывал дат и географических точек, где разыграются будущие решающие схватки между трудом и капиталом, но предрек победу рабочему люду. Капитализм, утверждает он, представляет собой последнюю антагонистическую форму общественного производства, и в недрах буржуазного общества производительные силы создают материальные условия для разрешения этого антагонизма.

«Поэтому,— писал Маркс,— буржуазной общественной формацией завершается предистория человеческого общества».

Берлинский издатель Дункер, приятель Лассаля, выпустил часть книги «К критике политической экономии» тиражом только в одну тысячу экземпляров. Заключить договор на весь труд он отказался и поставил это в зависимость от спроса на первый выпуск.

Появление книги Маркса буржуазная пресса встретила нарочитым, обдуманным гробовым молчанием. Это был испытанный и убийственный маневр, более уничтожающий, нежели злословие и клевета, могущие встретить отпор, справедливые возражения или любопытство. Необыкновенные книги имеют нередко трудные и сложные судьбы.

В это же время Маркс неотрывно готовил целых пятнадцать печатных листов текста для выходящей в Нью-Йорке американской энциклопедии.

Год был на исходе. В связи с кризисом издатель Дана за статьи для «Нью-йоркской трибуны» платил Марксу половинный гонорар. Женни нервничала. Кредиторы грозили судом и долговой тюрьмой. Печалили ее и ухудшившиеся отношения Маркса с Эрнестом Джонсом, который своими промахами сильно ослабил чартистскую партию, с Адольфом Клуссом, поддерживавшим Виллиха, и с Фрейлигратом, сблизившимся с врагом Маркса по эмиграции, подлым, пустозвонным и напыщенным Кинкелем.

В немецком журнале «Беседка» один из литературных прихлебателей самодовольного Кинкеля, превознося в неумеренных похвалах стихотворный дар Фрейлиграта и желая поссорить его окончательно с Марксом, объявил, что поэт перестал творить, потерял поэтический голос и свободу, подпав под влияние «виртуоза ядовитой злобы». Назвав так Маркса, он разразился против него изощренной бранью.

Карл, прочитав статью, был подавлен не столько грубыми выпадами — к этому он относился всегда спокойно,— но тем, что Фрейлигрaт своим молчанием как бы согласился с таким мнением.

Многосемейный, сильно постаревший и поблекший поэт, устроившись на весьма доходную должность, жил в достатке, изредка писал бесцветные стихи и чувствовал себя обиженным тем, что его не восхваляют друзья и соратники, как некогда в славной «Новой Рейнской газете», когда он достигал творческого совершенства. Прельщенный похвалами и посулами из другого лагеря, он постепенно отошел от коммунистов.

Женни трудно давались разочарования в близких людях.

Она была легко ранимой, долго и тягостно переживала потери. Вместе с тем она не довольствовалась половинчатостью решений и, отойдя от ранее дорогих ей людей, уже не возвращалась к ним обратно.

— Я не признаю полумер,— говорила она часто.

В дни душевных неурядиц в связи с поведением Фрейлиграта к Женни пришло на помощь письмо Энгельса.

«Дорогая госпожа Маркс! — писал он ей.— Сегодня я настолько свободен, что могу послать вам к празднику дюжину бутылок вина. Надеюсь, что они вам придутся по вкусу и поднимут настроение всей family [1]...

На всю фрейлигратовщину я искренним образом зол. С этим беллетристическим сбродом все та же старая песня: всегда им хочется, чтобы им курили фимиам в газетах, чтобы вечно о них твердили публике, и какой-нибудь дрянной, сфабрикованный ими стишок для них важнее самого большого мирового события.

А так как все это без интриганской организации не проведешь, вполне естественно, что таковая становится насущнейшей потребностью, а ведь мы, несчастные коммунисты, к сожалению, для этого совершенно непригодны,— более того: мы видим насквозь все это жульничество, вышучиваем эти организации du succés [2], и у нас самих почти преступное отвращение к популярности».

Письмо друга ненадолго развеселило Женни; каждый последующий день приносил ее семье какие-либо неприятности. Она пыталась скрыть их от Маркса, но тщетно; он все знал, все понимал, мучился, как и она.

«В будущий понедельник у меня срок платежа 1 ф. ст. в Мерилебонский суд графства. Одновременно получил из Вестминстерского суда в пользу одного булочника прилагаемую здесь записку,— делился Карл невзгодами с Фридрихом.— То, что я предвидел, начинает сбываться. Если один обыватель найдет дорогу в суд, ее найдут уже и другие. Если так будет продолжаться, то я, право, не знаю, как дальше выдержу.

Эти беспрерывные неприятности столь фатальны потому, что я абсолютно не подвигаюсь в своей работе».

Нет большей страсти, нежели одержимость творчества и труда. Ни жажда в раскаленных песках пустыни, ни власть инстинктов, ни многодневный голод не могут сравниться в своей

---

[1] Семьи.

[2] Основанные на успехе.

изнуряющей силе и длительности с мучениями ученого, обремененного великим научным открытием, художника, отягощенного образами, мыслью, звуками и не имеющего возможности выявить их, воссоздать в зримой и слышимой форме. Так созревшее семя пробивает толщу почвы, чтобы вырваться к свету, расти, цвести.

Карл изнемогал. Он вступил в пору зрелого творчества. Все было выношено, внутренне проверено. Мысль его постигла законы, двигавшие обществом, а жизнь, издеваясь, тащила его вниз, в смрадное болото мелочных забот.

Шли годы. Целое десятилетие уже он бился с препятствиями. Это была худшая, изнурительнейшая из войн, в которой Маркс потерял четверых детей, здоровье и несчетное количество часов, необходимых для больших творческих свершений. Война эта не сулила ему побед, она убивала тех, кого он любил, калечила их, наполняла горечью его дни и ночи. Борьба за высокие идеи окрыляет, но безгранично тяжело, когда приходится ежечасно отбиваться от унижающих тебя кредиторов: булочника, мясника, зеленщика, бакалейщика. И при этом знать, что иной дорогой никогда не пойдешь. Она одна ведет к намеченной цели.

Как едва видимые москиты способны обескровить человека, так нужда, постоянное безденежье и лишения незримо подтачивали здоровье Карла именно тем, что мешали ему целиком отдаться научной работе, отрывали его от творчества, отдаваясь которому он вновь обретал силы. Женни, будучи постоянной помощницей мужа и захваченная одной с ним идеей, находила в его творческих радостях некоторое успокоение. Поддерживали и утешали ее дети, их успехи, их любовь.

Несмотря на все трудности, старшие девочки учились сначала в колледже в Саутгемптоне, затем в женской гимназии. Они неизменно переходили из класса в класс с наградами. Кроме школьных занятий обе брали уроки итальянского и французского языков.

Женнихен хорошо декламировала и рисовала. На мольберте в гостиной подле палитры с красками стояла неоконченная картина. Недавно Женнихен послала в Манчестер традиционные рождественские подарки. Энгельсу досталась талантливо исполненная копия Рафаэлевой мадонны, а Вильгельму Вольфу — два раненых французских гренадера.

Лаура с детства была очень музыкальна. Заслышав пение дочери, Карл открывал дверь своего кабинета и, откинувшись

в кресле, слушал с нескрываемым удовольствием романсы Шуберта, Бетховена, арии Моцарта и протяжные волнующие народные напевы. Лицо его разглаживалось, светлело, в глазах появлялось выражение полного покоя и мечтательности. Он отдыхал, радуясь музыке, и, случалось, терпеливо переносил также и однообразие гамм, вокализы и сольфеджио, которыми подолгу занималась юная певица.

Карл перешагнул за сорок. В его смолисто-темных волосах появилось много седых прядей. Еще более проницательным стал взгляд легко загорающихся смехом или гневом темных глаз. Углубились саркастически скорбные складки над верхней губой. Все так же прекрасны и выразительны были его небольшие крепкие кисти рук с длинными гибкими пальцами. Маркс был из числа тех немногих людей, которые, несмотря на тяготы жизни, титанический умственный труд, болезни, бессонницы, горькие утраты, становятся красивее, внешне значительнее с возрастом. Так удивляют нас величавой красотой могучих стволов и кроны многолетние ливанские кедры. Во сколько раз великолепнее они, нежели неокрепшие молодые деревца. В пору своей зрелости Карл был похож в одно и то же время и на это несокрушимое гордое дерево и на смуглого араба, отдыхающего в его тени.

В доме на Графтон-террас бывало не много посетителей. Энгельс оставался в Манчестере. Там же находился и Вольф. Он считался отличным педагогом и давал уроки. В свободные часы Люпус предпочитал уединение в скромном домике, где о нем неусыпно заботилась молчаливая старуха экономка. Малыш — Дронке — служил в купеческой фирме в Ливерпуле, куда недавно перебрался из мрачного Глазго.

Карл в дни, когда не мог бывать в читальне Британского музея, большую часть времени проводил за книгами и бумагами в своем кабинете. Уже много лет он страдал отсутствием аппетита и в часы работы совершенно забывал о еде. Привычка писать по ночам породила жестокую бессонницу. Долгие годы лишений принесли всевозможные хвори.

— Что ж,— сказал он как-то полушутя,— я познал на самом себе многое из жизни пролетариев, в том числе и их болезни.

Обычно, не дождавшись Маркса в столовой, жена или кто-либо из дочерей отправлялись за ним в кабинет. Маленькая Тусси особенно энергично и бесцеремонно оттаскивала отца от заваленного книгами бюро.

— Скорее, Мавр. Ты позабыл об обеде. Ленхен очень сердится. Она приготовила тебе рыбу, соленую, как море. Уже дважды пришлось разогревать твой острый суп. Я хочу покататься верхом.

Карл послушно поднимал дочь и усаживал ее на свои плечи. Затем вприпрыжку он обегал кабинет несколько раз, подгоняемый маленькой ручонкой, и с протяжным ржанием врывался в столовую.

Так весело и беспечно начинался обед. Нередко разговор за едой касался злободневных политических вопросов, которыми постоянно интересовались Карл и его жена.

— Читал ли ты уже газеты, Чарли? Что нового?

— Самым значительным событием, несомненно, остается движение чернокожих рабов в Америке и невольников в России. Заметь, милая Женни, что русское дворянство домогается конституции. Это будет толчком для тамошних крестьян. Тем более что царь Александр уже основательно испортил свои отношения с ними, объявив в своем последнем манифесте, что «коммунистический принцип» должен исчезнуть навсегда вместе с их освобождением. Все это чревато великими последствиями. Кстати, в Миссури снова восстали рабы.

— На чьей стороне победа, Мавр?

— Восстание жестоко подавлено. Но сигнал дан. Дело осложняется, и, несомненно, впереди предстоят кровопролитные схватки.

— Что-то будет с «Нью-йоркской трибуной»? Вероятнее всего, в связи с возможной войной Севера с Югом ты окончательно лишишься корреспондентского заработка,— грустно заметила Женни и провела рукой по лбу, как бы снимая давящую мысль.

— В Индии все симптомы колоссального кризиса. Это, несомненно, отразится на манчестерской хлопчатобумажной промышленности. Контора «Эрмен и Энгельс» тесно связана с Калькуттой. Пряжа дорожает, а хлопок падает в цене.

Во время этого разговора Ленхен поставила на стол блюдо, политое пряной подливкой.

— Не знаю, как и кормить мне Карла,— ворчливо сказала она.— Он ничего не хочет без приправы и солений, а потом страдает от болей в печени. Я пробовала кормить его, как велят врачи,— ничего не ест, а когда даю то, что он любит,— не могу потом смотреть на его болезни. Ему бы ромашкового настоя попить, как учила покойница баронесса, а он требует крепкий

кофе. Вот еще наш Люпус, тоже мое мучение. Жирная ветчина и эль сведут его в гроб. А скажешь об этом — ты же и плоха.

Вдруг Ленхен прервала свои сетования. Опустив руку в карман, она нащупала в нем большой, плотный конверт и вспомнила, что с утра еще получила его от почтальона.

— С вами, право, голову потеряешь,— рассердилась она на свою забывчивость,— покуда придумаешь, что готовить, себя забудешь. Вот таскаю несколько часов пакет, и все из-за забот о вашем питании.

Карл, улыбнувшись в бороду, проводил добрым взглядом Ленхен; Женни внимательно рассматривала крупный, ровный, заносчивый почерк.

— От Лассаля, кажется, и, вероятно, насчет издания «К критике политической экономии»,— сказал Карл, взглянув через плечо жены на четко выведенные буквы.— Так и есть — от него,— сказал он, прочитав письмо.

— Мавр,— настойчиво домогалась Тусси, едва он отложил почту,— расскажи мне про американскую войну. А в Миссури много белых?

Маркс терпеливо принялся объяснять пытливой малютке то, что ее так интересовало.

— Авраам Линкольн — замечательный человек, не правда ли? — сказала между тем Лаура.

— Я хочу написать ему длиннее-предлиннее письмо, чтобы он скорее победил южан и все негры были свободны,— затараторила снова Тусси.— Ты отправишь его по почте, правда? — Тусси заглянула просительно в глаза отцу.

С совершенной серьезностью Карл обещал дочери послать за океан ее советы и размышления президенту Северных штатов.

— Но, надеюсь, ты разрешишь и мне ознакомиться с твоими письмами? — сказал он.

Конечно,— ответила важно маленькая Элеонора и вдруг, вспомнив что то, схватила отца за руку, стремясь скорее увести его из столовой.

Мавр, ты обещал мне прочесть сказку про умную лисицу, — капризно потребовала Тусси.

— Ты права, слово надо держать. Я уже достал с полки книгу «Рейнеке-Лис».

— Как жаль, Мавр, что мы с Лаурой уже такие взрослые и ты не читаешь нам больше вслух ни Гомера, ни «Дон-Кихота», ни «Песни о Нибелунгах»,— сказала Женнихен.

— Приглашаю вас, сеньориты, сегодня вечером в прерии. Мы прочтем вслух что-либо из Купера или Майн Рида. Не забудьте взять с собой лассо. Может быть, нам удастся поохотиться на диких лошадей,— прищурив глаза, с нарочитой серьезностью объявил Маркс.

— Наконец-то мы снова покинем сумрачный Лондон,— обрадовались Женнихен и Лаура.

— А пока мы с Тусси отправляемся в дебри леса к царю зверей.

Но таких беспечных, счастливых часов у Маркса бывало не много.

Новый 1860 год был не лучше для Маркса и его семьи, нежели его трудный предшественник. В феврале туманы подолгу не рассеивались над Лондоном. Казалось, никогда не пробиться солнцу сквозь их многослойную разъедающую пелену, и черная мгла сменилась желтой. Уныло гудели гонги и колокольчики, чуть виднелся свет фонарей на облучках карет и в руках прохожих. В смрадной, влажной, клейкой жиже, как в мясном наваре, пышно взрастали бациллы таинственных болезней. Карл часто хворал.

На Графтон-террас было невесело. Даже маленькая резвушка Тусси, кумир всей семьи, приутихла и часами одна перелистывала иллюстрированные томики Шекспира, из которого в пять лет знала уже кое-что наизусть. Чуткая девочка не решалась теперь без спроса врываться в кабинет отца и забрасывать его бесчисленными «почему». Не просила она также, чтобы Мавр покатал ее верхом.

Карл, угрюмо склонившись над столом, работал с утра до поздней ночи. Перед сном он сказал Женни:

— Эккариус очень болен. В доме у него, как ты сама понимаешь, нет ни одного пенни. Представь себе горе его жены и детей, бедняге не на что купить лекарств. Чем бы мы могли помочь ему, родная?

Женни задумалась. Все ценное давно уже было в закладе. Денег также не хватало. Вдруг взгляд ее упал на единственное добротное платье, одиноко висевшее на вешалке.

— Я нашла выход, Чарли,— сказала она живо.— Мы поможем старине Эккариусу.

На другой день было заложено последнее «свободное» платье Женни, чтобы оказать помощь нуждающемуся другу. Карл сам отправился навестить Эккариуса и с нескрываемым удовольствием вручил ему полученные в ломбарде деньги.

* * *

Снова клевета — эта смертельным ядом пропитанная стрела, крапленая карта, порождение подлости и лжи, испытанное средство политической борьбы не на жизнь, а на смерть буржуазии с коммунизмом,— подобно зловонному желтому туману, окутала Маркса.

В 1859 году, в Париже, в одном из кабинетов дворца Тюильри, в личной канцелярии императора происходил следующий разговор.

— Выплатите немедленно через доверенное лицо сорок тысяч гульденов господину Карлу Фогту на пропаганду идей императора за границей. У нас не будет промаха, как это случилось с прусской полицией на Кёльнском процессе коммунистов.

— Фогт вне всяких подозрений в кругах немецкой эмиграции. У него солидная репутация добропорядочного демократа, талантливого ученого-натуралиста и неподкупного политического деятеля. Можно ли желать лучшего?

— Его отец — профессор медицины и славится своей больницей в Швейцарии, братья — почитаемые адвокат и врач. В Лондоне Фогт близок с Кинкелем и Герценом, с которым скоро, кажется, породнится. Сын этого богатого русского «звонаря» влюблен в мадемуазель Фогт и собирается на ней жениться.

— Великолепно. Все, что вы говорите, служит надежной гарантией. Наше нападение на коммунистов, главное, на их вожака Маркса, одержимого манией низвержения существующего порядка, будет уничтожающим.

— Если этот неуемный Спартак заподозрит в Фогте нашего друга и единомышленника, сами эмигранты сведут с ним счеты и разорвут его на части, отстаивая честь безукоризненного господина Фогта. Главное — полнейшая конспирация.

— Вы можете быть спокойны. Карл Фогт в этом лично заинтересован.

Вскоре Фогт, не теряя времени, принялся за бесчестное дело. Всю жизнь любой ценой он добивался популярности и видного общественного положения и кое-чего достиг, когда революционная волна 1848 года вынесла на поверхность немало человеческой пены. Избранный во Франкфуртское собрание, Фогт считался там лидером левых демократов и даже в последние, агонические дни этого болтливейшего из парламентов оказался одним из пяти его регентов. Это была вершина его карьеры.

Маркс и Энгельс, прислушиваясь к его многословию, сначала обзывали Фогта просто болтуном, но после 1849 года вынесли ему суровый приговор, так же как всем, кто, отстаивая интересы лавочников и мелких фабрикантов, обнаружил трусость, близорукость и приспособленчество. Фогт в статьях «Новой Рейнской газеты» был изобличен как один из демократов, который своим противодействием задушил все подготовлявшиеся революционные реформы. С той поры Карл Фогт затаил ненависть к коммунистам и ждал только часа, когда сможет отомстить. Близость к бонапартовской клике, сочувствие ее идеям и полученные тайно деньги из императорской кассы дали ему эту долгожданную возможность.

Карл Фогт, шарообразный пузатый господин среднего роста, предпочитал костюмы черного цвета и высокие накрахмаленные воротнички, на которых важно лежали отвислые щеки. Сюртук его был всегда тщательно разутюжен и застегнут на все пуговицы, штиблеты начищены. Он напоминал пивовара или сельского кюре.

После разгрома мартовской революции Фогт эмигрировал из Германии в Швейцарию, где постоянно жили его родные, преподавал в качестве профессора теологию, хотя специальностью его всегда была зоология. Студентам нравились его мнимоматериалистические воззрения. Он умудрялся, всячески оговариваясь, что верит в бога, повторять на своих лекциях вольнодумствующие утверждения о человеческом происхождении Иисуса.

— Христианство,— заявлял Фогт,— явилось страшной помехой для человеческого ума. Оно создало мрак средневековья, в котором человечество едва не осталось навсегда, и породило глупость и невежество... Нет ничего опаснее суеверия для грядущих судеб человечества; нет ничего пагубнее уверенности не только в собственной правоте, но и в необходимости помешать другим мыслить иначе. Это грозит смертью человеческому уму.

Такие разговоры создали зоологу Фогту репутацию независимого и смелого ученого. Герцен назвал его своим другом. Однажды Фогт поразил слушателей заявлением, что мысли находятся в таком же отношении к мозгу, как желчь к печени и моча к почкам.

Так, орудуя поверхностным, вульгарным материализмом, господин Фогт приобретал известность и доверие. Он отправил из Женевы некоторым лондонским немецким изгнанникам, в том числе и Фрейлиграту, приглашение сотрудничать в швейцар-

ском еженедельнике и изложил заодно свою программу. Ознакомившись с нею, Маркс сказал кратко:

— Словоизвержение.

Но, вернувшись домой, тотчас же написал об этом Энгельсу:

«...О революционном движении в Германии, как Фогт «знает из самого лучшего источника», при нашей жизни нечего и думать. Следовательно, лишь только Австрия будет уничтожена Бонапартом, в отечестве само собою начнется имперско-регентское умеренное либерально-национальное развитие, и Фогт, пожалуй, будет еще прусским придворным шутом».

Внимательно продумав «программу» Фогта и ознакомившись с его книгою «Очерки современного положения в Европе», Маркс все более склонялся к мысли о тесной связи взглядов Фогта с бонапартистскими лозунгами.

«Что бы это могло значить?» — думал он.

Помимо Фрейлиграта Фогт прислал программу и свои «Очерки современного положения в Европе» также старому знакомому Маркса, баденскому эмигранту Блинду. Это был убежденнейший республиканец с очень узким, однако, кругозором. Собственная персона казалась Блинду столь неизмеримо важной и великой, что совершенно закрывала собой весь мир. Этот человек являлся постоянным объектом подшучивания Энгельса, который отлично понял всю его сущность. Прочитав произведение Фогта, Блинд впал в ярость. Программа, восхваляющая Бонапарта, оскорбила в нем баденца и республиканца. Кроме того, незадолго до этого он каким-то образом узнал, что Фогт получил из Франции субсидию и пытался подкупить одного южнонемецкого писателя, предложив ему крупную сумму денег. Все это Блинд без обиняков изложил Марксу, а затем и Либкнехту.

Спустя некоторое время в анонимной статье появилось сообщение о подкупе Фогта бонапартистами. Рассчитывая на то, что доказательств нет, Фогт, желая защититься, перешел в открытое наступление, а Блинд, испугавшись, упорно отмалчивался. В декабре появилась брошюра Фогта против Маркса. Профессор зоологии, казалось, собрал под переплетом своего произведения, как в чудовищном террарии, все виды пресмыкающихся и бросил им на съедение ни в чем не повинных людей. Подтасовывая факты, щедро пользуясь клеветой и ложью, он распространял злобный и грязный вымысел о деятельности Союза коммунистов, который будто бы преследует только корыстный расчет и преступные цели и с помощью шантажа вымогает деньги для личного обогащения. Как восемь лет назад прусская полиция фаб-

риковала несуществующие преступления для коммунистического процесса в Кёльне, так ныне Фогт выступил вооруженный клеветой.

В феврале Маркс наконец получил из Германии провокационную книгу. Даже столь закаленный боец, как он, содрогнулся. В книге Фогта Маркс изображен главой шайки вымогателей, которая существовала тем, что грозила выдачей полиции всем принимавшим участие в революционной борьбе.

«В Германию было послано не одно, а сотни писем,— писал Фогт,— с угрозой разоблачить в причастности к тому или иному акту революции, если в определенный срок по указанному адресу не будет доставлена известная сумма денег».

Это была не единственная клевета, ею дышала вся книга. Фогт дошел до того, что обвинял Маркса и его единомышленников в фальшивомонетничестве.

Карл Маркс сколько мог скрывал от жены брошюру Фогта, зная, как она чувствительна к подобной клевете, но в конце концов Женни прочла ее.

— Есть мера вещей, мера даже лжи, но в этой чудовищной басне нет меры подлости,— сказала Женни, едва владея собой. Она была ошеломлена.

Несмотря на всю очевидную лживость, для вящей убедительности, как это всегда бывает в клевете, рассказывались кое-какие подробности быта лондонской эмиграции. Очевидно, Фогт был осведомлен о жизни немецких изгнанников и состряпал на этом основании ядовитейшее блюдо.

— Нет более сомнения, Блинд был прав. Фогт состоит на службе у бонапартистской клики,— сказал Карл после долгого тяжелого раздумья.— Так писать могут только оголтелые продажные души. В честной борьбе есть ожесточение, но нет необходимости уподобляться взбесившемуся зверю. Я не имею права, не могу и не должен молчать.

Отвращение и ужас попеременно сжимали сердце Женни.

— Ни слова правды, какая зоологическая ненависть!

— Не только ненависть, но и зоологическая совесть,— вставил Карл.

— Он мстит,— продолжала Женни,— он мстит за то, что ты и Энгельс осмеяли его в «Новой Рейнской газете» за бесславную деятельность во франкфуртской говорильне. Но как, какими средствами сводит он свои счеты? Во время Кёльнского процесса на коммунистов обрушилась вся прусская полиция, а тут один человек.

— Ты ошибаешься, он не один. За его спиной банда второго декабря и вся «Елисейская братия».

Германская буржуазная пресса восторженно приветствовала книгу Фогта, и «Националь Цейтунг» посвятила ей статьи, глубоко поразившие всю семью Маркса.

Женни не могла успокоиться. Для ее правдивой, смелой души была непереносима всякая ложь — следствие подлости либо продажности и трусости. Она и Карл болезненно ощущали отклонение от простой правды в обыденной жизни, борьбе, искусстве, поведении. Даже самые мелкие разновидности лжи — напыщенность, выспренность, экзальтация — воспринимались ими с насмешкой, брались в штыки юмора. Они оба не переносили ложного пафоса и какой бы то ни было искусственности, мгновенно отличая подлинно значительное от подделки.

Тем невыносимее было для Женни видеть, в какие силки клеветы попали ее муж и его друзья.

— Так лгать, так выдумывать! — повторяла она в отчаянии.

— Человек — это бездна.

Женни бесцельно бродила по дому, страдая. В сердце поднимались возмущение и ужас перед людьми, подобными Фогту. И тогда с особой страстной силой приходила к ней мечта о будущем, о том времени, когда не будет наемных убийц и клеветников. А за окнами дома, как бы для того, чтобы жить было еще труднее и страшнее, не рассеивался тяжелый, как пласты каменного угля, туман.

Бедность объединилась с клеветой и провокацией, чтобы ослабить, уничтожить Маркса и его единомышленников. Ему стало ясно, что отвечать Фогту необходимо, хотя обычно он не был склонен обращать внимание на самую отборную брань. Печати, по его мнению, нельзя возбранять нападать на писателей, актеров и политиков. Но опытный глаз Карла распознал в этот раз, что целью Фогта было оклеветать и опозорить все коммунистическое движение. Карл взялся за оружие. Он считал также своим долгом перед женой и детьми разоблачить клеветника и очистить свое имя от грязи.

Сколько времени, здоровья, творческих сил, энергии пришлось отдать Марксу, чтобы разбить еще одного видимого врага, за которым стояла могущественная, тщательно скрытая сила — французский цезаризм. И снова, как в дни Кёльнского процесса, из нищенской квартирки, где часто не было гроша, чтобы оплатить почтовые расходы, полетели письма, документы по разным городам Европы.

— Объясни мне, Чарли, что такое «серная банда», к которой, по словам Фогта, принадлежал ты, Люпус и другие? Я впервые слышу это мерзкое название.

Карл рассказал жене, что так называлось общество молодых немецких эмигрантов, которые в 1849 году поселились в Женеве.

— Знал ли ты кого-нибудь из этой компании? — спросила встревоженно Женни.

— Никого. Все, что сейчас ты от меня слышала, я сам на днях узнал в подробностях благодаря любезности некоего инженера Боркхейма, главы одного крупного предприятия в Сити. Я познакомился с ним после того, как выяснил, что он десять лет назад имел отношение к этому злополучному кружку. Вот послушай кое-что из того, что он пишет мне:

«Лондон, 12 февраля 1860 г.

Милостивый государь!

Хотя мы,— несмотря на девятилетнее пребывание в одной и той же стране и большей частью в одном городе,— три дня тому назад еще не были лично знакомы друг с другом, Вы совершенно правильно предположили, что я не откажу Вам, как товарищу по эмиграции, в разъяснениях, которые Вам угодно было получить.

Итак, о *серной банде.*

В 1849 г., вскоре после того, как мы, повстанцы, покинули Баден, несколько молодых людей оказались в *Женеве,*— одни были направлены туда швейцарскими властями, другие — по собственному выбору. Все они — студенты, солдаты или купцы — были приятелями еще в Германии до 1848 г. или познакомились друг с другом во время революции.

Настроение у эмигрантов было совсем не радужное. Так называемые политические вожаки взваливали друг на друга вину за неудачу. Военные руководители критиковали друг друга за отступательные наступления... При таких-то печальных обстоятельствах... молодые люди составили тесный кружок...

Мы весело *бражничали* и распевали...

«Филистеры»... прозвали нас *серной бандой.* Иногда мне кажется, что мы сами так окрестили себя. Во всяком случае, применялось это прозвище к нашему обществу исключительно в добродушном немецком смысле этого слова...

Это единственная *серная банда,* которую я знаю. Она существовала в Женеве в 1849—1850 годах...

Остаюсь с уважением преданный Вам

Сигизмунд Л. Боркхейм»

Я обязательно присоединю это письмо к своему ответу Фогту. Каждому станет тогда ясно, как далеки мы были от этих молодых людей,— сказал Маркс, и Женни, несколько успокоившись, одобрила такое намерение мужа.

Большим огорчением для Карла являлся отход Фрейлиграта от коммунистов. Поэт сблизился с Кинкелем и другими представителями буржуазных кругов эмиграции, которые привлекли его вначале лестью и захваливанием. Глубокая трещина пролегла в старой дружбе Маркса и Фрейлиграта. Поэт был одним из первых, кому Фогт прислал свое сочинение.

Маркс обратился к Фрейлиграту с письмом и, указывая, какое важное значение имеет ответ Фогту для исторического оправдания партии и для ее будущего положения в Германии, просил включиться в борьбу с клеветником.

«Постыдное нападение Фогта,— писал Маркс поэту,— создало мне во всех странах — в Бельгии, Швейцарии, Франции и Англии,— неожиданных союзников, даже в лице людей, принадлежащих к совершенно иным направлениям.

Но в наших общих интересах и в интересах самого дела лучше действовать согласованно.

С другой стороны, откровенно признаюсь, что я не могу решиться из-за незначительных недоразумений потерять одного из тех немногих людей, кого я любил, как *друга* в подлинном смысле этого слова.

Если я чем-либо перед тобой виноват, то я в любое время готов признаться в своей ошибке. Ничто человеческое мне не чуждо...

Если мы оба сознаем, что мы, каждый по-своему, отбрасывая всякого рода личные интересы и исходя из самых чистых побуждений, в течение долгих лет несли знамя «класса наиболее обремененного трудом и нуждой», подняв его на недосягаемую для филистеров высоту, то я счел бы за недостойное прегрешение против истории, если бы мы разошлись из-за пустяков, которые все в конце концов сводятся к недоразумениям».

Фрейлиграт не замедлил с ответом. Утверждая, что желает сохранить добрые отношения с Марксом, он тем не менее категорически отказался присоединиться к тем, кто выступал против Фогта.

«Все эти семь лет (с того времени, как прекратил свое существование Союз коммунистов) я далеко стоял от партии. Я не посещал ее собраний, ее постановления и действия оставались для меня чуждыми. Фактически, следовательно, мои отношения

с партией были давно нарушены. Мы никогда в этом отношении не обманывали друг друга. Это было своего рода молчаливое соглашение между нами. Я могу только сказать, что я себя при этом хорошо чувствовал...»

Письмо Фрейлиграта, после многих размолвок последних лет, не удивило Маркса. Каким пигмеем казался поэт по сравнению с другими соратниками Карла по партии. Фрейлигрaт откровенно искал покоя и поддержки богатых, политически мелких, недалеких, но преуспевающих людей. Карл вспомнил название одного из стихотворений Фрейлиграта — «Наперекор всему».

«Итак, наперекор всему, автор прощального слова «Новой Рейнской газеты» отказался публично вместе с нами выступить против негодяя»,— подумал он с горечью.

Когда на человека обрушивается беда, то ему открывается тогда же и истинная сущность отношения к нему тех, кого он считал друзьями.

Много раз испытывала сама жизнь душевные качества окружающих Маркса людей. Фрейлигрaт пришел к нему в бою, на подъеме, но не мог выдержать проверки поражением.

Еще раз Маркс написал Фрейлиграту. Карл терпеливо разъяснил ему, что под словом партия вовсе не значился ни Союз коммунистов, ни редакция газеты, давно уже не существовавшие. «Под партией я понимал партию в великом историческом смысле».

Маркс привлек Фогта к ответственности за клевету и решил выступить с разоблачающей его брошюрой. Борьба с Фогтом была еще одним этапом многосторонней и постоянной войны Маркса с бонапартистской идеологией, которая из Франции перекинулась в другие страны и заражала мелкобуржуазных демократов.

Оценил он по достоинству и политический смысл выступления Фогта:

«Суть ведь в том, что банда имперских мерзавцев... и, наконец, либеральная банда употребляют все усилия, чтобы морально уничтожить нас в глазах немецкого обывателя... Во всяком случае — международные отношения столь сложны, что для вульгарной демократии и либерализма чрезвычайно важно закрыть для нас уши немецкой обывательщины (т. е. публики) и доступ к ней... К случаю с Фогтом нельзя относиться так же, как к какому-нибудь Теллерингу... Этот чревовещатель считается в Германии научным светилом, он *был* имперским регентом, его поддерживает Бонапарт».

Карл принялся за отповедь клеветнику Фогту. Из ученого, открывавшего людям неведомые доныне незыблемые законы, он превратился в бесстрашного бойца, неотразимого полемиста. Сарказм несет в себе разрушительную силу, и он вооружился им. Творческое многообразие заставляет дочитывать книгу до конца, и Карл сумел сделать свою брошюру увлекательной. Он без труда отыскал в необъятной памяти литературный прототип для своего противника. Тучный, самодовольный, наглый и хвастливый профессор зоологии более всего напоминал шекспировского сэра Джона Фальстафа. Фогт, по словам Маркса, «нисколько не убавился в *веществе,* в своем новом зоологическом перевоплощении».

Спутники всей сознательной жизни Карла, его самые близкие друзья также явились на помощь в этой справедливой борьбе. Много претерпевший от вражьей клеветы Данте, великий человековед Шекспир, шутник Рабле, проницательный Кальдерон, трагический Шиллер и многие другие подсказали ему меткие, колкие слова и образы.

Маркс снова отдался творческой и боевой страсти. Где бы он ни был — с рапирой в руке на фехтовальной арене, среди книг и мыслей с пером за рабочим столом, на трибуне,— он проявлял бесстрашие, знания, живость, натиск, пылкость и целеустремленность.

Шли дни, недели, а Маркс большею частью сидел над книгами и рукописями. Перед ним часто лежала испещренная пометками книжка Фогта. На отдельных листках были выписки, которые следовало внести в книгу для контратаки.

«...в Лондоне шайка изгнанников... Их глава — Маркс... их лозунг — социальная республика, диктатура рабочих, их занятие — организация союзов и заговоров».

Карл, желая отдохнуть, звал свою маленькую дочь, и Тусси вприпрыжку, волоча куклу, врывалась к отцу, властно требуя исполнения ее желаний. Маркс сдавался.

— Ты должен рассказать мне ту сказку, которую начал давным-давно.

— Не про Ганса ли Рекле? — покорно спрашивал Карл и сажал Тусси к себе на колени.

— Ты все еще пишешь про этого гадкого Фальстафа? — спрашивала она, указывая на ворох бумаг и книг, лежащих на столе и стульях.

— Да, пишу, а ты, кажется, не любишь «Виндзорских проказниц»?

— Мне нравится «Сон в летнюю ночь». Но мы снова забыли про плутишку Ганса.

— У бедняжки опять очень запутаны денежные дела,— сказал Карл, притворно вздыхая.— Я боюсь, что ему придется продать свою чудесную лавку, где живет столько веселых игрушек, и оставить их всех на произвол судьбы. У него нет больше денег, чтобы кормить и одевать игрушки.

— Сделай так, чтобы он смог заплатить свои долги. Ганс Рекле ведь колдун, он все может,— просила Тусси жалобно.— Ну, куда же денутся, если он попадет в долговую тюрьму, все его деревянные куклы, великаны и карлики, королевы и короли, стулья и ящики!

— Ты права, мой маленький карлик Альберих [1], у Ганса в лавке находятся также собаки, кошки, львы, голуби и попугаи. Их не меньше, нежели у старого Ноя в его сказочном ковчеге. И все же, несмотря на то что Ганс добрый волшебник, его преследуют зеленщик, бакалейщик и, особенно, мясник и булочник. Сегодня я расскажу тебе удивительное приключение Ганса Рекле, когда он отправился к дьяволу, чтобы тот ссудил ему немного денег.

И Маркс рассказал дочери увлекательную историю, чем-то напоминавшую страшные сказки Гофмана. Но Тусси требовала все новых и новых сказок. Особенно ей нравился рассказ о ежике:

«В маленькой норке у ежика родился сынишка. Был он мягонький и нежный, как одуванчик, и мать ласково поглаживала язычком его тельце. Вскоре ежик выполз в сад. Ему приветливо закивали цветы с больших клумб, и он весело прогуливался среди трав. Кожица его все еще была не жестче, чем лепестки пиона, который надменно поглядывал на него сверху. Но шли дни, и на шкурке его выросла жесткая щетинка. Ежик приуныл.

— Мои иглы будут царапать лепестки настурций и анютиных глазок. Не хочу я быть точно металлическая скребка, о которую люди чистят свои грязные подошвы у порогов домов. Не хочу быть как подушечка с булавками. Хочу остаться мягким.

— Глупый ежик,— сказал хмурый зеленый репейник, покачав колючей головой с лиловым чубиком,— не проживешь ты на свете без игольчатого панциря.

— Конечно, проживу,— ответил упрямый ежик,— разве цветам жить не легче? Их гладит ветерок и солнце, а их голов-

[1] Один из героев «Песни о Нибелунгах».

ки ничем не прикрыты, и даже у розы шипы не защищают цветка.

И он бросился к толстому угрюмому дубу.

— Позволь мне потереться о твои мощные корни и ствол; я не хочу, чтоб скверные иглы выросли на моей спинке и поранили цветы.— Он стал кататься кубарем по земле и прижиматься к коре старого дерева. Но когда ежик вернулся в сад, то, к ужасу своему, увидел, что все цветы были сорваны. Только мудрый репейник спрятался в свою зеленую крепость.

В то же время большой бурый кот спрыгнул с крыши дома и, выставив все десять коготков, приблизился к ежику. Однако сотни иголочек, отвердев, грозно поднялись навстречу странному врагу. Тщетно пытался кот вытащить ежика из его неприступной колючей брони.

Оцарапав нос и лапы, кот бежал, а маленький еж гордо высунул свою крошечную головку.

Репейник дружески кивнул ему сверху своим лиловым вихром.

— Да,— сказал ему ежик важно,— чтобы быть мягким, надо иметь наготове иголки!»

Ежедневно по утрам маленькая Тусси вместе с двумя старшими сестрами занималась гимнастикой, которую англичане называли калисфеповской. Все три дочери Маркса любили трудные физические упражнения. Они с наслаждением бегали взапуски, играли в мяч и соревновались в прыжках и лазании по деревьям. Но никто не мог превзойти в этих занятиях Женнихен. Чрезвычайно гибкая, она упорными занятиями достигла в гимнастике замечательных успехов и удивляла близких своей ловкостью. В свободные вечера дети демонстрировали такой трюк: сестры тщательно привязывали Женнихен веревками к стулу. Эта процедура длилась не менее четверти часа и сопровождалась веселой суетой. Руки, ноги, шею, голову девушки прикрепляли к высокой спинке и ножкам. К всеобщему изумлению, Женнихен в течение одной минуты, ловко изгибаясь, освобождалась, сбросив с себя веревку, опутывавшую ее, как сеть. Тусси тщетно пыталась подражать в этом старшей сестре.

Женнихен, которую с детства звали копией Маркса, была не только внешне, но и по складу ума похожа на своего отца. Жизнерадостная, настойчивая, она удивляла обширностью знаний, сообразительностью, полетом мысли и фантазии. Хорошая художница, она была одарена большим актерским дарованием и превосходно декламировала. Низкий грудной голос Женни был

создан для сцены, как и вся ее незаурядная внешность. Она легко изучала языки и любила заполнять памятные тетрадки поэмами и стихами, записывая их в оригинале: Гёте, Шиллера, Гейне — по-немецки; Корнеля, Вольтера, Беранже — по-французски; Шелли, Байрона, Мильтона — по-английски; Кальдерона — по-испански и Данте, Петрарку и Тассо — по-итальянски. Шекспир был ее самым любимым писателем, и она не уставала находить в его творениях все новые и новые сокровища. Так же пылко и нежно любила Женнихен цветы. Она сама их выращивала, радуясь каждому новому бутону и листику. Из Голландии родственники отца присылали ей луковицы и семена разноцветных тюльпанов, серебристых нарциссов и редких растений далекой Индонезии.

Золотистоволосая Лаура к семнадцати годам стала настоящей красавицей. Как и у Женни, ее духовный мир был многогранен и глубок, и она не искала для себя в жизни исхоженных и легких дорог. Обе старшие дочери стремились помогать отцу в работе и поочередно заменяли ему секретаря.

В одном из писем к Энгельсу их мать с мягкой иронией сообщала: «Я думаю, что мои дочери скоро оставят меня без службы, и меня можно будет внести в список имеющих право на обеспечение. Жаль, что нет никаких видов на пенсию за мою многолетнюю секретарскую службу».

Большой радостью для Лауры был день, когда она получила билет на право посещения читальни Британского музея. С тех пор она часто сопровождала туда отца.

Маркс напряженно работал над памфлетом против Фогта. Как-то он получил письмо из Парижа от своего давнишнего знакомого Сазонова. Взволнованные слова русского были настолько значительны, что Маркс решил включить это письмо в один из разделов своей работы о Фогте.

Сазонов писал из Парижа в мае 1860 года:

«Дорогой Маркс!

С глубочайшим негодованием я узнал о клеветнических вымыслах, которые распространяются на Ваш счет и о которых я прочитал в напечатанной в «Ревю контемпорэн» статье... В особенности меня удивило то, что Фогт, которого я не считал ни глупым, ни злым, мог так низко морально пасть, как это обнаруживает его брошюра. Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что Вы неспособны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более тягостно читать эти клеветнические измышления, что как раз в то время, когда они пе-

создан для сцены, как и вся ее незаурядная внешность. Она легко изучала языки и любила заполнять памятные тетрадки поэмами и стихами, записывая их в оригинале: Гёте, Шиллера, Гейне — по-немецки; Корнеля, Вольтера, Беранже — по-французски; Шелли, Байрона, Мильтона — по-английски; Кальдерона — по-испански и Данте, Петрарку и Тассо — по-итальянски. Шекспир был ее самым любимым писателем, и она не уставала находить в его творениях все новые и новые сокровища. Так же пылко и нежно любила Женнихен цветы. Она сама их выращивала, радуясь каждому новому бутону и листику. Из Голландии родственники отца присылали ей луковицы и семена разноцветных тюльпанов, серебристых нарциссов и редких растений далекой Индонезии.

Золотистоволосая Лаура к семнадцати годам стала настоящей красавицей. Как и у Женни, ее духовный мир был многогранен и глубок, и она не искала для себя в жизни исхоженных и легких дорог. Обе старшие дочери стремились помогать отцу в работе и поочередно заменяли ему секретаря.

В одном из писем к Энгельсу их мать с мягкой иронией сообщала: «Я думаю, что мои дочери скоро оставят меня без службы, и меня можно будет внести в список имеющих право на обеспечение. Жаль, что нет никаких видов на пенсию за мою многолетнюю секретарскую службу».

Большой радостью для Лауры был день, когда она получила билет на право посещения читальни Британского музея. С тех пор она часто сопровождала туда отца.

Маркс напряженно работал над памфлетом против Фогта. Как-то он получил письмо из Парижа от своего давнишнего знакомого Сазонова. Взволнованные слова русского были настолько значительны, что Маркс решил включить это письмо в один из разделов своей работы о Фогте.

Сазонов писал из Парижа в мае 1860 года:

«Дорогой Маркс!

С глубочайшим негодованием я узнал о клеветнических вымыслах, которые распространяются на Ваш счет и о которых я прочитал в напечатанной в «Ревю контемпорэн» статье... В особенности меня удивило то, что Фогт, которого я не считал ни глупым, ни злым, мог так низко морально пасть, как это обнаруживает его брошюра. Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что Вы неспособны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более тягостно читать эти клеветнические измышления, что как раз в то время, когда они пе-

чатались, Вы дали ученому миру первую часть прекрасного труда, который призван преобразовать экономическую науку и построить ее на новых, более солидных основах... Дорогой Маркс, не обращайте внимания на все эти низости; все серьезные, все добросовестные люди на Вашей стороне, и они ждут от Вас не бесплодной полемики, а совсем другого,— они хотели бы иметь возможность поскорее приступить к изучению продолжения Вашего прекрасного произведения. Вы пользуетесь огромным успехом среди мыслящих людей и, если Вам может доставить удовольствие узнать, какое распространение Ваше учение находит в России, я могу Вам сообщить, что в начале этого года профессор Бабст прочел в Москве публичный курс политической экономии, первая лекция которого представляла не что иное, как изложение Вашей последней книги. Посылаю Вам номер «Газетт дю Норд», из которого Вы увидите, каким уважением окружено Ваше имя в нашей стране. Прощайте, дорогой Маркс, берегите свое здоровье и работайте по-прежнему, просвещая мир и не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие подлости. Верьте дружбе преданного Вам...»

Усиленно помогали Марксу в работе над разоблачением Фогта Вильгельм Вольф и Энгельс. Фридрих тщательно просматривал все имеющиеся документы за 1850—1852 годы. Но в конце марта, в связи со смертью отца от тифа, он вынужден был спешно отправиться в Бармен.

Раскрытие подлинной сущности выпада Фогта требовало от Маркса кропотливой, чисто следственной и юридической работы. Так некогда разоблачал он кёльнскую судебную провокацию. Шаг за шагом прослеживал он идейный путь бонапартского агента Фогта. Грязь, которой попытался сей зоологический ученый замарать коммунистов, падала на самого провокатора. Карл располагал неопровержимыми доказательствами своей правоты и не сомневался, что нанесет Фогту сокрушительное, непоправимое поражение. Политическая карьера Фогта должна быть навсегда кончена. Клевета всегда убийственна для клеветников, когда их разоблачают. Карл был подобен льву, растаптывающему лапой змею.

Ему приходилось очень много трудиться в эти месяцы. Чтобы иметь хоть мизерный заработок, Маркс писал для «Нью-Йорк дейли трибюн» статьи на злободневные темы.

Снова широко и победно развернулось национально-освободительное движение на Апеннинском полуострове. Отряды Гарибальди с боями двигались по Италии.

В эти же месяцы французские и английские войска свирепствовали в почти безоружном Китае. Они осадили Пекин и зверски разграбили величайший памятник китайской архитектуры — Летний дворец. Командующий французской армией генерал Кузен-Монтоблан ворвался со своими офицерами в императорскую резиденцию и принялся грабить прославленные китайские драгоценности, как самый отъявленный мародер и бандит. Затем он распорядился сжечь Летний дворец, что и было исполнено с вандальской изощренной жестокостью. Никто не пытался определить количество жертв среди китайского населения, так много их было. В октябре китайское правительство вынуждено было подписать предложенные союзниками условия, обеспечивавшие помимо огромной контрибуции свободный доступ европейцев во все города Китая.

Когда усмиритель и вор генерал Кузен вернулся в Париж и отдал императору часть награбленных сокровищ, тот внес предложение в законодательные органы о присвоении ему титула графа и назначении огромной пожизненной пенсии. Однако разбойничьи подвиги генерала возбудили столь сильное негодование во французском народе, что даже палата отказалась исполнить пожелание императора.

— Генерал свое вознаграждение привез из Китая,— заявили депутаты.

Наполеон в отместку палате распорядился, чтобы к военным издержкам, которые обязывалось уплатить китайское правительство, приписали еще около шестисот тысяч франков в пользу командующего французскими войсками.

Маркс пытливо заглядывал во все уголки планеты. Он не замечал переутомления, исподволь подтачивавшего его. Он черпал силы в неумеренно напряженном, всепожирающем умственном труде, который всегда был его стихией.

Женни, однако, едва держалась на ногах. Мерзкие нападки Фогта, многолетняя беспросветная борьба за существование, постоянные долги и лишения стоили ей немало бессонных ночей и унылых размышлений, подрывали силы. Дочери подрастали. Детство и отрочество их были нелегкими. Женни хотелось не только наряжать их, баловать, но, главное, дать им возможность учиться всему, к чему у них была склонность: музыке, живописи, языкам. Ее пугала их будущность, их полная необеспеченность.

Женнихен и Лаура, довольствуясь всегда немногим, отлично физически развивались и выделялись своими интересами и зна-

ниями среди сверстниц. Но мать горевала, не имея возможности купить им самое необходимое из одежды и обуви, вывозить их на концерты и в театры, отправиться путешествовать, что значительно обогатило бы молодые восприимчивые души. Хотя Тусси росла на редкость здоровым и удачным во всех отношениях ребенком, Женни, вспоминая четверых умерших детей, постоянно боялась за нее. Накопившаяся за много лет усталость сменялась чаще внезапным нервным напряжением и необъяснимой мучительной тревогой. Женни жила в состоянии постоянного ожидания неудач и неприятностей. Шли годы. Ей исполнилось уже сорок шесть лет.

«Неужели жизнь прожита? — спрашивала она себя и тут же отвечала:—Нет, не может быть, я все еще у ее порога. Лучшее у нас впереди».

Но почему ей стало не под силу нести жизненное бремя именно теперь? Бывало ведь значительно труднее? Женни с содроганием представляла себе Дин-стрит, Маркса без обуви, пригвожденного нищетой к дому, голод, смерть Фоксика, Франциски и Муша. Ей казалось, что небо было тогда затянуто густым черным туманом. Как смогла она пережить эту пытку утратами? На кладбище для бедных, над черной ямой, куда опустили гроб Муша, губы Женни судорожно перекосились, и она думала, что никогда больше не будет улыбаться. Но она смирилась, продолжала жить, начала улыбаться, обрадовалась, когда снова услышала веселый смех Карла и девочек.

— Человек все может выстрадать,— поучала Ленхен.— На то он и царь земли. Птицы и звери, те вот слабые. Они, чуть что, и гибнут. А люди как камни. Да и если бы не было несчастья, как знали бы мы, что такое счастье? Вам жилось хуже, нежели теперь. Вспомните Дин-стрит.

Но Женни слушала ее безучастно. Да, у нее была наконец светлая квартира, три дочери действительно отличались здоровьем, приветливым нравом, умом. Семья была спаяна крепкой любовью и дружбой. Но Женни как бы потеряла всякую сопротивляемость огорчениям, лишениям, испытаниям. Их было, видимо, слишком уж много позади. Ей нечем было больше страдать. Каждый удар, даже самый незначительный, больно задевал израненное сердце и причинял нестерпимые муки. Женни начала терять столь присущую ей раньше выдержку. Она часто плакала, иногда из-за пустячного повода, и едва сдерживалась, чтобы не повышать голоса. Ленхен не понимала ее.

— Ну чего вы так убиваетесь по мелочам? Пора бы привыкнуть ко всему и не обращать внимания. Не такое вы уже хлебнули. Эка беда, что кредиторы грозятся судом. Уймутся. Господин Энгельс поможет, а там Карл книгу допишет и уж обязательно ему хорошо заплатят. А что разные мошенники клевещут, так без этого не бывает жизнь у хорошего человека. Вспомните притчу о Иове. Не то еще терпел. Маркс и его друзья — все как есть праведники. Им рано или поздно всё сторицею воздастся.

Женни, не дослушав Ленхен, торопливо одевалась и в омнибусе уезжала в Вест-Энд, желая побороть беспокойство и рассеяться на шумных улицах столицы. Она посещала магазины не столько ради покупок — у нее почти не было денег,— но чтобы посмотреть на модные наряды, которые так подошли бы ее красивым дочерям, заглянуть в каталоги нотных и книжных новинок.

Ей не сиделось на одном месте. Она не могла совладать с собой и с горечью и смущением впервые в жизни заметила, что с трудом сосредоточивается, переписывая по вечерам объемистую рукопись мужа.

Когда книга о Фогте подошла к концу, как это бывало всегда, Карл попросил Фридриха и Женни помочь ему окрестить новое свое детище. Энгельс, не задумываясь, предложил назвать памфлет «Господин Фогт».

Женни возразила:

— Мне не нравится. Я предлагаю название «Да-да, Фогт».

— Но позвольте, госпожа Маркс, это как-то непонятно на первый взгляд и не связано с текстом,— настаивал на своем Фридрих.

Карл слушал спор молча. Он любил сопоставлять разные мнения. Это помогало ему найти правильное решение.

— Возможно,— сказала Женни,— но даже в греческих трагедиях часто на первый взгляд нет никакой связи между заглавием и содержанием. Это заинтриговывает читателя. Впрочем, пусть решает сам Мавр.

Поразмыслив, Карл склонился к предложению Фридриха. Книга была названа «Господин Фогт».

Спустя несколько дней после этого разговора, когда работа над брошюрой подошла к концу, Женни внезапно слегла.

Появились лихорадка и общее недомогание, боль в горле и резь в глазах, как это бывало обычно во время инфлюэнцы, столь частой в ноябре, когда Лондон с его непрерывными дож-

дями, сыростью и яркой вечнозеленой травой становится похожим на огромный аквариум.

Женни тщетно попыталась превозмочь болезнь. Самочувствие ее непрерывно ухудшалось, головная боль и жар усилились, и обеспокоенный Карл решил вызвать врача.

— Аллен знает отлично свое дело и не раз уже лечил нас всех успешно,— сказал он, но Женни с необычайной горячностью воспротивилась.

Решили прибегнуть к испытанным при простуде средствам. Ленхен напоила Женни горячим грогом, растерла с материнской нежностью и усердием теплым оливковым маслом ее грудь и спину и заставила надеть домотканые шерстяные носки, насыпав туда горчичного порошка. Но Женни не стало лучше. Лицо ее распухло, пылающие глаза начали слезиться, кожа приобрела странный пунцовый оттенок. Она совершенно потеряла сон и аппетит и впала в крайне возбужденное состояние, громко жалуясь на боль в пояснице, голове и горле. Карл послал за врачом.

— Мне холодно, точно я лежу на льду,— задыхаясь и дрожа всем телом, твердила Женни, но, когда ее пытались обогреть металлическими грелками, она отбрасывала их в сторону.— Жарко, душно, нечем дышать. Погасите камин, откройте окна, тело мое горит, как на угольях. Куда девать голову? Она такая тяжелая и так мешает. Если бы можно было ее снять и положить куда нибудь, как шляпу. Опустите шторы, мои глаза видят все в багровом свете, точно вокруг пожар. Ах, Чарли, теперь я знаю, как больно бывает твоим глазам. Но почему так отчетливы и объемны мои мысли, я могла бы коснуться их руками. Хочешь, Маир, я проведу тебя шаг за шагом по всей нашей прошлой жизни от самого детства...

Но вдруг Женни вспомнила Фогта и кредиторов. Ничто не могло ее успокоить; казалось, что она бредит и никак не может отбросить прочь навязчивые мысли. Они, как репейник, цеплялись и ранили ее сознание. Она отбивалась от них, вскакивала с постели, неистовствовала, пока обессиленная не падала на подушку и не затихала в горячечном полусне.

Доктор Аллен отнесся к болезни Женни чрезвычайно серьезно. Он потребовал, чтобы тотчас же дети покинули дом. Вызванный Ленхен Либкнехт предложил увести девочек к себе и обещал окружить их родственной заботой. Маркс, зная о стесненном его положении, обещал ежедневно отправлять семье Либкнехта необходимые Женнихен, Лауре и Тусси съестные

припасы. Заботу об этом взяла на себя Ленхен. Когда врач предложил, опасаясь заражения, и ей отправиться вместе с детьми, она возмутилась.

— Вы злой человек, господин доктор, и, верно, не знаете, что для меня госпожа Маркс больше, чем моя жизнь, ближе, чем сестра, а со времени смерти баронессы Вестфален дороже, чем дочь. Что с того, что я моложе ее годами. Женни во многом сущее дитя. С ней сравнить можно разве только Карла. Я умру, как только оставлю этих двух беспомощных детей одних, ведь дорогой Карл позабудет, что надо есть и пить. Он питается одними книгами и сигарами. Умоляю вас, доктор, не делайте меня несчастной, я все равно буду стоять день и ночь у дверей и окон этого дома.

Доктор Аллен внимательно посмотрел на Елену Демут. Он постоянно лечил всех членов семьи Маркса и хорошо знал обо всем, что в доме делалось. Ленхен всегда нравилась ему. Она выглядела значительно моложе своих сорока лет и была очень миловидна. Стройная, белокурая, с чудесным румянцем на лице, умная и находчивая в разговоре, она легко могла выйти замуж и зажить своей семьей, но решительно отклонила несколько брачных предложений. В Женни, Карле и их девочках сосредоточился весь смысл ее жизни. И Аллен знал, что не в его власти заставить ее покинуть этот дом, как бы ни была велика опасность заражения тяжелой болезнью.

Елена и Женни горячо любили друг друга.

— Если я умру,— сказала Женни,— похороните меня так, чтобы рядом оставалось место также для Карла и для тебя, Ленхен. Мы были неразлучны в жизни, пусть же наши бренные останки будут вместе в земле.

Аллен согласился оставить Ленхен в помощь Карлу, который не отходил с этой минуты от больной и старался быть самой терпеливой и внимательной сиделкой.

Со слезами на глазах Женнихен и Лаура покидали родителей. Глубокая грусть охватила всех. Карл вышел на крыльцо, чтобы еще раз поцеловать дочерей. Только проказница Тусси не понимала постигшего дом несчастья.

— До свиданья, старина. Я скоро вернусь, ты доскажешь мне тогда сказку о Гансе Рекле,— сказала она, крепко целуя колючую щеку отца, и маленькими ручонками ласково растрепала его мягкие густые волосы.

Когда доктор Аллен дал последние наставления Ленхен и вышел из комнаты больной, Карл с нервно бьющимся, встрево-

женным сердцем, крепко сжав руки, обратился к нему с просьбой не скрывать правды о состоянии больной.

— Я вижу по всему,— произнес он дрожащим голосом,— что опасность очень велика, но есть ли надежда на спасение? Лишь бы ничего не грозило ее психике. Моя жена в последнее время была столь возбуждена, что, вероятно, нетрудно сойти с ума. Только бы не это.

Врач с глубоким сочувствием посмотрел на осунувшееся, болезненно-бледное лицо Маркса.

— В одном отношении дело обстоит лучше, чем вы думаете,— ответил он,— это не нервная горячка, и рассудку госпожи Маркс ничего не угрожает, но в другом — приготовьтесь к худшему из того, что могло вас постигнуть. Очевидно, тяжелые переживания последних лет истощили организм вашей жены и где-нибудь — в лавке, в омнибусе, в толпе — она заразилась болезнью, весьма частой в прошлые века...

— Какой?! Неужели...— потрясенный страшной догадкой, вскричал Маркс.

— Черной оспой.

Карлу показалось, что врач исчез из поля его зрения, что он на мгновение ослеп и оглох.

«Оспа, оспа, оспа, оспа, смерть, смерть, смерть»,— рвались, как гранаты, в мозгу два слова.

Где-то далеко-далеко снова зазвучала для Карла монотонная речь врача.

— Я сделаю госпоже Маркс, вам и почтенной мисс Демут по две прививки, как учил нас великий Дженнер. Надо надеяться, что вы оба еще не заразились.

— Спасите Женни,— беззвучно сказал Карл,— не могу ли я что-либо сделать? Располагайте мной, моей жизнью, доктор Аллен. Останется ли она жива?

Доктор Аллен принялся основательно мыть руки в фаянсовом тазу, принесенном Ленхен.

— Оспа — младшая сестра чумы, но не все заболевающие ею умирают,— спокойно объяснял он,— будем надеяться на лучшее. Дженнер дал нам могучее средство, правда в качестве профилактики, но и во время болезни оно иногда помогает. Жизнь вашей супруги теперь зависит более всего от ее природы. Медицина одна тут бессильна. Госпожа Маркс не стара, у нее хорошая наследственность, и я не замечал, чтобы сердце ее, печень и почки были нездоровы. Крепитесь, друг мой, терпение и время — вот наши с вами сподручные.

Врач прописал больной красное вино для поддержания сил и сделал Карлу и Ленхен прививки.

— Твердо надеюсь, что организм вашей жены победит эту отвратительную болезнь и оспе не удастся обезобразить одно из самых прекрасных лиц, какие я знаю.

Врач ушел. Карл отыскал и прочел в справочнике все, что было известно об одном из самых заразных и тяжелых заболеваний, об оспе. То, что красота Женни также находится под угрозой и она может ослепнуть, не показалось Карлу столь страшным, как процент смертности от этого бича, вырванного у природы около ста лет назад скромным сельским лекарем.

Образ Женни навсегда запечатлелся в любящем сердце Карла, и, какой бы она ни стала, для него она навсегда была единственной, незаменимой, прекрасной. Настоящая любовь не исчезает оттого, что идут годы, чередуются болезни, наступает старость и стирает краски, сушит кожу, прокладывает морщины, искажает черты, обесцвечивает волосы. Это неизбежность, на которой закаляется чувство. Внешнее разрушение не охлаждает истинной привязанности. Любовь всегда мудра. Женни и Карл стали как бы единым физическим существом. И обоим им показалось бы странным даже самое предположение, что они могут разлюбить друг друга из-за поседевших волос, рябин на лице или рубцов от нарывов.

— Живи, только живи! — заклинал Карл, сжимая горячую сухую руку жены и заглядывая в ее воспаленные глаза.

Болезнь развивалась, беспощадная, уродливая, жестокая, изощренная, как камера пыток.

Лицо Женни напоминало багрово-синий кровоподтек. По всему телу разлилась темно-красная мелкопятнистая сыпь, которая затем превратилась в множество пузырьков, похожих на жемчужины, окруженные пунцовой каемкой.

Женни с трудом дышала, глухо кашляла и почти лишилась голоса, а затем и зрения. Во рту появились язвочки, мешавшие ей глотать. Карл поил ее по капельке с ложечки портвейном, чтобы хоть немного подкрепить. Она заметно слабела с каждым часом. На девятый день температура достигла возможного предела. Началась стадия нагноения. Кожа больной покрылась как бы чешуей из темно-бурых пустул. Сознание Женни затемнилось, она металась и вскрикивала. Глаза ее непрерывно слезились, веки отекли.

Приходя в себя, больная ясно чувствовала, что тело ее состоит из миллионов клеточек и каждая из них жжет, болит. По-

стель казалась ей утыканной гвоздями, и она извивалась, чтобы как-нибудь лечь, причиняя себе меньше страданий. Растянутые, истонченные стенки оспенных пустул лопались, и гной выступал наружу, стекал на кожу, прилипал к белью. Начался адский зуд. Женни, казалось, обезумела. Чаша страдания переполнилась. Она испила ее до дна.

День и ночь напролет Карл старался успокоить зуд, обмахивая воспаленную кожу веером. Это не помогало. Женни принималась расчесывать ранки и срывать черные подсыхающие струпья. Она, казалось, звала смерть. Сознание ее было снова ясным и тем более усиливало мучения. Карл и Ленхен силой удерживали ее руки, чтобы она не расчесывала лицо и тело. Догадавшись, чем именно болеет, Женни испугалась, что заразит оспой мужа, и начала умолять его поостеречься и не прикасаться к ней. Но Карл никому не доверял ухода за женой. Несколько ночей были поистине страшны. Женни не засыпала ни на мгновение, и отек гортани не давал ей ни есть, ни пить. Одышка все усиливалась, пульс слабел.

Болезнь достигла своего чудовищного апогея. Бесстрашная душа Карла дрогнула. Он подумал, что Женни обречена и погибнет. Чувство душераздирающего бессилия и отчаяния, как тогда, когда на его руках умирал маленький Муш, охватило его. Карл заплакал. Искаженное, бесформенное, бураково-фиолетовое лицо, заплывшие, незрячие глаза Женни были ему дороже всего на земле. Вряд ли он любил жену больше, когда красота ее изумляла. Без Женни не было жизни для Карла. Но он чувствовал всю свою беспомощность, оказавшись свидетелем единоборства со смертью самого любимого им существа.

Что предпринять? Чем помочь? Все было напрасно. Болезнь неумолимо шла своим чередом. Зуд не прекращался, хотя жар спадал, глаза прозрели и пустулы подсохли. Карл едва держался на ногах. Многодневная бессонница, постоянные опасения грозили тяжелыми последствиями. В дни наибольшего напряжения судьба пришла ему на помощь. У него разболелись два зуба. Дантист вырвал их столь неудачно, что в десне остались корни. Щека Карла распухла. Он потерял способность думать, все исчезло и растворилось в невыносимой боли.

Это неожиданное переключение спасло его от опасного психического напряжения, точно так же как оспа, по мнению доктора Аллена, предотвратила для Женни тяжелое нервное заболевание.

Женни начала медленно поправляться. Карл и Ленхен

были оба так переутомлены, что пришлось нанять для нее сиделку. Дети все еще жили у Либкнехтов. Несколько раз родители предлагали им переселиться в учебный пансион, однако Женнихен и Лаура отказывались, так как обе были атеистками и не хотели лицемерно исполнять обязательные в учебных заведениях религиозные обряды.

Карл и Женни переживали счастье возрождения. Они не могли наглядеться друг на друга и не замечали вынужденной из-за болезни изоляции от всего мира. Их вечно молодая любовь, пройдя через испытание и опасность, еще больше спаяла их.

Карл, радуясь, что жена спит целебным сном выздоравливающих, сидя подле нее, находил отдохновение в высшей математике и подолгу решал мудреные, сложные задачи. Каждые два-три дня он писал письма в Манчестер, где Фридрих Энгельс и Вильгельм Вольф с волнением ждали известий о ходе болезни.

Однажды Женни попросила зеркало. Оспа, однако, не смогла обезобразить ее точеного лица, ярких карих глаз. Но кожа напоминала пчелиные соты. Заметив смущение и беспокойство жены, Карл сказал ей со всей присущей ему силой убеждения:

— Милая, ты была, есть и будешь для меня самой красивой женщиной в мире. Доктор Аллен заверяет, что на твоем лице скоро не останется и следа болезни. Если даже несколько рябинок не совсем исчезнут, они украсят тебя, как родинки, воспетые восточными поэтами.

Дни на Графтон-террас потекли обычной чередой. Но потрясения последней поры не прошли для Карла бесследно, он тяжело заболел и слег.

Большой радостью были для него похвалы книге «Господин Фогт», которая вышла из печати и раскупалась в разных странах. Каин был заклеймен: Фогт получил удар, от которого никогда уже не оправился как политический деятель.

Энгельс многократно в письмах восторженно высказывался о работе друга:

«Вещь эта превосходна... это сокрушительно...», «Это лучшее полемическое произведение, какое ты когда-либо написал; его стиль проще, чем в Бонапарте («18-ое брюмера»), и все же там, где это нужно, он так же эффектен».

В течение четырехнедельного карантина в связи с оспой Карл, когда опасность для жизни Женни миновала, прочитал множество книг. Особенно заинтересовал и понравился ему недавно изданный труд Чарльза Дарвина о естественном отборе.

Он не замедлил поделиться своим впечатлением об этом необыкновенном произведении с Женни, а затем и с Фридрихом.

«...Эта книга даёт естественноисторическую основу нашим взглядам»,— писал он между прочим.

Энгельс приветствовал труд Дарвина, как первую грандиозную попытку успешно доказать историческое развитие в природе.

В то время как недоступный аристократический Оксфорд готовил Англии преимущественно политических деятелей консервативной партии, Кембридж вооружал профессиональными знаниями юристов, физиков, врачей и естественников. Дарвин получил ученую степень в колледже Кембриджа, похожем на магометанскую богословскую школу — медресе. Глубокая тишина нарушалась там дважды в день протяжным пением органа во время обязательной церковной службы. Но смелость научных выводов Дарвина испугала кембриджских ученых. Его книга была вызовом городу, где все жило заветами англиканской церкви.

* * *

Внутренняя политика Наполеона III возбуждала недовольство не только простого народа и рабочих, но и крупной буржуазии. Не мирились с новым режимом интеллигенция, торговцы и мелкие фабриканты. Император опирался на военную силу, полицию и духовенство. Католическая власть широко раскинула свои ловушки по всей стране. Печать билась в сетях цензуры. Свобода собраний и слова всячески попиралась. В Париже и провинции возникали тайные революционные общества, за которыми ретиво охотилась полиция.

Многолетний префект Парижа, барон Гаусман, согласно воле императора, рьяно занимался перестройкой столицы, прокладкой новых, широких улиц и бульваров. Сносились старые кварталы, возводились вычурные, дорогостоящие современные здания.

Старый средневековый Париж узеньких, непроезжих улочек и тупичков, маленьких квадратных площадей, готических домов с острыми отвесными крышами, продолговатыми глубокими окнами с резными наличниками и тяжелыми входными дверями в низких подворотнях, город цеховых корпораций, торговых рядов, защитных стен, башенок и рвов, подъемных мостов, площадок для дуэлей на шпагах, чумных нашествий и всеуничтожающих пожаров исчезал. Ему на смену вырастали просторные про-

спекты, великолепные площади, парки и дворцы с множеством крикливых лепных украшений, орнаментальных колонн, которые беспощадно облепляли пыль и сажа. Париж стал нарядным, комфортабельным городом буржуазной Европы. Но Бонапарт и его слуга префект Гаусман преследовали не только эстетическую цель украшения столицы, они решили смести улицы, столь удобные для баррикадных народных боев. К тому же большое строительство предотвращало безработицу и давало заработок труженикам.

Водитель локомотива Жан Сток доставлял железо, мрамор, туф и много других материалов для возведения богатых домов в центре Парижа.

В свои двадцать с небольшим лет машинист был так мужественно хорош собой, так привлекательна была его улыбка, открывавшая зубы, белые, как рис, что, даже когда он выглядывал с паровоза, вымазанный будто савоярский трубочист, молодые девушки кричали ему приветствия и махали платочками, останавливаясь у полотна дороги. Жан замечал их и был доволен, но не потому, что ему это льстило или он сам заглядывался на женщин. Досадная мысль волновала его постоянно. «Почему я нравлюсь всем, кроме одной?»

Жаннетта встречала его, когда он возвращался с работы, сурово и придирчиво.

— Ну и гадкую же ты выбрал профессию, мальчик. И что хорошего в дымящем утюге, которым ты приглаживаешь дорогу. Я не успеваю отстирывать твою одежду от грязи. У тебя всегда воспалены глаза, ты пропитан мазутом, машинным маслом и угольной пылью. А твои ногти черны. По ком только носишь ты траур?

— По любви, которой не смог добиться. Знаю, Жаннетта, как я тебе противен. Ты можешь обижать меня как хочешь, но профессию машиниста не задевай. Она, право, лучше всякой другой.

В этом мнении Жан был непоколебим. Он любил свой локомотив, как кавалерист лошадь и кочевник верблюда. Ему казалось, что на свете нет машины более величественной и сильной. Жану никогда не надоедало чистить огромный остов железного великана, и если бы он не стеснялся рябого насмешливого кочегара, то громко говорил бы с локомотивом, как с живым существом. Но и так он нередко обращался к нему мысленно:

«Ну, поторапливайся же, что это ты, дружище, поскрипы-

ваешь и замедляешь ход,— видно, просишь больше пару. Потерпи немного, до водокачки осталось десяток миль, а уж там я напою тебя славно. Не шали, голубчик, давай-ка принажмем. Быстрее... еще... еще... Молодец!»

Жан уверенно управлял громадным чудовищем, которое с трудом тащило за собой много груженных тяжестями и людьми деревянных коробок, поставленных на колеса. Отвага, сознание силы и чувство собственного достоинства всегда были присущи сыну Женевьевы и Иоганна Стока. Профессия укрепила эти черты его характера. Он был господином одного из лучших изобретений века, и новая, впервые зародившаяся гордость открылась ему. Быть машинистом локомотива было почетно и свидетельствовало о смелости. Железнодорожные катастрофы случались часто. И если бы Жан был опытнее и наблюдательнее, то заметил бы, что Жаннетта часто в часы его возвращения стояла у порога дома. Вздох облегчения при виде юноши предшествовал ее угрюмому приветствию и придиркам.

Жаннетте было за тридцать, и она считала себя старухой, хотя выглядела совсем юной и была очень привлекательна. Прошло много лет со дня смерти Иоганна Стока: его дочь, Катрина, стала послушным, трудолюбивым подростком и училась шить у одной солидной портнихи на улице Мира, где одевались только богатые буржуа, модные актрисы и содержанки. Жаннетта мечтала о том, что Катрина откроет со временем собственную мастерскую и будет жить безбедно.

— Тогда и я отдохну подле моей приемной дочери. Моя жизнь ведь кончена, и я надеюсь, что старость вознаградит меня за все былые неудачи и горести,— любила говорить Жаннетта, вызывающе и зло глядя при этом на Жана.— Ты ведь не оставишь меня, Катрина?

Девочка кидалась на шею своей названой горячо любимой матери и покрывала ее лицо и руки поцелуями, а Жан отодвигал тарелку с превосходным супом и вставал из-за стола. Последнее время отношения его с Жаннеттой ухудшались непрерывно.

— Зачем ты ходишь поденно стирать тряпье и мыть полы ко всем старым холостякам и вдовцам нашей улицы, разве моего заработка не хватает на нас троих? — возмущался молодой машинист.

— Кто дал тебе право шпионить за мной? Я не привыкла давиться чужим хлебом и, пока гнется спина и не трясутся руки, буду работать на себя. Какое мне дело до твоих заработков? Мо-

жет, завтра ты приведешь молодку, и нам с Катриной надо будет искать себе другую кровлю.

Жан испытывал желание избить Жаннетту и уходил из дома в соседнюю таверну, где читал газеты, пил аперитив и вступал в беседы и споры.

Противоправительственные настроения все нарастали. Народ знал, что у кормила власти собрались авантюристы и мошенники, получившие после бонапартского переворота чины, богатства и земли. Духовенство прибрало к рукам неграмотное, темное крестьянство. Биржевые спекулянты во главе с братом Бонапарта, графом Морни, преуспевали и тянули деньги из казны. В государстве не чувствовалось устойчивой, продуманной линии правления. Одна прихоть сменяла другую. За исключением крупной буржуазии и бюрократов, никто не был уверен в своем завтрашнем дне и не верил ни одному начинанию императора, о котором шумели подкупленные им газеты и чиновники. Слова резко расходились с делами. Неустойчивость и недоверие к властям породили у одних безразличие, у других — возмущение. По-прежнему барон Гаусман тратил большие деньги на украшение Парижа и строительство зданий. Но в нарядные дома и особняки въезжали зажиточные люди, а рабочий люд продолжал по-прежнему ютиться в подвалах и конурах на окраинах. Благоустройство столицы не было рассчитано на улучшение жилищ бедняков.

Домовладельцы получали неимоверные барыши, наживаясь на своих, предназначенных на слом, зданиях и земельных участках. Искусственно вздувались цены и заключались фиктивные сделки. Правительство потворствовало шантажу, спекуляции и мошенничеству.

Жан Сток не держал языка за зубами и не боялся говорить о том, что думал о правлении Бонапарта. Уроки отца не забылись. Жаннетта, потерявшая мужа на баррикадах и сама участвовавшая в июньском восстании 1848 года, оказалась во власти противоречивых чувств, когда узнала, что Жан посещает тайные собрания рабочих и часто выступает на них, призывает на борьбу с произволом цезаризма. Она понимала, что сын расстрелянного второго декабря коммуниста не должен трусить и покоряться ненавистному режиму буржуазии, возглавляемой авантюристом, но страх за жизнь Жана и его безопасность подсказывал ей другое.

«Если ты погибнешь, я этого не переживу»,— хотелось ей крикнуть Жану, но тогда обнаружилась бы тайна, которой она

стыдилась. И, хитря, Жаннетта принималась говорить, что рабочим вовсе не так уж худо в Париже.

— Чем тебе плохо? Платят хорошо, живешь, как не снилось твоим родителям. По праздникам одет, как будто имеешь бакалейную лавку. Можешь выбрать невесту, даже с хорошим приданым.

Жан досадливо морщился.

— Женщину всегда можно купить. Я не ожидал, что ты, друг моего отца, можешь болтать, как торговка.

Жаннетта не умела лгать и притворяться.

— Ты прав, мальчик, все это я выдумала, но у тебя есть сестра. Ты не захочешь, чтобы она торчала под стенами тюрьмы или — еще чего хуже — у подножия гильотины.

— Ну, дальше Гвианы для рабочего дороги заказаны. Мы не безумцы террористы, чтобы нас обезглавили на радость Бонапарту, который воображает себя и впрямь Цезарем. Нужна социальная революция, а не бомба, взрывающая один экипаж. Эх, Жаннетта, если бы ты меня любила, как силен я был бы в борьбе.

— Тебе пора жениться, а я, чтобы показать тебе, как это делается, выхожу скоро замуж за нашего соседа, портного. Хорошая у него профессия. Тихий, непьющий, добрый человек, да и по годам мне подходит.

Жан схватил Жаннетту за плечи:

— Ты все шутишь, но смотри, как бы не выпалакать тебе глаза.

Жаннетта действительно дала согласие вдовцу, который был когда-то приятелем Кабьена и Стока. Она решила создать искусственную преграду между собой и молодым машинистом, который с каждым днем становился ей дороже.

«Брак,— уговаривала она себя,— навсегда разлучит нас с Жаном и утихомирит мое сердце».

Но мысль о другом приводила ее в отчаяние, и снова она принималась внушать себе, что не должна любить Жана.

«Я стара. Десять проклятых лет. Зачем родилась я раньше его. Он будет еще молод, когда я высохну, как мочалка».

Вне себя от ревнивой горечи, досады и женского чрезмерного самолюбия, Жаннетта решила выйти замуж за другого.

Отчаянию Жана не было предела. Всю ночь до утра на все лады умолял он любимую женщину стать его женой, даже если она к нему равнодушна.

— Я не верю, чтобы ты полюбила этого облезлого козла,

Тут кроется иное. Может, тебе не хочется ходить на поденную работу? Но я давно прошу тебя тратить все деньги, что я приношу в получку. Ты не можешь, не смеешь оставить меня и Катрину. Вспомни клятву, данную моему отцу.

— Девочка будет жить со мной, а тебе давно пора вить свое гнездо.

— Я никогда не женюсь.

Жаннетта вся засияла от радости, но, тотчас же испугавшись, что выдаст себя, сказала с напускным равнодушием:

— Тоже нашелся монах. О-ла-ла! Слишком ты красив и силен, чтобы выстричь на макушке тонзуру. Вспомни лучше, как я шлепала тебя, когда ты бил баклуши или дрался с мальчуганами на улице, а я была уже замужем. У тебя был тогда голосок, как у пискливой девчонки. Я гожусь тебе в тетки, парень.

— Для меня на свете нет и не будет более молодой и желанной.

Жаннетта закрыла лицо руками. Она была счастлива этим признанием, но снова тревожные сомнения из-за разницы в годах и женское самолюбие победили.

— Не дури, ищи своей судьбы. Твои родители прокляли бы меня, если бы я пошла с тобой под венец. Я выйду замуж за ровню. Мужу моему будет сорок лет, и никто не скажет, что Жаннетта соблазнила мальчишку. Мужчине положено жениться на молоденькой.

— Кто сказал? Турки. Я читал, что они покупают в свои гаремы сопливых девчонок. Вот, верно, скучища с ними. Хотел бы я знать, о чем с ними говорить? Я не нянька, не учитель приходской школы; мне нужна жена с головой, с характером. Знаешь, Жаннетта, когда я полюбил тебя? На баррикаде. Ты подхватила знамя, упавшее из рук Кабьена, и была прекрасна и беспощадна, как революция.

— Твои слова так красивы, точно ты выучил их из книжки.

— Пуля свалила тебя. Окровавленную я вынес тебя из пекла, каким стала баррикада. Мне казалось, что ты убита, и я решил умереть тоже. Не бросай меня, Жаннетта. Не поступай со мной, как враг. Ты ведь решила выйти замуж не по любви. Что-то другое толкает тебя в петлю. Мой отец, помню, внушал мне стараться не делать ошибок. «Есть закон ошибок, это палка о двух концах,— говорил он,— и обязательно рано или поздно она стукнет по голове».

На рассвете Жан добился от Жаннетты обещания повременить со свадьбой еще несколько месяцев.

— Мало ли что может случиться,— сказал он ей пророчески, собираясь в железнодорожное депо, на локомотив.

Более трех дней Жан был в отлучке, он вел состав в Лион и обратно. Вернувшись, он застал Жаннетту угрюмой и неразговорчивой. Снова ее обуяли сомнения. К тому же с некоторых пор, когда Жан был в поездках, ее грызла ревность.

Расстроенный и недоумевающий, молодой машинист, как всегда по вечерам, отправился в знакомую таверну, где собирались рабочие, в большинстве столяры, каменщики и маляры, работавшие на строительстве Большого Парижа. Работы подходили к концу, и они тревожно ждали будущего, предвидя безработицу и скитания.

— Вот кончаем строить хоромы. А никогда и на черную лестницу этих домов нас не пустят. Сегодня я красил стены ресторанного зала, а кто будет любоваться моей работой? Пузатые банкиры, биржевики и фабриканты.

— Да, в твоей одежонке да с пустыми карманами тебя швейцар так шуганет с порога твоего ресторана, что костей не соберешь.

— А хороший театр мы недавно сдали, жаль, что не придется смотреть, как будут в нем петь, плясать актеры и представлять всякие пьесы. В сорок восьмом году я бывал в «Комеди Франсез» и, по правде сказать, без памяти влюбился в одну актрису, которая читала «Марсельезу» так, что мы все плакали. С тех пор я часто во сне вижу сцену, меня дома жена так и прозвала театралом. Но купить билет мне не по карману, разве только на ярмарке.

— Барон Гаусман кидает нам подачки с барского стола, чтоб не подохли с голоду. А мы трудимся с рассвета до сумерек.

— Так было, есть и будет, покуда императоры и прочая нечисть будут управлять страной, принадлежащей всему народу,— веско произнес Жан, окидывая сидевших за столами людей цепким, острым взглядом.

На мгновение все стихли, завороженные столь смелыми словами.

— Ты на что намекаешь? — вдруг спросил худой человек в одежде простолюдина и серой кепке, которую он не снял, хотя давно уже сидел за столом, изредка прихлебывая из кружки кислый сидр.

— А я не намекаю, а говорю прямо то, что думаю. Нет для нас иного выхода на волю, кроме рабочей революции.

— Ого, вот ты каков,— тихо огрызнулся человек в кепке; но Жан не слыхал его слов. К нему подошел старик с седой головой, изможденным лицом, на котором поражали молодые, дерзкие, умные глаза.

— Ты сын Иоганна Стока,— сказал он, присаживаясь к столу Жана.— Я не раз видал тебя, паренек, да не решил тогда, нужно ли знакомиться. Бывает, что дети не стоят своих родителей. Но ты не таков. Я хорошо знал твоего отца. Это был человек. Мы жили в одном домишке на улице Вожирар. Ты, верно, слыхал: Кабьен, Красоцкий и я.

— Значит, вы и есть итальянец-прядильщик по имени Пьетро. Мой отец и Кабьен искали вас в годы революции и решили, что вы погибли. Отец говорил: такие, как он, своей смертью не умирают.

— Иоганн знал толк в людях, но время умереть для меня еще не настало. Сейчас люди, как никогда, нужны, много нас погибло. Я еще могу пригодиться. Сегодня ночью я отправляюсь на родину. Ты, верно, слыхал о доблестной тысяче Гарибальди?

— Теперь будет уже тысяча и один? — улыбнулся Жан.— Газеты вопят, что война с Австрией на носу. Наш цезарь обязательно ввяжется в это дельце. Трон его качается, нужно укрепить сиденье.

— Ты прав. Он хочет показать, что был карбонарием, когда участвовал в заговоре братьев Бандиера и едва унес целыми свои кости. Сейчас ему выгодно похваляться этим перед итальянцами. Пускай! Нам тоже это на руку. Хоть с самим чертом, лишь бы выгнать Франца Иосифа с родной земли. А там и его выставим пинком в зад,— горячо произнес Дивероли.

Жан, повысив голос, обратился не столько к своему собеседнику, сколько ко всем в таверне:

— Бонапарт рад случаю тащить каштаны из огня чужими руками, тут беспроигрышная комбинация: поможет сардинскому королю Виктору Эммануилу и оттяпает за это жирный кусок. А главное — уладит все свои темные делишки внутри страны и скроет, что в казне не осталось ни гроша. Недаром Бонапарт сказал, что нет ничего легче, чем управлять французами: каждые четыре года им нужна война, и тогда они будут довольны. Что же, после Крымской войны прошло именно столько времени.

— Замолчи,— схватил машиниста за руку итальянец.— Будь сдержан, а то дойдешь до беды. Ты забыл, что недавно

издан суровый закон об охране личности императора. Легко попасть в Гвиану, но нелегко выбраться оттуда живым. Не забывай этого. Ну, а мне пора, сынок.

Жан крепко обнял Диверолли. Итальянец вышел. К машинисту тотчас же подсели рабочие. Какой-то извозчик, изрядно выпив, принялся задираться и возносить Наполеона III, называя его новым Цезарем. Завязался спор. Слегка охмелевший от нескольких рюмок аперитива, Жан вспылил.

— Наполеон поднялся оттого, что французский народ пал. Его слава — наш позор!— крикнул он.

— Врешь,— сказал владелец таверны,— император выиграл войну в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году. Он отличный воин, дипломат и правитель. При нем у рабочих всегда хлеб и жирный суп на столе. Я считаю, что он достойный преемник своего дяди.

— Кнутолюбцы,— рассвирепел Жан, окончательно потеряв самообладание.

— Глядите, парень от похвалы императору взбесился, как бык при виде пунцовой тряпки,— сказал многозначительно худощавый сутулый человек и надвинул до самых бровей мятую кепку.

— Вы называете великим того, кто превзошел предшественников в произволе! — вскричал Жан.— Сила кулаков не есть сила справедливости, и вы, плававшие в крови революции, братья и сыновья тех, кто жизнь отдал за ваше счастье и свободу, превозносите кого? Палача и мошенника, обманувшего народ.

В ту же ночь Жан был арестован. Управляющий министерством внутренних дел генерал Эспинас, пользуясь военной диктатурой, введенной после попытки покушения на императора, располагал отныне всей полнотой власти. Он имел право, утвержденное услужливым большинством законодательного собрания, арестовывать, ссылать, держать в тюрьме без суда каждого заподозренного в неповиновении и критике бонапартистского режима и особы императора.

Жан подпал под этот закон. Он отнесся к аресту с редким хладнокровием и проявил горячность только тогда, когда Жаннетта бросилась к нему на грудь и, заливаясь слезами, сказала:

— Миленький мой, я люблю тебя больше всего на свете и, как только мы будем вместе, буду твоей женой, что бы ни сказали об этом все кумушки Франции.

Жан часто слыхал от отца о тюремных нравах верхнегессен-

ских тюрем. Но большая камера, куда его заперли, ничем не походила на каменный мешок, где два года томился портняжий подмастерье в тридцатых годах XIX века. В помещении, годном вместить двадцать человек, находилось свыше сотни. Для Жана нашлось подобие места возле огромной зловонной бочки у самой двери. Там он мог примоститься, только сидя боком. В камере был такой назойливый шум, что даже привыкший к грохоту локомотива и поездов Жан очень скоро почувствовал боль в висках и головокружение. Маленькое окошко, забранное решеткой, находилось под самым потолком и почти не пропускало света. В камере царил полумрак и было так душно, что арестованные сидели (лечь было негде) полуголыми, задыхаясь от вони.

Кормили в тюрьме плохо и мало, и скоро Жан начал испытывать отвратительное, непрерывно сосущее чувство голода. Силы его стали быстро падать. Все арестанты этой камеры — рабочие — предназначались к отправке на каторжные работы в Гвиану, где свирепствовала убийственная желтая лихорадка. Как некогда в Кайенне, каторжане, имевшие несчастье быть высаженными на этом острове, очень скоро умирали.

Разговоры узников велись об ожидавшей их участи и о возможности побега. Но вырваться из тюрьмы было невозможно. Жан изнемогал от голода, тоски по Жаннетте. Никогда раньше он не предполагал, что человек так нуждается в том, чтобы быть одному. В тюрьме он ни на мгновение в течение суток не оставался без людей, и это стало для него мучением таким же, как полное одиночество. Теснота и смрад притупляли ощущения. Он научился спать сидя и привык к зуду, появившемуся от грязи и множества насекомых, ловлей которых развлекался иногда много часов подряд.

Тяжелые условия, голод и теснота озлобили людей. Непрерывно в камере возникали шумные ссоры и стычки. Жан, как и все остальные арестанты, мечтал об отправке куда угодно. Даже острова с убийственным климатом больше его не пугали.

Заключенные были как бы заживо похоронены и ничего не знали о том, что творилось за стенами тюрьмы. А в это время Франция начала войну.

Однажды после нескольких месяцев пребывания в тюрьме Жана вызвали на допрос.

— Ты сын коммуниста, пытавшегося второго декабря тысяча восемьсот пятьдесят второго года убить императора. Зло-

умышленник прятался на одной из разрушенных баррикад, когда его императорское величество объезжал ликующую столицу. Убийцу звали Иоганном Стоком.

Жан не знал, где и когда погиб отец, куда зарыли его тело.

— Мой отец всегда порицал террор, он был коммунистом,— гордо ответил молодой машинист.

— Не оспаривай доказанных фактов. Твой отец был негодяем и бунтовщиком. Он расстрелян на месте преступления, хотя заслуживал не пули, а четвертования, как, впрочем, и ты, его отродье!

— Вы можете делать со мной что хотите, но не смеете оскорблять память честнейшего из людей.

— А, вот как ты говоришь об отъявленных врагах своего императора. Так получай же прежде, чем тебя сгноят в каземате,— и следователь плетью ударил Жана по лицу. В ту же минуту арестант поднял руки в кандалах и с размаху опустил их на голову допрашивающего его жандарма.

Через час избитый, обливающийся кровью рабочий был водворен в подвальный карцер, где и пролежал больным более полугода. В это время ушел этап на Гвиану. Жан Сток остался в парижской тюрьме.

Весной Австрия предъявила ультиматум сардинскому королю, требуя разоружения его войска в течение трех дней, и получила отказ. Войска Франца Иосифа вступили в Пьемонт. Наполеон тотчас же двинул свою армию. Пруссия объявила нейтралитет. В Англии друг Наполеона III старик Пальмерстон снова стал премьер-министром.

Политика — ремесло сложное и хитрое. Гарибальди, который в 1849 году во имя римской республики сражался против Франции, теперь явился ее союзником, как и сардинское правительство.

Восьмого июня союзная армия вступила в Милан, который австрийцы, боясь мести населения, должны были поспешно очистить. К этому времени во всей Верхней Италии, вплоть до папской области, вспыхнуло народное восстание. В Тоскане уже в конце апреля было создано временное правительство; то же произошло в Парме и Модене, а в различных областях папской области — Болонье, Ферраре, Анконе — была провозглашена диктатура сардинского короля Виктора Эммануила. Вскоре произошло решительное сражение при Сольферино.

Австрийцы расположились на высотах под прикрытием че-

тырех больших крепостей. Император Франц Иосиф, подошедший со свежими силами, принял главное командование. Однако, несмотря на превосходную позицию и большую численность армии, австрийцы после жаркой битвы с французско-пьемонтской армией под начальством Луи-Наполеона должны были отступить. Наполеону удалось пробить центр вражеской армии и занять многие высоты. Наступившая к вечеру гроза помешала, однако, полностью использовать победу. Австрийцы успели отступить. После нескольких маленьких стычек было заключено перемирие, и через три дня Франц Иосиф и Наполеон III встретились в Вилла-Франка, близ Вероны, и выработали главные условия мира. Австрия уступала Ломбардию Франции, которая должна была передать ее Сардинии; мелкие итальянские провинции оставались во владении своих князей; основывался союз итальянских государств под верховной властью папы. Венеция оставалась в руках Австрии.

С горьким чувством разочарования итальянские патриоты встретили эти условия мира. Доблестный Гарибальди, доставивший своими вольными дружинами много беспокойства Австрии, не мог удовлетвориться подобными результатами борьбы. Он отправился в Романию и принялся формировать народную милицию.

Наполеон, давший невольный толчок итальянскому народно-освободительному движению, отныне не был в силах остановить его. Пруссия между тем мобилизовала свою армию и объявила, что в момент, когда война Франции с Австрией выйдет из пределов Ломбардии, она исполнит долг союзника Австрии и во главе немецких войск двинется во Францию. Наполеону не оставалось ничего другого, как удовлетвориться добытыми землями. Племянник не посмел, не мог решиться на то, на что отважился бы, вероятно, его дядя. Всякое дальнейшее покровительство освободительному движению в Италии к тому же неминуемо привело бы его к открытым столкновениям с папой и французскими клерикалами. Из опасения нанести удар своей династии, он отступил и потребовал Ниццу и Савойю в виде «вознаграждения» за помощь, оказанную соседнему королевству Сардинии.

Поднявшаяся в Италии волна народного движения не утихала. Гарибальди со своей «тысячей» высадился в Сицилии; в течение немногих месяцев знаменитый уроженец Ниццы, вокруг которого собрались добровольцы со всех стран мира, положил конец господству Бурбонов в обеих частях Сицилии.

Вскоре в Турине Виктор Эммануил был официально провозглашен королем всей Италии. Австрия была навсегда вытеснена с Апеннинского полуострова.

В конце лета 1859 года, ввиду победы в Италии, Наполеон III дал амнистию заключенным.

Жан Сток вернулся домой совершенно больным. Спустя несколько месяцев, оправившись немного, он женился на Жаннетте. Потерявший место в депо, изможденный и внешне изменившийся настолько, что выглядел теперь старше своей невесты, Жан хотел отложить брачную церемонию до лучших времен, но Жаннетта сама настояла на свадьбе.

Наконец-то Жан был вознагражден за долгие годы, когда считал себя нелюбимым и отвергнутым. Благодаря заботам жены, молодости и природному здоровью Жан Сток скоро окреп настолько, что смог приняться за поиски работы. Тщетно обивал он пороги частных железнодорожных компаний. Его бесцеремонно выпроваживали.

— Тебе надо пойти к Плонплону,— сказала мужу как-то Жаннетта.— Он, как и граф Морни, хозяин крупных акционерных железнодорожных обществ.

— Ты сошла с ума. Ведь он двоюродный брат коронованного прохвоста. Та же погань. Зачем мне пачкаться об таких людей? Лучше подохнуть, чем просить у них работы.

— Ты не знаешь его. Не зря этого толстяка прозвали «красным принцем». Он с рабочими запанибрата.

— Волк овце не товарищ.

— Я говорю тебе, что Плонплон терпеть не может Луи-Наполеона и даже не считает его своим родственником. Люди правильно говорили, что императорская мамаша Гортензия и папаша Веруэл ничего общего не имели с Бонапартами.

— Какая нам разница, чьим именем прикрывается деспот,— прервал Жан.

— Но Плонплон распоряжается французскими железными дорогами, а тебе нужно снова водить локомотив. Моя подруга служит горничной у жены «красного» Бонапарта — Плонплона. Эта сардинская принцесса не гнушается говорить с простыми людьми. Может, она якшается с нами назло императрице Евгении, которая спесива, как гусыня. Но какое тебе до этого дело. Я уже попросила эту знатную даму, чтобы принц поговорил с тобой, и представь, когда она узнала, что ты сидел в тюрьме, то сейчас же согласилась помочь.

Жан поморщился, но, подумав и посоветовавшись с друзь-

ями, уступил настояниям жены и отправился на прием к Плонплону.

Принц Наполеон считался опасным уродом в роду Бонапартов и бедствием императорской династии. Его все возрастающая, искусственно подогреваемая популярность среди простых людей вызывала беспокойство в правительственных сферах. Императрица резко обвиняла его в посягательстве на корону ее мужа. Но Плонплон отшучивался и продолжал разыгрывать из себя рьяного демократа-республиканца, посещал народные собрания и увеселения, проповедовал атеизм, устраивал шумные пиршества в дни христианского поста и всячески поносил католическую церковь и римского папу, объявляя себя воинствующим вольтерьянцем.

Одни считали Плонплона чудаком, другие — ловчайшим пройдохой, метящим в императоры.

«Красный принц» жил в небольшом особняке, открытом для всех. Плутоватого вида разбитной швейцар проводил Жана Стока в большой кабинет хозяина, где собралось несколько молодых светских людей, державшихся очень развязно.

Принц оказался низким тучным человеком, удивительно похожим на корсиканца Бонапарта. Желая подчеркнуть свое большое сходство с ним, Плонплон причесывал волосы на пробор и носил мундир, подпиравший короткую шею и второй подбородок круглым высоким воротником.

— Вы провели год в тюрьме за то, что нелестно отозвались о царствующей особе?— без обиняков спросил принц Наполеон.— Какие, однако, нравы. А как же свобода слова, эта основа прогресса и счастья народа? Что же, однако, сказали вы такого еретического? Уверен, что одну только правду, и поэтому сочувствую вам. Потерять год жизни в вашем возрасте весьма, должно быть, досадно. Если вы действительно смелы, то скажите ваше мнение о режиме, господствующем во Франции.

Жан коротко сказал:

— Я коммунист, сын коммуниста и враг цезаризма.

— Что ж, это, правда, крайность, но, значит, вы республиканец. Уже в древности люди отдали республике предпочтение перед всякой другой формой правления,— сказал Плонплон громко, чтобы его слышали все собравшиеся.— Итак, очевидно, вы смелый человек и, главное, свободолюбивый галл. В век пара и электричества люди должны иметь достойных представителей у кормила власти. Не правда ли, господа?

Все громко согласились с мнением Плонплона, а он, слегка

приподнявшись на носки лакированных сапог, принялся охорашиваться перед стенным зеркалом. Он был собой весьма доволен. Жан едва удержался от улыбки и подумал: «Этот толстый павлин изрядно-таки глуп».

— Что вы, представитель народа, думаете о религии и о папских прелатах, этих выжигах и лицемерах, которые сейчас так могущественны в нашей стране? — важно изрек Плонплон, обратившись к Стоку, и выпятил при этом маленькую нижнюю губу, прикусив верхнюю. Точно так же делал, по рассказам современников, император Наполеон I.

— Я не люблю ничего темного, ваше сиятельство,— сухо ответил Жан.— Религия, по словам одного ученого, всего лишь опиум для народа.

— Блестящее определение. Поздравляю вас и вашего ученого. Именно дурман, наркотическое средство. Суеверия всегда ввергали Францию в ужасающие бедствия. Вы, очевидно, философ, господин Сток, и делаете этим честь трудовому классу. Я с удовольствием помогу вам получить место машиниста на одном из наших паровозов.

Плонплон прошелся по комнате, заложив руку за спину. Жан выждал, пока он остановится, поклонился и вышел.

Он снова начал водить поезда. Прошло немногим более года, и внезапно Сток получил приглашение к «красному принцу». Он застал у него несколько десятков рабочих.

— Я стою во главе комитета, ведающего отправкой рабочих делегаций на всемирную выставку,— сказал Плонплон собравшимся.— Несмотря на противодействие министра торговли, мне удалось добиться разрешения для трехсот французских тружеников на поездку в Англию. Надеюсь, вы оцените мои усилия и добрую волю. Я всегда был другом прогресса и труда. Уверен, господа, что вы сумеете поддержать престиж Франции перед всеми странами мира, которые соберутся по ту сторону Ла-Манша.

Принц произнес еще несколько слов о своей готовности защищать интересы народа перед правительством.

Жан Сток был очень удивлен и обрадован неожиданной возможности побывать в Англии.

Когда рабочие вышли от «красного принца», Стока охватили сомнения, и он поделился ими с товарищами.

— Противно что-то пользоваться милостью этого отродья Бонапартов. Не верю я им, хоть и терплю, как всех эксплуататоров и хозяев. Как он ни заискивает перед нами,— хочет быть

императором и тем же миром мазан. Знаем мы таких республиканцев.

— Ты неправ. Это добрый человек,— сказал чеканщик Толен, молодой парень с веселыми глазами.— Ехать нам все равно надо. Повидаем рабочих других стран, да и своих французских изгнанников. Давно пора искать путей к нашему объединению. Есть ли у тебя знакомые в Лондоне, Жан?

— Там живет учитель и друг моего отца, ученый, немец-коммунист Карл Маркс. Ты слыхал о нем?

Толен отрицательно покачал головой.

* * *

Большой рыжий бульдог, зарычав, бросился вперед и оскалил острые желтоватые зубы. Галчонок отчаянно закричал и угрожающе взмахнул одним грифельно-серым крылом с черной каймой. Второе было сломано и бессильно свисало. Бульдог напал на птицу, но тотчас же отскочил прочь. Острый, длинный клюв нанес ему несколько быстрых колких ударов по тупому широкому носу и мягким, морщинистым, отвислым, седеющим щекам. Бульдог от неожиданности застыл на месте. Глаза его зловеще налились кровью, шерсть на затылке встала дыбом и по спине до самого обрубленного толстого хвоста пролегла волнообразная коричневая полоса — свидетельство гнева. Но маленький галчонок не только не отступал, а даже перескочил на тоненьких лапках ближе к неожиданно возникшей опасности. Взгляд его совершенно черных круглых глаз выражал неописуемую отвагу и готовность биться до последнего издыхания. Мгновение простояли они оба неподвижно: один — нахохлившийся, обороняющийся, маленький, другой — пугающе мощный, рассвирепевший, готовый к прыжку.

Бульдог вдруг показал все зубы, грозившие мертвой хваткой, и, рыча, снова пошел на галчонка. Он распластал его на земле одним движением крепкой лапы и приготовился перегрызть птице горло. Но галчонок, барахтаясь под брюхом пса, смотрел на врага гипнотически блестящими, широко раскрытыми глазами, зычно кричал, отбивался клювом и крылом. Встревоженные вороны, заслышав его призыв о помощи, грозно каркали и вились над бульдогом, стараясь отвлечь его на себя и запугать. И пес снова остановился в нерешительности.

С маленькой террасы дома, завидев столь неравный поединок, сбежала в сад пожилая женщина. Позади нее тотчас же показался Энгельс.

— Какое мужество. Обреченный галчонок не трусит и не сдается,— слегка заикаясь, быстро выговорил он и схватил пса за ошейник.— Не всякий мог бы похвалиться таким героизмом в подобных условиях. Ни с места, догги!

Бульдог покорно опустил обрубок хвоста и коротко обрезанные уши. Фридрих приказал ему идти в комнаты, затем с трудом поймал ковыляющего и отбивавшегося галчонка, очевидно выпавшего из гнезда, и передал его домовладелице. Женщина шумно выразила свою радость по поводу того, что птенец остался невредимым.

Фридрих очень любил собак и лошадей. С детства он страстно увлекался верховой ездой и был отличным наездником и объездчиком норовистых, лихих коней. Головокружительная отчаянная скачка с рискованными препятствиями была для него истинным наслаждением. Он ловко брал барьеры и без труда преодолевал любые препятствия. Эти упражнения были для Фридриха полны особого смысла, как физическая сторона его военных занятий, школа выдержки и отваги.

Как бы ни был он утомлен или раздражен, стоило ему вскочить на коня и помчаться одному по проселочным дорогам, чувство силы и беспредельной воли до краев наполняло его душу, освежало мозг. Конь беспрекословно подчинялся всаднику, чутко отвечал на малейшее повелительное движение ноги в стремени.

Как хорошо, отпустив поводья, где-нибудь в лесной чаще чуть покачиваться в плоском английском седле, доверившись четвероногому другу. Чуткий конь безошибочно выбирает лучшую дорогу. После доброй передышки Фридрих снова гнал коня и летел вперегонки с ветром.

Маркс знал бесстрашие Фридриха, его кавалерийскую удаль и постоянно беспокоился, как бы он не расшибся.

— Прошу тебя, Фридрих, не рисковать головой. Право, будет еще много более существенных поводов для этого в будущем,— говаривал он.

Энгельс весело смеялся в ответ и заверял, что если он и сломит себе шею, то уж наверно не при падении с лошади. Он всегда бывал совершенно спокоен в седле и чувствовал себя в своей стихии, когда послушный конь переходил с рыси на галоп.

Энгельс знал особенности собак, с которыми ходил на охоту, и проводил нередко часы досуга. В большом барменском купеческом доме всегда жили борзые, овчарки и таксы.

День, когда ранним утром в манчестерском садике разыгралась короткая драма, чуть не стоившая жизни галчонку, был обычный, серый. Холодный мелкий дождь несколько раз шел, прекращался, чтобы начаться снова. Небо темное, как вода в канале, казалось, спустилось до самого шпиля ратуши.

Двадцать восьмого ноября рано наступает вечер. Фридрих долго возился в этот короткий день с иностранной перепиской своей коммерческой фирмы, которую вел один в конторе. После долгой тревожной недели он наконец почувствовал себя успокоенным. Из Лондона пришло письмо от Карла о том, что Женни вне опасности. Критический период болезни прошел. В сумерки Энгельс пешком отправился домой. К обеду, который, согласно английскому обычаю, бывал в восемь часов, он ждал Вильгельма Вольфа, одного из самых близких и дорогих ему людей. В промозглый вечер поздней осени приятно вернуться в обогретый, уютный дом, и Фридрих испытал это чувство, когда поставил сырой зонт, снял калоши и вошел в свою спальню, где ярко горели огонь в большом камине и свечи в старом, чуть позеленевшем канделябре.

Тщательно приведя в порядок окладистую, шелковистую бороду цвета бронзы и переодевшись, Фридрих прошел к жене. Мэри была нездорова и по настоянию врача полулежала на диване. Завидев вошедшего Фридриха, она попыталась встать. Ее бледное опухшее лицо слегка порозовело и запавшие больные глаза оживились.

— Прошу тебя не делать резких движений, дорогая,— забеспокоился Энгельс,— как ты себя чувствуешь? Покой — самое главное для сердца, когда оно начинает шалить.

Фридрих пододвинул кресло поближе к жене, поправил на ее плече ворсистый теплый платок и сел, вытянув ноги.

— Увы, даже радость в последнее время причиняет мне физическую боль и усиливает одышку,— тихо и печально сказала Мэри,— но я не теряю надежды пожить еще немного. Я так люблю тебя, Фредди.

— Гони от себя мрачные мысли, они ведь тоже следствие недомогания,— сказал, волнуясь, Энгельс.

В дверь постучали, и появился Вольф. Вслед за ним в комнату, всем своим видом изображая покорность и мольбу о прощении, вошел рыжий бульдог и улегся возле Мэри.

Вильгельм Вольф выглядел необычно торжественным. На нем был новенький сюртук до самых колен, а белоснежную манишку украшал под подбородком черный бантик. В руках

он держал большую деревянную коробку с золотым бумажным ободком.

— Дорогой Фридрих, друг мой, поздравляю тебя от всего сердца,— начал он, сильно покраснев.— Как и все любящие тебя, я счастлив, что сорок лет тому назад в осенний день ты появился на свет. Человечество стало от этого богаче. Прими мой скромный подарок — колониальные сигары.

Энгельс горячо обнял Вольфа, поставил коробку с сигарами на стол и сказал, широко улыбаясь:

— Ты и Мэри, которая сегодня утром напомнила мне о том, что хотелось бы забыть, ввергаете меня в смущение. Сорок лет! Да надо ли радоваться тому, что начинаешь седеть и отмечать столь печальное обстоятельство. Главное, что в сорок лет я чувствую себя все еще юношей. И все-таки четыре десятилетия долой со счета. Тут есть о чем призадуматься. Байрон, помнится, говорил, что, примирившись с двадцатью пятью годами, мы примиримся со всем в жизни. А каково же перешагнуть через сорок?

— Пустое,— живо отозвался Люпус,— пусть поэты боятся старости, они недальновидны. Есть какая-то своя прелесть в накоплении лет, опыта и мыслей. Это тоже капитал. Мне уже за пятьдесят, я, старый брюзга, хотел бы еще жить и жить, но и прошлого не отдам.

— Ты прав, дружище. Глядя на тебя, я бодро вступаю в пятое десятилетие, тем более что рассчитываю прожить еще минимум лет так приблизительно до ста. Скромное желание. При коммунизме люди будут наслаждаться бытием не менее чем до ста пятидесяти. Не правда ли?

Люпус спросил с заметной тревогой о здоровье Женни. Узнав, что наступило улучшение, он очень обрадовался. Энгельс передал Вольфу письмо из Лондона.

— Все хорошо. Мы вправе выпить сегодня лишний бокал. Женни будет жить. Карл просит меня немедленно сообщить тебе об этом и передать поклон. Прочти сам.

— Бедная Женни,— с большим чувством произнес Вольф, дочитав письмо,— по мнению врача, лучшее, что могло выпасть ей на долю, была оспа, настолько напряжена была ее нервная система. Если бы не эта болезнь, ее подстерегала жестокая горячка или что-либо другое, ведущее только к смерти.

Наступило продолжительное молчание. Энгельс механически гладил круглую голову пса, который не отрывал от него любящих глаз. Мэри сказала:

— В книге об оспе, которую мы прочли, узнав о болезни госпожи Маркс, сказано, что сто лет назад, до открытия вакцины, в Англии девушка, не переболевшая оспой, рисковала остаться старой девой.

— Непонятно,— очнувшись от глубокого раздумья, заметил Люпус.

— Видите ли, женихи предпочитали рябых невест. Ведь после болезни, которая считалась неизбежной, их избранница могла оказаться также слепой или обезображенной до неузнаваемости.

— Так-так. Логика рыночная. Товар лицом.

В это время рыжий бульдог подошел к Энгельсу и несколько раз потерся головой о его ногу, затем встал на задние лапы и, подскочив, внезапно лизнул в щеку.

— Что это, поздравление или просьба о прощении? — рассмеялась Мэри.

Фридрих погладил бульдога за ухом. Пес облегченно вздохнул, приоткрыл пасть и обнажил зубы. Он счастливо улыбался. Энгельс между тем рассказал о происшествии в саду.

— Древние германцы в обмен за хорошую собаку отдавали двух коней,— сказал Люпус, тоже большой любитель собак.

— Я не знаю, кому из этих животных отдать предпочтение,— заметил Фридрих,— человек многим обязан им на протяжении всей своей истории.

— В деревне, где я родилась, была собака, которая вытащила во время пожара из огня двоих детей, пасла большое стадо, и моя мать утверждала, что она понимает овечий язык и знает каждую овцу и ее привычки.

— Для этого щенка кладут на выкорм овце, как только он родится. Пес питается овечьим молоком и действительно вырастает полноправным членом, а затем поводырем стада,— пояснил Люпус.— Я читал у Плутарха и Плиния замечательные страницы о том, как ценили собак древние греки.

— Еще бы,— сказал Фридрих,— собака и в военном деле имеет большие заслуги. За пять тысяч лет до нашей эры они уже надежно охраняли крепости, были наилучшими караульными и будили стражу при малейшей опасности громким предостерегающим лаем. В войнах рабовладельческого периода собаки в бою всегда шли в первой шеренге, за ними рабы и лишь затем воины. Древние римляне, гунны, кельты и тевтоны широко пользовались собаками для сторожевой службы. То же было и в средние века. Собак, сопровождавших обозы и воен-

ный транспорт, одевали в особые панцири с остриями для защиты от нападения неприятельской конницы. Во время войны Испании с Францией четыре тысячи обученных военных собак оказали решающую помощь испанской пехоте.

— Для меня собака олицетворяет не воинскую доблесть, а верность,— заговорила Мэри.— Недавно я слышала о бульдоге, который не пережил смерти своего хозяина и умер на его могиле, отказавшись есть и пить.

— Помнишь ли ты, Люпус, имена преданных четвероногих друзей двух замечательных якобинцев? — спросил Фридрих.

— Нет,— чуточку насупился Вольф.

— Собаку Робеспьера, с которой он не расставался, звали Брунт, а у Филиппа Леба, достойнейшего из революционеров, покончившего с собой в роковую ночь девятого термидора, был пес Шилликем, который привел на его могилу вдову Леба и затем издох от горя.

— Ну, вот видите, я же права, когда говорю о собачьей привязанности и верности до гроба.

Часы показывали восемь. Мэри осторожно поднялась с дивана и под руку с мужем прошла в столовую. Она старалась скрыть начавшуюся при этом одышку.

На столе, покрытом накрахмаленной белой скатертью, среди множества хрустальных графинов и серебряных ваз стоял традиционный пирог с шоколадными инициалами «Ф. Э.», утыканный сорока ярко горящими маленькими свечами. По настоянию Мэри Фридрих загасил их одним выдохом, и затем все трое заняли свои места. У ног хозяина улегся рыжий пес. Приподняв голову и поводя большими черными ноздрями, он вдыхал соблазнительные запахи, однако притворялся, что совершенно безразличен к множеству вкусных блюд и закусок, которыми изобиловал стол. Энгельс налил в бокалы густое, багровое рейнское вино и предложил выпить за отсутствующих друзей и за Люпуса. Затем Вильгельм, приладив неги-нущуюся салфетку под подбородком, произнес тост в честь Фридриха и Мэри.

— А теперь пьем за то, ради чего стоит жить на земле,— за коммунизм! — провозгласил Энгельс.

Когда ужин был съеден и на столе появились фрукты, кофе и сигары, Мэри, сославшись на свою болезнь, вышла из столовой. Рыжий бульдог проводил ее и вернулся, чтобы снова занять свое место подле Фридриха. Шел дождь, усилившийся к ночи, ветер ворвался в трубу и, шипя, загасил огонь. Энгельс

разжег камин, а Вольф молча курил, наслаждаясь покоем и обществом друга.

Фридрих заговорил, все более воодушевляясь, о том, что с каждым днем заметно ширится в Европе национально-освободительное движение. Шестидесятые годы должны принести важные перемены. В связи с войной, затеянной Бонапартом против Австрии на итальянской земле, обострились социальные противоречия в Германии. Стремление немцев к объединению усиливается с каждым днем.

В своей брошюре «По и Рейн», изданной год назад, Фридрих выступил пылким сторонником освобождения Италии, беспощадно срывал маску с Бонапарта, притворившегося освободителем итальянского народа, а по сути, готовившего ему новое закабаление. Энгельс показал, что, ведя войну на реке По, император замахнулся на германский Рейн. Бонапартистская клика хочет экономической и политической раздробленности немцев. Энгельс разоблачал тайные замыслы Наполеона III, надеясь, что война Пруссии против французского императора вызовет могучее народное движение, которое сметет берлинских реакционеров, захвативших власть, а затем вся Германия объединится наконец благодаря революции. Свои взгляды Фридрих облек в форму строгого военно-стратегического исследования и, по совету Маркса, издал книгу анонимно. Безымянный труд обратил на себя внимание и вызвал толки в Берлине. Автора сочли одним из видных германских генералов.

Спустя год Энгельс, также без подписи, издал продолжение своей брошюры, назвав ее «Савойя, Ницца и Рейн».

— Представь себе,— говорил Фридрих Вольфу,— с кем у нас разногласия? С Лассалем. Ни Мавр, ни я не можем согласиться с его позицией в отношении австро-итало-французской войны.

— Этот напористый малый мне вообще не по душе. Честолюбец, который хочет в одно и то же время возглавить восстание плебса и быть признанным патрицием. Слыхал ли ты, что он придумал? Для пущей аристократичности приставил французское «де» к своей фамилии,— зло заметил Вольф, допил чашку черного кофе и встал, чтобы налить себе еще одну.

— Ты прав, Люпус. Ему несомненно где-то в глубине души нравится авантюрист Бонапарт и особенно его головокружительная карьера. Этот верный рыцарь графини Гацфельд выпустил недавно памфлет, направленный, по сути, против моей брошюры «По и Рейн».

— Разве? Мне ничего об этом не известно. Что же он тщится доказать?

— А то, что Пруссии следует поддержать Францию и выступить против Австрии. Все это облечено, как всегда у Лассаля, в пышные фразы. Франция, мол, освобождает итальянцев от чужеземного ига, а Пруссии представляется возможность при этом свести счеты со своей старой соперницей Австрией. Вреднейшая пропаганда. Лассаль утверждает далее, что если прусское правительство возьмет на себя такую миссию, то сами немецкие демократы поднимут прусское знамя и опрокинут на своем пути все преграды. Какая чепуха!

— Я ничего другого и не ждал от Лассаля. В то время как мы последовательно боремся за революционный путь к объединению Германии, снизу, через демократическую республику, этот напыщенный краснобай предлагает нам не только признать современное прусское правительство Бисмарка, но и объявляет его носителем идеи объединения всей нашей родины. Разве ему не ясно, что значит это объединение сверху? Что это, глупость, наивность или расчет?

— Верно, Люпус, Лассаль скоро полностью раскроет свою истинную сущность вульгарного прусского демократа с ярко *выраженными бонапартистскими наклонностями.*

— Да, эта порода человеков мне известна, они вроде пауков-водомерок, которые важно ходят по воде, яко Христос по Красному морю, и умудряются не замочить при этом лапок.

— Паучок-то паучок, но беда в том, что Лассаль фактически поддерживает захватнические планы Бонапарта. И снова нам приходится разрушать иллюзии, которые некоторые питают относительно коронованных освободителей. Луи Бонапарт хочет главенствовать во всей Европе. Это несомненно. А раз так, итальянцам надо быть настороже и знать, что национальное освобождение — дело их собственных рук. Гарибальди понял это. Но среди немцев Лассаль может замутить воду.

— Не беспокойся, Фридрих,— веско сказал Вольф.— Памфлет Лассаля вовсе не отражает взглядов наших партийных друзей. Мавр, конечно, в этом уверен. Как я, однако, соскучился по нем. Жаль, что мы не живем все в одном городе. Изгнание не было бы столь гнетущим. Я часто подолгу думаю о Мавре. Какую безмерную силу духа надо иметь, чтобы вынести все, что сваливается на его плечи, и, однако, он продолжает поставлять миру необычайные, все новые и новые мысли. По-

истине неиссякаемы мозг и душа этого человека. И все же жизнь его трагична.

— Ты мрачен, Люпус. Мы доживем до осуществления мечты, которая теперь уже стала учением, теорией и находит себе больше и больше сторонников. К тому же как много в истории примеров того, что гениальные открытия опережают время. Но как бы трудна ни была судьба гениев, они черпают силы в сознании добра, сделанного людям, даже если всходят на костер.

— Карл видит сквозь года и земные толщи. Перед ним как бы раскрываются недра, и он черпает из них то, что нужно, чтобы человечество шло к своей цели, к жизни без насилия. Как астроном открывает светило иногда раньше, чем оно появляется на небосводе, так он открывает неведомые, таинственные созвездия будущего. Пройдут года, и народы земли удивятся величию сердца и ума Маркса и будут чтить его, горюя о том, что он был нищ, преследуем и часто оклеветан. И ты, Фридрих, тоже, не отрицай, награжден необыкновенной душой.

— Не надо сравнений, Люпус. Мы в лучшем случае только кой в чем разбираемся, для Карла же нужны другие мерила.

Было около одиннадцати, когда Вольф собрался уходить. Фридрих с собакой пошел его проводить. Город крепко спал. Грязные газовые фонари скупо освещали безлюдные мокрые улицы. Люпус шел медленно, покашливая и ежась от сырости.

— Я стал ужасно раздражителен и часто хвораю, то ли печень, то ли незаметно подкралась худшая из всех болезней — старость. Хотелось бы еще хоть одним глазком взглянуть на Бреславль, даже и на тюрьму, где потерял несколько хороших лет. Во сне только и вижу что родную сторонку и тюремный каземат. И даже он люб стал мне. Я был тогда молод, здоров и боролся в Германии.

Фридриху стало жаль друга. Он попытался утешить его, ободрить, но Вольф с сомнением покачал головой. На холодном ветру он как-то сжался, посинел и выглядел одряхлевшим и тяжело больным.

— Только и спасаюсь от этого климата крепким кофе и пивом, хотя они и вредят моей печени. Кстати, Фридрих, о многом мы поговорили сегодня, а про военные действия в Апеннинах ты умолчал. Как же так? Тебя не зря прозвали нашим военным ведомством. Ты и впрямь первый военный теоретик нашей партии и замечательнейший военный знаток революционного пролетариата.

Энгельс воспринял эти слова Люпуса как шутку, чем крайне

раздосадовал его. Старик вспылил, и Фридрих едва потушил его гнев.

— Как тебе угодно, Фридрих, а сегодня, в день твоего сорокалетия, я предсказываю, что именно так о тебе скажут и через сто лет.

У моста через узкий, неспокойный в эту ветреную ночь канал оба друга, условившись о скорой встрече, расстались. Фридрих, тихо насвистывая, свернул в переулок и скоро очутился возле ратуши. Рыжий бульдог гордо шел с левой стороны, сурово поглядывая на немногих случайных прохожих. На площади, где не было ни души, Энгельс вынул из кармана перчатку и бросил ее далеко перед собой. Обрадованный пес во всю прыть побежал за ней и, вернувшись обратно, положил перчатку к ногам хозяина.

— Отлично, хвостомахатель,— похвалил бульдога Фридрих и погладил ладонью крепкую собачью голову, проведя при этом пальцем между глазниц.— У тебя, однако, догги, прямотаки рембрандтовские, вертикальные морщины на лбу,— удивленно пробормотал Фридрих,— ты, видимо, среди собак настоящий мыслитель.

Вернувшись домой, Энгельс долго сидел за рабочим столом. В этот раз он просмотрел свои статьи о волонтерах-саперах, их значении и деятельности, которые печатались в одном из военных журналов, и затем принялся писать продолжение начатой «Истории винтовки». Совсем по-новому прослеживал Энгельс развитие основного вида ручного огнестрельного оружия. Затем, отложив перо, Фридрих погрузился в увлекательные размышления о будущем социалистическом обществе и его несокрушимой военной силе. Новая, никогда не виданная доселе армия, состоящая из замечательных, ловких, даровитых; интеллигентных людей, будет стоять на страже своих завоеваний. И горе тем, кто посягнет на социалистические страны. Их войска никогда не будут знать поражения.

Энгельс, прикрыв глаза ладонью, видел эти армии. Они были оснащены небывалой, поразительной военной техникой.

«И подобно тому,— думал он,— как предпосылкой наполеоновских походов был рост производительных сил начала XIX века, основой новых усовершенствований в военном деле будут новые производительные силы. Это будет грандиозно. А когда затем коммунизм победит на земле, кончится навсегда война и слово это, как и насилие, исчезнет из словаря человечества».

VI. КОГДА РАСКРЫВАЮТСЯ НЕДРА

Почти всю зиму Маркс болел. Сырой, пронизывающий воздух английской столицы вызывал у него неудержимый кашель и боли в груди. Не имея денег на оплату счетов доктора, он лечился сам, старался не курить, пил лимонад и снадобья, приготовленные Ленхен, не выходил в туман из дома. Болезнь развилась, однако, настолько, что он не мог более писать. Всякое движение причиняло ему физические страдания. И все же он бодрился и шутил.

— Я столь же многострадален, как Иов, но не столь богобоязнен,— смеясь, говорил он.

По вечерам, после изнурительного дня, Карл отдыхал, читая «Гражданские войны в Риме» Аппиана в греческом оригинале.

По своему обыкновению, он делился с Энгельсом впечатлениями о казавшейся ему ценной книге. Он писал другу, что Спартак в изображении Аппиана является самым великолепным парнем во всей античной истории и был, несомненно, великим генералом с благородным характером, как и подобало истинному представителю античного пролетариата. Зато римский военачальник Помпей, возлюбленный Клеопатры, выглядит у Аппиана неказистым и бездарным. Кай Юлий Цезарь намеренно допускал в борьбе с ним военные промахи и капризы, чтобы сбить с толку самодовольного противника. По мнению Аппиана, которое разделял и Маркс, любой римский генерал, даже столь посредственный, каким был Красс, уничтожил бы Цезаря в первом бою во время Эпирской войны. Но Помпей был глуп и недальновиден. С ним можно было ошибаться безнаказанно.

Маркс так увлекся перипетиями борьбы, происходившей в античном мире двадцать веков назад, что, казалось, переселился в древний Рим, где с детских лет ему было многое знакомо.

Размышляя над Аппианом, Карл решил, что Шекспир, когда писал комедию «Бесплодные усилия любви», правильно судил о Помпее как о бесхарактерном ничтожестве.

В конце января работа для «Нью-Йорк дейли трибюн», которая была главным источником существования семьи Маркса, из-за экономического кризиса и назревавшей войны Севера с Югом временно прекратилась.

Приостановилось и издание американской энциклопедии. В ней особенно часто под именем Маркса печатался Энгельс,

а гонорар за эти статьи шел на Графтон-террас. Денежные возможности Энгельса были несколько ограничены. Эрмен после смерти Энгельса-старшего никак не соглашался признать право его сына на определенную долю доходов всей фирмы. Фридрих все еще числился конторщиком и получал небольшое жалованье.

Весной Маркс нелегально, с паспортом на имя Бюрипга, решил отправиться в Германию. Он хотел еще раз попытаться вернуть себе прусское подданство.

Энгельс смог дать Марксу на поездку всего десять фунтов, но обеспечил оплату векселя на тридцать, которые удалось получить у других лиц. Оставив часть этой суммы семье, Карл уехал из Англии. Он рассчитывал, не без оснований, на денежную помощь дядюшки в Голландии, управлявшего имуществом его матери.

Карл отправился в Берлин, где встретился с Лассалем, предложившим ему издавать совместно газету.

— Вы, Маркс, и я будем ответственными редакторами,— сказал при этом Лассаль.

— А Энгельс как же? — спросил Маркс.

— Что же, если трое не слишком много, то и Энгельс может быть ответственным редактором. Только вы оба вместе не должны иметь больше голосов, нежели я один, так как в противном случае я по каждому вопросу буду оставаться в меньшинстве.

Карл подробно уведомил об этом разговоре с Лассалем друга в полном иронии письме:

«...В качестве доводов за то, что ему необходимо вместе с нами стоять во главе дела, он привел следующие мотивы: 1) что общественное мнение считает его ближе стоящим к буржуазной партии и что поэтому он легче достанет денег, 2) что ему придется пожертвовать своими «теоретическими занятиями» и своим научным покоем и, что за это ему ведь нужна какая-нибудь компенсация, и т. д. «Впрочем,— прибавил он,— если вы и не согласитесь, я все же буду готов и впредь, как до сих пор, помогать газете материально и литературно; для меня такое положение было бы даже удобнее: я имел бы все выгоды от газеты, не неся за нее никакой ответственности»... Все это, конечно, сантиментальные фразы. Лассаль, ослепленный тем успехом, который ему в кругу некоторых ученых приобрела его книга о Гераклите, а в другом кругу — в кругу паразитов — дали его вино и кухня, не знает, разумеется, какой дур-

ной славой он пользуется среди широкой публики. Кроме того, его мания считать себя всегда правым; его пребывание в мире «спекулятивных понятий» (парень мечтает даже о новой гегелевской философии в квадрате, которую он собирается написать), его зараженность старым французским либерализмом; его фанфаронский стиль, отсутствие такта...

Лассаль мог бы быть полезен, как один из редакторов, при условии строгой дисциплины. А иначе он бы нас осрамил. Ты понимаешь, конечно, что мне было очень трудно высказать ему все это прямо... Я поэтому держался в рамках общей неопределенности и сказал, что не могу ничего решить, не переговорив предварительно с тобой и с Люпусом...»

Энгельс вполне разделял колебания Маркса и отклонил предложение Лассаля.

Берлин поразил Карла своей казарменной атмосферой, чванливым самодовольством и преобладанием военных мундиров над штатским платьем. На заседании палаты депутатов Карл, сидя в ложе журналистов, думал о том, что окружающее напоминает канцелярию и школу одновременно.

В крохотном зале на деревянных скамьях сидели депутаты, на которых бесцеремонно покрикивал председатель. Угодливо пресмыкался он перед развалившимися тут же в мягких креслах лож министрами бравого короля Вильгельма. Карл поражался бессловесной жалкой роли, которую соглашались добровольно играть тут «избранники» народа. Поведение председателя, воплощавшее лакейское нахальство, по мнению Карла, заслуживало не только сопротивления, но и доброй оплеухи.

Приятельница Лассаля, графиня София Гацфельд, несколько раз чрезвычайно почтительно принимала у себя Карла и раз даже уговорила его, желая поддразнить королевскую семью, поехать с нею в театр. Король Вильгельм и его свита сидели в соседней ложе, и Маркс мог вдоволь наглядеться на правителя Пруссии, который отличался от многочисленной смиренной чиновничьей массы, заполнившей зал, только тем, что еще выше, чем другие, поднимал узкую, большую голову и сидел прямо, точно проглотил палку. Несколько часов подряд на королевской сцене шел весьма посредственный балет, и Марксу все это показалось скучным. В антракте графиня Гацфельд веером указывала Карлу на наиболее видных деятелей столицы.

«Экий хлев пигмеев»,— подумал Карл, прислушиваясь и присматриваясь ко всему вокруг.

Из бывших друзей далекой университетской поры Маркс повидал Фридриха Кеппена, который жил замкнуто, одиноко, в пыльной большой квартире, заставленной шкафами с книгами. Его уже нельзя было, как в молодости, называть йогом. Полнота придала ему представительности и разгладила морщинки на лице. Только в опустившихся линиях узкого рта и в выражении глаз сквозила иногда грустная ирония.

— Ты все еще очень молодо выглядишь, годы тебя не тронули,— удивился Маркс.

— Да и ты, Карл, хоть и поседел, но стал значительнее и мужественнее. Очевидно, наша шкура, как хорошо скроенные сюртуки, не теряет вида и после долгой носки,— пошутил Кеппен и рассказал затем, что по-прежнему смыслом всей его жизни и деятельности осталось изучение индийских верований. Он показал Карлу объемистые тома своих исследований о Будде.

Встреча друзей юности была сердечной, и они отметили ее доброй выпивкой. Весь вечер, наслаждаясь отличным вином и сигарами, Маркс и Кеппен вспоминали прошлое, как бы перевоплощаясь во времени и молодея; обсуждали также настоящее и особенно подробно и долго делились мыслями об Индии, которою оба горячо интересовались.

— Ты все еще ищешь в буддизме решение всех проблем? — спросил между прочим Карл.

— Видишь ли,— ответил Кеппен,— я ненавижу филистерскую Германию, да и всю современную Европу, и чувствую себя совершенно чужим в девятнадцатом веке. Я нашел для своей души другую родину и наслаждаюсь величием и чистотой ее помыслов и устремлений. Что из того, что я переселился на несколько тысяч лет назад? Пусть это только утопия, повернутая не вперед во времени, а назад, в глубь веков, она дает мне спокойствие и радость.

— Утопия наизнанку,— не мог не улыбнуться Маркс.

— Мудрецы древней Индии постигли самую суть взаимоотношений людей. О, если бы их правила поведения внедрились хоть когда-нибудь на земле. Но мы сейчас обречены жить среди двуногих хищников и их жертв. Мы точно в тропическом лесу, и мне бывает страшно.

— Боюсь, друг, древние книги, вместо того чтобы расчистить путь твоему мышлению и вывести тебя на простор, превратились для тебя в непроходимые заросли и загородили действительность.

— Я пребываю в гостях у мудрости. Она всегда юна. Вслед за мудрыми индийцами я повторяю: когда исчезнут все личные желания, может еще остаться желание увидеть плоды своей работы. Возьми, Карл, мои книги, это все, что я сделал путного в жизни, прочти их, пожалуйста.

— Спасибо, старина, я уверен, что это весьма поучительный труд. Я вспоминаю изречения индийских мудрецов о том, что надо трудиться ради самого труда.

— Это верно, однако я дополню твои слова еще одной истиной: когда ты отдаешь все свои силы для блага других, плоды появятся независимо от того, увидишь ты их или нет. И потому не предавайся унынию, которое способно заражать других и тем увеличивать бремя их жизни. Пусть же наш разум будет спокоен, ибо это означает мужество и умение без страха встречать испытания и горести.

— Зачем же ты сам не живешь, как мудрец, и предаешься меланхолии?

— Увы, наша действительность очень мрачна и смрадна... А ты, Маркс, как мне известно, создаешь сам новые философские теории. Стоит ли? Ведь мир так уже стар, так непоправимо несчастен,— печально произнес Кеппен.— Что можешь ты сделать для людей, раз они обречены с самого рождения на болезни, старость и смерть. Познав это, Будда некогда ушел на гору и размышлял там целых шесть лет.

— В этом мало утешительного,— усмехнулся Маркс,— нельзя изменить человеческую природу. Но можно из того недолгого срока, когда человек живет, изъять голод, холод, непереносимые мучения, унижения, скорбь и обиды. Насколько я помню легенду о Будде, он был принцем и провел тридцать завидных лет в сказочной роскоши своего дворца. Буддизм, как и другая любая религия, учит смирению нищих и утверждает право на наслаждение для богатых.

— Я другого мнения, но не будем спорить. Несомненно одно — ты, как и мой Будда, всегда искренне жалел человечество и хотел ему блага.

— Буддизм зовет к нирване и этим ослабляет в нас желание бороться за счастье и радость при жизни. Живая современная Индия чрезвычайно интересует меня уже давно. Тебе, верно, неизвестны мои статьи о ней, написанные, правда, несколько лет назад.

— Нет, к сожалению. Я очень хотел бы услышать твои мысли об этой дорогой моему сердцу стране.

— Индия кажется мне замечательной и по величию своего прошлого и, несомненно, будущего. Но пока что Джон Буль изрядно грабит, разоряет и жестоко эксплуатирует свою богатейшую колонию. Однако и здесь диалектика может служить ключом к пониманию многих мнимых загадок. Вот тебе пример. Английская промышленная буржуазия стремится покрыть Индию железными дорогами исключительно только ради своих хищных замыслов, для того чтобы удешевить доставку хлопка и другого сырья на свои фабрики. Но раз ввезены машины в страну, обладающую железом и углем, никто не сможет помешать народу этой страны вскоре самому производить такие же машины, например локомотивы. Появление железной дороги вызовет необходимость доставки других машин, и мы скоро увидим, как локомотив явится предвестником современной промышленности в этом сказочном далеком краю. А жители Индии, по признанию самих англичан, отличаются редкими способностями. Они усваивают с необычайной легкостью знания и отлично применяются к современным новым условиям труда. Им нетрудно будет управлять любой машиной, а впоследствии и создавать ее.

— Мне никогда не приходило это в голову. В моем сердце живет старая Индия, страна чудес, священных Ведд, баядерок.

— Я недавно снова много работал, изучая финансы Индии, которые, кстати, сейчас англичане привели в большое расстройство. Во всяком случае, я уверен, что можно ожидать в более или менее отдаленном будущем возрождения этой великой и интересной страны. Я читал в «Письмах об Индии» князя Салтыкова, хорошо знавшего индийцев, что они даже в самых низших классах отличаются большей утонченностью и любовью к прекрасному, нежели итальянцы. Да, у Индии поразительная стать и культура. Жители ее даже свою покорность уравновешивают каким-то особым, невозмутимым благородством. Несмотря на природное долготерпение, они необычайно храбры. Брамин напоминает мне и осанкой и внутренним складом древнего грека, а то, что я узнал о племени джат, кажется мне чрезвычайно похожим на древних германцев.

— Да, да, ты совершенно прав, дорогой Маркс, и, как в нашей молодости, поражаешь меня своим проникновением в самую сущность предмета. Когда и как постиг ты Индию? Ты сыплешь мыслями с щедростью тучи, разливающейся животворящим дождем. Говори, мой друг, я же угощу тебя наивной легендой, которую отыскал в старой индийской книге. Но

прежде скажи мне, прав я или нет, утверждая, что буржуазный мир, в отличие от древнего, не способен создать никаких ценностей для человечества.

— Это неверно. Напротив. Повторю тебе сделанный мною применительно к Индии вывод по этому вопросу. Буржуазный период истории призван создать материальный базис нового мира: с одной стороны, развить мировые сношения, основанные на взаимной зависимости всех представителей рода человеческого, а также и средства этих сношений; с другой стороны, развить производительные силы человека и при помощи науки обусловить превращение материального производства в господство над силами природы.

— Остановись. Я должен подумать над тем, что ты сказал,— прервал Кеппен. После недолгого раздумья он попросил Карла продолжать.

— Изволь. Буржуазная промышленность и торговля создают материальные условия нового мира подобно тому, как геологические революции, извержения вулканов, землетрясения, наступления льдов и смена эр создали поверхность Земли. После того как великая социальная революция овладеет всеми достижениями буржуазной эпохи, производительными силами и мировым рынком и подчинит их общему контролю, наступит расцвет. Человеческий прогресс не будет подобен больше кровожадному Молоху, который за каждое благодеяние требовал жертвы... Теперь отдохнем на твоей легенде. О чем она?

— Об опиуме, который повлек за собой недавно жестокую войну в Китае. Цветок мака грозит вырождением местному населению и безмерно обогащает колонизаторов. Я расскажу тебе, откуда и как, согласно старинной легенде, появилось это опьяняющее растение. Знаю, Карл, что ты не только трезвый экономист, новатор, ученый, неистовый революционер, но и вдохновенный поэт. Ты оценишь глубину фантазии древних индийцев. Итак, ты ведь знаешь, что они верят в перевоплощение душ. На этом верования основан также и их эпос. Ничто так не открывает истинный дух народа, как его сказки.

И Кеппен поведал Карлу старинную легенду.

— Жил на берегу священного Ганга мудрец. Он был стар, и никто не знал, сколько ему лет, так как те, кто родился в в одно с ним время, давно исчезли.

Лежа на песке, мудрец думал о бренности людских желаний, о суете жизни. И был у него только один друг — плеши-

вая мышь. Она прибегала к нему и жаловалась на изнуряющий страх перед котом.

«Если б я сама была котом! Преврати меня в кота»,— попросила она мудреца.

«Я исполню твое желание, но клянись, что никогда не пожелаешь мне зла».

Мышь обещала. Старец превратил ее в огромного кота. Воинственно мяукая, кот ушел в лес.

Прошло немного времени, и снова пришел кот к мудрецу. Он был печален, уныло повис его пышный хвост.

«Увы,— сказал он,— я несчастен. Жалка судьба кота, так как есть на свете тигры. Если б я был тигром!»

И кот принялся умолять мудреца сделать его тигром.

Мудрец, удивляясь постоянной неудовлетворенности всех живых существ, потребовал вновь повторить клятву и превратил кота в тигра. Это был великолепный хищник, наполнивший смертельным страхом леса и деревни. Но однажды тигр встретил слона, который не удостоил его даже взглядом. И загрустил, поник головой могучий тигр.

«Тигр — ничто в мире,— сказал он мудрецу,— слоны — вот кто владыки среди зверей. Преврати меня в слона».

И стал тигр слоном.

Богатейшие государства мечтали завладеть слоном. Народ поклонялся ему, как святыне. Сотни слуг обмывали и кормили его. Но однажды на спину слона водрузили позолоченные носилки, и маленькая женщина гордо уселась на пышных подушках. Слон был оскорблен и, вырвавшись, тайком убежал на берег Ганга. Он бушевал.

«Женщина сильнее слона. Сделай меня женщиной или умертви».

Подумал старец и решил помочь слону, но потребовал снова клятвы, что тот никогда не пожелает ему зла. Затем, окунув его в воды Ганга, он превратил слона в красивую женщину. Молва о ее красоте понеслась по Индии, и начались войны за обладание ею. Кровь полилась ручьями, народ стонал от военных поборов и голода. И наконец богатейший и храбрейший магараджа овладел красавицей. Все ее прихоти мгновенно исполнялись, и не было счастливее и любимее женщины на свете.

Но мысль о том, что откроется тайна ее происхождения, отравляла дни и ночи прекрасной магарани. И однажды она потребовала умертвить старца с берега Ганга, которого чтила

вся страна. Долго магараджа не решался исполнить желание жены, а когда он уступил и послал убийц к старцу-кудеснику, потускнело солнце и исчезла магарани, а на том месте, где она стояла, копошилась, пища, облезлая мышь. С отвращением придавил ее сапогом пораженный магараджа. Там, где пролилась кровь мыши, вырос пунцовый мак. Тщетно призывая исчезнувшую красавицу, магараджа сорвал маковку и вдохнул пряный запах черных семян. В охватившем его полузабытьи увидел он все превращения мыши, нарушившей клятву и отплатившей злом за добро. Сила опиума в том, что в его чаду человек видит все перевоплощения живых существ и причину всех причин.

Далеко за полночь засиделся Карл у товарища своей юности.

На следующий день Маркс узнал, что ему отказано в восстановлении прусского подданства и тем самым в возвращении на родину.

В Берлине Маркс после многих неудач наладил отношения с венской газетой «Пресса». Редакция обещала ему оплачивать статьи значительными суммами. Из Америки «Нью-Йорк дейли трибюн» запросила снова его корреспонденции. Карл воспрянул духом, надеясь, что отныне его семья перестанет терпеть непрерывные бедствия, а он сможет наконец отдаться работе над книгой о капитале и труде.

Из прусской столицы Карл проехал в Кёльн. Он рассчитывал забрать оттуда большое количество своих книг, которые вынужден был оставить у врача Даниельса в 1849 году. Но Даниельс был вскоре арестован по делу кёльнских коммунистов, в тюрьме он заболел чахоткой и умер после освобождения. Книги Карла пошли по рукам, и большую часть их разокрали. Безвозвратно исчезли сочинения Фурье, Гёте, Гердера, Вольтера, очень ценимое Марксом издание «Экономисты XVIII века», книги Гегеля и много других.

Совершенно равнодушный ко всяким ценностям и вещам, Маркс всегда очень дорожил своей библиотекой и не смог скрыть своего огорчения, узнав о ее пропаже.

Из Кёльна Карл отправился в Трир, чтобы повидаться с матерью. Снова очутился он на берегу Мозеля, усеянном красными маками и бледно-лиловым вереском, взбирался на вершину горы Маркуса, гулял по Симеонштрассе. Родной ветер играл его густыми гладкими волосами. Но были они сейчас не черными, как когда-то, а совершенно белыми, с тем особенным голубоватым отливом, который свойствен седине брюнетов.

Трир был прекрасен в убранстве весенних цветов. В укрытом маленьком дворике при доме Генриетты Маркс росли лавровые деревья. Карл обрадовался им, как старым друзьям. Сызмала любил он их цельные блестящие темно-зеленые листья, нравился ему их ни с чем не сравнимый сильный аромат.

Карл осторожно сорвал ветку, любуясь декоративной красотой растения. Благоухающий лавр Аполлона воспевали поэты и писатели, он стал эмблемой почета. Римские генералы венчались лавровыми венками и, как символ победы, поднимали их перед собой. Существовало поверье, что лавр защищен от молнии и предохраняет от болезней. Больше всех других деревьев Карл любил упругий лавр.

Из окна дома раздался старческий, слабый голос. Генриетта Маркс звала к себе сына. Карл поднялся по ступенькам на террасу и пошел по коридору. Неприметно для себя он смял в руке листок лавра и с удовольствием вдохнул его острый, пряный запах.

В комнате матери было душно и мрачно. Генриетте Маркс минуло уже семьдесят четыре года. Боясь простуды, она запрещала проветривать комнату и считала, что болезни — следствие свежего воздуха. По той же причине старуха носила поверх теплого платья пуховую шаль, голову укутывала большим капором, а ноги прятала в меховые ботинки. Из-за болезни глаз она нуждалась в полутьме, и окна были затянуты темно-зелеными шерстяными портьерами.

— Дитя мое,— сказала Генриетта Маркс глухо и ласково,— я так рада, что дожила до встречи с тобой. Софи обещала распорядиться, чтобы к обеду приготовили форель. Ты ведь так любишь рыбу. С тех пор как я стала немощной, никто в доме не может испечь лимонные коржики так, как это надо. Они горчат. Как охотно ты ел их, когда был маленький.

Карл ощутил прилив волнующего чувства нежности к матери и взял ее опухшую руку. Но рука уже не пахла, как много лет назад, корицей и мускатным орехом. Пальцы, изуродованные в суставах, походили на оплывшие желтые свечи.

— Видишь, какой у меня ревматизм,— сказала Генриетта тихо.— Мазь из лаврового масла облегчает мои боли, но ничто не исцеляет в старости.

И старушка начала пространно описывать свои немощи. Говорила она смиренно и не жалуясь. Не было в ней больше

ни сварливости, ни горячности. Даже скупость, отличавшая ее в былые годы, заметно уменьшилась.

— Кое-какие твои векселя я решила немедленно порвать. На том свете мне они все равно не понадобятся, да и тебе ведь нелегко живется. Когда-то я мечтала видеть тебя богатым, но ты был своеволен и хотел жить только своим умом. Может быть, ты и был прав, да и вообще, кто знает, что лучше на земле? Столько знатных и обеспеченных людей после революций и войн обеднели. По правде сказать, я ничего больше не понимаю в том, что делается на свете. К счастью, у меня на родине, в Голландии, живут тихо и степенно, и мои гроши у Лиона Филипса будут целы. В Германии я могла бы остаться нищей. Но, слава богу, дочери уже замужем и мы прожили жизнь, не прося милостыню. Все, впрочем, в божьей воле.

Карл вспомнил рассказы сестер о чрезвычайной набожности матери и ее частых посещениях протестантской кирхи. Но не вера, а старость изменила ее к концу жизни, пришло сознание бренности всего того, что казалось ей столь незыблемым и ценным.

Карл молчал, изредка поднимая глаза на дряхлую старуху, которая смотрела на него с нежностью.

— Ах, Карлихен, каким ты был необыкновенным ребенком. Мы с покойным отцом не могли надивиться твоей памяти и уму. А сказки, которые ты рассказывал! И даже шалости твои не были злыми.

Генриетта погрузилась в воспоминания. Эта женщина олицетворяла его детство, наблюдала пробуждение его личности. Она одна сохраняла в своей памяти его словечки, проказы. И Карл остро почувствовал неразрушимую связь с матерью, выпестовавшей его и некогда проводившей в жизнь. Прежнего многолетнего недовольства и досады на нее более не оставалось. Генриетта была разрушена старостью. Глядя на ее изборожденное морщинами лицо и согбенную фигуру, Карл испытывал острую жалость и томящую грусть. Такое чувство рождается в душе человека перед руинами или на пепелище родного дома.

Мать заговорила о давно умершем Генрихе Марксе, и еще грустнее и тише стало на душе Карла. Когда пришло время обедать, он осторожно взял старушку под руку, чтобы проводить в столовую. Вдруг она остановилась и всплеснула руками.

— Какой, однако, ты стал высокий, я едва достаю головой до твоего плеча. А раньше мы были одного роста. Как же это случилось?

Годы согнули Генриетту.

За столом в первый день приезда Карла собралось много родственников. Он увидел своих племянников. Многие из них были уже почти взрослыми.

«Вот они, ушедшие годы»,— думал Маркс, глядя на шумную молодежь и на приближавшихся к старости сверстников. Сестра Софи была уже седой женщиной с круглым полным лицом, двойным подбородком и усталыми выцветшими глазами. Все ее мысли вращались вокруг семьи и каждодневных личных забот, как, впрочем, и у остальных членов семьи.

Пробыв в Трире всего два дня, Карл собрался в путь.

— Я чувствую, что вижу тебя в последний раз, дорогой мой сынок,— сказала ему мать и заплакала.

Карл испытал вдруг страх разлуки с нею. Он крепко обнял старушку. С матерью исчезали для Карла не только годы юности, но и воспоминания о них и тем самым как бы умирала часть его самого.

Вскоре Маркс приехал в Голландию. Он бывал в этой стране многократно и знал хорошо ее быт, нравы, песни и эпос.

Амстердам, несмотря на весну, встретил Карла холодным проливным дождем и серым туманом. Со всех сторон непрерывно доносился до него трудный, цокающий голландский говор.

Исстари этот город прозван северной Венецией. Тихие каналы рассекают Амстердам во всех направлениях. Медленно движутся по ним барки и лодки с рыжими парусами, крепко выварепными в дубильной воде. Красивы и разнообразны мосты, соединяющие маленькие островки, застроенные хмурыми домами в три-четыре яруса. По удивительно чистым улицам степенно проходят женщины в тяжелых пышных платьях и белых негнущихся рогатых чепцах. Проезжают малыши в колясочках, запряженных козлами и собаками.

На торговых улицах перед лавками в ясные дни сидят на деревянных табуретах купцы в стеганых жилетах и шапочках, важно посасывают трубки, неторопливо читают газеты и изредка перекидываются словом.

В бывшем гетто, где улицы особенно узки, темны, мощены круглым большим булыжником, жил некогда шлифовальщик алмазов Спиноза. Марксу захотелось побывать там, где вырос этот великий философ, где подвергался он гонениям мракобесов, где много страдал и думал. Он нанял первого встречного извозчика и попросил отвезти его к дому знаменитого амстер-

дамца. Возница долго размышлял, кто бы это мог быть, и наконец, взмахнув кнутом, погнал лошадь по однообразным улицам преимущественно с кирпичными зданиями, зелеными парками и небольшими площадями. Наконец старая, тряская, потрепанная от времени и непогоды карета остановилась. Карл с удивлением обнаружил, что находится у входа в больницу богатого врача Спинозы. Много времени и усилий потребовалось Марксу, чтобы отыскать дом великого философа.

Погостив несколько дней у своего двоюродного брата, образованного адвоката, весьма интересующегося теоретической юриспруденцией, в его зажиточном, благоустроенном доме на нарядной улице Кайзерграфт, возле Западного рынка, Карл отправился в Зальтбоммель, к брату своей матери, богатому купцу Филипсу.

В Голландии нет больших расстояний, и путь был недолог. Поезд шел по равнине. Вокруг были бесконечные поля, засаженные цветами. На длинных поливных грядках росли разноцветные тюльпаны, дефидоли, гиацинты, нарциссы — весьма ходкий товар национального экспорта.

Необычные, превосходно содержащиеся огороды выглядели чрезмерно прозаическими. Глаза тщетно искали на горизонте горы и леса. Иногда на смену цветочным полям за окном появлялись луга, на которых пасся отборный молочный скот.

Карлу быстро надоели коровы и тюльпаны, издали очень похожие на огромный редис, и он погрузился в чтение газет.

В маленький живописный зеленый Зальтбоммель Карл приехал рано утром в субботу. На улицах города царило необычайное оживление. Это был день чистки города. Домохозяйки и прислуги в огромных фартуках и чепцах, обутые в деревянные сабо, вооружившись щетками, тряпками, ручными пожарными трубами, окатывали стены домов струей воды, протирали двери, оконные рамы, пороги. Вода, журча, стекала, очищая тротуары. Сутолока и трудовой азарт передавались детям, которые, несмотря на окрики взрослых, старались также принять участие в этом еженедельном общегородском служении божку чистоты.

В доме дяди ничто не изменилось с той поры, когда Карл юношей приехал к голландским родственникам в первый раз. За обильным обедом велись бесконечные беседы о сбыте голландских товаров, о колебании цен на табак, сыр и пряности, о наглости Бельгии. Тетушка Маркса, лучшая из домохозяек, исчерпывающе знала весь Готский альманах и могла без устали говорить обо всех королевских домах Европы и особенностях

той или иной коронованной особы. Предпочтение перед всеми династиями она безоговорочно отдавала голландскому королевскому двору, о котором знала все до мельчайших подробностей.

— Наша дорогая королева,— говорила за обедом госпожа Филипс, раскладывая куски гусятины по тарелкам,— вынуждена экономить на газовом освещении и гасить лампы на приемах, когда гости переходят из одной залы в другую, настолько туго ей сейчас приходится.

— Профессия королей теперь вовсе не так уже прибыльна. Наш парламент все время сокращает ассигнования для двора, а расходов так много и жизнь непрестанно дорожает,— пошутил дядя Филипс.

Карл отдыхал в кругу своих родственников. Часто он отправлялся на прогулки вдоль живописно обсаженного деревьями канала или усаживался на скамье близ дома под большими каштанами у самой воды и принимался за чтение. Его обычно сопровождала резвая ватага мальчуганов. Где бы Маркс ни бывал, к нему всегда льнули дети. Их влекли к этому седоголовому человеку с густой окладистой бородой его задушевность, простота и особенное, проникновенное знание детской души. Как никто, он умел держаться с детьми на равной дружеской ноге. Голландским ребятишкам он рассказывал увлекательные истории о прошлом их родины, о войнах за независимость от испанского ига и огромных каравеллах Непобедимой Армады. Это было захватывающе интересно. И кудесник, переносивший их в подлинный и вместе сказочный мир истории, был Маркс. Он знал также все их игры, заботы и с самым серьезным видом разбирал возникавшие между ними раздоры.

Покуда Карл был в Голландии, Женни, пережившая после страшной болезни как бы второе рождение, радовалась весне. Каждый цветок казался ей чудом. Обостренное ощущение жизни давало счастье. Все вокруг было так замечательно и прекрасно: небо, столь часто менявшее свои краски, полет облаков, пение птиц и великолепие растений. В это время к ней пришло сердечное письмо из Америки от жены Вейдемейера, Луизы, с которой она подружилась более десяти лет назад во Франкфурте-на-Майне. Тотчас же Женни засела за ответ, в котором в мельчайших подробностях делилась тем, что пережила.

«...Да и разве это возможно,— писала она,— чтобы такие старые партийные товарищи и друзья, которым судьба уготовила почти одни и те же страдания и радости, одни и те же

светлые и мрачные дни, стали когда-нибудь чужими друг другу, несмотря на время и океан, разделившие нас. И вот я протягиваю Вам руку издалека, как мужественному, верному товарищу по борьбе, страданиям и испытаниям. Да, моя дорогая госпожа Вейдемейер, у нас обеих довольно часто бывало мрачно и тяжко на душе, и я слишком хорошо представляю себе, что Вам пришлось пережить за последнее время! Я представляю себе всю Вашу борьбу, заботы и лишения, ведь я часто переживала то же самое. Но страдания закаляют, а любовь служит нам поддержкой!.. Позвольте мне сегодня рассказать Вам о новом периоде нашей жизни, в котором наравне со многими мрачными сторонами имеются все же и некоторые радостные, солнечные места... Рискуя прослыть в Ваших глазах самодовольной, слабой матерью, я должна все же похвастать достоинствами милых девочек. У них обеих чрезвычайно доброе сердце, хорошие наклонности, поистине очаровательная скромность и девическая застенчивость. Женни 1 мая исполнится семнадцать лет. Она чрезвычайно миловидная девушка; со своими темными блестящими густыми волосами и такими же темными, блестящими и ласковыми глазами, со своим смуглым лицом креолки, которое приобрело, однако, свойственную англичанкам свежесть, она выглядит даже красивой. Глядя на милое добродушное выражение круглого, как яблоко, детского лица, забываешь о некрасивом, вздернутом носике и радуешься, когда открывается прелестный ротик с красивыми зубами.

Лауре в сентябре прошлого года исполнилось пятнадцать лет. Она, пожалуй, более красива и у нее более правильные черты лица, чем у ее старшей сестры, полной противоположностью которой она является. Она так же высока ростом, так же стройна и изящна, как Женни, но во всем светлее, легче, прозрачнее. Верхнюю часть ее лица можно назвать красивой, так хороши волнистые, пышные, каштановые волосы, так очаровательны милые зеленоватые глаза, в которых всегда как бы светится радостный огонек, так благородна и красива форма ее лба. Только нижняя часть лица менее правильна и еще не вполне оформилась. Обе сестры отличаются поистине цветущим видом и обе так мало кокетливы, что я часто про себя дивлюсь этому, тем более, что не могу сказать того же об их матери во времена ее молодости, когда она еще носила легкие, воздушные платья... Они свободно владеют английским языком и довольно хорошо знают французский. По-итальянски понимают Данте, немного читают также по-испански. Только с немецким дело

никак не идет на лад; хотя я стараюсь всеми силами время от времени разговаривать с ними по-немецки, они всегда неохотно идут на это, и здесь не помогает даже мой авторитет и их уважение ко мне. У Женни особые способности к рисованию... Лаура относилась к рисованию так небрежно, что мы, в наказание, перестали ее учить рисовать. Зато она прилежно учится играть на рояле и очень мило поет с сестрой немецкие и английские дуэты. К сожалению, девочки очень поздно стали учиться музыке — примерно лишь года полтора назад. Достать для этого денег было выше наших сил, к тому же у нас не было рояля, да и наш теперешний, который я взяла напрокат, настоящая развалина.

Девочки доставляют нам много радости своим милым скромным характером, а их младшая сестренка — кумир и баловень всего дома... Да и трудно себе представить более очаровательного, красивого, как картинка, наивного, забавного ребенка. Девочка особенно отличается своей удивительно милой болтовней и своими рассказами. Этому она научилась у братьев Гримм, ставших ее неизменными спутниками. Мы все до одурения читаем сказки, и горе нам, если мы пропускаем хоть один слог в «Белоснежке», у «Румпельштильцхена» или у «Короля-дроздовика». Благодаря этим сказкам девочка, наряду с английским, научилась немецкому и говорит по-немецки необычайно правильно и точно. Девочка — поистине любимица Карла и своим смехом и щебетанием отвлекает его от множества забот. В хозяйстве мне по-прежнему верно и добросовестно помогает Ленхен. Спросите о ней Вашего мужа, он Вам скажет, какое это для меня сокровище. В течение шестнадцати лет она делила с нами и радость и горе».

Далее Женни рассказывает о мучительной поре борьбы с клеветой Фогта и о полной победе Маркса в этом неравном бою, о своем заболевании черной оспой, едва не кончившемся смертью.

«Однако мой организм победил, нежнейший и преданнейший уход сделал свое дело, и вот я теперь снова сижу совершенно здоровая, но с обезображенным лицом, со шрамами темно-красного цвета вроде теперешнего модного цвета маджента. Только в сочельник бедные дети смогли вернуться в родительский дом, по которому они страшно тосковали. Первое свидание было неописуемо трогательно. Девочки были глубоко потрясены и с трудом сдерживали слезы, увидев меня. Пять недель назад я еще вполне прилично выглядела рядом с моими цве-

тущими девочками. У меня, как это ни удивительно, не было седых волос и зубы и фигура тоже еще остались хорошими, так что меня считали хорошо сохранившейся — и вот теперь всему этому пришел конец! Я сама себе казалась диковинным зверем, которому место скорее в Зоологическом саду, чем среди представителей кавказской расы. Однако, не пугайтесь: теперь вид мой не столь ужасен и шрамы начинают заживать...

Мои девочки сердечно кланяются Вашим милым детям и целуют их — одна Лаура целует другую — а я мысленно целую каждого из них. Вам, мой дорогой друг, я шлю сердечный привет. Будьте мужественны и стойки в тяжелые дни. Мужественным принадлежит мир. Оставайтесь твердой, верной опорой Вашего мужа, будьте крепкой духом и телом, будьте верным, не требующим чрезмерного почтения товарищем Ваших милых детей и при случае снова дайте знать о себе.

Ваш искренний друг *Женни Маркс*»

* * *

Красоцкие прибыли в Америку незадолго до начала великой войны между Севером и Югом. Переезд через океан длился более двух недель и, несмотря на то что Лиза и ее семья ехали в каютах первого класса, оказался чрезвычайно тяжелым. Помимо штормов и трудностей преодоления небольшим судном Атлантики Лизу удручало зрелище нищеты переселенцев, находившихся в трюме, где везли также скот. Несчастнейшие из несчастных ирландцы, немцы и выходцы из разных славянских стран устремлялись в Новый Свет в поисках хоть какого-либо заработка и угла. Они тяжело болели не только из-за лютой качки, но и от длительного недоедания. В пути умерло несколько детей и стариков. Наконец пароход добрался до Нью-Йорка. Жутко ступить на новую, незнакомую землю, которая должна заменить тебе навсегда родину. Чувство гнетущей тоски испытала и Лиза, сойдя на берег. Все было здесь чужим и казалось недружелюбным. Через несколько дней Красоцкие встретились с Иосифом Вейдемейером, которому они привезли письма от Вольфа.

— Когда я в ноябре тысяча восемьсот пятьдесят первого года, подобно вам, впервые коснулся ногой материка, несправедливо названного Америкой, а не Колумбией, то испытал великое разочарование. Прошло немало лет, а все еще нет во мне расположения к этому краю. Не потому, что он плох. О нет.

Источники богатства этой страны бесчисленны. Она обладает плодороднейшими равнинами, богатейшими каменноугольными залежами, нефтяными источниками и различными рудами. Она производит огромную массу хлопка, убойного скота, зерна. Вы увидите здесь большие судоходные реки и озера с прекрасными берегами, безопасные гавани не только на побережье Атлантического океана, но и Тихого.

— Но что же тогда отравляет вам пребывание здесь?

— А то, что я не думаю, чтобы было еще какое-нибудь место на свете, где бы мышление лавочника встречалось в более отвратительной наготе. Всякая цель в жизни, кроме делания денег, считается здесь нелепостью, глупостью. Вы прочтете это на каждом встречном лице, на каждом камне. Это одна сторона медали, а вторая — нищета, крах многих надежд, тоска по родине.

— Ну, а вы как живете и устроены ли сейчас? — с истинным сочувствием спросил Сигизмунд. Ему, как и его жене, очень понравился Вейдемейер с первых же его слов. Лиза дружелюбно вглядывалась в большое, обветренное, сильное, честное лицо бывшего артиллерийского офицера, о котором с любовью говорил ей Вильгельм Вольф.

— Все бывало. Пытался организовать издание еженедельника. Это было азартной, отчаянной затеей,— рассказывал доверчиво Вейдемейер.— Представьте, без денег, без основательной поддержки все-таки издал «Восемнадцатое брюмера» Маркса. Великолепное произведение. Затем служил землемером, нотариусом, читал и читаю лекции по рабочему вопросу. Боролся и борюсь за свои коммунистические идеи. Я ведь из Вестфалии. Мы народ упорный.

— Что же, хотели вызвать революцию в Соединенных Штатах? — чуть улыбнулась Лиза.

— Нельзя, увы, искусственно создавать революции при помощи заговоров и каких-либо рецептов. Социальные кризисы обусловливают ее наступление, а они являются объединенным результатом борьбы классов скорее, чем мелких стараний отдельных людей,— сказал Вейдемейер очень серьезно.

— Узнаю друга Маркса или, как о вас писали, его «агента».

— Я не хотел бы повторять вам то, что писал в ответ на это прозвище, но придется, раз вы запомнили этот термин. «Агенты» знают, что единство действия, твердость и согласие в мыслях, которые всегда характеризовали их, поддерживали их во все времена,— не будут понятны их оппонентам, потому что

у этих последних самих никогда не было твердо обоснованных принципов. Мы не агенты, мы верные друзья Маркса.

Хорошо изучивший Америку, отзывчивый Вейдемейер советами во многом помог Красоцким на первых порах их обоснования в Новом Свете.

Время было трудное. Маркс называл XIX век веком хлопка, и более всего название это подходило именно к пятидесятым и шестидесятым годам в Америке. «Царь-хлопок», как называли его американцы, господствовал безраздельно, и носителями этой силы были рабовладельцы. Хлопок, пользовавшийся огромным спросом на рынке, возделывался неграми-рабами в Южных штатах. Чем выше был спрос на хлопок, тем больше завоевывал он земель. Росли прибыли и вместе с ними потребность в рабах для владельцев хлопковых плантаций. Пиратская торговля захваченными в плен африканскими неграми бойко велась на рынках Виргинии, Миссури, Нью-Орлеана и многих других городов. Большие корабли снаряжались в Нью-Йорке и в гаванях Новой Англии за рабами. Ежегодно северные рабовладельческие штаты доставляли на хлопковые плантации не менее сорока тысяч рабов.

«Жители Виргинии,— как говорили американцы,— разводят рабов точно так же, как в Вермонте разводят лошадей».

Лиза содрогалась, видя воочию то, о чем читала в «Хижине дяди Тома». Но кроме черных невольников она увидела и белокожих. Это были рабочие.

Очень скоро Красоцкие поняли истинное положение жителей Америки. Возделывание хлопка обогащало рабовладельцев, а обработка его и превращение в ткани — фабрикантов. Они были едины, пока дело шло о наживе, но начинали драться, когда приходило время делить добычу. Рабовладельцы требовали свободы торговли, чтобы ввозить дешевые иностранные товары и без всяких ограничений наслаждаться плодами труда своих черных невольников, а фабриканты настаивали на высоких охранительных пошлинах. Они стремились обогатиться благодаря дешевому труду закабаленных рабочих и урвать у рабовладельцев часть их добычи. Борьба между братьями-врагами непрерывно велась в Конгрессе Соединенных Штатов, приближая войну.

Борясь с плантаторами Юга, буржуазия Севера громко заговорила о необходимости уничтожить рабство. Недавно образованная Республиканская партия благодаря агитации за освобождение негров приобрела громадное влияние. В 1860 году,

после горячей избирательной схватки, республиканцы получили большинство в Конгрессе. Их кандидат Авраам Линкольн был избран президентом. Начался экономический кризис. Вскоре Южные штаты объявили о своем выходе из Союза. В апреле 1861 года разразилась гражданская война между Севером и Югом.

Иосиф Вейдемейер тотчас же ушел добровольцем на фронт. Он был назначен командиром второго артиллерийского полка и получил чин подполковника. Красоцкий, также хорошо знавший военное дело, последовал за ним в качестве офицера. Лиза с дочерью осталась в Миссури вместе с семьей Вейдемейера.

Все свое время и силы Лиза посвящала устройству госпиталей в наспех сооруженных бараках. Это было трудным делом. Не хватало медикаментов, белья, врачей.

Уже много лет Лиза была полностью оторвана от России, и тем более поразило ее письмо от дальней родственницы, сообщавшей о заточении в Петропавловскую крепость Дмитрия Писарева.

Лиза вспомнила Варвару Дмитриевну и ее слова: «Я хочу, чтобы у моего сына был талант правды, чтобы он никогда не лгал».

Прошло десять лет. Митя вырос и, как предполагала некогда Лиза, стал незаурядным человеком. Он оказался прирожденным журналистом, страстным правдолюбцем, своеобразным отличным стилистом, неотразимым в полемике.

Нельзя петь, если нет от природы данного голоса, танцевать без чувства ритма, рисовать, не имея зрения, различающего тончайшие оттенки цвета. Нельзя истинно служить искусству без творческого дара и быть писателем, не имея своего особого видения, слуха, мышления и слога. И Писарев нашел в себе созидателя мыслей, образов, идей. Он отличался разительным трудолюбием и жадностью к знаниям, и его дарование благодаря этому окрепло и раскрылось. Время ему благоприятствовало.

Литературный дебют двадцатиоднолетнего Писарева был блестящим. Его пригласили сотрудничать в «Современник», журнал Некрасова и Чернышевского, владычествовавший над думами новых людей России. Но он продолжал печататься в «Русском слове» с неизменно возрастающим успехом. Весной 1861 года Писарев закончил университет и получил степень кандидата.

Юный, красивый, стройный, безыскусственный в обраще-

нии, весь какой-то вдохно[illegible]ный и приподнятый, он производил необычайное впечатление. Истинно талантливый человек всегда как бы излучает свой свет, и Дмитрий Писарев был таким.

Его творчество было уже вполне зрелым. Почти в каждом номере журнала появлялись статьи Писарева, посвященные наиболее волнующим вопросам литературы и политики, которыми жили его современники. Казалось, этот орленок — весь порыв, упоенье жизнью, готовность взвиться ввысь — не может встретить непреодолимых препятствий. Им должна была бы гордиться отчизна. Но тюрьмы не пустовали ни при Николае I, ни при его преемнике. Двадцатидвухлетний Писарев был погребен в Петропавловской крепости. Причиной заточения была написанная им прокламация для «карманной» нелегальной типографии. В ней он призывал к свержению самодержавия и разоблачил клевету на Герцена петербургского барона Фиркса, скрывавшегося под псевдонимом Шедо-Ферроти.

Тюрьма оказалась для Писарева огнем, закалившим сталь. Все, что успел он вобрать, продумать и перечувствовать за свою короткую жизнь, снова в полутьме и полном одиночестве камеры прошло перед ним. Он обрел новые силы в страсти творчества.

Петербургский генерал-губернатор Суворов, внук великого полководца, не раз своей властью облегчал режим крепости для политических заключенных. И Писарев мог писать.

Настойчивым, неутомимым ходатаем за Дмитрия стала его мать. Ни унижения, ни долгое выстаивание в сановных приемных, ни отказы не ослабляли ее энергии. После ареста Дмитрия она поселилась в Петербурге, напротив Петропавловской крепости. От передачи к передаче, от редкого свидания к свиданию медленно тянулось для Варвары Дмитриевны жестокое время. Каждый день приходила она к крепостным воротам, не замечая дождя, снега, жары, подолгу стояла Писарева у тюрьмы, сжав руки с тем выражением лица, которое появляется над свежей могилой. Из окна ее квартиры была видна та же безрадостная гряда серого камня. Накануне коротких свиданий с сыном мать заново училась улыбаться, чтобы скрыть свои страдания. Однажды Дмитрий сунул ей записку. Небольшой листок бумаги был покрыт крошечными, как маковые зернышки, буквами. Не растерявшись, Писарева сделала вид, будто с ноги ее свалилась туфля, и, быстро наклонясь, спрятала в нее записку. Не раз выносила она из крепости таким образом письма.

«Героические матери революционеров,— думала Лиза о Писаревой.— Каждая из них без размышлений приняла бы на себя удар, нанесенный ее сыну, закрыла бы его своим телом в момент смертельной опасности». Лиза написала в далекую Россию Варваре Дмитриевне исполненное нежности и почтительности письмо. На другом материке земли она непрестанно мечтала о родине. Из Лондона из «русской печатни» ей присылали «Колокол». В нем как-то прочла она письмо за подписью «Русский человек».

«Наше положение ужасно, невыносимо,— писал он,— и только топор может нас избавить, и никто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и она удивительно верна,— другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, переменитe же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь».

Лизе казалось, что автор нашел слова для ее собственных чувств.

«К топору, к борьбе, к революции! — повторяла она.— Больше нет иллюзий. Один коварный тиран сменил другого. Освобождение крестьян всего лишь подлый, злой обман. Эшафот, каторга, ссылка подстерегают по-прежнему каждого, кто возвысит свой голос за права народа, за вольность».

Герцен прислал Лизе напечатанную в Лондонской русской типографии прокламацию «К молодому поколению». Автором ее был Николай Васильевич Шелгунов.

«Проснулась моя Россия. Ничто не в силах остановить более лаву, льющуюся из вулканического кратера,— писала, ликуя, Лиза, повторяя затем вслед за автором зажигательного воззвания: «Нас миллионы, а злодеев сотни... если каждый... убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть, зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!»

В это же время в Петербурге появилась на русском языке книга Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего», в которой автор, нападая на книгу Энгельса о положении английских рабочих, в самых радужных красках опи-

сывал житье тружеников во Франции и Великобритании. Петербургские реакционные журналы всячески расхваливали книгу Гильдебранда. И только «Современник» решительно стал на защиту Энгельса.

В просторном кабинете Некрасова шла оживленная беседа. Николай Васильевич Шелгунов, нервно размахивая рукописью только законченной статьи, говорил громко и быстро:

— Господа Катков и Достоевский не унимаются и продолжают нападать на нас за непочтительность к Гильдебранду. Но сей ученый муж, как точно высказался об этом Чернышевский, обнаруживает крайнюю несостоятельность в своих суждениях и наклонность к пустому словоизвержению всякий раз, когда пытается бороться с социалистами. Как вы знаете, в числе писателей, на которых поднял меч Гильдебранд, есть и Энгельс, один из лучших, замечательнейших немцев. Имя это у нас до сих пор еще не известно, а между тем европейская экономическая литература обязана ему лучшим сочинением об экономическом быте английского рабочего. Разница между Гильдебрандом и Энгельсом в том, что Энгельс худое называет худым и хочет, чтобы его не было, а Гильдебранд находит, что дурное не только не дурно, но что оно так и должно быть.

— К чему же еще сводятся мысли Энгельса? — болезненно слабым голосом спросил Некрасов. Лицо его было пепельно-тусклым. Он встал и принялся сутулясь ходить по комнате. Подтачивающий его недуг превращал сорокалетнего поэта, полного творческой мощи, в дряхлого старика. Было нечто общее во внешнем облике великого певца русского народа с немецким поэтом Гейне.

— Фридрих Энгельс,— ответил Шелгунов,— доказывает, что после промышленного переворота английские рабочие стали самым прочным, постоянным классом населения, тогда как прежде они были подобны прожилкам в среде буржуа. Оба эти класса ныне жестоко враждуют. Господин Энгельс прав, полагая, что английские рабочие раньше или позднее добьются прав для себя. Однако, я полагаю, Россия страна особенная. Русский мужик топором прорубит себе дорогу к социальной справедливости.

— Отлично сказано, Николай Васильевич,— продолжая медленно ходить по кабинету, тихо произнес Некрасов.— Вы смел. То-то разъярятся все наши российские мракобесы. Отредижируйте же обязательно вашу статью для ноябрьской книжки «Современника».

* * *

Гражданская война в Соединенных Штатах чрезвычайно интересовала Маркса и Энгельса. Тщательно изучили они причину ее возникновения. Симпатии их были, естественно, на стороне северян, о чем они писали в своих статьях и письмах друг другу.

Борьбу против рабства негров Маркс и Энгельс считали кровным делом трудящихся классов. Рабство в Южных штатах препятствовало успешному развитию рабочего движения за океаном. Покуда труд черных несет на себе позорное невольничье клеймо, не может быть свободным и труд белых. По мнению Маркса, идеологи рабовладельческого строя старались доказать, что цвет кожи не имеет решающего значения и трудящиеся классы вообще созданы для рабства.

Война в Америке приняла затяжной и трудный характер. В связи с этим Маркс окончательно лишился своего постоянного заработка в «Нью-Йорк дейли трибюн». Но эта личная неудача нисколько не повлияла на его все возрастающий интерес ко всему происходящему в Новом Свете. Он от всей души желал победы северянам и неотрывно следил за развитием военных действий. Считая себя не особенно сведущим в военном деле, Карл постоянно расспрашивал Энгельса о значении событий на далеких фронтах, и Фридрих с глубоким, чисто профессиональным знанием дела подробно сообщал ему свои выводы и предположения по поводу военных действий в Америке.

— Ты отличный тактик и стратег,— сказал как-то Карл, когда Фридрих объяснял ему и Женни сложность войны внутри одного государства. Было это летом, когда Энгельсу на несколько дней удалось вырваться в Лондон. Окна домика на Графтон-террас были настежь открыты. В палисаднике цвели жимолость и желтые ирисы. На рабочем столе Карла лежала большая карта Америки, и над ней склонились три головы — седая Карла, темно-русая Фридриха и каштановая, как бы чуть посыпанная кое-где пеплом, Женни.

— Северяне допускают непростительную ошибку,— чуть заикаясь от волнения, объяснял Энгельс,— они не освоили еще методов ведения гражданской войны. Смотрите, как оголены их фланги. Необходимо немедленно ввести в дело вновь образованные корпуса, а вместо этого они вот уже больше месяца держат их на расстоянии почти что пятисот миль от поля боя.

— Право же, вы подмечаете каждый стратегический промах, пользуясь информацией и картой, так, точно находитесь непосредственно на поле боя,— заметила Женни, ласково поглядев на возбужденное лицо Энгельса.

Как всегда, дни, проведенные друзьями вместе, промелькнули с досадной быстротой. Фридрих уехал. Помчались письма из Лондона в Манчестер и обратно. Маркс писал чаще, нежели Энгельс. Это объяснялось тем, что в столице он бывал иногда лучше осведомлен обо всем, интересовавшем обоих.

Осенью до Энгельса дошла весть об изменившейся судьбе одного из знакомых ему русских узников, бежавших в Америку.

«Побег Бакунина меня очень обрадовал,— тотчас же написал он Карлу.— Бедняга, наверное, здорово настрадался. Совершить таким способом путешествие вокруг света!»

Венская газета «Пресса», на которую Маркс возлагал столь большие надежды, подвела его. Вопреки обещаниям, она не только редко печатала его статьи, но к тому же платила только за одну из пяти.

Маркс и его семья уже не раз находились на краю бездонной нищеты, но 1862 год грозил стать для них еще более катастрофическим, нежели все предыдущие.

«Если он будет походить на старый, то, по-моему, пусть идет к черту»,— писал Карл в Манчестер в конце декабря.

Новый год оказался действительно хуже того, которому пришел на смену. Снова над домиком № 9 по Графтон-террас нависли унизительные лишения и угроза долговой тюрьмы. Прекращение сотрудничества в «Нью-Йорк дейли трибюн» тяжело сказалось на жалком бюджете Маркса. Долги росли. Семья из шести человек требовала больших расходов. Энгельс посылал непрерывно, но небольшие суммы, так как сам был денежно все еще не устроен.

Носильные вещи Карла, Женни, всех детей и даже Ленхен были давно заложены в ломбарде. Не было больше денег не только на то, чтобы оплачивать взятый в лучшие времена напрокат рояль, но и рассчитаться с мясником и булочником. Попытка расплатиться с одними долгами влекла новые. Нужно было изловчаться, хитрить, просить об отсрочках, чтобы предотвратить выселение из квартиры и накормить детей. Здоровье Карла было надорвано. Тело покрылось карбункулами, начались тяжелые недомогания, связанные с застарелой болезнью печени. Раздражительность возрастала тем больше, чем мучи-

тельнее тянуло его к работе над продолжением книги по политической экономии. Нищета порождала горестные вспышки.

Как-то летом утро началось с подсчета долгов, не терпящих отлагательств с оплатой.

Женни, посеревшая, измученная, вошла в кабинет мужа с большой пачкой счетов. Ее голос необычно дрожал.

— Вот газовое общество прислало последнее предостережение. Если сегодня мы не внесем одного фунта десяти шиллингов, газ будет немедленно выключен. Ты не сможешь больше работать по вечерам. В доме нет ни одной свечи и купить тоже не на что.

Карл поднялся из-за стола. Ему мучительно хотелось курить, но не было денег даже на самые дешевые сигары или табак.

Женни продолжала говорить все быстрее, и голос ее казался Карлу необычно высоким и страшным. Он хотел остановить ее, но это было уже невозможно.

— Мы отказались давно от того, чтобы Лаура брала уроки музыки, но все еще не расплатились с учителем. Семь шиллингов. Как их достать, ведь он беден и нуждается в них. Домохозяин вчера орал во все горло на улице, что мы должны ему за целый год и он подаст в суд. Это был спектакль для кумушек всей округи.

— Но Энгельс ведь прислал нам на днях немного денег.

— Да, немного; этого не хватило даже для булочника. Мясник, зеленщик и бакалейщик грозят, что засадят тебя в тюрьму. Мы все страдаем. В городе открылась Всемирная выставка, а наши бедные девочки сидят дома. Все до последней пары обуви я заложила в ломбарде. И так уже много лет. Ни малейшего просвета. Почему? За что?

И вдруг, потеряв самообладание, Женни закричала:

— Я не могу больше, не могу! Лучше умереть, нежели дальше жить. Видеть детей и тебя голодными я больше не в силах.

Карл бросился к жене и прижал ее голову к своей груди. У него дрожали скулы и страшная гримаса горя исказила на мгновение лицо. Он умолял Женни успокоиться и еще раз набраться терпения.

— Ты ведь такая сильная,— заговорил он твердо.— Потерпи немного, и все наладится, я уверен в этом. И мы перейдем от страдания к радости. Помнишь наш любимый финал бетховенской Девятой симфонии? Она зазвучит и для нас, моя любимая.

Но Женни не успокаивалась. Карл молча гладил ее волосы. Что мог он сказать ей еще?

Снова горе перелилось через край, и нервы Женни больше не могли выдержать непрерывного напряжения. Во время этой печальной сцены в комнату родителей вошли Женнихен и Лаура. Лица девушек были необычно серьезными и решительными.

— Я достаточно взрослая, чтобы помогать своей семье,— сказала Женнихен,— вы не захотели зимой, чтобы я поступила в театр. Это к тому же оказалось нелегко, да и не знаю, достаточно ли я талантлива, чтобы быть на сцене. Теперь мы обе — ведь Лаура всего на год моложе меня — решили искать место гувернанток.

— В этом нет ничего плохого,— вмешалась Лаура,— нам пора зарабатывать. Двумя ртами будет в доме меньше, а главное, мы с Женнихен сможем помочь вам, отдавая все, что заработаем. Пожалуйста, Мавр и мамочка, не возражайте.

— Нет, нет,— в слезах ответила Женни,— вы обе еще так молоды, вам надо учиться. Я знаю, чем помочь. Разреши мне, Чарли, продать твою библиотеку.

Карл невольно ухватился рукой за спинку кресла. Он любил и привык к своим книгам. Они были всегда его послушными и верными помощниками, со многими из них он странствовал с юности. Карл хотел возразить, но тотчас же, внутренне устыдившись, что колеблется, поспешил одобрить решение жены распродать то единственное, что было ему так нужно и так дорого.

— Конечно, родная. Делай, как считаешь нужным. Продай книги, на что они нам? Мне останутся все сокровища библиотеки Британского музея. Я постепенно окончательно отучусь полемизировать с авторами на полях книг и делать пометки карандашом и ногтем.

— Мавр, дорогой, разве ты сможешь жить без возможности рыться в книгах? Конечно, нет. Отцу они необходимы. Не надо, мамочка, лишать его надежнейших друзей. Позволь же нам с Лаурой искать себе место гувернанток,— настаивала Женнихен.

— Позже, мои девочки, позже, когда вы будете старше. Сейчас это слишком трудно для вас и опасно.

Женни продолжала горько плакать. Карл настойчиво уговаривал ее скорее распродать библиотеку.

Не признавая фетишей и не привязываясь к вещам, Карл

делал исключение только для книг. С молодых лет он собирал их и берег. Книги были для него насущной необходимостью, такой же, как хлеб и вода. Однако попытка Женни продать библиотеку мужа оказалась тщетной. Не нашлось покупателя. Других источников добыть денег не оставалось, Карл писал Фридриху 18 июня 1862 года:

«Дорогой Энгельс!

Мне ужасно противно вновь занимать тебя моими злосчастиями, но что делать? Жена моя заявляет мне каждый день, что лучше бы ей с детьми лежать в могиле, и я, право, не могу на нее за это сердиться, ибо унижения, мучения и страхи, которые нам приходится переносить в этом положении, не поддаются описанию. Все 50 фунтов ушли, как тебе известно, на уплату долгов, из которых все же удалось уплатить меньше половины... Я не говорю уже о той, для Лондона вообще опасной ситуации, когда приходится семь недель существовать без единого гроша в кармане,— это у нас сейчас хроническое явление. Но ведь ты по собственному опыту знаешь, что имеются постоянно такие текущие расходы, по которым приходится платить наличными. Их мы покрыли тем, что вновь заложили вещи, взятые из ломбарда в конце апреля... Бедных детей мне сейчас еще особенно жаль потому, что все это происходит во время «выставочного сезона», когда их знакомые так веселятся, а они живут в одном страхе, что к ним кто-нибудь придет и увидит всю эту мерзость.

В общем я теперь много работаю, и, как это ни странно, моя черепная коробка работает при всей этой нищете так хорошо, как не работала уже много лет... Заодно я уже, наконец, раскусил окончательно и поганую земельную ренту... У меня уже давно были сомнения относительно правильности рикардовской теории, а теперь я окончательно вскрыл обман. И, кроме того, я, с тех пор как мы не виделись, открыл ряд очень интересных и новых вещей...

У Дарвина, которого я теперь снова просмотрел, меня забавляет его утверждение, что он применяет «мальтусовскую» теорию *также* к растениям и животным, между тем, как у господина Мальтуса вся суть в том-то и заключается, что его теория применяется *не* к растениям и животным, а *только* к людям — с геометрической прогрессией — в противоположность растениям и животным. Замечательно, что Дарвин в среде животных и растений вновь открывает свое английское общество с его разделением труда, конкуренцией, открытием новых рын-

ков, «изобретениями» и мальтусовской «борьбой за существование».

Энгельс тотчас же пришел на помощь другу и его семье, выслав деньги, и на короткое время обитателям дома № 9 на Графтон-террас жить стало легче.

В Лондоне было, как никогда, шумно в это лето. Позади «Хрустального дворца» вырос целый квартал наскоро построенных на одном из пустырей павильонов. В июне там открылась Всемирная промышленная выставка. Вереницы карет, наемных кебов, толпы людей направлялись со всех сторон столицы посмотреть все то, что из разных стран было привезено напоказ ради купли, продажи и рекламы.

Вместе с делегацией французских рабочих на выставку прибыл и Жан Сток.

Жером Бонапарт сдержал свое слово и организовал пятьдесят избирательных бюро в Париже, с помощью которых были устроены выборы заранее намеченных им делегатов. Рабочие ста с лишним профессий были приглашены на голосование. От железнодорожных машинистов Жан Сток был избран единогласно. Большой успех на выборах пал и на долю чеканщика Толена. Расходы на поездку столь необычной делегации взял на себя «красный принц» Плонплон. Он провел добровольную подписку и получил благодаря своим связям кое-какие суммы из имперского и городского казначейства.

В Лондоне Жан вместе с Толеном тотчас же отправился на Графтон-террас к Марксу.

— Сын Иоганна Стока. Отлично. Я очень, очень рад тебе. Весть о гибели твоего отца глубоко поразила всех нас. Он был лучшим среди лучших бойцов пролетариата. А ты, парень, как прожил свои два с небольшим десятилетия?

Жан вкратце рассказал Карлу свою жизнь, все время оговариваясь, что она проста и незатейлива.

— Хорошее прошлое и добрая закалка у этого парня,— сказал Карл жене, когда она позвала всех к чаю.— Это — сын, достойный своего мужественного и умного отца.

— Скажите, Жан,— спросила Женни, узнав, что он перенес заключение,— вас не испугала тюрьма? Отважились бы вы на поступки, которые грозили бы вам снова кандалами?

Сток широко улыбнулся. Блеснули его прекрасные белые зубы.

— Тюрьма что роды у женщины — быстро забывается. Ведь с ней знакомишься ради доброго дела, ради людей,—

значит, нечего и пугаться. Страшновато только по первому разу.

Все дружно рассмеялись. Сток заговорил о разрозненности рабочих и необходимости им скорее объединиться.

— Помню, мать учила меня в детстве притче о том, как уничтожать зло! Каждый отдельный человек слаб, он как прутик, но, если связать их вместе, получится веник, которым ничего не стоит вымести любую нечисть. Почему бы нам не объединиться, чтобы быть силой в борьбе за права свои? Взять хотя бы, к примеру, английских промышленников. При всякой попытке рабочих добиться повышения заработной платы и сокращения рабочего дня они тотчас же везут к себе французских, германских, бельгийских или других иностранных трудящихся. Не раз мог и я перебраться через Ла-Манш. А когда мы будем едины, то не позволим разжигать между нами рознь и грязную конкуренцию. Французы, немцы, англичане, поляки — мы трудимся на одних и тех же машинах, шьем теми же иглами, куем на однородных наковальнях, рубим теми же топорами. Посмотрел я машины на выставке; какая бы ни была на них марка — все один черт. Вот хотя бы локомотив. Он теперь везде один, и каждый машинист знает, как его водить. Одно у нас оружие, одна доля, один труд. Пора связать нам себя в один пук, и тогда все пойдет сразу по-другому. Я давно рвался в Лондон, чтобы повидаться с вами, отец Маркс, и с нашими братьями французскими изгнанниками.

Карл с волнением слушал молодого рабочего, ищущего путей к объединению с иноземными трудящимися и совместной борьбе. Это предвещало воскрешение великих дней, когда был создан «Коммунистический манифест».

Французские рабочие расспрашивали Маркса об особенностях развития британской индустрии.

— В Англии, в стране машин и пара, существуют и поныне многие отрасли промышленности, где полностью сохраняется ручной труд,— ответил им Карл.— Кое-где вы можете увидеть, что работают так же, как в старозаветные времена. Вот хотя бы изготовление хлеба. Английская пословица гласит, что каждый человек должен в своей жизни съесть мерку грязи, а Джон Буль и не подозревает, что ежедневно, не в переносном, а в прямом смысле слова, поглощает невообразимую мешанину из паутины, муки, квасцов, тараканов и человеческого пота. Зная отлично Библию, англичане повторяют, что человек должен добывать хлеб в поте лица своего, но не предполагают, вероятно,

что человеческий пот является обязательной приправой к хлебному тесту. Теперь, однако, приближается, видимо, час гибели небольших пекарен и наступает эра хлебных фабрик.

— Я хотел также посоветовать вам побольше читать,— сказал Жану и Толену Маркс, когда они собрались уходить.— Один из великих французов в своих увлекательных книгах вывел целую плеяду живых людей, вы их, наверно, встречаете сейчас в Париже. В империи Бонапарта они процветают. В эпоху толстого Луи они были только в зародыше. Я говорю о Бальзаке.

Карл долго размышлял над тем, что говорили ему два француза. Он давно не чувствовал такого прилива сил, как в эти дни.

В эти же июньские дни на Графтон-террас прибыло коротенькое письмецо. Лассаль извещал о своем приезде в Лондон на Всемирную выставку и обещал быть в тот же вечер. Узнав об этом, Женни разволновалась и засуетилась. Ей не хотелось, чтобы Лассаль заметил, какая нужда господствовала в ее доме.

— Мы, конечно, не в состоянии принять этого баловня графини Гацфельд так, как он это сделал в своей роскошной берлинской квартире, когда у него был Карл, но тем не менее все должно быть безупречно,— говорила она, вытирая торопливо пыль с многочисленных книг и наводя в квартире порядок.

Ленхен отнеслась к словам Женни недоброжелательно и не скрыла этого.

— Только немного расплатились с долгами и вздохнули свободно и снова лезете в западню. Стоит только появиться лишней копейке в доме, как она у вас вызывает нестерпимый зуд. Так и ищете, кому бы дать или на что бы потратить. Нет чтобы одеть девочек как положено. Я бы тогда слова не сказала. Лондон завален всяким добром. Так нет же, нужно откармливать этого приезжего гуся, да еще так, чтобы он, боже сохрани, не догадался, что съедает последние куски в нашем доме.

Но Женни обняла Ленхен и так ласково принялась уговаривать не восставать против ее плана, что та быстро уступила.

— Вы сатану и того уломаете, когда захотите,— сказала она, смягчаясь, и отправилась в бакалейную лавку за разными припасами, чтобы угостить Лассаля на славу. Лаура и Женнихен побежали в цветочный магазин, и скоро маленькая столовая на Графтон-террас совершенно преобразилась. Женни достала из комода недавно выкупленные из ломбарда старинные скатерти шотландской работы и кое-что из посуды. Она внимательно осмотрела дочерей. Молодость и свежесть служили им великолепным украшением. Женни принарядилась, набросив

материнскую кружевную шаль поверх старого поношенного платья. Лассаль вовсе не заметил следов бедности в этом гостеприимном, приветливом семействе.

С тех пор как в начале века лорд Дэнди посвятил всю свою жизнь возведению в культ мужского туалета и приобрел много последователей, Англия считается первой страной по искусству наряжать мужчин. Лассаль, и до этого щеголь, приехав в Лондон, отправился на Бонд-стрит, где приобрел все самое модное, начиная от зонта, превращающегося в трость, и кончая сюртуками и шляпами всех фасонов.

Надушенный эссенцией лаванды, блестящий, как его цилиндр, Лассаль обнял Карла, называя его «дорогим другом», затем красиво склонил перед Женни и ее старшими дочерьми густо смазанную душистым маслом голову.

— Ах, какое прелестное бэби,— сказал он и поцеловал в румяную щечку Тусси, которая пытливо и смело разглядывала этого фатовски одетого господина.

За столом, когда Ленхен разносила великолепно сервированный чай с вкусными печеньями, Лассаль не преминул сообщить, что привык ни в чем себе не отказывать и жить на широкую ногу.

— *Ничего не поделаешь, нужно всегда выставлять себя* богатым человеком, это все идет на пользу нашему общему делу. Деньги при всей мерзости, которую они порождают в руках буржуа, великая сила, когда они в кармане социалиста. На днях одно дельце обошлось мне в пять тысяч талеров. Что ж, потери неизбежны, когда приходится быть также дельцом. Хорошо тебе, Карл. Ты занят только теоретической работой и поэтому свободен. Я не только теоретик, но и практик. Ну, подумайте сами: с одной стороны, моя внешняя форма...

— Да, ты похож на прирожденного барона,— сощурив глаза и не глядя на Женни, чтобы не рассмешить ее, сказал Карл.

— Кому, как не тебе, имеющему жену баронессу, знать это,— сказал весьма довольный Лассаль, так и не заметив насмешки в тоне Маркса.— Вы ведь знаете,— продолжал он,— что я посетил Цюрих. Это была поистине триумфальная поездка. Рюстов, Гервег и много других замечательных людей приветствовали меня. Затем Италия. Я дал немало советов Гарибальди. Результаты тотчас же сказались. Кстати, вы, надеюсь, уже прочитали моего «Юлиана Шмидта»? Мне не хочется повторять всего, что говорится в разных сферах об этой вещи. Не хочу показаться нескромным, но факт остается фактом. Я мог бы

возгордиться, если бы не был от природы защищен от тщеславия мудростью. Но все-таки трудно удержаться, когда почтенные и вполне искренние люди постоянно трубят тебе, что ты великий ученый, мыслитель.

Лассаль встал, он был в упоении. Голос его звучал неестественно, он некрасиво размахивал руками, прохаживаясь по комнате. Всем стало неловко, но он этого не замечал.

— Меня считают жестокосердным донжуаном, но я фактически скорее нежен и чувствителен, как Вертер. Я был любим многими женщинами, но, увы, не любил сам и превыше всего ценю свою свободу. Скажите, госпожа Маркс, что такое брак? Я имею в виду людей моего масштаба.

Женни прикусила на мгновение нижнюю губу, чтобы не выдать чувства, которое внушал ей этот фразер, но затем, овладев собой, ответила:

— Французы говорят, что брак — это разговор. Выбирая супруга или супругу, нужно прежде всего проверить, долго ли будут они удовлетворять друг друга как собеседники. Я убедилась, что в этом много правды. Если бы мне предстояло прожить несколько жизней, я была бы неизменно счастлива с моим мужем, потому что мысль его неисчерпаема и разговор с ним всегда доставляет высшее наслаждение.

Лассаль слащаво, неискренне улыбнулся.

— Великолепно. Карл нашел достойную себя собеседницу. Ему повезло больше, чем мне.

Лассаль бесцеремонно отнимал у Карла его время, утомляя неуемными разглагольствованиями о себе, своих достоинствах и преуспеянии. Как-то он явился, когда Женни была одна дома, и тотчас же доверил ей под величайшим секретом свои сугубо важные дела мирового значения.

— Вам, мадам, как весьма незаурядному человеку, могу признаться, что благодаря именно мне, моему неоспоримому убеждению, Гарибальди не пошел на Рим, а отправился в Неаполь. Я убедил его стать там диктатором, но не затрагивать при этом интересов сардинского короля Виктора Эммануила. Затем, по моему же совету, старый полководец должен собрать народную армию, чтобы двинуть ее на Австрию. Вы понимаете, что это означает для Германии? Свободу. Я полагаю, что Гарибальди соберет без всякого труда не менее трехсот тысяч добровольцев. После этого особый корпус переправится на Адриатический берег, в Далмацию и поднимет восстание в Венгрии. Это будет грандиозно, уверяю вас.

Лассаль подробно описал Женни свой план, который, по его словам, он, как представитель немецкого революционного рабочего класса, сообщил не только Гарибальди на острове Капрера, но и в Лондоне теперь самому Мадзини.

— Этот великий революционный аскет тоже восхищен тем, что я ему сказал, и вполне одобрил мои предложения. Если все пойдет, как я указал, все кончится скорой и блестящей победой итальянского народа. Я кладу на всю операцию ровно шесть недель. К тому же мое политическое влияние в Берлине сейчас очень велико. Я смогу многое там предпринять. Ни для кого более не тайна, что именно моя брошюра об итальянской войне предотвратила вмешательство Пруссии в войну на Апеннинском полуострове.

— Вы, верно, очень устаете от столь больших и ответственных дел? — с едва уловимой иронией спросила Женни.

Лассаль не заметил насмешки в тоне собеседницы и ответил важно:

— Еще бы!

Женни поспешно отвернулась, чтобы гость не видел ее лица. Ей, как и Карлу, Лассаль стал смешон. Ленхен презирала его не только за самоуверенность и самовлюбленность, но и за эгоизм и обжорство.

Называя Маркса своим интимнейшим, дорогим другом, Лассаль говорил ему:

— Ты свободный человек. Теоретическая работа берет меньше времени. Право, я завидую тебе; будучи постоянно занят важными практическими делами, я вынужден писать лишь урывками.

Целыми часами Лассаль просиживал на Графтон-террас, часто к отчаянию всех обитателей маленького дома, которых он отрывал от занятий. Нередко Карл и Женни открыто высмеивали ни на чем не обоснованные политические прожекты Лассаля и его утомительную спесь.

— Я разработал до мелочей и предложил поход от Падуи на Вену с целью выбить оттуда Габсбургов. Гарибальдийский полковник Рюстов одобрил мой план и согласился с тем, что все это осуществимо. Мы освободим Германию таким же образом.

— В таком случае,— щурясь, заметил Маркс,— полковник Рюстов тоже выжил из ума.

— Ты хочешь сказать, что я настаиваю на нелепости, что я глуп? — рассвирепел Лассаль, вскочив со стула. Затем он произнес с апломбом, взмахнув при этом кудлатой негритянской

[redacted]велюрой: — Я напрасно горячусь. Ты, Карл, живешь в мире абстракции, и я прощаю тебе, ты ничего не смыслишь в реальной политике.

— Однако то, что вы теперь постоянно проповедуете, весьма напоминает мне статьи некоторых просвещенных бонапартистов,— поддела гостя Женни.

Чем больше Маркс и его жена высмеивали «теории» Лассаля, тем сильнее было его бешенство и все меньше находил он защитных аргументов. Напористость и многословие не имели никакого успеха на Графтон-террас.

— Если бы мы не были в таком ужасном положении и этот субъект не забирал у меня так много времени и тем не мешал работе, он доставил бы мне истинно царское развлечение. Жаль, что Фридриха нет с нами. Послушав и повидав Лассаля, он запасся бы материалом для смеха по крайней мере на целый год,— сказал как-то Карл, когда поздно вечером остался наконец после многочасовой беседы с Лассалем наедине с женой.

— Я очень устаю от его постоянной похвальбы и противных манер откровенного карьериста,— ответила Женни.

Перед отъездом из Лондона Лассаль еще раз зашел к Марксу, чтобы поделиться очередным замыслом.

— Я, быть может, вскоре создам-таки свою газету,— сказал он, бесцеремонно рассевшись в единственном кресле за столом Маркса, в то время как тот расхаживал по комнате.— Я предлагаю тебе, Карл, быть участником этого грандиозного предприятия. Что ты думаешь об этом, дорогой друг?

Маркс мельком глянул на Лассаля и ответил равнодушно:

— Я охотно стану английским корреспондентом твоей газеты, не принимая на себя, однако, никакой ответственности. Политически, как я не раз тебе уже говорил, мы решительно ни в чем не сходимся, кроме некоторых весьма отдаленных конечных целей.

На этом разговор оборвался.

Поглощенный самим собой, мотовски тративший на себя деньги, безотказно предоставляемые ему графиней Гацфельд, Лассаль долго не замечал нужды, в которой жили Маркс и его семья. Когда же он понял, что из-за американских событий Карл остался без всякого заработка и находится в критическом материальном положении, то с обычной напыщенностью предложил юной Женнихен место компаньонки у графини Гацфельд в Берлине. Маркс едва стерпел это проявление черствости, бестактности и наглости. Узнав, что Марксу грозит выселение из

квартиры, Лассаль согласился ссудить его небольшой суммой под вексель при условии, если Энгельс даст поручительство. С горечью согласился на это Карл. Ленхен припомнила тогда, что на одни только сигары и извозчиков Лассаль, как он сам похвалялся, тратит в день более одного фунта стерлингов.

В конце лета Карл получил постоянный пропуск корреспондента венской газеты на Всемирную промышленную выставку в Лондоне.

Наконец Карл, Женни и их дочери смогли отправиться туда, куда в эти дни устремлялись толпы людей всех сословий. Всемирная промышленная выставка привлекла к себе посетителей всех стран Европы. Лондон был переполнен приезжими. Газеты посвящали целые полосы описанию павильонов, индустриальных товаров и знатных особ, прибывших на остров.

Дамы, затянутые в тугие корсеты, в пышных кринолинах на металлических обручах, с плоскими пляпками поверх локонов, напоминали большие опрокинутые цветные бокалы. Их юбки едва умещались в каретах, шарабанах и омнибусах, непрерывно подъезжавших к украшенной разноцветными флагами арке у входа на выставку. Из совершенной по акустике оркестровой раковины неслись по всей площади звуки симфонической музыки.

— «Травиата»,— обрадовалась Лаура,— не правда ли, нет ничего лучшего в мире звуков, чем Верди?

— Есть,— ласково ответила ей мать,— бессмертная музыка Рихарда Вагнера. Ничто не может сравниться с «Тристаном и Изольдой».

— Кроме «Лоэнгрина»,— возразил Карл,— я люблю эту оперу больше. Впрочем, мне кажется, что Верди такой же титан и революционер в оперной музыке, как и Вагнер.

— Досадно, что творец «Тристана и Изольды» порвал со своим предтечей — Глюком. Вагнер,— пояснила Женни дочерям,— восстал против утверждения автора «Орфея и Эвридики», будто истинное назначение музыки — помогать поэзии. «Я больше не пишу опер,— заявил Вагнер.— Не желая, однако, изобретать произвольного названия для моих произведений, я называю их отныне драмами».

По странной случайности во время рассказа Женни о Вагнере симфонический оркестр исполнял марш из «Лоэнгрина».

— Чудесно! — прошептала Лаура.— Мне слышится призыв к героическим поступкам, религиозный экстаз, томление...

— И чисто языческая страсть,— подсказала Женни.

Карл предложил начать осмотр выставки с индустриального павильона. Он очень интересовался технологией машин, изучал ее, посещал лекции, знакомился с практическим курсом машиностроения, делая множество выписок. Пытливо и внимательно рассматривая всевозможные инструменты и станки, он обстоятельно объяснял жене и дочерям их назначение и историю. Его интересовала каждая деталь и особенно технические новинки.

— Посмотрите на эти великолепные послушные орудия труда,— говорил он увлеченно,— здесь можно воочию убедиться в том, что, если оставить в стороне изобретение пороха, компаса и книгопечатания — того, что послужило предпосылкой современного буржуазного прогресса,— все в индустрии началось с изобретения часов и ветряной либо водяной мельницы.

— Как же так? — удивилась Женни.— Что общего у этих машин с часами?

— А откуда взялась водяная мельница? — спросила Лаура.

— Она попала в Рим из Малой Азии во времена Кая Юлия Цезаря,— ответил Карл.— Несомненно, что именно часы подсказали в восемнадцатом веке изобретение автоматов в производстве. Все в индустрии началось с заводных и пружинных механизмов и от мельницы с зубчатой передачей и прочими деталями. Взгляните на этот механический молот или на тот огромный пресс. Как и в мельнице, в этих удивительных машинах все процессы производятся без непосредственного человеческого труда. Другое дело — источники энергии, но, я вижу, вам скучно, мои дорогие.

— Нет, что ты, Мавр,— возразила скорее из любви к мужу, чем из подлинного интереса к индустрии Женни.

Карл с восхищением наблюдал за электрическим локомотивчиком, ведущим длинный состав, за неуклюжим двигателем и светильником, которые должны были прийти на смену газовым фонарям.

В павильоне Австрии Лаура увидела среди музыкальных инструментов выстроившиеся в ряд великолепные рояли. Их отполированные деки отражали все окружающее, как зеркала. Тонкими пальчиками Лаура прикоснулась к клавишам. Они ответили ей звонким мелодичным звуком. Тогда она присела на круглый винтовой табурет и сыграла «Песню без слов» Мендельсона, вложив в исполнение всю нежность юной души. Вздохнув, Лаура отошла от инструмента, иметь который было ее давнишней несбыточной мечтой.

В каждом павильоне, отведенном какой-нибудь стране, промышленные фирмы разложили образцы своих товаров, усиленно рекламируя их. Агенты различных фабрикантов и купцы состязались в переманивании заказчиков и покупателей.

Великолепные ткани, ковры, вычурная, громоздкая, украшенная резьбой мебель, сложная парфюмерия и изысканные предметы туалета и обихода мало чем внешне отличались, были ли они изготовлены во Франции, Германии, Австрии или Англии. Все они были рассчитаны на угождение вкусам богатых людей и стоили дорого. Еще менее разнились товары «для народа», которые изредка попадались на выставке. У Женни разболелась голова от назойливого гула, мелькания множества лиц и возбуждения, которое господствовало на этом параде вещей и людей, охваченных нарастающим азартом купли и продажи.

Лаура и Женни увлекли мать и отца послушать музыкальные выступления на открытом воздухе под большим серо-зеленым тентом.

Мюзик-холл — творение Англии — полон традиций, как цирк. Его клоун — рыжий, нелепый, полутрезвый шотландец — потешал публику особым выговором, кривлянием и рассказами о пресловутой «национальной» скупости. Затем на сцену выскочил забулдыга матрос, лихо отплясывая матлот. Томная жирафообразная певица, переминаясь с ноги на ногу, взывала к публике: «Приди же поскорее, я нежная возлюбленная». Самый большой успех выпал на долю бочкой вкатившейся на сцену комической старухи; она выкрикивала что-то невнятное, шепелявя на чистейшем лондонском простонародном жаргоне «кокней», и была, казалось, пропитана терпкой вонью пивнушек. Ее волосы растрепались, на лице застыло выражение блаженства. Бессмысленная болтовня, бесстыдные пляски актрисы, изображающей не то торговку рыбой, не то портовую сводню, сопровождались довольным ревом и хохотом толпы.

После фокусника, проглатывающего тлеющие папиросы, после китайцев-жонглеров и монотонно поющего гимны негра наступила очередь выступлению зрителей. «Комическая старуха» и «матрос», на этот раз припомаженный, натянувший на лицо постную пасторскую мину, пели куплеты под аккомпанемент оркестра, приглашая публику присоединиться. Сначала припев подхватило лишь несколько голосов. Оркестр ускорил темп. «Матрос», размахивая руками, отсчитывал такт. Зрители набрались решимости; все новые и новые голоса подхватывали припев:

Стоит мне забыть свой зонтик дома,
И тотчас же дождь пойдет.
Дождик, дождик, переста-ань.

Из мюзик-холла, мимо дорогого ресторана, на открытой террасе которого сидели сытые и нарядные баре, Карл и Женни прошли по пыльной дорожке к маленькому пруду. Два белоснежных лебедя, обогнув камышовые заросли, медленно плыли по светлой поверхности воды, почти прикасаясь друг к другу блестящими крыльями. Женни не отрывала глаз от величавых, прекрасных птиц. Она думала о их любви и верности, о том, что пара лебедей, соединившись, никогда уже не расстается. Если один из них умирает, другой также обрекает себя на гибель.

Лебеди подплыли совсем близко к берегу, на котором стояли Женни и Карл, взявшись за руки.

* * *

Маркс мучительно искал способа, как бы вырваться из создавшегося безвыходного, безденежного положения.

Он решил поступить служащим в железнодорожное общество. Голландский адвокат Филипс имел большие знакомства в Лондоне и взялся походатайствовать за своего двоюродного брата. В одно обыкновенное сырое сентябрьское утро, надев сюртук, шляпу, вооружившись большим дождевым зонтом, Карл пошел наниматься на работу. Он произвел хорошее впечатление на почтенного управляющего канцелярией.

— Видите ли, в нашем деле все решает почерк,— сказал тот важно.— Наше дело — бумаги. Приходилось ли вам, мистер Маркс, писать?

Карл ответил, что случалось.

— Вот текст. Прошу вас переписать его с возможной тщательностью и четкостью.

Карл отошел к соседнему столу и принялся списывать документ. Он старался во много раз больше, нежели на уроках чистописания в гимназии Фридриха Вильгельма, осторожно выводил буквы, пытаясь сделать их разборчивыми и красивыми. Ему показалось, когда он закончил это испытание, что никогда еще не достигал такого каллиграфического совершенства. На лбу Карла выступил пот. И, однако, выражение презрения и негодования появилось на лице канцелярского начальника.

— Мистер Маркс, я грущу о вас. Человек с таким почерком обречен в Англии, если он не наследный лорд, на жалкое су-

ществование. О чем думали ваши родители и вы сами? Готов держать любое пари, что для того, чтобы разобрать хоть одно ваше слово, нужны ученые, расшифровывающие древние письмена на камнях. Сожалею, но мы не можем предоставить вам никакой работы.

Карл вернулся домой крайне удрученный. Но как бы ни было тяжело у него на душе, он отдавался весь работе и быстро находил удовлетворение и покой.

В эти поистине кошмарные дни, критически анализируя труды Рикардо, Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» развивает свои выводы о капиталистическом накоплении и экономических кризисах. Ничто не могло помешать его мозгу творить и делать величайшие открытия.

Несмотря на все тяготы и заботы по дому, Женни постоянно выполняла секретарские обязанности. Нелегко было переписывать рукописи Маркса: почерк его был крайне неразборчив. А когда он диктовал, трудно было успевать записывать. Это было ответственным делом и требовало, как и ответы на письма, основательных, разносторонних знаний. Такт и деловитость Женни были поразительны. Она нередко вела вместо Карла деловые переговоры с типографиями и издателями. Чтобы добиться в Париже издания на французском языке книги «К критике политической экономии», Женни решила сама отправиться на континент, в страну, откуда ее когда-то выслали. Однако невезение, которое могло бы вызвать немало мистических страхов у суеверных людей, преследовало ее на всем протяжении этого короткого пути. Сперва корабль попал в сильную бурю и случайно уцелел, в то время как идущий поблизости пошел ко дну. Локомотив поезда, в котором находилась жена Маркса, испортился и долгое время простоял в пути. Свалился омнибус, в котором она ехала по улицам Парижа. Когда Женни пересела в наемный кеб, тот столкнулся с другим экипажем. Знакомого, ради которого она предприняла это путешествие, как раз перед ее приездом хватил удар.

В это же время Маркс в Лондоне пережил немало волнений. Сестра Ленхен, Марианна, еще молодая женщина, приехала погостить в семью Маркса и серьезно заболела сердцем. Целую неделю Карл и Ленхен выхаживали ее попеременно. Но ничто не помогло. За два часа до возвращения Женни из злополучного и безрезультатного путешествия во Францию Марианна скончалась.

В дом, не видевший давно ни одного беспечного дня, вошло

еще одно несчастье. Марксу пришлось войти в новые долги, чтобы добыть необходимые деньги на погребение Марианны. Таковы были рождественские каникулы в доме № 9 на Графтон-террас.

Карл постоянно заботился о своих соратниках и готов был отказать своей семье в самом необходимом, лишь бы помочь нуждающемуся товарищу. В эти дни нагромождения неудач он писал Энгельсу о том, что у их соратника, коммуниста Эккариуса, от скарлатины умерли один за другим трое детей и сам Эккариус находится в нужде. «Собери немного денег среди знакомых и пошли ему»,— просил друга Карл, хотя в это время в его доме не было ни угля, ни провизии и лавочники наотрез отказывали ему в кредите.

Лассаль злобно и настойчиво требовал выплаты ничтожно малой денежной суммы, которую дал Марксу под вексель. С большим трудом расплатился с ним Энгельс, снова спасши этим Карла от неминучей беды.

* * *

Мэри Бернс внезапно умерла. Вечером, в ночь смерти, она выглядела здоровой, цветущей, как в ранней молодости. Фридриха не было дома, и Мэри рано ушла в свою комнату, чтобы лечь спать. В полночь младшая сестра, Лицци, нашла ее уже мертвой. Энгельс узнал о случившемся только утром следующего дня. Помимо общей квартиры с Мэри Фридрих снимал также отдельно две комнаты. Он принимал там по делам фирмы посторонних ему людей и своих немногочисленных, не всегда симпатичных ему родственников, часто наезжавших в Манчестер.

Смерть Мэри потрясла Энгельса. Он чувствовал, что с этой горячо любившей его женщиной хоронит последнюю частицу своей молодости. Мэри Бернс была добродушна, остроумна и на редкость приветлива. С ней Фридрих отдыхал и чувствовал себя освеженным и набравшимся сил. Она никогда ничего не требовала и ни о чем не расспрашивала.

С тех пор как судьба свела их в этом же Манчестере почти двадцать лет назад, Мэри привязалась к Фридриху всем своим простым, бесхитростным сердцем и через всю свою жизнь пронесла непрерывно возраставшее беспредельное чувство. Она нашла в Фридрихе свое счастье и благодарила случай, давший ей, маленькой скромной работнице из порабощенной Ирландии, такого необыкновенного, доброго, чуткого мужа и друга.

Мэри была подобна резеде, неприметной, незатейливой и, однако, благоухающей, как лучший из цветов. Энгельс понял возле ее гроба, что лишился огромной, совершенной по силе и чистоте любви. Мир для него, казалось, опустел. Сердцу стало холодно, одиноко. Никто, думал он, не будет уже так любить его, как Мэри. В гробу, как-то сразу похудевшая, она казалась снова очень юной.

«Бедная девочка,— думал Фридрих,— любила меня от всей души». Всегда мысль о ее огромном чувстве вызывала в нем нежность и грусть. Но только потеряв жену, он понял, как она была ему необходима и сколь велика была и его привязанность к ней. Сестра умершей, Лиззи, понимала переживания Фридриха и горько оплакивала Мэри.

Огромная выдержка помогла Фридриху внешне не выразить своего смятения и отчаяния. В поисках душевной опоры он тотчас же написал Карлу. Тяжесть свалившегося неожиданно горя была так сильна, что нужно было плечо друга, чтобы устоять.

Письмо Энгельса, однако, попало в накаленную другими бедами атмосферу. Когда Карл, вскрыв конверт из Манчестера, сообщил о смерти Мэри, вся его семья была вначале потрясена этим неожиданным известием. Но в тот день до вечера в рабочей комнате Карла просидел судебный пристав, присланный домовладельцем. Перехватив на крыльце Женни, мясник представил ей опротестованный вексель. В нетопленной комнате верхнего этажа уже несколько дней лежала в постели больная Лаура. Женнихен и Тусси давно не выходили из дома, так как не имели ни одежды, ни обуви.

Оставшись поздно вечером один, Карл взялся за перо.

«С моей стороны,— писал Карл в Манчестер после нескольких формальных слов соболезнования по поводу смерти Мэри и описания подробностей своего критического положения,— ужасно эгоистично, что я в такой момент занимаю тебя такими ужасами... у себя дома я играю роль молчаливого стоика, чтобы уравновесить бурные взрывы с другой стороны».

Прочитав письмо Карла, Фридрих почувствовал себя глубоко обиженным и огорченным. Мэри еще не была похоронена, а друг не нашел для него слов утешения и сочувствия. Впервые омрачилась светлая дружба этих людей.

Энгельс высказал на бумаге Марксу все, что думал. Ему было особенно больно оттого, что даже городские обыватели

проявили в тяжелые дни душевное участие, только Карл этого не сделал.

Глубоко огорченный письмом друга, Маркс поспешил объяснить, как сложившиеся неудачно обстоятельства привели их к этому тяжелому недоразумению, и просил извинить и понять его. Одновременно он сообщал о своем решении резко изменить образ жизни, объявив себя банкротом и несостоятельным плательщиком, чтобы избавиться от кредиторов и судебного преследования. Он намеревался также уговорить Ленхен Демут поступить на другое место и соглашался подыскать подходящие места гувернанток старшим своим дочерям. Сам Карл с Женни и Тусси думал переселиться в один из казарменных домов, построенных для бедняков столицы.

«В школу я на новую четверть послать детей не мог, так как я не уплатил еще по старому счету, да и, кроме того, они в недостаточно презентабельном виде.

Благодаря изложенному плану я надеюсь, по крайней мере без всякого вмешательства третьих лиц, вновь иметь покой»,— писал Карл в своем исповедальном письме и, верный себе, своей постоянной жажде знания и творчества, даже в столь мрачных обстоятельствах, заканчивал:

«В заключение нечто, с предыдущим не связанное. Подходя к главе своей книги, трактующей о машинах, я оказался в большом затруднении. Мне никогда не было ясно, в чем сельфакторы изменили процесс прядения, или, точнее, так как применение пара уже давно было известно, в чем выражается вмешательство движущей силы прядильщика, помимо силы пара? Был бы рад, если бы ты мне это разъяснил».

В другом письме по поводу размолвки Карл подробно объяснял, как могло возникнуть это тягостное недоразумение.

«Могу тебе теперь также прямо сказать, что, несмотря на весь тот гнет, под которым я жил все последние недели, ничто меня и в отдаленной степени так сильно не угнетало, как боязнь, что в нашей дружбе образовалась трещина. Я много раз говорил своей жене, что для меня вся эта мерзость — ничто по сравнению с тем, что, благодаря всем этим житейским дрязгам и ее необычайному возбуждению, мне пришлось, вместо того, чтобы утешать тебя в такой момент, еще надоедать тебе своими частными делами. В результате этого домашний мир весьма пострадал, и бедной женщине пришлось пострадать за эту историю, в которой она была совершенно неповинна; ведь женщины вообще привыкли требовать невозможного. Она, конечно, не

имела ни малейшего представления о том, что я тебе пишу, но если бы она немного подумала, она могла бы рассчитать, что выйдет нечто подобное. Женщины — курьезные создания, даже те из них, которые одарены большим умом. Утром моя жена так плакала над Мэри и над твоей потерей, что совершенно забыла свои собственные горести, которые как раз в этот день дошли до своего апогея, а вечером она была уверена, что кроме нас нет ни одного человека, который мог бы страдать, если у него в доме нет судебного пристава и детей».

Письма Маркса полностью устранили то, что причинило боль обоим друзьям. Фридрих признался, что его мучила мысль о возможности потери вместе с Мэри самого лучшего своего друга.

Эта печальная размолвка была единственной во всей истории дружбы Карла и Фридриха.

С помощью сложной и необыкновенно рискованной деловой комбинации Энгельс собрал 100 фунтов и отправил их в помощь Марксу. Одновременно Эрнст Дронке, бывший член редакции «Новой Рейнской газеты» и многолетний друг Маркса, ставший ныне богатым купцом в Ливерпуле, согласился под поручительство Энгельса ссудить ему двести пятьдесят фунтов стерлингов. Деньги эти впоследствии выплатил также Фридрих.

С тремястами пятьюдесятью фунтами на руках Карл наконец смог расплатиться со всеми долгами, закупить для семьи необходимое и приняться за работу над «Капиталом».

* * *

В конце 1862 года прекратилась переписка между Лассалем и Марксом. Лассаль продолжал упорно внушать рабочим мысль о возможности мирного преобразования прусского юнкерского государства в свободную, управляемую народом Германию. Для этого он рассчитывал договориться с королем о всеобщем избирательном праве и организации производственных товариществ.

Фердинанд Лассаль, как никогда, обольщался собственными успехами. В Берлине, в Ораниенбургском предместье, в квартале машиностроительных рабочих, он выступил с речью, которую горячо одобрила графиня София фон Гацфельд, сидевшая в первом ряду в шляпе, утыканной разноцветными страусовыми перьями. Она не опускала лорнета, любуясь своим другом, защитником, своим «Буддой» — Фердинандом.

Лассаль, прохаживаясь по маленьким подмосткам, отбрасывая рукой в перстнях мелко завитые черные волосы, великолепно одетый, держался важно и самоуверенно.

— Рабочие, вы можете отдаться историческому развитию с личной страстью!

София фон Гацфельд вслушивалась в чрезвычайно туманно изложенные мысли и нежилась в переливах густого, волнующего баритона Лассаля. Она думала: «Все, что он говорит, великолепно; на свете нет равного ему оратора и мыслителя».

А Лассаль продолжал:

— Пусть же нравственная строгость охватит все ваше существо, пусть ваша жизнь станет достойной этой строгости. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей не мыслящих, даже невинное легкомыслие ничтожных — все это теперь недостойно вас. Вы — рабочее сословие. Вы — скала, на которой зиждется церковь настоящего.

Все, что Лассаль говорил далее в лекции, названной им «Программой работников», было грубой вульгаризацией «Коммунистического манифеста» и других произведений Маркса и Энгельса, ставших к этому времени широко известными. Погоня за красивостями речи была так велика у Лассаля, что ради цветистости фразы он, сам того не замечая, часто лишал ее смысла и говорил смешные и нелепые вещи.

Лассаль оглушал красноречием, лишенным вкуса и нередко ума. Не мысль, а слова пленяли его. Торопливый, тщеславный, он жаждал славы, не гнушаясь средствами, какими мог ее добыть, и не желая затрачивать ради этого большого труда. Быть первым повсюду и во всем — таков был девиз этого не лишенного дарований и, главное, обладавшего великолепной памятью человека. Не будучи по рождению ни богатым, ни знатным, он должен был пробиваться в жизни без чьей-либо поддержки и делал это мастерски.

Бракоразводный процесс графини Гацфельд, который Лассаль, не будучи юристом, вел много лет с необычайной изворотливостью и упорством, принес ему знакомства в среде немецкой знати и репутацию неподкупного идеалиста, защитника слабых. Выиграв дело, он получил большие деньги и вечную преданность влиятельнейшей придворной дамы. Ловкий, пронырливый, болтливый, чрезвычайно суетливый, он безошибочно определил для себя поле деятельности и решил возглавить германское рабочее движение, грозившее власть имущим, которые никогда не подпустили бы к себе как равного сына купца из Бреславля. С азартом игрока бросился Лассаль к намеченной цели, и графиня Гацфельд помогала ему во всем. Он переходил от одной женщины к другой, предпочитая замужних, так как для брака

искал объект с особенными достоинствами. Графиня терпеливо выслушивала его исповеди о довольно однообразных приключениях. В благодарность за это Лассаль говорил своим случайным любовницам:

— Графиня сделала меня гораздо лучше и чище, нежели я был до встречи с ней. Во мне бушевали дикие страсти, я нередко впадал в страшный гнев, становился жестоким, забывая о всяком сострадании. Она отучила меня ото всего этого и пробудила во мне добрые инстинкты, подавив дурные. Нет возможности оценить величие и возвышенность ее души. Если мне суждено надеть на себя цепи Гименея, я смогу быть счастливым только с той женщиной, которая полюбит моего друга Софию фон Гацфельд с истинной нежностью.

Лассаль оценивал людей часто только по тому, как они относятся к нему. Хорошими были те, кто восхищался им. Беспристрастие было ему чуждо. Он враждовал с каждым, кто его критиковал и осуждал.

Тщеславный — тщеславен во всем. Успех ли это в деле, творчестве, у женщин или у случайных прохожих — ему все равно. Это низменное свойство обладает способностью смещать в человеческом сознании все масштабы. Честолюбец не различает степени успеха, он наслаждается и требует одобрения от достойных и недостойных, значительных и ничтожных. Лассаль любил собирать дань восхищения. Он не гнушался спекуляциями, если это обещало выгоду, и жил припеваючи, мысленно видя себя уже на вершине власти и бешено прокладывая к этому пути. Он хотел возглавить низшее сословие, и ему был выгоден шум вокруг его персоны.

Суды, которым он подвергался, превращались в желанную и важную рекламу. Обычно, будучи осужденным за выпад против власти к нескольким месяцам тюремного заключения, Лассаль начинал длительную тяжбу, переходя из судебной инстанции в инстанцию, и отделывался денежным штрафом. А слава революционера, мученика и героя прочно сопутствовала ему, и высшие чиновники королевства должны были считаться с растущим авторитетом противника, живущего в изысканной, чисто аристократической роскоши.

Игра становилась для Лассаля беспроигрышной. Когда за издание брошюры «Программа работников» он был привлечен к ответственности, то с обычным бесстыдством плагиатора, приписывая себе некоторые идеи «Коммунистического манифеста», заявил на суде:

— Рабочие, вы можете отдаться историческому развитию с личной страстью!

София фон Гацфельд вслушивалась в чрезвычайно туманно изложенные мысли и нежилась в переливах густого, волнующего баритона Лассаля. Она думала: «Все, что он говорит, великолепно; на свете нет равного ему оратора и мыслителя».

А Лассаль продолжал:

— Пусть же нравственная строгость охватит все ваше существо, пусть ваша жизнь станет достойной этой строгости. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей не мыслящих, даже невинное легкомыслие ничтожных — все это теперь недостойно вас. Вы — рабочее сословие. Вы — скала, на которой зиждется церковь настоящего.

Все, что Лассаль говорил далее в лекции, названной им «Программой работников», было грубой вульгаризацией «Коммунистического манифеста» и других произведений Маркса и Энгельса, ставших к этому времени широко известными. Погоня за красивостями речи была так велика у Лассаля, что ради цветистости фразы он, сам того не замечая, часто лишал ее смысла и говорил смешные и нелепые вещи.

Лассаль оглушал красноречием, лишенным вкуса и нередко ума. Не мысль, а слова пленяли его. Торопливый, тщеславный, он жаждал славы, не гнушаясь средствами, какими мог ее добыть, и не желая затрачивать ради этого большого труда. Быть первым повсюду и во всем — таков был девиз этого не лишенного дарований и, главное, обладавшего великолепной памятью человека. Не будучи по рождению ни богатым, ни знатным, он должен был пробиваться в жизни без чьей-либо поддержки и делал это мастерски.

Бракоразводный процесс графини Гацфельд, который Лассаль, не будучи юристом, вел много лет с необычайной изворотливостью и упорством, принес ему знакомства в среде немецкой знати и репутацию неподкупного идеалиста, защитника слабых. Выиграв дело, он получил большие деньги и вечную преданность влиятельнейшей придворной дамы. Ловкий, пронырливый, болтливый, чрезвычайно суетливый, он безошибочно определил для себя поле деятельности и решил возглавить германское рабочее движение, грозившее власть имущим, которые никогда не подпустили бы к себе как равного сына купца из Бреславля. С азартом игрока бросился Лассаль к намеченной цели, и графиня Гацфельд помогала ему во всем. Он переходил от одной женщины к другой, предпочитая замужних, так как для брака

искал объект с особенными достоинствами. Графиня терпеливо выслушивала его исповеди о довольно однообразных приключениях. В благодарность за это Лассаль говорил своим случайным любовницам:

— Графиня сделала меня гораздо лучше и чище, нежели я был до встречи с ней. Во мне бушевали дикие страсти, я нередко впадал в страшный гнев, становился жестоким, забывая о всяком сострадании. Она отучила меня ото всего этого и пробудила во мне добрые инстинкты, подавив дурные. Нет возможности оценить величие и возвышенность ее души. Если мне суждено надеть на себя цепи Гименея, я смогу быть счастливым только с той женщиной, которая полюбит моего друга Софию фон Гацфельд с истинной нежностью.

Лассаль оценивал людей часто только по тому, как они относятся к нему. Хорошими были те, кто восхищался им. Беспристрастие было ему чуждо. Он враждовал с каждым, кто его критиковал и осуждал.

Тщеславный — тщеславен во всем. Успех ли это в деле, творчестве, у женщин или у случайных прохожих — ему все равно. Это низменное свойство обладает способностью смещать в человеческом сознании все масштабы. Честолюбец не различает степени успеха, он наслаждается и требует одобрения от достойных и недостойных, значительных и ничтожных. Лассаль любил собирать дань восхищения. Он не гнушался спекуляциями, если это обещало выгоду, и жил припеваючи, мысленно видя себя уже на вершине власти и бешено прокладывая к этому пути. Он хотел возглавить низшее сословие, и ему был выгоден шум вокруг его персоны.

Суды, которым он подвергался, превращались в желанную и важную рекламу. Обычно, будучи осужденным за выпад против власти к нескольким месяцам тюремного заключения, Лассаль начинал длительную тяжбу, переходя из судебной инстанции в инстанцию, и отделывался денежным штрафом. А слава революционера, мученика и героя прочно сопутствовала ему, и высшие чиновники королевства должны были считаться с растущим авторитетом противника, живущего в изысканной, чисто аристократической роскоши.

Игра становилась для Лассаля беспроигрышной. Когда за издание брошюры «Программа работников» он был привлечен к ответственности, то с обычным бесстыдством плагиатора, приписывая себе некоторые идеи «Коммунистического манифеста», заявил на суде:

— Я утверждаю далее, что эта брошюра является таким же научным произведением, как многие другие, произведением, излагающим уже известные результаты, но что она во многих отношениях является даже научным открытием, развитием новых научных мыслей. Я напечатал ряд обширных трудов в различных и трудных областях науки, не жалея сил и бессонных ночей, чтобы расширить пределы самой науки, и я, может быть, имею право сказать, подобно Горацию: «Я боролся не без славы!» Но я сам вам заявляю: никогда ни в одном из своих обширных трудов я не написал ни одной строки, которая была бы по своему замыслу более строго научной, чем это произведение от первой строки до последней. Бросьте взгляд на содержание этой брошюры. Это содержание состоит не в чем ином, как в философии истории, сжатой на пространстве сорока четырех страниц... Это есть развитие объективного, разумного хода мыслей, лежащего вот уже более тысячи лет в основе европейской истории, развитие внутренней души мира.

Лассаль решил возглавить движение по организации Германского рабочего союза. В мае 1863 года во Франкфурте-на-Майне он выступил на собрании членов и делегатов многочисленных рабочих союзов. Он использовал для своей речи громадный литературный и статистический материал и забросал слушателей бесчисленными цитатами. Речь его длилась более четырех часов и подавила слушателей. Из зала раздавались голоса, что пора кончать. Лассаль оборвал выступление на полуслове, и один из его сторонников объявил, что продолжение ее будет через два дня.

Не найдя общего языка с делегатами и испугавшись, что потерпит поражение, не будет никуда избран и останется за бортом рабочего движения, Лассаль изменил тактику и на общем собрании рабочих коснулся злободневных вопросов и резко обрушился на прогрессистскую партию.

Он подчеркнул, что не собирается основывать какой-либо особой классовой партии рабочих, но хочет развернуть знамя демократии, под которое одинаково призывает и буржуа и рабочих. Но рабочие в силу своего классового положения призваны быть главной опорой демократии.

Эти слова, сказанные Лассалем с большим жаром, привлекли на его сторону значительную часть тех слушателей, которые до этого не были его сторонниками. В течение нескольких недель во Франкфурте велась усиленная устная и письменная агитация в пользу Лассаля.

Через три дня после этого в Лпо, весьма маловероятный шаг, стоялось основание Общегерманскстину революционным и нациодцать городов были представлен из монархии привилегирован-Союз был организован на строго цеюлюционную монархию».
изошло это отчасти потому, что немеген Бисмарку, который в люсношений между политическими союзалев, сколь Бисмарк являлся лежало председателю, каким на пять лет стремлении возвыситься. Лассаль. Мечта его стала наконец явью. С лы не щадили председавя было не считаться даже таким всесильная игра во имя славы цам, как сам железный канцлер Отто Бисмарк.
предпринять поход на Берлин. Осада прусской стние политической чалась большим успехом. Союз имел в ней очень побудили Ласи то не из рабочих. Лассаль прочел лекцию, рассчй зависимости сенсацию, где всячески поносил правящие круги. В за того, чтобы дилось всего несколько десятков человек. Противники его позвоназываемой прогрессистской партии не явились; собранченных. теряли для них интерес новизны, а Лассаль не казался опасным.

Гораздо удачнее для председателя Рабочего союза сложились его другие дела. Он не только был представлен благодаря связям графини Гацфельд одним из генералов канцлеру Бисмарку, но сумел понравиться, стал часто бывать в его доме, где они часами дружелюбно беседовали. Все это Лассаль держал в глубокой тайне, понимая крайнюю двусмысленность своего поведения. Он старался убедить Бисмарка, что, несмотря на все различия их точек зрения, оба они одинаково заинтересованы в том, чтобы заменить трехклассную избирательную систему всеобщим избирательным правом. Лассаль рассчитывал при этом на свой дар убеждать людей, в который он бесконечно верил. Он писал Бисмарку:

«Ваша Светлость!

Циркулируют слухи о предстоящем вскоре роспуске палаты депутатов и предоставлении права всеобщих и прямых выборов.

Если эти слухи хоть сколько-нибудь обоснованы, то прошу вашу Светлость, срочно, во всяком случае до опубликования закона о выборах и даже до окончательного установления текста его, переговорить со мной. Весьма важные причины заставляют меня обратиться с этим к вам и прошу в утвердительном случае сообщить мне наиболее удобное для вас время для беседы».

Не получив ответа, Лассаль вновь продолжает добиваться встречи:

«Ваша Светлость!

Я бы не стал настаивать, но события таковы, что прошу из-

— Я утверждаю далее, Я уже писал вам несколько дней
же научным произведением, ый рецепт» весьма обширного дей-
излагающим уже известные еда будет, как я полагаю, наконец
отношениях является даж ными решениями, и так как их, как
вых научных мыслей. Я ньше нельзя откладывать, то я бы хо-
личных и трудных об вечера позволить себе переговорить с
ночей, чтобы расшири ость в это время заняты — прошу назна-
имею право сказать ое возможно ближайшее время».
вы!» Но я сам ва длил.
ширных трудов аль предстал перед судом по обвинению в из-
бы по своему ечь «Обращение к берлинским рабочим». Лассаль
ние от перв ам.
ние этой б обвиняют в том,— говорил он,— что я добиваюсь
в филос избирательного права и этим хочу ниспровергнуть
стран цию. Но я возвещаю вам с этого мирного места, что,
лей может, не пройдет и года, и господин фон Бисмарк сыг-
г роль Роберта Пиля, и всеобщее избирательное право бу-
дет даровано! Я знал это уже в тот первый день, когда начал эту агитацию... И кто ясным взором смотрел на положение вещей, тот не мог не видеть этого...

Прав был Гёте в «Фаусте», говоря, что, делая первый шаг, человек свободен, а при втором — он раб. Как бы объясняя себе самому свою тесную связь с лютым недругом рабочего класса, Лассаль в той же речи говорил далее:

— Это старый закон истории, что враждебные партии питают друг к другу своеобразное тяготение, словно какое-то химическое сродство заставляет их поддерживать друг друга в борьбе...

Лассаль хотел привлечь короля и консервативную партию, чтобы они оказывали ему содействие, как своему невольному союзнику. Но у него и в мыслях не было отказываться от роли представителя крайней левой. Несомненно, Лассаль знал, что своей тактикой он ведет очень опасную игру. Но он верил, что в его руках достаточно много козырей, чтобы можно было рискнуть. Он считал себя достаточно сильным, чтобы в любую минуту по своему желанию вернуться назад. Но он упустил из виду, что для политика существует закон последовательности, что лишь в первом шаге мы имеем полную свободу действия, а все последующие шаги уже предопределены первым.

В одном из писем Бисмарку Лассаль писал: «...рабочее сословие было бы склонно... видеть в короне естественного носителя социальной диктатуры, если бы корона со своей стороны когда-

либо могла решиться на, конечно, весьма маловероятный шаг, а именно, если бы она пошла воистину революционным и национальным путем и превратилась из монархии привилегированных сословий в социальную и революционную монархию».

Но не столько Лассаль был нужен Бисмарку, который в любой момент мог сменить милость на гнев, сколь Бисмарк являлся основной надеждой честолюбца в его стремлении возвыситься. Покуда же полиция, прокуратура и суды не щадили председателя Рабочего союза. Его крупная азартная игра во имя славы далеко не была еще выиграна.

Желание упрочить свое положение, сознание политической непорядочности, страх, что будет разоблачен, побудили Лассаля добиваться, чтобы Союз был в безусловной зависимости от своего председателя. Он резко восставал против того, чтобы какое-либо из отделений Союза решало вопросы без его позволения и указаний, переданных им лично через уполномоченных. Деспотически, единовластно вторгался он, несмотря на очень короткий срок пребывания на посту главы Рабочего союза, во все поступки его членов. Стоило кому-нибудь возразить ему, как Лассаль требовал его исключения и преследования. Так было с рабочим Юлиусом Фальтейхом, который осмелился выступить против одного его проекта. Особенно рассвирепел Лассаль, узнав, что Фальтейх требовал большей самостоятельности для отделений. Не ограничившись пространным посланием об исключении ослушника, Лассаль послал в Дрезден, где тот работал, доверенного человека, приказал собрать там членов Союза и заставить их изгнать Фальтейха из своей среды. Точно так же своей властью председателя Лассаль часто по прихоти смещал и назначал членов правления Союза. Желание восхвалений дошло у Лассаля до мании. Он обратился к Фрейлигграту с просьбой воспеть его в стихах, но поэт благоразумно отказался. Тогда он нашел другого стихотворца и щедро оплатил его творение:

Сюда, немецкий пролетариат,
Сюда! Призыв не оставляй бесплодным:
Ведь ты стоишь пред мужем благородным,
Который путь тебе расчистить рад.
Он не сидит в парламентском собрании,
Чуждается крикливых излияний;
Дитя народа Фердинанд Лассаль
Кует слова, могучие, как сталь.
«Довольно вы других обогащали,
За них обильно проливая пот,
Довольно роскошью их окружали,

А сами изнывали от забот!
Пусть впредь не издеваются над вами:
Плоды трудов должны вкушать вы сами!» —
Так говорит Вам Фердинанд Лассаль,
И клич его ко всем несется вдаль.

Со времени вступления в тайный союз с Бисмарком Лассаль резко изменился. Он боялся, что связь эта станет известной, и уже подумывал о том, чтобы отойти от рабочего движения. Прежде всегда рвущийся к деятельности, он начал искать путей, чтобы отступить в сторону от опасной политической игры. В это время Лассаль встретил на курорте Елену фон Деннигес и в первый же вечер знакомства влюбился в нее. Все в этой девушке с лицом, не отвечавшим требованиям классической красоты, но привлекательным и волнующим своей русалочьей прелестью, понравилось любимцу графини Гацфельд. Рыжевато-золотые длинные волосы и зеленые, узкие, дерзкие глаза Елены, прекрасные плечи и руки, живой южный темперамент и смелая речь резко отличали ее от барышень, искавших только развлечений. После неудачного сватовства к Ольге Солнцевой Лассаль не пытался более устроить свою семейную жизнь и довольствовался случайными, короткими связями.

Отец Елены фон Деннигес, друг Рутенберга, некогда в Берлине знавший Маркса, в эту пору был баварским уполномоченным при швейцарском правительстве и жил в Женеве. О легкой интрижке с его дочерью не могло быть и речи, и Лассаль, со своей обычной быстротой действий, решил жениться.

Елена была родственной ему натурой. Честолюбивая, неглубокая, порывистая, пылко любившая всякие приключения, она благодаря рассказам о победах Лассаля у женщин и в политике увлеклась им еще раньше, чем увидела. Среди скучнейших людей, которые бывали в доме ее отца, он казался личностью особо выдающейся.

У Елены был жених, богатый молодой аристократ фон Раковиц, но она сделала все возможное, чтобы обольстить Лассаля. Это было вовсе не трудно. Он добровольно влетел в ее сачок. Очень скоро Елена согласилась стать его женой. Во время помолвки с нею Лассаль писал графине Гацфельд:

«Вы очень ошибочно судите обо мне, полагая, что я не могу довольствоваться некоторое время наукой, дружбой и красивой природой. Вы думаете, что мне необходима политика.

Ах, как мало вы меня, в сущности, знаете! Я ничего не желаю так сильно, как окончательно развязаться с политикой, и

сыт ею по горло. Правда, я вновь воспылал бы к ней большей страстью, чем когда бы то ни было раньше, если бы наступили серьезные события или если бы я получил власть или имел в виду средство приобрести ее... Ибо без высшей власти ничего нельзя сделать. А для ребяческой игры я слишком стар и слишком велик. Оттого я в высшей степени неохотно принял на себя председательство. Я уступил лишь вашим настояниям. И это положение сильно гнетет меня теперь. О, если бы я мог отделаться от него!

Боюсь, что события будут развиваться медленно, очень медленно, а моя страстная душа не терпит этих детских болезней и хронических процессов. Политика для меня — это активная деятельность настоящей минуты. Все другое можно сделать, оставаясь в рамках науки! Я попытаюсь в Гамбурге произвести давление на ход событий. Но насколько это подействует, я ничего не могу сказать. И сам я не на многое надеюсь!

Ах, если б я мог бросить все!

Эти строки были мною уже написаны, когда я получил письмо от Елены, в высшей степени серьезное письмо! Положение вещей становится серьезным, очень серьезным. И снова падает тяжелым бременем на меня. И в то же время я не могу уже отступить назад. Но я и не понимаю, собственно, чего ради я должен отступить! Это прекрасная женщина и по своей индивидуальности единственная женщина, которая вполне ко мне подходит. И вы сами признали бы ее таковой. Итак, вперед, через Рубикон! Это путь к счастью! И для вас, добрая графиня, по крайней мере так же, как и для меня.

Положение вещей в высшей степени запутано. Меня вновь охватывает сильное любопытство, как доведу я все это до конца. Когда я вел ваш процесс, я часто испытывал это совершенно безличное, объективное любопытство — словно я читал роман,— как-то мне удастся спасти и себя и вас из этого положения!

Ну, прежние силы еще целы, цело и былое счастье! Я приведу все к блестящему успеху. Прибой волн подхватывает меня... Вынесет ли он меня наверх, как шиллеровского водолаза?»

Прибой, однако, не вынес его наверх.

— Елена, вы созданы быть женою цезаря,— говорил он девушке, которую решил назвать своей женой,— со мной вы подниметесь высоко. С вами вместе мы завоюем мир. Уже сейчас сотни газет разносят ежедневно мое имя по самым отдаленным уголкам Германии. Но любите ли вы меня, моя сирена?

— Люблю. Я ведь сама искала с вами встречи, наслушавшись о вашем необыкновенном мужестве. Так увлекательно быть женой цезаря.— Елена засмеялась игриво.— Однако мне предстоит совершить убийство. Сердце моего жениха Янко фон Раковица отдано мне навеки. С чудовищным эгоизмом должна я уничтожить его, а могла бы дать счастье этому благородному, скромному человеку. Как же мне быть?

— Моя будущая жена, я буду всегда твоей силой и волей,— сказал Лассаль, снова нылко целуя невесту.

Однако брак так и не состоялся. Родители Елены были в высшей степени предубеждены против Лассаля. Не только его политическая деятельность казалась им двусмысленной, но и личная репутация. Много лет Лассаля считали любовником графини Гацфельд, живущим у нее на содержании. Зная об этих слухах, фон Деннигес, когда дочь сказала о своей любви к Лассалю, решительно отказал в своем согласии на брак. Чтобы сломить сопротивление родных, Елена и Фердинанд разработали сложный план действий. Но прежде чем Лассаль переступил порог дома господина фон Деннигеса, чтобы еще раз попытаться уговорить его, Елена убежала из дома, поссорившись с матерью. Она заявила Фердинанду, что отдает себя и свою судьбу в его руки и предлагает, не дожидаясь согласия родителей, обвенчаться или бежать за французскую границу. Однако Лассаль категорически отказался действовать таким образом. Его испуг, колебания поразили девушку.

«Так вот каков на самом деле этот прославленный за бесстрашие и энергию герой,— думала она в отчаянии.— Боится общественного мнения пуще всего на свете».

— Вы даже не авантюрист, каким мне казались иногда,— сказала Елена, чувствуя, что любовь ее уходит так же внезапно, как зародилась. По настоянию Лассаля она должна была вернуться к матери.

— Я старше вас, дорогая, и уверен, что благодаря свойственному мне обаянию, встретившись с вашей матерью и отцом, смогу без труда победить все их предрассудки. Но для этого надо показать им все мое великодушие и честность. Я возвращаю невинным их сокровище. Всю свою жизнь я был чужд распутства, вопреки дурной молве обо мне.

Елена безразлично слушала того, кто еще недавно казался ей столь замечательным человеком. Она хотела поскорее увидеть своего прежнего жениха Раковица. По сравнению с Лассалем тот значительно выиграл в ее мнении. Восхищенный воз-

можностью показать себя фон Деннигесу с лучшей стороны, Лассаль не замечал, как изменилась к нему девушка. Они холодно расстались. На другой день Янко фон Раковиц приехал к своей невесте.

Лассаль лишился возможности встречаться с Еленой. Он скоро понял всю несуразность своих поступков и то, что потерял любовь своей невесты. Самолюбие его было уязвлено. Он считал делом чести вернуть себе Елену. Лассаль решился теперь на все, даже на то, чтобы перейти в католичество, если это нужно для брака. Он хотел привлечь к своему сватовству баварского короля Людовика II, лишь бы тот воздействовал на строптивого отца. В это дело вмешалась и графиня Гацфельд.

В Мюнхене, куда помчался Лассаль, баварский министр иностранных дел после нескольких бесед, во время которых речь шла и о политике, помог несчастливому жениху встретиться со своим подчиненным фон Деннигесом. Но препятствием к браку отныне была уже сама Елена. Она написала Лассалю, что раскаивается во всем, что между ними было, и решительно отклонила его домогания.

«Я счастлива, что господин Янко фон Раковиц вернул мне любовь и простил. Я отдала ему навсегда свою верность и сердце».

Лассаль разъярился. Он обзывал ее бранными словами, заявляя повсюду, что она порочна. Вскоре он послал оскорбительное письмо и вызов ее отцу. Старик фон Деннигес почел за лучшее уехать, а Янко фон Раковиц заменил его на дуэли.

Лассаль был смертельно ранен пулей в живот и через три дня после тяжких страданий скончался.

* * *

В слякотный февральский день 1863 года в Варшаве вспыхнуло восстание. Маркс и Энгельс с горячим сочувствием отнеслись к повстанцам. Они придавали исключительное значение этому событию и решили выступить от имени Лондонского просветительного общества немецких рабочих с воззванием. Подробно изложить свои взгляды они намеревались в брошюре «Германия и Польша». Маркс готовил политическую часть этого произведения, а Энгельс — военный разбор. Так как Фридрих знал лучше русский язык, то Карл просил его в связи с событиями в Польше следить за тем, что печатает орган русской революционной эмиграции в Лондоне — «Колокол».

Маркс писал в Манчестер:

«Теперь Герцену и К° представляется случай доказать свою революционную честность».

Еще в период подготовки восстания, осенью 1862 года, Герцен уже вел переговоры с представителями польских революционных организаций. Он требовал, чтобы поляки в своей программе оговорили право крестьян на землю и свободу каждого народа решать вопрос своего государственного устройства. «Колокол» напечатал обращение Центрального народного комитета в Варшаве к издателям газет и затем ответ на него.

«Да воздвигнется Польша,— писали Герцен и Огарев в этом заявлении,— независимая, искушенная в несчастьях, окрепшая в бою, да воздвигнется она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и аристократического щита, пусть явится славянским поюневшим атлетом, подающим одну руку — бедному холопу, а другую — равноправному соседу. Во имя их примите нашу дружескую руку... мы ее подаем вам, как русские, мы любим наш народ, мы веруем в него и его будущность и именно потому подаем ее вам на дело справедливости и свободы».

Герцен постоянно защищал Польшу. Он не раз обращался к русскому войску, призывая его не поднимать оружия против поляков в защиту царского правительства, которое является несчастьем не только Польши, но и России. Герцена не смутило, что в связи с этим вся орава русских либералов отхлынула от «Колокола». Он до конца мужественно отстаивал свободу поляков и бичевал карателей, палачей и вешателей.

«Мы с Польшей оттого, что мы за Россию,— говорил Герцен.— Одна цель сковывает нас, и мы можем рука об руку идти одной дорогой к свободной жизни».

Маркс и Энгельс в это же время напряженно собирали необходимые сведения для предполагаемой брошюры. В подготовительных набросках Карл подробно прослеживал захватническую политику не только царской России, но и Пруссии по отношению к Польше. Работая, Карл забирался в глубь предмета все дальше и дальше. Ради самого незначительного факта или возникшего у него сомнения он мог перерыть десятки книг и проводить в Британском музее без перерыва по десяти часов в день. Никогда ни один его противник не мог обличить его в опрометчивости или искажении.

Научная совесть Карла была чрезвычайно сурова. Он не позволял себе говорить о предмете, покуда досконально не изучил его, и не публиковал ничего до тех пор, пока не добивался

ясности, точности, наибольшего совершенства формы изложения. Он не выносил на люди незаконченных произведений и, покуда не сверял всего до последней запятой и точки, прятал рукопись от постороннего ока.

«Лучше сжечь свой труд, нежели издать его недоделанным»,— считал он. Добросовестный в мелочах, как и во всем значительном, Маркс обязательно тщательно вписывал в свои книги имена тех, чьими мыслями или цитатами воспользовался.

— Я воздаю каждому по его заслугам,— любил он повторять шутя.

Постоянно неудовлетворенный тем, что сделал, и потому заново отчеканивающий тексты, Карл летом 1863 года решает опять иначе изложить теоретическую часть своего экономического труда в более, как ему казалось, систематизированном виде и приступает к новому варианту. Так, в ходе работы, он постепенно создавал новую рукопись трех томов труда о капитале.

Маркс почти неотрывно проводит дни в тиши читального зала Британского музея либо в своей комнате, где работать, однако, ему труднее. То одна, то другая дочь отрывает его от занятий.

Маркс был кротким отцом и тщетно пытался иногда прибегнуть к отцовской власти.

— Тусси, милочка, сделай одолжение и дай мне дописать эту страницу,— упрашивал он дочь.

— Мавр, не ты ли говорил, что дети должны воспитывать своих родителей? — последовал ответ.— Посмотри, какой беспорядок на камине. Чего только там нет: какие-то свертки бумаг, книги, сигары, табак, пресс-папье и горы спичечных коробок. За всем этим совсем не видны наши фотографии. Ты, наверно, сам не можешь тут разобраться. Помочь тебе расставить все это в порядке?

— О нет. Вещи, что здесь, являются ко мне по первому слову, как по мановению волшебной палочки.

— Да ты колдун! — рассмеялась Тусси.

Старый мавр, старый мавр,
Мавр с пушистой бородой.
Мавр с пушистой бородой,—

запела она испанскую песенку, которой научил ее Энгельс, и, вдруг засвистев в два пальца, как заправский озорник, через окно выскочила в палисадник.

«Теперь Герцену и К° представляется случай доказать свою революционную честность».

Еще в период подготовки восстания, осенью 1862 года, Герцен уже вел переговоры с представителями польских революционных организаций. Он требовал, чтобы поляки в своей программе оговорили право крестьян на землю и свободу каждого народа решать вопрос своего государственного устройства. «Колокол» напечатал обращение Центрального народного комитета в Варшаве к издателям газет и затем ответ на него.

«Да воздвигнется Польша,— писали Герцен и Огарев в этом заявлении,— независимая, искушенная в несчастьях, окрепшая в бою, да воздвигнется она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и аристократического щита, пусть явится славянским поюневшим атлетом, подающим одну руку — бедному холопу, а другую — равноправному соседу. Во имя их примите нашу дружескую руку... мы ее подаем вам, как русские, мы любим наш народ, мы веруем в него и его будущность и именно потому подаем ее вам на дело справедливости и свободы».

Герцен постоянно защищал Польшу. Он не раз обращался к русскому войску, призывая его не поднимать оружия против поляков в защиту царского правительства, которое является несчастьем не только Польши, но и России. Герцена не смутило, что в связи с этим вся орава русских либералов отхлынула от «Колокола». Он до конца мужественно отстаивал свободу поляков и бичевал карателей, палачей и вешателей.

«Мы с Польшей оттого, что мы за Россию,— говорил Герцен.— Одна цель сковывает нас, и мы можем рука об руку идти одной дорогой к свободной жизни».

Маркс и Энгельс в это же время напряженно собирали необходимые сведения для предполагаемой брошюры. В подготовительных набросках Карл подробно прослеживал захватническую политику не только царской России, но и Пруссии по отношению к Польше. Работая, Карл забирался в глубь предмета все дальше и дальше. Ради самого незначительного факта или возникшего у него сомнения он мог перерыть десятки книг и проводить в Британском музее без перерыва по десяти часов в день. Никогда ни один его противник не мог обличить его в опрометчивости или искажении.

Научная совесть Карла была чрезвычайно сурова. Он не позволял себе говорить о предмете, покуда досконально не изучил его, и не публиковал ничего до тех пор, пока не добивался

ясности, точности, наибольшего совершенства формы изложения. Он не выносил на люди незаконченных произведений и, покуда не сверял всего до последней запятой и точки, прятал рукопись от постороннего ока.

«Лучше сжечь свой труд, нежели издать его недоделанным»,— считал он. Добросовестный в мелочах, как и во всем значительном, Маркс обязательно тщательно вписывал в свои книги имена тех, чьими мыслями или цитатами воспользовался.

— Я воздаю каждому по его заслугам,— любил он повторять шутя.

Постоянно неудовлетворенный тем, что сделал, и потому заново отчеканивающий тексты, Карл летом 1863 года решает опять иначе изложить теоретическую часть своего экономического труда в более, как ему казалось, систематизированном виде и приступает к новому варианту. Так, в ходе работы, он постепенно создавал новую рукопись трех томов труда о капитале.

Маркс почти неотрывно проводит дни в тиши читального зала Британского музея либо в своей комнате, где работать, однако, ему труднее. То одна, то другая дочь отрывает его от занятий.

Маркс был кротким отцом и тщетно пытался иногда прибегнуть к отцовской власти.

— Тусси, милочка, сделай одолжение и дай мне дописать эту страницу,— упрашивал он дочь.

— Мавр, не ты ли говорил, что дети должны воспитывать своих родителей? — последовал ответ.— Посмотри, какой беспорядок на камине. Чего только там нет: какие-то свертки бумаг, книги, сигары, табак, пресс-папье и горы спичечных коробок. За всем этим совсем не видны наши фотографии. Ты, наверно, сам не можешь тут разобраться. Помочь тебе расставить все это в порядке?

— О нет. Вещи, что здесь, являются ко мне по первому слову, как по мановению волшебной палочки.

— Да ты колдун! — рассмеялась Тусси.

Старый мавр, старый мавр,
Мавр с пушистой бородой.
Мавр с пушистой бородой,—

запела она испанскую песенку, которой научил ее Энгельс, и, вдруг засвистев в два пальца, как заправский озорник, через окно выскочила в палисадник.

— Вот уж действительно тебе следовало, как всегда говорит об этом наша мама, родиться не девчонкой, а мальчишкой, мой Бэби,— крикнул Маркс вдогонку дочери.

Война Северных и Южных штатов Америки, проходившая с переменным успехом, неудача польского восстания чрезвычайно волновали Маркса. По поручению Просветительного общества немецких рабочих он написал воззвание с призывом собрать средства в пользу участников польского восстания. Маркс подчеркивал в этом документе, что без независимости Польши не может быть независимой и единой Германии. Воззвание, подписанное также Вильгельмом Вольфом, Лесснером, Эккариусом и другими, было издано отдельной листовкой и разослано в разные страны мира.

В 1863 году умерла престарелая Генриетта Маркс, и Карл поехал в Трир на похороны матери. Стояли холодные декабрьские дни. Город утонул в снегу. Маркс был болен карбункулезом и с трудом двигался из-за не зажившей еще раны. Тем не менее он, вопреки уговорам родных, ежедневно выходил из дома и писал об этом в письмах к Женни:

«Каждый день хожу на поклонение святым местам — старому домику Вестфаленов (на Римской улице): этот домик влечет меня больше, чем все римские древности, потому что он напоминает мне счастливое время юности, он таил когда-то мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон, изо дня в день, меня спрашивают, куда девалась первая красавица Трира и царица балов. Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить, как зачарованная принцесса».

На обратном пути из Трира в Лондон Карл заехал в Зальтбоммель к дяде и вынужден был задержаться там на два месяца ввиду резкого обострения болезни. Только в конце февраля очутился он наконец снова дома.

Получив небольшое наследство, Маркс решил переменить квартиру, где столько раз находился под угрозой долговой тюрьмы и пережил много горя.

Дом № 4 Модена-виллас, Мэйтленд-парк, Хаверсток-хилл, был большой, вместительный, удобный и примыкал к тенистому парку. Рабочая комната Карла помещалась во втором этаже. В широкое окно врывался чистый воздух, напоенный ароматом деревьев и трав. Вдоль стен стояли шкафы, полные книг. До

самого потолка лежали на них свертки газет, рукописей и стопки тетрадей в черных клеенчатых переплетах. На камине Карл поставил в рамках под стеклом портреты дорогих ему людей: жены, дочерей, Энгельса и Вольфа. Посреди комнаты стояли простой, небольшой стол и деревянное кресло. Напротив окна был кожаный диван. С тех пор как Карл вот уже более года не переставал болеть, он вынужден был в течение дня ложиться, чтобы дать отдых истомленному телу и глазам.

В комнате повсюду лежали табак, трубки, сигары и десятки спичечных коробок.

— Мои книги не вернули мне даже тех денег, которые я прокурил, работая над ними,— посмеивался Маркс.

Ни одна вещь в его комнате не стояла без определенного назначения. Книги в шкафах он расставил отнюдь не в соответствии с их форматом или переплетом. Брошюра прижималась к тяжелому объемистому фолианту, если это определялось ее содержанием, маленькая книжка подпирала большую.

— Они мои рабы и служат мне так, как я этого хочу.

Память Карла постоянно приходила ему на помощь, когда он искал ту или иную выписку в своих тетрадях или нужную страницу в книге. Он не напрасно изощрял ее всячески с самых юных лет, выучивая, как это делал Гегель, наизусть стихи на незнакомом ему языке. Читая книгу, Карл, чтобы вернуться к чему-либо снова, загибал углы страниц, покрывал поля карандашными пометками и подчеркивал строчки. Его вопросительные и восклицательные знаки бывали красноречивее всяких слов.

В большом светлом кабинете мужа Женни покрыла пол недорогим зеленым ковром, и вскоре на нем от дверей до окна пролегла полоса, узкая, как лесная тропка. Это Карл, который, подобно Аристотелю, часто, прежде чем присесть к рабочему столу, в ходьбе обретал искомые мысли, вытоптал ее, двигаясь по комнате. И, как на Графтон-террас, из соседней гостиной, где стоял теперь хороший рояль, часто в рабочую комнату Карла доносился нежный голос поющей Лауры. Отец широко открывал дверь и слушал. Особенно большое удовольствие доставляли ему песни на слова поэта Бернса, которого он очень любил.

Мельник, пыльный мельник
Мелет нашу рожь.
Он истратил шиллинг,
Заработал грош.

— Вот уж действительно тебе следовало, как всегда говорит об этом наша мама, родиться не девчонкой, а мальчишкой, мой Бэби,— крикнул Маркс вдогонку дочери.

Война Северных и Южных штатов Америки, проходившая с переменным успехом, неудача польского восстания чрезвычайно волновали Маркса. По поручению Просветительного общества немецких рабочих он написал воззвание с призывом собрать средства в пользу участников польского восстания. Маркс подчеркивал в этом документе, что без независимости Польши не может быть независимой и единой Германии. Воззвание, подписанное также Вильгельмом Вольфом, Лесснером, Эккариусом и другими, было издано отдельной листовкой и разослано в разные страны мира.

В 1863 году умерла престарелая Генриетта Маркс, и Карл поехал в Трир на похороны матери. Стояли холодные декабрьские дни. Город утонул в снегу. Маркс был болен карбункулезом и с трудом двигался из-за не заживший еще раны. Тем не менее он, вопреки уговорам родных, ежедневно выходил из дома и писал об этом в письмах к Женни:

«Каждый день хожу на поклонение святым местам — старому домику Вестфаленов (на Римской улице): этот домик влечет меня больше, чем все римские древности, потому что он напоминает мне счастливое время юности, он таил когда-то мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон, изо дня в день, меня спрашивают, куда девалась первая красавица Трира и царица балов. Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить, как зачарованная принцесса».

На обратном пути из Трира в Лондон Карл заехал в Зальтбоммель к дяде и вынужден был задержаться там на два месяца ввиду резкого обострения болезни. Только в конце февраля очутился он наконец снова дома.

Получив небольшое наследство, Маркс решил переменить квартиру, где столько раз находился под угрозой долговой тюрьмы и пережил много горя.

Дом № 4 Модена-виллас, Мэйтленд-парк, Хаверсток-хилл, был большой, вместительный, удобный и примыкал к тенистому парку. Рабочая комната Карла помещалась во втором этаже. В широкое окно врывался чистый воздух, напоенный ароматом деревьев и трав. Вдоль стен стояли шкафы, полные книг. До

самого потолка лежали на них свертки газет, рукописей и стопки тетрадей в черных клеенчатых переплетах. На камине Карл поставил в рамках под стеклом портреты дорогих ему людей: жены, дочерей, Энгельса и Вольфа. Посреди комнаты стояли простой, небольшой стол и деревянное кресло. Напротив окна был кожаный диван. С тех пор как Карл вот уже более года не переставал болеть, он вынужден был в течение дня ложиться, чтобы дать отдых истомленному телу и глазам.

В комнате повсюду лежали табак, трубки, сигары и десятки спичечных коробок.

— Мои книги не вернули мне даже тех денег, которые я прокурил, работая над ними,— посмеивался Маркс.

Ни одна вещь в его комнате не стояла без определенного назначения. Книги в шкафах он расставил отнюдь не в соответствии с их форматом или переплетом. Брошюра прижималась к тяжелому объемистому фолианту, если это определялось ее содержанием, маленькая книжка подпирала большую.

— Они мои рабы и служат мне так, как я этого хочу.

Память Карла постоянно приходила ему на помощь, когда он искал ту или иную выписку в своих тетрадях или нужную страницу в книге. Он не напрасно изощрял ее всячески с самых юных лет, выучивая, как это делал Гегель, наизусть стихи на незнакомом ему языке. Читая книгу, Карл, чтобы вернуться к чему-либо снова, загибал углы страниц, покрывал поля карандашными пометками и подчеркивал строчки. Его вопросительные и восклицательные знаки бывали красноречивее всяких слов.

В большом светлом кабинете мужа Женни покрыла пол недорогим зеленым ковром, и вскоре на нем от дверей до окна пролегла полоса, узкая, как лесная тропка. Это Карл, который, подобно Аристотелю, часто, прежде чем присесть к рабочему столу, в ходьбе обретал искомые мысли, вытоптал ее, двигаясь по комнате. И, как на Графтон-террас, из соседней гостиной, где стоял теперь хороший рояль, часто в рабочую комнату Карла доносился нежный голос поющей Лауры. Отец широко открывал дверь и слушал. Особенно большое удовольствие доставляли ему песни на слова поэта Бернса, которого он очень любил.

Мельник, пыльный мельник
Мелет нашу рожь.
Он истратил шиллинг,
Заработал грош.

Пыльный, пыльный он насквозь,
Пыльный он и белый,
Целоваться с ним пришлось —
Вся я поседела!

Мельник, пыльный мельник,
Белый от муки,
Носит белый мельник
Пыльные мешки.

Достает из кошелька
Мельник деньги белые,
Я для мельника-дружка
Все, что хочешь, сделаю.

Женни-младшей исполнилось уже двадцать лет; более хрупкая, чем Лаура, она была очень хороша собой. Обе старшие дочери Маркса вступали в жизнь цельными, широко образованными, самоотверженными людьми. Как и их отец и мать, они были чужды эгоизма и всякой фальши, в чем бы она ни проявлялась. Смысл жизни обе девушки видели в духовном совершенстве, в борьбе за счастье наибольшего числа людей. Вырастая в атмосфере большой любви родителей друг к другу, с детства вплетая в речь мысли и строки Шекспира, Данте, Шелли, Гейне, зачитываясь Бальзаком и Диккенсом, юные девушки мечтали о том времени, когда и в их жизнь войдет таинственное и вечное чувство. Любовь представлялась им, как всем чистым и высоко парящим душам, потрясением, подобным удару молнии, превращающей зыбкий песок в прозрачное стекло.

Карл и Женни внимательно и бережно наблюдали за своими прелестными, ставшими взрослыми дочерьми. А Ленхен, чей меткий и лаконический язык не раз удивлял всех, кто ее знал, как-то заметила:

— Люди говорят: с малыми детками горе, с подросшими вдвое. А про наших девочек я скажу: чем они старше, тем радости нам больше.

Возле дома Женнихен устроила прекрасную оранжерею. Таким же страстным цветоводом, как и она, был Фридрих Энгельс. Нередко Женнихен посылала ему семена особо редких растений и давала советы, как следует их выращивать. Каждое утро спешила она в свой застекленный чудесный сад, волнуясь и радуясь. И всегда находила что-либо новое. То наконец расцвели долгожданные розовые азалии, то желтые вьющиеся розы, то лиловый гелиотроп. Женнихен склонялась над чашечкой цветка, и ей казалось, что она слышит его дыхание.

Она всегда была очень мечтательна и вдохновенно сочиняла сказки.

Однажды Женни-старшая, побывав в оранжерее, вернулась оттуда и сказала мужу с нескрываемым восхищением:

— Девочка создала висячие сады Семирамиды. Это, право, поразительно, Чарли. Туманы и слякоть бессильны перед чарами Женнихен. У нее все в цвету.

Художественное чутье помогло Женнихен на удивительных отвесных клумбах рассадить растения так, что они образовали сложную гамму оттенков от палевого до алого.

— Итак, теперь в нашем доме две Флоры. У тебя появилась сильная, серьезная конкурентка. До сих пор ты одна была богиней цветоводства,— пошутил Карл.

* * *

1864 год был омрачен для Маркса и Энгельса смертью их любимого друга Вильгельма Вольфа. Люпус умер, не достигнув и пятидесяти пяти лет, от кровоизлияния в мозг. Более месяца до этого страдал он бессонницей и тяжелейшими головными болями. Врачи не знали, чем ему помочь, и путались в определении болезни. Именно тогда, когда решено было, что Вольф болен почками, он потерял сознание и обнаружилась их ошибка. Энгельс не отходил от ложа больного и сообщил об опасном положении Карлу, который тотчас же приехал в Манчестер. Кончина Люпуса повергла обоих его друзей в глубокую печаль. Карл произнес на могиле Вольфа речь, вылившуюся из любящего сердца. Вместе с Фридрихом он задумал написать биографию покойного и решил посвятить его памяти самое значительное из своих произведений. Когда удрученный Карл вернулся в Лондон, он узнал, что Вольф завещал ему все свое небольшое, скопленное тяжелым трудом состояние.

Маркс смог без помех отдаться работе. Книга «Капитал», над которой он работал вот уже двадцать лет, поглотила всю его душу и время. Он считал, что завершение этого главного труда всей его жизни более важно именно для рабочих, нежели что-либо другое им совершенное. Все написанное прежде казалось ему всего только мелочью. Однако до окончания всей работы было еще далеко. Безжалостная придирчивость и нечеловеческая добросовестность непрерывно толкали его к новым исследованиям, аналитическим проверкам, размышлениям. Увещевания Фридриха работать, не возводя столько барьеров и пре-

пятствий на своем творческом пути, не возымели никакого действия. Маркс был верен себе. Рукопись росла неимоверно и была далека от намеченной цели. То одна, то другая ее часть подвергались коренной переделке. Работоспособность Карла достигала баснословных размеров. Чтобы написать одно какое-либо теоретическое положение, он перечитывал десятки, а то и сотни книг, отчетов и углублялся в длиннейшие статистические справочники и таблицы. Цифры были для него нередко полны особого магического смысла, и за их простой изгородью он открывал картины целой эпохи в жизни людей или народа во всей неприглядности и значительности. Маркс творил. Эти периоды всегда были для его души как оазисы в пустыне.

Многолетняя убийственная каждодневная война с нищетой временно кончилась. Но ничто уже не могло вернуть ему потерянного, некогда могучего, здоровья. Сопротивляемость организма была утрачена. Помимо хронической мучительной болезни печени, он часто простуживался и вынужден был лежать в постели. Даже в жаркие летние дни 1864 года его снова как-то свалила изнурительная инфлюэнца. Но и во время болезни, вопреки указаниям врача и просьбам родных, он не переставал читать. Что только не привлекало его пытливый умственный взор! Несмотря на головную боль, озноб, потерю обоняния и вкуса, он зачитывался книгами по физиологии, учением о тканях и клетках, а также анатомией мозговой и нервной системы. Он решил тогда же серьезно заняться этими предметами, начать посещать лекции и анатомический театр. Энгельс в этих вопросах значительно опередил его и к этому времени уже глубоко и разносторонне изучил естествознание.

Когда Карл выздоровел, то часто в перерыве между работой, под вечер, уходил один гулять. Неподалеку от его дома начинались поля. Как-то ранней осенью выдались теплые тихие сумерки. Карл отправился в сторону столь любимого им Хэмпстед-Хис. Навстречу, подпрыгивая на одной ноге и распевая, появился мальчуган в рваных штанах и ботинках.

— Послушайте, сэр, я уверен, что в кармане у вас есть перочинный ножик. Не хотите ли поменяться вслепую? Мой, будьте уверены, гораздо новее и лучше вашего. Ну что, рискуете или нет? Я готов просчитаться.

Карл нисколько не удивился такому предложению. Он знал детскую игру в менялки. С той же быстротой, как это сделал маленький незнакомец, он достал ножик и с опаской прикрыл его ладонью.

— Раз, два, три, мена состоялась,— важно и вместе хитро заявил мальчишка.

Оба игрока передали друг другу свои ножи. Карл тотчас же обнаружил, как, впрочем, и предполагал, что обманут: в руках у него лежало совершенно ржавое подобие перочинного ножа. Мальчик убежал так стремительно, что Карлу осталось одному весело посмеяться над этим забавным происшествием.

Вернувшись домой, он застал у себя гостей. Французы — чеканщик Толен, машинист Сток, учитель Ле Любе — и несколько незнакомых англичан-рабочих поджидали его в столовой, где Женни и Ленхен хлопотали, радушно угощая их чаем.

— Привет и братство, отец Маркс,— сказали они чинно.

— Очень, очень рад вам, друзья. Что привело вас ко мне?

Толен заговорил первым:

— Мы приехали по приглашению английских тружеников на переговоры с дружески протянутой рукой, чтобы наконец объединиться.

— В добрый час. Давно пора,— ответил Маркс.

— Я Оджер,— сказал один из англичан,— сапожник, председатель местного союза лондонских профсоюзов, и пришел, чтобы пригласить тебя, Маркс, выступить на митинге от имени немецких рабочих. Мы сняли под собрание большой Сент-Мартинс-холл. Помимо войны в Северной Америке и дел в Италии рабочие — англичане, французы, итальянцы и немцы — имеют много болячек, к которым давно следует совместными усилиями приложить лечебный пластырь. Дальше нам жить так на свете нельзя. Мы знаем тебя, Маркс, и ждем твоего слова.

Карл дал согласие прийти на митинг, однако решил, что с речью в этот раз выступит не он, а портной, коммунист Экариус.

Двадцать восьмого сентября 1864 года в Сент-Мартинс-холле собрались тысячи рабочих. Огромный светлый зал не смог вместить всех желающих. Духота была удручающая, и у Карла кружилась голова. Он думал, глядя на волнующуюся, охваченную одним вдохновенным добрым порывом толпу, о прошедших долгих годах затишья в борьбе.

«Разные мещанишки, меряющие мировую историю своим локтем и масштабом последних газетных сообщений, могут воображать, что для огромных исторических процессов десятилетие больше, нежели один миг. Они не в силах представить себе и того, что может снова наступить день, в котором сконцентрируется все прошедшее десятилетие».

Подперев голову кулаками, Маркс внимательно слушал Эккариуса. Лицо его просветлело. Портной чуть глуховатым низким голосом толково, увлеченно говорил о том, как после мирового экономического кризиса обострились отношения между капиталистами и людьми труда. Рабочие защищались стачками. Фабриканты ответили на это ввозом иностранной рабочей силы.

— У нас, пролетариев, одни судьбы и страдания, кто бы мы ни были, к какой расе бы ни принадлежали,— продолжал Эккариус.

Он подошел к краю рампы. Свет круглых керосиновых ламп осветил худую сутулую фигуру оратора в поношенном костюме, простершего вперед большие, темные, исколотые руки.

— Во всех европейских странах рабочие стремятся к солидарности в борьбе за свои права.

— И в Америке тоже,— крикнул кто-то из зала.

— В этом наше спасение и сила,— продолжал Эккариус.

— Да здравствует интернациональное соединение! — ответили десятки голосов.— Продолжай, старина, ты говоришь дело.

— Английские рабочие прошли суровую, трудную школу чартизма. Они знают, где зарыта собака. Это они помешали старому ненасытному хищнику Пальмерстону ввязаться в войну на стороне рабовладельцев Юга и напасть с ними на северян, которые не хотят торговать людьми, как скотом, и дают неграм свободу. Борьба за освобождение, где бы она ни велась, вызывает горячий отклик и сочувствие в наших пролетарских сердцах. Слава отважным братьям — польским повстанцам, восемнадцать месяцев боровшимся за свободу. Мир меняет наконец свою шкуру. Французские рабочие вновь начали политическую борьбу. В Германии организовались профессиональные союзы. Участились забастовки. И наш великий, огневой призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» снова звучит над землей.

Полукруглый зал Сент-Мартинс-холла напоминал большой храм. Люди многих национальностей собрались в нем на торжество международного братства. Они ликовали, радовались, пели. Молодой француз Толен, сидевший подле Маркса, сказал ему, восторженно улыбаясь:

— Не правда ли, отец Маркс, сегодня рухнула башня вавилонская? Согласно библейской сказке, люди, построив ее, заговорили на разных языках, сегодня же они снова обрели и поняли друг друга.

— Скажи проще,— вмешался Жан Сток, слышавший эти

слова своего земляка,— рабочие объединяются, чтобы расправить спины и не дать буржуазии выжать из них все жизненные соки.

На митинге в Сент-Мартинс-холле было решено создать Международное товарищество рабочих. В организационный комитет вошли от немецких тружеников Карл Маркс и Экариус.

Спустя некоторое время на дому у Карла собралась подкомиссия, чтобы составить Учредительный манифест и временный Устав Международного товарищества. После долгих обсуждений Марксу было поручено написать их одному. В письме в американскую действующую армию подполковнику Иосифу Вейдемейеру Маркс писал:

«Только что созданный Международный рабочий комитет... не лишен значения. Его *английские* члены являются... настоящими рабочими королями Лондона; это те самые люди, которые устроили грандиозную встречу Гарибальди и, организовав огромный митинг в Сент-Джемс Холл... помешали Пальмерстону *объявить войну Соединенным Штатам*, которую он готов уже был начать. Французские члены комитета — незначительные фигуры, но они являются непосредственными представителями руководящих «рабочих» Парижа.

Существует связь также и с итальянскими обществами... Хотя я систематически в течение ряда лет уклонялся от какого-либо участия во всяческих «организациях», тем не менее *на этот раз* я принял предложение, так как в данном случае дело идет о такой организации, в которой можно провести большую работу».

Революционер, каким всегда и прежде всего был Маркс, отдал все силы нелегкому делу укрепления Международного товарищества рабочих. Надо было объединить рабочее движение разных стран, весьма разнородных по уровню развития, преодолевая при этом много неожиданных препятствий.

Всего шесть дней писал Маркс временный Устав и большой Учредительный манифест интернационального товарищества рабочих. Заканчивая его, он заклеймил преступный замысел и безумие господствующих классов, готовивших крестовый поход за океан и равнодушно взиравших на умерщвление польского восстания. Все это также указывало, гласил Манифест, «рабочему классу на его обязанность — самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости

противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность — объединиться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководиться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами.

Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей борьбы за освобождение рабочего класса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Так зародился I Интернационал, и Маркс стал его душой.

Человеческий мозг — чудо, которому нет равного в мире. Неисчерпаемый, бездонный, он несет в себе исполинскую силу, создающую все на Земле: искусство, науки и ремесла, добро и зло, любовь и жестокость. Он обегает вселенную и пронизывает недра земли. Необъятная, как Галактика, память хранит в себе всю историю человечества.

Мозг — фабрика всех фабрик и книга всех книг. Нет в мире ничего, что не было бы произведено его гением. Человеческий мозг — родина богов, и он же величайший богоборец.

Труд создал мыслящего человека, и ему обязан мозг своим развитием и могуществом, смелостью, с которой он открывает тайны природы.

Тысячелетиями билось человечество над разгадкой того, что же управляет миром, каковы непреложные законы развития общества и есть ли они вообще?

Одним мир казался демоническим хаосом, другим — стройным, неизменным творением божества. И только гениальный мозг Маркса сорвал покров с тайны рождения и развития общества.

Законы, открытые им, неопровержимы. Каждый новый день существования Земли и вся ее история подтверждают это. Человечество идет по дорогам общественных отношений, открытым титаническим гением Маркса.

1960

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Среди многих тем, которые дарит нам щедро современность, есть одна неисчерпаемая, почти непочатая, относящаяся по времени к прошлому, но сохраняющая животрепещущее значение и поныне. Это художественные произведения, посвященные жизни Маркса и Энгельса.

Более столетия на Земле не прекращается борьба за утверждение созданного ими мировоззрения. Идеи их завоевали уже полмира. И нет сомнения, что скоро все человечество приобщится к их учению.

Маркс и Энгельс — воплощение идеала каждого человека. Обычные мерила им не под стать. Это доподлинно люди будущего, они показали миру непревзойденные образцы истинной дружбы, любви, отважной революционной борьбы, поведения в повседневности, отношения к труду, мышления и неизменного единства цели. Уже в семнадцать лет Маркс считал, что самым счастливым является тот человек, кто сделает счастливыми наибольшее число людей на Земле. Эти его слова глубоко запали в мою душу.

Однако к попытке воссоздать образы Маркса, Энгельса и людей им близких я пришла не сразу. Больше того, в юности даже труды этих людей внушали мне только почтительную робость. В начале двадцатых годов шестнадцатилетней девочкой, студенткой рабфака, я попыталась читать «Капитал» и, тщетно стремясь понять его, уснула над первыми страницами. Могла ли я думать тогда, что дерзну впоследствии писать роман о Марксе и Энгельсе?

Но в те же годы я познакомилась с Николаем Александровичем Морозовым. Этот большой ученый, отважный народоволец, друг Кибальчича и Перовской, провел почти два десятилетия в одиночке Шлиссельбурга. В свои шестьдесят с лишним лет он отличался редкой моложавостью,

разносторонностью знаний, жизнелюбием. Морозов говорил, что «природа не засчитывает времени, проведенного в заключении», и на вопрос, сколько ему лет, обязательно вычитал годы, потерянные в тюрьме. Вспоминая прошлое, он с увлечением рассказывал о своих встречах и беседах с Карлом Марксом в Лондоне.

Человек, видевший Маркса! Мысль об этом будоражила мое воображение. Я забрасывала Морозова вопросами и как бы сама приблизилась к тому, что жило задолго до моего рождения, жадно собирала крупицы истории.

Маркс отныне перестал быть для меня только чтимым бюстом, который, с таким трудом спасая от опасности, мы, юные политработники 13-й армии, в 1920 году возили вместе со скарбом своего походного клуба по дорогам гражданской войны, от Курска до Перекопа.

В 1931 году в Манчестере, где я находилась в качестве спецкорреспондента газеты «Известия», в окраинной таверне мне встретился рабочий, знавший Энгельса и дочь Маркса Элеонору. Снова вобрала я все то, что сохранила память этого человека. Тогда-то утвердилась во мне отчаянная мысль написать роман о Марксе и Энгельсе. Я совершенно не представляла себе всей трудности задуманного.

Кто из нас не рыщет по биографиям гениев, желая не только узнать их поближе, но найти в их судьбах и поступках ответ, помощь, а то и след, по которому хотелось бы пойти? Вскоре, однако, обуяли меня тяжкие сомнения. Едва я начинала знакомиться с произведениями Маркса и Энгельса, как невольно ощущала естественный страх, что не смогу подняться до уровня тех знаний в области философии, экономики, истории, политики, эстетики, которые необходимы каждому, кто хочет писать об этих исполинах. К тому же я поняла и то, что собираюсь «поднять целину» в литературе, так как о Марксе и Энгельсе в те годы не было ни одного беллетристического произведения. Мучимая сомнениями в своих силах, я пошла к А. М. Горькому.

Помню, как в маленьком кабинетике московской квартиры Алексея Максимовича я с трудом осмелилась сознаться ему в том, что собираюсь писать роман о жизни Маркса.

Он поглядел на меня с удивлением, недоверчиво покачал седеющей, остриженной «под бобрик» головой, о чем-то задумался, а потом лукаво улыбнулся. Улыбка у него была прекрасная, делавшая лицо особенно привлекательным.

— Очень хорошо, если получится. Однако трудненько такую глыбищу поднять. А важно и нужно. Помните одно: следует так писать о Марксе и Ленине, чтобы за мрамором памятников во всем величии вставали живые люди,— сказал мне Горький.

В том же 1932 году я снова поехала в Лондон и начала искать все,

что рассказало бы мне о Карле Марксе. Я побывала во всех еще сохранившихся домах, где он жил в годы изгнания. Много раз посещала читальню Британского музея. Там часто с девяти часов утра до семи вечера работал Маркс над «Капиталом» и другими произведениями. Постоянные посетители имели строго определенные места. Маркс сидел за пятым столом направо от входа, примыкавшим непосредственно к стендам со справочниками. Стол этот был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Писатель, пишущий об ушедшем времени, всегда также разведчик истории. Я собирала подчас едва видимые камешки, чтобы, составив их, воссоздать прошлое. Только прикоснувшись к вещам, уже отслужившим, и вдохнув воздух, которым некогда дышали герои книги, можно попытаться донести до читателя дух минувших лет. Не раз наклонялась я над пюпитром, за которым в Британском музее работал Маркс под мерцающей лампой с зеленым абажуром.

Много часов провела я в раздумье на кладбище Хайгейт, у могилы, где Маркс похоронил жену и спустя пятнадцать месяцев был похоронен он сам.

Мне представилась возможность побывать не только в Англии. Работая над первой книгой, которую ограничила двадцатью шестью годами жизни гения и решила назвать «Юностью Маркса», я посетила Германию, Голландию, Бельгию, Францию, Италию и Швейцарию.

Живописный, затерянный в невысоких горах городок Трир, быт которого не менялся десятилетиями, раскрыл передо мною дни детства и юности Маркса. На узенькой Брюккенгассе отыскала я серый двухэтажный дом, где родился Маркс.

В 1932 году в связи с пятидесятилетием со дня смерти Маркса этот дом был отремонтирован, найдена и реставрирована мебель. Все должно было воскресить обстановку и быт того времени, когда здесь проживала семья юстиции советника. Несколько месяцев спустя после моего отъезда из Трира фашисты разрушили этот дом-музей.

Гимназия, где учился юный Карл, готическое здание цвета недозрелых помидоров, очень мало изменилась за истекшее столетие.

Все так же лениво катит свои серые воды, огибая Трир, неширокий Мозель и так же весной цветут на берегу маки и вереск, как тогда, когда здесь купался и шалил маленький Карл.

Неизменная природа — отзывчивый помощник писателя исторического романа. Она щедро обогащает его творческую лабораторию. В Бармене, где провел свои юношеские годы сын богатого купца Фридрих Энгельс, я увидела такую же осень, какой была та, когда он появился на свет в 1820 году.

Идут века, сменяются поколения, а все те же черные, желтые и белые туманы окутывают Англию.

разносторонностью знаний, жизнелюбием. Морозов говорил, что «природа не засчитывает времени, проведенного в заключении», и на вопрос, сколько ему лет, обязательно вычитал годы, потерянные в тюрьме. Вспоминая прошлое, он с увлечением рассказывал о своих встречах и беседах с Карлом Марксом в Лондоне.

Человек, видевший Маркса! Мысль об этом будоражила мое воображение. Я забрасывала Морозова вопросами и как бы сама приблизилась к тому, что жило задолго до моего рождения, жадно собирала крупицы истории.

Маркс отныне перестал быть для меня только чтимым бюстом, который, с таким трудом спасая от опасности, мы, юные политработники 13-й армии, в 1920 году возили вместе со скарбом своего походного клуба по дорогам гражданской войны, от Курска до Перекопа.

В 1931 году в Манчестере, где я находилась в качестве спецкорреспондента газеты «Известия», в окраинной таверне мне встретился рабочий, знавший Энгельса и дочь Маркса Элеонору. Снова вобрала я все то, что сохранила память этого человека. Тогда-то утвердилась во мне отчаянная мысль написать роман о Марксе и Энгельсе. Я совершенно не представляла себе всей трудности задуманного.

Кто из нас не рыщет по биографиям гениев, желая не только узнать их поближе, но найти в их судьбах и поступках ответ, помощь, а то и след, по которому хотелось бы пойти? Вскоре, однако, обуяли меня тяжкие сомнения. Едва я начинала знакомиться с произведениями Маркса и Энгельса, как невольно ощущала естественный страх, что не смогу подняться до уровня тех знаний в области философии, экономики, истории, политики, эстетики, которые необходимы каждому, кто хочет писать об этих исполинах. К тому же я поняла и то, что собираюсь «поднять целину» в литературе, так как о Марксе и Энгельсе в те годы не было ни одного беллетристического произведения. Мучимая сомнениями в своих силах, я пошла к А. М. Горькому.

Помню, как в маленьком кабинетике московской квартиры Алексея Максимовича я с трудом осмелилась сознаться ему в том, что собираюсь писать роман о жизни Маркса.

Он поглядел на меня с удивлением, недоверчиво покачал седеющей, остриженной «под бобрик» головой, о чем-то задумался, а потом лукаво улыбнулся. Улыбка у него была прекрасная, делавшая лицо особенно привлекательным.

— Очень хорошо, если получится. Однако трудненько такую глыбищу поднять. А важно и нужно. Помните одно: следует так писать о Марксе и Ленине, чтобы за мрамором памятников во всем величии вставали живые люди,— сказал мне Горький.

В том же 1932 году я снова поехала в Лондон и начала искать все,

что рассказало бы мне о Карле Марксе. Я побывала во всех еще сохранившихся домах, где он жил в годы изгнания. Много раз посещала читальню Британского музея. Там часто с девяти часов утра до семи вечера работал Маркс над «Капиталом» и другими произведениями. Постоянные посетители имели строго определенные места. Маркс сидел за пятым столом направо от входа, примыкавшим непосредственно к стендам со справочниками. Стол этот был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Писатель, пишущий об ушедшем времени, всегда также разведчик истории. Я собирала подчас едва видимые камешки, чтобы, составив их, воссоздать прошлое. Только прикоснувшись к вещам, уже отслужившим, и вдохнув воздух, которым некогда дышали герои книги, можно попытаться донести до читателя дух минувших лет. Не раз наклонялась я над пюпитром, за которым в Британском музее работал Маркс под мерцающей лампой с зеленым абажуром.

Много часов провела я в раздумье на кладбище Хайгейт, у могилы, где Маркс похоронил жену и спустя пятнадцать месяцев был похоронен он сам.

Мне представилась возможность побывать не только в Англии. Работая над первой книгой, которую ограничила двадцатью шестью годами жизни гения и решила назвать «Юностью Маркса», я посетила Германию, Голландию, Бельгию, Францию, Италию и Швейцарию.

Живописный, затерянный в невысоких горах городок Трир, быт которого не менялся десятилетиями, раскрыл передо мною дни детства и юности Маркса. На узенькой Брюккенгассе отыскала я серый двухэтажный дом, где родился Маркс.

В 1932 году в связи с пятидесятилетием со дня смерти Маркса этот дом был отремонтирован, найдена и реставрирована мебель. Все должно было воскресить обстановку и быт того времени, когда здесь проживала семья юстиции советника. Несколько месяцев спустя после моего отъезда из Трира фашисты разрушили этот дом-музей.

Гимназия, где учился юный Карл, готическое здание цвета недозрелых помидоров, очень мало изменилась за истекшее столетие.

Все так же лениво катит свои серые воды, огибая Трир, неширокий Мозель и так же весной цветут на берегу маки и вереск, как тогда, когда здесь купался и шалил маленький Карл.

Неизменная природа — отзывчивый помощник писателя исторического романа. Она щедро обогащает его творческую лабораторию. В Бармене, где провел свои юношеские годы сын богатого купца Фридрих Энгельс, я увидела такую же осень, какой была та, когда он появился на свет в 1820 году.

Идут века, сменяются поколения, а все те же черные, желтые и белые туманы окутывают Англию.

О детских годах Карла Маркса сохранилось не много исторически достоверных документов.

Однако письма юстиции советника к сыну, стихи юноши Карла, его учебные табели и оценки учителей помогают восстановить отдельные черты его характера.

Из Германии поехала в Голландию, где с отроческих лет бывал Маркс, и нашла в Нимвегене все, что относилось к семье его матери, уроженки этого города, затем осмотрела маленький Зальтбоммель. Там жил некогда голландский дядюшка Маркса, купец Филипс. Не раз он помогал деньгами своему племяннику и всегда был рад его приезду. На красивом доме, неподалеку от живописного канала, где останавливался у родственников Маркс, я увидела мемориальную доску. Однако не Марксу была она посвящена, а... основателю знаменитой в Европе и по сей день промышленной фирмы — Антони Филипсу. Радиоприемники, телевизоры и другие аппараты с маркой «Филипс» считаются лучшими на Западе. Господа Филипсы ныне всячески открещиваются от своего близкого родства с Карлом Марксом.

В Брюсселе был написан «Коммунистический манифест». Несколько лет изгнания Маркс со своей семьей провел в столице Бельгии и вместе с женой подвергся там аресту в первые дни революции 1848 года.

Маркс любил Париж и хорошо знал этот неспокойный революционный город. Изучению французских революций он посвятил много времени, и Париж был для него как бы живой летописью недавних событий. Прошло всего пятьдесят лет со времени Великой революции и Декларации о правах человека, когда Маркс с женой, только что поженившиеся, поселились на улице Ванно в Сен-Жерменском предместье. Позднее, в 1848 году, он снова прибыл во Францию, вскоре после начала февральской революции.

В начале тридцатых годов в Париже я побывала у внука Карла Маркса — Жана Лонге. Этот почтенный старик принял меня холодно. Он был одним из реформистских лидеров французской социалистической партии и II Интернационала. Тщетно я просила рассказать о его предках и добивалась разрешения сделать фотокопии с имевшейся в семье Лонге иконографии. Особенно огорчило меня его нежелание показать портреты Женни фон Вестфален. Их сохранилось вообще очень мало. Один из портретов Женни, выполненный на стекле, Фридрих Энгельс положил в гроб Маркса.

Образ жены Маркса кажется мне одним из самых волнующих и замечательных в галерее женщин человеческой истории. Она совмещала в себе красоту, обаяние женственности с глубоким «мужским» умом и волей, с поистине великим сердцем. Шотландская аристократка по своей бабушке Женни оф Питароо, из рода Аргайлей, не раз воспетых Валь-

тером Скоттом, самая прекрасная девушка Трира, она сумела в ранней юности оценить и подлинно навеки полюбить Маркса и стать достойной его соратницей, помощницей, другом, женой.

Человек развивается под воздействием среды и своего времени. Чем «вместительнее» и глубже душа, чем богаче интеллект человека, тем больше внешних факторов его формирует. Для гениев, подобных Марксу и Энгельсу, нет преград в пространстве и во времени. Их мышление охватывает всю планету и века. Исходя из этого, «строила» я многоплановые романы, действие которых охватывает все наиболее значительные события эпохи первой половины и середины XIX века, развитие общественной и философской мысли того времени. Роман «Юность Маркса» начинается с Лионского восстания, хотя Карл, участвовать в нем по молодости лет еще не мог, но которое Тарле в беседах со мной характеризовал как увертюру ко всему рабочему движению прошлого столетия. Мне пришлось также основательно изучить «забытую революцию» 1848 года, прежде чем писать о ней.

Годы работы над «Юностью Маркса» и «Похищением огня» — это время чтения архивных документов, писем и мемуаров. Я кропотливо изучала быт минувших лет, стремилась проникнуть в мироощущение тех, о ком писала. Моя картотека все ширилась. Творческое хозяйство стало очень большим. Из сотен справочных табличек немногие непосредственно относились к Марксу, его семье, окружению. Я указывала в них имя и фамилию, год рождения того или иного человека, его профессию, труды, если такие были, события жизни и черты характера.

Я завела карточки также и на вымышленных персонажей моих книг и, все более увлекаясь их судьбами, теряла ощущение того, что их в действительности не существовало. Особенно дороги стали мне портняжий подмастерье Иоганн Сток, его жена Женевьева и русская девушка Лиза Мосолова. В работе над их образами не могло быть преград для полета творческого воображения и фантазии.

Несомненно и то, что без помощи многих ученых я не смогла бы работать над своей дилогией. Материалы по Лионскому восстанию дал мне в рукописном виде Е. В. Тарле, с карандашом в руке прочитавший «Юность Маркса» до ее опубликования. Очень много советов и указаний я получила от А. М. Горького. Он исчерпывающе знал историю Европы XIX века.

— Используйте,— говорил он мне,— материалы, имеющиеся в архиве Парижской национальной библиотеки. К сожалению, те, о которых я говорю,— автор их немец,— сохранились только в одном рукописном экземпляре. Они рассказывают об обычае «вилкома» и «абшида». В Пруссии арестованный в тридцатых — сороковых годах прошлого века неизбежно подвергался телесным наказаниям дважды: когда его водворяли

в тюрьму — э[redacted] называлось «вилком» (добро пожаловать); затем его пороли, выпуская из тюрьмы,— это и был «абшид».

Я воспользовалась советом Горького, изучила рекомендованные им материалы, и в «Юности Маркса» Иоганн Сток, посаженный в тюрьму, прошел через пытки прусских мест заключения.

Научные работники Института марксизма-ленинизма и Центрального партийного архива — богатейшей сокровищницы, где сосредоточено почти все относящееся к жизни и трудам основоположников научного коммунизма, помогали мне в этой трудной работе. Некоторые из них посвятили всю свою жизнь изучению научных биографий Маркса и Энгельса и знают все подробности их бытия и деятельности.

Я была вынуждена напряженно, упорно учиться, чтобы пройти по тем дорогам мысли и знания, по которым некогда шли Маркс и Энгельс. Всю свою жизнь Маркс был окружен интересными, талантливыми людьми. Он щедро делился с ними огромным богатством своей памяти, мыслей, знаний. Целая плеяда замечательных поэтов: Гейне, Фрейлиграт, Веерт, Гервег — многое взяли от него и подолгу шли с ним рядом. Нельзя обойти их, когда пишешь о Марксе первой половины XIX века.

Маркс и Энгельс хорошо знали Россию, ее историю, литературу, язык, многих русских людей. Точно так же Маркс-революционер, каким он был прежде всего, в той или иной степени соприкасался со всеми наиболее видными деятелями эпохи. Никому не внушал он чувства безразличия. Его горячо любили и жестоко ненавидели. Мне помогли понять Маркса не только его друзья, но и враги.

Ученый, поэт, журналист, юрист, редактор, революционный вождь, постоянно преследуемый, часто оклеветанный, нищий, но всегда несокрушимый, бесстрашный, Маркс неисчерпаем, бессмертен. Это подлинный Прометей, пожертвовавший всем ради одной цели: сделать наибольшее число людей счастливыми на Земле. Что может быть более достойно изучения, нежели сердце такого человека?

Труднее всего было найти звучание речи Маркса и Энгельса, мускул их стиля. И вдруг я услыхала их смех, уловила тембр голоса. Все это открыла мне их поразительная переписка. В ней оживают оба корреспондента, и невольно вспоминаются слова Герцена о том, что на письмах запеклась кровь событий и само прошедшее, как оно было, задержано и нетленно. Не знаю, возможно ли создать художественное произведение о Марксе и Энгельсе, не изучив основательно их эпистолярное наследство.

Кроме писем случайно уцелевший счет кредитора или несколько строк в тетради сказали мне больше, нежели пространное научное исследование. Помню, как встрепенулось сердце, когда я увидела в пожел-

тевшей записной книжке, где Женни Маркс перечисляла расходы и белье, сданное в стирку, одиннадцатый гениальный тезис о Фейербахе, написанный рукой Маркса:

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Почерк Маркса, сложный, мудрый, таинственный, как письмена на древних камнях, глубоко поразил меня. Подобно графологу, вглядывалась я в крошечные буквы, пытаясь лучше понять черты характера того, кто их писал.

Огромное наслаждение доставляло мне изучение творческой лаборатории Маркса. Он работал как поэт, вдохновенно, порывисто, не щадя себя, забывая о сне и пище, а затем мог долго бездействовать, лежа на диване с увлекательной приключенческой книгой в руках или оставаясь один на один с сигарой.

Периодически я «заболевала» своей темой. Поглощенность ею бывала так велика, что я видела сны, связанные с той или иной сценой из жизни моих героев, и как бы переселялась в XIX век.

Долгое время, работая над «Похищением огня», книгой, в которой Маркс и Энгельс изображаются уже зрелыми людьми, я боролась с собой, преодолевая чувство робости перед ними. Мне стало ясно, что, покуда я буду испытывать подобную нерешительность, мне не достичь той убедительной легкости письма, без которой нет вообще никакого художественного произведения. Автор не может быть зависим от создаваемых им героев, не должен смотреть на них снизу вверх. Книга разоблачит его боязнь и наполнится тогда ходульными неживыми фигурами. В напряженном труде познания благодаря все возрастающей душевной близости со своими героями и проникновению в тему я постепенно освободилась от скованности и стала увереннее обращаться с материалом. В романе автор — хозяин своего творческого замысла, о ком бы он ни писал. Не нарушая исторической истины, я смелее стала вторгаться в чувствования, раздумья и действия своих персонажей. Это был поворотный момент в работе над книгой «Похищение огня».

Для того чтобы воскресить повседневный быт подлинных и вымышленных героев моих книг, приходилось знакомиться с техническими открытиями эпохи, транспортом, модами, законами биржи, театральными и концертными программами, отчетами фабричных инспекторов, судебной и великосветской хроникой. Впрочем, все это обычные детали работы над всяким романом из прошлого.

Помню, как несколько часов консультировалась я по совету Горького с профессором уголовного права, когда работала над материалами о судебной процедуре Пруссии и Англии.

Особенно трудно было мне воскресить подлинную жизнь, быт,

нравы, условия труда того отверженного и только в XIX веке народившегося класса, вождем и учителем которого стал Карл Маркс.

Молодость Маркса совпала с юностью пролетарских революций. Восстание лионских ткачей, движение рабочих за хартию вольностей в Англии сопровождались кровопролитиями и потрясли устои буржуазной Европы.

Рабочий класс был еще юн, и юными были его революции, его попытки борьбы за лучшие условия труда, за повышение заработной платы.

Жизнь одного из рабочих я попыталась изобразить в герое моей книги — ткаче Иоганне Стоке. Это немецкий подмастерье, который, как водилось в то время, в поисках работы кочевал по разным странам.

История пролетариата была в те годы «неофициальной». Энгельс писал, что плебейские и крестьянские движения были неофициальными элементами истории. Вот об этой армии борцов, создавших все ценности мира, я пыталась написать в «Юности Маркса» и в «Похищении огня». И нашла их везде: во Франции, в Англии, в Германии.

Жизнь пролетариев в первой половине XIX века, как, впрочем, и поныне в капиталистических странах, лишена внешнего блеска, заманчивой мишуры, увлекательных приключений, присущих привилегированным классам. Тем труднее писателю воссоздать образы людей «4-го сословия» так, чтобы они полюбились и глубоко взволновали читателей. Маркс еще в сороковых годах прошлого века в «Новой Рейнской газете» писал о том, что литераторы призваны «обвить лавровым венком... грозно-мрачное чело» новых героев. Нам сегодня дана привилегия увенчать лаврами головы революционеров и бунтарей плебеев.

Жизнь героев порабощенных в прошлом классов должна стать одной из основных тем советского исторического революционного романа. История пролетарских революций изобилует героическими личностями и необыкновенными человеческими судьбами. Советская литература не может не отдать им заслуженную дань. Это ее герои.

Советский исторический революционный роман всегда видит прошлое глазами настоящего. Чем выше точка, на которой стоит наблюдатель, чем более передовым является его мировоззрение, тем больше исторической правдивости в книге.

Это не переодевание современников в костюмы прошлого, а подлинное умение видеть и правильно восстанавливать контуры ушедшей эпохи и образы ее героев.

Бывает, что свое реакционное мышление автор переносит в историю. Так поступал, например, Мережковский.

Ни автор современного произведения, ни автор историко-революционного романа, мне думается, не может сойти с наивысших позиций совре-

менности, потому что иначе он уничтожит самую сущность своего произведения.

Попытка перестановки во времени отразилась весьма своеобразно на творческой манере большого писателя Л. Фейхтвангера. Он писал в письме о сущности исторического романа: «Я не представляю себе серьезного романиста, которому бы исторические темы служили для чего-нибудь иного, кроме создания известной дистанции».

В некоторых своих исторических полотнах Фейхтвангер стремился по возможности точно отобразить не минувшую, а современную эпоху и перенести субъективные, вполне современные ему взгляды в прошедшие века. Это дало ему возможность создать как бы исторические по жанру, но по сути боевые антифашистские книги.

Так создавались Фейхтвангером «Иудейская война», рисующая борьбу иудеев с римлянами, а на самом деле отображающая современную автору фашистскую Германию. Его «Испанская баллада» продолжает служить той же цели перенесения современности в историю. Фейхтвангер на фоне прошлого боролся с настоящим.

Но подлинно историческая проза восстает против такого метода. Она не терпит подобного перемещения идей. Получается неубедительное и в основе своей порочное историческое повествование, вводящее читателя в заблуждение. То, что удалось Фейхтвангеру, по-моему, не может стать правилом, это лишь счастливое исключение.

Чрезвычайно опасно в историческом романе злоупотребление словами и выражениями, взятыми из старых летописей и книг: они никогда в действительности не употреблялись в разговоре и были поэтому всегда мертвы.

Вредна также фетишизация костюма, когда писатель устраивает маскарад, облачая своих современников в наряды иной эпохи, весьма поверхностно изученной и поданной как декорация, как фон для такого маскарада.

Есть и другие опасности в работе над историческим романом — перегрузка исторической бутафорией.

Мне вспоминаются слова Гегеля об утомлении от всеобщей истории благодаря массе деталей, мешающих пониманию этой истории. Некоторые исторические романисты столь увлекаются деталями, что явно перегружают ими свое произведение. Нигде чувство меры не требуется так, как в исторической прозе.

Желая снять с пьедестала гения и «очеловечить» его, писатель принимается рыться в бытовых мелочах, и отыскивать темные пятна в биографии, и, что еще хуже, приподнимать портьеру алькова. В результате вместо «очеловечивания» героя получается пошлое принижение его. Например, на Западе появились романы об отдельных периодах

жизни Маркса, где он, а также Энгельс многократно показаны в постелях со своими женами. Все это, естественно, вызывает только чувство досады. Мы хотим все знать о великих людях, но для этого вовсе нет надобности лезть под их кровати. Порочность подобного замысла писателя приводит к тому, что произведение его перестает быть художественным.

Автор историко-биографических романов, как мне кажется, обязательно должен сам подняться над своей темой, чтобы свободно овладеть ею, а не наоборот — стаскивать вниз своих героев, прикрываясь тем, что ведь они, мол, только люди.

Не менее опасен соблазн приглаживания, канонизации, почти граничащий с культом. Он грозит нам, писателям, пишущим о живых людях, пагубными последствиями. Мы легко можем превратиться в богомазов. Мне случалось слышать о том, что нельзя прикасаться к святыням, что Маркс должен оставаться в сознании людей как бы мраморным изваянием. Говорилось, что тема эта принадлежит только науке и неприкосновенна для романистов.

Когда в «Юности Маркса», пользуясь подлинными документами, я рассказала о том, что первокурсник Карл был присужден к карцеру за участие в дуэли на шпагах и как он вместе с ватагой учащейся молодежи в знак протеста против филистеров и трусливых обывателей разбил стекла уличного фонаря, некоторые редакторы воспротивились и хотели опустить такой эпизод в романе, считая, что это может умалить моего героя. И только вмешательство А. М. Горького привело к тому, что Маркс показан добрым студентом, отважным дуэлянтом в тех случаях, когда надо было заступиться за товарища или сразиться с ханжами и лицемерами.

Маркс, Энгельс, Ленин благодаря цельности, величию, ясности своих натур, гениальности мозга кажутся кое в чем только что не небожителями, однако они всегда сами подчеркивали, что ничто человеческое им не чуждо. Это были люди огромного, планетарного масштаба, которые показали нам, чем может и должен быть человек, но они сами восстали бы и возмутились, если бы их превратили в слащаво намалеванные, безжизненные иконы.

Отбор биографических фактов, подчас как будто и маловажных,— нелегкая задача. Однако значение этих деталей очень большое. Они могут донести до нас веяние времени, отразить пылкие порывы зрелости, хмель юности или, наоборот, загромоздить книгу бутафорией. Правильно отобранные характерные штрихи делают образы зримее, живее. Умение не терять перспективы и понимать значимость изображаемых героев, своеобразная интуиция, видение во времени, фантазия и психологический анализ так же обязательны в исторической прозе, как и в любом ином жанре.

Много споров вызывает проблема домысла и вымысла при воссоздании образов Маркса и Энгельса.

Несомненно, без домысла не может быть художественного произведения. Чутье писателя подскажет ему предельную черту. Нигде не требуется такое умение пользоваться полутонами, как на полотне исторического романа: это своеобразный подтекст. Испробовав немало красок на палитре, прежде чем начать портреты Маркса и его соратников, я пришла к выводу, что именно то, чего от меня требовали ученые из Института марксизма-ленинизма, то есть совершенной приверженности исторической правде, точности обращения с хронологическим материалом и научными изысканиями,— это и есть наилучший метод для моей работы.

Правда, случалось, сопоставление того, что я написала, и исторических фактов либо хронологических дат приводило к крушению целого замысла той или иной сцены. Мне, например, очень хотелось, чтобы в момент встречи и начала дружбы Маркса и Энгельса рядом с ними находилась Женни. Так я и написала целую главу. Но один из ученых, проверявших текст романа, категорически возразил против такой вольности: Женни Маркс в это время находилась в Трире. Пришлось все писать заново.

Даже в мелочах требовалась совершенная точность. В одном из эпизодов Маркс остается дома ввиду заболевания фурункулезом. Однако мне было заявлено, что я должна все изменить, так как он болел этой болезнью несколькими месяцами позже. Много раз рассыпались звенья в цепи сюжета, если хронология оказывалась «сдвинутой» и, увлекшись, я отходила от исторической действительности.

Книга выигрывала оттого, что я подчинялась календарю и пользовалась только фактом как основой. Строго следуя этому, я, однако, совершенно была свободна в интуитивном постижении и эмоциональном воспроизведении моих героев и старалась достичь наибольшей убедительности и передать читателю то, что сама прочувствовала,— любовь к своей теме. Без этого писатель не способен убедить и увлечь, как и певец, оратор, тех, к кому обращается.

Равнодушие писателя убивает его творение. Оно недопустимо в работе над художественными произведениями любого жанра.

Моя мечта — написать еще один роман, о вершинах жизни Маркса и Энгельса, и этим закончить трилогию «Прометей». Не знаю, удастся ли мне это, осилю ли? Годы, когда Маркс создал «Капитал» и возглавил I Интернационал, эпоха Парижской коммуны, франко-прусской войны, народовольческого движения в России чрезвычайно трудны для беллетриста. Это время, когда родился Ленин.

Углубляясь в работу над образами Маркса и Энгельса, я все больше

дивлюсь их любви к человечеству. Они гуманисты в самом высоком смысле этого слова. Их жизнь, деятельность, учение — лучшее тому подтверждение.

Эти два человека, каждый по-своему, совершенно гармоничны. Тут нет преувеличения. Становятся понятными высокие чувства, которые они внушали своим единомышленникам. Двадцативосьмилетнего Маркса рабочие называли «отец Маркс». Достаточно прочесть воспоминания о нем и Энгельсе Лесснера, Либкнехта и других современников, чтобы ощутить благотворное воздействие этих людей на окружающих. Общение с ними делало людей лучше и значительнее. И самое замечательное, что было в них,— это высокая человеческая простота. Сентиментальность, ложь, слащавость, пошлость, снобизм были им совершенно чужды.

Работая над беллетристическими книгами о Марксе и Энгельсе, я постоянно помню их слова о том, как следует писать о революционных героях. Сколь необходимо, чтобы эти люди «были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде».

Думается, строгая правдивость является отличительным свойством жанра советского историко-революционного романа в такой же степени, как и показ тесной связи героя с его временем. Это не исключает права на фантазию.

Беллетристические книги о Марксе, Энгельсе, Ленине никак не могут быть отнесены к чисто историческому жанру. В то время как тема об Иване Грозном, например, окончательно завершена в истории и писатель, пишущий о нем, подобно анатому, склоняется над распростертым трупом, который он может изучать, орудуя скальпелем, книги историко-революционные о последнем столетии и историко-биографические о вождях пролетариата полны особого значения. Они грозное оружие в борьбе.

Один из лучших художников исторического романа, Генрих Манн, сказал, что «идея в историческом романе должна быть вооружена». В книгах о Марксе и Ленине вооружена сама тема.

Именно в последние годы в капиталистических странах непрерывно возрастает количество книг, пытающихся противопоставить молодого Маркса зрелому, искажающих его образ. Борьба идеологий проявляется и в этом.

Философы XIX века часто писали о трагизме истории и неизбежной обреченности больших начинаний и больших людей. Наше мировоззрение опрокинуло это мрачное представление. Скованный Прометей сбросил оковы. Зевс пал. Великие огненосцы Маркс, Энгельс, Ленин оказались победителями. Миллионы людей приобщились к их учению и

хотят знать о них все. История человечества начинается с Октябрьской революции. То, что было до социалистического общества, говорил Маркс,— это только предыстория.

* * *

Приношу искреннюю благодарность работникам Института марксизма-ленинизма Г. Д. Обичкину, Е. П. Канделю и Е. А. Степановой, а также историку Л. Е. Якобсону, которые щедро поделились со мной своими обширными знаниями и дали мне много ценных советов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

I. Зарницы 7
II. Скитания 61
III. Наполеон карликовый 101
IV. Трудный год 121
V. Битва или смерть 156
VI. Зрелость 179
VII «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 204
VIII. Праздники истории 236
IX. Предтечи 306

КНИГА ВТОРАЯ

I В изгнании 441
II Остров в тумане 505
III Русские дела 568
IV. Испытания 623
V. Огненосцы 705
VI. Когда раскрываются недра 762
Послесловие 827

Серебрякова Галина Иосифовна

ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ

М., «Советский писатель», 1962, 840 стр.

Редактор *А. И. Крутиков.* Художник *М. В. Серегин*
Худож. редактор *Е. И. Балашева.* Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректоры: *Л. Н. Морозова* и *Ф. А. Рыскина*

Сдано в набор 14/X 1961 г. Подписано к печати 18/I 1962 г.
Бумага 60 × 84¹/₁₆. Печ. л. 52½ (47,77). Уч.-изд. л. 49,66.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 2989. Цена в тканевом переплете 1 р. 64 к.,
в бумажном — 1 р. 59 к.

Издательство «Советский писатель»,
Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

БИБЛИОТЕКА
Инв. №
Хорезм Гос. Университет